This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

Stanford University Libraries
3 6105 119 182 157

STANFORD
UNIVERSITY
LIBRARIES

B5058

161

Goncharov, I. A.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ И. А. ГОНЧАРОВА

въ 12 томахъ.

ТОМЪ ДЕСЯТЫЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1899 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1899

PG3337
G6
1899
v.10-12

Типографія А. Ф. Маркса, Ср. Подьяч., № 1.

ОБРЫВЪ.

РОМАНЪ

ВЪ ПЯТИ ЧАСТЯХЪ.

Часть четвертая.

I.

Вѣра, разставшись съ Райскимъ, еще подождала, чутко вслушиваясь, не слѣдуетъ ли онъ за ней, и вдругъ бросилась въ кусты, раздвигая вѣтви зонтикомъ и скользя, какъ тѣнь, по знакомой ей тропинкѣ.

Она пробралась къ развалившейся и полусгнившей бесѣдкѣ въ лѣсу, который когда-то составлялъ часть сада. Крыльцо отдѣлилось отъ нея, ступени разсохлись, полъ въ ней осѣлъ, и нѣкоторыя доски провалились, а другія шевелились подъ ногами. Оставался только покривившійся на бокъ столъ, да двѣ скамьи, когда-то зеленыя, и уцѣлѣла еще крыша, заросшая мхомъ.

Въ бесѣдкѣ сидѣлъ Маркъ. На столѣ лежало ружье и кожаная сумка.

Онъ подалъ Вѣрѣ руку и почти втащилъ ее въ бесѣдку по сломаннымъ ступенямъ.

— Что такъ поздно?

— Братъ задержалъ,—сказала она, поглядѣвъ на часы.— Впрочемъ, я только четверть часа опоздала. Ну, что̀ вы? ничего не случилось новаго?

— А что̀ должно случиться?—спросилъ онъ:—развѣ вы ждали?

— Не посадили ли на гауптвахту опять, или въ полицію? Я каждый день жду...

— Нѣтъ, я теперь сталъ осторожнѣе, послѣ того, какъ Райскій порисовался и великодушничалъ, взялъ на себя исторію о книгахъ...

— Вотъ этого я не люблю въ васъ, Маркъ...

— Чего «этого»?

— Какой-то сухости, даже злости ко всему, кромѣ себя. Братъ не рисовался совсѣмъ, онъ даже не сказалъ мнѣ. Вы не хотите оцѣнить доброй услуги.

— Я цѣню по-своему.

— Какъ волкъ оцѣнилъ услугу журавля. Ну, что бы сказать ему «спасибо» отъ души, просто, какъ онъ просто сдѣлалъ? Прямой вы волкъ! — заключила она, замахнувшись ласково зонтикомъ на него. — Все отрицать, порицать, коситься на всѣхъ... Гордость это, или...

— Или что?

— Тоже рисовка, позированье, новый образъ воспитанія «грядущей силы...»

— Ахъ, вы насмѣшница! — сказалъ онъ, садясь подлѣ нея: — вы еще молоды, не пожили, не успѣли отравиться всѣми прелестями добраго стараго времени. Когда я научу васъ человѣческой правдѣ?

— А когда я отучу васъ отъ волчьей лжи?

— За словомъ въ карманъ не ходите: умница! Съ вами не скучно. Если бъ еще къ этому...

Онъ почесалъ задумчиво голову.

— Въ полицію посадили! — договорила она. — Кажется, только этого недостаетъ для вашего счастья!

— Не будь васъ, давно бы куда-нибудь увезли. Вы мѣшаете...

— Вамъ скучно жить мирно, бури хочется! А обѣщали мнѣ и другую жизнь, и чего-чего не обѣщали! Я была

такъ счастлива, что даже дома замѣтили экстазъ. А вы опять за свое!

Онъ взялъ ее за руку.

— Хорошенькая рука, — сказалъ онъ, цѣлуя нѣсколько разъ и потянулся поцѣловать ее въ щеку, но она отодвинулась.

— Опять нѣтъ! Скоро ли это воздержаніе кончится? Вы, должно-быть, боитесь Успенскаго поста? Или бережете ласки для...

— Не люблю я, когда вы шутите!—отдернувъ руку, сказала она.—Вы это знаете.

— Тонъ нехорошъ?

— Да, непріятный. Прежде отучитесь отъ него, и вообще отъ этихъ волчьихъ манеръ! Это и будетъ первый шагъ къ человѣческой правдѣ!

— Ахъ вы барышня! дѣвочка! На какой еще азбукѣ сидите вы: на манерахъ да на тонѣ! Какъ медленно развиваетесь вы въ женщину! Передъ вами свобода, жизнь, любовь, счастье—а вы разбираете тонъ, манеры! Гдѣ же человѣкъ, гдѣ женщина въ васъ?.. Какая тутъ «правда»!

— Вотъ теперь, какъ Райскій, заговорили...

— А что онъ, все страстенъ?

— Еще больше. Я не знаю, право, что съ нимъ дѣлать.

— Что? Дурачить, тянуть...

— Гадко, неловко, совѣстно, — сказала она, качая головой.—И не умѣю я, это не мое дѣло!

— Совѣстно! вы думаете, онъ не дурачитъ васъ?

Она покачала съ сомнѣніемъ головой.

— Нѣтъ, онъ, кажется, увлекается...

— Тѣмъ хуже; онъ ухаживаетъ, какъ за своей крѣпостной. Эти стихи, что вы мнѣ показывали, отрывки вашихъ разговоровъ — все это ясно, что онъ ищетъ развлеченія. Надо его проучить...

— Лучше все открыть ему—онъ уѣдетъ. Онъ говоритъ,

что тайна поддерживаетъ въ немъ раздраженіе и что если онъ узнаетъ все, то успокоится и уѣдетъ..

— Вретъ, не вѣрьте, хитритъ. А лишь узнаетъ, то возненавидитъ васъ, или будетъ читать мораль, еще скажетъ, пожалуй, бабушкѣ...

— Боже сохрани!—перебила Вѣра, вздрогнувъ:—если ей скажетъ кто-нибудь другой, а не мы сами... Ахъ, скорѣе бы! Уѣхать мнѣ развѣ на время?

— Куда вы уѣдете! Надолго—нельзя и некуда, а не надолго—только раздражите его. Вы уѣзжали, что жъ вышло? Нѣтъ, одно средство, не показывать ему истины, а водить. Пусть поретъ горячку, читаетъ стихи, смотритъ на луну... Вѣдь онъ неизлѣчимый романтикъ... Послѣ отрезвится и уѣдетъ...

Она вздохнула въ отвѣтъ

— Онъ не романтикъ, а поэтъ, артистъ,—сказала она.— Я начинаю вѣрить въ него. Въ немъ много чувства, правды... Я ничего не скрыла бы отъ него, если бъ у него у самого не было ко мнѣ того, что̀ онъ называлъ страстью. Только чтобъ его немного охладить, я рѣшаюсь на эту глупую, двойную роль... Лишь отрезвится, я сейчасъ ему скажу первая все—и мы будемъ друзья...

— Да ну его!—сказалъ Маркъ, взявъ ее опять за руку.— Мы не затѣмъ сошлись, чтобъ заниматься имъ.

Онъ молча цѣловалъ у ней руку. Она задумчиво отдала ее ему на волю.

— Ну, что̀ же вы? — спросила она, отряхивая задумчивость.

— А что?

— Что̀ дѣлали, съ кѣмъ видѣлись это время? Не проговорились ли опять чего-нибудь о «грядущей силѣ», да о «зарѣ будущаго», о «юныхъ надеждахъ»? Я такъ и жду каждый день; иногда отъ страха и тоски не знаю куда дѣться!

— Нѣтъ, нѣтъ,—смѣясь сказалъ Маркъ:—не бойтесь. Я бросилъ этихъ скотовъ: не стоитъ съ ними связываться.

— Ахъ, дай Богъ: умно бы сдѣлали! Вы хуже Райскаго въ своемъ родѣ, вамъ бы нужнѣе былъ урокъ. Онъ артистъ, рисуетъ, пишетъ повѣсти. Но я за него не боюсь, а за васъ у меня душа не покойна. Вонъ у Лозгиныхъ младшій сынъ, Володя,—ему четырнадцать лѣтъ,—и тотъ вдругъ объявилъ матери, что онъ не будетъ ходить къ обѣднѣ.

— Что же?

— Высѣкли, стали добираться—отчего? На старшаго показалъ. А тотъ забрался въ дѣвичью, да горничнымъ цѣлый вечеръ проповѣдывалъ, что глупо ѣсть постное, что Бога нѣтъ и что замужъ выходить нелѣпо...

— Ахъ! — съ ужасомъ произнесъ Маркъ. — Ужели это правда: въ дѣвичьей! А я съ нимъ цѣлый вечеръ, какъ съ путнымъ, говорилъ, далъ ему книгъ и...

— Ужъ онъ въ книжную лавку ходилъ съ ними: «вотъ бы, говоритъ купцамъ, какими книгами торговали!..» Ну, если онъ проговорится про васъ, Маркъ! — съ глубокимъ и нѣжнымъ упрокомъ сказала Вѣра.—То ли вы обѣщали мнѣ всякій разъ, когда разставались и просили видѣться опять?

— Все это было давно; теперь я не связываюсь съ ними, послѣ того, какъ обѣщалъ вамъ. 'Не браните меня, Вѣра!— нахмурясь, сказалъ Маркъ

Онъ тяжело задумался.

— Если бъ не вы, — сказалъ онъ, взявъ ее опять за руку:—завтра бѣжалъ бы отсюда.

— А куда? Вездѣ все то же; вездѣ есть мальчики, которымъ хочется, чтобъ поскорѣй усы выросли, и дѣвичьи тоже всюду есть... Вѣдь взрослые не станутъ слушать. И вамъ не стыдно своей роли?—сказала она, помолчавъ и перебирая рукой его волосы, когда онъ наклонился лицомъ къ ея рукѣ. — Вы вѣрите въ нее, считаете ее, не шутя, призваніемъ?

Онъ поднялъ голову.

— Роль,—какую роль? вспрыснуть живой водой мозги?

— А вы убѣждены, что это живая вода?

— Послушайте, Вѣра, я не Райскій, — продолжалъ онъ, вставъ со скамьи. — Вы женщина, и еще не женщина, а почка, васъ еще надо развернуть, обратить въ женщину. Тогда вы узнаете много тайнъ, которыхъ и не снится дѣвичьимъ головамъ, и которыхъ растолковать нельзя: онѣ доступны только опыту... Я зову васъ на опытъ, указываю, гдѣ жизнь и въ чемъ жизнь, а вы остановились на порогѣ и уперлись. Обѣщали такъ много, а идете впередъ такъ туго—и еще учить хотите. А главное—не вѣрите!

— Не сердитесь, — сказала она груднымъ голосомъ, отъ сердца, искренно:—я соглашаюсь съ вами въ томъ, что кажется мнѣ вѣрно и честно, и если нейду рѣшительно на эту вашу жизнь и на опыты, такъ это потому, что хочу сама знать и видѣть, куда иду.

— То-есть хочу разсуждать!

— Чего же вы требуете? Чтобъ я не разсуждала?

— Чего, чего! — повторилъ онъ: — во-первыхъ, я люблю васъ и требую отвѣта полнаго... А потомъ вѣрьте мнѣ и слушайтесь! Развѣ во мнѣ меньше пыла и страсти, нежели въ вашемъ Райскомъ, съ его поэзіей? Только я не умѣю говорить о ней поэтически, да и не надо. Страсть не разговорчива... А вы не вѣрите, не слушаетесь!..

— Посмотрите, чего вы хотите, Маркъ: чтобъ я была глупѣе самой себя! Сами проповѣдывали свободу, а теперь хотите быть господиномъ, и топаете ногой, что я не покоряюсь рабски...

— Если у васъ нѣтъ довѣрія ко мнѣ, васъ одолѣваютъ сомнѣнія, оставимъ другъ друга,—сказалъ онъ:—такъ наши свиданія продолжаться не могутъ...

— Да, лучше оставимъ,—сказала и она рѣшительно:— а я слѣпо никому и ничему не хочу вѣрить, не хочу! Вы

уклоняетесь отъ объясненій, тогда какъ я только вижу во снѣ и на яву, чтобъ между нами не было никакого тумана, недоразумѣній, чтобъ мы узнали другъ друга и вѣрили... А я не знаю васъ и... не могу вѣрить!

— Ахъ, Вѣра!—сказалъ онъ съ досадой: — вы все еще, какъ цыпленокъ, прячетесь подъ юбки вашей насѣдки бабушки: у васъ ея понятія о нравственности. Страсть одѣваете въ какой-то фантастическій нарядъ, какъ Райскій... Чѣмъ бы прямо отъ опыта допроситься истины... и тогда повѣрили бы...—говорилъ онъ, глядя въ сторону.—Оставимъ всѣ прочіе вопросы—я не трогаю ихъ. Дѣло у насъ прямое и простое, мы любимъ другъ друга... Такъ или нѣтъ?

— Что же, Маркъ, изъ этого?

— Ну, если мнѣ не вѣрите, такъ посмотрите кругомъ. Весь вѣкъ живете въ полѣ и лѣсу и не видите этихъ опытовъ... Смотрите сюда, смотрите тамъ...

Онъ показалъ ей на кучку кружившихся другъ около друга голубей, потомъ на мелькнувшихъ одна вдогонку другой ласточекъ.—Учитесь у нихъ, они не умничаютъ!

— Да,—сказала она:—смотрите и вы: вонъ они кружатся около гнѣздъ.

Онъ отвернулся.

— Вонъ одна опять полетѣла, вѣроятно, за кормомъ...

— И къ зимѣ всѣ разлетятся!—небрежно, глядя въ сторону, говорилъ онъ.

— А къ веснѣ воротятся опять въ то же гнѣздо,—замѣтила она.

— Я вотъ слушаюсь васъ и вѣрю, когда вижу, что вы дѣло говорите,—сказалъ онъ. — Васъ смущала рѣзкость во мнѣ—я сдерживаюсь. Отыскалъ я старыя манеры и скоро буду, какъ Титъ Никонычъ, шаркать ножкой, кланяясь, и улыбаться. Не бранюсь, не ссорюсь, меня не слыхать. Пожалуй, скоро ко всенощной пойду... Чего еще!

— Все это шутки; не того хотѣла я! — сказала она, вздохнувъ

— Чего же?

— Всего! Если не всего, такъ многаго! И до сихъ поръ не добилась, чтобъ вы поберегли себя... хоть для меня, перестали бы «вспрыскивать мозги» и остались здѣсь, были бы, какъ другіе...

— А если я дѣйствую по убѣжденію?

— Чего вы хотите, чего надѣетесь?

— Учу дураковъ!

— Чему? знаете ли сами? Тому ли, о чемъ мы съ вами годъ здѣсь споримъ? вѣдь жить такъ нельзя, какъ вы говорите. Это все очень ново, смѣло, занимательно..

— Э! мы опять за то же! опять съ горы потянуло мертвымъ воздухомъ!—перебилъ Маркъ.

— Вотъ и весь вашъ отвѣтъ, Маркъ!—сказала она кротко:— все прочь, все ложь,—а что̀ правда — вы сами не знаете... Оттого я и недовѣрчива...

— У васъ рефлексія беретъ верхъ надъ природой и страстью,—сказалъ онъ:—вы, барышня, замужъ хотите! Это не любовь!.. Это скучно! Мнѣ надо любви, счастья...—твердилъ онъ, качая головой

Вѣра вспыхнула.

— Если бъ я была барышня и хотѣла только замужъ, то, конечно, выбрала бы для этого кого-нибудь другого, Маркъ,—сказала она, вставая съ мѣста.

— Простите, я грубъ! — извинялся онъ, цѣлуя у ней руку.—Но вы сдерживаете чувство, медлите чего-то, допытываетесь, вмѣсто того, чтобъ наслаждаться...

— Допытываюсь, кто̀ и что̀ вы, потому что не шучу чувствомъ. А вы на него смотрите легко, какъ на развлеченіе...

— Нѣтъ, какъ на насущную потребность, слѣдовательно тоже не шучу... Какія шутки! Я у[illegible] сплю по ночамъ, какъ

Райскій. Это пытка! Я никогда не думалъ, чтобъ раздраженіе могло зайти такъ далеко!

Онъ говорилъ почти съ злостью.

— Вы говорите, что любите, видите, что я люблю, я зову васъ къ счастью, а вы его боитесь...

— Нѣтъ, я только не хочу его на мѣсяцъ, на полгода...

— А на цѣлую жизнь и за гробомъ тоже?—насмѣшливо спросилъ онъ.

— Да, на цѣлую жизнь! я не хочу предвидѣть ему конца, а вы предвидите, предсказываете: я и не вѣрю и не хочу такого счастья; оно не искренно и не прочно...

— Когда же я предсказывалъ?

— Много разъ, не нарочно, можетъ-быть, а я не пропустила. «Что это за заглядываніе въ даль?—твердили вы:— что за филистерство—непремѣнно отмѣривать себѣ счастье саженями да пудами? Хватай, лови его на лету, и потомъ, послѣ двухъ-трехъ глотковъ, бѣги прочь, чтобъ не опротивѣло, и ищи другого! Не давай яблоку свалиться, рви его скорѣе и завтра рви другое. Не кисни на одномъ мѣстѣ, какъ улитка, и не вѣшайся на одномъ сучкѣ. Виснуть на шеѣ другъ друга, пока виснется, потомъ разойтись...» Это все вы раскидали по своимъ проповѣдямъ. Стало-быть, у васъ это сдѣлалось убѣжденіемъ...

— Ну, «стало-быть», такъ что же? Вы видите, что это не притворство! Отчего же не вѣрите?

— Оттого, что вѣрю чему-то другому, лучше, вѣрнѣе, и хочу...

— Обратить меня въ эту вѣру?

— Да! — сказала она: — хочу, и это одно условіе моего счастья; я другого не знаю и не желаю...

— Прощайте, Вѣра, вы не любите меня, вы слѣдите за мной, какъ шпіонъ, ловите слова, дѣлаете выводы... И вотъ, всякій разъ, какъ мы наединѣ, вы — или спорите, или пытаете меня,—а на пунктѣ счастья мы все тамъ же, гдѣ

были... Любите Райскаго: вотъ вамъ задача! Изъ него, какъ изъ куклы, будете дѣлать, что̀ хотите, наряжать во всѣ бабушкины отрепья, или дѣлать изъ него каждый день но̀ваго героя романа, и этому конца нѐ будетъ. А мнѣ некогда, у меня есть дѣла...

— А, видитѐ, дѣла? А любовь, счастье—забава?

— А вы хотѣли бы, по-старому, изъ одной любви сдѣлать жизнь, гнѣздо — вонъ такое, какъ у ласточекъ, сидѣть въ немъ и вылетать за кормомъ? Въ этомъ и вся жизнь!

— А вы хотѣли бы на минуту влетѣть въ чужое гнѣздо̀ и потомъ забыть его...

— Да, если оно забудется. А если не забудется — воротиться. Или прикажете принудить себя воротиться, если и не хочется? Это свобода? Вы какъ хотѣли бы?

— Я этого не понимаю—этой птичьей жизни, — сказала она.—Вы, конечно, не серьезно указали вокругъ, на природу, на животныхъ...

— А вы — не животное? духъ, ангелъ — безсмертное созданіе? Прощайте, Вѣра, мы ошиблись: мнѣ надо не ученицу, а товарища...

— Да, Маркъ, товарища,—пылко возразила она:—такого же сильнаго, какъ вы—равнаго вамъ—да, не ученицу, согласна—но товарища на всю жизнь! Такъ?

Онъ не отвѣчалъ на ея вопросъ, какъ будто не слыхалъ его.

— Я думалъ,—продолжалъ онъ:—что мы скоро сойдемся и потомъ разойдемся — это зависитъ отъ организмовъ, отъ темпераментовъ, отъ обстоятельствъ. Свобода съ обѣихъ сторонъ—и затѣмъ—что̀ выпадетъ кому изъ насъ на долю: радость ли обоимъ, наслажденіе, счастье, или одному радость, покой, другому—мука и тревоги — это уже не наше дѣло. Это указала бы сама жизнь, а мы исполнили бы слѣпо ея назначеніе, подчинились бы ея законамъ. А вы вдались въ анализъ послѣдствій, миновали опыты—и оттого

судите вкривь и вкось, какъ старая дѣва. Вы не отдѣлались отъ бабушки, губернскихъ франтовъ, офицеровъ и тупоумныхъ помѣщиковъ... А гдѣ правда и свѣтъ — еще не прозрѣли! Я ошибся! Спи, дитя! Прощайте! Постараемся не видаться больше...

— Да, постараемся, Маркъ! — уныло произнесла она:— мы счастливы быть не можемъ... — Ужели не можемъ!— всплеснувъ руками, сказала потомъ.—Что намъ мѣшаетъ! Послушайте...—остановила она его, тихо взявъ за руку.— Объяснимся до конца... Посмотримъ, нельзя ли намъ согласиться?..

Она замолчала и утонула въ задумчивости, какъ убитая.

Онъ ничего не отвѣчалъ, встряхнулъ ружье на плечо, вышелъ изъ бесѣдки и пошелъ между кустовъ. Она оставалась неподвижная, будто въ глубокомъ снѣ, потомъ вдругъ очнулась, съ грустью и удивленіемъ глядѣла вслѣдъ ему, не вѣря, чтобъ онъ ушелъ.

«Говорятъ: «кто не вѣритъ — тотъ не любитъ»,—думала она:—я не вѣрю ему, стало-быть... и я... не люблю его? Отчего же мнѣ такъ больно, тяжело... что онъ уходитъ? Хочется упасть и умереть здѣсь!..»

— Маркъ!—сказала она тихо.

Онъ не оглядывался.

— Маркъ!—громче повторила она.

Онъ шелъ.

— Маркъ!—крикнула она и прислушалась, не дыша.

Маркъ быстро шелъ подъ гору. Она измѣнилась въ лицѣ и минутъ черезъ пять машинально повязала голову косынкой, взяла зонтикъ и медленно, задумчиво поднялась на верхъ обрыва.

«Правда и свѣтъ, сказалъ онъ», думала она, идучи: «гдѣ же вы? Тамъ ли, гдѣ онъ говоритъ, куда влечетъ меня... сердце? И сердце ли это? И ужели я резонерка? Или

правда здѣсь?» говорила она, выходя въ поле и подходя къ часовнѣ.

Молча, глубоко глядѣла она на смотрящій на нее, задумчивый взоръ образа.

— Ужели *онъ* не пойметъ этого никогда и не воротится—ни сюда... къ этой вѣчной правдѣ... ни ко мнѣ, къ правдѣ моей любви?—шептали ея губы. — Никогда! Какое ужасное слово!

II.

Она бродила дня четыре по рощѣ, ждала въ бесѣдкѣ, но ничего не дождалась. Маркъ туда не приходилъ.

«Постараемся не видаться больше», это были его послѣднія слова. — «Нельзя ли намъ согласиться?» отвѣчала она—и онъ не обернулся на эту надежду, на этотъ зовъ сердца.

Отъ Райскаго она не пряталась больше. Онъ слѣдилъ за ней напрасно, ничего не замѣчалъ и впадалъ въ уныніе. Она не получала и не писала никакихъ таинственныхъ писемъ, обходилась съ нимъ ласково, но больше была молчалива, даже грустна.

Онъ чаще прежняго заставалъ ее у часовни молящеюся. Она не таилась, и даже однажды приняла его предложеніе проводить ее до деревенской церкви на гору, куда ходила одна, и во время службы и внѣ службы, долго молясь и стоя на колѣняхъ, неподвижно, задумчиво, съ поникшей головой.

Онъ тихо стоялъ сзади ея, боясь пошевелиться и вызвать ее изъ молитвеннаго сна, и наблюдалъ, онѣмѣвъ въ углу за колонной. Потомъ молча подавалъ ей зонтикъ или мантилью.

Она, не глядя на него, принимала его руку и, не говоря ни слова, опираясь иногда ему на плечо, въ усталости шла домой. Она пожимала ему руку и уходила къ себѣ.

А онъ шелъ, мучась сомнѣніями, и страдалъ за себя и за нее. Она не подозрѣвала его тайныхъ мукъ, не подозрѣвала, какою страстною любовью охваченъ былъ онъ къ ней — какъ къ женщинѣ человѣкъ и какъ къ идеалу художникъ.

Не знала она и того, что рядомъ съ этой страстью, на которую онъ самъ напросился, которую она, по его настоянію, позволила питать, частію затѣмъ, что надѣялась этой уступкой угомонить ее, частію повинуясь совѣту Марка, чтобы отводить его глаза отъ обрыва и вмѣстѣ «проучить» слегка, дружески, добродушно посмѣявшись надъ нимъ, — не знала она, что у него въ душѣ все еще гнѣздилась надежда на взаимность, на отвѣтъ, если не страсти его, то на чувство женской дружбы, хоть чего-нибудь.

И какъ легко вѣрилось ему, — несмотря на очевидность ея постороннихъ мукъ, на таинственныя прогулки на дно обрыва,—потому что хотѣлось вѣрить. Безсознательно онъ даже боялся разувѣриться окончательно въ надеждѣ на взаимность. Вѣрить въ эту надежду было его счастьемъ — и онъ всячески подогрѣвалъ ее въ себѣ. Онъ, иначе, въ свою пользу, старался объяснить загадочность прогулокъ.

«Эти выстрѣлы», думалъ онъ, «значатъ, можетъ-быть, что-нибудь другое: тутъ не любовь, а иная тайна играетъ роль. Можетъ-быть, Вѣра несетъ крестъ какой-нибудь роковой ошибки; кто-нибудь покорилъ ея молодость и неопытность и держитъ ее подъ другимъ злымъ игомъ, а не подъ игомъ любви, что этой послѣдней и нѣтъ у нея, что она просто хочетъ тамъ выпутаться изъ какого-нибудь узла, завязавшагося въ раннюю пору дѣвическаго невѣдѣнія, что всѣ эти прыжки съ обрыва, тайны, синія письма — больше ничего, какъ отступленія — не передъ страстью, а передъ другой темной тюрьмой, куда ее загналъ фальшивый шагъ и откуда она не знаетъ, какъ выбраться... что наконецъ въ ней проговаривается любовь... къ нему... къ Райскому,

что она готова броситься ему на грудь и на ней искать спасенья»...

Ему казалось иногда, что она обращала к нему немой, молящий взгляд о помощи, или вопросительно глядела на него, как будто пытая, силен ли и волен ли он исполнить, оправдать ее, поставить на ноги, уничтожить невидимого врага и вывести на прямой путь?

Так он метался, волновался, падал в бездну безнадежности и опять выносила его волна наверх—и все от одного, небрежно брошенного ею слова «люблю вас»...

Очень вздрагивал от счастья, нужды нет, что слово это сопровождалось рассеянным взглядом, что с этим словом она исчезла с обрыва.

«Если не правда, зачем она сказала это, как шутка — жестокая шутка! Женщина не станет шутить над любовью к себе, хотя бы и не разделяла ее. Стало-быть— не верит мне... и тому, что я чувствую к ней, как я терзался!»

Очень мучился в трескучем пламени этих сомнений, этой сознанной себе пытки, и иногда рыдал, не спал ночей, глядя на слабый огонек в ее окне.

— Не позволяет, какое злое дело делает она со мной! Пусть в обман!—сквозь зубы шептал он.

И вдруг стремился туда, ложь ли то ее «зная любит», ложь своей полной уверенности в ее любви, ложь своего положения.

Стоящим в сумерки окна, он ждал ее у чьего-нибудь крыльца. Она была бледна, смотрела сквозь него тихой утомленностью на него, с какой-то покорностью судьбе, как будто примиряясь с тем, что выстроило ему сплетать что-то обрывы к нему более не нужно. Как в нем тогда вдруг это сильнейшее, и тут же горькое чувство быть чьим-то зверем своей мечты о ее любви к нем.

Она лишнее и даже ему грубо и сказала, что уже его

видѣть, именно въ эту минуту, когда у ней покойнѣе на сердцѣ. Она, въ эти дни, послѣ свиданія съ Маркомъ, вообще старалась казаться покойной и дома, за обѣдомъ, къ которому являлась каждый день, она брала надъ собой невѣроятную силу, говорила со всѣми, даже шутила иногда, старалась ѣсть.

Бабушка ничего не видала, такъ казалось по крайней мѣрѣ, не слѣдила за ней подозрительно, не кидала косыхъ взглядовъ.

— Вѣра, ты простишь меня, если я заговорю...—началъ робко Райскій у часовни.

— Все прощу, братъ, говорите!—кротко отвѣчала она.

— Ты не можешь вообразить себѣ, какъ я счастливъ, что ты стала покойнѣе. Посмотри, какимъ миромъ сіяетъ у тебя лицо: гдѣ ты почерпнула этотъ миръ? Тамъ?

Онъ указалъ на часовню.

— Гдѣ же больше?

— Ты... не ходишь, кажется, больше туда?—продолжалъ онъ, указывая къ обрыву.

Она покачала головой.

— И не пойду,—тихо сказала она.

— Слава Богу — какое счастье! Куда ты теперь, домой? Дай мнѣ руку. Я провожу тебя.

Онъ взялъ ее подъ руку, и они тихо пошли по тропинкѣ луга.

— Ты борешься... Вѣра, и отчаянно борешься: этого не скроешь...—шепталъ онъ.

Она шла съ поникшей головой. Это молчаніе дало ему надежду, что она выскажется до конца.

— Когда ты одолѣешь мучительную и опасную страсть...—продолжалъ онъ и остановился, ожидая, не подтвердитъ ли она эти его намеки явнымъ сознаніемъ.

— Что же, братъ, тогда?—спросила она уныло.

— Ты выйдешь съ громаднымъ опытомъ, закаленная противъ всякихъ другихъ бурь...

— Куда и для чего я выйду?

— Для лучшей доли...

— Какой лучшей доли?

Онъ молчалъ, вспоминая, какую яркую картину страсти чертилъ онъ ей въ первыхъ встрѣчахъ и какъ усердно толкалъ ее подъ ея тучу. А теперь самъ не зналъ, какъ вывести ее изъ-подъ нея.

— Доли трезваго, глубокаго, разумнаго и прочнаго счастья, которое бы протянулось на всю жизнь...

— Я иначе счастья и не разумѣю...—задумчиво сказала она и остановясь опустила лобъ на его плечо, какъ будто усталая.

Онъ поглядѣлъ ей въ глаза: въ нихъ стояли слезы. Онъ не подозрѣвалъ, что вложилъ палецъ въ рану, коснувшись главнаго пункта ея разлада съ Маркомъ, основной преграды къ «лучшей долѣ»!

— Ты плачешь... Вѣра, другъ мой! — сказалъ онъ съ участіемъ.

Въ эту минуту раздался внизу стукъ быстрыхъ и шипящихъ [illegible] приближался по горѣ. Вѣра и Раевскій обернулись.

Она, какъ будто испугалась [illegible] голову и на минуту [illegible] [illegible]. Глаза у нея [illegible] широко и [illegible]. Въ [illegible] еще [illegible] слезы. Потомъ отняла [illegible] у него [illegible] и [illegible] въ [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [

лала шагъ опять къ обрыву, но повернула назадъ и медленно пошла къ часовнѣ.

— Да, да,—шептала она: — я не пойду. Зачѣмъ онъ зоветъ! ужели въ эти дни совершился переворотъ?.. Нѣтъ, нѣтъ, не можетъ быть, чтобы онъ...

Она стала на порогѣ часовни на колѣни, закрыла руками лицо и замерла неподвижно. Райскій тихо подошелъ къ ней сзади.

— Не ходи, Вѣра...—шепталъ онъ.

Она вздрогнула, но глядѣла напряженно на образъ: глаза его смотрѣли задумчиво, безстрастно. Ни одного луча не свѣтилось въ нихъ, ни призыва, ни надежды, ни опоры. Она съ ужасомъ выпрямилась, медленно вставая съ колѣнъ; Бориса она будто не замѣчала.

Раздался другой выстрѣлъ. Она стремительно бросилась по лугу къ обрыву.

«Что̀, ежели онъ возвращается... если моя «правда» взяла верхъ? Иначе, зачѣмъ зоветъ?.. О, Боже!» думала она, стремясь на выстрѣлъ.

— Вѣра! Вѣра!—въ ужасѣ говорилъ Райскій, протягивая ей руки, чтобъ ей помѣшать.

Она, не глядя на него, своей рукой устранила его руки, и едва касаясь ногами травы, понеслась по лугу, не оглянулась назадъ и скрылась за деревьями сада, въ аллеѣ, ведущей къ обрыву.

Райскій онѣмѣлъ на мѣстѣ.

— Что это, тайна роковая, или страсть? — спрашивалъ онъ:—или и то, и другое?

III.

Вѣра вечеромъ пришла къ ужину, угрюмая, попросила молока, съ жадностью выпила стаканъ и ни съ кѣмъ не сказала ни слова.

— Что ты такая скучная, Вѣрочка, здорова ли?— спросила бабушка сухо.

— Да, я не смѣлъ васъ спросить объ этомъ, — вѣжливо вмѣшался Титъ Никонычъ: — но съ нѣкоторыхъ поръ (при этомъ Вѣра сдѣлала движеніе плечами) нельзя не замѣтить, что вы, Вѣра Васильевна, измѣнились... какъ будто похудѣли... и блѣдны немножко... Это къ вамъ очень, очень идетъ,— любезно прибавилъ онъ:— но при этомъ надо обращать вниманіе на то, не суть ли это признаки болѣзни?..

— Да у меня зубы немного болятъ, — нехотя отвѣчала Вѣра. — Это скоро пройдетъ...

Бабушка глядѣла въ сторону и грустно молчала. Райскій, сдвигая двумя средними пальцами вилку, задумчиво ударялъ ею по тарелкѣ. Онъ тоже ничего не ѣлъ и угрюмо молчалъ. Только Марфинька съ Викентьевымъ ѣли все, что подавали, и весь ужинъ болтали.

— Что вы этому жаркому пожелаете? — спрашивала Марфинька.

— Крылу за тайну! — весь залился отвѣчалъ Викентьевъ.

— Что вы это бабушкѣ загадали...

И они старались закусить монотонный хохотъ спрыскиваньемъ съ которымъ. Марфинька разсердилась на своего жениха «за дерзость» противъ бабушки.

— Позвольте поблагодарить васъ, Вѣра Васильевна,— началъ Титъ Никонычъ, отвѣчая на волненіе Вѣры, — не злопамятность злопамятъ. Теперь закусить, вечера становятся сыры. Вы читаете восхитительныя произведенія — это прекрасно, ничто лучше не подкрѣпляетъ силъ, какъ сильно волнующее и мощное. Но при этомъ отнюдь не должно позволять себѣ выходить по вечерамъ съ открытой головой, а равно и всѣ подошвы не тонкой подошвы. Особенно замѣчаетъ при вашей комплекціи... Вотъ лучше при этомъ пьесы съ такой кисленькой тонкости... Я видѣлъ, только что пріѣхалъ молодыхъ, или лежащихъ какъ пуки... Я уже при-

обрѣлъ три... вамъ, Татьянѣ Марковнѣ и Мареѣ Васильевнѣ... но безъ вашего позволенія не смѣлъ представить...

Бабушка съ ласковой грустью кивнула ему головой, Вѣра старалась улыбнуться, а Мареинька безъ церемоніи сказала:

— Ахъ, какой вы добрый, Титъ Никонычъ! послѣ ужина я поцѣлую васъ: вы позволите?

— Я не позволю, я ревнивъ!—сказалъ Викентьевъ.

— Васъ не спросятъ!—отвѣчала Мареинька.

Титъ Никонычъ заливался застѣнчивымъ смѣхомъ.

— Къ вашимъ услугамъ, Мареа Васильевна!.. сочту себя счастливымъ...—приговаривалъ онъ.—Какая отмѣнная дѣвица!—вполголоса добавилъ онъ, обращаясь къ Райскому:—это распускающаяся, такъ-сказать, роза на стебелькѣ, до коей даже дыханіе вѣтерка не смѣетъ коснуться!

И чмокнулъ умиленно губами.

«Да, правда, роза въ полномъ блескѣ!» подумалъ Райскій со вздохомъ: «а та—какъ лилія, «до коей» уже, кажется, касается не вѣтерокъ, а ураганъ».

Онъ глядѣлъ на Вѣру. Она встала, поцѣловала руку у бабушки, вмѣсто поклона взглядомъ простилась съ остальными и вышла.

И другіе встали изъ-за стола. Мареинька подбѣжала къ Титу Никонычу и исполнила свое намѣреніе.

— Нельзя ли прислать косыночку завтра?—шептала она ему: — мы утромъ съ Николаемъ Андреичемъ на Волгу уйдемъ... она понадобится...

— Съ полнымъ моимъ удовольствіемъ!..—говорилъ Титъ Никонычъ, шаркая:—самъ завезу...

Она еще поцѣловала его въ лобъ и бросилась къ бабушкѣ...

— Ничего, ничего, бабушка! — говорила она, заминая вопросъ Татьяны Марковны о томъ, «что̀ она тамъ шепчетъ Титу Никонычу?» Но не замяла.

Титъ Никонычъ не могъ солгать Татьянѣ Марковнѣ и,

смягчая, извиняя всячески просьбу Мареиньки, передалъ бабушкѣ.

— Попрошайка! — упрекнула ее Татьяна Марковна:— иди спать—поздно! А вамъ, Николай Андреичъ, домой пора. Съ Богомъ, покойной ночи!

— Я васъ завезу — по обыкновенію: у меня дрожки,— сказалъ любезно Титъ Никонычъ.

Едва Вѣра вышла, Райскій ускользнулъ вслѣдъ за ней и тихо шелъ сзади. Она подошла къ рощѣ, постояла надъ обрывомъ, глядя въ темную бездну лѣса, лежащую у ея ногъ, потомъ завернулась въ мантилью и сѣла на свою скамью.

Райскій издали далъ знать о себѣ кашлемъ и подошелъ къ ней.

— Я посижу съ тобой, Вѣра,—сказалъ онъ:—можно?

Она молча отодвинулась, чтобъ дать ему мѣсто.

— Ты очень печальна, ты страдаешь!

— Зубы болятъ...—отвѣчала она.

— Нѣтъ, не зубы — ты вся болишь; скажи мнѣ... что у тебя? Подѣлись горемъ со мной...

— Зачѣмъ? я сумѣю снести одна. Вѣдь я не жалуюсь.

Онъ вздохнулъ.

— Ты любишь несчастливо - кого?—шепнулъ онъ.

— Опять «кого»? Да васъ, Боже мой! —сказала она, съ нетерпѣніемъ повернувшись на скамьѣ.

— Къ чему этотъ злой смѣхъ и за что? Чѣмъ я заслужилъ его? Тѣмъ, что страстно люблю, глубоко вѣрю и радъ умереть за тебя...

— Какой смѣхъ! мнѣ не до смѣха!—почти съ отчаяніемъ сказала она, встала со скамьи и начала ходить взадъ и впередъ по аллеѣ.

Райскій остался на скамьѣ.

«А я все надѣялась... и надѣюсь еще... безумная. Болѣе двухъ дней ломала руки, думала лишь «Попробую убѣжать на не-

дѣлю, на двѣ, избавиться этой горячки, хоть на время... вздохнуть! силъ нѣтъ!»

Она остановилась передъ Райскимъ.

— Братъ! — сказала она: — я завтра уѣду за Волгу,— пробуду тамъ, можетъ-быть, долѣе обыкновеннаго...

— Этого только недоставало! — горестно произнесъ Райскій, не давъ договорить.

— Я не простилась съ бабушкой, — продолжала она, не обращая вниманія на его слова: — она не знаетъ, скажите вы ей, а я уѣду на зарѣ.

Онъ молчалъ, уничтоженный.

— Теперь и я уѣду!—вслухъ подумалъ онъ.

— Напрасно, погодите... — сказала она, съ примѣсью будто искренности:—когда я немного успокоюсь...

Она на минуту остановилась.

— Я, можетъ-быть, объясню вамъ... И тогда мы простимся съ вами иначе, лучше, какъ братъ съ сестрой, а теперь... я не могу!.. Впрочемъ, нѣтъ! — поспѣшно заключила, махнувъ рукой:—уѣзжайте! Да окажите дружбу, зайдите въ людскую и скажите Прохору, чтобъ въ пять часовъ готова была бричка, а Марину пошлите ко мнѣ. На случай, если вы уѣдете безъ меня, — прибавила она задумчиво, почти съ грустью: — простимтесь теперь! Простите меня за мои странности... (она вздохнула) и примите поцѣлуй сестры...

Она обѣими руками взяла его голову, поцѣловала въ лобъ и быстро пошла прочь.

— Благодарю васъ за все, — сказала она, вдругъ обернувшись, издали:—теперь у меня нѣтъ силъ доказать, какъ я благодарна вамъ за дружбу... всего болѣе за этотъ уголокъ. Прощайте и простите меня!

Она уходила. Онъ былъ въ оцѣпенѣніи. Для него пустъ былъ цѣлый міръ, кромѣ этого угла, а она посылаетъ его

изъ него туда, въ безконечную пустыню! Невозможно заживо лечь въ могилу!

— Вѣра!—кликнулъ онъ, торопливо догнавъ ее.

Она остановилась.

— Позволь мнѣ остаться, пока ты тамъ... Мы не будемъ видѣться, я надоѣдать не стану! Но я буду знать, гдѣ ты, буду ждать, пока ты успокоишься и—по обѣщанію—объяснишь... Ты сейчасъ сама сказала... Здѣсь близко, можно перекинуться письмомъ...

Онъ поводилъ языкомъ по горячимъ губамъ и кидалъ эти фразы торопливо, отрывисто, какъ будто боялся, что она уйдетъ сію минуту и пропадетъ для него навсегда.

У него была молящая мина, онъ протянулъ руку къ ней. Она молчала нерѣшительно, тихо подходя къ нему.

— Дай этотъ грошъ нищему... Христа ради! — шепталъ онъ страстно, держа ладонь передъ ней: — дай еще этого рая и ада вмѣстѣ! дай жить, не зарывай меня живого въ землю!.. — едва слышно договаривалъ онъ, глядя на нее съ отчаяніемъ.

Она глядѣла ему во всѣ глаза и сдѣлала движеніе плечами, какъ будто чувствовала ознобъ.

— Чего вы просите сами не знаете...—тихо отвѣчала она.

— Христа ради! — повторялъ онъ, не слушая ее и все держа протянутую ладонь.

А она задумалась, глядя на него изрѣдка, то съ состраданіемъ, то недовѣрчиво.

— Хорошо, оставайтесь! — прибавила потомъ рѣшительно: — пишите ко мнѣ, только не проклинайте меня, если ваша «страсть», — съ небрежной ироніей сдѣлала она удареніе на этомъ словѣ: — и отъ этого не пройдетъ! «А можетъ быть и пройдетъ...» подумала сама, глядя на него: «вѣдь это такъ, фантазія!»

— Все вынесу—всѣ казни!.. Скорѣе бы не вынесъ счастья!

а муки... дай ихъ мнѣ: онѣ — тоже жизнь! Только не гони, не удаляй: поздно!

— Какъ хотите! — отвѣчала она разсѣянно, о чемъ-то думая.

Онъ ожилъ, у него нервы заиграли.

А она думала съ тоской: «зачѣмъ не *онъ* говоритъ это!»

— Хорошо, — сказала она: — такъ я уѣду не завтра, а послѣзавтра.

И сама будто ожила, и у самой родилась какая-то, не то надежда на что-то, не то замыселъ. Оба стали вдругъ довольны, каждый про себя и другъ другомъ.

— Позовите только Марину ко мнѣ теперь же — и покойной ночи!

Онъ съ жаромъ поцѣловалъ у ней руку, и они разошлись.

IV.

Вѣра, на другой день, утромъ рано, дала Маринѣ записку и велѣла отдать кому-то, и принести отвѣтъ. Послѣ отвѣта она стала веселѣе, ходила гулять на берегъ Волги, и вечеромъ, попросившись у бабушки на ту сторону, къ Натальѣ Ивановнѣ, простилась со всѣми, и уѣзжая, улыбнулась Райскому, прибавивъ, что не забудетъ его.

Черезъ день пришелъ съ Волги утромъ рыбакъ и принесъ записку отъ Вѣры, съ нѣсколькими ласковыми словами. Выраженія: «милый братъ», «надежды на лучшее будущее», «рождающаяся искра нѣжности, которой не хотятъ дать ходу» и т. д. обдали Райскаго искрами счастья.

Онъ охмелѣлъ отъ письма, вытвердилъ его наизусть — и къ нему воротилась увѣренность къ себѣ, вѣра въ Вѣру, которая являлась ему теперь въ какомъ-то свѣтѣ правды, чистоты, граціи, нѣжности.

Онъ забылъ свои сомнѣнія, тревоги, синія письма, обрывъ, бросился къ столу и написалъ коротенькій нѣжный отвѣтъ, отослалъ его къ Вѣрѣ, а самъ погрузился въ какія-то хао-

тическія ощущенія страсти. Вѣры не было передъ глазами; сосредоточенное, напряженное наблюденіе за ней раздробилось въ мечты, или обращалось къ прошлому, уже испытанному. Онъ отъ мечтаній бросился къ пытливому исканію «ключей» къ ея тайнамъ.

Онъ смотритъ, ищетъ, освѣщаетъ темныя мѣста своего идеала, пытаетъ собственный умъ, совѣсть, сердце, требуя опыта, наставленія — чего хотѣлъ и проситъ отъ нея, чего недостаетъ для полной гармоніи красоты? Прислушивался къ своей жизни, припоминалъ все, что̀ оскорбляло его въ его прежнихъ, несостоявшихся идеалахъ.

Вся женская грубость и грязь, прикрытая нарядами, золотомъ, брильянтами и румянами, — густыми волнами опять протекла мимо его. Онъ припомнилъ свои страданія, горькія оскорбленія, вынесенныя имъ въ битвахъ жизни: какъ падали его модели, какъ падалъ онъ самъ вмѣстѣ съ ними, и какъ вставалъ опять, не отчаиваясь и требуя отъ женщинъ человѣчности, гармоніи, красоты наружной съ красотой внутренней.

Ему предчувствіе говорило, что это послѣдній опытъ, что въ Вѣрѣ онъ, или найдетъ, или потеряетъ уже навсегда свой идеалъ женщины, разобьетъ свою статую въ куски и потушитъ діогеновскій фонарь.

Онъ мучился тѣмъ, что видѣлъ въ ней, среди лучей, туманное пятно—ложь. Отчего эта загадочность, исчезаніе по цѣлымъ днямъ, таинственныя письма, прятанье, умалчиваніе, подъ которымъ ползла, можетъ-быть, грубая интрига, или крылась роковая страсть, или какая-то неуловимая тайна—что̀, наконецъ? «Своя воля, горда», говоритъ бабушка.— «Свободы хочу, независимости», подтверждаетъ она сама, а между тѣмъ, прячется и хитритъ! Гордая воля и независимость никого не боятся и открыто идутъ избраннымъ путемъ, презирая ложь и мышиную бѣготню и вынося мужественно всѣ послѣдствія смѣлыхъ и своевольныхъ шаговъ!

«Признайся въ нихъ, не прячься — и я поклонюсь твоей честности!» говорилъ онъ. У своевольныхъ женщинъ—свои понятія о любви, добродѣтели, о стыдѣ, и онѣ мужественно несутъ тернія своихъ пороковъ. Вѣра проповѣдуетъ своеобразіе понятій, а сама не слѣдуетъ имъ открыто, она скрывается, обманываетъ его, бабушку, весь домъ, весь городъ, цѣлый міръ!

Нѣтъ, это не его женщина! За женщину страшно, за человѣчество страшно,—что женщина можетъ быть честной только случайно, когда любитъ, передъ тѣмъ только, кого любитъ, и только въ ту минуту, когда любитъ или тогда, наконецъ, когда природа отказала ей въ красотѣ, слѣдовательно—когда нѣтъ никакихъ страстей, никакихъ соблазновъ и борьбы, и нѣтъ никому дѣла до ея правды и лжи!

— Ложь—это одно изъ проклятій сатаны, брошенное въ міръ...—говорилъ онъ.—Не можетъ быть въ ней лжи...—утѣшался потомъ, задумываясь, и умилялся, припоминая тонкую, умную красоту ея лица, этого отраженія души. Какой правдой дышало оно! «Красота—сама сила: зачѣмъ ей другая, непрочная сила—ложь!» — «Однако!»—потомъ съ уныніемъ думалъ онъ, добираясь до правды:—отчего вдругъ тутъ же, подъ носомъ, выросло у него это «однако»? Выросло оно изъ опытовъ его жизни, выглянуло изъ многихъ женскихъ знакомыхъ ему портретовъ, почти изъ всѣхъ любвей его... Любвей!

Онъ залился заревомъ стыда и закрылъ лицо руками.

«Любви! встрѣчи безъ любви»!—терзался онъ внутренно:—«какое заклятіе лежитъ надъ людскими нравами и понятіями! Мы, сильный полъ, отцы, мужья, братья и дѣти этихъ женщинъ, мы важно осуждаемъ ихъ за то, что сорятъ собой и валяются въ грязи, бѣгаютъ по кровлямъ... Клянемъ—и развращаемъ въ то же время! Мы не оглянемся на самихъ себя, снисходительно прощаемъ себѣ... собачьи встрѣчи!.. открыто, всенародно носимъ свой позоръ, свое

петрезвость, казня ихъ въ женщинѣ! Вотъ гдѣ оба пола должны довоспитаться другъ до друга, идти параллельно, не походя, одни—на собакъ, другія—на кошекъ, и оба вмѣстѣ—на обезьянъ! Тогда и кончится этотъ нравственный разладъ между двумя полами, эта путаница понятій, эти взаимные обманы, нарсканія, измѣны! А то выдумали двѣ нравственности: одну для себя, другую для женщинъ!»

Онъ погрузился въ собственныя воспоминанія о раннихъ годахъ молодости — и легъ на диванъ. Долго лежалъ онъ, закрывъ лицо, и всталъ блѣдный, истерзанный внутренней мукой. «Какая перспектива грубости, лжи, какая отрава жизни! И цѣлые вѣка проходятъ, цѣлыя поколѣнія идутъ, утопая въ омутѣ нравственнаго и физическаго разврата—и никто, ничто не останавливаетъ этого мутнаго потока слѣпо распутной жизни! Развратъ выработалъ себѣ свои обычаи, почти принципы, и царствуетъ въ людскомъ обществѣ, среди хаоса понятій и страстей, среди анархіи нравовъ...»

Потомъ опять бросался къ Вѣрѣ, отыскивая тамъ луча чистоты, правды, незараженныхъ понятій, незлоупотребленнаго чувства, красоты души и тѣла, нераздѣльно-истинной красоты!

Онъ перебиралъ каждый ея шагъ, какъ судебный слѣдователь, и то дрожалъ отъ радости, то впадалъ въ уныніе, и выходилъ изъ омута этого анализа ни безнадежнѣе, ни [illegible]ѣреннѣе, чѣмъ былъ прежде, а все съ той же мучительной неизвѣстностью, какъ купающійся человѣкъ, который, [illegible]мая, что нырнулъ далеко, выплываетъ опять на прежнемъ [illegible]тѣ.

[illegible]ъ старался оправдать загадочность ея поведенія съ [illegible] припоминая свой быстрый натискъ: какъ онъ вдругъ [illegible]явилъ свои права на ея красоту, свое удивленіе по[illegible] поклоненіе, восторги, вспоминалъ, какъ она сна[illegible]бережно, а потомъ энергически отмахивалась отъ его [illegible], какъ явно смѣялась надъ его страстью, не вѣ-

рила и не вѣритъ ей до сихъ поръ, какъ удаляла его отъ себя, отъ этихъ мѣстъ, убѣждала уѣхать, а онъ напросился остаться!

«Да она права, я виноватъ!» думалъ онъ, теряясь въ соображеніяхъ.

Потомъ онъ вспомнилъ, какъ онъ хотѣлъ усмирить страсть постепенно, поддаваясь ей, гладя ее по шерсти, какъ гладятъ злую собаку, готовую броситься, чтобъ задобрить ее— и пятясь задомъ, уйти по-добру по-здорову. Зачѣмъ она тогда не открыла ему имени своего идола, когда увѣрена была, что это мигомъ отняло бы всѣ надежды у него и страсть остыла бы мгновенно?

Чего это ей стоило? Ничего! Она знала, что тайна ея останется тайной, а между тѣмъ молчала и какъ-будто умышленно разжигала страсть. Отчего не сказала? Отчего не дала ему уѣхать, а просила остаться, когда даже онъ велѣлъ... Егоркѣ принести съ чердака чемоданъ? Кокетничала—стало-быть, обманывала его! И бабушкѣ не велѣла сказывать, честное слово взяла съ него—стало-быть, обманываетъ и ее, и всѣхъ!

«Она, она виновата!»

Онъ сталъ писать дневникъ. Полились волны поэзіи, импровизаціи, полныя, то нѣжнаго умиленія и поклоненія, то живой, ревнивой страсти и всѣхъ ея бурныхъ и горячихъ воплей, пѣсенъ, мукъ, счастья.

Самую любовь онъ обставлялъ всей прелестью декорацій, какою обставила ее человѣческая фантазія, осмысливая ее нравственнымъ чувствомъ и полагая въ этомъ чувствѣ, какъ въ разумѣ, «и можетъ быть, тутъ и именно болѣе, нежели въ разумѣ» (писалъ онъ) бездну, отдѣлившую человѣка отъ всѣхъ не человѣческихъ организмовъ. «Великая любовь неразлучна съ глубокимъ умомъ: широта ума равняется глубинѣ сердца — оттого крайнихъ вершинъ гуманности достигаютъ только великія сердца — они же и великіе умы!»

проповѣдывалъ онъ. Измѣнялись краски этого волшебнаго узора, который онъ подбиралъ, какъ художникъ и какъ нѣжный влюбленный, измѣнялся безпрестанно онъ самъ, то падая въ прахъ къ ногамъ идола, то вставая и громя хохотомъ свои мѐки и счастье. Не измѣнялась только нигдѣ его любовь къ добру, его здравый взглядъ на нравственность. «Вѣруй въ Бога, знай, что дважды два четыре, и будь честный человѣкъ, говоритъ гдѣ-то Вольтеръ», писалъ онъ: «а я скажу—люби женщина кого хочешь, люби по-земному, но не по-кошачьи только и не по расчету, и не обманывай любовью!»

«Честная женщина!»—писалъ онъ: «требовать этого, значитъ требовать всего. Да, это все! Но не требовать этого, значитъ тоже ничего не требовать, оскорблять женщину, ея человѣческую натуру, творчество Бога, значитъ, прямо и грубо отказывать ей въ правахъ на равенство съ мужчиной, на что̀ женщины справедливо жалуются. Женщина—вѣнецъ созданія,—да, но не Венера только. Кошка коту кажется тоже вѣнцомъ созданія, Венерой кошечьей породы! женщина—Венера, пожалуй, но осмысленная, одухотворенная Венера, сочетаніе красоты формъ съ красотой духа, любящая и честная, т. е. идеалъ женскаго величія, гармонія красоты!»

Все это глубокомысліе сбывалъ Райскій въ дневникъ, съ надеждой прочесть его при свиданіи Вѣрѣ, а съ ней продолжалъ мѣняться коротенькими, дружескими записками.

Отъ пера онъ бросался къ музыкѣ и забывался въ звукахъ, прислушиваясь самъ съ любовью, какъ они пѣли ему его же страсть и гимны красотѣ. Ему хотѣлось бы поймать эти звуки, формулировать въ стройномъ созданіи гармоніи.

Изъ этихъ волнъ звуковъ очертывалась у него въ фантазіи какая-то музыкальная поэма: онъ силился улѐвить тайну созданія и три утра бился, изведя толстую тетрадь нотной бумаги. А когда сыгралъ на четвертое утро напи-

санное, вышла... полька-редова, но такая мрачная и грустная, что онъ самъ разливался въ слезахъ, играя ее.

Онъ удивился такому скудному результату своихъ роскошныхъ импровизацій, положенныхъ на бумагу, и со вздохомъ сознался, что одной фантазіей не одолѣешь музыкальной техники.

«Что если и съ романомъ выйдетъ у меня то же самое?...» задумывался онъ. «Но теперь еще—не до романа: это послѣ, послѣ, а теперь — Вѣра на умѣ, страсть, жизнь, не искусственная, а настоящая!»

Онъ ходилъ по дому, по саду, по деревнѣ и полямъ, точно сказочный богатырь, когда былъ въ припадкѣ счастья, и столько силы носилъ въ своей головѣ, сердцѣ, во всей нервной системѣ, что все цвѣло и радовалось въ немъ.

Мысль его плодотворна, фантазія производительна, душа открыта для добра, дѣятельности и любви — не къ одной Вѣрѣ, но общей любви ко всякому живому созданію. На все льются лучи его мягкости, ласки, заботы, вниманія.

Онъ чутко понимаетъ потребность, не только другого, ближняго, несчастнаго, и спѣшитъ подать руку помощи, утѣшенія, но входитъ даже въ положеніе — вонъ этой ползущей букашки, которую бережно сажаетъ съ дорожки на кустъ, чтобъ уберечь отъ ноги прохожаго.

Онъ бы написалъ Рафаэлеву Мадонну въ эти минуты счастья, если бъ она не была уже написана, изваялъ бы Милосскую Венеру, Аполлона Бельведерскаго, создалъ бы снова храмъ Петра!

Въ моменты мукъ, напротивъ, онъ былъ худъ, блѣденъ, боленъ, не ѣлъ, и ходилъ по полямъ, ничего не видя, забывая дорогу, спрашивая у встрѣчныхъ мужиковъ, гдѣ Малиновка, направо или налѣво?

Тогда онъ былъ сухъ съ бабушкой и Марѳинькой, грубъ съ прислугой, не спалъ до разсвѣта, а если и засыпалъ,

то труднымъ, болѣзненнымъ сномъ, продолжая и во снѣ переживать пытку.

Иногда онъ оглядывался вокругъ себя, какъ-будто спрашивая глазами у всѣхъ: «гдѣ я и что̀ вы за люди?»

Марѳинька немного стала бояться его. Онъ, большею частію, запирался у себя на верху, и тамъ—или за дневникомъ, или ходя по комнатѣ, говоря самъ съ собой, или опять за фортепіано, выбрасывалъ, какъ онъ живописно выражался, «пѣну страсти».

Егорка провертѣлъ щель въ деревянной, оклеенной бумагой перегородкѣ, отдѣлявшей кабинетъ Райскаго отъ коридора, и подглядывалъ за нимъ.

— Ну, дѣвки, покажу я вамъ диковинку!—сказалъ онъ, плюнувъ сквозь зубы въ сторону:—пойдемте, Пелагея Петровна, къ барину, къ Борису Павловичу, въ щелку посмотрѣть; въ тіатръ не надо ходить: какъ онъ тамъ «дѣйствуетъ»!..

— Некогда мнѣ, гладить надо,—сказала та, грѣя утюгъ.

— Ну, вы, Матрена Семеновна?

— А кто жъ комнату Марѳы Васильевны уберетъ? Ты, что ли?

— Что за чортъ, не дозовешься ни одной! — сказалъ съ досадой Егорка, опять плюя сквозь зубы: — а я тамъ вертѣлъ-вертѣлъ буравомъ!

— Покажи мнѣ, что̀ тамъ такое!—напрашивалась любопытная Наталья, одна изъ плетельщицъ кружевъ у Татьяны Марковны.

— Вы — распрекрасная дѣвица, Наталья Ѳедоровна, — сказалъ Егорка нѣжно: — словно — барышня! Я бы — не то что въ щелку далъ вамъ посмотрѣть, руку и сердце предложилъ бы—только... рожу бы вамъ другую!..

Прочія дѣвки засмѣялись, а та обидѣлась.

— Ругатель!—сказала она, уходя изъ комнаты: — право, ругатель!

— А то вы, — договаривалъ Егорка ей вслѣдъ: — больно ужъ на тятеньку своего смахиваете съ рыла-то, на Ѳаддея Ильича!

И захихикалъ.

Однако онъ убѣдилъ первыхъ двухъ пойти и посмотрѣть. Всѣ смотрѣли по очереди въ щель.

— Глядите, глядите, какъ заливается, плачетъ никакъ! — говорилъ Егорка, толкая то одну, то другую къ щели.

— Взаправду плачетъ, сердечный! — сказала жалостно Матрена.

— Да не хохочетъ ли? И такъ хохочетъ! Смотрите, смотрите!

Всѣ трое присѣли и всѣ захихикали.

— Экъ его разбираетъ! — говорилъ Егорка: — врѣзамшись, должно-быть, въ Вѣру Васильевну...

Пелагея ткнула его кулакомъ въ бокъ.

— Что ты врешь, поганецъ! — замѣтила она со страхомъ: — ври, да не смѣй трогать барышень! Вотъ узнаетъ барыня... Пойдемте прочь!

А Райскій и плакалъ, и смѣялся чуть ли не въ одно и то же время, и все искренно «дѣвствовалъ», т.-е. плакалъ и смѣялся больше художникъ, нежели человѣкъ, повинуясь нервамъ.

Онъ въ чистыхъ формахъ все выливалъ образъ Вѣры, и чертя его безсознательно и непритворно, чертилъ и образъ своей страсти, отражая въ ней, иногда наивно и смѣшно, и все, что было свѣтлаго, честнаго въ его собственной душѣ, и чего требовала его душа отъ другого человѣка и отъ женщины.

— Что ты все пишешь тамъ? — спрашивала Татьяна Марковна: — драму или все романъ, что ли?

— Не знаю, бабушка, пишу жизнь — выходитъ романъ; пишу романъ, выходитъ жизнь. А что будетъ окончательно — не знаю.

— Чѣмъ бы дитя ни тѣшилось, только бы не плакало,— замѣтила она, и почти вѣрно опредѣлила этой пословицей значенія писанья Райскаго.

У него уходило время, сила фантазіи разрѣшалась естественнымъ путемъ, и онъ не замѣчалъ жизни, не зналъ скуки, никуда и ничего не хотѣлъ.

— Зачѣмъ только ты пишешь все по ночамъ? — сказала она.—Смерть—боюсь... Ну, какъ заснешь надъ своей драмой! И шутка ли, до свѣта? вѣдь ты изведешь себя. Посмотри, ты иногда желтъ, какъ переспѣлый огурецъ...

Онъ смотрѣлся въ зеркало, и самъ поражался перемѣной въ себѣ. Желтыя пятна легли на вискахъ и около носа, а въ черныхъ густыхъ волосахъ появились замѣтныя сѣдины.

«Зачѣмъ я брюнетъ, а не блондинъ?» роптать онъ. «Десятью годами раньше состарѣюсь!

— Ничего, бабушка, не обращайте вниманія на меня,— отвѣчалъ онъ:—дайте свободу... Не спится! иногда и радъ бы, да не могу.

— И онъ «свободу», какъ Вѣра!

Она вздохнула.

— Далась имъ эта свобода: точно бабушка ихъ въ кандалахъ держитъ! Писалъ бы, да не по ночамъ,—прибавила она: — а то я не сплю покойно. Въ которомъ часу ни поглядишь, все огонь у тебя...

— Ручаюсь, бабушка, что пожара не сдѣлаю, хоть самъ сгорю весь...

— О, типунъ тебѣ на языкъ! — сердилась она серьезно, кроя что-то сама иглой надъ пріятнымъ Марфинькой, хотя тутъ хлопотали около разложенныхъ столовъ десять швей.

Но она не могла видѣть другихъ за работой, чтобъ и самой не приняться тутъ же, какъ Викентьевъ не могъ не засмѣяться и не заплакать, когда смѣялись и плакали другіе.

— Не дразни судьбу, не накликай на себя! — прибавила она.—Помни: языкъ мой—врагъ мой!

Онъ вдругъ вскочилъ съ дивана и бросился къ окну, а потомъ въ дверь и скрылся.

— Мужикъ идетъ съ письмомъ отъ Вѣры!—сказалъ онъ, уходя.

— Вишь какъ, точно родному отцу обрадовался. А сколько свѣчей изводитъ онъ съ этими романами да драмами: по четыре свѣчки за ночь! — разсуждала экономная бабушка шопотомъ.

V.

Райскій получилъ нѣсколько строкъ отъ Вѣры. Она жаловалась, что скучаетъ тамъ, и дѣйствительно, по нѣкоторымъ фразамъ, видно было, что ее тяготитъ уединеніе.

Она писала, что желаетъ видѣть его, что онъ ей нуженъ, и впереди будетъ еще нужнѣе, что «безъ него она жить не можетъ»—и иногда записка разрѣшалась въ какой-то смѣхъ, который, какъ русалочное щекотанье, производилъ въ немъ зудъ и боль.

Но несмотря на этотъ смѣхъ, таинственная фигура Вѣры манила его все въ глубину фантастической дали. Вѣра шла будто отъ него въ туманѣ покрывала; онъ стремился за ней, касался покрывала, хотѣлъ открыть ея тайны и узнать, что̀ за Изида передъ нимъ.

Онъ только-что коснется покрывала, какъ она ускользнетъ, уйдетъ дальше. Онъ блаженствовалъ и мучился двойными радостями и муками, и человѣка, и художника, не зная самъ, гдѣ является одинъ, когда исчезаетъ другой и когда оба смѣшиваются.

Получая изрѣдка ея краткія письма, гдѣ дружескій тонъ смѣшивался съ ядовитымъ смѣхомъ надъ его страстью, надъ стремленіями къ идеаламъ, надъ игрой его фантазіи, которою онъ нерѣдко сверкалъ въ разговорахъ съ ней, онъ самъ

заливался искреннимъ смѣхомъ и потомъ почти плакалъ отъ грусти и отъ безсилія разсказать себя, далъ ключъ къ своей натурѣ.

— Не понимаетъ, бѣдная, — роналъ онъ: — что казнить за фантазію, это все равно, что казнить человѣка за то, что у него тѣнь велика: зачѣмъ покрываетъ цѣлое поле, растетъ выше зданія! И не вѣритъ страсти! Посмотрѣла бы она, какъ этотъ удавъ тянется передо мной, сверкая изумрудами и золотомъ, когда его грѣетъ и освѣщаетъ солнце, и какъ блѣднѣетъ, ползя во мракѣ, шипя и грозя острыми зубами! Пусть бы пришли сюда и знатоки, и толкователи такъ-называемыхъ тайнъ сердца и страстей, и выложили бы тутъ свои понятія и философію, добытую съ досокъ Михайловскаго театра. «Нельзя любить, когда оскорблено самолюбіе».—«Любовь—это эгоизмъ à deux»—«любовь проходитъ, когда не раздѣлена» и т. п. сыплютъ они свои сентенціи.

— А вотъ она, эта страсть,—говорилъ онъ:—не угодно ли попробовать! Меня толкаютъ, смѣются—а я все люблю, и какъ люблю! Не какъ «сорокъ тысячъ братьевъ, — мало отпустилъ Шекспиръ—а какъ всѣ люди вмѣстѣ. Всѣ образы любви ушли въ эту мою любовь. Я люблю, какъ Леонтій любитъ свою жену, простодушной, чистой, почти пастушеской любовью, люблю сосредоточенной страстью, какъ этотъ серьезный Савелій, люблю какъ Викентьевъ, со всею веселостью и рѣзвостью жизни, люблю какъ любитъ, можетъ-быть, Тушинъ, удивляясь и поклоняясь втайнѣ, и люблю, какъ любитъ бабушка свою Вѣру — и наконецъ еще какъ никто не любитъ, люблю такою любовью, которая дана Творцомъ и которая, какъ океанъ, омываетъ вселенную...

— А если сократить все это въ одно слово,—вдругъ стрепенется на минуту какъ чиновникъ онъ — то выйдетъ «любовь какъ художникъ», т. е. какъ сплошь воодушевленной... или разнузданной фантазіи»

Его увлекалъ процессъ писанья, какъ процессъ неумышленнаго творчества, гдѣ передъ его глазами, пестрымъ узоромъ, неслись его собственныя мысли, ощущенія, образы. Листки эти однако мѣшали ему забыть Вѣру, чего онъ искренно хотѣлъ, и питали страсть, т.-е. воображеніе.

«А она не пойметъ этого», печально думалъ онъ: «и сочтетъ эти, ею внушенныя и ей посвященныя произведенія фантазіи — за любовную чепуху! Ужели и она не пойметъ: женщина! А у ней, кажется, уши такія маленькія, умныя»...

«Да умна ли она? Вѣдь у насъ часто за умъ, особенно у женщинъ, считаютъ одну только, до-нельзя изощренную низшую его степень — хитрость, и женщины даже кичатся, что владѣютъ этимъ тонкимъ орудіемъ, этимъ умомъ кошки лисы, даже нѣкоторыхъ насѣкомыхъ! Это пассивный умъ, способность таиться, избѣгать опасности, прятаться отъ силы, отъ угнетенія».

«Такой умокъ выработала себѣ между прочимъ, въ долгомъ угнетеніи, обезсилѣвшая и разсѣянная цѣлая еврейская нація, тайкомъ пробиравшаяся сквозь человѣческую толпу, хитростью отстаивавшая свою жизнь, имущество и свои права на существованіе».

«Этотъ умокъ помогаетъ съ успѣхомъ пробавляться въ обиходной жизни, дѣлать мелкія дѣлишки, прятать грѣшки и т. д. Но когда женщинамъ возвратятъ ихъ права — эта тонкость, полезная въ мелочахъ и почти всегда вредная въ крупныхъ, важныхъ дѣлахъ, уступитъ мѣсто прямой человѣческой силѣ—уму».

Когда онъ отрывался отъ дневника и трезво жилъ день, другой, Вѣра опять стояла безукоризненна въ его умѣ. Сомнѣнія, подозрѣнія, оскорбленія—сами по себѣ были чужды его натурѣ, какъ и доброй, честной натурѣ Отелло. Это были случайныя искаженія и опустошенія, продукты страсти и неизвѣстности, бросавшей на все ложныя и мрачныя краски.

Однажды, въ ея запискѣ, послѣ дружескихъ, нѣжно-насмѣшливыхъ изліяній, была слѣдующая приписка послѣ словъ: «ваша Вѣра»:

«Другъ и братъ мой! Вы научили меня любить и страдать. Вы подѣлились со мной силами души своей, вложили, кажется, въ меня и самую вашу нѣжную, любящую душу... И вотъ эта нѣжность ваша внушаетъ мнѣ смѣлость подѣлиться съ вами добрымъ дѣломъ. Здѣсь есть одинъ несчастный, изгнанный изъ родины... На немъ тяготѣетъ подозрѣніе правительства... Ему некуда приклонить голову, всѣ отъ него отступились, одни по равнодушію, другіе по боязни. Вы любите ближняго и не можете быть равнодушны, еще менѣе можете бояться добраго, чистаго, святого дѣла. У него нѣтъ ни гроша денегъ, ни платья, а на дворѣ осень...

«Я не прибавляю къ этому ничего; здѣсь все правда, каждое слово: ваша Вѣра не солжетъ вамъ. Если сердце ваше, въ чемъ я не сомнѣваюсь, скажетъ вамъ, что̀ надо дѣлать, то пошлите ваше пособіе на имя дьячихи Секлетеи Бурдалаховой, дойдетъ вѣрно: я сама буду наблюдать. Но сдѣлайте такъ, чтобъ бабушка не замѣтила ничего, и никто въ домѣ.

«Можетъ-быть—и весьма естественно—вы затруднитесь, какъ велика должна быть сумма, то рублей трехсотъ, даже двухсотъ двадцати — будетъ довольно ему на цѣлый годъ. Да если бъ вы прислали пальто и жилетъ изъ осенняго трико, — (видите, какъ я вѣрю въ нѣжность вашей души вообще, и въ любовь ко мнѣ въ особенности, что даже и мѣру прилагаю, которую снялъ съ него деревенскій портной!), то этимъ вы защитите бѣдняка и отъ холода.

«Затѣмъ я уже не смѣю напоминать о тепломъ одѣялѣ— это бы значило употреблять во зло вашу доброту и слабость ко мнѣ: это до другого раза! Къ зимѣ бѣдный изгнанникъ уйдетъ вѣроятно отсюда, благословляя васъ, а съ вами и... меня немножко. Я бы не тревожила васъ, но

вы знаете, всѣ мои деньги у бабушки, а я ей открыться не могу».

— Что̀ такое? Что̀ это такое!—почти закричалъ Райскій отъ изумленія, дочитавъ post-scriptum, и ворочая глазами вокругъ, мысленно искалъ ключа.

— Не она, не она!—вслухъ произнесъ потомъ и вдругъ легъ на диванъ: съ нимъ сдѣлался припадокъ истерическаго смѣха.

Это было въ кабинетѣ Татьяны Марковны. Тутъ были Викентьевъ и Марфинька. Послѣдніе оба сначала заразились смѣхомъ и дружно аккомпанировали ему, потомъ сдержались, начиная пугаться раскатовъ его хохота. Особенно Татьяна Марковна испугалась. Она даже достала какихъ-то капель и налила на ложечку. Райскій едва унялся.

— Выпей капель, Борюшка.

— Нѣтъ, бабушка—дайте мнѣ не капель, а денегъ рублей триста...

И опять закатился смѣхомъ. Бабушка отказала-было.

— Скажи, зачѣмъ, кому? Не Маркушкѣ ли? Взыщи прежде съ него восемьдесятъ рублей,—и пошла, и пошла.

Въ другое время онъ бы про себя наслаждался этой экономической чертой бабушки и не преминулъ бы добродушно подразнить ее. Но тутъ его жгли внутренніе огни нетерпѣнія, поглощалъ возрастающій интересъ комедіи.

Онъ чуть не въ драку полѣзъ съ нею, и послѣ отчаянной схватки, поторговавшись съ часъ, выручилъ отъ нея двѣсти двадцать рублей, не доторговавшись до трехсотъ, лишь бы скорѣе кончить.

Онъ запечаталъ ихъ и отослалъ на другой же день. Между тѣмъ отыскалъ портного и торопилъ сшить теплое пальто, жилетъ и купилъ одѣяло. Все это отослано было на пятый день.

«Слезами и сердцемъ, а не перомъ, благодарю васъ, милый, милый братъ», получилъ онъ отвѣтъ съ той стороны:

«не мнѣ награждать за это: небо наградитъ за меня! Моя благодарность—пожатіе руки и долгій-долгій взглядъ признательности! Какъ обрадовался вашимъ подаркамъ бѣдный изгнанникъ! онъ все «смѣется» съ радости и одѣлся въ обновки. А изъ денегъ сейчасъ же заплатилъ за три мѣсяца долгу хозяйкѣ и отдалъ за мѣсяцъ впередъ. И только на три рубля осмѣлился купить сигаръ, которыми не лакомился давно, а это—его страсть...»

«Пошлю завтра ящикъ», думалъ Райскій и послалъ, между прочимъ потому, что «вѣдь проситъ тотъ, у кого нѣтъ...» говорилъ онъ: «богатый не попросилъ бы»

Ему вдругъ пришло въ голову — послать ловкаго Егорку послѣдить, кто беретъ письма у рыбака, узнать, кто такая Секлетея Бурдалахова. Онъ ужъ позвонилъ, но когда явился Егоръ — онъ помолчалъ, взглянулъ на Егора, покраснѣлъ за свое намѣреніе и махнулъ ему рукой, чтобы онъ шелъ вонъ.

— Не могу, не могу!—шепталъ онъ съ непреодолимымъ отвращеніемъ. — Спрошу у ней самой — посмотрю, какъ и что̀ скажетъ она—и если солжетъ, прощай Вѣра, а съ ней и всякая вѣра въ женщинъ!

Слѣдя за ходомъ своей собственной страсти, какъ медикъ за болѣзнью, и какъ будто снимая фотографію съ нея, потому что искренно переживалъ ее, онъ здраво заключалъ, что эта страсть — ложь, миражъ, что надо прогнать, разсѣять ее!

«Но ка̀къ? что̀ надо теперь дѣлать?» спрашивалъ онъ, глядя на небо съ облаками, углубляя взглядъ въ землю: «что̀ велитъ долгъ?—отвѣчай же уснувшій разумъ, освѣти мнѣ дорогу, дай перепрыгнуть черезъ этотъ пылающій костеръ!»

«Бросить все и бѣжать прочь!» отозвался покойно разумъ.

— Да, да—брошу и бѣгу, не дождусь ея!—рѣшилъ онъ,

и тутъ только замѣтилъ приложенный къ ея письму клочокъ бумаги съ припиской Вѣры:

«Не пишите больше, я въ четвергъ буду сама домой: меня привезетъ лѣсничій!»

Онъ обрадовался.

— А! вотъ и пробный камень: Это сама бабушкина «судьба» вмѣшалась въ дѣло и требуетъ жертвы, подвига— и я его совершу. Черезъ три дня видѣть ее опять здѣсь... О, какая нѣга! Какое солнце взойдетъ надъ Малиновкой? Нѣтъ, убѣгу! Чего мнѣ это стоитъ, никто не знаетъ! И ужели не найду награды, потеряннаго мира? Скорѣй, скорѣй прочь... — сказалъ онъ рѣшительно и кликнулъ Егора, приказавъ принести чемоданъ.

И надо было бы тотчасъ бѣжать, т.-е. забывать Вѣру. Онъ и исполнилъ часть своей программы. Поѣхалъ въ городъ кое-что купить въ дорогу. На улицѣ онъ встрѣтилъ губернатора. Тотъ упрекнулъ его, что давно не видать? Райскій отозвался нездоровьемъ и сказалъ, что уѣзжаетъ на-дняхъ.

— Куда?—спросилъ тотъ.

— Да мнѣ все равно, — мрачно отвѣтилъ Райскій: — здѣсь... я усталъ, хочу развлечься, теперь поѣду въ Петербургъ, а тамъ въ свое имѣніе, въ Р—ую губернію, а можетъ-быть и за границу...

— Не удивительно, что вы соскучились, — замѣтилъ губернаторъ:—сидя на одномъ мѣстѣ, удаляясь отъ общества... — Нужно развлеченіе... Вотъ не хотите ли со мной прокатиться? Я послѣзавтра отправляюсь осматривать губернію...

«Послѣзавтра будетъ среда», мелькнуло соображеніе въ головѣ у Райскаго: «а она возвращается въ четвергъ... Да, да, судьба вытаскиваетъ меня... Не лучше ли бы уѣхать дальше, совсѣмъ отсюда—для полнаго подвига?»

— Посмотрите мѣстность, — продолжалъ губернаторъ: —

есть красивыя мѣста: вы поэтъ, наберетесь свѣжихъ впечатлѣній... Мы и по Волгѣ верстъ полтораста спустимся... Возьмите альбомъ, будете рисовать пейзажи...

— А если я приму?—отвѣчалъ Райскій, у котораго, рядомъ съ намѣреніемъ бороться со страстью, пріютилась надежда не разставаться вполнѣ хоть съ тѣми мѣстами, гдѣ присутствуетъ *она*, его безподобная, но мучительная красота!

— Поѣдемте, я вашъ спутникъ, — рѣшилъ онъ окончательно.

Губернаторъ ласково хлопнулъ рукой по его ладони и повелъ къ себѣ, показалъ экипажъ, удобный и покойный—сказалъ, что и кухня поѣдетъ за нимъ и карты захватитъ.

— Въ пикетъ будемъ сражаться, — прибавилъ онъ: — и мнѣ веселѣе ѣхать, чѣмъ съ однимъ секретаремъ, которому много будетъ дѣла.

Райскому стало легче уже отъ одного намѣренія перемѣнить мѣсто и обстановку. Что-то постороннее Вѣрѣ, какъ облако стало между нимъ и ею. Давно бы такъ, и это глупѣйшее состояніе кончилось бы!

— Вотъ почти и нѣтъ никакихъ бѣсовъ!—говорилъ онъ, возвращаясь къ себѣ.

Онъ подтвердилъ Егоркѣ готовить платье, бѣлье, сказавши, что ѣдетъ съ губернаторомъ.

Намѣренія его преодолѣть страсть были искренни, и онъ подумывалъ уже не возвращаться вовсе, а къ концу губернаторской поѣздки вытребовать свои вещи изъ дому и уѣхать, не повидавшись съ Вѣрой.

На этомъ бы и остановиться ему, отвернуться отъ Малиновки навсегда, или хоть надолго, и не оглядываться—и все потонуло бы въ пространствѣ, даже не такой дали, какую предполагалъ Райскій между Вѣрой и собой, а двухъ-трехъ сотъ верстъ, и во времени—не годовъ, а пяти-шести недѣль, и осталось бы развѣ смутное воспоминаніе отъ этой трескотни, какъ отъ кошемара.

Райскій зналъ это по прежнимъ, хотя и не такимъ сильнымъ опытамъ, но послѣдній опытъ всегда кажется не похожимъ чѣмъ-нибудь на прежніе, и потомъ подъ свѣжей страстью дымится свѣжая рана, а времени ждать долго.

Райскій зналъ и это и не лукавилъ даже передъ собой, а хотѣлъ только утомить чѣмъ-нибудь невыносимую боль, т.-е. не вдругъ удаляться отъ этихъ мѣстъ и не класть сразу непреодолимой дали между ею и собою, чтобы не вдругъ оборвался этотъ нервъ, которымъ онъ такъ связанъ былъ, и съ живой, полной прелести, стройной и нѣжной фигурой Вѣры, и съ воплотившимся въ ней его идеаломъ, живущимъ въ ея образѣ, вопреки таинственности ея поступковъ, вопреки его подозрѣніямъ въ ея страсти къ кому-то, вопреки наконецъ его грубымъ предположеніямъ въ ея женской распущенности, въ ея отношеніяхъ... къ Тушину, въ которомъ онъ болѣе всѣхъ подозрѣвалъ ея героя.

«А можетъ-быть, и другой, и другіе...» злобно думалъ онъ.

Онъ свои художническія требованія переносилъ въ жизнь, мѣшая ихъ съ общечеловѣческими, и писалъ послѣднюю съ натуры, и тутъ же, невольно и безсознательно, приводилъ въ исполненіе древнее мудрое правило, «познавалъ самого себя», съ ужасомъ вглядывался и вслушивался въ дикіе порывы животной, слѣпой натуры, самъ писалъ ей казнь и чертилъ новые законы, разрушалъ въ себѣ «ветхаго человѣка» и создавалъ новаго. И если ужасался, глядясь самъ въ подставляемое себѣ безпощадное зеркало зла и темноты, то и неимовѣрно былъ счастливъ, замѣчая, что эта внутренняя работа надъ собой, которой онъ требовалъ отъ Вѣры, отъ живой женщины, какъ человѣкъ, и отъ статуи, какъ художникъ, началась у него самого не съ Вѣры, а давно, прежде когда-то, въ минуты такого же раздвоенія натуры на реальное и фантастическое.

Онъ, съ біеніемъ сердца и трепетомъ чистыхъ слезъ, подслушивалъ, среди грязи и шума страстей, подземную

тихую работу, въ своемъ человѣческомъ существѣ, какого-то таинственнаго духа, затихавшаго иногда въ трескѣ и дымѣ нечистаго огня, но не умиравшаго и просыпавшагося опять, зовущаго его, сначала тихо, потомъ громче и громче, къ трудной и нескончаемой работѣ надъ собой, надъ своей собственной статуей, надъ идеаломъ человѣка.

Радостно трепеталъ онъ, вспоминая, что не жизненныя приманки, не малодушные страхи звали его къ этой работѣ, а безкорыстное влеченіе искать и создавать красоту въ себѣ самомъ. Духъ манилъ его за собой, въ свѣтлую, таинственную даль, какъ человѣка и какъ художника, къ идеалу чистой человѣческой красоты.

Съ тайнымъ, захватывающимъ дыханіе ужасомъ счастья видѣлъ онъ, что работа чистаго генія не рушится отъ пожара страстей, а только останавливается, и когда минуетъ пожаръ, она идетъ впередъ, медленно и туго, но все идетъ— и что въ душѣ человѣка, независимо отъ художественнаго, таится другое творчество, присутствуетъ другая живая жажда, кромѣ животной, другая сила, кромѣ силы мышцъ.

Пробѣгая мысленно всю нить своей жизни, онъ припоминалъ, какія нечеловѣческія боли терзали его, когда онъ падалъ, какъ медленно вставалъ опять, какъ тихо чистый духъ будилъ его, звалъ вновь на нескончаемый трудъ, помогая встать, собирая, утѣшая, выращая ему вѣру въ красоту правды и добра и силу — [illegible] выше...

Онъ [illegible] ужасами, чувствуя, какъ [illegible] къ развитію его силы, и какъ [illegible] и боли [illegible] туда, въ [illegible] [illegible] [illegible]

ная Вѣра, а если приходила, то за тѣмъ только, чтобъ онъ съ мольбой звалъ ее туда же, на эту работу тайнаго духа, показать ей священный огонь внутри себя и пробудить его въ ней, и умолять беречь, лелѣять, питать его въ себѣ самой.

Тогда казалось ему, что онъ любилъ Вѣру такой любовью, какою никто другой не любилъ ея, и самъ смѣло требовалъ отъ нея такой же любви и къ себѣ, какой она не могла дать своему идолу, какъ бы страстно ни любила его, если этотъ идолъ не носилъ въ груди такихъ же силъ, такого же огня, и слѣдовательно такой же любви, какая была заключена въ немъ и рвалась къ ней.

Съ другой, жгучей и разрушительной страстью, онъ искренно и честно продолжалъ бороться, чувствуя, что она не раздѣлена Вѣрою, и слѣдовательно не можетъ разрѣшиться, какъ разрѣшается у двухъ, взаимно любящихъ честныхъ натуръ, въ тихое и покойное теченіе, словомъ, въ счастье, въ которомъ, очистившись отъ животнаго бѣшенства, она превращается въ человѣческую любовь.

Онъ теперь уже не звалъ болѣе страсть къ себѣ, какъ прежде, а проклиналъ свое внутреннее состояніе, мучительную борьбу, и написалъ Вѣрѣ, что рѣшился бѣжать ея присутствія. Теперь, когда онъ сталъ уходить отъ нея,—она будто пошла за нимъ, все подъ своимъ таинственнымъ покрываломъ, затрогивая, дразня его, будила его сонъ, отнимала книгу изъ рукъ, не давала ѣсть.

Дня черезъ три онъ получилъ коротенькую записку, съ вопросомъ: «гдѣ онъ? что не возвращается? отчего нѣтъ писемъ?» Какъ будто ей не было дѣла до его намѣренія уѣхать, или она не получила его письма.

Она звала его домой, говорила, что она воротилась, что «безъ него скучно», Малиновка опустѣла, всѣ повѣсили носъ, что Марѳинька собирается ѣхать гостить за Волгу, къ матери своего жениха, тотчасъ послѣ дня своего рожде-

нія, который будетъ на слѣдующей недѣлѣ, что бабушка останется одна и пропадетъ съ тоски, если онъ не принесетъ этой жертвы... и бабушкѣ, и ей...

«Да, знаю я эту жертву», думалъ онъ злобно и подозрительно: «въ домѣ, безъ меня и безъ Мареиньки, замѣтнѣе будутъ твои скачки съ обрыва, дикая коза! Надо сидѣть съ бабушкой долѣе, обѣдать не въ своей комнатѣ, а со всѣми — понимаю! Не будетъ же этого! Не дамъ тебѣ торжествовать—довольно! Сброшу съ плечъ эту глупую страсть, и никогда ты не узнаешь своего торжества!»

Онъ написалъ ей отвѣтъ, гдѣ повторилъ о своемъ намѣреніи уѣхать, не повидавшись съ нею, находя, что это единственный способъ исполнить ея давнишнее требованіе— оставить ее въ покоѣ и прекратить свою собственную пытку. Потомъ разорвалъ свой дневникъ и бросилъ по вѣтру клочки, вполнѣ разочарованный въ произведеніяхъ своей фантазіи.

Куры бросились со всѣхъ сторонъ къ окну губернаторской квартиры въ уѣздномъ городѣ, принявъ за какую-то куриную манну эти, какъ снѣгъ, посыпавшіеся обрывки бумаги, и потомъ медленно разошлись, тоже разочарованныя, поглядывая вопросительно на окно.

На другой день къ вечеру онъ получилъ коротенькій отвѣтъ отъ Вѣры, гдѣ она успокоивала его, одобряя намѣреніе его уѣхать, не повидавшись съ ней, и изъявила полную готовность помочь ему побѣдить *страсть* (слово было подчеркнуто) — и для того она сама, вслѣдъ за отправленіемъ этой записки, уѣзжаетъ въ тотъ же день, т.-е. въ пятницу, опять за Волгу. Ему же совѣтовала пріѣхать проститься съ Татьяной Марковной и со всѣмъ домомъ, иначе внезапный отъѣздъ удивилъ бы весь городъ и огорчилъ бы бабушку.

Райскій почти обрадовался этому совѣту. У него отлегло отъ сердца, и онъ на другой день, т.-е. въ пятницу послѣ

обѣда, легко и весело выпрыгнулъ изъ кареты губернатора, когда они въѣхали въ слободу близъ Малиновки, и поблагодарилъ его превосходительство за удовольствіе пріятной прогулки. Онъ, съ дорожнымъ своимъ мѣшкомъ, быстро пробѣжалъ ворота и явился въ домъ.

VI.

Марѳинька первая, Викентьевъ второй, и съ нимъ дворовыя собаки, выскочили встрѣтить его, и всѣ, до Пашутки включительно, обрадовались ему почти до слезъ, такъ что и ему, несмотря на хмель страсти, едва не заплакалось отъ этой теплоты сердечнаго пріема.

«Ахъ, зачѣмъ мнѣ мало этого счастья—зачѣмъ я не бабушка, не Викентьевъ, не Марѳинька, зачѣмъ я—Вѣра въ своемъ родѣ?» думалъ онъ и боязливо искалъ Вѣру глазами.

— А Вѣра уѣхала вчера! — сказала Марѳинька съ особенной живостью, замѣтивъ, конечно, что онъ тоскливо оглядывался вокругъ себя.

— Да, Вѣра Васильевна уѣхала, — повторилъ и Викентьевъ.

— Барышни нѣтъ! — сказали и люди, хотя онъ ихъ и не спрашивалъ.

Ему бы радоваться, а у него сердце упало.

«И весело имъ, что уѣхала, улыбаются, имъ это ничего!» думалъ онъ, проходя къ Татьянѣ Марковнѣ въ кабинетъ.

— Какъ я ждала тебя, хотѣла эстафету посылать!—сказала она съ тревожнымъ лицомъ, выславъ Пашутку вонъ и затворяя кабинетъ.

Онъ испугался, ожидая какой-нибудь вѣсти о Вѣрѣ.

— Что̀ такое случилось!

— Твой другъ, Леонтій Ивановичъ...

— Ну?

— Боленъ.

— Бѣдный! Что̀ съ нимъ? Я сейчасъ поѣду... Опасно?

— Погоди, я велю лошадь заложить, а пока скажу отчего; въ городѣ ужъ всѣ знаютъ. Я только для Марѳиньки секретничаю. А Вѣра ужъ узнала отъ кого-то...

— Что съ нимъ случилось?

— Жена уѣхала...—шопотомъ сказала Татьяна Марковна, нахмурившись:—онъ и слегъ. Кухарка его третьяго дня и вчера два раза прибѣгала за тобой...

— Куда уѣхала?

— Съ французомъ, съ Шарлемъ укатила! Того вдругъ вызвали въ Петербургъ зачѣмъ-то. Ну, вотъ и она... «Меня, говоритъ, кстати проводитъ до Москвы M-r Charles». И какъ схитрила: «хочу, говоритъ, повидаться съ родными въ Москвѣ», и выманила у мужа видъ для свободнаго проживанія.

— Ну, такъ что жъ за бѣда?—сказалъ Райскій:—ея сношенія съ Шарлемъ не секретъ ни для кого, кромѣ мужа: посмѣются еще, а онъ ничего не узнаетъ. Она воротится...

— Ты не дослушалъ. Письмо съ дороги прислала мужу, гдѣ проситъ забыть ее, говоритъ, чтобъ не ждалъ, не воротится, что не можетъ жить съ нимъ, зачахнетъ здѣсь...

Райскій пожалъ плечами.

— Ахъ, Боже мой! Ахъ, дура!—горевалъ онъ.— Бѣдный Леонтій! Мало ей самой было негласнаго скандала—нѣтъ, захотѣла публичнаго!.. Сейчасъ поѣду: ахъ, какъ мнѣ жаль его!

— И мнѣ жаль, Борюшка. Я хотѣла сама съѣздить къ нему — у него честная душа, онъ — какъ младенецъ! Богъ далъ ему ученость, да острыхъ не далъ... закопался въ свои книги! У кого онъ тамъ на рукахъ... Да вотъ что: если за нимъ нѣтъ присмотру, перевези его сюда—въ старомъ домѣ пусто, кромѣ Вѣриной комнаты... Мы его тамъ пока похѣстимъ... Я на случай велѣла [illegible] комнаты.

— Что вы за женщины, [illegible]! я только-что и думалъ, а вы ужъ и велѣли...

Онъ пошелъ на минуту къ себѣ. Тамъ нашелъ онъ письма изъ Петербурга, между ними одно отъ Аянова, своего пріятеля и партнера Надежды Васильевны и Анны Васильевны Пахотиныхъ, въ отвѣтъ на нѣсколько своихъ писемъ къ нему, въ которыхъ просилъ извѣстій о Софьѣ Бѣловодовой, а потомъ забылъ.

Онъ вскрылъ письмо и увидалъ, что Аяновъ пишетъ, между прочимъ, о ней, отвѣчая на его письмо.

«Когда опомнился!» подумалъ онъ: «тогда у меня еще было свѣжо воспоминаніе о ней, а теперь я и лицо ея забылъ! Теперь даже Секлетея Бурдалахова интереснѣе для меня, потому только, что напоминаетъ Вѣру!»

Онъ не читалъ писемъ, не вскрылъ журналовъ и поѣхалъ къ Козлову. Ставни сѣраго домика были закрыты, и Райскій едва достучался, чтобъ отперли ему двери.

Онъ прошелъ прихожую, потомъ залу, и остановился у кабинета, не зная, постучать, или войти прямо.

Дверь вдругъ тихо отворилась, передъ нимъ явился Маркъ Волоховъ, въ женскомъ капотѣ и въ туфляхъ Козлова, нечесанный, съ невыспавшимся лицомъ, блѣдный, худой, съ злыми глазами, какъ будто его всего передернуло.

— Насилу васъ принесла нелегкая!—сказалъ онъ съ досадой вполголоса:—гдѣ вы пропадали? Я другую ночь почти не сплю совсѣмъ... Днемъ тутъ ученики вертѣлись, а по ночамъ онъ одинъ...

— Что̀ съ нимъ?

— Что̀? развѣ вамъ не сказали? Ушла коза-то! Я обрадовался, когда услыхалъ, шелъ поздравить его, гляжу — а на немъ лица нѣтъ! Глаза помутились, никого не узнаётъ. Чуть горячка не сдѣлалась, теперь, кажется, проходитъ. Чѣмъ бы плакать отъ радости, уродъ убивается горемъ. Я лѣкаря-было привелъ, онъ прогналъ, а самъ ходитъ, какъ шальной... Теперь онъ спитъ, не мѣшайте. Я уйду домой, а вы останьтесь, чтобъ онъ чего не натворилъ надъ собой

въ припадкѣ тупоумной меланхоліи. Никого не слушаетъ— я ужъ хотѣлъ побить его...

Онъ плюнулъ съ досады.

— На кухарку положиться нельзя—она идіотка. Вчера дала ему принять зубного порошка, вмѣсто настоящаго. Завтра вечеромъ я смѣню васъ...—прибавилъ онъ.

Райскій съ изумленіемъ поглядѣлъ на Марка и подалъ ему руку.

— За что̀ такая милость?—спросилъ Маркъ желчно, не давая руки.

— Благодарю, что не кинули моего бѣднаго товарища...

— Ахъ, очень пріятно!—сказалъ Маркъ, шаркая обѣими туфлями и крѣпко тряся за руку Райскаго:—я давно искалъ случая услужить вамъ...

— Что это, Волоховъ, вы, какъ клоунъ въ циркѣ, все выворачиваете себя на изнанку!..

— А вы все рисуетесь въ жизни и рисуете жизнь!—ядовито отвѣчалъ Волоховъ.—Ну, на кой чортъ мнѣ ваша благодарность? Развѣ я для нея, или для кого-нибудь пришелъ къ Козлову, а не для него самого?

— Ну, хорошо, Маркъ Ивановичъ, Богъ съ вами и съ вашими манерами! Сила не въ нихъ и не въ моей «рисовкѣ»! Вы сдѣлали доброе дѣло...

— Опять похвала!

— Опять. Это моя манера говорить—что̀ мнѣ нравится, что̀ нѣтъ. Вы думаете, что быть грубымъ — значитъ быть простымъ и натуральнымъ, а я думаю, чѣмъ мягче человѣкъ, тѣмъ онъ больше человѣкъ. Очень жалѣю, если вамъ не нравится этотъ мой «рисунокъ», но дайте мнѣ свободу рисовать жизнь по-своему!

— Хорошо, сахарничайте, какъ хотите!—сквозь зубы проворчалъ Маркъ.

— Леонтья я перевезу къ себѣ: тамъ онъ будетъ, какъ

въ своей семьѣ, — продолжалъ Райскій: — и если горе не пройдетъ, то онъ и останется навсегда въ тихомъ углу...

— Вотъ теперь дайте руку, — сказалъ Маркъ серьезно, схвативъ его за руку:—это дѣло, а не слова! Козловъ разсохнется и служить уже не можетъ. Онъ останется безъ угла и безъ куска... Славная мысль вамъ въ голову пришла.

— Не мнѣ, а женщинѣ пришла эта мысль, и не въ голову, а въ сердце,—заключилъ Райскій:—и потому теперь я не приму вашей руки... Бабушка выдумала это...

— Экая здоровая старуха, эта ваша бабушка!—замѣтилъ Маркъ: — я когда-нибудь къ ней на пирогъ приду! Жаль, что старой дури набито въ ней много!.. Ну, я пойду, а вы присматривайте за Козловымъ, если не сами, такъ посадите кого-нибудь. Вонъ третьяго дня ему мочили голову и велѣли на ночь сырой капустой обложить. Я заснулъ нечаянно, а онъ, въ забытьи, всю капусту съ головы потаскалъ да съѣлъ... Прощайте! я не спалъ и не ѣлъ самъ. Авдотья меня тутъ какой-то бурдой изъ кофе потчивала...

— А вотъ что, не хотите ли подождать? Я сейчасъ кучера пошлю домой за ужиномъ,—сказалъ Райскій.

— Нѣтъ, я поужинаю ужо дома.

— Можетъ-быть... у васъ денегъ нѣтъ?..—робко предложилъ Райскій и хотѣлъ достать бумажникъ.

Маркъ вдругъ засмѣялся своимъ холоднымъ смѣхомъ.

— Нѣтъ, нѣтъ—у меня теперь есть деньги... — сказалъ онъ, глядя загадочно на Райскаго.—Да я еще въ баню до ужина пойду. Я весь выпачкался, не одѣвался и не раздѣвался почти. Я, видите ли, живу теперь не у огородника на квартирѣ, а у одной духовной особы. Сегодня тамъ баню топятъ, я схожу въ баню, потомъ поужинаю и лягу ужъ на всю ночь.

— Вы похудѣли и какъ будто нездоровы!—замѣтилъ Райскій:—глаза у васъ...

Маркъ вдругъ нахмурился, и лицо у него сдѣлалось еще злѣе прежняго.

— А вы на мой взглядъ еще нездоровѣе!—сказалъ онъ.— Посмотритесь въ зеркало: желтыя пятна, глаза ввалились совсѣмъ...

— У меня разныя безпокойства...

— И у меня тоже, — сухо замѣтилъ Волоховъ. — Прощайте.

Онъ ушелъ, а Райскій тихо отворилъ дверь къ Леонтью и подошелъ на цыпочкахъ къ постели.

— Кто тутъ?—спросилъ слабо Козловъ.

— Здравствуй, Леонтій, это я!—сказалъ Райскій, взявъ за руку Козлова и садясь въ кресло подлѣ постели.

Козловъ долго всматривался, потомъ узналъ Райскаго, проворно спустилъ ноги съ постели и сѣлъ, глядя на него.

— А тотъ ушелъ? Я притворился спящимъ. Тебя давно не видать,—заговорилъ Леонтій слабымъ голосомъ, съ промежутками.—А я все ждалъ—не заглянетъ ли, думаю. Лицо стараго товарища,—продолжалъ онъ, глядя близко въ глаза Райскому и положивъ свою руку ему на плечо: — теперь только одно не противно мнѣ...

— Меня не было въ городѣ,—отвѣчалъ Райскій:—я сейчасъ только воротился и узналъ, что ты боленъ...

— Врутъ, я не боленъ. Я притворился... — сказалъ онъ, опуская голову на грудь, и замолчалъ. Черезъ нѣсколько минутъ онъ поднялъ голову и разсѣянно глядѣлъ на Райскаго.

— Что, бишь, такое я хотѣлъ сказать тебѣ?..

Онъ всталъ и пошелъ неровными шагами по кабинету.

— Ты бы легъ, Леонтій,—замѣтилъ Райскій:—ты боленъ...

— Я не боленъ,—почти съ досадой отвѣчалъ Козловъ.— Что это вы всѣ, точно сговорились, наладили: боленъ, да боленъ. А Маркъ и лѣкаря привелъ, и сидитъ тутъ, точно боится, что я кинусь въ окно или зарѣжусь...

— Ты, однако, слабъ, насилу ходишь—право лягъ...

— Да, слабъ, это правда, — наклонясь черезъ спинку стула къ Райскому и обнявъ его за шею, шепталъ Леонтій.

Онъ положилъ ему щеку на голову, и Райскій вдругъ почувствовалъ у себя на лбу и на щекахъ горячія слезы. Леонтій плакалъ.

— Это слабость, да...—всхлипывая говорилъ Леонтій:— но я не боленъ... я не въ горячкѣ... врутъ они... не понимаютъ... Я и самъ не понималъ ничего... Вотъ, какъ увидѣлъ тебя... такъ слезы льются, сами прервались... Не ругай меня, какъ Маркъ, и не смѣйся надо мной, какъ всѣ они смѣются.... эти учителя, товарищи... Я вижу у нихъ злой смѣхъ на лицахъ, у этихъ сердобольныхъ посѣтителей!..

Райскаго самого душили слезы, но онъ не далъ имъ воли, чтобъ не растравлять еще больше тоски Леонтья.

— Я понимаю и уважаю твои слезы, Леонтій!—сказалъ онъ, насилу одолѣвая себя.

— Ты добрый, старый товарищъ... ты и въ школѣ не смѣялся надо мной... Ты знаешь, отчего я плачу? Ты ничего не знаешь, что̀ со мной случилось?

Райскій молчалъ.

— Вотъ я тебѣ покажу...

Онъ пошелъ къ бюро, вынулъ изъ ящика письмо и подалъ ему.

Райскій пробѣжалъ глазами письмо отъ Ульяны Андреевны, о которомъ ужъ слышалъ отъ бабушки.

— Уничтожь его,—совѣтовалъ онъ:—пока оно цѣло, ты не успокоишься...

— Какъ можно! — съ испугомъ сказалъ Леонтій, выхватывая письмо и пряча его опять въ ящикъ.—Вѣдь это единственныя ея строки ко мнѣ, другихъ у меня нѣтъ... Это одно только и осталось у меня на память отъ нея...—добавилъ онъ, глотая слезы.

— Да, такое чувство заслуживало лучшей доли... — тихо сказалъ Райскій.—Но, другъ Леонтій, прими это, какъ болѣзнь, какъ величайшее горе... Но все же не поддавайся ему—жизнь еще длинна, ты не старъ...

— Жизнь кончилась,—перебилъ Леонтій:—если...

— Если что?

— Если она... не воротится...—шепнулъ онъ.

— Какъ, ты хотѣлъ бы... ты принялъ бы ее теперь...

— Ахъ, Борисъ, и ты не понимаешь!—почти съ отчаяніемъ произнесъ Козловъ, хватаясь за голову и ходя по комнатѣ.—Боже мой! Твердятъ, что я боленъ, сострадаютъ мнѣ, водятъ лѣкарей, сидятъ по ночамъ у постели—и все-таки не угадываютъ моей болѣзни и лѣкарства, какое нужно, а лѣкарство одно...

Райскій молчалъ.

Козловъ подошелъ къ нему большими шагами, взялъ его за плечи и, сильно тряся, шепталъ въ отчаяніи:

— Ея нѣтъ,—вотъ моя болѣзнь! Я не боленъ, я умеръ, и настоящее мое, и будущее — все умерло, потому что ея нѣтъ! Поди, вороти ее, приведи сюда—и я воскресну!.. А онъ спрашиваетъ, принялъ ли бы я ее! Какъ же ты романъ пишешь, а не умѣешь понять такого простого дѣла!..

Райскій видѣлъ, что Козловъ взглянулъ наконецъ и на близкую ему жизнь тѣмъ же сознательнымъ и вѣрнымъ взглядомъ, какимъ глядѣлъ на жизнь древнихъ, и что утѣшить его нечѣмъ.

— Теперь я понимаю,—замѣтилъ онъ:—но я не зналъ, что ты такъ любилъ ее. Ты самъ шутилъ, бывало: говорилъ, что привыкъ къ ней, что измѣняешь ей для своихъ грековъ и римлянъ...

Козловъ горько улыбнулся.

— Вралъ, хвасталъ, не понималъ ничего, Борисъ,—сказалъ онъ: — и не случись этого... я никогда бы и не понялъ. Я думалъ, что я люблю древнихъ людей, древнюю

жизнь, а я просто любилъ... живую женщину; и любилъ и книги, и гимназію, и древнихъ, и новыхъ людей, и своихъ учениковъ... и тебя самого... и этотъ городъ, вотъ съ этимъ переулкомъ, заборомъ и съ этими рябинами—потому только, что ее любилъ! А теперь это все опротивѣло, я бы готовъ хоть къ полюсу уѣхать... Да, я это недавно узналъ: вотъ какъ тутъ корчился на полу и читалъ ея письмо.

Райскій вздохнулъ.

— А ты спрашиваешь, принялъ ли бы я ее! Боже мой! Какъ принялъ бы, и какъ любилъ бы, она бы узнала это теперь...—добавилъ онъ.

У него опять закапали слезы.

— Знаешь что̀, Леонтій, я къ тебѣ съ просьбой отъ Татьяны Марковны!—сказалъ Райскій.

Леонтій ходилъ взадъ и впередъ, пошатываясь, шлепая туфлями, съ всклоченной головой, и не слушалъ его.

— Бабушка проситъ тебя переѣхать къ намъ, — продолжалъ Райскій:—ты здѣсь одинъ пропадешь съ тоски.

Козловъ услыхалъ и понялъ, но въ отвѣтъ только махнулъ рукой.

— Спасибо ей, она святая женщина! Что̀ я буду такимъ уродомъ носить свое горе по чужимъ угламъ!..

— Это не чужой уголъ, Леонтій, мы съ тобой братья. Наше родство сильнѣе родства крови...

— Да, да, виноватъ, горе одолѣло меня! — ложась въ постель, говорилъ Козловъ, и взявъ за руку Райскаго: — прости за эгоизмъ. Послѣ... послѣ... я самъ притащусь, попрошусь посмотрѣть за твоей библіотекой... когда ужъ надежды не будетъ...

— А у тебя есть надежда?

— А что?—вдругъ шопотомъ спросилъ Козловъ, бюстро садясь на постели и подвигая лицо къ Райскому:—ты думаешь, что нѣтъ надежды?..

Райскій молчалъ, не желая ни лишать его этой соломинки, ни манить его ею напрасно.

— Я, право, не знаю, Леонтій, что̀ сказать. Я такъ мало слѣдилъ за твоей женою, давно не видалъ... не знаю хорошо ея характера.

— Да, ты не хотѣлъ немного заняться ею... Я знаю, ты далъ бы ей хорошій урокъ... Можетъ-быть этого бы и не было...

Онъ вздохнулъ глубоко.

— Нѣтъ, ты знаешь ее,—прибавилъ онъ:—ты мнѣ намекалъ на француза, да я не понялъ тогда... мнѣ въ голову не приходило...— Онъ замолчалъ.—А если онъ броситъ ее?— почти съ радостью вдругъ сказалъ онъ немного погодя, и въ глазахъ у него на минуту мелькнулъ какой-то лучъ.— Можетъ-быть, она вспомнитъ... можетъ-быть...

— Можетъ-быть...—нерѣшительно сказалъ Райскій.

— Постой... что̀ это?.. Кто-то будто ѣдетъ сюда... заговорилъ Леонтій, привставая и глядя въ окно. Потомъ опустился и повѣсилъ голову.

Мимо оконъ проѣхала телѣга, гдѣ мужикъ, въ чувашской рубашкѣ, съ красными обшивками, стоя махалъ вожжей.

— Я все жду... все думаю, не опомнится ли!—мечталъ онъ: — и ночью пробовалъ вставать, да этотъ разбойникъ Маркъ, точно желѣзной ручищей, повалитъ меня и велитъ лежать. «Не воротится, говоритъ, лежи смирно!» Боюсь я этого Марка.

Онъ вопросительно поглядывалъ на Райскаго.

— А ты какъ думаешь!—шепталъ онъ:—ты лучше знаешь женщинъ—что̀ онъ смыслитъ! Есть надежда... или...

— Если и есть, то во всякомъ случаѣ не теперь,—сказалъ Райскій:—развѣ послѣ когда-нибудь...

Козловъ глубоко вздохнулъ, медленно улегся на постели и положилъ руки съ локтями себѣ на голову.

— Завтра я перевезу тебя къ намъ,—сказалъ ему Райскій:—а теперь прощай! Ужò къ ночи я, или приду самъ, или пришлю кого-нибудь побыть съ тобой.

Леонтій не смотрѣлъ и не слыхалъ, чтò Райскій говорилъ и какъ онъ вышелъ.

Райскій воротился домой, отдалъ отчетъ бабушкѣ о Леонтьѣ, сказавши, что опасности нѣтъ, но что никакое утѣшеніе теперь не поможетъ. Оба они рѣшили послать на ночь Якова смотрѣть за Козловымъ, при чемъ бабушка отправила цѣлый ужинъ, чаю, рому, вина — и Богъ знаетъ, чего еще.

— Зачѣмъ это? онъ ничего не ѣстъ, бабушка,—сказалъ Райскій.

— А какъ тотъ... опять придетъ?

— Кто тотъ?

— Ну, кто — Маркушка: я, чаю, ѣсть хочетъ. Вѣдь ты говоришь, что засталъ его тамъ...

— Ахъ, бабушка! я сейчасъ поѣду и скажу Марку...

— Сохрани тебя Господи!—удержала она его:—на смѣхъ подниметъ...

— Нѣтъ, поклонится. Это не Нилъ Андреичъ, онъ понимаетъ васъ...

— Не надо мнѣ его поклоновъ, а чтобъ былъ сытъ—и Богъ съ нимъ! Онъ пропащій! А что... о восьмидесяти рубляхъ не поминаетъ?

Райскій махнулъ рукой, ушелъ къ себѣ въ комнату и сталъ дочитывать письмо Аянова и другія, полученныя имъ письма изъ Петербурга, вмѣстѣ съ журналами и газетами.

VII.

«Что сдѣлалось съ тобой, любезный Борисъ Павловичъ?» писалъ Аяновъ: «въ какую всероссійскую щель заползъ ты отъ нашего мокраго, но вѣчно-юнаго Петербурга, что отъ тебя два мѣсяца нѣтъ ни строки? Ужъ не женился ли ты

тамъ на какой-нибудь стерляди? Забрасывалъ сначала своими повѣстями, т. е. письмами, а тутъ вдругъ и пропалъ, такъ-что я не знаю, не переѣхалъ ли ты изъ своей трущобы — Малиновки, въ какую-нибудь трущобу — Смородиновку, и получишь ли мое письмо?

«Новостей много, слушай только... Поздравь меня: геморрой наконецъ у меня открылся!! Мы съ докторомъ такъ обрадовались, что бросились другъ другу въ объятія и чуть не зарыдали оба. Понимаешь ли ты важность этого исхода? на воды не надо ѣхать! Поясницѣ легче, а къ животу я прикладываю холодные компрессы; у меня, вѣдь, ты знаешь—pletora abdominalis...»

«Вотъ какими новостями занимаетъ!» — подумалъ Райскій и читалъ дальше.

«Олинька моя хорошѣетъ, преуспѣваетъ въ благочестіи, благонравіи и наукахъ, институтскому начальству покорна, къ отцу почтительна, и всякій четвергъ спрашиваетъ, скоро ли пріѣдетъ другой баловникъ, Райскій, поправлять ея рисунки и совать ей въ другую руку другую сверхштатную коробку конфетъ...»

— Вотъ животное, только о себѣ!—шепталъ опять Райскій, читая чрезъ нѣсколько строкъ ниже.

... «Коко женился наконецъ на своей Eudoxie, за которой чуть не семь лѣтъ, какъ за Рахилью, ухаживалъ! — и уѣхалъ въ свою тьму-тараканскую деревню. Горбуна сбыли за границу вмѣстѣ съ его вѣдьмой, и теперь въ домѣ стало поживѣе. Стали отворять окна и впускать свѣжій воздухъ и людей,—только кормятъ все еще скверно»...

— Что мнѣ до нихъ за дѣло!—съ нетерпѣніемъ ворчалъ Райскій, пробѣгая дальше письмо: — о кузинѣ ни слова, а мнѣ и о ней-то не хочется слышать!

«...на его мѣсто»,—шопотомъ читалъ онъ дальше:—«прочатъ въ министры князя И. В., а товарищемъ И. Б—а... Женщины подняли гвалтъ... П. П. проигралъ семьдесятъ

тысячъ... X—іе уѣхали за границу... Тебѣ скучно, вижу, что ты морщишься—спрашиваешь—что̀ Софья Николаевна (началъ живѣе читать Райскій): сейчасъ, сейчасъ, я берегъ вѣсти о ней pour la bonne bouche...»

— На силу добрался!—сказалъ Райскій:—ну, что она?

«Я старался и безъ тебя, какъ при тебѣ, и служилъ твоему дѣлу вѣрой и правдой, т.-е. два раза игралъ съ милыми «барышнями» въ карты, такъ что братецъ ихъ, Николай Васильевичъ, прозвалъ меня женихомъ Анны Васильевны, и такъ разгулялся однажды насчетъ будущей нашей свадьбы, что былъ вытолканъ обѣими сестрицами въ спину и не получилъ ни гроша субсидіи, за которой было явился. Но за то занялъ триста рублей у меня, а я поставилъ эти деньги на твой счетъ, такъ какъ надежды отъиграть ихъ у моей нареченной невѣсты уже болѣе нѣтъ. Внемли, блѣднѣй и трепещи!

«Играя съ тетками, я служилъ, говорю, твоему дѣлу, т. е. пробужденію страсти въ твоей мраморной кузинѣ, съ тою только разницею, что безъ тебя это дѣло пошло было въ прокъ. Итальянецъ, графъ Милари, должно-быть служитъ по этой же части, т. е. развиваетъ страсти въ женщинахъ, и едва ли не успѣшнѣе тебя. Онъ повадился ѣздить въ тѣ же дни и часы, когда мы играли въ карты, а Николай Васильевичъ не нарадовался, глядя на свое семейное счастье.

«Папашу оставляли въ покоѣ, занимались музыкой, играли, пѣли—даже не брали гулять, потому что (я говорю тебѣ это по секрету, и весь Петербургъ не иначе, какъ на ухо, повторяетъ этотъ секретъ), когда карета твоей кузины являлась на островахъ, являлся тогда и Милари верхомъ, или въ коляскѣ, и ѣхалъ подлѣ кареты. Софья Николаевна еще больше похорошѣла, потомъ стала задумываться, немного вышла изъ своего «олимпійскаго» спокойствія и похудѣла... Она (бери спиртъ и нюхай!) сдѣлала... un faux

pas! Я добивался, какой именно, и получалъ такіе отвѣты даже отъ ея кузины Catherine, изъ которыхъ ничего не сообразишь: все двойки да шестерки, ни одного короля, ни дамы, ни туза, ни даже десятки нѣтъ... все фосски!

«Я началъ уже самъ сочинять ихъ романъ: думалъ, не застали ли ихъ гдѣ-нибудь уединенно-гуляющихъ, или перехватили письмо, въ коемъ сказано: «люблю-молъ тебя»— или раздался преступный поцѣлуй среди дуэтовъ Россини и Беллини. Нѣтъ, играли, пѣли, мѣшая намъ играть въ карты (мимоходомъ замѣчу, что и безъ нихъ игра вязалась плохо. Вообще я терпѣть не могу лѣта, потому что лѣтомъ карты сквозятъ), такъ что Надежда Васильевна затыкала даже уши ватой... А въ городѣ и пошло, и пошло! Мезенскіе, Хатьковы и Мышинскіе, и всѣ, — больше всѣхъ кузина Catherine, тихо, съ сдержанной радостью, шептали: Sophie a poussé la chose trop loin, sans se rendre compte des suites...» и т. д. Какая это «chose»,—спрашивалъ я, и на ухо, и вслухъ, того, другого — и, не получая опредѣлительнаго отвѣта, самъ сталъ шептать, когда рѣчь зайдетъ о ней. «Oui»,—говорилъ я—«elle a poussé la chose trop loin sans se rendre compte... Elle a fait un faux pas...»

И пожму значительно плечами, когда спросятъ какой «pas»?

«Такимъ образомъ всплыло на горизонтъ легкое облачко и стало надъ головой твоей кузины! А я все служилъ да служилъ дѣлу, не забывая дружеской обязанности, и все ѣздилъ играть къ тёткамъ. Даже сблизился съ Милари и сталъ условливаться съ нимъ, какъ, бывало, съ тобой, приходить въ одни часы, чтобъ обоимъ было удобнѣе»...

— Какой оселъ!—сказалъ съ досадой Райскій, бросивъ письмо:—онъ думалъ, что угождаетъ мнѣ...

«А ты, за службу и дружбу мою», читалъ дальше Райскій,—«пришли, или привези мнѣ къ зимѣ, съ Волги, отличной свѣжей икры боченокъ-другой, да стерлядей въ ар-

шинъ: я подѣлюсь съ его сіятельствомъ, моимъ партнеромъ, министромъ и милостивцемъ...»

Райскій читалъ ниже:

«Такъ мы и переѣхали цѣлой семьей на дачу, на Каменный Островъ, т. е. онѣ заняли весь домъ В., а я двѣ комнаты неподалеку. Николай Васильевичъ поселился въ особомъ павильонѣ...

«Дѣла шли своимъ чередомъ, какъ вдругъ однажды передъ началомъ нашей вечерней партіи, когда Надежда Васильевна и Анна Васильевна наряжались къ выходу, а Софья Николаевна поѣхала гулять, взявши съ собой Николая Васильевича, чтобъ завести его тамъ гдѣ-то на дачу,—доложили о пріѣздѣ княгини Олимпіады Измайловны. Обѣ тётки поворчали на это неожиданное разстройство партіи, но однако отпустили меня погулять, наказавши черезъ часъ вернуться, а княгиню приняли.

«Несчастные мы всѣ трое! ни тётушки твои, ни я—не предчувствовали, что намъ не играть больше! Княгиня встрѣтилась со мной на лѣстницѣ и несла такое торжественное, важное лицо вверхъ, что я даже не осмѣлился освѣдомиться о ея нервахъ.

«Черезъ часъ я прихожу, меня не принимаютъ. Захожу на другой день — не принимаютъ. Черезъ два-три дня — то же самое. Обѣ тётки больны, «барыня», т.-е. Софья Николаевна, нездорова, не выѣзжаетъ и никого не принимаетъ: такіе отвѣты получалъ я отъ слугъ.

«Я толкнулся во флигель къ Николаю Васильевичу—дома нѣтъ, а между тѣмъ его нигдѣ не видно, ни на pointe, ни у Излера, куда онъ хаживалъ *инкогнито*, какъ онъ говоритъ. Я—въ городъ, въ клубъ—къ Петру Ивановичу. Тотъ уже издали, изъ-за газетъ, лукаво выглянулъ на меня и улыбался: «знаю, знаю, зачѣмъ,—говоритъ:—что̀, дверь захлопнулась, оброкъ прекратился?..»

«Отъ него я добился только—сначала, что кузина твоя—

a poussé la chose trop loin... qu'elle a fait un faux pas... а потомъ—что послѣ визита княгини Олимпіады Измайловны, этой гонительницы женскихъ пороковъ и поборницы добродѣтелей, тётки разомъ слегли, въ окнахъ опустили шторы, Софья Николаевна сидитъ у себя, запершись, и всѣ обѣдаютъ по своимъ комнатамъ, и даже не обѣдаютъ, а только блюда приносятся и уносятся нетронутыя,—что трогаетъ ихъ одинъ Николай Васильевичъ, но ему запрещено выходить изъ дома, чтобъ какъ-нибудь не проболтался, что графъ Милари и носа не показываетъ въ домъ, а ѣздитъ старый докторъ Петровъ, бросившій давно практику и въ молодости лѣчившій обѣихъ барышень (и бывшій ихъ любовникомъ, по словамъ старой, забытой хроники—прибавлю въ скобкахъ). Наконецъ, Петръ Ивановичъ сказалъ, что весь домъ, кромѣ Николая Васильевича, втайнѣ готовится уѣхать на такія воды, какихъ старики не запомнятъ, и располагаютъ пробыть года три за границей.

«Я, однако, добился свиданія съ Николаемъ Васильевичемъ, написалъ ему записку и получилъ приглашеніе отобѣдать съ нимъ «вечеромъ» наединѣ. Онъ прежде всего попросилъ быть скромнымъ насчетъ обѣда. Въ домѣ постъ теперь: «on est en pénitence — бульонъ и цыпленка готовятъ на всѣхъ—et ma pauvre Sophie n'ose pas descendre me tenir compagnie», жалуется онъ горько и жуетъ въ недоумѣніи губами: «et nous commes enfermés tous les deux... Я велѣлъ для васъ сдѣлать обѣдъ, только не говорите!» прибавилъ онъ боязливо, уплетая перепелокъ, и чуть не плакалъ о своей бѣдной Софьѣ.

«Наконецъ, я добился, что къ прежнему облачку, къ этому искомому мною *x*, т.-е. que Sophie a poussé la chose trop loin, прибавился, наконецъ, и фактъ — она, о ужасъ! a fait un faux pas, именно—отвѣчала на записку Милари! Пахотинъ показалъ мнѣ эту записку, съ яростью ударяя кулакомъ по столу. «Mais dites donc, dites, qu'est ce qu'il

y a là? à propos de quoi—всѣ эти охи, и ахи, и флаконы со спиртомъ, и этотъ отъѣздъ, et tout ce remue-ménage? Voilà ce que c'est que d'être vieilles filles!»

«Онъ топалъ, бѣгалъ по кабинету и прохлаждалъ себя, макая бисквиты въ шампанское и глотая какія-то диже-стивныя пилюли вслѣдъ затѣмъ. «И что̀ всего грустнѣе», говорилъ онъ: «что бѣдняжка Sophie убивается сама: «Oui, la faute est à moi», твердитъ она: «je me suis compromise, une femme qui se respecte ne doit pas pousser la chose trop loin... se permettre».—«Mais qu'as tu donc fait, mon enfant?» спрашиваю я:—«j'ai fais un faux pas...» твердитъ она: «огорчила тётокъ, васъ, папа!..» Mais pas le moins du monde», говорю я—и все напрасно! Et elle pleure, elle pleure... cette pauvre enfant! Ce billet... Посмотрите эту записку!»

«А въ запискѣ изображено слѣдующее: «Venez, comte, je vous attends entre huit et neuf heures, personne n'y sera et surtout n'oubliez pas votre portefeuille artistique. Je suis etc. S. B.» Николай Васильевичъ пораженъ прежде всего въ родительской нѣжности. «Le nuage a grossi grâce à ce billet, потому что... кажется... (на ухо шепнулъ мнѣ Пахотинъ) entre nous soit dit... Sophie n'était pas tout-à-fait insensible aux hommages du comte, mais c'est un gentilhomme et elle est trop bien elevée pour pousser les choses... jusqu'à un faux pas...»

«И только, Борисъ Павлычъ! Какъ мнѣ грустно это, т.-е. что «только» и что я не могу тебѣ сообщить чего-нибудь повеселѣе, какъ, напримѣръ, въ родѣ того, что кузина твоя, одѣвшись въ темную мантилью, ушла изъ дома, что на углу ждала ее и умчала куда-то наемная карета, что потомъ видѣли ее съ Милари возвращающуюся блѣдной, а его торжествующимъ, и разстающихся гдѣ-то на перекресткѣ и т. д. Ничего этого не было!

«Но здѣсь хватаются и за соломинку, всячески разду-

ваютъ искру — и изъ записки дѣлаютъ слона, вставляютъ туда другія фразы, даже нѣжное *ты*, но это не клеится, и все вертится на одной и той же редакціи; т.-е. «que Sophie a poussé la chose trop loin, qu'elle a fait un faux pas...» Я усердно помогаю дѣлу съ своей стороны, лукаво молчу и не обличаю, не говорю, что́ тамъ написано. За мной ходятъ, видя, что я знаю кое-что. К. Р. и жена два раза звали обѣдать, а М. подпаиваетъ меня въ клубѣ, не проговорюсь ли. Мнѣ это весело, и я молчу.

«Черезъ двѣ недѣли онѣ ѣдутъ. И вотъ тебѣ развязка романа твоей кузины! Да, я забылъ главное—слона. Николай Васильевичъ былъ поставленъ сестрицами своими «dans une position très-délicate» объясниться съ графомъ Милари и выпросить назадъ у него эту роковую записку. Онъ говоритъ, что у него и подагра, и нервы, и тикъ, и ревматизмъ — все поднялось разомъ, когда онъ объяснялся съ графомъ. Тотъ тонко и лукаво улыбался, выслушавъ просьбу отца, и сказалъ, что на другой день удовлетворитъ ее, и сдержалъ слово, прислалъ записку самой Бѣловодовой, съ учтивымъ и почтительнымъ письмомъ. «Mais comme il riait sous cape, ce comte (il est très fin), quand je lui débitais toutes les sottes réflexions de mes chères cœurs! Vieilles chiennes!..» отвернувшись добавилъ онъ и разбилъ со злости фарфоровую куклу на каминѣ.

«Вотъ тебѣ и драма, любезный Борисъ Павловичъ: годится ли въ твой романъ? Пишешь ли ты его? Если пишешь, то сократи эту драму въ двухъ слѣдующихъ словахъ. Вотъ тебѣ ключъ или «le mot de l'énigme», какъ говорятъ здѣсь русскіе люди, притворяющіеся не умѣющими говорить по-русски и воображающіе, что говорятъ по-французски.

«Кузина твоя увлеклась по-своему, не покидая гостиной, а графъ Милари добивался свести это на большую дорогу— и, говорятъ (это папа разболталъ), что между ними бывали

живые споры, что онъ бралъ ее за руку, а она не отнимала, у ней даже глаза туманились слезой, когда онъ, недовольный прогулками верхомъ у кареты и пріемомъ при тёткахъ, настаивалъ на бо̀льшей свободѣ,—звалъ въ паркъ вдвоемъ, являлся въ другіе часы, когда тётки спали, или бывали въ церкви, и, не успѣвая, не показывалъ глазъ по недѣлѣ. А кузина волновалась, «prenant les choses au sérieux» (я не перевожу тебѣ здѣшняго языка, а передаю въ оригиналѣ, такъ какъ оригиналъ всегда ярче перевода). Между тѣмъ графъ серьезныхъ намѣреній не обнаруживалъ и наконецъ... наконецъ... вотъ гдѣ ужасъ! узнали, что онъ изъ «новыхъ» и своимъ прежнимъ правительствомъ былъ— «mal vu», и «эмигрировалъ» изъ отечества въ Парижъ, гдѣ и проживалъ, а главное, что у него тамъ, подъ голубыми небесами, во Флоренціи, или въ Миланѣ, есть какая-то нареченная невѣста, тоже кузина... что вся ея фортуна («fortune»—въ оригиналѣ) перейдетъ въ его родъ изъ того рода, такъ же, какъ и виды на карьеру. Это провѣдала княгиня черезъ князя Б. П... И твоя Софья страдаетъ теперь вдвойнѣ: и отъ того, что оскорблена внутренно — гордости ея красоты и гордости рода нанесенъ ударъ — и отъ того, что сдѣлала... un faux pas, и, можетъ-быть, также немного и отъ того чувства, которое ты старался пробудить — и успѣлъ, а я, по дружбѣ къ тебѣ, поддержалъ въ ней...

«Что̀ будетъ съ ней теперь—не знаю: драма ли, романъ ли—это уже докончи ты на досугѣ, а мнѣ пора на вечеръ къ В. И. Тамъ ожидаетъ меня здоровая и серьезная партія съ серьезными игроками.

«Прощай — это первое и послѣднее мое письмо, или, пожалуй, глава изъ будущаго твоего романа. Ну, поздравляю тебя, если онъ будетъ весь такой! Бабушкѣ и сестрамъ своимъ кланяйся, нужды нѣтъ, что я не знаю ихъ, а онѣ меня, и скажи имъ, что въ такомъ-то городѣ живетъ

твой пріятель, готовый служить, какъ выше сказано».— *И. Аяновъ.*

VIII.

Райскій сунулъ письмо въ ящикъ, а самъ, взявъ фуражку, пошелъ въ садъ, внутренно сознаваясь, что онъ идетъ взглянуть на мѣста, гдѣ вчера ходила, сидѣла, скользила, можетъ-быть, какъ змѣя, съ обрыва внизъ, сверкая красотой, какъ ночь — Вѣра, все она, его мучительница и идолъ, которому онъ еще лихорадочно дочитывалъ про себя— и молитвы, какъ идеалу, и шепталъ проклятія, какъ живой красавицѣ, кидая мысленно въ нее каменья.

Онъ обошелъ весь садъ, взглянулъ на ея закрытыя окна, подошелъ къ обрыву и погрузилъ взглядъ въ лежащую у ногъ его пропасть тихо шумящихъ кустовъ и деревьевъ.

Аллеи представлялись темными коридорами, но открытыя мѣста, поблекшій цвѣтникъ, огородъ, все пространство сада, лежащее передъ домомъ, освѣщались косвенными лучами выплывшей на горизонтъ луны. Звѣзды сильно мерцали. Вечеръ былъ ясенъ и свѣжъ.

Райскій посмотрѣлъ съ обрыва на Волгу: она сверкала вдали, какъ сталь. Около него, тихо шелестя, летѣли съ деревьевъ увядшіе листья.

«Тамъ она теперь,—думалъ онъ, глядя за Волгу:—и ни одного слова не оставила мнѣ! Задушевное, сказанное ея груднымъ шопотомъ «прощай» примирило бы меня со всей этой злостью, которую она щедро излила на мою голову! И уѣхала! ни слѣда, ни воспоминанія!»—горевалъ онъ, склонивъ голову, идучи по темной аллеѣ.

Вдругъ въ плечо ему слегка впились чьи-то тонкіе пальцы, какъ когти хищной птицы, и въ ухѣ раздался сдержанный смѣхъ.

— Вѣра!—въ радостномъ ужасѣ сказалъ онъ, задрожавъ и хватая ее за руку.

У него даже волосы поднялись на головѣ.

— Ты здѣсь, не за Волгой!..

— Здѣсь, не за Волгой! — повторила она, продолжая смѣяться, и пропустила свою руку ему подъ руку.—Вы думали, что я отпущу васъ, не простясь? Да, думали? Признавайтесь!..

— Ты колдунья, Вѣра. Да, сію минуту я упрекалъ тебя, что ты не оставила даже слова! — говорилъ онъ, растерянный и отъ страха, и отъ неожиданной радости, которая вдругъ охватила его.

— Да какъ же это ты?.. Въ домѣ всѣ говорили, что ты уѣхала вчера...

Она иронически засмѣялась, стараясь поглядѣть ему въ лицо.

— А вы и повѣрили! Я готовила вамъ сюрпризъ, велѣла сказать, что уѣхала... Признайтесь, вы не повѣрили, притворились?..

— Ей-Богу, нѣтъ.

— Побожитесь, еще! — говорила она, торжествуя и наслаждаясь его волненіемъ, и опять засмѣялась раздражительнымъ смѣхомъ.—Не оставила двухъ словъ, а осталась сама: что̀ лучше? Говорите же!—прибавила она, шаля и заигрывая съ нимъ.

Онъ былъ въ недоумѣніи. Эта живость рѣчи, быстрыя движенія, насмѣшливое кокетство — все казалось ему неестественно въ ней. Сквозь живой тонъ и рѣзвость онъ слышалъ будто усталость, видѣлъ напряженіе скрыть истощеніе силъ. Ему хотѣлось взглянуть ей въ лицо, и когда они подошли къ концу аллеи, онъ вывелъ-было ее на лунный свѣтъ.

— Дай мнѣ взглянуть на тебя, что̀ съ тобой, Вѣра? Какая ты рѣзвая, веселая!..—замѣтилъ онъ робко.

— Что̀ смотрѣть — нечего! — съ нетерпѣніемъ перебила она, стараясь выдернуть свою руку и увлекая его въ темноту.

Она встряхивала головой, небрежно поправляя сползавшую съ плечъ мантилью.

— Веселая — оттого, что вы здѣсь, подлѣ меня...

Она прижалась плечомъ къ его плечу.

— Что̀ съ тобой, Вѣра? въ тебѣ какая-то перемѣна!— прошепталъ Райскій подозрительно, не раздѣляя ея бурной веселости и стараясь подвести ее къ свѣту.

— Пойдемте, пойдемте, что̀ за смотръ такой—не люблю!..— живо говорила она, едва стоя на мѣстѣ.

Онъ чувствовалъ, что руки у ней дрожатъ и что вся она трепещетъ и бьется въ какой-то непонятной для него тревогѣ.

— Да говорите же что̀-нибудь, разсказывайте, гдѣ были, что̀ видѣли, помнили ли обо мнѣ? А что̀ страсть? все мучаетъ—да? Что это у васъ, точно языкъ отнялся? куда дѣвались эти «волны поэзіи», этотъ «рай и геенна»? давайте мнѣ рая! Я счастья хочу, «жизни»!

Она говорила бойко, развязно, трогая его за плечо, не стояла на мѣстѣ отъ нетерпѣнія, ускоряла шагъ.

— Да что это вы идете, какъ черепаха! Пойдемте къ обрыву, спустимся къ Волгѣ, возьмемъ лодку, покатаемся!..— продолжала она, таща его съ собой, то смѣясь, то вдругъ задумываясь.

— Вѣра, мнѣ страшно съ тобой, ты... нездорова! — печально сказалъ онъ.

— А что̀?—спросила она вдругъ, останавливаясь.

— Откуда вдругъ у тебя эта развязность, болтливость? ты, такая сдержанная, сосредоточенная!

— Я очень обрадовалась вамъ, братъ, все смотрѣла въ окно, прислушиваясь къ стуку экипажей...—сказала она и, наклонивъ голову, въ раздумьѣ, тише пошла подлѣ него, все держа свою руку на его плечѣ и по временамъ сжимая сильно, какъ птица когти, свои тонкіе пальцы.

Ему отъ чего-то было тяжело. Онъ уже не слушалъ ея

раздражительныхъ и кокетливыхъ вызововъ, которымъ въ другое время готовъ былъ вѣрить. Въ немъ въ эту минуту умолкла собственная страсть. Онъ болѣлъ духомъ за нее, вслушиваясь въ ея лихорадочный лепетъ, стараясь вглядѣться въ нервную живость движеній и угадать, что̀ значило это волненіе.

— Чего вы такъ странно смотрите на меня: я не сумасшедшая!—говорила она, отворачиваясь отъ него.

На него напалъ ужасъ.

«Сумасшедшіе почти всегда такъ говорятъ!» подумалъ онъ: «спѣшатъ увѣрить всѣхъ, что они не сумасшедшіе!»

Онъ самъ испытывалъ нетрезвость страсти — и мучился за себя, но онъ давно зналъ, и страсти, и себя, и то не всегда могъ предвидѣть исходъ. Теперь, видя Вѣру, упившеюся этого недуга, онъ вздрагивалъ за нее.

Она какъ будто теряетъ силу, слабѣетъ. Спокойствія въ ней нѣтъ больше: она собираетъ послѣднія силенки, чтобъ замаскироваться, уйти въ себя—это явно: но и въ себѣ ей уже тѣсно — чаша переполняется, и волненіе выступаетъ наружу.

«Боже мой, что̀ съ ней будетъ!» въ страхѣ думалъ онъ: «а у ней нѣтъ довѣрія ко мнѣ. Она не высказывается, хочетъ бороться одна! кто охранитъ ее?..»

«Бабушка!» шепнулъ ему какой-то голосъ.

— Вѣра! ты нездорова, ты бы поговорила съ бабушкой...—серьезно сказалъ онъ.

— Тише, молчите, помните ваше слово! — сильнымъ шопотомъ сказала она. — Прощайте теперь! Завтра пойдемъ съ вами гулять, потомъ въ городъ, за покупками, потомъ туда, на Волгу... всюду! Я жить безъ васъ не могу!..— прибавила она почти грубо, и сильно сжавъ ему плечо пальцами.

«Что̀ съ ней!» думалъ онъ.

Но послѣднія ея слова, этотъ грубо-кокетливый вызовъ,

обращенный прямо къ нему и на него, заставили его подумать и о своей защитѣ, напомнили ему о его собственной борьбѣ и о намѣреніи бѣжать.

— Я уѣду, Вѣра,—сказалъ онъ вслухъ:—я измученъ, у меня нѣтъ силъ больше, я умру... Прощай! зачѣмъ ты обманула меня? зачѣмъ вызвала? зачѣмъ ты здѣсь? Чтобъ наслаждаться моими муками!.. Уѣду, пусти меня!

— Уѣзжайте!—сказала она, отойдя отъ него на шагъ.— Егорка еще не успѣлъ унести чемоданъ на чердакъ!..

Онъ быстро пошелъ, ожесточенный этой умышленной пыткой, этимъ издѣваніемъ надъ нимъ и надъ страстью. Потомъ оглянулся. Шагахъ въ десяти отъ него, выступивъ немного на лунный свѣтъ, она, какъ бѣлая статуя въ зелени, стоитъ неподвижно и слѣдитъ за нимъ съ любопытствомъ, уйдетъ онъ, или нѣтъ?

«Что это? что съ ней?» съ ужасомъ спрашивалъ онъ:— «зачѣмъ я ей? Воткнула ножъ, смотритъ какъ течетъ кровь, какъ бьется жертва! что она за женщина?»

Ему припомнились всѣ жестокія, историческія женскія личности, жрицы кровавыхъ культовъ, женщины революціи, купавшіяся въ крови, и все жестокое, что совершено женскими руками, съ Юдиѳи до леди Макбетъ включительно. Онъ пошелъ, и опять обернулся. Она смотритъ неподвижно. Онъ остановился.

«Какая красота, какая гармонія — во всей этой фигурѣ! Она страшна, гибельна мнѣ!»—думалъ онъ, стоя какъ вкопанный, и не могъ оторвать глазъ отъ стройной, неподвижной фигуры Вѣры, облитой луннымъ свѣтомъ.

Онъ чувствовалъ эту красоту нервами, ему было больно отъ нея. Онъ нехотя впился въ нее глазами.

Она пошевелилась и сдѣлала ему призывный знакъ головой. Проклиная свою слабость, онъ медленно, шагъ за шагомъ, пошелъ къ ней. Она уплыла въ темную аллею, лишь только онъ подошелъ, и онъ послѣдовалъ за ней.

— Что̀ тебѣ нужно, Вѣра, зачѣмъ ты не даешь мнѣ покоя? Черезъ часъ я уѣду!..—рѣзко и сухо говорилъ онъ, и самъ все шелъ къ ней.

— Не смѣйте, я не хочу!—сильно схвативъ его за руку, говорила она:—вы «рабъ мой», должны мнѣ служить... Вы тоже не давали мнѣ покоя!

Дрожь страсти вдругъ охватила его. Онъ чувствовалъ, что колѣни его готовы склониться и голосъ пѣлъ внутри его: «да, рабъ, повелѣвай!..»

И онъ хотѣлъ упасть и зарыдать отъ страсти у ея ногъ.

— Вы мнѣ нужны, — шептала она: — вы просили мукъ, казни — я дамъ вамъ ихъ! «Это жизнь!» говорили вы:— вотъ она — мучайтесь и я буду мучаться, будемъ вмѣстѣ мучаться... «Страсть прекрасна: она кладетъ на всю жизнь долгій слѣдъ, и этотъ слѣдъ люди называютъ счастьемъ!..» Кто это проповѣдывалъ? А теперь бѣжать: нѣтъ! оставайтесь, вмѣстѣ кинемся въ ту бездну! «Это жизнь, и только это!» говорили вы:—вотъ и давайте жить! Вы меня учили любить, вы преподавали страсть, вы развивали ее...

— Ты гибнешь Вѣра,—въ ужасѣ сказалъ онъ, отступая.

— Можетъ-быть, — говорила она, какъ будто отряхивая хмель отъ головы. — Такъ что же? что̀ вамъ? не все ли равно? вы этого хотѣли! «Природа влагаетъ страсть только въ живые организмы», твердили вы: «страсть прекрасна!..» Ну, вотъ она—любуйтесь!..

Она забирала сильными глотками свѣжій, вечерній воздухъ.

— Но я же и остерегалъ тебя, я называлъ страсть «волкомъ»... — защищался онъ, съ ужасомъ слушая это явное, беззащитное признаніе.

— Нѣтъ, она злѣе, она — тигръ. Я не вѣрила, теперь вѣрю. Знаете ту гравюру, въ кабинетѣ стараго дома: тигръ скалитъ зубы на сидящаго на немъ амура? Я не понимала,

зала она. — А кромѣ честности или нечестности, другого разлада, другихъ пропастей развѣ не бываетъ? — спросила она послѣ нѣкотораго молчанія. — Ну вотъ, я люблю, меня любятъ: никто не обманываетъ. А страсть рветъ меня... Научите же теперь, что̀ мнѣ дѣлать?

— Бабушкѣ сказать...—говорилъ онъ, блѣдный отъ страха:—позволь мнѣ, Вѣра... отдай мое слово назадъ.

— Боже сохрани! молчите и слушайте меня! А! теперь «бабушкѣ сказать»! Стращать, стыдить меня!.. А кто велѣлъ не слушаться ея, не стыдиться? Кто смѣялся надъ ея моралью?

— Ты скажи мнѣ, что̀ съ тобой, Вѣра? Ты, то проговариваешься, то опять уходишь въ тайну; я въ потемкахъ, я не знаю ничего... Тогда, можетъ-быть, я найду и средство...

— Вы не знаете, что̀ со мной, вы въ потемкахъ, подите сюда! — говорила она, уводя его изъ аллеи, и выйдя изъ нея, остановилась. Луна свѣтила ей прямо въ лицо.—Смотрите, что̀ со мной.

У него упало сердце. Онъ не узналъ прежней Вѣры. Лицо блѣдное, исхудалое, глаза блуждали, сверкая злымъ блескомъ, губы сжаты. Съ головы, изъ-подъ косынки, выпадали въ безпорядкѣ на лобъ и виски двѣ-три пряди волосъ, какъ у цыганки, закрывая ей, при быстрыхъ движеніяхъ, глаза и ротъ. На плечи небрежно накинута была атласная, обложенная бѣлымъ пухомъ мантилья, едва державшаяся слабымъ узломъ шелковаго шнурка.

— Что? — отряхивая волосы отъ лица, говорила она: — узнаете вашу Вѣру? Гдѣ эта «красота», которой вы пѣли гимны?

Она съ жалостью улыбнулась, закрыла на минуту лицо рукой и покачала головой.

— Что я могу сдѣлать, Вѣра?—говорилъ онъ тихо, вглядываясь въ ея исхудавшее лицо и больной блескъ глазъ.— Скажи мнѣ, я готовъ умереть...

— Умереть, умереть! зачѣмъ мнѣ это? Помогите мнѣ жить, дайте той прекрасной страсти, отъ которой «тянутся какіе-то лучи на всю жизнь...» Дайте этой жизни, гдѣ она? Я, кромѣ огрызающагося тигра, не вижу ничего... Говорите, научите, или воротите меня назадъ, когда у меня еще была сила! А вы—«бабушкѣ сказать»! уложить ее въ гробъ и меня съ ней!.. Это, что ли, средство? Или учите не ходить туда, къ обрыву... Поздно!

— Скажи мнѣ, кого ты любишь, всѣ обстоятельства, имя!..

— Кого? — васъ! — сказала она съ злобой, отряхивая опять пряди отъ лица и небрежно натягивая мантилью на плеча.

Онъ боялся сказать слово, боялся пошевелиться, стоялъ, сложивъ руки назадъ, прислонясь къ дереву. Она ходила взадъ и впередъ торопливыми, неровными шагами. Потомъ остановилась и перевела духъ.

— Да, она сумасшедшая!—шепталъ онъ въ ужасѣ.

Она сѣла на скамью, утихла и задумалась.

— Что это со мной? — будто немного опомнившись, про себя сказала она.

— Ты, Вѣра, сама бредила о свободѣ; ты таилась и отъ меня, и отъ бабушки, хотѣла независимости. Я только подтверждалъ твои мысли: онѣ и мои. За что же обрушиваешь такой тяжелый камень на мою голову?—тихо оправдывался онъ. — Не только я, даже бабушка не смѣла приступиться къ тебѣ...

Она глубоко вздохнула, потомъ подошла къ нему и, прижавшись головой къ его плечу, слабо заговорила.

— Да... да, не слушайте меня! У меня, просто, нервы разстроены. Какая страсть? Никакой страсти нѣтъ! Я шутила, какъ вы... со мной...

— Ты все еще думаешь, что я шутилъ! — тихо сказалъ онъ.

Она старалась улыбнуться, взяла его за руку.

— Прижмите руку къ моей головѣ,—говорила она кротко:— видите, какой жаръ... Не сердитесь на меня, будьте снисходительны къ бѣдной сестрѣ! Это все пройдетъ... Докторъ говоритъ, что у женщинъ часто бываютъ припадки... Мнѣ самой гадко и стыдно, что я такъ слаба...

— Что̀ же съ тобой, бѣдная Вѣра? скажи мнѣ...

— Ничего... Вы только проводите меня домой, помогите взойти на лѣстницу — я боюсь чего-то... Я лягу... простите меня, я встревожила васъ напрасно... вызвала сюда. Вы бы уѣхали и забыли меня. У меня, просто, лихорадка... Вы не сердитесь?..—ласково сказала она.

Онъ поспѣшно подалъ ей руку, тихо вывелъ изъ сада, провелъ черезъ дворъ и довелъ до ея комнаты. Тамъ зажегъ ей свѣчу.

— Позовите Марину, или Машу, чтобъ легли спать тутъ въ моей комнатѣ... Только бабушкѣ ни слова объ этомъ!.. Это просто раздраженіе... Она перепугается... придетъ...

Онъ боязливо, задумчиво слушалъ ее.

— Что вы все молчите, такъ странно смотрите на меня!— говорила она, безпокойно слѣдя за нимъ глазами.—Я, Богъ знаетъ, что̀ наболтала въ бреду... это чтобъ подразнить васъ... отмстить за всѣ ваши насмѣшки... — прибавила она, стараясь улыбнуться. — Смотрите же, бабушкѣ ни слова! Скажите, что я легла, чтобъ завтра пораньше встать, и попросите ее... благословить меня заочно... Слышите?

— Да, да слышу, — разсѣянно отвѣчалъ онъ, пожалъ ей руку и позвалъ къ ней Машу.

IX.

Райскій на другой день съ любопытствомъ ждалъ пробужденія Вѣры. Онъ забылъ о своей собственной страсти, воображеніе робко молчало и ушло все въ наблюденіе за этой ползущей въ его глазахъ, какъ «удавъ», по его выра-

женію, чужой страстью, выглянувшей изъ Вѣры, съ своими острыми зубами.

Онъ былъ задумчивъ, угрюмъ, избѣгалъ вопросительныхъ взглядовъ бабушки, проклиная слово, данное Вѣрѣ, не говорить никому, всего меньше Татьянѣ Марковнѣ, чѣмъ и поставленъ былъ въ фальшивое положеніе.

А Татьяна Марковна не разъ ужъ заговаривала съ нимъ о ней.

— Что̀-то съ Вѣрой неладно! — говорила она, качая головой.

— Что̀ такое?—спрашивалъ небрежно Райскій, стараясь казаться равнодушнымъ.

— Не хорошо! хуже, нежели намедни: ходитъ хмурая, молчитъ, иногда кажется, будто слезы у нея на глазахъ. Я съ докторомъ говорила, тотъ опять о нервахъ поетъ. Дѣвичьи припадки, что̀ ли?..

Бабушка не кончала рѣчи и грустно задумывалась.

Онъ съ нетерпѣніемъ ожидалъ Вѣры. Наконецъ она пришла. Дѣвушка принесла за ней теплое пальто, шляпку и ботинки на толстой подошвѣ. Она, поздоровавшись съ бабушкой, попросила кофе, съ аппетитомъ съѣла нѣсколько сухарей и напомнила Райскому просьбу свою побывать съ ней въ городѣ, въ лавкахъ, и потомъ погулять вмѣстѣ въ полѣ и въ рощѣ.

Она какъ будто ничего. Изъ вчерашняго только замѣтна была несвойственная ей развязность въ движеніяхъ, и излишняя торопливость рѣчи, казавшаяся натянутой. Очевидно было, что она крѣпится и маскируетъ разстроенность духа или нервъ.

Она даже вдалась въ подробности о нарядахъ съ Полиной Карповной, которая неожиданно явилась въ кабинетъ бабушки, съ какими-то обѣщанными выкройками новаго фасона платья для приданаго Марѳиньки, а въ самомъ дѣлѣ, чтобъ узнать о возвращеніи Бориса Павловича.

Она все хотѣла, во что бы то ни стало, видѣться съ нимъ наединѣ и все выбирала удобную минуту сѣсть подлѣ него, увѣряя всѣхъ, и его самого, что онъ хочетъ что-то сказать ей безъ свидѣтелей.

Она дѣлала томные глаза, ловила его взглядъ и раза два начинала тихо:

— Je comprends: dites tout! du courage.

«Ну тебя къ чорту!» думалъ онъ, хмурясь и отодвигаясь отъ нея.

Наконецъ Вѣра надѣла пальто, взяла его подъ руку и сказала:

— Пойдемте!

Крицкая порывалась-было идти съ ними, но Вѣра уклонилась, сказавъ:

— Мы идемъ пѣшкомъ и надолго съ братомъ, а у васъ, милая Полина Карповна, длинный шлейфъ, и вообще нарядный туалетъ—на дворѣ сыро...

И ушли.

Райскій молчалъ, наблюдая Вѣру, а она старалась казаться въ обыкновенномъ расположеніи духа, дѣлала бѣглыя замѣчанія о погодѣ, о встрѣчавшихся знакомыхъ, о томъ, что вонъ этотъ домъ, еще мѣсяцъ тому назадъ, былъ сѣрый, запущенный, съ обвалившимися карнизами, а теперь вонъ какъ свѣжо смотритъ, когда его оштукатурили и выкрасили въ желтый цвѣтъ. Упомянула, что къ зимѣ заново отдѣлаютъ залу собранія, что гостиный дворъ покроютъ желѣзомъ, остановилась посмотрѣть, какъ ровняютъ улицу для бульвара.

Она вообще казалась довольной, что идетъ по городу, замѣтивъ, что эта прогулка была необходима и для того, что ее давно не видитъ никто, и Богъ знаетъ, что думаютъ, точно будто она умерла.

Райскій—ни слова не отвѣчалъ на весь этотъ развязный лепетъ, подъ которымъ слышались ему совсѣмъ другія рѣчи.

— Можетъ-быть, я дурно дѣлаю, что лишаю васъ общества Полины Карповны?—замѣтила она, напрасно стараясь вывести его изъ молчанія.

Онъ сдѣлалъ нетерпѣливое движеніе плечомъ.

— Я шучу!—сказала она, мѣняя тонъ на другой, болѣе искренній. — Я хочу, чтобъ вы провели со мной день, и нѣсколько дней до вашего отъѣзда,—продолжала она почти съ грустью.—Не оставляйте меня, дайте побыть съ вами... Вы скоро уѣдете—и никого около меня!

— Я боюсь, Вѣра, что я совершенно безполезенъ тебѣ, именно потому, что ничего не знаю. Вижу только, что у тебя какая-то драма, что наступаетъ или наступила катастрофа...

Она вздрогнула.

— Что̀ ты?—заботливо спросилъ онъ.

— Свѣжо на дворѣ, плечи зябнутъ!—сказала она, пожимая плечами. — Какая драма! нездорова, не весела, осень на дворѣ, а осенью человѣкъ, какъ всѣ звѣри, будто уходитъ въ себя. Вонъ и птицы уже улетаютъ—посмотрите, какъ журавли летятъ! — говорила она, указывая высоко надъ Волгой на кривую линію черныхъ точекъ въ воздухѣ. — Когда кругомъ все дѣлается мрачно, блѣдно, уныло,—и на душѣ становится уныло... Не правда ли?

Она сама знала, что его не легко было обойти такимъ объясненіемъ, и говорила такъ, чтобъ не говорить правды.

Онъ молчалъ, стараясь отыскать другой, настоящій ключъ.

— Вѣра, я хотѣлъ тебя спросить...—началъ онъ.

— Что̀ такое? — съ безпокойствомъ перебила она и, не дождавшись отвѣта, прибавила: — хорошо, спросите, только не сегодня, а погодя нѣсколько дней... Однако—что такое?

— О письмахъ, которыя ты писала ко мнѣ...

— Да, что же такое?

— Помнишь, ты писала, что раздѣляешь мой взглядъ на честность...

Она подумала и, казалось, старалась вспомнить.

— Да... да... какъ же, какъ же... писала... такъ что же?

Онъ глядѣлъ на нее пристально.

— Ты ли писала это письмо?

— Кто же?—вдругъ сказала она съ живостью:—конечно, я... Послушайте, — прибавила она потомъ: — оставимъ это объясненіе, какъ я просила, до другого раза. Я больна, слаба... вы видѣли, какой припадокъ былъ у меня вчера. Я теперь даже не могу всего припомнить, что̀ я писала, и какъ-нибудь перепутаю...

— Хорошо̀, пусть до другого раза! — со вздохомъ сказалъ онъ.—Скажи, по крайней мѣрѣ, зачѣмъ я тебѣ? Зачѣмъ ты удерживаешь меня? Зачѣмъ хочешь, чтобъ я остался, чтобъ пробылъ съ тобой эти дни?

Она сильно оперлась рукой на его руку и прижалась къ его плечу, умоляя глазами не спрашивать.

— Вѣдь не любишь же ты меня въ самомъ дѣлѣ. Ты знаешь, что я не вѣрю твоей кокетливой игрѣ,—и настолько уважаешь меня, что не станешь увѣрять серьезно... Я, когда не въ горячкѣ, вижу, что ты издѣваешься надо мной: зачѣмъ и за что̀?

Она сильно сжала его руку и молила опять глазами не продолжать.

— По крайней мѣрѣ, о себѣ я въ правѣ спросить, зачѣмъ я тебѣ? Ты не можешь не видѣть, какъ я весь истерзанъ, и страстью, и этимъ градомъ ударовъ сердцу, самолюбію...

— Да, самолюбію...—повторила она разсѣянно.

— Положимъ, самолюбію, оставимъ споръ о томъ, что̀ такое самолюбіе, и что̀ — такъ-называемое — сердце. Но ты должна сказать, зачѣмъ я тебѣ? Это мое право — спросить, и твой долгъ — отвѣчать прямо и откровенно, если не хочешь, чтобъ я счелъ тебя фальшивой, злой...

Она шла съ поникшей головой, а онъ ждалъ отвѣта.

— Оставимъ теперь это...

— И это оставимъ? Нѣтъ, не оставлю!—съ вспыхнувшей злостью сказалъ онъ, вырвавъ у ней руку:—ты какъ кошка съ мышью играешь со мной! Я больше не позволю, довольно! Ты можешь откладывать свои секреты до удобнаго времени, даже вовсе о нихъ не говорить:—ты въ правѣ, а о себѣ я требую немедленно отвѣта. Зачѣмъ я тебѣ? Какую ты роль дала мнѣ и зачѣмъ, за что!

— Вы сами выбрали эту роль, братъ...—кротко возразила она, склоняя лицо внизъ. — Вы просили не удалять васъ...

Онъ, въ безсильной досадѣ на ея справедливый упрекъ, отшатнулся отъ нея въ сторону и мѣсилъ широкими шагами грязь по улицѣ, а она шла по деревянному тротуару.

— Не сердитесь, братъ, подите сюда! Я не затѣмъ удержала васъ, чтобъ оскорблять—нѣтъ!—шептала она, призывая его къ себѣ.—Подите сюда, ко мнѣ.

Онъ опять подалъ ей руку.

— Я прошу васъ только, не говорите мнѣ объ этомъ теперь, не тревожьте меня — чтобъ со мной не случилось опять вчерашняго припадка!.. Вы видите, я едва держусь на ногахъ... Посмотрите на меня, возьмите мою руку...

Онъ взялъ руку—она была блѣдна, холодна, синія жилки на ней видны явственно. И шея, и талія стали у ней тоньше, лицо потеряло живые цвѣта и сквозилось грустью и слабостью. Онъ опять забылъ о себѣ, ему стало жаль только ее.

— Я не хочу, чтобъ дома замѣтили это... Я очень слаба... поберегите меня...—молила она, и даже слезы показались въ глазахъ.—Защитите меня... отъ себя самой!.. Ужо, въ сумерки, часовъ въ шесть послѣ обѣда, зайдите ко мнѣ—я... скажу вамъ, зачѣмъ я васъ удержала...

— Виноватъ, Вѣра, я тоже самъ не свой! — говорилъ онъ, глубоко тронутый ея горемъ, пожимая ей руку: — я вижу, что ты мучаешься—не знаю, чѣмъ... Но — я ничего

не спрошу, я долженъ бы щадить твое горе — и не умѣю, потому что самъ мучаюсь. Я приду ужò, располагай мною...

Она отвѣчала на его пожатіе сильнымъ пожатіемъ руки.

— Скажу, если въ силахъ буду сказать... — прошептала она.

У него замерло сердце отъ тоски и предчувствія.

Они прошли по лавкамъ. Вѣра дѣлала покупки для себя и для Мареиньки, также развязно и словоохотливо разговаривая съ купцами и съ встрѣчными знакомыми. Съ нѣкоторыми даже останавливалась на улицѣ и входила въ мелочныя, будничныя подробности, зашла къ какой-то своей крестницѣ, дочери бѣдной мѣщанки, которой отдала купленнаго на платье ей и малюткѣ ситцу и одѣяло. Потомъ охотно приняла предложеніе Райскаго навѣстить Козлова.

Когда они входили въ ворота, изъ калитки вдругъ вышелъ Маркъ. Увидя ихъ, онъ едва кивнулъ Райскому, не отвѣчая на его вопросъ:—Чтò Леонтій? и почти не взглянувъ на Вѣру, бросился по переулку скорыми шагами.

Вѣра вдругъ будто приросла на минуту къ землѣ, но тотчасъ же оправилась и также скорыми шагами вбѣжала на крыльцо, опередивъ Райскаго.

— Чтò съ нимъ?—спросилъ Райскій, глядя вслѣдъ Марку:— не отвѣчалъ ни слова, и какъ бросился! Да и ты испугалась: не онъ ли ужъ это тамъ стрѣляетъ?.. Я видалъ его тамъ съ ружьемъ...—добавилъ онъ, шутя.

— Онъ самый!—сказала Вѣра развязно, не оборачиваясь и входя въ комнату Козлова.

«Нѣтъ, нѣтъ», думалъ Райскій: «оборванный, бродящій цыганъ—ея идолъ, нѣтъ, нѣтъ! Впрочемъ, почему «нѣтъ»? Страсть жестока и самовластна. Она не покоряется человѣческимъ соображеніямъ и уставамъ, а покоряетъ людей своимъ неизвѣданнымъ капризомъ! Но Вѣрѣ негдѣ было сблизиться съ Маркомъ. Она боится его, какъ всѣ здѣсь!»

Козловъ по-вчерашнему ходилъ, пошатываясь, какъ пья-

ный, изъ угла въ уголъ, угрюмо молчалъ съ неблизкими и обнаруживалъ тоску только при Райскомъ, слабѣлъ и падалъ духомъ, жалуясь тихимъ ропотомъ, и все вслушивался въ каждый проѣзжавшій экипажъ по улицѣ, подходилъ къ дверямъ въ волненіи и возвращался въ отчаяніи.

На приглашеніе Райскаго и Вѣры переѣхать къ нимъ, онъ молчалъ, едва вслушиваясь, или скажетъ:

— Да, да, только послѣ, погодя недѣли двѣ... три...

— Послѣ свадьбы Марѳиньки,—сказала Вѣра.

— Послѣ свадьбы, послѣ свадьбы! — подтвердилъ Леонтій. — Да, благодарю, а теперь я поживу здѣсь... Покорно благодарю...

Онъ вдругъ взглянулъ на Вѣру, и какъ будто удивился, видя ее.

— Вѣра Васильевна! — сказалъ онъ, глядя на нее въ смущеніи.

— Борисъ Павловичъ,— началъ онъ, продолжая глядѣть на нее: — ты знаешь, кто еще читалъ твои книги и помогалъ мнѣ разбирать ихъ?..

— Кто?—спросилъ Райскій.

Но Козловъ уже былъ въ другомъ углу комнаты и прислушивался. Потомъ вдругъ отворилъ форточку и высунулъ голову.

— Чей это голосъ?.. женщины!— говорилъ онъ съ испугомъ, навостривъ уши и открывъ глаза.

— Ни-токъ, нитокъ! холста! — доносился пронзительный женскій крикъ издали.

Козловъ съ досадой захлопнулъ форточку.

— Кто же читалъ книги?—повторилъ Райскій.

Но Козловъ не слыхалъ вопроса, сѣлъ на постель и повѣсилъ голову. Вѣра шепнула Райскому, что ей тяжело видѣть Леонтья Ивановича, и они простились съ нимъ.

— Я что-то хотѣлъ сказать тебѣ, Борисъ Павловичъ, — задумчиво говорилъ Козловъ:—да вотъ забылъ...

— Ты говорилъ, что книги мои читалъ еще кто-то...

— Да вотъ кто! — вдругъ сказалъ Леонтій, указывая на Вѣру.

Райскій взглянулъ на Вѣру, но она задумчиво смотрѣла въ окно и тянула его за рукавъ.

— Пойдемте, пойдемте! — говорила она, порываясь на улицу.

Они воротились домой. Вѣра передала нѣкоторыя покупки бабушкѣ, другія велѣла отнести къ себѣ въ комнату и позвала опять Райскаго гулять по рощѣ, по полю, и спуститься къ Волгѣ, на песокъ.

— Пойдемте туда!—говорила она, указывая какой-нибудь бугоръ, и едва доходили они туда, она тащила его въ другое мѣсто, или взглянуть съ какой-нибудь высоты на круто заворотившуюся излучину Волги, или шла по песку, гдѣ вязли ноги, чтобъ подойти поближе къ водѣ.

Она всматривалась въ даль, указывала Райскому какое-нибудь плывущее судно, иногда шла неровными, слабыми шагами, останавливалась, переводя духъ, и отряхивая пряди волосъ отъ лица.

— Зачѣмъ ты утомляешь себя, ты слаба, Вѣра?— сказалъ онъ.

— Мнѣ все будто пить хочется, я воздуха хочу! — говорила она, оборачиваясь лицомъ въ ту сторону, откуда былъ вѣтеръ.

— Да, она перемогаетъ себя, собираетъ послѣднія силы!—шепталъ онъ, проводивъ ее наконецъ домой, гдѣ ихъ ждали къ обѣду.—Ужо, ужо!—твердилъ онъ и ждалъ шести часовъ вечера, когда стемнѣетъ.

Послѣ обѣда онъ уснулъ въ залѣ отъ усталости и проснулся, когда только-что пробило шесть часовъ и стало смеркаться.

Онъ пошелъ къ Вѣрѣ, но ея не было дома. Марина сказала, что барышня ко всенощной пошла, но только не знала,

въ какую церковь, въ слободѣ, или въ деревенскій приходъ на гору.

Въ слободской церкви Райскій пересмотрѣлъ всѣхъ и выучилъ наизусть физіономію каждой старухи, отыскивая Вѣру. Но ея не было, и онъ отравился на гору.

Тамъ въ церкви толпилось по угламъ и у дверей нѣсколько стариковъ и старухъ. За колонной, въ сумрачномъ углу, увидѣлъ онъ Вѣру, стоящую на колѣняхъ, съ наклоненной головой, съ накинутой на лицо вуалью.

Онъ сталъ сзади, за другой колонной.

Пока она молилась, онъ стоялъ, погруженный въ мысль о ея положеніи, въ чувство нѣжнаго состраданія къ ней, особенно со времени его возвращенія, когда въ ней такъ замѣтно выказалось обезсилѣніе въ тяжелой борьбѣ.

Видя это страданіе только-что расцвѣтающей жизни, глядя, какъ мнетъ и жметъ судьба молодое, виноватое только тѣмъ созданіе, что оно пожелало счастья, онъ про себя роптал на суровые, никого не щадящіе законы бытія, налагающіе тяжесть креста и на плечи злодѣя, и на эту слабую, едва распустившуюся лилію.

«Хоть бы красоты ея пожалѣлъ... пожалѣла... пожалѣло... кто? зачѣмъ? за что?» думалъ онъ и невольно поддавался мистическому влеченію вѣрить какимъ-то таинственнымъ, подготовляемымъ въ человѣческой судьбѣ минутамъ, сближеніямъ, встрѣчамъ, наводящимъ человѣка на роковую идею, на мучительное чувство, на преступное желаніе, нужное зачѣмъ-то, для цѣли, невѣдомой до поры до времени самому человѣку, отъ котораго только непреклонно требуется борьба.

Въ другія, напротивъ, минуты—казалось ему—являются также, невидимо кѣмъ-то подготовляемые случаи, будто нечаянно отводящіе отъ какого-нибудь рокового событія, шага, или увлеченія, перешагнувъ черезъ которыя, человѣкъ пе-

решагнулъ глубокую пропасть, замѣчая ее уже тогда, когда она осталась позади.

Вглядываясь въ ткань своей собственной, и всякой другой жизни, глядя теперь въ только-что початую жизнь Вѣры, онъ яснѣе видѣлъ эту игру искусственныхъ случайностей, какіе-то блуждающіе огни злыхъ обмановъ, ослѣпленій, заранѣе разставленныхъ пропастей, съ промахами, ошибками, и рядомъ—тоже будто случайные исходы изъ запутанныхъ узловъ...

«Что дѣлать? Рваться изъ всѣхъ силъ въ этой борьбѣ съ разставленными капканами, и все стремиться къ чему-то прочному, безмятежно-покойному, къ чему стремятся вонъ и тѣ простыя души?» Онъ оглянулся на молящихся стариковъ и старухъ. «Или безсмысленно купаться въ мутныхъ волнахъ этой безцѣльно текущей жизни!»

«Гдѣ же ключъ къ уразумѣнію сознательнаго пути?»

Онъ взглянулъ на Вѣру: она не шевелилась въ своей молитвѣ и не сводила глазъ съ креста.

«Бѣдная!» съ грустью думалъ онъ, вышелъ и сѣлъ на паперть, въ ожиданіи Вѣры.

Она, молча, подала ему руку. Они пошли съ горы.

— Вы были въ церкви?—спросила она.

— Да, былъ,—отвѣчалъ онъ.

Они тихо сошли съ горы по деревнѣ и по большой луговинѣ къ саду, Вѣра склоня голову, онъ—думая объ обѣщанномъ объясненіи и ожидая его. Теперь желаніе выйти изъ омута неизвѣстности—для себя, и положить, однимъ прямымъ объясненіемъ, конецъ собственной пыткѣ,—отступило на второй планъ.

Онъ чувствовалъ, что на немъ одномъ лежалъ долгъ стать подлѣ нея, освѣтить ея путь, помочь распутать ей самой какой-то роковой узелъ, или перешагнуть пропасть, и отдать ей, если нужно, всю свою опытность, умъ, сердце, всю силу.

Она и сама звала его за этимъ, въ чемъ вполовину утромъ созналась, и если не созналась вполнѣ, то конечно отъ свойственной ей осторожности—и, можетъ-быть, еще остатокъ гордости мѣшалъ ей признать себя побѣжденной.

Онъ радъ броситься ей на помощь, но не знаетъ ничего, и даже не имѣетъ права раздѣлить ни съ кѣмъ своихъ опасеній.

Но если бъ даже она и возвратила ему его слово и онъ повѣрилъ бабушкѣ всѣ свои догадки и подозрѣнія насчетъ Вѣры, повело ли бы это къ желаемому исходу?

Едва ли. Вся практическая, но устарѣвшая мудрость бабушки разбилась бы объ упрямство Вѣры, умъ которой былъ смѣлѣе, воля живѣе, чѣмъ у Татьяны Марковны, и притомъ Вѣра развита.

Ей по плечу современныя понятія, пробивающіяся въ общественное сознаніе; очевидно, она черпнула гдѣ-то другихъ идей, даже знаній, и стала неизмѣримо выше круга, гдѣ жила. Какъ ни старалась она таиться, но по временамъ проговаривалась какимъ-нибудь, нечаянно брошеннымъ словомъ, именемъ авторитета въ той или другой сферѣ знанія.

И языкъ измѣняетъ ей на каждомъ шагу; самый образъ проявленія самоволія мысли и чувства,—все, что такъ неожиданно поразило его при первой встрѣчѣ съ ней, весь складъ ума, наконецъ, характеръ, — все давало ей такой перевѣсъ надъ бабушкой, что изъ усилія Татьяны Марковны—выручить Вѣру изъ какой-нибудь бѣды, не вышло бы ровно ничего.

Бабушка могла предостеречь Вѣру отъ какой-нибудь практической крупной ошибки, защитить ее отъ болѣзни, отъ грубой обиды, вырвать, съ опасностью собственной жизни, изъ огня: но что она сдѣлаетъ въ такой неосязаемой бѣдѣ, какъ страсть, если она есть у Вѣры?

Бабушка, безспорно, умная женщина, безошибочный зна-

токъ и судья крупныхъ и общихъ явленій жизни, бойкая хозяйка, отлично управляетъ своимъ маленькимъ царствомъ, знаетъ людскіе нравы, пороки и добродѣтели, какъ они обозначены на скрижаляхъ Моисея и въ Евангеліи.

Но едва ли она знаетъ ту жизнь, гдѣ игра страстей усложняетъ людскія отношенія въ такую мелкую ткань и окрашиваетъ въ такіе цвѣта, какіе и не снятся никому въ мирныхъ деревенскихъ затишьяхъ. Она—дѣвушка.

Если въ молодости любовь, страсть, или что-нибудь подобное, и было извѣстно ей, такъ это, конечно, страсть безъ опыта, какая-нибудь нераздѣленная, или заглохшая отъ неудачи подъ гнетомъ любовь, не драма—любовь, а лирическое чувство, разыгравшееся въ ней одной и въ ней угасшее и погребенное, не оставившее слѣда и не положившее ни одного рубца на ея ясной жизни.

Гдѣ же ей знать или вспомнить эту борьбу, подать другому руку, помочь обойти эту пропасть? Она не вполнѣ и повѣрила бы страсти: ей надо факты.

Выстрѣлы на днѣ обрыва и прогулки туда Вѣры — конечно факты, но бабушка противъ этихъ фактовъ и могла бы принять мѣры, т. е. разставила бы домашнюю полицію съ дубинами, подкараулила бы любовника и нанесла бы этимъ еще новый ударъ Вѣрѣ.

Не пускать Вѣру изъ дому, — значитъ обречь на заключеніе, т. е. унизить, оскорбить ее, посягнувъ на ея свободу. Татьяна Марковна поняла бы, что это морально, да и физически невозможно.

Вѣра не вынесла бы грубой неволи и бѣжала бы отъ бабушки, какъ убѣгала за Волгу отъ него, Райскаго, словомъ—нѣтъ средствъ! Вѣра выросла изъ круга бабушкиной опытности и морали, думалъ онъ, и та только раздражитъ ее своими наставленіями, или, пожалуй, опять заговоритъ

о какой-нибудь Кунигундѣ — и насмѣшитъ. А Вѣра потеряетъ и послѣднюю искру довѣрія къ ней.

Нѣтъ, отжилъ этотъ авторитетъ; онъ годился для Мароиньки, а не для независимой, умной и развитой Вѣры.

Средство или ключъ къ ея горю, если и есть — въ рукахъ самой Вѣры, но она никому не ввѣряетъ его, и едва теперь только, когда силы измѣняютъ, она обронитъ намекъ, слово, и опять въ испугѣ отниметъ и спрячется. Очевидно—она не въ силахъ одна разсѣчь своего Гордіева узла а гордость, или привычка жить своими силами,—хоть погибать, да жить ими,—мѣшаетъ ей высказаться!

Онъ думалъ все это, идучи молча подлѣ нея и не зная, какъ вызвать ее на полную откровенность—не для себя уже теперь, а для ея спасенія. Наконецъ, онъ рѣшилъ подойти стороной: нельзя ли ему самому угадать что-нибудь изъ ея отвѣтовъ на нѣкоторые прежніе свои вопросы, поймать имя, остановить ее на немъ и облегчить ей признаніе, которое самой ей сдѣлать, повидимому, было трудно, хотя и хотѣлось и даже обѣщала она сдѣлать, да не можетъ. Надо помочь ей хитростью. Она теперь разстроена и, можетъ-быть, оплошаетъ и обмолвится.

Онъ вспомнилъ, какъ напрасно добивался онъ отъ нея источника ея развитія, разспрашивая о ея воспитаніи, о томъ, кто могъ имѣть на нее вліяніе, откуда она почерпнула этотъ смѣлый и свободный образъ мысли, нѣкоторыя знанія, увѣренность въ себѣ, самообладаніе. Не у француженки же въ пансіонѣ! Кто былъ ея руководителемъ, собесѣдникомъ, когда кругомъ никого нѣтъ?

Такъ думалъ онъ подвести ее къ признанію.

— Послушай, Вѣра, я хотѣлъ у тебя кое-что спросить,— началъ онъ равнодушнымъ голосомъ:—сегодня Леонтій упомянулъ, что ты читала книги въ моей библіотекѣ, а ты никогда ни слова мнѣ о нихъ не говорила. Правда это?

— Да, нѣкоторыя читала. Что̀ жъ?

— Съ кѣмъ же читала, съ Козловымъ?

— Иныя — да. Онъ объяснялъ мнѣ содержаніе нѣкоторыхъ писателей. Другихъ я читала одна, или со священникомъ, мужемъ Наташи...

— Какія же книги ты читала съ священникомъ?

— Теперь я не помню... Св. отцовъ, напримѣръ. Онъ намъ съ Наташей объяснялъ, и я многимъ ему обязана... Спинозу читали съ нимъ... Вольтера...

Райскій засмѣялся.

— Чему вы смѣетесь?—спросила она.

— Какой переходъ отъ св. отцовъ къ Спинозѣ и Вольтеру! Тамъ въ библіотекѣ всѣ энциклопедисты есть. Ужели ты ихъ читала?

— Нѣтъ, куда же всѣхъ! Николай Ивановичъ читалъ кое-что и передавалъ намъ съ Наташей...

— Какъ это вы до Фейербаха съ братіей не дошли... до соціалистовъ и матеріалистовъ!..

— Дошли!—съ слабой улыбкой сказала она:—опять-таки не мы съ Наташей, а мужъ ея. Онъ просилъ насъ выписывать мѣста, отмѣчалъ карандашомъ...

— Зачѣмъ?

— Хотѣлъ, кажется, возражать и напечатать въ журналѣ, не знаю...

— Въ библіотекѣ моего отца нѣтъ этихъ новыхъ книгъ, гдѣ же вы взяли ихъ?—съ живостью спросилъ Райскій и навострилъ ухо.

Она молчала.

— Ужъ не у того ли изгнанника, находящагося подъ присмотромъ полиціи, которому ты помогала? Помнишь, ты писала о немъ?..

Она, не слушая его, шла и молчала задумчиво.

— Вѣра, ты не слушаешь?

— А? нѣтъ, я слышу... — очнувшись сказала она: — гдѣ я брала книги? Тутъ... въ городѣ, то у того, то у другого...

— Волоховъ раздавалъ эти же книги...—замѣтилъ онъ.

— Можетъ-быть, и онъ... Я у учителей брала...

«Не учитель ли какой-нибудь, въ родѣ m-r Шарля?» сверкнуло у него въ умѣ.

— Что же Николай Ивановичъ говоритъ о Спинозѣ и объ этихъ всѣхъ авторахъ?

— Много, всего не припомнишь...

— Напримѣръ,—добивался Райскій.

— Онъ говоритъ, что это «попытки гордыхъ умовъ уйти въ сторону отъ истины», вотъ какъ эти дорожки бѣгутъ въ сторону отъ большой дороги и опять сливаются съ ней же...

— Еще что̀?

— Еще?—что̀ еще? Теперь забыла. Говоритъ, что всѣ эти «попытки служатъ истинѣ, очищаютъ ее какъ огнемъ, что это неизбѣжная борьба, безъ которой побѣда и царство истины не было бы прочно...» И мало ли что̀ онъ еще говорилъ!...

— А гдѣ «истина»? онъ не отвѣчалъ на этотъ Пилатовъ вопросъ?

— Вонъ тамъ,—сказала она, указывая назадъ на церковь:—гдѣ мы сейчасъ были!.. Я это до него знала...

— Ты думаешь, что онъ правъ?..—спросилъ онъ, стараясь хоть мелькомъ заглянуть ей въ душу.

— Я не думаю, а вѣрю, что онъ правъ. А вы?—повернувшись къ нему, спросила она съ живостью.

Онъ утвердительно наклонилъ голову.

— Зачѣмъ же меня спрашиваете?

— Есть невѣрующіе, я хотѣлъ знать твое мнѣніе...

— Я въ этомъ, кажется, не скрывалась отъ васъ, вы часто видите мою молитву...

— Да, но я желалъ бы слышать ее. Скажи, о чемъ ты молишься, Вѣра?

— О невѣрующихъ...—тихо сказала она.

— А я думалъ, о своей тревогѣ, объ этой бурѣ...

— Да... въ этомъ—и моя тревога, и моя буря!..—шептала она. Онъ не слыхалъ.

Проходя мимо часовни, она на минуту остановилась передъ ней. Тамъ было темно. Она съ медленнымъ, затаеннымъ вздохомъ, пошла дальше, къ саду, и шла все тише и тише. Дойдя до стараго дома, она остановилась и знакомъ головы подозвала къ себѣ Райскаго.

— Послушайте, что̀ я вамъ скажу... — тихо и нерѣшительно начала она, какъ будто преодолѣвая себя.

— Говори, Вѣра...

— Вы сказали... — еще тише начала она: — что самое вѣрное средство противъ... «бури»... это не ходить туда...

Она показала къ обрыву.

— Да, вѣрнѣе этого нѣтъ...

— Я хотѣла просить васъ...

Она остановилась, держа его за бортъ пальто.

— Я жду, Вѣра, — шепталъ и онъ, съ легкой дрожью нетерпѣнія и, можетъ-быть, тяжелаго предчувствія.—Вчера я ждалъ только для себя, чтобъ унять боль; теперь я жду для тебя, чтобъ помочь тебѣ — или снести твою ношу, или распутать какой-то трудный узелъ, можетъ-быть, спасти тебя...

— Да, помогите... — сказала она, отирая платкомъ выступившія слезы:—я такъ слаба... нездорова... силъ у меня нѣтъ...

— Не поможетъ ли лучше меня бабушка? Откройся ей, Вѣра; она женщина, и твое горе, можетъ-быть. знакомо ей...

Вѣра, зажавъ глаза платкомъ, отрицательно качала головой.

— Нѣтъ, она не такая... она ничего этого не знала...

— Что̀ же я могу сдѣлать?.. скажи все...

— Не спрашивайте меня, братъ. Я не могу сказать

всего. Сказала бы все, и бабушкѣ, и вамъ... и скажу когда-нибудь... когда пройдетъ... а теперь пока не могу...

— Какъ же я могу помочь, когда не знаю ни твоего горя, ни опасности? Откройся мнѣ, и тогда простой анализъ чужого ума разъяснитъ тебѣ твои сомнѣнія, удалитъ, можетъ-быть, затрудненія, выведетъ на дорогу... Иногда довольно взглянуть ясно и трезво на свое положеніе, и уже отъ одного сознанія становится легче. Ты сама не можешь: дай мнѣ взглянуть со стороны. Ты знаешь, два ума лучше одного...

— Никакіе умы, никакой анализъ—не выведутъ на дорогу, слѣдовательно и говорить безполезно! — почти съ отчаяніемъ сказала она.

— Какъ же я могу помочь тебѣ?

Она близко глядѣла ему въ глаза глазами, полными слезъ.

— Не покидайте меня, не теряйте изъ вида, — шептала она. — Если услышите... выстрѣлъ оттуда... (она показала на обрывъ) — будьте подлѣ меня... не пускайте меня— заприте, если нужно, удержите силой... Вотъ до чего я дошла!—съ ужасомъ сама прошептала она, закинувъ голову назадъ въ отчаяніи, какъ будто удерживала стонъ, и вдругъ выпрямилась. — Потомъ... — тихо начала опять: — никогда объ этомъ ни кому не поминайте, даже мнѣ самой! Вотъ все, что вы можете сдѣлать для меня: за этимъ я удержала васъ! Я жалкая эгоистка, не дала вамъ уѣхать! Я чувствовала, что слабѣю... У меня никого нѣтъ, бабушка не поняла бы... Вы одинъ... Простите меня!

— Ты хорошо сдѣлала... — съ жаромъ сказалъ онъ.— Ради Бога, располагай мною — я теперь все понялъ и готовъ навсегда здѣсь остаться, лишь бы ты успокоилась...

— Нѣтъ, черезъ недѣлю выстрѣлы прекратятся навсегда...—прибавила она, отирая платкомъ слезы.

Она сжала обѣ его руки и, не оглядываясь, ушла къ

себѣ, взбираясь на крыльцо тихо, неровными шагами, держась за перилы.

X.

Прошло два дня. По утрамъ Райскій не видалъ почти Вѣру наединѣ. Она приходила обѣдать, пила вечеромъ вмѣстѣ со всѣми чай, говорила объ обыкновенныхъ предметахъ, иногда только казалась утомленною.

Райскій по утрамъ опять началъ вносить замѣтки въ программу своего романа, потомъ шелъ навѣщать Козлова, заходилъ на минуту къ губернатору, и еще къ двумъ, тремъ лицамъ въ городѣ, съ которыми успѣлъ покороче познакомиться. А вечеръ проводилъ въ саду, стараясь не терять изъ вида Вѣры, по ея просьбѣ, и прислушиваясь къ каждому звуку въ рощѣ.

Онъ сидѣлъ на скамьѣ у обрыва, ходилъ по аллеямъ, и только къ полуночи у него прекращалось напряженное, томительное ожиданіе выстрѣла. Онъ почти желалъ его, надѣясь, что своею помощью сразу, навсегда отведетъ Вѣру отъ какой-то бѣды.

Но вотъ два дня прошли тихо; до конца назначеннаго срока, до недѣли, было еще пять дней. Райскій разсчитывалъ, что въ день рожденія Марѳиньки, послѣзавтра, Вѣрѣ неловко будетъ оставить семейный кругъ, а потомъ, когда Марѳинька на другой день уѣдетъ съ женихомъ и съ его матерью за Волгу, въ Колчино, ей опять неловко будетъ оставлять бабушку одну—и такимъ образомъ недѣля пройдетъ, а съ ней минуетъ и туча. Вѣра за обѣдомъ просила его зайти къ ней вечеромъ, сказавши, что дастъ ему порученіе.

Она выходила гулять, когда онъ пришелъ. Глаза у ней были, казалось, заплаканы, нервы видимо упали, движенія были вялы, походка медленна. Онъ взялъ ее подъ руку, и такъ какъ она направлялась изъ сада къ полю, онъ думалъ,

что она идетъ къ часовнѣ, повелъ ее по лугу и по дорожкѣ туда.

Она молча шла за нимъ, въ глубокой задумчивости, отъ которой очнулась у порога часовни. Она вошла туда и глядѣла на задумчивый ликъ Спасителя.

— Мнѣ кажется, Вѣра, у тебя есть помощь сильнѣе моей, и ты напрасно надѣялась на меня. Ты и безъ меня не пойдешь туда... — тихо говорилъ онъ, стоя на порогѣ часовни.

Она сдѣлала утвердительный знакъ головой, и сама, кажется, во взглядѣ Христа искала силы, участія, опоры, опять призыва. Но взглядъ этотъ, какъ всегда, задумчиво-покойно, какъ будто безучастно смотрѣлъ на ея борьбу, не помогая ей, не удерживая ее... Она вздохнула.

— Не пойду! — подтвердила она тихо, отводя глаза отъ образа

Райскій не прочелъ на ея лицѣ ни молитвы, ни желанія. Оно было подернуто задумчивымъ выраженіемъ усталости, равнодушія, а можетъ-быть, и тихой покорности.

— Пойдемъ домой, ты легко одѣта,—сказалъ онъ.

Она повиновалась.

— А что же порученіе—какое?—спросилъ онъ.

— Да, — припомнила она и достала изъ кармана портмонэ. — Возьмите у золотыхъ дѣлъ мастера Шмита porte-bouquet. Я еще на той недѣлѣ выбрала подарить Марѳинькѣ въ день рожденія, — только велѣла вставить нѣсколько жемчужинъ, изъ своихъ собственныхъ, и вырѣзать ея имя. Вотъ деньги.

Онъ спряталъ деньги.

— Это не все. Въ самый день ея рожденія, послѣзавтра, пораньше утромъ... Вы можете встать часовъ въ восемь?..

— Еще бы! я, пожалуй, и спать не лягу совсѣмъ...

— Зайдите вотъ сюда—знаете большой садъ—въ оранжерею, къ садовнику. Я ужъ говорила ему; выберите по-

наряднѣе букетъ цвѣтовъ и пришлите мнѣ, пока Марѳинька не проснулась... Я полагаюсь на вашъ вкусъ...

— Вотъ какъ! я дѣлаю успѣхи въ твоемъ довѣріи, Вѣра!—сказалъ, смѣясь, Райскій:—вкусу моему вѣришь и честности, даже деньги не боялась отдать...

— Я сдѣлала бы это все сама, да не могу... силъ нѣтъ... устаю! — прибавила она, стараясь улыбнуться на его шутку.

Онъ на другой день утромъ взялъ у Шмита porte-bouquet и обдумывалъ, изъ какихъ цвѣтовъ долженъ быть составленъ букетъ для Марѳиньки. Однихъ цвѣтовъ нельзя было найти въ позднюю пору, другіе не годились.

Потомъ онъ выбралъ дамскіе часы съ эмалевой доской, съ цѣпочкой, подарить отъ себя Марѳинькѣ, и для этого зашелъ къ Титу Никонычу и занялъ у него двѣсти рублей до завтра, чтобы не воевать съ бабушкой, которая безъ боя не дала бы ему промотать столько на подарокъ, и кромѣ того, пожалуй, выдала бы заранѣе его секретъ.

У Тита Никоныча онъ увидѣлъ роскошный дамскій туалетъ, обшитый розовой кисеей и кружевами, съ зеркаломъ, увитымъ фарфоровой гирляндой изъ амуровъ и цвѣтовъ, артистической, тонкой работы, съ Севрской фабрики.

— Что это? Гдѣ вы взяли такую драгоцѣнность?—говорилъ онъ, разсматривая группы амуровъ, цвѣты, краски,— и не могъ отвести глазъ.—Какая прелесть!

— Марѳѣ Васильевнѣ! — любезно улыбаясь, говорилъ Титъ Никонычъ:—я очень счастливъ, что вамъ нравится— вы знатокъ. Вашъ вкусъ мнѣ порукой, что этотъ подарокъ будетъ благосклонно принятъ дорогой новорожденной къ ея свадьбѣ. Какая отмѣнная дѣвица! Поглядите, эти розы, можно сказать, суть ея живое подобіе. Она будетъ видѣть въ зеркалѣ свое плѣнительное личико, а купидоны ей будутъ улыбаться...

— Гдѣ вы достали такую рѣдкость?

— До завтра прошу у васъ секрета отъ Татьяны Марковны и отъ Марѳы Васильевны тоже!—сказалъ Титъ Никонычъ.

— Вѣдь это больше тысячи рублей надо заплатить! И гдѣ здѣсь достать?..

— Пять тысячъ рублей ассигнаціями мой дѣдъ заплатилъ въ приданое моей родительницѣ. Это хранилось до сихъ поръ въ моей вотчинѣ, въ спальнѣ покойницы. Я въ прошедшемъ мѣсяцѣ подъ секретомъ велѣлъ доставить сюда; на рукахъ несли полтораста верстъ, шесть человѣкъ попеременно, чтобъ не разбилось. Я только новую кисею велѣлъ сдѣлать, а кружева — тоже старинныя: изволите видѣть—пожелтѣли. Это очень цѣнится дамами, тогда какъ...—добавилъ онъ съ усмѣшкой:—въ нашихъ глазахъ не имѣетъ никакой цѣны.

— Что̀ бабушка скажетъ?—замѣтилъ Райскій.

— Безъ грозы не обойдется, я сильно тревожусь, но можетъ-быть, по своей добротѣ, проститъ меня. Позволяю себѣ вамъ открыть, что я люблю обѣихъ дѣвицъ, какъ родныхъ дочерей,—прибавилъ онъ нѣжно:—обѣихъ на колѣняхъ качалъ, грамотѣ вмѣстѣ съ Татьяной Марковной обучалъ: это—какъ моя семья. Не измѣните мнѣ,—шепнулъ онъ:—скажу конфиденціально, что и Вѣрѣ Васильевнѣ въ одинаковой мѣрѣ я взялъ смѣлость изготовить въ свое время, при ея замужествѣ, равный этому подарокъ, который, смѣю думать, она благосклонно приметъ...

Онъ показалъ Райскому массивный серебряный столовый сервизъ на двѣнадцать человѣкъ, старой и тоже артистической отдѣлки.

— Вамъ, какъ брату и другу ея, открою, — шепталъ онъ: — что я, вмѣстѣ съ Татьяной Марковной, пламенно желаю ей отличной и богатой партіи, коей она вполнѣ достойна: мы замѣчаемъ, — еще тише зашепталъ онъ: — что достойнѣйшій во всѣхъ отношеніяхъ кавалеръ, Иванъ Ива-

новичъ Тушинъ — безъ ума отъ нея — какъ и слѣдуетъ быть...

Райскій вздохнулъ и вернулся домой. Онъ нашелъ тамъ Викентьева съ матерью, которая пріѣхала изъ-за Волги къ дню рожденія Марѳиньки, Полину Карповну, двухъ-трехъ гостей изъ города и—Опенкина.

Послѣдній разливалъ волны семинарскаго краснорѣчія, переходя нерѣдко въ плаксивый тонъ и обращая къ Марѳинькѣ пожеланія, по случаю предстоящаго брака.

Бабушка не рѣшилась оставить его къ обѣду при «хорошихъ гостяхъ» и поручила Викентьеву напоить за завтракомъ, что̀ тотъ и исполнилъ отчетливо, такъ что къ тремъ часамъ Опенкинъ былъ «готовъ» совсѣмъ и спалъ крѣпкимъ сномъ въ пустой залѣ стараго дома.

Гости часовъ въ семь разъѣхались. Бабушка съ матерью жениха зарылись совсѣмъ въ приданое и вели нескончаемый разговоръ въ кабинетѣ Татьяны Марковны.

А женихъ съ невѣстой, обѣжавъ разъ пять садъ и рощу, ушли въ деревню. Викентьевъ несъ за Марѳинькой цѣлый узелъ, который, пока они шли по полю, онъ кидалъ вверхъ и ловилъ на-лету.

Марѳинька обошла каждую избу, прощалась съ бабами, ласкала ребятишекъ, двумъ изъ нихъ вымыла рожицы, нѣкоторымъ матерямъ дала ситцу на рубашонки дѣтямъ, да двумъ дѣвочкамъ постарше, на платья, и двѣ пары башмаковъ, сказавъ, чтобъ не смѣли ходить босоногія по лужамъ.

Полоумной Агашкѣ дала какую-то изношенную душегрѣйку, которую выпросила въ дворнѣ у Улиты, обѣщаясь, по возвращеніи, сдѣлать ей новую, на-строго приказавъ Агашкѣ не ходить въ одномъ платьѣ по осеннему холоду, и сказала, что пришлетъ «коты» носить въ слякоть.

Безногому старику Силычу оставила рубль мѣдными деньгами, которыя тотъ жадно подобралъ, когда Викентьевъ, съ

грохотомъ и хохотомъ, выворачивая карманы, выбросилъ ихъ на лавку.

Силычъ, дрожащими отъ жадности руками, началъ завертывать ихъ въ какіе-то хлопки и тряпки, пряталъ въ карманы, даже взялъ одинъ пятакъ въ ротъ.

Но Марѳинька погрозила, что отниметъ деньги и никогда не придетъ больше, если онъ станетъ прятать ихъ, а самъ выпрашивать луковицу на обѣдъ и просить на паперти милостыню.

— Красавица ты наша, Божій ангелъ, награди тебя Господь!—провожали ее бабы съ каждаго двора, когда она прощалась съ ними недѣли на двѣ.

А мужички ласково и лукаво улыбались молча:

«Балуетъ барышня», какъ будто думали они: «съ ребятишками, да съ бабами возится! ишь какой пустякъ носитъ имъ! Почтò это нашимъ бабамъ и ребятишкамъ?»

И небрежно разсматривали ситцевую рубашку, какой-нибудь поясокъ, или маленькіе башмаки.

XI.

Вечеромъ новый домъ сіялъ огнями. Бабушка не знала, какъ угостить свою гостью и будущую родню.

Она воздвигла ей парадную постель въ гостиной, чуть не до потолка, походившую на катафалкъ. Марѳинька, въ своихъ двухъ комнатахъ, цѣлый вечеръ играла, пѣла съ Викентьевымъ—наконецъ они затихли за чтеніемъ какой-то новой повѣсти, безпрестанно прерываемымъ замѣчаніями Викентьева, его шалостями и рѣзвостью.

Только окна Райскаго не были освѣщены. Онъ ушелъ тотчасъ послѣ обѣда и не возвращался къ чаю.

Луна освѣщала новый домъ, а старый прятался въ тѣни. На дворѣ, въ кухнѣ, въ людскихъ, долѣе обыкновеннаго не ложились спать люди, у которыхъ въ гостяхъ были

пріѣхавшіе съ барыней Викентьевой изъ-за Волги, кучеръ и лакей.

На кухнѣ долго не гасили огня, готовили ужинъ, и отчасти завтрашній обѣдъ.

Вѣра съ семи часовъ вечера сидѣла въ бездѣйствіи, сначала въ сумеркахъ, потомъ при слабомъ огнѣ одной свѣчи, облокотясь на столъ и положивъ на руку голову, другой рукой она задумчиво перебирала листы лежавшей передъ ней книги, въ которую не смотрѣла.

Глаза ея устремлены были куда-то далеко отъ книги. На плеча накинутъ бѣлый большой шерстяной платокъ, защищавшій ее отъ свѣжаго, осенняго воздуха, который въ открытое окно наполнялъ комнату. Она еще не позволяла вставить у себя рамъ и подолгу оставляла окно открытымъ.

Спустя полчаса, она медленно встала, положивъ книгу въ столъ, подошла къ окну и оперлась на локти, глядя на небо, на новый, свѣтившійся огнями черезъ всѣ окна домъ, прислушиваясь къ шагамъ ходившихъ по двору людей, потомъ выпрямилась и вздрогнула отъ холода.

Она стала закрывать окно, и только затворила одну половину, какъ среди тишины грянулъ подъ горой выстрѣлъ.

Она вздрогнула, быстро опустилась на стулъ и опустила голову. Потомъ встала, глядя вокругъ себя, мѣняясь въ [illegible] шагнула къ столу, гдѣ стояла свѣча, и остановилась. [illegible] былъ испугъ и тревога. Она нѣсколько разъ [illegible] рукой и сѣла-было къ столу, но въ ту же [illegible] быстро сдернула съ плечъ платокъ и [illegible] за занавѣсъ, на постель, еще быстрѣе [illegible] опять, ища чего-то глазами по [illegible] и не найдя что ей нужно, сѣла на [illegible] смѣженіи.

[illegible] на висѣвшей на спинкѣ [illegible] Титомъ Никонычемъ.

[illegible] торопливо надѣвать одной

рукой на голову, другой въ ту же минуту отворяла шкапъ и доставала оттуда съ вѣшалокъ. съ лихорадочной дрожью, то тò, то другое пальто.

Мелькомъ взглянувъ на пальто, попавшееся ей въ руку, она съ досадой бросала его на полъ и хватала другое, бросала опять попавшееся платье, другое, третье, и искала чего-то, перебирая одно за другимъ все, чтò висѣло въ шкапѣ, и въ то же время стараясь рукой завязать косынку на головѣ.

Наконецъ бросилась къ свѣчкѣ, схватила ее и освѣтила шкапъ. Тамъ, съ ожесточеннымъ нетерпѣніемъ, взяла она мантилью на бѣломъ пуху, еще другую, черную, шелковую, накинула первую на себя, а на нее шелковую, отбросивъ пуховую косынку прочь.

Не затворивъ шкапа, она перешагнула черезъ кучу брошеннаго на полъ платья, задула свѣчку и, скользнувъ изъ двери, не заперевъ ее, какъ мышь, неслышными шагами спустилась съ лѣстницы.

Она прокралась къ окраинѣ двора, закрытой тѣнью, и вошла въ темную аллею. Она не шагала, а неслась; едва мелькалъ темный ея силуэтъ, гдѣ нужно было перебѣжать свѣтлое пространство, такъ что луна будто не успѣвала освѣтить ее.

Она, миновавъ аллею, умѣрила шагъ, и остановилась на минуту перевести духъ у канавы, отдѣлявшей садъ отъ рощи. Потомъ перешла канаву, вошла въ кусты, мимо своей любимой скамьи, и подошла къ обрыву. Она подобрала обѣими руками платье, чтобъ спуститься...

Передъ ней, какъ изъ земли, выросъ Райскій и сталъ между ею и обрывомъ. Она окаменѣла на мѣстѣ.

— Куда, Вѣра?—спросилъ онъ.

Она молчала.

— Пойдемъ назадъ!

Онъ взялъ ее за руку. Она не дала руки и хотѣла миновать его.

— Вѣра, куда, зачѣмъ?

— Туда... въ послѣдній разъ, свиданіе необходимо—проститься... — шептала она со стыдомъ и мольбой. — Пустите меня, братъ... Я сейчасъ вернусь, а вы подождите меня... одну минуту... Посидите вотъ здѣсь, на скамьѣ...

Онъ, молча, крѣпко взялъ её за руку и не выпускалъ.

— Пустите, мнѣ больно! — шептала она, ломая его и свою руку.

Онъ не пускалъ. Между ними завязалась борьба.

— Вы не сладите со мной!..—говорила она, сжимая зубы и съ неестественной силой вырывая руку, наконецъ вырвала и метнулась-было въ сторону, мимо его.

Онъ удержалъ ее за талію, подвелъ къ скамьѣ, посадилъ и сѣлъ подлѣ нея.

— Какъ это грубо, дико!—съ тоской и злостью сказала она, отворачиваясь отъ него почти съ отвращеніемъ.

— Не этой силой хотѣлъ бы я удержать тебя, Вѣра!

— Отъ чего удержать?—спросила она почти грубо.

— Можетъ-быть—отъ гибели...

— Развѣ можно погубить меня, если я не хочу?

— Ты не хочешь, а гибнешь...

— А если я хочу гибнуть?

Онъ молчалъ.

— И никакой гибели нѣтъ, мнѣ нужно видѣться, чтобъ... разстаться...

— Чтобъ разстаться—не надо видѣться...

— Надо—и я увижусь! часомъ или днемъ позже — все равно. Всю дворню, весь городъ зовите, хоть роту солдатъ, ничѣмъ не удержите!..

Она откинула черную мантилью съ головы на плечи и судорожно передергивала ее.

Выстрѣлъ повторился. Она рванулась, но двѣ сильныя

руки за плеча посадили ее на лавку. Она посмотрѣла на Райскаго съ ногъ до головы и тряхнула головой отъ ярости.

— Какой же награды потребуете вы отъ меня за этотъ добродѣтельный подвигъ?—шипѣла она.

Онъ молчалъ и исподлобья стерегъ ея движенія. Она съ злостью засмѣялась.

— Пустите!—сказала она мягко, немного погодя.

Онъ покачалъ отрицательно головой.

— Братъ!—заговорила она черезъ минуту нѣжно, кладя ему руку на плечо:—если когда-нибудь вы горѣли, какъ на угольяхъ, умирали сто разъ въ одну минуту отъ страха, отъ нетерпѣнія... когда счастье просится въ руки и ускользаетъ... и ваша душа просится вслѣдъ за нимъ... Припомните такую минуту... когда у васъ оставалась одна послѣдняя надежда... искра... Вотъ это—моя минута! Она пройдетъ, и все пройдетъ съ ней...

— И слава Богу, Вѣра! Опомнись, приди въ себя немного, ты сама не пойдешь! Когда больные горячкой мучатся жаждой и просятъ льду — имъ не даютъ. Вчера, въ трезвый часъ, ты сама предвидѣла это и указала мнѣ простое и самое дѣйствительное средство—не пускать тебя—и я не пущу...

Она стала на колѣни подлѣ него.

— Не заставьте меня проклинать васъ всю жизнь потомъ!—умоляла она.—Можетъ-быть тамъ меня ждетъ сама судьба...

— Твоя судьба — вонъ тамъ: я видѣлъ, гдѣ ты вчера искала ее, Вѣра. Ты вѣришь въ Провидѣніе, другой судьбы нѣтъ...

Она вдругъ смолкла и поникла головой.

— Да,—сказала она покорно:—да, вы правы, я вѣрю... Но я тамъ допрашивалась искры, чтобъ освѣтить мой путь— и не допросилась. Что мнѣ дѣлать?—я не знаю...

Она вздохнула и медленно встала съ колѣнъ.

— Не ходи!—говорилъ онъ.

— Именемъ той судьбы, въ которую вѣрю, я искала счастья! Можетъ-быть, она и посылаетъ меня теперь туда... можетъ-быть... я необходима тамъ!—продолжала она, выпрямившись и сдѣлавъ шагъ къ обрыву.—Что̀ бы ни было, не держите меня долѣе, я рѣшилась. Я чувствую, моя слабость миновала. Я владѣю собой, я опять сильна! Тамъ рѣшится не моя одна судьба, но̀ и другого человѣка. На васъ ляжетъ отвѣтственность за эту пропасть, которую вы роете между нимъ и мною. Я не утѣшусь никогда, буду васъ считать виновникомъ несчастья всей моей жизни... и его жизни! Если вы теперь удержите меня, я буду думать, что мелкая страстишка, самолюбіе безъ правъ, зависть—помѣшали моему счастью и что вы лгали, когда проповѣдывали свободу...

Онъ поколебался и отступилъ отъ нея на шагъ.

— Это голосъ страсти, со всѣми ея софизмами и изворотами!—сказалъ онъ вдругъ, опомнившись.—Вѣра, ты теперь въ положеніи іезуита. Вспомни, какъ ты просила вчера, послѣ своей молитвы, не пускать тебя!.. А если ты будешь проклинать меня за то, что я уступилъ тебѣ, на кого тогда падетъ отвѣтственность?

Она опять упала духомъ и уныло склонила голову.

— Кто онъ, скажи?—шепнулъ онъ.

— Если скажу—вы не удержите меня?—вдругъ спросила она съ живостью, хватаясь за эту, внезапно явившуюся надежду вырваться—и спрашивала его глазами, глядя близко и прямо ему въ глаза.

— Не знаю, можетъ-быть...

— Нѣтъ, дайте слово, что не удержите—и я назову...

Онъ колебался.

Въ эту минуту раздался третій выстрѣлъ. Она рванулась, но онъ успѣлъ удержать ее за руку.

— Пойдемъ, Вѣра, домой, къ бабушкѣ сейчасъ! — гово-

рилъ онъ настойчиво, почти повелительно. — Открой ей все...

Но она, вмѣсто отвѣта, начала биться у него въ рукахъ, вырываясь, падая, вставая опять.

— Если... вамъ было когда-нибудь хорошо въ жизни, то пустите!.. Вы говорили: «люби; страсть прекрасна!»—задыхаясь отъ волненія, говорила она и порывалась у него изъ рукъ:—вспомните... и дайте мнѣ еще одну такую минуту, одинъ вечеръ... «Христа ради!..» шептала она, протягивая руку: — вы тоже просили меня, Христа ради, не удалять васъ... я не отказала... помните? Подайте и мнѣ эту милостыню!.. Я никогда не упрекну васъ... никогда... вы сдѣлали все—мать не могла бы сдѣлать больше — но теперь оставьте меня—я должна быть свободна!.. И вотъ, пусть Тотъ, Кому мы молились вчера, будетъ свидѣтелемъ, что это послѣдній вечеръ... послѣдній! Я никогда не пойду съ обрыва больше: вѣрьте мнѣ — я этой клятвы не нарушу! Подождите меня здѣсь, я сейчасъ вернусь, только скажу слово...

Онъ выпустилъ ея руку.

— Что ты говоришь, Вѣра!—шепталъ онъ въ ужасѣ:— ты не помнишь себя. Куда ты?

— Туда... взглянуть одинъ разъ... на «волка»... проститься... услышать его... можетъ-быть... онъ уступитъ...

Она бросилась къ обрыву, но упала, торопясь уйти, чтобъ онъ не удержалъ ее, хотѣла встать и не могла.

Она протягивала руку къ обрыву, глядя умоляющими глазами на Райскаго.

Онъ собралъ нечеловѣческія силы, задушилъ вопль собственной муки, поднялъ ее на руки.

— Ты упадешь съ обрыва, тамъ круто... шепнулъ онъ:— я тебѣ помогу...

Онъ почти снесъ ее съ крутизны и поставилъ на отло-

гомъ мѣстѣ, на дорожкѣ. У него дрожали руки, онъ былъ блѣденъ.

Она быстро обернулась къ нему, обдала его всего широкимъ взглядомъ изступленнаго удивленія, благодарности, вдругъ опустилась на колѣни, схватила его руку и крѣпко прижала къ губамъ...

— Братъ! вы великодушны, Вѣра не забудетъ этого!— сказала она, и взвизгнувъ отъ радости, какъ освобожденная изъ клѣтки птица, бросилась въ кусты.

Онъ сѣлъ на томъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ, и съ ужасомъ слушалъ шумъ раздвигаемыхъ ею вѣтвей и трескъ сухихъ прутьевъ подъ ногами.

XII.

Въ полуразвалившейся бесѣдкѣ ждалъ Маркъ. На столѣ лежало ружье и фуражка. Самъ онъ ходилъ взадъ и впередъ по нѣсколькимъ уцѣлѣвшимъ доскамъ. Когда онъ ступалъ на одинъ конецъ доски, другой привскакивалъ и падалъ со стукомъ.

— О, чортова музыка!—съ досадой на этотъ стукъ сказалъ онъ и сѣлъ на одну изъ скамей близъ стола, положилъ локти на столъ и впустилъ обѣ руки въ густые волосы.

Онъ курилъ папироску за папироской. Зажигая спичку, онъ освѣщалъ себя. Онъ былъ блѣденъ и казался взволнованнымъ, или озлобленнымъ.

Послѣ каждаго выстрѣла онъ прислушивался нѣсколько минутъ, потомъ шелъ по тропинкѣ, приглядываясь къ кустамъ, повидимому, ожидая Вѣру. И когда ожиданія его не сбывались, онъ возвращался въ бесѣдку и начиналъ ходить подъ «чортову музыку», опять бросался на скамью, впуская пальцы въ волосы, или ложился на одну изъ скамей, кладя, по-американски, ноги на столъ.

Послѣ третьяго выстрѣла онъ прислушался минутъ семь, но не слыша ничего, до того нахмурился, что на минуту

какъ-будто постарѣлъ, медленно взялъ ружье и нехотя пошелъ по дорожкѣ, повидимому съ намѣреніемъ уйти, но замедлялъ однако шагъ, точно затрудняясь идти въ темнотѣ? Наконецъ пошелъ рѣшительнымъ шагомъ—и вдругъ столкнулся съ Вѣрой.

Она остановилась и приложила руку къ сердцу, съ трудомъ переведя духъ.

Онъ взялъ ее за руку — и въ ней тревога мгновенно стихла. Она старалась только отдышаться отъ скорой ходьбы и отъ борьбы съ Райскимъ, а онъ, казалось, не могъ одолѣть въ себѣ сильно охватившаго его чувства—радости исполнившагося ожиданія.

— Еще недавно, Вѣра, вы были такъ аккуратны, мнѣ не приходилось тратить пороху на три выстрѣла...—сказалъ онъ.

— Упрекъ—вмѣсто радости!—отвѣчала она, вырывая у него руку.

— Это я—такъ только, чтобъ начать разговоръ, а самъ одурѣлъ совсѣмъ отъ счастья, какъ Райскій...

— Не похоже! Если бъ было такъ, мы не видѣлись бы украдкой, въ обрывѣ... Боже мой!

Она перевела духъ.

— А сидѣли бы рядкомъ тамъ у бабушки, за чайнымъ столомъ, и ждали бы, когда насъ обвѣнчаютъ!

— Такъ что же?

— Что̀ напрасно мечтать о томъ, что̀ невозможно! Вѣдь бабушка не отдала бы за меня...

— Отдала бы: она сдѣлаетъ, что̀ я хочу. У васъ только это препятствіе?

— Мы опять заводимъ эту нескончаемую полемику, Вѣра! Мы сошлись въ послѣдній разъ сегодня—вы сами говорите. Надо же кончить какъ-нибудь эту томительную пытку и сойти съ горячихъ угольевъ!

— Да, въ послѣдній разъ... Я клятву дала, что больше здѣсь никогда не буду!

— Стало-быть время дорого. Мы разойдемся навсегда, если... глупость, т. е. бабушкины убѣжденія разведутъ насъ. Я уѣду черезъ недѣлю, разрѣшеніе получено, вы знаете. Или ужъ сойдемся и не разойдемся больше...

— Никогда?—тихо спросила она.

Онъ сдѣлалъ движеніе нетерпѣнія.

— Никогда! — повторилъ онъ съ досадой: — какая ложь въ этихъ словахъ: «никогда», «всегда»!.. Конечно, «никогда»: годъ, можетъ-быть, два... три... Развѣ это не—«никогда»? Вы хотите безсрочнаго чувства? Да развѣ оно есть? Вы пересчитайте всѣхъ вашихъ голубей и голубокъ: вѣдь никто безсрочно не любитъ. Загляните въ ихъ гнѣзда—что̀ тамъ? Сдѣлаютъ свое дѣло, выведутъ дѣтей, а потомъ воротятъ носы въ разныя стороны. А только отъ тупоумія сидятъ вмѣстѣ...

— Довольно, Маркъ, я тоже утомлена этой теоріей о любви на срокъ!—съ нетерпѣніемъ перебила она.—Я очень несчастлива, у меня не одна эта туча на душѣ — разлука съ вами! Вотъ ужъ годъ я скрытничаю съ бабушкой — и это убиваетъ меня, и ее еще больше, я вижу это. Я думала, что̀ на-дняхъ эта пытка кончится; сегодня, завтра, мы наконецъ выскажемся вполнѣ, искренно объявимъ другъ другу свои мысли, надежды, цѣли... и...

— Что̀ потомъ?—спросилъ онъ, слушая внимательно.

— Потомъ я пойду къ бабушкѣ и скажу ей: вотъ кого я выбрала... на всю жизнь. Но... кажется... этого не будетъ... мы напрасно видимся сегодня, мы должны разойтись!—съ глубокимъ уныніемъ, шопотомъ досказала она и поникла головой.

— Да, если воображать себя ангелами, то, конечно, вы правы, Вѣра: тогда на всю жизнь. Вонъ и этотъ сѣдой

мечтатель, Райскій, думаетъ, что женщины созданы для какой-то высшей цѣли...

— Для семьи созданы онѣ прежде всего. Не ангелы, пусть такъ—но не звѣри! Я не волчица, а женщина!

— Ну, пусть для семьи, что же? Въ чемъ тутъ помѣха намъ? Надо кормить и воспитать дѣтей? Это уже не любовь, а особая забота, дѣло нянекъ, старыхъ бабъ? Вы хотите драпировки: всѣ эти чувства, симпатіи, и прочее — только драпировка, тѣ листья, которыми, говорятъ, прикрывались люди еще въ раю...

— Да, люди!—сказала она.

Онъ усмѣхнулся и пожалъ плечами.

— Пусть драпировка, — продолжала Вѣра: — но вѣдь и она, по вашему же ученію, дана природой, а вы хотите ее снять. Если такъ, зачѣмъ вы упорно привязались ко мнѣ, говорите, что любите — вонъ измѣнились, похудѣли?.. Не все ли вамъ равно, съ вашими понятіями о любви, найти себѣ подругу тамъ въ слободѣ, или за Волгой въ деревнѣ? Что заставляетъ васъ ходить цѣлый годъ сюда, подъ гору?

Онъ нахмурился.

— Видите свою ошибку, Вѣра: «съ понятіями о любви», говорите вы, а дѣло въ томъ, что любовь не понятіе, а влеченіе, потребность, оттого она, большею частію, и слѣпа. Но я привязанъ къ вамъ не слѣпо. Ваша красота, и довольно рѣдкая—въ этомъ Райскій правъ — да умъ, да свобода понятій—и держатъ меня въ плѣну долѣе, нежели со всякой другой!

— Очень лестно!—сказала она тихо.

— Эти «понятія» васъ губятъ, Вѣра. Не будь ихъ, мы сошлись бы давно и были бы оба счастливы...

— На время, а потомъ — явится новое увлеченіе, уступить ему—и такъ далѣе?..

Онъ пожалъ плечами.

— Не мы виноваты въ этомъ а природа! И хорошо

сдѣлала. Иначе, если останавливаться надъ всѣми явленіями жизни подолгу — значитъ надѣвать путы на ноги... значитъ, жить «понятіями»... Природу не передѣлаешь!

— Понятія эти—правила!—доказывала она.—У природы есть свои законы, вы же учили: а у людей правила!

— Вотъ гдѣ мертвечина и есть, что изъ природнаго влеченія дѣлаютъ правила и сковываютъ себя по рукамъ и ногамъ. Любовь—счастье, данное человѣку природой... Это мое мнѣніе...

— Счастье это ведетъ за собой долгъ, — сказала она, вставъ со скамьи:—это мое мнѣніе...

— Это выдумка, сочиненіе, Вѣра, поймите хаосъ вашихъ «правилъ» и «понятій»! Забудьте эти «долги» и согласитесь, что любовь прежде всего—влеченіе... иногда неодолимое...

Онъ тоже всталъ и обнялъ ее за талію.

— Такъ ли? Съ этимъ трудно не согласиться, упрямая... красавица, умница!..—нѣжно шепталъ онъ.

Она тихо освободила талію отъ его рукъ.

— А то выдумали—«долгъ»!

— Долгъ, — повторила она настойчиво: — за отданные другъ другу лучшіе годы счастья платить взаимно остальную жизнь...

— Чѣмъ это — позвольте спросить! Варить супъ, ходить другъ за другомъ, сидѣть съ-глазу-на-глазъ, притворяться, вянуть на «правилахъ», да на «долгѣ» около какой-нибудь тщедушной, слабонервной подруги, или разбитаго параличомъ старика, когда силы у одного еще крѣпки, жизнь зоветъ, тянетъ дальше!.. Такъ, что ли?

— Да,—удержаться, не смотрѣть туда, куда «тянетъ»! Тогда не надо будетъ и притворяться, а просто воздерживаться, «какъ отъ рюмки», говоритъ бабушка, и это правда... Такъ я понимаю счастье и такъ желаю его!

— Ну, дѣло плохо, когда дошло до цитатъ бабушкиной

мудрости. Вы похвастайтесь ей, скажите, какъ крѣпки ея правила въ васъ...

— Нечѣмъ хвастаться! — уныло говорила она: — да, сегодня, отсюда, я пойду къ ней и... «похвастаюсь»!

— Что же вы ей скажете?

— Все, что было здѣсь... чего она не знаетъ...

Она сѣла на скамью и, облокотившись на столъ, склонила лицо на руки и задумалась.

— Зачѣмъ?—спросилъ онъ.

— Вы не поймете зачѣмъ, потому что не допускаете долга... А я давно въ долгу передъ ней...

— Все это мораль, подергивающая жизнь плѣсенью, скукой?.. Вѣра, Вѣра—не любите вы, не умѣете любить...

Она вдругъ подошла къ нему и съ упрекомъ взглянула ему въ лицо.

— Не говорите этого, Маркъ, если не хотите привести меня въ отчаяніе! Я сочту это притворствомъ, желаніемъ увлечь меня безъ любви, обмануть...

И онъ всталъ со скамьи.

— Не говорите и вы этого, Вѣра. Не сталъ бы я тутъ слушать и читать лекціи о любви! И если бъ хотѣлъ обмануть, то обманулъ бы давно—стало-быть, не могу...

— Боже мой! Изъ чего вы бьетесь, Маркъ? Какъ уродуете свою жизнь!—сказала она, всплеснувъ руками.

— Послушайте, Вѣра, оставимъ споръ. Вашими устами говоритъ та же бабушка, только, конечно, иначе, другимъ языкомъ. Все это годилось прежде, а теперь потекла другая жизнь, гдѣ не авторитеты, не заученныя понятія, а правда пробивается наружу...

— Правда—гдѣ она? скажите наконецъ!.. Не позади ли насъ? Чего вы ищите?

— Счастья! я васъ люблю! Зачѣмъ вы томите меня, зачѣмъ боретесь со мной и съ собой, и дѣлаете двѣ жертвы?

Она пожала плечами.

— Странные упреки! Поглядите на меня хорошенько — мы нѣсколько дней не видѣлись: какова я?—сказала она.

— Я вижу, что вы страдаете, и тѣмъ это нелѣпѣе! Теперь и я спрошу: зачѣмъ вы ходили и ходите сюда?

Она почти враждебно посмотрѣла на него.

— Зачѣмъ я не раньше почувствовала... ужасъ своего положенія—хотите вы спросить? Да, этотъ вопросъ и упрекъ давно мы должны бы были сдѣлать себѣ оба, и тогда, отвѣтивъ на него искренно другъ другу и самимъ себѣ, не ходили бы больше! Поздно!..—шептала она задумчиво:—впрочемъ, лучше поздно, чѣмъ никогда! Мы сегодня должны одинъ другому отвѣтить на вопросъ: чего мы хотѣли и ждали другъ отъ друга?..

— Позвольте же мнѣ высказаться рѣшительно, — началъ онъ.—Я хочу вашей любви и отдаю вамъ свою, вотъ одно «правило» въ любви—правило свободнаго размѣна, указанное природой. Не насиловать привязанности, а свободно отдаваться впечатлѣнію и наслаждаться взаимнымъ счастьемъ — вотъ «долгъ и законъ», который я признаю — и вотъ мой отвѣтъ на вопросъ, «зачѣмъ я хожу?» Жертвъ надо? И жертвы есть, — по мнѣ это не жертвы, но я назову вашимъ именемъ, я останусь еще въ этомъ болотѣ, не знаю сколько времени, буду тратить силы вотъ тутъ—но не для васъ, а прежде всего для себя, потому что въ настоящее время это стало моей жизнью — и я буду жить, пока буду счастливъ, пока буду любить. А когда охладѣю— я скажу и уйду — куда поведетъ меня жизнь, не унося съ собой никакихъ «долговъ», «правилъ» и «обязанностей». Я всѣ ихъ оставлю тутъ, на днѣ обрыва! Видите, я не обманываю васъ, я высказываюсь весь. Скажу и уйду! И вы имѣете право сдѣлать то же. А вонъ тѣ мертвецы лгутъ себѣ и другимъ — и эту ложь называютъ «правилами». А сами потихоньку дѣлаютъ то же самое — и еще ухитрились себѣ присвоивать это право, а женщинамъ не давать его!

Между нами должно быть равенство. Рѣшите, честно это, или нѣтъ?

Она покачала отрицательно головой.

— Софизмы! Честно взять жизнь у другого и заплатить ему своею: это правило! Вы знаете, Маркъ — и другія мои правила...

— Ну, дошли! теперь пойдетъ! Правило — камнемъ повиснуть на шеѣ другъ друга...

— Нѣтъ, не камнемъ! — горячо возразила она.— Любовь налагаетъ долгъ, буду твердить я, какъ жизнь налагаетъ и другіе долги: безъ нихъ жизни нѣтъ. Вы стали бы сидѣть съ дряхлой, слѣпой матерью, водить ее, кормить — за что? Вѣдь это не весело — но честный человѣкъ считаетъ это долгомъ, и даже любитъ его!

— Вы разсуждаете, а не любите, Вѣра!

— А вы увертываетесь отъ моей правды! Разсуждаю, потому что люблю, я женщина, а не животное и не машина!

— У васъ какая-то сочиненная и придуманная любов... какъ въ романахъ... съ надеждой на безконечность... [illegible] вомъ — безсрочная! Но честно ли то, что вы требуе[illegible] меня, Вѣра? Положимъ, я бы не назначалъ любв[illegible] скача и играя, какъ Викентьевъ, подалъ бы в[illegible] «навсегда»: чего же хотите вы еще? Чтобъ [illegible] словилъ союзъ», говорите вы, т.-е. чтобъ пойти в[illegible] да противъ убѣжденія—дать публично исполн[illegible] обрядъ... А я не вѣрю ему и терпѣть не м[illegible] гично ли, честно ли я поступлю?..

Она встала и накинула черную мантиль[illegible]

— Мы сошлись, чтобъ удалить всѣ [illegible] стью, а вмѣсто того, только увеличив[illegible] касаетесь того, что для меня свят[illegible] меня сюда? Я думала, вы уступ[illegible] правдѣ и что мы подадимъ друг[illegible]

Всякій разъ съ этой надеждой сходила я съ обрыва... и всякій разъ ошибалась! Я повторю, что говорила давно: у насъ, Маркъ... (слабымъ голосомъ оканчивала она) и убѣжденія, и чувства разныя! Я думала, что самый умъ вашъ скажетъ вамъ... гдѣ настоящая жизнь—и гдѣ ваша лучшая роль...

— Гдѣ?

— Въ сердцѣ честной женщины, которая любитъ, и что роль друга такой женщины...

Она махнула безотрадно рукой. Ей хлынули слезы въ глаза.

— Живите вашей жизнью, Маркъ — я не могу... у ней нѣтъ корня...

— Ваши корни подгнили давно, Вѣра!

— Пусть такъ! — болѣе и болѣе слабѣя, говорила она, и слезы появились уже въ глазахъ.—Не мнѣ спорить съ вами, опровергать ваши убѣжденія умомъ и своими убѣжденіями! У меня ни ума, ни силъ не станетъ. У меня оружіе слабо—и только имѣетъ ту цѣну, что оно мое собственное, что я взяла его въ моей тихой жизни, а не изъ книгъ, не по наслышкѣ...

Онъ сдѣлалъ движеніе, но она заговорила опять.

— Я думала побѣдить васъ другой силой... Помните, какъ все случилось? — присѣвши на минуту на скамью, говорила она задумчиво.—Мнѣ сначала было жалко васъ. Вы здѣсь одни, васъ не понималъ никто, всѣ убѣгали. Участіе привлекло меня на вашу сторону. Я видѣла что-то странное, распущенное. Вы не дорожили ничѣмъ — даже приличіями, были небрежны въ мысляхъ, неосторожны въ разговорахъ, играли жизнью, сорили умомъ, никого и ничего не уважали, ни во что не вѣрили, и учили тому же другихъ, напрашивались на непріятности, хвастались удалью. Я изъ любопытства слѣдила за вами, позволила вамъ приходить къ себѣ, брала у васъ книги,—видѣла умъ, какую-то силу...

Но все это шло стороной отъ жизни... Потомъ... я забрала себѣ въ голову (какъ я каюсь въ этомъ!), что... Я говорила себѣ часто: сдѣлаю, что онъ будетъ дорожить жизнью... сначала для меня, а потомъ и для жизни, будетъ уважать, сначала опять меня, а потомъ и другое въ жизни, будетъ вѣрить... мнѣ, а потомъ... Я хотѣла, чтобъ вы жили, чтобъ стали лучше, выше всѣхъ... ссорилась съ вами за безпорядочную жизнь...

Она вздохнула, какъ будто перебирая въ памяти весь этотъ годъ.

— Вы поддавались моему... вліянію... И я тоже поддавалась вашему: ума, смѣлости, захватила-было нѣсколько... софизмовъ...

— И на попятный дворъ, бабушки страшно стало! Что жъ не бросили тогда меня, какъ увидали софизмы? Софизмы?

— Поздно было. Я горячо приняла къ сердцу вашу судьбу... Я страдала не за одинъ этотъ темный образъ жизни, но и за васъ самихъ, упрямо шла за вами, думала, что, ради меня... вы поймете жизнь, не будете блуждать въ одиночку, со вредомъ для себя и безъ всякой пользы для другихъ... думала, что выйдетъ...

— Вице-губернаторъ, или совѣтникъ хорошій...

— Что̀ за дѣло до названія—выйдетъ человѣкъ нужный, сильный...

— Благонамѣренный, всему покорный—еще что?

— Еще—другъ мнѣ на всю жизнь: вотъ что̀? Я увлекалась своей надеждой... и вотъ куда увлеклась!.. — тихо добавила она и, оглядѣвшись, вздрогнула. — И что̀ пріобрѣла этой страшной борьбой? то, что вы теперь бѣжите отъ любви, отъ счастья, отъ жизни... отъ своей Вѣры! — сказала она, придвигаясь къ нему и кладя руку на плечо. — Не бѣгите, поглядите мнѣ въ глаза, слышите мой голосъ: въ немъ правда! Не бѣгите, останьтесь, пойдемъ вмѣстѣ туда, на гору, въ садъ... Завтра здѣсь никого не будетъ счастливо

насъ!.. Вы меня любите... Маркъ! Маркъ... слышите? посмотрите прямо на меня...

Она наклонилась къ его лицу, близко поглядѣла ему въ глаза.

Онъ быстро всталъ со скамьи.

— Дальше, Вѣра, отъ меня!.. — сказалъ онъ, вырывая руку и тряся головой, какъ косматый звѣрь.

Онъ сталъ шагахъ въ трехъ отъ нея.

— Мы не договорились до главнаго — и когда договоримся, тогда я не отскочу отъ вашей ласки и не убѣгу изъ этихъ мѣстъ... Я бы не бѣжалъ отъ этой Вѣры, отъ васъ. Но вы навязываете мнѣ другую... Если у меня ея нѣтъ: что̀ мнѣ дѣлать—рѣшайте, говорите, Вѣра!

— А если эта вѣра у меня есть — что̀ мнѣ дѣлать?— спросила и она.

— Легче разстаться съ какими-то заученными убѣжденіями, чѣмъ пріобрѣсть ихъ, у кого ихъ нѣтъ...

— Эти убѣжденія — сама жизнь. Я уже вамъ говорила, что живу ими и не могу иначе жить... слѣдовательно...

— Слѣдовательно... — повторилъ онъ, и оба встали, обоимъ тяжело было договаривать, да и не нужно было.

Она хотѣла опять накинуть шелковую мантилью на голову и не могла: руки съ мантильей упали. Ей оставалось уйти, не оборачиваясь. Она сдѣлала движеніе, шагъ, и опустилась опять на скамью.

«Гдѣ взять силы — нѣтъ ея ни уйти, ни удержать его! все кончено!» думала она. «Если бъ удержала—что̀ будетъ? не жизнь, а двѣ жизни, какъ двѣ тюрьмы, раздѣленныя вѣчной рѣшеткой»...

— Мы оба сильны, Вѣра, и оттого оба мучаемся, — сказалъ онъ угрюмо:—оттого и расходимся...

Она отрицательно покачала головой.

— Если бъ я была сильна, вы не уходили бы такъ отсюда—а пошли бы со мной туда, на гору, не украдкой,

а смѣло опираясь на мою руку. Пойдемте! хотите моего счастья и моей жизни?—заговорила она живо, вдругъ ослѣпившись опять надеждой и подходя къ нему.—Не можетъ быть, чтобъ вы не вѣрили мнѣ, не можетъ быть тоже, чтобъ вы и притворялись—это было бы преступленіе!—съ отчаяніемъ договорила она.—Что дѣлать, Боже мой! Онъ не вѣритъ, нейдетъ! Какъ вразумить васъ?

— Для этого нужно, чтобъ вы были сильнѣе меня, а мы равны,—отвѣчалъ онъ упрямо: — оттого мы и не сходимся, а боремся. Намъ надо разойтись, не рѣшая боя, или покориться одинъ другому навсегда... Я могъ бы овладѣть вами — и овладѣлъ бы всякой другой мелкой женщиной, не пощадилъ бы ея. То, что въ другой было бы жеманствомъ, мелкимъ страхомъ, или тупоуміемъ, то въ васъ—сила, женская крѣпость. Теперь тумана нѣтъ между нами, мы объяснились—и я воздамъ вамъ должное. Вы хорошо вооружены природой, Вѣра. Старыя понятія, мораль, долгъ, правила, вѣра — все, что для меня не существуетъ, въ васъ крѣпко. Вы не легки въ вашихъ увлеченіяхъ, вы боретесь отчаянно и соглашаетесь признать себя побѣжденной на условіяхъ, равныхъ для той и для другой стороны. Обмануть васъ—значитъ украсть. Вы отдаете все, и за побѣду надъ вами требуете всего же. А я всего отдать не могу — но я уважаю васъ...

Голова ея приподнялась, и по лицу на минуту сверкнулъ лучъ гордости, почти счастья, но въ ту же минуту она опять поникла головой. Сердце билось тоской передъ неизбѣжной разлукой, и нервы упали опять. Его слова были прелюдіей прощанія.

— Мы высказались... отдаю рѣшеніе въ ваши руки!— проговорилъ глухо Маркъ, отойдя на другую сторону бесѣдки и слѣдя оттуда пристально за нею. — Я васъ не обману даже теперь, въ эту рѣшительную минуту, когда у меня голова идетъ кругомъ... Нѣтъ, не могу — слышите,

Вѣра, безсрочной любви не обѣщаю, потому что не вѣрю ей, и не требую ее и отъ васъ, вѣнчаться съ вами не пойду. Но люблю васъ теперь больше всего на свѣтѣ!.. И если вы послѣ всего этого, что̀ говорю вамъ — кинетесь ко мнѣ... значитъ, вы любите меня и хотите быть моей...

Она глядѣла на него большими глазами и чувствовала, что дрожитъ.

«Что̀ онъ такое, іезуитъ?.. или въ самомъ дѣлѣ непреклонная честность говоритъ въ немъ теперь и ставитъ ее въ опасное положеніе?» мелькнулъ въ ней лучъ сомнѣнія.

— Навсегда вашей? —спросила она тихо — и сама испугалась повисшей надъ ней тучи.

Скажи онъ—«да», она забыла бы о непроходимой «разности убѣжденій», дѣлавшихъ изъ этого «навсегда»—только мостикъ на минуту, чтобъ перебѣжать пропасть, и затѣмъ онъ рухнулъ бы самъ въ ту же пропасть. Ей стало страшно съ нимъ.

Онъ молчалъ. Потомъ всталъ съ мѣста.

— Не знаю!—сказалъ онъ съ тоской и досадой:—я знаю только, что̀ буду дѣлать теперь, а не заглядываю за полгода впередъ. Да и вы сами не знаете, что̀ будетъ съ вами. Если вы раздѣлите мою любовь, я останусь здѣсь, буду жить тише воды, ниже травы... дѣлать, что̀ вы хотите... Чего же еще? Или... уѣдемъ вмѣстѣ!..—вдругъ сказалъ онъ, подходя къ ней.

Передъ ней будто сверкнула молнія. И она бросилась къ нему и положила ему руку на плечо.

Ей неожиданно отворились двери въ какой-то рай. Цѣлый міръ улыбнулся ей и звалъ съ собой...

«Съ нимъ, далеко гдѣ-нибудь»... думала она.

Нѣга страсти стукнулась тихо къ ней въ душу.

«Онъ колеблется, не можетъ оторваться, и это теперь... Когда она будетъ одна съ нимъ... тогда, можетъ-быть, онъ и самъ убѣдится, что его жизнь только тамъ, гдѣ она»...

Все это пѣлъ ей какой-то тихій голосъ.

— Вы рѣшились бы на это?—спросилъ онъ ее серьезно.

Она молчала, опустивъ голову.

— Или боялись бы бабушки?

Она очнулась.

— Да, это правда: если бъ не рѣшилась, то потому только, что боялась бы ея...—шептала она.

— Такъ не подходите же ко мнѣ близко,—сказалъ онъ, отодвигаясь:—старуха бы не пустила...

— Ахъ, нѣтъ, пустила и благословила бы, а сама бы умерла съ горя! вотъ чего боялась бы я!.. Уѣхать съ вами!—повторила она мечтательно, глядя долго и пристально на него:—а потомъ?

— А потомъ... не знаю. Зачѣмъ это «потомъ»?

— И вдругъ васъ «потянетъ» въ другую сторону, и вы уйдете, оставивъ меня, какъ вещь...

— Отчего, какъ «вещь»? Можно разстаться друзьями...

— Разстаться! Разлука стоитъ у васъ рядомъ съ любовью! — Она безотрадно вздохнула. — А я думаю, что это крайности, которыя никогда не должны встрѣчаться... одна смерть должна разлучить... Прощайте, Маркъ!—вдругъ сказала она, блѣдная, почти съ гордостью.—Я рѣшила... Вы никогда не дадите мнѣ того счастья, какого я хочу. Для счастья не нужно уѣзжать, оно здѣсь... Дѣло кончено!..

— Да... скорѣе же вонъ отсюда! Прощайте, Вѣра...—говорилъ и онъ не своимъ голосомъ.

И оба встали съ мѣста, оба блѣдные, стараясь не глядѣть другъ на друга. Она искала, при слабомъ, проницавшемъ сквозь вѣтви лунномъ свѣтѣ, свою мантилью. Руки у ней дрожали и брали не то, что̀ нужно. Она хваталась даже за ружье.

Онъ стоялъ, прислонясь спиной къ одному изъ столбовъ бесѣдки, не бралъ ничего и мрачно слѣдилъ за нею.

Она наконецъ отыскала бѣлую мантилью и начала не

могла накинуть ее на другое плечо. Онъ машинально помогъ ей.

Она въ темнотѣ искала ступенекъ ногой, онъ шагнулъ изъ бесѣдки прямо на землю, подалъ ей руку и помогъ сойти.

Оба пошли молча по дорожкѣ, все замедляя шагъ, какъ-будто чего-то другъ отъ друга ожидая. Обоихъ мучила одна и та же мысленная работа, изобрѣсти предлогъ замедленія.

Оба понимали, что каждый съ своей точки зрѣнія правъ, но все-таки безумно втайнѣ надѣялись, онъ — что она перейдетъ на его сторону, а она — что онъ уступитъ, сознавая въ то же время, что надежда была нелѣпа, что никто изъ нихъ не могъ, хотя бы и хотѣлъ, внезапно переродиться, залучить къ себѣ, какъ шапку надѣть, другія убѣжденія, другое міросозерцаніе, раздѣлить вѣру, или отрѣшиться отъ нея.

Но ихъ убивало сознаніе, что это послѣднее свиданіе, послѣдній разъ, что черезъ пять минутъ они будутъ чужіе другъ другу навсегда. Имъ хотѣлось задержать эти пять минутъ, уложить въ нихъ все свое прошлое, и, если бъ можно было, заручиться какой-нибудь надеждой на будущее! Но они чувствовали, что будущаго нѣтъ, что впереди ждала неизбѣжная, какъ смерть, одна разлука!

Они долго шли до того мѣста, гдѣ ему надо было перескочить черезъ низенькій плетень на дорогу, а ей взбираться, между кустовъ, по тропинкѣ на гору въ садъ.

Она, наклонивъ голову, стояла у подъема на обрывъ, какъ убитая. Она припоминала всю жизнь и не нашла ни одной такой горькой минуты въ ней. У ней глаза были полны слезъ.

Теперь ея единственнымъ счастьемъ на мигъ — было бы обернуться, взглянуть на него хоть разъ и поскорѣе уйти навсегда, но, уходя, измѣрить хоть глазами — что̀ она те-

ряла. Ей было жаль этого уносящагося вихря счастья, но она не смѣла обернуться: это было бы все равно, что сказать *да* на его роковой вопросъ, и она въ тоскѣ сдѣлала шага два на крутизну.

Онъ шелъ къ плетню, тоже не оборачиваясь, злобно, непокорнымъ звѣремъ, уходящимъ отъ добычи. Онъ не лгалъ, онъ уважалъ Вѣру, но уважалъ противъ воли, какъ въ сраженіи уважаютъ непріятеля, который отлично дерется. Онъ проклиналъ «городъ мертвецовъ», «старыя понятія», оковавшія эту живую, свободную душу.

Его горе было не трогательное, возбуждающее участіе, а злое, неуступчивое, вызывающее новые удары противника за непокорность. Даже это было не горе, а свирѣпое отчаяніе.

Онъ готовъ былъ изломать Вѣру, какъ ломаютъ чужую драгоцѣнность, съ проклятіемъ: «не доставайся никому!» Такъ, по собственному признанію, сдѣланному ей, онъ и поступилъ бы съ другой, но не съ ней. Да она и не далась бы въ ловушку — стало-быть надо бы было прибѣгнуть къ насилію и сдѣлаться въ одну минуту разбойникомъ.

Притомъ, одна матеріальная побѣда, обладаніе Вѣрой, не доставило бы ему полнаго удовлетворенія, какъ доставило бы надъ всякой другой. Онъ, уходя, злился не за то, что красавица Вѣра ускользаетъ отъ него, что онъ тратилъ на нее время, силы, забывалъ «дѣло». Онъ злился отъ гордости и страдалъ сознаніемъ своего безсилія. Онъ одолѣлъ воображеніе, пожалуй — такъ-называемое сердце Вѣры, но не одолѣлъ ея ума и воли.

Въ этой области она обнаружила непреклонность, равную его настойчивости. У ней былъ характеръ, и она упрямо вырабатывала себѣ изъ старой, «мертвой» жизни, крѣпкую, живую жизнь—и была для него такъ же, какъ для Райскаго, какой-то прекрасной статуей, дышащей самобытною жизнью, живущей своимъ, не заемнымъ умомъ, своей гордой волей.

Она была выше другихъ женщинъ. Онъ это видѣлъ, гордился своимъ успѣхомъ въ ея любви, и тутъ же падалъ, сознаваясь, что, какъ онъ ни бился развивать Вѣру, давать ей свой совѣтъ, но кто-то другой, ея вѣра, по ея словамъ, да какой-то попъ изъ молодыхъ, да Райскій съ своей поэзіей, да бабушка съ моралью, а еще болѣе—свои глаза, свой слухъ, тонкое чутье и женскіе инстинкты, потомъ воля — поддерживали ея силу и давали ей оружіе противъ его правды, и окрашивали старую, обыкновенную жизнь и правду въ такіе здоровые цвѣта, передъ которыми казалась и блѣдна, и пуста, и фальшива, и холодна—та правда и жизнь, какую онъ добывалъ себѣ изъ новыхъ, казалось бы—свѣжихъ источниковъ.

Его новыя правда и жизнь не тянули къ себѣ ея здоровую и сильную натуру, а послужили только къ тому, что она разобрала ихъ по клочкамъ и осталась вѣрнѣе своей истинѣ.

И вотъ она уходитъ, не оставивъ ему никакого залога побѣды, кромѣ минувшихъ свиданій, которыя исчезнутъ, какъ слѣды на пескѣ. Онъ проигрывалъ сраженіе, терялъ ее, и, уходя, понималъ, что никогда не встрѣтитъ другой, подобной Вѣры.

Онъ сравнивалъ ее съ другими, особенно «новыми» женщинами, изъ которыхъ многія такъ любострастно поддавались жизни по новому ученію, какъ Марина своимъ любвямъ, и находилъ, что это—жалкія, пошлыя, и болѣе падшія созданія, нежели всѣ другія падшія женщины, уступавшія воображенію, темпераменту, и даже золоту, а тѣ будто бы принципу, котораго часто не понимали, въ которомъ не убѣдились, повѣривъ на-слово, слѣдовательно уступали чему-нибудь другому, чему простодушно уступала, напримѣръ, жена Козлова, только лицемѣрно или тупо прикрывали это принципомъ!

Онъ шелъ медленно, сознавая, что за спиной у себя оста-

взялъ навсегда то, чего уже никогда не встрѣтитъ впереди. Обмануть ее, увлечь, обѣщать «безсрочную любовь», сидѣть съ ней годы, пожалуй—жениться...

Онъ содрогнулся опять при мысли употребить грубый, площадный обманъ—да и не поддастся она ему теперь. Онъ топнулъ ногой и вскочилъ на плетень, перекинувъ ноги на другую сторону.

«Посмотрѣть, что̀ она! Ушла, гордое созданіе! Что̀ жалѣть, она не любила меня, иначе бы не ушла... .Она резонерка!..» думалъ онъ, сидя на плетнѣ.

«Взглянуть одинъ разъ, что̀ онъ — и отвернуться навсегда...» колебалась и она, стоя у подъема на крутизну.

Еще прыжокъ: плетень и канава скрыли бы ихъ другъ отъ друга навсегда. За оградой—разсудокъ и воля заговорятъ сильнѣе и одержатъ окончательную побѣду. Онъ обернулся...

Вѣра стоитъ у подъема на крутизну, какъ-будто не можетъ взойти на нее...

Наконецъ она сдѣлала, съ очевиднымъ утомленіемъ, два-три шага и остановилась. Потомъ... тихо обернулась назадъ и вздрогнула. Маркъ сидѣлъ еще на плетнѣ и глядѣлъ на нее...

— Маркъ, прощай! — вскрикнула она, и сама испугалась собственнаго голоса: такъ много было въ немъ тоски и отчаянія.

Маркъ быстро перекинулъ ноги назадъ, спрыгнулъ и въ нѣсколько прыжковъ очутился подлѣ нея.

«Побѣда! побѣда!» вопило въ немъ. «Она возвращается, уступаетъ!»

— Вѣра!—произнесъ и онъ такимъ голосомъ, какъ-будто простоналъ.

— Ты воротился... навсегда?.. Ты понялъ наконецъ... о, какое счастье!.. Боже, прости...

Она не договорила.

Она была у него въ объятіяхъ. Поцѣлуй его зажалъ ея вопль. Онъ поднялъ ее на грудь себѣ, и опять, какъ звѣрь, помчался въ бесѣдку, унося добычу...

Боже, прости ее, что она обернулась!..

XIII.

Райскій сидѣлъ цѣлый часъ, какъ убитый, надъ обрывомъ, на травѣ, положивъ подбородокъ на колѣни и закрывъ голову руками. Все стонало въ немъ. Онъ страшной мукой платилъ за свой великодушный порывъ, страдая сначала за Вѣру, потомъ за себя, кляня себя за великодушіе.

Неизвѣстность, ревность, пропавшія надежды на счастье, и впереди все тѣ же боли страсти, среди которой онъ не зналъ ни тихихъ дней, ни ночей, ни одной минуты отдыха! Засыпалъ онъ мучительно, трудно. Сонъ не сходилъ, какъ другъ, къ нему, а являлся, какъ часовой, смѣнить другой мукой муку бдѣнія.

Когда онъ открывалъ глаза утромъ, передъ нимъ стоялъ уже призракъ страсти, въ видѣ непреклонной, злой и холодной къ нему Вѣры, отвѣчающей смѣхомъ на его требованіе открыть ему имя, имя — одно, что̀ могло нанести рѣшительный ударъ его горячкѣ, сдѣлать спасительный переломъ въ болѣзни и дать ей легкій исходъ.

— Но что̀ она нейдетъ! — вдругъ, оглянувшись, сказалъ онъ.

Онъ посмотрѣлъ на часы. Она ушла въ девятомъ часу, а теперь скоро одиннадцать! Она велѣла подождать, сказала, что вернется сейчасъ: долгъ этотъ часъ!..

— Что̀ она? гдѣ она?—въ тревогѣ повторялъ онъ.

Онъ взобрался на верхъ обрыва, сѣлъ на скамью и сталъ прислушиваться, нейдетъ ли? Ни звука, ни шороха: только шумѣли падающіе мертвые листья.

— Велѣла ждать и забыла, а я жду!—говорилъ онъ, вста-

вая со скамьи и спускаясь опять шага три съ обрыва и все прислушиваясь.

— Боже мой, ужели она до поздней ночи остается на этихъ свиданіяхъ? Да кто, что̀ она такое, эта моя статуя, прекрасная, гордая Вѣра? Она тамъ, можетъ-быть, хохочетъ надо мной, вмѣстѣ съ нимъ... Кто онъ? Я хочу знать—кто онъ?—въ ярости сказалъ онъ вслухъ.—Имя, имя! Я ей—орудіе, ширма, покрышка страсти... Какой страсти!

Имъ овладѣло отчаяніе, тождественное съ отчаяніемъ Марка. Пять мѣсяцевъ женщина таится, то позволяя любить, то отталкивая, смѣется въ лицо...

«За что такая казнь за увлеченіе? Что̀ она дѣлаетъ со мной? Не имѣю ли я право, послѣ всѣхъ этихъ продѣлокъ, отнять у нея ея секретъ и огласить таинственное имя?»

Онъ быстро сбѣжалъ съ крутизны и остановился у кустовъ, прислушиваясь. Ничего не слышно.

— Это, однако... гадко... — говорилъ онъ: — украсть секретъ...—и самъ вступилъ въ чащу кустовъ:—такъ гадко... что...

И воротился шага три назадъ.

— Воровство!—шепталъ онъ, стоя въ нерѣшимости и отирая потъ платкомъ съ лица. — А завтра опять игра въ загадки, опять русалочные глаза, опять, злобно, съ грубымъ смѣхомъ, брошенное мнѣ въ глаза: «васъ люблю!» Конецъ пыткѣ—узнаю!—рѣшилъ онъ и бросился въ кусты.

Онъ крался, какъ воръ, ощупью, проклиная каждый хрустнувшій сухой прутъ подъ ногой, не чувствуя ударовъ вѣтвей по лицу. Онъ ползъ на удачу, не зная мѣста свиданій. Отъ волненія онъ садился на землю и переводилъ духъ.

Угрызеніе совѣсти на минуту останавливало его, потомъ онъ опять ползъ, разрывая сухіе листья и землю ногтями...

Онъ миновалъ бугоръ, насыпанный надъ могилой самоубійцы, и направлялся къ бесѣдкѣ, глядя, слушая по сторонамъ, не увидитъ ли ее, не услышитъ ли голосъ.

Между тѣмъ въ домѣ у Татьяны Марковны все шло своимъ порядкомъ. Отужинали и сидѣли въ залѣ, позѣвывая. Ватутинъ разсыпался въ вѣжливостяхъ со всѣми, даже съ Полиной Карповной, и съ матерью Викентьева, шаркая ножкой, любезничая и глядя такъ на каждую женщину, какъ-будто готовъ былъ всѣмъ ей пожертвовать. Онъ говорилъ, что дамамъ надо стараться дѣлать «пріятности».

— Гдѣ М-г Борисъ?—спрашивала ужъ въ пятый разъ Полина Карповна, и до ужина, и послѣ ужина, у всѣхъ. Наконецъ обратилась съ этимъ вопросомъ и къ бабушкѣ.

— Богъ его знаетъ—бродитъ гдѣ-нибудь; въ гости, въ городъ ушелъ, должно-быть; и никогда не скажетъ куда—такая вольница! Не знаешь, куда лошадь послать за нимъ!

Яковъ сказалъ, что Борисъ Павловичъ «гуляли» въ саду до поздняго вечера.

Про Вѣру сказали тоже, когда послали ее звать къ чаю, что она не придетъ. А ужинать просила оставить ей, говоря, что пришлетъ, если захочетъ ѣсть. Никто не видалъ, какъ она вышла, кромѣ Райскаго.

— Скажи Маринѣ, Яковъ, чтобы барышнѣ, какъ спроситъ, не забыли разогрѣть жаркое, а пирожное отнести на ледникъ, а то распустится!—приказывала бабушка.—А ты, Егорка, какъ Борисъ Павловичъ вернется, не забудь доложить, что ужинъ готовъ, чтобъ онъ не подумалъ, что ему не оставили, да не легъ спать голодный!

— Слушаю-съ,—сказали оба.

— Полунощники, право полунощники!—съ досадой и съ тоской про себя замѣтила бабушка:—шатаются объ эту пору, холодъ этакой...

— Я пойду въ садъ,—сказала Полина Карповна:—можетъ быть М-г Boris недалеко. Онъ будетъ очень радъ видѣться со мной... Я замѣтила, что онъ хотѣлъ мнѣ кое-что сказать...—таинственно прибавила она. — Онъ вѣрно не зналъ, что я здѣсь...

— Зналъ, оттого и ушелъ, — шепнула Марѳинька Викентьеву.

— Я—вотъ что̀ сдѣлаю, Марѳа Васильевна: побѣгу впередъ, сяду за кустъ и объяснюсь съ ней въ любви голосомъ Бориса Павловича...—предложилъ-было ей, тоже шопотомъ, Викентьевъ, и хотѣлъ итти.

— Она, пожалуй, испугается и упадетъ въ обморокъ, тогда бабушка дастъ вамъ знать! Что̀ выдумали!—отвѣчала она, удерживая его за рукавъ.

— Я пойду на минуту, позвольте, я приведу бѣглеца...—настаивала Полина Карповна.

— Идите, Богъ съ вами!—сказала Татьяна Марковна:—да глазъ не выколите, вотъ темнота какая! хоть Егорку возьмите, онъ проводитъ съ фонаремъ.

— Нѣтъ, я одна, не нужно, чтобъ намъ мѣшали...

— Напрасно!—вѣжливо замѣтилъ Титъ Никонычъ:—въ эти сырые вечера отнюдь не должно позволять себѣ выходить послѣ восьми часовъ.

— Я не боюсь...—сказала Крицкая, надѣвая мантилью.

— Я бы не смѣлъ останавливать васъ,—замѣтилъ онъ:—но одинъ врачъ—онъ живетъ въ Дюссельдорфѣ, что̀ близъ Рейна... я забылъ его фамилію—теперь я читаю его книгу и, если угодно, могу доставить вамъ... Онъ предлагаетъ отмѣнныя гигіеническія правила... Онъ совѣтуетъ...

Онъ не кончилъ, потому что Полина Карповна ушла, сказавъ ему только, чтобъ онъ подождалъ и отвезъ ее домой.

— Съ полнымъ удовольствіемъ, съ полнымъ удовольствіемъ!—говорилъ онъ, кланяясь ей вслѣдъ и затворяя за ней двери ко двору и саду.

XIV.

Немного спустя послѣ этого разговора надъ обрывомъ, въ глубокой темнотѣ, послышался шумъ шаговъ между кустами. Трещали сучья, хлестали сильно задѣваемыя вѣтки,

осыпались листы и слышались торопливые, широкіе скачки— взбиравшагося на крутизну, будто раненаго, или испуганнаго звѣря.

Шумъ все ближе, ближе, наконецъ изъ кустовъ выскочилъ на площадку передъ обрывомъ Райскій, но болѣе изступленный и дикій, чѣмъ раненый звѣрь. Онъ бросился на скамью, выпрямился и сидѣлъ минуты двѣ неподвижно, потомъ всплеснулъ руками и закрылъ ими глаза.

— Во снѣ это, или на яву!—шепталъ онъ, точно потерянный.—Нѣтъ, я ошибся, не можетъ быть! Мнѣ почудилось!..

Онъ всталъ, опять сѣлъ, какъ-будто во что-то вслушиваясь, потомъ положилъ руки на колѣни и разразился нервическимъ хохотомъ.

— Какія тутъ еще сомнѣнія, вопросы, тайны!—сказалъ онъ и опять захохоталъ, качаясь отъ смѣха, взадъ и впередъ.—Статуя! чистота! красота души! Вѣра—статуя! А онъ!.. И пальто, которое я послалъ «изгнаннику» валяется у бесѣдки! и пари свое онъ взыскалъ съ меня, двѣсти двадцать рублей, да прежнихъ восемьдесятъ... да, да! это триста рублей!.. Секлетея Бурдалахова!

Онъ захохоталъ снова, какъ-будто застоналъ. Потомъ вдругъ замолчалъ и схватился за бокъ.

— О, какъ больно здѣсь!—стоналъ онъ. — Вѣра-кошка! Вѣра-тряпка... слабонервная, слабосильная... изъ тѣхъ падшихъ, жалкихъ натуръ, которыхъ поражаетъ пошлая, чувственная страсть—обыкновенно къ какому-нибудь здоровому хаму!.. Пусть такъ—она свободна, но какъ она смѣла ругаться надъ человѣкомъ, который имѣлъ неосторожность пристраститься къ ней, надъ братомъ, другомъ!..—съ яростью шипѣлъ онъ:—о, мщеніе, мщеніе!

Онъ вскочилъ и въ мучительномъ раздумьѣ стоялъ.

Какое мщеніе? Бѣжать къ бабушкѣ, схватить ее и привести сюда, съ толпой людей, съ фонарями, освѣтить позоръ

и сказать:—Вотъ змѣя, которую вы двадцать три года грѣли на груди!..

Онъ махнулъ рукой и приложилъ ее къ горячему лбу.

— Подло, Борисъ!—шепталъ онъ себѣ:—и не сдѣлаешь ты этого! это было бы мщеніе не ей, а бабушкѣ, все равно что твоей матери!

Онъ уныло опустилъ голову, потомъ вдругъ поднялъ ее и съ бѣшенствомъ прыгнулъ къ обрыву.

— А тамъ совершается торжество этой тряпичной страсти— да, да, эта темная ночь скрыла поэму любви!—онъ презрительно засмѣялся.—Любви!—повторилъ онъ.—Маркъ! блудящій огонь, буянъ, трактирный либералъ! Ахъ! сестрица, сестрица! ужъ лучше бы вы придержались одного своего поклонника,—ядовито шепталъ онъ: — рослаго и красиваго Тушина! У того — и лѣса, и земли, и воды, и лошадьми правитъ, какъ на олимпійскихъ играхъ! А этотъ!

Онъ съ трудомъ перевелъ духъ.

— Это наша «партія дѣйствія»! — шепталъ онъ: — да, изъ кармана показываетъ кулакъ полицеймейстеру, проповѣдуетъ горничнымъ да дьячихамъ о нелѣпости брака, съ Фейербахомъ и съ мнимой страстью къ изученію природы, вкрадывается въ довѣренность женщинъ и увлекаетъ вотъ этакихъ слабонервныхъ умницъ!.. Погибай же ты, жалка самка, тутъ, на днѣ обрыва, какъ тотъ бѣдный самоубійца! Вотъ тебѣ мое прощаніе!..

Онъ хотѣлъ плюнуть съ обрыва—и вдругъ окаменѣлъ на мѣстѣ. Противъ его воли, вопреки ярости, презрѣнія, въ воображеніи—тихо поднимался со дна пропасти и вставалъ передъ нимъ образъ Вѣры, въ такой обольстительной красотѣ, въ какой онъ не видалъ ея никогда!

У ней глаза горѣли, какъ звѣзды, страстью. Ничего злого и холоднаго въ нихъ, никакой тревоги, тоски; одно счастье глядѣло лучами яркаго свѣта. Въ груди, въ рукахъ, въ пле-

чахъ, во всей фигурѣ струилась и играла полная, здоровая жизнь и сила.

Она примирительно смотрѣла на весь міръ. Она стояла на своемъ пьедесталѣ, но не бѣлой, мраморной статуей, а живою, неотразимо-плѣнительной женщиной, какъ тò поэтическое видѣніе, которое снилось ему однажды, когда онъ, подъ обаяніемъ красоты Софьи, шелъ къ себѣ домой и видѣлъ женщину-статую, сначала холодную, непробужденную; потомъ видѣлъ ея преображеніе изъ статуи въ живое существо, около котораго заиграла и заструилась жизнь, зазеленѣли деревья, заблистали цвѣты, разлилась теплота...

И вотъ она, эта живая женщина, передъ нимъ! Въ глазахъ его совершилось пробужденіе Вѣры, его статуи, отъ дѣвическаго сна. Ледъ и огонь холодили и жгли его грудь, онъ надрывался отъ мукъ и—все не могъ оторвать глазъ отъ этого неотступнаго образа красоты, сіяющаго гордостью, смотрящаго съ любовью на весь міръ, и съ дружеской улыбкой протягивающей руку и ему...

«Я счастлива!»—слышитъ онъ ея шопотъ.

У ногъ ея, какъ отдыхающій левъ, лежалъ, безмолвно торжествуя, Маркъ; на головѣ его покоилась ея нога... Райскій вздрогнулъ, стараясь отрезвиться.

Его гналъ отъ обрыва ужасъ «паденія» его сестры, его красавицы, подкошеннаго цвѣтка,—а ревность, бѣшенство, и болѣе всего новая, неотразимая красота пробужденной Вѣры, влекли опять къ обрыву, на торжество любви, на этотъ праздникъ, который, кажется, торжествовалъ весь міръ, вся природа.

Ему слышались голоса, порханье и пѣнье птицъ, лепетъ любви и громадный, страстный вздохъ, огласившій будто весь садъ и все прибрежье Волги....

Онъ въ ужасѣ стоялъ, окаменѣлый, надъ обрывомъ, то вглядываясь мысленно въ новый, пробужденный образъ

Вѣры, то терзаясь нечеловѣческими мукамн, и шепталъ блѣдный:—Мщеніе, мщеніе!

А кругомъ и внизу все было тихо и темно. Вдругъ, въ десяти шагахъ отъ себя, онъ замѣтилъ силуэтъ приближающейся къ нему отъ дома человѣческой фигуры. Онъ сталъ смотрѣть.

— Кто тутъ?—съ злостью спросилъ онъ.

— Это я... я...

— Кто?—повторилъ онъ еще злѣе.

— M-r Boris, это я... Pauline.

— Вы! Что̀ вамъ надо здѣсь?

— Я пришла... я знаю... вижю... вы хотите давно сказать...—шептала Полина Карповна таинственно:—но не рѣшаетесь... Du courage! здѣсь никто не видитъ и не слышитъ... Espérez tout...

— Что̀ «сказать»—говорите!..

— Que vous m'aimez, о, я давно угадала... n'est-ce pas? Vous m'avez fui... mais la passion vous a ramené ici...

Онъ схватилъ ее за руку и потащилъ къ обрыву.

— Ah! de grâce! Mais pas si brusquement... qu'est-ce que vous faites... mais laissez donc!.. — завопила она въ страхѣ и не на шутку испугалась...

Но онъ подтащилъ ее къ крутизнѣ и крѣпко держалъ за руку.

— Любви хочется! — говорилъ онъ въ изступленіи: — вы слышите, сегодня ночь любви... Слышите вздохи... поцѣлуи? Это страсть играетъ, да, страсть, страсть!

— Пустите, пустите!—пищала она не своимъ голосомъ:— я упаду, мнѣ дурно...

Онъ пустилъ ее, руки у него упали, онъ перевелъ духъ. Потомъ взглянулъ на нее пристально, какъ будто только сейчасъ замѣтилъ ее.

— Прочь! — крикнулъ онъ и, какъ дикій, бросился бѣ-

жать отъ нея, отъ обрыва, черезъ весь садъ, цвѣтникъ и выбѣжалъ на дворъ.

На дворѣ онъ остановился и перевелъ духъ, оглядываясь по сторонамъ. Онъ услыхалъ, что кто-то плещется у колодца. Егорка, должно-быть, дѣлалъ ночной туалетъ, полоскалъ себѣ руки и лицо.

— Принеси чемоданъ,—сказалъ онъ:—завтра уѣзжаю въ Петербургъ!

И самъ налилъ себѣ изъ жолоба воды на руки, смочилъ глаза, голову—и скорыми шагами пошелъ домой.

Онъ выбѣгалъ на крыльцо, ходилъ по двору въ одномъ сюртукѣ, глядѣлъ на окна Вѣры и опять уходилъ въ комнату, ожидая ея возвращенія. Но въ темнотѣ видѣть дальше десяти шаговъ ничего было нельзя, и онъ избралъ для наблюденія бесѣдку изъ акацій, бѣсясь, что нельзя укрыться и въ ней, потому что листья облетѣли.

До свѣта онъ сидѣлъ тамъ, какъ на угольяхъ — не отъ страсти, страсть какъ въ воду канула. И какая страсть устояла бы передъ такимъ «препятствіемъ»? Нѣтъ, онъ сгоралъ неодолимымъ желаніемъ взглянуть Вѣрѣ въ лицо, новой Вѣрѣ, и хоть взглядомъ презрѣнія заплатить этой «самкѣ» за ея позоръ, за оскорбленіе, нанесенное ему, бабушкѣ, всему дому, «цѣлому обществу, наконецъ, человѣку, женщинѣ»!

«Люби открыто, не крадь довѣрія, наслаждайся счастьемъ и плати жертвами, не играй уваженіемъ людей, любовью семьи, не лги позорно и не унижай собой женщины!» думалъ онъ. «Да, взглянуть на нее, чтобъ она въ этомъ взглядѣ прочла себѣ приговоръ и казнь — и уѣхать навсегда!»

Онъ трясся отъ лихорадки нетерпѣнія, ожидая, когда она воротится. Онъ, какъ барсъ, выскочилъ бы изъ-за засады, загородилъ ей дорогу и бросилъ бы ей этотъ взглядъ, сказалъ бы одно слово... Какое?

Онъ чесалъ себѣ голову, трогалъ лицо, сжималъ и разжималъ ладони, и корчился въ судорогахъ, въ углу бесѣдки. Вдругъ онъ вскочилъ, отбросилъ отъ себя прочь пледъ, въ который прятался, и лицо его озарилось какою-то злобно-торжественной радостью, мыслью, или намѣреніемъ.

— Это сама судьба подсказала! — шепталъ онъ и побѣжалъ къ воротамъ.

Онѣ были еще заперты; онъ поглядѣлъ кругомъ и замѣтилъ огонекъ лампады въ комнатѣ Савелья.

Онъ постучалъ въ окно его, и когда тотъ отворилъ, велѣлъ принести ключъ отъ калитки, выпустить его и не запирать. Но прежде забѣжалъ къ себѣ, взялъ купленный имъ porte-bouquet и бросился въ оранжерею, къ садовнику. Долго стучался онъ, пока тотъ проснулся, и оба вошли въ оранжерею.

Начинало разсвѣтать. Онъ окинулъ взглядомъ деревья, и злая улыбка освѣтила его лицо. Онъ указывалъ, какіе цвѣты выбрать для букета Мареиньки: въ него вошли всѣ, какіе оставались. Садовникъ сдѣлалъ букетъ на славу.

— Мнѣ нуженъ другой букетъ... — сказалъ Райскій нетвердымъ голосомъ.

— Этакій же?

— Нѣтъ... изъ однихъ померанцевыхъ цвѣтовъ... — шепталъ онъ и самъ поблѣднѣлъ.

— Такъ-съ, вѣдь одна барышня-то у Татьяны Марковны невѣста!—догадался садовникъ.

— Есть у тебя стаканъ воды...—спросилъ Райскій.—Дай пить!

Онъ съ жадностью выпилъ стаканъ, торопя садовника сдѣлать букетъ. Наконецъ, тотъ кончилъ. Райскій щедро заплатилъ ему и, завернувъ въ бумагу оба букета, осторожно и торопливо понесъ домой.

Нужно было узнать, не вернулась ли Вѣра во время его отлучки. Онъ велѣлъ разбудить и позвать къ себѣ Маршу

и послалъ ее посмотрѣть, дома ли барышня, или «ужъ вышла гулять».

На отвѣтъ, что «вышла», онъ велѣлъ Марѳинькинъ букетъ поставить къ Вѣрѣ на столъ и отворить въ ея комнатѣ окно, сказавши, что она поручила ему еще съ вечера это сдѣлать. Потомъ отослалъ ее, а самъ занялъ свою позицію въ бесѣдкѣ и ждалъ, замирая—отъ удалявшейся, какъ буря, страсти, отъ ревности, и будто еще отъ чего-то... жалости, кажется...

Но пока еще обида и долго переносимая пытка заглушали все человѣческое въ немъ. Онъ злобно душилъ голосъ жалости. И «добрый духъ» печально молчалъ въ немъ. Не слышно его голоса; тихая работа его остановилась. Бѣсы вторглись и рвали его внутренность.

Райскій положилъ щеку на руку, смотрѣлъ около и ничего не видѣлъ, кромѣ дорожки къ крыльцу Вѣры, чувствовалъ только ядъ лжи, обмана.

— Мнѣ надо застрѣлить эту собаку, Марка, или застрѣлиться самому; да, что-нибудь одно изъ двухъ, но прежде сдѣлаю вотъ это третье...—шепталъ онъ.

Онъ, какъ святыню, обѣими руками держалъ букетъ померанцевыхъ цвѣтовъ, глядя на него съ наслажденіемъ, а самъ все оглядывался черезъ цвѣтникъ — къ темной аллеѣ, а ея все нѣтъ!

Совсѣмъ разсвѣло. Пошелъ мелкій дождикъ, стало грязно.

«Не послать ли имъ два зонтика?» думалъ онъ съ безотрадной улыбкой, лаская букетъ и нюхая его.

Вдругъ издали увидѣлъ Вѣру—и до того потерялся, испугался, ослабѣлъ, что не могъ не только выскочить, «какъ барсъ», изъ засады и заградить ей путь, но долженъ былъ самъ крѣпко держаться за скамью, чтобъ не упасть. Сердце билось у него, колѣнки дрожали, онъ приковалъ взглядъ къ идущей Вѣрѣ и не могъ оторвать его, хотѣлъ встать — и тоже не могъ: ему было больно даже дышать.

Она шла, наклонивъ голову, совсѣмъ закрытую черной мантильей. Видны были только двѣ блѣдныя руки, державшія мантилью на груди. Она шагала не торопливо, не поворачивая головы по сторонамъ, осторожно обходя образовавшіяся небольшія лужи, медленными шагами вошла на крыльцо и скрылась въ сѣняхъ.

Съ Райскаго какъ будто сняли кандалы. Онъ, блѣдный, выскочилъ изъ засады и спрятался подъ ея окномъ.

Она вошла въ комнату, погруженная точно въ сонъ, не замѣтила, что платье, которое, уходя, разбросала на полу, уже прибрано, не видала ни букета на столѣ, ни отвореннаго окна.

Она машинально сбросила съ себя обѣ мантильи на диванъ, сняла грязныя ботинки, ногой достала изъ-подъ постели атласныя туфли и надѣла ихъ. Потомъ, глядя не около себя, а куда-то вдаль, опустилась на диванъ и въ изнеможеніи, закрывъ глаза, оперлась спиной и головой къ подушкѣ дивана и погрузилась будто въ сонъ.

Черезъ минуту ее пробудилъ глухой звукъ чего-то упавшаго на полъ. Она открыла глаза и быстро выпрямилась, глядя вокругъ.

На полу лежалъ большой букетъ померанцевыхъ цвѣтовъ, брошенный снаружи въ окно.

Она, кинувъ бѣглый взглядъ на него, поблѣднѣла, какъ смерть и, не поднявъ цвѣтовъ, быстро подошла къ окну. Она видѣла уходившаго Райскаго и оцѣпенѣла на минуту отъ изумленія. Онъ обернулся, взгляды ихъ встрѣтились.

— Великодушный другъ... «рыцарь»... прошептала она и вздохнула съ трудомъ, какъ отъ боли, и тутъ только замѣтивъ другой букетъ на столѣ, назначенный Марѳинькѣ, взяла его, машинально поднесла къ лицу, но букетъ выпалъ у ней изъ рукъ, и она сама упала безъ чувствъ на коверъ.

Часть пятая.

I.

На другой день, въ деревенской церкви Малиновки, съ десяти часовъ, начали звонить въ большой колоколъ, къ обѣднѣ.

Въ домѣ была суета. Закладывали коляску, старомодную карету. Кучера одѣлись въ синіе, новые кафтаны, намазали головы коровьимъ масломъ и съ утра напились пьяны. Дворовыя женщины и дѣвицы пестрѣли праздничными, разноцвѣтными, ситцевыми платьями, платками, косынками, ленточками. Отъ горничныхъ за десять шаговъ несло гвоздичной помадой.

Егорка явился-было неслыханнымъ франтомъ, въ подаренномъ ему Райскимъ коротенькомъ пиджакѣ, клѣтчатыхъ, зеленыхъ, почти новыхъ, панталонахъ, и въ купленныхъ имъ самимъ — оранжевомъ галстукѣ и голубомъ жилетѣ. Онъ, въ этомъ нарядѣ, нечаянно попался на глаза Татьянѣ Марковнѣ.

— Это что!—строго крикнула она на него:—что за чучело, на кого ты похожъ? Долой! Василиса! Выдать имъ всѣмъ ливрейные фраки, и Сережкѣ, и Степкѣ, и Петрушкѣ, и этому шуту!—говорила она, указывая на Егора.—Яковъ пусть черный фракъ да бѣлый галстукъ надѣнетъ. Чтобы и за столомъ служили, и вечеромъ оставались въ ливреяхъ!

Весь домъ смотрѣлъ парадно, только Улита, въ это утро глубже, нежели въ другіе дни, опускалась въ свои холодники и подвалы и не успѣла надѣть ничего, что дѣлало бы ее непохожею на вчерашнюю или завтрашнюю Улиту. Да повара почти съ зарей надѣли свои бѣлые колпаки и не покладывали рукъ, готовя завтракъ, обѣдъ, ужинъ — и господамъ, и дворнѣ, и пріѣзжимъ людямъ изъ-за Волги.

Бабушка, отдавъ приказанія съ ранняго утра, въ восемь часовъ сдѣлала свой туалетъ и вышла въ залу, къ гостьѣ и будущей роднѣ своей, въ полномъ блескѣ старческой красоты, съ сдержаннымъ достоинствомъ барыни и съ кроткой улыбкой счастливой матери и радушной хозяйки.

Она надѣла на сѣдые волосы маленькій простой чепчикъ; на ней хорошо сидѣло привезенное ей Райскимъ изъ Петербурга шелковое, свѣтло-коричневое платье. Шея закрывалась шемизеткой, съ широкимъ воротничкомъ изъ стараго пожелтѣвшаго кружева. На креслахъ въ кабинетѣ лежала турецкая большая шаль, готовая облечь ее, когда пріѣдутъ гости къ завтраку и обѣду.

Теперь она собиралась ѣхать всѣмъ домомъ къ обѣднѣ, и въ ожиданіи, когда всѣ домашніе сойдутся, прохаживалась медленно по залѣ, сложивъ руки крестомъ на груди и почти не замѣчая домашней суеты, какъ входили и выходили люди, чистя ковры, приготовляя лампы, отирая зеркала, снимая чехлы съ мебели.

Она подходила то къ одному, то къ другому окну, задумчиво смотрѣла на дорогу, потомъ съ другой стороны въ садъ, съ третьей на дворы. Командовали всей прислугой и распоряжались Василиса и Яковъ, а Савелій управлялся съ дворней.

Мать Викентьева разодѣлась въ платье gris-de-perle, съ отдѣлкой изъ темныхъ кружевъ. Викентьевъ прибѣгалъ уже, наряженный, съ восьми часовъ, во фракъ и бѣлыя перчатки. Ждали только появленія Марѳиньки.

И когда она появилась, радости и гордости Татьяны Марковны не было конца. Она сіяла природной красотой, блескомъ здоровья, а въ это утро еще лучами веселья отъ всеобщаго участія, отъ множества — со всѣхъ сторонъ знаковъ вниманія, не только отъ бабушки, жениха, его матери, но въ каждомъ лицѣ изъ дворни свѣтилось непритворное дружество, ласка къ ней и лучъ радости, по случаю ея праздника.

Бабушка уже успѣла побывать у ней въ комнатѣ, когда она только-что встала съ постели. Проснувшись и поглядѣвъ вокругъ себя, Мареинька ахнула отъ изумленія и внезапной радости.

Пока она спала, ей, всѣ стѣны ея двухъ комнатокъ, чьи-то руки обвѣшали гирляндами изъ зелени и цвѣтовъ. Она хотѣла надѣть свою простенькую блузу, а на мѣсто ея, на креслѣ, подлѣ кровати, нашла утреннее неглиже изъ кисеи и кружевъ, съ розовыми лентами.

Не успѣла ахнуть, какъ на двухъ другихъ креслахъ увидѣла два прелестныя платья — розовое и голубое, на выборъ, которое надѣть.

— Ахъ! — сдѣлала она и, вскочивъ съ постели, надѣла новую блузу, не надѣвъ чулокъ — некогда было — подошла къ зеркалу и остолбенѣла: весь туалетъ былъ установленъ подарками.

Она не знала на что̀ глядѣть, что взять въ руки. Бросится къ платью, а тамъ тянетъ къ себѣ великолѣпный ящикъ розоваго дерева. Она открыла его,—тамъ былъ полный дамскій несессеръ, почти весь туалетъ, хрустальные, оправленные въ серебро, флаконы гребенки, щетки и множество мелочей.

Она стала-было разсматривать всѣ вещи, но у ней дрожали руки. Она схватитъ одинъ флаконъ, увидитъ другой, положитъ тотъ, возьметъ третій, увидитъ гребенку, щетки

въ серебряной оправѣ: — и все съ ея вензелемъ М. «Отъ будущей maman», написано было.

— Ахъ! — сдѣлала она, растерявшись и захлопывая крышку.

Подлѣ ящика лежало еще нѣсколько футляровъ, футлярчиковъ. Она не знала, за который взяться, что смотрѣть. Взглянувъ мелькомъ въ зеркало и откинувъ небрежно назадъ густую косу, падавшую ей на глаза и мѣшавшую разсматривать подарки, она кончила тѣмъ, что забрала всѣ футляры съ туалета и сѣла съ ними въ постель.

Она боялась открывать ихъ, медлила, наконецъ открыла самый маленькій.

Тамъ—перстень съ однимъ только изумрудомъ.

— Ахъ! — повторила она и, надѣвъ перстень, вытянула руку и любовалась имъ издали.

Открыла другой футляръ побольше — тамъ серьги. Она вдѣла ихъ въ уши и, сидя въ постели, тянулась взглянуть на себя въ зеркало. Потомъ открыла еще два футляра и нашла большіе массивные браслеты, въ видѣ змѣи кольцомъ, съ рубиновыми глазами, усѣянной по мѣстамъ сверкающими алмазами, и сейчасъ же надѣла ихъ.

Наконецъ открыла самый большой футляръ.

— Ахъ!—почти съ ужасомъ, замирая, сдѣлала она, увидя цѣлую рѣку—двадцать одинъ брильянтъ, по числу ея лѣтъ.

Тамъ бумажка съ словами: «Къ этому ко всему», читала она: «имѣю честь присовокупить самый драгоцѣнный подарокъ! лучшаго моего друга — самого себя. Берегите его. Вашъ ненаглядный Викентьевъ».

Она засмѣялась, потомъ поглядѣла кругомъ, поцѣловала записку, покраснѣла до ушей и, спрыгнувъ съ постели, спрятала ее въ свой шкапчикъ, гдѣ у нея хранились лакомства. И опять подбѣжала къ туалету посмотрѣть, нѣтъ ли чего-нибудь еще, и нашла еще футлярчикъ.

Это былъ подарокъ Райскаго: часы, съ эмалевой доской,

съ ея шифромъ, съ цѣпочкой. Она взглянула на нихъ большими глазами, потомъ окинула взглядомъ прочіе подарки, поглядѣла по стѣнамъ, увѣшаннымъ гирляндами и цвѣтами— и вдругъ опустилась на стулъ, закрыла глаза руками и залилась цѣлымъ дождемъ горячихъ слезъ.

— Господи! — всхлипывая отъ счастья, говорила она:— за что они меня такъ любятъ всѣ? Я никому, ничего хорошаго не сдѣлала и не сдѣлаю никогда!..

Такъ застала ее бабушка, неодѣтую, необутую, съ перстнями на пальцахъ, въ браслетахъ, въ брильянтовыхъ серьгахъ и обильныхъ слезахъ. Она сначала испугалась, потомъ, узнавъ причину слезъ, обрадовалась и осыпала ее поцѣлуями.

— Это Богъ тебя любитъ, дитя мое, — говорила она, лаская ее:—за то, что ты сама всѣхъ любишь, и всѣмъ, кто поглядитъ на тебя, становится тепло и хорошо на свѣтѣ!..

— Ну, пусть бы Николай Андреичъ: онъ женихъ, пусть maman его,—отвѣчала Мароинька, утирая слезы:—а братъ Борисъ Павловичъ: что я ему!..

— То же, что всѣмъ! одна радость глядѣть на тебя: скромна, чиста, добра, бабушкѣ послушна... (Мотъ! изъ чего тратитъ на дорогіе подарки, вотъ я ужо ему дамъ!— въ скобкахъ вставила она).—Онъ уродъ, твой братецъ, только какой-то особенный уродъ.

— Точно угадалъ, бабушка: мнѣ давно хотѣлось синенькіе часики—вотъ этакіе, съ эмалью!..

— А что жъ ты не спросишь бабушку, отчего она ничего не подарила?

Мароинька зажала ей ротъ поцѣлуемъ.

— Бабушка, любите меня всегда, коли хотите, чтобъ я была счастлива...

— Любовь—любовью, а вотъ тебѣ мой всегдашній подарокъ!—говорила она, крестя ее.—А вотъ и еще, чтобъ ты этого моего креста и послѣ меня не забывала...

Она полѣзла въ карманъ.

— Бабушка! Да вѣдь вы мнѣ два платья подарили!.. А кто это зелени и цвѣтовъ повѣсилъ!..

— Все твой женихъ, съ Полиной Карповной, вчера прислали... отъ тебя таили... Сегодня Василиса съ Пашуткой убирали на зарѣ... А платья—твое приданое; будетъ и еще не два. Вотъ тебѣ...

Она вынула футлярчикъ, достала оттуда золотой крестъ, съ четырьмя крупными брильянтами, и надѣла ей на шею, потомъ простой гладкій браслетъ съ надписью: «отъ бабушки внучкѣ», годъ и число.

Мароинька припала къ рукѣ бабушки и чуть-было не расплакалась опять.

— Все, что у бабушки есть, — а у ней кое-что есть — все поровну раздѣлю вамъ съ Вѣрочкой! Одѣвайся же скорѣй!

— Какая вы нынче красавица, бабушка! Братецъ правду говоритъ, Титъ Никонычъ непремѣнно влюбится въ васъ...

— Полно тебѣ, болтунья! — полусердито сказала бабушка. — Поди къ Вѣрочкѣ и узнай, что она? Чтобы къ обѣдни не опоздала съ нами! Я бы сама зашла къ ней, да боюсь подниматься на лѣстницу...

— Я сейчасъ, сейчасъ... — сказала Мароинька, торопясь одѣваться.

II.

Вѣра черезъ полчаса послѣ своего обморока, очнулась и поглядѣла вокругъ. Ей освѣжилъ лицо холодный воздухъ изъ отвореннаго окна. Она привстала, озираясь кругомъ, потомъ поднялась, заперла окно, дошла, шатаясь, до постели и скорѣе упала, нежели легла на нее, и оставалась неподвижною, покрывшись брошеннымъ туда ею наканунѣ большимъ платкомъ.

Обезсиленная, она впала въ тяжкій сонъ. Истомленный

организмъ онѣмѣлъ на время, помимо ея сознанія и воли. Коса у ней упала съ головы и разсыпалась по подушкѣ. Она была блѣдна и спала, какъ мертвая.

Часа черезъ три, шумъ на дворѣ, людскіе голоса, стукъ колесъ и благовѣстъ вывели ее изъ летаргіи. Она открыла глаза, посмотрѣла кругомъ, послушала шумъ, пришла на минуту въ сознаніе, потомъ вдругъ опять закрыла глаза и предалась снова, или сну, или мукѣ.

Въ это время кто-то легонько постучался къ ней въ комнату. Она не двигалась. Потомъ сильнѣе постучались. Она услыхала и встала вдругъ съ постели, взглянула въ зеркало и испугалась самой себя.

Она быстро обвила косу около руки, свернула ее въ кольцо, закрѣпила кое-какъ черной большой булавкой на головѣ, и накинула на плечи платокъ. Мимоходомъ подняла съ полу назначенный для Мареиньки букетъ и положила на столъ.

Стукъ повторился, вмѣстѣ съ легкимъ царапаньемъ у двери.

— Сейчасъ!—сказала она и отворила дверь.

Влетѣла Мареинька, сіяя, какъ радуга, и красотой, и нарядомъ, и весельемъ. Она взглянула и вдругъ остановилась.

— Что съ тобой, Вѣрочка? — спросила она: — ты нездорова!..

Веселье слетѣло съ лица у ней, уступивъ мѣсто испугу.

— Да, не совсѣмъ...—слабо отвѣчала Вѣра:—ну, поздравляю тебя...

Онѣ поцѣловались.

— Какая ты хорошенькая, нарядная! — говорила Вѣра, стараясь улыбнуться.

Но улыбка не являлась. Губами она сдѣлала движеніе, а глаза не улыбались. Привѣтствію противорѣчилъ почти неподвижный взглядъ, безъ лучей, какъ у мертвой, которой не успѣли закрыть глазъ.

Вѣра, чувствуя, что не одолѣетъ себя поспѣшила взять букетъ и подала ей.

— Какой роскошный букетъ! — сказала Марѳинька, тая отъ восторга и нюхая цвѣты.

— А что же это такое?—вдругъ прибавила она, чувствуя подъ букетомъ въ рукѣ что-то твердое.

Это былъ изящный porte-bouquet, убранный жемчугомъ, съ ея шифромъ.

— Ахъ, Вѣрочка, и ты, и ты!.. Что это, какъ вы всѣ меня любите!..—говорила она, собираясь опять заплакать:— и я вѣдь васъ всѣхъ люблю... какъ люблю, Господи!.. Да какъ же и когда вы узнаете это; я не умѣю даже сказать!..

Вѣра почти умилилась внутренно, но не смогла ничего отвѣтить ей, а только тяжело перевела духъ и положила ей руку на плечо.

— Я сяду,—сказала она:—я дурно спала ночь...

— Бабушка зоветъ къ обѣднѣ...

— Не могу, душечка, скажи, что я не такъ здорова... и не выйду сегодня...

— Какъ, ты совсѣмъ не придешь туда?—въ страхѣ спросила Марѳинька.

— Да, я полежу, я вчера простудилась, должно-быть. Только ты скажи бабушкѣ слегка...

— Мы къ тебѣ придемъ.

— Боже сохрани! Вы помѣшаете мнѣ отдохнуть...

— Ну, такъ пришлемъ тебѣ сюда всего... Сколько мнѣ подарковъ... цвѣтовъ... конфетъ прислали!.. Я покажу тебѣ...

Марѳинька разсказала все, что̀ и отъ кого получила.

— Да, да — хорошо... это очень мило! покажи... я послѣ приду...—разсѣянно говорила Вѣра, едва слушая ее.

— А это что̀? Еще букетъ!—сказала вдругъ Марѳинька, увидя букетъ на полу:—что это онъ на полу валяется?

Она подняла и подала Вѣрѣ букетъ изъ померанцевыхъ цвѣтовъ. Вѣра поблѣднѣла.

— Кому это? чей? Какая прелесть!

— Это... тоже тебѣ...—едва выговорила Вѣра.

Она взяла первую ленточку изъ комода, нѣсколько булавокъ, и кое-какъ, едва шевеля пальцами, приколола померанцевые цвѣты Мареинькѣ. Потомъ поцѣловала ее и сѣла въ изнеможеніи на диванъ.

— Ты въ самомъ дѣлѣ нездорова — посмотри, какая ты блѣдная! — замѣтила серьезно Мареинька: — не сказать ли бабушкѣ? Она за докторомъ пошлетъ... Пошлемъ, душечка, за Иваномъ Богдановичемъ... Какъ это грустно — въ день моего рожденія! Теперь мнѣ цѣлый день испорченъ!

— Ничего, ничего — пройдетъ! Ни слова бабушкѣ, не пугай ее!.. А теперь поди, оставь меня...—шептала Вѣра:— я отдохну...

Мареинька хотѣла поцѣловать ее и вдругъ увидѣла, что у ней глаза полны слезъ. Она заплакала сама.

— Что ты?—тихо спросила Вѣра, отирая украдкой, какъ будто воруя свои слезы изъ глазъ.

— Какъ же не плакать, когда ты плачешь, Вѣрочка! Что съ тобой? другъ мой, сестра! У тебя горе, скажи мнѣ...

— Ничего, не гляди на меня, это нервы... Только скажи бабушкѣ осторожно, а то она встревожится...

— Я скажу, что голова болитъ, а про слезы не упомяну, а то она въ самомъ дѣлѣ на цѣлый день разстроится.

Мареинька ушла. А Вѣра затворила за ней дверь и легла на диванъ.

III.

Всѣ ушли и уѣхали къ обѣднѣ. Райскій, воротясь на разсвѣтѣ домой, не узнавая самъ себя въ зеркалѣ, чувствуя ознобъ, попросилъ у Марины стаканъ вина, выпилъ и бросился въ постель.

Ему было не легче Вѣры. И онъ, истомленный усталостью, моральной и физической, и долгими муками, отдался

сну, какъ будто бросился въ горячкѣ въ объятія здороваго друга, поручая себя его попеченію. И сонъ исполнилъ эту обязанность, унеся его далеко отъ Вѣры, отъ Малиновки, отъ обрыва, и отъ вчерашней, разыгравшейся на его глазахъ, драмы.

Ему снилось все другое, противоположное. Никакихъ «волнъ поэзіи» не видалъ онъ, не била «страсть пѣной» черезъ край, а очутился онъ въ Петербургѣ, дома, одинъ, въ своей брошенной мастерской, и равнодушно глядѣлъ на начатыя и неоконченныя работы.

Потомъ приснилось ему, что онъ сидитъ съ пріятелями у Сен-Жоржа и съ аппетитомъ ѣстъ и пьетъ, разсказываетъ и слушаетъ пошлый вздоръ, обыкновенно разсказываемый на холостыхъ обѣдахъ, — что ему отъ этого стало тяжело и скучно, и во снѣ даже спать захотѣлось.

И онъ спалъ здоровымъ прозаическимъ сномъ, до того охватившимъ его, что когда онъ проснулся отъ трезвона въ церквахъ, то первыя двѣ-три минуты былъ только подъ вліяніемъ животнаго покоя, стѣной ставшаго между имъ и вчерашнимъ днемъ.

Онъ забылъ, гдѣ онъ — и, можетъ-быть, даже — кто онъ такой. Природа взяла свое, и этимъ крѣпкимъ сномъ возстановила равновѣсіе въ силахъ. Никакой боли, пытки не чувствовалъ онъ. Все—какъ въ воду кануло.

Онъ потянулся, даже посвисталъ беззаботно, чувствуя только, что ему отчего-то покойно, хорошо, что онъ давно уже не спалъ и не просыпался такъ здорово. Сознаніе еще не воротилось къ нему.

Но слѣдующія двѣ-три минуты вдругъ привели его въ память — о вчерашнемъ. Онъ сѣлъ на постели, какъ будто не самъ, а подняла его посторонняя сила; посидѣлъ минуты двѣ неподвижно, открывъ широко глаза, будто не вѣря чему-то, но когда увѣрился, то всплеснулъ руками надъ головой, упалъ опять на подушку, и вдругъ вскочилъ

на ноги, уже съ другимъ лицомъ, какого не было у него даже вчера, въ самую страшную минуту.

Другая мука, не вчерашняя, какой-то новый бѣсъ бросился въ него, — и онъ такъ же торопливо, нервно и судорожно, какъ Вѣра наканунѣ, собираясь идти къ обрыву, хваталъ одно за другимъ платья, разбросанныя по стульямъ.

Онъ позвонилъ Егора, и едва съ его помощью кое-какъ одѣлся, надѣвая сюртукъ прежде жилета, забывая галстукъ. Онъ спросилъ, что дѣлается дома, и узнавъ, что всѣ уѣхали къ обѣднѣ, кромѣ Вѣры, которая больна, оцѣпенѣлъ, измѣнился въ лицѣ и бросился вонъ изъ комнаты къ старому дому.

Онъ тихо постучался къ Вѣрѣ; никто не отвѣчалъ. Подождавъ минуты двѣ отвѣта, онъ тронулъ дверь: она была не заперта изнутри.

Онъ осторожно отворилъ и вошелъ съ ужасомъ на лицѣ, тихимъ шагомъ, какимъ можетъ входить человѣкъ, съ намѣреніемъ совершить убійство. Онъ едва ступалъ на цыпочкахъ, трясясь, блѣдный, боясь ежеминутно упасть отъ душившаго его волненія.

Вѣра лежала на диванѣ, лицомъ къ спинкѣ. Съ подушки падали почти до пола ея волосы, юбка ея сѣраго платья небрежно висѣла, не закрывая ея ногъ, обутыхъ въ туфли.

Она не оборачивалась, только сдѣлала движеніе, чтобъ оборотиться и посмотрѣть, кто вошелъ, но, повидимому, не могла.

Онъ подошелъ, сталъ на колѣни подлѣ нея и прильнулъ губами къ ея туфлѣ. Она вдругъ обернулась, взглянула на него мелькомъ, лицо у ней подернулось горькимъ изумленіемъ.

— Что это, комедія или романъ, Борисъ Павловичъ? — глухо сказала она, отворачиваясь съ негодованіемъ и пряча ногу съ туфлей подъ платье, которое, не глядя, торопливо оправила рукой.

— Нѣтъ, Вѣра, — трагедія! — едва слышно выговорилъ онъ угасшимъ голосомъ и сѣлъ на стулъ, подлѣ дивана.

Она обернулась на этотъ тонъ его голоса, взглянула на него пристально; глаза у ней открылись широко, съ изумленіемъ. Она увидѣла блѣдное лицо, какого никогда у него не видала, и, казалось, читала или угадывала смыслъ этого новаго лица, новаго Райскаго.

Она сбросила съ себя платокъ, встала на ноги и подошла къ нему, забывъ въ эту секунду всю свою бурю. Она видѣла на другомъ лицѣ такое же смертельное страданіе, какое жило въ ней самой.

— Братъ, что̀ съ *тобой? ты* несчастливъ!—сказала она, положивъ ему руку на плечо — и въ этихъ трехъ словахъ, и въ голосѣ ея — отозвалось, кажется, все, что̀ есть великаго въ сердцѣ женщины: состраданіе, самоотверженіе, любовь.

Онъ, въ умиленіи отъ этой ласки, отъ этого неожиданнаго, теплаго *ты*, взглянулъ на нее съ той же изступленной благодарностью, съ какою она взглянула вчера на него, когда онъ, забывая себя, помогалъ ей сойти съ обрыва.

Она нечаянно заплатила ему великодушіемъ за великодушіе, какъ и у него вчера вырвался такой же лучъ одного изъ самыхъ свѣтлыхъ свойствъ человѣческой души.

Его охватилъ трепетъ смѣшанныхъ чувствъ, и тѣмъ сильнѣе заговорила мука отчаянія за свой поступокъ. Все растопилось у него въ горячихъ слезахъ.

Онъ положилъ лицо въ ея руки и рыдалъ какъ человѣкъ, все утратившій, которому нечего больше терять.

— Что̀ я сдѣлалъ! оскорбилъ тебя, женщину, сестру! — вырывались у него вопли среди рыданій.—Это былъ не я, не человѣкъ: звѣрь сдѣлалъ преступленіе. Что̀ это такое было!—говорилъ онъ съ ужасомъ, оглядываясь, какъ будто теперь только пришелъ въ себя.

— Не мучайся и не мучай меня...—шептала она кротко,

ласково. — Пощади — я не вынесу. Ты видишь, въ какомъ я положеніи...

Онъ старался не глядѣть ей въ глаза. А она опять прилегла на диванъ.

— Какой ударъ нанесъ я тебѣ!—шепталъ онъ въ ужасѣ.— Я даже прощенія не прошу: оно невозможно! Ты видишь мою казнь, Вѣра...

— Ударъ твой... сдѣлалъ мнѣ боль на одну минуту. Потомъ я поняла, что онъ не могъ быть нанесенъ равнодушной рукой, и повѣрила, что ты любишь меня... Тутъ только представилось мнѣ, что̀ ты вытерпѣлъ въ эти недѣли, вчера... Успокойся, ты не виноватъ, мы квиты...

— Не оправдывай преступленія, Вѣра: ножъ—все ножъ. Я ударилъ тебя ножомъ...

— Ты разбудилъ меня... Я будто спала; всѣхъ васъ, тебя, бабушку, сестру, весь домъ — видѣла какъ во снѣ, была зла, суха—забылась!..

— Что̀ мнѣ теперь дѣлать, Вѣра? уѣхать — въ какомъ положеніи я уѣду! Дай мнѣ вытерпѣть казнь здѣсь — и хоть немного примириться съ собой, со всѣмъ, что̀ случилось...

— Полно, воображеніе рисуетъ тебѣ какое-то преступленіе, вмѣсто ошибки. Вспомни, въ какомъ положеніи ты сдѣлалъ ее, въ какой горячкѣ!..

Она замолчала.

— У меня ничего нѣтъ, кромѣ дружбы къ тебѣ, — сказала потомъ, протягивая ему руку: — я не осуждаю тебя — и не могу; я знаю теперь, какъ ошибаются...

Она едва говорила, очевидно дѣлая надъ собой усиліе, чтобы немного успокоить его.

Онъ пожалъ протянутую руку и безотрадно вздохнулъ.

— Ты добра, какъ женщина — и судишь не умомъ, а сердцемъ эту «ошибку»...

— Нѣтъ, ты строгъ къ себѣ. Другой счелъ бы себя

въ правѣ, послѣ всѣхъ этихъ глупыхъ шутокъ надъ тобой... Ты ихъ знаешь, эти записки... Пусть съ доброй цѣлью — отрезвить тебя, пошутить въ отвѣтъ на твои шутки.—Все же — злость, смѣхъ! А ты и не шутилъ... Стало-быть, мы, безъ нужды, были только злы и ничего не поняли... Глупо! глупо! Тебѣ было больнѣе, нежели мнѣ вчера...

— Ахъ, нѣтъ! я иногда самъ смѣялся, и надъ собой, и надъ вами, что вы ничего не понимаете и суетитесь. Особенно когда ты потребовала пальто, одѣяло, деньги для «изгнанника»...

Она сдѣлала больніе глаза и съ удивленіемъ глядѣла на него.

— Какія деньги, какое пальто? что̀ за изгнанникъ? Я ничего не понимаю...

У него лицо немного просвѣтлѣло.

— Я и прежде подозрѣвалъ, что это не твоя выдумка, а теперь вижу, что ты и не знала!

Онъ коротко передалъ ей содержаніе двухъ писемъ, съ просьбой прислать денегъ и платье.

У ней побѣлѣли даже губы.

— Мы съ Наташей писали къ тебѣ попеременно, однимъ почеркомъ, шутливыя записки, стараясь подражать твоимъ... Вотъ и все. Остальное сдѣлала не я... я ничего не знала!..—кончила она тихо, оборачиваясь лицомъ къ стѣнѣ.

Водворилось молчаніе. Онъ задумчиво шагалъ взадъ и впередъ по ковру. Она, казалось, отдыхала, утомленная разговоромъ.

— Я не прошу у тебя прощенія за всю эту исторію... И ты не волнуйся, — сказала она. — Мы помиримся съ тобой... У меня только одинъ упрекъ тебѣ — ты поторопился съ своимъ букетомъ. Я шла оттуда... хотѣла послать за тобой, чтобы тебѣ первому сказать всю исторію... искупить хоть немного все, что ты вытерпѣлъ... Но ты поторопился!

— Ахъ!—вырвалось у него:—это ударъ ножа мнѣ!

— Оставимъ все это... послѣ, послѣ... А теперь я потребую отъ тебя, какъ отъ друга и брата, помощи, важной услуги... Ты не откажешь?..

— Вѣра!

Онъ ничего не сказалъ больше, но, взглянувъ на него, она видѣла, что можетъ требовать всего.

— Я, пока силы есть, разскажу тебѣ всю исторію этого года...

— Зачѣмъ! Я не хочу, не могу, не долженъ знать...

— Не мѣшай мнѣ! я едва дышу, а время дорого. Я разскажу тебѣ все, а ты передай бабушкѣ...

У него глаза остановились на ней съ изумленіемъ и въ лицо хлынулъ испугъ.

— Я сама не могу, языкъ не послушается. Я умру, не договорю...

— Бабушкѣ? зачѣмъ!—едва выговорилъ онъ отъ страха.— Подумай, какія послѣдствія... Что̀ будетъ съ ней?.. Не лучше ли скрыть все?..

— Я давно подумала: какія бы ни были послѣдствія, ихъ надо — не скрыть, а перенести! Можетъ-быть, обѣ умремъ, помѣшаемся—но я ее не обману. Она должна была знать давно, но я надѣялась сказать ей другое... и оттого молчала... Какая казнь!—прибавила она тихо, опуская голову на подушку.

— Сказать... все, и вчерашній вечеръ?..—спросилъ онъ тихо.

— Да...

— И имя?..

Она чуть замѣтно кивнула утвердительно головой и отвернулась.

Она посадила его подлѣ себя на диванъ и шопотомъ, съ остановками, разсказала исторію своихъ сношеній съ Маркомъ. Кончивъ, она закуталась въ шаль и, дрожа отъ озноба, легла опять на диванъ. А онъ всталъ блѣдный.

Оба молчали, каждый про себя переживая минуту ужаса, она—думая о бабушкѣ, онъ—о нихъ обѣихъ.

Ему предстояло — уже не въ горячкѣ страсти, не въ припадкѣ слѣпого мщенія, а по неизбѣжному сознанію долга — нанести еще ударъ ножа другой, нѣжно-любимой женщинѣ!

«Да, это страшное порученіе, въ самомъ дѣлѣ—«важная услуга», думалъ онъ.

— Когда сказать ей?—спросилъ онъ тихо.

— Скорѣй! я замучаюсь, пока она не узнаетъ, а у меня еще много мукъ... «И это не главная!» подумала про себя.— Дай мнѣ спиртъ, тамъ, гдѣ-то...—прибавила она, указывая, гдѣ стоялъ туалетъ. — А теперь поди... оставь меня... я устала...

— Сегодня говорить съ бабушкой нельзя: гости! Богъ знаетъ, что̀ съ ней будетъ! Завтра!

— Ахъ! — сдѣлала она: — доживу ли я! Ты до завтра какъ-нибудь... успокой бабушку, скажи ей что-нибудь... чтобъ она ничего не подозрѣвала... не присылала сюда никого...

Онъ подалъ ей спиртъ, спросилъ, не надо ли ей чего-нибудь, не послать ли дѣвушку.

Она нетерпѣливо покачала головой, отсылая его взглядомъ, потомъ закрыла глаза, чтобъ ничего не видѣть. Ей хотѣлось бы — непроницаемой тьмы и непробудной тишины вокругъ себя, чтобы глазъ ея не касались лучи дня, чтобы не доходило до нея никакого звука. Она будто искала новаго, небывалаго состоянія духа, нѣмоты и дремоты ума, всѣхъ силъ, чтобы окаменѣть, стать растеніемъ, ничего не думать, не чувствовать, не сознавать.

А онъ вышелъ отъ нея съ новой, болѣе страшной тяжестью, нежели съ какою пришелъ. Она отчасти облегчила ему одно бремя, и возложила другое, невыносимѣе.

IV.

Вѣра встала, заперла за нимъ дверь и легла опять. Ее давила нависшая туча горя и ужаса. Дружба Райскаго, участіе, преданность, помощь — представляли ей на первую минуту легкую опору, на которую она оперлась, чтобы вздохнуть свободно, какъ утопающій, вынырнувшій на минуту изъ воды, чтобы глотнуть воздуха. Но едва онъ вышелъ отъ нея, она точно оборвалась въ воду опять.

— Жизнь кончена! — шептала она съ отчаяніемъ и видѣла впереди одну голую степь, безъ привязанностей, безъ семьи, безъ всего того, изъ чего соткана жизнь женщины.

Передъ ней — только одна глубокая, какъ могила, пропасть. Ей предстояло стать лицомъ къ лицу съ бабушкой и сказать ей:

— Вотъ, чѣмъ я заплатила тебѣ за твою любовь, попеченія, какъ наругалась надъ твоимъ довѣріемъ... до чего дошла своей волей!..

Ей, въ дремотѣ отчаянія, снился взглядъ бабушки, когда она узнала все, брошенный на нее, ея голосъ — даже не было голоса, а вмѣсто его какіе-то глухіе звуки ужаса и смерти...

Потомъ, потомъ — она не знала, что будетъ, не хотѣла глядѣть дальше въ страшный сонъ, и только глубже погрузила лицо въ подушку. У ней подошли-было къ глазамъ слезы и отхлынули назадъ, къ сердцу.

— Если бъ умереть!—внезапно просіявъ отъ этой мысли, съ улыбкой, съ наслажденіемъ, шепнула она...

И вдругъ за дверью услышала шаги и голосъ... бабушки! У ней будто отнялись руки и ноги. Она, блѣдная, не шевелясь, съ ужасомъ слушала легкій, но страшный стукъ въ дверь.

— Не встану—не могу...—шептала она.

Стукъ повторился. Она вдругъ, съ силой, которая невѣ-

домо откуда берется въ такія минуты, оправилась, вскочила на ноги, отерла глаза и съ улыбкой пошла навстрѣчу бабушкѣ.

Татьяна Марковна, узнавши отъ Мареиньки, что Вѣра нездорова и не выйдетъ цѣлый день, пришла навѣдаться сама. Она бѣгло взглянула на Вѣру и опустилась на диванъ.

— Ухъ, устала у обѣдни! Насилу поднялась на лѣстницу! Что у тебя, Вѣрочка, нездорова?—спросила она и остановила испытующій взглядъ на лицѣ Вѣры.

— Поздравляю съ новорожденной! — заговорила Вѣра развязно, голосомъ маленькой дѣвочки, которую научила нянька—что сказать мамашѣ утромъ въ день ея ангела, поцѣловала руку у бабушки,—и сама удивилась про себя, какъ память подсказала ей, что надо сказать, какъ языкъ выговорилъ эти слова!—Пустое! ноги промочила вчера, голова болитъ!—съ улыбкой старалась договорить она.

Но губы не улыбнулись, хотя и показались изъ-за нихъ два, три верхніе зуба.

— Надо было натереть вчера спиртомъ; у тебя нѣтъ?—сдержанно сказала бабушка, стараясь на нее не глядѣть, потому что слышала принужденный голосъ, видѣла на губахъ Вѣры какую-то чужую, а не ея улыбку, и чуяла неправду.

— Ты сойдешь къ намъ?—спросила она.

Вѣра внутренно ужаснулась этого невозможнаго испытанія, сверхъ силъ, и замялась.

— Не принуждай себя!—снисходительно замѣтила Татьяна Марковна:—чтобъ не разболѣться больше...

Но ужасъ охватилъ Вѣру отъ этой снисходительности. Ей казалось, какъ всегда, когда совѣсть тревожила, что бабушка уже угадала все, и ея исповѣдь опоздала. Одна минута, одно слово—и она кинулась бы на грудь [illegible] сказала все! И только силы измѣнили ей и удержали [illegible]

мысль—сдѣлать весь домъ свидѣтелемъ своей и бабушкиной драмы.

— Къ обѣду только позвольте, бабушка, не выходить,— сказала она, едва крѣпясь:—а послѣ обѣда я, можетъ-быть, приду...

— Какъ хочешь, я пришлю тебѣ обѣдать сюда.

— Да... да... я ужъ теперь голодна... — говорила Вѣра, не помня сама, что̀ говоритъ.

Татьяна Марковна поцѣловала ее, пригладила ей рукой немного волосы, и вышла, замѣтивъ только, «чтобъ она велѣла «Маринкѣ», или «Машкѣ», или «Наташкѣ», прибрать комнату, а то-де, пожалуй, изъ гостей, изъ дамъ кто-нибудь, зайдетъ»,—и ушла.

Вѣра вдругъ опустилась на диванъ, потомъ, немного посидя, достала одеколонъ и намочила себѣ темя и виски.

— Ахъ, какъ бьется здѣсь, какъ больно!—шептала она, прикладывая руку къ головѣ.—Боже, когда эта казнь кончится? Скорѣй бы, скорѣй сказать ей все! А тамъ, послѣ нея—пусть весь міръ знаетъ, смотритъ!..

Она взглянула на небо, вздрогнула и безотрадно бросилась на диванъ.

Бабушка пришла къ себѣ съ скорбнымъ лицомъ, какъ въ воду опущенная.

Она принимала гостей, ходила между ними, потчивала, но Райскій видѣлъ, что она, послѣ визита къ Вѣрѣ, была уже не въ себѣ. Она почти не владѣла собой, отказывалась отъ многихъ блюдъ, не обернулась, когда Петрушка уронилъ и разбилъ тарелки; останавливалась среди разговора на полусловѣ, пораженная задумчивостью.

А послѣ обѣда, когда гости, пользуясь скупыми лучами сентябрьскаго солнца, вышли на широкое крыльцо, служившее и балкономъ, пить кофе, ликеръ и курить, Татьяна Марковна продолжала ходить между ними, иногда не замѣчая ихъ, только передергивала и поправляла свою турец-

кую шаль. Потомъ спохватится и вдругъ заговоритъ принужденно.

Райскій былъ угрюмъ, смотрѣлъ только на бабушку, слѣдя за ней.

— Неладно что-то съ Вѣрой!—шепнула она отрывисто ему:—ты видѣлъ ее? У ней какое-то горе!

Онъ сказалъ, что нѣтъ. Бабушка подозрительно поглядѣла на него.

Полины Карповны не было. Она сказалась больною, прислала Марѳинькѣ цвѣты и деревья съ зеленью. Райскій заходилъ къ ней утромъ самъ, чтобы какъ-нибудь объяснить вчерашнюю свою сцену съ ней и узнать, не замѣтила ли она чего-нибудь. Но она встрѣтила его съ худо-скрываемымъ, подъ видомъ обидчивости, восторгомъ, хотя онъ прямо сказалъ ей, что обѣдалъ наканунѣ не дома, въ гостяхъ—тамъ много пили—и онъ выпилъ лишнюю рюмку—и вотъ «до чего дошелъ!»

Онъ просилъ прощенія и получилъ его съ улыбкой.

— А кто угадалъ: не говорила ли я?—заключила она. И подъ рукой разсказала всѣмъ свою сцену обольщенія, замѣнивъ слово «упала» словомъ «пала».

Пришелъ къ обѣду и Тушинъ, еще наканунѣ пріѣхавшій въ городъ. Онъ подарилъ Марѳинькѣ хорошенькаго пони, для прогулокъ верхомъ: «если бабушка позволитъ», скромно прибавилъ онъ.

— Теперь не моя воля,—вонъ кого спрашивайте!—задумчиво отвѣчала она, указывая на Викентьева и думая о другомъ.

Тушинъ навѣдался о Вѣрѣ и былъ какъ-будто пораженъ ея нездоровьемъ, и тѣмъ, что она не вышла къ обѣду. Онъ былъ замѣтно взволнованъ.

Татьяна Марковна стала подозрительно смотрѣть и на Тушина, отчего это онъ вдругъ такъ озадаченъ тѣмъ, что Вѣры нѣтъ. Ея отсутствіе между гостями—не рѣдкость; это

случалось при немъ прежде, но никогда не поражало его. «Что̀ стало со вчерашняго вечера съ Вѣрой?» не выходило у ней изъ головы.

Съ Титомъ Никонычемъ сначала она побранилась, и чуть не подралась, за подарокъ туалета, а потомъ поговорила съ нимъ наединѣ четверть часа въ кабинетѣ, и онъ сталъ немного задумчивъ, меньше шаркалъ ножкой, и хотя говорилъ съ дамами, но самъ смотрѣлъ такъ серьезно и пытливо, то на Райскаго, то на Тушина, что они глазами въ недоумѣніи спрашивали его, чего онъ отъ нихъ хочетъ. Онъ тотчасъ оправлялся и живо принимался говорить дамамъ «пріятности».

Татьяна Марковна была такъ весела, безпечна, празднуя день рожденья Марфиньки и обдумывая, чѣмъ бы особенно отпраздновать черезъ двѣ недѣли именины Вѣры, чтобъ не обойти внимательностью одну передъ другой, хотя Вѣра и объявила наотрѣзъ, что въ именины свои уѣдетъ къ Аннѣ Ивановнѣ Тушиной, или къ Натальѣ Ивановнѣ.

Но съ полудня Татьяна Марковна такъ измѣнилась, такъ во всѣхъ подозрительно всматривалась, во все вслушивалась, что Райскій сравнивалъ ее съ конемъ, который безпечно жевалъ свой овесъ, уходя въ него мордой по уши, и вдругъ услыхалъ шорохъ или почуялъ запахъ какого-то неизвѣстнаго и невидимаго врага. Онъ поднялъ уши и голову, красиво оборотилъ ее назадъ и неподвижно слушаетъ, широко открывъ глаза и сильно дохнувъ ноздрями. Ничего. Потомъ медленно оборотился къ яслямъ, и все слушая, махнулъ раза три неторопливо головой, мѣрно стукнулъ раза три копытомъ, не то успокоивая себя, не то допрашиваясь о причинѣ, или предупреждая врага о своей бдительности— и опять запустилъ морду въ овесъ, но хруститъ осторожно, поднимая по временамъ голову и оборачивая ее назадъ. Онъ ужъ предупрежденъ и сталъ чутокъ. Жуетъ, а у са-

мого вздрагиваетъ плечо, оборачивается ухо назадъ, впередъ и опять назадъ.

И бабушка, занимаясь гостями, вдругъ вспомнитъ, что съ Вѣрой «неладно», что она не въ себѣ, не какъ всегда, а иначе, хуже, нежели какая была; такою она ее еще не видала никогда—и опять потеряется. Когда Марѳинька пришла сказать, что Вѣра нездорова и въ церкви не будетъ, Татьяна Марковна разсердилась сначала.

— Для тебя и для семейнаго праздника могла бы отложить свои причуды,—сказала она:—и поѣхать къ обѣднѣ.

Но когда узнала, что она и къ обѣду не можетъ придти, она встревожилась за ея здоровье и поднялась къ ней сама. Отговорка простудой не обманула ее. Она по лицу увидала, а потомъ, поправляя косу, незамѣтно дотронулась до лба и удостовѣрилась, что простуды нѣтъ.

Но Вѣра блѣдна, на ней лица нѣтъ, она безпорядочно лежитъ на диванѣ, и потомъ въ платьѣ, какъ будто не раздѣвалась совсѣмъ, а пуще всего мертвая улыбка Вѣры поразила ее.

Она вспомнила, что Вѣра и Райскій пропадали долго наканунѣ вечеромъ, и оба не ужинали. И она продолжала всматриваться въ Райскаго, а тотъ старался избѣгать ея взглядовъ—и этимъ только усиливалъ подозрѣнія.

У Райскаго болѣла душа пуще всѣхъ прежнихъ его мукъ. Сердце замирало отъ ужаса и за бабушку, и за бѣдную, трепетную, одинокую и недоступную для утѣшенія Вѣру.

Она улыбнулась ему, протянула руку, дала милыя права дружбы надъ собой—и тутъ же при немъ падала въ отчаяніи подъ тяжестью удара, поразившаго ее такъ быстро и неожиданно, какъ молнія.

Онъ видѣлъ, что участіе его было болѣе полезно и пріятно ему самому, но мало облегчало положеніе Вѣры, какъ

участіе близкихъ лицъ къ трудному больному не утоляетъ его боли.

Надо вырвать корень болѣзни, а онъ былъ не въ одной Вѣрѣ, но и въ бабушкѣ—и во всей сложной совокупности другихъ обстоятельствъ: ускользнувшее счастье, разлука, поблекшія надежды жизни—все! Да, Вѣру не легко утѣшить!

«И бабушку жаль! Какое ужасное, неожиданное горе нарушитъ миръ ея души! Что̀, если она вдругъ свалится!—приходило ему въ голову:—вонъ она—сама не своя, ничего еще не зная!» У него подступали слезы къ глазамъ отъ этой мысли.

А на немъ еще лежитъ обязанность вонзить глубже ножъ въ сердце этой—своей матери!

«Что̀, если онѣ занемогутъ обѣ! Не послать ли за Натальей Ивановной?—рѣшилъ онъ: — но надо прежде спросить Вѣру, а она...»

А она вдругъ явилась неожиданно среди гостей, послѣ обѣда, въ свѣтломъ праздничномъ платьѣ, но съ подвязаннымъ горломъ и въ теплой мантильѣ.

Райскій ахнулъ отъ изумленія. Сегодня еще она изнемогала, не могла говорить, а теперь сама пришла!

«Откуда женщины берутъ силы?»—думалъ онъ, слѣдя за ней, какъ она извинялась передъ гостями, съ обыкновенной улыбкой выслушала всѣ выраженія участія, сожалѣнія, смотрѣла подарки Марѳиньки.

Она отказалась отъ конфетъ, но съ удовольствіемъ съѣла ломоть холоднаго арбуза, сказавши, что у ней сильная жажда, и предупредивъ, что, къ сожалѣнію, не можетъ долго остаться съ гостями.

Бабушка немного успокоилась, что она пришла, но въ то же время замѣчала, что Райскій мѣняется въ лицѣ и старается не глядѣть на Вѣру. Въ первый разъ въ жизни, можетъ-быть, она проклинала гостей. А они усѣлись за

карты, будутъ пить чай, ужинать, а Викентьевъ уѣдетъ только завтра.

Райскій былъ точно между двухъ огней.

— Что̀ такое съ ней? — шепчетъ ему съ одной стороны Татьяна Марковна:—ты, должно-быть, знаешь...

— Ахъ, скорѣй бы сказать ей все! — выговариваютъ съ другой стороны отчаянные взгляды Вѣры.

Райскому хоть сквозь землю провалиться!

Тушинъ тоже смотритъ на Вѣру какими-то особенными глазами. И бабушка, и Райскій, а всего болѣе сама Вѣра замѣтили это.

Ее эти взгляды Тушина обдавали ужасомъ. «Не узналъ ли? не слыхалъ ли онъ чего?» шептала ей совѣсть. Онъ ставитъ ее такъ высоко, думаетъ, что она лучше всѣхъ въ цѣломъ свѣтѣ! Теперь она, молча, будетъ красть его уваженіе... «Нѣтъ, пусть знаетъ и онъ! Пришли бы хоть новыя муки на смѣну этой ужасной пытки—казаться обманщицей!» шептало въ ней отчаяніе.

Она тихо, не глядя на Тушина, поздоровалась съ нимъ. А онъ смотрѣлъ на нее съ участіемъ, съ какой-то особенной застѣнчивостью потуплялъ глаза.

«Нѣтъ, не могу выносить! Узнаю, что̀ у него на умѣ... Иначе я упаду здѣсь, среди всѣхъ, если онъ еще... взглянетъ на меня не такъ, какъ всегда...»

А онъ тутъ, какъ нарочно, и взглянулъ!

V.

Она не выдержала, простилась съ гостями и сдѣлала Тушину, никому не замѣтный знакъ—слѣдовать за собой.

— У себя я васъ принять не могу, — сказала она: — а вотъ пойдемте сюда, въ аллею, и походимъ немного.

— Не сыро ли, вы нездоровы...

— Ничего, ничего, пойдемте...—торопила она.

Онъ взглянулъ на часы, сказалъ, что черезъ часъ уѣдетъ,

велѣлъ вывести лошадей изъ сарая на дворъ, взялъ свой бичъ съ серебряной рукояткой, накинулъ на руку макинтошъ и пошелъ за Вѣрой въ аллею.

— Я прямо начну, Иванъ Ивановичъ, — сказала Вѣра, дрожа внутренно:—что̀ съ вами сегодня? Вы, какъ будто... у васъ есть что-то на умѣ...

Она замолчала, кутая лицо въ мантилью и пожимая плечами отъ дрожи.

Онъ молча шелъ подлѣ нея, о чемъ-то думая, а она боялась поднять на него глаза.

— Вы нездоровы сегодня, Вѣра Васильевна, — сказалъ онъ задумчиво: — я лучше отложу до другого раза. Вы не ошиблись, я хотѣлъ поговорить съ вами...

— Нѣтъ, Иванъ Ивановичъ, сегодня! — торопливо перебила она: — что̀ у васъ такое? я хочу знать... Мнѣ хотѣлось бы самой поговорить съ вами... можетъ-быть, я опоздала... Не могу стоять, я сяду,—прибавила она, садясь на скамью.

Онъ не замѣтилъ ни ея ужаса и тоски, ни ея словъ, что она тоже готовилась «поговорить съ нимъ». Онъ былъ поглощенъ своей мыслью. А ее жгла догадка, что онъ узналъ все и сейчасъ дастъ ей ударъ ножа, какъ Райскій.

— Ахъ, пусть! скорѣй бы только всѣ удары разомъ!..— шептала она.

— Говорите же! — сказала потомъ, мучась про себя вопросами, какъ и гдѣ могъ онъ узнать?

— Сегодня я шелъ сюда...

— Что̀ же, говорите!—почти крикнула она.

— Не могу, Вѣра Васильевна, воля ваша!

Онъ прошелъ шага два отъ нея дальше.

— Не казните меня!—едва шептала она.

— Я люблю васъ...—началъ онъ, вдругъ воротясь къ ней.

— Ну, я знаю... И я васъ тоже... что̀ за новость! Что же дальше?.. Вы... слышали что̀-нибудь...

— Гдѣ? что? — спрашивалъ онъ, оглядываясь кругомъ и думая, что она слышитъ какой-нибудь шумъ.—Я ничего не слышу.

Онъ замѣтилъ ея волненіе, и вдругъ у него захватило духъ отъ радости. «Она проницательна, угадала давно мою тайну и раздѣляетъ чувство... волнуется, требуетъ откровеннаго и короткаго слова...»

Все это быстро пронеслось у него въ головѣ.

— Вы такъ благородны, прекрасны, Вѣра Васильевна.. такъ чисты...

— Ахъ! — вскрикнула она отчаяннымъ голосомъ, хотѣла встать и не могла:—вы ругаетесь надо мной... ругайтесь— возьмите этотъ бичъ, я стою!.. Но вы ли это, Иванъ Ивановичъ!

Она съ горькимъ изумленіемъ и мольбой сложила передъ нимъ руки.

Онъ въ страхѣ глядѣлъ на нее.

«Она больна!» подумалъ онъ.

— Вы нездоровы, Вѣра Васильевна,—съ испугомъ и волненіемъ сказалъ онъ ей:—простите меня, что я не во-время загѣялъ...

— Развѣ не все равно, днемъ раньше, днемъ позже—но все скажете же... говорите же разомъ, сейчасъ!.. И я скажу, зачѣмъ я позвала васъ сюда, въ аллею...

Его опять бросило въ противную сторону.

— Ужели это правда? — едва сдерживаясь отъ радости, сказалъ онъ.

— Что — правда?—спросила она, вслушиваясь въ этотъ внезапный, радостный тонъ.—Вы что-то другое хотите сказать, а не то, что я думала...—покойнѣе прибавила она.

— Нѣтъ, то самое... я полагаю...

— Скажите же, перестаньте мучить меня!

— Я васъ люблю...

Она поглядѣла на него и ждала.

— Мы старые друзья,—сказала она:—и я васъ...

— Нѣтъ, Вѣра Васильевна, люблю еще — какъ женщину...

Она вдругъ выпрямилась и окаменѣла, почти не дыша.

— Какъ первую женщину въ цѣломъ мірѣ! Если бъ я смѣлъ мечтать, что вы хоть отчасти раздѣляете это чувство... нѣтъ, это много, я не стòю... если одобряете его, какъ я надѣялся... если не любите другого, то... будьте моей лѣсной царицей, моей женой,—и на землѣ не будетъ никого счастливѣе меня!.. Вотъ чтò хотѣлъ я сказать—и долго не смѣлъ! Хотѣлъ это отложить до вашихъ именинъ, но не выдержалъ и пріѣхалъ, чтобы сегодня, въ семейный праздникъ, въ день рожденія вашей сестры...

Она всплеснула руками надъ головой.

— Иванъ Ивановичъ! — простонала она, падая къ нему на руки.

«Нѣтъ, это не радость!» сверкнуло въ немъ—и онъ чувствовалъ, что волосы у него встаютъ на головѣ: «такъ не радуются!»

Онъ посадилъ ее на скамью.

— Чтò съ вами, Вѣра Васильевна? вы или больны, или у васъ большое горе?.. — овладѣвъ собой, почти покойно спросилъ онъ.

— Большое, Иванъ Ивановичъ, я умру!

— Чтò съ вами, говорите, ради Бога, чтò такое случилось? Вы сказали, что хотѣли говорить со мной; стало-быть, я нуженъ... Нѣтъ такого дѣла, котораго бы я не сдѣлалъ! приказывайте, забудьте мою глупость... Чтò надо... чтò надо сдѣлать?

— Ничего не надо, — шептала она: — мнѣ надо сказать вамъ... Бѣдный, Иванъ Ивановичъ, и вы!.. За чтò вы будете пить мою чашу? Боже мой! — говорила она, глядя сухими глазами на небо:—ни молитвы, ни слезъ у меня нѣтъ! ни откуда облегченія, ни помощи никакой!

— Что вы, Вѣра Васильевна! что̀ это, другъ мой, за слова, что̀ за глубокое отчаяніе?

— Зачѣмъ еще этотъ ударъ! Довольно ихъ безъ него! Знаете ли вы, кого любите?—говорила она, глядя на него точно спящими, безжизненными глазами, едва выговаривая слова.

Онъ молчалъ, дѣлая и отвергая догадки. Онъ бросилъ макинтошъ и отиралъ потъ съ лица. Онъ изъ этихъ словъ видѣлъ, что его надежды разлетѣлись вдребезги, понялъ, что Вѣра любитъ кого-то... Другого ничего онъ не видѣлъ, не предполагалъ. Онъ тяжело вздохнулъ и сидѣлъ неподвижно, ожидая объясненія.

— Бѣдный другъ мой!—сказала она, взявъ его за руку.

У него сердце сжалось отъ этихъ простыхъ словъ; онъ почувствовалъ, что онъ въ самомъ дѣлѣ «бѣдный». Ему было жаль себя, а еще больше жаль Вѣры.

— Благодарю васъ!—прошепталъ онъ, еще не зная, но предчувствуя одно: что она ему принадлежать не можетъ.— Простите,—продолжалъ потомъ: — я ничего не зналъ, Вѣра Васильевна. Вниманіе ваше дало мнѣ надежду. Я дуракъ— и больше ничего... Забудьте мое предложеніе и попрежнему давайте мнѣ только права друга... если сто̀ю,—прибавилъ онъ, и голосъ на послѣднемъ словѣ у него упалъ.— Не могу ли я помочь? Вы, кажется, ждали отъ меня услуги?..

— Сто̀ите ли! А я сто̀ю?

— Вы, Вѣра Васильевна, всегда будете стоять для меня такъ высоко...

— Я упала, бѣдный Иванъ Иванычъ, съ этой высоты, и никто ужъ не подниметъ меня... Хотите знать, куда я упала? Пойдемте, вамъ сейчасъ будетъ легче...

Она тихо, шатаясь и опираясь ему на руку, привела его къ обрыву.

— Знаете вы это мѣсто?

— Да, знаю; тамъ похороненъ самоубійца...

— Тамъ похоронена и ваша «чистая» Вѣра: ея ужъ нѣтъ больше... Она на днѣ этого обрыва...

Она была блѣдна и говорила съ какимъ-то рѣшительнымъ отчаяніемъ.

— Что̀ такое вы говорите? Я ничего не понимаю... Объясните, Вѣра Васильевна, — прошепталъ онъ, обмахивая лицо платкомъ.

Она привстала, оперлась ему рукой на плечо, остановилась, собираясь съ силами, потомъ склонила голову, минуты въ три, шопотомъ, отрывисто сказала ему нѣсколько фразъ и опустилась на скамью. Онъ поблѣднѣлъ.

Его вдругъ пошатнуло. Онъ какъ будто потерялъ равновѣсіе и сѣлъ на скамью. Вѣра и въ сумерки увидѣла, какъ онъ былъ блѣденъ.

— А я думалъ... — сказалъ онъ съ странной улыбкой, будто стыдясь своей слабости и вставая медленно и тяжело со скамьи:—что меня только медвѣдь свалитъ съ ногъ!

Потомъ подошелъ къ ней.

— Кто онъ и гдѣ онъ?—шепнулъ онъ.

Она вздрогнула отъ этого вопроса. Такъ изумителенъ, грубъ и неестественъ былъ онъ въ устахъ Тушина. Ей казалось непостижимо, какъ онъ посягаетъ, безъ пощады женскаго, всякому понятнаго чувства, на такую откровенность, какой женщины не дѣлаютъ никому. «Зачѣмъ?» втайнѣ удивлялась она: «у него должны быть какія-нибудь особыя причины—какія?»

— Маркъ Волоховъ!—смѣло сказала она, осиливъ себя.

Онъ остолбенѣлъ на минуту. Потомъ вдругъ схватилъ свой бичъ за рукоятку обѣими руками и съ трескомъ изломалъ его въ одну минуту о колѣно въ мелкіе куски, съ яростью бросивъ на землю щепки дерева и куски серебра.

— То же будетъ и съ нимъ!—прорычалъ онъ, нагибаясь

къ ея лицу, трясясь и ощетинясь, какъ звѣрь, готовый скакнуть на врага.

— Онъ тамъ теперь?—спросилъ онъ, указывая на обрывъ.

Только слышалось его тяжелое дыханіе. Она съ изумленіемъ глядѣла на него и отступила за скамью.

— Мнѣ страшно, Иванъ Ивановичъ, пощадите меня! уйдите!—шептала она въ ужасѣ, протягивая обѣ руки, какъ бы защищаясь отъ него.

— Прежде убью его, потомъ... уйду!—говорилъ онъ, едва владѣя собой.

— Это вы для меня сдѣлаете, чтобъ облегчить меня, или... для себя?

Онъ молчалъ, глядя въ землю. Потомъ сталъ ходить большими шагами взадъ и впередъ.

— Что же мнѣ дѣлать, научите, Вѣра Васильевна?—спросилъ онъ, все еще трясясь отъ раздраженія.

— Прежде всего успокойтесь и скажите, за что̀ вы хотите убить его, и хочу ли я этого?

— Онъ врагъ вашъ, и слѣдовательно—мой...—чуть слышно прибавилъ онъ.

— Враговъ развѣ убиваютъ?

Онъ потупилъ голову, увидалъ разбросанные обломки бича у ногъ, наклонился, будто стыдясь, собралъ ихъ и сунулъ въ карманъ макинтоша.

— Я не жалуюсь на него, помните это. Я одна... виновата... а онъ правъ...—едва договорила она съ такой горечью, съ такой внутренней мукой, что Тушинъ вдругъ взялъ ее за руку.

— Вѣра Васильевна—вы ужасно страдаете!

Она молчала. А онъ съ участіемъ и удивленіемъ глядѣлъ на нее.

— Я ничего не понимаю,—сказалъ онъ:—«не виноватъ», «не жалуюсь»; въ такомъ случаѣ—о чемъ хотѣли поговорить со мной? зачѣмъ вы звали меня сюда, въ аллею?..

— Я хотѣла, чтобъ вы знали все...

Она, отворотясь, молча глядѣла къ обрыву. И онъ поглядѣлъ туда, потомъ на нее, и все стоялъ передъ ней, съ вопросомъ въ глазахъ.

— Послушайте, Вѣра Васильевна, не оставляйте меня въ потемкахъ. Если вы нашли нужнымъ довѣрить мнѣ тайну...—Онъ на этомъ словѣ съ страшнымъ усиліемъ перемогъ себя:—которая касалась васъ одной, то объясните всю исторію...

— Ваше нынѣшнее лицо, особенные взгляды, которые вы обращали ко мнѣ — я не поняла ихъ. Я думала, вы знаете все, хотѣла допроситься, что̀ у васъ на умѣ... Я поторопилась... Но все равно, рано или поздно—я сказала бы вамъ... Сядьте, выслушайте меня и потомъ оттолкните!

Онъ, положивъ локти на колѣни и спрятавъ лицо въ ладони, слушалъ ее.

Она передала ему въ короткихъ словахъ исторію. Онъ всталъ, минуты три ходилъ взадъ и впередъ, потомъ остановился передъ ней.

— Вы простили его?—спросилъ онъ.

— За что̀? Вы видите, что... я одна виновата...

— И... простились съ нимъ, или... надѣетесь, что онъ опомнится и воротится?

Она покачала головой.

— Между нами нѣтъ ничего общаго... Мы разошлись давно. Я никогда не увижу его.

— Теперь я только начинаю немного понимать, и то не все,—сказалъ, подумавши, Тушинъ и вздохнулъ, какъ волъ, котораго отпрягли.—Я думалъ, что вы нагло обмануты.

— Нѣтъ, нѣтъ...

— И зовете меня на помощь; думалъ, что пришла пора медвѣдю «сослужить службу» и чуть-было не оказалъ вамъ въ самомъ дѣлѣ «медвѣжьей услуги», — добавилъ онъ, вынимая изъ кармана и показывая ей обломокъ бича. — Отъ

этого я позволилъ себѣ сдѣлать вамъ дерзкій вопросъ объ имени... Простите меня, ради Бога, и скажите и остальное: зачѣмъ вы открыли мнѣ это?

— Я не хотѣла, чтобъ вы думали обо мнѣ лучше, чѣмъ я есть... и уважали меня...

— Какъ же вы это сдѣлаете? Я не перестану думать о васъ, что̀ думалъ всегда, и не уважать не могу.

Какой-то лучъ блеснулъ у ней въ глазахъ и тотчасъ же потухъ.

— Вы хотите принудить себя уважать меня. Вы добры и великодушны; вамъ жаль бѣдную, падшую... и вы хотите поднять ее... Я понимаю ваше великодушіе, Иванъ Ивановичъ, но не хочу его. Мнѣ нужно, чтобъ вы знали и... не отняли руки, когда я подамъ вамъ свою.

Она подала ему руку, онъ поцѣловалъ ее. Онъ съ нетерпѣніемъ и грустью слушалъ ее.

— Вѣра Васильевна!—сказалъ онъ сдержаннымъ, почти оскорбленнымъ тономъ: — я насильно уважать никого не могу. Тушинъ не лжетъ. Если я кому-нибудь кланяюсь съ уваженіемъ,—то и уважаю, или не поклонюсь. Я кланяюсь вамъ попрежнему, а люблю—извините, къ слову пришлось,— еще больше прежняго, потому что... вы несчастливы. У васъ большое горе, такое же, какъ у меня! Вы потеряли надежду на счастье... Напрасно только вы сказали мнѣ вашу тайну... — прибавилъ онъ съ уныніемъ, почти съ отчаяніемъ.— Если бъ я узналъ ее и не отъ васъ, я бы уважать васъ не пересталъ. Этой тайны вы не обязаны повѣрять никому. Она принадлежитъ вамъ одной, и никто не смѣетъ судить васъ.

Онъ едва договорилъ и съ трудомъ вздохнулъ, скрадывая тяжесть этого вздоха отъ Вѣры. Голосъ у него дрожалъ противъ воли. Видно было, что эта «тайна», тяжесть которой онъ хотѣлъ облегчить для Вѣры, давила теперь не

одну ее, но и его самого. Онъ страдалъ—и хотѣлъ, во что бы то ни стало, скрыть это отъ нея...

— Все равно, я должна была сказать вамъ ее сегодня же, когда вы сдѣлали предложеніе... Обмануть я васъ не могла.

Онъ отрицательно покачалъ головой.

— На мое предложеніе вы могли отвѣчать мнѣ короткимъ *нѣтъ*. Но какъ вы удостоиваете меня особой дружбы, то объяснили бы ласково, съ добротой, чтобъ позолотить это *нѣтъ*, что вы любите другого—вотъ и все. Я не спросилъ бы даже—кого. А тайну... должны были сберечь про себя, тутъ не было бы никакого обмана. Вотъ, если бъ вы, любя другого, приняли мое предложеніе... изъ страха, или другихъ цѣлей... это былъ бы обманъ, «паденіе», пожалуй, «потеря чести». Но вы этого никогда бы не сдѣлали. А то... — Онъ головой кивнулъ на обрывъ и шопотомъ добавилъ, будто про себя:—несчастье... ошибка...

Онъ едва говорилъ, перемогая съ медвѣжьей силой внутреннюю муку, чтобъ она не замѣтила, что было въ немъ самомъ.

— Несчастье! — шепталъ онъ: — онъ уйдетъ правъ изъ обрыва, а вы виноваты! Гдѣ же правда?..

— Все равно, я сказала бы вамъ, Иванъ Ивановичъ. Это не для васъ нужно было, а для меня самой... Вы знаете... какъ я дорожила вашей дружбой: скрыть отъ васъ—это было бы мукой для меня. Теперь мнѣ легче — я могу смотрѣть прямо вамъ въ глаза, я не обманула васъ...

Она не могла говорить отъ прихлынувшихъ слезъ и зажала лицо платкомъ. Онъ чуть не заплакалъ самъ, но только вздрогнулъ, наклонился и опять поцѣловалъ у ней руку.

— Вотъ это другое дѣло; благодарю васъ, благодарю! — торопливо говорилъ онъ, скрадывая волненіе.— Вы дѣлаете мнѣ большое добро, Вѣра Васильевна. Я вижу, что дружба

ваша ко мнѣ не пострадала отъ другого чувства, значитъ, она сильна. Это большое утѣшеніе! Я буду счастливъ и этимъ... со временемъ, когда мы успокоимся оба...

— Ахъ, Иванъ Ивановичъ, если бъ можно было вычеркнуть этотъ годъ жизни...

— Забыть его скорѣй: это и будетъ все равно, что вычеркнуть...

— А гдѣ взять забвенія и силы перенести?

— У друзей,—шепнулъ онъ:—и въ томъ числѣ... у меня...

Она вздохнула будто свободнѣе — будто опять глотнула свѣжаго воздуха, чувствуя, что подлѣ нея воздвигается какая-то сила, встаетъ, въ лицѣ этого человѣка, крѣпкая, твердая гора, которая способна укрыть ее въ своей тѣни и каменными своими боками оградить — не отъ бѣдъ страха, не отъ физическихъ опасностей, а отъ первыхъ, горячихъ натисковъ отчаянія, отъ дымящейся еще язвы страсти, отъ горькаго разочарованія.

— Я вѣрю вашей дружбѣ, Иванъ Ивановичъ. Благодарю васъ,—говорила она, утирая слезы. — Мнѣ немного легче... и было бы еще легче, если бъ... не бабушка.

— Она еще не знаетъ? — спросилъ онъ и вдругъ замолчалъ, почувствовавъ, что въ вопросѣ его былъ упрекъ.

Онъ потупилъ голову, представляя себѣ, какъ это поразитъ Татьяну Марковну, но остерегался обнаружить передъ Вѣрой свою боязнь.

— Сегодня, вы видите, гости, нельзя. Завтра она все узнаетъ... Прощайте, Иванъ Иванычъ, я ужасно страдаю — пойду и лягу.

Онъ глядѣлъ на Вѣру долго.

«Боже мой! какой слѣпой дуракъ этотъ Волоховъ — или какая... бестія!» думалъ онъ съ дрожью ярости.

— Не прикажете ли чего-нибудь? не нужно ли вамъ...— спросилъ онъ.

— Да, попросите Наташу пріѣхать завтра, или послѣ-завтра, ко мнѣ.

— А мнѣ можно побывать на той недѣлѣ?—спросилъ онъ робко:—узнать, успокоились ли вы...

— Успокойтесь сами, Иванъ Иванычъ—и прощайте теперь. Я едва держусь на ногахъ...

Онъ простился съ ней и такъ погналъ лошадей съ крутой горы, что чуть самъ не сорвался съ обрыва. По временамъ онъ, по привычкѣ, хватался за бичъ, но вмѣсто его подъ руку попадали ему обломки въ карманѣ; онъ разбросалъ ихъ по дорогѣ. Однако, онъ опоздалъ переправиться за Волгу, ночевалъ у пріятеля въ городѣ и уѣхалъ къ себѣ рано утромъ.

VI.

Настало и завтра. Шумно и весело поднялся домъ на ноги. Лакеи, повара, кучера—все хлопотало, суетилось; одни готовили завтракъ, другіе закладывали экипажи, и съ утра опять всѣ напились пьяны.

Бабушка отпускала Марѳиньку за Волгу, къ будущей роднѣ, противъ обыкновенія, молчаливо, съ нѣкоторой печалью. Она не обременяла ее наставленіями, не вдавалась въ мелочныя предостереженія, даже на вопросы Марѳиньки, что̀ взять съ собой, какія платья, вещи — разсѣянно отвѣчала:—Что̀ тебѣ вздумается. И велѣла Василисѣ и дѣвушкѣ Натальѣ, которую посылала съ ней, снарядить и уложить что̀ нужно.

Она поручила свое дитя Марьѣ Егоровнѣ, матери жениха, а послѣднему довольно серьезно замѣтила, чтобы онъ тамъ, въ деревнѣ, соблюдалъ тонкое уваженіе къ невѣстѣ, и особенно при чужихъ людяхъ, какихъ-нибудь сосѣдяхъ, воздерживался отъ той свободы, которою онъ пользовался при ней и своей матери, въ обращеніи съ Марѳинькой, что дру-

гіе, пожалуй, перетолкуютъ иначе — словомъ, чтобъ не бѣгалъ съ ней тамъ по рощамъ и садамъ, какъ здѣсь.

Замѣтивъ, что Викентьевъ нѣсколько покраснѣлъ отъ этого предостереженія, какъ будто обидѣлся тѣмъ, что въ немъ предполагаютъ недостатокъ такта, и что и мать его закусила немного нижнюю губу и стала слегка бить тактъ ботинкой, Татьяна Марковна перешла въ дружескій тонъ, потрепала «милаго Николеньку» по плечу и прибавила, что сама знаетъ, какъ напрасны эти слова, но что говоритъ ихъ по привычкѣ старой бабы—читать мораль. Послѣ того она тихо, про себя, вздохнула и уже ничего не говорила до отъѣзда гостей.

Къ завтраку пришла и Вѣра, блѣдная, будто съ невыспавшимися глазами. Она сказала, что ей легче, но что у ней все еще немного болитъ голова.

Татьяна Марковна была съ ней ласкова, а Марья Егоровна Викентьева бросила на нее, среди разговора, два-три загадочныхъ взгляда, какъ-будто допрашиваясь: что̀ съ ней? отчего эта боль безъ болѣзни? что это она не пришла вчера къ обѣду, а появилась на минуту и потомъ ушла, а за ней пошелъ Тушинъ, и они ходили цѣлый часъ въ сумерки?.. И такъ далѣе.

Но хитрая и умная барыня не дала никакого другого хода этимъ вопросамъ, и они выглянули у ней только изъ глазъ, и на минуту. Вѣра однако прочла ихъ, хотя та перемѣнила взглядъ сомнѣнія на взглядъ участія. Прочла и Татьяна Марковна.

Вѣра была равнодушна къ этимъ вопросамъ, а Татьяна Марковна нѣтъ. Она вдругъ поникла головой и стала смотрѣть въ полъ.

«И другіе допрашиваются, а я не знаю! А она родилась при мнѣ: она—мое дитя!» думала она съ печалью.

Вѣра была блѣдна, лицо у ней, какъ камень; ничего не прочтешь на немъ. Жизнь точно замерзла, хотя она и го-

воритъ съ Марьей Егоровной обо всемъ, и съ Марѳинькой, и съ Викентьевымъ. Она заботливо спросила у сестры, запаслась ли она теплой обувью, совѣтовала надѣть плотное шерстяное платье, предложила свой пледъ и просила, при переправѣ черезъ Волгу, сидѣть въ каретѣ, чтобъ не продуло.

Райскій, воротясь съ прогулки, пришелъ къ завтраку тоже съ какимъ-то страннымъ, рѣшительнымъ лицомъ, какъ-будто у человѣка впереди было сраженіе, или другое важное, роковое событіе, и онъ приготовлялся къ нему. Что-то обработалось, выяснилось, или опредѣлилось въ немъ. Вчерашней тучи не было. Онъ такъ же покойно глядѣлъ на Вѣру, какъ на прочихъ, не избѣгалъ взглядовъ и Татьяны Марковны, и этимъ поставилъ ее опять въ недоумѣніе.

«У этого что-то новое; смотритъ не по-вчерашнему, говоритъ другое, нежели что̀ говорилъ вчера, наперекоръ себѣ. Господи, что̀ за омутъ у нихъ!» думала она.

Райскій обѣщалъ Викентьевымъ пріѣхать къ нимъ дня на два и очень былъ внимателенъ къ предложеніямъ жениха поохотиться, половить рыбу.

Наконецъ гости собрались. Татьяна Марковна и Райскій поѣхали проводить ихъ до берега. Вѣра простилась съ Марѳинькой и осталась дома.

Тѣсенъ былъ міръ, въ которомъ и прежде вращалась жизнь Вѣры, а теперь сдѣлался еще тѣснѣе. Исключительная, глубокая натура ея долго довольствовалась тѣмъ запасомъ наблюденій, небольшихъ опытовъ, которые она добывала около себя. Нѣсколько человѣкъ замѣняли ей толпу; то̀, что другой соберетъ со многихъ встрѣчъ, въ многіе годы и во многихъ мѣстахъ, — давалось ей въ двухъ-трехъ уголкахъ, по ту и другую сторону Волги, съ пяти-шести лицъ, представлявшихъ для нея весь людской міръ, и въ промежутокъ нѣсколькихъ лѣтъ, съ тѣхъ поръ, какъ понятія у ней созрѣли и сложились въ болѣе или менѣе опре-

дѣленный взглядъ. Инстинктъ и собственная воля писали ей законы ея пока дѣвической жизни, а сердце чутко указывало на тѣхъ, кому она могла безошибочно дать нѣкоторыя симпатіи.

И она давала ихъ осторожно, не тратила, какъ Марфинька, на всѣхъ. Изъ постороннихъ только жена священника была чѣмъ-то въ родѣ ея наперсницы, да Тушина она открыто признавала и называла своимъ другомъ, — больше никого.

Она не теряла изъ вида путеводной нити жизни, и изъ мелкихъ явленій, изъ немудреныхъ личностей, толпившихся около нея, дѣлала не мелкіе выводы, практиковала силу своей воли надъ окружавшею ее застарѣлостью, деспотизмомъ, грубостью нравовъ.

Она, по этой простой канвѣ, умѣла чертить широкій, смѣлый узоръ болѣе сложной жизни, другихъ требованій, идей, чувствъ, которыхъ не знала, но угадывала, читая за строками простой жизни другія строки, которыхъ жаждалъ ея умъ и требовала натура.

Она смотрѣла вокругъ себя и видѣла не то, что̀ есть, а то̀, что должно быть, что̀ ей хотѣлось чтобъ было, и, такъ какъ этого не было, то она брала изъ простой жизни около себя только одно живое, вѣрное, созидая образъ противоположный тому, за немногими исключеніями, что̀ было около.

Въ область мысли, знанія, она вступила также недовѣрчивымъ и осторожнымъ шагомъ, какъ была осторожна и скупа въ симпатіяхъ. Читала она книги въ библіотекѣ стараго дома, сначала отъ скуки, безъ выбора и системы, доставая съ полки, что̀ попадется, потомъ изъ любопытства, наконецъ нѣкоторыя съ увлеченіемъ.

Скоро она почувствовала безцѣльность и безплодность этого странствія по чужимъ умамъ, безъ руководящей нити. Она хитро наводила на разговоръ Козлова, почти не спра-

шивая и не показывая вида, что слушаетъ, и особенно никогда ни передъ кѣмъ не хвастаясь, что знаетъ то или другое, чего не знаютъ окружающіе. Потомъ, съ повѣркой его взгляда, перечитывала книги опять, и находила въ нихъ больше смысла и интереса. По просьбѣ молодого священника, возила книги ему, и опять слушала, не дѣлаясь семинаристомъ, разсѣянно, его мысли и впечатлѣнія, высказанныя подъ вліяніемъ того или другого автора.

Послѣ всѣхъ пришелъ Маркъ — и внесъ новый взглядъ во все то, что̀ она читала, слышала, что̀ знала, взглядъ полнаго и дерзкаго отрицанія всего, отъ начала до конца, небесныхъ и земныхъ авторитетовъ, старой жизни, старой науки, старыхъ добродѣтелей и пороковъ. Онъ, съ преждевременнымъ тріумфомъ, явился къ ней, предвидя побѣду, и ошибся.

Она съ изумленіемъ увидѣла этотъ новый, вдругъ вырвавшійся откуда-то потокъ смѣлыхъ, иногда увлекательныхъ идей, но не бросилась въ него слѣпо и тщеславно, изъ мелкой боязни показаться отсталою, а также пытливо и осторожно стала всматриваться и вслушиваться въ горячую проповѣдь новаго апостола.

Ей прежде всего бросилась въ глаза зыбкость, односторонность, пробѣлы, мѣстами будто умышленная ложь пропаганды, на которую тратились живыя силы, дарованія, бойкій умъ и ненасытная жажда самолюбія и самонадѣянности, въ ущербъ простымъ и очевиднымъ готовымъ уже правдамъ жизни, только потому, какъ казалось ей, что онѣ были готовыя.

Иногда, въ этомъ безусловномъ рвеніи къ какой-то новой правдѣ, видѣлось ей только неумѣнье справиться съ старой правдой, бросающейся къ новой, которая давалась не опытомъ и борьбой всѣхъ внутреннихъ силъ, а гораздо дешевле, безъ борьбы и сразу, на основаніи только слѣпого презрѣнія ко всему старому, не различавшаго стараго зла

отъ стараго добра, и принималась на вѣру отъ непровѣренныхъ ничѣмъ новыхъ авторитетовъ, нивѣсть откуда взявшихся новыхъ людей—безъ имени, безъ прошедшаго, безъ исторіи, безъ правъ.

Она добиралась въ проповѣди и увлеченіяхъ Марка чего-нибудь вѣрнаго и живого, на что можно опереться, что можно полюбить, что было такъ прочно, необманчиво въ старой жизни, которой, во имя этого прочнаго, живого и вѣрнаго, она прощала ея смѣшныя, вредныя уродливости, ея весь отжившій соръ.

Она страдала за эти уродливости и отъ этихъ уродливостей, мѣшавшихъ жить, чувствовала нерѣдко цѣпи и готова бы была, ради правды, подать руку пылкому товарищу, другу, пожалуй, мужу, наконецъ... чѣмъ бы онъ ни былъ для нея,—и идти на борьбу противъ старыхъ враговъ, стирать ложь, мести соръ, освѣщать темные углы, смѣло, не слушая старыхъ, разбитыхъ голосовъ, не только Тычковыхъ, но и самой бабушки, тамъ, гдѣ послѣдняя безусловно опирается на старое, вопреки своему разуму, — вывести, если можно, и ее на другую дорогу. Но для этого нужно было ей глубоко и невозвратно убѣдиться, что истина — впереди.

Она шла не самонадѣянно, а напротивъ, съ сомнѣніями, не ошибается ли она, не правъ ли проповѣдникъ, нѣтъ ли въ самомъ дѣлѣ тамъ, куда такъ пылко стремится онъ, чего-нибудь такого чистаго, свѣтлаго, разумнаго, что могло бы не только избавить людей отъ всякихъ старыхъ оковъ, но открыть Америку, новый, свѣжій воздухъ, поднять человѣка выше, нежели онъ былъ, дать ему больше, нежели онъ имѣлъ.

Она прислушивалась къ обѣщаннымъ имъ благамъ, читала приносимыя имъ книги, бросалась къ старымъ авторитетамъ, сводила ихъ про себя на очную ставку, — но не находила ни новой жизни, ни счастья, ни правды, ничего того, что обѣщалъ, куда звалъ смѣлый проповѣдникъ.

А сама шла все за нимъ, увлекаемая жаждой знать, что̀ кроется за этой странной и отважной фигурой.

Дѣло пока ограничивалось безпощаднымъ отрицаніемъ всего, во что̀ вѣритъ, что̀ любитъ, на что̀ надѣется живущее большинство. Маркъ клеймилъ это враждой и презрѣніемъ; но Вѣра сама многаго не признаетъ въ старомъ свѣтѣ. Она и безъ него знаетъ и видитъ болѣзни: ей нужно знать, гдѣ Америка? Но ея Колумбъ, вмѣсто живыхъ и страстныхъ идеаловъ правды, добра, любви, человѣческаго развитія и совершенствованія, показываетъ ей только рядъ могилъ, готовыхъ поглотить все, чѣмъ жило общество до сихъ поръ. Это были фараоновы тощія коровы, пожиравшія толстыхъ и не дѣлавшіяся сами отъ того толще.

Онъ, во имя истины, развѣнчалъ человѣка въ одинъ животный организмъ, отнявши у него другую, не животную сторону. Въ чувствахъ видѣлъ только рядъ кратковременныхъ встрѣчъ и грубыхъ наслажденій, обнажая ихъ даже отъ всякихъ иллюзій, составляющихъ роскошь человѣка, въ которой отказано животному.

Самый процессъ жизни онъ выдавалъ и за ея конечную цѣль. Разлагая матерію на составныя части, онъ думалъ, что разложилъ вмѣстѣ съ тѣмъ и все, что выражаетъ матерія.

Угадывая законы явленія, онъ думалъ, что уничтожилъ и невѣдомую силу, давшую эти законы, только тѣмъ, что отвергалъ ее, за неимѣніемъ пріемовъ и свойствъ ума, чтобы уразумѣть ее. Закрывалъ доступъ въ вѣчность и къ безсмертію всѣмъ религіознымъ и философскимъ упованіямъ, разрушая, младенческими химическими или физическими опытами, и вѣчность, и безсмертіе, думая своей дѣтской тросточкой, какъ рычагомъ, шевелить дальніе міры, и заставляя всю вселенную отвѣчать отрицательно на религіозныя надежды и стремленія «отжившихъ» людей.

Между тѣмъ, отрицая въ человѣкѣ человѣка — съ душой,

съ правами на безсмертіе, онъ проповѣдывалъ какую-то правду, какую-то честность, какія-то стремленія къ лучшему порядку, къ благороднымъ цѣлямъ, не замѣчая, что все это дѣлалось ненужнымъ, при томъ указываемомъ имъ, случайномъ порядкѣ бытія, гдѣ люди, по его словамъ, толпятся, какъ мошки въ жаркую погоду въ огромномъ столбѣ, сталкиваются, мятутся, плодятся, питаются, грѣются и исчезаютъ въ безтолковомъ процессѣ жизни, чтобъ завтра дать мѣсто другому такому же столбу.

«Да, если это такъ, — думала Вѣра, — тогда не стòитъ работать надъ собой, чтобы къ концу жизни стать лучше, чище, правдивѣе, добрѣе. Зачѣмъ? Для обихода на нѣсколько десятковъ лѣтъ? Для этого надо запастись, какъ муравью зернами на зиму, обиходнымъ умѣньемъ жить, такою честностью, которой—синонимъ ловкость, такими зернами, чтобъ хватило на жизнь, иногда очень короткую, чтобъ было тепло, удобно... Какіе же идеалы для муравьевъ? Нужны муравьиныя добродѣтели... Но такъ ли это? Гдѣ доказательства?»

А онъ требовалъ не только честности, правды, добра, но и вѣры въ свое ученіе, какъ требуетъ ее другое ученіе, которое за нее обѣщаетъ — безсмертіе въ будущемъ, и въ залогъ этого обѣщанія, даетъ и въ настоящемъ просимое всякому, кто проситъ, кто стучится, кто ищетъ.

Новое ученіе не давало ничего, кромѣ того, чтò было до него: ту же жизнь, только съ уничиженіями, разочарованіями, и впереди обѣщало—смерть и тлѣнъ. Взявши девизы своихъ добродѣтелей изъ книги стараго ученія, оно обольстилось буквою ихъ, не вникнувъ въ духъ и глубину, и требовало исполненія этой буквы съ такой злобой и нетерпимостью, противъ которой остерегало старое ученіе. Оставивъ себѣ одну животную жизнь, «новая сила» не создала, вмѣсто отринутаго стараго, никакого другого, лучшаго идеала жизни.

Вглядѣвшись и вслушавшись во все, что̀ проповѣдь юнаго апостола выдавала за новыя правды, новое благо, новыя откровенія, она съ удивленіемъ увидѣла, что все то̀, что̀ было въ его проповѣди добраго и вѣрнаго — не ново, что оно взято изъ того же источника, откуда черпали и не новые люди, что сѣмена всѣхъ этихъ новыхъ идей, новой «цивилизаціи», которую онъ проповѣдывалъ такъ хвастливо и таинственно, заключены въ старомъ ученіи.

Отъ этого она только сильнѣе увѣровала въ послѣднее и убѣдилась, что какъ — далеко человѣкъ ни иди впередъ, онъ не уйдетъ отъ него, если только не бросится съ прямой дороги въ сторону, или не пойдетъ назадъ, что самые противники его черпаютъ изъ него же, что, наконецъ, ученіе это — есть единственный, непогрѣшительный, совершеннѣйшій идеалъ жизни, внѣ котораго остаются только ошибки.

Вѣрѣ подозрительна стала личность самого проповѣдника—и она пятилась отъ него; даже послушавши, въ началѣ знакомства, раза два его дерзкихъ рѣчей, указала на него Татьянѣ Марковнѣ, и людямъ поручено было присматривать за садомъ. Волоховъ зашелъ со стороны обрыва, отъ котораго удалялъ людей суевѣрный страхъ могилы самоубійцы. Онъ замѣчалъ недовѣріе Вѣры къ себѣ и поставилъ себѣ задачей преодолѣть его—и успѣлъ.

Вѣра, наконецъ, почти незамѣтно для нея самой, повѣрила искренности его одностороннихъ и поверхностныхъ увлеченій, и отъ недовѣрія перешла къ изумленію, участію. У ней даже бывали минуты, впрочемъ, рѣдкія, когда она колебалась въ непогрѣшимости своихъ, собранныхъ молча, про себя наблюденій надъ жизнью, надъ людьми, правилъ, которыми руководствовалось большинство.

Задумывалась она надъ всѣмъ, чѣмъ сама жила — и почувствовала новыя тревоги, новые вопросы, и стала еще жаднѣе и пристальнѣе вслушиваться въ Марка, встрѣчаясь

съ нимъ въ полѣ, за Волгой, куда онъ проникалъ вслѣдъ за нею, наконецъ, въ бесѣдкѣ, на днѣ обрыва.

Гдѣ замѣчала явную ложь, софизмы, она боролась, проясняла себѣ туманъ, вооруженная своими наблюденіями, логикой и волей. Маркъ топалъ въ ярости ногами, строилъ батареи изъ своихъ доктринъ и авторитетовъ—и встрѣчалъ недоступную стѣну. Онъ свирѣпѣлъ, скалилъ зубы, какъ «волкъ», но проводникомъ ея отповѣдей служили бархатные глаза, какихъ онъ не видалъ никогда, и лба его касалась твердая, но нѣжная рука, и онъ, рыча про себя, ложился смиренно у ногъ ея, чуя побѣду и добычу впереди, хотя и далеко.

Гдѣ Вѣра не была приготовлена, тамъ она слушала молча и слѣдила зорко — вѣруетъ ли самъ апостолъ въ свою доктрину, есть ли у него самого незыблемая точка опоры, опытъ, или онъ только увлеченъ остроумной или блестящей ипотезой. Онъ манилъ впередъ образомъ какого-то громаднаго будущаго, громадной свободы, снятіемъ всѣхъ покрывалъ съ Изиды — и это будущее видѣлъ чуть не завтра, звалъ ее вкусить хоть часть этой жизни, сбросить съ себя старое и повѣрить, если не ему, то опыту.

— И будемъ какъ боги!—прибавлялъ онъ насмѣшливо.

Вѣра не шла, боролась,—и незамѣтно, мало-по-малу, перешла сама въ активную роль: воротить и его на дорогу уже испытаннаго добра и правды, увлечь, сначала въ правду любви, человѣческаго, а не животнаго счастья, а тамъ и дальше, въ глубину ея вѣры, ея надеждъ!..

Маркъ понемногу, кое-въ-чемъ, уступалъ, покорялся нѣкоторымъ ея требованіямъ: пересталъ дѣлать эксцентрическія выходки, не дразнилъ мѣстныя власти, сталъ опрятнѣе въ образѣ жизни, не щеголялъ цинизмомъ.

Она была счастлива — и вотъ причина ея экстаза, замѣченнаго Татьяной Марковной и Райскимъ. Она чувствовала, что сила ея дѣйствуетъ пока еще только на внѣшнюю

его жизнь, и надѣялась, что, путемъ неусыпнаго труда, жертвъ, она мало-по-малу совершитъ чудо — и наградой ея будетъ счастье женщины—быть любимой человѣкомъ, котораго угадало ея сердце.

Она введетъ новаго и сильнаго человѣка въ общество. Онъ уменъ, настойчивъ, и если будетъ простъ и дѣятеленъ, какъ Тушинъ, тогда... и ея жизнь угадана. Она не даромъ жила. А тамъ она не знала, что̀ будетъ.

Между тѣмъ, она, по страстной, нервной натурѣ своей, увлеклась его личностью, влюбилась въ него самого, въ его смѣлость, въ самое это стремленіе къ новому, лучшему— но не влюбилась въ его ученіе, въ его новыя правды и новую жизнь, и осталась вѣрна старымъ, прочнымъ понятіямъ о жизни, о счастіи. Онъ звалъ къ новому дѣлу, къ новому труду, но новаго дѣла и труда, кромѣ раздачи запрещенныхъ книгъ, она не видѣла.

Соглашаясь въ необходимости труда, она винила себя первая за бездѣйствіе и чертила себѣ, въ недальнемъ будущемъ, образъ простого, но дѣйствительнаго дѣла, завидуя пока Марѳинькѣ въ томъ, что та приспособила свой досугъ и свои руки къ домашнему хозяйству и отчасти къ деревнѣ.

Она готовилась пока раздѣлить съ сестрой ея труды— лишь только, такъ или иначе, выйдетъ изъ этой тяжкой борьбы съ Маркомъ, которая кончилась наконецъ недавно, не побѣдой того или другого, а взаимнымъ пораженіемъ и разлукой навсегда.

Все это пробѣжало въ умѣ Вѣры, пока Татьяна Марковна и Райскій провожали гостей за Волгу.

«Что̀ теперь онъ дѣлаетъ, этотъ волкъ? — думала она иногда:—торжествуетъ ли свою побѣду...»

Она не додумывалась и вздрагивала.

Она открыла ящикъ, достала оттуда запечатанное письмо на синей бумагѣ, которое прислалъ ей Маркъ рано утромъ

черезъ рыбака. Она посмотрѣла на него съ минуту, подумала — и рѣшительно бросила опять нераспечатаннымъ въ столъ.

Всѣ другія муки глубоко хоронились у ней въ душѣ. На очереди стояла страшная битва на смерть съ новой бѣдой: что бабушка? Райскій успѣлъ шепнуть ей, что будетъ говорить съ Татьяной Марковной вечеромъ, когда никого не будетъ, чтобъ и изъ людей никто не замѣтилъ впечатлѣнія, какое можетъ произвести на нее эта откровенность.

У Вѣры зловѣщей бѣдой заныла грудь, когда Райскій говорилъ ей о своей предосторожности. Она измѣряла этимъ степень бѣды и мысленно желала не дожить до вечера.

Она немного отдохнула, открывъ все Райскому и Тушину. Ей стало будто покойнѣе. Она сбросила часть тяжести, какъ моряки въ бурю бросаютъ часть груза, чтобъ облегчить корабль. Но самый тяжелый грузъ былъ на днѣ души, и ладья ея сидѣла въ водѣ глубоко, черпала бортами и могла, при новомъ, ожидаемомъ шквалѣ, черпнуть и не встать больше.

Она мысленно бросалась на грудь то Райскому, то Тушину, отдыхала на часъ, и потомъ опять клонила голову.

— Нельзя жить, нельзя! — шептала она и шла въ свою часовню, въ ужасѣ смотрѣла на образъ, стоя на колѣняхъ.

Только вздохи боли показывали, что это стоитъ не статуя, а живая женщина. Образъ глядѣлъ на нее задумчиво, полуоткрытыми глазами, но какъ-будто не видѣлъ ея, персты были сложены въ благословеніе, но не благословляли ее.

Она жадно смотрѣла въ эти глаза, ждала какого-то знаменія — знаменія не было. Она уходила, какъ убитая, въ отчаяніи.

VII.

Бабушка, воротясь, занялась-было счетами, но вскорѣ отпустила всѣхъ торговокъ, швей, и спросила о Райскомъ.

Ей сказали, что онъ ушелъ на цѣлый день къ Козлову, куда онъ въ самомъ дѣлѣ отправился, чтобъ не оставаться наединѣ съ Татьяной Марковной до вечера.

Она послала узнать, что̀ Вѣра, прошла ли голова, придетъ ли она къ обѣду? Вѣра велѣла отвѣчать, что головѣ легче, просила прислать обѣдъ въ свою комнату и сказала, что ляжетъ пораньше спать.

Тутъ случилось въ дворнѣ не новое событіе. Савелій чуть не перешибъ спину Маринѣ полѣномъ, потому что хватился ея на зарѣ, въ день отъѣзда гостей, пошелъ отыскивать и видѣлъ, какъ она шмыгнула изъ комнаты, гдѣ помѣстили лакея Викентьевой. Она пряталась цѣлое утро по чердакамъ, въ огородѣ, наконецъ пришла, думая, что онъ забылъ.

Онъ исхлесталъ ее вожжей. Она металась изъ угла въ уголъ, отпираясь, божась, что ему померещилось, что это былъ «дьяволъ въ образѣ» и т. п. Но когда онъ бросилъ вожжу и взялъ полѣно, она застонала, и послѣ перваго удара повалилась ему въ ноги, крича «виновата» и просила помилованія.

Она клялась всѣмъ, и между прочимъ «своей утробой», что никогда больше не провинится, а если провинится, то пусть тогда Богъ убьетъ ее и покараетъ навсегда. Савелій остановился, положилъ полѣно и отеръ рукавомъ лобъ.

— Ладно,—сказалъ онъ:—пущай будетъ по-твоему, коли ты повинилась и Бога призываешь! не стану, отступлюсь отъ тебя!

Онъ махнулъ на нее рукой.

Все это донесли Татьянѣ Марковнѣ, но она только поморщилась съ отвращеніемъ и махнула Василисѣ рукой, чтобъ не докучала ей.

Пріѣзжали нѣкоторыя барыни съ визитомъ, пріѣхалъ заволжскій помѣщикъ, и еще двое гостей изъ города, и остались обѣдать.

Всѣ слышали, что Вѣра Васильевна больна и пришли навѣдаться. Татьяна Марковна объявила, что Вѣра наканунѣ прозябла, и на два дня осталась въ комнатѣ, а сама внутренно страдала отъ этой лжи, не зная, какая правда кроется подъ этой подложной болѣзнью, и даже не смѣла пригласить доктора, который тотчасъ узналъ бы, что болѣзни нѣтъ, а есть моральное разстройство, которому должна быть причина.

Она не ужинала, и Титъ Никонычъ изъ вѣжливости сказалъ, что «не имѣетъ аппетита». Наконецъ явился Райскій, нѣсколько блѣдный, и тоже отказался отъ ужина. Онъ молча сидѣлъ за столомъ, съ какимъ-то сдержаннымъ выраженіемъ въ лицѣ, и будто не замѣчалъ изрѣдка обращаемыхъ на него Татьяной Марковной вопросительныхъ взглядовъ.

Наконецъ Титъ Никонычъ расшаркался, поцѣловалъ у ней руку и уѣхалъ. Бабушка велѣла готовить постель и не глядѣла на Райскаго. Она сухо пожелала ему «покойной ночи», чувствуя себя глубоко оскорбленной и въ сердцѣ, и въ самолюбіи.

Около нея происходитъ что-то таинственное и серьезное, между близкими ей людьми, а ее оставляютъ въ сторонѣ, какъ чужую, или какъ старую, отжившую, ни на что не способную женщину.

Она не подозрѣвала уваженія, боязни и пощады, мѣшавшихъ имъ открыться.

Райскій вполголоса сказалъ ей, что ему нужно поговорить съ ней, чтобъ она какъ-нибудь незамѣтно отослала людей. Она остановила на немъ неподвижный отъ ужаса взглядъ. У ней побѣлѣлъ даже носъ.

— Бѣда?—спросила она отрывисто.

Онъ мялся.

— Нѣтъ... — отвѣчалъ онъ рѣшительно: — съ моей точки зрѣнія—нѣтъ бѣды...

— А если съ моей—есть, то значитъ и бѣда!—замѣтила она тихо. — Да вонъ ты блѣденъ, стало-быть, знаешь и самъ, что бѣда.

Она мало-по-малу удалила людей, сказавши, что еще не ляжетъ спать, а посидитъ съ Борисомъ Павловичемъ, и повела его въ кабинетъ.

Она сѣла въ свое старое вольтеровское кресло, поставивъ лампу подальше на бюро и закрывъ ее колпакомъ.

Они сидѣли въ полумракѣ. Она, поникнувъ головой, не глядѣла на него и ожидала. Райскій началъ свой разсказъ, стараясь подойти «къ бѣдѣ» какъ можно мягче и осторожнѣе.

У него дрожали губы и языкъ нерѣдко отказывался говорить. Онъ останавливался, давая себѣ отдыхъ, потомъ собирался съ силами и продолжалъ.

Бабушка не пошевелилась, не сказала ни слова. Подъ конецъ онъ шепталъ едва слышно.

Онъ вышелъ отъ нея, когда сталъ брезжиться день. Когда онъ кончилъ, она встала, выпрямилась медленно, съ напряженіемъ, потомъ такъ же медленно опустила опять плечи и голову, стоя, опершись рукой о столъ. Изъ груди ея вырвался не то вздохъ, не то стонъ.

— Бабушка! — говорилъ Райскій, пугаясь выраженія ея лица и становясь на колѣни передъ ней:—спасите Вѣру...

— Поздно послала она къ бабушкѣ, — шептала она: — Богъ спасетъ ее! Береги ее, утѣшай, какъ знаешь! Бабушки нѣтъ больше!

Она ступила шагъ, онъ загородилъ ей дорогу.

— Бабушка, что̀ вы, что̀ съ вами? — говорилъ онъ въ страхѣ.

— Бабушки нѣтъ у васъ больше... — твердила она разсѣянно, стоя тамъ, гдѣ встала съ кресла, и глядя внизъ.— Поди, поди! — почти гнѣвно крикнула она, видя, что онъ

медлитъ: — не ходи ко мнѣ... не пускай никого, распоряжайся всѣмъ... А меня оставьте всѣ... всѣ!

Она стояла все на своемъ мѣстѣ, какъ прикованная, съ безжизненнымъ, точно спящимъ взглядомъ. Онъ хотѣлъ ей что-то сказать. Она нетерпѣливо махнула ему рукой.

— Уйди къ ней, береги ее! бабушка не можетъ, бабушки нѣтъ!—шептала она.

И сдѣлала повелительный жестъ рукой, чтобъ онъ шелъ. Онъ вышелъ въ страхѣ, блѣдный, сдалъ все на руки Якову, Василисѣ и Савелью, и самъ изъ-за угла старался видѣть, что̀ дѣлается съ бабушкой. Онъ не спускалъ глазъ съ ея оконъ и дверей.

А она машинально опустилась опять въ кресло, и какъ будто заснула въ безсознательной, мертвой дремотѣ и оставалась неподвижно до утра, когда совсѣмъ разсвѣло.

Утромъ рано, Райскій, не ложившійся спать, да Яковъ съ Василисой видѣли, какъ Татьяна Марковна, въ чемъ была наканунѣ и съ открытой головой, съ наброшенной на плечи турецкой шалью, пошла изъ дому, ногой отворяя двери, прошла всѣ комнаты, коридоръ, спустилась въ садъ, и шла, какъ будто бронзовый монументъ всталъ съ пьедестала и двинулся, ни на кого и ни на что̀ не глядя.

Она шла черезъ цвѣтникъ, по аллеямъ, къ обрыву, стала спускаться съ обрыва ровнымъ, медленнымъ и широкимъ шагомъ, неся голову прямо, не поворачиваясь, глядя куда-то вдаль. Она скрылась въ лѣсъ.

Райскій бросился украдкой за ней, прячась за деревья.

Она шагала все ниже, ниже, прошла къ бесѣдкѣ, поникла головой и стала, какъ вкопанная. Райскій подкрадывался сзади ея, удерживая дыханіе.

— Мой грѣхъ!—сказала она, будто простонала, положивъ руки на голову, и вдругъ ускоренными шагами пошла дальше, вышла къ Волгѣ и стала неподвижно у воды.

Вѣтеръ хлесталъ и обвивалъ платье около ея ногъ, шевелилъ ея волосы, рвалъ съ нея шаль—она не замѣчала.

У Райскаго замеръ духъ отъ мелькнувшей догадки: хочетъ утопиться!

Но она медленно поворотилась, шагая крупно и оставляя глубокій слѣдъ на влажномъ пескѣ.

Райскій вздохнулъ свободнѣе, но взглянувъ изъ-за кустовъ на ея лицо, когда она тихо шла тою же широкой походкой назадъ—онъ еще больше замеръ отъ ужаса.

Онъ не узналъ бабушку. На лицѣ у ней легла точно туча, и туча эта была — горе, та «бѣда», которую онъ въ эту ночь возложилъ ей на плечи. Онъ видѣлъ, что нѣтъ руки, которая бы сняла это горе.

Она правду сказала, бабушки нѣтъ больше. Это не бабушка, не Татьяна Марковна, любящая и нѣжная мать семейства, не помѣщица Малиновки, гдѣ все жило и благоденствовало ею и гдѣ жила и благоденствовала сама она, мудро и счастливо управляя маленькимъ царствомъ. Это была другая женщина.

Она будто не сама ходитъ, а носитъ ее посторонняя сила. Какъ широко шагаетъ она, какъ прямо и высоко несетъ голову и плечи, и на нихъ — эту свою «бѣду»! Она, не чуя ногъ, идетъ по лѣсу въ крутую гору; шаль повисла съ плечъ и мететъ концомъ соръ и пыль. Она смотритъ куда-то вдаль немигающими глазами, изъ которыхъ широко глядитъ одинъ окаменѣлый, покорный ужасъ.

Сознаніе всего другого, кромѣ «бѣды», умерло въ лицѣ; она точно лунатикъ, или покойница.

Онъ едва поспѣвалъ слѣдить за ней среди кустовъ, чтобъ не случилось съ ней чего-нибудь. Она все шла, осиливая крутую гору, и только однажды оперлась обѣими руками о дерево, положила на руки голову.

— Мой грѣхъ!—повторила она прямо грудью, будто дохнула: — тяжело, облегчи, не снесу! — шепнула потомъ, и

опять выпрямилась и пошла въ гору, поднимаясь на обрывъ, одолѣвая крутизну нечеловѣческой силой, оставляя клочки платья и шали на кустахъ.

Райскій, поражаясь изумленіемъ и ужасомъ, глядѣлъ на ту новую, необычайную женщину.

«Только великія души перемогаютъ съ такой силой тяжелыя скорби,—думалъ онъ.—Имъ, какъ орлицамъ, даны крылья летать подъ облаками и глаза—смотрѣть въ пропасти. И только вѣрующая душа несетъ горе такъ, какъ несла его эта женщина—и однѣ женщины такъ выносятъ его! Въ женской половинѣ человѣческаго рода,—думалось ему,—заключены великія силы, ворочающія міромъ. Только не поняты, не признаны, не воздѣланы онѣ, ни ими самими, ни мужчинами, и подавлены, грубо затоптаны, или присвоены мужской половиной, не умѣющей ни владѣть этими великими силами, ни разумно повиноваться имъ, отъ гордости. А женщины, не узнавая своихъ природныхъ и законныхъ силъ, вторгаются въ область мужской силы — и отъ этого взаимнаго захвата — вся неурядица».

«Это не бабушка!» съ замираніемъ сердца, глядя на нее, думалъ онъ.

Она казалась ему одною изъ тѣхъ женскихъ личностей, которыя внезапно изъ круга семьи выходили героинями въ великія минуты, когда падали вокругъ тяжкіе удары судьбы и когда нужны были людямъ не грубыя силы мышцъ, не гордость крѣпкихъ умовъ, а силы души — нести великую скорбь, страдать, терпѣть и не падать!

У него въ головѣ мелькнулъ рядъ женскихъ историческихъ тѣней въ параллель бабушкѣ. Видѣлась ему въ ней—древняя еврейка, іерусалимская госпожа, родоначальница племени — съ улыбкой горделиваго презрѣнія услышавшая въ народѣ глухое пророчество и угрозу: «снимется вѣнецъ съ народа, не узнавшаго посѣщенія», «придутъ римляне и возьмутъ!» Не вѣрила она, считая незыблемымъ вѣнецъ,

возложенный рукою Іеговы на голову Израиля. Но когда насталъ часъ — «пришли римляне и взяли», она постигла, откуда палъ неотразимый ударъ, встала, снявъ свой вѣнецъ, и молча, безъ ропота, безъ малодушныхъ слезъ, которыми омывали Іерусалимскія стѣны мужья, разбивая о камни головы, только съ окаменѣлымъ ужасомъ покорности въ глазахъ пошла среди павшаго царства, въ великомъ безобразіи одеждъ, туда, куда вела ее рука Іеговы, и такъ же—какъ эта бабушка теперь — несла святыню страданія на лицѣ, будто гордясь, и силою удара, постигшаго ее, и своею силою нести его.

Пришла въ голову Райскому другая царица скорби, великая русская Марѳа, скованная, истерзанная московскими орлами, но сохранившая въ тюрьмѣ свое величіе и могущество скорби по погибшей славѣ Новгорода, покорная тѣломъ, но не духомъ, и умирающая все посадницей, все противницей Москвы, и какъ будто распорядительницей судебъ вольнаго города.

Толпились передъ нимъ, точно живыя, тѣни другихъ великихъ страдалицъ: русскихъ царицъ, мѣнявшихъ, по волѣ мужей, свой санъ на санъ инокинь и хранившихъ и въ кельѣ духъ и силу; другихъ царицъ, въ роковыя минуты, стоявшихъ во главѣ царства и спасавшихъ его...

Съ такою же силой скорби шли въ заточеніе съ нашими титанами, колебавшими небо, ихъ жены, боярыни и княгини, сложившія свой санъ, титулъ, но унесшія съ собой силу женской души и великой красоты, которой до сихъ поръ не знали за собой онѣ сами, не знали за ними и другіе, и которую онѣ, какъ золото въ огнѣ, закаляли въ огнѣ и дымѣ грубой работы, служа своимъ мужьямъ — князьямъ и неся и ихъ, и свою «бѣду».

И мужья, преклоняя колѣна передъ этой новой для нихъ красотой, мужественнѣе несли кару. Обожженныя, изможденныя трудомъ и горемъ, онѣ хранили величіе духа и сіяли,

среди испытанія, нетлѣнной красотой, какъ великія статуи, пролежавшія тысячелѣтія въ землѣ, выходили съ язвами времени на тѣлѣ, но сіяющія вѣчной красотой великаго мастера.

Такую великую силу—стоять подъ ударомъ грома, когда все падаетъ вокругъ,—безсознательно, вдругъ, какъ кладъ найдетъ, почуетъ въ себѣ русская женщина изъ народа, когда пламень пожара пожретъ ея хижину, добро и дѣтей.

Съ такимъ же нѣмымъ, окаменѣлымъ ужасомъ, какъ бабушка, какъ новгородская Марѳа, какъ тѣ царицы и княгини—уходитъ она прочь, глядя неподвижно на небо, и не оглянувшись на столпъ огня и дыма, идетъ сильными шагами, неся выхваченнаго изъ пламени ребенка, ведя дряхлую мать, и взглядомъ и ногой толкая впередъ малодушнаго мужа, когда онъ, упавъ, грызя землю, смотритъ назадъ и проклинаетъ пламя...

Она идетъ, твердо шагая загорѣлыми ногами, дальше, дальше, не зная, гдѣ остановится, или упадетъ, потерявъ силу. Она вѣритъ, что рядомъ идетъ съ ней другая сила и несетъ ея «бѣду», которую не снесла бы одна!

Въ открыто смотрящемъ и ничего не видящемъ взглядѣ лежитъ сила страдать и терпѣть. На лицѣ горитъ во всемъ блескѣ красота и величіе мученицы. Громъ бьетъ ее, огонь палитъ, но не убиваетъ женскую силу.

Райскій съ ужасомъ отмахивался отъ этихъ, незванныхъ въ горькія минуты, явленій своей безпощадной фантазіи и устремилъ зоркое вниманіе за близкой ему страдалицей, наблюдая ее глазами и стараясь прочесть въ ея душѣ: что̀ за образъ мѐки поселился въ ней?

Падало царство Татьяны Марковны, пустѣлъ домъ, похищено ея завѣтное, дорогое сокровище, ея гордость, ея жемчужина! Она одна бродила будто по развалинамъ. Опустѣла и душа у ней! Духъ мира, гордости, благоденствія, покинулъ счастливый уголокъ.

Она видѣла теперь въ немъ мерзость запустѣнія — и цѣлый міръ опостылѣлъ ей. Когда она останавливалась, какъ будто набраться силы, глотнуть воздуха и освѣжить запекшіяся отъ сильнаго и горячаго дыханія губы, колѣни у ней дрожали; еще минута—и она готова рухнуть на землю, но чей-то голосъ, дающій силу, шепталъ ей: «иди, не падай— дойдешь!»

И старческое безсиліе пропадало, она шла опять. Проходила до вечера, просидѣла ночь у себя въ креслѣ, томясь страшной дремотой, съ бредомъ и стономъ, потомъ просыпалась, жалѣя, что проснулась, встала съ зарей и шла опять съ обрыва, къ бесѣдкѣ, долго сидѣла тамъ на развалившемся порогѣ, положивъ голову на голыя доски пола, потомъ уходила въ поля, терялась среди кустовъ у Приволжья.

Случайно наткнулась она на часовню, въ полѣ, подняла голову, взглянула на образъ — и новый ужасъ, больше прежняго, широко выглянулъ изъ ея глазъ. Ее отшатнуло въ сторону.

Она, какъ раненый звѣрь, упала на одно колѣно, тяжело приподнялась, и ускоренными шагами, падая опять и вставая, пронеслась мимо, закрывъ лицо шалью отъ образа Спасителя, и простонала:

— Мой грѣхъ!

Люди были въ ужасѣ. Василиса съ Яковомъ почти не выходили изъ церкви, стоя на колѣняхъ. Первая обѣщалась сходить пѣшкомъ къ кіевскимъ чудотворцамъ, если барыня оправится, а Яковъ поставить толстую съ позолотой свѣчу къ мѣстной иконѣ.

Прочіе люди всѣ прятались по угламъ и глядѣли изъ щелей, какъ барыня, точно помѣшанная, бродила по полю и по лѣсу. Даже Марина, и та отсталѣла и ходила, какъ одичалая.

Только Егорка пробовалъ хихикать и затрогивалъ гор-

ничныхъ, но онѣ гнали его прочь, а Василиса назвала его «супостатомъ».

Другой день бабушка не принимала никакой пищи. Райскій пробовалъ выйти къ ней навстрѣчу, остановить ее и заговорить съ ней, она махнула ему повелительно рукой, чтобъ шелъ прочь.

Наконецъ онъ взялъ кружку молока и рѣшительно подступилъ къ ней, взявъ ее за руку. Она поглядѣла на него, какъ будто не узнала, поглядѣла на кружку, машинально взяла ее дрожащей рукой изъ рукъ его и съ жадностью выпила молоко до послѣдней капли, глотая медленными, большими глотками.

— Бабушка, пойдемте домой,—не мучайте себя и насъ!— умолялъ онъ:—вы убьете себя.

Она махнула ему рукой.

— Богъ посѣтилъ, не сама хожу. Его сила носитъ,— надо выносить до конца. Упаду — подберите меня...—Мой грѣхъ!—шепнула потомъ и пошла дальше.

Сдѣлавъ шаговъ десять, она обернулась къ нему. Онъ подбѣжалъ къ ней.

— Если не вынесу... умру...— заговорила она и сдѣлала ему знакъ, чтобъ онъ наклонилъ голову.

Онъ сталъ на колѣни передъ ней.

Она прижала его голову къ своей груди, крѣпко поцѣловала ее и положила на нее руку.

— Прими мое благословеніе, — сказала она:— и передай имъ... Марѳинькѣ и... ей, —бѣдной моей Вѣрѣ... слышишь, и ей!..

— Бабушка!—говорилъ онъ, заливаясь слезами и цѣлуя у ней руку.

Она вырвала руку и пошла дальше, блуждать въ кустахъ, по берегу, по полю.

«У вѣрующей души есть свое царство!» думалъ Райскій, глядя ей вслѣдъ и утирая слезы: «только она умѣетъ такъ

страдать за все, что любить, и такъ любить и такъ искупать свои и чужія заблужденія!»

Вѣра была не въ лучшемъ положеніи. Райскій поспѣшилъ передать ей разговоръ съ бабушкой,—и когда, на другой день, она, блѣдная, измученная, утромъ рано послала за нимъ и спросила: «Что бабушка?» онъ, вмѣсто отвѣта, указалъ ей на Татьяну Марковну, какъ она шла по саду и по аллеямъ въ поле.

Вѣра бросилась къ окнамъ и жадно вглядывалась въ это странствіе бабушки съ ношей «бѣды». Она успѣла мелькомъ уловить выраженіе на ея лицѣ и упала въ ужасѣ сама на полъ, потомъ стала, бѣгая отъ окна къ окну, складывая вмѣстѣ руки и простирая ихъ, какъ въ мольбѣ, вслѣдъ бабушкѣ.

Она сама ходила, какъ дикая, по большимъ, запущеннымъ заламъ стараго дома, отворяя и затворяя за собой двери, бросаясь на старинныя канапе, наталкиваясь на мебель.

Она рвалась къ бабушкѣ и останавливалась въ ужасѣ: показаться ей на глаза, значило, можетъ-быть, убить ее.

Настала настоящая казнь Вѣры. Она теперь только почувствовала, какъ глубоко вонзился ножъ, и въ ея, и въ чужую, но близкую ей жизнь, видя, какъ страдаетъ за нее эта трагическая старуха, недавно еще счастливая, а теперь оборванная, желтая, изможденная, мучающаяся за чужое преступленіе чужою казнью.

— Она за что? Она—святая! А я!..—терзалась она.

Райскій принесъ ей благословеніе Татьяны Марковны. Вѣра бросилась ему на шею и долго рыдала.

Къ вечеру второго дня нашли Вѣру, сидящую на полу, въ углу большой залы, полуодѣтую. Борисъ и жена священника, пріѣхавшая въ тотъ день, почти силой увели ее оттуда и положили въ постель.

Райскій позвалъ доктора и кое-какъ старался объяснить

ея разстройство. Тотъ прописалъ успокоительное питье, Вѣра выпила, но не успокоилась, забывалась часто сномъ, просыпалась и спрашивала:

— Что бабушка?

Потомъ опять впадала въ забытье.

Она не слышала, что̀ жужжала ей на ухо любимая подруга, способная знать всѣ секреты Вѣры, беречь ихъ, покоряться ей, какъ сильнѣйшей себя властной натурѣ, раздѣлять безусловно ея образъ мыслей, поддакивать желаніямъ, но оказавшаяся безсильною, когда загремѣлъ сильный громъ надъ головой Вѣры, помочь снести его и успокоить ее.

— Дай мнѣ пить! — шептала Вѣра, не слушая ея лепета:—не говори, посиди такъ, не пускай никого... Узнай, что̀ бабушка?

Такъ было и ночью. Просыпаясь въ забытьи, Вѣра постоянно шептала:

— Бабушка нейдетъ! бабушка не любитъ! бабушка не проститъ!

На третій день Татьяна Марковна ушла, не видали какъ, изъ дома. Райскій не выдержалъ двухъ безсонныхъ ночей и легъ отдохнуть, поручивъ разбудить себя, когда она выйдетъ изъ дому.

Но Яковъ и Василиса ушли къ ранней обѣднѣ, а Пашутка, завидя идущую барыню, съ испуга залѣзла въ вѣники и метлы, хранившіеся въ чуланѣ, да тамъ и заснула. Прочіе люди разбѣжались въ разныя стороны.

Однако, Савелій видѣлъ, что барыня сошла съ обрыва: что она шла нетвердо, хваталась за деревья, и потомъ прошла въ поле.

Райскій бросился вслѣдъ за ней и изъ-за угла видѣлъ, какъ она медленно возвращалась по полю къ дому. Она останавливалась и озиралась назадъ, какъ будто прощалась съ крестьянскими избами. Райскій подошелъ къ ней, но за-

говорить не смѣлъ. Его поразило новое выраженіе ея лица. Мѣсто покорнаго ужаса заступило, повидимому, безотрадное сознаніе. Она не замѣчала его и какъ будто смотрѣла въ глаза своей «бѣдѣ».

Ей на яву снилось, какъ царство ея рушилось, и какъ на мѣстѣ его легла мерзость запустѣнія въ близкомъ будущемъ. Послѣ, отъ нея самой, онъ узналъ страшный сонъ, ей снившійся.

Озираясь на деревню, она видѣла — не цвѣтущій, благоустроенный порядокъ домовъ, а лишенный надзора и попеченія рядъ полусгнившихъ избъ—притонъ пьяницъ, нищихъ, бродягъ и воровъ. Поля лежатъ пустыя, поросшія полынью, лопухомъ и крапивой.

Она съ ужасомъ отворотилась отъ деревни и вошла въ садъ, остановилась, озираясь вокругъ, не узнавая домовъ, двора.

Садъ, цвѣтникъ, огороды—смѣшались въ одну сплошную кучу, спутались и поросли быліемъ. Туда не заходитъ человѣкъ, только коршунъ, утащивъ живую добычу, терзаетъ ее тамъ на просторѣ.

Новый домъ покривился и вросъ въ землю; людскія развалились; на развалинахъ ползаетъ и жалобно мяучитъ одичалая кошка, да бѣглый колодникъ прячется подъ осѣвшей кровлей.

Старуха вздрогнула и оглянулась на старый домъ. Онъ перестоялъ все — когда все живое съ ужасомъ ушло отъ этихъ мѣстъ — онъ стоитъ мрачный, облупившійся, съ своими темно-бурыми кирпичными боками.

Стеколъ нѣтъ въ окнахъ, сгнили рамы и въ обвалившихся покояхъ ходитъ вѣтеръ, срывая послѣдніе слѣды жизни.

Въ каминѣ свилъ гнѣздо филинъ, не слышно живыхъ шаговъ, только тѣнь ея... кого ужъ нѣтъ, кто умретъ тогда, ея Вѣры—скользитъ по тусклымъ, треснувшимъ паркетамъ, мѣ-

шая свой сонъ съ воемъ вѣтра, и вслѣдъ за нимъ мчится по саду, съ обрыва въ бесѣдку...

Райскій видѣлъ, что по лицу бабушки потекла медленно слеза и остановилась, какъ будто застыла. Старуха зашаталась и ощупью искала опоры, готовая упасть...

Онъ бросился къ ней и съ помощью Василисы довелъ до дома, усадилъ въ кресло и бросился за докторомъ. Она смотрѣла, не узнавая ихъ. Василиса горько зарыдала и повалилась ей въ ноги.

— Матушка, Татьяна Марковна!—вопила она:—придите въ себя, сотворите крестное знаменіе!

Старуха перекрестилась, вздохнула и знакомъ показала, что не можетъ говорить, чтобы дали ей пить.

Она легла въ постель, почти машинально, какъ будто не понимая, что дѣлаетъ. Василиса раздѣла ее, обложила теплыми салфетками, вытерла ей руки и ноги спиртомъ, и, наконецъ, заставила проглотить рюмку теплаго вина. Докторъ велѣлъ ее не безпокоить, оставить спать и потомъ дать лѣкарство, которое прописалъ.

До Вѣры дошло неосторожное слово: — бабушка слегла! Она сбросила съ себя одѣяло, оттолкнула Наталью Ивановну и хотѣла идти къ ней. Но Райскій остановилъ ее, сказавши, что Татьяна Марковна погрузилась въ крѣпкій сонъ.

Къ вечеру Вѣра также разнемоглась. У ней появился жаръ и бредъ. Она металась всю ночь, звала бабушку во снѣ, плакала.

Райскій совсѣмъ потерялъ голову и, наконецъ, рѣшился пригласить стараго доктора, Петра Петровича, и намекнуть ему о разстройствѣ Вѣры, не говоря, конечно, о причинѣ. Онъ съ нетерпѣніемъ ждалъ только утра и безпрестанно ходилъ отъ Вѣры къ Татьянѣ Марковны, отъ Татьяны Марковны къ Вѣрѣ.

Бабушка лежала съ закрытой головой. Онъ боялся взгля-

нуть, спитъ ли она, или все еще одолѣваетъ своей силой силу горя. Онъ на цыпочкахъ ходилъ къ Вѣрѣ и спрашивалъ Наталью Ивановну:

— Что она?

— Безпрестанно просыпается и плачетъ, бредитъ!—гововорила Наталья Ивановна, сидя у изголовья.

— Боже мой! — говорилъ Райскій, возвращаясь къ себѣ и бросаясь усталый, и тѣломъ, и душой, въ постель. — Думалъ ли я, что въ этомъ углу вдругъ попаду на такія драмы, на такія личности? Какъ громадна и страшна простая жизнь въ наготѣ ея правды, и какъ люди остаются цѣлы послѣ такой трескотни! А мы тамъ, въ кучѣ, стряпаемъ свою жизнь и страсти, какъ повара—тонкія блюда!..

VIII.

Вѣрѣ къ утру не было лучше. Жаръ продолжался, хотя она и спала. Но сонъ ея безпрестанно прерывался, и она лежала въ забытьи.

Райскій пошелъ къ Татьянѣ Марковнѣ и вмѣстѣ съ Василисой вошелъ въ ея спальню.

Она лежала все въ томъ же положеніи, какъ цѣлый день вчера.

— Посмотри, Василиса, что она? Я боюсь подойти, чтобъ не испугать,—шепталъ Райскій.

— Не разбудить ли барыню?

— Да надо бы, Вѣра больна... Я не знаю, послать ли за Петромъ Петровичемъ?..

Онъ не договорилъ, какъ Татьяна Марковна вдругъ приподнялась и сѣла на постели.

— Вѣра больна?—повторила она.

Райскій вздохнулъ свободнѣе.

На лицо бабушки, вчера еще мертвое, каменное, вдругъ хлынула жизнь, забота, страхъ. Она сдѣлала ему знакъ рукой, чтобъ вышелъ, и въ полчаса кончила свой туалетъ.

Широкими, но поспѣшными шагами, съ тревогой на лицѣ, перешла она черезъ дворъ и поднялась къ Вѣрѣ. Усталости — какъ не бывало. Жизнь воротилась къ ней, и Райскій радовался, какъ доброму другу, страху на ея лицѣ.

Она осторожно вошла въ комнату Вѣры, устремила глубокій взглядъ на ея спящее, блѣдное лицо и шепнула Райскому послать за старымъ докторомъ. Она тутъ только замѣтила жену священника, увидала ея измученное лицо, обняла ее и сказала, чтобы она пошла и отдыхала у ней цѣлый день.

— Теперь никто не нуженъ: я тутъ! — сказала она и устроила себѣ помѣщеніе подлѣ постели Вѣры.

Пріѣхалъ докторъ. Татьяна Марковна, утаивъ причину, искусно объяснила ему разстройство Вѣры. Онъ нашелъ признаки горячки, далъ лѣкарство и сказалъ, что если она успокоится, то и послѣдствій опасныхъ ожидать нельзя.

Вѣра въ полуснѣ приняла лѣкарство и вечеромъ заснула крѣпко.

Татьяна Марковна сѣла сзади изголовья и положила голову на тѣ же подушки съ другой стороны. Она не спала, чутко сторожа каждое движеніе, вслушиваясь въ дыханіе Вѣры.

Вѣра просыпалась, спрашивала:

— Ты спишь, Наташа? — и не получивъ отвѣта, закрывала глаза, по временамъ открывая ихъ съ мучительнымъ вздохомъ опять, лишь только память и сознаніе напомнятъ ей ея положеніе.

Она спѣшила погрузиться въ свою дремоту; ночь казалась ей черной, страшной тюрьмой.

Она ночью пошевелилась, попросила пить. Рука изъ-за подушки подала ей питье.

— Что бабушка?—спросила она, открывъ глаза и опять закрыла ихъ.

— Наташа, гдѣ ты? поди сюда, что ты все прячешься?

Отвѣта не было.

Она глубоко вздохнула и опять стала дремать.

— Бабушка нейдетъ! Бабушка не любитъ!—шептала она съ тоской, отрезвившись на минуту отъ сна.—Бабушка не проститъ!

— Бабушка пришла! Бабушка любитъ! Бабушка простила!—произнесъ голосъ надъ ея головой.

Вѣра вскочила съ постели и бросилась къ Татьянѣ Марковнѣ.

— Бабушка!—закричала она и спрятала голову у ней на груди, почти въ обморокѣ.

Татьяна Марковна положила ее на постель и прилегла своей сѣдой головой рядомъ съ этими темными, густыми волосами, разбросанными по блѣдному, прекрасному, измученному лицу.

Вѣра, очнувшись на груди этой своей матери, въ потокахъ слезъ, безъ словъ, въ судорогахъ рыданій изливала свою исповѣдь, раскаяніе, горе, всю, вдругъ прорвавшуюся силу страданій.

Бабушка молча слушала рыданія и платкомъ отирала ея слезы, не мѣшая плакать, и только прижимая ея голову къ своей груди и осыпая поцѣлуями.

— Не ласкайте, бабушка... бросьте меня... не стою я... отдайте вашу любовь и ласки сестрѣ...

Бабушка въ отвѣтъ крѣпче прижала ее къ груди.

— Сестрѣ не нужны больше мои ласки, а мнѣ нужна твоя любовь — не покидай меня, Вѣра, не чуждайся меня больше: я сирота!—сказала она, и сама заплакала.

Вѣра сжала ее всей своей силой.

— Мать моя, простите меня...—шептала она.

Бабушка поцѣлуемъ зажала ей ротъ.

— Молчи, ни слова—никогда!

— Я не слушала васъ... Богъ покаралъ меня за васъ...

— Что ты говоришь, Вѣра? — вдругъ, въ ужасѣ, блѣднѣя, остановила ее Татьяна Марковна, и опять стала похожа на дикую старуху, которая бродила по лѣсу и по оврагамъ.

— Да, я думала, что одной своей воли и ума довольно на всю жизнь, что я умнѣе всѣхъ васъ...

Татьяна Марковна вздохнула свободно. Ее, повидимому, встревожила какая-то другая мысль, или предположеніе.

— Ты и умнѣе меня, и больше училась,—сказала она:— тебѣ Богъ далъ много остроты — но ты не опытнѣе бабушки...

«Теперь... и опытнѣе!» подумала Вѣра и припала лицомъ къ ея плечу.—Возьмите меня отсюда, Вѣры нѣтъ. Я буду вашей Мареинькой...—шептала она.—Я хочу вонъ изъ этого стараго дома, туда, къ вамъ.

Бабушка молча ласкала ее.

Обѣ головы покоились рядомъ, и ни Вѣра, ни бабушка не сказали больше ни слова. Онѣ тѣсно прижались другъ къ другу и къ утру заснули въ объятіяхъ одна другой.

IX.

Вѣра встала утромъ безъ жара и озноба, только была блѣдна и утомлена. Она выплакала болѣзнь на груди бабушки. Докторъ сказалъ, что ничего больше и не будетъ, но не велѣлъ выходить нѣсколько дней изъ комнаты.

Все пришло въ прежній порядокъ. Именины Вѣры, по ея желанію, прошли незамѣтно. Ни Мареинька, ни Викентьевы не пріѣхали съ той стороны. Къ нимъ посланъ былъ нарочный сказать, что Вѣра Васильевна не такъ здорова и не выходитъ изъ комнаты.

Тушинъ прислалъ почтительную записку съ поздравленіемъ и просилъ позволенія побывать.

Ему отвѣчали:—«погодите, я еще нездорова».

Пріѣзжавшимъ изъ города всѣмъ отказывали, подъ предлогомъ болѣзни именинницы. Только горничныя, несмотря ни на что, разрядились въ свои разноцвѣтныя платья и ленты и намазались гвоздичной помадой, да кучера и лакеи опять напились пьяны.

Вѣра и бабушка стали въ какое-то новое положеніе одна къ другой. Бабушка не казнила Вѣру никакимъ притворнымъ снисхожденіемъ, хотя очевидно не принимала такъ легко рѣшительный опытъ въ жизни женщины, какъ Райскій, и еще менѣе обнаруживала то безусловное презрѣніе, какимъ клеймитъ эту «ошибку», «несчастье», или пожалуй, «паденіе», старый, въѣвшійся въ людскія понятія ригоризмъ, не разбирающій даже строго причинъ «паденія».

Обѣ смотрѣли другъ на друга серьезно, говорили мало, больше о мелочахъ, ежедневныхъ предметахъ, но въ обмѣнивающихся взглядахъ высказывался цѣлый нѣмой разговоръ.

Обѣ какъ будто наблюдали одна за другою, а заговаривать боялись. Татьяна Марковна не произносила ни одного слова, ни въ защиту, ни въ оправданіе «паденія», не напоминала ни о чемъ, и видимо старалась, чтобъ и Вѣра забыла.

Она только удвоила ласки, но неумышленно, не притворно—съ цѣлью только скрыть свой судъ или свои чувства. Она въ самомъ дѣлѣ была нѣжнѣе, будто Вѣра стала милѣе и ближе ей послѣ своей откровенности, даже и самаго проступка.

Вѣра видѣла эту безыскусственность, но ей было не легче отъ этого. Она ждала и хотѣла строгаго суда, казни. Напримѣръ, если бъ бабушка на полгода или на годъ отослала ее съ глазъ долой, въ свою дальнюю деревню, а сама справилась бы какъ-нибудь съ своими обманутыми и поруганными чувствами довѣрія, любви, и потомъ простила, призвала бы ее, но долго еще не принимала бы ее въ свою

любовь, не дарила бы лаской и нѣжностью, пока Вѣра нѣсколькими годами, работой всѣхъ силъ ума и сердца, не воротила бы себѣ права на любовь этой матери — тогда только успокоилась бы она, тогда настало бы искупленіе, или, по крайней мѣрѣ, забвеніе, если правда, что «время все стираетъ съ жизни», какъ утверждаетъ Райскій.

«Все ли?» думала она печально. Времени не стало бы стереть всѣ ея муки, которыя теперь, одна за другою, являлись по очереди, наносить каждая свои удары, взглянувъ сначала всѣ вмѣстѣ ей въ лицо.

Она уже пережила ихъ нѣсколько, теперь переживаетъ одну изъ самыхъ страшныхъ, а внутри ея еще прячется самая злая, которой никто не знаетъ и которую едва ли сотретъ время.

Она старалась не думать о ней, и въ эту минуту думала только—какъ помирить бабушку съ горемъ, облегчить ей удары.

Она вникала въ это молчаніе бабушки, въ эту ея новую нѣжность къ себѣ, и между тѣмъ подстерегала какіе-то, бросаемые исподтишка взгляды на нее, — и не знала, чѣмъ ихъ объяснить?

Что бабушка страдаетъ невыразимо—это ясно. Она отъ скорби измѣнилась, по временамъ горбится, пожелтѣла, у ней прибавились морщины. Но тутъ же рядомъ, глядя на Вѣру, или слушая ее, она вдругъ выпрямится, взглядъ ея загорится такою нѣжностью, что какъ-будто она теперь только нашла въ Вѣрѣ, не прежнюю Вѣру, внучку, но собственную дочь, которая стала ей еще милѣе.

Отчего же милѣе? Можетъ-быть, бабушка теперь щадитъ ее, думалось Вѣрѣ, оттого, что ея женское, глубокое сердце открылось состраданію. Ей жаль карать бѣдную, больную, покаявшуюся,—и она рѣшилась покрыть ея грѣхъ христіанскимъ милосердіемъ.

«Да, больше нечего предположить», смиренно думала она.

«Но Боже мой, какое страданіе—нести это милосердіе, эту милостыню! Упасть, безъ надежды встать—не только въ глазахъ другихъ, но даже въ глазахъ этой бабушки, своей матери!»

Она будетъ лелѣять, ласкать ее, пожалуй, больше прежняго, но ласкать, какъ ласкаютъ бѣднаго идіота, помѣшаннаго, обиженнаго природой или судьбой, или еще хуже—какъ падшаго, несчастнаго брата, которому люди бросаютъ милостыню состраданія!

Гордость, человѣческое достоинство, права на уваженіе, цѣлость самолюбія — все разбито вдребезги! Оборвите эти цвѣты съ вѣнка, которымъ украшенъ человѣкъ. и онъ сдѣлается почти вещью.

Толпа сострадательно глядитъ на падшаго и казнитъ молчаніемъ, какъ бабушка—ее! Нельзя жить тому, въ чьей душѣ когда-нибудь жила законная человѣческая гордость, сознаніе своихъ правъ на уваженіе, кто носилъ прямо голову,—нельзя жить!

Она слыхала нѣсколько примѣровъ увлеченій, припомнила, какой судъ изрекали люди надъ падшими, и какъ эти несчастныя несли казнь почти публичныхъ ударовъ.

«Чѣмъ я лучше ихъ?» думала Вѣра. «А Маркъ увѣрялъ, и Райскій тоже, что за этимъ... «Рубикономъ» начинается другая, новая, лучшая жизнь! Да, новая, но какая «лучшая»!

Бабушка сострадательна къ ней: отъ одного этого можно умереть! А бывало она уважала ее, гордилась ею, признавала за ней права на свободу мыслей и дѣйствій, давала ей волю, вѣрила ей! И все это пропало! Она обманула ея довѣріе и не устояла въ своей гордости!

Она—нищая въ родномъ кругу. Ближніе видѣли ее падшую, пришли и, отворачиваясь, накрыли одеждой изъ жалости, гордо думая про себя: «Ты не встанешь никогда,

бѣдная, и не станешь съ нами рядомъ, прими, Христа ради, наше прощеніе!»

«Что-жъ, и приму, ради Его—и смирюсь! Но я хочу не милости, а гнѣва, грома... Опять гордость! гдѣ же смиреніе? Смиреніе значитъ—выносить взглядъ укоризны чистой женщины, блѣднѣть подъ этимъ взглядомъ цѣлые годы, всю жизнь, и не смѣть роптать. И не буду! Перенесу все: сострадательное великодушіе Тушина и Райскаго, жалость, прикрывающую, можетъ-быть, невольное презрѣніе бабушки... «Бабушка презираетъ меня!»—вся трясясь отъ тоски, думала она и пряталась отъ ея взгляда, сидѣла молча, печальная, у себя въ комнатѣ, отворачивалась, или потупляла глаза, когда Татьяна Марковна смотрѣла на нее съ глубокой нѣжностью... или сожалѣніемъ, какъ казалось ей.

Тутъ ей, какъ всегда бываетъ, представлялась чистота, прелесть, весь ароматъ ея жизни—до встрѣчи съ Маркомъ, ея спокойствіе до рокового вечера... Она вздрагивала.

Оказалось, что у ней пропало и пренебреженіе къ чужому мнѣнію. Ей стало больно упасть въ глазахъ даже и «глупцовъ», какъ выражался Маркъ. Она вздыхала по удивленію ихъ къ себѣ, ей стало жаль общаго поклоненія, теперь утраченнаго!

«Ахъ, хоть «Кунигунда» надоумила бы меня тогда!» думала она съ трагическимъ юморомъ.

Она хотѣла молиться, и не могла. О чемъ она станетъ молиться? Ей остается смиренно склонить голову передъ громомъ и нести его. Она клонила голову и несла тяжесть «презрѣнія», какъ она думала.

Снаружи она казалась всѣмъ покойною, но глаза у ней впали, краски не появлялись на блѣдномъ лицѣ, пропала грація походки, свобода движеній. Она худѣла и видимо томилась жизнью.

Ей ни до кого и ни до чего не было дѣла. Она отпустила Наталью Ивановну домой, сидѣла у себя запершись, обѣ-

дала съ бабушкой, поникала головой, когда та обращала на нее пристальный взглядъ, или заговаривала ласково и нѣжно. Она дѣлалась еще угрюмѣе, и спѣшила исполнять покорнѣе Пашутки, каждое желаніе Татьяны Марковны, выраженное словомъ или взглядомъ.

Ее какъ будто стало не видно и не слышно въ домѣ. Ходила она тихо, какъ тѣнь, просила, что нужно, шопотомъ, не глядя въ глаза никому прямо. Не смѣла ничего приказывать. Ей казалось, что Василиса и Яковъ смотрѣли на нее сострадательно, Егорка дерзко, а горничныя насмѣшливо.

«Вотъ она «новая жизнь!» думала она, потупляя глаза передъ взглядомъ Василисы и Якова и сворачивая быстро въ сторону отъ Егорки и отъ горничныхъ. А никто въ домѣ, кромѣ Райскаго, не зналъ ничего. Но ей казалось, какъ всѣмъ кажется въ ея положеніи, что она читала свою тайну у всѣхъ на лицѣ.

И Татьяна Марковна, наблюдая за Вѣрой, задумывалась и какъ-будто заражалась ея печалью. Она тоже ни съ кѣмъ почти не говорила, мало спала, мало входила въ дѣла, не принимала ни приказчика, ни купцовъ, приходившихъ справляться о хлѣбѣ, не отдавала приказаній въ домѣ. Она сидѣла, опершись рукой о столъ и положивъ голову въ ладони, оставаясь подолгу одна.

И она, и Вѣра, обѣ привязались къ Райскому. Простота его души, мягкость, искренность, глядѣвшая изъ каждаго слова, и откровенность, простертая до болтливости, наконецъ игра фантазіи—все это нѣсколько утѣшало и развлекало и ту, и другую.

Онъ иногда даже заставлялъ ихъ улыбаться. Но онъ напрасно старался изгнать совсѣмъ печаль, тучей сѣвшую на нихъ обѣихъ и на весь домъ. Онъ и самъ печалился, видя, что ни уваженіе его, ни нѣжность бабушки—не могли возвратить бѣдной Вѣрѣ прежней бодрости, гордости, увѣренности въ себѣ, силъ ума и воли.

— Бабушка презираетъ меня, любитъ изъ жалости! Нельзя жить, я умру!—шептала она Райскому.

Тотъ бросался къ Татьянѣ Марковнѣ, передавая ей новыя муки Вѣры. Къ ужасу его, бабушка, какъ потерянная, слушала эти тихіе стоны Вѣры, не находя въ себѣ силъ утѣшить ее, блѣднѣла и шла молиться.

— Молись и ты!—шептала она ей иногда мимоходомъ.

— Молитесь вы за меня,—я не могу!—отвѣчала Вѣра.

— Плачь!—говорила бабушка.

— Слезъ нѣтъ!—отвѣчала Вѣра, и онѣ молча расходились по своимъ угламъ.

Райскій также привязался къ нимъ обѣимъ, сталъ ихъ другомъ. Вѣра и бабушка высоко поднялись въ его глазахъ, какъ святыя, и онъ жадно ловилъ каждое слово, взглядъ, не зная передъ кѣмъ умиляться, плакать.

Въ Вѣрѣ оканчивалась его статуя гармонической красоты. А тутъ рядомъ возникла другая статуя—сильной, античной женщины—въ бабушкѣ. Та огнемъ страсти, испытанія, очистилась до самопознанія и самообладанія, а эта...

Откуда у ней этотъ источникъ мудрости и силы? Она—дѣвушка! Онъ никакъ не могъ добраться; бабушка была загадкой для него. Онъ напрасно искалъ ключа.

Обѣ упрашивали Райскаго остаться тутъ навсегда, жениться, завестись домомъ.

— Боюсь, не выдержу,—говорилъ онъ въ отвѣтъ: — воображеніе опять запроситъ идеаловъ, а нервы новыхъ ощущеній, и скука съѣстъ меня заживо! Какія цѣли у художника? Творчество—вотъ его жизнь!.. Прощайте! скоро уѣду,—заканчивалъ онъ обыкновенно свою рѣчь, и еще больше печалилъ обѣихъ и самъ чувствовалъ горе, а за горемъ грядущую пустоту и скуку.

Бабушка погружалась въ свою угрюмость, Вѣра тайно убивалась печалью, и дни проходили за днями. Тоска Вѣры

была постоянная, неутолимая, и печаль Татьяны Марковны возрастала по мѣрѣ того, какъ она слѣдила за Вѣрой.

Она, пока Вѣра хворала, проводила ночи въ старомъ домѣ, ложась на диванѣ, противъ постели Вѣры, и караулила ея сонъ. Но почти всегда случалось такъ, что обѣ женщины, думая подстеречь одна другую, видѣли, что ни та, ни другая не спитъ.

— Ты не спишь, Вѣрочка?—спроситъ бабушка.

— Сплю, — отвѣчаетъ Вѣра и закрываетъ глаза, чтобъ обмануть бабушку.

— Вы не спите, бабушка?—спроситъ и Вѣра, также поймавъ ея, смотрящій на нее взглядъ.

— Сейчасъ только проснулась,—говоритъ Татьяна Марковна, и поворачивается на другой бокъ.

«Нельзя жить! нѣтъ покоя и не будетъ никогда!» терзалась про себя Вѣра.

«Нѣтъ — не избудешь горя. Богъ велитъ казнить себя, чтобъ успокоить ее...» думала бабушка съ глубокимъ вздохомъ.

— Когда же вы возьмете меня къ себѣ отсюда, бабушка?

— Послѣ свадьбы, когда Мареннька уѣдетъ...

— Я теперь хочу, мнѣ не живется здѣсь, не спится...

— Погоди, оправься немного, тогда...

Вѣра умолкала, не смѣя настаивать.

«Не беретъ!» думала она: «презираетъ...»

X.

На другой день послѣ такой безсонной ночи, Татьяна Марковна послала съ утра за Титомъ Никонычемъ. Онъ пріѣхалъ-было веселый, радуясь, что угрожавшая ей и «отмѣнной дѣвицѣ» Вѣрѣ Васильевнѣ болѣзнь и разстройство миновались благополучно, привезъ громадный арбузъ и ананасъ въ подарокъ, расшаркался, разлюбезничался, блистая

складками бѣлоснѣжной сорочки, желтыми нанковыми панталонами, синимъ фракомъ, съ золотыми пуговицами, и сладчайшей улыбкой.

— Обновилъ къ осени фуфайку, поздравьте, — сказалъ онъ:—подарокъ дражайшаго Бориса Павловича...

Взглянувъ на Татьяну Марковну, онъ вдругъ остолбенѣлъ и испугался.

Она, накинувъ на себя мѣховую кацавейку и накрывъ голову косынкой, молча сдѣлала ему знакъ идти за собой и повела его въ садъ. Тамъ, сидя на скамьѣ Вѣры, она два часа говорила съ нимъ, и потомъ воротилась, глядя себѣ подъ ноги, домой, а онъ, не зашедши къ ней, точно, убитый, отправился къ себѣ, велѣлъ камердинеру уложиться, послалъ за почтовыми лошадьми и уѣхалъ въ свою деревню, куда нѣсколько лѣтъ не заглядывалъ.

Райскій зашелъ къ нему и съ удивленіемъ услышалъ эту новость. Обратился къ бабушкѣ, та сказала, что у него въ деревнѣ что-то не покойно.

Вѣра была грустнѣе, нежели когда-нибудь. Она больше лежала небрежно на диванѣ и смотрѣла на полъ, или ходила взадъ и впередъ по комнатамъ стараго дома, блѣдная, съ желтыми пятнами около глазъ.

На лбу у ней въ эти минуты ложилась рѣзкая линія— намекъ на будущую морщину. Она грустно улыбалась, глядя на себя въ зеркало. Иногда подходила къ столу, гдѣ лежало нераспечатанное письмо на синей бумагѣ, бралась за ключъ и съ ужасомъ отходила прочь.

«Куда уйти? гдѣ спрятаться отъ цѣлаго міра?» думала она.

Нынѣшній день протянулся до вечера, какъ вчерашній, какъ, вѣроятно, протянется, завтрашній. Насталъ вечеръ, ночь. Вѣра легла и загасила свѣчу, глядя открытыми глазами въ темноту. Ей хотѣлось забыться, уснуть, но сонъ не приходилъ.

Въ темнотѣ рисовались ей какія-то пятна, чернѣе самой темноты. Пробѣгали, волнуясь, какія-то тѣни по слабому свѣту оконъ. Но она не пугалась; нервы были убиты, и она не замерла бы отъ ужаса, если бъ изъ угла встало передъ ней привидѣніе, или вкрался бы воръ или убійца въ комнату, не смутилась бы, если бъ ей сказали, что она не встанетъ болѣе.

И она продолжала глядѣть въ темноту, на проносившіяся волнистыя тѣни, на черныя пятна, сгущавшіяся въ темнотѣ, на какіе-то вертящіеся, какъ въ калейдоскопѣ, кружки...

Вдругъ ей показалось, что дверь ея начинаетъ понемногу отворяться, вотъ скрипнула...

Она уперлась на локоть и устремила глаза въ дверь.

Показался свѣтъ и рука, загородившая огонь. Вѣра перестала смотрѣть, положила голову на подушку и притворилась спящею. Она видѣла, что это была Татьяна Марковна, входившая осторожно, съ ручной лампой. Она спустила съ плечъ на стулъ салопъ и шла тихо къ постели, въ бѣломъ капотѣ, безъ чепца, какъ привидѣніе.

Поставивъ лампу на столикъ, за изголовьемъ Вѣры, она сама сѣла напротивъ, на кушетку, такъ тихо, что не стукнула лампа у ней, когда она ставила ее на столикъ, не заскрипѣла кушетка, когда она садилась.

Она пристально смотрѣла на Вѣру; та лежала съ закрытыми глазами. Татьяна Марковна, опершись щекой на руку, не спускала съ нея глазъ, и изрѣдка, удерживая вздохи, тихо облегчала ими грудь.

Прошло больше часа. Вѣра вдругъ открыла глаза. Татьяна Марковна смотритъ на нее пристально.

— Тебѣ не спится, Вѣрочка?

— Не спится.

— Отчего?

Молчаніе. Вѣра глядѣла въ лицо Татьяны Марковны и замѣтила, что она блѣдна.

«Не можетъ перенести удара», думала Вѣра: «а притворства недостаетъ, правда рвется наружу...»

— Зачѣмъ вы казните меня и по ночамъ, бабушка?— сказала она тихо.

Бабушка молча смотрѣла на нее.

Вѣра отвѣчала ей такимъ же продолжительнымъ взглядомъ. Обѣ женщины говорили глазами и, казалось, понимали другъ друга.

— Не смотрите такъ, ваша жалость убьетъ меня. Лучше сгоните меня со двора, а не изливайте по каплѣ презрѣніе... Бабушка! мнѣ невыносимо тяжело! простите, а если нельзя, схороните меня куда-нибудь живую. Я бы утопилась...

— Зачѣмъ, Вѣра, не то говоритъ у тебя языкъ, что думаетъ голова?

— А зачѣмъ вы молчите? что у васъ на умѣ? Я не понимаю вашего молчанія и мучаюсь. Вы хотите что-то сказать и не говорите...

— Тяжело, Вѣра, говорить. Молись, и пойми бабушку безъ разговора.... если можно...

— Пробовала молиться, да не могу. О чемъ? чтобъ умереть скорѣй?

— О чемъ ты тоскуешь, когда все забыто? — сказала Татьяна Марковна, пытаясь еще разъ успокоить Вѣру, и пересѣла съ кушетки къ ней на постель.

— Нѣтъ, не забыто! Моя вина написана у васъ въ глазахъ... Они все говорятъ...

— Что они говорятъ?

— Что нельзя жить больше, что... все погибло.

— Не умѣешь ты читать бабушкиныхъ взглядовъ!

— Я умру, я знаю! только бы скорѣй, ахъ, скорѣй!— говорила Вѣра, ворочая лицо къ стѣнѣ.

[illegible] покачала головой.

[illegible] уверенностью повторила

[illegible] жимъ вздохомъ сказала Татьяна

[illegible] вглядываясь къ ней, спросила Вѣра.

[illegible] сомнительно.

[illegible] вы не такая!..

[illegible] вглядываясь къ ней, прошеп-

[illegible] на нее съ жадностью раза два,

[illegible] на подушки.

[illegible] были въ моемъ поло-

[illegible] про себя. — Вы пра-

[illegible] прошептала Татьяна Мар-

[illegible] грѣшная, какъ я...

[illegible] опершись на локоть, съ ужасомъ

[illegible] Вѣра.

[illegible]

[illegible] и въ кофту и прижа-

[illegible] — почти шипѣла она,

[illegible] милую Вѣру? Бабушка,

[illegible] едва осиливая себя,

[illegible] ли я теперь? Я грѣш-

[illegible] ла, сползая на колѣни пе-

[illegible] ей на грудь.—Прости и

— Бабушка...- шептала она, и въ изумленіи широко открыла глаза, точно воскресая:—можетъ ли это быть?

И вдругъ съ силой прижала голову старухи къ груди.

— Что ты дѣлаешь? зачѣмъ говоришь мнѣ это?.. Молчи! Возьми назадъ свои слова! Я не слыхала, я ихъ забуду, сочту своимъ бредомъ... не казни себя для меня!

— Нельзя, Богъ велитъ!—говорила старуха, стоя на колѣняхъ у постели и склонивъ голову.

— Встань, бабушка!.. Поди ко мнѣ сюда!..

Бабушка плакала у ней на груди.

И Вѣра зарыдала, какъ ребенокъ.

— Зачѣмъ сказала ты...

— Надо! *Онъ* велитъ смириться,—говорила старуха, указывая на небо:—просить у внучки прощенія. Прости меня, Вѣра, прежде ты. Тогда и я могу простить тебя... Напрасно я хотѣла обойти тайну, умереть съ ней... Я погубила тебя своимъ грѣхомъ...

— Ты спасаешь меня, бабушка... отъ отчаянія...

— И себя тоже, Вѣра. Богъ проститъ насъ, но Онъ требуетъ очищенія! Я думала, грѣхъ мой забытъ, прощенъ. Я молчала и казалась праведной людямъ: не правда! Я была — какъ «окрашенный гробъ» среди васъ, а внутри таился неомытый грѣхъ! Вотъ онъ гдѣ вышелъ наружу—въ твоемъ грѣхѣ! Богъ покаралъ меня въ немъ... Прости же меня отъ сердца...

— Бабушка! развѣ можно прощать свою мать? Ты святая женщина! Нѣтъ другой такой матери... Если бъ я тебя знала... вышла ли бы я изъ твоей воли?..

— Это мой другой страшный грѣхъ!—перебила ее Татьяна Марковна:—я молчала и не отвела тебя... отъ обрыва! Мать твоя изъ гроба достаетъ меня за это; я чувствую—она все снится мнѣ... Она теперь тутъ, между насъ... Прости меня и ты, покойница! —говорила старуха, дико озираясь вокругъ и простирая руку къ небу. У Вѣры пробѣжал

по тѣлу.—Прости и ты, Вѣра—простите обѣ!.. Будемъ молиться!..

Вѣра силилась поднять ее.

Татьяна Марковна тяжело встала на ноги и сѣла на кушетку. Вѣра подала ей одеколонъ и воды, смочила ей виски, дала успокоительныхъ капель, и сама сѣла на коврѣ, осыпая поцѣлуями ея руки.

— Ты знаешь, нѣтъ ничего тайнаго, что̀ не вышло бы наружу! — заговорила Татьяна Марковна, оправившись! — Сорокъ пять лѣтъ два человѣка только знали: *онъ*, да Василиса, и я думала, что мы умремъ всѣ съ тайной. А вотъ— она вышла наружу! Боже мой! — говорила какъ будто въ помѣшательствѣ Татьяна Марковна, вставая, складывая руки и протягивая ихъ къ образу Спасителя:—если бъ я знала, что этотъ громъ ударитъ когда-нибудь въ другую... въ мое дитя, — я бы тогда же на площади, передъ соборомъ, въ толпѣ народа, исповѣдала свой грѣхъ!

Вѣра слушала въ изумленіи, глядя большими глазами на бабушку, боялась вѣрить, пытливо изучала каждый ея взглядъ и движеніе, сомнѣваясь, не героическій ли это поступокъ, не великодушный ли замыселъ — спасти ее, падшую, поднять? Но молитва, колѣнопреклоненіе, слезы старухи, обращеніе къ умершей матери... Нѣтъ, никакая актриса не покусилась бы играть въ такую игру, а бабушка—вся правда и честность!

Вѣрѣ становилось тепло въ груди, легче на сердцѣ. Она внутренно вставала на ноги, будто пробуждалась отъ сна, чувствуя, что въ нее льется волнами опять жизнь, что тихо, какъ другъ, стучится миръ въ душу, что душу эту, какъ темный, запущенный храмъ, освѣтили огнями и наполнили опять молитвами и надеждами. Могила обращалась въ цвѣтникъ.

Кровь у ней начала свободно переливаться въ жилахъ; далъ мало-по-малу принимала свой утерянный ходъ, какъ

испорченные и исправленные рукою мастера часы. Люди къ ней дружелюбны, природа опять заблеститъ для нея красотой.

Завтра она встанетъ бодрая, живая, покойная, увидитъ любимыя лица, увѣрится, что Райскій не притворялся, говоря, что она стала его лучшей, поэтической мечтой.

Тушинъ попрежнему будетъ гордъ и счастливъ ея дружбой и станетъ «любить ее еще больше», онъ самъ сказалъ. Съ бабушкой онѣ теперь — не бабушка съ внучкой, а двѣ подруги, близкія, равныя, неразлучныя.

Она даже нечаянно начала ей говорить *ты*, какъ и Райскому, когда заговорило прямо сердце, забывшее холодное *вы*, и она оставитъ за собой это право.

Она теперь только поняла эту усилившуюся къ ней, послѣ признанія, нѣжность и ласки бабушки. Да, бабушка взяла ея неудобоносимое горе на свои старыя плечи, стерла своей виной ея вину и не сочла послѣднюю за «потерю чести». Потеря чести! Эта справедливая, мудрая, нѣжнѣйшая женщина въ мірѣ, всѣхъ любящая, исполняющая такъ свято всѣ свои обязанности, никого никогда не обидѣвшая, никого не обманувшая, всю жизнь отдавшая другимъ, — эта, всѣми чтимая женщина, «пала, потеряла честь!»

Стало-быть ей, Вѣрѣ, надо быть бабушкой въ свою очередь, отдать всю жизнь другимъ, и путемъ долга, нескончаемыхъ жертвъ и труда, начать «новую» жизнь, не похожую на ту, которая стащила ее на дно обрыва... любить людей, правду, добро...

Все это вихремъ неслось у ней въ головѣ и будто уносило ее-самоё на какихъ-то облакахъ. Ей на душѣ становилось свободнѣе, какъ преступнику, которому расковали руки и ноги.

Она вдругъ встала...

— Бабушка, — сказала она: — ты меня простила, ты любишь меня больше всѣхъ, больше Марѳиньки — я это знаю!

А видишь ли, знаешь ли ты, какъ я тебя люблю? Я не страдала бы такъ сильно, если бъ такъ же сильно не любила тебя! Какъ долго мы не знали съ тобой другъ друга!..

— Сейчасъ узнаешь все, выслушай мою исповѣдь — и осуди строго, или прости—и Богъ проститъ насъ...

— Я не хочу, не должна, не смѣю! Зачѣмъ?..

— Затѣмъ, чтобъ и мнѣ вытерпѣть теперь тò, чтò я должна была вытерпѣть сорокъ пять лѣтъ тому назадъ. Я украла свой грѣхъ! Ты знаешь его, узнаетъ и Борисъ. Пусть внукъ посмѣется надъ сѣдинами старой Кунигунды!..

Бабушка прошла раза два въ волненіи по комнатѣ, тряся съ фанатической рѣшимостью головой.

Она опять походила на старый женскій, фамильный портретъ въ галлереѣ, съ суровой важностью, съ величіемъ и увѣренностью въ себѣ, съ лицомъ, истерзаннымъ пыткой, и съ гордостью, осилившей пытку. Вѣра чувствовала себя жалкой дѣвочкой передъ ней и робко глядѣла ей въ глаза, мысленно мѣряя свою молодую, только-что вызванную на борьбу съ жизнью силу — съ этой старой, искушенной въ долгой жизненной борьбѣ, но еще крѣпкой, повидимому, несокрушимой силой.

«Я не понимала ея! Гдѣ была моя хваленая «мудрость» передъ этой бездной!..» думала она, и бросилась на помощь бабушкѣ—помѣшать исповѣди, отвести ненужныя и тяжелыя страданія отъ ея измученной души.

Она стала передъ ней на колѣни и взяла ее за обѣ руки.

— Ты сама чувствуешь, бабушка, — сказала она: — чтò ты сдѣлала теперь для меня: всей моей жизни недостанетъ, чтобъ заплатить тебѣ. Нейди далѣе; здѣсь конецъ твоей казни! Если ты непремѣнно хочешь, я шепну слово брату о твоемъ прошломъ—и пусть оно закроется навсегда! Я видѣла твою мýку, зачѣмъ ты хочешь еще истязать себя исповѣдью? Судъ совершился—я не приму ея. Не мнѣ слушать и судить тебя—дай мнѣ только обожать твои святыя

сѣдины и благословлять всю жизнь! Я не стану слушать: это мое послѣднее слово!

Татьяна Марковна вздохнула, потомъ обняла ее.

— Да будетъ такъ! — сказала она: — я принимаю твое рѣшеніе, какъ Божіе прощеніе — и благодарю тебя за пощаду моей сѣдины...

— Пойдемъ теперь туда, къ тебѣ, отдохнемъ обѣ, — говорила Вѣра.

Татьяна Марковна почти на рукахъ донесла ее до дому, уложила въ свою постель и легла съ ней рядомъ.

Когда Вѣра, согрѣтая въ ея объятіяхъ, тихо заснула, бабушка осторожно встала и, взявъ ручную лампу, загородила рукой свѣтъ отъ глазъ Вѣры и нѣсколько минутъ освѣщала ея лицо, глядя съ умиленіемъ на эту блѣдную, чистую красоту лба, закрытыхъ глазъ, и на всѣ, точно рукой великаго мастера изваянныя, чистыя и тонкія черты бѣлаго мрамора, съ глубокимъ, лежащимъ въ нихъ миромъ и покоемъ.

Она поставила лампу, перекрестила спящую, дотронулась губами до ея лба и опустилась на колѣни у постели.

— Милосердуй надъ ней!—молилась она почти въ изступленіи: — и если не исполнилась еще мѣра гнѣва Твоего, отведи его отъ нея—и ударь опять въ мою сѣдую голову!..

Долго послѣ молитвы сидѣла она надъ спящей, потомъ тихо легла подлѣ нея и окружила ея голову своими руками. Вѣра пробуждалась иногда, открывала глаза на бабушку, опять закрывала ихъ, и въ полуснѣ прижимала все плотнѣе и плотнѣе лицомъ къ ея груди, какъ будто хотѣла глубже зарыться въ ея объятія.

XI.

Проходили дни, и съ ними опять тишина повисла надъ Малиновкой. Опять жизнь, задержанная катастрофой, какъ

порогами, прорвалась сквозь преграду и потекла дальше, ровнѣе.

Но въ этой тишинѣ отсутствовала безпечность. Какъ на природу внѣшнюю, такъ и на людей, легла будто осень. Всѣ были задумчивы, сосредоточены, молчаливы, отъ всѣхъ отдавало холодомъ, слетѣли и съ людей, какъ листья съ деревьевъ, улыбки, смѣхъ, радости. Мучительныя скорби миновали, но колоритъ и тоны прежней жизни измѣнились.

У Вѣры съ бабушкой установилась тѣсная, безмолвная связь. Онѣ, со времени извѣстнаго вечера, послѣ взаимной исповѣди, хотя и успокоили одна другую, но не вполнѣ успокоились другъ за друга, и обѣ вопросительно, отчасти недовѣрчиво, смотрѣли вдаль, опасаясь будущаго.

Переработаетъ ли въ себѣ бабушка всю эту внезапную тревогу, какъ землетрясеніе, всколыхавшую ея душевный миръ? спрашивала себя Вѣра и читала въ глазахъ Татьяны Марковны, привыкаетъ ли она къ другой, не прежней Вѣрѣ, и къ ожидающей ее новой, неизвѣстной, а не той судьбѣ, какую она ей гадала? Не сѣтуетъ ли безсознательно про себя на ея своевольное ниспроверженіе своей счастливой, старческой дремоты? Воротится ли къ ней когда-нибудь ясность и покой въ душу?

А Татьяна Марковна старалась угадывать будущее Вѣры, боялась, вынесетъ ли она крестъ покорнаго смиренія, какой судьба, по ея мнѣнію, налагала, какъ искупленіе за «грѣхъ»? Не подточитъ ли сломленная гордость и униженное самолюбіе ея нѣжныхъ, молодыхъ силъ? Излѣчима ли ея тоска, не обратилась бы она въ хроническую болѣзнь?

Бабушка машинально приняла опять бразды правленія надъ своимъ царствомъ. Вѣра усердно ушла въ домашнія хлопоты, особенно заботилась о приданомъ Мареиньки, и принесла туда свой вкусъ и трудъ.

Въ ожиданіи какого-нибудь серьезнаго труда, какой могла дать ей жизнь со временемъ, по ея уму и силамъ,

она положила не избѣгать никакого дѣла, какое представится около нея, какъ бы оно просто и мелко ни было — находя, что, подъ презрѣніемъ къ мелкому, обыденному дѣлу и подъ мнимымъ ожиданіемъ или изобрѣтеніемъ какого-то новаго, еще небывалаго труда и дѣла, кроется у большей части просто лѣнь, или неспособность, или наконецъ больное и смѣшное самолюбіе — ставить самихъ себя выше своего ума и силъ.

Она рѣшила, что «дѣла» изобрѣтать нельзя, что оно само, силою обстоятельствъ, выдвигается на очередь въ данный моментъ, и что такимъ естественнымъ путемъ рождающееся дѣло—только и важно, и нужно.

Слѣдовательно, надо зорко смотрѣть около, не лежитъ ли праздно несдѣланное дѣло, за которымъ явится на очередь слѣдующее, по порядку, и не бросаться за какимъ-нибудь блуждающимъ огнемъ, или «миражемъ», какъ говоритъ Райскій.

Не надо пуще всего покладывать рукъ и коснѣть «въ блаженномъ успеніи», въ постоянномъ «отдыхѣ», безъ всякаго труда.

Она была блѣднѣе прежняго, въ глазахъ ея было меньше блеска, въ движеніяхъ меньше живости. Все это могло быть слѣдствіемъ болѣзни, скоро захваченной горячки; такъ всѣ и полагали вокругъ. При всѣхъ она держала себя обыкновенно, шила, порола, толковала со швеями, писала реестры, счеты, исполняла порученія бабушки. И никто ничего не замѣчалъ.

— Поправляется барышня,—говорили люди.

Райскій замѣчалъ также благопріятную перемѣну въ ней, и по временамъ, видя ее задумчивою, улавливая иногда блеснувшія и пропадающія слезы, догадывался, что это были только слѣды удаляющейся грозы, страсти. Онъ былъ доволенъ, и его собственныя волненія умолкали все болѣе и болѣе, по мѣрѣ того, какъ выживались изъ памяти всѣ пре-

пятствія, раздражавшія страсть, всѣ сомнѣнія, соперничество, ревность.

Вѣра, по настоянію бабушки (сама Татьяна Марковна не могла), передала Райскому только глухой намекъ о ея любви, предметомъ которой былъ Ватутинъ, не сказавъ ни слова о «грѣхѣ». Но этимъ полудовѣріемъ вовсе не рѣшилась для Райскаго загадка—откуда бабушка, въ его глазахъ, старая дѣвушка, могла почерпнуть силу, чтобъ снести, съ не-дѣвическою твердостью, мужественно, не только самой — тяжесть «бѣды», но успокоить и Вѣру, спасти ее окончательно отъ нравственной гибели, собственнаго отчаянія.

А она очевидно сдѣлала это. Какъ она пріобрѣла власть надъ умомъ и довѣріемъ Вѣры? Онъ недоумѣвалъ—и только больше удивлялся бабушкѣ, и это удивленіе выражалось у него невольно.

Все обращеніе его съ нею приняло характеръ глубокаго, нѣжнаго почтенія и сдержанной покорности. Возраженія на ея слова, прежняя комическая война съ ней—уступили мѣсто изысканному уваженію къ каждому ея слову, желанію и намѣренію. Даже въ движеніяхъ его появилась сдержанность, почти до робости.

Онъ не забирался при ней на диванъ прилечь, вставалъ, когда она подходила къ нему, шелъ за ней послушно въ деревню и поле, когда она шла гулять, терпѣливо слушалъ ея объясненія по хозяйству. Во всѣ, даже мелкія отношенія его къ бабушкѣ, проникло то удивленіе, какое вызываетъ невольно женщина, съ сильной нравственной властью.

А она, совершивъ подвигъ, устоявъ тамъ, гдѣ падаютъ ничкомъ мелкія натуры, вынесши и свое, и чужое бремя съ разумомъ и величіемъ, тутъ же, на его глазахъ, мало-по-малу, опять обращалась въ простую женщину, уходила въ мелочи жизни, какъ будто пряча свои силы и величіе опять—до случая, даже не подозрѣвая, какъ она вдругъ выросла, стала героиней и какой подвигъ совершила.

Въ дворнѣ, послѣ пронесшейся, какой-то необъяснимой для нея тучи, было недоумѣніе, тяжесть. Люди притихли. Не слышно шума, брани, смѣха, присмирѣли дѣвки, оттоняя Егорку прочь.

Въ особенно затруднительномъ положеніи очутилась Василиса. Она и Яковъ, какъ сказано, дали обѣтъ, если барыня придетъ въ себя и выздоровѣетъ, онъ—поставитъ большую вызолоченную свѣчу къ мѣстной иконѣ въ приходской церкви, а она сходитъ пѣшкомъ въ Кіевъ.

Яковъ исчезъ однажды рано утромъ со двора, взявъ на свѣчу денегъ изъ лампадной суммы, отпускаемой ему на руки барыней. Онъ водрузилъ обѣщанную свѣчу передъ иконой за ранней обѣдней.

Но у него оказался излишекъ отъ взятой изъ дома суммы. Крестясь поминутно, онъ вышелъ изъ церкви и прошелъ въ слободу, гдѣ оставилъ и излишекъ, и пришелъ домой «веселыми ногами», съ легкимъ румянцемъ на щекахъ и на носу.

Его нечаянно встрѣтила Татьяна Марковна. Она издали почуяла запахъ вина.

— Что съ тобой, Яковъ?—спросила она съ удивленіемъ.— Ради чего ты...

— Сподобился, сударыня!—отвѣчалъ онъ, набожно склонивъ голову на сторону и сложивъ руки горстями на груди, одна на другую.

Онъ объявилъ и Василисѣ, что «сподобился» выполнить обѣтъ.

Василиса поглядѣла на него и вдругъ стала сама не своя. Она тоже «обѣщалась», и до этой минуты, среди хлопотъ около барыни, съ приготовленіями къ свадьбѣ, не вспомнила объ обѣтѣ.

И вдругъ Яковъ уже исполнилъ, и притомъ въ одно утро, и вонъ ходитъ, полный благочестиваго веселья. А она обѣщалась въ Кіевъ сходить!

— Какъ я пойду, силы нѣтъ,—говорила она, щупая себя.—У меня и костей почти нѣтъ, все однѣ мякоти! Не дойду—Господи помилуй!

И точно у ней однѣ мякоти. Она насидѣла ихъ у себя въ своей комнатѣ, сидя тридцать лѣтъ на стулѣ у окна, между бутылями съ наливкой, не выходя на воздухъ, двигаясь тихо только около барыни, да въ кладовыя. Питалась она однимъ кофе, да чаемъ, хлѣбомъ, картофелемъ и огурцами, иногда рыбою, даже въ мясоѣдъ.

Она пошла къ отцу Василью, прося рѣшить ея сомнѣнія. Она слыхала, что добрые «батюшки» даже разрѣшаютъ отъ обѣта совсѣмъ, по немощи, или замѣняютъ его другимъ.—Какимъ?—спрашивала она себя на случай, если отецъ Василій допуститъ замѣнъ.

Она сказала, по какому случаю обѣщалась, и спросила:—идти ли ей?

— Коли обѣщалась, какъ же нейти?—сказалъ отецъ Василій.—Надо идти!

— Да я съ испуга обѣщалась, думала, барыня помретъ. А она черезъ три дня встала. Такъ за что жъ я этакую даль пойду?

— Да, это не ближній путь, въ Кіевъ! Вотъ то-то, обѣщать, а потомъ и мазадъ!—журилъ онъ:—не хорошо. Не надо было обѣщать, коли охоты нѣтъ...

— Есть, батюшка, да силъ нѣтъ, мякоти одолѣли, до церкви дойду—одышка мучаетъ. Мнѣ седьмой десятокъ! Другое дѣло, кабы барыня маялась въ постели мѣсяца три, да причастили ее и особоровали бы масломъ, а Богъ, по моей грѣшной молитвѣ, поднялъ бы ее на ноги, такъ я бы хоть ползкомъ поползла. А то она и недѣли не хворала!

Отецъ Василій улыбнулся.

— Какъ же быть?—сказалъ онъ.

— Я бы другое что̀ обѣщала. Нельзя ли перемѣнить?

— На что̀ же другое?

Василиса задумалась.

— Я постъ на себя наложила бы; мяса всю жизнь въ ротъ не стану брать, такъ и умру.

— А ты любишь его?

— Нѣтъ, и смотрѣть-то тошно! отвыкла отъ него...

Отецъ Василій опять улыбнулся.

— Какъ же такъ,—сказалъ онъ: — вѣдь надо замѣнить трудное одинаково труднымъ или труднѣйшимъ, а ты полегче выбрала!

Василиса вздохнула.

— Нѣтъ ли чего-нибудь такого, чего бы тебѣ не хотѣлось исполнить—подумай!

Василиса подумала и сказала, что нѣтъ.

— Ну, такъ надо въ Кіевъ идти!—рѣшилъ онъ.

— Если бъ не мякоти, съ радостью бы пошла, вотъ передъ Богомъ!

Отецъ Василій задумался.

— Какъ бы облегчить тебя?—думалъ онъ вслухъ.—Ты что любишь, какую пищу употребляешь?

— Чай, кофій—да похлебку съ грибами и картофелемъ...

— Кофе любишь?

— Охотница.

— Ну такъ—воздержись отъ кофе, не пей!

Она вздохнула.

«Да», подумалось ей: «и правду тяжело: это почти все равно, что въ Кіевъ идти!»

— Чѣмъ же мнѣ питаться, батюшка?—спросила она.

— Мясомъ.

Она взглянула на него, не смѣется ли онъ.

Онъ точно смѣялся, глядя на нее.

— Вѣдь ты не любишь его, ну, и принеси жертву.

— Какая же польза: оно скоромное, батюшка.

— Ты въ скоромные дни и питайся имъ! А польза та,

что мякотей меньше будетъ. Вотъ тебѣ полгода срокъ: выдержи—и обѣтъ исполнишь.

Она ушла, очень озабоченная, и съ другого дня послушно начала исполнять новое обѣщаніе, со вздохомъ отворачивая носъ отъ кипящаго кофейника, который носила по утрамъ барынѣ.

Еще съ Мариной что-то недоброе случилось. Она, еще до болѣзни барыни, ходила какой-то одичалой и задумчивой и валялась съ недѣлю на лежанкѣ, а потомъ слегла, объявивъ, что нездорова, встать не можетъ.

— Богъ караетъ!—говорилъ Савелій, кряхтя и кутая ее въ теплое одѣяло.

Василиса доложила барынѣ. Татьяна Марковна велѣла позвать Меланхолиху, ту самую бабу-лѣкарку, къ которой отправляли дворовыхъ и другихъ простыхъ людей, на вылѣчку.

Меланхолиха, по тщательномъ освидѣтельствованіи больной, шопотомъ объявила Василисѣ, что болѣзнь Марины превышаетъ ея познанія. Ее отправили въ клинику, въ сосѣдній городъ, за двѣсти верстъ.

Самъ Савелій отвезъ ее, и по возвращеніи, на вопросы обступившей его дворни, хотѣлъ что-то сказать, но только поглядѣлъ на всѣхъ, поднялъ выше обыкновеннаго кожу на лбу, сдѣлавъ складку въ палецъ толщиной, потомъ плюнулъ, повернулся спиной и шагнулъ за порогъ своей клѣтушки.

Недѣли черезъ полторы, Марѳинька вернулась съ женихомъ и съ его матерью изъ-за Волги, еще веселѣе, счастливѣе, и здоровѣе, нежели поѣхала. Оба успѣли пополнѣть. Оба привезли-было свой смѣхъ, живость, шумъ, бѣготню, веселые разговоры.

Но едва пробыли часа два дома, какъ оробѣли и присмирѣли, не найдя ни въ комъ и ни въ чемъ отвѣта и сочувствія своимъ шумнымъ изліяніямъ. Отъ смѣха и весе-

лаго говора раздавалось около нихъ печальное эхо, какъ въ пустомъ домѣ.

На всемъ лежалъ какой-то туманъ. Даже птицы отвыкли летать къ крыльцу, на которомъ кормила ихъ Марѳинька. Ласточки, скворцы и всѣ лѣтніе обитатели рощи улетѣли, и журавлей не видно надъ Волгой. Котята всѣ куда-то разбѣжались.

Цвѣты завяли, садовникъ выбросилъ ихъ, и передъ домомъ, вмѣсто цвѣтника, лежали черные круги взрытой земли, съ каймой блѣднаго дерна, да полосы пустыхъ грядъ. Нѣсколько деревьевъ завернуты были въ рогожу. Роща обнажалась все больше и больше отъ листьевъ. Сама Волга почернѣла, готовясь замерзнуть.

Но это природа! это само по себѣ не дѣлаетъ, а только усиливаетъ скуку людямъ. А вотъ—что съ людьми сталось, со всѣмъ домомъ? спрашивала Марѳинька, глядя въ недоумѣніи вокругъ.

Гнѣздышко Марѳиньки, ея комнатки наверху, потеряли свою веселость. Въ немъ поселилось съ Вѣрой грустное молчаніе.

У Марѳиньки на глазахъ были слезы. Отчего все измѣнилось? Отчего Вѣрочка перешла изъ стараго дома? Гдѣ Титъ Никонычъ? Отчего бабушка не бранитъ ее, Марѳиньку: не сказала даже ни слова за то, что, вмѣсто недѣли, она пробыла въ гостяхъ двѣ? Не любитъ больше? Отчего Вѣрочка не ходитъ попрежнему одна по полямъ и рощѣ? Отчего всѣ такіе скучные, не говорятъ другъ съ другомъ, не дразнятъ ее женихомъ, какъ дразнили до отъѣзда? О чемъ молчатъ бабушка и Вѣра? Что сдѣлалось со всѣмъ домомъ?

Марѳиньку кое-какъ успокоили отвѣтами на нѣкоторые вопросы. Другіе обошли молчаніемъ.

— Вѣра перешла оттого, — сказали ей: — что печи въ старомъ домѣ, въ ея комнатѣ, стали плохи, не держатъ тепла.

— Титъ Никонычъ уѣхалъ унимать безпорядки въ деревнѣ.

— Вѣра не ходитъ гулять, потому что простудилась и пролежала три дня въ постели, почти въ горячкѣ.

Мареинька, услыхавъ слово «горячка», испугалась заднимъ числомъ и заплакала.

На вопросъ, «о чемъ бабушка съ Вѣрой молчатъ и отчего первая ее ни разу не побранила, что̀ значило—не любитъ», Татьяна Марковна взяла ее за обѣ щеки и задумчиво, со вздохомъ, поцѣловала въ лобъ. Это только больше опечалило Мареиньку.

— Мы верхомъ ѣздили, Николай Андреичъ дамское сѣдло выписалъ. Я одна каталась въ лодкѣ, сама гребла, въ рощу съ бабами ходила! — затрогивала Мареинька бабушку, въ надеждѣ, не побранитъ ли она хоть за это.

Татьяна Марковна будто̀ съ укоромъ покачала головой, но Мареинька видѣла, что это притворно, что она думаетъ о другомъ, или уйдетъ и сядетъ подлѣ Вѣры.

Мареинька печалилась и ревновала ее къ сестрѣ, но сказать боялась и потихоньку плакала. Едва ли это была не первая серьезная печаль Мареиньки, такъ что и она безсознательно приняла общій серьезно-туманный тонъ, какой лежалъ надъ Малиновкой и ея жителями.

Она молча сидѣла съ Викентьевымъ; шептать имъ было не о чемъ. Они и прежде бесѣдовали о своихъ секретахъ во всеуслышаніе. И рѣдко-рѣдко удавалось Райскому вызвать ее на свободный лепетъ, или ужъ Викентьевъ такъ разсмѣшитъ, что терпѣнья никакого не станетъ, и она прорвется нечаянно смѣхомъ, а потомъ сама испугается, оглянется вокругъ, замолчитъ и погрозитъ ему.

Викентьеву это молчаніе, сдержанность, печальный тонъ были не по натурѣ. Онъ сталъ подговаривать мать попросить у Татьяны Марковны позволенія увезти невѣсту и уѣхать опять въ Колчино до свадьбы, до конца октября. Къ

удовольствію его, согласіе послѣдовало легко и скоро, и молодая чета, какъ пара ласточекъ, съ веселымъ крикомъ улетѣла отъ осени къ теплу, свѣту, смѣху, въ свое будущее гнѣздо.

Бабушка однако замѣтила печаль Мареиньки, и сколько могла, отвлекла ея вниманіе отъ всякихъ догадокъ и соображеній, успокоила, обласкала и отпустила веселой и беззаботной, обѣщавши пріѣхать за ней сама, «если она будетъ вести себя тамъ умно».

Райскій съѣздилъ за Титомъ Никонычемъ и привезъ его чуть живого. Онъ похудѣлъ, пожелтѣлъ, еле двигался, и только увидѣвъ Татьяну Марковну, всю ея обстановку, и себя самого среди этой картины, за столомъ, съ заткнутой за галстукъ салфеткой, или у окна на табуретѣ, подлѣ ея кресель, съ налитой ею чашкой чаю — мало-по-малу пришелъ въ себя и сталъ радоваться, какъ ребенокъ, у котораго отняли, и вдругъ опять отдали игрушки.

Онъ, отъ радости, вдругъ засмѣется и закроется салфеткой, потретъ руки одна о другую съ жаромъ, или встанетъ, и ни съ того, ни съ сего, поклонится всѣмъ присутствующимъ и отчаянно шаркнетъ ножкой. А когда всѣ засмѣются надъ нимъ, онъ засмѣется пуще всѣхъ, сниметъ парикъ и погладитъ себѣ съ изступленіемъ лысину, или потреплетъ, вмѣсто Пашутки, Василису по щечкѣ.

Словомъ, онъ немного одурѣлъ и пришелъ въ себя на третій день—и тогда уже сталъ задумчивъ, какъ другіе.

Кругъ семьи въ Малиновкѣ увеличился однимъ членомъ. Райскій однажды вдругъ явился съ Козловымъ къ обѣду. Сердечнѣе, радушнѣе встрѣчи нельзя нигдѣ и никому оказать, какая оказана была оставленному своей Дидоной супругу.

Татьяна Марковна, съ женскимъ тактомъ, не дала ему замѣтить, что знаетъ его горе. Обыкновенно въ такихъ слу-

чаяхъ встрѣчаютъ гостя натянутымъ молчаніемъ, а она встрѣтила его шуткой, и этому тону ея послѣдовали всѣ.

— Что̀ это ты (она давно говорила ему это драгоцѣнное *ты*), Леонтій Ивановичъ, забылъ насъ совсѣмъ? Борюшка говоритъ, что я не умѣю угостить тебя, что кухня моя тебѣ не нравится: ты говорилъ ему?

— Какъ не нравится? когда я говорилъ тебѣ?—обратился онъ строго къ Райскому.

Всѣ засмѣялись.

— Да вы нарочно!—улыбнувшись нехотя, сказалъ Леонтій.

Онъ ужъ успѣлъ настолько справиться съ своимъ горемъ, что сталъ сознавать необходимость сдерживаться при людяхъ и прикрывать свою невзгоду условнымъ приличіемъ.

— Да, не былъ я у васъ давно, у меня жена... уѣхала въ Москву... повидаться съ родными, — тихо сказалъ онъ, глядя внизъ:—такъ я и не могъ...

— Вотъ ты бы у насъ пожилъ,—замѣтила Татьяна Марковна:—одному скучно дома...

— Я жду ее... боюсь, чтобъ безъ меня не пріѣхала.

— Тебѣ дадутъ знать, вѣдь мимо насъ ей ѣхать. Мы сейчасъ остановимъ, какъ только въѣдетъ въ слободу. Изъ оконъ стараго дома видно, когда ѣдутъ по дорогѣ.

— Въ самомъ дѣлѣ... Да, оттуда видна московская дорога,—съ оживленіемъ поднявъ на Татьяну Марковну глаза, сказалъ Козловъ и почти обрадовался.

— Право, переѣзжай къ намъ!..

— Да, я бы, пожалуй...

— Я просто не пущу тебя сегодня, Леонтій, — сказалъ Райскій: — мнѣ скучно одному; я перейду въ старый домъ съ тобой вмѣстѣ, а потомъ, послѣ свадьбы Марфиньки, уѣду. Ты при бабушкѣ и при Вѣрѣ будешь первымъ министромъ, другомъ и тѣлохранителемъ.

Онъ посмотрѣлъ на всѣхъ.

— Да, покорно благодарю, лишь бы только не обезпокоить чѣмъ...

— Какъ тебѣ не стыдно...—начала бабушка.

— Извините, Татьяна Марковна!

— Кушай лучше, чѣмъ пустое говорить; вонъ у тебя стынетъ супъ...

— А вѣдь мнѣ ѣсть хочется!—вдругъ сказалъ онъ, принимаясь за ложку и засмѣялся:—я что-то давно не ѣлъ...

Онъ, задумчиво глядя куда-то, должно-быть на московскую дорогу, съѣлъ машинально супъ, потомъ положенный ему на другую тарелку пирогъ, потомъ мясо, и молча окончилъ весь обѣдъ.

— У васъ покойно, хорошо!—говорилъ онъ послѣ обѣда, глядя въ окно. — И зелень еще есть, и воздухъ чистый... Послушай, Борисъ Павловичъ, я бы библіотеку опять перевезъ сюда...

— Хорошо, хорошо, хоть завтра, вѣдь она твоя, дѣлай съ ней, что̀ хочешь...

— Нѣтъ, нѣтъ, что̀ мнѣ въ ней теперь! Я перевезу и буду смотрѣть за ней, а то этотъ Маркъ опять...

Райскій крякнулъ на всю комнату. Вѣра не подняла головы отъ шитья, Татьяна Марковна стала смотрѣть въ окно.

Райскій увелъ Козлова въ старый домъ, посмотрѣть его комнату, куда бабушка велѣла поставить ему кровать, и на ночь вытопить печь и тотчасъ же вставить рамы.

Козловъ совался къ окнамъ, отыскивая то̀ самое, изъ котораго видна московская дорога.

XII.

Въ одинъ изъ туманныхъ, осеннихъ дней, когда Вѣра, послѣ завтрака, сидѣла въ своей комнатѣ, за работой, прилежно собирая иглой складки кисейной шемизетки, Яковъ

подалъ ей еще письмо на синей бумагѣ, принесенное «парнишкой», и сказалъ, что приказано ждать отвѣта.

Вѣра, взглянувъ на письмо, оцѣпенѣла, какъ будто отъ изумленія, и съ минуту не брала его изъ рукъ Якова, потомъ взяла и положила на столъ, сказавъ коротко:

— Хорошо, поди!

Когда Яковъ вышелъ, она задумчиво подышала въ наперстокъ и хотѣла продолжать работу, но руки у ней вдругъ упали, вмѣстѣ съ работой, на колѣни.

Она оперлась локтями на столъ и закрыла руками лицо.

— Какая казнь! Кончится ли это истязаніе? — шептала она въ отчаяніи.

Потомъ встала, вынула изъ комода прежнее, нераспечатанное, такое же письмо и положила рядомъ съ этимъ, и сѣла опять въ своей позѣ, закрывая руками лицо.

— Что дѣлать? Какого отвѣта можетъ онъ ждать, когда мы разошлись навсегда? Ужели вызываетъ?.. Нѣтъ, не смѣетъ!.. А если вызываетъ?..

Она вздрогнула.

Она заглянула сама себѣ въ душу и тамъ подслушивала, какой могла бы дать отвѣтъ на его надежду, и опять вздрогнула. «Нельзя сказать этого отвѣта», думала она: «эти отвѣты не говорятся! Если онъ самъ не угадалъ его — отъ меня никогда не узнаетъ!»

Она глядѣла на этотъ синій пакетъ, съ знакомымъ почеркомъ, не торопясь сорвать печать—не отъ страха оглядки, не отъ ужаса зубовъ «тигра». Она какъ будто со стороны смотрѣла, какъ ползетъ теперь мимо ея этотъ «удавъ», по выраженію Райскаго, еще недавно душившій ее страшными кольцами, и сверканье чешуи не ослѣпляетъ ее больше. Она отворачивается, вздрагивая отъ другого, не прежняго чувства.

Ей душно отъ этого письма, вдругъ перенесшаго ее на другую сторону бездны, когда она уже оторвалась навсегда,

ослабѣвшая, измученная борьбой,—и сожгла за собой мостъ. Она не понимаетъ, какъ могъ онъ написать? Какъ онъ самъ не бѣжалъ давно?

Знай онъ, какой переворотъ совершился наверху обрыва, онъ бы, конечно, не написалъ. Надо его увѣдомить, посланный ждетъ... Ужели читать письма?.. Да, надо!..

Она сорвала печать съ обоихъ разомъ и стала читать первое, писанное давно:

«Ужели мы въ самомъ дѣлѣ не увидимся, Вѣра? Это невѣроятно. Нѣсколько дней тому назадъ, въ этомъ былъ бы смыслъ, а *теперь* это безполезная жертва, тяжелая для обоихъ. Мы больше года упорно бились, добиваясь счастья,— и когда оно настало, ты бѣжишь первая, а сама твердила о безсрочной любви. Логично ли это?»

— Логично ли!—повторила она шопотомъ и остановилась.

Потомъ будто перемогла себя и читала дальше.

«Мнѣ разрѣшено уѣхать, но я не могу *теперь* оставить тебя, это было бы не честно... Можно подумать, что я торжествую и что мнѣ уже легко уѣхать: я не хочу, чтобы ты такъ думала... Не могу оставить потому, что ты любишь меня»...

У ней рука съ письмомъ упала на колѣни, черезъ минуту она медленно читала дальше:

....«и потому еще, что я самъ въ горяченномъ положеніи. Будемъ счастливы, Вѣра! Убѣдись, что вся наша борьба, всѣ наши нескончаемые споры были только маской страсти. Маска слетѣла—и намъ спорить больше не о чемъ. Вопросъ рѣшенъ. Мы въ сущности согласны давно. Ты хочешь безконечной любви: многіе хотѣли бы того же, но этого не бываетъ»...

Она на минуту остановилась.

«Онъ разумѣетъ безконечную горячку!» подумала она и съ жалостью улыбнулась.

Потомъ читала дальше.

«Моя ошибка была та, что я предсказывалъ тебѣ эту истину: жизнь привела бы къ ней насъ сама. Я отнынѣ не трогаю твоихъ убѣжденій; не они нужны намъ, — на очереди страсть. У нея свои законы; она смѣется надъ твоими убѣжденіями,—посмѣется современемъ и надъ безконечной любовью. Она же теперь пересиливаетъ и меня, мои планы... Я покоряюсь ей, покорись и ты. Можетъ-быть, вдвоемъ, дѣйствуя заодно, мы отдѣлаемся отъ нея дешево и уйдемъ по добру и по здорову, а въ одиночку тяжело и скверно».

«Убѣжденій мы не въ силахъ измѣнить, какъ не въ силахъ измѣнить натуру, а притворяться не сможемъ оба. Это не логично и не честно. Надо высказаться и согласиться во всемъ; мы сдѣлали первое и не пришли къ соглашенію; слѣдовательно, остается молчать и быть счастливыми помимо убѣжденій; страсть не требуетъ ихъ. Будемъ молчать и будемъ счастливы. Надѣюсь, ты съ этой логикой согласишься».

Что-то похожее на горькую улыбку опять показалось у ней на губахъ.

«Уѣхать тебѣ со мной, вѣроятно, не дадутъ, да и нельзя! Безумная страсть одна могла бы увлечь тебя къ этому, но я на это не разсчитываю: ты не безголовая самка, а я не мальчишка. Или, для того, чтобы рѣшиться уѣхать, нужно, чтобы у тебя были другія, одинакія со мной убѣжденія, и слѣдовательно другая будущность въ виду, нежели какую ты и близкіе твои желаютъ тебѣ, т.-е., такая же, какъ у меня: неопредѣленная, неизвѣстная, безъ угла, или безъ «гнѣзда», безъ очага, безъ имущества.—Соглашаюсь, что отъѣздъ невозможенъ. Слѣдовательно, мнѣ надо принести жертву, т.-е. мнѣ хочется теперь принести ее, и я приношу. Если ты надѣешься на успѣхъ у бабушки—обвѣнчаемся, и я останусь здѣсь до тѣхъ поръ, пока... словомъ на безсрочное время. Я сдѣлалъ все, Вѣра, и исполню, что го-

вор́ю. Теперь дѣлай ты. Помни, что если мы разойдемся теперь, это будетъ походить на глупую комедію, гдѣ невыгодная роль достанется тебѣ,—и надъ нею первый посмѣется Райскій, если узнаетъ».

«Видишь, я предупреждаю тебя во всемъ, какъ предупредилъ и тогда»...

Она сдѣлала движеніе рукой, будто нетерпѣнія, почти отчаянія, и небрежно дочитала послѣднія строки.

«Жду отвѣта на имя моей хозяйки, Секлетеи Бурдалаховой».

Вѣра казалась утомленной чтеніемъ письма. Она равнодушно отложила его и принялась за другое, которое только-что принесъ ей Яковъ.

Оно было написано торопливою рукою, карандашомъ.

«Я каждый день бродилъ внизу обрыва, ожидая тебя по первому письму. Сію минуту случайно узналъ, что въ домѣ нездорово, тебя нигдѣ не видать. Вѣра, приди, или, если больна, напиши скорѣе два слова. Я способенъ придти въ старый домъ»...

Вѣра остановилась въ страхѣ, потомъ торопливо дочитала конецъ:

«Если сегодня не получу отвѣта—сказано было дальше—завтра въ пять часовъ буду въ бесѣдкѣ... Мнѣ надо скорѣе рѣшать: ѣхать, или оставаться? Приди сказать хоть слово, проститься, если... Нѣтъ, не вѣрю, чтобы мы разошлись теперь. Во всякомъ случаѣ жду тебя, или отвѣта. Если больна, я проберусь самъ»...

— Боже мой! Онъ еще тамъ, въ бесѣдкѣ!.. грозитъ придти... Посланный ждетъ... Еще «удавъ» все тянется!.. не ушло... не умерло все!..

Она быстро откинула доску шифоньерки, вынула нѣсколько листовъ бумаги, взяла перо, обмакнула, хотѣла писать—и не могла. У ней дрожали руки.

Она положила перо, склонила опять голову въ ладони, за-

крыла глаза, собираясь съ мыслями. Но мысли не вязались, путались, мѣшала тоска, біеніе сердца. Она прикладывала руку къ груди, какъ будто хотѣла унять боль, опять бралась за перо, за бумагу, и черезъ минуту бросала.

— Не могу, силъ нѣтъ, задыхаюсь! — Она налила себѣ на руки одеколонъ, освѣжила лобъ, виски—поглядѣла опять, сначала въ одно письмо, потомъ въ другое, бросила ихъ на столъ, твердя:—Не могу, не знаю, съ чего начать, что̀ писать? Я не помню, какъ я писала ему, что̀ говорила прежде, какимъ тономъ... Все забыла!

«Какого отвѣта ждетъ посланный? У меня одинъ отвѣтъ: не могу, силъ нѣтъ, ничего нѣтъ во мнѣ!»

Она спустилась внизъ, скользнула по коридорамъ, отыскала Якова и велѣла сказать мальчику, чтобы шелъ, что отвѣтъ будетъ послѣ.

— А когда послѣ?—спрашивала она себя, медленно возвращаясь наверхъ.— Найду ли я силы написать ему сегодня до вечера? И что̀ напишу? Все то же: «не могу, ничего не хочу, не осталось въ сердцѣ ничего»... А завтра онъ будетъ ждать тамъ, въ бесѣдкѣ. Обманутое ожиданіе раздражитъ его, онъ повторитъ вызовъ выстрѣлами, наконецъ, столкнется съ людьми, съ бабушкой!.. Пойти самой, сказать ему, что онъ поступаетъ «не честно и не логично»... Про великодушіе нечего ему говорить: волки не знаютъ его!..»

Все это неслось у ней въ головѣ, и она, то хваталась опять за перо и бросала, то думала пойти сама, отыскать его, сказать ему все это, отвернуться и уйти — и она бралась за мантилью, за косынку, какъ бывало, когда торопилась къ обрыву. И теперь, какъ тогда, руки напрасно искали мантилью, косынку. Все выпадало изъ рукъ, и она, обезсиленная, садилась на диванъ и не знала, что̀ дѣлать.

Бабушкѣ сказать? Бабушка сдѣлаетъ, что̀ нужно, но она огорчится письмами: Вѣрѣ хотѣлось бы избѣгнуть этого.

Сказать брату Борису и ему поручить положить конецъ надеждамъ Марка и покушеніямъ на свиданіе. Райскій — ея естественный, ближайшій другъ и защитникъ. Но прошла ли страсть въ немъ самомъ, или «ощущеніе», игра страсти, «отраженіе ея въ воображеніи», что̀ бы ни было? И если прошло, разсуждала Вѣра, можетъ-быть, основательно, то не потому ли, что прошла борьба, соперничество, все утихло вокругъ? Если появленіе героя страсти разбудитъ въ Райскомъ затихнувшую досаду, напомнитъ оскорбленіе, — онъ не выдержитъ роли безкорыстнаго посредника, увлечется пылкостью и станетъ въ другую, опасную роль.

Тушинъ! Да, этотъ выдержитъ, не сдѣлаетъ ошибки и навѣрное достигнетъ цѣли. Но ставить Тушина лицомъ къ лицу съ соперникомъ, свести его съ человѣкомъ, который исподтишка и мимоходомъ разгромилъ его надежды на счастье!

Она представила себѣ, что̀ долженъ еще перенести этотъ, обожающій ее другъ, при свиданіи съ героемъ волчьей ямы, творцомъ ея паденія, разрушителемъ ея будущности! Какой силой воли и самообладанія надо обязать его, чтобы встрѣча ихъ на днѣ обрыва не была встрѣчей волка съ медвѣдемъ?

Она потрясла отрицательно головой, рѣшивъ, однакоже, не скрывать объ этихъ письмахъ отъ Тушина, но устранить его отъ всякаго участія въ развязкѣ ея драмы, какъ изъ пощады его сердца, такъ и потому, что, прося содѣйствія Тушина, она какъ будто жаловалась на Марка. «А она ни въ чемъ его не обвиняетъ... Боже сохрани!»

И вотъ ей не къ кому обратиться! Она на груди этихъ трехъ людей нашла защиту отъ своего отчаянія, продолжаетъ находить мало-по-малу потерянную увѣренность въ себѣ, чувствуетъ возвращающійся въ душу миръ.

Еще нѣсколько недѣль, мѣсяцевъ покоя, забвенія, дружес-

ской ласки—и она встала бы мало-по-малу на ноги и начала бы жить новой жизнью. А между тѣмъ она медлитъ протянуть къ нимъ довѣрчиво руки — не изъ гордости уже, а изъ пощады, изъ любви къ нимъ.

Но и ждать долѣе тоже невозможно. Завтра принесутъ опять письмо, она опять не отвѣтитъ, онъ явится самъ...

«О, Боже сохрани! Если уже зло неизбѣжно», думала она: «то изъ двухъ золъ меньшее будетъ — отдать письма бабушкѣ, предоставить ей сдѣлать, что̀ нужно сдѣлать. Бабушка тоже не ошибется, онѣ теперь понимаютъ другъ друга».

Потомъ, подумавши, она написала записку и Тушину. Тѣ же листки бумаги, то же перо, за полчаса отказывавшіеся служить ей — послушно служили теперь. Пальцы быстро написали двѣ строчки.

«Пріѣзжайте, если можно, завтра утромъ! Я давно не видала васъ—и хочу видѣть. Мнѣ скучно».

Она отослала записку съ Прохоромъ, чтобы онъ отвезъ ее на пристань и отдалъ на перевозѣ, для отправленія въ «Дымокъ», съ людьми Тушина, которые каждый день ѣздили въ городъ.

Прежде Вѣра прятала свои тайны, уходила въ себя, царствуя безраздѣльно въ своемъ внутреннемъ мірѣ, чуждаясь общества, чувствуя себя сильнѣе всѣхъ окружающихъ. Теперь стало наоборотъ. Одиночность силъ, при первомъ тяжеломъ опытѣ, оказалась несостоятельною.

Она поплатилась своей гордостью и вдругъ почувствовала себя, въ минуту бури, безсильною, а когда буря ушла— жалкой, безпомощной сиротой, и протянула, какъ младенецъ, руки къ людямъ.

Прежде она дарила довѣріе, какъ будто изъ милости, только своей наперсницѣ и подругѣ, женѣ священника. Это былъ ея капризъ, она роняла крупицы. Теперь она шла искать помощи, съ поникшей головой, съ обузданной гор-

достью, почуя рядомъ силу, сильнѣе своей, и мудрость, мудрѣе своей самолюбивой воли

Вѣра сообщала, бывало, своей подругѣ мелочной календарь вседневной своей жизни, событій, ощущеній, впечатлѣній, даже чувствъ, довѣрила и о своихъ отношеніяхъ къ Марку, но скрыла отъ нея катастрофу, сказавъ только, что все кончено, что они разошлись навсегда—и только. Жена священника не знала исторіи обрыва до конца и приписала болѣзнь Вѣры отчаянію разлуки.

Она любила Мароньку такъ же, какъ Наталью Ивановну, но любила обѣихъ, какъ дѣтей, иногда, пожалуй, какъ собесѣдницъ. Въ тихую пору жизни, она опять позоветъ Наталью Ивановну и будетъ передавать ей вседневныя событія по мелочамъ, въ подробностяхъ, — опять та будетъ шопотомъ поддакивать ей, разбавлять ея одинокія ощущенія.

Но въ рѣшительныя и роковыя минуты, Вѣра пойдетъ къ бабушкѣ, пошлетъ за Тушинымъ, постучится въ комнату брата Бориса.

И теперь она постучалась ко всѣмъ троимъ.

XIII.

Она положила оба письма въ карманъ, тихо, задумчиво пошла къ Татьянѣ Марковнѣ и сѣла подлѣ нея.

Бабушка только-что осмотрѣла свадебную постель и смѣряла съ швеею, сколько пойдетъ кисеи, кружевъ на подушки, и усѣлась въ свои кресла.

Она бѣгло взглянула на Вѣру, потомъ опять вдругъ взглянула и остановила на ней безпокойный взглядъ.

— Что̀ случилось, Вѣра, ты разстроена?

— Не разстроена, а устала. Я получила письма оттуда, отъ...

— Оттуда?—повторила бабушка, мѣняясь въ лицѣ.

— Одно давно; я не распечатывала до сихъ поръ, а другое сегодня. Вотъ они, прочти, бабушка.

Она положила оба письма на столъ.

— Зачѣмъ мнѣ читать, Вѣрочка? — говорила Татьяна Марковна, едва преодолѣвая себя и стараясь не глядѣть на письма.

Вѣра молчала. Бабушка замѣтила у ней выраженіе тоски.

— Развѣ тебѣ нужно, чтобъ я знала, что̀ тамъ?..

— Нужно, бабушка, прочти.

Бабушка надѣла очки и стала-было читать.

— Не разберу, душенька, — сказала она, съ тоской отодвинувъ письмо. — Ты скажи лучше коротко, зачѣмъ мнѣ нужно знать...

— Не могу разсказать, силъ нѣтъ, духъ захватываетъ... Я лучше прочту.

Она шопотомъ, скрадывая нѣкоторыя слова и выраженія, прочла письма и, скомкавъ оба, спрятала въ карманъ. Татьяна Марковна выпрямилась въ креслѣ и опять сгорбилась, подавляя страданіе. Потомъ пристально посмотрѣла въ глаза Вѣрѣ.

— Что̀ же ты, Вѣрочка, думаешь?—спросила она нетвердымъ голосомъ.

— Ты спрашиваешь, что̀ я думаю! — сказала Вѣра съ упрекомъ:—то же, что̀ ты, бабушка!

— Это я знаю. Но онъ предлагаетъ... вѣнчаться, хочетъ остаться здѣсь. Можетъ-быть... если будетъ человѣкомъ, какъ всѣ... если любитъ тебя...—говорила Татьяна Марковна боязливо:—если ты... надѣешься на счастье...

— Да, онъ называетъ вѣнчанье «комедіей» и предлагаетъ вѣнчаться! Онъ думаетъ, что мнѣ только этого недоставало для счастья... Бабушка! вѣдь ты понимаешь, что̀ со мной—зачѣмъ же спрашиваешь?

— Ты пришла ко мнѣ спросить, на что̀ тебѣ рѣшиться...

Бабушка говорила робко, потому что все еще не знала,

для чего прочла ей письма Вѣра. Она была взволнована дерзостью Марка и дрожала въ безпокойствѣ за Вѣру, боясь опаснаго поворота страсти, но скрывала свое волненіе и безпокойство.

— Я не за тѣмъ пришла къ тебѣ, бабушка, — сказала Вѣра. — Развѣ ты не знаешь, что тутъ все рѣшено давно? Я ничего не хочу, я едва хожу — и если дышу свободно и надѣюсь ожить, такъ это при одномъ условіи — чтобъ мнѣ ничего не знать, не слыхать, забыть навсегда... А онъ напомнилъ! зоветъ туда, манитъ счастьемъ, хочетъ вѣнчаться!.. Боже мой!..

Она съ отчаяніемъ пожала плечами.

У Татьяны Марковны отходило безпокойство отъ сердца. Она пошевелилась свободно въ креслѣ, поправила складку у себя на платьѣ, смахнула рукой какія-то крошки со стола. Словомъ — отошла, ожила, задвигалась, какъ внезапно оцѣпенѣвшій отъ испуга и тотчасъ опять очнувшійся человѣкъ.

— Бабушка! — заключила Вѣра, собравшись опять съ силами. — Я ничего не хочу! Пойми одно: если бъ онъ какимъ-нибудь чудомъ переродился теперь, сталъ тѣмъ, чѣмъ я хотѣла прежде чтобъ онъ былъ,—если бъ сталъ вѣрить во все, во что я вѣрю, — полюбилъ меня, какъ я... хотѣла любить его — и тогда я не обернулась бы на его зовъ...

Она замолчала. Бабушка слушала, притаивъ дыханіе, какъ пѣніе райской птицы.

— Я бы не была съ нимъ счастлива: я не забыла бы прежняго человѣка никогда и никогда не повѣрила бы новому человѣку. Я слишкомъ тяжело страдала, — шептала она, кладя щеку свою на руку бабушки: — но ты видѣла меня, поняла и спасла... ты—моя мать!.. Зачѣмъ же спрашиваешь и сомнѣваешься? Какая страсть устоитъ передъ этими страданіями? Развѣ можно повторять такую ошибку!..

Во мнѣ ничего больше нѣтъ... Пустота—холодъ, и если бъ не ты—отчаяніе...

У Вѣры закапали слезы. Она прижалась головой къ плечу бабушки.

— Не поминай этого и не тревожь себя напрасно!—говорила бабушка, едва сдерживаясь сама и отирая ей слезы рукой: — вѣдь мы положили никогда не говорить объ этомъ...

— Я и не говорила бы, если бъ не письма. Мнѣ нуженъ покой... Бабушка! увези, спрячь меня... или я умру! Я устала... силы нѣтъ... дай отдохнуть... А онъ зоветъ туда... хочетъ придти самъ...

Она заплакала сильнѣе.

Бабушка тихо встала, посадила ее на свое мѣсто, а сама выпрямилась во весь ростъ.

— А! если такъ, если онъ еще, — заговорила она съ дрожью въ голосѣ: — достаетъ тебя, мучаетъ, онъ разсчитается со мной за эти слезы!.. Бабушка укроетъ, защититъ тебя—успокойся, дитя мое: ты не услышишь о немъ больше ничего...

Бабушка дрожала, говоря это.

— Что̀ ты хочешь дѣлать? — съ удивленіемъ спросила Вѣра, вдругъ вставая и подходя къ Татьянѣ Марковнѣ.

— Онъ зоветъ тебя; я сойду къ нему съ обрыва, вмѣсто тебя, на любовное свиданіе — и потомъ посмотримъ, напишетъ ли онъ тебѣ еще, придетъ ли сюда, позоветъ ли?..

Бабушка ходила по кабинету, сама не своя отъ гнѣва.

— Въ которомъ часу онъ завтра придетъ въ бесѣдку, кажется, въ пять?—спросила она отрывисто.

Вѣра все глядѣла на нее съ изумленіемъ.

— Бабушка! ты не поняла меня, — сказала она кротко, взявъ ее за руки:—успокойся, я не жалуюсь тебѣ на него. Никогда не забывай, что я одна виновата—во всемъ... Онъ

не знаетъ, что̀ произошло со мной, и оттого пишетъ. Ему надо только дать знать, объяснить, какъ я больна, упала духомъ, — а ты собираешься, кажется, воевать! Я не того хочу. Я хотѣла ему написать сама, и не могла,—видѣться недостаетъ силъ, если бъ я и хотѣла...

Татьяна Марковна присмирѣла и задумалась.

— Я хотѣла просить Ивана Иваныча, — продолжала Вѣра:—но ты знаешь сама, какъ онъ любитъ меня, какія надежды были у него... Сводить его съ человѣкомъ, который все это уничтожилъ—нельзя!

— Нельзя!—подтвердила Татьяна Марковна, тряся головой. —Зачѣмъ его трогать? Богъ знаетъ, что̀ между ними случится... Нельзя! У тебя есть близкій человѣкъ, онъ знаетъ все, онъ любитъ тебя, какъ сестру: Борюшка:

Вѣра молчала.

«Да, если бъ какъ сестру только!» думала она и не хотѣла открывать бабушкѣ о страсти Райскаго къ ней; это былъ не ея секретъ.

— Хочешь, я поговорю съ нимъ...

— Погоди, бабушка, я сама скажу ему,—отвѣчала Вѣра, опасаясь вмѣшивать брата.

Она надѣялась на его сердце, довѣряла его уму, чувствамъ, но не довѣряла его неуловимо-капризной фантазіи и способности увлекаться.

— Я какъ-нибудь, черезъ брата, или соберусь съ силами и сама отвѣчу на эти письма, дамъ понять, въ какомъ я положеніи, отниму всякія надежды на свиданіе. А теперь мнѣ нужно пока дать ему знать только, чтобъ онъ не ходилъ въ бесѣдку и не ждалъ напрасно...

— Это я сдѣлаю!—вдругъ сказала бабушка.

— Но ты не пойдешь сама, не увидишься съ нимъ?—говорила Вѣра, пытливо глядя въ глаза бабушки.—Помни, я не жалуюсь на него, не хочу ему зла...

— И я не хочу!—шептала бабушка, глядя въ сторону.—

Успокойся, я не пойду, я сдѣлаю только, что онъ не будетъ ждать въ бесѣдкѣ...

— Прости меня, бабушка, еще за это новое огорченіе!

Татьяна Марковна вздохнула и поцѣловала ее.

XIV.

Вѣра пошла полуспокоенная, стараясь угадать, какую мѣру могла бы принять бабушка, чтобъ помѣшать Марку ждать ее завтра въ бесѣдкѣ. Она опасалась, чтобы Татьяна Марковна, не знающая ничего о страсти Райскаго, не поручила ему пойти, не предваривъ ее о томъ, а онъ, не приготовленный, могъ поступить, какъ внушало ему его, еще не вполнѣ угасшее, корыстное чувство и фантазія.

Вѣра, узнавъ, что Райскій не выходилъ со двора, пошла къ нему въ старый домъ, куда онъ перешелъ съ тѣхъ поръ, какъ Козловъ поселился у нихъ, съ тѣмъ, чтобы сказать ему о новыхъ письмахъ, узнать, какъ онъ приметъ это, и смотря по этому, дать ему понять, какова должна быть его роль, если бабушка возложитъ на него видѣться съ Маркомъ.

Она шла, какъ тѣнь, по амфиладѣ стараго дома, минуя свои бывшія комнаты, по потускнѣвшему отъ времени паркету, мимо занавѣшенныхъ зеркалъ, закутанныхъ тумбъ съ старыми часами, старой, тяжелой мебели, и вступила въ маленькія, уютныя комнаты, выходившія окнами на слободу и на поле. Она неслышно отворила дверь въ комнату, гдѣ поселился Райскій, и остановилась на порогѣ.

Райскій сидѣлъ за столомъ, зарывшись въ свой артистическій портфель, разбирая эскизы разныхъ мѣстностей, акварельные портреты, набросанные очерки неисполненныхъ картинъ, миніатюрныя копіи съ извѣстныхъ произведеній, и между прочимъ отбирая, кучей втиснутые въ портфель, черновые листы литературныхъ воспоминаній, за-

мѣтокъ, очерковъ, начатыхъ и брошенныхъ стиховъ и повѣстей.

Отобравъ тщательно всю кучу накопившагося матеріала для романа, онъ сильно призадумался. Взглядъ у него потускъ; разбирая листы за листами, онъ, то покачивалъ головой и вздыхалъ тяжело, то зѣвалъ до слезъ.

«Вотъ этакъ же, лѣтъ шесть назадъ», печально размышлялъ онъ: «затѣялъ я писать большую, сложную картину для выставки... А оказалось, что въ нее надо положить цѣлые годы... И теперь, такую же обузу беру на себя: романъ писать!! Однихъ матеріаловъ съ пудъ наберется... Сколько соображеній, замѣтокъ, справокъ!.. Дѣло ли я затѣялъ, романъ? Куча характеровъ, положеній, сценъ! А вся сила, весь интересъ, и твой собственный романъ—въ Вѣрѣ: одну ее и пиши! Да, вотъ что!.. Прочь все лишнее, постороннее, напишу одну ее... Облегчу себя, а этотъ весь балластъ въ сторону. Чего, чего тутъ нѣтъ!»

Онъ началъ живо отбирать все постороннее Вѣрѣ, оставивъ листковъ десятокъ, гдѣ набросаны были характеристическія замѣтки о ней, сцены, разговоры съ нею, и съ любовью перечитывалъ ихъ.

Вдругъ онъ оставилъ листки—и поразился новою мыслью.

«А отчего у меня до сихъ поръ нѣтъ ея портрета кистью?» вдругъ спросилъ онъ себя, тогда какъ онъ, съ первой же встрѣчи съ Мароинькой, передалъ полотну ея черты, подъ вліяніемъ первыхъ впечатлѣній, и черты эти вышли говорящи: «въ портретѣ есть правда, жизнь, вѣрность во всемъ... кромѣ плеча и рукъ», думалъ онъ.

А портрета Вѣры нѣтъ; ужели онъ уѣдетъ безъ него?.. Теперь ничто не мѣшаетъ; страсти у него нѣтъ, она его не убѣгаетъ... Имѣя портретъ, легче писать и романъ: передъ глазами будетъ она, какъ живая...

Онъ поднялъ глаза отъ портфеля... Передъ нимъ стоитъ — живая Вѣра! Онъ испугался.

— Это бабушкина «судьба» посылаетъ тебя ко мнѣ!.. — сказалъ онъ.

У Вѣры, замѣтившей его испугъ, задрожалъ подбородокъ отъ улыбки. А онъ не спускалъ съ нея глазъ.

Его опять охватила красота сестры, — не прежняя, съ блескомъ, съ теплымъ колоритомъ жизни, съ бархатнымъ, гордымъ и горячимъ взглядомъ, съ мерцаніемъ «ночи», какъ онъ назвалъ ее за эти неуловимыя искры, тогда еще таинственной, неразгаданной прелести.

Безсознательное блистанье молодости и красоты, разливающей яркіе и горячіе лучи вокругъ себя—исчезло.

Томная печаль, глубокая усталость смотрѣла теперь изъ ея глазъ. Горячіе, живые тоны въ лицѣ замѣнились прозрачной блѣдностью. Въ улыбкѣ не было гордости, нетерпѣливыхъ, едва сдерживаемыхъ молодыхъ силъ. Кротость и грусть тихо покоились на ея лицѣ, и вся стройная фигура ея была полна задумчивой, нѣжной граціи и унылаго покоя.

«Это — лилія! Гдѣ прежняя Вѣра? Которая лучше: та, или эта?» думалъ онъ, протягивая ей въ умиленіи руки.

Она подошла къ нему, не прежнимъ ползучимъ шагомъ, не съ волнующимся при походкѣ станомъ, а тихой, ровной поступью. Шаги издавали легкій, сухой стукъ.

— Я тебѣ помѣшала, — сказала она. — Что̀ ты дѣлаешь? Мнѣ хотѣлось поговорить съ тобой...

Онъ не сводилъ съ нея глазъ.

— Что ты такъ смотришь?..

— Погоди, Вѣра! — шепталъ онъ, не слыхавъ ея вопроса и не спуская съ нея широкаго, изумленнаго взгляда.—Сядь вотъ здѣсь, — такъ! — говорилъ онъ, усаживая ее на маленькій диванъ.

А самъ торопливо сунулся въ уголъ комнаты, порылся тамъ и досталъ рамку съ натянутымъ холстомъ, выдвинулъ

мольбертъ и началъ шарить по угламъ, отыскивая ящикъ съ красками.

— Что ты хочешь дѣлать?—спросила она.

— Молчи, молчи, Вѣра, я давно не видалъ твоей красоты, какъ будто ослѣпъ на время! Сію минуту ты вошла, лучи ея ударили меня по нервамъ, художникъ проснулся! Не бойся этихъ восторговъ. Скорѣй, скорѣй, дай мнѣ этой красоты, пока не прошла минута... У меня нѣтъ твоего портрета...

— Что̀ за мысль, Борисъ! какая теперь красота! на что̀ я стала похожа? Василиса говоритъ, что въ гробъ краше кладутъ... Оставь до другого раза...

— Ты ничего не понимаешь въ своей красотѣ: ты — chef-d'œuvre! Нельзя откладывать до другого раза. Смотри, у меня волосы поднимаются, мурашки бѣгаютъ... сейчасъ слезы брызнутъ... Садись,—пройдетъ и все пропало!

— Я устала, братъ... я не въ силахъ, едва хожу... И холодно мнѣ; у тебя здѣсь свѣжо...

— Я тебя прикрою, посажу въ покойную позу, ты не гляди на меня, будь свободна, какъ будто бы меня не было тутъ!

Онъ положилъ ей за спину и подъ руки подушки, на плечи и грудь накинулъ ей свой шотландскій пледъ и усадилъ ее съ книгой на диванъ.

— А голову держи какъ хочешь, — сказалъ онъ: — какъ тебѣ удобнѣе, покойнѣе. Дѣлай какія хочешь движенія, гляди куда хочешь, или не гляди вовсе — и забудь, что я тутъ!

Она покорилась равнодушно, усѣвшись въ усталой позѣ, и задумалась.

— А я хотѣла поговорить съ тобой, показать тебѣ... письма...—сказала она.

Онъ молчалъ, вглядываясь въ нее и чертя мѣломъ на полотнѣ.

Прошло минутъ десять.

— Я получила письма... отъ Марка... — тихо повторила она.

Онъ молчитъ и чертитъ мѣломъ.

Прошло четверть часа. Онъ, схвативъ палитру, покрылъ ее красками и, взглядывая горячо на Вѣру, торопливо, какъ будто воруя, переносилъ черты ея лица на полотно.

Она повторила ему о письмахъ. Онъ молчитъ и глядитъ на нее, будто въ первый разъ ее видитъ.

— Братъ, ты не слушаешь?

— Да... да... слышу... «письма отъ Марка...» Ну, что онъ, здоровъ, какъ поживаетъ?.. — скороговоркой сказалъ онъ.

Она съ удивленіемъ глядѣла на него. Она едва рѣшалась назвать Марка, думая, что дотронется до него этимъ именемъ, какъ каленымъ желѣзомъ, — а онъ о здоровьѣ его спрашиваетъ!

Поглядѣвъ еще на него, она перестала удивляться. Если бъ вмѣсто имени Марка, она назвала Карпа, Сидора — дѣйствіе было бы одно и то же. Райскій машинально слушалъ и не слыхалъ.

Онъ слышалъ только звукъ ея голоса, — погруженный въ работу, видѣлъ только ее, не вникалъ въ ея слова и машинально повторялъ имя.

— Что жъ ты ничего мнѣ не отвѣчаешь? — спросила она.

— Послѣ, послѣ, Вѣра, ради Бога! Теперь не говори со мной — думай что-нибудь про себя. Меня здѣсь нѣтъ...

Вѣра пробовала опять заговорить, но онъ уже не слыхалъ и только торопливо подмалевывалъ лицо.

Вскорѣ она погрузилась — не въ печаль, не въ безпокойство о письмахъ и о томъ, придетъ ли Маркъ, что сдѣлаетъ бабушка, — а въ какой-то хаосъ смутныхъ чувствъ,

воспоминаній, напрасно стараясь сосредоточить мысли на одномъ чувствѣ, на одномъ моментѣ.

Она куталась въ пледъ, чтобъ согрѣться, и взглядывала по временамъ на Райскаго, почти не замѣчая, что̀ онъ дѣлаетъ, и все задумывалась, задумывалась и, казалось, будто въ глазахъ ея отражалось теченіе всей ея, молодой, но уже глубоко-взволнованной, и еще не успокоенной жизни, жажда покоя, тайныя мѐки и робкое ожиданіе будущаго, — все мелькало во взглядѣ.

А Райскій, молча, сосредоточенно, блѣдный отъ артистическаго раздраженія, работалъ надъ ея глазами, по временамъ взглядывая на Вѣру, или глядѣлъ мысленно въ воспоминаніе о первой встрѣчѣ своей съ нею и о тогдашнемъ страстномъ впечатлѣніи. Въ комнатѣ была могильная тишина.

Вдругъ онъ остановился, стараясь уловить и опредѣлить тайну ея задумчиваго, ни на что̀ не смотрѣвшаго, но глубокаго какъ бездна, говорящаго взгляда.

Онъ касался кистью зрачка на полотнѣ, думалъ поймать правду — и ловилъ правду чувства, а тамъ, въ живомъ взглядѣ Вѣры, сквозитъ еще что̀-то, какая-то спящая сила. Онъ клалъ другую краску, дѣлалъ тѣнь — и какъ ни бился—но у него выходили ея глаза и не выходило ея взгляда.

Напрасно онъ звалъ на помощь двѣ волшебныя учительскія точки, тѣ двѣ искры, которыми вдругъ засвѣтились глаза Софьи подъ его кистью.

— Нѣтъ, здѣсь точекъ мало!—сказалъ онъ послѣ новыхъ усилій передать этотъ взглядъ.

Онъ задумался, мѣшалъ краски, отходилъ отъ портрета, смотрѣлъ опять.

— Надо подождать! — рѣшилъ онъ и началъ подмалевывать щеки, носъ, волосы.

Поработавъ съ полчаса, онъ принялся опять за глаза.

— Еще разъ... послѣдній! — сказалъ онъ: — и если не удастся—не стану: нельзя!

— Теперь, Вѣра, погляди минутъ пять сюда, вотъ на эту точку,—обратился къ ней Райскій, указывая, куда глядѣть, и самъ поглядѣлъ на нее...

Она спала. Онъ замеръ въ молчаніи и смотрѣлъ на нее, боясь дохнуть.

— О, какая красота!—шепталъ онъ въ умиленіи. — Она кстати заснула. Да, это была дерзость рисовать ея взглядъ, въ которомъ улеглась вся ея драма и романъ. Здѣсь самъ Грёзъ положилъ бы кисть.

Онъ нарисовалъ глаза закрытыми, глядя на нее и наслаждаясь живымъ образомъ спящаго покоя мысли, чувства и красоты.

Потомъ, положивъ палитру и кисть, тихо наклонился къ ней, еще тише коснулся губами ея блѣдной руки и неслышными шагами вышелъ изъ комнаты.

XV.

На другой день въ полдень, Вѣра, услыхавъ шумъ лошадиныхъ копытъ въ воротахъ, взглянула въ окно, и глаза у ней на минуту блеснули удовольствіемъ, увидѣвъ рослую и стройную фигуру Тушина, верхомъ на вороном конѣ, въѣхавшаго во дворъ.

Вѣра машинально оправилась передъ зеркаломъ, со вздохомъ глядѣла на себя и думала: «Что̀ братъ Борисъ нашелъ списывать во мнѣ!»

Она сошла внизъ, прошла всѣ комнаты и взялась за ручку двери изъ залы въ переднюю. А съ той стороны Тушинъ взялся за ту же ручку. Они отворили дверь, столкнулись и улыбнулись другъ другу.

— Я сверху увидала васъ и пошла навстрѣчу... Вы здоровы?—вдругъ спросила она, взглянувъ на него пристально.

— Что̀ мнѣ дѣлается!— конфузливо сказалъ онъ, ворочая лицо въ сторону, чтобъ не дать замѣтить ей перемѣны въ себѣ.—А вы?

— Ничего, такъ. Была больна, чуть не слегла. Теперь прошло... Гдѣ бабушка?—обратилась она къ Василисѣ.

Та сказала, что барыня, послѣ чаю, ушла куда-то, взявъ съ собой Савелья.

Вѣра пригласила Тушина къ себѣ на верхъ.

Они, сидя на концахъ дивана, молчали, глядя украдкой другъ на друга.

«Блѣденъ», думала она: «похудѣлъ; оскорбленное чувство, обманутыя надежды гнетутъ его...»

Тушинъ былъ точно непокоенъ, но не столько отъ «оскорбленныхъ чувствъ», сколько отъ заботы о томъ, что̀ было съ нею послѣ: кончена ли ея драма, или нѣтъ?

Вопросъ о собственномъ безпокойствѣ, объ «оскорбленномъ чувствѣ и обманутыхъ надеждахъ» въ первые дни ломалъ его, и чтобы вынести эту ломку, нужна была медвѣжья крѣпость его организма и вся, данная ему и сбереженная имъ сила души. И онъ вынесъ борьбу, благодаря этой силѣ, благодаря своей прямой, чистой натурѣ, чуждой зависти, злости, мелкаго самолюбія, — всѣхъ этихъ стихій, изъ которыхъ слагаются дурныя страсти.

Онъ вѣрилъ въ непогрѣшимость Вѣры, и эта вѣра, которою держалась его чистая, глубоко-нравственная страсть къ ней, да прелесть ея обаятельной красоты и довѣріе къ ея уму, сердечной честности, — заглушали животный эгоизмъ страсти и спасали его, не только отъ отчаянія въ горѣ, но и отъ охлажденія къ Вѣрѣ.

Съ первой минуты ея откровенности, несмотря на свою жестокую му̀ку, онъ безпристрастно сознавалъ и вѣрилъ, и тогда же выразилъ ей, что она не виновна, а «несчастлива»: такъ думалъ и теперь. Виноватымъ во всемъ, и еще болѣе несчастнымъ слѣпотой—считалъ онъ Марка.

Отъ этого у Тушина, тихо, пока украдкой отъ него самого, теплился, сквозь горе, сквозь этотъ хаосъ чувствъ, тоски, оскорбленій,—слабый лучъ надежды, не на прежнее, конечно, полное, громадное счастье взаимности, но на счастье не совсѣмъ терять Вѣру изъ виду, удержать за собой навсегда ея дружбу, и вдалекѣ когда-нибудь, со временемъ, усилить ея покойную, прочную симпатію къ себѣ и... и...

Тутъ кончались его мечты, не смѣя идти далѣе, потому что за этими *и* слѣдовалъ естественный вопросъ о томъ, что̀ теперь будетъ съ нею? Дѣйствительно ли кончилась ея драма? Не опомнился ли Маркъ, что̀ онъ теряетъ, и не бросился ли догонять уходящее счастье? Не карабкается ли за нею со дна обрыва на высоту? Не оглянулась ли и она опять назадъ? Не подали ли они другъ другу руки навсегда, чтобъ быть счастливыми, какъ онъ, Тушинъ, и какъ сама Вѣра понимаютъ счастье?

Стало-быть онъ мучился тѣми же сомнѣніями и тѣмъ же вопросомъ, который точно укусилъ Татьяну Марковну прямо въ сердце, когда Вѣра показала ей письма. Вопросъ этотъ не переставалъ грызть Тушина. Ему казалось невѣроятно, чтобы Маркъ устоялъ въ своихъ понятіяхъ и остался только на днѣ обрыва. «Не дуракъ же онъ, не слѣпой!..» «За что-нибудь любила она его... Нѣтъ—любить его нельзя—а влюбилась, увлеклась фальшиво...» думалъ онъ: «онъ опомнится, воротится, и она будетъ счастлива... Дай Богъ! Дай Богъ!» молился онъ за счастье Вѣры, и въ эти минуты блѣднѣлъ и худѣлъ—отъ безнадежности за свое погибающее будущее, безъ симпатіи, безъ счастья, безъ Вѣры, безъ всѣхъ этихъ *и... и... и...*

«Какая же это жизнь?» думалъ онъ. «Той жизнью, какою я жилъ прежде, когда не зналъ, есть ли на свѣтѣ Вѣра Васильевна, жить дальше нельзя. Безъ нея—дѣло станетъ, жизнь станетъ!»

Онъ принимался чуть не самъ рубить мачтовыя деревья.

слѣдилъ прилежнѣе за работами на пильномъ заводѣ, самъ, вмѣсто приказчиковъ, велъ книги въ конторѣ, или садился на коня и упаривалъ его, скача верстъ по двадцати взадъ и впередъ по лѣсу, заглушая свое горе и всѣ эти вопросы, скача отъ нихъ дальше,—но съ нимъ неутомимо, какъ свистящій осенній вѣтеръ, скакалъ вопросъ: что̀ дѣлается на той сторонѣ Волги?

Сколько разъ онъ подъѣзжалъ къ берегу, глядя на противоположную сторону! Какъ хотѣлось ему вскочить на этомъ конѣ на отваливающій пароѝмъ и взобраться на гору, узнать, спросить...

Но она сказала: «погодите»—и это «погодите» было для него свято.

Теперь онъ ѣхалъ съ ея запиской въ карманѣ. Она его вызвала, но онъ не скакалъ на гору, а ѣхалъ тихо, неторопливо слѣзъ съ коня, терпѣливо ожидая, чтобъ изъ людской замѣтили кучера̀ и взяли его у него, и робко брался за ручку двери. Даже, придя въ ея комнату, онъ боязливо и украдкой глядѣлъ на нее, не зная, что̀ съ нею, зачѣмъ она его вызвала, чего ему ждать.

Сначала неловко было обоимъ. Ей — оттого, что «тайна» извѣстна была ему, хотя онъ и другъ, но все же посторонній ей человѣкъ. Открыла она ему тайну внезапно, въ горячкѣ, въ нервномъ раздраженіи, когда она, изъ нѣкоторыхъ его словъ, заподозрѣла, что онъ уже знаетъ все.

И нельзя было не открыть: она дорожила прелестью его дружбы и не хотѣла красть уваженія. Притомъ онъ сдѣлалъ ей предложеніе. Но все же онъ знаетъ ея «грѣхъ»,—а это тяжело. Она стыдливо клонила голову и избѣгала глядѣть ему прямо въ глаза.

Ему было неловко оттого, что онъ такъ не въ пору и некстати открылъ ей свои надежды, на которыя она отвѣтила ему страшной откровенностью—неловко и за нее, и за себя.

Они угадывали другъ друга и молчали.

— Вы меня простили?—сказала она наконецъ груднымъ шопотомъ, стараясь не глядѣть на него.

— Я, васъ? за что̀?

— За все, что̀ вы перенесли, Иванъ Ивановичъ. Вы измѣнились, похудѣли, вамъ тяжело,—я это вижу. Горе ваше и бабушки—тяжелое наказаніе!

— Мое горе не должно безпокоить васъ, Вѣра Васильевна. Оно—мое. Я самъ напросился на него, а вы только смягчили его. Вонъ вы вспомнили обо мнѣ и писали, что вамъ хочется видѣть меня: ужели это правда?

— Правда, Иванъ Ивановичъ. Если у меня отнимутъ васъ троихъ, бабушку, васъ и брата Бориса—я не переживу своего одиночества.

— Ну, вотъ, а вы говорите—горе! Посмотрите мнѣ въ глаза. Я думаю, я въ эту минуту и пополнѣлъ опять.

У него показался румянецъ, какой бросается въ лицо вдругъ обрадованному человѣку.

— Вижу,—сказала она:—и отъ этого мнѣ больнѣе становится за все то, что̀ я сдѣлала со всѣми вами. Что̀ было съ бабушкой!

— А что̀? я боялся спросить...

Она разсказала ему все, что̀ было въ эти двѣ недѣли, кромѣ признанія Татьяны Марковны.

Онъ напряженно ждалъ, не упомянетъ ли она о Маркѣ. Но она не сказала ни слова.

— Если бъ вы сами скорѣй успокоились! — сказалъ онъ задумчиво:—все пройдетъ и забудется...

— Забудется, но не простится.

— Некому и нечего прощать...

— Если бъ и забылось, и простилось другими, мнѣ самой нельзя забыть и простить себѣ...—шепнула она и остановилась. Боль отразилась у ней на лицѣ.

— Я начала немного отдыхать, забывать...—продолжала

она.—Теперь скоро свадьба, было много дѣла, я отвлеклась-было...

— И что же, помѣшало развѣ что̀-нибудь?

— Да... я вчера была сильно встревожена; и теперь еще не совсѣмъ покойна. Боюсь, чтобы какъ-нибудь... Да, вы правы, мнѣ надо скорѣе успокоиться... Я думала, все кончилось... Уѣхала бы я отсюда!

Онъ молчалъ, потупивъ глаза. Румянецъ и минутная радость сбѣжали съ лица.

— Случилось что̀-нибудь?—спросилъ онъ.—Не нужно ли вамъ... какой-нибудь услуги, Вѣра Васильевна?

— Да, случилось. Но на эту услугу я не вызову васъ, Иванъ Ивановичъ.

— Не сумѣю, можетъ-быть?

— Нѣтъ, не то! Вы знаете все, вотъ прочтите, что̀ я получила...

Она вынула изъ ящика оба письма и подала ему. Тушинъ прочиталъ и совсѣмъ похудѣлъ, сталъ опять блѣденъ, какъ былъ, когда пріѣхалъ.

— Да, тутъ, конечно, я лишній: вы одна можете...

— Не могу, Иванъ Ивановичъ...

Онъ вопросительно поглядѣлъ на нее.

— Не могу, ни написать ему двухъ словъ, ни видѣть его...

Онъ сталъ оправляться и поднялъ голову, глядя на нее.

— А мнѣ надо дать отвѣтъ; онъ ждетъ тамъ, въ бесѣдкѣ, или придетъ сюда, если не дамъ... а я не могу...

— Какой отвѣтъ?—спросилъ Тушинъ, наклоняясь и разсматривая свои сапоги.

— И вы, какъ бабушка, спрашиваете, какой! Развѣ вы не читали? Онъ манитъ счастьемъ, предлагаетъ вѣнчаться..

— Что же?

— Что же!—повторила она съ примѣсью легкаго раздраженія:—я пробовала вчера написать ему всего двѣ строки:

«я не была—и не буду счастлива съ вами и послѣ вѣнчанья, я не увижу васъ никогда. Прощайте!»—и не могла. Хотѣла пойти, сказать это сама и уйти — ноги не шли: я падала. Онъ не знаетъ ничего, что со мной произошло, и думаетъ, что я все еще въ жару страсти, оттого и надѣется, пишетъ... Надо ему сказать все, а я не могу! Поручить некому: бабушка вспыхнула какъ порохъ, прочитавши эти письма. Я боюсь, что она не выдержитъ... и я...

Тушинъ вдругъ всталъ и подошелъ къ ней.

— И вы подумали обо мнѣ: «Тушинъ — выдержитъ и послужитъ мнѣ...» и позвали меня... такъ?

Онъ весь просіялъ.

— Нѣтъ, Иванъ Ивановичъ, не такъ. Я позвала васъ, чтобъ... видѣть васъ въ этой тревогѣ. Когда вы тутъ — я будто покойнѣе...

— Вѣра Васильевна!—сказалъ онъ, и румянецъ опять хлынулъ ему въ щеки.

Онъ былъ почти счастливъ.

— А посылать васъ туда, — продолжала она: — нѣтъ, я не нанесу вамъ этого новаго оскорбленія, не поставлю лицомъ къ лицу съ человѣкомъ, котораго вы... не можете видѣть равнодушно... Нѣтъ, нѣтъ!

Она качала головой.

— Оскорбленія! Вѣра Васильевна!..

Онъ хотѣлъ говорить, но сложилъ только руки, какъ будто съ мольбой, передъ ней. Глаза блистали, глядя на нее.

Она съ изумленіемъ благодарности смотрѣла на него, видя, какъ одно вниманіе, одно чувство приличія, — такая малость—дѣлали его счастливымъ. И это послѣ всего!..

«Какъ онъ любитъ меня! Зачѣмъ!..»—подумала она съ грустью.

— Оскорбленія! — повторилъ онъ. — Да, мнѣ тяжело бы было, если бъ вы послали меня съ масличной вѣтвью къ нему, помочь ему выбраться изъ обрыва сюда... Эта голу-

бная роль мнѣ была бы точно не къ лицу — но я пошелъ бы мирить васъ, если бъ зналъ, что вы будете счастливы...

«И бабушка пошла бы, и мать моя, если бъ была жива... И этотъ человѣкъ готовъ идти — искать мое счастье — и терять свое!» подумалось ей опять.

— Иванъ Ивановичъ! — сказала она почти въ слезахъ: — я вамъ вѣрю, вы сдѣлали бы и это! Но я не послала бы васъ...

— Знаю, что не послали бы, и дурно сдѣлали бы. А теперь, мнѣ не надо и выходить изъ роли медвѣдя. Видѣть его — чтобы передать ему эти двѣ строки, которыхъ вы не могли написать: вѣдь это — счастье, Вѣра Васильевна!

Она потупила глаза.

«Я только и могу дать ему это счастье въ отвѣтъ... на все!..» думала она.

Замѣтивъ ея печаль, онъ вдругъ упалъ, смирился; гордость осанки, блескъ взгляда, румянецъ — пропали. Онъ раскаялся въ своей неосторожной радости, въ неосторожномъ словѣ: «счастье».

«Опять глупость сдѣлалъ!» терзался онъ про себя, принявъ простое, дружеское порученіе, съ которымъ она обратилась къ нему, потому что некому было поручить, какъ она сказала, — за какое-то косвенное поощреніе его надеждъ!

Онъ — этой внезапной радостью и этимъ словомъ: «счастье» — будто повторилъ свое признаніе въ любви и предложеніе руки и, кромѣ того, показалъ ей, что эгоистически радуется разрыву ея съ Маркомъ.

Вѣра, глядя на него, угадала, что онъ во второй разъ скатился съ своего обрыва счастливыхъ надеждъ. Ея сердце, женскій инстинктъ, дружба — все бросилось на помощь бѣдному Тушину, и она не дала рухнуть окончательно всѣмъ его надеждамъ, удержавъ одну, какую только могла дать ему въ своемъ положеніи — это безграничное довѣріе и уваженіе.

-- Да, Иванъ Ивановичъ, я теперь вижу, что я надѣялась на васъ и въ этомъ, только не признавалась сама себѣ, и никогда не рѣшилась бы требовать отъ васъ этой помощи. Но если вы великодушно предлагаете, то я рада и благодарю. Никто не поможетъ мнѣ такъ, какъ вы поможете, потому что никто такъ, какъ вы, не любитъ меня...

-- Вы балуете меня, Вѣра Васильевна, говоря это: но это правда! Вы насквозь видите меня...

И если, -- продолжала она: — вамъ не тяжело видѣть его...

-- Нѣтъ... я не упаду въ обморокъ.

Такъ подите сегодня въ пять часовъ въ бесѣдку и скажите...

Она задумалась, что̀ сказать. Потомъ взяла карандашъ, и написала тѣ же двѣ строки, которыя сказала ему на словахъ, не прибавивъ ничего къ прежде сказаннымъ словамъ.

-- Вотъ мой отвѣтъ! -- заключила она, передавая ему незапечатанный листокъ: -- отдайте ему и прибавьте, что̀ хотите, если нужно будетъ; вы знаете все...

Онъ спряталъ листокъ въ карманъ.

Помните одно, —прибавила она поспѣшно:—что я не обвиняю его ни въ чемъ... ни на что̀ не жалуюсь... слѣдовательно...

Она остановилась. Онъ ждалъ.

Вашего бича съ собой не берите!.. -- договорила она тихо, почти въ сторону.

Но дѣломъ мнѣ,—сказалъ онъ, сильно вздохнувъ.

Виновата, перебила она, подавая ему руку: это не упрекъ, Боже сохрани! Память подсказала мнѣ кстати. Мнѣ легче этимъ однимъ словомъ выразить, а вамъ понять, чего я желаю и чего не желала бы въ этомъ свиданіи...

- Тутъ обидно одно, вы думали, что я безъ этого слова не понялъ бы...

— Простите меня, больную...

Онъ пожалъ поданную ему руку.

XVI.

Немного погодя, воротилась Татьяна Марковна, пришелъ Райскій. Татьяна Марковна и Тушинъ не безъ смущенія встрѣтились другъ съ другомъ. И имъ было неловко: онъ зналъ, что ей извѣстно его объясненіе съ Вѣрой, — а ей мучительно было, что онъ знаетъ романъ и «грѣхъ» Вѣры.

Изъ глазъ его выглядывало уныніе, въ ея разговорахъ сквозило смущеніе за Вѣру и участіе къ нему самому. Они говорили, даже о простыхъ предметахъ, какъ-то натянуто, но къ обѣду взаимная симпатія превозмогла, они оправились и глядѣли прямо другъ другу въ глаза, довѣряя взаимнымъ чувствамъ и характерамъ. Они даже будто сблизились между собой и, въ минуты молчанія, высказывали одинъ другому глазами то, что̀ могли бы сказать о происшедшемъ словами, если бъ это было нужно.

До обѣда Вѣра оставалась съ Татьяной Марковной, стараясь, или скорѣе опасаясь узнать о мѣрѣ, какую она могла принять, чтобъ Маркъ не ожидалъ ее въ бесѣдкѣ. Она рѣшилась не отходить отъ нея и послѣ обѣда, чтобъ она не поддалась желанію сама сойти съ обрыва на свиданіе.

Но Татьяна Марковна до обѣда не упомянула о вчерашнемъ разговорѣ, а послѣ обѣда, когда Райскій ушелъ къ себѣ, а Тушинъ, надѣвъ пальто, пошелъ куда-то «по дѣлу», она заняла всю дѣвичью чисткою серебряныхъ чайниковъ, кофейниковъ, подносовъ и т. д., назначаемыхъ въ приданое Марѳинькѣ.

Вѣра успокоилась съ этой стороны и мысленно перенеслась съ Тушинымъ въ бесѣдку, думая съ тоской и съ замираніемъ сердца отъ страха о томъ: «не вышло бы чего-нибудь! Если бъ этимъ кончилось! Что̀ тамъ теперь дѣлается!»

А тамъ, безъ четверти въ пять часовъ, пробирался къ бесѣдкѣ Тушинъ. Онъ зналъ мѣстность, но видно давно не былъ и забылъ, потому что глядѣлъ направо, налѣво, бралъ, то въ ту, то въ другую сторону, по едва замѣтной тропинкѣ, и никакъ не могъ найти бесѣдки. Онъ остановился тамъ, гдѣ кусты были чаще и гуще, припоминая, что бесѣдка была гдѣ-то около этого мѣста.

Онъ стоялъ, оглядываясь во всѣ стороны, съ безпокойствомъ смотрѣлъ на часы. Стрѣлка подвигалась къ пяти часамъ, а онъ не видалъ ни бесѣдки, ни Марка.

Вдругъ издали до него дошелъ шумъ торопливыхъ шаговъ и между кустами сосняка и ельника являлась и пропадала фигура.

«Кажется, онъ!..» думалъ Тушинъ, и раза два дохнулъ всей грудью, какъ усталый конь, покачалъ взадъ и впередъ стоящую рядомъ молодую ель, потомъ опустилъ обѣ руки въ карманы пальто и сталъ, какъ вкопанный.

Маркъ точно выпрыгнулъ изъ засады на это самое мѣсто, гдѣ былъ Тушинъ и, оглядываясь съ изумленіемъ вокругъ, замѣтилъ его и окаменѣлъ.

Они поглядѣли другъ на друга съ минуту, потомъ дотронулись до фуражекъ. Волоховъ все озирался съ недоумѣніемъ вокругъ.

— Гдѣ же бесѣдка?—спросилъ онъ наконецъ вслухъ.

— Я тоже ее ищу и не знаю, въ которой она сторонѣ!

— Какъ «въ которой сторонѣ»! Мы стоимъ на ея мѣстѣ: она еще вчера утромъ тутъ была...

Оба молчали, не зная, что сталось съ бесѣдкой. А съ ней сталось вотъ что. Татьяна Марковна обѣщала Вѣрѣ, что Маркъ не будетъ «ждать ее въ бесѣдкѣ», и буквально исполнила обѣщаніе. Черезъ часъ послѣ разговора ея съ Вѣрой, Савелій, взявъ человѣкъ пять мужиковъ, съ топорами, спустился съ обрыва, и они разнесли бесѣдку часа

въ два, унеся съ собой бревна и доски на плечахъ. А бабы и ребятишки, по ея же приказанію, растаскали и щепы.

На другой день утромъ, сама барыня взяла садовника, да опять Савелья, и еще двоихъ людей, и велѣла мѣсто, гдѣ была бесѣдка, поскорѣе сравнять, утоптать, закрыть дерномъ и пересадить туда нѣсколько молодыхъ сосенъ и елей.

«Заднимъ умомъ крѣпка!» упрекала она мысленно себя. «Если бъ я сломала бесѣдку тотчасъ, когда Вѣрочка сказала мнѣ все... тогда, можетъ-быть, злодѣй догадался бы и не писалъ ей проклятыхъ писемъ!»

Злодѣй дѣйствительно догадался.

«Старуха узнала: это она!» подумалъ онъ: «Вѣра поступила благонравно: все открыла ей!»

Онъ обернулся къ Тушину, кивнулъ ему и хотѣлъ идти, но замѣтилъ его пристальный, точно желѣзный взглядъ.

— Вы что тутъ дѣлали, гуляли, что ли?—спросилъ онъ.— Что вы такъ смотрите на меня? Вы здѣсь въ гостяхъ на верху?

— Да, въ гостяхъ. Я не гулять пришелъ, а видѣться съ вами,—сказалъ Тушинъ сухо, но учтиво.

— Со мной! — оборотясь живо къ нему отозвался Волоковъ и вопросительно глядѣлъ на него.

«Что это, не узналъ ли и онъ? Онъ, кажется, претендентъ на Вѣру. Не драму ли затѣваетъ этотъ лѣсной Отелло: «крови», «крови», что ли, ему надо!» успѣлъ подумать Маркъ.

— Съ вами, — повторилъ Тушинъ: — у меня есть порученіе къ вамъ.

— Отъ кого? Отъ старухи?

— Отъ какой старухи?

— Отъ Бережковой! Отъ какой!

— Нѣтъ.

— Такъ отъ Вѣры?—почти съ испугомъ спросилъ онъ.

— Отъ Вѣры Васильевны, хотите вы сказать?

— Ну, пожалуй — Васильевны. Что̀ она, здорова ли? Что велѣла передать мнѣ?..

Тушинъ молча подалъ ему записку. Маркъ пробѣжалъ ее глазами, сунулъ небрежно въ карманъ пальто, потомъ снялъ фуражку и началъ пальцами драть голову, одолѣвая не то неловкость своего положенія передъ Тушинымъ, не то ощущеніе боли, огорченія, или злой досады.

— Вы... все знаете?—спросилъ онъ.

— Позвольте не отвѣчать на этотъ вопросъ, а спросить васъ: скажете вы что-нибудь въ отвѣтъ?

«Стану я тебѣ давать отвѣтъ!» подумалъ Маркъ: «не дамъ!»

— Ничего не скажу,—холодно отвѣчалъ онъ вслухъ.

— Но исполните, конечно, ея просьбу: не тревожить ее больше, не напоминать о себѣ... не писать, не посѣщать этихъ мѣстъ...

— Вамъ что̀ за дѣло? Вы объявлены ея женихомъ, что спрашиваете?..

— Для этого не нужно быть женихомъ, а просто другомъ, чтобъ исполнить порученіе.

— Если буду писать и посѣщать — тогда что̀? — запальчиво заговорилъ Волоховъ, какъ-будто напрашиваясь на дерзость.

— Не знаю, какъ приметъ это Вѣра Васильевна. Если опять дастъ мнѣ новое порученіе, я опять сдѣлаю, что̀ ей будетъ нужно.

— Какой вы послушный и почтительный другъ!—сказалъ съ злой ироніей Маркъ.

Тушинъ поглядѣлъ на него съ минуту серьезно.

— Да, вы правы, я такой другъ ей... Не забывайте, господинъ Волоховъ, — прибавилъ онъ: — что вы говорите не съ Тушинымъ теперь, а съ женщиной. Я сталъ въ ея положеніе и не выйду изъ него, что̀ бы вы ни сказали. Я

думалъ, что и для васъ довольно ея желанія, чтобы вы не безпокоили ее больше. Она только-что поправляется отъ серьезной болѣзни...

Маркъ молча ходилъ взадъ и впередъ по лужайкѣ, и при послѣднихъ словахъ подошелъ къ Тушину.

— Что̀ съ ней было?—спросилъ онъ почти мягко.

Тушинъ молчалъ.

— Извините меня, я горячусь, знаю, что это глупо! Не вѣдь вы видите, что и я—какъ въ горячкѣ.

— Очень жалѣю; стало-быть вамъ самимъ нуженъ покой... Вы дадите какой-нибудь отвѣтъ на эту записку?

Марку не хотѣлось отвѣчать ему.

— Я самъ отвѣчу, напишу...

— Она положительно отказывается отъ этого—и я могу дать вамъ слово, что она не можетъ поступить иначе... Она больна, и ея здоровье требуетъ покоя, а покой явится, когда вы не будете напоминать о себѣ. Я передаю, что̀ мнѣ сказано, и говорю то, что̀ видѣлъ самъ...

— Послушайте, вы ей желаете добра? — началъ Волоховъ.

— Конечно.

— Вы видите, что она меня любитъ, она вамъ сказала...

— Нѣтъ, этого я не вижу и она мнѣ не говорила о любви, а дала вотъ эту записку и просила подтвердить, что она не можетъ и не желаетъ болѣе видѣться съ вами и получать писемъ.

— Какая нелѣпость—мучиться и мучить другихъ — сказалъ Маркъ, вскапывая ногой свѣжую, нанесенную утромъ землю около дерева.—Вы могли бы избавить ее отъ этой пытки, отъ нездоровья, отъ упадка силъ [illegible] если вы... другъ ей! Старуха сломала бесѣдами [illegible] страсть сломаетъ Вѣру... Вы же сами [illegible] больна...

— Я не говорилъ, что она больна [illegible].

— Отчего же разстроена?

— Оттого, что вы пишете къ ней, ждете въ бесѣдкѣ, грозите придти сами. Она не переноситъ этого — и только это поручила передать.

— Она только говоритъ такъ, а сама...

— Она говоритъ всегда правду.

— Почему она дала это порученіе вамъ? — вдругъ спросилъ Маркъ.

Тушинъ молчалъ.

— Она вамъ довѣряетъ, стало-быть вы можете объяснить ей, какъ дико противиться счастью. Вѣдь она не найдетъ его тамъ, у себя... Вы посовѣтовали бы ей не мучить себя и другого, и постарались бы поколебать эту бабушкину мораль... Притомъ я предлагаю ей...

— Если бъ вы умѣли понять ее, — остановилъ его Тушинъ:—то давно бы знали, что она изъ тѣхъ, кому «объяснять» нечего и «совѣтовать» нельзя. А колебать «бабушкину мораль» я не нахожу нужнымъ, потому что раздѣляю эту мораль.

— Вотъ какъ! Вы удивительный дипломатъ, отлично исполняете порученія!—раздражительно сказалъ Маркъ.

Тушинъ молчалъ, наблюдая за нимъ и покойно ожидая, что онъ, волей или неволей, а дастъ отвѣтъ.

Это молчаливое спокойствіе бѣсило Марка. Сломанная бесѣдка и появленіе Тушина въ роли посредника показали ему, что надежды его кончаются, что Вѣра не колеблется больше, что она установилась на своемъ намѣреніи не видѣться съ нимъ никогда.

Въ него тихо проникло ядовитое сознаніе, что Вѣра страдаетъ, дѣйствительно, не отъ страсти къ нему,—иначе она не открылась бы бабушкѣ, и еще менѣе Тушину. Онъ зналъ и прежде ея упрямство, котораго не могла сломать даже страсть, и потому почти съ отчаяніемъ сдѣлалъ послѣднюю уступку, рѣшаясь жениться и остаться еще на

неопредѣленное время, но отнюдь не навсегда, тутъ въ этомъ городѣ, а пока длится его страсть. Онъ вѣрилъ въ непогрѣшимость своихъ понятій о любви и предвидѣлъ, что рано или поздно она кончится для обоихъ одинаково, что они будутъ «виснуть одинъ другому на шею, пока виснется», а потомъ...

Онъ отдалялся отъ этого «потомъ», надѣясь, что со временемъ Вѣра не устоитъ и сама на морали бабушки, когда настанетъ охлажденіе.

Теперь и эта его жертва—предложеніе жениться—оказалась напрасною. Ее не приняли. Онъ не опасенъ и даже не нуженъ больше. Его отсылаютъ. Онъ терпѣлъ въ эту минуту отъ тѣхъ самыхъ мученій, надъ которыми издѣвался еще недавно, не вѣря имъ. «Не логично!» думалъ онъ.

— Я не знаю, что̀ я сдѣлаю, — сказалъ онъ все еще гордо: — и не могу дать отвѣта на ваше дипломатическое порученіе. Въ бесѣдку, конечно, не приду, потому что ея нѣтъ...

— И писемъ не будете писать,—давалъ за него отвѣтъ Тушинъ:—потому что ихъ не передадутъ. Въ домъ тоже не придете—васъ не примутъ...

— Кто: вы?—злобно отозвался Маркъ:—что же вы, стеречь станете?

— Стану, если Вѣра Васильевна захочетъ. Впрочемъ, здѣсь есть хозяйка дома и... люди. Но я полагаю, что вы сами не нарушите приличій и спокойствія женщины...

— Чортъ знаетъ, что̀ за нелѣпость! — рычалъ Маркъ: — выдумали люди себѣ кандалы... лѣзутъ въ мученики...

Ему все еще хотѣлось удержаться въ позиціи и удалиться съ нѣкоторымъ достоинствомъ, сохраняя за собой право не давать отвѣта. Но Тушинъ уже зналъ, что другого отвѣта быть не можетъ. Маркъ чувствовалъ это и сталъ отступать постепенно.

— Я ѣду скоро, — сказалъ онъ: — черезъ недѣлю... Но

можетъ ли Вѣра... Васильевна видѣться со мной на одну минуту?..

— Не можетъ положительно: она больна.

— Лѣчатъ, что ли, ее?

— Ей одно лѣкарство: чтобъ вы не напоминали о себѣ...

— Я вѣдь не совсѣмъ довѣряю вамъ, — ѣдко перебилъ Маркъ:—вы, кажется... неравнодушны къ ней, и...

Тушинъ опять покачалъ ель, но молчалъ. Онъ входилъ въ положеніе Марка и понималъ, какое чувство горечи или бѣшенства должно волновать его, и потому не отвѣчалъ злымъ чувствомъ на злобныя выходки, сдерживая себя, а только тревожился тѣмъ, что Маркъ, изъ гордаго упрямства, чтобъ не быть принуждену уйти, или по остатку раздраженной страсти, еще сдѣлаетъ попытку написать, или видѣться, и встревожитъ Вѣру. Ему хотѣлось положить совсѣмъ конецъ этимъ покушеніямъ.

— Если мнѣ не вѣрите, то у васъ есть доказательство,— сказалъ онъ.

— Расписка—да. Это ничего не значитъ. Страсть — это море. Сегодня буря, завтра штиль... Можетъ-быть, ужъ она теперь жалѣетъ, что послала васъ...

— Не думаю; она бы предвидѣла это и не послала бы. Вы, какъ я вижу, вовсе не знаете ея. Впрочемъ, я передалъ вамъ все—и вы, конечно, уважите ея желанія... Я не настаиваю болѣе на отвѣтѣ...

— Отвѣта никакого! Я уѣду...

— Это именно тотъ отвѣтъ, который нуженъ ей...

— Не ей, а вамъ, да, можетъ-быть, романтику Райскому и старухѣ...

— Да, пожалуй, и намъ, и, можетъ-быть, цѣлому городу! Я позволю себѣ только поручиться Вѣрѣ Васильевнѣ, что отвѣтъ вашъ будетъ вами буквально исполненъ. Прощайте.

— Прощайте... рыцарь...

— Что?—спросилъ, немного нахмурившись, Тушинъ.

Маркъ, блѣдный, смотрѣлъ въ сторону. Тушинъ дотронулся до фуражки и ушелъ, а Маркъ все еще стоялъ на мѣстѣ.

XVII.

Онъ злился, что уходитъ неловко, неблаговидно, хуже, чѣмъ онъ пророчилъ когда-то Райскому, что весь романъ его кончается обрывомъ, изъ котораго ему надо уходить не оглядываясь, что вслѣдъ ему не послано не только сожалѣнія, прощальнаго слова, но его будто выпроваживаютъ, какъ врага, притомъ слабаго, отъ котораго избавитъ недѣля-другая разлуки, да сосѣдняя гора, за которую онъ перевалится.

Отчего все это? «Онъ ни въ чемъ не виноватъ!» А ему отказываютъ въ послѣднемъ свиданіи, — очевидно не изъ боязни страстнаго искушенія, а какъ-будто грубой обиды, выбираютъ посредникомъ другого!

И этотъ другой командуетъ властью Вѣры, не выходя изъ границъ приличій, выпроваживаетъ его осторожно, какъ выпроваживаютъ буйнаго гостя, или вора, запирая двери, окна, и спуская собаку. Онъ намекнулъ ему о хозяйкѣ дома, о людяхъ... чуть не о полиціи.

Въ этомъ, пожалуй, онъ былъ самъ виноватъ (снисходительно обвинялъ Маркъ себя),—усвоивъ условія и формы общежитія, которыя онъ называлъ свободными и разумными, презирая всякимъ принятымъ порядкомъ, и которыя городъ этотъ не признавалъ такими.

Не оттого ли Вѣра теперь будто стыдится своей страсти, отчаявшись перевоспитать его, и отдѣлывается отъ него заочно, черезъ другихъ, какъ отдѣлываются отъ дурного знакомства, сдѣланнаго случайно, или нечаянно?

И этотъ посредникъ, несмотря на рѣзкіе вызовы, очевидно сдерживался, боясь, не опасности конечно, а тоже

скандальной, для Вѣры и для него самого, сцены — съ неприличнымъ человѣкомъ. И ко всему этому нужно было еще дать отвѣтъ! А отвѣтъ одинъ: другого отвѣта и нѣтъ, и нельзя дать, кромѣ того, какой диктовалъ ему этотъ «рыцарь» и «дипломатъ», унизившій его холодной вѣжливостью на всѣ его задиранья. Маркъ, какъ ни ускользалъ, а далъ отвѣтъ!

Но какъ бы Вѣра ни рѣшила, все же, въ память прошлаго, она должна была... хоть написать къ нему свое рѣшительное письмо — если больна и вынести свиданія не можетъ. Пусть охладился пылъ страсти, но она дружески могла проститься съ нимъ, подтвердила бы ему, что не мирится съ бездной неизвѣстности впереди, съ его міросозерцаніемъ—и они разошлись бы, уважая другъ друга. А она отсылаетъ его — не съ уваженіемъ, а какъ будто не удостоиваетъ досказать послѣднія слова, какъ будто онъ сдѣлалъ что-нибудь такое... Въ чемъ онъ виноватъ? Онъ сталъ припоминать послѣднее свиданіе — и не нашелъ за собой ничего...

Онъ правъ, во всемъ правъ: за что же эта нѣмая и глухая разлука? Она не можетъ обвинить его въ своемъ «паденіи», какъ «отжившіе люди» называютъ это... Нѣтъ! А теперь онъ пошелъ на жертвы до самоотверженія, бросаетъ свои дѣла, соглашается... вѣнчаться! За что же этотъ ножъ, лаконическая записка, вмѣсто дружескаго письма, посредникъ—вмѣсто самой себя?

Да, — это ножъ, ему больно. Холодъ отъ мозга до пятъ охватилъ его. Но какая рука вонзила ножъ? Старуха научила? нѣтъ — Вѣра не такая, ее не научишь! Стало-быть сама. Но за что, что онъ сдѣлалъ?

Маркъ медленно шелъ къ плетню, вяло влѣзъ на него и сѣлъ, спустивъ ноги, и не прыгалъ на дорогу, стараясь отвѣтить себѣ на вопросъ: «что онъ сдѣлалъ?»

Онъ припомнилъ, какъ въ послѣднемъ свиданіи «честно»

предупредилъ ее. Смыслъ его словъ былъ тотъ: «помни, я все сказалъ тебѣ впередъ, и если ты, послѣ сказаннаго, протянешь руку ко мнѣ — ты моя: но ты и будешь виновата, а не я...»

«Это логично!» сказалъ онъ почти вслухъ, и вдругъ будто около него поднялся изъ земли смрадъ и чадъ.

Онъ соскочилъ съ плетня на дорогу, не оглядываясь, какъ тогда...

Далѣе, онъ припомнилъ, какъ онъ, на этомъ самомъ мѣстѣ, покидалъ ее одну, повисшую надъ обрывомъ въ опасную минуту. «Я уйду», говорилъ онъ ей («честно») и уходилъ, но оборотился, принялъ ея отчаянный нервный крикъ *прощай* за призывъ—и поспѣшилъ на зовъ...

Этотъ первый отвѣтъ на вопросъ: «что̀ онъ сдѣлалъ», какъ молотъ, ударилъ его въ голову.

Онъ пошелъ съ горы, а ножъ дѣлалъ свое дѣло и вонзался все глубже и глубже. Память безпощадно проводила передъ нимъ рядъ недавнихъ явленій.

«Нечестно вѣнчаться, когда не вѣришь!» гордо сказалъ онъ ей, отвергая обрядъ и «безсрочную любовь» и надѣясь достичь побѣды безъ этой жертвы, а теперь предлагаетъ тотъ же обрядъ! Не предвидѣлъ! Не оцѣнилъ во̀-время Вѣру, отвергнулъ, гордо ушелъ... и оцѣнилъ черезъ нѣсколько дней!

«Вотъ что̀ ты сдѣлалъ!» опять стукнулъ молотъ ему въ голову.

«Изъ логики и честности» — говорило ему отрезвившееся отъ пьянаго самолюбія сознаніе — «ты сдѣлалъ двѣ ширмы, чтобъ укрываться за нихъ съ своей «новой силой», оставивъ безсильную женщину раздѣлываться за свое и за твое увлеченіе, обѣщавъ ей только одно: «уйти, не унося съ собой никакихъ «до̀лговъ», «правилъ» и «обязанностей»... оставляя ее нести ихъ одну...

«Ты не пощадилъ ее «честно», когда она падала въ

безсиліи, не сладилъ потомъ «логично» съ страстью, а пошелъ искать удовлетворенія ей, поддаваясь «нечестно» отвергаемому твоимъ «разумомъ» обряду, и впереди заботливо сулилъ—одну разлуку! Манилъ за собой и... договаривался! «Вотъ что̀ ты сдѣлалъ!» стукнулъ молотъ ему въ голову еще разъ.

«Волкомъ» звала она тебя въ глаза, «шутя», стучалъ молотъ дальше: «теперь, не шутя, заочно, къ хищничеству волка — въ памяти у ней останется ловкость лисы, злость на все лающей собаки, и не останется никакого слѣда — о человѣкѣ! Она вынесла изъ обрыва — одну казнь, одно неизлѣчимое терзаніе на всю жизнь: какъ могла она ослѣпнуть, не угадать тебя давно, увлечься, забыться!..» Торжествуй, она никогда не забудетъ тебя!

Онъ понялъ все: ея лаконическую записку, ея болѣзнь— и появленіе Тушина на днѣ обрыва, вмѣсто ея самой.

Козловъ видѣлъ его и сказалъ Райскому, что теперь онъ ѣдетъ на время въ Новгородскую губернію, къ старой теткѣ, а потомъ намѣренъ проситься опять въ юнкера, съ переводомъ на Кавказъ.

XVIII.

Райскій проговорилъ цѣлый вечеръ съ Тушинымъ. Они только теперь начали вглядываться другъ въ друга пристальнѣе, и разошлись оба съ желаніемъ познакомиться короче, слѣдовательно сдѣлали другъ на друга благопріятное впечатлѣніе.

Вечеромъ Тушинъ звалъ Райскаго къ себѣ на недѣлю погостить, посмотрѣть его лѣсъ, какъ работаетъ у него машина на паровомъ пильномъ заводѣ, его рабочую артель, вообще все лѣсное хозяйство.

Райскому хотѣлось докончить портретъ Вѣры, и онъ отклонилъ-было приглашеніе. Но на другой день, проснувшись рано, онъ услыхалъ конскій топотъ на дворѣ, взгля-

нулъ въ окно и увидѣлъ, что Тушинъ уѣзжалъ со двора на своемъ ворономъ конѣ. Райскаго вдругъ потянуло за нимъ.

— Иванъ Ивановичъ! — закричалъ онъ въ форточку: — и я съ вами! Можете подождать четверть часа, пока я одѣнусь?

— Очень радъ!—отозвался Тушинъ, слѣзая съ лошади:— не торопитесь, я подожду хоть часъ!

Онъ пошелъ къ Райскому. Татьяна Марковна и Вѣра услыхали ихъ разговоръ, поспѣшили одѣться и позвали обоихъ пить чай, причемъ, конечно, Татьяна Марковна успѣла задержать ихъ еще на часъ и предложила проектъ такого завтрака, что они погрозили уѣхать въ ту же минуту, если она не ограничится однимъ бифстексомъ. Бифстексу предшествовала обильная закуска, а вслѣдъ за бифстексомъ явилась рыба, за рыбою—жареная дичь. Дѣло доходило до пирожнаго, но они встали изъ-за стола и простились — не надолго.

Райскому осѣдлали лошадь, а сзади ихъ Татьяна Марковна отправила цѣлую телѣжку съ гостинцами Аннѣ Ивановнѣ. И оба, вмѣсто осьми часовъ, какъ хотѣли, едва выбрались изъ дома въ десять и въ половинѣ одиннадцатаго сѣли на паромъ Тушина.

Иванъ Ивановичъ въ разговорахъ съ Татьяной Марковной, съ Райскимъ, и потомъ по пріѣздѣ домой—былъ тихъ, сосредоточенъ, часто молчаливъ.

О Вѣрѣ не произнесли ни слова, ни тотъ, ни другой. Каждый зналъ, что тайна Вѣры была извѣстна обоимъ, и отъ этого имъ было неловко даже произносить ея имя. Кромѣ того, Райскій зналъ о предложеніи Тушина и о томъ, какъ онъ велъ себя и какая страдательная роль выпала ему на долю во всей этой драмѣ.

Съ этой минуты, какъ онъ узналъ это, всѣ ревнивыя его предубѣжденія къ Тушину исчезли, уступивъ мѣсто,

сначала любопытному наблюденію, а потомъ, когда Вѣра разсказала ему все, и участію, уваженію, даже удивленію къ нему.

Удивленіе это росло по мѣрѣ того, какъ Райскій пристальнѣе изучалъ личность этого друга Вѣры. И въ этомъ случаѣ фантазія сослужила ему обычную службу, освѣтивъ Тушина ярко, не дѣлая изъ него впрочемъ никакого романтическаго идеала: личность была слишкомъ проста для этого, открыта и не романтична.

Пробывъ недѣлю у Тушина въ «Дымкѣ», видя его, у него, дома, въ полѣ, въ лѣсу, въ артели, на заводѣ, бесѣдуя съ нимъ по ночамъ до свѣта у камина, въ его кабинетѣ— Райскій понялъ вполнѣ Тушина, многому дивился въ немъ, а еще болѣе дивился глазу и чувству Вѣры, угадавшей эту простую, цѣльную фигуру и давшей ему въ своихъ симпатіяхъ мѣсто рядомъ съ бабушкой и съ сестрой.

Симпатія эта устояла даже въ разгарѣ посторонней страсти, болѣзни-страсти, которая обыкновенно самовластно поглощаетъ всѣ другія пристрастія, и даже привязанности. А въ ней дружба къ Тушину и тогда сохранила свою свѣжесть и силу. Это одно много говорило въ его пользу.

Она инстинктивно чувствовала, что его сила, которую она отличила и полюбила въ немъ — есть общечеловѣческая сила, какъ и любовь ея къ нему была — не исключительное, не узкое пристрастіе, а тоже общечеловѣческое чувство.

Не полюбила она его страстью, — т.-е. физически: это зависитъ не отъ сознанія, не отъ воли, а отъ какого-то нерва (должно-быть самаго глупаго, думалъ Райскій, отправляющаго какую-то низкую функцію, между прочимъ, влюблять), и не какъ друга только любила она его, хотя и называла другомъ, но никакихъ послѣдствій отъ дружбы его для себя не ждала, отвергая, по своей теоріи, всякую корыстную дружбу, а полюбила только какъ «человѣка», и

такъ выразила Райскому свое влеченіе къ Тушину въ первомъ свиданіи съ нимъ, т.-е. какъ къ «человѣку» вообще.

Райскій повѣрялъ наблюденіемъ надъ нимъ все, что̀ слышалъ отъ Вѣры — и все оправдывалось, подтверждалось — и анализъ Райскаго, такъ услужливо разоблачавшій ему всякія загадочныя, или прикрытыя лоскомъ и краской стороны, долженъ былъ уступить мѣсто естественному влеченію къ этой простой, открытой личности, гдѣ не было почти никакого «лоска» и никакой «краски».

Это былъ чистый самородокъ, какъ слитокъ благороднаго металла, и полюбить его дѣйствительно можно было, кромѣ корыстной или обязательной любви, т.-е. какою могли любить его жена, мать, сестра, братъ,—еще какъ человѣка.

Глядя на него, слушая его, видя его дѣятельность, распоряженія по хозяйству, отношенія къ окружающимъ его людямъ, къ приказчикамъ, крестьянамъ — ко всѣмъ, кто около него былъ, съ кѣмъ онъ соприкасался, съ кѣмъ работалъ, или просто говорилъ, жилъ вмѣстѣ, Райскій удивлялся до наивности какимъ-то, наружно будто противоположностямъ, гармонически уживавшимся въ немъ: мягкости рѣчи, обращенія — съ твердостью, почти методическою, намѣреній и поступковъ, ненарушимой правильности взгляда, строгой справедливости—съ добротой, тонкой, природной, а не выработанной гуманностью, снисхожденіемъ,— далѣе, смѣси какого-то трогательнаго недовѣрія къ своимъ личнымъ качествамъ, робкихъ и стыдливыхъ сомнѣній въ себѣ—съ смѣлостью и настойчивостью въ распоряженіяхъ, работахъ, поступкахъ, дѣлахъ.

Въ немъ крылась безсознательная, природная, почти непогрѣшительная система жизни и дѣятельности. Онъ какъ-будто не зналъ, что̀ дѣлалъ, а выходило какъ слѣдуетъ, какъ сдѣлали бы десятки приготовленныхъ умовъ, путемъ размышленія, науки, труда.

Райскій вспомнилъ первыя впечатлѣнія, какія произвелъ

дуть предпочитать нравственной, до тѣхъ поръ и достиженіе этой высоты немыслимо, слѣдовательно немыслимъ и истинный, прочный, человѣческій прогрессъ.

Послушать, такъ нужная степень нравственнаго развитія у всѣхъ уже есть, какъ-будто каждый уже достигъ его и носитъ у себя въ карманѣ, какъ табакерку, что это «само собой разумѣется», что объ этомъ и толковать нечего. Всѣ соглашаются, что общество существовать безъ этого не можетъ, что гуманность, честность, справедливость—суть основные законы и частной, и общественной жизни, что «честность, честности, честностью» и т. д.

— И все ложь! — говорилъ Райскій. — Въ большинствѣ нѣтъ даже и почина нравственнаго развитія, не исключая иногда и высокоразвитые умы, а есть нѣсколько захваченныхъ, какъ будто на дорогу въ-обрѣзъ денегъ—правилъ (а не принциповъ) и внѣшнихъ приличій, для руководства,—такихъ правилъ, за несоблюденіе которыхъ выводятъ вонъ, или запираютъ куда-нибудь.

У большинства есть decorum принциповъ, а сами принципы шатки и рѣдки, и украшаютъ, какъ ордена, только привилегированныя, отдѣльныя личности. «У него есть правила!» отзываются такимъ голосомъ о комъ-нибудь, какъ-будто говорятъ: «у него есть шишка на лбу!»

И, пожалуй, засмѣялись бы надъ тѣмъ, кто вздумалъ бы серьезно настаивать на необходимости развитія и разлитія правилъ въ общественной массѣ и обращенія ихъ въ принципы—такъ же настоятельно и неотложно, какъ, напримѣръ, на необходимости неотложнаго построенія желѣзныхъ дорогъ. И тутъ же не простили бы ему малѣйшаго упущенія въ умственномъ развитіи: если бъ онъ осмѣлился не прочесть послѣдняго французскаго или англійскаго, надѣлавшаго шуму увража, не зналъ бы какой-нибудь новѣйшей политико-экономической аксіомы, послѣдняго фазиса въ политикѣ, или важнаго открытія въ физикѣ!

«Умѣнье жить» ставятъ въ великую заслугу другъ другу, т. е. умѣнье «казаться», съ правомъ въ дѣйствительности «не быть» тѣмъ, чѣмъ надо быть. А умѣньемъ жить называютъ умѣнье ладить со всѣми, чтобъ было хорошо и другимъ, и самому себѣ, умѣть таить дурное и выставлять что̀ годится—т. е. приводить въ данный моментъ нужныя для этого свойства въ движеніе, какъ трогать клавиши, бо̀льшею частію—не обладая самой музыкой.

Тушинъ жилъ, не подозрѣвая, что умѣетъ жить, какъ Мольеровскій bourgeois-gentilhomme не подозрѣвалъ, что «говоритъ прозой» и жилъ одинаково, бывало ли ему отъ того хорошо, или не хорошо. Онъ былъ «человѣкъ», какъ коротко и вѣрно опредѣлила его умная и проницательная Вѣра.

Все это думалъ Райскій, ѣдучи съ Тушинымъ въ коляскѣ обратно домой, послѣ шестидневнаго пребыванія въ его лѣсной усадьбѣ. «Тушины — наша истинная «партія дѣйствія», наше прочное «будущее», которое выступитъ въ данный моментъ, особенно, когда все это» — оглядываясь кругомъ на поля, на дальнія деревни, рѣшалъ Райскій — «когда все это будетъ *свободно*, когда всѣ миражи, лѣнь и баловство исчезнутъ, уступивъ мѣсто настоящему «дѣлу», множеству «дѣла» у всѣхъ,—когда съ миражами исчезнутъ и добровольные «мученики», тогда явятся, на смѣну имъ, «работники», «Тушины» на всей лѣстницѣ общества...»

По впечатлительной натурѣ своей, онъ пристрастился къ этой новой, простой, мягкой, и вмѣстѣ сильной личности. Онъ располагалъ пробыть въ *Дымкѣ* и долѣе. Ему хотѣлось вникнуть въ порядокъ хозяйственнаго механизма Тушина. Онъ едва успѣлъ замѣтить только наружный порядокъ, видѣть бросающіеся въ глаза результаты этого хозяйства, не успѣвъ вникнуть въ самый процессъ его отправленія.

Въ деревнѣ онъ не замѣтилъ пока обыкновенныхъ и повсюдныхъ явленій: безпорядка, слѣдовъ бѣднаго крестьянскаго хозяйства, избъ на курьихъ ножкахъ, кучъ навоза.

грязныхъ лужъ, сгнившихъ колодцевъ и мостиковъ, нищихъ, больныхъ, пьяныхъ, никакой распущенности.

Когда Райскій выразилъ Тушину удивленіе и удовольствіе, что всѣ строенія глядятъ какъ новыя, свѣжо, чисто, даже ни одной соломенной кровли нѣтъ, Тушинъ, въ свою очередь, удивился этому удивленію.

— И видно, что вы не деревенскій житель, не хозяинъ,— замѣтилъ онъ:—лѣсная усадьба и село, а крыши соломенныя—это даже невыгодно! Лѣсъ свой, какъ же избамъ разваливаться!

Не хозяйскій глазъ Райскаго не могъ оцѣнить вполнѣ всей хозяйственности, водворенной въ имѣніи Тушина. Онъ замѣтилъ мимоходомъ, что тамъ было что-то въ родѣ исправительной полиціи для разбора мелкихъ дѣлъ у мужиковъ, да заведенія въ родѣ банка, больницы, школы.

Тушинъ многое скрадывалъ, совѣстясь «докучать» гостю своими дѣлами, и спѣшилъ показать ему, какъ артисту, лѣсъ, гордясь имъ, какъ любимымъ дѣломъ.

Видъ лѣса въ самомъ дѣлѣ поразилъ Райскаго. Онъ содержался, какъ паркъ, гдѣ на каждомъ шагу видны слѣды движенія, работъ, ухода и науки. Артель смотрѣла какой-то дружиной. Мужики походили сами на хозяевъ, какъ-будто занимались своимъ хозяйствомъ.

— Вѣдь они у меня, и свои, и чужіе, на жалованьѣ, — отвѣчалъ Тушинъ на вопросъ Райскаго: — Отчего это? Пильный заводъ показался Райскому чѣмъ-то небывалымъ, по обширности, почти по роскоши строеній, гдѣ удобство и изящество дѣлали его похожимъ на образцовое англійское заведеніе. Машины изъ блестящей стали и мѣди были въ своемъ родѣ образцовыми произведеніями.

Самъ Тушинъ тамъ показался первымъ работникомъ, когда вошелъ въ свою технику, во всѣ мелочи, подробности, лазилъ въ машину, осматривая ее, трогая рукой колеса.

Райскій съ удивленіемъ глядѣлъ, особенно когда они при-

шли въ контору на заводѣ и когда съ полсотни рабочихъ ввалились въ комнату съ просьбами, объясненіями, обступили Тушина.

Онъ, пробившись съ ними около часа, вдругъ сконфузился, что бросилъ гостя, и вывелъ его изъ толпы, извиняясь за эти дрязги, и повезъ показывать красивыя мѣста.

Райскій такъ увлекся всей этой новостью дѣла, личностей, этимъ заводомъ, этими массами лѣсного матеріала, отправлявшагося по водамъ до Петербурга и за границу, что рѣшилъ остаться еще недѣлю, чтобы изучить и смыслъ, и механизмъ этого большого дѣла.

Однако ему не удалось остаться долѣе. Татьяна Марковна вызвала его письмомъ, въ которомъ звала немедленно пріѣхать, написавъ коротко, что «дѣло есть».

Тушинъ напросился ѣхать съ нимъ, «проводить его», какъ говорилъ онъ, а въ самомъ дѣлѣ узнать, зачѣмъ вызвала Татьяна Марковна Райскаго: не случилось ли чего-нибудь новаго съ Вѣрой и не нуженъ ли онъ ей опять? Онъ съ тревогой припоминалъ свиданіе свое съ Волоховымъ, и то, какъ тотъ невольно и неохотно далъ отвѣтъ, что уѣхала.

«Уѣхалъ ли? не написалъ ли опять къ ней? не [illegible] жилъ ли?»—мучился Тушинъ, ѣдучи въ городъ.

Райскій, воротясь домой, прежде всего побѣжалъ [illegible] и, подъ вліяніемъ свѣжаго впечатлѣнія, яркими [illegible] начертилъ ей портретъ Тушина во весь ростъ и [illegible] его въ той сферѣ, гдѣ онъ живетъ и дѣйствуетъ [illegible] свое удивленіе и рождающуюся симпатію

Въ этой простой русской, практической [illegible] [illegible]ющей призваніе хозяина земли и лѣса. [illegible] дюжаго работника между своими рабо[illegible] распорядителя и руководителя ихъ судьб[illegible] онъ видѣлъ какого-то заволжскаго Робин[illegible]

— А ты мнѣ такъ мало говорила [illegible] — заключилъ онъ.

Вѣра съ радостью слушала Райскаго; у ней появился даже румянецъ. Самая торопливость его передать ей счастливое впечатлѣніе, какое сдѣлалъ на него «медвѣдь» и его берлога, теплый колоритъ, въ который Райскій окрасилъ фигуру Тушина, осмысливъ его своимъ мѣткимъ анализомъ, яркая картина быта, хозяйства, нравовъ лѣсного угла, всей мѣстности—все это почти увлекло и Вѣру.

Она не безъ гордости видѣла въ этомъ очеркѣ Райскаго косвенную похвалу и себѣ, за то, что тонко оцѣнила и умѣла полюбить въ Тушинѣ—правду простой натуры.

— Братъ,—сказала она: — ты рисуешь мнѣ не Ивана Ивановича: я знаю его давно,—а самого себя. Лучше всего то, что самъ не подозрѣваешь, что выходитъ недурно и твой собственный портретъ. И меня тутъ же хвалишь, что угадала въ Тушинѣ человѣка! Но это не трудно! Бабушка его тоже понимаетъ и любитъ, и всѣ здѣсь...

Она вздохнула, сокрушаясь, кажется, про себя, что не любитъ его больше, иначе...

Онъ хотѣлъ сказать что-то въ отвѣтъ, но за нимъ прислала бабушка и немедленно потребовала его къ себѣ.

— Скажи пожалуйста, Вѣра,—спохватился вдругъ Райскій:—зачѣмъ она вызвала меня?..

— Не знаю, что-то есть. Она мнѣ не говоритъ, а я не спрашиваю, но вижу. Боюсь, не опять ли тамъ что-нибудь!..—прибавила Вѣра, внезапно охлаждаясь и переходя отъ дружескаго тона къ своей грустной задумчивости.

Въ то время, какъ Райскій уходилъ отъ нея, Тушинъ прислалъ спросить ее, можетъ ли онъ ее видѣть. Она велѣла просить.

XIX.

Бабушка выслала Папутку и заперла дверь кабинета, когда пришелъ Райскій. Сама она была очевидно разстроена. Райскій испугался.

— Не случилось ли чего-нибудь непріятнаго, бабушка?— спросилъ онъ, садясь противъ ней.

— Что̀ должно было случиться, то и случилось,—печально сказала она, глядя въ сторону.

— Скажите скорѣй, я—какъ на иголкахъ!

— Старый воръ Тычковъ отмстилъ намъ съ тобой! Даже и обо мнѣ гдѣ-то у помѣшанной женщины откопалъ исторію... Да ничего не вышло изъ того... Люди къ прошлому равнодушны, а я сама одной ногой въ гробу и о себѣ не забочусь. Но Вѣра...

Она вздохнула.

— Что̀ такое?

— Ея исторія перестаетъ быть тайной... Въ городѣ ходятъ слухи...—шептала Татьяна Марковна съ горечью.—Я сначала не поняла, отчего въ воскресенье, въ церкви, вице-губернаторша два раза спросила у меня о Вѣрѣ—здорова ли она—и двѣ барыни сунулись слушать, что̀ я скажу. Я взглянула кругомъ—у всѣхъ на лицахъ одно: «что̀ Вѣра?» Была, говорю, больна, теперь здорова. Пошли разспросы, что̀ съ ней? Каково мнѣ было отдѣлываться, заминать! Всѣ замѣтили...

— Ужели что̀-нибудь вышло наружу?

— Настоящая бѣда, слава Богу, скрыта. Я вчера черезъ Тита Никоныча узнала кое-что. Сплетня попадаетъ не въ того...

Бабушка отвернулась.

— Въ кого же?

— Въ Ивана Ивановича—это хуже всего. Онъ тутъ ни словомъ, ни духомъ не виноватъ... Помнишь, въ день рожденія Марѳиньки—онъ пріѣзжалъ, сидѣлъ тутъ молча, ни съ кѣмъ ни слова не сказалъ, какъ мертвый, и ожилъ, когда показалась Вѣра? Гости видѣли все это. И безъ того давно не тайна, что онъ любитъ Вѣру; онъ не мастеръ таиться. А тутъ замѣтили, что онъ ушелъ съ ней въ садъ, потомъ

она скрылась къ себѣ, а онъ уѣхалъ... Знаешь ли, зачѣмъ онъ пріѣзжалъ?

Райскій сдѣлалъ утвердительный знакъ головой.

— Знаешь? Ну, вотъ теперь Вѣра, да Тушинъ у всѣхъ на языкѣ.

— Какъ же я тутъ попалъ? Вы говорите, что Тычковъ и меня припуталъ?

— А тебя приплела Полина Карповна! Въ тотъ вечеръ, какъ ты гулялъ поздно съ Вѣрой, она пошла искать тебя. Ты что-то ей наговорилъ—должно быть на-смѣхъ поднялъ—а она поняла по-своему и припутала и тебя! Говоритъ, что ты влюбленъ былъ въ Вѣру, а она будто отбила; «извлекла» тебя изъ какой-то «пропасти», изъ обрыва, что-ли! Только это и ладитъ. Что у васъ тамъ такое съ ней было и о чемъ ты секретничалъ съ Вѣрой? Ты, должно быть, зналъ ея тайны и прежде, давно, а отъ бабушки пряталъ «ключи»! Вотъ что и вышло отъ этой вашей «свободы»!

Она вздохнула на всю комнату.

Райскій сжалъ кулаки.

— Мало было этой старой чучелѣ! Завтра я ей дамъ такой сеансъ...—сказалъ онъ съ угрозой.

— Нашелъ на комъ спрашивать! На нее нечего пенять, она смѣшна и ей не повѣрили. А тотъ старый сплетникъ узналъ, что Вѣра уходила, въ рожденье Марѳиньки, съ Тушинымъ въ аллею, долго говорила тамъ, а наканунѣ пропадала до ночи и послѣ слегла,—и передѣлалъ разсказъ Полины Карповны по-своему. «Не съ Райскимъ, говоритъ, она гуляла ночью и наканунѣ, а съ Тушинымъ!..» Отъ него и пошло по городу! Да еще тамъ пьяная баба про меня наплела... Тычковъ все развѣдалъ...

Татьяна Марковна потупила взглядъ въ землю; у ней въ лицѣ показалась на минуту краска.

— А, это другое дѣло!—серьезно сказалъ Райскій и на-

чалъ въ волненіи ходить по комнатѣ.—Вашъ урокъ не подѣйствовалъ на Тычкова, такъ я повторю его иначе...

— Что ты затѣваешь? Боже тебя сохрани! Лучше не трогай! Ты станешь доказывать, что это не правда и, пожалуй, докажешь. Оно и не мудрено, стоитъ только справиться, гдѣ былъ Иванъ Ивановичъ наканунѣ рожденья Мареиньки. Если онъ былъ за Волгой, у себя, тогда люди спросятъ, гдѣ же правда?.. съ кѣмъ она въ рощѣ была? Тебя Крицкая видѣла на горѣ одного, а Вѣра была...

Татьяна Марковна опустила голову.

Райскій бросился на кресло.

— Что же дѣлать?—сказалъ онъ въ тоскѣ за Вѣру.

— Что Богъ дастъ!—въ глубокой печали шептала Татьяна Марковна.—Богъ судитъ людей черезъ людей—и пренебрегать ихъ судомъ нельзя! Надо смириться! Видно мѣра еще не исполнилась!..

Опять глубокій вздохъ.

Райскій ходилъ по кабинету. Оба молчали, сознавая каждый про себя затруднительное положеніе дѣла. Общество замѣтило только внѣшніе признаки какой-то драмы въ одномъ углу. Отчужденіе Вѣры, постоянное поклоненіе Тушина, независимость ея отъ авторитета бабушки—оно знало все это и привыкло.

Но къ этому прибавилось какое-то туманное пятно; суетливость Райскаго около Вѣры замѣчена уже была давно, и даже дошла до слуха Ульяны Андреевны, которая и намекнула ему объ этомъ свиданіи. Крицкая тоже замѣтила и, конечно, не была скромна на этотъ счетъ. Почтительное поклоненіе Тушина замѣчали всѣ, и не одна Татьяна Марковна прочила его въ женихи Вѣрѣ.

Въ городѣ вообще ожидали двухъ событій: свадьбы Мареиньки съ Викентьевымъ, что и сбылось и въ перспективѣ свадьбы Вѣры съ Тушинымъ. А тутъ вдругъ, противъ ожиданія, произошло что-то непонятное. Вѣра явилась на

минуту въ день рожденія сестры, не сказала ни съ кѣмъ почти слова и скрылась съ Тушинымъ въ садъ, откуда ушла къ себѣ, а онъ уѣхалъ, не повидавшись съ хозяйкой дома.

Отъ Крицкой узнали о продолжительной прогулкѣ Райскаго съ Вѣрой наканунѣ семейнаго праздника. Послѣ этого Вѣра объявлена была больною, заболѣла и сама Татьяна Марковна, домъ былъ на заперти, никого не принимали. Райскій ходилъ, какъ угорѣлый, бѣгая отъ всѣхъ; докторА неопредѣленно говорили о болѣзни...

О свадьбѣ ни слуху, ни духу. Отчего Тушинъ не дѣлаетъ предложенія, или если сдѣлалъ, отчего оно не принято? Падало подозрѣніе на Райскаго, что онъ увлекъ Вѣру: тогда — отчего онъ не женится на ней? Общественное мнѣніе неумолимо требовало на судъ—кто правъ, кто виноватъ—чтобы произнести свой приговоръ.

И Татьяна Марковна, и Райскій — чувствовали тяжесть положенія и боялись этого суда—конечно за Вѣру. Вѣра не боялась, да и не знала ничего. Не до того ей было. Ее поглощала своя внутренняя тревога, ея язва — и она всѣ силы свои устремила на ея утоленіе, и пока напрасно.

— Бабушка!—вдругъ сказалъ Райскій послѣ долгаго молчанія:—прежде всего надо вамъ самимъ все сказать Ивану Ивановичу. Какъ онъ приметъ эту сплетню: онъ ея герой—онъ и судья, какъ рѣшитъ—такъ и поступите. А его суда не бойтесь. Я теперь знаю его—онъ рѣшитъ правильно. Вѣрѣ онъ зла не пожелаетъ; онъ ее любитъ—я видѣлъ это, хотя мы о ней ни слова не сказали. Онъ мучается ея участью больше, нежели своей. Въ немъ разыгрывается двойная трагедія. Онъ и сюда пріѣхалъ со мной, потому что растревожился вашимъ письмомъ ко мнѣ... конечно за нее. А потомъ ужъ я побываю у Полины Карповны, а можетъ быть, повидаюсь и съ Тычковымъ...

— Я не хочу, чтобъ ты видѣлся съ Тычковымъ!

— Бабушка, нельзя оставить!..

— Я не хочу, Борисъ!—сказала она такъ рѣшительно и строго, что онъ наклонилъ голову и не возразилъ болѣе ни слова.—Ничего хорошаго изъ этого не выйдетъ. Ты сейчасъ придумалъ, что̀ нужно сдѣлать: да, сказать прежде всего Ивану Ивановичу, а потомъ увидимъ, надо ли тебѣ идти къ Крицкой, чтобы узнать отъ нея объ этихъ слухахъ и дать имъ другой толкъ, или... сказать правду! — прибавила она со вздохомъ. — Посмотримъ, какъ приметъ это Иванъ Ивановичъ. Попроси его ко мнѣ, а Вѣрѣ не говори ни слова. Она ничего не знаетъ, и дай Богъ чтобъ не узнала!

Райскій ушелъ къ Вѣрѣ, а къ Татьянѣ Марковнѣ, на смѣну ему, явился Тушинъ.

XX.

Татьяна Марковна внутренно смутилась, когда Тушинъ переступилъ порогъ ея комнаты. Онъ, молча, съ опущенными глазами, поздоровался съ ней, тоже перемогая свою тревогу — и оба въ первую минуту не глядѣли другъ на друга.

Имъ приходилось коснуться взаимной раны, о которой до сихъ поръ не было намека между ними, хотя они взаимно обмѣнивались знаменательными взглядами и понимали другъ друга изъ грустнаго молчанія. Теперь предстояло стать открыто лицомъ къ лицу и говорить.

Оба молчали. Она пока украдкой взглядывала на него и замѣчала перемѣны, какія произошли въ немъ въ эти двѣ-три недѣли: какъ осанка у него стала не такъ горда и бодра, какъ тускло смотритъ онъ въ иныя минуты, какъ стали медленны его движенія. И похудѣлъ онъ, и поблѣднѣлъ.

— Вы отъ Вѣры теперь? — спросила она наконецъ. — Какъ вы нашли ее?

— Ничего... она, кажется, здорова... покойна...

Татьяна Марковна вздохнула.

— Какой покой! Ну, пусть ужъ она, а вамъ сколько безпокойства, Иванъ Ивановичъ! — тихо проговорила она, стараясь не глядѣть на него.

— Что̀ мои безпокойства! Надо успокоить Вѣру Васильевну.

— Богъ не даетъ, не судьба! Только стала оправляться она, и я было отдохнула отъ домашняго горя, пока оно крылось за стѣнами, а теперь перешло и за стѣны...

Тушинъ вдругъ навострилъ уши, какъ будто услышалъ выстрѣлъ.

— Иванъ Ивановичъ, — рѣшительно заговорила Татьяна Марковна: — по городу сплетня ходитъ. Мы съ Борюшкой погорячились и сорвали маску съ лицемѣра Тычкова, вы знаете. Мнѣ бы и не подъ лѣта, да онъ ужъ очень зазнался. Терпѣнья не было! Теперь онъ срываетъ маску съ насъ...

— Съ васъ? Съ кого—съ васъ?

— Обо мнѣ онъ что-то мололъ — его не слушали, я мертвая... а о Вѣрѣ...

— О Вѣрѣ Васильевнѣ?

Тушинъ привсталъ.

— Садитесь, Иванъ Ивановичъ,—сказала Татьяна Марковна: — да, о ней. Можетъ-быть, такъ и надо... можетъ-быть, это—возмездіе. Но тутъ припутали и васъ...

— Меня, рядомъ съ Вѣрой Васильевной?

— Да, Иванъ Ивановичъ, и вотъ гдѣ истинное наказаніе!

— Позвольте же узнать, что̀ говорятъ?

Татьяна Марковна передала ему слухъ.

— Въ городѣ замѣтили, что у меня въ домѣ неладно: видѣли, что вы ходили съ Вѣрой въ саду, уходили къ обрыву, сидѣли тамъ на скамьѣ, горячо говорили и уѣхали, а мы съ ней были больны, никого не принимали... вотъ откуда вышла сплетня!

Онъ, молча, слушалъ и хотѣлъ что-то сказать, она остановила его.

— Позвольте, Иванъ Ивановичъ, кончить, это не все. Борисъ Павлычъ... вечеромъ, наканунѣ дня рожденія Марфиньки... пошелъ искать Вѣру...

Она остановилась.

— Что же дальше?—спросилъ Тушинъ нетерпѣливо.

— За нимъ потащилась Крицкая; она замѣтила, что Борюшка взволнованъ... У него вырвались какія-то слова о Вѣрочкѣ... Полина Карповна приняла ихъ на свой счетъ. Ей, конечно, не повѣрили—знаютъ ее—и теперь добираются правды, съ кѣмъ была Вѣра, наканунѣ рожденія, въ рощѣ... Со дна этого проклятаго обрыва поднялась туча и покрыла всѣхъ насъ... и васъ тоже.

— Что же про меня говорятъ?

— Что и въ тотъ вечеръ, наканунѣ, Вѣра была тамъ! въ рощѣ, внизу, съ кѣмъ-то... говорятъ, съ вами.

Она замолчала.

— Что же вамъ угодно, чтобъ я сдѣлалъ? — спросилъ онъ покорно.

— Надо сказать, что было: правду. Вамъ теперь, — рѣшительно заключила Татьяна Марковна: — надо прежде всего выгородить себя: вы были чисты всю жизнь, такимъ должны и остаться... А мы съ Вѣрой, послѣ свадьбы Марфиньки, тотчасъ уѣдемъ въ Новоселово, ко мнѣ, навсегда... Спѣшите же къ Тычкову и скажите, что васъ не было въ городѣ наканунѣ, и слѣдовательно вы и въ обрывѣ быть не могли...

Она замолчала и грустно задумалась. Тушинъ сидѣлъ согнулся корпусомъ впередъ и, наклонивъ голову, смотрѣлъ себѣ на ноги.

— А если бъ я не такъ сказалъ?..—вдругъ [illegible] голову, отозвался онъ.

— Какъ знаете, Иванъ Ивановичъ, такъ и рѣшайте. Что другое могли бы вы сказать?

— Я сказалъ бы Тычкову, — да не ему, я съ нимъ и говорить не хочу, а другимъ—что я былъ въ городѣ, потому что это правда: я не за Волгой былъ, а дня два пробылъ у пріятеля здѣсь—и сказалъ бы, что я былъ наканунѣ... въ обрывѣ — хоть и это неправда, — съ Вѣрой Васильевной... Прибавилъ бы, что... дѣлалъ предложеніе и получилъ отказъ, что это огорчило меня и васъ, такъ какъ вы были — за меня, и что Вѣра Васильевна сама огорчилась, но что дружба наша отъ этого не разстроилась... Пожалуй, можно намекнуть на какую-нибудь отдаленную надежду... обѣщаніе подумать...

— То-есть, — сказала Татьяна Марковна задумчиво:— сказать, что было сватовство, не сладилось... Да! если вы такъ добры... можно и такъ. Но вѣдь не отстанутъ послѣ, будутъ ждать, спрашивать: скоро ли, когда? Обѣщаніе не вѣкъ будетъ обѣщаніемъ...

— Забудутъ, Татьяна Марковна, особенно если вы уѣдете, какъ говорите... А если не забудутъ... и вы съ Вѣрой Васильевной будете все тревожиться... то и принять предложеніе...—тихо досказалъ Тушинъ.

Татьяна Марковна измѣнилась въ лицѣ.

— Иванъ Ивановичъ! — сказала она съ упрекомъ: — за кого вы насъ считаете съ Вѣрой? Чтобы заставить молчать злые языки, заглушить не сплетню, а горькую правду,— для этого воспользоваться вашей прежней слабостью къ ней и великодушіемъ? И потомъ, чтобъ всю жизнь — ни вамъ, ни ей, не было покоя! Я не ожидала этого отъ васъ!..

— Напрасно! никакого великодушія тутъ нѣтъ! А я думалъ, когда вы разсказывали эту сплетню, что вы за тѣмъ меня и позвали, чтобъ коротко и ясно сказать: «Иванъ Ивановичъ, и ты тутъ запутанъ: выгороди же и себя, и ее вмѣстѣ!» Вотъ тогда я прямо, какъ Викентьевъ, назвалъ бы

васъ бабушкой и сталъ бы на колѣни передъ вами. Да оно бы такъ и должно-быть! — сказалъ онъ уныло. — Простите, Татьяна Марковна, а у васъ дѣло обыкновенно начинается съ стараго обычая, съ старыхъ прагилъ, да съ справки о томъ, какъ было, да что̀ скажутъ, а собственный умъ и сердце придутъ послѣ. Вотъ, если бъ съ нихъ начать, тогда бы у васъ этой печали не было, а у меня было бы меньше сѣдыхъ волосъ, и Вѣра Васильевна...

Онъ остановился, какъ будто опомнившись.

— Виноватъ! — вдругъ понизивъ тонъ, перешедшій въ робость, сказалъ онъ.—Я взялся не за свое дѣло. Рѣшаю и за Вѣру Васильевну,—а вся сила въ ней!

— Вотъ видите, безъ моего «ума и сердца», сами договорились до правды, Иванъ Ивановичъ! Мой «умъ и сердце» говорили давно за васъ, да не судьба! Стало-быть, вы изъ жалости взяли бы ее теперь, а она вышла бы за васъ— опять скажу — ради вашего... великодушія... Того ли вы хотите? Честно ли и правильно ли это и способны ли мы съ ней на такой поступокъ? Вы знаете насъ...

— И честно, и правильно, если она чувствуетъ ко мнѣ, что̀ говоритъ. Она любитъ меня, какъ «человѣка», какъ друга: это ея слова, — цѣнитъ конечно больше, нежели я стою... Это большое счастье! Это вѣдь значитъ, что современемъ... полюбила бы—какъ добраго мужа...

— Иванъ Ивановичъ, вамъ-то что̀ этотъ бракъ принесъ бы!.. сколько горя!.. Подумайте! Боже мой!

— Я не мѣшаюсь ни въ чьи дѣла, Татьяна Марковна, вижу, что вы убиваетесь горемъ — и не мѣшаю вамъ: зачѣмъ же вы хотите думать и чувствовать за меня? Позвольте мнѣ самому знать, что̀ мнѣ принесетъ этотъ бракъ!—вдругъ сказалъ Тушинъ рѣзко.—Счастье на всю жизнь—вотъ что̀ онъ принесетъ! А я, можетъ-быть, проживу еще лѣтъ пятьдесятъ! Если не пятьдесятъ, хоть десять, двадцать лѣтъ счастья!

Онъ почесалъ голову почти съ отчаяніемъ, что эти двѣ женщины не понимаютъ его и не соглашаются отдать ему въ руки то счастье, которое ходитъ около него, ускользаетъ, не дается, и въ которое бы онъ вцѣпился своими медвѣжьими когтями и никогда бы не выпустилъ вонъ.

А онѣ не видятъ, не понимаютъ, все еще громоздятъ горы, которыя вдругъ выросли на его дорогѣ и пропали— ихъ нѣтъ больше, онъ одолѣлъ ихъ страшною силою любви и муки!

Ужели даромъ бился онъ въ этой битвѣ и устоялъ на ногахъ, не добывъ погибшаго счастья. Была одна только неодолимая гора: Вѣра любила другого, надѣялась быть счастлива съ этимъ другимъ—вотъ гдѣ настоящій обрывъ! Теперь надежда ея умерла, умираетъ, по словамъ ея («а она никогда не лжетъ и знаетъ себя», подумалъ онъ)— слѣдовательно ничего нѣтъ больше, никакихъ горъ! А онѣ не понимаютъ, выдумываютъ препятствія!

«А ихъ нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ!» съ бѣшенствомъ про себя шепталъ Тушинъ, и почти злобно смотрѣлъ на Татьяну Марковну.

— Татьяна Марковна! — заговорилъ онъ, вдругъ опять взявъ высокую ноту, горячо и сильно. — Вѣдь если лѣсъ мѣшаетъ идти впередъ, его вырубаютъ, море переплываютъ, а теперь вонъ прорываютъ и горы насквозь, и все идутъ смѣлые люди впередъ! А здѣсь, ни лѣса, ни моря, ни горъ— ничего нѣтъ: были стѣны и упали, былъ обрывъ и нѣтъ его! Я бросаю мостъ черезъ него и иду, ноги у меня не трясутся... Дайте же мнѣ Вѣру Васильевну, дайте мнѣ ее!— почти кричалъ онъ: — я перенесу ее черезъ этотъ обрывъ и мостъ—и никакой чортъ не помѣшаетъ моему счастью и ея покою—хоть живи она сто лѣтъ! Она будетъ моей царицей и укроется въ моихъ лѣсахъ, подъ моей защитой, отъ всякихъ грозъ и забудетъ всякіе обрывы, хоть бы ихъ были тысячи!! Что это вы не можете понять меня!

Онъ всталъ, вдругъ зажалъ глаза платкомъ, и въ отчаяніи началъ ходить по комнатѣ.

— Я-то понимаю, Иванъ Ивановичъ, — тихо, сквозь слезы, сказала Татьяна Марковна, помолчавъ:—но дѣло не во мнѣ...

Онъ вдругъ остановился, отеръ глаза, провелъ рукой по своей густой гривѣ и взялъ обѣ руки Татьяны Марковны.

— Простите меня, Татьяна Марковна, я все забываю главное: ни горы, ни лѣса, ни пропасти не мѣшаютъ — есть одно препятствіе неодолимое: Вѣра Васильевна не хочетъ, стало-быть — видитъ впереди жизнь счастливѣе, нежели со мной...

Изумленная, тронутая Татьяна Марковна хотѣла что-то возразить, онъ остановилъ ее.

— Виноватъ опять!—сказалъ онъ:—я не въ ту силу поворотилъ. Оставимъ рѣчь обо мнѣ, я удалился отъ предмета. Вы звали меня, чтобъ сообщить мнѣ о сплетнѣ, и думали, что это обезпокоитъ меня — такъ? Успокойтесь же и успокойте Вѣру Васильевну, увезите ее, — да чтобъ она не слыхала объ этихъ толкахъ! А меня это не обезпокоитъ!

Онъ усмѣхнулся.

— Эта нѣжность мнѣ не къ лицу. На сплетню я плюю, а въ городѣ мимоходомъ скажу, какъ мы говорили сейчасъ, что я сватался и получилъ отказъ, что это огорчило васъ, меня, и весь домъ... такъ какъ я давно надѣялся... *Тотъ* уѣзжаетъ завтра или послѣзавтра навсегда (я ужъ справился), — и все забудется. Я и прежде ничего не боялся, а теперь мнѣ нечѣмъ дорожить. Я все равно, что живу, что нѣтъ, съ тѣхъ поръ, какъ рѣшено, что Вѣра Васильевна не будетъ никогда моей женой...

— Будетъ вашей женой, Иванъ Ивановичъ, — сказала Татьяна Марковна, блѣдная отъ волненія:—если... то забу-

дется, отойдетъ... (Онъ сдѣлалъ нетерпѣливый, отчаянный жестъ...) если этотъ обрывъ вы не считаете бездной... Я поняла теперь только, какъ вы ее любите...

Она еще боялась вѣрить слезамъ, стоявшимъ въ глазахъ Тушина, его этимъ простымъ словамъ, которыя возвращали ей всю будущность, спасали погибшую судьбу Вѣры.

— Будетъ?—повторилъ и онъ, подступивъ къ ней широкими шагами, и чувствовалъ, что волосы у него поднимаются на головѣ и дрожь бѣжитъ по тѣлу.—Татьяна Марковна! Не маните меня напрасной надеждой, я не мальчикъ! Что̀ я говорю — то̀ вѣрно, но хочу, чтобъ и то, что̀ сказано мнѣ—было вѣрно, чтобы не отняли у меня потомъ! Кто мнѣ поручится, что это будетъ, что Вѣра Васильевна... когда-нибудь...

— Бабушка поручится: теперь — это все равно, что она сама...

Тушинъ блеснулъ на нее благодарнымъ взглядомъ и взялъ ея руку.

— Но погодите, Иванъ Ивановичъ! — торопливо, почти съ испугомъ, прибавила она и отняла руку, видя, какъ Тушинъ вдругъ точно выросъ, помолодѣлъ, сталъ чѣмъ былъ прежде. — Теперь я, ужъ не какъ бабушка, а какъ женщина, скажу: погодите, рано, не до того ей! Она еще убита, дайте ей самой оправиться! Не тревожьте, оставьте ее надолго! Она разстроена, не перенесетъ... Да и не пойметъ васъ, не повѣритъ теперь вамъ, подумаетъ, что вы въ горячкѣ, хотите не выпустить ее изъ рукъ, а потомъ одумаетесь. Дайте ей покой. Вы давеча помянули про мой умъ и сердце; вотъ они мнѣ и говорятъ: погоди! Да, я бабушка ей, а не затрону теперь этого дѣла, а вы и подавно... Помните же, что̀ я вамъ говорю...

— Я буду помнить одно слово: «*будетъ*», и имъ пока буду жить. Видите ли, Татьяна Марковна, что̀ сдѣлало оно со мной, это ваше слово?..

— Вижу, Иванъ Ивановичъ, и вѣрю, что вы говорите не на вѣтеръ. Оттого и вырвалось у меня это слово; не принимайте его слишкомъ горячо къ сердцу — я сама боюсь...

— Я буду надѣяться... — сказалъ онъ тише и смотрѣлъ на нее молящими глазами. — Ахъ, если бъ и я, какъ Викентьевъ, могъ когда-нибудь сказать: «бабушка!»

Она сдѣлала ему знакъ, чтобъ онъ оставилъ ее, и когда онъ вышелъ, она опустилась въ кресла, закрывъ лицо платкомъ.

XXI.

На другой день Райскій утромъ рано предупредилъ Крицкую запиской, что онъ проситъ позволенія придти къ ней въ половинѣ перваго часа и получилъ въ отвѣтъ: «Charmée, j'attends» и т. д.

Шторы у ней были опущены, комнаты накурены. Она въ бѣлой кисейной блузѣ, перехваченной поясомъ, съ широкими кружевными рукавами, съ желтой далiей на груди, слегка подрумяненная, встрѣтила его въ своемъ будуарѣ. Тамъ, у дивана, накрытъ былъ столъ, и рядомъ стояли два прибора.

— Мой прощальный визитъ!—сказалъ онъ, кланяясь ей и останавливая на ней сладкій взглядъ.

— Какъ прощальный! — съ испугомъ перебила она: — я слушать не хочу! Вы ѣдете теперь, когда мы... Не можетъ быть! Вы пошутили: жестокая шутка! Нѣтъ, нѣтъ, скорѣй засмѣйтесь, возьмите назадъ ужасныя слова!..

— Что это у васъ? — радостно произнесъ онъ, вдругъ уставивъ глаза на столъ:—свѣжая икра!

Она сунула свою руку ему подъ руку и подвела къ столу, на которомъ стоялъ полный, обильный завтракъ. Онъ оглядывалъ одно блюдо за другимъ. Въ двухъ хрустальныхъ тарелкахъ была икра.

— Я знаю, что вы любите... да любите...

— Икру? Даже затрясся весь, какъ увидалъ! А это что?— съ новымъ удовольствіемъ заговорилъ онъ, приподнимая крышки серебряныхъ блюдъ, одну за другой. — Какая вы кокетка, Полина Карповна: даже котлетки безъ папильотокъ не можете кушать! Ахъ, и трюфли — *роскошь юныхъ лѣтъ!*—petit-fours, bouchées de dames! Ахъ! что вы хотите со мной дѣлать?— обратился онъ къ ней, потирая отъ удовольствія руки.—Какіе замыслы у васъ?

— Вотъ, вотъ чего я жду: этой улыбки, шутки, смѣха— да! Не поминайте объ отъѣздѣ. Прочь печаль! Vive l'amour et la joie.

«Эге! какой «abandon!» — даже страшновато...» подумалъ онъ опасливо.

— Садитесь, сядемъ рядомъ, сюда! — пригласила она, и взявъ его за руку, усадила рядомъ съ собой, шаловливо завѣсивъ его салфеткой, какъ дѣлаютъ съ дѣтьми и стариками.

Онъ машинально повиновался, съ вожделѣніемъ поглядывая на икру. Она подвинула ему тарелку, и онъ принялся удовлетворять утренній, свѣжій аппетитъ. Она сама положила ему котлетку и налила шампанскаго въ граненый стаканѣ, а себѣ въ бокалъ, и кокетливо брала въ ротъ маленькіе кусочки пирожнаго, любуясь имъ.

Послѣ жареной дичи и двухъ стакановъ шампанскаго, при чемъ они чокались, глядя близко другъ другу въ глаза,— она лукаво и нѣжно, онъ — вопросительно и отчасти боязливо,—они наконецъ прервали молчаніе.

— Что вы скажете? — спросила она выразительно, будто ожидая чего-то особеннаго.

— Ахъ, какая икра! Я еще опомниться не могу!

— Вижу... вижу,—сказала она лукаво.—Снимите маску, полноте притворяться...

— Ахъ!—вздохнулъ онъ, отпивая изъ стакана.

— Enfin la glace est rompue? На чьей сторонѣ побѣда? Кто предвидѣлъ, кто предсказывалъ? A votre santé!

— A la votre!

Они чокнулись.

— Помните... тотъ вечеръ, когда «природа, говорили вы, празднуетъ любовь...»

— Помню!—шепнулъ онъ мрачно:—онъ рѣшилъ все!..

— Да не правда ли? я знала! Могла ли удержать въ своихъ слабыхъ сѣтяхъ бѣдная дѣвочка... une nullité, cette pauvre petite fille, qui n'a que sa figure?.. Ни опытности, ни блеска, дикая!..

— Нѣтъ, не могла! Я вырвался...

— И нашли то... что̀ давно искали: признайтесь!

Онъ медлилъ.

— Buvez—et du courage!

Она придвинула ему стаканъ. Онъ допилъ его, она сейчасъ наполнила его опять.

— Признайтесь...

— Признаюсь.

— Что̀ тогда случилось тамъ... въ рощѣ?.. Вы были такъ взволнованы. Скажите... ударъ?..

— Да, ударъ и... разочарованіе.

— Могло ли быть иначе: вы—и она, деревенская дѣвочка!

Она гордо оправилась, взглянула на себя въ зеркало и выправила кружево на рукавахъ.

— Что̀ же тамъ было?—спросила она, стараясь придать небрежность тону.

— Это не моя тайна!—сказалъ онъ, будто опомнившись.

— Oh, je respecte les secrets de famille... Пейте же!

Она придвинула стаканъ. Онъ отпилъ глотка два.

— Ахъ! —вздохнулъ онъ на всю комнату. — Нельзя ли отворить форточку?.. Мнѣ тяжело, больно!

— Oh, je vous comprends!—она бросилась отворять форточку.—Voilà des sels, du vinaigre de toilette...

— Нѣтъ, благодарю! — говорилъ онъ, махая платкомъ себѣ въ лицо.

— Какъ вы были тогда страшны? Я кстати подоспѣла, не правда ли! Можетъ-быть, безъ меня вы воротились бы въ пропасть, на дно обрыва! Что тамъ было, въ ропцѣ?.. а?

— Ахъ, не спрашивайте!

— Buvez donc!

Онъ лѣниво отпилъ глотокъ.

— Тамъ, гдѣ я думалъ...—говорилъ онъ, будто про себя:— найти счастье... я услыхалъ...

— Что?—шопотомъ спросила она, притаивъ дыханіе.

— Ахъ!—шумно вздохнулъ онъ:—отворить бы двери!

— Тамъ былъ... Тушинъ—да?

Онъ, молча, кивнулъ головой и выпилъ глотокъ вина.

Злая радость наполнила черты ея лица.

— Dites tout.

— Она гуляла задумчиво одна... — тихо говорилъ онъ, а Полина Карповна, играя цѣпочкой его часовъ подставляла свое ухо къ его губамъ. — Я шелъ по ея слѣдамъ, хотѣлъ наконецъ допроситься у ней отвѣта... она сошла нѣсколько шаговъ съ обрыва, какъ вдругъ навстрѣчу ей вышелъ...

— Онъ?

— Онъ.

— Я это знала, оттого и пошла въ садъ... О, я знала, qu'il y a du louche! что же онъ?

— Здравствуйте, говоритъ, Вѣра Васильевна? здоровы ли вы?..

— Лицемѣръ:—сказала Крицкая.

— Она испугалась...

— Притворно!

— Нѣтъ, испугалась непритворно, а я спрятался, и слушаю. «Откуда вы? спрашиваетъ она: какъ сюда попали?» «Я, говоритъ, сегодня пріѣхалъ на два дня, чтобы

завтра, въ день рожденья вашей сестры... Я выбралъ этотъ день...

— Eh bien?

— Eh bien! «рѣшите, говоритъ, Вѣра Васильевна: жить мнѣ, или нѣтъ!»

— Où le sentiment va-t-il se nicher!—въ этомъ дубѣ!—замѣтила Полина Карповна.

— «Иванъ Ивановичъ!» сказала Вѣра умоляющимъ голосомъ. «Вѣра Васильевна!» перебилъ онъ: «рѣшите, идти мнѣ завтра къ Татьянѣ Марковнѣ и просить вашей руки, или кинуться въ Волгу?..»

— Такъ и сказалъ?

— Какъ напечаталъ!

— Mais il est ridicule! что же она: «ахъ, охъ?!»

— «Нѣтъ, Иванъ Ивановичъ, дайте мнѣ—(это она говоритъ) — самой рѣшить, могу ли я отвѣчать вамъ такимъ же полнымъ, глубокимъ чувствомъ, какое питаете вы ко мнѣ. Дайте полгода, годъ срока, и тогда я скажу — или *нѣтъ*, или то *da*, какое»... Ахъ! какая духота у васъ здѣсь! нельзя ли сквозного вѣтра?—(«не будетъ ли сочинять? кажется, довольно?») подумалъ Райскій и взглянулъ на Полину Карповну.

На лицѣ у ней было полнѣйшее разочарованіе.

— C'est tout?—спросила она.

— Oui!—сказалъ онъ со свистомъ.—Тушинъ, однако, не потерялъ надежду, сказалъ, что на другой день, въ рожденье Марѳиньки, пріѣдетъ узнать ея послѣднее слово и пошелъ опять съ обрыва черезъ рощу, а она проводила его... Кажется, на другой день надежды его подогрѣлись, а мои исчезли навсегда...

— И все! А тутъ, Богъ знаетъ, что̀ наговорили... и про нее, и про васъ! Не пощадили даже и Татьяну Марковну, эту почтенную, можно сказать, святую!.. Какіе есть на свѣтѣ ядовитые языки!.. Этотъ отвратительный Тычковъ...

— Что̀ такое про бабушку?—спросилъ тихо Райскій, въ свою очередь, притаивъ дыханіе и навостривъ ухо.

Онъ слышалъ отъ Вѣры намекъ на любовь, слышалъ кое-что отъ Василисы, но у какой женщины не было своего романа? Что̀ могли воскресить изъ праха за сорокъ лѣтъ? какую-нибудь ложь, сплетню? Надо узнать — и такъ или иначе—зажать ротъ Тычкову.

— Что̀ такое про бабушку? — тихо и вкрадчиво повторилъ онъ.

— Ah c'est dégoutant. Никто не вѣритъ, всѣ смѣются надъ Тычковымъ, что онъ унизился разспрашивать помѣшавшуюся отъ пьянства нищую... Я не стану повторять...

— Я васъ прошу...—нѣжно шепталъ онъ.

— Вы хотите? — шептала и она, склонясь къ нему: — я все сдѣлаю—все...

— Ну, ну?..—торопилъ онъ.

— Эта баба—вонъ она тутъ на паперти у Успенья всегда стоитъ — разсказывала, что будто Титъ Никонычъ любилъ Татьяну Марковну, а она его...

— Я это знаю, слышалъ...—нетерпѣливо перебилъ онъ:— тутъ еще бѣды нѣтъ...

— А за нее сватался покойный графъ Сергѣй Иванычъ...

— Знаю и это, она не хотѣла—онъ женился на другой, а ей не позволили выйти за Тита Никоныча. Вотъ и вся исторія. Ее Василиса знаетъ...

— Mais non! не все тутъ... Конечно, я не вѣрю... это быть не можетъ! Татьяна Марковна!

— Что же пьяная баба еще разсказываетъ? — допытывался Райскій.

— Что... въ одну ночь графъ подстерегъ rendes-vous Татьяны Марковны съ Ватутинымъ въ оранжереѣ... Но такое рѣшительное rendez-vous... Нѣтъ, нѣтъ...—Она закатилась смѣхомъ.—Татьяна Марковна! Кто повѣритъ!

Райскій вдругъ сталъ серьезно слушать. У него просну-

лись какія-то соображенія въ головѣ и захватило духъ отъ этой сплетни.

— Дальше?—тихо спросилъ онъ.

— Графъ далъ пощечину Титу Никонычу...

— Это ложь! — вскочивъ съ мѣста, перебилъ Райскій: — Титъ Никонычъ джентльменъ!.. Онъ не вынесъ бы этого...

— И я говорю «ложь»! — проворно согласилась Крицкая. — Онъ и не вынесъ... — продолжала она: — онъ сбилъ съ ногъ графа, душилъ его за горло, схватилъ откуда-то между цвѣтами кривой, садовничій ножъ, и чуть не зарѣзалъ его...

Райскій измѣнился въ лицѣ.

— Ну?—спросилъ онъ, едва дыша отъ нетерпѣнія.

— Татьяна Марковна остановила его за руку: «ты, говоритъ, дворянинъ, а не разбойникъ—у тебя есть шпага!» и развела ихъ. Драться было нельзя, чтобъ не огласить ее. Соперники дали другъ другу слово: графъ — молчать обо всемъ, а тотъ — не жениться... Вотъ отчего Татьяна Марковна осталась въ дѣвушкахъ... Не подло ли распускать такую... гнусную клевету!

Райскій отъ волненія вздохнулъ всей грудью.

— Видите, что это... ложь!—сказалъ онъ:—кто могъ видѣть и слышать ихъ?

— Садовникъ спалъ тамъ гдѣ-то въ углу, и будто все видѣлъ и слышалъ. Онъ молчалъ, боялся, былъ крѣпостной... А эта пьяная баба, его вдова, отъ него слышала — и болтаетъ... Разумѣется, вздоръ — кто повѣритъ! я первая говорю: ложь, ложь! эта святая, почтенная Татьяна Марковна!..—Крицкая закатилась опять смѣхомъ и вдругъ сдержалась.—Но что съ вами? Allons donc, qubliez tout! Vive la joie!—сказала она.—Что вы нахмурились? перестаньте. Я велю еще подать вина!

— Нѣтъ, нѣтъ, я боюсь...

— Чего, скажите!..—томно спросила она.

— Дурно сдѣлается... я не привыкъ пить!—сказалъ онъ и всталъ съ мѣста.

И она встала.

— Прощайте, навсегда...

— Куда! Нѣтъ, нѣтъ!

— Я бѣгу отъ этихъ опасныхъ мѣстъ, отъ обрывовъ, отъ пропастей!.. Прощайте, прощайте!..

Онъ схватилъ шляпу и быстро ушелъ. Она осталась, какъ окаменѣлая, потомъ проворно позвонила.

— Коляску мнѣ!..— сказала она вошедшей дѣвушкѣ:—и одѣваться: я ѣду съ визитами!

Райскій вышелъ отъ нея, и все вылетѣло у него изъ головы: осталась—одна «сплетня»! Онъ чувствовалъ въ разсказѣ пьяной бабы—въ этой сплетнѣ—истину...

У него въ рукахъ былъ ключъ отъ прошлаго, отъ всей жизни бабушки.

Ему ясно все: отчего она такая? откуда эта нравственная сила, практическая мудрость, знаніе жизни, сердца? отчего она такъ скоро овладѣла довѣріемъ Вѣры и успокоила ее, а сама такъ взволновалась? И Вѣра, должно-быть, знаетъ все...

Образъ старухи сталъ передъ нимъ во всей полнотѣ.

Думая только дать другое направленіе слухамъ о Вѣрѣ, о себѣ и о Тушинѣ, онъ нечаянно наткнулся на забытую, но живую страницу своей фамильной хроники, другую драму, не опасную для ея героевъ — ей минула сорокалѣтняя давность, но глубоко поглотившую его самого.

Онъ понялъ теперь бабушку. Онъ вошелъ къ ней съ замирающимъ отъ волненія сердцемъ, забылъ отдать отчетъ о томъ, какъ онъ передалъ Крицкой разсказъ о прогулкѣ Вѣры въ обрывѣ, и впился въ нее жадными глазами.

— Борюшка!—съ изумленіемъ сказала она, отступая отъ него:—что это, другъ мой — отъ тебя, какъ изъ бочки, виномъ разитъ...

Она посмотрѣла на него съ минуту пристально, увидѣла этотъ его, вонзившійся въ нее, глубоко выразительный взглядъ, сама взглянула-было вопросительно — и вдругъ отвернулась къ нему спиной.

Она поняла, что онъ узналъ «сплетню» о ней самой.

XXII.

Наконецъ совершилась и свадьба Мароиньки съ Викентьевымъ, противъ общаго ожиданія, очень скромно. Приглашено было на нее только высшее общество города и нѣсколько окрестныхъ помѣщиковъ, что, однако, составило человѣкъ пятьдесятъ.

Вѣнчали ихъ въ сельской церкви, послѣ обѣдни въ воскресенье, и потомъ гостямъ предложенъ былъ парадный завтракъ, въ большой залѣ стараго дома, которую передъ тѣмъ за недѣлю мыли, чистили, скребли, чтобъ отпировать въ ней въ послѣдній разъ.

Ни разливаннаго моря, ни разгоряченныхъ лицъ и развязныхъ языковъ, ни радостныхъ кликовъ не было. Пуще всего разочарована была дворня этой скромностью хотя люди и успѣли напиться, но не до потери смысла, и по этой причинѣ признали свадьбу невеселою.

Барыня обнаружила тутъ свою обычную предусмотрительность, чтобы не перепились ни кучера, ни повара, ни лакеи. Всѣ они были нужны: одни готовить завтракъ, другіе служить при столѣ, а третьи—отвезти параднымъ поѣздомъ молодыхъ и всю свиту до переправы черезъ рѣку. Передъ тѣмъ тоже было работы не мало. Цѣлую недѣлю возили приданое за Волгу: гардеробъ, вещи, множество цѣнныхъ предметовъ изъ стараго дома—словомъ, цѣлое имущество.

Мароинька сіяла какъ херувимъ — красотой, всей прелестью расцвѣтшей розы, и въ этотъ день явилась въ ней новая черта, новый смыслъ въ лицѣ, новое чувство, выра-

жавшееся въ задумчивой улыбкѣ и въ висѣвшихъ иногда на рѣсницахъ слезахъ.

Сознаніе новой жизни, даль будущаго, строгость долга, моментъ торжества и счастья — все придавало лицу и красотѣ ея нѣжную, трогательную тѣнь. Женихъ былъ скроменъ, почти робокъ; пропала его рѣзвость, умолкли шутки, онъ былъ растроганъ. Бабушка задумчиво-счастлива, Вѣра непроницаема и блѣдна.

Райскій, съ умиленіемъ брата, смотрѣлъ на невѣсту, и когда она вышла изъ своей комнаты, совсѣмъ одѣтая, онъ сначала ахнулъ отъ восторга, потомъ испугался, замѣтивъ въ ея свадебномъ, померанцевомъ букетѣ нѣсколько сухихъ, увядшихъ цвѣтковъ.

— Что это? — спросилъ онъ торопливо, самъ уже догадываясь.

— Это изъ Вѣрочкина букета, который она мнѣ подарила въ день моего рожденія,—сказала она наивно.

Райскій уговорилъ ее вынуть ихъ, и самъ проворно помогалъ вытаскивать, сославшись на какую-то, тутъ же изобрѣтенную имъ, дурную примѣту.

Затѣмъ все прошло благополучно, включая и рыданія молодой, которую буквально оторвали отъ груди бабушки— но это были тоже благополучныя рыданія.

И сама бабушка едва выдержала себя. Она была блѣдна; видно было, что ей стоило необычайныхъ усилій устоять на ногахъ, глядя съ берега на уплывающую буквально— отъ нея дочь, такъ долго покоившуюся на ея груди, рукахъ и колѣняхъ.

Она залилась только слезами дома, когда почувствовала, что объятія ея не опустѣли, что въ нихъ страстно бросилась Вѣра, и что вся ея любовь почти безраздѣльно принадлежитъ этой другой, сознательной, созрѣлой дочери — ставшей такою путемъ горькаго опыта.

Тушинъ не уѣхалъ къ себѣ послѣ свадьбы. Онъ остался

у пріятеля въ городѣ. На другой же день онъ явился къ Татьянѣ Марковнѣ съ архитекторомъ. И всякій день они разсматривали планы, потомъ осматривали оба дома, садъ, всѣ службы, совѣщались, чертили, высчитывали, соображая радикальныя передѣлки на будущую весну.

Изъ стараго дома было вынесено все цѣнное, мебель, картины, даже болѣе уцѣлѣвшіе паркеты, и помѣщено, частью въ новомъ домѣ, частью въ обширныхъ кладовыхъ, и даже на чердакахъ.

Татьяна Марковна съ Вѣрой собирались уѣхать въ Новоселово, потомъ гостить къ Викентьевымъ. Весну и лѣто приглашалъ ихъ обѣихъ Тушинъ провести у Анны Ивановны, своей сестры, въ его «Дымкѣ».

На это Татьяна Марковна со вздохомъ отвѣчала:

— Не знаю, Иванъ Ивановичъ! Обѣщать навѣрное боюсь, но и не отказываю: что̀ Богъ дастъ! Какъ Вѣра!

Тушинъ все-таки, на всякій случай, съ тѣмъ же архитекторомъ, немедленно занялся соображеніями объ отдѣлкѣ дома, для пріема и помѣщенія дорогихъ гостей.

Райскій перешелъ изъ стараго дома опять въ новый, въ свои комнаты. Козловъ переѣхалъ къ себѣ, съ тѣмъ, однако, чтобъ послѣ отъѣзда Татьяны Марковны съ Вѣрой поселиться опять у нея въ домѣ. Тушинъ звалъ его къ себѣ, просвѣщать свою колонію, начиная съ него самого. Козловъ почесалъ голову, подумалъ и вздохнулъ, глядя—на московскую дорогу.

— Послѣ, зимой...—говорилъ онъ:—а теперь я жду...

Онъ не договорилъ и задумался. А онъ ждалъ отвѣта на свое письмо къ женѣ. Ульяна Андреевна недавно написала къ хозяйкѣ квартиры, чтобы ей прислали... теплый салопъ, оставшійся дома, и дала свой адресъ, а о мужѣ не упомянула. Козловъ самъ отправилъ салопъ, и написалъ ей горячее письмо — съ призывомъ, говорилъ о своей дружбѣ, даже о любви.

Бѣдный! Отвѣта не было. Онъ началъ понемногу посѣщать гимназію, но на урокахъ впадалъ въ уныніе, былъ разсѣянъ, не замѣчалъ шутокъ, шалостей своихъ учениковъ, не знавшихъ жалости и пощады къ его горю и видѣвшихъ въ немъ только «смѣшного».

За отсутствіемъ Татьяны Марковны, Тушинъ вызвался быть хозяиномъ Малиновки. Онъ называлъ ее своей зимней квартирой, предполагая ѣздить каждую недѣлю, завѣдывать домомъ, деревней и прислугой, изъ которой только Василиса, Егоръ, поваръ и кучеръ уѣзжали съ барыней въ Новоселово. Прочіе всѣ оставались на мѣстѣ, на своемъ положеніи. Якову и Савелью поручено было состоять въ распоряженіи Тушина.

Райскій докончилъ портретъ бабушки и Вѣры, а Крицкой, на неоконченномъ портретѣ, придѣлалъ только желтую далію на груди. Черезъ недѣлю послѣ свадьбы онъ объявилъ, что ѣдетъ черезъ два дня.

— Егоръ, принеси чемоданъ съ чердака, готовь платье и бѣлье: я ѣду.

На этотъ разъ повѣрилъ и Егоръ. Собирая платье, бѣлье и обувь, онъ нашелъ, что три-четыре тонкихъ рубашки ужъ не очень новы, и потому конфисковалъ ихъ въ свою пользу, такъ же, какъ и лишнія, по его мнѣнію, панталоны, жилетъ и пару ботинокъ, съ стоптаннымъ каблукомъ.

Всѣхъ печальнѣе былъ Титъ Никонычъ. Прежде онъ послѣдовалъ бы за Татьяной Марковной на край свѣта, но послѣ «сплетни», по крайней мѣрѣ вскорѣ, было бы не совсѣмъ ловко ѣхать съ нею. Это могло подтвердить старую исторію, хотя ей, частью не повѣрили, частью забыли о ней, потому что живыхъ свидѣтелей, кромѣ полупомѣшанной бабы, никого не было.

Татьяна Марковна, однако, разрѣшила ему пріѣхать къ ней на праздникъ Рождества, и тамъ, смотря по обстоятельствамъ, пожалуй, и остаться. Онъ вздохнулъ немного

отраднѣе и обрадовался предложенію Тушина погостить до тѣхъ поръ у него.

Сплетня о Вѣрѣ вдругъ смолкла, или перешла опять въ ожиданіе о томъ, что она будетъ объявлена невѣстой Тушина, на котораго все и обрушилось, послѣ завтрака Райскаго у Крицкой, между прочимъ и догадка о ея прогулкѣ съ нимъ на днѣ обрыва.

Но ни Тушинъ, ни Вѣра, ни сама Татьяна Марковна, послѣ ея разговора съ первымъ, не обмѣнялись ни однимъ словомъ объ этомъ. Туманное пятно оставалось пятномъ, не только для общества, но для самихъ дѣйствующихъ лицъ, т.-е. для Тушина и бабушки.

Какъ ни велика была надежда Татьяны Марковны на дружбу Вѣры къ нему и на свое вліяніе на нее, но втайнѣ у ней возникли нѣкоторыя опасенія. Она разсчитывала на послушаніе Вѣры—это правда, но не на слѣпое повиновеніе своей волѣ. Этого она и не хотѣла, и не взялась бы дѣйствовать на волю.

Она разсчитывала на покорность самаго сердца: ей казалось невозможнымъ, любя Ивана Ивановича, какъ человѣка, какъ друга, не полюбить его какъ мужа, но чтобъ полюбить такъ, надо прежде выйти замужъ, т.-е. начать прямо съ цѣли.

Она угадывала состояніе Вѣры и рѣшила, что теперь рано, нельзя. Но придетъ ли когда-нибудь пора, что Вѣра успокоится? Она слишкомъ своеобразна, судить ее по другимъ нельзя.

Отъ этого Татьяна Марковна втайнѣ немного боялась и хмурилась, когда до нея доходили слишкомъ опредѣленные городскіе слухи и предположенія о бракѣ Вѣры съ Тушинымъ, какъ о дѣлѣ рѣшенномъ.

Одна Вѣра ничего этого не знала, не подозрѣвала и продолжала видѣть въ Тушинѣ прежняго друга, оцѣнивъ его еще больше съ тѣхъ поръ, какъ онъ явился во всѣ рости

надъ обрывомъ, и мужественно перенесъ свое горе, съ прежнимъ уваженіемъ и симпатіей протянулъ ей руку, показавшись въ одинъ и тотъ же моментъ, и добрымъ, и справедливымъ, и великодушнымъ—по своей природѣ, чего братъ Райскій, болѣе его развитой и образованный, достигалъ такимъ мучительнымъ путемъ.

XXIII.

Наканунѣ отъѣзда, въ комнатѣ у Райскаго, развѣшено и разложено было платье, бѣлье, обувь и другія вещи, а столъ загроможденъ былъ портфелями, рисунками, тетрадями, которые онъ готовился взять съ собой. Въ два-три послѣдніе дня передъ отъѣздомъ, онъ собралъ и пересмотрѣлъ опять всѣ свои литературные матеріалы, и между прочимъ отобранные имъ изъ программы романа тѣ листки, гдѣ набросаны были замѣтки о Вѣрѣ.

— Попробую, начну здѣсь, на мѣстѣ дѣйствія! — сказалъ онъ себѣ ночью, которую въ послѣдній разъ проводилъ подъ роднымъ кровомъ, — и сѣлъ за письменный столъ. — Хоть одну главу напишу! А потомъ, вдалекѣ, когда отодвинусь отъ этихъ лицъ, отъ своей страсти, отъ всѣхъ этихъ драмъ и комедій,—картина ихъ виднѣе будетъ издалека. Даль одѣнетъ ихъ въ лучи поэзіи; я буду видѣть одно чистое созданіе творчества, одну свою статую, безъ примѣси реальныхъ мелочей... Попробую!..

ВѢРА.

Романъ...

Онъ остановился надъ вопросомъ: во сколькихъ частяхъ?

«Одинъ томъ—это не романъ, а повѣсть», думалъ онъ. «Въ двухъ или трехъ: въ трехъ—пожалуй, года три пропишешь! Нѣтъ, довольно двухъ!» И онъ написалъ: «*Романъ въ двухъ частяхъ*».

— Теперь эпиграфъ: онъ давно готовъ!—шепнулъ онъ и

написалъ прямо изъ памяти слѣдующее стихотвореніе Гейне, и подъ нимъ переводъ, сдѣланный недавно:

Nun ist es Zeit, dass ich mit Verstand
Mich aller Thorheit entled'ge,
Ich hab' so lang, als ein Komödiant
Mit dir gespielt die Komödie.

Die prächt'gen Coulissen, sie waren bemalt
Im hoch romantischen Stile,
Mein Rittermantel hat goldig gestrahlt,
Ich fühlte die feinsten Gefühle.

Und nun ich mich gar säuberlich
Des tollen Tands entled'ge:
Noch immer elend fühle ich mich,
Als spielt' ich noch immer Komödie.

Ach, Gott! im Scherz und unbewusst
Sprach ich, was ich gefühlet;
Ich hab, mit dem Tod in der eignen Brust
Den sterbenden Fechter gespielet!

Довольно! Пора мнѣ забыть этотъ вздоръ!
Пора воротиться къ разсудку!
Довольно съ тобой, какъ искусный актеръ,
Я драму разыгрывалъ въ шутку.

Расписаны были кулисы пестро,
Я такъ декламировалъ страстно;
И мантіи блескъ, и на шляпѣ перо,
И чувство—все было прекрасно!

Теперь же, хоть бросилъ я это тряпье,
Хоть нѣтъ театральнаго хламу,
Все такъ же болитъ еще сердце мое,
Какъ будто играю я драму.

И что́ за поддѣльную боль я считалъ,
То боль оказалась живая—
О, Боже, я раненый на смерть—игралъ,
Гладіатора смерть представляя!

Онъ перечиталъ, потомъ вздохнулъ и, положивъ локти на столъ, подперъ руками щеки и смотрѣлъ на себя въ зеркало. Онъ съ грустью видѣлъ, что сильно похудѣлъ, что прежнихъ живыхъ красокъ, подвижности въ чертахъ, не было. Слѣды молодости и свѣжести стерлись до конца. Не даромъ ему обошлись эти полгода. Вонъ и сѣдые волосы сильно серебрятся. Онъ приподнялъ рукой густыя пряди черныхъ волосъ, и тоже не безъ грусти видѣлъ, что они рѣдѣютъ, что ихъ темный колоритъ мѣшается съ бѣлымъ.

— Да: *раненый на смерть—игралъ гладіатора смерть*!..— шепнулъ онъ со вздохомъ и, взявъ перо, хотѣлъ писать.

Въ это время вошелъ Егоръ спросить, въ которомъ часу будить его. Райскій махнулъ ему рукой, чтобъ оставилъ его, сказавъ, что будить не надо, что онъ встанетъ самъ, а можетъ-быть и вовсе не ляжетъ, потому что у него много «дѣла».

Егоръ за ужиномъ пересказалъ это дѣвушкамъ, прибавивъ, что баринъ собирается, должно-быть, опять «чудить» ночью, какъ бывало въ началѣ осени.

— Это очень занятно,—заключилъ онъ:—жалко, а иной разъ и страшно станетъ!

Райскій написалъ подъ эпиграфомъ:

ПОСВЯЩЕНІЕ.

Потомъ подумалъ, прошелся раза три по комнатѣ и вдругъ сѣлъ и началъ писать.

«Женщины! вами вдохновленъ этотъ трудъ», проворно писалъ онъ: «вамъ и посвящается! Примите благосклонно. Если его встрѣтитъ вражда, лукавые толки, недоразумѣнія— вы поймете и оцѣните, что водило моими чувствами, моей фантазіей и перомъ! Отдаю, и свое созданіе, и себя самого, подъ вашу могущественную защиту и покровительство! Отъ васъ только и ожидаю... «наградъ»,—написалъ онъ и, зачеркнувъ, поставилъ: «снисхожденія».

«Долго ходилъ я, какъ юродивый, между вами, съ Діогеновскимъ фонаремъ»,—писалъ онъ дальше,—«отыскивая въ васъ черты нетлѣнной красоты для своего идеала, для своей статуи! Я одолѣвалъ всѣ преграды, переносилъ всѣ муки (вѣдь непремѣнно будутъ преграды и муки — безъ этого нельзя: «*въ болѣзняхъ имаши родити чадо*, сказано», подумалъ онъ)—и все шелъ своимъ путемъ, къ своему созданію. Рядомъ съ красотой—видѣлъ ваши заблужденія, страсти, паденія, падалъ самъ, увлекаясь вами, и вставалъ опять, и все звалъ васъ, на высокую гору, искушая—не дьявольской заманкой, не царствомъ суеты, звалъ именемъ другой силы на путь совершенствованія самихъ себя, а съ собой и насъ: дѣтей, отцовъ, братьевъ, мужей и... друзей вашихъ!

«Вдохновляясь вашей лучшей красотой, вашей неодолимой силой—женской любовью—я слабой рукой писалъ женщину съ надеждой, что вы узнаете въ ней хоть блѣдное отраженіе — не однихъ вашихъ взглядовъ, улыбокъ, красоты формъ, граціи, но и вашей души, ума, сердца — всей прелести вашихъ лучшихъ силъ!

«Не манилъ я васъ въ глубокую бездну учености, ни на грубый, не женскій трудъ, не входилъ съ вами въ споры о правахъ, отдавая вамъ первенство безъ спора. Мы не равны: вы выше насъ, вы сила, мы ваше орудіе. Не отнимайте у насъ, говорилъ я вамъ, ни сохи, ни заступа, ни меча изъ рукъ. Мы взроемъ вамъ землю, украсимъ ее, спустимся въ ея бездны, переплывемъ моря, пересчитаемъ звѣзды, — а вы, рождая насъ, берегите, какъ Провидѣніе, наше дѣтство и юность, воспитывайте насъ честными, учите труду, человѣчности, добру и той любви, какую Творецъ вложилъ въ ваши сердца — и мы твердо вынесемъ битвы жизни и пойдемъ за вами вслѣдъ туда, гдѣ все совершенно, гдѣ—вѣчная красота!

«Время сняло съ васъ много оковъ, наложенныхъ дикой и грубой тираніей: снимутъ и остальныя, дай [illegible]

и свободу вашимъ великимъ, соединеннымъ силамъ ума и сердца—и вы открыто пойдете своимъ путемъ и употребите эту свободу лучше, нежели мы употребляемъ свою!

«Отбросьте же хитрость—это орудіе слабости—и всѣ ея темные, ползучіе ходы и цѣли...»

Онъ остановился, подумалъ, подумалъ—и зачеркнулъ послѣднія двѣ строки.

— Кажется, я грубости началъ говорить! — шепталъ онъ.—А Титъ Никонычъ учитъ дѣлать дамамъ только однѣ «пріятности».

Послѣ посвященія онъ крупными буквами написалъ:

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Глава I.

Онъ всталъ и, потирая руки, началъ скоро ходить по комнатѣ, вдумываясь въ первую главу, какъ, съ чего начать, что̀ въ ней сказать.

Походивъ полчаса, онъ умѣрилъ шагъ, будто боролся мысленно съ трудностями. Шагъ становился все тише, медленнѣе. Наконецъ, онъ остановился посреди комнаты, какъ растерянный, точно наткнулся на какой-то камень и почувствовалъ толчокъ.

— Да,—шепталъ онъ въ страхѣ:—чего добраго, пожалуй вмѣсто «высокой горы», да вдругъ... Что̀ это мнѣ пришло въ голову! Онъ глубоко задумался.

«Ну, какъ я напишу драму Вѣры, да не сумѣю обставить пропастями ея паденіе», думалъ онъ, «а русскія дѣвы примутъ ошибку за образецъ, да какъ козы, одна за другой, пойдутъ скакать съ обрывовъ!.. А обрывовъ много въ русской землѣ! Что̀ скажутъ маменьки и папеньки!..»

Онъ минутъ пять постоялъ на мѣстѣ, потомъ вдругъ захохоталъ—и опять скорыми шагами заходилъ по комнатѣ.

«Какъ поблѣднѣли бы русскія Вѣры и какъ покраснѣли бы

всѣ Мареиньки, если бъ узнали, что я принялъ ихъ... за козъ!»

— Не это помѣшаетъ мнѣ писать романъ,—сказалъ онъ, вздохнувъ печально:—а другое... напримѣръ... цензура! Да, цензура помѣшаетъ!—почти съ радостью произнесъ онъ, какъ будто нашелъ счастливую находку.—А еще что?

И задумался.

— Кажется, больше ничего, слѣдовательно остается писать...

Онъ умѣрилъ шагъ, вдумываясь въ ткань романа, въ фабулу, въ постановку характера Вѣры, въ психологическую, еще пока закрытую задачу... въ обстановку, въ аксессуары;— задумчиво сѣлъ и положилъ руки съ локтями на столъ и на нихъ голову. Потомъ поцарапалъ сухимъ перомъ по бумагѣ, лѣниво обмакнулъ его въ чернила и еще лѣнивѣе написалъ въ новую строку, послѣ словъ, Глава I:

«*Однажды...*»

Подумалъ-подумалъ и легъ головой на руки, обдумывая продолженіе. Прошло съ четверть часа, глаза у него стали мигать чаще. Его клонилъ сонъ.

Ему показалось неловко дремать, сидя, онъ перешелъ на диванъ, положилъ голову на мягкую обивку дивана, а ноги вытянулъ:—«Освѣжусь немного, потомъ примусь...» рѣшилъ онъ... и вскорѣ заснулъ. Въ комнатѣ раздавалось ровное, мѣрное храпѣнье.

Когда онъ проснулся, уже разсвѣтало. Онъ вскочилъ и посмотрѣлъ вокругъ удивленными, почти испуганными глазами, какъ будто увидѣлъ во снѣ что-то новое, неожиданное, точно Америку открылъ.

— И во снѣ статуя! — произнесъ онъ: — все статуя да статуя! Что это, намеки? указанія?

Онъ подошелъ къ столу, пристально поглядѣлъ въ листки, въ написанное имъ предисловіе, вздохнулъ, покачалъ головой и погрузился въ какое-то, должно-быть, тяжелое раздумье.

— Что я дѣлаю! На что трачу время и силы? Еще годъ пропалъ! Романъ!—шепталъ онъ съ озлобленіемъ.

Онъ отодвинулъ рукопись въ сторону; живо порылся въ ящикѣ между письмами, и досталъ оттуда полученное за мѣсяцъ письмо отъ художника Кирилова, пробѣжалъ его глазами, взялъ листъ почтовой бумаги и сѣлъ за столъ.

«Спѣшу — въ здравомъ умѣ и твердой памяти», писалъ онъ, «увѣдомить васъ перваго, любезный Кириловъ, о новой и неожиданной, только-что открывшейся для меня перспективѣ искусства и дѣятельности... Прежде всего торопнюсь кинуть вамъ эти двѣ строки, въ отвѣтъ на ваше письмо, гдѣ вы пишете, что собираетесь въ Италію, въ Римъ,—на случай, если я замедлю въ дорогѣ. Я самъ ѣду въ Петербургъ. Погодите—ради Бога—и я съ вами! Возьмите меня съ собой! Пожалѣйте слѣпца, безумца, только сегодня прозрѣвшаго, угадавшаго свое призваніе! Долго блуждалъ я въ темнотѣ, и чуть не сдѣлался самоубійцей, т. е. чуть не сгубилъ своего дарованія, ставши на ложный путь! Вы находили въ моихъ картинахъ признаки таланта: мнѣ держаться бы кисти, а я бросался къ музыкѣ, и наконецъ бросился къ литературѣ—и буквально разбросался! Затѣялъ писать романъ! И вы, и никто — не остановили меня, не сказали мнѣ, что я—пластикъ, язычникъ, древній грекъ въ искусствѣ! Выдумалъ какую-то «осмысленную и одухотворенную Венеру!» Мое ли дѣло чертить картины нравовъ, быта, осмысливать и освѣщать основы жизни! Психологія, анализъ!

«Мое дѣло — формы, внѣшняя, ударяющая на нервы красота!

«Для романа—нужно... другое, а главное—годы времени! Я не пожалѣлъ бы трудовъ; и на время не поскупился бы, если бъ былъ увѣренъ, что моя сила—въ перѣ!

«Я сохраню впрочемъ эти листки: можетъ-быть... Нѣтъ, не хочу обольщать себя невѣрной надеждой! Творчество

мое не ладитъ съ перомъ. Не по натурѣ мнѣ вдумываться въ сложный механизмъ жизни! Я пластикъ, повторяю: мое дѣло только видѣть красоту—и простодушно, «не мудрствуя лукаво», отражать ее въ созданіи...

«Сохраню эти листки затѣмъ развѣ, чтобы когда-нибудь вспоминать, чему я былъ свидѣтелемъ, какъ жили другіе, какъ жилъ я самъ, что̀ чувствовалъ (или вѣрнѣе ощущалъ), что̀ перенесъ—и...

«И послѣ моей смерти—другой найдетъ мои бумаги:

«Засвѣтитъ онъ, какъ я, свою лампаду»—

«И—можетъ-быть—напишетъ...

«Теперь, хотите ли знать кто̀ я, что̀ я?.. Скульпторъ!

«Да, скульпторъ — не ахайте и не бранитесь! Я только сейчасъ убѣдился въ этомъ, долго не понимая намековъ, призывовъ: отчего мнѣ и Вѣра, и Софья, и многія, многія—прежде всего являлись статуями. Теперь мнѣ ясно!

«Я пластикъ — вы знаете это, вы находите во мнѣ талантъ. Стало-быть, нужно мнѣ только отыскать свое орудіе и пріемъ! У кого пальцы сложились, какъ орудіе фантазіи, въ пріемъ для кисти, у кого для струнъ или клавишей, у меня—какъ я теперь догадываюсь—для лѣпки, для рѣзца... Глазъ у меня есть, вкусъ тоже—и feu sacré—да? вы этого не отвергаете! Не спорьте же, не послушаю, а лучше спасите меня, увезите съ собой и помогите стать на новый путь, на путь Фидіасовъ, Праксителей, Кановы — и еще очень немногихъ!

«Никто не можетъ сказать — что я не буду одинъ изъ этихъ немногихъ... Во мнѣ слишкомъ богата фантазія. Искры ея, какъ вы сами говорите, разбросаны въ портретахъ, сверкаютъ даже въ моихъ скудныхъ музыкальныхъ опытахъ!.. И если не сверкнули въ созданіи поэмы, романа, драмы или комедіи, такъ это потому...»

Онъ чихнулъ.

«Вотъ, значитъ — правда!» подумалъ онъ, «что я пластикъ—и только пластикъ. Я отрекаюсь отъ музыки—она далась мнѣ въ придачу къ прочему. Я кляну потраченное на нее и на романъ время и силы.—До свиданія, Кириловъ, не противорѣчьте: убьете меня, если будете разрушать мой новый идеалъ искусства и дѣятельности. Пожалуй, вы поколеблете меня вашими сомнѣніями — и тогда я утону безвозвратно въ волнахъ миражей и неисходной скуки! Если скульптура измѣнитъ мнѣ (Боже сохрани! я не хочу вѣрить: слишкомъ много говоритъ *за*), я самъ казню себя, самъ отыщу того, гдѣ бы онъ ни былъ — кто первый усомнился въ успѣхѣ моего романа (это—Маркъ Волоховъ) и торжественно скажу ему: да, ты правъ: я—*неудачникъ*! А до тѣхъ поръ дайте жить и уповать!

«Въ Римъ! въ Римъ!—туда, гдѣ искусство—не роскошь, не забава—а трудъ, наслажденіе, сама жизнь! Прощайте! до скораго свиданія!»

Онъ съ живостью собралъ всѣ бумаги, кучей, въ безпорядкѣ сунулъ ихъ въ большой старый портфель — сдѣлалъ «ухъ», какъ-будто горбатый вдругъ сбросилъ горбъ, и весело потеръ рука объ руку.

XXIV.

На другой день, съ ранняго утра, весь домъ поднялся на ноги—провожать гостя. Пріѣхалъ и Тушинъ, пріѣхали и молодые Викентьевы. Мареинька была — чудо красоты, нѣги, стыдливости. На каждый взглядъ, на каждый вопросъ, обращенный къ ней, лицо ея вспыхивало и отвѣчало неуловимой, нервной игрой ощущеній, нѣжныхъ тоновъ, оттѣнковъ чуткихъ мыслей — всего, объяснившагося ей въ эту недѣлю смысла новой, полной жизни. Викентьевъ ходилъ за ней, какъ пажъ, глядя ей въ глаза, не нужно ли, не желаетъ ли она чего-нибудь, не безпокоитъ ли ее что-нибудь?

Счастье ихъ слишкомъ молодо и эгоистически захватывало все вокругъ. Они никого и ничего почти не замѣчали, кромѣ себя. А вокругъ были грустныя, или задумчивыя лица. Съ полудня наконецъ и молодая чета отлянулась на другихъ и отрезвилась отъ эгоизма. Мароинька хмурилась и не [illegible] къ брату. За завтракомъ никто ничего не [illegible] [illegible] который задумчиво и грустно одинъ [illegible] [illegible] [illegible] маркиза, вздыхая, глядя куда то въ [illegible] пространство.

[illegible] Марьянна пробовала заговаривать [illegible] [illegible] Раисленъ [illegible] [illegible]

— Въ Римъ, бабушка....

— Зачѣмъ? Папы не видалъ?

— Лѣпить...

— Что?

Долго бы было объяснять ей новые планы—и онъ только махнулъ рукой.

— Останьтесь, останьтесь!—пристала и Марѳинька, вцѣпившись ему въ плечо. Вѣра ничего не говорила, зная, что онъ не останется, и думала только, не безъ грусти, узнавъ его характеръ, о томъ, куда онъ теперь дѣнется и куда дѣнетъ свои досуги, «таланты», которые вѣчно будетъ только чувствовать въ себѣ и не сумѣетъ, ни угадать своего собственнаго таланта, ни остановиться на немъ и приспособить его къ дѣлу.

— Братъ!—шепнула она:—если скука опять будетъ одолѣвать тебя, заглянешь ли ты сюда, въ этотъ уголокъ, гдѣ тебя теперь понимаютъ и любятъ?..

— Непремѣнно, Вѣра! Сердце мое пріютилось здѣсь: я люблю всѣхъ васъ—вы моя единственная, неизмѣнная семья, другой не будетъ! Бабушка, ты и Марѳинька—я унесу васъ вездѣ съ собой—а теперь не держите меня! Фантазія тянетъ меня туда, гдѣ... меня нѣтъ! У меня закипѣло въ головѣ...—шепнулъ онъ ей:—черезъ какой-нибудь годъ, я сдѣлаю... твою статую—изъ мрамора...

У нѐй задрожалъ подбородокъ отъ улыбки.

— А романъ?—спросила она.

Онъ махнулъ рукой.

— Какъ умру, пусть возится, кто хочетъ, съ моими бумагами: матеріала много... А мнѣ написано на роду создать твой бюстъ...

— Не пройдетъ и года, ты опять влюбишься, и не будешь знать, чью статую лѣпить...

— Можетъ-быть, и влюблюсь, но никогда никого не по-

люблю, кромѣ тебя, и изсѣку изъ мрамора твою статую... Вотъ она, какъ живая передо мной!..

Она все съ улыбкой глядѣла на него.

— Непремѣнно, непремѣнно!—горячо увѣрялъ онъ ее.

— Опять ты—«непремѣнно!»—вмѣшалась Татьяна Марковна:—не знаю, что̀ ты тамъ затѣваешь, а если сказалъ «непремѣнно», то ничего и не выйдетъ!

Райскій подошелъ къ Тушину, задумчиво сидѣвшему въ углу и молча наблюдавшему сцену прощанія.

— Если когда-нибудь исполнится... то, чего мы всѣ желаемъ, Иванъ Ивановичъ... —шепнулъ онъ, наклонясь къ нему, и пристально взглянулъ ему въ глаза. Тушинъ понялъ его.

— Всѣ ли, Борисъ Павловичъ? И случится ли это?

— Я вѣрю, что случится, иначе быть не можетъ. Ужъ если бабушка и ея «судьба» захотятъ...

— Надо, чтобъ захотѣла и другая,—моя «судьба»...

— Захочетъ!—договорилъ Райскій съ увѣренностью:—и если это случится, дайте мнѣ слово, что вы увѣдомите меня по телеграфу, гдѣ бы я ни былъ: я хочу держать вѣнецъ надъ Вѣрой...

— Да, если случится... даю слово...

— А я даю слово пріѣхать.

Козловъ въ свою очередь отвелъ Райскаго въ сторону. Долго шепталъ онъ ему, прося отыскать жену, далъ письмо къ ней и адресъ ея, и успокоился, когда Райскій тщательно положилъ письмо въ бумажникъ.

— Поговори ей... и напиши мнѣ... —съ мольбой заключилъ онъ:—а если она соберется... сюда... ты по телеграфу дай мнѣ знать: я бы поѣхалъ до Москвы, навстрѣчу ей...

Райскій обѣщалъ все и съ тяжелымъ сердцемъ отвернулся отъ него, посовѣтовалъ ему пока отдохнуть, погостить зимнія каникулы у Тушина.

Тихо вышли всѣ на крыльцо, къ экипажу, въ грустномъ

молчаніи. Мареинька продолжала плакать. Викентьевъ подалъ ей уже пятый носовой платокъ.

Въ послѣднее мгновеніе, когда Райскій готовился сѣсть, онъ оборотился, взглянулъ еще разъ на провожавшую его группу. Онъ, Татьяна Марковна, Вѣра и Тушинъ обмѣнялись взглядомъ—и въ этомъ взглядѣ, въ одномъ мгновеніи, вдругъ мелькнулъ, какъ-будто всѣмъ имъ приснившійся, тяжелый полугодовой сонъ, всѣ вытерпѣнныя ими муки... Никто не сказалъ ни слова. Ни Мареинька, ни мужъ ея не поняли этого взгляда,—не замѣтила ничего и толпившаяся невдалекѣ дворня.

Съ этимъ взглядомъ и съ этимъ сномъ въ головѣ скрылся Райскій у нихъ изъ вида.

XXV.

Въ Петербургѣ онъ прежде всего бросился къ Кирилову. Онъ чуть не ощупывалъ его, онъ ли это, тутъ ли, не уѣхалъ ли безъ него, и повторилъ ему свои новыя артистическія упованія на скульптуру. Кириловъ сморщился, такъ что носъ ушелъ совсѣмъ въ бороду — и отвернулся съ неудовольствіемъ.

— Что̀ это за новость! По вашему письму я подумалъ, не рехнулись ли вы? Вѣдь у васъ есть одинъ талантъ, отчего бросились опять въ сторону? Возьмите карандашъ, да опять въ академію—да вотъ купите это.—Онъ показалъ на толстую тетрадь литографированныхъ анатомическихъ рисунковъ.—Выдумали скульптуру! Поздно... Съ чего вы это взяли?..

— Да мнѣ кажется, у меня — вотъ въ пальцахъ (онъ сложилъ пять пальцевъ вмѣстѣ и потиралъ ими) есть именно этотъ пріемъ—для лѣпки...

— Когда вздумали! Если бъ и былъ пріемъ, такъ поздно!

— Что за поздно! у меня есть знакомый прапорщикъ—какъ лѣпитъ!..

— Прапорщикъ—такъ, а вы... съ сѣдыми волосами!

Онъ энергически потрясъ головой. Райскій не сталъ спорить съ нимъ, а пошелъ къ профессору скульптуры, познакомился съ его учениками и недѣли три ходилъ въ мастерскую. Дома у себя онъ натаскалъ глины, накупилъ моделей головъ, рукъ, ногъ, торсовъ, надѣлъ фартукъ и началъ лѣпить съ жаромъ, не спалъ, никуда не ходилъ, видясь только съ профессоромъ скульптуры, съ учениками, ходилъ съ ними въ Исаакіевскій соборъ, замирая отъ удивленія передъ работами Витали, вглядываясь въ пріемы, въ детали, въ эту новую сферу новаго искусства. Словомъ, имъ овладѣла горячка: онъ ничего не видалъ нигдѣ, кромѣ статуй, не выходилъ изъ Эрмитажа, и все торопилъ Кирилова ѣхать скорѣй въ Италію, въ Римъ.

Онъ не забылъ порученія Козлова и пошелъ отыскивать по адресу его жену, гдѣ-то въ Горрховой, въ chambres garnies. Войдя въ коридоръ номера, онъ услыхалъ звуки вальса и—говоръ. Ему послышался голосъ Ульяны Андреевны. Онъ далъ отворившей ему дверь дѣвушкѣ карточку и письмо отъ Козлова. Немного погодя, дѣвушка воротилась, нѣсколько смущенная, и сказала, что Ульяны Андреевны нѣтъ, что она поѣхала въ Царское Село, къ знакомымъ, а оттуда отправится прямо въ Москву. Райскій вышелъ въ сѣни: навстрѣчу ему попалась женщина и спросила, кого ему надо. Онъ назвалъ жену Козлова.

— Онѣ больны, лежатъ въ постели, никого не принимаютъ!—солгала и она.

Райскій ничего не написалъ къ Козлову.

Онъ едва повидался съ Аяновымъ, перетащилъ къ нему вещи съ своей квартиры, а послѣднюю сдалъ. Получивъ отъ опекуна — за заложенную землю — порядочный кушъ денегъ, онъ въ январѣ уѣхалъ съ Кириловымъ, сначала въ Дрезденъ, на поклонъ Сикстинской мадоннѣ, «Ночи» Корреджіо, Тиціану, Поль Веронезу и прочимъ, и прочимъ.

Въ Дрезденѣ онъ съ Кириловымъ всѣ утра проводилъ въ галлереѣ—да изрѣдка бывалъ въ театрѣ. Райскій торопилъ Кирилова ѣхать дальше, въ Голландію, потомъ въ Англію и въ Парижъ. Но Кириловъ уперся и въ Англію не поѣхалъ.

— Зачѣмъ мнѣ въ Англію? Я туда не хочу, — говорилъ онъ.—Тамъ всѣ чудеса въ частныхъ галлереяхъ: туда не пустятъ. А общественная галлерея—не богата. Изъ Голландіи вы поѣзжайте одни въ Англію, а я въ Парижъ, въ Лувръ. Тамъ я васъ подожду.

Такъ они и сдѣлали. Впрочемъ, и Райскій пробылъ въ Англіи всего двѣ недѣли — и не успѣлъ даже ахнуть отъ изумленія, — подавленный грандіознымъ оборотомъ общественнаго механизма жизни—и поспѣшилъ въ веселый Парижъ. Онъ видѣлъ по утрамъ Лувръ, а вечеромъ мышиную бѣготню, веселые визги, вѣчную оргію, хмель крутящейся вихремъ жизни, и унесъ оттуда только чадъ этой оргіи, не давшей уложиться поглубже наскоро захваченнымъ изъ этого омута мыслямъ, наблюденіямъ и впечатлѣніямъ.

Едва первые лучи полуденной весны сверкнули изъ-за Альпъ, оба артиста бросились черезъ Швейцарію въ Италію.

Райскій, живо принимая впечатлѣнія, мѣняя одно на другое, бросаясь отъ искусства къ природѣ, къ новымъ людямъ, новымъ встрѣчамъ—чувствовалъ, что три самыя глубокія его впечатлѣнія, самыя дорогія воспоминанія, бабушка, Вѣра, Марѳинька—сопутствуютъ ему всюду, вторгаются во всякое новое ощущеніе, наполняютъ собой его досуги, что съ ними тремя—онъ связанъ и той крѣпкой связью, отъ которой только человѣку и бываетъ хорошо—какъ ни отъ чего не бываетъ, и отъ нея же бываетъ иногда больно, какъ ни отъ чего, когда судьба не ласково дотронется до такой связи.

Эти три фигуры являлись ему, и какъ артисту, всюду. Плеснетъ сѣдой валъ на морѣ, мелькнетъ снѣжная вершина горы въ Альпахъ — ему видится въ нихъ сѣдая голова бабушки. Она выглядывала изъ портретовъ старухъ Веласкеза,

Жераръ-Дэвы,—какъ Вѣра изъ фигуръ Мурильо, Марѣнька изъ головокъ Грёза, иногда Рафаэля...

Но, на швейцарскихъ обрывокъ мелькалъ образъ Вѣры, надъ скалами снилась ему его отчаянная борьба съ ней... Даль—брошенный букетъ, ея страданіе, искупленіе... все!

Онъ вздрагивалъ и отрезвлялся, потомъ видѣлъ ихъ опять, съ улыбкой и любовью протягивающими руки къ нему.

Тѣ фигуры слѣдовали за нимъ и по ту сторону Альпъ, тамъ передъ нимъ встали другія три величавыя фигуры: природа, искусство, исторія...

Онъ страстно отдался имъ, испытывая новыя ощущенія, тѣмъ болѣзненно потрясавшія его организмъ.

Въ Римѣ, устроивъ съ Кириловымъ мастерскую, онъ былъ время между музеями, дворцами, руинами, едва чувствуя красоту природы, запирался, работалъ, потомъ терялся въ новой толпѣ, казавшейся ему какой-то громадной, яркой, подвижной картиной, отражавшей въ себѣ тысячелѣтія — въ всемъ блескѣ величія и въ поразительной наготѣ всей мерзости—отжившаго и живущаго человѣчества.

И вездѣ, среди этой горячей артистической жизни, онъ не измѣнялъ своей семьѣ, своей группѣ, не врасталъ въ чужую почву, все чувствовалъ себя гостемъ и пришельцемъ тамъ. Часто, въ часы досуга отъ работъ и отрезвленія отъ новыхъ и сильныхъ впечатлѣній раздражительныхъ красокъ юга—его тянуло назадъ, домой. Ему хотѣлось бы набраться этой вѣчной красоты природы и искусства, пропитаться насквозь духомъ окаменѣлыхъ преданій и унести все съ собой туда, въ свою Малиновку...

За нимъ все стояли и горячо звали къ себѣ — его три фигуры: его Вѣра, его Марѣнька, бабушка. А за ними стояла и сильнѣе ихъ влекла его къ себѣ — еще другая, исполинская фигура, другая великая «бабушка»—Россія.

ОГЛАВЛЕНІЕ

ДЕСЯТАГО ТОМА:

Обрывъ. Романъ въ пяти частяхъ.

Часть четвертая:

		стр.
Глава	I	5
»	II	16
»	III	21
»	IV	27
»	V	37
»	VI	49
»	VII	59
»	VIII	68
»	IX	78
»	X	96
»	XI	101
»	XII	108
»	XIII	126
»	XIV	129

Часть пятая:

Глава	I	138
»	II	143
»	III	146
»	IV	154
»	V	161
»	VI	172
»	VII	183
»	VIII	198
»	IX	201
»	X	208
»	XI	217
»	XII	229
»	XIII	237
»	XIV	242
»	XV	248
»	XVI	257
»	XVII	265
»	XVIII	268
»	XIX	278
»	XX	283
»	XXI	291
»	XXII	299
»	XXIII	304
»	XXIV	312
»	XXV	316

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ
СОЧИНЕНІЙ
И. А. ГОНЧАРОВА

въ 12 томахъ.

ТОМЪ ОДИННАДЦАТЫЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1899 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1899.

Типографія А. Ф. Мариса, Ср. Подьяч., № 1.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕРЪ.

«...Лебедь рвется въ облака,
Ракъ пятится назадъ, а щука тянетъ въ воду!»
Крыловъ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ЧТЕНІЕ.

Къ одному изъ домовъ, на Конногвардейскомъ бульварѣ, къ подъѣзду подъѣхало, около восьми часовъ вечера, въ маѣ мѣсяцѣ, нѣсколько экипажей — одинъ вслѣдъ за другимъ, и, высадивъ господъ, отправились по домамъ. Ровно въ восемь часовъ швейцаръ получилъ приказаніе не принимать никого болѣе.

Человѣкъ тридцать гостей обоего пола собрались у Григорія Петровича *Уранова* слушать въ этотъ вечеръ чтеніе новаго романа.

Автора романа, какъ писателя, знали немногіе. Онъ напечаталъ, безъ имени, нѣсколько статей по финансовымъ и политико-экономическимъ предметамъ, замѣченныхъ и оцѣненныхъ по достоинству только спеціалистами. Кромѣ того, онъ написалъ опытъ дипломатическихъ мемуаровъ и напечаталъ ихъ въ весьма небольшомъ количествѣ, для немногихъ. Онъ занималъ нѣкогда дипломатическій постъ на югѣ

Европы и провелъ молодыя лѣта за границею. Теперь онъ былъ, какъ и хозяинъ дома, гдѣ назначалось это чтеніе, членомъ одного совѣта и, кромѣ того, предсѣдательствовалъ въ какой-то комиссіи по разнымъ преобразованіямъ. Въ свѣтѣ его любили за огромное богатство, за открытое гостепріимство, за привѣтливость; а близкіе люди—за капитальныя достоинства ума и характера.

Извѣстіе о романѣ, однако, проникло въ общество его круга. Авторъ, на вопросы, обращенные къ нему, не отрицалъ, что романъ пишется, но болѣе не распространялся объ этомъ. Извѣстно было, что онъ читалъ тò, что было написано, кое-кому изъ пріятелей, у себя дома, но эти лица хранили о романѣ скромное молчаніе.

Ближайшій пріятель и сослуживецъ автора, Григорій Петровичъ Урановъ, и тотъ не былъ посвященъ въ тайну о романѣ. Напрасно добивался онъ отъ автора отвѣтовъ на эти вопросы—онъ ничего не узналъ.

— Ты не читаешь романовъ, — говорилъ ему авторъ: — зачѣмъ тебѣ знать, чтò я написалъ? Я тебя оттого и не пригласилъ въ свой домашній кружокъ послушать.

— И обидѣлъ меня!—возразилъ Урановъ.—Если ты считаешь меня равнодушнымъ къ романамъ, или вообще къ литературѣ, то все же это не значитъ, чтобъ я былъ равнодушенъ къ тебѣ и къ твоему произведенію.

Автора тронулъ этотъ упрекъ, и онъ обѣщалъ прочесть свое произведеніе у него въ домѣ. Урановъ послалъ ему списокъ приглашенныхъ лицъ, которые бòльшею частью принадлежали къ кругу ихъ общихъ друзей и знакомыхъ. Авторъ возвратилъ съ своимъ согласіемъ и съ просьбою прибавить еще одну, тоже общую ихъ знакомую, графиню Синявскую съ дочерью, и двухъ своихъ сослуживцевъ. Урановъ торжествовалъ.

Вотъ это именно общество и собралось въ означенный вечеръ въ большомъ и богатомъ домѣ Григорія Петровича

и размѣстилось въ обширной комнатѣ, между кабинетомъ и столовою, окнами на дворъ, чтобы ѣзда экипажей не мѣшала чтенію.

Григорій Петровичъ мало интересовался собственно романомъ, какъ справедливо упрекнулъ его авторъ, въ чемъ онъ и самъ сознался. Но слухъ о романѣ произвелъ сенсацію въ свѣтѣ, сталъ событіемъ дня, и поэтому сталъ и для него событіемъ. Съ утра до вечера онъ обыкновенно жилъ въ толпѣ, никогда не былъ и не умѣлъ быть одинъ. Все, что дѣлалось въ свѣтѣ — болѣе или менѣе касалось и его. Онъ былъ вдовецъ, принималъ у себя больше мужчинъ, рѣдко дамъ.

Онъ и совѣтъ свой, въ которомъ служилъ, любилъ потому, что онъ занималъ у него три утра въ недѣлю. Онъ называлъ его утреннимъ клубомъ, въ отличіе отъ вечерняго, т. е. англійскаго клуба. Въ свободныя утра, онъ или самъ ѣхалъ, или къ нему ѣхали съ визитами; потомъ онъ обѣдалъ у знакомыхъ, или у него обѣдали знакомые. Онъ щеголялъ гастрономическими обѣдами, на которые приглашалъ тонкихъ знатоковъ изъ гастрономовъ-пріятелей. Вечера — тоже въ свѣтѣ, или у себя, а больше въ клубѣ, за картами.

Такъ проходило незамѣтно восемь мѣсяцевъ въ году. Въ маѣ начиналась для него трудная пора, застой, истома. Всѣ разъѣзжались—кто въ деревню, кто за границу, многіе на дачу: всѣ врознь. И онъ переѣзжалъ поневолѣ куда-нибудь, больше на острова, чтобы не удаляться отъ города. Но небольшой, относительно, кружокъ остававшихся знакомыхъ мало удовлетворялъ его. У него оставались незанятые вечера. Да и что за вечера лѣтомъ въ Петербургѣ, безъ темноты, безъ огней! Ему нужно было всѣхъ, весь городъ, и онъ не зналъ, что съ собою дѣлать. Онъ угрюмо встрѣчалъ «лучезарнаго Феба», когда тотъ, вскорѣ послѣ полуночи, начиналъ опять сіять на горизонтѣ и проникать въ окна, когда онъ еще и заснуть не успѣлъ.

Вообще, такъ-называемую природу, лѣса, горы, озера и прочее, онъ терпѣть не могъ.

— Нашли какую рѣдкость—хорошій воздухъ! Еще рекомендуютъ, какъ лѣкарство!—ворчалъ онъ сердито, нюхая воздухъ въ аллеяхъ елагинскаго парка. — А чѣмъ воздухъ дуренъ въ клубѣ, или хоть въ нашемъ совѣтѣ, если только не садиться близко къ Петру Ѳомичу, да къ Семену Яковлевичу!

Такъ и теперь въ маѣ онъ началъ скучать, не досчитываясь то сосѣда за столомъ въ совѣтѣ или въ клубѣ, то партнера въ вистѣ—и всякое утро вставалъ съ вопросами: «Кто изъ знакомыхъ уѣзжаетъ сегодня? У кого закрылись пріемные дни? Куда потратить онъ утро, съ кѣмъ будетъ обѣдать, какъ убьетъ вечеръ?»

И вдругъ, какая находка: созвать гостей на чтеніе романа!

Хорошъ или дуренъ романъ, будутъ довольны слушатели авторомъ и авторъ слушателями—дѣло для него совсѣмъ не въ томъ. А въ томъ, что вся эта процедура займетъ у него цѣлую недѣлю: разъѣзды, приглашенія и, наконецъ, желанный вечеръ, проведенный по-зимнему, далеко за полночь, потомъ ужинъ до утра! Кромѣ того, послѣ долго будутъ говорить, что авторъ читалъ первый разъ, почти публично, у него, у Уранова!

Однако, онъ, обдумывая (прежде и старательнѣе всего) menu ужина, позаботился, надо отдать справедливость его умѣнью жить, и о томъ, чтобы общество слушателей имѣло и авторитетныхъ представителей литературнаго міра. Онъ пригласилъ, прежде всего, извѣстнаго профессора словесности, написавшаго много книгъ о литературѣ; потомъ одного старика, Красноперова, своего сослуживца и пріятеля, предполагая въ немъ знатока литературы, потому что онъ былъ когда-то пріятелемъ Греча и Булгарина; наконецъ, одного пожилого беллетриста, знакомаго ему по клубу.

Сверхъ того, Григорій Петровичъ поручилъ племяннику своему, студенту, который жилъ у него въ домѣ и котораго онъ, не имѣя своихъ дѣтей, любилъ какъ сына, помочь ему сдѣлать вечеръ занимательнымъ и привести кого-нибудь изъ новыхъ литераторовъ. Тотъ обѣщалъ представить редактора одного извѣстнаго журнала и критика, по части беллетристики, какой-то газеты.

Авторъ явился за пять минутъ до восьми часовъ и прежде всего выразительно и дружески привѣтствовалъ приглашенную по его желанію графиню Синявскую, потомъ поздоровался со всѣми прочими знакомыми и бѣгло познакомился съ неизвѣстными ему слушателями, которыхъ представлялъ ему хозяинъ, называя ихъ по именамъ. Авторъ отвѣчалъ кому пожатіемъ руки, кому поклономъ или полупоклономъ, инымъ сказалъ нѣсколько словъ.

Потомъ онъ подошелъ къ столу, взялъ у своего сослуживца, съ которымъ вмѣстѣ пріѣхалъ, портфель, отперъ его, выложилъ нѣсколько мелко и красиво исписанныхъ тетрадокъ и, окинувъ бѣглымъ взглядомъ общество, сказалъ любезно:

— Я готовъ, прикажете начать?

Всѣ поклонились и поспѣшили занять свои мѣста. Онъ бережно отодвинулъ отъ себя подносъ съ сахарною и зельтерскою водою, съ лимонадомъ, оршадомъ и всѣмъ, что ставятъ обыкновенно въ такихъ случаяхъ подъ носомъ чтеца, чего почти никогда не пьютъ и отъ чего бываетъ только тѣснота на столѣ. Потомъ онъ началъ читать пріятнымъ, густымъ баритономъ.

Взглянемъ прежде на гостей, потомъ послушаемъ.

Гости расположились на креслахъ, патэ, dos-à-dos и другой покойной мебели, неправильнымъ полукругомъ, въ три ряда.

Впереди сидѣли дамы. Одна — княгиня *Тецкая* съ дочерью. Княгиня, въ темномъ платьѣ моаръ-антикъ, въ бар-

хатной мантильѣ, которую сбросила на спинку стула, съ сафьяннымъ красивымъ мѣшкомъ, откуда она достала какое-то вязанье, съ бѣлыми костяными спицами, и начала работать, впрочемъ, кажется, больше для вида, потому что изъ пяти только одинъ разъ попадала спицею, какъ слѣдуетъ. Она часто опускала руки съ вязаньемъ на колѣни, безпрестанно вздрагивая, будто отъ испуга или отъ внезапной боли, и сильно мигая. Иногда даже у нея вырывалось нѣчто въ родѣ «аха» или «оха», сопровождаемаго опять вздрагиваніемъ. На это почти никто не обращалъ вниманія; всѣ знали, что у нея «нервы» и привыкли къ этому.

На лицѣ и во всей фигурѣ княжны, ея дочери, напротивъ, покоилось ненарушимое спокойствіе; ни удовольствія, ни скуки не выражало это лицо. Можно было бы назвать его мраморнымъ изваяніемъ, если бы — когда въ романѣ заходила рѣчь о любви — это лицо не принимало внезапно выраженія ничего не понимающей невинности.

Княжна сидѣла нѣсколько впереди всѣхъ. Свѣтъ лампы съ боку ярко освѣщалъ ея голову, бюстъ и руки.

Она была одѣта въ розовое съ бѣлымъ отливомъ платье, въ рукѣ держала черепаховый вѣеръ, на колѣняхъ былъ небрежно брошенъ кружевной платокъ. Мать часто оглядывала туалетъ дочери: не отдѣлилась ли какая-нибудь непокорная прядь волосъ, правильно ли лежитъ на шеѣ и на груди цѣпочка съ брильянтовымъ крестикомъ, красиво ли драпируется шлейфъ около ногъ. Носокъ розовой миніатюрной ботинки кокетливо выглядывалъ изъ-подъ платья и все время, пока продолжалось чтеніе, оставался на виду.

Подлѣ нихъ, немного позади, помѣстилась полная, кругленькая, невысокаго роста дама лѣтъ тридцати, съ голубыми, какъ небо, дѣтскими глазами. въ голубомъ платьѣ, съ голубымъ же головнымъ уборомъ. На ея большомъ и красивомъ, какъ у здоровой кормилицы, лицѣ разливались шн-

рокія пятна румянца и съ губъ не сходила улыбка, тоже дѣтская. Она вошла съ этой улыбкой, здоровалась ею же со всѣми, съ улыбкой слушала чтеніе и уѣдетъ съ тою же стереотипною улыбкою, которая такъ же извѣстна была всѣмъ ея знакомымъ, какъ и вздрагиванія и «ахи» княгини Тецкой, или выраженіе непониманія при намекахъ на любовь, на лицѣ княжны. Она являлась съ этою улыбкою вездѣ, даже на похороны — и теперь таяла отъ удовольствія, еще до начала чтенія.—Ça doit être joli!—шептала она сосѣдямъ. Это была извѣстная въ свѣтѣ вдова *Лилина*, всегда всѣмъ довольная, всѣхъ любившая и всѣми любимая и балуемая, и страстная охотница до домашнихъ спектаклей, всякихъ чтеній и концертовъ.

Подлѣ самого автора, вплотную къ нему, присѣлъ старикъ графъ Пестовъ, свѣтская окаменѣлость, напоминавшая Тугоуховскаго. Онъ уже лѣтъ десять смотрѣлъ тусклымъ взглядомъ вокругъ себя, не всегда и не все понимая, что̀ происходитъ. Онъ поминутно забывалъ о чемъ говорить иногда и съ кѣмъ говоритъ, подчасъ не узнавалъ [illegible] родныхъ внуковъ. Зато, какъ это часто бываетъ с[illegible] вѣчными стариками, онъ помнилъ до мелочей [illegible] съ начала нынѣшняго столѣтія, и служилъ живы[illegible] вомъ для справокъ; онъ помнилъ всѣхъ сов[illegible] крупныя событія и мелкія сплетни, хроноло[illegible] даже у кого въ домѣ когда собирались, чей [illegible] варъ и т. п. Его возили вездѣ, какъ и Тугоу[illegible] прочимъ и потому, что онъ боялся оставать[illegible] и умереть. Привезутъ его, посадятъ въ [illegible] посылаютъ то того, то другого гостя [illegible] съ нимъ, потомъ оставятъ. А онъ посид[illegible] пошепчетъ что-то и задремлетъ.

Онъ, приставивъ руку къ уху [illegible] чтеніе.

Далѣе, въ тѣни абажура лампы [illegible]

комъ патэ та дама, которую пригласилъ авторъ, графиня Синявская, и рядомъ, близко, почти на колѣни къ ней, прильнула семнадцатилѣтняя прелестная брюнетка, ея дочь, въ простомъ розовомъ бережевомъ платьѣ, съ кисейнымъ шарфомъ на шеѣ, безъ вѣера, даже безъ перчатокъ, которыя она сняла, лишь только сѣла, и положила на столикъ рядомъ. У нея съ кистей рукъ еще не спала, какъ у многихъ подростковъ, краснета молодой крови. Ея свѣтло-каріе глаза сыпали снопы лучей наивной, нескрываемой радости отъ всего, что̀ она тутъ видитъ и слышитъ. Она робко, стороной, бросала застѣнчивые, но любопытные взгляды на все и на всѣхъ: на автора, на глухого графа Пестова, на нервныя вздрагиванья княгини Тецкой, на туалетъ княжны и Лилиной—и потомъ смотрѣла на мать, какъ будто спрашивая, такъ ли она держитъ себя, какъ слѣдуетъ.

Мать отвѣчала на ея взглядъ улыбкой, какая бываетъ только у матерей. Видно было, что дочь выѣзжаетъ недавно и что все ей было новость.

У самой графини былъ изящный профиль, матовая бѣлизна лица, темно-сѣрые умные глаза, и какая-то тонкая, загадочная улыбка, такъ что нельзя было угадать, порицаетъ она ею или одобряетъ что-нибудь, радуется, или смѣется про себя.

За эти умные глаза и загадочную улыбку ее прозвали сфинксомъ. Она была еще молода, и въ особенности моложава, такъ что казалась скорѣе старшею сестрою, нежели матерью своей дочери.

Она мелькомъ давно оглядѣла слушателей, потомъ почти не спускала глазъ съ автора, иногда взглядывала на дочь, говорила ей тихо, съ улыбкой, слова два, и опять слушала чтеніе.

Авторъ, отрывая глаза отъ рукописи, каждый разъ прежде всего обращалъ взглядъ на графиню, очевидно справляясь съ ея впечатлѣніемъ, потомъ уже переходилъ къ сидѣвшему

близъ нея старику *Чешневу*, а на остальныхъ изрѣдка кидалъ общій, неопредѣленный взглядъ.

Старикъ *Чешневъ* сидѣлъ на стулѣ, скрестивъ руки на груди, положивъ ногу на ногу.

У него были рѣдкія и мягкія сѣдины, благодушное, почти женское выраженіе лица и умные, проницательные глаза, которые иногда прищуривались, иногда покрывались задумчивостью. Закинувъ немного назадъ голову, съ большимъ, открытымъ лбомъ, онъ слушалъ внимательно чтеніе, какъ будто вокругъ никого и ничего не было.

За нимъ, во второй шеренгѣ, помѣщались: профессоръ словесности, потомъ тотъ гость, котораго, въ качествѣ литературнаго эксперта, пригласилъ на чтеніе хозяинъ, потому что онъ былъ знакомъ съ Гречемъ и Булгаринымъ, и еще пожилой беллетристъ *Скудельниковъ*.

Профессоръ слушалъ съ строгимъ, офиціальнымъ вниманіемъ, склонивъ немного голову на бокъ и сохраняя приличную случаю мину.

Пріятель Греча и Булгарина слушалъ, опустивъ подбородокъ въ широкое жабо галстука, иногда покачивалъ головою или зѣвалъ въ ладонь и разсѣянно поглядывалъ на картины, развѣшенныя на стѣнахъ.

Сосѣдъ ихъ, беллетристъ *Скудельниковъ*, какъ сѣлъ, такъ и не пошевелился въ креслѣ, какъ будто приросъ или заснулъ. Изрѣдка онъ поднималъ апатичные глаза, взглядывалъ на автора и опять опускалъ ихъ. Онъ, повидимому, былъ равнодушенъ и къ этому чтенію, и къ литературѣ — вообще ко всему вокругъ себя.

Григорій Петровичъ вытащилъ его изъ его гнѣзда, обѣщалъ хорошій романъ, хорошее общество, хорошихъ [illegible] прекрасныхъ дамъ, и хорошій ужинъ. Онъ и пріѣхалъ.

Дальше сидѣлъ приглашенный племянникомъ-студентомъ по просьбѣ дяди, редакторъ журнала, средняго [illegible] нихъ лѣтъ, довольно полный блондинъ, приличной [illegible]

ности, во фракѣ, въ бѣломъ галстукѣ и съ gibus въ рукахъ, слушавшій чтеніе съ выраженіемъ учтиваго равнодушія на лицѣ.

Потомъ сидѣли человѣка два-три такихъ слушателей, которые находили, что если зовутъ на чтеніе чего-нибудь, то это должно быть очень хорошо. За ними помѣщались и такіе, которые были всегда того мнѣнія, что если зовутъ на чтеніе, то непремѣнно будетъ очень скучно.

Между послѣдними особенно выдавался гость, пожилой, полный, съ одышкой, Иванъ Ильичъ *Суховъ*, который былъ приглашенъ потому, что былъ короткій пріятель и любимый застольный товарищъ хозяина — и въ совѣтѣ, и въ англійскомъ клубѣ. Онъ обнаруживалъ кое-какіе знаки нетерпѣнія при чтеніи: дышалъ громко, то ртомъ, то носомъ, иногда прикрывалъ рукою зѣвоту и пробовалъ заговаривать съ сосѣдями, чаще всего съ военнымъ генераломъ, еще не старымъ, крѣпкимъ, здоровымъ человѣкомъ, съ бодрой осанкой и простымъ, но энергическимъ выраженіемъ лица. Онъ былъ извѣстенъ, какъ отличный боевой генералъ и вмѣстѣ хорошій администраторъ по военной части, и на литературу смотрѣлъ нѣсколько съ боевой точки зрѣнія, читая, что попадется, въ видѣ отдыха, а чаще и вовсе ничего не читая. Онъ, съ хозяиномъ, съ Суховымъ и съ самимъ авторомъ романа былъ въ постоянныхъ сношеніяхъ и въ службѣ, и въ обществѣ, и они составляли собою свой тѣсный кружокъ.

Не далеко отъ нихъ сидѣлъ на плетеномъ, простомъ стулѣ, одѣтый такъ же, какъ и журналистъ, во фракѣ и бѣломъ галстукѣ, одинъ изъ приглашенныхъ сослуживцевъ автора, человѣкъ подъ пятьдесятъ лѣтъ, съ серьезнымъ лицомъ, съ крупною морщиною на лбу отъ напряженнаго вниманія, съ какимъ онъ слушалъ, сидя прямо и держа шляпу на колѣняхъ.

Онъ, казалось, съ трудомъ или неохотно вникалъ въ

смыслъ чтенія, пытливо поглядывая то на автора, то на того или другого изъ слушателей.

Это былъ Иванъ Ивановичъ *Кальяновъ*, сослуживецъ и одинъ изъ главныхъ помощниковъ автора въ комиссіи по преобразованіямъ и по другимъ дѣламъ, какія на того возлагались. Онъ считался столпомъ въ администраціи и правою рукою своего предсѣдателя. Вѣрнѣе, точнѣе и свѣдущѣе по своей части исполнителя, какъ этотъ Иванъ Ивановичъ, не было даже ни у одного министра. Самъ онъ никогда ничего не придумывалъ и не предлагалъ новаго, но бралъ предложенный ему матеріалъ — проектъ ли закона, новую какую-нибудь мѣру и, вооруженный уставами, положеніями, сводомъ законовъ, указами, инструкціями, органически воплощалъ идею, давая ей плоть и кровь.

Онъ удивлялся производительной головной дѣятельности своего предсѣдателя, изобрѣтательности и блеску его ума, а тотъ чувствовалъ, что безъ такого техника-организатора, какъ этотъ Иванъ Ивановичъ, его идеи и планы, указанія и desiderata—не достигали бы своей цѣли.

Они были тѣсно связаны узами, если не дружбы, такъ службы, и взаимно уважали другъ друга.

Внѣ комиссіи у нихъ все было разное: вкусы, склонности, удовольствія. Одинъ жилъ въ свѣтѣ, въ большомъ кругу другой—дома, за бумагами, а вечеромъ дома же, за картами съ двумя-тремя пріятелями, partie fixe.

Какъ такой человѣкъ попалъ на это чтеніе? Онъ и самъ не могъ надивиться этому. Это случилось нечаянно.

Заглянувъ однажды съ бумагами въ кабинетъ к[illegible] сѣдателю комиссіи и увидѣвъ, что тотъ углубленн[illegible] Кальяновъ на цыпочкахъ вышелъ вонъ. Но дв[illegible] нула и предсѣдатель воротилъ его.

— Это вы, Иванъ Ивановичъ: что же и [illegible] — [illegible] силъ онъ.

— Вы, кажется, очень заняты.

— То, что̀ вы принесли и вообще приносите мнѣ, всегда важнѣе того, что̀ я дѣлаю безъ васъ, и особенно въ эту минуту!—любезно, съ улыбкой, сказалъ тотъ, отодвигая свое писанье въ сторону и приглашая его сѣсть. — Что̀ у васъ?

Тотъ подалъ ему двѣ бумаги и какіе-то чертежи и прибавилъ длинное, словесное объясненіе.

— Вотъ тутъ планъ, смѣта и справки, — сказалъ онъ, указывая другую бумагу:—и чертежи, и заключеніе. Угодно вамъ согласиться, такъ я велю заготовить докладъ, потому что всѣ члены согласны.

— Знаю, знаю! Хорошо, оставьте. Я посмотрю, и завтра возвращу вамъ съ отвѣтомъ. Больше ничего нѣтъ?

— Есть, но то можно оставить до слѣдующаго засѣданія, а это намъ поскорѣе бы сбыть. Тамъ ждутъ.

Кальяновъ всталъ.

— Куда же вы? Сейчасъ чай подадутъ, вотъ сигара! — удерживалъ Левъ Иванычъ Бебиковъ, такъ звали предсѣдателя.

— Благодарю, меня дома ждутъ, да и вы заняты!

— Знаете, чѣмъ я занятъ? — сказалъ Левъ Иванычъ, придвигая къ себѣ тетрадь, которую писалъ до того.

Кальяновъ молчалъ.

— Романъ пишу.

Тотъ все молчалъ, только немного поднялъ брови.

— Вы не вѣрите?—спросилъ Бебиковъ, улыбаясь.

Тотъ отвѣчалъ тоже улыбкой.

— Хорошъ долженъ быть романъ,—сказалъ онъ, поглядывая на тетрадь.—Пожалуй, отъ него канцеляріи на полгода работы хватитъ, а дѣлопроизводителю, т.-е. вашему покорному слугѣ, опять по ночамъ не спать!

Левъ Ивановичъ засмѣялся.

— Не бойтесь! вамъ угрожаетъ одна опасность: выслушать его и сказать ваше мнѣніе.

— Я такъ и зналъ, что будетъ работа! А позвольте

узнать, о чемъ этотъ романъ? Не опять ли о введеніи предварительныхъ мѣръ въ видѣ опыта?.. Мнѣніе мое вы уже знаете...

— Нѣтъ, нѣтъ! — со смѣхомъ возразилъ Бебиковъ: — романъ, настоящій романъ! Почему вы не вѣрите?

— Не станете вы заниматься...

— Такимъ вздоромъ, да? Говорите прямо.

Кальяновъ молчалъ изъ учтивости.

— Какое варварство, Иванъ Ивановичъ! Вы не знаете, что въ наше время газеты и романъ сдѣлались очень серьезнымъ дѣломъ! Газета — это не только живая хроника современной исторіи, но и архимедовъ рычагъ, двигающій европейскій міръ политики, общественныхъ вопросовъ; а романъ пересталъ быть забавой: изъ него учатся жизни! Онъ сдѣлался руководствующимъ кодексомъ къ изученію взаимныхъ отношеній, страстей, симпатій и антипатій... словомъ, школой жизни!

Кальяновъ сталъ небрежно смотрѣть въ сторону.

«Знаю, что мастеръ говорить!» думалъ онъ: «вонъ какъ— точно зубы заговариваетъ; и о чемъ же—о романѣ! Дудки! Этакій богачъ—и станетъ писать!»

— Теперь всѣ бросились на романъ,—продолжалъ Бебиковъ:—одни пишутъ, другіе читаютъ. Государственные люди, политики, женщины, даже духовныя лица написали много романовъ, и всѣ учатъ, или учатся уловлять тонкіе законы индивидуальной, общественной, политической, соціальной и всякой жизни—изъ романовъ!

«А все-таки это вздоръ!» подумалъ Кальяновъ, но не рѣшился сказать вслухъ, думая: «а ну, какъ онъ въ самомъ дѣлѣ пишетъ этотъ... вздоръ! Неловко! Да нѣтъ, не можетъ быть!»

Онъ покачалъ отрицательно головой.

— Все не вѣрите?—сказалъ Бебиковъ:—а вотъ повѣрите, когда я приглашу васъ послушать! Вы не откажетесь?

— Нѣтъ, я всегда слушаю все, что̀ вамъ угодно мнѣ читать...—сказалъ онъ покорно.

— И часто опровергаете, но всегда съ успѣхомъ и пользой для дѣла...

— Развѣ это дѣло?—вдругъ сорвалось съ языка у Кальянова.

Оба засмѣялись.

— Вы запомнили только одно слово «вздоръ»,—сказалъ предсѣдатель:—а мое разсужденіе о значеніи романа...

— Принялъ къ свѣдѣнію,—подсказалъ Кальяновъ.

— Примите же его и къ исполненію! — добавилъ Левъ Ивановичъ:—и когда я приглашу васъ послушать, скажите свое мнѣніе. Да?

Кальяновъ поклонился, еще разъ недовѣрчиво взглянулъ на начальника, покосился на тетрадь—и вышелъ, все раздумывая о томъ, насколько хватитъ всей комиссіи и ему работы.

«Вотъ тебѣ и будетъ романъ!» заключилъ онъ.

Предсѣдатель не то чтобы интересовался знать мнѣніе Ивана Ивановича о романѣ, но пригласилъ его потому, что пришлось кстати, и потому еще, что хотѣлось оказать любезность своему помощнику. Кальяновъ и забылъ объ этомъ разговорѣ.

Но каково было его удивленіе, когда, черезъ мѣсяцъ послѣ того, именно въ маѣ, Левъ Ивановичъ, однажды, послѣ доклада, сказалъ, что Григорій Петровичъ Урановъ заѣдетъ къ нему, Кальянову, пригласить его на чтеніе романа.

— Какого романа?—вдругъ спросилъ Кальяновъ и тутъ только вспомнилъ бывшій разговоръ.

— Вы слово дали!—напомнилъ начальникъ.

— Ужели это... не мистификація?—спросилъ онъ нерѣшительно.

— Вотъ какая мистификація—полюбуйтесь!

Бебиковъ показалъ ему кучу мелко исписанныхъ тетрадей.

— Смотрите же — я ожидаю вашей критики! — прибавилъ онъ.

Кальяновъ ушелъ въ раздумьи, все не вѣря и предполагая какой-нибудь сюрпризъ.

«Соберетъ, чего добраго, всю комиссію туда, на вечеръ къ Уранову, да и прочтетъ какой-нибудь проектъ или «идею»... отъ него станется! Охъ ужъ эти мнѣ идеи!»

Однако, въ назначенный вечеръ онъ надѣлъ фракъ, бѣлый галстукъ и поѣхалъ къ Уранову.

«И женщины тутъ; что жъ это въ самомъ дѣлѣ — ужели такъ-таки романъ и есть?» шепталъ онъ, робко усаживаясь въ третьей шеренгѣ слушателей.

Другой сослуживецъ автора, *Фертовъ*, напротивъ вовсе не садился. Онъ рѣялъ, какъ зефиръ, между слушателями и, наклоняясь то къ тому, то къ другому, особенно къ дамамъ, ронялъ по нѣскольку словъ восторженныхъ похвалъ о романѣ, который уже слышалъ.

Онъ былъ высокій красивый и отлично одѣтый господинъ, лѣтъ сорока, юркій, свѣтлоокій блондинъ, съ проборомъ посреди головы, съ бакенбардами, струями падавшими къ плечамъ, съ изящными манерами, — словомъ, представительная салонная фигура.

Фертовъ былъ тоже необходимое лицо у автора — и по службѣ, и по всякимъ другимъ дѣламъ, но совсѣмъ въ другомъ родѣ, чѣмъ Кальяновъ. Онъ добывалъ особенныя, предварительныя справки по дѣламъ, дѣлалъ развѣдки, tâtait le terrain въ томъ или другомъ вѣдомствѣ — не путемъ бумажныхъ отношеній, а лично: былъ употребляемъ для компромиссовъ, углаживалъ пути, устранялъ, своимъ ловкимъ и пріятнымъ характеромъ, недоразумѣнія и т. д. Онъ же былъ вѣрнымъ эхомъ городскихъ новостей и слуховъ, особенно въ высшихъ сферахъ.

Сзади всѣхъ, въ углу, у камина, помѣстился газетный

критикъ, Кряковъ, котораго привелъ, согласно обѣщанію, племянникъ хозяина. Онъ былъ средняго роста, съ темно-русой густой бородой, въ которой пряталась вся нижняя часть лица и отчасти носъ. Одѣтъ онъ былъ въ коротенькомъ пиджакѣ и въ свѣтлыхъ брюкахъ, по-лѣтнему. Онъ жалъ въ рукахъ сѣрую, мягкую шляпу и, повидимому, не зналъ, что съ собой дѣлать. Онъ укрывался въ тѣни угла, куда его привелъ студентъ, представивъ сначала дядѣ.

— Сиди тутъ: я помогу дядѣ принять гостей, потомъ приду къ тебѣ!—сказалъ онъ.

— Смотри не надуй, а то я удеру!—отвѣчалъ тотъ.

И онъ сталъ смотрѣть на каждаго гостя, на самого хозяина, на автора, на все окружающее, задѣвалъ ногою за щипцы, которые гремѣли о рѣшетку камина, и, кажется, не разъ хотѣлъ встать и въ самомъ дѣлѣ уйти. Но все притихло, началось чтеніе—и онъ усѣлся.

Черезъ четверть часа послѣ начала чтенія, явились еще три слушателя, двое военныхъ молодыхъ людей и третій—статскій. Первые два осторожно несли сабли въ рукахъ—и всѣ трое, à pas de loups, подкрались къ кружку, взяли три стула, безъ шума поставили ихъ на коверъ и тихо опустились на нихъ, за спиною автора.

На нихъ никто не обратилъ вниманія, только хозяинъ дома ласково погрозилъ имъ пальцемъ, да княжна Тецкая бросила быстрый взглядъ на статскаго. Онъ поклонился, больше глазами, но она не повторила своего взгляда.

Романъ начался съ описанія блестящаго бала, на которомъ являются два главныя лица романа, или герой и героиня. Онъ—графъ, она—княгиня. Она блестящая звѣзда большого свѣта, по красотѣ, изяществу, уму. Онъ—красивый, ловкій и тоже блестящій молодой человѣкъ, офицеръ одного изъ первыхъ гвардейскихъ полковъ.

Онъ, подъ маскою строгаго приличія, едва сдерживаетъ

пылъ страсти къ своей княгинѣ: онъ ищетъ ея взгляда, хочетъ ей сказать слово; но она будто не замѣчаетъ его, и отъ нея, какъ отъ Онѣгинской Татьяны, вѣетъ холодомъ и неприступностью. Онъ въ ужасѣ: отчего такая перемѣна! Еще такъ недавно, дня три тому назадъ, на немъ покоился ея взглядъ, полный такого сочувствія, ему говорились тихія рѣчи нѣжной страсти — и вдругъ теперь даже не глядитъ! Что такое произошло? Онъ ходилъ изъ залы въ залу, слѣдя за княгинею, и ловилъ минуту, чтобы узнать, что̀ значитъ эта перемѣна, отчего у нея какая-то тревога, сдержанное страданіе на лицѣ?

— Я не видалъ васъ цѣлую вѣчность—и вотъ пріемъ!— тихо упрекнулъ онъ, подходя къ ней, когда она была одна.

— А я видѣла васъ вчера, — сухо отозвалась она, не глядя на него.

— Гдѣ? когда?

— Я проѣзжала по мосту, черезъ Фонтанку, и издали видѣла, какъ вы гуляли по набережной... съ дамою [illegible] жется... да?

— Да... правда...—запинаясь сказалъ онъ.

— Кто эта дама? не секретъ?—небрежно спросила [illegible] обмахиваясь вѣеромъ.

Онъ не вдругъ отвѣчалъ; ему и не хотѣлось [illegible] но дѣлать было нечего.

— Это... это... m-me Armand... французская [illegible]

— А! — холодно сдѣлала она и пристальн[illegible] на него.

— Я встрѣтилъ ее нечаянно и прошел[illegible]

— Я не требую объясненій и подробн[illegible] била она и отошла.

Онъ слѣдилъ, какъ она, поговоривъ [illegible] подошла къ дѣвицѣ Лидіи N. и сѣла [illegible]

— Я вчера заѣзжала къ вамъ. [illegible] часовъ, но васъ не было; гдѣ вы [illegible]

— Да, мнѣ maman сказывала; я очень жалѣла... Мнѣ необходимо было выѣхать... — отвѣчала Лидія, но не сказала куда.

— Мнѣ показалось, что я васъ видѣла на улицѣ, и я заѣхала узнать, не ошиблась ли я?

Она взглянула на Лидію и видѣла, что та смутилась. И княгиня сама измѣнилась въ лицѣ.

«Mon Dieu!» воскликнула каждая изъ нихъ про себя.

«Ужели она замѣтила!» подумала Лидія.

«Это была она!» подумала княгиня.

Балъ былъ къ концу, княгиня тронулась съ мѣста и направилась къ выходу; графъ предупредилъ ее. Онъ подалъ ей руку.

— A demain... n'est-ce pas? Puis-je vous suivre?—бормоталъ онъ.

Она не взяла руки.

— Vous croyez vous adresser à Lydie N. peut-être?—сказала она:—vous vous trompez; la voilà! — Она указала вдаль вѣеромъ, гдѣ сидѣла Лидія.—Restez auprès d'elle.—Général! donnez moi votre bras!—обратилась она къ проходившему мимо генералу и пошла подъ руку съ нимъ по лѣстницѣ, не бросивъ на героя взгляда.

Онъ оцѣпенѣлъ на мѣстѣ, потомъ медленно воротился въ залу. Онъ посмотрѣлъ на Лидію, прелестную молодую блондинку, въ цвѣтѣ лѣтъ, стройную, граціозную, съ умными глазами, просто и со вкусомъ одѣтую.

Онъ сказалъ ей какую-то банальную фразу и глядѣлъ ей пристально въ глаза, въ надеждѣ, не объяснитъ ли она намекъ княгини.

Глаза ея дѣйствительно высказывали что-то особенное. Взглядъ ея блуждалъ разсѣянно кругомъ, ни на чемъ не останавливаясь; очевидно, мысль ея была не тутъ. Она была задумчива, почти печальна, вѣроятно подъ вліяніемъ бѣглаго разговора съ княгиней. Но графъ не слыхалъ этого разго-

вора, да если бы и слышалъ, то все не добился бы ключа къ намеку княгини.

Постоявъ съ минуту передъ нею, графъ пошелъ къ выходу и на лѣстницѣ столкнулся съ адъютантомъ, барономъ В., который вертѣлся около и видѣлъ сцену прощанія съ нимъ княгини: какъ она не приняла руки графа и пошла съ генераломъ. Баронъ бросился за нею и, проводивъ ее вмѣстѣ съ генераломъ до кареты, возвращался на балъ. Онъ съ ироніею взглянулъ на графа. Онъ былъ неравнодушенъ къ княгинѣ и терпѣть не могъ графа, какъ предпочтеннаго соперника. Графъ понималъ его положеніе и прощалъ ему, т.-е. былъ равнодушенъ къ его ненависти. Но тотъ, какъ шекспировскій Яго, искалъ случая мстить ему.

Между тѣмъ, графъ, мучимый холодностью княгини, написалъ ей письмо, въ которомъ объяснялъ, какъ онъ, наканунѣ бала, встрѣтилъ m-me Armand, выходившую изъ одного дома и не нашедшую своей кареты. Онъ вышелъ изъ саней и пошелъ съ нею пѣшкомъ по набережной Фонтанки до Невскаго проспекта, гдѣ они и разстались. Онъ предложилъ ей свои сани, и она уѣхала. Онъ прибавилъ, что эта m-me Armand извѣстна всей jeunesse dorée Петербурга, что она состоитъ въ тѣсной зависимости отъ одного извѣстнаго лица, что весь городъ это знаетъ и что подозрѣвать его было бы недостойно ни княгини, ни его собственнаго характера, и такъ далѣе.

Но онъ не прибавилъ, какъ онъ весело болталъ съ француженкою, наклонялся къ ней, шутилъ, смѣялся, велъ съ нею живой, маскарадный разговоръ.

А княгиня видѣла это. Съѣхавъ съ моста, она велѣла кучеру остановиться и пристально слѣдила за ихъ прогулкою. Она видѣла ихъ сзади и не могла разглядѣть лицо дамы; она видѣла только ея фигуру и ростъ—все это было поразительно похоже на фигуру и ростъ Лидіи, особенно длинныя букли были точь-въ-точь такія, какъ у нея и

цвѣтъ такой же, и такъ же выпущенныя изъ-подъ шляпки назадъ, онѣ скользили по ея плечамъ. Остальные признаки подсказало воображеніе, т.-е. ревность. Княгиня нашла похожею и походку дамы, и такую же соболью шубку, какъ у Лидіи, и все.

Здѣсь авторъ романа вошелъ въ тонкій психологическій анализъ ревности: какъ эта послѣдняя наблюдаетъ всѣ мелкіе признаки, сама создаетъ многіе, группируетъ ихъ, и творитъ адъ въ душѣ своей жертвы.

Княгиня, проводивъ ихъ далеко глазами, велѣла ѣхать въ домъ Лидіи N, чтобы увѣриться, дома ли она, или нѣтъ, и не застала ее. Вотъ причина ея допроса у Лидіи, гдѣ она была? Смущеніе Лидіи подтвердило ея догадки, а слѣпая ревность превратила ихъ въ увѣренность. Она отгоняла спасительныя сомнѣнія, которыя просились ей въ умъ въ видѣ вопросовъ: «какъ Лидія, дѣвица, принадлежащая къ лучшему обществу, у которой есть родители—люди съ положеніемъ, со связями въ большомъ свѣтѣ, вдругъ будетъ играть своей репутаціей, уѣзжать одна изъ дома на секретныя свиданія, гулять открыто вдвоемъ съ молодымъ человѣкомъ, котораго всѣ знаютъ?» Княгиня отгоняла эти вопросы, какъ «докучливыхъ мухъ», по словамъ автора, потому что ревность, разъ потерявши главную точку опоры, здравую логику, какъ всякая горячка, т.-е. страсть, питается и поддерживается галлюцинаціями и сама создаетъ себѣ рядъ пытокъ. Кстати княгиня вспомнила, что Лидіи уже двадцать лѣтъ, что отецъ ея поглощенъ службою, а мать—болѣзненная женщина и выѣзжать съ нею не можетъ; что Лидія выѣзжаетъ съ компаніонкою, а часто и одна; что на ней даже лежатъ обязанности по управленію домомъ и что она, не въ примѣръ многимъ другимъ дѣвицамъ, пользуется значительною долею самостоятельности. Это всѣ знали въ свѣтѣ, но никогда никому не приходило въ голову видѣть что-нибудь таинственное и лукавое въ ея поведеніи: это

противорѣчило бы личному ея характеру, воспитанію и нравственному складу и тону всего ихъ дома и семьи, всѣми уважаемыхъ.

Но княгиня не слушала этихъ голосовъ разума. Въ глазахъ ея сверкало какое-то красное пламя, внутри жгло.

«А отчего она смутилась, когда я намекнула, что видѣла ее? Отчего не договорила, гдѣ была?—терзала она себя вопросами...—Да, это была она! А Paul говоритъ... нѣтъ, какой онъ Paul: c'est un traître de la plus pire éspèce!—казнила она его про себя:—онъ вздумалъ увѣрять, что это m-me Armand! Онъ съ нею и не пошелъ бы: онъ презираетъ этихъ...» Она не досказала эпитета.

Она кляла себя за то, что не бросилась вслѣдъ гуляющей парѣ, что не остановила графа, не взглянула вблизи на женщину, а бросилась въ домъ Лидіи. «Теперь я знала бы все!»

Она не думала, даже не вѣрила, чтобы свиданья графа съ Лидіей заходили далеко, чтобы въ нихъ скрывалось что-нибудь похожее на то, что было между ею самою и графомъ... Нѣтъ, но она видѣла въ этой нѣжности графа къ Лидіи зарю—не пылкой страсти, а молодой, свѣжей—такъ сказать—законной любви, той любви, которая охватываетъ всего человѣка и наполняетъ тепломъ всю его жизнь. И она уступитъ, когда сама только-что покорила этого рыцаря чести, мужской красоты, какой-то силы души и характера—и отдастъ его другой, едва расцвѣтшей, еще не начавшей жить!

«У той, разсуждала она,—жизнь вся впереди: ее ждетъ своя доля счастья! А она вдругъ отнимаетъ его у нея, и ломаетъ ея страсть и вмѣстѣ съ нею и ее самой. Княгиня! потому что ей больше ничего не останется въ жизни... Нѣтъ, нѣтъ! А онъ! Заплатить ей измѣной за [illegible] низость! какая низость!»

Она вздрагивала, ворочаясь, послѣ бала. [illegible] уснула только подъ утро.

Послѣ полудня ей доложили, что пріѣхалъ баронъ В., адъютантъ. Она, давно зная его чувства къ ней и виды на нее, избѣгала его и принимала неохотно и рѣдко. А теперь велѣла просить.

Она ужаснулась, поглядѣвъ на себя въ зеркало, и старалась пудрой, и даже немного румянами, скрыть слѣды безсонной и мучительной ночи.

Баронъ пріѣхалъ не спроста. Онъ вчера уловилъ коекакіе симптомы разлада между княгиней и графомъ, замѣтилъ сцену ихъ прощанія, потомъ разговоръ съ Лидіей N, у которой, послѣ отъѣзда княгини, онъ искусно развѣдалъ, о чемъ ей говорила княгиня. Та наивно отвѣчала, что княгиня думала, что видѣла ее на улицѣ, и заѣзжала къ ней узнать, не ошиблась ли она. И только. Но баронъ принялъ это къ свѣдѣнію и поѣхалъ къ княгинѣ выпытать что можно. У него уже шевелилась мысль о возможности разрыва графа съ княгиней: надо помочь этому, довести до конца— и... и... Словомъ, у него заиграло въ головѣ.

Ему не стоило труда узнать въ чемъ дѣло. Княгиня, послѣ пустыхъ фразъ о вчерашнемъ балѣ, сама спросила: знаетъ ли онъ m-me Armand? Онъ, конечно, сказалъ, что знаетъ ее, какъ и многіе другіе, т.-е. весь кругъ золотой молодежи; что онъ бываетъ иногда у нея; что она очень живая, умная, любезная женщина, и наконецъ, въ свою очередь, спросилъ, почему она такъ интересуется ею.

— Такъ! — сказала княгиня: — я видѣла ее на улицѣ, спросила, кто это, и мнѣ назвали ее... больше ничего.

Баронъ ничего не сказалъ. У него уже была нить въ рукахъ—и онъ, простившись съ княгиней, поѣхалъ прямо къ m-me Armand—постучаться тамъ, выяснить эту исторію и на ней основать свой планъ дѣйствія.

Онъ безъ труда узналъ отъ m-me Armand, что она недавно встрѣтилась съ графомъ, прошлась съ нимъ по набережной Фонтанки и доѣхала въ его саняхъ домой.

Барону стало ясно все. Что онъ далѣе говорилъ француженкѣ, осталось неизвѣстно; но только когда, послѣ этого, княгиня осторожно, стороной, черезъ преданныхъ ей людей, изъ третьихъ рукъ, стала узнавать о прогулкѣ съ нею графа, m-me Armand jurait ses grands dieux, что она съ нимъ не встрѣчалась и не гуляла.

Отсюда начинается сложная драматическая путаница романа! Прежде всего значительно огласились въ свѣтѣ, до тѣхъ поръ только подозрѣваемыя, отношенія княгини къ графу. Потомъ прошелъ глухой, неизвѣстно кѣмъ пущенный исподтишка (конечно барономъ) шопотъ о какой-то прогулкѣ Лидіи съ графомъ наединѣ. На нее стали смотрѣть съ страннымъ любопытствомъ, которое она относила вовсе не къ прогулкѣ съ графомъ, чего и подозрѣвать не могла, а къ тому, что узнали, какъ она предполагала, одинъ ея секретъ.

А секретъ ея состоялъ въ слѣдующемъ. У нея была самая любимая ея по институту подруга и лучшій по уму и симпатичнымъ качествамъ души и сердца другъ, Лиза Ф. Онѣ вмѣстѣ росли, учились и вмѣстѣ вступили въ свѣтъ. Лиза Ф., по выходѣ изъ института, жила въ домѣ Лидіи, потому что у ней не было состоянія, Мать ея, вдова, сама жила въ деревнѣ у родной сестры, и предоставила дочери свою пенсію, тысячу двѣсти рублей. Обѣ онѣ не могли содержать себя этими средствами въ Петербургѣ, и Лиза пріютилась въ семействѣ Лидіи N, какъ ея лучшій другъ, какъ сестра.

Такъ ихъ признавалъ и свѣтъ; онѣ два зимнихъ сезона являлись неразлучно всюду. На третій сезонъ Лидія вдругъ осталась одна. Лиза Ф. уѣзжала на лѣто къ матери и не возвращалась изъ деревни.

Такъ объявлено было въ кругу всѣхъ знакомыхъ — и только. Ни Лидія, ни ея отецъ и мать болѣе не распространялись объ этомъ. Это породило нѣкоторое сомнѣніе;

стали наводить справки и узнали, что въ деревнѣ, у тетки, съ Лизой разыгрался какой-то романъ, кончившійся потомъ такими послѣдствіями, за которыя тетка не захотѣла держать ее у себя, и что Лиза вернулась въ Петербургъ и живетъ съ матерью гдѣ-то въ глухомъ уединеніи, на маленькой квартирѣ, въ большой нуждѣ.

Это всѣ узнали, судили, рядили и казнили Лизу безпощаднымъ приговоромъ. О Лизѣ перестали говорить въ свѣтѣ; никогда не произносили имени ея и въ домѣ Лидіи. Всѣ какъ будто условились забыть ее и наконецъ забыли. Не могла забыть въ ней лучшаго, единственнаго друга только Лидія—и не забыла. Она не сочла себя въ правѣ быть ея судьею, и не только сохранила, но удвоила къ ней свою нѣжность, окружила ее заботами, утѣшеніями, помощью—всѣмъ, въ чемъ такъ нуждалась теперь бѣдная, обманутая любовью, выброшенная изъ привилегированной среды женщина. Дружба не обманула ее. Лидія объявила отцу и матери, что она не покинетъ друга въ бѣдѣ и нуждѣ, когда именно необходимъ другъ.

Отецъ обнялъ ее, мать заплакала: оба предоставили дѣлать ей что́ говоритъ ея сердце; они сами любили и жалѣли эту Лизу, но умоляли только дѣлать это втайнѣ, поберечь себя и не оскорблять законовъ свѣта.

Лидія, разъ въ недѣлю, посвящала свободный вечеръ или утро, иногда цѣлый день, своей подругѣ и ѣздила въ наемной каретѣ, по вечерамъ въ сопровожденіи вѣрной и скромной горничной, а днемъ—одна, въ отдаленную улицу, въ маленькую квартиру, къ своей милой и дорогой Лизѣ Ф.

Наканунѣ бала, она провела тамъ утро, и вотъ причина ея смущенія, когда княгиня сказала, что видѣла ее гдѣ-то на улицѣ.

Оскорбленная княгиня не принимала графа и не отвѣчала на его письма. Только на одномъ изъ нихъ, возвращенномъ нераспечатаннымъ, она написала карандашомъ:

«vous avez menti. Adieu!» Онъ былъ въ ужасѣ. Свѣтскій судъ не пощадилъ ее; его толки дошли до нея, и она, съ первыми весенними лучами, уѣхала въ свое родовое имѣніе, заперлась, съ компаніонкой, въ замкѣ — и никуда не выѣзжала.

Лидія тоже не выдержала косыхъ взглядовъ, улыбокъ, шопота... она занемогла. Отецъ и мать ея были въ отчаяніи и наконецъ отправили ее, съ одной старой теткой, за границу. Свѣтъ не узналъ настоящаго ея секрета, а только привязалъ, «какъ бумажку къ ея шлейфу», по выраженію автора романа, имя графа къ ея имени, пока еще не зная, что говорить далѣе.

Графъ тоже не вынесъ пытки. Онъ рѣшился на смѣлый шагъ, взялъ отпускъ за границу, переодѣлся въ статское платье, пробрался въ имѣніе княгини, поселился въ деревнѣ и бродилъ каждый день въ сумерки, съ ружьемъ на плечѣ, около парка княгини. Наконецъ, онъ увидѣлъ ее, сидящею въ глубокой задумчивости на скамьѣ, подъ вязомъ; возлѣ на травѣ валялась книга. Онъ тихо подошелъ кустами сзади; на него вдругъ залаяла ея собачка, но узнавъ его, начала радостно визжать и ласкаться къ нему.

— Кто тутъ?—съ испугомъ спросила княгиня.

— Я! — сказалъ онъ, упавъ на траву и прижимая ея руки къ губамъ.—Простите!

— Вы... ты... вы!—оторопѣвъ произнесла княгиня и залилась слезами... Отъ чего? Отъ негодованія? Отъ оскорбленной гордости? Нѣтъ, отъ радости, отъ счастья!

— Я ждала тебя, я знала, что ты будешь! — шептала она, отвѣчая на его поцѣлуи.—Если бъ ты не пріѣхалъ, я не простила бы тебѣ...

— О рай! о небо!—твердилъ онъ и т. д., и т. д.

Они провели тайкомъ въ этой глуши такое лѣто, какого, по словамъ автора, еще не было ни у нея, ни у него въ жизни. Она даже не потребовала у него объясненій эпи-

зода прогулки съ m-me Armand и зажала ему рукою ротъ, когда онъ заикнулся объ этомъ.

— Я здѣсь, наединѣ съ собою, сама добралась до истины, и только... женскій стыдъ мѣшалъ мнѣ написать тебѣ. Я знала, что ты пріѣдешь!

При этомъ онъ падалъ на коверъ или на траву и катался, вмѣстѣ съ собаченкой, у ея ногъ.

Онъ воротился въ Петербургъ, гдѣ объяснилъ, что ѣздилъ устроить дѣла въ имѣніи, и отправился за границу; а княгиня заперлась опять въ своемъ замкѣ.

Въ романѣ, кромѣ самого героя, героини и дѣвицы Лидіи, большія роли даны еще отцу ея, умному администратору, потомъ отставному генералу, съ твердымъ, упрямымъ и нѣсколько желчнымъ характеромъ, и, наконецъ, общему другу того и другого — Здравомыслу всего этого круга, пожилому князю.

Вся группа представителей старыхъ поколѣній въ романѣ исполнена житейской мудрости, высокихъ правилъ чести, рыцарскаго благородства.

Въ молодомъ, ближайшемъ къ нимъ поколѣніи — дѣтей и племянниковъ ихъ, еще молодыхъ офицерахъ, замѣтно отражаются родовыя черты характера старшихъ, ихъ образа мысли и традиціонныхъ убѣжденій. Обѣ линіи представляютъ собою два параллельныя поколѣнія извѣстнаго, такъ-называемаго, высшаго круга.

Преобладающій элементъ въ романѣ—военный. Гражданскій занимаетъ второстепенное положеніе.

Между прочимъ, цѣлая глава посвящена описанію маневровъ войскъ, между Гатчино, Краснымъ Селомъ и Павловскомъ. Мѣстами приводятся черты образа жизни, нравовъ, быта военныхъ высшаго круга.

Женскій кругъ тоже богатъ персоналомъ. На первомъ планѣ, кромѣ молодыхъ героинь—княгини и Лидіи, являются нѣсколько свѣтскихъ матронъ, двѣ княгини, одна—важная,

добродѣтельная, другая—суетливая и говорливая, потомъ мать дѣвицы, мать героя и другія.

Между дѣйствующими лицами почти нѣтъ лицъ изъ другихъ, низшихъ сферъ; только въ деревнѣ явился неожиданный поклонникъ княгини — уѣздный врачъ. Видя ея «меланхолію», какъ онъ говорилъ, онъ сталъ увѣрять ее, что послѣдняя можетъ повести къ серьезной болѣзни и что ему судьбою предназначено посвятить всю свою жизнь на сохраненіе «ея драгоцѣнныхъ дней». Но когда, съ пріѣздомъ графа, ея «меланхолія» мгновенно прекратилась, княгиня перестала принимать врача, и онъ, въ свою очередь, какъ графъ, сталъ бродить съ ружьемъ около парка—но, конечно, безуспѣшно.

Изъ простого званія—въ романѣ не было никого. Авторъ постоянно держался на высотѣ только одного высшаго круга и утонченнаго воспитанія.

Княгиня инкогнито тоже пробралась за границу — и соединилась съ героемъ въ какомъ-то уединенномъ уголкѣ.

За границей дѣйствіе происходитъ, частью на водахъ въ Германіи, а потомъ въ Южной Франціи и Италіи. Романъ изобиловалъ описаніями видовъ природы, граціозныхъ и цѣломудренныхъ сценъ любви, тонкихъ замѣтокъ о произведеніяхъ искусства въ музеяхъ и т. п.

Герой и героиня, насыщенные страстью, оба, наконецъ, смутно начинаютъ чувствовать неловкость своего взаимнаго положенія. Кромѣ того, княгиня замѣчаетъ — сначала усталость въ своемъ другѣ, потомъ и симпатію его къ Лидіи, которую онъ встрѣтилъ гдѣ-то въ Парижѣ, а потомъ въ Швейцаріи, съ тёткой.

Графъ между тѣмъ давно просрочилъ свой отпускъ и былъ уволенъ отъ службы. Онъ былъ до того поглощенъ страстью къ княгинѣ, что не исполнилъ даже обычныхъ формальностей, не попросилъ отсрочки. Онъ и не хотѣлъ дѣлать этого; законныхъ причинъ у него не было: онъ былъ

здоровъ, никакія дѣла не удерживали его за границей,—а лгать, выдумывать предлоги, было не въ его характерѣ. У него былъ предлогъ, и самый уважительный, по законамъ чести—это долгъ принести въ жертву все женщинѣ, которая пожертвовала всѣмъ для него—и онъ подчинился этому закону, къ крайнему отчаянію его матери и всѣхъ военныхъ gros bonnets его круга.

Но, когда, послѣ многихъ мѣсяцевъ, проведенныхъ наединѣ, насыщенная страсть успокоилась, потомъ ослабѣла и, наконецъ, совсѣмъ упала — героиня украдкой уѣзжаетъ отъ героя, возвративъ ему свободу.

Графъ и Лидія хотя еще не сблизились между собою, но уже замѣтны были первые признаки сближенія. Въ частыхъ встрѣчахъ въ уединенныхъ затишьяхъ, среди красотъ природы, они пристальнѣе вглядывались другъ въ друга, такъ что можно уже было предвидѣть «зарю» той любви, которую, въ припадкахъ ревности, предугадывала княгиня.

Романъ кончался пока этимъ. Далѣе, по словамъ автора, еще не было написано.

Прочитавъ первыя главы, авторъ всталъ и предложилъ отдохнуть. Слушатели поднялись съ мѣстъ молча, какъ будто раздумывая, что̀ сказать о первыхъ главахъ — и ничего не сказали; кто позѣвывалъ, кто разминалъ ноги, только Лилина, сіяя улыбкой, твердила «très joli», да молодая графиня, дѣвица Синявская, крѣпко сжимая руку матери, влажными глазами смотрѣла ей въ глаза и встала вмѣстѣ съ нею съ дивана.

Авторъ и графиня стали ходить взадъ и впередъ по комнатѣ.

— Вы, графиня, конечно, еще ничего теперь не скажете мнѣ?—спросилъ онъ.

— И послѣ не скажу—зачѣмъ?

— Развѣ вы не знаете, какъ я цѣню ваше мнѣніе.

— У меня нѣтъ мнѣнія, а только впечатлѣніе.

— Скажите ваше впечатлѣніе.

— Не умѣю, его надо угадать.

— Въ глазахъ сфинкса трудно угадывать, развѣ измѣнитъ улыбка ваша: она у васъ добрѣе глазъ...

— Надѣюсь, не добрѣе улыбки Лилиной; посмотрите, она такъ и сіяетъ, такъ и горитъ нетерпѣніемъ сказать вамъ свое впечатлѣніе!

Онъ пожалъ плечами и подошелъ къ Чешневу.

— Вы что скажете, Дмитрій Ивановичъ?—спросилъ онъ старика, въ раздумьѣ поникнувшаго головой.

— Ничего—я все еще слушаю!—отвѣчалъ тотъ коротко.

Слушатели, стоя группами, говорили совсѣмъ о другомъ. Иные пошли къ буфету «прохладиться», кто зельтерской водой съ шампанскимъ, кто просто шампанскимъ; другіе ушли въ кабинетъ хозяина, выкурить папироску.

Опоздавшій статскій юноша пробрался къ княгинѣ Тецкой и поцѣловалъ у нея руку, съ словами:

— Ma tante!

— Ай!—закричала та и вздрогнула.

Онъ выразительно улыбнулся княжнѣ.

— Eh bien?—спросила она чуть слышно.

— C'est fait, ma cousine!

— Où donc?

— Тамъ, въ швейцарской, въ вашемъ пальто.

— Merci!

Между тѣмъ принесли чай, мороженое, конфеты. Григорій Петровичъ предлагалъ автору—оршаду, лимонаду, спросилъ, не хочетъ ли онъ шампанскаго въ зельтерскую воду, наконецъ, принесъ какой-то флаконъ съ утоляющими жажду лепешками, купленный въ англійскомъ магазинѣ.

— Въ Лондонѣ, въ парламентѣ, у всякаго оратора непремѣнно есть въ карманѣ такой флаконъ! — объяснилъ онъ.—Я буду возить съ собой въ совѣтъ!

— А ты собираешься говорить тамъ рѣчи, какъ въ парламентѣ?—спросилъ его пріятель, толстый Суховъ, и оба засмѣялись.

— Лучше вози въ клубъ, въ субботу, послѣ кулебяки прохлаждаться!—прибавилъ онъ.

Урановъ успокоился только тогда, когда авторъ выпилъ вина съ водой и предложилъ читать далѣе, прибавивъ: «если не наскучило!»

— Пусти меня, или пойдемъ къ тебѣ наверхъ!—шепталъ газетный критикъ Кряковъ, косясь на звѣзды мужчинъ: — еще, пожалуй, проврешься—вонъ отъ тѣхъ бѣды наживешь!

Онъ указалъ на сановныхъ стариковъ.

Студентъ засмѣялся.

— Вздоръ какой!—сказалъ онъ.—Пойдемъ лучше въ буфетъ.

Всѣ опять усѣлись. Лакеи обирали пустыя чашки, блюдечки отъ мороженаго. Григорій Петровичъ поставилъ хрустальныя вазы съ конфетами на столикахъ передъ дамами, а передъ авторомъ успѣлъ-таки положить флаконъ съ прохладительными лепешками.

Фертовъ облетѣлъ опять всѣхъ слушателей.

— Comme c'est beau! On se croirait transporté à l'époque d'Homère!—говорилъ онъ то тому, то другому.

— C'est joli!—вторила ему Лилина.

— C'est peu dire joli — c'est sublime! — кинулъ онъ ей въ отвѣтъ и нагнулся-было къ графу Пестову, чтобы сказать что-нибудь въ этомъ родѣ.

Но авторъ бросилъ на него внушительный взглядъ, и онъ присмирѣлъ.

Кромѣ Чешнева, еще двое гостей не вставали съ мѣстъ: это пожилой беллетристъ, отъ лѣни, должно-быть, только вытянувшій немного ноги впередъ, будто потягиваясь, да Иванъ Ивановичъ Кальяновъ, сослуживецъ автора, точно застылъ въ своей позѣ. Даже толстый Суховъ, и тотъ ухо-

дилъ «освѣжиться» и принялъ стаканъ зельтерской воды съ шампанскимъ—«отъ одышки», говорилъ онъ.

Въ буфетѣ хозяинъ учтиво предложилъ и Крякову «освѣжиться».

— Не вредитъ! — сказалъ онъ и выпилъ стаканъ шампанскаго.

Кальяновъ просто не зналъ, какъ ему быть. Надежда на мистификацію рушилась — онъ видѣлъ это ясно: ни пересмотра проектовъ, ни дополнительныхъ штатовъ, никакихъ смѣтъ, ничего такого въ романѣ не было. А все что̀ было— ему было чуждо и даже противно, въ родѣ какой-то дѣтской забавы.

Сдавая вступительный экзаменъ въ университетѣ, по факультету камеральныхъ наукъ, между прочимъ и изъ словесности, онъ запомнилъ имена Вальтеръ-Скотта, Бальзака, у насъ—Загоскина и Лажечникова. Позднѣе, въ журналахъ, онъ встрѣчалъ имена Жоржъ Занда, Виктора Гюго, помнилъ, какого шума надѣлала «Капитанская дочка» Пушкина, затѣмъ романы Лажечникова, Лермонтова и Гоголя. Но онъ, ставъ на практическую точку служебныхъ занятій, уже ничего этого послѣ не читалъ—и на романъ смотрѣлъ... просто никакъ не смотрѣлъ. Онъ считалъ это женскимъ или, какъ онъ выражался, бабьимъ дѣломъ, и, нахмурясь, смотрѣлъ, какъ у его сестры, старой дѣвушки, цѣлый уголъ, точно дровъ, навалено было русскихъ и французскихъ романовъ.

А теперь вдругъ зовутъ его слушать романъ, — да еще требуютъ критики!

«Что я ему скажу?» раздумывалъ онъ про себя. «А онъ непремѣнно спроситъ — вонъ, то и дѣло поглядываетъ на меня! Сказать коротко, «никуда не годится», это было бы всего удобнѣе и искреннѣе съ моей стороны — да нельзя, если бъ и хватило духу; надо объяснить, почему не годится. Сказать «очень хорошо»,—я рискнулъ бы и на это,

а какъ спросятъ: что̀ именно и почему хорошо? И когда романъ бываетъ хорошъ, когда не хорошъ — чортъ знаетъ! Нѣтъ, не одинъ чортъ: вотъ этотъ журналистъ, сосѣдъ мой, знаетъ; вонъ и тотъ, лѣнтяемъ смотритъ — тоже знаетъ; и старикъ Чешневъ сидитъ, точно всенощную слушаетъ — и тотъ видно, что въ своей тарелкѣ!»

Онъ съ завистью поглядывалъ на того, на другого изъ слушателей, стараясь уловить, по выраженію ихъ лицъ, что̀ имъ нравится, что̀ нѣтъ, чтобы заготовить по этому себѣ какой-нибудь запасъ заемныхъ впечатлѣній, и продолжалъ тупо и напряженно вслушиваться.

Авторъ между тѣмъ выводилъ лицо за лицомъ, рисовалъ рядъ тонкихъ сценъ, пейзажей; чередою текли благородныя, возвышенныя мысли, блистали искры остроумія, слышались тоны нѣжныхъ чувствъ, или являлись штрихи наблюдательности. Все это свободно вязалось между собою, какъ будто разыгрывалось по нотамъ; и послушно выражало главныя задачи или тезисы автора.

Герои были представители принциповъ чести, человѣческаго достоинства и высокой степени умственнаго и моральнаго развитія — до внѣшней выработки включительно, до умѣнья выражать въ каждомъ шагѣ и словѣ уваженіе къ себѣ и къ другимъ, до изящныхъ, простыхъ и естественныхъ манеръ, до языка и всѣхъ формъ общежитія.

Это была чистая сфера джентльменовъ, салонъ жизни, гдѣ скорби и радости, заботы, труды и удовольствія, мысли, знаніе, искусства, даже самыя страсти, подчинялись строгому регулятору традиціонной школы вершинъ жизни, доступной въ европейскихъ обществахъ ограниченному меньшинству.

Ничего вульгарнаго, никакой черновой, будничной стороны людского быта не входило въ рамки этой жизни, гдѣ все было очищено, убрано, освѣщено и украшено, какъ въ свѣтлыхъ и изящныхъ залахъ богатаго дома. Прихожія,

кухни, дворъ, со всею внѣшнею естественностью, — ничего этого не проникало сюда; сіяли одни чистые верхи жизни, какъ снѣговыя вершины Альпъ.

Авторъ читалъ слѣдующія за первыми главы—одушевленнѣе, гости слушали напряженнѣе. Всѣхъ охватывалъ интересъ широко раздвинувшагося въ рамкахъ романа.

Только газетный критикъ Кряковъ становился все сердитѣе, по мѣрѣ того, какъ развивался ходъ романа, да еще толстый Суховъ вздыхалъ вслухъ отъ нетерпѣнія. Среди одной сцены, происходившей гдѣ-то въ Италіи, онъ даже сказалъ вполголоса своему сосѣду-генералу:

— Завтра дождь будетъ!

— А что?—спросилъ тотъ.

— Мозоли ноютъ. У тебя есть мозоли?

Тотъ отрицательно покачалъ головой.

— Мозоли бываютъ только у учителей да почтальоновъ,— прибавилъ онъ почти обидчиво.

На нихъ разомъ взглянули и авторъ, и хозяинъ; они смолкли, и Суховъ началъ громко дышать носомъ.

Княгиня Тецкая, когда читались сцены свиданія молодыхъ людей наединѣ — вздрагивала, а при описаніи одной дуэли нервно ахнула.

Княжна разъ шесть напускала на лицо непониманіе невинности.

— Mais elle est prude, ta cousine, не можетъ переносить такихъ цѣломудренныхъ сценъ! — тихо говорилъ офицеръ статскому, поймавъ раза два такое выраженіе на ея лицѣ.

— C'est vrai! c'est pour cela que je lui fournis les volumes de Zolà; il y en a un — dans ce moment qui l'attend dans l'antichambre: «La Curée». Elle le supporte parfaitement bien...

Оба старались подавить смѣхъ. Хозяинъ издали погрозилъ имъ.

Авторъ все чаще и чаще обращался взглядомъ къ графинѣ Синявской, стараясь уловить ея впечатлѣніе.

При слабыхъ мѣстахъ, длиннотахъ, глаза ея разсѣянно оглядывали стѣны, останавливались на дочери, или смотрѣли внизъ, на коверъ. Не то—такъ она машинально доставала конфету изъ вазы и подавала дочери.

Напротивъ, при живыхъ сценахъ она не сводила глазъ съ автора, а когда появлялись лучи поэзіи, тонкіе штрихи наблюдательности, и сверкала, неожиданностью или смѣлостью оборота, мысль—взглядъ ея дѣлался мягокъ, на губахъ бродила свойственная ей загадочная улыбка. И авторъ читалъ тогда увѣреннѣе и оживленнѣе. Когда зато брови ея немного сходились, глаза теряли загадочное выраженіе и улыбка исчезала—онъ бралъ со стола карандашъ и отмѣчалъ на поляхъ NB; это значило—худо. Чешневъ, при такихъ мѣстахъ, тоже—или глубже опускалъ голову, или перекладывалъ одну ногу на другую.

Авторъ мелькомъ замѣчалъ эти критическіе симптомы. Пожилой литераторъ гладилъ себя, при слабыхъ мѣстахъ, по лысой головѣ, какъ будто внутренно одобрялъ себя мыслью, что самъ онъ лучше написалъ бы эти мѣста.

Авторъ читалъ описаніе военныхъ маневровъ. Всѣ замерли въ безмолвіи. Въ стереотипное батальное изображеніе воинскихъ рядовъ — авторъ вдохнулъ огонь, далъ душу стройной живой массѣ и связалъ органически это цѣлое однимъ чувствомъ и одной мыслью. Кромѣ того, онъ нѣсколькими деталями смягчилъ суровость и однообразіе картины.

Графиня Синявская не сводила глазъ съ автора. Чешневъ тоже во всѣ глаза смотрѣлъ на него, очевидно съ одобрительнымъ чувствомъ.

— C'est bien écrit, n'est-ce pas?—сказалъ вдругъ, точно проснувшись и отнявъ руку отъ уха, графъ Пестовъ, ища глазами вокругъ, къ кому бы обратиться.

— Très bien écrit! oui, très bien, très bien!—энергически подхватили два-три голоса изъ тѣхъ, что̀ находятъ всякое чтеніе, на которое зовутъ, прекраснымъ.

— Pourquoi n'avez vous pas écrit cela en français?—спросилъ графъ, обращаясь къ автору и приставивъ руку къ уху, чтобъ выслушать отвѣтъ.

— И какъ вѣрно,—замѣтилъ офицеръ:—а вѣдь онъ не военный! Откуда онъ знаетъ?

— A! c'est une grande capacité! Une tête, ce qu'on appelle!—говорилъ вполголоса статскій.—Мы къ Борелю отсюда? какъ бы не заперли!—шопотомъ прибавилъ онъ.

— Bah! on nous ouvrira!—увѣренно замѣтилъ офицеръ.

— Comme c'est joli!—говорила Лилина княжнѣ Тецкой.

— Oui, ch-ar-ma-nt!—протяжно отвѣчала княжна, играя вѣеромъ.

— C'est divin! c'est Homère, doublé de Tasse!—прибавилъ подскочившій Фертовъ, наклоняясь къ княгинѣ Тецкой.—N'est-ce pas, princesse?

— Охъ!—сдѣлала она, вздрогнувъ.

Фертовъ отскочилъ.

— Чортъ знаетъ, что̀ это такое, эти маневры!.. Казарма!—довольно громко ворчалъ въ углу Кряковъ, такъ что нѣкоторые на него оглянулись.

Студентъ потихоньку смѣялся. Редакторъ журнала держалъ себя скромно и не выражалъ ни одобренія, ни порицанія. Профессоръ одобрительно покачивалъ головою. Пріятель Греча и Булгарина, старикъ Красноперовъ, сложилъ руки на брюшкѣ и, повидимому, скучалъ.

По мѣрѣ того, какъ чтеніе подвигалось къ концу, Иванъ Ивановичъ Кальяновъ становился покойнѣе; онъ даже повеселѣлъ и смѣлѣе поглядывалъ на автора и на присутствующихъ, почти не вслушиваясь въ послѣднія страницы романа, какъ будто онъ пришелъ къ какому-нибудь критическому заключенію.

Въ половинѣ двѣнадцатаго часа авторъ кончилъ, всталъ и наклонилъ слегка голову, благодаря за вниманіе.

Стулья шумно задвигались, всѣ встали, громко аплодируя, громче всѣхъ тѣ, которые меньше всѣхъ слушали, особенно толстый Суховъ—отъ удовольствія, что кончилось.

— У меня ноги затекли!—говорилъ онъ пріятелю Грека и Булгарина, потирая икры.

Хозяинъ обратился-было съ благодарственными объятіями къ автору, но тотъ съ улыбкою уклонился отъ нихъ.

— Mesdames и messieurs!—сказалъ онъ, укладывая тетради въ портфель и передавая его Фертову: — мнѣ поздно становиться въ положеніе начинающаго автора, и я не ищу авторскихъ лавровъ, а представляю этотъ опытъ пера пріятельскому кругу просто, какъ плодъ моего досуга. Мнѣ давно хотѣлось высказать нѣсколько идей, наблюденій, опытовъ и взглядовъ на нашу общественную жизнь, на наши дѣла, досуги, даже страсти (въ томъ кругу, какъ вы видѣли, къ которому я имѣю честь принадлежать), между прочимъ, взглядъ мой и на искусство, на литературу, и на романъ тоже, какъ именно я его понимаю. Кромѣ того, я еще избралъ романъ, какъ форму, въ которой мнѣ легче высказывать, а слушателямъ удобнѣе узнать мои тезисы и мои цѣли. Вотъ точка, съ которой я желалъ бы, чтобы слушатели взглянули на этотъ плодъ моихъ досуговъ! Благодарю еще разъ за вниманіе и терпѣніе!

Рукоплесканія усилились. Всѣ окружили автора: одни протягивали руки, прочіе кланялись. Только Кряковъ сердито смотрѣлъ изъ своего угла и на автора, и на гостей.

— Merci!—говорилъ графъ Пестовъ автору.—C'est bien écrit!

— Très bien écrit! tout-à-fait bien! — подхватили хвалители.

— Vous me donnerez un exemplaire; je le mettrai à côté de J. J. Rousseau.

— Oui, mon prince, je vous l'apporterai...

Авторъ старался пробраться къ графинѣ, которая стояла съ дочерью у своего мѣста и собиралась уѣхать. Молодая дѣвушка съ наивнымъ удивленіемъ смотрѣла на автора, какъ на героя. На щекахъ у нея рдѣли два розовыя пятнышка, она отъ волненія сильно сжимала обѣ руки у матери. Мать съ улыбкою смотрѣла на автора. Глаза у нея тоже смѣялись, должно быть благосклонно, потому что авторъ глядѣлъ на нее съ улыбкою скромнаго торжества. Она молча подала ему руку, и онъ молча пожалъ ее.

— Позвольте проводить васъ до кареты,—сказалъ онъ.

— Merci, сейчасъ; вотъ она остынетъ немного,—отвѣчала графиня, указывая на дочь. — Посмотрите, какъ она взволнована! Вотъ вамъ живое и непритворное впечатлѣніе! Довольны вы?

— А вы сами что̀ скажете?

Она улыбнулась по-своему.

— Впрочемъ, нѣтъ, не говорите, не надо: я уже знаю ваше мнѣніе,—прибавилъ онъ:—я его «видѣлъ».

— Запишите это выраженіе въ романъ, — замѣтила она: — «видѣлъ мнѣніе»! Оно характеристично, какъ весь романъ.

Гости стояли толпой. Хозяинъ куда-то исчезъ. Офицеры и статскій ускользнули къ Борелю; однако, послѣдній успѣлъ напомнить своей кузинѣ, чтобы она не забыла въ швейцарской «La Curée» Zolà, положенной ей въ пальто.

Иванъ Ивановичъ Кальяновъ осторожно пробирался къ выходу — еще шагъ и онъ на лѣстницѣ, какъ вдругъ его кто-то мягкою рукою взялъ за плечо. Онъ вздрогнулъ, какъ княгиня Тецкая, и оглянулся. Это былъ авторъ.

— Уходите, не сказавъ ни слова! Нѣтъ, вы не отдѣлаетесь, — говорилъ онъ: — подождите одну минуту: вотъ меня зоветъ княгиня, я сейчасъ ворочусь.

Онъ подошелъ къ княгинѣ.

— Charmant! Charmant! — говорила она, вздрагивая и мигая:—я очень довольна, и Катѣ понравилось... Catherine. n'est-ce pas?

Дочь отвѣчала условною улыбкою.

— Жаль только, что молодой человѣкъ,—продолжала княгиня съ разстановкой:—бросилъ службу; онъ испортилъ всю карьеру и огорчилъ мать!

— Вѣдь это бываетъ,—замѣтилъ небрежно авторъ.

— Да, какъ же: вотъ молодой Ступицынъ—то же самое! Зачѣмъ же описывать дурное! Это надо скрывать!

Она вздрогнула, а авторъ пожалъ плечами.

— Онъ бы лучше посватался къ другой... какъ ее зовутъ—Лидія?—говорила она.—Comme elle est gentille, cette petite Lydie; n'est ce pas, Catherine?

— Oui, maman, elle est très bien!..

— Онъ женится на ней потомъ?—спросила княгиня.

— Можетъ-быть... вѣроятно...

— А какъ же княгиня... что̀ же она? Одна, въ деревнѣ, съ графомъ... Это ужасно! Зачѣмъ вы вывели княгиню: лучше бы простую!

Она сильно вздрогнула. Авторъ сталъ раскланиваться.

— Attendez donc, еще я хотѣла спросить. Какъ же это Лидія ѣздитъ одна къ этой... потерянной Лизѣ...—шопотомъ прибавила она, чтобъ не слыхала дочь.—Supprimez cela!

Она охнула и вздрогнула. Авторъ подошелъ къ Кальянову.

— Что̀ же вы скажете: довольны или нѣтъ? — спросилъ онъ.

— Прекрасно, — отвѣчалъ тотъ.—какое перо!..—Онъ не зналъ какой эпитетъ прибавить.—Только...

— Только — что? пожалуйста не стѣсняйтесь, если не служба, такъ дружба обязываетъ васъ къ откровенности. Что̀ вы замѣтили?

— Вотъ у васъ,—смѣло заговорилъ Кальяновъ:—сказано,

что восточный вѣтеръ нагоняетъ тучи, дождь... а я живу на дачѣ, на Выборгской сторонѣ, такъ-сказать, подъ самымъ восточнымъ вѣтромъ, и всегда замѣчалъ, что онъ именно приноситъ ясную погоду. Бывало, въ ненастье ждешь его, какъ благодати...

Авторъ засмѣялся.

— А когда вы живете на дачѣ?—спросилъ онъ.

— Вотъ на-дняхъ переѣзжаю, на той недѣлѣ, лишь только подуетъ восточный вѣтеръ! — отвѣчалъ, смѣясь же, Кальяновъ.

— И останетесь тамъ...

— До половины сентября, если вы разрѣшите.

— Нѣтъ, я дамъ вамъ предписаніе остаться, по дѣламъ службы, до января,—сказалъ Бебиковъ:—и наблюдать, какую погоду приноситъ восточный вѣтеръ осенью!

Онъ съ улыбкой глядѣлъ на Кальянова, который въ раздумьи старался припомнить, какова бываетъ погода при этихъ условіяхъ.

— Но я вамъ благодаренъ,—прибавилъ авторъ:—что вы даже и на мелочи обратили вниманіе.

— Зато все остальное уже безупречно!—рискнулъ Кальяновъ кинуть вслѣдъ уходившему автору, но тотъ, улыбаясь, какъ бомбу, бросилъ ему въ отвѣтъ фразу:

— Мы еще объ этомъ поговоримъ!

«Вотъ тебѣ разъ!—размышлялъ онъ, спускаясь съ лѣстницы: — а я думалъ, что ужъ и отдѣлался! Постой, постой! — вспомнилъ онъ:—у меня еще мелькали какія-то два замѣчанія: одно — ошибка противъ гражданскаго права, а другое... другое... что, бишь, такое?»—И онъ, очень довольный, уѣхалъ домой.

Въ залѣ слушатели вполголоса разбирали романъ, стараясь выказать критическій тактъ другъ другу. Авторъ опять ходилъ съ графинею взадъ и впередъ, ожидая хозяина, чтобы проститься и уѣхать. Княгиня тоже собиралась

уѣхать и укладывала свою работу въ мѣшокъ. Дочь накидывала ей мантилью на плечи.

— Et où est Woldemar?—вдругъ спросила княгиня, оглядываясь.

— Il est parti, maman.

Княгиня вздрогнула.

— И не проводилъ насъ!—сказала она:—завтра ему надо голову вымыть; онъ такой же непослушный, какъ этотъ офицеръ, про котораго читали. N'est-ce pas?

— Oui, maman!

Старикъ Чешневъ подошелъ къ автору.

— Что̀ скажете, Дмитрій Ивановичъ?—спросилъ онъ.

— Скажу, что вы сдѣлали подвигъ. Говорить, какъ вы сдѣлали, надо бы долго говорить и, пожалуй, пришлось бы кое о чемъ спросить. Но что это подвигъ, сказать все это, стать смѣло противъ потока,—въ томъ спорить нельзя! Вы ополчились за добрыя общественныя начала, за религію, за нравы, за благовоспитанность, за чистоту вкуса въ искусствѣ; будьте же мужественны и доведите подвигъ до конца!

— Аминь!—сказала графиня!

— Подвигъ съ вашей стороны—выслушать!—прибавилъ, улыбаясь, всегда находчивый авторъ.—Если у васъ достанетъ терпѣнія — я почерпну въ немъ силу довершить свое дѣло.

Пока авторъ выслушивалъ эти привѣтствія, Кряковъ собирался уходить, но студентъ его не пускалъ. Лилина вертѣлась около автора, чтобы въ десятый разъ сказать ему свое «très-joli». Графа Пестова — Фертовъ и другой гость вели подъ руку къ выходу.

— Dites-lui, qu'il écrive cela en français! — говорилъ графъ спутникамъ.

— Oui, mon prince,—отвѣчали они.

Нѣкоторые гости подзывали въ руку и тоже готовились уѣзжать.

— Гдѣ же Григорій Петровичъ?—спросилъ кто-то громко:—бросилъ насъ и проститься не хочетъ!

Въ это время отворилась дверь изъ столовой и явился Григорій Петровичъ съ метръ-д'отелемъ, который на всю залу возгласилъ:

— Messieurs et mesdames sont servis!

Всѣ оцѣпенѣли на минуту. Въ столовой виденъ былъ длинный сервированный столъ, ярко освѣщенный канделябрами, и толпа офиціантовъ.

— Прошу! mesdames, messieurs!! Что это—вы собираетесь уѣхать! Какъ это можно, отъ ужина!

Онъ бросился къ гостямъ, къ дамамъ, упрашивалъ, у мужчинъ отнималъ шляпы. Но дамы, кромѣ Лилиной, отказались. Отказался и авторъ, извиняясь усталостью. Онъ подалъ руку графинѣ Синявской и повелъ ее съ дочерью до кареты.

Хозяинъ чуть не плакалъ; онъ убѣждалъ всѣхъ другихъ остаться, а упрямыхъ почти силою толкалъ въ столовую, въ томъ числѣ и Крякова.

— Не откажите мнѣ въ удовольствіи отужинать съ нами!—вѣжливо просилъ онъ его.

— Хорошо, хорошо,—сказалъ тотъ:—это кстати, я проголодался!

Онъ гостепріимнаго хозяина какъ рублемъ подарилъ.

— И прекрасно! — сказалъ онъ, пожимая ему руку: — я очень радъ. Митя! веди гостя и постарайся занять его, чтобы онъ не соскучился у насъ!

Митя засмѣялся и повелъ его въ столовую, куда, подъ руку съ Лилиной, вошелъ Чешневъ, потомъ журналистъ, профессоръ, Красноперовъ и всѣ прочіе. Толстый Суховъ и военный генералъ были уже тамъ и закусывали.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

УЖИНЪ.

— Господа! — сказалъ хозяинъ, когда всѣ усѣлись за столъ:—теперь моя очередь: я авторъ menu ужина. Поваръ только слѣпой исполнитель моей программы. Прошу подарить и мое произведеніе вниманіемъ, какимъ вы почтили нынѣшнее чтеніе. Прочти menu, — обратился онъ къ Сухову: — вотъ оно подлѣ тебя лежитъ, чтобы гости знали, какъ распорядиться аппетитомъ.

Суховъ хватился за карманъ достать очки, но тамъ ихъ не оказалось.

— Potage—nids d'hirondelles,—читалъ онъ наизусть:—filets d'éléphant и pattes de crocodile à la tortue; légumes—jonc d'Espagne au jus de scorpions...

Всѣ засмѣялись.

— Какая гадость!—сказалъ Урановъ:—вѣдь ты аппетитъ отобьешь.

И самъ прочиталъ menu.

Вмѣсто крокодила и слона оказались: дикая коза, стерлядь, перепелки, всѣ примѣры зелени и фруктовъ.

Послѣ первыхъ двухъ блюдъ, заговорили о читанномъ романѣ. Первая подала голосъ Лилина.

— Comme c'est joli, n'est-ce pas? Я все еще подъ вліяніемъ этого чтенія! Кажется, никогда не забуду! Charmant! Charmant!—твердила она съ своею дѣтскою улыбкою, какъ дѣвочка, которой подарили новую куклу.

— Вамъ нравится?—насмѣшливо спросилъ ее Кряковъ:—поздравляю васъ: у васъ хорошій вкусъ!

Она сконфузилась и посмотрѣла на другихъ.

— Вы не конфузьтесь!—продолжалъ Кряковъ, и самъ въ то же время ѣлъ съ большимъ аппетитомъ.

— Отъ чего мнѣ конфузиться? я думаю... и другіе того же мнѣнія!—сказала она.

— Это дамское кушанье, конфетка! — продолжалъ онъ, наливая себѣ краснаго вина.—«C'est joli, très-joli» хвалили вы: это достойная похвала автору изъ вашихъ устъ!

Всѣ улыбались, глядя на него, а онъ допилъ стаканъ съ виномъ и, кажется, не замѣчалъ улыбокъ!

— Славное у васъ вино! — обратился Кряковъ къ хозяину:—и стерлядь отличная, жирная!

— Очень радъ, что мое скромное угощеніе вамъ нравится!—сказалъ Урановъ:—не прикажете ли еще? Человѣкъ, подай блюдо!

— Что жъ, я возьму!

И онъ взялъ другую порцію. Всѣ стали смотрѣть на него съ любопытствомъ.

— А романъ все-таки очень хорошъ!—сказалъ хозяинъ.

— И какъ хорошо авторъ читаетъ, какой пріятный голосъ, и манера благородная. Языкъ тоже славный! — хвалилъ профессоръ.

— Да... это замѣчательное произведеніе въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ!..—сдержанно замѣтилъ редакторъ журнала.

— Хорошо, очень хорошо! я съ удовольствіемъ слушалъ! — похвалилъ генералъ. — Теперь что-то не пишутъ такъ!

— Какъ это «такъ»?—спросилъ Урановъ.

— Такъ пріятно, плавно, по-русски, чтобы всякій понималъ! Возьмешь книгу или газету — и не знаешь, русскую или иностранную грамоту читаешь! Объективный, субъективный, эксплоатація, инспирація, конкуренція, интеллигенція—такъ и погоняютъ одно другое! Вмѣсто швейцара пишутъ тебѣ портье, вмѣсто хозяйка или покровительница — патронесса! Еще выдумали слово «игнорировать»!

— Да и по-русски-то стали писать, Боже упаси, какъ!—

вздохнувъ, вмѣшался старикъ Красноперовъ, пріятель Греча и Булгарина:—напримѣръ, выдумали—«немыслимо», а чѣмъ было худо слово «невообразимо»? Нѣтъ, оно, видите, старое, такъ прочь его! Или, всѣ говорили и писали: «такой-то или такіе-то обращаются къ тому, другому, или другъ съ другомъ такъ-то»; не понравилось имъ, давай мѣнять: «такой-то относится-де такъ-то». Лучше ли это, я васъ спрашиваю?

Онъ обратился къ редактору журнала.

— Одно другому не мѣшаетъ,—отвѣчалъ тотъ небрежно:—«немыслимо» и «невообразимо» вовсе не одно и то же, такъ же, какъ и слова: «обращаться» и «относиться»!

— Совершенно справедливо,—подтвердилъ профессоръ:—это даже и не синонимы. Зачѣмъ стѣснять свободу языка? пусть онъ обогащается путемъ печатнаго слова! Неологизмы, чуждые духу языка, никогда не войдутъ въ плоть и кровь его. Чѣмъ больше словъ, тѣмъ лучше!

— Ты, Иванъ Петровичъ, не связывайся съ ними,—сказалъ Суховъ тихо Красноперову:—они загоняютъ тебя. Народъ ученый!

Иванъ Петровичъ обидѣлся.

— Пожалуйста! не загоняютъ!—вслухъ возразилъ онъ.—Николай Ивановичъ и Ѳаддей Венедиктовичъ не чета были нынѣшнимъ, а и тѣ уважали мое мнѣніе? Это правда, что языкъ обогащается постепенно, какъ вы изволите говорить,—обратился онъ къ профессору:—только позвольте доложить, что это обогащеніе производится писателями съ вѣсомъ. Напримѣръ, вотъ Николай Михайловичъ Карамзинъ ввелъ слово *промышленность*, его всѣ и приняли. Василій Андреевичъ Жуковскій тоже много обогатилъ россійскую словесность и облагородилъ простонародный языкъ; передъ нимъ еще Иванъ Ивановичъ Дмитріевъ. Такъ вѣдь какіе же это были и люди! Одинъ—исторіографъ, другой—министръ, третій — наставникъ царскихъ дѣтей! Александръ Сергѣевичъ

Пушкинъ уже шелъ по ихъ слѣдамъ. Вотъ они-то и поставили нашъ языкъ на твердое основаніе. А Николай Ивановичъ Гречъ и Ѳаддей Венедиктовичъ Булгаринъ были на стражѣ и бдительно охраняли правильность и неприкосновенность слога. Не стало ихъ—и ворвались нововводители! Кто ихъ послушаетъ? Откуда они явились?

— Оттуда же, я думаю, откуда и Карамзинъ съ Жуковскимъ и Дмитріевымъ, и мы съ вами тоже: все изъ одного мѣста!—сказалъ Кряковъ.

Всѣ улыбались. Лилина вспыхнула.

— Что правда, то правда! съ этимъ спорить нельзя! — подтвердилъ и Суховъ.

— При тѣхъ не смѣли бы такъ вольничать!—продолжалъ Красноперовъ, не слушая его: — бывало, сочинители по стрункѣ ходили, и тѣ изъ нихъ только и выходили въ люди, которые побывали въ ихъ школѣ. Сколько ихъ, бывало, являлось къ Николаю Ивановичу на поклонъ и выслушивало отъ него благіе совѣты, да слѣдовали имъ!

— Который вамъ годокъ? — вдругъ спросилъ Кряковъ Красноперова.

Общій смѣхъ покрылъ его вопросъ. Тотъ сердито молчалъ.

— А что?—спросилъ Суховъ, которому, очевидно, нравился задоръ въ противникахъ.

— Да ужъ очень отзывается добрымъ старымъ [illegible] немъ!—отвѣчалъ тотъ безцеремонно.—Вы, я [illegible] лись при «старомъ и новомъ слогѣ»?

— А что жъ, худо было, что ли, тогда, при [illegible] Семеновичѣ Шишковѣ?—сердито возразилъ [illegible] Тогда умѣли слушаться старшихъ — и [illegible] Греча и Булгарина доставалось не мало [illegible] гѣевичу, когда онъ былъ молодъ и [illegible] ходили тише воды, ниже травы.

— Какъ не ходить, когда ихъ бы[illegible]

ринъ и Гречъ приговаривали! — вдругъ провозгласилъ Кряковъ при общемъ смѣхѣ.

— Такъ и надо! не худо бы и теперь! — ворчалъ Красноперовъ ближайшимъ сосѣдямъ: Уранову, Сухову и генералу: — а то ужъ очень расходились! Я бы всѣмъ сочинителямъ при полиціи списки завелъ, да выдавалъ бы имъ желтые билеты на жительство.

Кругомъ его всѣ смѣялись.

— За что такъ немилостиво? — спросилъ съ добродушнымъ смѣхомъ профессоръ. — Вѣдь уже это почти все было прежде; если не желтые билеты, такъ была, кажется, какая-то особая книга, куда записывали литераторовъ... Но и это не помогло: сами же вы говорите, что сочинители ушли изъ-подъ ферулы...

— А зачѣмъ выпускали? Правительство ослабѣло, строгости нѣтъ! — горячился Красноперовъ: — вотъ и порядка нѣтъ! Страху бы намъ, страху! вотъ что нужно, а не свободу печати!.. Далъ бы я имъ свободу! Сколько зла отъ этого! Боже мой, сколько зла!

— Какое же зло? и будто все зло? — спросилъ, тоже смѣясь, журналистъ.

— Какое! Вы еще спрашиваете! Развѣ не видите! Все колеблется, разсыпается врознь, ни у кого нѣтъ ничего святого!

— Не печать же виновата, помилуйте! — сказалъ журналистъ.

— Вездѣ смуты, раздоры... — твердилъ Красноперовъ, не слушая.

— Потопы, трусы, братъ лѣзетъ на брата, — подсказывалъ Суховъ. — Такъ, такъ, Иванъ Петровичъ, молодецъ! Хорошенько ихъ! За твое здоровье! — У тебя нынче весело, Григорій Петровичъ! — прибавилъ онъ, обращаясь къ Уранову.

— Да, смѣйтесь, смѣйтесь! Вы сами потакаете этимъ

новымъ!—горячился еще больше Красноперовъ:—что мудренаго послѣ этого, что дѣти чуть не рѣжутъ родителей...

— А родители дѣтей! — подсказывалъ опять Суховъ. — Правильно!

— Да! и правильно! Перестанешь смѣяться, какъ вонъ этакіе новые умники (онъ кивнулъ на Крякова, а Кряковъ въ отвѣтъ кивнулъ ему) придутъ къ тебѣ, да объявятъ, что домъ твой въ Большой Конюшенной не твой, а ихъ; что все общее... А тебя вытолкаютъ вонъ! Будетъ тогда «весело!»

— Господи помилуй! Что ты это на ночь пугаешь!— говорилъ Суховъ. — Слышите, что̀ онъ говоритъ! — обратился онъ къ Уранову и генералу.—Не бойся, мой другъ,— прибавилъ онъ успокоительно:—всѣ эти отрицатели и разрушители, если не обо что-либо другое, такъ о собственность лобъ себѣ разобьютъ!

— Я старѣе васъ всѣхъ тутъ—и могу говорить... — настаивалъ на своемъ Красноперовъ.

— И говоришь по опыту, что ли?

— Богъ миловалъ пока, а коли вы такъ равнодушн[illegible] глядите на всѣ затѣи, да идеи этихъ мальчишекъ. что [illegible] личаютъ себя новымъ поколѣніемъ, и мѣръ не принимаю[illegible] ... такъ дождетесь, что и у насъ заведутъ коммуну! Смотр[illegible] что̀ теперь дѣлается! Старшихъ нѣтъ, перемерли. [illegible] разуму некому! Что если бы они возстали изъ гр[illegible]

— Ихъ теперь посадили бы въ кунсткамеру. [illegible] и васъ!—сказалъ Кряковъ.

Красноперовъ разсердился, особенно когда [illegible] встрѣтило смѣхъ даже около него.

— А васъ, милостивый государь, и в[illegible] вамъ сочинителей, которые такъ разсуж[illegible] ните, я бы не туда посадилъ! — горяч[illegible] тельскимъ тономъ.

— Сажаютъ, успокойтесь, госп[illegible] не всѣ перевелись на Руси!

Всѣ смѣялись, глядя на задоръ противниковъ.

— Что это, какъ здѣсь весело сегодня! — повторилъ Суховъ.

— Ты не обижайся, Иванъ Петровичъ! — шепнулъ хозяинъ старику: — лучше послушаемъ! Любопытно, до чего онъ договорится.

Но Красноперовъ не слушалъ.

— Что смѣетесь!—говорилъ онъ раздражительно гостямъ постарше:—вы ему въ руку смѣетесь и угождаете новому поколѣнію; да, вы унижаетесь передъ нимъ, стыдно показаться отсталыми! Что? неправда?

— Что ты! — внушительно сказалъ хозяинъ: — что намъ за надобность угождать, вѣдь мы не ребята; чего намъ заискивать у новаго поколѣнія? Мы его не боимся и ничего не ждемъ отъ него дурного. Вонъ онъ (онъ указалъ на племянника) тоже новое поколѣніе: что жъ, дуренъ, что ли? Въ большинствѣ и всѣ они такіе, и дай Богъ, чтобъ были такіе.

— Кланяйся и благодари!—сказалъ Кряковъ, погладивъ студента по головѣ.

— Какая же намъ причина потакать такимъ ужасамъ, какіе ты разсказываешь?—продолжалъ Урановъ.

— Какая причина... изволь, я скажу.

— Говори.

— Вы всѣ сами нигилисты, вотъ что!—брякнулъ онъ.

Всѣ весело, со смѣхомъ, глядѣли на него.

— C'est trop fort!—замѣтили на другомъ концѣ стола.

— Какъ такъ! Богъ съ тобою! — говорилъ Урановъ.— Объяснись, пожалуйста!

— Да такъ! вы сами заодно съ этими новыми. Кто больше, кто меньше... но всѣ, всѣ! Напримѣръ, иные изъ васъ — и я знаю кто — вѣруютъ въ Бога по-своему, а не такъ, какъ указываетъ православная церковь; ходятъ разъ въ годъ на исповѣдь, «для примѣра»—говорятъ; другіе испо-

Всѣ старались сдержать смѣхъ.

Гость въ синихъ очкахъ, должно-быть, не слыхалъ

Урановъ тихонько объяснилъ, что фамилія его Трухинъ.

— Онъ служитъ у Алексѣя Петровича,—прибавилъ онъ:—тотъ прислалъ его на чтеніе вмѣсто себя; онъ говорилъ, что этотъ господинъ все печатное читаетъ; ни слова не пропускаетъ, все знаетъ и ему обстоятельно докладываетъ, такъ что тому ни газетъ, ни журналовъ читать самому не нужно.

— Что же это, по вашему мнѣнію, значитъ, что имя Божіе не призывается въ журналахъ всуе?—спросилъ журналистъ у Трухина:—это скорѣе показываетъ уваженіе къ религіи...

— Та-та-та, не лукавьте, милостивый государь!—остановилъ его Красноперовъ:—вовсе не отъ избытка благоговѣнія не упоминаете вы о Богѣ, а потому, что не вѣруете! Или вѣруете по Ренану: Спаситель-де принесъ въ міръ прекрасное ученіе, а самъ былъ хорошій человѣкъ, а не Богъ! Вотъ вѣдь что у васъ на умѣ?

Всѣ улыбались.

— Почему же вы это знаете? — спросилъ журналистъ, тоже улыбаясь.

— Какъ не знать! Всѣ знаютъ! теперь этого и не скрываетъ никто, до того дошло! Даже щеголяютъ этимъ: вотъ-молъ, какіе мы умные! Иначе какъ бы не напечатать объ упадкѣ религіи и не поддержать ее? А вы только объ упадкѣ курса пишете, да перечите правительству!

— На то спеціальные духовные журналы есть, — замѣтилъ журналистъ: — тамъ и пишутъ о подобныхъ предметахъ...

— Да вѣдь вы сами говорили, что поповъ трогать нельзя; тронь, такъ вы грозите посадить куда-то автора!—замѣтилъ Кряковъ Красноперову.

— Вы хитры!—возразилъ тотъ:—изъ воды сухи выйдете!

Трогать духовныхъ особъ не велятъ, такъ какъ вы обзовете ихъ клерикалами, да и давай глумиться надъ ними!

— Это точно, бываетъ...—подтвердилъ Трухинъ.

— Зато, кажется, печать оказываетъ и не малую пользу—и правительству, и обществу. Согласитесь съ этимъ! — возразилъ ему журналистъ.

— О, конечно-съ, конечно-съ... большую, большую пользу! — согласился Трухинъ. — Печать горячо преслѣдуетъ кражи, убійства, всякіе скандалы! Сломаютъ ли кружку у церкви, или расхитятъ кассу въ банкѣ—вся пресса дружно и громко предаетъ гласности и кражу, и вора; всякія публичныя безобразія, также неисправности администраторовъ, особенно повыше, тоже непремѣнно обличитъ, по косточкамъ разберетъ.

— Даже если пьяный съ барки упадетъ въ воду и вылѣзетъ—и то не пропуститъ!—прибавилъ Суховъ.

— Чего же вы еще хотите?

— Но она нерѣдко пропускаетъ безъ вниманія очень серьезныя вещи, и это меня иногда удивляло, признаюсь! отъ безпечности ли, или отъ чего другого? Вотъ въ чемъ мнѣ любопытно бы попросить разъясненія... — продолжали синія очки.

— Напримѣръ, какія вещи?—спросилъ журналистъ.

— Напримѣръ, вотъ хотя бы въ прошломъ году произошла смута между молодежью: разнесли столы, стулья, выгнали профессора...

— Что же, пресса не умолчала; объ этомъ всѣ журналы прокричали.

— Заявила, единогласно заявила, — это правда, правда! И какъ вѣрно, точно, отчетливо...

— Такъ что же?

— Мнѣ только любопытно бы знать,—смиренно продолжали синія очки: — отчего пресса поскупилась на осужденіе этого поступка по достоинству... не прибавила ни сло-

ва отъ себя? Не пожурила, не разъяснила неприличія. Это бы не могло не подѣйствовать на молодые умы благотворно, я полагаю...

— А случись противное, печать бы не молчала!—замѣтилъ Красноперовъ.

— То есть, взбунтуйся профессоръ противъ учениковъ, тогда бы печать напала на него! Такъ ли, по-вашему?—спросилъ Кряковъ при общемъ смѣхѣ.

— Да! такъ, такъ! не смѣйтесь! ораторствовалъ Красноперовъ:—чуть гдѣ-нибудь учитель выдеретъ ученика за вихоръ, по-нашему, по-старому, или вытуритъ директоръ изъ училища лѣнтяя, а тотъ сдуру топиться пойдетъ — сейчасъ газеты такъ и завопятъ: «ахти, какой директоръ злодѣй!»

— Если одни журналы умалчиваютъ, по вашему мнѣнію, о чемъ вы говорите, и преслѣдуютъ какія-нибудь свои задачи,—замѣтилъ журналистъ гостю въ синихъ очкахъ:—зато другіе становятся на защиту тѣхъ вопросовъ, о которыхъ упомянули сейчасъ.

— Что̀ нынѣшніе журналы! Вотъ Николай Ивановичъ и Ѳаддей Венедиктовичъ — тѣ сумѣли бы постоять за порядокъ!—сказалъ Красноперовъ.—То былъ вѣкъ, когда...

— Когда водились еще гориллы, отъ которыхъ и произошли нынѣшніе сикофанты!—досказалъ Кряковъ, поглядывая на синія очки.

Кругомъ его засмѣялись, больше всѣхъ студентъ.

— Что это за неурядица такая, право! ну что бы всѣмъ дружно, да мирно идти однимъ путемъ, рука въ руку!—мечталъ генералъ, обращаясь къ Сухову.

— И нога въ ногу, по-военному!—договорилъ Суховъ.—А ты что не идешь въ своемъ комитетѣ рука въ руку и не ходишь нога въ ногу съ Кураковымъ и Петрищевымъ, а все вздоришь?

Генералъ такъ и затрясся весь.

— Съ этими...—началъ онъ.

— Сикофантами, что ли? — подсказалъ Суховъ, и оба захохотали.

— Ну, и у сочинителей то же самое! — прибавилъ Суховъ.

— Духъ вѣка пробивается, генералъ! — сказалъ профессоръ:—кипитъ работа, совершается великая борьба идей, понятій, интересовъ... исхода которой мы, конечно, не увидимъ. Сила вещей приведетъ все къ должному концу. Нужно терпѣніе... не мы, такъ дѣти увидятъ тотъ порядокъ, который долженъ выработаться изъ этого хаоса.

— Вотъ что значитъ профессоръ, сейчасъ нашелъ ключъ къ ларчику и рѣшилъ—какъ быть и что дѣлать, и средство такое простое предписалъ: терпѣніе! Всѣхъ и успокоилъ! Покорнѣйше благодаримъ!—сказалъ Кряковъ, кланяясь профессору.

— Страху бы намъ, страху! вотъ чего недостаетъ! — твердилъ свое Красноперовъ.

— Позвольте обратиться къ нынѣшнему чтенію,—сказалъ хозяинъ: — я имѣю сдѣлать предложеніе. Достоинство новаго произведенія признано, сколько я замѣтилъ, всѣми слушателями...

Кряковъ задвигался на стулѣ и хотѣлъ что-то сказать. но былъ удержанъ студентомъ.

— Мнѣ хотѣлось бы выразить благодарность автору за доставленное всѣмъ намъ удовольствіе, — продолжалъ хозяинъ.—У меня есть старинный кубокъ, работы Бенвенуто-Челлини—дѣдъ мой изъ Венеціи привезъ — вонъ онъ, въ шкапѣ! —Достаньте!—обратился онъ къ дворецкому.

Тотъ ушелъ за ключомъ.

— Что если мы велимъ вырѣзать на немъ всѣ наши имена и поднесемъ автору на память нынѣшняго чтенія! Какъ вы думаете?

— Кромѣ моего имени: я не желаю,—отрѣзалъ Кряковъ.

Всѣ взглянули на него съ удивленіемъ.

— Очень хорошо,—вѣжливо, но сдержанно замѣтилъ хозяинъ, послѣ минуты молчанія:—мы васъ обойдемъ. А вы согласны?—спросилъ онъ, обводя глазами собраніе.

— Конечно! конечно! Какая славная мысль! Покорнѣйше просимъ!—раздалось со всѣхъ сторонъ.

— Меня, меня не забудьте!—нѣжнымъ голосомъ просила Лилина.

Дворецкій подалъ кубокъ, и всѣ передавали его изъ рукъ въ руки.

— Отчего вы не желаете присоединиться къ намъ?—спросилъ кротко Крякова старикъ Чешневъ. — Вы имѣете какія-нибудь свои особенныя причины?

— Да, имѣю.

— Или не находите романъ заслуживающимъ этого вниманія?

— Да, и романъ не нахожу заслуживающимъ! — такъ и рубилъ Кряковъ.

— Если бъ это было и такъ, то, независимо отъ критики, нашъ кружокъ хочетъ благодарить автора за его намѣреніе сдѣлать удовольствіе...

— Пусть благодаритъ, а я не стану!

Чешневъ вздохнулъ съ прискорбіемъ.

— Отчего же?—спросилъ онъ.

— Зачѣмъ онъ написалъ этотъ романъ?—задорно упрекнулъ Кряковъ.

— Какъ зачѣмъ? Вы слышали, какъ онъ объяснялъ свои мотивы: желаніе, въ формѣ романа, высказать нѣсколько идей, наблюденій, опытовъ... И онъ успѣлъ, не только со стороны содержанія, но и формы, и далъ тонкое, изящное произведеніе...

— Не зачѣмъ распространять свои допотопныя идеи и возвращать насъ за сто лѣтъ назадъ! Это все отжило! А если написалъ для забавы, такъ читай на ухо тому глу-

хому графу, что подлѣ него сидѣлъ, да вонъ господину Красноперову; тѣ и удовлетворятся! А онъ собралъ вонъ сколько народу, — это ужъ публика; значитъ, у него не просто забава была на умѣ, а поученіе, претензія! Пожалуй и въ печать сунется! Покажись только—я бы ему далъ знать!

Студентъ засмѣялся.

— Этотъ критикъ, въ самомъ дѣлѣ, должно-быть, крокодила объѣлся!—шепнулъ одинъ гость другому—изъ тѣхъ, что находятъ всякое чтеніе, на которое зовутъ, прекраснымъ.

Всѣ молчали. Кряковъ тоже замолчалъ и сердито жевалъ, обводя гостей глазами и ожидая возраженія.

Старикъ Чешневъ былъ какъ будто лично оскорбленъ. По своей впечатлительности онъ былъ до крайности чутокъ и, ощущая пріятное и непріятное, какъ тепло и холодъ, не могъ воздержаться и не выразить своего ощущенія словомъ или жестомъ, иногда рѣчью.

— Если бъ это было и такъ, если бъ этотъ романъ не имѣлъ достоинствъ и его не слѣдовало писать и даже читать, — говорилъ онъ сосѣду своему вполголоса, медленно, точно пѣлъ: — то неужели этотъ гость, приглашенный въ интимный кружокъ друзей автора, не понимаетъ неумѣстности своего протеста!

Онъ вздохнулъ и опустилъ голову.

— Вы обо мнѣ говорите?—рѣзко обратился къ нему Кряковъ, до котораго долетѣло нѣсколько словъ.

Чешневъ взглянулъ на него какъ будто съ состраданіемъ и не сказалъ ничего.

Урановъ началъ немного безпокоиться и поглядывалъ съ недоумѣніемъ то на Крякова, то на своего племянника, какъ бы спрашивая послѣдняго глазами:—«какого это гостя привелъ ты ко мнѣ?» Но студентъ старался не смотрѣть на дядю.

— Вы требуете, чтобы я хвалилъ то, что нахожу дурнымъ; это противно моимъ принципамъ! — заключилъ Кряковъ.

— Слышишь—«принципы», это стòитъ «игнорированья»,— тихо замѣтилъ генералъ Сухову.

— Вы дали преимущество одному принципу и забыли о другихъ, которые нужно было тоже соблюсти въ эту минуту здѣсь...—сказалъ небрежно Чешневъ, глядя въ сторону.

— Вы хотите дать мнѣ урокъ приличія? Благодарю! Но я ему не послѣдую—и въ угоду вамъ, или хозяину, за его ужинъ, не стану восхищаться тѣмъ, чтò никуда не годится. Это заячьи души способны такъ поступать!

— Ого!—замѣтилъ кто-то въ концѣ стола.

— Этого и не нужно, никто и не проситъ!—учтиво замѣтилъ Урановъ: — тѣмъ болѣе, что романъ и не напечатанъ, а прочтенъ намъ по довѣрію, въ надеждѣ на снисхожденіе.

— Ахъ, какая институтка вашъ авторъ—въ снисхожденіи нуждается! Зачѣмъ и писать въ такомъ случаѣ?

— Позвольте, однако; нельзя же все порицать въ романѣ, въ немъ есть, конечно, недостатки, но есть и большія достоинства...—заступился профессоръ.

— Одни только недостатки! Я ничего больше не вижу!— рѣшилъ Кряковъ.

— Помилуйте, когда все общество... — заговорили нѣкоторые.

— И какой это романъ? Развѣ это романъ? — вызывающимъ голосомъ возражалъ Кряковъ.

— Что же вы называете романомъ?—спросилъ Чешневъ.

— Я не даю уроковъ эстетики, вонъ спросите профессора!—отвѣтилъ, точно брыкнулъ, Кряковъ, однако прибавилъ: — Вѣдь романъ есть, или долженъ быть, художественнымъ произведеніемъ... такъ, что-ли, господинъ профессоръ?

— Такъ что же-съ?

— Развѣ здѣсь есть художественность... въ томъ, что намъ читали сегодня?

— А позвольте васъ спросить,—смиренно заговорили синія очки:—изволили вы читать и къ какому роду произведеній, художественныхъ или нехудожественныхъ, вы относите, напримѣръ, романъ французскихъ писателей Эркмана-Шатріана «Исторія одного крестьянина»?

— Высокаго художественнаго достоинства! — отрѣзалъ Кряковъ, мутно поглядѣвъ на него.

— Такъ-съ!—сказалъ тотъ, потупившись.

— А позвольте мнѣ,—также смиреннымъ голосомъ, передразнивая синія очки, заговорилъ Кряковъ:—въ свою очередь, спросить васъ, отчего именно объ этомъ романѣ спрашиваете вы меня?

— Относительно художественности... за нимъ, кажется, французы не признаютъ этого качества,—замѣтилъ гость, потупляясь къ тарелкѣ.

— Ты читалъ этотъ романъ? — спросилъ Урановъ у Сухова.

— Нѣтъ! Я не читаю и русскихъ новыхъ авторовъ,—отмахивался Суховъ:—пробовалъ, да бросилъ.

— Что̀ такъ?

— По ночамъ сталъ кричать!

— Да что тамъ такое описывается?—добивался Урановъ.

— Революція!—вызвался объяснить Кряковъ, но прежде шопотомъ спросилъ студента: «Не вру ли я? я забылъ! кажется, тамъ революцію превозносятъ?»—«И я забылъ; да ничего, сойдетъ!»—отвѣчалъ тотъ и засмѣялся.

— Тамъ герои первой французской революціи уподобляются древнимъ римлянамъ!—смѣло провозгласилъ Кряковъ громко Уранову.—Такъ вотъ ваши гости, господинъ Краснoперовъ, да господинъ... (онъ поглядѣлъ на синія очки) Синеоковъ, кажется, и собираются высѣчь меня за то, что я

хвалю этотъ романъ. Такъ ли? — прибавилъ онъ, глядя на нихъ обоихъ.

— Да, теперь Марата, Робеспьера и Дантона чуть не въ святые возводятъ; это все новые... со своимъ прогрессомъ!— добавилъ Красноперовъ.

— Ну, а что̀ ты скажешь, Иванъ Петровичъ, — обратился Урановъ къ Красноперову:—о романѣ нашего автора? Ты все воевалъ противъ молодыхъ литераторовъ, а ничего объ этомъ не сказалъ!

— Не одобряю!—рѣшилъ Иванъ Петровичъ.

— Что такъ? вѣдь въ немъ религія поставлена выше всего; и долгъ, и военная честь, и патріотизмъ, все есть!

— Такъ-то такъ... Но объ этомъ надо бы не въ романѣ писать:—не мѣсто тамъ!—а въ серьезномъ сочиненіи изложить! А то въ романѣ — нашелъ гдѣ! Да и какой это романъ—они правду сказали...—Онъ указалъ на Крякова.

— Слышишь, Митя? я пай-мальчикъ сталъ, папа-Фамусовъ похвалилъ!—прибавилъ, осклабясь, Кряковъ.

— Въ романѣ нѣтъ ничего особеннаго, необыкновеннаго...—прибавилъ Красноперовъ.

— Какъ особеннаго?

— Такъ! описывается все, что̀ каждый день вездѣ случается: что жъ это за романъ?

— Значитъ, изображается жизнь, какъ есть, что̀ и слѣдуетъ изображать въ картинѣ, — снисходительно замѣтилъ профессоръ.

— Зачѣмъ же изображать, если я это каждый день и такъ вижу!

Всѣ засмѣялись.

— А тебѣ чего же надо?—спросилъ Суховъ:—чтобы люди на головахъ ходили, или ѣли другъ друга, что ли?

— Да, пожалуй; если это случится—и опиши!

— Гдѣ вы учились?—вдругъ спросилъ его Кряковъ.

— А вамъ на что?—сердито возразилъ старикъ.

— Любопытно бы знать!—сказалъ тотъ.—Я отдамъ туда своихъ дѣтей.

Смѣхъ былъ общій.

— Да вѣдь Гоголь писалъ тоже все, что̀ каждый день происходитъ...—замѣтилъ студентъ.

— Ну, и скверно! — хладнокровно рѣшилъ Красноперовъ.—Не даромъ Ѳаддей Венедиктовичъ не могъ его терпѣть! и Николай Ивановичъ тоже! Вонъ давали мнѣ «Мертвыя души»: я думалъ, судя по заглавію, въ самомъ дѣлѣ, что-нибудь особенное, романическое; а тамъ плутъ какой-то собиралъ имена умершихъ послѣ ревизіи крестьянъ, чтобъ заложить ихъ! Что̀ жъ тутъ интереснаго? И нынѣшній вашъ авторъ описываетъ, какъ молодой человѣкъ влюбился въ женщину и оба тайкомъ уѣхали въ деревню, да тамъ и нѣжничаютъ! Какая рѣдкость! Я думаю, съ каждымъ поѣздомъ десятки такихъ влюбленныхъ паръ уѣзжаютъ — такъ обо всѣхъ и писать!

Всѣ съ веселой улыбкой слушали эту критику.

— Какіе же романы вы признаете занимательными?— спросилъ Чешневъ.

— Теперь я не знаю, а прежде бывали хорошіе романы!—сказалъ онъ.

— Напримѣръ?

— Напримѣръ... хоть бы: «Черная женщина»—Николая Ивановича, «Кощей безсмертный», «Выжигинъ» тоже, «Эвелина де-Вальероль» — Нестора Васильевича Кукольника, «Постоялый дворъ»—Степанова. Былъ еще, помню, англійскій романъ «Мельмотъ Скиталецъ». Вотъ «Ледяной домъ» Ивана Ивановича Лажечникова... Это романъ! какъ изо льда домикъ сдѣлали, свадьбу тамъ играли, человѣка заморозили...

— Вотъ это критикъ, такъ критикъ! Молодецъ, Иванъ Петровичъ! за свое постоитъ! — говорилъ Суховъ.—Превесело у тебя сегодня, Григорій Петровичъ!—прибавилъ онъ,

обращаясь къ Уранову и поглядывая на Крякова и на Красноперова.

— Вотъ видите, какая разница во взглядахъ на романъ!—смѣясь, замѣтилъ Чешневъ. — Сказать — «романъ», значитъ, сказать: пиши, что̀ хочешь! Вотъ тутъ (онъ указалъ на Ивана Петровича) требуютъ чудесъ, небывалаго; а здѣсь назвали «Histoire d'un paysan», книгу, которая мало подходитъ подъ ваше опредѣленіе романа...—Онъ обратился къ Крякову.

— Пожалуй, это не романъ въ шаблонномъ смыслѣ,— сказалъ тотъ:—но это великое произведеніе ума!

— Пусть произведеніе ума, по вашему мнѣнію, но не искусства же!—замѣтилъ профессоръ.

— Пора бы бросить эти школьныя перегородки! — ворчалъ Кряковъ, глядя исподлобья.

— Да не вы ли сами сейчасъ, на вопросъ Дмитрія Ивановича, сказали, что романъ долженъ быть художественнымъ произведеніемъ...

— Знаю, знаю! что̀ вы мнѣ тычете въ глаза моими словами!—перебилъ Кряковъ.

Всѣ засмѣялись.

— Ah, sapristi, quel langage! — замѣтилъ кто-то вполголоса въ концѣ стола.

— А это ваше sapristi — какой «ланганъ», элегантный, что ли?—вдругъ обратился Кряковъ къ говорившему.

Опять всѣ засмѣялись.

— Превесело!—говорилъ Суховъ.

— Я изъ вашихъ же лекцій добылъ это опредѣленіе романа!—сказалъ Кряковъ профессору.

— И примѣнили его къ одному сочиненію; отчего же не примѣнить и къ другому? Позвольте, однако, возвратиться къ прочитанному сегодня произведенію и объяснить, къ какой категоріи романовъ принадлежитъ оно; тогда уже можно опредѣлить и его достоинство,—сказалъ профессоръ.

— Ну, лекція начинается, слушайте!—ворчалъ Кряковъ.

Профессоръ услыхалъ.

— Я не имѣю претензіи читать лекцію, — сказалъ онъ скромно:—я только хотѣлъ выразить и свое мнѣніе... наравнѣ съ другими, ни болѣе, ни менѣе... если хозяинъ позволитъ...

-- Сдѣлайте одолженіе! помилуйте! продолжайте! мы просимъ!—раздалось со всѣхъ сторонъ.

Хозяинъ бросилъ недовольный взглядъ на Крякова, и на племянника тоже.

— Опредѣленіе, что романъ долженъ быть художественнымъ произведеніемъ — вѣрно, — началъ профессоръ:—такъ и въ учебникахъ написано, вы правду говорите (онъ обратился къ Крякову). Все дѣло въ степени художественности, т.-е. въ степени таланта. Одни писатели дорожатъ болѣе всего своею идеею, такъ сказать, внутреннею задачею, заботясь о томъ, что̀ выразить; для нихъ искусство—средство, а не цѣль; другіе, напротивъ, увлекаются формою, дорожа тѣмъ, ка̀къ выражать; наконецъ, третьи, первоклассные таланты, счастливо соединяютъ въ себѣ и содержаніе, и форму. Много ли такихъ! Диккенсъ, Теккерей, Бальзакъ, Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь не родятся на каждомъ шагу...

— Какія новости разсказываете!—перебилъ Кряковъ:—что̀ мы, пансіонерки, что ли!

Всѣ улыбнулись.

— Позвольте, позвольте, слово за профессоромъ!—учтиво замѣтилъ Урановъ.

— Нашъ авторъ, безъ сомнѣнія, принадлежитъ къ первой категоріи,—продолжалъ профессоръ.—Онъ выбралъ себѣ задачею, какъ онъ намъ самъ пояснилъ, заключить въ формѣ романа свои идеи, наблюденія, можетъ-быть, личные опыты, и вообще ходъ жизни, со всею ея игрою и видоизмѣненіями, въ томъ кругу общества, въ которомъ онъ

родился, воспитался и выросъ. Онъ освѣтилъ его свѣтомъ своего ума, воображенія и наблюдательности, но преимущественно ума.

— Très-bien!—громко произнесъ одинъ гость.

— Написать такой романъ уже само по себѣ не умно, а вы еще воображеніе у него нашли!—замѣтилъ Кряковъ.

— Авторъ,—продолжалъ профессоръ, не останавливаясь:—старается, въ своемъ взглядѣ на воспитаніе, на нравственность, на дѣятельность и страсти своихъ героевъ, подойти къ общему идеалу, къ нормѣ...

— Слышишь, — сказалъ генералъ, тихо толкая Сухова локтемъ:—профессоръ-то: «норма»...

— Или къ идеаламъ о долгѣ, чести, вообще достоинства человѣка, преимущественно воина. Этому званію — сколько до сихъ поръ можно видѣть—авторъ посвящаетъ свой трудъ. И книга его, безъ сомнѣнія, будетъ имѣть воспитательное значеніе...

— Да, Телемака написалъ, этотъ новый Фенелонъ!—перебилъ Кряковъ.

— Позвольте, не перебивайте профессора! — опять замѣтили ему.

— Но, стремясь къ своей особенной, спеціальной цѣли,—говорилъ далѣе профессоръ: — авторъ не забылъ и условій искусства. Онъ въ значительной степени удовлетворилъ требованіямъ романа; тамъ много, какъ всѣ, конечно, помнятъ, пейзажей, которые, очевидно, писаны съ любовью съ самой натуры; много есть изображеній нравовъ... нѣжныхъ, граціозныхъ сценъ любви, много мѣткихъ наблюденій, искръ мысли... Чего же вы еще хотите?

— Вѣдь мы слушали сами и знаемъ, что̀ тамъ написано! Ну-съ! дальше проповѣдуйте! — не утерпѣлъ сказать Кряковъ.

— Il parle très-bien!—повторили одобрительно въ концѣ стола.

— Дѣло! дѣло! именно такъ! вы высказываете общее всѣмъ намъ впечатлѣніе?—говорилъ Урановъ.

— C'est très beau ce qu'il dit! Какъ вѣрно!—подсказала и Лилина.

— Если хотите, — продолжалъ профессоръ: — строго говоря, романъ относится къ той категоріи произведеній, которыя называются тенденціозными, и изъ которыхъ создалась въ новое время цѣлая литература. Я не поклонникъ утилитаризма въ искусствѣ...

— «Тенденціозный», «утилитаризмъ»! — шепталъ генералъ, пожимая плечами.

— Чего же вы поклонникъ? *«поэзіи живой и ясной»* или *«сладкихъ звуковъ и молитвъ»*, что ли? — перервалъ Кряковъ.

— Да позвольте говорить профессору! — останавливалъ хозяинъ Крякова.

— Да, между прочимъ, я поклоняюсь и этому,—подтвердилъ профессоръ.—Но прежде всего я требую свободы для искусства, а на него въ новое время хотятъ наложить оковы; оно не потерпитъ этого! Высокій талантъ не выкинетъ, конечно, изъ своей картины страданій, бѣдъ, золъ, тягостей и нуждъ человѣческихъ,—но кисть его при этомъ не обойдетъ и свѣтлыхъ сторонъ жизни; тогда только и возможна художественная правда, когда и то, и другое будетъ уравновѣшено, какъ оно есть и въ самой жизни. А новая школа уже сдѣлала себѣ спеціальность, можно сказать, ремесло, служить только утилитарнымъ цѣлямъ, заставить искусство искать только всякихъ золъ, подъ святымъ предлогомъ любви и состраданія къ ближнему...

— А вы себѣ взяли привилегію, что ли, на любовь къ ближнему? И чѣмъ вы ее выразили, вы, наши «строгіе цѣнители и судьи»? — рѣзко спросилъ Кряковъ. — Мы хоть путемъ отрицанія и обличенія наводимъ на эту любовь, а вы чѣмъ?

— Запретить бы эти обличенія!—сказалъ Краснопеpовъ.— Это они пишутъ въ пику правительству: «вотъ-де—не смотритъ, не печется!» Не ихъ дѣло совать носъ въ больницы, да въ тюрьмы; на то установлены комитеты!

— Открывать глаза обществу на наши общественныя нужды и недуги — цѣль, конечно, почтенная, — продолжалъ профессоръ, помолчавъ:—и искусство повинно принести свою лепту, и давно уже принесло ее. А наши ревнители добра наладили на эту тему и умышленно обходятъ свѣтлыя стороны жизни, впадаютъ въ преувеличенія, въ односторонность и, стало-быть, перестали быть правдивы!

— Какую вы дичь порете! зачѣмъ? — вдругъ произнесъ Кряковъ.

На это, послѣ минутнаго оцѣпенѣнія, послѣдовалъ взрывъ смѣха. Чаша переполнилась и обижаться было невозможно. Никто и не обидѣлся: ни ораторъ, ни хозяинъ. Только Чешневъ горестно вздохнулъ и опустилъ голову на грудь.

— А къ тому я порю эту дичь,—упирая на слово дичь, сказалъ профессоръ, ободренный общимъ сочувствіемъ къ нему: — чтобы выяснить, что въ однихъ романахъ, напримѣръ, въ «Коперфильдѣ» или «Пиквикскомъ клубѣ» Диккенса, въ «Père Goriot и Eugénie Grandet» Бальзака, въ «Капитанской дочкѣ» и «Героѣ нашего времени» — художественность задачи есть и цѣль, и средство; а въ другихъ, какъ и въ прослушанномъ нами сегодня, преобладаетъ мысль автора, на помощь которой онъ призвалъ искусство...

— А оно не пришло, сказали бы коротко и ясно! Зачѣмъ же лекцію читать?—добавилъ Кряковъ.

— Нѣтъ, я не скажу этого,—возразилъ профессоръ.

— И никто не скажетъ!—сказалъ хозяинъ.

— Никто!—повторили и другіе.

— Значитъ, все-таки тенденція есть,—замѣтилъ журналистъ:—стало-быть, вы допускаете и тенденціозные романы!

— Я все допускаю, гдѣ есть умъ или талантъ, — прибавилъ профессоръ.

— Покорнѣйше благодаримъ! Какъ вы добры!—иронически сказалъ Кряковъ:—за что̀ же было ворчать на романъ «Исторія одного крестьянина»?

Онъ кивнулъ туда, гдѣ сидѣлъ господинъ въ синихъ очкахъ.

— Стало-быть, тенденціозный романъ все-таки нуженъ и имѣетъ sa raison d'être,—продолжалъ журналистъ.

— Что̀, вѣрно русскаго пороха не хватило, такъ давай изъ Франціи выписывать!—тихо замѣтилъ генералъ.

— Вѣдь есть моменты въ исторіи,—говорилъ далѣе журналистъ: — когда совершаются такіе крутые повороты отъ одного круга идей, понятій, событій, къ другимъ, которые требуютъ усиленнаго и совокупнаго участія всѣхъ нравственныхъ силъ, какими располагаетъ общество, между прочимъ и искусство. Согласитесь, что наше время будетъ отнесено исторіею къ числу такихъ раздражительныхъ и горячихъ моментовъ.

— Совершенно правда!—согласился профессоръ:—искусство и приняло на себя часть общей работы; въ немъ и возобладало отрицательное направленіе. Современная литература грѣшитъ только тѣмъ, что злоупотребляетъ этимъ, насилуетъ искусство, признаетъ только одно обличительное направленіе и гонитъ все другое, какъ будто бы ненужное...

— Что жъ, Ламартинъ нуженъ, что ли? отчего же онъ поблѣднѣлъ, а Гюго, напримѣръ, пережилъ его? — перебилъ Кряковъ.—Или отчего Гейне сдѣлался представителемъ лирической поэзіи въ Германіи, какъ не отъ того, что въ немъ есть, говоря вашимъ краснорѣчивымъ слогомъ, святая злоба, попросту—спиртъ, злой умъ и талантъ? Подите вы съ своими «сладкими звуками и молитвами»! Чего слаще Ламартина и гдѣ больше молитвъ, какъ не у него, а его забыли; что̀ же это значитъ?

— Нѣтъ, не забыли и не забудутъ, — замѣтилъ профессоръ:—онъ былъ поэтъ своего вѣка и останется въ исторіи литературы; ни Викторъ Гюго, ни Гейне не превзойдутъ его ни паѳосомъ чувствъ, ни высотою мысли. Но онъ жилъ въ своемъ времени и отошелъ вмѣстѣ съ нимъ, какъ отойдутъ, въ свою очередь, и другіе. Кромѣ стиховъ, онъ оставилъ слѣдъ, какъ и историкъ; его «Исторія жирондистовъ»...

— Какая это исторія! Это плохой, сентиментальный романъ!—сказалъ Кряковъ.

— Ну, нѣтъ, съ этимъ позвольте не согласиться! — замѣтилъ Чешневъ: — и французы не раздѣлятъ вашего мнѣнія!

— Это еще не причина! во Франціи тоже не мало слюняевъ!—отозвался Кряковъ.

— Се «*тоже*» est impayable! Oh, l'enfant terrible!—замѣтилъ кто-то въ концѣ стола.

Кряковъ покосился туда, какъ будто отыскивая виноватаго.

— Такимъ образомъ, по-вашему, оказывается, — сказалъ журналистъ профессору: - что романъ, въ тѣсномъ смыслѣ, какъ изображеніе жизни, долженъ быть произведеніемъ творческаго искусства; но никому, конечно, нельзя запретить называть романомъ и произведеніе ума, подъ однимъ условіемъ, чтобъ онъ не былъ скученъ...

— Conditio sine qua non,—подтвердилъ профессоръ.

— Опять пороху не хватило!—сказалъ генералъ Сухову.

— Вѣдь это ученый разговоръ, такъ какъ же безъ латыни! Ахъ ты, Скалозубъ! — сказалъ Суховъ, ударивъ его ладонью по колѣнкѣ.

— Нѣтъ ли у васъ еще чего-нибудь о романѣ? Или вы все выложили изъ мѣшка?—спросилъ насмѣшливо Кряковъ.

— Есть еще одно послѣднее сказанье, но я ужъ, право, не знаю, говорить ли... Я, кажется, и такъ употребилъ во зло вниманіе собесѣдниковъ...

— Да, кажется!—вставилъ Кряковъ.

— Эту дурную привычку говорить много...

— И говорить прекрасно!—прибавилъ Урановъ.

— Эту привычку я пріобрѣлъ на каѳедрѣ. Но извините, я перестану; я вижу явные знаки нетерпѣнія. Вонъ, господинъ Кряковъ ждетъ не дождется...

Онъ съ улыбкою глядѣлъ на Крякова.

— Ничего, продолжайте! вѣдь и поданная къ крыльцу лошадь ржетъ и бьетъ копытомъ отъ нетерпѣнія... но на это никто не смотритъ!—вдругъ храбро сказалъ генералъ.

Общій хохотъ покрылъ его фразу.

— Bien dit!—сказалъ одинъ гость.

— Да, мѣтко! не въ бровь, а прямо въ глазъ!—къ общему удивленію, добродушно замѣтилъ Кряковъ и тоже разсмѣялся, пряча носъ въ бороду.—Браво, генералъ, по-военному!—прибавилъ онъ.—За ваше здоровье!

Онъ выпилъ вино.

— Il fait bonne mine à mauvais jeu, il n'est pas sot!—сказалъ опять тотъ же гость.

Кряковъ сердито поглядѣлъ на него.

— Ругайтесь, сколько хотите, а похвалъ вашихъ не просятъ!—отрѣзалъ онъ.—Вѣщайте же намъ ваше послѣднее сказаніе!—обратился онъ къ профессору.

— Я хотѣлъ только замѣтить, что новые писатели даютъ слишкомъ много мѣста реализму. Но объ этомъ говорено такъ много, что скучно становится. Отвергаютъ всѣ основы искусства... дошли до абсурда.

— Слышишь—«абсурдъ», каково слово! Онъ этакъ и на каѳедрѣ преподаетъ?—замѣтилъ генералъ, обращаясь къ Сухову.

— Послушать реалистовъ,—продолжалъ профессоръ:—такъ они одни только внесли правду въ искусство тѣмъ, что гонятъ фантазію, какіи-то «украшенія», т.-е. поэзію! Что

можетъ быть, напримѣръ, правдивѣе Пушкина? Но правда не мѣшала у него и фантазіи, и нѣгѣ, и юмору...

— Полноте кадить этому пѣвцу барства, «праздной скуки» и «нѣги томной»! — возразилъ Кряковъ. — Вѣдь сами сейчасъ упомянули о духѣ времени; этотъ духъ скоро снялъ его съ пьедестала. Старики захлебывались, бывало, его стихами, а теперь кто ихъ читаетъ! И самъ онъ захлебывался своею славою и провозгласилъ: «*Я памятникъ себѣ воздвигъ нерукотворный, къ нему не зарастетъ народная тропа!*» Народъ и не подозрѣваетъ этой «тропы», а поклонники давно забыли ее... и могила-то, говорятъ, развалилась вся! Даже некому тамъ и указать ее! Нашли у кого правду! прочтите-ка, напримѣръ, хоть «*Въ вратахъ эдема ангелъ мѣжный*»—какъ это правдоподобно!

— Извольте, прочту! и вы сами увидите, что это правдиво; вы счастливо попали!

Профессоръ буквально исполнилъ предложеніе критика и прочелъ стихотвореніе наизусть. Всѣ аплодировали — конечно, Пушкину.

— Какая ерунда!—сказалъ, поморщившись, Кряковъ.

Студентъ покатился со смѣху и спрятался за спину Крякова.

— Если вы,—запѣлъ жалкимъ голосомъ Чешневъ, обращаясь къ Крякову:—не видите передъ глазами живую картину—сіяющаго у эдема ангела и демона, летающаго надъ бездною, если не чуете глубокой идеи, таящейся въ этой картинѣ, то вы можете принять девизъ Данте — «оставь всякую надежду на поэзію»...

— Но не на правду! А она одна поэзія и есть! — перебилъ Кряковъ.—Кто сейчасъ сказалъ, что искусство должно изображать жизнь? Откуда же Пушкинъ взялъ этого чорта надъ бездной: изъ жизни, что ли? Или онъ видѣлъ этого ангела?..

— Видѣлъ,—сказалъ профессоръ:—въ своей фантазіи, и мы всѣ видимъ...

— Ну, такъ, стало-быть, вы вѣрите въ чертей; что съ вами и разговаривать! Пусти, уйду! — говорилъ Кряковъ, стараясь вырвать полу платья изъ руки студента.

Но, однако, не ушелъ.

— Боже мой!—тосковалъ Чешневъ:—какая ложь, какое искаженіе человѣческой природы! Жить безъ идеала, то-есть жить безъ цѣли! Отрѣшиться отъ фантазіи — значитъ оборвать всѣ цвѣты, погасить солнечные лучи... обратиться въ тьму кромѣшную...

— Зачѣмъ? не надо только врать! Пусть говорятъ про солнце, да не называютъ его «Фебомъ съ золотыми перстами» и т. п. дичь! Вы называете идеаломъ праздное и больное мечтаніе! У человѣка одинъ идеалъ — правда! Правда въ наукѣ, правда въ жизни, правда въ искусствѣ... и пиши ее, какъ она есть: безъ прикрасъ, безъ вашихъ лучей...

— Отлично! отлично! браво, Кряковъ! — аплодировалъ студентъ, такъ что Урановъ, незамѣтно отъ другихъ, сердито погрозилъ ему пальцемъ.

— Не мѣшай!—строго остановилъ его и Кряковъ.

— Да такой нѣтъ правды, никто ее такою не видалъ и нельзя видѣть!—говорилъ Чешневъ.

— Еще замѣчу объ объективности, — сказалъ профессоръ. — Новые писатели хотятъ простереть ее слишкомъ далеко. Художникъ, конечно, не долженъ соваться своею особою въ картину, наполнять ее своимъ я—это такъ! Но его духъ, фантазія, мысль, чувство—должны быть разлиты въ произведеніи, чтобъ оно было созданное живымъ духомъ тѣло, а не вѣрный очеркъ трупа, созданіе какого-то безличнаго чародѣя! Живая связь между художникомъ и его произведеніемъ должна чувствоваться зрителемъ или читателемъ: они, такъ сказать, съ помощью чувствъ автора, наслаждаются картиною, какъ, напримѣръ, намъ въ этой комнатѣ всѣмъ покойно, тепло, уютно... но если бъ вдругъ

нашъ гостепріимный хозяинъ скрылся куда-нибудь — комната перестала бы согрѣваться его радушіемъ, и мы остались бы какъ въ трактирѣ...

— Браво! браво! — раздалось со всѣхъ сторонъ, вмѣстѣ съ рукоплесканіями этому юмористическому обороту рѣчи.

— Dieu! comme il parle bien!—говорили въ концѣ стола.— За здоровье профессора!

Всѣ чокнулись съ нимъ бокалами.

— Знаете ли что, господинъ профессоръ: вѣдь этотъ ужинъ тонкій, дорогой,—сказалъ Кряковъ:—куда вамъ вашимъ краснорѣчіемъ заплатить за него!

Студентъ фыркнулъ отъ смѣха.

— Что это вы говорите,—съ вѣжливой строгостью замѣтилъ хозяинъ:—къ чему тутъ ужинъ! какъ вамъ не стыдно придавать такое значеніе дружеской бесѣдѣ!

— Не оспаривайте этого,—возразилъ Кряковъ:—ни профессору, ни мнѣ такъ ужинать часто не приходится; ужинать сами мы васъ не позовемъ, а заплатить за гостепріимство хочется! Это хотя и не поэтическая, а житейская правда! Такъ ли, господинъ профессоръ?

Но профессоръ съ достоинствомъ молчалъ.

— Не любятъ правды ни въ искусствѣ, ни въ жизни!— со вздохомъ сказалъ Кряковъ. — Кажется, я одинъ только и есть правдивый человѣкъ здѣсь! Какъ ты думаешь, Митя?— обратился онъ къ студенту и сильно хлопнулъ его всею ладонью по плечу.

— Смотрите, драться сталъ! — сердито глядя на него шепнулъ старикъ Красноперовъ.

Нѣкоторые изъ гостей въ концѣ стола сдѣлали брезгливую мину.

Всѣ молчали. Уранову было какъ-то неловко. Онъ поглядывалъ съ упрекомъ на племянника, но тотъ упорно продолжалъ избѣгать его взгляда.

— А зачѣмъ эти новые такъ пишутъ? — спросилъ генералъ.

— Какъ зачѣмъ! Чего больше спрашиваютъ, то и пишутъ. Новые пути открываютъ... ты слышалъ?—объяснялъ Суховъ.—Вѣдь и у васъ вонъ перестали теперь шагать выше носа, да глядѣть въ одну сторону, а тоже ввели бѣглый шагъ и вразсыпную, что ли! Солдатъ грамотѣ выучили, и мало ли чего завели новаго!

— И напрасно! — сказалъ со вздохомъ Красноперовъ, вслушавшійся въ ихъ разговоръ: — вотъ увидите, какихъ бѣдъ наживете. У васъ, слышь, и палки отмѣнили... и чуть не кладутъ по головѣ виноватыхъ!

— Вы изволите спрашивать, отчего новые такъ пишутъ?— обратился профессоръ къ генералу: — отъ того что легче. Творчество не всякому дается, а реализмъ, и техника—это двѣ двери, которые отворяются передъ всѣми, кто постучится въ нихъ! Даже школу выдумали... а школы не выдумываются, а создаются геніальными талантами: такихъ теперь нигдѣ нѣтъ! Диккенсъ, Пушкинъ и Гоголь не подозрѣвали, что создаютъ школу, а она создалась ими! А эти господа сами заявляютъ о своей школѣ!

— «Реализмъ» да «техника» — объяснилъ, нечего сказать!—шопотомъ замѣтилъ генералъ Сухову.

— Все это какъ нельзя болѣе справедливо, — сказалъ Чешневъ: — и я, начавъ этотъ критическій турниръ, былъ очень радъ, что вы взяли изъ моихъ рукъ копье и ратовали побѣдоноснѣе меня. Все сказанное вами, какъ вы основательно замѣтили, послужитъ намъ нормою для опредѣленія достоинства прочитаннаго нами романа. Вы очень вѣрно замѣтили, что нашъ авторъ не строго объективный творецъ-художникъ...

— Однако съ задатками творчества! — прибавилъ профессоръ.

— И онъ далъ намъ увлекательное изображеніе, — про-

должалъ Чешневъ:—въ широкой рамѣ той жизни, въ сферѣ которой онъ живетъ... и мы всѣ здѣсь — за отсутствующихъ мы тоже поручимся — должны признать за этимъ романомъ...

— Большія достоинства!—подтвердилъ профессоръ.

— Да, замѣчательное произведеніе,—равнодушно прибавилъ журналистъ.

Кряковъ повернулся на стулѣ при этихъ похвалахъ.

— Да перестаньте!—сердито замѣтилъ онъ.

Но ему не отвѣчали.

— Стало-быть, авторъ вполнѣ достигъ цѣли, къ которой шелъ, и мы можемъ—если позволите,—прибавилъ Чешневъ, обращаясь къ хозяину: — выпить за его здоровье и благодарить за удовольствіе, доставленное намъ.

Всѣ чокнулись и выпили.

— Выпить-то и я выпью!—замѣтилъ Кряковъ и выпилъ, но не чокнулся ни съ кѣмъ.

— А какой правильный, обработанный языкъ!—сказалъ профессоръ.

— Да, славно пишетъ! — подтвердилъ генералъ: — только жаль, что и у него попадаются — то иностранныя, то мудреныя слова, напримѣръ: коалиція, элементы, еще что-то...

— Въ корректурѣ это все вѣроятно будетъ исправлено,— сказалъ журналистъ. — Хорошо бы немного придать разнообразія, небрежности языку, что называется abandon. А то ужъ слишкомъ гладко, прибранно, стилисто!

— Вы, конечно,—обратился Чешневъ къ журналисту:— охотно приняли бы его на страницы вашего журнала?

Журналистъ задумался и не сразу отвѣчалъ.

— Я не знаю... надо подумать... поговорить съ моимъ сотрудникомъ по части беллетристики, — отвѣчалъ онъ уклончиво.

— Но вѣдь вы находите въ романѣ достоинства?

— О, конечно; но этого мало. Журналъ мой издается въ извѣстномъ направленіи — слѣдовательно все, что входитъ въ него, должно, или отвѣчать этому направленію, или, по крайней мѣрѣ, не противорѣчить ему рѣзко...

— Кажется авторъ отдѣльнаго самостоятельнаго сочиненія отвѣчаетъ самъ за себя, — замѣтилъ Чешневъ: — *и* журналъ, помѣщающій его на своихъ страницахъ, играетъ тутъ роль только магазина, принимающаго вещь для продажи.

— Нѣтъ, это не такъ! — сказалъ, засмѣявшись, журналистъ. — Тогда это былъ бы не журналъ, а сборникъ, альманахъ...

— Кому охота разводить скуку въ своемъ журналѣ? — замѣтилъ Кряковъ, шептавшійся съ студентомъ и услыхавшій послѣднія слова.

— Позвольте не согласиться съ вашимъ отзывомъ, — твердо сказалъ хозяинъ:—романъ не скучный... Мы всѣ налицо—и всѣ скажемъ противное.

— Всѣ! всѣ!—дружно сказали голоса.

— Скучный! утомительный! — твердилъ Кряковъ: — я не могъ высидѣть...

— Это еще не причина! — съ учтивымъ смѣхомъ возразилъ Чешневъ.

— Однакожъ высидѣли! — замѣтилъ хозяинъ: — я даже, извините, видѣлъ, что при чтеніи иныхъ страницъ ваши глаза, какъ бы это сказать, блистали, — значитъ было занимательно...

— Я хотѣлъ бѣжать, да вотъ онъ не пускалъ!—сказалъ Кряковъ, указывая на студента.

— C'est très-joli, charmant! тутъ нельзя соскучиться... Когда и кончилось, всѣ еще слушали, хотѣли продолженія!..—говорила Лилина и другіе.

— Да и скука дѣло условное,—сказалъ Чешновъ:—есть [illegible] умныхъ, почтенныхъ людей, которымъ скученъ и

Гомеръ, и Шекспиръ! Я самъ знаю такихъ, которые тотчасъ уходятъ, лишь только заиграютъ при нихъ изъ Моцарта или Бетховена, но съ удовольствіемъ слушаютъ шансонетки изъ «Елены Прекрасной» или «Duchesse de Gérolstein». Другіе не терпятъ исторической школы въ живописи и отворачиваются отъ Тиціана и Рубенса, а засматриваются tableaux de genre. Многимъ даже всякій разговоръ образованныхъ людей въ салонѣ скученъ!..

— C'est vrai, c'est vrai! Bien dit! Да! это вѣрно, мѣтко!— одобряли въ концѣ стола.

Кряковъ обводилъ глазами говорившихъ, какъ бульдогъ, будто выбирая, на кого бы наброситься.

— Такъ вы сравниваете вашего автора съ Гомерами, Рубенсами и Тиціанами! Ха-ха-ха! — захохоталъ онъ: — поздравляю васъ и пью за ваше здоровье!

Онъ, иронически кланяясь Чешневу, выпилъ свой бокалъ.

— Я пью за ваше и пожелаю, — медленно, съ жалостью въ голосѣ, возразилъ Чешневъ:—чтобы на васъ палъ лучъ человѣческой правды!

И онъ выпилъ.

— Развѣ я лгу?—съ азартомъ спросилъ Кряковъ.

Чешневъ сдѣлалъ отрицательный знакъ достоинства.

— О нѣтъ, Боже сохрани! вы весь искренность! но вы заблуждаетесь, и къ тому же сердитесь—слѣдовательно вы вдвойнѣ не правы! И въ эту минуту не правы, зная, что я вовсе не сравниваю автора ни съ Гомеромъ, ни съ Тиціаномъ — и говорите въ гнѣвѣ. Пошли же Господь миръ душѣ вашей!

— Аминь! — сказалъ Суховъ, при общемъ смѣхѣ. — Пошли за попомъ,—прибавилъ онъ тихо Уранову: — можетъ-быть тотъ отчитаетъ его! Превесело, право! Я непремѣнно познакомлюсь съ нимъ, поѣду къ нему и приглашу къ себѣ обѣдать.

— Да поѣдемъ ужъ вмѣстѣ; мнѣ надо же ему карточку

[illegible] хозяинъ. — Митю возьмемъ съ собой! А [illegible] Богъ съ нимъ! Вонъ онъ какой ори[illegible]!

Брюсовъ между тѣмъ смотрѣлъ на всѣхъ разсѣянно, по[illegible] вилкой по тарелкѣ. Онъ, повидимому, начиналъ [illegible], при сосредоточенномъ на него общемъ вниманіи, то, что называется contenance, или сталъ уставать отъ неловкости своего положенія.

Помоги мнѣ выбраться какъ-нибудь незамѣтно!—шепталъ онъ студенту.

Посиди еще немного, вмѣстѣ уйдемъ! А пока скажи еще что-нибудь,—отвѣчалъ тотъ.

Вотъ вы говорили,—вдругъ началъ Кряковъ, довольно покойно обращаясь къ профессору:—что романъ долженъ изображать жизнь—значитъ изображать правду. А вы (онъ обратился къ Чешневу) нашли, что авторъ изобразилъ ее вѣрно: я спрашиваю васъ, гдѣ же у него эта жизнь и гдѣ ея правда? въ чемъ?

Какъ гдѣ жизнь! цѣлый огромный кругъ живетъ во всемъ мірѣ этой жизнью!.. — съ удивленіемъ возразилъ Чешневъ.

— Какая это жизнь? развѣ такъ живутъ? И какой это «кругъ»: высшій, что ли, хотите вы сказать?..

— Не высшій, не низшій, а просто кругъ благовоспитанныхъ людей, то что называется—джентльменовъ у англичанъ, или порядочныхъ людей у насъ!

— Зачѣмъ же эти порядочные люди взяты у него въ графскихъ и княжескихъ фамиліяхъ, или въ высшей военной и административной сферѣ? Развѣ онъ не предполагаетъ джентльменство въ другихъ слояхъ общества? Порядочность есть вездѣ, она бываетъ и подъ армякомъ!

— Это правда; но онъ между армяками никого не знаетъ. Онъ взялъ дѣйствіе и лица въ знакомомъ ему кругу. Не все ли это равно?

— Нѣтъ, не все равно! Зачѣмъ онъ взялъ ихъ именно въ этомъ кругу? Зачѣмъ понадобилось ему изображать только ихъ?

— Какое право имѣете вы судить автора за то, чего онъ не далъ? Критика должна смотрѣть только на то, что̀ онъ далъ! *Каламъ* пишетъ болото, *Клодъ-Лоррсн* — убранный, расчищенный лѣсъ и свѣтлый ручей. И никому въ голову не приходитъ требовать, чтобы Каламъ писалъ сады, и упрекать Клодъ-Лорреня, зачѣмъ онъ не писалъ болота? И въ литературѣ то же самое!

— По-вашему, что̀ не аристократическій кругъ, то и болото?—вставилъ Кряковъ.

— Тогда можно,—продолжалъ, не слушая его, Чешневъ:—требовать къ суду тѣхъ авторовъ, которые изображаютъ, напримѣръ, одни—нравы и бытъ купцовъ и мѣщанъ, другіе—крестьянъ. Были и такіе, которые писали изъ быта духовенства. Почему же сфера изъ высшаго̀, какъ вы называете, или богатаго, знатнаго, благовоспитаннаго круга, должна оставаться недоступною писателю?

— А потому, что этого высшаго круга нѣтъ на свѣтѣ, слѣдовательно нѣтъ въ этой картинѣ и художественной правды, о которой вы оба съ профессоромъ говорили такъ краснорѣчиво сейчасъ!

Всѣ въ недоумѣніи смотрѣли другъ на друга.

— Какъ же это такъ «нѣтъ»! — разсуждалъ генералъ, обратясь къ хозяину и Сухову.—А всѣ твои сегодня гости, мы, какого же круга?

— Не принимай къ сердцу, что̀ онъ говоритъ, — тихо отвѣчалъ Суховъ: — вѣдь это антихристъ, но только прелюбопытный малый; какъ бы его къ намъ въ клубъ затащить!

— Да такъ же, нѣтъ! порядочные люди или джентльмены есть во всякомъ классѣ; наверху ихъ меньше. Тамъ только бары. Развѣ они—высшій классъ? Почему?

Всѣ молчали.

— Вотъ и полюбуйтесь: каковъ образъ мыслей!—вдругъ проговорилъ Красноперовъ, который во время спора объ искусствѣ уже задремалъ два раза.

— Замѣчаніе, что одного высшаго класса нѣтъ, довольно вѣско и отчасти основательно,—замѣтилъ журналистъ.

— Въ чемъ же, позвольте узнать? — спросилъ хозяинъ, съ любопытствомъ; другіе тоже ждали отвѣта.

— Одной и цѣльной этой жизни дѣйствительно нѣтъ; она соприкасается съ жизнью другихъ круговъ, другого воспитанія и нравовъ, а авторъ обходитъ ее и пишетъ одни верхи...

— Но вѣдь другіе пишутъ же одни низы и обходятся безъ верховъ, какъ я сейчасъ замѣтилъ! — возразилъ Чешневъ.

— Да, это правда; но эти низы и въ дѣйствительности обходятся безъ верховъ.

— Вы думаете?—иронически спросилъ генералъ.

— Я говорю только про бытовую сторону, доступную искусству, — прибавилъ торопливо редакторъ: — и оставляю все прочее въ сторонѣ. Верхи не участвуютъ, т. е. не присутствуютъ въ нравахъ низшихъ слоевъ, въ ихъ житьѣ-бытьѣ. Они такъ и существуютъ сами по себѣ. Но одни верхи безъ низовъ — и дня не просуществуютъ. А нашъ авторъ умышленно обходитъ всякій другой, не высшій кругъ, замѣтно брезгуетъ имъ, а къ своему кругу относится пристрастно. Вотъ въ этомъ и мѣреніи и цѣли автора— и нѣтъ художественной правды, какъ сейчасъ замѣтилъ г. Кряковъ.

— Слышишь, тебя цитируютъ?—сказалъ смѣясь молодой Урановъ.

— Я же вѣдь говорилъ, что я одинъ правдивѣе всѣхъ!— замѣтилъ тотъ.

— Художникъ-писатель долженъ быть объективенъ, т. е. безпристрастенъ,—продолжалъ редакторъ:—долженъ писать,

какъ, напримѣръ, графъ Толстой, всякую жизнь, какая попадется ему подъ руку, потому что жизнь всего общества— смѣшанна и слитна. У него всѣ слои перетасованы, какъ оно и есть въ дѣйствительности. Рядомъ съ лицомъ изъ высшаго круга, онъ пишетъ и мужика, и бабу-ключницу, и даже взбѣсившуюся собаку. Изъ столичныхъ салоновъ онъ переноситъ читателя въ избу домовитаго крестьянина, на пчельникъ, на охоту, и съ такою же артистическою любовью рисуетъ—и военныхъ, и статскихъ, и баръ, и слугъ, кучера и лошадей, лѣсъ, траву, пашню... все! Онъ, какъ птицеловъ сѣтью, накрываетъ своей рамкой цѣлую панораму всякой жизни и пишетъ — sine ira, какъ справедливо говоритъ профессоръ. Сдѣлай онъ иначе — онъ бы солгалъ, а талантъ лгать не можетъ, если же солжетъ, т. е. одно выставитъ, а другое утаитъ, одно напишетъ съ любовью артиста, а другое пристрастно, т. е. умышленно дурно, то онъ перестанетъ быть талантомъ; выйдетъ блѣдно, вяло, безжизненно, или односторонне, невѣрно...

Профессоръ склонилъ немного голову на-бокъ, а Чешневъ откинулся назадъ, оба слушали внимательно и кажется соглашались отчасти съ тѣмъ, что говорилъ редакторъ. Суховъ тихонько зѣвнулъ въ руку, другіе, для развлеченія, допивали свои рюмки, кое-кто ѣлъ десертъ. Старый беллетристъ Скудельниковъ поднялъ глаза на минуту на редактора, обвелъ взглядомъ прочихъ гостей и опять сталъ смотрѣть на столъ, гдѣ, прямо противъ его носа, лежали въ десертныхъ вазахъ дыня и ананасъ.

— Но вѣдь и нашъ авторъ,—сказалъ Чешневъ:—кое-гдѣ касается другихъ званій, напримѣръ: описываетъ швейцара, прислугу...

— Да, — прервалъ Кряковъ: — описываетъ какъ собакъ, съ напускнымъ презрѣніемъ! остроумно называетъ ихъ «соціалистами». Вотъ онъ какъ касается! глумится надъ величайшей идеей вѣка, идеей равенства!

— Дѣйствительно, онъ намѣренно и бережно обходитъ все вульгарное,—продолжалъ редакторъ:—это правда!

— Да оно тутъ нейдетъ, — возразилъ Чешневъ: — ему нѣтъ мѣста! Если «низы», какъ говорите вы, не смѣшиваются съ верхами въ частной жизни, то стало-быть и верхи живутъ отдѣльно, своимъ кругомъ. Сколько современныхъ писателей намѣренно избѣгаютъ упоминать о верхахъ! Зачѣмъ, напримѣръ, живописецъ, если бъ захотѣлъ нарисовать эту столовую и насъ всѣхъ, вставилъ бы здѣсь мужика изъ харчевни, или вотъ одного изъ этихъ лакеевъ, что намъ служили, посадилъ бы съ нами за столъ?

— Вы взяли крайности, позвольте замѣтить!—возразилъ редакторъ: — между верхами... и лакеями, мужиками, идутъ цѣлые ряды—по профессіямъ, положенію, воспитанію, нравамъ...

— Да если бъ вашъ авторъ сталъ писать харчевню, то онъ посмотрѣлъ бы, не попалъ ли туда какой-нибудь баринъ, и написалъ бы его одного, а мужиковъ обошелъ бы!—сказалъ Кряковъ.

— Онъ вовсе не написалъ бы харчевни!—спорилъ Чешневъ:—онъ тамъ не былъ и не знаетъ ея посѣтителей.

— И знать не хочетъ! вотъ что скверно! Русская жизнь не на верхахъ! Ея тамъ нѣтъ!

Чешневъ пожалъ плечами, другіе улыбнулись.

— Вамъ хотѣлось бы, чтобъ онъ изобразилъ ту русскую жизнь, гдѣ и грязь, и пятна на скатерти, и неметеный полъ...

Онъ вздохнулъ.

— Зачѣмъ опять брать крайности? — говорилъ примирительно журналистъ, обращаясь и къ Чешневу, и къ Крякову.—Нѣтъ надобности умышленно искать сора и пятенъ, чтобы щеголять ими; но нельзя и обходить бережно и брезгливо все обыденное, гдѣ не всегда блестятъ чистота и изящество! А авторъ очень тщательно сортируетъ и лица,

и вещи — даже какъ будто чистить и самую природу, подскабливаетъ пейзажи, чтобъ не попала туда какая-нибудь соломинка или соринка. Это значитъ выскабливать и жизнь. Если можно обчистить и обдѣлать такъ людей, то изъ природы не выкинешь всего ненужнаго; будетъ ненатурально. Удалите и изъ людскихъ фигуръ всѣ характеристическія, типичныя особенности, детали — выйдетъ безлично и безжизненно.

Чешневъ, склоня голову, слушалъ въ раздумьѣ этотъ стройный критическій періодъ.

— Тутъ есть, конечно, нѣкоторая доля правды,—сказалъ онъ, наконецъ, съ легкимъ вздохомъ: — авторъ... пуристъ не въ одномъ языкѣ, но и въ герояхъ своихъ, и въ декораціяхъ романа. Но вѣдь и въ людяхъ, и въ природѣ, розлито много этой прибранности и изящества, если не вглядываться слишкомъ пристально; онъ и пишетъ, какъ ему кажется то, на чемъ останавливается его взглядъ! Вы, конечно, не замѣтили натянутости, чопорности въ его романѣ? Онъ только въ высшей степени приличенъ, но простъ и естественъ...

— Приличенъ, пожалуй, но естественъ — едва ли можно сказать, именно потому, что слишкомъ заботится, чтобъ не попало въ его салоны «фламандскаго сора», по выраженію Пушкина, т. е. обыденной жизни, — сказалъ журналистъ.

— Ему тамъ и не мѣсто—согласитесь!

— Не знаю; но отсутствіе живыхъ деталей отнимаетъ много жизни у людей и природы—опять скажу. Уловить и передать правдивую черту чувства въ данный моментъ, или движеніе мысли въ лицѣ человѣческомъ — это психологическій, внутренній реализмъ; обстановить сцену реальными, вѣрными деталями — это внѣшній реализмъ, а все вмѣстѣ ведетъ къ правдѣ

— Но вѣдь писатели-художники и живописцы, сознай-

тесь, часто рисуютъ и пишутъ много ненужныхъ правдъ, которыхъ можно бы избѣжать. Напримѣръ...

— Напримѣръ, — перебилъ Кряковъ: — запахъ, который Петрушка, лакей Чичикова, носитъ вездѣ съ собой; этотъ примѣръ, что ли, хотите вы привести?

Всѣ засмѣялись, Лилина покраснѣла.

— Да... хоть этотъ и многіе другіе, все ненужные признаки.

— Объ этомъ ужъ давно спорили, и Бѣлинскій рѣшилъ этотъ споръ!—сказалъ Кряковъ.—Почитайте его страницы, гдѣ онъ разсуждаетъ объ этой фарисейской опрятности; нельзя, видите, сказать, «воняетъ», нельзя выговорить при дамахъ (онъ покосился на Лилину) слово *блоха* и т. п. Послушать этихъ привередниковъ и передѣлать русскій языкъ на хорошій тонъ, такъ придется не говорить по-русски, а только тыкать пальцемъ въ воздухъ! Ненужное! что въ жизни есть—все нужно!

— Вы идете по слѣдамъ Гегеля,—замѣтилъ съ улыбкой профессоръ: — *все существующее разумно!* Но не все нужное въ жизни — нужно въ искусствѣ, позвольте добавить вашъ афоризмъ!

— Напротивъ, ненужное играетъ и въ искусствѣ большую роль, — сказалъ Кряковъ: — какъ и въ самой жизни, стало-быть, оно и нужно.

— Какъ ненужное въ жизни—нужно?— спросилъ иронически Суховъ:—напримѣръ... насморкъ?

Всѣ захохотали. Кряковъ махнулъ рукой.

— Ужъ это черезчуръ парадоксально — позвольте замѣтить!—сказалъ хозяинъ.

— Нѣтъ, не парадоксально! Я разумѣю подъ ненужнымъ всякій излишекъ сверхъ необходимаго. И въ жизни только излишки и даютъ намъ то, что называютъ счастьемъ; кто какъ понимаетъ счастье—это другой вопросъ!

— Какъ это такъ? позвольте, позвольте!

— Такъ! оглядитесь вокругъ,—сказалъ Кряковъ.

Всѣ въ самомъ дѣлѣ оглядѣлись.

— Вонъ, что у васъ тамъ наверху поставлено, на шкапѣ?

— Какъ что? — съ удивленіемъ отозвался хозяинъ: — статуи...

— А въ шкапѣ?

— Въ шкапѣ старинное серебро... вы видите!

Чешневъ весело улыбался, редакторъ, профессоръ и нѣкоторые изъ гостей тоже, предвидя, къ чему ведетъ рѣчь Кряковъ. Другіе же наивно глядѣли на предметы, которые онъ называлъ.

— Вонъ и на столѣ серебро, — продолжалъ Кряковъ:— подъ ногами коверъ; вонъ бронзовые канделябры... разъ, два, три — четыре... вонъ тридцать или сорокъ свѣчей горятъ вмѣсто двухъ или трехъ! Развѣ все это нужно? А эти перепелки, а дорогая зелень, десертъ, а вина двадцать бутылокъ?..

— Какъ же иначе? вездѣ все это есть! — говорилъ хозяинъ:—стало-быть, нужное!

— Нѣтъ, не вездѣ; выгляните только въ окошко. Все это ненужное, излишки... и они составляютъ ваше, и — вотъ всѣхъ ихъ—счастье. Можно ѣсть на глиняныхъ тарелкахъ, а не на серебрѣ, пить воду или квасъ, ну, пиво,— а вы пьете и ѣдите все ненужное, излишекъ... Издержки на одно необходимое не сдѣлали бы вамъ ни малѣйшаго удовольствія... напримѣръ, покупка дровъ, или говядины себѣ на обѣдъ, овса лошадямъ. А вотъ васъ радуетъ накупать всего этого, ненужнаго... или въ карты выиграть и проиграть.

— Tiens, cela c'est vrai!—сказалъ одинъ гость.

Урановъ, генералъ, Суховъ и Иванъ Петровичъ — слушали, добродушно улыбаясь, не зная, что отвѣтить на этотъ парадоксъ. Всѣ съ любопытствомъ смотрѣли на Крякова.

— Діогена корчитъ!—тихо замѣтилъ кто-то.

— Что вы всѣ уставились на меня?—сказалъ онъ: — не правда, что ли?

Всѣ засмѣялись.

— Нѣтъ, тутъ есть и правда!—отозвался Урановъ.

— Ну, и въ искусствѣ то же: изобразите, тамъ, любовь, что ли, безъ реальныхъ атрибутовъ, безъ обстановки...

— *Атрибуты!*—шепталъ генералъ.

— И выйдетъ вздоръ! какая-нибудь *дѣва на скалѣ*... чего не бываетъ!—добавилъ Кряковъ.

— Но вѣдь Пушкинъ, какъ великій реалистъ и въ то же время классикъ, прибавилъ къ дѣвѣ въ *одеждѣ бѣлой наго волнами, бурю и покрывало*, которымъ *игралъ вѣтеръ* — и вышло картинно и правдиво, т.-е. реально! — сказалъ профессоръ.—Это и есть поэзія!

— Куда его клубничное влеченіе завело: на скалу! — смѣялся Кряковъ.—Это ужъ вовсе ненужное!

— Позвольте, позвольте,—остановилъ его профессоръ: — вы противорѣчите сами себѣ: вы сейчасъ возвели *ненужное* въ законъ—и въ жизни, и въ искусствѣ...

— *Не нужное, да правдивое!* поймите меня: — *что бываетъ! а черти надъ бездной не летаютъ и дѣвы на скалахъ* не рисуются!—огрызался Кряковъ.

— Авторъ нашъ классикъ, онъ чуждается реализма — это правда, — заговорилъ опять профессоръ. — Онъ строго придерживается во всемъ классическаго стиля. Онъ ближе къ идеалу, нежели къ типу, и оттого, между прочимъ, чуждается житейскихъ обыденныхъ мелочей жизни. Это его вкусъ, воспитаніе или природа, какъ хотите. Но вѣдь и вкусы дробятся на роды, какъ само искусство дѣлится на школы. Различіе школъ и стилей обусловливается между прочимъ различіемъ вкусовъ артистическихъ натуръ. Это тропинки, по которымъ расходятся артисты, слѣдуя каждый своей натурѣ...

— Ну, заиграла музыка!—вставилъ Кряковъ вполголоса, но его услыхали и засмѣялись, и ораторъ тоже.

— Одинъ ищетъ, напримѣръ, природы въ глубинѣ дремучаго лѣса, въ степи, въ дикихъ скалахъ, — продолжалъ онъ:—а другой видитъ и любитъ ее въ паркахъ, воздѣланныхъ садахъ и цвѣтникахъ! Кто пишетъ мадоннъ, библейскіе или миѳологическіе сюжеты; другіе — вседневную пеструю жизнь. Новые художники хотятъ смѣшать все, подвести подъ genre...

— Не клевещите на новыхъ художниковъ; они не смѣшиваютъ никакихъ школъ и стилей, а просто знать ихъ не хотятъ!—забушевалъ опять Кряковъ.—Всѣ—и Юпитеры, и Венеры, ваши *ангелы у вратъ эдема и черти надъ бездной*, отжили свой вѣкъ и ничего не говорятъ болѣе представленію артиста. Новые художники пишутъ, что видятъ и знаютъ въ природѣ и въ жизни, и если заглядываютъ въ исторію, то и библейскія событія угадываютъ и пишутъ, какъ они случились, а не какъ смотрятъ на нихъ идеалисты въ свои очки, сквозь тысячелѣтія...

Послѣ этого наступила пауза и Чешневъ съ грустью поникъ головой, прошептавъ: — Боже мой! будетъ ли конецъ этому дикому разгулу!

— Такъ вы полагаете,—обратился онъ потомъ къ редактору, не глядя на Крякова: — что одни джентльмены, ихъ кругъ, нравы, бытъ, не могутъ быть предметомъ художественнаго произведенія?..

— Какіе это джентльмены?—вмѣшался опять Кряковъ:— эти причесанные, прибранные господа, которые ходятъ около другъ друга, боясь дотронуться одинъ до другого, кланяются, изъясняются въ любви и дружбѣ, какъ тѣни? Они ѣдятъ и пьютъ какъ по нотамъ... Какая же это жизнь! развѣ такъ живутъ?

— Конечно, — нехотя возражалъ ему Чешневъ: — при отсутствіи воспитанія нравы обозначаются иначе... очень

живо и натурально. Но избави Боже иногда отъ такой натуры!

— Кажется, г. Кряковъ недоволенъ тѣмъ,—вставилъ редакторъ: — что авторъ изображаетъ одну парадную сторону жизни, жизнь салоновъ, въ формѣ строго условныхъ, регулированныхъ отношеній между лицами, и даетъ мало простора и свободы мысли, чувству, страстямъ. Это тоже правда. Онъ не трогаетъ психическихъ тайнъ и оттого поневолѣ изображаетъ все поверхностно и условно...

— И называетъ еще это романомъ! —насмѣшливо прибавилъ Кряковъ.

— Какъ же вы назовете это?—спросилъ Урановъ.

— Это протестъ аристократизма и милитаризма противъ демократіи—вотъ какъ я назову! — сердито сказалъ онъ. — Протестъ привилегированныхъ сословій, съ ихъ роскошью, приторною утонченностью, противъ...

— Противъ грубости, цинизма, неряшества, всякой моральной и матеріальной распущенности... это правда! — добавилъ Чешневъ тоже пылко.

Генералъ, Суховъ и Урановъ засмѣялись.

— Bien dit!—раздалось съ другого конца стола.

— И это подвигъ со стороны автора,—продолжалъ Чешневъ. — Давно пора было поднять копье противъ буйнаго натиска на все то, чѣмъ живетъ и держится общество.

— Напримѣръ—на что?—почти грубо спросилъ Кряковъ.

— Напримѣръ, на человѣческія приличія, уваженіе къ человѣческому достоинству, сдержанность, обузданіе дикихъ страстей—и вмѣстѣ съ этимъ, конечно, и на соотвѣтствующія формы общежитія, на утонченность нравовъ, такъ же, какъ на чистый вкусъ и здравыя понятія... и въ искусствахъ! Словомъ, протестъ противъ всякой расшатанности и растрепанности въ людскомъ обществѣ, противъ всякаго звѣроподобія! Вотъ въ чемъ состоитъ подвигъ автора! Человѣчество долгимъ и труднымъ путемъ достигало этихъ ре-

зультатовъ, а тутъ вдругъ явилось поколѣніе, которое хочетъ стереть все добытое тысячелѣтіями... И что оно поставитъ на это мѣсто? Вотъ противъ этой лжи и грубаго насилія и протестуетъ авторъ!

— Нѣтъ,—бурно заговорилъ Кряковъ:—онъ протестуетъ противъ простоты нравовъ, естественности быта, требованій времени, противъ человѣческихъ правъ, личной свободы, равенства!.. вотъ въ чемъ подвигъ вашего автора! Онъ хочетъ защитить положеніе своихъ героевъ на верху, ихъ привилегированную утонченность, роскошь, уклоненіе отъ прямого и положительнаго труда!

— Пошли за полиціей,—тихо, удерживая смѣхъ, сказалъ Суховъ хозяину.

— Постой, не мѣшай! Это любопытно!—отвѣчалъ онъ.

— Труда!—съ горькимъ смѣхомъ повторилъ Чешневъ:—да развѣ эти новые тунеядцы не отъ труда бѣжали въ свои трущобы и проповѣдуютъ раздѣлъ чужой собственности!

Кряковъ выпилъ стаканъ краснаго вина.

— А на скромные, низшіе классы общества вашъ авторъ-аристократъ брызжетъ презрѣніемъ! Такъ, Митя? ты вѣдь слышалъ,—обратился онъ къ студенту:—брызжетъ?

— Не помню!—сказалъ тотъ со смѣхомъ:—что ты ссылаешься на меня? говори за себя!

— Гдѣ же?—спросилъ Чешневъ:—о низшемъ классѣ тамъ даже не упомянуто!

— А зачѣмъ не упомянуто?—рѣзко отозвался Кряковъ.

— Вотъ, прошу угодить!—сказалъ Чешневъ и засмѣялся.

— Объ этомъ сейчасъ только говорили,—прибавилъ онъ:—и исчерпали этотъ предметъ. Мы сказали уже, что авторъ не знаетъ другихъ классовъ...

— И знать не хочетъ! значитъ, презираетъ! И какъ ему не презирать! всѣ герои его—образцы изящества, утонченности мыслей, чувствъ, рѣчи — и всѣ ничего не дѣлаютъ! Какъ же вдругъ ввести въ ихъ кругъ труженика, отъ ко-

тораго можетъ почуяться запахъ трудового пота... виноватъ... транспираціи—(поправился онъ съ улыбкой и ироническимъ поклономъ ко всѣмъ), и который, пожалуй, скажетъ «воняетъ дымомъ», вмѣсто «пахнетъ дымомъ». Еще, того гляди, явится въ поношенномъ платьѣ, безъ перчатокъ... вотъ какъ я пришелъ: извините!—сказалъ онъ хозяину, показывая голыя руки.

— И я тоже не надѣваю ихъ! — перебилъ Чешневъ со смѣхомъ.

— И вдругъ такой авторъ,—продолжалъ Кряковъ:—нарисовалъ бы мужика, мѣщанина, мелкаго чиновника, труженика, ремесленника... Какъ же! барыни, пожалуй, его не стали бы читать!

— Я, и всѣ почти мои знакомыя дамы читали и знаемъ Гоголя!—сказала вдругъ Лилина.

Кряковъ мутно взглянулъ на нее.

— Вы?—возразилъ онъ:—не можетъ быть!

— Отчего?

— Если бъ вы читали Гоголя и другихъ народныхъ писателей—ваши глаза смотрѣли бы иначе и не было бы у васъ этой блаженной улыбки.

Она сконфузилась и смотрѣла въ недоумѣніи вокругъ.

— Qu'est-ce qu'il dit?—спросила она сосѣда.

— Des sottises! Gardez-vous bien de le contredire!—отвѣчалъ тотъ, улыбаясь.

— Вотъ такъ лучше,—прибавилъ Кряковъ: — объясняйтесь на своемъ природномъ языкѣ и оставьте Гоголя въ покоѣ!

— Dieu, Dieu, Dieu! Voilà un ours mal léché! донеслось съ другого конца стола—и всѣ засмѣялись. Кряковъ остановился-было, но махнулъ рукой, засмѣялся самъ и продолжалъ, обращаясь къ Чешневу:

— Нѣтъ, всѣ эти лица романа—кучка праздныхъ людей, живущихъ жирно и наслаждающихся на счетъ народа, а

сами ничего не дѣлающіе! Вотъ что вашъ высшій классъ! стоитъ ли описывать его!

— Боже мой?—почти застоналъ Чешневъ:—какая злоба и клевета! Праздныхъ! Да кто же управляетъ, вмѣстѣ съ высшей властью, судьбами нашей страны? — горячо обратился онъ къ Крякову. — Кто поставилъ ее на высокую ступень извнѣ и кто держитъ силу, порядокъ и ходъ жизни внутри— какъ не лица того же круга, изъ котораго авторъ взялъ своихъ героевъ?

— Нѣтъ! трудомъ, кровью и духомъ народа держится все!—рыкалъ, какъ левъ, Кряковъ, съ блистающими глазами.

Студентъ поталкивалъ его тихонько въ бокъ.

— Да развѣ мы всѣ — не народъ? развѣ эти графы, князья, ихъ предки—не изъ народа и не народъ?—спорилъ Чешневъ.

— Были! а теперь лѣзутъ изъ кожи, чтобы уйти отъ него дальше, не походить на него! Разрушаютъ даже послѣднюю связь съ нимъ—языкъ; стараются быть ему непонятнымъ, говорятъ по-французски, по-англійски, всячески, лишь бы не по-русски!

Чешневъ вздохнулъ и поникнулъ головой передъ этой послѣдней, конечно, неоспоримой правдой насчетъ языка.

— Да и въ своемъ-то языкѣ много иностранныхъ словъ употребляютъ,—вполголоса сказалъ генералъ:—что правда, то правда!

— Это отчасти справедливо,—съ оттѣнкомъ грусти замѣтилъ Чешневъ:—и въ этомъ смыслѣ мы всѣ, пожалуй, давно не народъ. И вы тоже: одѣты вы не по-русски и употребляете много не русскаго и кромѣ языка. Да и русскій языкъ, которымъ вы говорите, не тотъ, которымъ говоритъ народъ; онъ васъ не пойметъ, а вы на его языкѣ говорить не умѣете.

— Оттого, что его не учатъ понимать насъ, держатъ умышленно въ невѣжествѣ...

— Но вѣдь если онъ выучится одѣваться, говорить не по-русски, пить, ѣсть не русское, какъ мы теперь, такъ вѣдь онъ перестанетъ быть тѣмъ народомъ, какой вы разумѣете. Все это всегда такъ было и будетъ; это вѣчное колесо! Стало-быть, вы негодуете, зачѣмъ не всѣ вверху, или зачѣмъ мы всѣ не внизу! Но вѣдь это физически невозможно? Вы не хотите понять, что народъ составляетъ только часть того, что называется націей! Вы, по крайней мѣрѣ, скажите, чего вы хотите? Какое ребячество!

— Не ребячество, а соціализмъ это называется! Головы получше нашихъ съ вами, рѣшаютъ этотъ вопросъ; а намъ нечего спорить!

Всѣ опять громко засмѣялись. Рѣшительно всѣмъ было весело отъ этихъ дебатовъ. И Чешневъ засмѣялся. Героемъ вечера былъ не авторъ и его романъ, а Кряковъ и оригинальные пріемы его полемики.

— Чему вы обрадовались!—сердито сказалъ Кряковъ.

Смѣхъ удвоился.

— Что же это такое этотъ соціализмъ?—спросилъ генералъ.

— Вамъ любопытно?—обратился къ нему Кряковъ:—спросите того фельдфебеля, котораго Скалозубъ хотѣлъ дать Репетилову въ Вольтеры, а меня увольте отъ отвѣта!

— Въ нашъ огородъ камешки бросаетъ!—добродушно замѣтилъ генералъ, видя общій смѣхъ.

— Народность или, скажемъ лучше, національность—не въ одномъ языкѣ выражается,—сказалъ послѣ нѣкотораго молчанія Чешневъ.—Она въ духѣ единенія мысли, чувствъ, въ совокупности всѣхъ силъ русской жизни! Пусть космополиты мечтаютъ о будущемъ отдаленномъ сліяніи всѣхъ племенъ и національностей въ одну человѣческую семью, пусть этому суждено когда-нибудь и исполниться, но до тѣхъ поръ, и даже для этой самой цѣли—если бъ такова была, въ самомъ дѣлѣ, конечная цѣль людского бытія—не-

обходимо каждому народу переработать всѣ соки своей жизни, извлечь изъ нея всѣ силы, весь смыслъ, всѣ качества и дары, какими онъ надѣленъ, и принести эти національные дары въ общечеловѣческій капиталъ! Чѣмъ сильнѣе народъ, тѣмъ богаче будетъ этотъ вкладъ и тѣмъ глубже и замѣтнѣе будетъ та черта, которую онъ прибавитъ къ всемірному образу человѣческаго бытія.

Онъ въ раздумьѣ поникъ головой.

— Comme c'est profond!—шептали въ одномъ концѣ.

— Это... это... знаете...—началъ Суховъ:—это правда!..

И онъ запилъ виномъ.

Беллетристъ Скудельниковъ на минуту опять поднялъ глаза на Чешнева и потомъ снова впалъ въ апатію.

— Какъ это хорошо сказано! très joli, n'est ce pas?—говорила Лилина.

— Затѣйливо, нечего сказать; ну, такъ что же?—сказалъ Кряковъ:—что̀ вы хотѣли этимъ сказать?

— То, что русскій народъ исполняетъ эту свою великую и національную и человѣческую задачу, и что̀ въ ней ровно и дружно работаютъ всѣ силы великаго народа, отъ царя до пахаря и солдата! Когда все тихо, покойно, всѣ, какъ муравьи, живутъ, работаютъ, какъ будто въ разбродъ; думаютъ, чувствуютъ про себя и для себя; говорятъ, пожалуй, и на разныхъ языкахъ; но лишь только явится туча на горизонтѣ, загремитъ война, постигнетъ Россію зараза, голодъ—смотрите, какъ соединяются всѣ нравственныя и вещественныя силы, какъ все сливается въ одно чувство, въ одну мысль, въ одну волю—и какъ вдругъ всѣ, будто подъ наитіемъ Св. Духа, мгновенно поймутъ другъ друга и заговорятъ однимъ языкомъ и одною силою! Баринъ, мужикъ, купецъ—всѣ идутъ на одну общую работу, на одно дѣло, на одинъ трудъ, несутъ милліоны и копейки... и умираютъ, если нужно—и какъ умираютъ! Передъ вами не графы, князья, военные или статскіе, но мужики...

мужики—а одна великая, будто изъ несокрушимой мѣди вылитая статуя—Россія!

— Браво! C'est sublime! отлично!—закричали всѣ.—За здоровье Дмитрія Ивановича! человѣкъ, наливай шампанское!—приказывалъ Урановъ.

— За что? Вы всѣ это думаете и чувствуете!—говорилъ онъ, отвѣчая чоканьемъ на чоканье:—это общій отвѣтъ нашему собесѣднику г. Крякову!

— Да! да!—подтвердили всѣ.

Кряковъ всталъ со стула, готовясь уходить, но вдругъ опять сѣлъ.

— До сихъ поръ я былъ хорошаго мнѣнія о васъ,—началъ онъ, обращаясь къ Чешневу, но не договорилъ: его заглушилъ общій хохотъ. — А вы просто-напросто шовинистъ!—выпалилъ онъ, когда всѣ утихли.

Съ минуту длилось молчаніе. Профессоръ потупилъ глаза, журналистъ конфузливо улыбался, Скудельниковъ вдругъ взглянулъ широко на Крякова и на Чешнева. Красноперовъ. Урановъ, Суховъ и генералъ съ недоумѣніемъ поглядывали другъ на друга.—Что это еще такое?—шопотомъ спросилъ генералъ у Сухова. Тотъ спросилъ о томъ же Уранова, Урановъ у Чешнева. Прочіе съ усиленнымъ любопытствомъ смотрѣли на Чешнева и Крякова. Трухинъ даже протеръ очки платкомъ и ждалъ отвѣта. Чешневъ взглянулъ на Крякова какъ будто съ сожалѣніемъ. Студентъ прятался отъ недовольныхъ взглядовъ дяди за спину сосѣда.

— Вы назвали меня «шовинистомъ»,—сказалъ Чешневъ тихо и почти печально:—нѣтъ, я не ослѣпляюсь условными сентиментами и не поддаюсь ходячему, дешевому патріотизму! Я могъ бы съ большимъ основаніемъ, въ свою очередь, назвать васъ «псевдо-либераломъ»...

— Что жъ, назовите: я не обижусь!—развязно сказалъ Кряковъ.

— Нѣтъ, я этого не сдѣлаю!—мягко перебилъ его Чеш-

невъ:—вы гость здѣсь и ваша личность должна быть неприкосновенна.

— Ah, bravo! oui, c'est ça! это урокъ! Leçon bien méritée! пробѣжалъ тихій говоръ за столомъ.

Кряковъ поглядывалъ кругомъ и слушалъ этотъ говоръ какъ-то равнодушно.

— Дайте же мнѣ вашу руку!—прибавилъ Чешневъ, протягивая свою.

— Извольте!—сказалъ Кряковъ и подалъ руку.

— Но оставляя личность въ сторонѣ, я не могу молчать предъ псевдо-либерализмомъ, ноты котораго, извините, звучали въ вашихъ рѣчахъ. Этотъ псевдо-либерализмъ точитъ корни того истиннаго либерализма, который одинъ ведетъ къ прогрессу. Онъ избралъ своимъ девизомъ разрушеніе гражданственности, цивилизаціи, онъ не останавливается ни передъ какими средствами — даже пожарами, убійствами... и не знаетъ самъ, чего хотѣть, и мчится... куда?—задумчиво спросилъ какъ-будто самого себя Чешневъ, поникши головою.

— Вотъ, вотъ—да, это самое! Что я, давеча, не [illegible] говорилъ?—вдругъ прорекъ Красноперовъ.

— Тш...—сдѣлалъ ему Суховъ. Кряковъ усмѣхнулся.

— Ужъ объ этомъ говорили-говорили, писали-писали [illegible] намъ все неймется!—сказалъ онъ.

— Онъ еще смѣется, каковъ молодецъ! — шепталъ [illegible] коноперовъ сосѣдямъ:—какъ будто не его дѣло! [illegible] вѣчайте, куда онъ мчится, этотъ вашъ либерализм[illegible] бавилъ старикъ громко.

— Почемъ я знаю, куда!—сказалъ [illegible] шитъ нашъ мудрецъ!—Онъ указалъ на [illegible]

— Почемъ я знаю, куда, — повторил[illegible] вѣрно! это одинъ возможный, искрен[illegible] берализма! А онъ мчится мало-по-мал[illegible] ключилъ онъ: - отъ которой, умирая [illegible]

и куда отчаянно бросился маніакъ Бакунинъ, увлекая за собой Панургово стадо...

— Браво! браво! — закричали многіе, гремя тарелками, звеня стаканами.

— Ну, я туда васъ не зову,—сказалъ Кряковъ и опять засмѣялся.

Засмѣялся и студентъ.

— Правда, Митя? вѣдь я не такой? — прибавилъ Кряковъ.

— Ну, наслушались мы сегодня и новой, и старой мудрости, — сказалъ Суховъ своимъ сосѣдямъ: — каково-то спать будемъ? А все-таки весело, превесело здѣсь!—заключилъ онъ.

— Да, весело, — сказалъ тихо Урановъ: — только какъ мнѣ придется раздѣлываться? Вонъ, Чешневъ, и тотъ взволнованъ, Иванъ Петровичъ оскорбленъ, Лилина сконфужена и всѣ озадачены! Митя одинъ только въ усъ себѣ не дуетъ; ужо вымою я ему голову! А теперь надо какъ-нибудь загладить дурное впечатлѣніе!

— Вы что-то хотѣли еще сказать о нынѣшнемъ чтеніи, Дмитрій Ивановичъ?—обратился онъ къ Чешневу.

— Я хотѣлъ напомнить,—отвѣчалъ Чешневъ:—какъ нашъ авторъ выразилъ живо, рельефно и патріотизмъ, и чувство долга, въ одной картинѣ...

— «Рельефно»! «шовинистъ»! какъ еще? «сикофантъ»?— шепталъ генералъ Сухову:—въ ушахъ даже звенитъ!

— Я говорю объ описаніи маневровъ,—продолжалъ Чешневъ: — со стороны посмотрѣть — кажется, пожалуй, монотонно; но авторъ поставилъ читателя въ средину картины, слилъ его съ строемъ этихъ русскихъ душъ, сердецъ, — и вы чувствуете себя единицею какой-то великой моральной и физической силы, и въ каждомъ солдатѣ, офицерѣ, генералѣ, видите родного брата, друга, самого себя!

— Величественная картина!—подтвердилъ профессоръ.

— Да, эффектная!—замѣтилъ редакторъ:—но въ романѣ она кажется нѣсколько офиціальною... натянутою...

— Грандіозная!—сказалъ Урановъ:—воля ваша!

— Грандіозная казарма!—рѣшилъ Кряковъ.

— C'est très-joli и какъ похоже! я много разъ бывала... такъ похоже, такъ похоже!—твердила съ дѣтскою радостью Лилина.

— Да вотъ какъ,—вмѣшался генералъ:—что я забылъ, гдѣ я сижу; такъ и кажется, что веду бригаду, и даже давеча самъ поймалъ себя: салютую рукой вотъ этакъ, какъ будто у меня сабля въ рукахъ—ей-Богу!

— «Салютую»!—поймалъ! Что̀, какое это слово: развѣ русское?—сказалъ Суховъ.

— Это казенное, значитъ можно,—отвѣчалъ генералъ.

— Обращаясь къ задачѣ романа,—продолжалъ Чешневъ:—можно, кажется, безошибочно заключить, что главная цѣль автора — поставить на свое мѣсто все то, что̀ многіе стараются легкомысленно устранить...

— Позвольте узнать, что̀ еще онъ хочетъ ставить на ноги? противъ чего онъ сражается?—спросилъ Кряковъ.

— Да вотъ хоть бы противъ какого-то напускного пренебреженія къ представителямъ военной профессіи...

— Военное званіе—c'est une vocation, comme une autre!—вставилъ генералъ.

— Что̀, и у тебя русскаго пороху не хватило!—сказалъ Суховъ.

— Противъ военнаго званія никто не возстаетъ,—огрызнулся Кряковъ.—Оно—весь народъ!

— Нѣтъ, возставали и возстаютъ,—спорилъ генералъ:—гдѣ можно задѣть, осмѣять, брызнуть перомъ въ офицера—и брызнутъ! Мнѣ случалось самому нерѣдко читать, да и отъ многихъ военныхъ слыхалъ—тоже жалуются. Или—говорятъ—молчатъ совсѣмъ, какъ будто военныхъ и на свѣтѣ нѣтъ! обходятъ и въ газетахъ, и въ повѣстяхъ, и на

сценѣ — это что̀ значитъ? Пренебреженіе! Мы-де васъ и знать не хотимъ.

— Равнодушіе, а не пренебреженіе, — смягчилъ редакторъ.

— Да, равнодушіе — это такъ! — сказалъ Чешневъ: — но знаете ли, вѣдь равнодушіе — это самое коварное оружіе! Можно бороться со всякою силою, но какъ одолѣть это гробовое молчаніе невидимаго врага, это непризнаваніе значенія, правъ, и за кѣмъ: за воинами!

— Вы это все объ офицерахъ, что ли, говорите?—спросилъ Кряковъ.—Да, ихъ не трогаютъ, это правда! но прежде всего оттого, что обругать не позволятъ, а по головкѣ только гладить не за что! Да и невѣрно будетъ, односторонне,— какъ сейчасъ разсуждали — если только хвалить! Вотъ и молчатъ — и хорошо дѣлаютъ! Что же общаго у военнаго званія съ офицерами?

— Ба-ба-ба! А они къ какому же званію принадлежатъ? Чѣмъ они провинились? Позвольте, позвольте, милостивый государь! — горячился генералъ. — За что ихъ не любятъ и обходятъ?

— Обходятъ ихъ я сейчасъ сказалъ почему, — отвѣчалъ Кряковъ:—не велѣно трогать. А не любятъ—потому что... За что̀ ихъ любить? Смолоду они щеголяютъ, барствуютъ, роскошничаютъ у Борелей, въ обществѣ кокотокъ, катаются на рысакахъ и давятъ народъ...

— Когда? гдѣ? позвольте спросить. Вѣдь ужъ была возбуждена исторія, по навѣту печати, о какихъ-то офицерахъ, будто они скачутъ и давятъ народъ — и оказалось клеветой!

— Давите сколько хотите, все будетъ клевета; на то и привилегированное званіе!—добавилъ Кряковъ.

Генералъ и другіе иронически улыбались.

— Ну-съ, роскошничаютъ у Борелей... еще чѣмъ они виноваты?—спросилъ генералъ.

— Потомъ изъ нихъ дрессируютъ губернаторовъ, разныхъ директоровъ, правителей... нужды нѣтъ, что, бывало, въ обществѣ ходили разсказы объ ихъ милыхъ скандальчикахъ.

— Боже мой! Боже мой!—стоналъ Чешневъ:—какая злая несправедливость! И это русскій человѣкъ говоритъ о русскихъ, о своихъ братьяхъ!

Въ обществѣ сдѣлалось серьезное движеніе.

— Скажите, сколько на одинъ скандалъ между военными приходилось скандаловъ между статскими? Вся разница только въ томъ, что одни собирались у Борелей и Дюсо, а другіе на какой-нибудь «Средней Рогаткѣ» платили дань молодости! Сами же вы говорите «бывало»; вѣдь измѣнились же съ тѣхъ поръ нравы, явились гласный судъ, пресса... Зачѣмъ же вы хотите возвращать насъ къ давно минувшему одними злыми воспоминаніями?

Онъ поникъ головою и вздохнулъ.

— Офицеры, конечно, бываютъ молоды, какъ и студенты, и правовѣды, и семинаристы, — прибавилъ онъ: — тѣхъ вы извиняете, а офицеровъ нѣтъ! Ужели вы не видите благородной цѣли автора — поправить эту несправедливость, напомнить о нихъ, изобразить характеръ этого прекраснаго, хотя и непріятнаго вамъ круга общества, той группы его, которая идетъ въ эту минуту бороться и умирать за Россію?

Раздались рукоплесканія. Генералъ всталъ съ бокаломъ въ рукѣ.

— Хоть я и воинъ, но такъ мужественно и искусно сразиться за военныхъ не сумѣлъ бы. Позвольте выпить за ваше здоровье?—сказалъ онъ.

— И мы! и мы!—подтвердили всѣ.

— Щеголяютъ... барствуютъ... роскошничаютъ!.. — началъ опять Чешневъ, когда всѣ затихли. — Да развѣ есть другая жизнь, болѣе трудная, болѣе исполненная дѣла и

всякихъ лишеній, какъ жизнь этой самой военной молодежи! Вы считаете какія-то давнишнія, полинявшія пятна на ихъ мундирахъ — и пятна эти хотите перенести на цѣлую корпорацію! А она идетъ теперь побѣждать, или славно погибать!

— Это народъ, народъ,—все народъ!—твердилъ Кряковъ.

— Да вѣдь и Мининъ не одинъ пошелъ, а взялъ Пожарскаго! Боже мой! По-вашему, кто только образуется, одѣнется по-европейски, кого заслуга выдвинетъ впередъ — тотъ и перестаетъ принадлежать къ народу! А мнѣ кажется, что скорѣе тотъ, что хочетъ отдѣлаться отъ религіи своего народа, отъ народнаго единодушія и единомыслія въ своемъ государственномъ и общественномъ устройствѣ, — тотъ неизмѣримо дальше уходитъ отъ него, нежели тѣ, которые учатся говорить на иностранныхъ языкахъ и слѣдуютъ своимъ вкусамъ, своимъ привычкамъ.

— Браво! браво! admirable!—воскликнули всѣ.

— Ну, теперь уйду! давай Богъ ноги! Того и гляди за полиціей пошлютъ!—ворчалъ Кряковъ, но такъ, что его слышали и невольно засмѣялись.

— Не безпокойтесь, вы здѣсь въ полной безопасности!— сказалъ Урановъ почти обидчиво.

— Мы васъ не выдадимъ, вы герой!—весело прибавилъ Суховъ.

— Погоди одну минуту,—удерживалъ его студентъ:—вонъ Чешневъ хочетъ что-то сказать!

— Вы говорите о богачахъ, щеголяхъ, — сказалъ Чешневъ:—но вѣдь они и не въ военномъ быту жили бы такъ же, даже шире и роскошнѣе, а въ кругу товарищей они всетаки ограничены условіями своего быта. Но вѣдь это исключенія; много ли ихъ? А не богачи, живущіе въ казармахъ, жалованьемъ? А въ арміи—разбросанные по селамъ и деревнямъ? Спросите, какъ они роскошничаютъ?

— Этихъ авторъ не коснулся, — съ злой улыбкой замѣтилъ Кряковъ.

— Пусть такъ! Авторъ показалъ квинтъ-эссенцію военнаго званія: высшія, тонко выработанныя типичныя черты чести и военнаго достоинства—словомъ, взялъ вершины...

— Да развѣ честь — это привилегія военная, полковая, какъ полковая музыка, что-ли... а не свойство всѣхъ порядочныхъ людей въ мундирахъ и не въ мундирахъ? А онъ усвоилъ ее имъ какъ исключеніе!

— Онъ этого нигдѣ не говоритъ, онъ только коснулся нѣкоторыхъ формъ ея; есть степени и оттѣнки, своеобразные обычаи, условія, существующія во всякомъ дѣлѣ для однихъ, несуществующія для другихъ...

— Въ дѣлѣ чести все равно! все равно! — твердилъ Кряковъ.

— Ну, нѣтъ, — замѣтилъ генералъ: — уйти, напримѣръ, изъ департамента, или уйти съ военнаго поста — есть разница!

Послѣ этого настала пауза.

— Да, романъ замѣчательный,—разсуждалъ журналистъ.— Если бъ онъ явился лѣтъ сорокъ назадъ, онъ произвелъ бы сильную сенсацію въ обществѣ!

— А теперь?

— Теперь, съ Гоголя, все до того охвачено отрицательнымъ направленіемъ, что положительный типъ лица почти невозможенъ въ литературѣ. Къ этому подоспѣлъ реализмъ, ввелъ новые пріемы въ искусство и одержалъ безповоротную побѣду надъ классицизмомъ.

— Вы думаете, что классицизмъ исчезнетъ въ искусствѣ? Возможно ли это?—сказалъ Чешневъ.

— Въ томъ видѣ, въ какомъ онъ господствовалъ прежде, конечно—да...

— Это зависитъ отъ степени таланта, — вмѣшался профессоръ. — Геній можетъ реставрировать (при этомъ словѣ

генералъ поморщился) тотъ или другой стиль искусства! Вѣдь отказаться отъ классиковъ, значитъ отказаться отъ всякаго наслѣдія предковъ, отъ всякой преемственной связи съ прошедшимъ!

— Ну, опять запѣла канарейка!—ворчалъ Кряковъ сосѣдямъ, которые не могли не засмѣяться.

— Если мы въ живыхъ организмахъ слѣдующихъ одно за другимъ поколѣній замѣчаемъ, — продолжалъ профессоръ:—поразительную наслѣдственность отличительныхъ признаковъ, моральныхъ и физическихъ свойствъ, переходящую изъ рода въ родъ — то какъ же мы отвергнемъ передачу умственнаго, духовнаго или эстетическаго достоянія?.. Это значитъ отвергнуть цивилизацію — и начинать сначала. Зачѣмъ?

— Это совершенно справедливо,—замѣтилъ редакторъ:— но вы берете въ обширномъ смыслѣ...

— Позвольте, позвольте!—перебилъ Кряковъ: — отвѣтьте на мой вопросъ, только непремѣнно правду!

Опять общій смѣхъ.

— Oh, l'enfant terrible!—говорили въ концѣ стола.

— Давно ли вы читали вашихъ классиковъ и часто ли читаете ихъ?—спросилъ онъ.

Всѣ вдругъ смолкли.

— У меня Гомеръ, Горацій, Виргилій и всѣ классики, и древніе, и новые—всегда подъ рукой!—послѣ нѣкотораго молчанія сказалъ профессоръ.

— Я не васъ спрашиваю: это ваша служба! Вамъ классики нужны, какъ чиновнику *сводъ законовъ*. А вы? вы?— Онъ обратился къ Чешневу, редактору и къ прочимъ.

— Я заглядываю иногда...—отвѣчалъ редакторъ.

— Для справокъ по журналу, по части критики и беллетристики?

— Я помню многое, какъ будто вчера читалъ,—сказалъ Чешневъ:—и многое знаю наизусть...

— Что заучили въ школѣ; а теперь?

— И теперь, хотя рѣдко, но беру въ руки. Что же изъ этого?

— А вотъ эти всѣ господа, пожалуй, или вовсе, или со школьной скамьи не читали,—прибавилъ Кряковъ, указывая безъ церемоніи на прочихъ гостей:—или перезабыли!

«Читалъ прилежно Анулея,
А Цицерона не читалъ»,—

сказалъ, улыбаясь, Урановъ.

— Вотъ видите: и нашъ «великій» поэтъ этою ироніею только прикрылъ правду; никто ихъ не читаетъ, а учатъ ихъ въ школѣ сами не знаютъ зачѣмъ; какъ учатъ и тому что міръ сотворенъ въ шесть дней, что волчица кормила Ромула и Рема и т. п.; не вѣрятъ, а учатъ, потомъ забываютъ!

— Пусть волчица и не кормила Ромула и Рема, а все-таки нельзя не выучить этой фабулы,—замѣтилъ Чешневъ:—вы безъ всего этого въ жизни и шагу не сдѣлаете! Пожалуй, забыть можно, но узнать нужно. Эти преданія слились съ исторіей. Мало ли вы выучиваете такого, что вамъ не понадобится потомъ въ жизни; но все изученное входитъ въ плоть и кровь вашего нравственнаго, умственнаго и эстетическаго образованія! Безъ этой подкладки древнихъ классиковъ, ихъ образцовъ во всемъ — смѣло скажу, человѣкъ образованнымъ назваться не можетъ.

— Да зачѣмъ же учить ложь? Зачѣмъ не передѣлать этого вздора, чтобы не набивать имъ головы людскія? — вопилъ сердито Кряковъ.

— Вы правы,—заговорилъ редакторъ профессору:—классицизмъ будетъ присутствовать въ наукѣ и искусствѣ и во всей жизни, пожалуй, какъ фундаментъ... или корень, если хотите; онъ будетъ скрытъ въ глубинѣ земли. Но вѣдь человѣчество идетъ впередъ и все производитъ, творитъ; нарастаютъ новые роды, виды, и образуютъ со вре-

менемъ новое зданіе, которое въ свою очередь сдѣлается классическимъ. Отъ древняго же, начальнаго классицизма— мы, воля ваша, ушли далеко! И дальше все будутъ нарастать новые, свѣжіе слои... Развитіе остановиться не можетъ!

— Позвольте, однако, замѣтить,—сказалъ профессоръ:— что произведенія искусства, какъ образцы, и сами по себѣ не отжили, и не одна только школа и молодость наслаждаются ими. Конечно, мы избалованы новыми и свѣжими побѣгами — это такъ, и вкусъ нашъ отчасти притупился и сталъ мало чувствителенъ къ простой и величавой эстетической трапезѣ. Но, какъ я хотѣлъ сказать, по временамъ является реставрація древности, производимая геніальными талантами, и въ какомъ могуществѣ возстаютъ тогда великіе покойники! Напримѣръ—Рашель развѣ не воскресила намъ древнихъ библейскихъ и героическихъ женщинъ! Мы видѣли ихъ, какъ живыхъ!

— По Расину воскрешала древность! хороша древность!— замѣтилъ Кряковъ. — Развѣ Расинъ и Корнель тѣ классики, которыхъ вы разумѣете: полноте! А кто писалъ по классическимъ образцамъ, всѣ провалились со своими эпопеями, одами, диѳирамбами; отъ нихъ ничего не осталось, все умерло!

— Это оттого, что повторить ихъ не легко; и даже близко къ нимъ подойти!—сказалъ профессоръ.

— Потому что не нужно! — вставилъ Кряковъ. — Учи и пиши новую жизнь!

— Да,—прибавилъ Чешневъ:—вонъ статуя Венеры Милосской пролежала въ землѣ двѣ тысячи лѣтъ, но и теперь никто изъ новыхъ, въ своихъ произведеніяхъ, не подошелъ и близко къ ней! Или наша, хоть бы керченская ваза!.. Да все, все, что ни найдутъ: руку, торсъ, черепокъ вазы—все оказывается неподражаемо!

— Теперь все это машинами стали дѣлать на фабрикахъ,—сказалъ хозяинъ:—magnifique—et pas cher!

— Да, кажется, къ этому идетъ!—со вздохомъ замѣтилъ Чешневъ.

— Вы съѣхали на пластическія искусства, а мы, кажется, говорили объ искусствѣ слова!—сказалъ Кряковъ.

— И Гомера никто не повторилъ! — замѣтилъ профессоръ:—сами вы сказали!

— Наладили! — вполголоса замѣтилъ Кряковъ. — И я-то связался спорить! Кто бы сталъ читать новаго Гомера! Новый Гомеръ у насъ—это Гоголь!

Старики засмѣялись.

Опять настала пауза.

— Скажите, какъ вы находите женщинъ въ романѣ?—спросилъ Чешневъ редактора.

— Граціозныя, нѣжныя созданія, прозрачныя какъ видѣнія...—хвалилъ профессоръ.

— Да, именно видѣнія! — повторилъ журналистъ тономъ легкой ироніи:—такъ воздушно и тонко очерчены онѣ, что плоти и крови въ нихъ какъ будто нѣтъ! Это болѣе тѣни, нежели живыя фигуры. Иначе, впрочемъ, и быть не могло: авторъ, какъ я замѣтилъ, пишетъ условныя, лицевыя стороны жизни, не вводитъ насъ ни въ психологическую глубину, ни въ интимную реальную жизнь, оттого очерки его и блѣдны. Притомъ, женщины у него, какъ актрисы на сценѣ, дѣйствуютъ будто и на свободѣ, сами по себѣ, но во всякомъ ихъ словѣ и движеніи замѣтно, что на нихъ обращены тысячи глазъ. Мало того, что называется... abandon и вообще натуры...

— Завели рѣчь о «клубничкѣ»! — сказалъ съ пренебреженіемъ Кряковъ: — объ этомъ и говорить-то тошно! Нѣтъ романа, гдѣ авторъ самъ не захлебывался бы отъ юбочнаго счастья и не отравлялъ бы имъ и читателя! Ужели въ зрѣломъ обществѣ только въ этомъ вся жизнь и все дѣло и состоитъ, и другого содержанія нѣтъ!

— Есть, какъ не быть! вонъ — совѣтъ, пожалуй, дѣла...

есть клубъ, есть карты; а убери женщинъ совсѣмъ—ничего безъ нихъ и не надо! Это главное, это на первомъ планѣ: на этомъ все вертится! — вдругъ провозгласилъ хозяинъ.— Я не пишу ни романовъ, ни драмъ, ни комедій, а знаю, что и тамъ, и въ жизни, безъ нихъ—хоть въ гробъ ложись. Такъ ли?

— Такъ! такъ! — закричали всѣ. — За здоровье женщинъ! За ваше здоровье!

Всѣ обратились къ Лилиной.

— Браво!—пискнула она, сверкая дѣтскими глазками.— Я принимаю за всѣхъ женщинъ этотъ тостъ и благодарю!— Она кокетливо отпила изъ бокала.

— Да, женщины — все! — прибавилъ и профессоръ.—Онѣ иногда явный, иногда скрытый мотивъ всякаго человѣческаго дѣла; ихъ присутствіе, вѣяніе, такъ-сказать, женской атмосферы, даетъ цвѣтъ и плодъ жизни. Мы, мужчины, только орудіе, рабочая сила, на насъ лежитъ всякая черная работа... словомъ, мы—матерія, а женщины—духъ...

— Перестаньте, вѣдь мерзко слушать!—при общемъ смѣхѣ сказалъ Кряковъ.—Вотъ вѣдь, кажется, и культурный вѣкъ, и культурное общество...

— «Культурный вѣкъ»,—остановилъ его генералъ:—позвольте спросить, поймутъ ли васъ въ харчевнѣ, въ вашемъ народѣ, если вы скажете этакъ?

Кряковъ поморщился и отмахнулся рукой отъ генерала, какъ отъ большой собаки.

— Авторъ, изображая сцены любви, — замѣтилъ редакторъ опять съ ироніей:—держался болѣе теоріи «неземного чувства», какъ его называли, бывало, въ стихахъ. У него любовь похожа скорѣе на религіозный экстазъ католическихъ монахинь, а не на живое, страстное человѣческое чувство...

— Какъ у Зола, напримѣръ? — спросилъ Чешневъ.—Да, надо прибавить и этотъ цвѣтокъ къ вѣнку автора; онъ не

отемнилъ своихъ страницъ ни однимъ пятномъ грубой чувственности! Свѣтъ и огонь чувства сквозитъ и грѣетъ вездѣ, а горячихъ углей нѣтъ! Это одна изъ его заслугъ!

— Онъ скупенекъ на поцѣлуи, это правда!—сказалъ Суховъ:—нѣтъ, чтобы того... этакъ... (онъ поглядывалъ на Лилину, какъ будто ея присутствіе стѣсняло его)—что-нибудь насчетъ... какъ, напримѣръ, тамъ графъ съ княгиней... въ паркѣ, что ли, въ ея деревнѣ... ну, жаркую сценку... какъ водится... по-человѣчески!...

Всѣ посмѣивались.

— Вотъ, чего захотѣлъ; смотри, узнаетъ Анна Андреевна!—сказалъ ему хозяинъ.

— Да, вы правы; если ужъ писать объ этомъ, такъ пиши реально, — замѣтилъ и Кряковъ: — клубничка такъ клубничка! Изображай правду! не краснѣй! разсказывай, какъ амурничаютъ эти бары и барыни между собой! Или графы и княгини иначе дѣлаютъ любовь, нежели мужики? Открой намъ тайны ихъ будуаровъ и альковов, если открываешь всю ихъ жизнь! А то дѣлаютъ любовь съ напускнымъ, невиннымъ лицомъ, какъ будто играютъ пьесу въ папашины именины.

— А кто видалъ эти тайны?—спросилъ Чешневъ.

— Какъ кто? я думаю, всѣ! —со смѣхомъ сказалъ Кряковъ.

— Кого же? себя видали въ чувственныхъ изліяніяхъ любви?—продолжалъ Чешневъ. — И у художника достанетъ духа писать съ себя и съ любимой женщины! Скажите, какое чувство испытываетъ порядочный человѣкъ, если ему случится быть постороннимъ свидѣтелемъ самой скромной ласки между любящимися, даже между мужемъ и женой? Его коробитъ; а вы требуете, чтобы художникъ вносилъ въ искусство то, на что сама природа набросила покровъ, — стыдитесь!

Кряковъ улыбнулся.

— Какимъ изящнымъ слогомъ разсказываете вы все это!—замѣтилъ онъ.

— Очень желалъ бы вамъ сдѣлать такой же комплиментъ, но, къ сожалѣнію, не могу...

Общій смѣхъ не далъ договорить ему.

— Превесело, право!—твердилъ Суховъ.

И хозяинъ развеселился.

— Да, благодаря Митѣ!—сказалъ онъ.

— А отдѣлаю я автора, покажись только въ печать! — грозилъ Кряковъ.

— Да, если вы скажете печатно то, что вы говорили здѣсь, то, конечно, произведеніе нашего автора не выдержитъ такой критики. Это все равно, если бъ сюда вошелъ гость — и мы вмѣсто того, чтобы раздвинуть стулья, очистить между нами мѣсто и встрѣтить его вѣжливо и радушно, вдругъ поднялись бы на него толпой, съ крикомъ, съ упреками, что онъ не такъ одѣтъ, не такъ пригожъ, уменъ! Вотъ образъ новой критики! Новый авторъ тоже, что новый гость въ литературѣ! Какіе же это нравы? какая критика?

— Это называется теперь critique militante... воинствующая!—съ ироніей замѣтилъ профессоръ.

— Да, правда! критика—это война!—сказалъ Чешневъ:— но одни воюютъ мечомъ или копьемъ, какъ рыцари...

— Больше порохомъ и свинцомъ!—поправилъ генералъ.

— А другіе...

— Кулакомъ! Да, это бываетъ; и хоть не такъ больно, какъ свинцомъ, а все-таки морды до крови разбиваютъ! — добавилъ Кряковъ и самъ засмѣялся, когда засмѣялись другіе.—Впрочемъ, до этого рѣдко доходитъ; больше ругаются!— заключилъ онъ.

— Что это за прелесть—малый!—сказалъ Суховъ.

— А вы, Матвѣй Ивановичъ, — провозгласилъ вдругъ

хозяинъ, обращаясь къ Скудельникову: — что молчите? ни слова не сказали?

— Я давно хотѣлъ сказать, да не дали...

— Ну, говорите теперь: что такое?

— А вотъ дыню и ананасъ забыли, такъ и остались неразрѣзанными!—сказалъ онъ.

Всѣ засмѣялись.

— Въ самомъ дѣлѣ! сейчасъ, сейчасъ! — захлопотался хозяинъ. — Да что вы о дынѣ, вы о романѣ-то ничего не сказали.

— Я все слушалъ...

— Ну, и скажите что-нибудь.

— Все скажу.

— Говорите: мы слушаемъ.

— Я не вамъ, я самому автору скажу.

— Что̀ скажете?

— Все что̀ здѣсь происходило и что̀ говорили о его романѣ...

— Нельзя: мало ли что̀ тутъ говорили. Онъ обидится.

— Вы не знаете его, а еще друзья! Все скажу, что̀ дѣлали и говорили...

— Все?

— Все, даже и про ананасъ съ дыней не забуду!

— Скорѣй! скорѣй! кончимъ ихъ...

— Некогда, смотрите, на дворѣ день!

Всѣ оглянулись къ окнамъ. Майское утро превозмогало, даже сквозь густые занавѣсы, блескъ свѣчей.

Кряковъ вдругъ всталъ съ мѣста и скорыми шагами подошелъ къ хозяину, вмѣстѣ съ студентомъ.

— Прощайте, мнѣ пора! — сказалъ онъ: — спасибо вамъ! Прекрасный вечеръ! Мнѣ очень весело было... Ужинъ отличный, и вино тоже!

Всѣ смотрѣли на него съ улыбкой. Хозяинъ, Суховъ, генералъ окружили его. Прочіе сидѣли.

— Не хотите ли рюмку на прощанье?—сказалъ хозяинъ.

— Хоть стаканъ, съ удовольствіемъ!

Ему подали вина.

— За ваше здоровье! Благодарю! Я очень доволенъ вами! очень!

Всѣ хохотали.

— А мы-то вами какъ?—сказалъ Суховъ.

Урановъ пожималъ ему обѣ руки.

— Намъ надо васъ благодарить! Вы доставили намъ такъ много удовольствія...—говорилъ онъ.

— Въ самомъ дѣлѣ? Ну, я радъ! Прощайте и вы всѣ;—сказалъ онъ прочимъ собесѣдникамъ: — я на васъ не сержусь, господа!

Общій хохотъ былъ ему отвѣтомъ.

— Il ne manquait que ça! Est-il drôle!—раздалось среди смѣха въ другомъ концѣ стола.

— Право, не сержусь! ни на кого! даже и на васъ! — обратился онъ къ Красноперову.—И на ваше превосходительство тоже!—обратился онъ къ генералу.—Дайте руку!

— Вы очень добры! —сказалъ генералъ и весело хлопнулъ рукой по его ладони.

Красноперовъ надулся. Хохотъ такъ и гудѣлъ.

— Что же вы смѣетесь?—упрекнулъ Кряковъ.—Скажите имъ, что это неучтиво! — обратился онъ къ Чешневу: — вы мнѣ дали урокъ въ учтивости, а они вонъ что! Смѣйтесь, когда уйду!

Но у всѣхъ лица такъ и сіяли отъ смѣха.

— Dieu, Dieu, Dieu, Dieu! — повторялъ гость въ концѣ стола.

— Я самъ пріѣду къ вамъ съ визитомъ благодарить васъ за посѣщеніе!—сказалъ хозяинъ.

— Хорошо, хорошо! очень радъ! Славная мысль! буду ждать васъ!—отвѣчалъ Кряковъ.—Зачѣмъ съ визитомъ, да еще благодарить? Просто такъ пріѣзжайте! Не обманите!

Урановъ молчалъ и въ недоумѣніи поглядывалъ на него.

— И мнѣ позвольте покороче познакомиться съ вами и просить васъ когда-нибудь сдѣлать мнѣ честь пожаловать ко мнѣ! — сказалъ Суховъ. — Я пріѣду къ вамъ вотъ съ Григоріемъ Петровичемъ...

— Буду ожидать; что жъ, я радъ!.. И васъ всѣхъ прошу: милости просимъ ко мнѣ, кому угодно...

Всѣ смѣялись.

— Я теперь въ Павловскѣ!—прибавилъ онъ.

— На дачѣ? Гдѣ же васъ тамъ найти? — спросилъ съ улыбкой Суховъ.

— Вотъ онъ знаетъ! — отвѣчалъ Кряковъ, указывая на молодого Уранова.—Съ нимъ пріѣзжайте! вотъ бы въ четвергъ: тамъ музыка въ этотъ день... Право!

— Гдѣ же мы васъ тамъ, на музыкѣ встрѣтимъ?—спросилъ Урановъ съ улыбкой.

И всѣ улыбались.

— Да, хоть на музыкѣ, а потомъ ко мнѣ...

— Прощайте, прощайте, не поминайте лихомъ! — твердилъ онъ, обходя столъ; Чешневу онъ молча подалъ руку и крѣпко пожалъ ее; тотъ отвѣчалъ ему тѣмъ же и съ какимъ-то состраданіемъ посмотрѣлъ ему вслѣдъ. — Теперь, кажется, мало такихъ, — замѣтилъ онъ тихо сосѣду: — это одинъ изъ послѣднихъ могиканъ!

— И этотъ, я думаю, тоже, — отвѣчалъ тотъ тихо, указывая глазами на Краснoперова.

Кряковъ все прощался.

— Et vous, là-bas sans rancune! — сказалъ онъ вдругъ, подходя къ концу стола, откуда раздавались французскія фразы.

— Tiens! il parle correctement!—замѣтили тамъ.

Потомъ онъ остановился около Лилиной.

— Прощайте, барыня! — сказалъ онъ: — я и на васъ не сержусь; видите, какой я добрый!

— Что это такое!—сказалъ тотъ и началъ читать вслухъ: «Въ четвергъ, 12-го мая, въ Павловскомъ театрѣ, данъ будетъ, въ пользу герцоговинцевъ, спектакль, съ участіемъ артиста Императорскихъ театровъ»...

Онъ не успѣлъ договорить имени артиста, какъ все общество гостей привстало съ мѣстъ, хоромъ ахнуло и вдругъ оцѣпенѣло въ молчаніи.

— Это онъ! возможно ли! — шепнулъ кто-то точно въ испугѣ.

— Diable! diable! nous sommes joliment attrapés!—проговорилъ про себя другой.

Общая картина, которою вполнѣ наслаждался только одинъ зритель, молодой Урановъ.

Затѣмъ послѣдовалъ общій, сплошной смѣхъ.—А мы-то!—А я-то!—вырывалось среди хохота, то у того, то у другого. Чешневъ такъ и заливался дѣтскимъ смѣхомъ надъ собою. Только Красноперовъ угрюмо молчалъ.

— Какъ это тебѣ въ голову пришло, Митя! — обнимая племянника, сказалъ Урановъ.

— Вы просили, дядя, помочь, чтобъ весело было! — сказалъ тотъ.

— Спасибо! я въ долгу у тебя не останусь!—заключилъ Урановъ.

Еще собесѣдники не очнулись отъ смѣха, какъ вошелъ человѣкъ и сказалъ, что швейцаръ пришелъ снизу доложить что-то нужное. Швейцаръ и самъ выглядывалъ изъ-за дверей въ залу.

— Что такое случилось? что тебѣ? — спросилъ Григорій Петровичъ швейцара.—Войди!

— Насчетъ гостя; вотъ что сейчасъ изволили уйти...

— Ну?

Всѣ съ напряженнымъ вниманіемъ ждали.

— Когда они вышли, я подалъ имъ пальто; а они подо-

шли къ зеркалу, покосились на меня и отвернулись вотъ этакъ спиной... а я въ зеркало-то все и увидалъ...

— Что жъ ты увидалъ?

— Они хвать за усы, да въ карманъ ихъ, хвать за бороду — да въ карманъ! Гляжу, совсѣмъ другой человѣкъ сталъ! Да безъ оглядки какъ бросится вонъ, на извозчика— и такъ прытко погнали...

— Ну, что же?

— Я и побѣжалъ наверхъ доложить... господинъ незнакомый, въ первый разъ... все ли цѣло... серебро... Можно догнать...

Всеобщій гомерическій хохотъ былъ ему отвѣтомъ.

Съ хохотомъ гости прощались съ Урановымъ, съ хохотомъ шли по лѣстницѣ, одѣвались и разъѣзжались.

Въ слѣдующій за этимъ вечеръ, въ четвергъ, вечерній поѣздъ привезъ въ семь часовъ въ Павловскъ всѣхъ гостей, бывшихъ на литературномъ вечерѣ Уранова, кромѣ Красноперова и графа Пестова, и много другихъ лицъ того же круга. За два дня до спектакля не было уже ни одного мѣста; билеты были распроданы по баснословной цѣнѣ.

Артиста, какъ и всегда, при его появленіи встрѣтилъ восторженный пріемъ. Раскланиваясь, онъ особый поклонъ обратилъ въ ту сторону, гдѣ сидѣли: Урановъ, Суховъ, генералъ, самъ авторъ романа и дамы, между прочими, графиня Синявская съ дочерью, княгиня и княжна Тецкія, Лилина и много другихъ. Пьеса прошла блистательно, вызовамъ не было конца, букетамъ и подаркамъ тоже. Тутъ были и вѣнки, и несессеры, и футляры съ разными вещами. Общее вниманіе обратилъ поданный изъ ложи, черезъ капельдинера, большой старинный серебряный кубокъ, изящной работы, который Урановъ показывалъ за ужиномъ своимъ гостямъ.

Артистъ принялъ кубокъ, узналъ его, взглянулъ на ложу,

откуда его подали, и не могъ даже поклониться. Онъ только приложилъ руку къ сердцу.

На кубкѣ были вырѣзаны имена всѣхъ присутствовавшихъ за ужиномъ.

«Истинному виновнику вечера 7-го мая — благодарные собесѣдники», сказано было въ запискѣ, вложенной въ кубокъ.

Тамъ же оказался футляръ съ браслетомъ, украшеннымъ большимъ изумрудомъ съ брильянтами вокругъ.

«Съ одной женской руки на другую, достойнѣйшую, руку супруги знаменитаго артиста — отъ женщины», написано было мелкимъ женскимъ почеркомъ на бумажкѣ.

Наконецъ, со дна кубка артистъ досталъ пачку радужныхъ ассигнацій. Онъ сосчиталъ—оказалось пятьсотъ рублей. Онъ отнесъ ихъ въ кассу, взялъ расписку въ полученіи пожертвованія отъ такихъ-то лицъ въ пользу славянъ— и отправилъ ее на другой день со своею визитною карточкою къ Уранову.

Сентябрь 1877.

„МИЛЬОНЪ ТЕРЗАНІЙ“.

(Критическій этюдъ).

«Горе отъ ума», *Грибоѣдова.*—Бенефисъ Монахова, ноябрь, 1871 г.

Комедія «Горе отъ ума» держится какимъ-то особнякомъ въ литературѣ и отличается моложавостью, свѣжестью и болѣе крѣпкой живучестью отъ другихъ произведеній слова. Она, какъ столѣтній старикъ, около котораго всѣ, отживъ по очереди свою пору, умираютъ и валятся, а онъ ходитъ, бодрый и свѣжій, между могилами старыхъ и колыбелями новыхъ людей. И никому въ голову не приходитъ, что настанетъ когда-нибудь и его чередъ.

Всѣ знаменитости первой величины, конечно, не даромъ поступили въ такъ-называемый «храмъ безсмертія». У всѣхъ у нихъ много, а у иныхъ, какъ, напримѣръ, у Пушкина, гораздо болѣе правъ на долговѣчность, нежели у Грибоѣдова. Ихъ нельзя близко и ставить одного съ другимъ. Пушкинъ громаденъ, плодотворенъ, силенъ, богатъ. Онъ для русскаго искусства то же, что̀ Ломоносовъ для русскаго просвѣщенія вообще. Пушкинъ занялъ собою всю свою эпоху, самъ создалъ другую, породилъ школы художниковъ,—взялъ себѣ въ эпохѣ все, кромѣ того, что̀ успѣлъ взять Грибоѣдовъ и до чего не договорился Пушкинъ.

Несмотря на геній Пушкина, передовые его герои, какъ герои его вѣка, уже блѣднѣютъ и уходятъ въ прошлое. Геніальныя созданія его, продолжая служить образцами и источникомъ искусству—сами становятся исторіей. Мы изучили Онѣгина, его время и его среду, взвѣсили, опредѣлили значеніе этого типа, но не находимъ уже живыхъ слѣдовъ этой личности въ современномъ вѣкѣ, хотя созданіе этого типа останется неизгладимымъ въ литературѣ. Даже позднѣйшіе герои вѣка, напримѣръ, Лермонтовскій Печоринъ, представляя, какъ и Онѣгинъ, свою эпоху, каменѣютъ, однако, въ неподвижности, какъ статуи на могилахъ. Не говоримъ о явившихся позднѣе ихъ, болѣе или менѣе яркихъ типахъ, которые при жизни авторовъ успѣли сойти въ могилу, оставивъ по себѣ нѣкоторыя права на литературную память.

Называли *безсмертною* комедіею «Недоросль» Фонвизина,—и основательно—ея живая, горячая пора продолжалась около полувѣка: это громадно для произведенія слова. Но теперь нѣтъ ни одного намека въ «Недорослѣ» на живую жизнь, и комедія, отслуживъ свою службу, обратилась въ историческій памятникъ.

«Горе отъ ума» появилось раньше Онѣгина, Печорина, пережило ихъ, прошло невредимо чрезъ Гоголевскій періодъ, прожило эти полвѣка со времени своего появленія и все живетъ своею нетлѣнною жизнью, переживетъ и еще много эпохъ и все не утратитъ своей жизненности.

Отчего же это, и что такое вообще это «Горе отъ ума»?

Критика не трогала комедію съ однажды занятаго ею мѣста, какъ будто затрудняясь, куда ее помѣстить. Изустная оцѣнка опередила печатную, какъ сама пьеса задолго опередила печать. Но грамотная масса оцѣнила ее фактически. Сразу понявъ ея красоты и не найдя недостатковъ, она разнесла рукопись на клочья, на стихи, полустишія, развела всю соль и мудрость пьесы въ разговорной рѣчи.

точно обратила мильонъ въ гривенники, и до того испестрила Грибоѣдовскими поговорками разговоръ, что буквально истаскала комедію до пресыщенія.

Но пьеса выдержала и это испытаніе — и не только не опошлилась, но сдѣлалась, какъ будто, дороже для читателей, нашла себѣ въ каждомъ изъ нихъ покровителя, критика и друга, какъ басни Крылова, не утратившія своей литературной силы, перейдя изъ книги въ живую рѣчь.

Печатная критика всегда относилась съ бо̀льшею или меньшею строгостью только къ сценическому исполненію пьесы, мало касаясь самой комедіи, или высказываясь въ отрывочныхъ, неполныхъ и разнорѣчивыхъ отзывахъ. Рѣшено разъ всѣми навсегда, что комедія образцовое произведеніе—и на томъ всѣ помирились.

И мы здѣсь не претендуемъ произнести критическій приговоръ, въ качествѣ присяжнаго критика: рѣшительно уклоняясь отъ этого—мы, въ качествѣ любителя, только высказываемъ свои размышленія, тоже по поводу одного изъ послѣднихъ представленій «Горе отъ ума» на сценѣ. Мы хотимъ подѣлиться съ читателемъ этими своими мнѣніями, или лучше сказать сомнѣніями о томъ, такъ ли играется пьеса, т. е. съ той ли точки зрѣнія смотрятъ обыкновенно на ея исполненіе и сами артисты, и зрители? А заговоривъ объ этомъ, нельзя не высказать мнѣній и сомнѣній и о томъ, такъ ли должно понимать самую пьесу, какъ ее понимаютъ нѣкоторые исполнители и, можетъ-быть, и зрители. Не хотимъ опять сказать, что мы считаемъ нашъ способъ пониманія непогрѣшимымъ — мы предлагаемъ его только какъ одинъ изъ способовъ пониманія, или какъ одну изъ точекъ зрѣнія.

Что дѣлать актеру, вдумывающемуся въ свою роль въ этой пьесѣ? Положиться на одинъ собственный судъ—не достанетъ никакого самолюбія, а прислушаться за сорокъ лѣтъ къ говору общественнаго мнѣнія — нѣтъ возможности,

не затерявшись въ мелкомъ анализѣ. Остается, изъ безчисленнаго хора высказанныхъ и высказывающихся мнѣній, остановиться на нѣкоторыхъ общихъ выводахъ, наичаще повторяемыхъ—и на нихъ уже строить собственный планъ оцѣнки.

Одни цѣнятъ въ комедіи картину московскихъ нравовъ извѣстной эпохи, созданіе живыхъ типовъ и ихъ искусную группировку. Вся пьеса представляется какимъ-то кругомъ знакомыхъ читателю лицъ, и притомъ такимъ опредѣленнымъ и замкнутымъ, какъ колода картъ. Лица Фамусова, Молчалина, Скалозуба и другія врѣзались въ память такъ же твердо, какъ короли, валеты и дамы въ картахъ, и у всѣхъ сложилось болѣе или менѣе согласное понятіе о всѣхъ лицахъ, кромѣ одного — Чацкаго. Такъ всѣ они начертаны вѣрно и строго и такъ примелькались всѣмъ. Только о Чацкомъ многіе недоумѣваютъ: что̀ онъ такое? Онъ какъ-будто пятьдесятъ-третья какая-то загадочная карта въ колодѣ. Если было мало разногласія въ пониманіи другихъ лицъ, то о Чацкомъ, напротивъ, разнорѣчія не кончились до сихъ поръ и можетъ быть не кончатся еще долго.

Другіе, отдавая справедливость картинѣ нравовъ, вѣрности типовъ, дорожатъ болѣе эпиграмматической солью языка, живой сатирой—моралью, которою пьеса до сихъ поръ, какъ неистощимый колодецъ, снабжаетъ всякаго на каждый обиходный шагъ жизни.

Но и тѣ и другіе цѣнители почти обходятъ молчаніемъ самую «комедію», дѣйствіе, и многіе даже отказываютъ ей въ условномъ сценическомъ движеніи.

Несмотря на то, всякій разъ, однако, когда мѣняется персоналъ въ роляхъ, и тѣ и другіе судьи идутъ въ театръ, и снова поднимаются оживленные толки объ исполненіи той или другой роли и о самыхъ роляхъ, какъ будто въ новой пьесѣ.

Всѣ эти разнообразныя впечатлѣнія и на нихъ основан-

ная своя точка зрѣнія у всѣхъ и у каждаго служатъ лучшимъ опредѣленіемъ пьесы, т. е., что комедія «Горе отъ ума» есть и картина нравовъ, и галлерея живыхъ типовъ, и вѣчно-острая, жгучая сатира, и вмѣстѣ съ тѣмъ и комедія и, скажемъ сами за себя—больше всего комедія—какая едва ли найдется въ другихъ литературахъ, если принять совокупность всѣхъ прочихъ высказанныхъ условій. Какъ картина, она, безъ сомнѣнія, громадна. Полотно ея захватываетъ длинный періодъ русской жизни — отъ Екатерины до императора Николая. Въ группѣ двадцати лицъ отразилась, какъ лучъ свѣта въ каплѣ воды, вся прежняя Москва, ея рисунокъ, тогдашній ея духъ, историческій моментъ и нравы. И это съ такою художественною, объективною законченностью и опредѣленностью, какая далась у насъ только Пушкину и Гоголю.

Въ картинѣ, гдѣ нѣтъ ни одного блѣднаго пятна, ни одного посторонняго, лишняго штриха и звука — зритель и читатель чувствуютъ себя и теперь, въ нашу эпоху, среди живыхъ людей. И общее и детали, все это не сочинено, а такъ цѣликомъ взято изъ московскихъ гостиныхъ и перенесено въ книгу и на сцену, со всей теплотой и со всѣмъ «особымъ отпечаткомъ» Москвы,—отъ Фамусова до мелкихъ штриховъ, до князя Тугоуховскаго и до лакея Петрушки, безъ которыхъ картина была бы не полна.

Однако для насъ она еще не вполнѣ законченная историческая картина: мы не отодвинулись отъ эпохи на достаточное разстояніе, чтобъ между ею и нашимъ временемъ легла непроходимая бездна. Колоритъ не сгладился совсѣмъ; вѣкъ не отдѣлился отъ нашего, какъ отрѣзанный ломоть: мы кое-что оттуда унаслѣдовали, хотя Фамусовы, Молчалины, Загорѣцкіе и пр. видоизмѣнились такъ, что не влѣзутъ уже въ кожу Грибоѣдовскихъ типовъ. Рѣзкія черты отжили конечно: никакой Фамусовъ не станетъ теперь приглашать въ шуты и ставить въ примѣръ Максима Петр-

вича, по крайней мѣрѣ, такъ положительно и явно. Молчалинъ, даже передъ горничной, втихомолку, не сознается теперь въ тѣхъ заповѣдяхъ, которыя завѣщалъ ему отецъ; такой Скалозубъ, такой Загорѣцкій невозможны даже въ далекомъ захолустьѣ. Но пока будетъ существовать стремленіе къ почестямъ помимо заслуги, пока будутъ водиться мастера и охотники угодничать и «награжденья брать и весело пожить», пока сплетни, бездѣлье, пустота будутъ господствовать, не какъ пороки, а какъ стихіи общественной жизни,—до тѣхъ поръ, конечно, будутъ мелькать и въ современномъ обществѣ черты Фамусовыхъ, Молчалиныхъ и другихъ, нужды нѣтъ, что съ самой Москвы стерся тотъ «особый отпечатокъ», которымъ гордился Фамусовъ.

Общечеловѣческіе образцы конечно остаются всегда, хотя и тѣ превращаются въ неузнаваемые отъ временныхъ перемѣнъ типы, такъ что, на смѣну старому, художникамъ иногда приходится обновлять, по прошествіи долгихъ періодовъ, являвшіяся уже когда-то въ образахъ основныя черты нравовъ и вообще людской натуры, облекая ихъ въ новую плоть и кровь въ духѣ своего времени. Тартюфъ конечно—вѣчный типъ, Фальстафъ—вѣчный характеръ—но и тотъ и другой, и многіе еще знаменитые подобные имъ первообразы страстей, пороковъ и проч., исчезая сами въ туманѣ старины, почти утратили живой образъ и обратились въ идею, въ условное понятіе, въ нарицательное имя порока, и для насъ служатъ уже не живымъ урокомъ, а портретомъ исторической галлереи.

Это особенно можно отнести къ Грибоѣдовской комедіи. Въ ней мѣстный колоритъ слишкомъ ярокъ, и обозначеніе самыхъ характеровъ такъ строго очерчено и обставлено такою реальностью деталей, что общечеловѣческія черты едва выдѣляются изъ-подъ общественныхъ положеній, ранговъ, костюмовъ и т. п.

Какъ картина современныхъ нравовъ, комедія «Горе отъ

ума» была отчасти анахронизмомъ и тогда, когда въ 30-хъ годахъ появилась на московской сценѣ. Уже Щепкинъ, Мочаловъ, Львова-Синецкая, Ленскій, Орловъ и Сабуровъ играли не съ натуры, а по свѣжему преданію. И тогда стали исчезать рѣзкіе штрихи. Самъ Чацкій гремитъ противъ «вѣка минувшаго», когда писалась комедія, а она писалась между 1815 и 1820 годами.

«Какъ посравнить да посмотрѣть» (говоритъ онъ),

«Вѣкъ нынѣшній и вѣкъ *минувшій*,

«Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ»—

а про свое время выражается такъ:

«*Теперь* вольнѣе всякій дышитъ»—

или:

«Бранилъ *вашъ* вѣкъ я безпощадно»,—

говоритъ онъ Фамусову.

Слѣдовательно, теперь остается только немногое отъ мѣстнаго колорита: страсть къ чинамъ, низкопоклонничество, пустота. Но съ какими-нибудь реформами чины могутъ отойти, низкопоклонничество до степени лакейства Молчалинскаго уже прячется и теперь въ темноту, а поэзія фрунта уступила мѣсто строгому и раціональному направленію въ военномъ дѣлѣ.

Но все же еще кое-какіе живые слѣды есть, и они пока мѣшаютъ обратиться картинѣ въ законченный историческій барельефъ. Эта будущность еще пока у ней далеко впереди.

Соль, эпиграмма, сатира, этотъ разговорный стихъ, кажется, никогда не умрутъ, какъ и самъ, разсыпанный въ нихъ острый и ѣдкій, живой русскій умъ, который Грибоѣдовъ заключилъ, какъ волшебникъ духа какого-нибудь въ свой замокъ, и онъ разсыпается тамъ злобнымъ смѣхомъ. Нельзя представить себѣ, чтобъ могла явиться когда-нибудь другая, болѣе естественная, простая, болѣе взятая изъ

жизни рѣчь. Проза и стихъ слились здѣсь во что-то нераздѣльное, затѣмъ кажется, чтобы ихъ легче было удержать въ памяти и пустить опять въ оборотъ весь собранный авторомъ умъ, юморъ, шутку и злость русскаго ума и языка. Этотъ языкъ такъ же дался автору, какъ далась группа этихъ лицъ, какъ дался главный смыслъ комедіи, какъ далось все вмѣстѣ, будто вылилось разомъ, и все образовало необыкновенную комедію—и въ тѣсномъ смыслѣ какъ сценическую пьесу, — и въ обширномъ, какъ комедію жизни. Другимъ ничѣмъ, какъ комедіей, она и не могла бы быть.

Оставя двѣ капитальныя стороны пьесы, которыя такъ явно говорятъ за себя, и потому имѣютъ большинство почитателей,—т.-е. картину эпохи, съ группой живыхъ портретовъ, и соль языка,—обратимся сначала къ комедіи, какъ къ сценической пьесѣ, потомъ какъ къ комедіи вообще, къ ея общему смыслу, къ главному разуму ея въ общественномъ и литературномъ значеніи, наконецъ, скажемъ и объ исполненіи ея на сценѣ.

Давно привыкли говорить, что нѣтъ движенія, т.-е. нѣтъ дѣйствія въ пьесѣ. Какъ нѣтъ движенія? Есть—живое, непрерывное, отъ перваго появленія Чацкаго на сценѣ до послѣдняго его слова: «Карету мнѣ, карету!»

Это—тонкая, умная, изящная и страстная комедія, въ тѣсномъ, техническомъ смыслѣ, — вѣрная въ мелкихъ психологическихъ деталяхъ,—но для зрителя почти неуловимая, потому что она замаскирована типичными лицами героевъ, геніальной рисовкой, колоритомъ мѣста, эпохи, прелестью языка, всѣми поэтическими силами, такъ обильно разлитыми въ пьесѣ. Дѣйствіе, т.-е. собственно интрига въ ней, передъ этими капитальными сторонами, кажется блѣднымъ, лишнимъ, почти ненужнымъ.

Только при разъѣздѣ въ сѣняхъ зритель точно пробуждается при неожиданной катастрофѣ, разразившейся между главными лицами, и вдругъ припоминаетъ комедію-интригу.

Но и то не надолго. Передъ нимъ уже выростаетъ громадный, настоящій смыслъ комедіи.

Главная роль, конечно — роль Чацкаго, безъ которой не было бы комедіи, а была бы, пожалуй, картина нравовъ.

Самъ Грибоѣдовъ приписалъ горе Чацкаго его уму, а Пушкинъ отказалъ ему вовсе въ умѣ.

Можно бы было подумать, что Грибоѣдовъ, изъ отеческой любви къ своему герою, польстилъ ему въ заглавіи, какъ будто предупредивъ читателя, что герой его уменъ, а всѣ прочіе около него не умны.

Но Чацкій, не только умнѣе всѣхъ прочихъ лицъ, но и положительно уменъ. Рѣчь его кипитъ умомъ, остроуміемъ. У него есть и сердце, и притомъ онъ безукоризненно честенъ. Словомъ — это человѣкъ, не только умный, но и развитой, съ чувствомъ, или, какъ рекомендуетъ его горничная Лиза, онъ «чувствителенъ и веселъ, и остеръ». Только личное его горе произошло не отъ одного ума, а болѣе отъ другихъ причинъ, гдѣ умъ его игралъ страдательную роль, и это подало Пушкину поводъ отказать ему въ умѣ. Между тѣмъ Чацкій, какъ личность, несравненно выше и умнѣе Онѣгина и Лермонтовскаго Печорина. Онъ искренній и горячій дѣятель, а тѣ—паразиты, изумительно начертанные великими талантами, какъ болѣзненныя порожденія отжившаго вѣка. Ими заканчивается ихъ время, а Чацкій начинаетъ новый вѣкъ—и въ этомъ все его значеніе и весь «умъ».

И Онѣгинъ, и Печоринъ, оказались неспособны къ дѣлу, къ активной роли, хотя оба смутно понимали, что около нихъ все истлѣло. Они были даже «озлоблены», носили въ себѣ и «недовольство» и бродили какъ тѣни съ «тоскующею лѣнью». Но презирая пустоту жизни, праздное барство, они поддавались ему и не подумали, ни бороться съ нимъ, ни бѣжать окончательно. Недовольство и озлобленіе не мѣшали Онѣгину франтить, «блестѣть» и въ театрѣ, и на

балѣ, и въ модномъ ресторанѣ, кокетничать съ дѣвицами и серьезно ухаживать за ними въ замужествѣ, а Печорину блестѣть интересной скукой и мыкать свою лѣнь и озлобленіе между княжной Мери и Бэлой, а потомъ рисоваться равнодушіемъ къ нимъ передъ тупымъ Максимомъ Максимычемъ: это равнодушіе—считалось квинтъ-эссенціей донъ-жуанства. Оба томились, задыхались въ своей средѣ, и не знали, чего хотѣть. Онѣгинъ пробовалъ читать, но зѣвнулъ и бросилъ, потому что ему и Печорину была знакома одна наука «страсти нѣжной», а прочему всему они учились «чему-нибудь и какъ-нибудь»—и имъ нечего было дѣлать.

Чацкій, какъ видно, напротивъ, готовился серьезно къ дѣятельности. «Онъ славно пишетъ, переводитъ», говоритъ о немъ Фамусовъ, и всѣ твердятъ о его высокомъ умѣ. Онъ, конечно, путешествовалъ не даромъ, учился, читалъ, принимался, какъ видно, за трудъ, былъ въ сношеніяхъ съ министрами и разошелся—не трудно догадаться почему:

«Служить бы радъ,—прислуживаться тошно»,—

намекаетъ онъ самъ. О «тоскующей лѣни, о праздной скукѣ» и помину нѣтъ, а еще менѣе о «страсти нѣжной», какъ о наукѣ и о занятіи. Онъ любитъ серьезно, видя въ Софьѣ будущую жену.

Между тѣмъ Чацкому досталось выпить до дна горькую чашу—не найдя ни въ комъ «сочувствія живого», и уѣхать, увозя съ собой только «мильонъ терзаній».

Ни Онѣгинъ, ни Печоринъ не поступили бы такъ неумно вообще, въ дѣлѣ любви и сватовства особенно. Но зато они уже поблѣднѣли и обратились для насъ въ каменныя статуи, а Чацкій остается и останется всегда въ живыхъ за эту свою «глупость».

Читатель помнитъ, конечно, все что продѣлалъ Чацкій. Прослѣдимъ слегка ходъ пьесы и постараемся выдѣлить изъ нея драматическій интересъ комедіи, то движеніе, которое

идетъ черезъ всю пьесу, какъ невидимая, но живая нить, связующая всѣ части и лица комедіи между собою.

Чацкій вбѣгаетъ къ Софьѣ, прямо изъ дорожнаго экипажа, не заѣзжая къ себѣ, горячо цѣлуетъ у ней руку, глядитъ ей въ глаза, радуется свиданію, въ надеждѣ найти отвѣтъ прежнему чувству — и не находитъ. Его поразили двѣ перемѣны: она необыкновенно похорошѣла и охладѣла къ нему—тоже необыкновенно.

Это его и озадачило, и огорчило, и немного раздражило. Напрасно онъ старается посыпать солью юмора свой разговоръ, частію играя этой своей силой, чѣмъ конечно прежде нравился Софьѣ, когда она его любила, — частію подъ вліяніемъ досады и разочарованія. Всѣмъ достается, всѣхъ перебралъ онъ—отъ отца Софьи до Молчалина—и какими мѣткими чертами рисуетъ онъ Москву—и сколько изъ этихъ стиховъ ушло въ живую рѣчь! Но все напрасно: нѣжныя воспоминанія, остроты—ничто не помогаетъ. Онъ *терпитъ отъ нея однѣ холодности*, пока, ѣдко задѣвъ Молчалина, онъ не задѣлъ за живое и ее. Она уже съ скрытой злостью спрашиваетъ его, случилось ли ему хоть нечаянно «добро о комъ-нибудь сказать», и исчезаетъ при входѣ отца, выдавъ послѣднему почти головой Чацкаго, т. е. объявивъ его героемъ разсказаннаго передъ тѣмъ отцу сна.

Съ этой минуты между ею и Чацкимъ завязался горячій поединокъ, самое живое дѣйствіе, комедія въ тѣсномъ смыслѣ, въ которой принимаютъ близкое участіе два лица, Молчалинъ и Лиза.

Всякій шагъ Чацкаго, почти всякое слово въ пьесѣ, тѣсно связаны съ игрой чувства его къ Софьѣ, раздраженнаго какою-то ложью въ ея поступкахъ, которую онъ и бьется разгадать до самаго конца. Весь умъ его и всѣ силы уходятъ въ эту борьбу: она и послужила мотивомъ, поводомъ къ раздраженіямъ; къ тому «мильону терзаній», подъ вліяніемъ которыхъ онъ только и могъ сыграть ука-

занную ему Грибоѣдовымъ роль, роль гораздо бо̀льшаго, высшаго значенія, нежели неудачная любовь, словомъ роль, для которой и родилась вся комедія.

Чацкій почти не замѣчаетъ Фамусова, холодно и разсѣянно отвѣчаетъ на его вопросъ, гдѣ былъ? «Теперь мнѣ до того ли?» говоритъ онъ, и обѣщая пріѣхать опять, уходитъ, проговаривая изъ того, что его поглощаетъ:

«Какъ Софья Павловна у васъ похорошѣла!»

Во второмъ посѣщеніи онъ начинаетъ разговоръ опять о Софьѣ Павловнѣ.—«Не больна ли она? не приключилось ли ей печали?»— и до такой степени охваченъ и подогрѣтымъ ея расцвѣтшей красотой чувствомъ, и ея холодностью къ нему, что, на вопросъ отца, не хочетъ ли онъ на ней жениться, въ разсѣянности спрашиваетъ: «А вамъ на что!» И потомъ равнодушно, только изъ приличія, дополняетъ:

«Пусть я посватаюсь, вы что бы мнѣ сказали?»

И почти не слушая отвѣта, вяло замѣчаетъ на совѣтъ «послужить»:

«Служить бы радъ,—прислуживаться тошно!»

Онъ и въ Москву, и къ Фамусову, пріѣхалъ очевидно для Софьи и къ одной Софьѣ. До другихъ ему дѣла нѣтъ; ему и теперь досадно, что онъ, вмѣсто нея, нашелъ одного Фамусова. «Какъ здѣсь бы ей не быть?» задается онъ вопросомъ, припоминая прежнюю юношескую свою любовь, которую въ немъ «ни даль не охладила, ни развлеченіе, ни перемѣна мѣстъ»,—и мучается ея холодностью.

Ему скучно и говорить съ Фамусовымъ—и только положительный вызовъ Фамусова на споръ выводитъ Чацкаго изъ его сосредоточенности:

«Вотъ то-то, всѣ вы гордецы:
«Смотрѣли бы какъ дѣлали отцы,
«Учились бы, на старшихъ глядя!»—

говоритъ Фамусовъ и затѣмъ чертитъ такой грубый и уродливый рисунокъ раболѣпства, что Чацкій не вытерпѣлъ

и въ свою очередь сдѣлалъ параллель вѣка «минувшаго» съ вѣкомъ «нынѣшнимъ».

Но все еще раздраженіе его сдержано: онъ какъ будто совѣстится за себя, что вздумалъ отрезвлять Фамусова отъ его понятій; онъ спѣшитъ вставить, что «не о дядюшкѣ его говоритъ», котораго привелъ въ примѣръ Фамусовъ, и даже предлагаетъ послѣднему побранить и свой вѣкъ, наконецъ, всячески старается замять разговоръ, видя, какъ Фамусовъ заткнулъ уши, — успокаиваетъ его, почти извиняется.

«Длить споры не мое желанье»,—

говоритъ онъ. Онъ готовъ опять войти въ себя. Но его будитъ неожиданный намекъ Фамусова на слухъ о сватовствѣ Скалозуба.

«Вотъ будто женится на Софьюшкѣ...» и т. д.

Чацкій навострилъ уши.

«Какъ суетится, что за прыть!»—

«А Софья? Нѣтъ ли впрямь тутъ жениха какого?» говоритъ онъ, и хотя потомъ прибавляетъ:

«Ахъ—тотъ скажи любви конецъ,
«Кто на три года вдаль уѣдетъ!»—

но самъ еще не вѣритъ этому, по примѣру всѣхъ влюбленныхъ, пока эта любовная аксіома не разыгралась надъ нимъ до конца.

Фамусовъ подтверждаетъ свой намекъ о женитьбѣ Скалозуба, навязывая послѣднему мысль «о генеральшѣ», и почти явно вызываетъ на сватовство.

Эти намеки на женитьбу возбудили подозрѣнія Чацкаго о причинахъ перемѣны къ нему Софьи. Онъ даже согласился-было на просьбу Фамусова бросить «завиральныя идеи» и помолчать при гостѣ. Но раздраженіе уже шло crescendo, и онъ вмѣшался въ разговоръ, пока небрежно, а потомъ, раздосадованный неловкой похвалой Фамусова

его уму и проч., возвышаетъ тонъ и разрѣшается рѣзкимъ монологомъ:

«А судьи кто?» и т. д. Тутъ уже завязывается другая борьба, важная и серьезная, цѣлая битва. Здѣсь въ нѣсколькихъ словахъ раздается, какъ въ увертюрѣ оперъ, главный мотивъ, намекается на истинный смыслъ и цѣль комедіи. Оба, Фамусовъ и Чацкій, бросили другъ другу перчатку:

«Смотрѣли бы, какъ дѣлали отцы,
«Учились бы, на старшихъ глядя!»—

раздался военный кликъ Фамусова. А кто эти старшіе и «судьи»?

...«За дряхлостію лѣтъ
«Къ свободной жизни ихъ вражда непримирима»,—

отвѣчаетъ Чацкій и казнитъ—

«Прошедшаго житья подлѣйшія черты».

Образовались два лагеря, или, съ одной стороны, цѣлый лагерь Фамусовыхъ и всей братіи «отцовъ и старшихъ»,— съ другой—одинъ пылкій и отважный боецъ, «врагъ исканій». Это борьба на жизнь и смерть, борьба за существованіе, какъ новѣйшіе натуралисты опредѣляютъ естественную смѣну поколѣній въ животномъ мірѣ. Фамусовъ хочетъ быть «тузомъ» — «ѣсть на серебрѣ и на золотѣ, ѣздить цугомъ, весь въ орденахъ, быть богатымъ и видѣть дѣтей богатыми, въ чинахъ, въ орденахъ и съ ключомъ»—и такъ безъ конца, и все это только за то, что онъ подписываетъ бумаги, не читая и боясь одного, «чтобъ множество не накопилось ихъ».

Чацкій рвется къ «свободной жизни», «къ занятіямъ наукой и искусствомъ и требуетъ службы дѣлу, а не лицамъ» и т. д. На чьей сторонѣ побѣда? Комедія даетъ Чацкому только «*мильонъ терзаній*» и оставляетъ, повидимому, въ томъ же положеніи Фамусова и его братію.

въ какомъ они были, ничего не говоря о послѣдствіяхъ борьбы.

Теперь намъ извѣстны эти послѣдствія. Они обнаружились съ появленіемъ комедіи, еще въ рукописи, въ свѣтъ— и какъ эпидемія охватили всю Россію!

Между тѣмъ интрига любви идетъ своимъ чередомъ, правильно, съ тонкою психологическою вѣрностью, которая во всякой другой пьесѣ, лишенной прочихъ колоссальныхъ Грибоѣдовскихъ красотъ — могла бы сдѣлать автору имя.

Обморокъ Софьи при паденіи съ лошади Молчалина, ея участіе къ нему, такъ неосторожно высказавшееся, новые сарказмы Чацкаго на Молчалина — все это усложнило дѣйствіе и образовало тотъ главный пунктъ, который назывался въ піитикахъ завязкою. Тутъ сосредоточился драматическій интересъ. Чацкій почти угадалъ истину:

«Смятенье, обморокъ, поспѣшность, гнѣвъ испуга (по случаю паденья съ лошади Молчалина).
«Все это можно ощущать,
«Когда лишаешься единственнаго друга».—

говоритъ онъ и уѣзжаетъ въ сильномъ волненіи, въ мукахъ подозрѣній на двухъ соперниковъ.

Въ третьемъ актѣ онъ раньше всѣхъ забирается на балъ, съ цѣлью «вынудить признанье» у Софьи — и съ дрожью нетерпѣнья приступаетъ къ дѣлу прямо съ вопросомъ: «Кого она любитъ?»

Послѣ уклончиваго отвѣта, она признается, что ей милѣе его «иные». Кажется ясно. Онъ и самъ видитъ это и даже говоритъ:

«И я чего хочу, когда все рѣшено?
«Мнѣ въ петлю лѣзть, а ей смѣшно!»

Однако лѣзетъ, какъ всѣ влюбленные, несмотря на свой «умъ», и уже слабѣетъ передъ ея равнодушіемъ. Онъ бросаетъ никуда негодное противъ счастливаго соперника ору-

жіе — прямое нападеніе на него, и снисходитъ до притворства:

«Разъ въ жизни притворюсь,»

рѣшаетъ онъ, — чтобъ «разгадать загадку», а собственно чтобъ удержать Софью, когда она рванулась прочь при новой стрѣлѣ, пущенной въ Молчалина. Это не притворство, а уступка, которою онъ хочетъ выпросить то̀, чего нельзя выпросить — любви, когда ея нѣтъ. Въ его рѣчи уже слышится молящій тонъ, нѣжные упреки, жалобы:

«Но есть ли въ немъ та страсть, то чувство, пылкость та...
«Чтобъ, кромѣ васъ, ему міръ цѣлый
«Казался прахъ и суета?
«Чтобъ сердца каждое біенье
«Любовью ускорялось къ вамъ...»—

говоритъ онъ,—и наконецъ:

«Чтобъ равнодушнѣе мнѣ понести утрату,
«Какъ человѣку—вы, который съ вами взросъ—
«Какъ другу вашему, какъ брату,
«Мнѣ дайте убѣдиться въ томъ...»

Это уже слезы. Онъ трогаетъ серьезныя струны чувства—

«Отъ сумасшествія могу я остеречься,
«Пущусь подалѣе простыть, охолодѣть...»—

заключаетъ онъ. Затѣмъ оставалось только упасть на колѣни и зарыдать. Остатки ума спасаютъ его отъ безполезнаго униженія.

Такую мастерскую сцену, высказанную такими стихами, едва ли представляетъ какое-нибудь другое драматическое произведеніе. Нельзя благороднѣе и трезвѣе высказать чувство, какъ оно высказалось у Чацкаго, нельзя тоньше и граціознѣе выпутаться изъ ловушки, какъ выпутывается Софья Павловна. Только Пушкинскія сцены Онѣгина съ Татьяной напоминаютъ эти тонкія черты умныхъ натуръ.

Софьѣ удалось-было совершенно отдѣлаться отъ новой подозрительности Чацкаго, но она сама увлеклась своей лю-

бовью къ Молчалину и чуть не испортила все дѣло, высказавшись почти открыто въ любви. На вопросъ Чацкаго:

«Зачѣмъ же вы его (Молчалина) такъ коротко узнали?»

Она отвѣчаетъ:

«Я не старалась! Богъ насъ свелъ.»

Этого довольно, чтобъ открыть глаза слѣпому. Но ее спасъ самъ Молчалинъ, т.-е. его ничтожество. Она въ увлеченіи поспѣшила нарисовать его портретъ во весь ростъ, можетъ-быть въ надеждѣ примирить съ этой любовью не только себя, но и другихъ, даже Чацкаго, не замѣчая, какъ портретъ выходитъ пошлъ:

«Смотрите, дружбу всѣхъ онъ въ домѣ пріобрѣлъ.
«При батюшкѣ три года служитъ;
«Тотъ часто безъ толку сердитъ,
«А онъ безмолвіемъ его обезоружитъ,
«Отъ доброты души проститъ.
«А между прочимъ
«Веселостей искать бы могъ.—
«Ничутъ, отъ старичковъ не ступитъ за порогъ!
«Мы рѣзвимся, хохочемъ:
«Онъ съ нами цѣлый день засядетъ, радъ не радъ,
«Играетъ...»

Далѣе:

«Чудеснѣйшаго свойства...
«Онъ, наконецъ, уступчивъ, скроменъ, тихъ,
«И на душѣ проступковъ никакихъ;
«Чужихъ и вкривь, и вкось не рубитъ...
«Вотъ я-за что его люблю!»

У Чацкаго разсѣялись всѣ сомнѣнія:

«Она его не уважаетъ!»
«Шалитъ, она его не любитъ.
«Она не ставитъ въ грошъ его!»—

утѣшаетъ онъ себя при каждой ея похвалѣ Молчалину, и потомъ хватается за Скалозуба. Но отвѣтъ ея — что онъ «герой не ея романа», уничтожилъ и эти сомнѣнія. Онъ оставляетъ ее безъ ревности, но въ раздумьѣ, сказавъ:

«Кто разгадаетъ васъ!»

Онъ и самъ не вѣрилъ въ возможность такихъ соперниковъ, а теперь убѣдился въ этомъ. Но и его надежды на взаимность, до сихъ поръ горячо волновавшія его, совершенно поколебались, особенно когда она не согласилась остаться съ нимъ подъ предлогомъ, что «щипцы остынутъ», и потомъ, на просьбу его позволить зайти къ ней въ комнату, при новой колкости на Молчалина, она ускользнула отъ него и заперлась.

Онъ почувствовалъ, что главная цѣль возвращенія въ Москву ему измѣнила, и онъ отходитъ отъ Софіи съ грустью. Онъ, какъ потомъ сознается въ сѣняхъ, съ этой минуты подозрѣваетъ въ ней только холодность ко всему, и послѣ этой сцены самый обморокъ отнесъ не «къ признакамъ живыхъ страстей», какъ прежде, а «къ причудѣ избалованныхъ нервъ».

Слѣдующая сцена его съ Молчалинымъ, вполнѣ обрисовывающая характеръ послѣдняго, утверждаетъ Чацкаго окончательно, что Софья не любитъ этого соперника.

«Обманщица смѣялась надо мной!»—

замѣчаетъ онъ и идетъ навстрѣчу новымъ лицамъ.

Комедія между нимъ и Софьей оборвалась; жгучее раздраженіе ревности унялось и холодъ безнадежности пахнулъ ему въ душу.

Ему оставалось уѣхать; но на сцену вторгается другая, живая, бойкая комедія, открывается разомъ нѣсколько новыхъ перспективъ московской жизни, которыя не только вытѣсняютъ изъ памяти зрителя интригу Чацкаго, но и самъ Чацкій какъ будто забываетъ о ней и мѣшается въ толпу. Около него группируются и играютъ, каждое свою роль, новыя лица. Это балъ, со всей московской обстановкой, съ рядомъ живыхъ сценическихъ очерковъ, въ которыхъ каждая группа образуетъ свою отдѣльную комедію, съ полною

обрисовкою характеровъ, успѣвшихъ въ нѣсколькихъ словахъ разыграться въ законченное дѣйствіе.

Развѣ не полную комедію разыгрываютъ Горичевы? Этотъ мужъ, недавно еще бодрый и живой человѣкъ, теперь опустившійся, облекшійся, какъ въ халатъ, въ московскую жизнь, баринъ; «мужъ-мальчикъ, мужъ-слуга, идеалъ московскихъ мужей», по мѣткому опредѣленію Чацкаго, — подъ башмакомъ приторной, жеманной, свѣтской супруги, московской дамы?

А эти шесть княженъ и графиня-внучка,—весь этотъ контингентъ невѣстъ, «умѣющихъ, по словамъ Фамусова, принарядить себя тафтицей, бархатцомъ и дымкой», «поющихъ верхнія нотки и льнущихъ къ военнымъ людямъ»?

Эта Хлестова, остатокъ екатерининскаго вѣка, съ моськой, съ арапкой-дѣвочкой, — эта княгиня и князь Петръ Ильичъ—безъ слова, но такая говорящая руина прошлаго—Загорѣцкій, явный мошенникъ, спасающійся отъ тюрьмы въ лучшихъ гостиныхъ и откупающійся угодливостью, въ родѣ собачьихъ поносокъ, и эти N. N., и всѣ толки ихъ, и все занимающее ихъ содержаніе!

Наплывъ этихъ лицъ такъ обиленъ, портреты ихъ такъ рельефны, что зритель хладѣетъ къ интригѣ, не успѣвая ловить эти быстрые очерки новыхъ лицъ и вслушиваться въ ихъ оригинальный говоръ.

Чацкаго уже нѣтъ на сценѣ. Но онъ до ухода далъ обильную пищу той главной комедіи, которая началась у него съ Фамусовымъ, въ первомъ актѣ, потомъ съ Молчалинымъ,—той битвѣ со всей Москвой, куда онъ, по цѣлямъ автора, затѣмъ и пріѣхалъ.

Въ краткихъ, даже мгновенныхъ встрѣчахъ съ старыми знакомыми, онъ успѣлъ всѣхъ вооружить противъ себя ѣдкими репликами и сарказмами. Его уже живо затрогиваютъ всякіе пустяки—и онъ даетъ волю языку. Разсердилъ старуху Хлестову, далъ невпопадъ нѣсколько совѣтовъ Гори-

чеву, рѣзко оборвалъ графиню-внучку и опять задѣлъ Молчалина.

Но чаша переполнилась. Онъ выходитъ изъ заднихъ комнатъ уже окончательно разстроенный, и по старой дружбѣ, въ толпѣ опять идетъ къ Софьѣ, надѣясь хоть на простое сочувствіе. Онъ повѣряетъ ей свое душевное состояніе:

«Мильонъ терзаній!»—

говоритъ онъ:

«Груди отъ дружескихъ тисковъ,
«Ногамъ отъ шарканья, ушамъ отъ восклицаній,
«А пуще головѣ отъ всякихъ пустяковъ!
«Здѣсь у меня душа какимъ-то горемъ сжата!»—

жалуется онъ ей, не подозрѣвая, какой заговоръ созрѣлъ противъ него въ непріятельскомъ лагерѣ.

«Мильонъ терзаній» и «горе!» — вотъ что онъ пожалъ за все, что успѣлъ посѣять. До сихъ поръ онъ былъ непобѣдимъ: умъ его безпощадно поражалъ больныя мѣста враговъ. Фамусовъ ничего не находитъ, какъ только зажать уши противъ его логики, и отстрѣливается общими мѣстами старой морали. Молчалинъ смолкаетъ, княжны, графини — пятятся прочь отъ него, обожженныя крапивой его смѣха, и прежній другъ его, Софья, которую одну онъ щадитъ, лукавитъ, скользитъ и наноситъ ему главный ударъ втихомолку, объявивъ его, подъ рукой, вскользь, сумасшедшимъ.

Онъ чувствовалъ свою силу и говорилъ увѣренно. Но борьба его истомила. Онъ очевидно ослабѣлъ отъ этого «мильона терзаній», и разстройство обнаружилось въ немъ такъ замѣтно, что около него группируются всѣ гости, какъ собирается толпа около всякаго явленія, выходящаго изъ обыкновеннаго порядка вещей.

Онъ не только грустенъ, но и желченъ, придирчивъ. Онъ, какъ раненый, собираетъ всѣ силы, дѣлаетъ вызовъ толпѣ—

и наноситъ ударъ всѣмъ,—но не хватило у него мощи противъ соединеннаго врага.

Онъ впадаетъ въ преувеличенія, почти въ нетрезвость рѣчи, и подтверждаетъ во мнѣніи гостей распущенный Софьей слухъ о его сумасшествіи. Слышится уже не острый, ядовитый сарказмъ, въ который вставлена вѣрная, опредѣленная идея, правда, — а какая-то горькая жалоба, какъ будто на личную обиду, на пустую, или, по его же словамъ, «незначущую встрѣчу съ французикомъ изъ Бордо», которую онъ, въ нормальномъ состояніи духа, едва ли бы замѣтилъ.

Онъ пересталъ владѣть собой, и даже не замѣчаетъ, что онъ самъ составляетъ спектакль на балѣ. Онъ ударяется и въ патріотическій паѳосъ, договаривается до того, что находитъ фракъ противнымъ «разсудку и стихіямъ», сердится, что madame и mademoiselle не переведены на русскій языкъ,—словомъ, «il divague!» заключили вѣроятно о немъ всѣ шесть княженъ и графиня-внучка. Онъ чувствуетъ это и самъ, говоря, что «въ многолюдствѣ онъ растерянъ, самъ не свой!»

Онъ точно «самъ не свой», начиная съ монолога «о французикѣ изъ Бордо» — и такимъ остается до конца пьесы. Впереди пополняется только «мильонъ терзаній».

Пушкинъ, отказывая Чацкому въ умѣ, вѣроятно, всего болѣе имѣлъ въ виду послѣднюю сцену 4-го акта, въ сѣняхъ, при разъѣздѣ. Конечно, ни Онѣгинъ, ни Печоринъ, эти франты, не сдѣлали бы того, что продѣлалъ въ сѣняхъ Чацкій. Тѣ были слишкомъ дрессированы, «въ наукѣ страсти нѣжной», а Чацкій отличается и между прочимъ искренностью и простотой, и не умѣетъ, и не хочетъ рисоваться. Онъ не франтъ, не левъ. Здѣсь измѣняетъ ему не только умъ, но и здравый смыслъ, даже простое приличіе. Такихъ пустяковъ надѣлалъ онъ!

Отдѣлавшись отъ болтовни Репетилова и спрятавшис

швейцарскую въ ожиданіи кареты, онъ подглядѣлъ свиданіе Софьи съ Молчалинымъ и разыгралъ роль Отелло, не имѣя на то никакихъ правъ. Онъ упрекаетъ ее, зачѣмъ она его «надеждой завлекла», зачѣмъ прямо не сказала, что прошлое забыто. Тутъ что ни слово — то неправда. Никакой надеждой она его не завлекала. Она только и дѣлала, что уходила отъ него, едва говорила съ нимъ, призналась въ равнодушіи, назвала какой-то старый дѣтскій романъ и прятанье по угламъ «ребячествомъ» и даже намекнула, что «Богъ ее свелъ съ Молчалинымъ».

А онъ, потому только, что

«...такъ страстно и такъ низко
Былъ расточитель нѣжныхъ словъ»,

въ ярости, за собственное свое безполезное униженіе, за напущенный на себя добровольно самимъ собою обманъ, — казнитъ всѣхъ, а ей бросаетъ жестокое и несправедливое слово:

«Съ вами я горжусь моимъ разрывомъ»,

когда нечего было и разрывать! Наконецъ, просто доходитъ до брани, изливая желчь:

«На дочь и на отца,
И на любовника *глупца*»,

и кипитъ бѣшенствомъ на всѣхъ, «на мучителей толпу, предателей, нескладныхъ умниковъ, лукавыхъ простаковъ, старухъ зловѣщихъ» и т. д. И уѣзжаетъ изъ Москвы искать «уголка оскорбленному чувству», произнося всему безпощадный судъ и приговоръ!

Если бъ у него явилась одна здоровая минута, если бъ не жегъ его «мильонъ терзаній», онъ бы, конечно, самъ сдѣлалъ себѣ вопросъ: «зачѣмъ и за что надѣлалъ я всю эту кутерьму?» И, конечно, не нашелъ бы отвѣта.

За него отвѣчаетъ Грибоѣдовъ, который не спроста кончилъ пьесу этой катастрофой. Въ ней, не только для Софьи,

но и для Фамусова и всѣхъ его гостей, «умъ» Чацкаго, сверкавшій, какъ лучъ свѣта въ цѣлой пьесѣ, разразился въ концѣ въ тотъ громъ, при которомъ крестятся, по пословицѣ, мужики.

Отъ грома первая перекрестилась Софья, остававшаяся до самаго появленія Чацкаго, когда Молчалинъ уже ползалъ у ногъ ея, все тою же безсознательною Софьей Павловною, съ тою же ложью, въ какой ее воспиталъ отецъ, въ какой онъ прожилъ самъ, весь его домъ и весь кругъ. Еще не опомнившись отъ стыда и ужаса, когда маска упала съ Молчалина, она прежде всего радуется, что «ночью все узнала, что нѣтъ укоряющихъ свидѣтелей въ глазахъ!»

А нѣтъ свидѣтелей, слѣдовательно все шито да крыто, можно забыть, выйти замужъ, пожалуй, за Скалозуба, а на прошлое смотрѣть...

Да никакъ не смотрѣть. Свое нравственное чувство стерпитъ, Лиза не проговорится, Молчалинъ пикнуть не смѣетъ. А мужъ? Но какой же московскій мужъ, «изъ жениныхъ пажей», станетъ озираться на прошлое!

Это и ея мораль, и мораль отца, и всего круга. А между тѣмъ Софья Павловна индивидуально не безнравственна: она грѣшитъ грѣхомъ невѣдѣнія, слѣпоты, въ которой жили всѣ —

«Свѣтъ не караетъ заблужденій,
Но тайны требуетъ для нихъ!»

Въ этомъ двустишіи Пушкина выражается общій смыслъ условной морали. Софья никогда не прозрѣвала отъ нея и не прозрѣла бы безъ Чацкаго никогда, за неимѣніемъ случая. Послѣ катастрофы, съ минуты появленія Чацкаго— оставаться слѣпой уже невозможно. Его суда, ни обойти забвеніемъ, ни подкупить ложью, ни успокоить—нельзя. Она не можетъ не уважать его, и онъ будетъ вѣчнымъ ея

ряющимъ свидѣтелемъ», судьей ея прошлаго. Онъ открылъ ей глаза.

До него она не сознавала слѣпоты своего чувства къ Молчалину, и даже, разбирая послѣдняго, въ сценѣ съ Чацкимъ, по ниточкѣ, сама собою не прозрѣла на него. Она не замѣчала, что сама вызвала его на эту любовь, о которой онъ, дрожа отъ страха, и подумать не смѣлъ. Ее не смущали свиданія наединѣ ночью, и она даже проговорилась въ благодарности къ нему въ послѣдней сценѣ, за то, что «въ ночной тиши онъ держался больше робости во нравѣ!». Слѣдовательно и тѣмъ, что она не увлечена окончательно и безвозвратно, она обязана не себѣ самой, а ему!

Наконецъ, въ самомъ началѣ, она проговаривается еще наивнѣе передъ горничной:

«Подумаешь, какъ счастье своенравно»,

говоритъ она, когда отецъ засталъ Молчалина рано утромъ у ней въ комнатѣ:

«Бываетъ хуже—съ рукъ сойдетъ!»

А Молчалинъ просидѣлъ у нея въ комнатѣ цѣлую ночь. Что же разумѣла она подъ этимъ «хуже»? Можно подумать Богъ знаетъ что: honny soit qui mal y pense! Софья Павловна вовсе не такъ виновата, какъ кажется.

Это — смѣсь хорошихъ инстинктовъ съ ложью, живого ума съ отсутствіемъ всякаго намека на идеи и убѣжденія,— путаница понятій, умственная и нравственная слѣпота— все это не имѣетъ въ ней характера личныхъ пороковъ, а является, какъ общія черты ея круга. Въ собственной, личной ея физіономіи, прячется въ тѣни что-то свое, горячее, нѣжное, даже мечтательное. Остальное принадлежитъ воспитанію.

Французскія книжки, на которыя сѣтуетъ Фамусовъ, фортепіано (еще съ аккомпаниментомъ флейты), стихи, французскій языкъ и танцы—вотъ что считалось классическимъ образованіемъ барышни. А потомъ «Кузнецкій мостъ и вѣч-

ныя обновы», балы, такіе какъ этотъ балъ у ея отца, и это общество—вотъ тотъ кругъ, гдѣ была заключена жизнь «барышни». Женщины учились только воображать и чувствовать и не учились мыслить и знать. Мысль безмолвствовала, говорили одни инстинкты. Житейскую мудрость почерпали онѣ изъ романовъ, повѣстей—и оттуда инстинкты развивались въ уродливыя, жалкія, или глупыя свойства: мечтательность, сентиментальность, исканіе идеала въ любви, а иногда и хуже.

Въ снотворномъ застоѣ, въ безвыходномъ морѣ лжи, у большинства женщинъ снаружи господствовала условная мораль—а втихомолку жизнь кишила, за отсутствіемъ здоровыхъ и серьезныхъ интересовъ, вообще всякаго содержанія, тѣми романами, изъ которыхъ и создалась «наука страсти нѣжной». Онѣгины и Печорины — вотъ представители цѣлаго класса, почти породы ловкихъ кавалеровъ, jeunes premiers. Эти передовыя личности въ high life—такими являлись и въ произведеніяхъ литературы, гдѣ и занимали почетное мѣсто со временъ рыцарства и до нашего времени, до Гоголя. Самъ Пушкинъ, не говоря о Лермонтовѣ, дорожилъ этимъ внѣшнимъ блескомъ, этою представительностью du bon ton, манерами высшаго свѣта, подъ которою крылось и «озлобленіе», и «тоскующая лѣнь», и «интересная скука». Пушкинъ щадилъ Онѣгина, хотя касается легкой ироніей его праздности и пустоты, но до мелочи и съ удовольствіемъ описываетъ модный костюмъ, бездѣлки туалета, франтовство — и ту напущенную на себя небрежность и невниманіе ни къ чему, эту fatuité, позированье, которымъ щеголяли дэнди. Духъ позднѣйшаго времени снялъ заманчивую драпировку съ его героя и всѣхъ подобныхъ ему «кавалеровъ», и опредѣлилъ истинное значеніе такихъ господъ, согнавъ ихъ съ перваго плана.

Они и были героями и руководителями этихъ романовъ, и обѣ стороны дрессировались до брака, который погло-

щалъ всѣ романы почти безслѣдно, развѣ попадалась и оглашалась какая-нибудь слабонервная, сентиментальная — словомъ, дурочка, или героемъ оказывался такой искренній «сумасшедшій», какъ Чацкій.

Но въ Софьѣ Павловнѣ, спѣшимъ оговориться, т.-е. въ чувствѣ ея къ Молчалину есть много искренности, сильно напоминающей Татьяну Пушкина. Разницу между ними кладетъ «московскій отпечатокъ», потомъ бойкость, умѣнье владѣть собой, которое явилось въ Татьянѣ при встрѣчѣ съ Онѣгинымъ уже послѣ замужества, а до тѣхъ поръ она не сумѣла солгать о любви даже нянѣ. Но Татьяна—деревенская дѣвушка, а Софья Павловна — московская, по-тогдашнему развитая.

Между тѣмъ она въ любви своей точно такъ же готова выдать себя, какъ Татьяна: обѣ, какъ въ лунатизмѣ, бродятъ въ увлеченіи, съ дѣтской простотой. И Софья, какъ Татьяна же, сама начинаетъ романъ, не находя въ этомъ ничего предосудительнаго, даже не догадываясь о томъ. Софья удивляется хохоту горничной при разсказѣ, какъ она съ Молчалинымъ проводитъ всю ночь: «Ни слова вольнаго!— и такъ вся ночь проходитъ!» «Врагъ дерзости, всегда застѣнчивый, стыдливый!» Вотъ чѣмъ она восхищается въ немъ! Это смѣшно, но тутъ есть какая-то почти грація — и куда далеко до безнравственности, нужды нѣтъ, что она проговорилась словомъ: хуже—это тоже наивность. Громадная разница не между ею и Татьяной, а между Онѣгинымъ и Молчалинымъ. Выборъ Софьи конечно не рекомендуетъ ее, но и выборъ Татьяны тоже былъ случайный, даже едва ли ей и было изъ кого выбирать.

Вглядываясь глубже въ характеръ и обстановку Софьи, видишь, что не безнравственность (но и не «Богъ», конечно) «свели ее» съ Молчалинымъ. Прежде всего, влеченіе покровительствовать любимому человѣку, бѣдному, скромному, не смѣющему поднять на нее глазъ, — возвы-

сить его до себя, до своего круга, дать ему семейныя права. Безъ сомнѣнія ей въ этомъ улыбалась роль властвовать надъ покорнымъ созданіемъ, сдѣлать его счастье и имѣть въ немъ вѣчнаго раба. Не ея вина, что изъ этого выходилъ будущій «мужъ-мальчикъ, мужъ-слуга—идеалъ московскихъ мужей!» На другіе идеалы негдѣ было наткнуться въ домѣ Фамусова.

Вообще къ Софьѣ Павловнѣ трудно отнестись не симпатично: въ ней есть сильные задатки недюжинной натуры, живого ума, страстности и женской мягкости. Она загублена въ духотѣ, куда не проникалъ ни одинъ лучъ свѣта, ни одна струя свѣжаго воздуха. Не даромъ любилъ ее и Чацкій. Послѣ него, она одна изъ всей этой толпы напрашивается на какое-то грустное чувство, и въ душѣ читателя противъ нея нѣтъ того безучастнаго смѣха, съ какимъ онъ разстается съ прочими лицами.

Ей, конечно, тяжелѣе всѣхъ, тяжелѣе даже Чацкаго, и ей достается свой «мильонъ терзаній».

Чацкаго роль — роль страдательная: оно иначе и быть не можетъ. Такова роль всѣхъ Чацкихъ, хотя она въ то же время и всегда побѣдительная. Но они не знаютъ о своей побѣдѣ, они сѣютъ только, а пожинаютъ другіе — и въ этомъ ихъ главное страданіе, т.-е. въ безнадежности успѣха.

Конечно, Павла Аѳанасьевича Фамусова онъ не образумилъ, не отрезвилъ и не исправилъ. Если бъ у Фамусова при разъѣздѣ не было «укоряющихъ свидѣтелей», т.-е. толпы лакеевъ и швейцара — онъ легко справился бы съ своимъ горемъ: далъ бы головомойку дочери, выдралъ бы за ухо Лизу и поторопился бы свадьбой Софьи съ Скалозубомъ. Но теперь нельзя: на утро, благодарѣ сценѣ съ Чацкимъ, вся Москва узнаетъ—и пуще всѣхъ «княгиня Марья Алексѣвна». Покой его возмутится со всѣхъ сторонъ — и поневолѣ заставитъ кое-о-чемъ подумать, что ему въ голову

не приходило. Онъ едва ли даже кончитъ свою жизнь такимъ «тузомъ», какъ прежніе. Толки, порожденные Чацкимъ, не могли не всколыхать всего круга его родныхъ и знакомыхъ. Онъ уже и самъ противъ горячихъ монологовъ Чацкаго не находилъ оружія. Всѣ слова Чацкаго разнесутся, повторятся всюду и произведутъ свою бурю.

Молчалинъ, послѣ сцены въ сѣняхъ — не можетъ оставаться прежнимъ Молчалинымъ. Маска сдернута, его узнали, и ему, какъ пойманному вору, надо прятаться въ уголъ. Горичевы, Загорѣцкій, княжны — всѣ попали подъ градъ его выстрѣловъ, и эти выстрѣлы не останутся безслѣдны. Въ этомъ, до сихъ поръ согласномъ хорѣ, иные голоса, еще смѣлые вчера, смолкнутъ, или раздадутся другіе и за, и противъ. Битва только разгоралась. Чацкаго авторитетъ извѣстенъ былъ и прежде, какъ авторитетъ ума, остроумія, конечно знаній и проч. У него есть уже и единомышленники. Скалозубъ жалуется, что братъ его оставилъ службу, не дождавшись чина, и сталъ книги читать. Одна изъ старухъ ропщетъ, что племянникъ ея, князь Ѳедоръ, занимается химіей и ботаникой. Нуженъ былъ только взрывъ, бой, и онъ завязался, упорный и горячій — въ одинъ день въ одномъ домѣ, но послѣдствія его, какъ мы выше сказали, отразились на всей Москвѣ и Россіи. Чацкій породилъ расколъ, и если обманулся въ своихъ личныхъ цѣляхъ, не нашелъ «прелести встрѣчъ, живого участія», то брызнулъ самъ на заглохшую почву живой водой — увезя съ собой «мильонъ терзаній», этотъ терновый вѣнецъ Чацкихъ — терзаній отъ всего: отъ «ума», а еще болѣе отъ «оскорбленнаго чувства».

На эту роль не годились ни Онѣгинъ, ни Печоринъ, ни другіе франты. Они и новизной идей умѣли блистать какъ новизной костюма, новыхъ духовъ и проч. Заѣхавъ въ глушь, Онѣгинъ поражалъ всѣхъ тѣмъ, что къ дамамъ «къ ручкѣ не подходитъ, стаканами, а не рюмками пилъ красное вино».

говорилъ просто: «да и нѣтъ», вмѣсто «да-съ и нѣтъ-съ». Онъ морщится отъ «брусничной воды», въ разочарованіи бранитъ луну «глупой» — и небосклонъ тоже. Онъ привезъ на гривенникъ новаго, и вмѣшавшись «умно», а не какъ Чацкій «глупо», въ любовь Ленскаго и Ольги и убивъ Ленскаго, увезъ съ собою не «мильонъ», а на «гривенникъ» же и терзаній!

Теперь, въ наше время, конечно, сдѣлали бы Чацкому упрекъ, зачѣмъ онъ поставилъ свое «оскорбленное чувство» выше общественныхъ вопросовъ, общаго блага и т. д и не остался въ Москвѣ продолжать свою роль бойца съ ложью и предразсудками, роль—выше и важнѣе роли отвергнутаго жениха?

Да, теперь! А въ то время, для большинства, понятія объ общественныхъ вопросахъ были бы тоже, что для Репетилова толки «о камерѣ и о присяжныхъ». Критика много погрѣшила тѣмъ, что въ судѣ своемъ надъ знаменитыми покойниками сходила съ исторической точки, забѣгала впередъ и поражала ихъ современнымъ оружіемъ. Не будемъ повторять ея ошибокъ — и не обвинимъ Чацкаго за то, что въ его горячихъ рѣчахъ, обращенныхъ къ фамусовскимъ гостямъ, нѣтъ помина объ общемъ благѣ, когда уже и такой расколъ отъ «исканій мѣстъ, отъ чиновъ», какъ «занятіе науками и искусствами», считался «разбоемъ и пожаромъ».

Живучесть роли Чацкаго состоитъ не въ новизнѣ неизвѣстныхъ идей, блестящихъ ипотезъ, горячихъ и дерзкихъ утопій, или даже истинъ en herbe: у него нѣтъ отвлеченностей. Провозвѣстники новой зари, или фанатики, или просто вѣстовщики — всѣ эти передовые курьеры неизвѣстнаго будущаго являются—и по естественному ходу общественнаго развитія — должны являться, но ихъ роли и физіономіи до безконечности разнообразны.

Роль и физіономія Чацкихъ неизмѣнна. Чацкій больше

всего обличитель лжи и всего, что отжило, что заглушаетъ новую жизнь, «жизнь свободную». Онъ знаетъ, за что онъ воюетъ и что должна принести ему эта жизнь. Онъ не теряетъ земли изъ-подъ ногъ и не вѣритъ въ призракъ, пока онъ не облекся въ плоть и кровь, не осмыслился разумомъ правдой, словомъ, не очеловѣчился.

Передъ увлеченіемъ неизвѣстнымъ идеаломъ, передъ обольщеніемъ мечты, онъ трезво становится, какъ остановился передъ безсмысленнымъ отрицаніемъ «законовъ, совѣсти и вѣры» въ болтовнѣ Репетилова, и скажетъ свое:

«Послушай, ври, да знай же мѣру!»

Онъ очень положителенъ въ своихъ положеніяхъ и заявляетъ ихъ въ готовой программѣ, выработанной не имъ, а уже начатымъ вѣкомъ. Онъ не гонитъ съ юношескою запальчивостью со сцены всего, что уцѣлѣло, что, по законамъ разума и справедливости, какъ по естественнымъ законамъ въ природѣ физической, осталось доживать свой срокъ, что можетъ и должно быть терпимо. Онъ требуетъ мѣста и свободы своему вѣку: проситъ дѣла, но не хочетъ прислуживаться, и клеймитъ позоромъ низкопоклонство и шутовство. Онъ требуетъ «службы дѣлу, а не лицамъ», не смѣшиваетъ «веселья или дурачества съ дѣломъ» какъ Молчалинъ,—онъ тяготится среди пустой, праздной толпы «мучителей, зловѣщихъ старухъ, вздорныхъ стариковъ», отказываясь преклоняться передъ ихъ авторитетомъ дряхлости, чинолюбія, и проч. Его возмущаютъ безобразныя проявленія крѣпостного права, безумная роскошь и отвратительные нравы «разливанья въ пирахъ и мотовствѣ» — явленія умственной и нравственной слѣпоты и растлѣнія.

Его идеалъ «свободной жизни» опредѣлителенъ: это — свобода отъ всѣхъ этихъ исчисленныхъ цѣпей рабства, которыми оковано общество, а потомъ свобода — «вперить въ науки умъ, алчущій познаній», или безпрепятственно предаваться «искусствамъ творческимъ, высокимъ и прекрас-

нымъ»,—свобода «служить или не служить», «жить въ деревнѣ, или путешествовать», не слывя за то ни разбойникомъ, ни зажигателемъ,—и рядъ дальнѣйшихъ очередныхъ подобныхъ шаговъ къ свободѣ—отъ несвободы.

И Фамусовъ, и другіе знаютъ это и, конечно, про себя всѣ согласны съ нимъ, но борьба за существованіе мѣшаетъ имъ уступить.

Отъ страха за себя, за свое безмятежно-праздное существованіе, Фамусовъ затыкаетъ уши и клевещетъ на Чацкаго, когда тотъ заявляетъ ему свою скромную программу «свободной жизни». Между прочимъ—

«Кто путешествуетъ, въ деревнѣ кто живетъ»,

—говоритъ онъ, а тотъ съ ужасомъ возражаетъ:

«Да онъ властей не признаетъ!»

Итакъ, лжетъ и онъ, потому что ему нѣчего сказать, и лжетъ все то, что жило ложью въ прошломъ. Старая правда никогда не смутится передъ новой — она возьметъ это новое, правдивое и разумное бремя на свои плечи. Только больное, ненужное, боится ступить очередной шагъ впередъ.

Чацкій сломленъ количествомъ старой силы, нанеся ей въ свою очередь смертельный ударъ качествомъ силы свѣжей.

Онъ вѣчный обличитель лжи, запрятавшейся въ пословицу: «одинъ въ полѣ не воинъ». Нѣтъ, воинъ, если онъ Чацкій, и притомъ побѣдитель, но передовой воинъ, застрѣльщикъ и—всегда жертва.

Чацкій неизбѣженъ при каждой смѣнѣ одного вѣка другимъ. Положеніе Чацкихъ на общественной лѣстницѣ разнообразно, но роль и участь все одна, отъ крупныхъ государственныхъ и политическихъ личностей, управляющихъ судьбами массъ, до скромной доли въ тѣсномъ кругу.

Всѣми ими управляетъ одно: раздраженіе при различныхъ мотивахъ. У кого, какъ у Грибоѣдовскаго Чацкаго, любовь, у другихъ самолюбіе или славолюбіе и вѣчно

имъ достается въ удѣлъ свой «мильонъ терзаній». и никакая высота положенія не спасаетъ отъ него. Очень не многимъ, просвѣтленнымъ Чацкимъ, дается утѣшительное сознаніе, что они не даромъ бились — хотя и безкорыстно, но для себя и не за себя, а для будущаго, и за всѣхъ, и успѣли.

Кромѣ крупныхъ и видныхъ личностей, при рѣзкихъ переходахъ изъ одного вѣка въ другой — Чацкіе живутъ и не переводятся въ обществѣ, повторяясь на каждомъ шагу, въ каждомъ домѣ, гдѣ подъ одной кровлей уживается старое съ молодымъ, гдѣ два вѣка сходятся лицомъ къ лицу въ тѣснотѣ семействъ, — все длится борьба свѣжаго съ отжившимъ, больного съ здоровымъ, и все бьются въ поединкахъ, какъ Горацiи и Куріаціи, — миніатюрные Фамусовы и Чацкіе.

Каждое дѣло, требующее обновленія, вызываетъ тѣнь Чацкаго—и кто бы ни были дѣятели, около какого бы человѣческаго дѣла,—будетъ ли то новая идея, шагъ въ наукѣ, въ политикѣ, въ войнѣ — ни группировались люди — имъ никуда не уйти отъ двухъ главныхъ мотивовъ борьбы: отъ совѣта «учиться, на старшихъ глядя» съ одной стороны, и отъ жажды стремиться отъ рутины къ «свободной жизни» впередъ и впередъ, съ другой.

Вотъ отчего не состарѣлся до сихъ поръ и едва ли состарѣется когда-нибудь Грибоѣдовскій Чацкій, а съ нимъ и вся комедія. И литература не выбьется изъ магическаго круга, начертаннаго Грибоѣдовымъ, какъ только художникъ коснется борьбы понятій, смѣны поколѣній. Онъ, или дастъ типъ крайнихъ, несозрѣвшихъ передовыхъ личностей, едва намекающихъ на будущее, и потому недолговѣчныхъ, какихъ мы уже пережили не мало въ жизни и въ искусствѣ,—или создастъ видоизмѣненный образъ Чацкаго, какъ послѣ Сервантесовскаго Донъ-Кихота и Шекспировскаго Гамлета, являлись и являются безконечныя ихъ подобія.

Въ честныхъ, горячихъ рѣчахъ этихъ позднѣйшихъ Чацкихъ будутъ вѣчно слышаться Грибоѣдовскіе мотивы и слова, — и если не слова, то смыслъ и тонъ раздражительныхъ монологовъ его Чацкаго. Отъ этой музыки здоровые герои въ борьбѣ со старымъ не уйдутъ никогда.

И въ этомъ безсмертіе стиховъ Грибоѣдова! Много можно бы привести Чацкихъ—являвшихся на очередной смѣнѣ эпохъ и поколѣній—въ борьбахъ за идею, за дѣло, за правду, за успѣхъ, за новый порядокъ, на всѣхъ ступеняхъ. во всѣхъ слояхъ русской жизни и труда — громкихъ великихъ дѣлъ и скромныхъ кабинетныхъ подвиговъ. О многихъ изъ нихъ хранится свѣжее преданіе, другихъ мы видѣли и знали, а иные еще продолжаютъ борьбу. Обратимся къ литературѣ. Вспомнимъ, не повѣсть, не комедію, не художественное явленіе, а возьмемъ одного изъ позднѣйшихъ бойцовъ съ старымъ вѣкомъ, напримѣръ, Бѣлинскаго. Многіе изъ насъ знали его лично, а теперь знаютъ его всѣ. Прислушайтесь къ его горячимъ импровизаціямъ — и въ нихъ звучатъ тѣ же мотивы и тотъ же тонъ, какъ у Грибоѣдовскаго Чацкаго. И также онъ умеръ, уничтоженный «мильономъ терзаній», убитый лихорадкой ожиданія и недождавшійся исполненія своихъ грёзъ, которыя теперь— уже не грёзы больше.

Оставя политическія заблужденія Герцена, гдѣ онъ вышелъ изъ роли нормальнаго героя, изъ роли Чацкаго, этого съ головы до ногъ русскаго человѣка, — вспомнимъ его стрѣлы, бросаемыя въ разные темные, отдаленные углы Россіи, гдѣ онѣ находили виноватаго. Въ его сарказмахъ слышится эхо Грибоѣдовскаго смѣха и безконечное развитіе остротъ Чацкаго.

И Герценъ страдалъ отъ «мильона терзаній», можетъ быть всего болѣе отъ терзаній Репетиловыхъ его же лагеря, которымъ у него при жизни недостало духа сказать: «ври, да знай же мѣру!»

Но онъ не унесъ этого слова въ могилу, сознавшись по смерти въ «ложномъ стыдѣ», помѣшавшемъ сказать его.

Наконецъ — послѣднее замѣчаніе о Чацкомъ. Дѣлаютъ упрекъ Грибоѣдову въ томъ, что будто Чацкій — не облеченъ такъ художественно, какъ другія лица комедіи, въ плоть и кровь, что въ немъ мало жизненности. Иные даже говорятъ, что это не живой человѣкъ, а абстрактъ, идея, ходячая мораль комедіи, а не такое полное и законченное созданіе, какъ, напримѣръ, фигура Онѣгина и другихъ выхваченныхъ изъ жизни типовъ.

Это несправедливо. Ставить рядомъ съ Онѣгинымъ Чацкаго нельзя; строгая объективность драматической формы не допускаетъ той широты и полноты кисти, какъ эпическая. Если другія лица комедіи являются строже и рѣзче очерченными, то этимъ они обязаны пошлости и мелочи своихъ натуръ, легко исчерпываемыхъ художникомъ въ легкихъ очеркахъ. Тогда какъ въ личности Чацкаго, богатой и разносторонней, могла быть въ комедіи рельефно взята одна господствующая сторона, — а Грибоѣдовъ успѣлъ намекнуть и на многія другія.

Потомъ—если приглядѣться вѣрнѣе къ людскимъ типамъ въ толпѣ — то едва ли не чаще другихъ встрѣчаются эти честныя, горячія, иногда желчныя личности, которыя не прячутся покорно въ сторону отъ встрѣчной уродливости, а смѣло идутъ навстрѣчу ей и вступаютъ въ борьбу, часто не равную, всегда со вредомъ себѣ и безъ видимой пользы дѣлу. Кто не зналъ или не знаетъ, каждый въ своемъ кругу, такихъ умныхъ, горячихъ, благородныхъ сумасбродовъ, которые производятъ своего рода кутерьму въ тѣхъ кругахъ, куда ихъ занесетъ судьба, за правду, за честное убѣжденіе!

Нѣтъ, Чацкій—по нашему мнѣнію—изъ всѣхъ наиболѣе живая личность, и какъ человѣкъ, и какъ исполнитель указанной ему Грибоѣдовымъ роли. Но, повторяемъ, натура

его сильнѣе и глубже прочихъ лицъ, и потому не могла быть исчерпана въ комедіи.

Наконецъ, позволимъ себѣ высказать нѣсколько замѣчаній объ исполненіи комедіи на сценѣ въ недавнее время, а именно, въ бенефисъ Монахова, и о томъ, чего бы могъ зритель пожелать отъ исполнителей.

Если читатель согласится, что въ комедіи, какъ мы сказали, движеніе горячо и непрерывно поддерживается отъ начала до конца, то изъ этого само собою должно слѣдовать, что пьеса въ высшей степени сценична. Она такова и есть. Двѣ комедіи какъ будто вложены одна въ другую: одна, такъ-сказать, частная, мелкая, домашняя, между Чацкимъ, Софьей, Молчалинымъ и Лизой; это интрига любви, вседневный мотивъ всѣхъ комедій. Когда первая прерывается, въ промежуткѣ неожиданно другая, и дѣйствіе завязывается снова, частная комедія разыгрывается въ общую битву и связывается въ одинъ узелъ.

Артисты, вдумывающіеся въ общій смыслъ и ходъ пьесы, и каждый въ свою роль, найдутъ широкое поле для дѣйствія. Труда къ одолѣнію всякой, даже незначительной роли, не мало, — тѣмъ болѣе, чѣмъ добросовѣстнѣе и тоньше будетъ относиться къ искусству артистъ.

Нѣкоторые критики возлагаютъ на обязанность артистовъ исполнять и историческую вѣрность лицъ, съ колоритомъ времени во всѣхъ деталяхъ, даже до костюмовъ, т. е. до фасона платьевъ, прическъ включительно.

Это трудно, если не совсѣмъ невозможно. Какъ историческіе типы, эти лица, какъ сказано выше, еще блѣдны, а живыхъ оригиналовъ теперь не найдешь: штудировать и съ чего. Точно такъ же и съ костюмами. Старомодные фраки, съ очень высокой, или очень низкой таліей, женскія платья съ высокимъ лифомъ, высокія прически, старые чепцы—во всемъ этомъ дѣйствующія лица покажутся бѣле-

цами съ толкучаго рынка. Другое дѣло, костюмы прошлаго столѣтія, совершенно отжившіе: камзолы, роброны, мушки, пудра и проч.

Но при исполненіи «Горя отъ ума» дѣло не въ костюмахъ.

Мы повторяемъ, что въ игрѣ вообще нельзя претендовать на историческую вѣрность, такъ какъ живой слѣдъ почти пропалъ, а историческая даль еще близка. Поэтому необходимо артисту прибѣгать къ творчеству, къ созданію идеаловъ, по степени своего пониманія эпохи и произведенія Грибоѣдова.

Это первое, т. е. главное сценическое условіе.

Второе—это языкъ, т. е. такое же художественное исполненіе языка, какъ и исполненіе дѣйствія: безъ этого второго, конечно, невозможно и первое.

Въ такихъ высокихъ литературныхъ произведеніяхъ, какъ «Горе отъ ума», какъ «Борисъ Годуновъ» Пушкина, и нѣкоторыхъ другихъ, исполненіе должно быть не только сценическое, но наиболѣе литературное, какъ исполненіе отличнымъ оркестромъ образцовой музыки, гдѣ безошибочно должна быть сыграна каждая музыкальная фраза и въ ней каждая нота. Актеръ, какъ музыкантъ, обязанъ доиграться, т. е. додуматься до того звука голоса и до той интонаціи, какими долженъ быть произнесенъ каждый стихъ: это значитъ додуматься до тонкаго критическаго пониманія всей поэзіи Пушкинскаго и Грибоѣдовскаго языка. У Пушкина, напримѣръ, въ «Борисѣ Годуновѣ», гдѣ нѣтъ почти дѣйствія, или, по крайней мѣрѣ, единства, гдѣ дѣйствіе распадается на отдѣльныя, несвязныя другъ съ другомъ сцены, иное исполненіе, какъ строго и художественно-литературное, и невозможно. Въ ней всякое прочее дѣйствіе, всякая сценичность, мимика, должны служить только легкой приправой литературнаго исполненія, дѣйствія въ словѣ.

За исключеніемъ нѣкоторыхъ ролей въ значительной сте-

пени можно сказать то же и о «Горѣ отъ ума». И тамъ больше всего игры въ языкѣ: можно снести неловкость мимическую, но каждое слово съ невѣрной интонаціей будетъ рѣзать ухо, какъ фальшивая нота.

Не надо забывать, что такія пьесы, какъ «Горе отъ ума», «Борисъ Годуновъ», публика знаетъ наизусть, и не только слѣдитъ за мыслью, за каждымъ словомъ, но чуетъ, такъ-сказать, нервами каждую ошибку въ произношеніи. Ими можно наслаждаться, не видя, а только слыша ихъ. Эти пьесы исполнялись и исполняются нерѣдко въ частномъ быту, просто чтеніемъ между любителями литературы, когда въ кругу найдется хорошій чтецъ, умѣющій тонко передавать эту, своего рода литературную музыку.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, говорятъ, эта пьеса была представлена въ лучшемъ петербургскомъ кругу съ образцовымъ искусствомъ, которому, конечно, кромѣ тонкаго критическаго пониманія пьесы, много помогалъ и ансамбль въ тонѣ, манерахъ, и особенно умѣньѣ отлично читать.

Исполняли ее въ Москвѣ въ 30-хъ годахъ съ полнымъ успѣхомъ. До сихъ поръ мы сохранили впечатлѣнія о той игрѣ: Щепкина (Фамусова), Мочалова (Чацкаго), Ленскаго (Молчалина), Орлова (Скалозуба), Сабурова (Репетилова).

Конечно, этому успѣху много содѣйствовало поражавшее тогда новизною и смѣлостью открытое нападеніе со сцены на многое, что̀ еще не успѣло отойти, до чего боялись дотрогиваться даже въ печати. Потомъ Щепкинъ, Орловъ, Сабуровъ выражали типично еще живыя подобія запоздавшихъ Фамусовыхъ, кое-гдѣ уцѣлѣвшихъ Молчалиныхъ, или прятавшихся въ партерѣ за спину сосѣда Загорѣцкихъ.

Все это, безспорно, придавало огромный интересъ пьесѣ, но и помимо этого, помимо даже высокихъ талантовъ этихъ артистовъ и истекавшей оттуда типичности исполненія каждымъ изъ нихъ своей роли, въ ихъ игрѣ, какъ въ отличномъ хорѣ пѣвцовъ, поражалъ необыкновенный ансамбль всего

персонала лицъ, до малѣйшихъ ролей, а главное, они тонко понимали и превосходно читали эти необыкновенные стихи, именно съ тѣмъ «толкомъ, чувствомъ и разстановкой», какая для нихъ необходима. Мочаловъ, Щепкинъ! Послѣдняго, конечно, знаетъ и теперь почти весь партеръ и помнитъ, какъ онъ, уже и въ старости, читалъ свои роли на сценахъ и въ салонахъ!

Постановка была тоже образцовая — и должна была бы и теперь, и всегда превосходить тщательностью постановку всякаго балета, потому что комедіи этой вѣкъ не сойти со сцены, даже и тогда, когда сойдутъ позднѣйшія образцовыя пьесы.

Каждая изъ ролей, даже второстепенныхъ въ ней, сыгранная тонко и добросовѣстно, будетъ служить артисту дипломомъ на обширное амплуа.

Къ сожалѣнію, давно уже исполненіе пьесы на сценѣ далеко не соотвѣтствуетъ ея высокимъ достоинствамъ, особенно не блеститъ оно — ни гармоничностью въ игрѣ, ни тщательностью въ постановкѣ, хотя отдѣльно, въ игрѣ нѣкоторыхъ артистовъ, есть счастливые намеки или обѣщанія на возможность болѣе тонкаго и тщательнаго исполненія. Но общее впечатлѣніе таково, что зритель, вмѣстѣ съ немногимъ хорошимъ, выноситъ изъ театра свой «мильонъ терзаній».

Въ постановкѣ нельзя не замѣчать небрежности и скудости, которыя какъ будто предупреждаютъ зрителя, что будутъ играть слабо и небрежно, слѣдовательно, не стоитъ и хлопотать о свѣжести и вѣрности аксессуаровъ. Напримѣръ, освѣщеніе на балѣ такъ слабо, что едва различаешь лица и костюмы, толпа гостей такъ жидка, что Загорѣцкому, вмѣсто того, чтобъ «пропасть», по тексту комедіи, т. е. уклониться куда-нибудь въ толпу, отъ брани Хлестовой, приходится бѣжать черезъ всю пустую залу, изъ угловъ которой, какъ будто изъ любопытства, выглядываютъ ка-

кія-то два-три лица. Вообще все смотритъ какъ-то тускло, несвѣжо, безцвѣтно.

Въ игрѣ, вмѣсто ансамбля, господствуетъ разладица, точно въ хорѣ, не успѣвшемъ спѣться. Въ новой пьесѣ и можно бы было предположить эту причину, но нельзя же допустить, чтобы эта комедія была для кого-нибудь нова въ труппѣ.

Половина пьесы проходитъ неслышно. Вырвутся два-три стиха явственно, другіе два произносятся актеромъ какъ-будто только для себя—въ сторону отъ зрителя. Дѣйствующія лица хотятъ играть Грибоѣдовскіе стихи, какъ текстъ водевиля. Въ мимикѣ у нѣкоторыхъ много лишней суеты; этой мнимой, фальшивой игры. Даже и тѣ, кому приходится сказать два-три слова, сопровождаютъ ихъ, или усиленными, ненужными на нихъ удареніями, или лишними жестами, не то такъ какой-то игрой въ походкѣ, чтобы дать замѣтить о себѣ на сценѣ, хотя эти два-три слова, сказанныя умно, съ тактомъ, были бы замѣчены гораздо больше, нежели всѣ тѣлесныя упражненія.

Иные изъ артистовъ какъ будто забываютъ, что дѣйствіе происходитъ въ большомъ московскомъ домѣ. Напримѣръ, Молчалинъ, хотя и бѣдный маленькій чиновникъ, но онъ живетъ въ лучшемъ обществѣ, принятъ въ первыхъ домахъ, играетъ съ знатными старухами въ карты, слѣдовательно, не лишенъ въ манерахъ и тонѣ извѣстныхъ приличій. Онъ «вкрадчивъ, тихъ», говорится о немъ въ пьесѣ. Это домашній котъ, мягкій, ласковый, который бродитъ вездѣ по дому, и если блудитъ, то втихомолку и прилично. У него не можетъ быть такихъ дикихъ ухватокъ, даже когда онъ бросается къ Лизѣ, оставшись съ ней наединѣ, какіе усвоилъ ему актеръ, играющій его роль.

Большинство артистовъ не можетъ также похвастаться исполненіемъ того важнаго условія, о которомъ сказано выше, именно вѣрнымъ, художественнымъ чтеніемъ. Давно

жалуются, что будто бы съ русской сцены все болѣе и болѣе удаляется это капитальное условіе. Ужели, вмѣстѣ съ декламаціей старой школы, изгнано и вообще умѣнье читать, произносить художественную рѣчь, какъ будто это умѣнье стало лишнее или не нужно? Слышатся даже частыя жалобы на нѣкоторыхъ корифеевъ драмы и комедіи, что они не даютъ себѣ труда учить ролей!

Что же затѣмъ осталось дѣлать артистамъ? Что̀ они разумѣютъ подъ исполненіемъ ролей? Гримировку? Мимику?

Съ которыхъ же поръ явилось это небреженіе къ искусству? Мы помнимъ и петербургскую, и московскую сцены въ блестящемъ періодѣ ихъ дѣятельности, начиная со Щепкина, Каратыгиныхъ, до Самойлова, Садовскаго. Здѣсь держатся еще немногіе ветераны старой петербургской сцены, и между ними имена Самойлова, Каратыгина напоминаютъ золотое время, когда на сценѣ являлись Шекспиръ, Мольеръ, Шиллеръ — и тотъ же Грибоѣдовъ, котораго мы приводимъ теперь, и все это давалось вмѣстѣ съ роемъ разныхъ водевилей, передѣлокъ съ французскаго и т. п. Но ни эти передѣлки, ни водевили, не мѣшали отличному исполненію ни «Гамлета», ни «Лира», ни «Скупого».

Въ отвѣтъ на это слышишь съ одной стороны, что будто вкусъ публики испортился (какой публики?), обратился къ фарсу, и что послѣдствіемъ этого была и есть отвычка артистовъ отъ серьезной сцены и серьезныхъ, художественныхъ ролей; а съ другой, что и самыя условія искусства измѣнились: отъ историческаго рода, отъ трагедіи, высокой комедіи — общество ушло, какъ изъ-подъ тяжелой тучи, и обратилось къ буржуазной, такъ-называемой драмѣ и комедіи, наконецъ, къ жанру.

Разборъ этой «порчи вкуса» или видоизмѣненія старыхъ условій искусства въ новыя, отвлекъ бы насъ отъ «Горя отъ ума» и, пожалуй, привелъ бы къ какому-нибудь другому, болѣе безвыходному горю. Лучше примемъ второе

возраженіе (о первомъ не стоитъ говорить, такъ какъ оно говоритъ само за себя) за совершившійся фактъ и допустимъ эти видоизмѣненія, хотя замѣтимъ мимоходомъ, что на сценѣ появляются еще Шекспиръ и новыя историческія драмы, какъ «Смерть Іоанна Грознаго», «Василиса Мелентьева», «Шуйскій» и др., требующія того самаго умѣнья читать, о которомъ мы говоримъ. Но вѣдь кромѣ этихъ драмъ, есть на сценѣ другія произведенія новаго времени, писанныя прозой, и проза эта почти такъ же, какъ Пушкинскіе и Грибоѣдовскіе стихи, имѣетъ свое типичное достоинство и требуетъ такого же яснаго и отчетливаго исполненія, какъ и чтеніе стиховъ. Каждая фраза Гоголя такъ же типична и такъ же заключаетъ въ себѣ свою особую комедію, независимо отъ общей фабулы, какъ и каждый Грибоѣдовскій стихъ. И только глубоко-вѣрное, во всей залѣ слышимое, отчетливое исполненіе, т. е. сценическое произношеніе этихъ фразъ и можетъ выразить то значеніе, какое далъ имъ авторъ. Многія пьесы Островскаго тоже въ значительной степени имѣютъ эту типичную сторону языка и часто фразы изъ его комедій слышатся въ разговорной рѣчи, въ разныхъ примѣненіяхъ къ жизни.

Публика помнитъ, что Сосницкій, Щепкинъ, Мартыновъ, Максимовъ, Самойловъ, въ роляхъ этихъ авторовъ, не только создавали типы на сценѣ,—что, конечно, зависитъ отъ степени таланта, — но и умнымъ и рельефнымъ произношеніемъ сохраняли всю силу и образцоваго языка, давая вѣсъ каждой фразѣ, каждому слову. Откуда же, какъ не со сцены, можно желать слышать и образцовое чтеніе образцовыхъ произведеній?

Вотъ на утрату этого литературнаго, такъ-сказать, исполненія художественныхъ произведеній, кажется, справедливо жалуются въ послѣднее время въ публикѣ.

Кромѣ слабости исполненія въ общемъ ходѣ, относительно вѣрности пониманія пьесы, недостатка въ искусствѣ чтенія

и т. д., можно бы остановиться еще надъ нѣкоторыми невѣрностями въ деталяхъ — но мы не хотимъ показаться придирчивыми — тѣмъ болѣе, что мелкія или частныя невѣрности, происходящія отъ небрежности, исчезнутъ, если артисты отнесутся съ болѣе тщательнымъ критическимъ анализомъ къ пьесѣ.

Пожелаемъ же, чтобы артисты наши, изъ всей массы пьесъ, которыми они завалены по своимъ обязанностямъ— съ любовью къ искусству выдѣлили художественныя произведенія, а ихъ такъ немного у насъ — и между прочимъ особенно «Горе отъ ума»—и составивъ изъ нихъ сами для себя избранный репертуаръ — исполняли бы ихъ иначе, нежели какъ исполняется ими все прочее, что имъ приходится играть ежедневно, — и они непремѣнно будутъ исполнять какъ слѣдуетъ.

ЗАМѢТКИ О ЛИЧНОСТИ БѢЛИНСКАГО *).

На мой взглядъ это была одна изъ тѣхъ горячихъ и воспріимчивыхъ натуръ, которыя привыкли приписывать обыкновенно искреннимъ и самобытнымъ художникамъ.

Такія натуры встрѣчаются нерѣдко — я ихъ наблюдалъ вездѣ, гдѣ онѣ попадались: и въ своихъ товарищахъ по перу, и гораздо раньше, начиная со школы, наблюдалъ и въ самомъ себѣ—и во множествѣ экземпляровъ—и во всѣхъ находилъ неизбѣжныя родовыя сходственныя черты, часто рядомъ съ поразительными несходствами, составлявшими особенности видовъ или индивидуумовъ. Всѣ эти наблюденія привели меня къ фигурѣ Райскаго въ романѣ «Обрывъ», этой жертвѣ своего темперамента и богатой, но не направленной ни на какую цѣль фантазіи. Послѣдняя была въ немъ праздною, безполезною силой, и, безъ строгой его подготовки къ какому бы то ни было дѣлу, разрѣшалась у него только въ безплодныхъ порывахъ къ дѣятельности и уродовала самую его жизнь.

*) Эти замѣтки извлечены изъ письма, писаннаго въ 1874 году, къ А. Н. Пыпину, по случаю собиранія имъ свѣдѣній отъ знавшихъ лично Бѣлинскаго, для біографіи послѣдняго.

Но другія, богато одаренныя натуры, ставъ твердой ногой на почвѣ своего призванія, подчиняютъ фантазію сознательной силѣ ума и создаютъ цѣлую сферу производительной дѣятельности. Такъ было и съ Бѣлинскимъ.

Но напрасно приписывать избытокъ фантазіи и воспріимчивости только художническимъ натурамъ. Не однимъ художникамъ нужно творчество: это я говорю вопреки мнѣнію Бѣлинскаго, или по крайней мѣрѣ вопреки его словамъ, не разъ слышаннымъ мною отъ него, что «Богъ далъ человѣку быть творцомъ только въ искусствѣ».

Тутъ есть нѣчто недосказанное. Совершенно справедливо, что въ искусствѣ художникъ создаетъ или изобрѣтаетъ сходства и подобія, т.-е. образы существующаго или возможнаго въ природѣ, а въ сферѣ знанія ученый только угадываетъ или открываетъ скрытые законы или готовыя истины. Но, сколько мнѣ кажется, въ процессахъ самаго этого угадыванія или этихъ открытій дѣйствуютъ также изобрѣтательные или творческіе силы и пріемы. Не одинъ Ньютонъ наблюдалъ падающія съ дерева яблоки и не одинъ Фультонъ видѣлъ, какъ привскакиваетъ крышка на чайникѣ отъ пара— однако не угадывали же другіе законовъ тяготѣнія или парового движенія, — слѣдовательно и тотъ, и другой были какъ бы творцы этихъ законовъ.

Такимъ образомъ нервозность, т.-е. тонкіе и чуткіе нервы, а вслѣдствіе этого впечатлительность и помощь фантазіи присущи, какъ необходимый элементъ, всякой работѣ, требующей иниціативы мысли и изобрѣтательной производительности, не говоря уже о наукѣ, искусствѣ, но даже въ ремеслахъ, чему мы видимъ не мало примѣровъ. Талантливый ремесленникъ, съ помощью этой же фантазіи, дѣлаетъ новые, смѣлые шаги въ ремеслѣ, и иногда возводитъ его на степень искусства...

Чуткость нервъ и фантазія въ художникахъ (живописцахъ, поэтахъ, актерахъ) только разнообразнѣе и каприз-

нѣе проявляется, по самому свойству и натурѣ ихъ дѣла, по образу жизни и прочимъ условіямъ.

И Бѣлинскій въ сферѣ своей дѣятельности также творилъ по-своему, т.-е. угадывалъ смыслъ явленія, чуялъ въ немъ правду, или ложь, опредѣлялъ характеръ его, и если явленіе представляло пищу увлеченію, онъ довѣрчиво увлекался самъ и увлекалъ другихъ. Переживъ впечатлѣніе въ самомъ себѣ, истративъ на него потоки, болѣе или менѣе горячихъ печатныхъ или изустныхъ, импровизацій, онъ потомъ оставался ему вѣренъ уже въ той долѣ правды, не какую онъ видѣлъ въ пылу увлеченія, а какая дѣйствительно была въ немъ—и относился къ нему умѣреннѣе.

Наконецъ у него были постоянныя увлеченія или влеченія, плоды не одной только фантазіи, или напряженной работы непрерывнаго умственнаго развитія: они составляли основу его честной и прямой натуры. Это влеченія къ идеаламъ свободы, правды, добра, человѣчности, при чемъ онъ нерѣдко ссылался на евангеліе — и не помню гдѣ, — даже печатно. Этимъ идеаламъ онъ не измѣнялъ, конечно, никогда и на всякаго, сколько-нибудь близкаго ему человѣка, смотрѣлъ не иначе, какъ на своего единомышленника, иногда не давая себѣ труда всмотрѣться, дѣйствительно ли это было такъ. Никакихъ уклоненій отъ этихъ путеводныхъ своихъ началъ онъ ни въ комъ не допускалъ и не простилъ бы никому иного исповѣданія въ нравственныхъ, политическихъ или соціальныхъ взглядахъ, кромѣ тѣхъ, какія принималъ и проповѣдывалъ самъ, разумѣется въ теоріи, ибо на практикѣ это было непримѣнимо въ то время нигдѣ, кромѣ робкаго проговариванья или намековъ въ статьяхъ, да толковъ въ тѣсномъ кругу друзей.

Въ стремленіи или въ порывахъ, повторяю безплодныхъ, тогда казавшихся даже безнадежными, къ этимъ послѣднимъ идеаламъ особенно высказывалось его горячее нетерпѣніе, иногда до ребячества. Въ туманѣ новой какой-нибудь идеи,

даже въ родѣ идей Фурьи, напримѣръ (о чемъ могутъ больше меня сказать знавшіе его смолоду), если въ ней только искрился намекъ на истину, на прогрессъ, на что-нибудь, что̀ казалось ему разумнымъ или честнымъ, передъ нимъ возникалъ уже опредѣленный образъ ея; нарождавшаяся ипотеза становилась его религіей;—онъ вѣровалъ въ идеалъ въ пеленкахъ, не думая подозрѣвать тутъ какого-нибудь обольщенія, заблужденія или замаскированной лжи. Онъ видѣлъ только одну свѣтлую сторону. Такъ, всматриваясь и вслушиваясь въ неясный еще тогда и новый у насъ слухъ и говоръ о коммунизмѣ, онъ наивно, искренно, почти про себя, мечтательно произнесъ однажды: «Конечно, будь у меня тысячъ сто, ихъ не стоило бы жертвовать, — но будь у меня мильоны, я отдалъ бы ихъ!» — Кому, куда отдалъ бы? Въ коммуну, для коммуны, на коммуну? Любопытно было бы спросить, въ какую кружку положилъ бы онъ эти мильоны, когда одно какое-то смутное понятіе носилось въ воздухѣ, кое-какъ перескочившее къ намъ черезъ границу, и когда самое названіе «коммуны» было еще для многихъ ново. А онъ готовъ былъ класть въ кружку мильоны — и положилъ бы, если бъ они были у него и если бъ была кружка! Онъ только слышалъ о коммунизмѣ: книгъ негдѣ было взять—но, конечно, онъ скорѣе другихъ почерпнулъ изъ разсказовъ одну мечту, манившую къ соблазнительнымъ благамъ.

Онъ мчался впередъ и никогда не оглядывался. Прошлое для него отживало почти безъ слѣда, лишь только оно кончалось. По свойственному его натурѣ чувству справедливости, онъ конечно сумѣлъ бы найти и полюбить, напримѣръ, въ славянофильствѣ, что̀ было въ немъ искренняго и правдиваго, но довольно того, что славянофилы хотѣли создавать новый строй русской жизни на старомъ, хотя и хорошемъ фундаментѣ, чтобы ужъ безусловно разойтись съ ними, смотрѣть на нихъ, если не враждебно, то недовѣр-

чиво. Онъ иногда не только терпѣлъ около себя людей довольно ограниченныхъ, но любилъ съ ними бесѣдовать, когда между ними ничего не было общаго, кромѣ вѣры въ одну какую-нибудь идею, иногда совершенно абстрактную, но манившую въ даль, къ отдаленному, часто недостижимому идеалу.

О чемъ они могли говорить съ Бѣлинскимъ подолгу — понять было трудно. Это объяснялось между прочимъ трогательною, почти дѣтскою снисходительностью Бѣлинскаго къ своимъ пріятелямъ и ко всему, что ихъ составляло, что имъ принадлежало. Возбудить его противъ себя можно было только какою-нибудь моральною гадостью, или нужно было расходиться съ нимъ, какъ сказано выше, въ коренныхъ убѣжденіяхъ, и то, если бъ это обнаружилось какъ-нибудь на практикѣ, въ жизни—а затѣмъ, будь пріятель его чѣмъ хочешь, онъ не терялъ права на его дружелюбіе, однажды пріобрѣтенное, особенно, если еще это выкупалось чѣмъ-нибудь, напримѣръ, талантомъ, или просто даже безмолвнымъ сочувствіемъ его идеямъ и идеаламъ.

Ни въ комъ никогда не замѣчалъ я, чтобы самолюбіе проявлялось такъ тонко, скромно и умно, какъ въ Бѣлинскомъ. Онъ не могъ не замѣчать дѣйствія своей силы въ обществѣ — и конечно дорожилъ этимъ: но надо было пристально вглядываться въ него, чтобы ловить и угадывать въ немъ слабые признаки сознанія своей силы: такъ онъ чуждъ былъ всякаго внѣшняго проявленія этого сознанія. Самъ онъ никогда не упоминалъ о своемъ значеніи.

Когда я узналъ Бѣлинскаго въ 1846 г., здоровье его было подорвано, хотя болѣзнь еще не развилась до той степени, какъ въ послѣдній годъ его жизни. Онъ былъ еще довольно бодръ, посѣщалъ однако немногихъ и его посѣщали тоже немногіе и не часто. Онъ началъ, повидимому, утомляться и своею любимою дѣятельностью, мечталъ иногда, вслухъ, впрочемъ рѣдко, о независимомъ положеніи отъ

подневольнаго срочнаго труда. Но этой мечтѣ сбыться было не суждено. Онъ, съ кружкомъ близкихъ пріятелей, перешелъ отъ одного журнала къ другому, но это не принесло ему отдыха. Напротивъ, надо было употребить всѣ силы, чтобы воскресить изъ праха этотъ умершій журналъ и вдохнуть въ него новую жизнь. Онъ, такъ сказать, умирая, дописывалъ послѣднія свои статьи. Поѣздка на лѣто въ Крымъ съ Щепкинымъ не помогла ему, и онъ вернулся въ Петербургъ, едва ли не слабѣе, чѣмъ былъ до этого.

Извѣстно, какъ произошли всѣ эти перемѣны: основаніе «Современника», переходъ всего кружка изъ «Отечественныхъ Записокъ» въ новый журналъ. Затѣмъ, вскорѣ развилась быстро болѣзнь—и Бѣлинскаго не стало.

Къ вышесказанному о способности его увлекаться прибавлю, что та же сила фантазіи, которая помогла Бѣлинскому чутко проникать въ истинный смыслъ явленій, нерѣдко вводила его и въ горькія заблужденія — отрезвленіе отъ которыхъ обходилось ему дорого, на счетъ здоровья. Онъ точно горѣлъ въ постоянномъ раздраженіи нервъ: всякіе пустяки, мелочь, все это съ одинаковою силой, наравнѣ съ крупными явленіями, отражалось у него на печени, на легкихъ. Часто, въ спорахъ, отъ пустого противорѣчія, отъ вздорнаго фельетона Булгарина, или его сотрудниковъ, у него раздражалась вся нервная система, такъ что иногда жалко, а иногда и страшно было смотрѣть на него, какъ онъ разрѣшался грозой, злостью, въ какой-нибудь, всегда блестящей, но много стоившей ему импровизаціи. И это за то, напримѣръ, если кто-нибудь отзовется сухо, съ пренебреженіемъ, о тѣхъ или другихъ сочувственныхъ ему авторитетахъ въ сферѣ мысли, науки или искусства, не говоря уже о болѣе серьезныхъ поводахъ. Онъ загорался какъ-то вдругъ (особенно, если былъ подходящій слушатель — а не изъ близкихъ, съ которыми все переговорилось и нечего было ни давать, ни самому взять) — и въ теченіе часа,

двухъ, являлась импровизація, въ родѣ тѣхъ статей, какія появлялись въ «Отечественныхъ Запискахъ».

И вотъ эта нервозная, впечатлительная и раздражительная натура, при слабости легкихъ, и вообще хрупкости организма,—убила, сожгла этого человѣка. Я засталъ его, когда онъ очевидно догоралъ въ борьбѣ, со всѣмъ враждебнымъ, чѣмъ обставлена была его жизнь, какъ и жизнь почти всѣхъ болѣе или менѣе въ то время, и въ томъ кругу. Но онъ не совладѣлъ съ хаотическимъ состояніемъ собственныхъ силъ, въ которыхъ никогда не было равновѣсія, не только на какой-нибудь болѣе или менѣе продолжительный періодъ, на годъ, на полгода, напримѣръ, чтобы успокоиться и отдохнуть: но выдалась ли и такая недѣля когда-нибудь, чтобъ онъ не истерзался чѣмъ-нибудь до истощенія и упадка силъ!

Если ничего не приходило извнѣ, онъ хватался за свои постоянные и любимые, большею частью недосягаемые идеалы, общіе и вѣчные вопросы о той или другой свободѣ, о низверженіи тѣхъ или другихъ старыхъ кумировъ, и никогда ни отъ чего не отдыхалъ, потому что покой вообще не свойственъ натурамъ нервнымъ, даже и не въ его роли и не при его значеніи. Надо еще удивляться, какъ, при этой непрерывной напряженной работѣ умственныхъ и душевныхъ силъ въ такомъ скудельномъ сосудѣ, жизнь могла прогорѣть почти до сорока лѣтъ!

По этому сваливать преждевременный конецъ его на что-нибудь другое, кромѣ этихъ разрушительныхъ и жгучихъ свойствъ его натуры, непрестаннаго броженія и горѣнія которыхъ не выдержалъ бы и другой, не такой хрупкій сосудъ—и несправедливо, и невѣрно! Какъ тогда старались, такъ и теперь все еще стараются сваливать вину, то на одного, то на другого изъ журналистовъ, обременявшихъ непосильною работой Бѣлинскаго. И самъ онъ, хотя жаловался иногда на утомленіе и мечталъ, какъ я сказалъ вы-

ше, о независимомъ положеніи, о покоѣ, но эти рѣдкія мечты были, такъ сказать, общими мѣстами жалобъ, какія приходятъ на умъ и на языкъ каждому изъ насъ среди спѣшныхъ или утомительныхъ занятій.

Да и возможенъ ли отдыхающій Бѣлинскій? Безъ непрерывной работы, безъ этого кипѣнія и броженія вопросовъ и мнѣній внѣ литературной лихорадки, — я не умѣю представить себѣ его. Когда его повезли за границу—онъ былъ самъ не свой.—«Хорошо ли вамъ было тамъ?» — спросилъ я его по возвращеніи.—«Плѣненіе вавилонское!» Вотъ какъ выразился онъ про свое лѣченіе и отдыхъ.

Нѣтъ, ему необходима была его спѣшная, лихорадочная работа,—нуженъ и дорогъ былъ и свой маленькій кружокъ, въ своей семьѣ, у очага, среди пяти-шести близкихъ лицъ, гдѣ онъ бился и трепеталъ природною своей жизнью, изливалъ потоки силы, служа своему призванію—и этимъ удовлетворялъ себя, и самъ чувствовалъ эту свою силу и давалъ чувствовать ее другимъ — этимъ наслаждался, этимъ только и жилъ, т. е. горячимъ лихорадочнымъ писаніемъ статей и еще болѣе горячими, лихорадочными, иногда почти горячечными импровизаціями въ кругу близкихъ лицъ.

Это былъ не критикъ, не публицистъ, не литераторъ только—а трибунъ. Публичная его трибуна—въ журналѣ; другая, необходимая ему, дополнявшая первую, совершенно свободная, гдѣ онъ былъ нараспашку, это домашняя трибуна, гдѣ онъ не только зналъ, но, такъ сказать, видѣлъ свою силу, повѣрялъ, измѣрялъ ее, любовался ею самъ, глядя, какъ наслаждаются ею другіе. Отъ этого и были къ нему ближе всѣхъ тѣ, кто любилъ въ немъ больше всего его талантъ, даже больше нежели его самого! Не допускать этого, значитъ не понимать хорошо натуръ этого рода. Самолюбіе—иногда грубый, иногда сдержанный, но всегда главный, а у многихъ и единственный двигатель дѣятельности, а часто и всей жизни. Я сказалъ уже выше, какъ умно и

тонко высказывалось оно у Бѣлинскаго—именно въ благодарной симпатіи къ почитателямъ его силы.

Многолюдства, новыхъ людей онъ не любилъ и избѣгалъ. Богатая натура его и чуткая впечатлительность не нуждались въ количествѣ лицъ и впечатлѣній. Свой внутренній міръ и западающія туда рѣдкія явленія давали громадную пищу его неумолкающему и безпощадному анализу, и онъ едва справлялся съ тѣмъ матеріаломъ, который попадался ему такъ-сказать—на лету, случайно, или на который наводили его занятія по журналу. Онъ мало даже читалъ газеты, какъ-то однимъ ухомъ слушалъ внѣшнія извѣстія, которыя занесетъ, бывало, то тотъ, то другой пріятель, но во всемъ находилось всегда довольно матеріала на промежуточный какой-нибудь день или вечеръ между писаніемъ статей. Все почти служило ему темой для болѣе или менѣе тонкаго, иногда бурнаго, или злого, или наоборотъ восторженнаго словоизліянія. Онъ маялся и скучалъ, ходя изъ угла въ уголъ, когда не было подходящаго собесѣдника: ему приводили новое лицо, т.-е. недавняго, еще непривыкшаго къ нему знакомаго, и когда наконецъ никого не было, кромѣ своихъ, устроивали партію въ преферансъ.

Если не было очередного, насущнаго матеріала, онъ изъ себя добудетъ пищу. Придешь, бывало, а онъ вдругъ заговоритъ, повидимому, ни съ того, ни съ сего (а конечно вслѣдствіе кипѣвшей въ немъ внутренней работы) о какомъ-нибудь, какъ помню однажды, напримѣръ, «Прометеѣ» Гёте: и въ эту минуту уже ничего выше этого Прометея не было! Или вдругъ нападетъ на какой-нибудь авторитетъ, которому всѣ привыкли слѣпо поклоняться,—и низвергнетъ его. Не то такъ возьметъ текущую новость, крутую административную мѣру,—и польются потоки рѣчей, полные тонкаго анализа, мѣткихъ опредѣленій, горячихъ осужденій. Особенно цензура подавала пищу его словесной критикѣ. Чего тутъ не было! И въ то же время онъ боялся шпіоновъ, и сколько

былъ довѣрчивъ къ пріятелямъ, даже ко всѣмъ вхожимъ къ нему лицамъ, къ которымъ привыкъ, столько же боялся новыхъ людей, косился на нихъ, подозрѣвая предательство. Между тѣмъ не могло быть лучшаго доказчика на него, какъ онъ самъ. Онъ на ухо каждому пріятелю довѣрялъ все, что было у него на душѣ, и ребячески думалъ, что это тутъ и умретъ. Ему даже въ голову не приходило, что тѣ въ свою очередь передавали это, также на ухо, своимъ друзьямъ, и что сказанное имъ, почти всегда вѣское и цѣнное, непремѣнно дойдетъ и до другихъ, уже не дружескихъ ушей.

Что же бы дѣлалъ такой человѣкъ въ покоѣ, т. е. въ праздности, безъ своей трибуны въ журналѣ и безъ этой маленькой аудиторіи около себя изъ десятка лицъ, замѣнявшихъ ему весь міръ, признававшихъ его и любившихъ, какъ человѣка и какъ силу? Все равно, гдѣ бы ни было, при какихъ бы ни было обстоятельствахъ,—онъ всегда горѣлъ и сгорѣлъ бы: прежде всего въ борьбѣ съ ложью и грубостью около, вблизи, и потомъ въ погонѣ за далекими, уходящими изъ всякаго реальнаго достиженія идеалами. Вотъ его натура—вся!

Я не говорю, чтобы непріятности, потомъ нужды, тѣснота жизни, наконецъ страхъ, подъ которымъ жили и ходили всѣ тогда, не имѣли своей доли разрушительнаго вліянія на здоровье и жизнь его; но я положительно убѣжденъ, что, безъ нравственной, вулканической внутренней работы, которая рвала и жгла его организмъ, онъ перенесъ бы все остальное, внѣшнее. Онъ былъ обычной жертвой въ борьбѣ крайняго своего развитія съ цѣлымъ океаномъ всякой сплошной, господствовавшей неразвитости.

Способность его увлекаться, несмотря на его умъ, многіе опыты, лѣта, и особенно безпощадно вѣрный анализъ, была изумительна и доказывала, до какой степени сильно онъ былъ одаренъ фантазіей. Я не говорю уже о томъ, какъ юношески восторженно упивался онъ красотами извѣст-

ныхъ капитальныхъ, любимыхъ имъ, произведеній, но онъ съ любовью анализировалъ каждую мелочь въ нихъ, иногда впадая въ ребячество до комизма! Стòитъ развернуть нѣкоторыя статьи о Гоголѣ, гдѣ онъ говоритъ, или, лучше сказать, трепещетъ подъ его живымъ вліяніемъ. Напримѣръ, въ статьѣ о «Горе отъ ума», посвященной больше всего Гоголю, а не Грибоѣдову, чтò онъ говоритъ о *гусакѣ* Ивана Никифоровича: безъ смѣха нельзя читать! «Великая, безконечно великая черта художническаго генія этотъ гусакъ!»—восклицаетъ онъ съ паѳосомъ и пишетъ цѣлую страницу о *гусакѣ* *).

Бѣлинскому нерѣдко приходилось стыдиться своихъ увлеченій и краснѣть за прежнихъ идоловъ. Тогда онъ отъ хвалебныхъ гимновъ переходилъ въ другой, противоположный тонъ—и не скупился на сарказмы, забывъ прежнюю нѣжность къ своимъ любимцамъ. Когда онъ въ первыя мои свиданія съ нимъ, осыпалъ меня добрыми, ласковыми словами, «рисуя» свой критическій взглядъ на меня мнѣ самому и заглядывая въ мое будущее, я остановилъ его однажды.—«Я былъ бы очень радъ,—сказалъ я,—если бъ вы лѣтъ черезъ пять повторили хоть десятую часть того, что говорите о моей книгѣ («Обыкновенная Исторія») теперь». — «Отчего?»—спросилъ онъ съ удивленіемъ.

«А оттого,—продолжалъ я,—что я помню, чтò вы прежде писали о С., какъ лестно отзывались о его талантѣ,—а какъ вы теперь цѣните его!»—(А онъ тогда уже развѣнчалъ его, и сравнивая со всѣмъ, чтò появилось въ литературѣ послѣ, лишилъ его совсѣмъ прошлой, впрочемъ неоспоримой заслуги, какъ будто его и не было вовсе въ литературѣ).

Мое справедливое замѣчаніе, сдѣланное мною, впрочемъ, вскользь, шутливымъ, пріятельскимъ тономъ, неожиданно тронуло и задѣло его за живое. Онъ задумчиво сталъ ходить по комнатѣ. Потомъ прошло съ полчаса. Я уже забылъ и

*) Томъ III, стр. 376 (изд. 1862).

говорилъ съ кѣмъ-то другимъ, а онъ подошелъ ко мнѣ и посмотрѣлъ на меня съ унылымъ упрекомъ.—«Каково же?»—сказалъ онъ наконецъ, указывая кому-то на меня: «онъ считаетъ меня флюгеромъ! Я мѣняю убѣжденія, это правда, но мѣняю ихъ, какъ мѣняютъ копейку на рубль!»—И потомъ опять сталъ ходить задумчиво.

Онъ, конечно, вѣрилъ въ то, что говорилъ, потому что онъ никогда не лгалъ,—но это его объясненіе было невѣрно. Онъ мѣнялъ не убѣжденіе, а у него мѣнялись впечатлѣнія, и пока впечатлѣніе переживало въ немъ свой срокъ, оно поглощало его всего, онъ дѣтски отдавался ему, употребляя на выраженіе его перомъ или словами всю свою силу, безъ пощады, до тѣхъ поръ, пока не наступитъ въ духѣ его реакція, работа анализа, и не охладитъ впечатлѣнія, или пока—какъ я выше сказалъ — само впечатлѣніе, своею ложью или грубостью, внезапно не отрезвитъ его. Онъ спѣшилъ высказывать процессъ дѣйствія самаго впечатлѣнія въ немъ, не ожидая конца,—и отъ этого впадалъ въ ошибки, разочарованія и неизбѣжныя противорѣчія. Собственно критическій, болѣе или менѣе стройный и провѣренный взглядъ являлся у него гораздо позже.

Онъ какъ Донъ-Жуанъ къ своимъ красавицамъ — относился къ своимъ идоламъ: обольщался, хладѣлъ, потомъ стыдился многихъ изъ нихъ и какъ будто мстилъ за прежнее свое поклоненіе. Идолы слѣдовали почти непрестанно одинъ за другимъ. Истощившись весь на Пушкина, Лермонтова, Гоголя (особенно Гоголя, отъ обаянія котораго онъ еще не успѣлъ вполнѣ успокоиться, когда я познакомился съ нимъ), онъ сейчасъ же, легко перешелъ къ Достоевскому, потомъ пришелъ я—онъ занялся мною, тутъ же явился Григоровичъ, попозже Кольцовъ, наконецъ, Дружининъ. Ко мнѣ онъ отнесся сравнительно покойнѣе и трезвѣе, потому что я подвернулся съ своей книгой какъ разъ послѣ одного изъ этихъ разочарованій, въ которомъ онъ

покаялся даже гдѣ-то печатно — и сталъ немного осторожнѣе. Но и тутъ, въ первыя недѣли знакомства, послушавши его горячихъ и лестныхъ отзывовъ о себѣ, я испугался, былъ въ недоумѣніи, и не разъ выражалъ свои сомнѣнія и недовѣріе къ нему самому и къ его скороспѣлому суду. На меня онъ иногда какъ будто накидывался за то, что у меня не было злости, раздраженія, субъективности. — «Вамъ все равно, попадется мерзавецъ, дуракъ, уродъ, или порядочная, добрая натура, — всѣхъ одинаково рисуете: ни любви, ни ненависти ни къ кому!» И это скажетъ (и не разъ говорилъ) съ какою-то доброю злостью, а однажды положилъ ласково послѣ этого мнѣ руки на плечи и прибавилъ почти шопотомъ: — «а это хорошо, это и нужно, это признакъ художника!» — какъ будто боялся, что его услышатъ и обвинятъ за сочувствіе къ безтенденціозному писателю. Онъ, конечно, отдался бы современному реальному и утилитарному направленію, но отнюдь не весь и не во всемъ. Искусство, во всей его широтѣ и силѣ, не потеряло бы своей власти надъ нимъ, — и онъ отстоялъ бы его отъ тѣхъ, черезчуръ утилитарныхъ условій, въ которыя такъ тѣсно и узко хотятъ вогнать его нѣкоторые слишкомъ исключительные ревнители утилитаризма.

Про Кольцова я самъ не слыхалъ ничего отъ Бѣлинскаго, но это было не нужно, благодаря словоохотливости Панаева, который слышалъ отзывы Бѣлинскаго и по нѣсколько дней разносилъ ихъ съ стенографическою вѣрностью по домамъ, пока, вслѣдъ за Бѣлинскимъ, опять не увлекался чѣмъ-нибудь другимъ. Но Боже мой! что это были за отзывы! Кромѣ Кольцова и внѣ Кольцова уже не было и не бывало въ мірѣ поэтовъ? Этотъ образъ заслонилъ у него на время и Пушкина, и Лермонтова — словомъ, ни о комъ не было и рѣчи больше. Заикнись кто-нибудь, не то, чтобы усомниться, а просто прибѣгнуть, напримѣръ, къ сравненію Кольцова съ кѣмъ-нибудь, или даже къ простому и спокой-

ному опредѣленію рода поэзіи и таланта Кольцова—Бѣлинскій, а вслѣдъ за нимъ и Панаевъ, разгромили бы того въ конецъ! И это на недѣлю, на двѣ, а потомъ анализъ, охлажденіе, осадокъ, а въ осадкѣ—искомая доля правды.

Я не ошибочно сравнилъ эти увлеченія Бѣлинскаго съ Донъ-Жуановскими увлеченіями женщинами: и у Бѣлинскаго, какъ у поклонниковъ женской красоты, всѣ прежніе идолы блѣднѣли передъ послѣднимъ, иногда невзрачнымъ, но имѣющимъ болѣе всего прелести новизны. Истина же оцѣнки высказывалась въ большей или меньшей продолжительности впечатлѣнія, — и если послѣднее переживало послѣдующихъ идоловъ, то значитъ—критика его была непогрѣшима. Но этого иногда приходилось долго ждать.

Къ идоламъ же, обманувшимъ его ожиданія, или которыми онъ увлекался прежде, въ молодости, ошибочно, или больше нежели слѣдовало,—онъ былъ безпощаденъ впослѣдствіи. Кажется, онъ восхищался еще въ студенчествѣ Каратыгинымъ, когда тотъ пріѣзжалъ изъ Петербурга въ Москву, а Мочаловъ оттуда сюда, и когда происходилъ между обоими артистами сценическій, а по поводу ихъ, въ журналахъ, и литературный турниръ. Образовались два лагеря. Не знаю хорошенько, но подозрѣваю, что Бѣлинскій въ юношествѣ платилъ, кажется, обоимъ артистамъ болѣе дани удивленія, нежели потомъ они (или собственно Каратыгинъ) въ его глазахъ стоили, когда Бѣлинскій развился и созрѣлъ. О Мочаловѣ онъ и послѣ всегда отзывался сочувственно, цѣня въ немъ вѣрное и чуткое выраженіе тонкихъ, нѣжныхъ или высокихъ сторонъ Шекспировскихъ и Шиллеровскихъ ролей, особенно Гамлета, къ чему совершенно признавалъ неспособнымъ Каратыгина. Любимцу своему, за нѣкоторыя истинно высокія минуты въ тѣхъ или другихъ роляхъ, онъ прощалъ вялость, монотонность и небрежность исполненія, когда этотъ актеръ былъ не въ ударѣ, а это случалось очень часто. Въ Каратыгинѣ же онъ

какъ-то нехотя признавалъ талантъ, хотя талантъ былъ большой, и притомъ старательно выработанный трудомъ въ школѣ сценическихъ и литературныхъ условій и преданій. Бѣлинскій говорилъ о немъ, какъ о неуклюжей, ходульной фигурѣ, смѣялся надъ его манерой и грубостью пониманія тонкихъ ролей.

Здѣсь онъ впадалъ въ тотъ недостатокъ, который мѣшалъ ему быть вполнѣ безпристрастнымъ критикомъ. Уравновѣшивать строго и покойно достоинства и недостатки въ талантахъ—было не въ горячей натурѣ Бѣлинскаго.

Между тѣмъ эта же самая горячность, т.-е. способность увлекаться, и поставила его во главѣ критики художественныхъ произведеній и создала даже школу этой критики, первымъ удачнымъ послѣдователемъ которой былъ Добролюбовъ и менѣе удачнымъ Аполлонъ Григорьевъ. Ни до Бѣлинскаго, ни послѣ него, не было у нашихъ критиковъ въ такой степени чуткой способности сознавать въ самомъ себѣ впечатлѣнія отъ того или другого произведенія, сближать и сличать его съ впечатлѣніемъ другихъ, обобщать ихъ и на этомъ основывать свой судъ.

Въ этомъ собственно и состоялъ творческій пріемъ его оцѣнки. Ему помогало еще то, чего недоставало другимъ критикамъ: это страстное сочувствіе къ художественнымъ произведеніямъ. Чѣмъ ярче и сильнѣе талантъ, тѣмъ страстнѣе было и впечатлѣніе. Оно будило его нервную систему, затрогивало фантазію и порождало эти горячія критическія изліянія, которыя бросали столько свѣту и огня на все, что производила литература замѣчательнаго. Эта самая страстность увлеченій повергала его, какъ я замѣтилъ, и въ тѣ преувеличенія, натяжки и ошибки, которыя ставились ему, бывало, его противниками въ вину, какъ умыселъ и обманъ. Точно такъ же производило въ немъ нервное раздраженіе и всякое бездарное, антипящное явленіе въ литературѣ и вело къ горячимъ словоизліяніямъ въ обратномъ

смыслѣ — и все съ тѣмъ же блескомъ, остроуміемъ, но съ безпощадною ироніей.

Въ области критики художественныхъ произведеній являлось и является не мало болѣе или менѣе замѣчательныхъ умовъ и перьевъ, но очень немногіе изъ нихъ подходятъ къ произведенію по прямому и кратчайшему пути, т.-е. отъ непосредственнаго впечатлѣнія произведенія на нихъ самихъ: они обходятъ со стороны, отъ холоднаго умственнаго воззрѣнія пускаются въ критическія дебри и разсужденія тамъ, гдѣ надо прежде чувствовать и огнемъ чувства освѣщать путь уму — къ вѣрному опредѣленію достоинствъ или недостатковъ произведенія.

Но чуткость нервъ, сила фантазіи и впечатлительность, до степени страстности, даются природою,—повидимому, не очень часто. Если сами художники встрѣчаются не на каждомъ шагу, то и критики съ такою сильною впечатлительностью, какъ у Бѣлинскаго, при силѣ его ума и дарованія, встрѣчаются еще рѣже. Можетъ-быть, этимъ можно отчасти объяснить недостатокъ критики въ нашей литературѣ, на который нерѣдко раздаются жалобы въ публикѣ.

Недалеко то время, когда наступитъ чередъ самого Бѣлинскаго предстать передъ безпристрастный судъ критики. Этотъ судъ, неподкупленный привязанностью къ его личности живыхъ друзей — современниковъ и его почитателей, настанетъ, когда охладится теперь пока еще горячее о немъ воспоминаніе и преданіе: онъ отдѣлитъ его общественно-литературную дѣятельность отъ всякихъ дружескихъ симпатій, откинетъ всѣ преувеличенія и строго опредѣлитъ и оцѣнитъ истинное его значеніе и заслугу передъ обществомъ.

Даже и теперь еще, люди второго поколѣнія, не связанные никакими личными отношеніями къ Бѣлинскому, просто по краткости періода, на который отодвинулись отъ него, затруднятся произнесть строгій критическій приговоръ его недостаткамъ.

Эти недостатки были, можетъ-быть, неизбѣжны при той роли, какая выпала ему на долю. Ему, какъ какому-то апостолу отрицанія, пришлось разыграть въ сферѣ критики и публицистики то же самое, что, другими способами и пріемами, разыгралъ въ искусствѣ Гоголь, и что, иначе уже конечно, продолжало потомъ и продолжаетъ разыгрываться или доигрываться почти всѣми литературными дѣятелями до сихъ поръ.

На подобную начинательную литературную роль нужна была именно такая горячая натура, какъ его, и такіе способы и пріемы, какіе съ успѣхомъ были употреблены имъ: другіе, болѣе мягкіе, покойные, строго-обдуманные, не дали бы ему сдѣлать и половины того, что сдѣлалъ онъ, образуя тогда собой, вмѣстѣ съ Гоголемъ, почти всю литературу: надо было разработывать едва початую общественную почву.

Снаружи казалось все такъ прибрано, казисто; общество выдѣляло изъ себя замѣчательныхъ, даже блестящихъ единицъ въ разныхъ сферахъ дѣятельности, на вершинахъ его лежалъ очень тонкій слой обще-европейской культуры. Но масса общества покоилась въ дремотѣ; жила рутиной и преданіями и не готовилась еще идти навстрѣчу тѣмъ реформамъ, мысль о которыхъ уже зрѣла въ высшихъ правительственныхъ сферахъ и приближеніе которыхъ чуяли и предсказывали нѣкоторые умы, въ томъ числѣ и Бѣлинскаго. Онъ сталъ — или талантъ и вся его натура поставили его во главѣ новаго литературнаго движенія. Беллетристы, изображавшіе въ повѣстяхъ и очеркахъ черты крѣпостного права, были, конечно, этимъ своимъ направленіемъ болѣе всего обязаны его горячей—и словесной, и печатной проповѣди.

Понятно, что, соединяя въ себѣ роли публициста, эстетическаго критика и трибуна, провозвѣстника новыхъ грядущихъ началъ общественной жизни, онъ неизбѣжно долженъ былъ впадать въ рѣзкости, иногда крайности, въ ли-

хорадку торопливости, увлеченій, разочарованій, раздраженій, эфемерныхъ симпатій, несправедливыхъ антипатій и недомолвокъ — словомъ непрерывной борьбы, безъ оглядки назадъ и безъ остановокъ!

Кто не оправдаетъ его, вспомня, съ какой умственной и нравственной тьмой надо было бороться, въ какомъ застоѣ покоилась масса, передъ которой онъ проповѣдывалъ! Крѣпостное право лежало не на однихъ крестьянахъ — и ему приходилось еще оспаривать право начальниковъ — распоряжаться по своему произволу участью своихъ подчиненныхъ, родителей — считать дѣтей своей вещественной собственностью и т. д. — и тутъ же рядомъ объяснять тонкости и прелесть Пушкинской и Лермонтовской поэзіи. Безъ него, смѣло можно сказать, и Гоголь не былъ бы въ глазахъ большинства той колоссальной фигурой, въ какую онъ, освѣщенный критикой Бѣлинскаго, сразу сталъ передъ публикой.

Обращаясь къ его увлеченіямъ и разочарованіямъ, припомню, между прочимъ, о его безпощадныхъ отзывахъ о Кукольникѣ и, особенно, о Бенедиктовѣ.

Поражая направо и налѣво всякую рутинность, ходульность, ложь, какъ въ жизни, такъ и въ искусствѣ, онъ и въ томъ, и въ другомъ требовалъ простоты, естественности, и кто не удовлетворялъ этимъ условіямъ — тому пощады не было.

Кукольникъ и Бенедиктовъ, оба съ значительными талантами, явились на свою бѣду послѣдними могиканами старой, «риторической», какъ прозвалъ ее Бѣлинскій, школы. Онъ и печатно, и въ разговорахъ не могъ о нихъ отзываться равнодушно. Въ Кукольникѣ онъ еще соглашался признать нѣкоторыя достоинства, именно въ повѣстяхъ изъ эпохи Петра Великаго и, ставя ихъ въ примѣръ, тѣмъ тяжеле обрушивался на «Тасса», «Джуліо Мости» и др. Но о Бенедиктовѣ онъ и слышать не могъ. Вычурность нѣко-

торыхъ стихотвореній, въ самомъ дѣлѣ поразительная при талантѣ и умѣ Бенедиктова, дѣлала его какимъ-то, будто личнымъ врагомъ Бѣлинскаго. Зная лично Бенедиктова, какъ умнаго, симпатичнаго и честнаго человѣка, я пробовалъ иногда спорить съ Бѣлинскимъ, объяснялъ обиліемъ фантазіи натяжки и преувеличенія во многихъ стихотвореніяхъ,—указывалъ, наконецъ, на мастерство стиха и проч. Бѣлинскій махалъ рукой и не хотѣлъ признать ничего, ничего. Не помню, что онъ говорилъ печатно о его сочиненіяхъ, но въ разговорѣ онъ постоянно раздражался противъ него, даже нападалъ (гдѣ-то въ статьѣ) на наружность Бенедиктова, въ самомъ дѣлѣ некрасивую. И Кукольникъ, и Бенедиктовъ, оба, были его bêtes noires. Перваго онъ, кажется, зналъ лично, а второго нѣтъ, развѣ видѣлъ гдѣ-нибудь. Но антипатія къ ихъ сочиненіямъ вполнѣ переходила и на авторовъ.

Въ Кукольникѣ лично онъ могъ еще преслѣдовать и ту кичливость, которую носили съ собой всюду многія изъ знаменитостей. Тогда былъ тріумвиратъ изъ Кукольника, Брюлова и Глинки (говорятъ, неразлучныхъ между собой), который примировалъ въ обществѣ. Можетъ-быть, и это *генеральство*, выказывавшееся особенно рѣзко въ Кукольникѣ (котораго я самъ видалъ только мелькомъ), въ его фигурѣ, рѣчи и манерахъ, — много прибавляло уксусу къ желчи Бѣлинскаго.

Развѣнчиваніе отъ театральнаго, мишурнаго величія и самомнѣнія разныхъ знаменитостей, и сведеніе ихъ на степень обыкновенныхъ смертныхъ, было тоже въ числѣ его задачъ. Онъ не только отрезвлялъ отъ чрезмѣрнаго самолюбія живыхъ, но, какъ извѣстно, снималъ вѣнки и съ усопшихъ, возложенные на нихъ слѣпымъ и преувеличеннымъ поклоненіемъ ихъ современниковъ, заходя иногда при этомъ далеко; впадая въ вышеупомянутыя ошибки, рѣзкости, порицанія и отрицанія, не стѣсняясь исторической пер-

спективой. Онъ какъ будто не замѣчалъ (и дѣйствительно въ то время не замѣчалъ), что при этомъ страдали законы строгаго безпристрастія. Вся сила ударовъ его была направлена не на то, чтобы отстоять прошлое и существующее, а чтобы завоевать новое, не охранить, а разрушить, чтобъ добыть какую-нибудь новую, или расширить уже существующую свободу.

Справедливость требуетъ прибавить, что онъ былъ пристрастенъ, не въ отрицательномъ только, но и въ положительномъ смыслѣ. Но послѣднее дѣлалось у него неумышленно, а само собой. Его подкупали симпатіи къ близкимъ или хорошимъ людямъ, къ своему кружку—и онъ грѣшилъ не совѣстью, а мягкостью сердца. Упомяну о нѣкоторыхъ примѣрахъ. Между прочимъ, онъ хвалилъ повѣсти Панаева, и однажды только какъ-то нехотя, почти шопотомъ, сказалъ мнѣ уныло: «творчества у него ни капли нѣтъ».

Кудрявцевъ изъ московскаго кружка, большой пріятель Бѣлинскаго, написалъ недурную повѣсть: Бѣлинскій отозвался о ней почти восторженно. Онъ смѣшивалъ пріятеля съ его сочиненіемъ, что, повторяю, у него было грѣхомъ его сердца, а не совѣсти и эстетическаго вкуса. Литературные противники упрекали его въ этой слабости, но никогда не указывали, изъ какого чистаго источника проистекала она.

Я сказалъ выше, что Бѣлинскій боролся, чтобы добывать какую-нибудь новую, или расширить старую свободу: отъ этого и запальчивость, и пристрастія, и натяжки, и противорѣчія — все то, что неизбѣжно бываетъ при усиленной ломкѣ стараго и завоеваніи новаго. Приведу примѣръ, въ которомъ Бѣлинскій является ревнителемъ женской эмансипаціи, не въ обширномъ смыслѣ такъ-называемаго женскаго вопроса вообще, который тогда еще не поступалъ, въ нынѣшнемъ его значеніи и объемѣ, на очередь, а просто только въ вопросѣ о любви. Въ числѣ всякихъ свободъ, ко-

печно, онъ не обошелъ и женскую свободу, за которую поломалъ не мало копьевъ и апостоломъ которой былъ тогда Жоржъ-Зандъ. Онъ за одно уже это, помимо таланта, былъ ея восторженнымъ поклонникомъ.

Я пришелъ къ нему однажды рано послѣ обѣда (онъ жилъ тогда у Аничкова моста); онъ ходилъ по комнатѣ и былъ радъ моему посѣщенію.—«Ну, что *Теверино?* — спросилъ онъ:—«какъ вы находите?»—Я не читалъ, — сказалъ я равнодушно.—«Какъ не читали, вы?» — Не читалъ,—повторилъ я.—«Какъ такъ!»—Не попалось книги подъ руку, я и не прочелъ. — «Что это такое!» — напустился онъ на меня и разразился, сначала гонкой мнѣ за лѣнь и равнодушіе, а потомъ диѳирамбомъ Теверино и вообще Жоржъ-Занду. Не читавши Теверино, я, конечно, не могу теперь припомнить, что именно онъ сказалъ объ этой повѣсти, помню только, что по мѣрѣ того, какъ приходили другіе, человѣка два-три, послѣ меня, онъ всякому указывалъ на меня и приговаривалъ съ удивленіемъ: — «Теверино не читалъ!»

О Теверино я упомянулъ теперь случайно, въ видѣ предисловія къ тому примѣру, который хочу привести по вопросу о женской эмансипаціи и о крайнемъ увлеченіи этимъ вопросомъ Бѣлинскаго. Не помню теперь, въ этотъ вечеръ, или въ другой, онъ приступилъ ко мнѣ съ вопросомъ о «Лукреціи Флоріани», которая тогда появилась въ переводѣ въ «Современникѣ». Я и теперь помню то восторженное поднятіе Бѣлинскимъ руки вверхъ, когда онъ, освѣщая фигуру Лукреціи уже своимъ электрическимъ огнемъ похвалъ, ставилъ ее все выше—выше и наконецъ заключилъ, почти съ умиленіемъ, что это «богиня, передъ которой весь міръ долженъ стать на колѣни!»

Меня съ начала знакомства съ нимъ, какъ новаго для него человѣка, часто звали къ нему и туда, гдѣ онъ бывалъ, потому что онъ оживалъ съ новымъ, не непріятнымъ ему

лицомъ, высказывался охотнѣе, былъ веселъ, доволенъ, словомъ, жилъ по-своему. О Жоржъ-Зандѣ тогда говорили безпрестанно, по мѣрѣ появленія ея книгъ, читали, переводили ее; нѣкоторыя женщины даже буквально примѣряли на себѣ ея эмансипаторскія заповѣди, поставивъ себя въ положеніе тѣхъ или другихъ ея героинь, что, конечно, безъ нея имъ бы и въ голову не пришло, или пришло бы, какъ всегда, просто, безъ участія головы. Такъ, говорятъ, т.-е. по рецепту Жоржъ-Занда, даже женился и В. П. Б. и сейчасъ же разошелся съ женой—уже по собственному своему усмотрѣнію.

Я съ большимъ удовольствіемъ прочелъ Лукрецію Флоріани, наслаждаясь тамъ, вовсе не ея тенденціей освободить до такой степени женщину, до какой она освободила Лукрецію, а тонкой, вдумчивой рисовкой характеровъ, этой нѣжностью очертаній лицъ, особенно женскихъ, ароматомъ ума, разлитымъ въ каждой, даже мелкой замѣткѣ, и до сихъ поръ смотрю такъ на Жоржъ-Зандъ и наслаждаюсь всѣмъ этимъ въ ней независимо отъ ея задачъ. Но Бѣлинскій, цѣня въ ней художественность исполненія, конечно, по достоинству, выше всего, однако, ставилъ все-таки ея идеи. Я не разъ спорилъ съ нимъ, но не горячо (чтобы не волновать его), а скорѣе равнодушно, чтобъ только вызвать его высказаться, — и равнодушно же уступалъ. Безъ этого споръ бы никогда не кончился, или перешелъ бы въ задоръ, на который, конечно, никто изъ знавшихъ его никогда умышленно бы не вызвалъ. Я только, такъ сказать, затрогивалъ его, или онъ, вѣрнѣе, всегда самъ задиралъ меня вопросомъ, ожидая возраженія, и тогда разрѣшался любимымъ тезисомъ, кипятился и выкладывалъ все, что у него наготовилось за извѣстный періодъ, о томъ или другомъ предметѣ, и что потомъ укладывалось, или въ статьѣ, если къ тому времени подвертывалась статья, или въ словесную импровизацію, въ споръ. Какъ безмолвныхъ, такъ и

слишкомъ горячихъ собесѣдниковъ, какимъ онъ былъ самъ, онъ кажется, не любилъ, что̀ и понятно.

Я помню, что, по поводу Лукреціи Флоріани, я упрекалъ его слегка рабствомъ авторитету, а самой Жоржъ-Зандъ ставилъ въ вину, какъ художнику, тѣсную исключительность ея сферы и ея парадоксы, доказывалъ между прочимъ, что нельзя признавать «богиней» женщину, которая настолько не владѣетъ собой, что переходитъ изъ рукъ въ руки пятерыхъ любовниковъ, не обойдя даже такого хлыща, какъ грубый, неразвитой актеръ, что это уже не любовь человѣческая, осмысленная, свойственная нравственной, развитой натурѣ, а такъ, «гнусность», что, наконецъ, любовь двухъ людей требуетъ равенства въ развитіи, иначе это капризъ и т. д.

Онъ напалъ на меня:—«Вы нѣмецъ, филистеръ, а нѣмцы, вѣдь это семинаристы человѣчества!» прибавилъ онъ.—«Вы хотите, чтобы Лукреція Флоріани, эта страстная, женственная фигура, превратилась въ чиновницу!»

Онъ однажды выразился даже такъ, что и художникъ самъ долженъ окунуться въ омутъ распущенности нравовъ— и проговорилъ это довольно серьезнымъ голосомъ, съ важнымъ выраженіемъ лица, съ убѣжденіемъ, какъ заповѣдь. Я увѣренъ, что у Бѣлинскаго, въ этомъ грубомъ парадоксѣ, крылось то убѣжденіе, что художникъ, не прикоснувшійся собственнымъ опытомъ низшихъ, грубыхъ слабостей и паденій, оставаясь въ строгихъ предѣлахъ чистыхъ нравовъ, не будетъ имѣть многихъ красокъ на своей палитрѣ для живописанія всѣхъ людскихъ страстей и страстишекъ. Иначе нельзя этого и объяснить. Бѣлинскій, конечно, вдавался въ очевидную натяжку, допуская не только снисхожденіе, но присуждая, такъ-сказать, вѣнокъ женщинѣ, которая смѣло оторвется отъ моральныхъ и матеріальныхъ узъ, какими связана была,—и я полагаю,—во многомъ будетъ связана,— т.-е. сама не позволитъ развязать себя, когда наступитъ

отрезвленіе отъ горячки такъ-называемаго женскаго вопроса и когда послѣдній вступитъ въ фазисъ покойной и разумной обработки.

Бѣлинскій, безъ сомнѣнія, лучше другихъ понималъ все, что есть крайняго въ жизни этихъ Лукрецій, и не смѣшивалъ про себя всѣхъ этихъ кучъ навоза, гдѣ толпились актеры, герцоги и прочіе, сквозь фалангу которыхъ прошла Флоріани, — въ одну какую-то пирамиду любви. Но ему и не это было нужно: ему снился идеалъ женской свободы, онъ рвался къ нему, жертвуя подробностями, впадая въ натяжки и противорѣчія даже съ самимъ собою, лишь бы отстоять этотъ идеалъ, чтобы противные голоса не заглушили самаго вопроса въ зародышѣ.

О томъ, что собственно есть любовь, какъ человѣческое чувство, и какъ строго и зорко надо его отличать отъ одного животнаго побужденія, — онъ въ ту минуту не думалъ, хотя нерѣдко въ печати выражалъ трезвость своего взгляда. Это второстепенный для него вопросъ, до котораго, конечно, дойдетъ очередь, когда одержана и упрочена будетъ главная побѣда свободы, а детали придутъ потомъ, когда начнется воспитаніе женщины въ духѣ той свободы,— тогда и разберутъ что и какъ. Особенно онъ боялся помѣхи со стороны пуританъ и пуританокъ, которые косо поглядывали не только на эмансипаціонныя попытки Жоржъ-Зандъ, но и на чувственныя проявленія любви вообще.—«Да,— задумчиво и серьезно сказалъ онъ однажды, ужъ не помню при какомъ случаѣ: — конечно, не одно «это» (т. е. чувственность) соединяетъ любящихъ, но безъ «этого»—ничего другого и не нужно».

Между тѣмъ, собственная его семейная жизнь совершенно противорѣчила тому, что проповѣдывалъ онъ на своей трибунѣ о женской свободѣ любить на манеръ Лукреціи Флоріани. Всему, что говорилось и писалось о его безупречныхъ отношеніяхъ къ женщинамъ — надо вѣрить. Въ се-

мейной жизни трудно отыскать человѣка, который бы съ большимъ уваженіемъ обращался къ женѣ, чѣмъ онъ. Во всемъ его обхожденіи съ ней было то, что французы называютъ déférence: это же свойство проглядывало и въ отношеніяхъ его къ прочимъ знакомымъ женщинамъ, къ женамъ и вообще семействамъ всего кружка. Если у него въ душѣ и были какія-нибудь семейныя облака, то, вѣроятно онъ никогда никому ихъ не обнаруживалъ. Вообще, глядя на его семейную жизнь, можно было заключить, что на дѣлѣ онъ признавалъ «святость» семейныхъ союзовъ, онъ, не любившій признавать вообще святостей.

Мнѣ остается замѣтить кое-что еще о несправедливомъ поголовномъ и голословномъ упрекѣ, который нерѣдко обращали къ Бѣлинскому—въ необразованности!

Въ относительной необразованности можно упрекнуть всякаго, не исключая самыхъ образованныхъ. Но на него обрушивался этотъ упрекъ, какъ будто онъ былъ неучъ, какъ будто невѣжество его въ чемъ-нибудь рѣзко обличало его и было замѣтнымъ недостаткомъ.

Но сочиненія его передъ нами: гдѣ же грѣшитъ онъ въ нихъ какими-нибудь промахами противъ того или другого знанія, или слабостью въ пониманіи того или другого, о чемъ писалъ? А о чемъ онъ не писалъ и чего не касался? И нигдѣ нѣтъ никакихъ рѣзкихъ обличеній въ несвѣдѣніи съ догматикой той или другой науки, того или другого предмета.

Матеріальный поводъ къ этому упреку [illegible] тотъ, что онъ не кончилъ курса и не получилъ университетскаго диплома. За это прежде всего [illegible] настоящія посредственности, которыхъ [illegible] по мѣрѣ того, какъ развивался и обнаруживался [illegible] Бѣлинскаго. У него, правда, не было ни [illegible] ученія, ни официальной учености [illegible] въ необразованные, въ неучи, [illegible]

Помнится, что и Полевого, вначалѣ его появленія, тоже упрекали неученостью, и даже обзывали «купцомъ», потому что онъ не былъ въ университетѣ и не имѣлъ ученой степени.

Узнали, что Бѣлинскій не знаетъ по-нѣмецки, слѣдовательно, онъ-де, ни Гегеля, ни Гёте, ни другихъ, въ подлинникѣ не читалъ, а говоритъ о нихъ такъ, какъ будто читалъ ихъ самъ: ну, значитъ, и неучъ!

Но какъ далеко ниже его стояли многіе изъ упрекавшихъ его въ своей мнимой учености, нужды нѣтъ, что они занимали ученыя каѳедры и положенія, или сотрудничали въ журналахъ, говорили и писали о древнихъ и новыхъ литературахъ, не зная иногда ни одного, или зная только французскій языкъ.

Нѣтъ, Бѣлинскій былъ образованнѣе всѣхъ своихъ сотоварищей (не ученѣе, а именно образованнѣе), за исключеніемъ развѣ одного Герцена, правильная подготовка котораго возводила его образованность на степень учености.

Средства Бѣлинскаго были скудныя, пути образованія почти случайные (однако въ университетѣ, только безъ диплома). Знанія, пріобрѣтаемыя въ университетской аудиторіи, дополнялись въ кругу товарищей, при совмѣстномъ чтеніи и взаимномъ объясненіи оригиналовъ или переводовъ съ иностранныхъ языковъ; наконецъ, среди преній, разборовъ въ юныхъ кружкахъ, въ добываніи съ трудомъ и въ взаимной передачѣ книгъ.

Развѣ это не школа, не академія, гдѣ гранились другъ о друга юные умы, жадно передавая другъ другу знанія, наблюденія, взгляды—вся эта жажда и любовь къ знанію? Какого же еще надо аѳинскаго портика, съ Платономъ въ вицъ-мундирѣ и очкахъ? Не такъ ли мы всѣ пріобрѣтали то, что̀ есть въ насъ лучшаго и живого? Не тамъ ли, въ юношескихъ университетскихъ кружкахъ, и мы сортировали и осмысливали то, что̀ уносили отъ каѳедры?

[illegible]

[illegible]

Въ ру[illegible]

[illegible] старал[illegible]

[illegible]

Профе[illegible]

[illegible]

Слѣдовательно [illegible]

[illegible]ливать [illegible]

[illegible] ему — и [illegible]

[illegible] его полит[illegible]

долю, — именно для роли — не эстетическаго критика собственно, не публициста только, а для того и другого вмѣстѣ, и еще для чего-то — третьяго? Наконецъ, надо еще спросить: отвѣчала или не отвѣчала степень его подготовки эпохѣ и моменту его дѣятельности и его средѣ — и опредѣлить, сколько онъ сдѣлалъ для своего времени и современнаго ему поколѣнія? И только въ совокупности на всѣ эти вопросы, и слѣдуетъ, и можно давать по возможности покойный, т. е. отрѣшенный и отъ вражды, и отъ пристрастія къ нему отвѣтъ. Кстати можно было бы спросить, много ли сдѣлали тѣ «ученые», которые громили его за неученость?

Извѣстно, какъ Бѣлинскій былъ искрененъ и не хвастливъ. Съ постороннимъ, мало знакомымъ лицомъ, онъ почти совсѣмъ не говорилъ, или говорилъ мало, несвязно и не блисталъ ни умомъ, ни знаніемъ. Только съ близкими онъ былъ свободенъ въ рѣчи, не остерегался ошибокъ и давалъ волю своимъ силамъ. И въ такихъ именно спорахъ онъ обнаруживалъ массу знаній, которыхъ въ покойномъ разговорѣ, внѣ всякаго увлеченія, нельзя было подозрѣвать въ немъ. Онъ ронялъ и сыпалъ ихъ нечаянно, какъ часто нечаянно въ печатныхъ статьяхъ сверкалъ остроуміемъ, удачными сравненіями, ссылками на тѣ, или другіе авторитеты и т. п.

Слѣдовательно, знанія, хотя бы собранныя медленно, иногда урывками, служили прямой его цѣли, его дѣлу, т. е. его перу. Онъ не держалъ на ученой конюшнѣ осѣдланнаго готоваго коня, съ нарядной сбруей, не выѣзжалъ въ циркъ показывать ѣзду haute école, а ловилъ изъ табуна первую горячую лошадь и мчался куда нужно, перескакивая ученыхъ коней. Этотъ способъ партизанскихъ наѣздовъ именно и нуженъ былъ ему для его цѣлей.

Познаніями могъ превосходить его, какъ я выше сказалъ, напримѣръ, Герценъ. Но вѣдь и онъ не ученостью все сдѣлалъ въ литературѣ и въ жизни, что сдѣлалъ, хотя

ученость, или, лучше сказать, всестороннее образованіе было важнымъ подспорьемъ его таланту и блестящему остроумію.

Можно, конечно, пожалѣть, что и Бѣлинскій не совершилъ отъ начала до конца путь болѣе обширнаго, или, лучше сказать, болѣе систематическаго образованія, для исполненія, съ большимъ авторитетомъ, той громадной роли, какая ему выпала на долю. Соотвѣтствующая его природнымъ средствамъ подготовка помогла бы еще болѣе его вліянію на литературное развитіе въ обществѣ и упрочила бы за нимъ значеніе его дѣятельности и заслуги— безъ всякихъ сомнѣній и споровъ.

ИВАНЪ САВИЧЪ ПОДЖАБРИНЪ.

Очерки.

Иванъ Савичъ сидѣлъ послѣ обѣда въ вольтеровскихъ креслахъ и курилъ сигару. Ему, повидимому, было очень скучно. Онъ не зналъ, что̀ дѣлать. Для препровожденія времени, онъ то подожметъ ноги подъ себя, то вытянетъ ихъ во всю длину, по ковру, то зѣвнетъ, то потянется, или стряхнетъ въ чашку кофе пепелъ съ сигары и слушаетъ, какъ онъ зашипитъ; словомъ, онъ не зналъ, что̀ дѣлать со скуки. Ѣхать въ театръ еще рано, въ гостяхъ онъ быть не любилъ. Въ передней храпѣлъ слуга, у ногъ спала собака. Все сердило Ивана Савича, и эта досада простиралась и на лакея, и на собаку. Иванъ Савичъ уже попотчивалъ двумя пинками Діану, которая сунулась-было лизать ему руку. Она, свернувшись, легла на коверъ и чуть-чуть дрожала, только повременамъ открывала одинъ глазъ и искоса поглядывала на своего господина.

— Авдѣй!—закричалъ онъ.

— Че-о изволит...—впросонкахъ пробормоталъ тотъ.

— Не храпи! Экъ ты храпишь: за двѣ комнаты слышно.

Храпѣнье прекратилось; мѣсто его заступила продолжительная, энергическая зѣвота, съ прибавочными звуками: ге-ге-ге!

— Не зѣвай или зѣвай какъ слѣдуетъ, про себя! — закричалъ Иванъ Савичъ.

Воцарилось молчаніе, но не надолго. Поднялся сухой, продолжительный кашель. Пріятель мой пожалъ плечами.

— Вотъ, кашлять сталъ! Не можешь посидѣть смирно? А отчего кашель? оттого, что все по сѣнямъ да по двору таскаешься въ одномъ жилетѣ. Говорилъ тебѣ: нѣтъ, не слушаешься. Ну, смотри, у меня и спи на дворѣ, а здѣсь я кашлять тебѣ не позволю.

Послѣ этого увѣщанія оба замолчали, и Иванъ Савичъ опять принялся за свои занятія: за вытягиваніе и поджиманіе ногъ, за стряхиваніе пепла и проч.

Вдругъ въ залѣ послышались шаги Авдѣя. Онъ явился въ кабинетъ и сталъ у дверей. То былъ низенькій, плѣшивый, пожилой человѣкъ. Волосы у него на затылкѣ были съ просѣдью.

— Что̀ тебѣ надо?—спросилъ Иванъ Савичъ.

— Я забылъ вамъ сказать: дворникъ давича говорилъ, что на васъ хотятъ жаловаться...

— Кто? кому?—съ испугомъ спросилъ Иванъ Савичъ.

— Хозяину жильцы.

— Жильцы? хозяину?

— Да-съ: слышь, женскому полу проходу не даемъ...

— Цс! что̀, дуракъ, орешь!

— Да-съ. Вонъ этотъ чиновникъ, что̀ противъ насъ живетъ,—продолжалъ Авдѣй:—очень недоволенъ. Дворникъ говоритъ: какъ, говоритъ, твой баринъ со двора, такъ и жена эвтаго чиновника на рынокъ-съ съ дѣвкой идетъ. На что̀ это, говоритъ, похоже? Мужъ-то, говоритъ, разъ и пошелъ слѣдомъ за вами и видѣлъ, говоритъ, какъ вы, вишь, вышли изъ переулка да съ ней рядомъ и пошли, и былъ, говоритъ, очень, очень недоволенъ: ворчалъ цѣлый день и только къ вечеру угомонился, и то оттого, что выпилъ.

— Гм! какой варваръ!—сказалъ Иванъ Савичъ, покачавъ головой:—ну?

— Еще, слышь, булочникъ жаловался...

— А этотъ на что?

— Все, вишь, дочь его мимо нашихъ окошекъ шмыгаетъ, да въ кухню къ намъ часто заглядываетъ.

— Въ самомъ дѣлѣ? На кого жъ булочникъ жаловался: на меня или на дочь?

— Не могу знать.

— Такъ знаешь что?—сказалъ Иванъ Савичъ.

— Не могу знать.

— Ищи поскорѣй другую квартиру.

— Опять! — горестно сказалъ Авдѣй: — давно ли перемѣнили.

— Давно ли! что жъ дѣлать! ты самъ видишь, что намъ житья здѣсь нѣтъ: притѣсняютъ. Долго ли до бѣды? Ищи!

— Этакую квартиру мѣнять!—сказалъ Авдѣй:—и сарай, и ледничекъ особый...

— Вотъ еще! зачѣмъ намъ ледничекъ! Мы дома не стряпаемъ, въ прокъ ничего не запасаемъ.

— Какъ зачѣмъ-съ? неровно пригодится. Вотъ разъ дыню на ледъ клали... Мало ли зачѣмъ?

— Нѣтъ, ищи! Да мнѣ эта квартира и надоѣла. Я ужъ всѣхъ здѣсь знаю: всѣ наскучили. Не съ кѣмъ пожуировать жизнію.

— А Марья Михайловна?..

— Ну, ужъ дрянь-то! Ищи!

— Побойтесь Бога, Иванъ Савичъ,—сказалъ Авдѣй: — грѣшно, право, грѣшно.

— Полно!—съ досадой возразилъ Иванъ Савичъ. — Потвоему, не пожуируй! Сиди вотъ этакъ съ тобой да съ Діанкой дома: не съ кѣмъ слова сказать. Да еще пожалуются— бѣда выйдетъ, пристанутъ! Ищи. Да смотри, чтобъ окна выходили на улицу и на дворъ. А если гдѣ замѣтишь въ

домѣ... понимаешь?.. того... такъ хоть на улицу и не будетъ окошекъ, нужды нѣтъ.

Ежедневный образъ жизни Ивана Савича, какъ нынѣшнія драмы, раздѣлялся на три картины. Утро въ должности. Это онъ называлъ *серьезными занятіями*, хотя иногда сидѣлъ тамъ, ничего не дѣлая. Обѣдъ въ трактирѣ, часто съ пріятелями. Тогда обѣдали шумно и напивались обыкновенно пьяны. Это называлось *кутить* и считалось дѣломъ большой важности. Вечеръ или въ театрѣ, или въ обществѣ какой-нибудь сосѣдки. Послѣднее значило у Ивана Савича и подобныхъ ему *жуировать* жизнію. Выше и лучше этого онъ ничего не зналъ. Родители оставили ему небольшое состояніе и познакомили его съ порядочными людьми. Но онъ нашелъ, что знакомство съ ними—*сухая матерія*, и мало-по-малу оставилъ ихъ. Книгъ онъ не читалъ, хотя учился въ какомъ-то учебномъ заведеніи. Но духъ науки пронесся надъ его головой, не осѣнивъ ея крыломъ своимъ и не пробудивъ въ немъ любознательности. Какимъ онъ вступилъ въ учебное заведеніе, такимъ и вышелъ, хотя, по заведенному въ этомъ заведеніи похвальному обычаю, получилъ при выходѣ похвальный листъ *за прилежаніе*, *успѣхи и благонравное поведеніе*.

На другой день Авдѣй доложилъ Ивану Савичу, что на трехъ воротахъ видѣлъ объявленія и осмотрѣлъ двѣ квартиры: обѣ оказались хороши. Иванъ Савичъ одѣлся и отправился вмѣстѣ съ нимъ. Они пришли къ большому четырехъэтажному дому. У воротъ сидѣлъ мужикъ въ тулупѣ.

— Не дворникъ ли ты? — спросилъ его Иванъ Савичъ ласково.

Мужикъ зѣвнулъ и молча сталъ смотрѣть въ другую сторону.

— Гдѣ здѣсь дворникъ?—спросилъ Авдѣй.

Мужикъ молчалъ.

— Дома дворникъ?—спросилъ опять Иванъ Савичъ.

Мужикъ посмотрѣлъ на нихъ обоихъ и молчалъ.

— Да что жъ ты, глухъ, что ли? говори!

— Я не здѣшній!—лѣниво отвѣчалъ мужикъ, запахивая тулупъ.

— Такъ бы и говорилъ, чухна проклятая!—сказалъ Авдѣй:—а то молчитъ!

Они вошли на дворъ. Имъ навстрѣчу попался еще мужикъ.

— Дворникъ?—спросилъ Иванъ Савичъ.

— Никакъ нѣтъ-съ, — проворно отвѣчалъ мужикъ, приподнявъ шляпу:—вонъ гдѣ дворникъ живетъ. Извольте позвонить. Кажись, дома.

— Позвони, Авдѣй!

Авдѣй позвонилъ. Въ дворнической никто не пошевелился. Иванъ Савичъ позвонилъ самъ сильнѣе: нѣтъ отвѣта. Авдѣй спустился со ступенекъ къ засаленной двери и постучалъ кулакомъ. Молчаніе. И Иванъ Савичъ постучалъ посильнѣе. Тоже.

— А вы бы покрѣпче!—сказалъ тотъ же мужикъ, который, указавъ имъ конуру дворника, все вертѣлся поодаль отъ нихъ у воротъ.

Иванъ Савичъ постучалъ очень крѣпко.

— А вы изо всей мочи,—сказалъ мужикъ.

— У меня ужъ нѣтъ больше мочи. Поди-ка ты, Авдѣй!

Все безуспѣшно.

— Пожалуйте-ка, я,—сказалъ мужикъ, и застучалъ такъ, что стекла задребезжали.

Никто не откликнулся.

— Ну, видно, дома нѣтъ,—говорилъ мужикъ.—Я думалъ, не заснулъ ли онъ. Лютъ спать-то: не скоро добудишься. Нѣтъ ли развѣ на другомъ дворѣ?

Баринъ и слуга отправились на другой дворъ; за ними, въ качествѣ наблюдателя, поплелся и мужикъ. Тамъ бро-

дили два гуся да пятокъ куръ. Въ одномъ углу баба мыла кадку, въ другомъ кучеръ рубилъ дрова.

— Не знаешь ли, тетка,—спросилъ Андрей:—гдѣ дворникъ? Нѣтъ ли его здѣсь?

— Нѣтъ, батюшка, не видать. Онъ долженъ быть на томъ дворѣ.

Они пошли опять на первый дворъ и прошли-было ужъ ворота.

— Кого вамъ, господа? — закричалъ кучеръ: — дворника, что ли, надо?

И съ этими словами, вонзилъ топоръ въ бревно, обернулъ его, поднялъ надъ головой и хлопнулъ о-земь. Бревно разлетѣлось на-двое; одна половинка ударила по колѣнкѣ Авдѣя.

— Вишь тебя лѣшій...—сказалъ Авдѣй, прыгнувъ.

Кучеръ опустилъ топоръ къ полу.

— Да, да, любезный, дворника. Гдѣ онъ? — спросилъ Иванъ Савичъ.

— Да, гдѣ онъ?—примолвилъ, почесывая колѣнку, Авдѣй.

Кучеръ поглядѣлъ на нихъ, потомъ поплевалъ на ладони, взялъ топоръ и опять занесъ его надъ головой.

— Не знаю, не видалъ!—отвѣчалъ онъ, тряхнувъ головой, и вонзилъ топоръ въ другое бревно.

— Зачѣмъ же ты ворочаешь попустому? — сказалъ Авдѣй.—Этакой народецъ!

И пошли прочь. Они уже рѣшились идти на другую квартиру. Между тѣмъ, Иванъ Савичъ глазѣлъ на окна всѣхъ этажей, и вдругъ глаза его заблистали: въ окнѣ третьяго этажа мелькнуло бѣлое платье, потомъ показалось и тотчасъ спряталось кругленькое женское личико, осѣненное длинными черными локонами. Изъ-за него выглянуло другое, старое и некрасивое женское лицо.

— Ну, вотъ: тебя очень нужно!—проворчалъ Иванъ Савичъ, относя это ко второму явленію.

Когда они проходили мимо дворнической, изъ глубины ея, какъ изъ могилы, выдвинулась сонная фигура самого дворника, въ рубашкѣ, съ самоваромъ въ рукахъ.

— Ты дворникъ?—спросилъ Авдѣй.

— Я-съ. Что̀ вашей милости угодно?

— Что̀! гдѣ ты прячешься! баринъ спрашиваетъ тебя.

— Какой баринъ? — говорилъ дворникъ, поглядывая съ любопытствомъ на Ивана Савича.

— Мы тебя цѣлый часъ ищемъ,—сказалъ Иванъ Савичъ.

— А вы бы позвонили.

— Мы даже трезвонили; руки отколотили, стуча въ дверь.

— Не слыхалъ. Признаться, соснулъ маленько,—сказалъ дворникъ.

— Такъ не мы тебя разбудили?—спросилъ Иванъ Савичъ.

— Нѣтъ-съ, я самъ проснулся. Диво, какъ я не слыхалъ. Мнѣ только чуть дотронься до скобки, я и услышу.

— Въ третьемъ этажѣ здѣсь отдаются три комнаты и кухня?—спросилъ Иванъ Савичъ.—Покажи-ка намъ.

— Сейчасъ-съ. Вотъ только ключи возьму. Пожалуйте-съ.

Онъ поставилъ самоваръ на землю и повелъ-было ихъ на лѣстницу, но вдругъ замѣтилъ того мужика, который помогалъ Ивану Савичу и Авдѣю стучать въ дверь, и воротился. И они воротились.

— А! ты здѣсь!—началъ онъ кричать.—Зачѣмъ пожаловалъ? Послушай! толкомъ тебѣ говорю: убирайся и не показывайся сюда, а не то, братъ, худо будетъ. Хозяинъ велѣлъ тебя взашей вытолкать. Слыхалъ ты это?

Мужикъ спрятался за ворота.

— То-то же; будешь у меня прятаться, — примолвилъ дворникъ.—Пожалуйте-съ.

Они пошли на лѣстницу. Дойдя до перваго этажа, дворникъ бросился къ окну въ сѣняхъ посмотрѣть, ушелъ ли мужикъ. Но онъ оказался опять на дворѣ.

— Аль тебѣ мало словъ?—кричалъ дворникъ, грозя изъ окна ключами:—ну, такъ я кликну городового: онъ съ тобой раздѣлается; уходи, говорятъ, уходи, покуда цѣлъ. Пожалуйте-съ.

И Иванъ Савичъ съ Авдѣемъ смотрѣли въ окно и видѣли, какъ мужикъ опять спрятался. Пошли выше.

— А вѣдь, чай, не ушелъ, проклятый, — сказалъ дворникъ, всходя на площадку второго этажа.—Хоть побиться!

Наконецъ пришли въ третій этажъ къ дверямъ. Дворникъ прежде всего подошелъ къ окну.

— Не видать!—говорилъ онъ самъ съ собой.—Поди, чай, вретъ: не ушелъ! Этакая должность проклятая! Усмотри за ними! Пожалуйте-съ.

Онъ сталъ отпирать двери. Въ это самое время изъ дверей противоположной квартиры выглянула та же самая хорошенькая головка, что смотрѣла изъ окна, и тотчасъ спряталась.

— Я думаю, я найму эту квартиру,—сказалъ Иванъ Савичъ и толкнулъ локтемъ Авдѣя.

Авдѣй отворотился.

— А? какъ ты думаешь, Авдѣй?

— Что вы, сударь, торопитесь,—отвѣчалъ онъ.—Можетъ, еще не хороша.

— Какъ понравится,—примолвилъ дворникъ.

— Прехорошенькая,—замѣтилъ Иванъ Савичъ.

— Да вѣдь вы еще не видали ея; а можетъ-быть она и холодна,—сказалъ Авдѣй.

— Холодна! какъ можно, холодна! — ворчалъ Иванъ Савичъ.

— Будьте покойны, — говорилъ дворникъ, махнувъ ключомъ и тряхнувъ головой: — такая жара, словно въ печкѣ: одни жильцы даже съѣхали оттого, что больно тепло.

— Какъ такъ?

— Четыре печки, сами посудите. Въ кухнѣ русская, а

и солнышко грѣетъ прямо въ окошки. Жили иностранцы какіе-то, и не понравилось; а намъ, русскимъ, паръ костей не ломитъ. Довольны будете.

— Видишь, Авдѣй, кромѣ передней, какая у тебя еще славная комната?—сказалъ Иванъ Савичъ.

— Что̀ мнѣ видѣть-то! — проворчалъ Авдѣй, взявъ картузъ изъ одной руки въ другую.

— Экой дуракъ! а ты отвѣчай по-человѣчески!—сердито замѣтилъ Иванъ Савичъ.

— Я и то по-человѣчески говорю; вѣстимо, человѣкъ: по-барски не умѣю,—сострилъ Авдѣй.

Квартира оказалась годною. Зала окнами выходила въ переулокъ, а кабинетъ и спальня на дворъ. Все какъ хотѣлось Ивану Савичу.

— А что̀ это за пятно на потолкѣ, какъ будто мокрое?— спросилъ Авдѣй.

— Да, въ самомъ дѣлѣ, что̀ это за пятно, и еще въ спальнѣ? — спросилъ и Иванъ Савичъ. — Кажется, течетъ сверху?

— Точно такъ-съ, — отвѣчалъ дворникъ, наклонивъ немного голову въ знакъ согласія:—протекаетъ маленько. Ино бываетъ наверху ушатъ съ водой прольютъ, оно и каплетъ въ щель.

Иванъ Савичъ покачалъ головой.

— Не извольте сумлѣваться, — поспѣшилъ примолвить дворникъ: — будете довольны. А это пятно — такъ ничего! не глядите на него—оно дрянь!

— Вижу, что дрянь. Но вѣдь этакъ, любезный, пожалуй штукатурка отвалится да на носъ упадетъ.

— И, нѣтъ-съ, щекатурка крѣпка—не отмокнетъ: другой годъ каплетъ. Вы только, какъ станетъ капать, ведерко извольте подставить.

— А какъ не доглядишь, — сказалъ онъ: — да вода-то твоя на мебель или на платье потечетъ?

— Нѣтъ-съ, услышите: вѣдь оно закаплетъ словно дождь пойдетъ: такъ и забарабанитъ.

— Дождь въ комнатѣ! — думалъ Иванъ Савичъ: — лишнее, совершенно лишнее! Зачѣмъ же не замажутъ? — спросилъ онъ.

— Всѣ тоже спрашиваютъ,—отвѣчалъ дворникъ:—я сказывалъ хозяину, да онъ говоритъ, что ужъ онъ замазывалъ въ ту пору еще, когда вотъ эти жильцы нанимали, что̀ съѣхали. «Неужто, говоритъ, для каждаго жильца стану замазывать!» да еще ругнулъ меня.

Иванъ Савичъ задумался-было, но вспомнилъ о сосѣдкѣ и махнулъ рукой.

— Что̀ жъ! ванны не нужно,—прибавилъ онъ, обращаясь къ Авдѣю.—Сталъ подъ это пятно, да попросилъ тамъ вверху пролить ушатъ съ водой, вотъ тебѣ и душъ.

Онъ далъ задатокъ.

— Позвольте, сударь, позвольте! — сказалъ торопливо Авдѣй и вырвалъ у дворника ассигнацію: — надо все съ толкомъ дѣлать: а есть ли сарай для дровъ?

— Есть: саженъ на пять.

— Ну, а ледничекъ особый?

— Ледника нѣтъ. Да на что̀ вамъ ледникъ? У васъ вѣдь нѣтъ хозяйства; али баринъ женатъ?

— Нѣтъ, мы холостые. Да какъ не нужно ледника? Случится поставить что̀...

— Да что̀ вамъ ставить?

— Какъ что̀? дыню иной разъ...

— Ты все вздоръ говоришь, Авдѣй! отдай задатокъ! — сказалъ Иванъ Савичъ.

— Вздоръ! — повторилъ тихонько Авдѣй. — Самъ вздоръ дѣлаетъ: дрова вишь у него вздоръ и ледникъ вздоръ, а глазѣть куда не надо—не вздоръ!

— Можно на хозяйскій ледникъ поставить, коли что̀ понадобится,—сказалъ дворникъ.

Авдѣй отдалъ задатокъ назадъ.

Пока слуга торговался, Иванъ Савичъ отворилъ ногой дверь изъ передней въ сѣни и поглядывалъ въ лорнетъ въ полуотворенную дверь противоположной квартиры. Оттуда изрѣдка выглядывали попеременно то молодое, то старое женское лицо.

— Ахъ, какъ мила!—бормоталъ Иванъ Савичъ, отворяя побольше дверь. — Черные глазки, свѣженькая: можно пожуировать. Экое чучело!—говорилъ онъ потомъ, вдругъ захлопывая дверь.—Какая бѣленькая шейка! О, да она много обѣщаетъ! Никогда не видывалъ гаже хари! Что это она такъ часто выглядываетъ?

Вдругъ въ головѣ у него мелькнуло сомнѣніе насчетъ сосѣдки, и онъ тоже схватилъ ассигнацію изъ шапки дворника. Дворникъ потянулся-было проворно прикрыть ее рукой, но не засталъ ужъ ея въ шапкѣ и прикрылъ пустое мѣсто. Онъ, разиня ротъ, смотрѣлъ, куда спрячетъ Иванъ Савичъ деньги. Но тотъ держалъ ихъ въ рукѣ. Они вышли въ сѣни.

— Кто тутъ живетъ напротивъ? — спросилъ Иванъ Савичъ.

— Тутъ-съ... мужнія жены,—отвѣчалъ дворникъ.

У Ивана Савича отлегло отъ сердца.

— Ну, вотъ, слава Богу, что порядочное сосѣдство: честныя женщины; а то вѣдь иногда... попадешь такъ, что и жить нельзя!

И онъ бросилъ ассигнацію опять въ шапку. Дворникъ сжалъ ее въ кулакъ съ ключомъ, а шапку надѣлъ.

— А тутъ кто?

— Тутъ-съ барышня, дочь умершаго чиновника.

— Слышишь, Авдѣй, барышня.

— Что мнѣ слышать-то!—сказалъ Авдѣй.

— А вонъ тамъ повыше кто?—спросилъ Иванъ Савичъ.

— Это-то?

— Да.

— Женатый чиновникъ.

— А внизу?

— Чиновникъ вдовецъ.

Иванъ Савичъ сталъ морщиться.

— А съ другой стороны?—спросилъ онъ.

— Чиновникъ-съ.

— Что за чортъ! А тамъ? — говорилъ Иванъ Савичъ, указывая на самый верхъ, и, не дожидаясь отвѣта, самъ кивнулъ головой, какъ будто догадываясь, кто.

И дворникъ кивнулъ.

— Тоже?

— Тоже.

— Хм!—съ досадой сдѣлалъ Иванъ Савичъ.—Женатый?

— Никакъ нѣтъ-съ... у него экономка, Ѳекла Ѳндревна, всѣмъ распоряжается. Хорошая женщина, такая набожная: ни обѣдни, ни заутрени не пропуститъ. А про вашу милость, коли спроситъ хозяинъ, какъ прикажете доложить? Кто вы?

— Кто я?—съ важностію произнесъ Иванъ Савичъ, подступая къ дворнику.

Дворникъ попятился и снялъ шапку.

— Кто я? — повторилъ Иванъ Савичъ. — Я холостой... чиновникъ!

Дворникъ надѣлъ шапку, тряхнулъ головой и только что не сказалъ:

— Что за чудо! напугалъ понапрасну. Намъ они не въ диковинку.

Онъ заперъ дверь и тотчасъ посмотрѣлъ въ окно изъ сѣней.

— Нѣтъ-нѣту! — сказалъ онъ самъ себѣ: — ужъ не пробрался ли на другой дворъ? чего добраго отъ этакаго лиѳемскаго мужика ждать! Онъ, пожалуй, и на другой дворъ

пойдетъ, да даромъ: пусть пойдетъ, Ѳомка-то безъ сапогъ сидитъ.

Иванъ Савичъ съ Авдѣемъ стали сходить съ лѣстницы. Имъ встрѣтилась баба съ корытомъ. Они слышали, какъ она остановилась съ дворникомъ.

— Здравствуйте, Савелій Микитичъ!—сказала она.

— Наше вамъ, Степанида Игнатьевна!

— Что̀ это, никакъ вамъ Богъ жильцовъ даетъ?

— Да, наняли.

— Кто такіе?

— Вѣстимо, кто: чиновники. Я радъ-радехонекъ. Теперь по этой черной лѣстницѣ у насъ все чиновники живутъ. А то ужъ какъ я боялся, чтобъ не нанялъ какой мастеровой.

Дня черезъ два на новую квартиру явился Авдѣй... За нимъ въѣхали на дворъ три воза съ мебелью и другими домашними принадлежностями. Получше мебель и разныя мелкія вещи несли солдаты на рукахъ. Самъ Авдѣй нагруженъ былъ мелочами, какъ верблюдъ. Одной рукой онъ обнялъ стѣнные часы; гири болтались и били его по животу. Между пальцами торчалъ маятникъ. Въ другой рукѣ была лампа. Сзади изъ кармановъ сюртука выглядывали два бронзовые подсвѣчника. Въ зубахъ онъ держалъ кисетъ съ табакомъ.

— Постой, постой! экъ ты ломишь! — кричалъ онъ направо и налѣво. — Не ставь зеркала на грязь-то. Погоди носить: надо посмотрѣть, пройдетъ ли. Гдѣ дворникъ? да что̀ жъ онъ не отпираетъ? Господи воля Твоя! это сущая каторга. Нѣтъ, чтобъ самому хоть немножко присмотрѣть.

— Да гдѣ баринъ-то твой?—спросилъ подошедшій въ это время дворникъ.

— Гдѣ! чортъ его знаетъ, прости Господи, гдѣ! Любитъ на готовое пріѣхать. Переѣзжай, говоритъ, Авдѣй, а я ужо къ вечеру буду, да и былъ таковъ. Вотъ ты тутъ и

переѣзжай какъ хочешь. Того и гляди, все мое доброе растащатъ; а у меня одного платья рублей на семьдесятъ будетъ.

Долго еще раздавалась по двору команда Авдѣя. Онъ, какъ гончая собака, разъ сто взбѣжалъ и сбѣжалъ по лѣстницѣ. Тамъ поддержитъ уголокъ дивана или шкапа, тамъ дастъ полезный совѣтъ, какъ обернуть мебель, верхомъ или низомъ.

— Вотъ такъ, вотъ такъ, — слышалось безпрестанно:— нѣтъ, нѣтъ, повыше, еще, пониже, пониже: такъ, такъ; ну, слава Богу, прошло!

Изъ оконъ глядѣли любопытные. Иные не отходили отъ окна во все время перевозки: часа этакъ четыре. Все по разнымъ причинамъ. Одинъ любитъ знать, какая у кого мебель, кто на чемъ спитъ, ѣстъ, — словомъ, любитъ соваться въ чужія дѣла. Другому, видно, наскучили свои, и онъ зѣваетъ по цѣлымъ часамъ на чужое добро. Третій любитъ замѣчать какія-нибудь особенности и судить о нихъ по человѣку, четвертый — смотрѣть на разныя мелкія вещицы.

— Вотъ шкапъ несутъ,—говорилъ одинъ сосѣду.

— Теперь, чай, возьмутъ комодъ,—отвѣчалъ тотъ.

— Эхъ, картину-то какъ онъ взялъ, дурачина: того и гляди, задѣнетъ за перила!—и тутъ же не вытерпитъ и закричитъ изъ окна:—смотри, картину-то, картину попортишь!

Экономка чиновника, Ѳекла Андревна, набожная женщина, оставалась у окна до тѣхъ поръ, пока Авдѣй внесъ послѣднюю утварь — кадочку съ пескомъ, корзинку съ пустыми бутылками, двѣ сапожныя щетки и кирпичъ. Она пересказала все своему чиновнику.

— Новый жилецъ переѣхалъ, Семенъ Семенычъ! — сказала она.

Семенъ Семенычъ понюхалъ табаку, поправилъ трости въ петлицѣ и молчалъ.

— Богатый долженъ быть,—начала она опять:—нанялъ ту квартиру, что на нашу и на парадную лѣстницу выходитъ. Зало-то окнами на улицу. 80 рублей въ мѣсяцъ ходитъ.

Тотъ все молчитъ.

— Шандалы, я думаю, одни рублей сто заплачены; а столы, стулья какіе! диваны красные и зеленые, да премягкіе: я на одинъ присѣла, пока онъ стоялъ на коридорѣ, такъ и ушла вотъ до этихъ поръ, инда испужалась.

— До какихъ поръ?—спросилъ Семенъ Семенычъ флегматически.

— Вотъ до сихъ.

Она показала рукой.

— А гдѣ онъ служитъ?

— Не успѣла спросить у человѣка... вотъ ужо развѣ.

— Добро, давайте-ка обѣдать, — сказалъ Семенъ Семенычъ:—нечего растабарывать.

И хорошенькая сосѣдка вертѣлась все на порогѣ. Она прыгала и рѣзвилась, какъ котенокъ, даже поговорила съ Авдѣемъ.

— А кто твой баринъ?—спросила она.

— Онъ-съ, баринъ, сударыня!

— Знаю, да кто?

— Не могу знать, майоръ ли, совѣтникъ ли какой: долженъ быть полковникъ.

— Гдѣ жъ онъ?

— Кушать гдѣ-нибудь изволитъ.

— А развѣ онъ не дома кушаетъ? А богатъ онъ?

И засыпала вопросами.

— Пусти меня заглянуть къ вамъ, пока нѣтъ барина.

— Извольте, сударыня! Да вѣдь у насъ еще не убрано.

Она вбѣжала, все пересмотрѣла, посидѣла на всѣхъ диванахъ, креслахъ и выпорхнула, какъ птичка.

— Вотъ погоди ты, егоза! — ворчалъ Авдѣй, разбираясь

на новой квартирѣ: — ужо онъ тебѣ все самъ разскажетъ, усадитъ тебя, уймешься, перестанешь прыгать-то!

Хлопоты Авдѣя заключились тѣмъ, что онъ побранился съ верхней бабой, Степанидой Игнатьевной, знакомой дворника.

— Что̀ ты, тетка, оставила ушатъ на дорогѣ? убери!— сказалъ онъ.

— Ну, погоди, уберу.

— Чего годить! Вотъ баринъ пріѣдетъ ужо̀, дастъ тебѣ.

— Боюсь я твоего барина! что̀ онъ мнѣ дастъ? Эка невидаль! мы сами чиновники.

— Убери, говорятъ тебѣ, старая вѣдьма!

— Еще ругается! какъ я скажу своему хозяину, такъ онъ тебѣ скорѣе дастъ. Будешь помнить, какъ ругаться, окаянный, каторжникъ, чтобъ тебѣ ни дна, ни покрышки...

Она еще звонко кричала, но Авдѣй захлопнулъ дверь.

— Ухъ!—сказалъ онъ, отирая потъ съ лица:—умаялся! Съ утра маковой росинки во рту не было. Хоть бы закусить чего-нибудь. Боюсь въ лавочку сходить: неравно пріѣдетъ. Да, чай, ужъ и заперто—поздно. Нешто выпить?

Онъ отворилъ маленькій шкапъ, досталъ узенькую четырехугольную бутылку свѣтло-зеленаго стекла въ плетенкѣ, потомъ заперъ на крюкъ дверь, налилъ рюмку и поставилъ ее на столъ. Онъ оглядывалъ ее со всѣхъ сторонъ.

— Какая бутылка!—разсуждалъ онъ, смѣючись:—словно наша косушка, а ликёра прозывается! Три цѣлковыхъ за этакую бутылку—а? Ну, сто̀итъ ли? Вотъ деньги-то̀ сорятъ! Какъ у нихъ горло не прожжетъ? — ворчалъ онъ, и отхлебнулъ.

— Какая мерзость! — говорилъ онъ съ гримасой; — а поди жъ ты!

И выпилъ всю рюмку.

— Право, мерзость!

Между тѣмъ, Иванъ Савичъ возвращался въ это время

домой. Пошелъ дождь, одинъ изъ тѣхъ петербургскихъ дождей, которымъ нельзя предвидѣть конца.

Иванъ Савичъ позвонилъ у воротъ — никто не показывался. Онъ другой разъ — тоже никого. Наконецъ, послѣ третьяго звонка послышались шаги дворника.

— Господи, Боже мой! — ворчалъ онъ, идучи къ воротамъ.—Что̀ это такое? совсѣмъ покою нѣтъ: только заснулъ маленько, а тутъ чортъ какой-то и звонитъ... Кто тутъ?

— Я.

— Да кто ты?

— Новый жилецъ.

— Какой жилецъ?

— Что̀ сегодня переѣхалъ.

— Что̀ те надо?

— Какъ что̀: пусти поскорѣе. Ты видишь, я подъ дождемъ.

— Ну, вотъ погоди: я за ключомъ схожу.

Дворникъ ушелъ и пропалъ, а дождь лилъ какъ изъ ведра.

Иванъ Савичъ принялся опять звонить, что̀ есть мочи. Послѣ третьяго звонка послышались шаги дворника и ворчанье.

— Что̀ это такое, Господи! покою совсѣмъ нѣтъ. Должность проклятая... не дадутъ! Кто тутъ?

— Да я же, тебѣ говорятъ!

— Да кто ты?

— Новый жилецъ.

— Ты еще все тутъ? Что̀ те надо?

— Какъ что̀? Ахъ, ты, разбойникъ! пустишь ли ты меня? я до костей промокъ.

— Ну, вотъ погоди: ключъ возьму.

Онъ пошелъ и, къ удовольствію Ивана Савича, возвратился тотчасъ и началъ вкладывать ключъ въ замо̀къ.

— Ну, скорѣе же!—сказалъ Иванъ Савичъ.

— Вотъ постой, что-то ключъ не входитъ. Что̀ это, Гос-

поди, за должность за проклятая, совсѣмъ покою нѣтъ! такъ и есть.., не тотъ ключъ взялъ: это отъ сарая.

— Отпирай же!—кричалъ Иванъ Савичъ:—не то...

— Да ты бы гдѣ-нибудь заснулъ; вишь ты, ключа-то долго теперь искать.

— Куда я пойду? Пусти сейчасъ.

— Ну, вотъ погоди, принесу ключъ.

Наконецъ, черезъ добрыхъ полчаса Иванъ Савичъ попалъ къ себѣ, а Авдѣй только-что было собрался пить третью рюмку, какъ вдругъ сильно застучали въ дверь. Авдѣй проворно спряталъ бутылку съ рюмкой въ шкапъ, обтеръ наскоро губы и отперъ.

Вошелъ Иванъ Савичъ.

— Что, Авдѣй, совсѣмъ убрался? Э! да ты еще ничего не разставилъ.

— Я одинъ,—отвѣчалъ Авдѣй:—у меня двѣ руки-то.

— Оттого-то и надо было убрать, что двѣ. Вотъ ежели бъ одна была—другое дѣло.

Авдѣй, не ожидавшій этой реплики, поглядѣлъ ему вслѣдъ и покачалъ головой.

— Вѣдь скажетъ, словно... э! ну, васъ совсѣмъ!—бормоталъ онъ:—отойди отъ зла и сотвори благо!

— А что сосѣдка!—спросилъ Иванъ Савичъ.

— Не могу знать,—отвѣчалъ Авдѣй.

— Развѣ ты не видалъ ее, не говорилъ съ ней?

— Нѣтъ-съ. Что мнѣ съ ней говорить?

— Ну, какъ что... А чей это платокъ?

Авдѣй молчалъ.

— Чей платокъ?—повторилъ Иванъ Савичъ.

— Не могу знать.

— Какъ не могу знать. Здѣсь былъ кто-нибудь?

— Нѣтъ, это, вѣрно, какъ диванъ стоялъ въ сѣняхъ, такъ кто-нибудь положилъ. Пожалуйте, я завтра спрошу.

— Вотъ славный случай: ты завтра спроси у сосѣдки, не ея ли, и, между тѣмъ, порадѣй въ мою пользу.

— Какъ-съ, порадѣй?

— Скажи, что я и добрый, и... ну, будто тебѣ въ первый разъ.

— А зачѣмъ это, сударь?

— Какъ зачѣмъ... познакомимся, а тамъ... пожуируемъ.

— Да неужели вы и здѣсь станете разводить такую же матерію? экой стыдъ! тамъ только что ушли отъ бѣды, теперь опять захотѣли нажить другую! ужъ попадетесь, Иванъ Савичъ, ей Богу, попадетесь.

— Э!—сказалъ Иванъ Савичъ:—еще скоро ли попадусь, а, между тѣмъ, мы съ тобой пожуируемъ.

— Нѣтъ, ужъ журируйте одни... да и вамъ не хорошо: бросьте, сударь!

— А-а-а! — началъ зѣвать Иванъ Савичъ: — покойной ночи, Авдѣй; завтра разбуди въ девять часовъ.

Утромъ, когда Авдѣй сталъ подавать чай, первый вопросъ Ивана Савича былъ:

— Ну, что̀ сосѣдка?

Авдѣй молчалъ.

— А?

— Ничего, отдалъ платокъ.

— Такъ онъ ея былъ? ну, а порадѣлъ ли ты мнѣ?

— Говорилъ.

— Что̀ жъ она?

— Говоритъ, рада доброму сосѣду. Коли, говоритъ, случится надобность въ чемъ, такъ не откажите; мы вамъ тоже постараемся, чѣмъ можемъ. Не понадобится ли, говоритъ, барину когда пирожокъ испечь: я, молъ, мастерица.

Иванъ Савичъ вытаращилъ глаза.

— Какъ, пирожокъ?

— Пирожокъ-съ, съ рыбой или съ говядиной... съ чѣмъ,

говоритъ, угодно. Еще говоритъ, не нужно ли вамъ рубашекъ шить?.. я, говоритъ, могу...

Иванъ Савичъ вскочилъ съ постели.

— Какъ рубашекъ?

— Еще...—началъ Авдѣй.

— Стой! ни слова больше! ищи сейчасъ квартиру... Куда я попалъ? Вонъ, вонъ отсюда!

— Что вы, опомнитесь, сударь: что вамъ за дѣло? Намъ же лучше.

— Такая хорошенькая—и печетъ пироги!—говорилъ самъ съ собой Иванъ Савичъ:—ужасъ! ну, съ чѣмъ это...

— Съ рыбой и съ говядиной,—подхватилъ Авдѣй.

— Э! молчи дуралей! тебя не спрашиваютъ.

— Вѣдь она не больно хороша,—замѣтилъ Авдѣй:—глаза-то словно плошки, да и зубы не всѣ.

— Да, ты много смыслишь! — отвѣчалъ Иванъ Савичъ, стараясь попасть ногой въ туфлю: — такая молоденькая— и шьетъ рубашки! а?

— Что за молоденькая, сударь: ужъ ей за пятьдесятъ,— сказалъ Авдѣй.

— Какъ за пятьдесятъ! да ты съ которой говорилъ?

— Ну, съ той, что квартиру нанимаетъ — съ самой хозяйкой.

— Со старухой? что жъ ты мнѣ не скажешь давно? Кто просилъ тебя радѣть мнѣ у этой старой вѣдьмы?

— Вѣдь вы сами вчера приказывали.

— Я самъ приказывалъ!—передразнилъ его Иванъ Савичъ.—Я толкомъ тебѣ говорилъ *жуировать*: можно ли съ такимъ страшилищемъ жуировать? развѣ тебѣ самому охота? вѣчно только подгадишь мнѣ! Впрочемъ... нѣтъ... ничего, больше довѣренности! пусть пироги печетъ. Я ей, пожалуй, и рубашки закажу. Ну, а молодая кто?

— Жилица у ней,—нанимаетъ двѣ комнаты.

Иванъ Савичъ не ходилъ въ тотъ день на службу, потъ

предлогомъ переѣзда на новую квартиру. Авдѣй возился, уставлялъ, а онъ надѣлъ красивый шлафрокъ, отворилъ вполовину дверь и глядѣлъ къ сосѣдкамъ: это онъ называлъ *жуировать*.

— Развѣ не пойдете въ должность?—спросилъ Авдѣй.— Пора бы одѣваться—одиннадцатый часъ...

— Нѣтъ, не пойду... Что̀ должность? сухая матерія! надо жуировать жизнію. Жизнь коротка, сказалъ не помню какой-то философъ.

Въ комнатахъ сосѣдокъ, видѣлъ онъ, то мелькнетъ что-то легкое, воздушное, бѣлое, кисейное, то протащится неуклюжее, полосатое. Иногда въ узкомъ промежуткѣ неплотно затворенной двери свѣтился хорошенькій черный глазъ съ длинными рѣсницами, потомъ хлопалъ глазъ безъ бровей, какъ будто филинъ. Вскорѣ послышались звуки фортепьяно. Играли изъ «Роберта».

«Кто жѐ это играетъ? — думалъ Иванъ Савичъ. — Ужъ, конечно, она, молоденькая. Гдѣ той... мѣсить пироги и играть на фортепьяно?»

Онъ взялъ скрипку и тоже заигралъ. Тамъ перестали играть.

«Вотъ и видно, что она женщина строгой нравственности! — подумалъ Иванъ Савичъ. — Иная бы пуще заиграла».

Онъ посмотрѣлся въ зеркало и причесалъ бакенбарды.

Вскорѣ дверь тамъ отворилась побольше и наконецъ почти совсѣмъ.

— У насъ труба дымитъ, — сказала старуха Авдѣю. — Лѣтомъ все отворяемъ дверь. Вотъ другой годъ твердимъ хозяину, чтобы передѣлалъ... нѣтъ! ихъ дѣло только деньги брать.

Прошло дня два. Иногда сосѣдка не очень быстро мелькала сквозь двери. Она пріостанавливалась и какъ будто улы-

балась, потомъ вдругъ пряталась. На третій день дворникъ принесъ паспортъ изъ части.

— Что это, любезный,—спросилъ Иванъ Савичъ:—у сосѣдокъ-то не видать мужей: гдѣ жъ они?

— Въ командировкѣ-съ, гдѣ-то далече.

— А!—сказалъ Иванъ Савичъ:—тѣмъ лучше. А кто еще въ домѣ у васъ живетъ? тамъ, по парадной лѣстницѣ, въ большихъ квартирахъ?

Дворникъ назвалъ нѣсколько извѣстныхъ фамилій.

— А вонъ тамъ, во второмъ этажѣ, гдѣ еще такія славныя занавѣси въ окнахъ?

— Тамъ-съ одна знатная барыня, иностранка Цейхъ.

— Знатная!—говорилъ Иванъ Савичъ Авдѣю:—что это у него значитъ?.. Она, можетъ-быть, знатная потому, что, въ самомъ дѣлѣ, знатная, и потому, что, можетъ-быть, даетъ ему знатно на водку, или знатная собой?..

— Не могу знать,—отвѣчалъ Авдѣй.

— Посмотримъ, посмотримъ: можетъ-быть, и ее увидимъ,— примолвилъ Иванъ Савичъ и погладилъ бакенбарды.

Онъ продолжалъ переглядываться съ сосѣдкой. Однажды у ней на порогѣ появилась дѣвочка лѣтъ шести.

— Ужъ не дочь ли это ея, Авдѣй?

— Не могу знать,—отвѣчалъ Авдѣй.

— Ты никогда ничего не знаешь: что ни спросишь о дѣлѣ. За что ты хлѣбъ ѣшь?.. Да нѣтъ, быть не можетъ: это не дочь ея. Она слишкомъ молода: вѣрно, старуха испекла этотъ пирогъ. Но та, кажется, ужъ слишкомъ стара для этого.

Онъ узналъ, что дѣвочка — племянница сосѣдки, зазвалъ малютку къ себѣ, далъ ей конфетъ и, такимъ образомъ, завязалъ сношенія. Они взаимно присылали другъ другу поклоны. Однажды малютка принесла розанъ.

— Хотите, я вамъ подарю?—сказала она.

— Подари. А кто тебѣ далъ?

— Хорошая тетенька.

— Что она сказала тебѣ?

— Она сказала, поди подари цвѣтокъ вонъ тому дяденькѣ. Скажи, что ты даришь отъ себя, да, смотри, не говори, что я велѣла; а то въ уголъ поставлю.

— Вотъ тебѣ, душенька, конфетъ, а эту пряжечку отнеси къ тетенькѣ и подари ей, да скажи, что я подарилъ тебѣ, а ты даришь ей... слышишь?

— Слышу.

— Ну, какъ ты скажешь?

— Скажу: дяденька подарилъ тебѣ и велѣлъ сказать, чтобъ ты подарила мнѣ.

Вдругъ въ комнату вбѣжалъ какой-то юноша.

— Здравствуй, Ваня! — сказалъ онъ: — насилу сыскалъ тебя. Ба! что это значитъ, Ваня? — вдругъ спросилъ онъ, поглядывая на розу, на дѣвочку и на брошку.

— Ничего, Вася, такъ! — хвастливо, съ улыбкой говорилъ Иванъ Савичъ: — поди, душенька, домой.

Дѣвочка побѣжала и отворила дверь. Въ это время мелькнула головка сосѣдки.

— Э! э! пріятель! такъ-то ты скрываешься! — заговорилъ Вася: — хорошо же! давно ли? да какая хорошенькая! ахъ, ты злодѣй! ахъ, варваръ! ну-ка, ну-ка, покажи!

Онъ пошелъ къ дверямъ.

— Нѣтъ, *mon cher*, постой! не хорошо! не гляди! — говорилъ Иванъ Савичъ, загораживая дорогу. — Ну, что она подумаетъ? это совсѣмъ не изъ такихъ... Послѣ я все разскажу.

— Нѣтъ, нѣтъ, пусти... не вѣрю!

— Нѣтъ, братецъ, нельзя! пожалуйста, не ходи.

— Ну, познакомь меня. Вотъ тебѣ честное слово, не стану отбивать. То-то ты у меня! а я за тобой.

— Что такое?

— Мы впятеромъ обѣдаемъ на Васильевскомъ острову.

въ новой гостиницѣ: говорятъ, телячьи ножки готовятъ божественно! поздравимъ! поздравимъ! а оттуда на Крестовскій... покутимъ.

— Мнѣ нельзя вечеромъ.

— Отчего?

— Такъ! — значительно, съ улыбкой сказалъ Иванъ Савичъ.

— А! понимаю! счастливецъ! Ну, завтра мы въ театрѣ? Асенкова въ трехъ пьесахъ играетъ. Смотри, *mon cher*, нельзя не быть: что̀ скажутъ наши? манкировать не должно, а то подумаютъ, что ты хочешь отшатнуться. И то три офицера да вонъ тотъ статскій, знаешь, что̀ еще полы сюртука все сзади расходятся, собрали, говорятъ, партію перехлопать насъ, говорятъ, и въ раекъ своихъ посадятъ; да гдѣ имъ! слушать любо, какъ нашъ уголъ захлопаетъ: я однажды изъ коридора послушалъ — чудо! сначала мелкой дробью — па-па-па, — точно ружейный огонь; а тамъ и пошло, и пошло, такъ по коридорамъ гулъ и ходитъ... Даже капельдинеръ плюнулъ и отошелъ отъ дверей, а я не вытерпѣлъ, да и самъ давай — браво, браво наши! Квартальный сердито поглядывалъ на меня... да пусть!.. Такъ ѣдемъ? потомъ поужинаемъ, кутнемъ, а?

— Не знаю, *mon cher*!

— Чего не знаешь! на первыхъ порахъ въ полночь тебя не примутъ. Рѣшено: завтра съ нами. Ты не знаешь, вѣдь Шушинъ награду получилъ, полугодовой окладъ. Онъ обѣщалъ полдюжины, да ты на радостяхъ столько же — вотъ и будетъ съ насъ! Смотри же, ждемъ.

И ушелъ. А Иванъ Савичъ усѣлся съ книгой въ рукахъ на маленькомъ диванчикѣ, какъ разъ противъ дверей сосѣдки, въ живописномъ положеніи. Но если бы кто заглянулъ въ книгу, то увидѣлъ бы, что онъ держалъ ее вверхъ ногами. Прошло недѣли три. Они уже кланялись другъ другу и даже, стоя каждый въ своихъ дверяхъ, разгова-

ривали. Когда въ это время кто-нибудь шелъ, сверху или снизу, они поспѣшно прятались. Вдругъ сосѣдки не стало видно, и даже дверь была затворена. Иванъ Савичъ встревожился.

— Авдѣй! отчего у сосѣдки затворена дверь?

— Не могу знать.

— Не уѣхала ли она куда-нибудь?

— Не могу знать.

— Никогда ничего не знаетъ! Я не Суворовъ, а досадно!.. Такъ поди узнай: здоровы ли? что, молъ, васъ давно не видать?

Авдѣй принесъ отвѣтъ, что Анна Павловна не здоровы и приказали просить къ себѣ: «коли-де вамъ не скучно будетъ посидѣть съ больной».

— Къ себѣ! — воскликнулъ Иванъ Савичъ, вздрогнувъ отъ восторга:—ужели? а! наконецъ! Авдѣй! скорѣй бриться, одѣваться!

Онъ второпяхъ обрѣзалъ въ двухъ мѣстахъ бороду и щеку и залѣпилъ царапины англійскимъ пластыремъ, полагая, что такъ онъ интереснѣе, нежели съ царапинами или даже нежели просто безъ царапинъ: это очень обыкновенно, она ужъ его такъ видала. Онъ не пожалѣлъ на голову пятирублевой помады, бакенбарды смочилъ квасомъ и минутъ на пять крѣпко перевязалъ платкомъ, чтобъ придать имъ лоскъ и заставить лежать смирно; въ носовой платокъ налилъ лучшихъ духовъ, на шею небрежно повязалъ голубую косынку и выпустилъ воротнички рубашки; къ довершенію всего, надѣлъ лакированные сапоги и, такимъ образомъ, блестя, лоснясь и благоухая, предсталъ передъ сосѣдкой. Она сидѣла на софѣ, поджавъ ноги, окутанная въ большую шаль, съ подвязаннымъ горломъ.

Квартира Анны Павловны была убрана, какъ убираютъ почти всѣ квартиры о двухъ комнатахъ, съ передней и кухней. Диванъ краснаго дерева, обитый полинялой шер-

стяной матеріей съ пятнами, другой клеенчатый диванъ, подлюжины стульевъ подъ красное дерево, старый комодъ, а на немъ туалетъ, который, въ случаѣ нужды, легко можно переносить съ мѣста на мѣсто. На окнахъ нѣсколько горшковъ гераніума и двѣ клѣтки съ канарейками.

У Ивана Савича на подобные визиты давно обдуманы были и поклонъ, и привѣтствіе, и даже мина.

Войдя, онъ остановился въ нѣкоторомъ разстояніи, наклонилъ немного голову и слегка улыбнулся.

— Наконецъ я у васъ!—сказалъ онъ, оглядываясь кругомъ.—Ужели это правда? не во снѣ ли я?

— Можетъ-быть, этотъ сонъ не нравится вамъ. Бываютъ сны скучные и тяжелые,—отвѣчала она съ томной улыбкой:—проснитесь... это легко!

— Боже меня сохрани! Пусть этотъ сонъ будетъ непробуднымъ.

Она опять улыбнулась.

— Садитесь,—сказала она:—благодарю васъ за участіе. Какъ это вы вспомнили, и еще черезъ два дня?

— Я не вспомнилъ: вспоминаютъ о томъ, что̀ было забыто; я васъ не забывалъ. Но что̀ съ вами?

Она поглядѣла на него довольно нѣжно и потупила глаза.

— Немного простудилась, — отвѣчала она: — я думаю... оттого... что бываю иногда... у дверей. Люди обречены на страданіе.

Она вздохнула.

Тутъ Иванъ Савичъ посмотрѣлъ на нее нѣжно, а она покраснѣла. Они молчали нѣсколько времени.

— Вы рѣдко бываете дома?—потомъ спросила она.

— Нѣтъ-съ... да-съ... смотря по...

— У васъ часто бываютъ гости?

— Да-съ... бываютъ иногда,—отвѣчалъ онъ.

— Кто это... рыжій молодой человѣкъ? такой противный: всякій разъ заглядываетъ въ дверь.

— Это... — постой-ка, я тону задамъ! подумалъ онъ... — это графъ Коркинъ, славный молодой человѣкъ, первый жуиръ въ Петербургѣ.

— А другой, въ очкахъ?

— Баронъ Кизель. Отлично играетъ на бильярдѣ.

— Какъ они у васъ шумятъ! что вы дѣлаете?

«Разскажу ей, какъ мы кутимъ... Это нравится женщинамъ», подумалъ Иванъ Савичъ.

— Кутимъ-съ. Вотъ иногда они соберутся ко мнѣ, и пойдетъ вавилонское столпотвореніе, особенно, когда бываетъ князь Дудкинъ: карты, шампанское, устрицы, пари... знаете, какъ бываетъ между молодыми людьми хорошаго тона.

— И вамъ не жаль тратить денегъ на шампанское?

— Что жалѣть денегъ? деньги—ничтожный, презрѣнный металлъ. Жизнь коротка, сказалъ одинъ философъ: надо жуировать ею.

— О, да вотъ вы какіе!

— Да-съ! — сказалъ онъ и вытащилъ изъ кармана платокъ. Запахъ распространился по всей комнатѣ, такъ что даже изъ-за дверей выглянула старуха.

— Гдѣ вы покупаете духи? Какіе славные! — сказала Анна Павловна, вдыхая носомъ запахъ.—Это блаженство— утопаешь въ нѣгѣ!

— Въ англійскомъ магазинѣ.

— А что стоятъ?

— Десять рублей, т.-е. три цѣлковыхъ по-нынѣшнему.

— Стало-быть, десять съ полтиной?—примолвила она: — какъ дороги здѣсь въ мірѣ всѣ удовольствія!

— Зато прекрѣпкіе: вымоютъ платокъ, все еще пахнетъ. Позволите прислать на пробу склянночку?

— Помилуйте... я такъ спросила... изъ любопытства... не подумайте...

— Ничего-съ! я вамъ завтра пришлю. Вы меня обидите, если откажетесь принять такую бездѣлицу.

— Ахъ, да! — сказала она: — вы подарили моей племянницѣ брошку. Я ношу ее... видите?

— Очень пріятно... только мнѣ совѣстно: это слишкомъ недостойно украшать такую грудь... Если бъ я зналъ...

— Чѣмъ же вы еще занимаетесь?

— Бываю въ театрѣ.

— Въ театрѣ! Ахъ, счастливые! что̀ можетъ быть отраднѣе театра? блаженство! въ театрѣ забываешь всякое горе. Читаете, конечно?

— Да-съ, да... разумѣется.

— Что̀ же, Пушкина? Ахъ, Пушкинъ! «Братья разбойники»! «Кавказскій плѣнникъ»! бѣдная Зарема! какъ она страдала! а Гирей—какой извергъ!..

— Нѣтъ-съ, я читаю больше философическія книги.

— А! какія же? одолжите мнѣ: я никогда не видала философическихъ книгъ.

— Сочиненія Гомера, Ломоносова, «Энциклопедическій лексиконъ»...—сказалъ онъ:—вы не станете читать... вамъ покажется скучно...

— Это, вѣрно, кто-нибудь изъ нихъ сказалъ, что *жизнь коротка?*

— Да-съ.

— Прекрасно сказано!

Отъ этого ученаго разговора они перешли къ предметамъ болѣе нѣжнымъ: заговорили о дружбѣ, о любви.

— Что̀ можетъ быть утѣшительнѣе дружбы!—сказала она, поднявъ глаза кверху.

— Что̀ можетъ быть сладостнѣе любви? — примолвилъ Иванъ Савичъ, взглянувъ на нее нѣжно. — Это, такъ сказать, жизненный бальзамъ!

— Что любовь! — замѣтила она: — это пагубное чувство; мужчины всѣ такіе обманщики...

Она вздохнула, а онъ сѣлъ рядомъ съ ней.

— Что вы?—спросила она.

— Ничего-съ. Я такъ счастливъ, что сижу возлѣ васъ, дышу съ вами однимъ воздухомъ... Повѣрьте, что я совсѣмъ не похожъ на другихъ мужчинъ... о, вы меня не знаете! женщина для меня—это священное созданіе... я ничего не пожалѣю...

— Въ самомъ дѣлѣ?—задумчиво спросила она.

— Ей-Богу!

Они долго говорили, наконецъ стали шептать. Отъ нея разливалась такая жаркая атмосфера, около него такая благоуханная. Онѣ должны были непремѣнно слиться, и слились. Она уронила платокъ; Иванъ Савичъ бросился поднять, и она тоже; лица ихъ сошлись,—раздался поцѣлуй.

— Ахъ!—тихо вскрикнула она.

— О!—произнесъ онъ восторженно:—какая минута!

— Давно ли,—говорила она, закрывъ лицо руками:—мы знакомы... и ужъ...

— Развѣ нужно для этого время?—началъ торжественно Иванъ Савичъ: — довольно одной искры, чтобы прожечь сердце, одной минуты, чтобъ напечатлѣть милый образъ здѣсь навсегда.

Еще поцѣлуй, еще и еще.

— Вотъ что значитъ жуировать жизнію, клянусь Богомъ!—сказалъ серьезно Иванъ Савичъ.—Все прочее, тамъ, чины, слава...

Вдругъ кто-то чихнулъ въ сосѣдней комнатѣ.

— Кто тутъ?—спросилъ, поблѣднѣвъ, Иванъ Савичъ.

— Это моя хозяйка. Ничего: она мнѣ предана.

— Ахъ! да...—сказалъ вдругъ онъ:—дворникъ мнѣ говорилъ, что у васъ есть мужъ... въ командировкѣ?

Анна Павловна встрепенулась и покраснѣла, какъ маковъ цвѣтъ.

— Да... — бормотала она: — его послали... ничего... онъ долго не будетъ.

И замяла разговоръ.

— Какъ же вы живете однѣ, безъ покровителя, безъ...

Анна Павловна еще больше покраснѣла.

— У меня есть дядя, онъ и опекунъ...

— Онъ бываетъ у васъ?

— Да, разъ въ недѣлю.

— Ну, если онъ меня увидитъ здѣсь?

— Не хорошо, — сказала она, встревожась: — очень не хорошо. Остерегайтесь, не показывайтесь при немъ. Мы будемъ съ вами читать, заниматься музыкой, гулять вмѣстѣ. Да, не правда ли?—говорила она.

— О, конечно!

— Вы повезете меня въ театръ, да?

— Непремѣнно.

— Ахъ, какое блаженство!

Иванъ Савичъ воротился домой внѣ себя отъ радости.

— Какъ я счастливъ, Авдѣй! — твердилъ онъ: — а! вотъ что̀ значитъ жуировать! Это не то, что Амалія Николаевна или Александра Максимовна: тѣ передъ нею—просто стыдъ сказать. Къ этой такъ нельзя приступиться. Завтра къ Васѣ — и вспрыски! нечего дѣлать. Ну, ужъ стоило же мнѣ хлопотъ; не всякому бы удалось! а? какъ ты думаешь?

— Не могу знать,—отвѣчалъ Авдѣй.

Съ тѣхъ поръ Иванъ Савичъ только и дѣлалъ, что жуировалъ. То онъ у нея, то она у него. Въ должности онъ бывалъ рѣже. Его видали подъ руку съ дамой прогуливающимся въ отдаленныхъ улицахъ. Въ театрѣ онъ прятался въ ложѣ третьяго яруса за какими-то двумя женщинами, изъ которыхъ одна была похожа на ворону въ павлиньихъ перьяхъ. Это была хозяйка и дуэнья Анны Павловны. Дома

они были неразлучны. Она чаще бывала у него: обѣдала, завтракала,—словомъ, какъ говорятъ, живмя-жила.

— У тебя такіе мягкіе диваны, — говорила она, вскорѣ послѣ знакомства:—такъ славно сидѣть, нѣжиться. Я лучше люблю быть здѣсь. Ахъ! какая прелесть! жизнь такъ хороша! Это блаженство!

— Знаешь что, мой ангелъ: возьми пока къ себѣ одинъ диванъ, вотъ этотъ, зеленый, — отвѣчалъ Иванъ Савичъ.— У меня ихъ два да еще кушетка.

— Зачѣмъ...—нерѣшительно говорила Анна Павловна.— Къ такому дивану нуженъ и коверъ, а у меня нѣтъ... не всѣмъ рокъ судилъ счастье...

— Возьми одинъ коверъ: у меня два.

— Ну, ужъ если ты такъ добръ, такъ дай на подержаніе и зеркало, чтобы хоть на время забыть удары судьбы.

— Изволь, изволь, мой ангелъ! Ахъ, ты моя кошечка, птичка, цвѣточекъ... не правда ли, Авдѣй, цвѣточекъ?

— Не могу знать, — отвѣчалъ Авдѣй, проходя черезъ комнату.

— Да, цвѣточекъ! — начала она полугнѣвно: — я такъ люблю цвѣты, а ты мнѣ все еще не собрался купить...

— Завтра же, завтра, дружокъ, усыплю путь твоей жизни цвѣтами.

— И хорошенькихъ горшечковъ, отъ Поскочина, — сказала она, взявъ его руками за обѣ щеки. — Это чистѣйшее наслажденіе: оно не влечетъ за собой ни раскаянія, ни слезъ, ни вздоховъ...

— Непремѣнно, только не растрепли бакенбардъ: мнѣ въ департаментъ идти; надо же когда-нибудь сходить. Какъ жаль, что тебя, Анета, нельзя брать туда: я бы каждый день ходилъ. Ты бы подшивала бумаги въ дѣла, я бы писалъ... чудо!.. А то начальникъ отдѣленія, столоначальникъ... да все чиновничьи лица... фи!.. Если и придетъ иногда просительница, такъ такая... уфъ!.. Къ намъ все мѣщанки

да солдатки ходятъ... ни одной нѣтъ порядочной: рожа на рожѣ! пожуировать не думай. Охъ, служба, служба! — прибавилъ онъ, натягивая вицъ-мундиръ: — губи свою молодость въ мертвыхъ занятіяхъ!

— Долго ты тамъ пробудешь, *mon ami?*

— Часовъ до четырехъ, я думаю... Если можно будетъ надуть начальника отдѣленія, такъ удеру около трехъ.

— Ахъ, Боже мой! У меня нѣтъ часовъ: я не буду знать, когда ты придешь. Часы мнѣ покажутся вѣками, а въ жизни и такъ немного радостей.

— И, мой другъ, — сказалъ Иванъ Савичъ: — помни, что жизнь коротка, по словамъ философа, и не грусти, а жуируй. Да возьми-ка мои часы столовые: они вѣрны, — сказалъ Иванъ Савичъ.

— Да! а на что я ихъ поставлю? У меня нѣтъ такого столика. Не всякому дано...

— Ты и со столикомъ возьми. Авдѣй! отнеси!

Прошло мѣсяца два — Иванъ Савичъ все жуировалъ, Анна Павловна все вздыхала да распоряжалась свободно имъ и его добромъ. Какъ же иначе? И онъ распоряжался ею и ея добромъ: игралъ локонами, какъ будто своими, цѣловалъ глазки, носикъ. Наконецъ продолжительныя свиданія начали утомлять ихъ: то онъ, то она зѣвнетъ; иногда просидятъ съ часъ, не говоря ни слова. Иванъ Савичъ сталъ зѣвать по окнамъ другихъ квартиръ.

— Авдѣй! чей это такой славный экипажъ? — спросилъ онъ однажды, глядя изъ своего окна на дворъ.

— Не могу знать.

— Узнай!

Авдѣй доложилъ черезъ пять минутъ, что экипажъ принадлежалъ знатной барынѣ, что во второмъ этажѣ живетъ.

— Какія славныя лошади! какъ хорошо одѣты люди! Она должна быть богата, Авдѣй?

— Не могу знать.

Въ другой разъ онъ увидѣлъ, что на дворѣ выбиваютъ пыль изъ роскошныхъ ковровъ, и на вопросъ: чьи они? получилъ въ отвѣтъ отъ Авдѣя сначала — не могу знать, потомъ, что и ковры принадлежали знатной барынѣ.

— А вонъ эта собака?—спросилъ Иванъ Савичъ.

— Ея же. Чуть было давеча за ногу не укусила, проклятая!

— Вотъ бы туда-то попасть!—сказалъ Иванъ Савичъ.

Иванъ Савичъ и Анна Павловна все дружно жили между собой и видались почти такъ же часто. Только изрѣдка, какъ сказано, они зѣвали, иногда даже дремали. Дремала и любовь. Горе, когда она дремлетъ! Отъ дремоты не далеко до вѣчнаго сна, если не пронесется, какъ игривый вѣтерокъ, ревность, подозрѣніе, препятствіе, и не освѣжитъ чувства, покоящагося на взаимной довѣренности и безмятежномъ согласіи любящейся четы. Впрочемъ, кажется, ни Иванъ Савичъ, ни Анна Павловна не заботились о томъ. Они смѣло дремали, сидя на разныхъ концахъ дивана, иногда переглядывались, перекидывались словомъ, мѣнялись поцѣлуемъ — и вновь молчали. Она задумывалась или работала, онъ дремалъ. Однажды дремота его превратилась въ настоящій, основательный сонъ: голова опрокинулась почти совсѣмъ на задокъ дивана. Онъ даже открылъ немного ротъ, разумѣется, неумышленно, поднялъ кверху носъ, въ рукѣ прекрѣпко держалъ одинъ уголъ подушки и спалъ. Вдругъ ему послышалось восклицаніе «ахъ!» потомъ сильный говоръ подлѣ него. Онъ не обратилъ на это вниманія; но говоръ все продолжался. Черезъ минуту онъ открылъ глаза. Что же? Передъ нимъ стоитъ низенькій, чрезвычайно толстый пожилой человѣкъ, съ усами, въ венгеркѣ, и грозно вращаетъ очами, устремивъ ихъ прямо на него. Иванъ Савичъ тотчасъ опять закрылъ глаза.

— Какой скверный сонъ!—сказалъ онъ:—приснится же этакая гадость!

И плюнулъ прямо на призракъ.

— Иванъ Савичъ! что̀ вы, что̀ вы! — перебила его испуганнымъ голосомъ Анна Павловна.

— Ничего, мой ангелъ! Не мѣшай мнѣ спать. Если бъ ты видѣла, какой уродище сейчасъ приснился мнѣ: на яву такого быть не можетъ.

Анна Павловна упала въ обморокъ и склонила блѣдную голову на подушку.

— Милостивый государь! — вдругъ загремѣлъ кто-то басомъ надъ самымъ ухомъ Ивана Савича.

Онъ вскочилъ, какъ бѣшеный — и что̀ же? Уродъ, котораго онъ принялъ за созданіе воображенія, стоитъ передъ нимъ, сложивъ руки крестомъ, какъ Наполеонъ.

— Что-съ... я-съ... извините... я думалъ... что вы — сонъ,—бормоталъ, трясясь отъ страха, Иванъ Савичъ.

— Кто вы? зачѣмъ вы здѣсь?.. а?.. по какому случаю?— говорилъ толстякъ, подступая къ Ивану Савичу.

— Я-съ? я... помилуйте,—говорилъ тотъ, пятясь къ дверямъ:—я чиновникъ, служу въ министерствѣ... Что̀ вы?

— Я съ вами раздѣлаюсь, — говорилъ толстякъ: — раздѣлаюсь непремѣнно,—погодите!

Иванъ Савичъ ушелъ въ переднюю, оттуда въ сѣни, все задомъ. Въ сѣняхъ онъ остановился и поглядѣлъ въ дверь. Къ нему выбѣжала Анна Павловна, блѣдная и разстроенная.

— Это мой опекунъ... и... и... дядя!—сказала она.

— Опекунъ! — говорилъ Иванъ Савичъ, заглядывая въ дверь на толстяка: — у васъ *огромная опека,* Анна Павловна!

— И вы можете шутить? Подите къ себѣ и не приходите, пока не позову... О, Боже мой! Чѣмъ это кончится? Вотъ какая туча разразилась надъ нами. Заря нашего блаженства затмилась. Я не ждала его такъ рано изъ командировки.

— Такъ у васъ и дядя былъ въ командировкѣ? я не зналъ.

— Прощайте, прощайте, — сказала она: — можетъ-быть, навсегда.

— И пора, — бормоталъ Иванъ Савичъ: — надоѣла мнѣ: все хнычетъ, а ѣстъ, ѣстъ такъ, что Боже упаси!

Иванъ Савичъ пришелъ домой и растянулся въ спальнѣ на кушеткѣ досыпать прерванный сонъ. Черезъ часъ онъ услышалъ надъ собой опять: «Милостивый государь!» открылъ глаза — и тотъ же толстякъ стоитъ надъ нимъ.

— Опять тотъ же гадкій сонъ! — сказалъ онъ и вскочилъ съ кушетки. — А, это вы! — примолвилъ онъ. — Позвольте узнать, съ кѣмъ я имѣю честь...

— Я отставной майоръ Стрекоза, — сказалъ толстякъ: — къ вашимъ услугамъ.

И сѣлъ безъ церемоніи на кресла противъ кушетки.

«Стрекоза!» думалъ Иванъ Савичъ: «хороша стрекоза! кажется, вовсе не *попрыгунья*. Могъ бы изъ Крылова же басенъ заимствовать себѣ названіе поприличнѣе».

— Давно ли вы знакомы съ Анной Павловной? — грозно спросилъ майоръ.

— Да мѣсяца три будетъ; а что-съ?

— Не вамъ слѣдуетъ спрашивать, а мнѣ; вы извольте отвѣчать.

Иванъ Савичъ хотѣлъ-было сказать что-то колкое, да съ языка не сошло.

— Какимъ образомъ вы познакомились?

— Черезъ двери, господинъ... госпожа... господинъ Стрекоза!

— Знаю, что не чрезъ окно; но какъ?

— Да такъ-съ: по сосѣдству. Я ей скажу: здравствуйте, Анна Павловна! здоровы ли вы? Она отвѣчаетъ: здравствуйте, Иванъ Савичъ! покорно васъ благодарю... Такъ и познакомились.

— Но этимъ, кажется, ваши сношенія не ограничивались?.. а?..

— Помилуйте, г. Стрекоза, — началъ вкрадчиво Иванъ Савичъ.—Неужели вы можете думать, чтобы я, чтобы она, чтобы мы... что-нибудь такое... Да я такъ скроменъ, такъ невиненъ... могу даже сказать, что ненависть моя къ женщинамъ извѣстна здѣсь всѣмъ въ городѣ... я *мизантропъ!* право-съ! Графъ Коркинъ, баронъ Кизель могутъ подтвердить, и, притомъ, Анна Павловна такъ любитъ своего мужа.

— Мужа?—спросилъ майоръ.

— Да-съ, что̀ въ командировкѣ. Только о немъ и говоритъ: скоро ли, говоритъ, онъ пріѣдетъ; мнѣ, говоритъ, такъ скучно безъ него... я не живу. Помилуйте, г. Стрекоза, вы насъ обижаете...

Майоръ задумался и, повидимому, смягчился.

— Но что̀ значитъ сцена, которую я засталъ?—сказалъ онъ: — вы спали, называли ее «мой ангелъ!» Какъ могли вы дойти до такой степени короткости?... а?.. Я съ вами, милостивый государь, раздѣлаюсь!

— И, г. майоръ! если бъ вы знали, какъ я простъ душой, вы бы ничего не заключили дурного изъ этого. Въ одинъ день я сойдусь съ человѣкомъ — и какъ будто двадцать лѣтъ жилъ вмѣстѣ. Ты да ты. За что̀ вы нападаете понапрасну на мою простоту и добродѣтель? обижаете и свою племянницу... вѣдь вы дяденька ей?

— Да, я опекунъ ея и... дядя.

— Какъ лестно носить титулъ этотъ при такой прекрасной особѣ! и кому же ввѣрить это прекрасное сокровище... какъ не...

— Я не комплименты пришелъ сюда слушать, — грубо перервалъ майоръ:—а раздѣлаться! Я вамъ дамъ! Какъ вы, милостивый государь, смѣли, спрашиваю я васъ?

«Медвѣдь!—подумалъ Иванъ Савичъ. — Никакой образованности, никакого тона!»

— Послушайте, милостивый государь,—сказалъ майоръ:— вы должны мнѣ дать удовлетвореніе, или...

— Какъ удовлетвореніе? какое?

— Разумѣется, какъ благородный человѣкъ.

Майоръ указалъ на пистолеты, висѣвшіе на стѣнѣ.

— Вонъ у васъ, я вижу, есть и средства къ тому,— прибавилъ онъ.

— Э! нѣтъ-съ. Это подарилъ мнѣ одинъ знакомый, ни онъ, ни я не знаемъ, для чего: чортъ знаетъ, зачѣмъ они тутъ висятъ. Это дуракъ Авдѣй развѣсилъ.

Онъ снялъ ихъ и проворно спряталъ подъ кровать.

— Вотъ теперь, можетъ-быть, узнаете,—сказалъ майоръ съ выразительнымъ жестомъ.

Иванъ Савичъ покачалъ головой.

— Ни за что-съ?—сказалъ онъ рѣшительно.—У меня правило—не стрѣляться, особенно за женщинъ. Этакъ мнѣ пришлось бы убить человѣкъ пятьдесятъ или давно самому быть убитымъ... такъ, за недоразумѣнія, вотъ какъ теперь. Притомъ же, я и не умѣю...

— Въ такомъ случаѣ, вы должны отказаться отъ знакомства съ Анной Павловной... Я какъ опекунъ... и... и... и дядя ея... требую этого.

— Отказаться! Какъ же жить въ сосѣдствѣ и не быть знакомымъ? придется встрѣтиться какъ-нибудь, согласитесь сами...

— Ни, ни, ни! не придется, если не будете стараться: я ее увезу на другую квартиру...

— Давно бы вы сказали!—воскликнулъ Иванъ Савичъ.— Ухъ! гора съ плечъ долой! Знаете, г. Стрекоза, что у меня правило—не переносить знакомства на другую квартиру.

— Э!—сказалъ, улыбнувшись, майоръ:—да у васъ славныя правила! Ну, такъ и дѣло съ концомъ: миръ. Нечего объ этомъ и говорить.

— Не прикажете ли чаю?

— Очень хорошо. Нѣтъ ли съ ромомъ?

— Есть коньякъ.

— Ну, все равно.

— Не угодно ли сигары?

— Пожалуйте.

И они стали друзьями.

— Какая у васъ славная квартира! — сказалъ майоръ, оглядываясь кругомъ:—со всѣми удобствами... Что это, мнѣ какъ будто вдругъ что-то на носъ капнуло?..

— Ахъ-съ! это вонъ оттуда, — сказалъ Иванъ Савичъ, указывая вверхъ.—Это ничего, такъ, дрянь, пройдетъ.

Майоръ поднялъ голову и посмотрѣлъ на пятно.

Вдругъ оттуда закапало сильнѣе прямо ему въ лицо.

— Милостивый государь! — закричалъ онъ, вскочивъ съ мѣста:—что это значитъ? Я съ вами раздѣлаюсь...

— Я не виноватъ-съ... право! Это иногда течетъ: видно, вверху пролили ушатъ съ водой... Эй, Авдѣй! Авдѣй! подставь скорѣе ведерко...

— Прощайте,—сказалъ майоръ: — у васъ не безопасно; пойду укрыться... къ племянницѣ отъ дождя. Странныя у васъ правила,—право, странныя: не стрѣляетесь, не переносите знакомства на другую квартиру, дождь терпите въ комнатахъ... гм!

Онъ ушелъ. На другой день, рано утромъ, отъ Анны Павловны, отъ майора и отъ старухи не осталось никакихъ слѣдовъ. Въ домѣ и духу ихъ не стало.

Авдѣй торжественно вышелъ на средину комнаты.

— Какъ же, батюшка, Иванъ Савичъ, — сказалъ онъ: — они увезли у насъ диванъ, столъ, часы, зеркало, коверъ, двѣ вазы, ведро совсѣмъ новешенькое да молотокъ. Не прикажете ли сходить за ними?

— И, нѣтъ, не надо! Еще, пожалуй, привяжется Стрекоза: по какому, дескать, поводу эти вещи были тамъ? ну ихъ совсѣмъ. Избавились отъ бѣды: это главное.

— Вѣдь говорилъ я вамъ, не хорошо будетъ: шутка ли, чего стало!

— Зато пожуировали!—сказалъ Иванъ Савичъ.

Въ тотъ же день Иванъ Савичъ кутилъ съ своими друзьями. Онъ разсказалъ имъ свое приключеніе.

— За здоровье сироты!—провозгласили друзья.

— Да, друзья мои, лишился, потерялъ ее! если бъ вы знали, какъ она любила меня! Подумайте, всѣмъ мнѣ жертвовала: спокойствіемъ, сердцемъ. Она была... какъ бы это выразить?.. милымъ видѣніемъ, такъ сказать мечтой... разнообразила тоску мертвой жизни...

— Да, братецъ, жаль,—сказалъ, вздохнувъ и покрутивъ усы, офицеръ:—какъ это ты выпустилъ изъ рукъ такую птичку?.. Ты бы провѣдалъ.

— Нельзя, *mon cher:* честное слово далъ! Дядя, опекунъ: подумай, вышла бы исторія... повредила бы мнѣ по службѣ.

— Ты бы мнѣ сказалъ,—продолжалъ офицеръ:—я бы раздѣлался съ нимъ. Я бы показалъ, что значитъ обидѣть моего пріятеля! А ты! вотъ что значитъ не военный человѣкъ!

— Я, *mon cher*, и самъ намекалъ ему на пистолеты, даже снялъ со стѣны и показалъ... да онъ искусно замялъ рѣчь.

— Подлецъ! трусъ!—примолвилъ офицеръ, притопывая то той, то другой ногой.

— Какія все ему достаются: барыни, да еще замужнія!—замѣтилъ другой.

— И не показалъ, не познакомилъ, злодѣй!—сказалъ Вася.—Нѣтъ, я такъ въ горничныхъ счастливъ. Какая у меня теперь... а!!

И онъ разсказалъ имъ, какая.

— Славно мы живемъ!—примолвилъ одинъ изъ молодыхъ людей:—право, славно: кутимъ, жуируемъ! вотъ жизнь, такъ

жизнь! завтра, послѣ-завтра, всякій день. Вонъ Губкинъ: ну, что̀ его за жизнь! Утро въ департаментѣ мечется, какъ угорѣлый, да еще послѣ обѣда пишетъ, книги сочиняетъ... просто смерть!.. чудакъ!

Иванъ Савичъ опять не зналъ, куда дѣвать свое время, опять зѣвалъ, потягивался, билъ собаку, бранилъ Авдѣя. Однажды онъ пришелъ въ комнату Авдѣя и посмотрѣлъ въ окно. Вдругъ лицо его оживилось.

— Голубчикъ Авдѣй!—сказалъ онъ:—посмотри-ка, какая хорошенькая дѣвушка, тамъ, въ окнѣ, и какъ близко: можно разговаривать!

— Не о чемъ разговаривать-то,—сказалъ Авдѣй.

— Какіе глазки!—продолжалъ Иванъ Савичъ: — ротикъ! только носъ не хорошъ. А бѣленькая, свѣженькая... прелесть! Ты ничего мнѣ и не скажешь! Узнай, чья она.

Авдѣй доложилъ, что она служитъ у знатной барыни.

— И дѣвушка-то знатная! — сказалъ Иванъ Савичъ: — право! а?

— Не могу знать! — отвѣчалъ Авдѣй: — извѣстно: дѣвчонка!

— Послушай, порадѣй-ка мнѣ у ней: поди, скажи, что я и добрый, и...

— Полно вамъ, батюшка, Иванъ Савичъ! Бога вы не боитесь...—заговорилъ онъ, съ убѣдительнымъ жестомъ:— и я-то съ вами сколько грѣха на душу взялъ.

— Ну!—сказалъ Иванъ Савичъ: — по-твоему, не пожуируй! Поди, поди, говорятъ тебѣ.

— Воля ваша, Иванъ Савичъ, гнѣвайтесь-не гнѣвайтесь, а я больше не намѣренъ.

— Что̀ жъ ты пыль не обтираешь нигдѣ, дуракъ этакій! — сердито закричалъ Иванъ Савичъ. — Это что̀? это что̀? а? У меня тамъ вездѣ паутина! Давеча паукъ на носъ сѣлъ! Ничего не дѣлаешь! А еще метелку купилъ! Къ сапожнику опять забылъ сходить? Да ты мнѣ изволь новыя

чашки на свои деньги купить: я тебѣ дамъ бить посуду! Что это за скверный народъ такой, лѣнивый... никуда не годится!

Дня черезъ два Ивану Савичу принесли новое платье. Онъ примѣрялъ и велѣлъ спрятать. Вдругъ Авдѣй вышелъ насредину.

— А что, батюшка, Иванъ Савичъ,—сказалъ онъ:—не будетъ ли вашей барской милости... т.-е. теперь у васъ три сюртука... одинъ-то ужъ старенькій... Не пожалуете ли мнѣ?

Онъ низко поклонился.

— Не намѣренъ,—сказалъ Иванъ Савичъ сухо.

Авдѣй крякнулъ и пошелъ въ переднюю...

На другой день онъ надѣлъ на себя серебряные часы, повѣсилъ бисерный шнурокъ по всей груди и животу, взялъ въ руки картузъ съ кисточкой и отправился радѣть своему барину.

— Говорилъ,—сказалъ онъ черезъ полчаса, выйдя на средину.

— Что жъ ты говорилъ?—спросилъ Иванъ Савичъ.

— Что, молъ, баринъ у меня и добрый, и хорошенькій такой...

— Вотъ, хорошенькій! Зачѣмъ же ты врешь?

— Что за вру! вы вѣдь хорошенькіе...

Оба молчали. Иванъ Савичъ гладилъ бакенбарды.

— Что жъ ты не въ моемъ сюртукѣ ходилъ къ ней? оно бы лучше!—сказалъ Иванъ Савичъ.

— Да какъ я смѣю барскій сюртукъ надѣть?

— Ты возьми его себѣ совсѣмъ, тотъ, что просилъ у меня.

Авдѣй подбѣжалъ согнувшись и поцѣловалъ у барина ручку.

— Что жъ ты ей еще сказалъ?

— Что баринъ мой, молъ, молодецъ: гдѣ ни завидитъ

женщину, тотчасъ влюбится! У него, молъ, не мало ихъ было...

— Да кто жъ тебя просилъ объ этомъ говорить? Ну, пойдетъ ли она теперь? Есть ли у тебя разсудокъ? а? Вѣчно подгадишь мнѣ! Что̀ жъ она сказала?

— Что̀ мнѣ, говоритъ, до твоего барина за дѣло? Онъ, говоритъ, мнѣ не ро̀вня: что̀ мнѣ съ нимъ знакомиться? Поди, говоритъ, отваливай.

— Вотъ еще!—ворчалъ Иванъ Савичъ: — не ро̀вня. Какъ же бы это устроить? Ахъ, славно! выдумалъ! Часто ли она бываетъ тутъ у окна?

— Да цѣлое утро всякій день вертится.

— Тамъ она теперь?

— Тамъ-съ.

— Дай-ка мнѣ свой сѣрый сюртукъ.

— На что̀ это вамъ?

— Дай, дай. Я знаю, на что̀. Ну, что̀, впору ли?—спросилъ Иванъ Савичъ, надѣвъ сюртукъ.

— Коротенекъ. Да что̀ вы хотите дѣлать?

— А вотъ что̀: ты скажи ей, что у насъ два человѣка. Вѣдь она меня не видала?

— Нѣтъ-съ.

— Ну, я утромъ буду приходить на полчаса къ тебѣ въ комнату, будто убирать что-нибудь. Вотъ и теперь пойду. Дай мнѣ сапогъ и щетку.

Иванъ Савичъ помѣстился у самаго окна и сталъ чистить сапогъ. Авдѣй спрятался въ простѣнокъ и прикрылъ ротъ рукой, чтобъ не засмѣяться вслухъ, и качалъ головой.

— Вишь вѣдь лукавый догадалъ — чего не выдумаетъ! бормоталъ онъ.—Не такъ, не такъ, Иванъ Савичъ! на что подошву-то намазали ваксой? И сапога-то не умѣетъ вычистить, а еще баринъ!

— Здравствуйте! — сказалъ Иванъ Савичъ дѣвушкѣ въ окно.

— Здравствуйте!—сказала она и продолжала гладить, не поднимая глазъ.

— Какія вы хорошенькія!

— Да не про васъ!

— Какъ не про меня-съ? Будто мы ужъ никуда не годимся?—сказалъ онъ.—Чѣмъ я хуже моего барина? Онъ такой худой!

— Все жъ онъ баринъ, какой бы ни былъ! да мнѣ и до него дѣла нѣтъ,—отвѣчала она и посмотрѣла на него.

Онъ послалъ ей поцѣлуй. Она улыбнулась и показала ему утюгъ.

— Какъ же! не хотите ли вотъ этого?—сказала она:—какъ разъ обожгу.

— Да вы ужъ и такъ обожгли меня глазками.

— Этакъ она догадается,—шепталъ Авдѣй, увлекшійся невольно на этотъ разъ интересами своего барина, которымъ въ другое время противился:—вы больно мудрено говорите-то.

— Можно мнѣ къ вамъ въ гости придти?—спросилъ Иванъ Савичъ.

— Зачѣмъ? У насъ есть свои.

— Да есть ли такіе, какъ я?

Иванъ Савичъ указалъ на бакенбарды.

— Можетъ, и получше есть.

— Ну, вы пожалуйте ко мнѣ.

— Вотъ еще! Съ чего вы это взяли?—сказала обиженнымъ тономъ дѣвушка.—Прощайте: нѐкогда мнѣ съ вами изъ пустого въ порожнее переливать. Барыня ждетъ: она у меня тамъ безъ юбки сидитъ!

— А кто ваша барыня?

— Извѣстно, баронесса.

Она схватила юбку и понесла-было.

— Да постойте же! куда вы?—сказалъ Иванъ Савичъ.

— Нечего стоять; и вы-то чистите-не-чистите сапогъ.

Смотрите, выйдетъ баринъ: онъ васъ за ушко да на солнышко. Такъ-то!

— Вы будете завтра тутъ?—спросилъ Иванъ Савичъ.

— А вамъ что̀ за дѣло?

— Такъ; я бы покуражился съ вами.

— Буду, такъ буду, не буду, такъ не буду: сами увидите!—сказала она скороговоркой и, какъ мышенокъ, побѣжала по лѣстницѣ, почти не дотрогиваясь до ступеней.

— Милашка! у!—нѣжно крикнулъ ей вслѣдъ Иванъ Савичъ:—Авдѣй! милашка, а?

— Не могу знать!

Авдѣй тряхнулъ головой.

— Пожалуйте-ка, добро, сапоги-то,—сказалъ онъ:—вишь всю подошву вымазали да и окно-то у меня перепачкали Ну, васъ тутъ совсѣмъ!

Въ слѣдующіе дни, въ условленный часъ, оба бывали на своихъ мѣстахъ. Иванъ Савичъ все мазалъ подошву сапога, къ великому соблазну Авдѣя, который нарочно для этого давалъ ему постоянно одинъ старый и худой сапогъ. Маша тоже гладила долго одну и ту же юбку. Такъ продолжалось съ недѣлю. Однажды вечеромъ, когда баронесса уѣхала въ театръ, а, по словамъ Ивана Савича, *барина его* не было дома, Маша тронулась его нѣжностями и, какъ тѣнь, въ платочкѣ à la Fanchon, мелькнула по двору и явилась въ комнатѣ Авдѣя.

— Наконецъ ты у меня въ гостяхъ! — началъ Иванъ Савичъ свою обычную фразу, съ нѣкоторыми варіантами:— ужели это правда? не во снѣ ли я вижу?

Она съ трудомъ согласилась пойти въ другія комнаты и. при малѣйшемъ шумѣ, трепетала, какъ листъ, опасаясь пріѣзда *барина*.

— Какъ я счастлива! какъ я счастлива!—твердила Маша:—вы такіе... такіе... вы сами словно какъ баринъ! Какой у васъ славный жилетъ! ужъ не барскій ли?

— Да, баринъ подарилъ. Авдѣй!—закричалъ онъ, забывшись:—подай чаю!..

— Что̀ вы это? какъ вы на него кричите! — сказала Маша.

— Авдѣй Михайлычъ, — сказалъ Иванъ Савичъ, спохватясь:—уважь насъ: чайку поскорѣе. Вѣдь я барскій камердинеръ,—примолвилъ онъ, обращаясь къ Машѣ:—ну, такъ Авдѣй и угождаетъ мнѣ. Въ другой разъ замолвлю за него доброе словцо.

— А! вы камердинеръ? — значительно сказала Маша:— вотъ какъ!

Уже прошло недѣли три, какъ Маша частенько прокрадывалась къ своему возлюбленному. Иванъ Савичъ лежалъ обыкновенно на *барской* кушеткѣ, какъ онъ говорилъ Машѣ, а она сидѣла подлѣ него въ креслахъ и болтала безъ умолку или жевала что-нибудь. Горничныя вѣчно жуютъ или грызутъ. Въ карманахъ ихъ передника всегда найдете орѣхи, изюмъ, или половинку сухаря, оставшагося отъ барынина завтрака, или бисквиту, вафлю, залогъ нѣжности какого-нибудь повара. Иванъ Савичъ не находилъ болѣе предмета для разговора съ ней. Онъ ужъ пересказалъ ей всѣ анекдоты, которые разсказываются только мужчинами другъ другу за бутылкой вина, или горничнымъ, и говорить больше было нечего.

— Ну, скажи что-нибудь еще,—говорила однажды Маша.—Ты такъ смѣшно разсказываешь.

Иванъ Савичъ зѣвнулъ.

— И нынче конфеты да сливы: я лучше люблю яблоки,— продолжала Маша болтать, доѣдая сливу.—А это вѣдь, чай, дорого: неужели тебѣ баринъ столько денегъ даетъ? Это съѣшь, словно какъ ничего—и не попахнетъ; а послѣ яблоковъ долго помнишь, что ѣла. Я могу цѣлый десятокъ яблоковъ съѣсть, право!

Иванъ Савичъ все молчалъ.

— Вчера мы съ Настасьей, съ нянькой отъ верхнихъ жильцовъ, два десятка съѣли, инда насилу опомнились, даже тошно сдѣлалось: *ейный* сынъ принесъ ей цѣлый узелъ яблоковъ, пряниковъ, орѣховъ, да не однихъ простыхъ, а разныхъ. Онъ въ мелочной лавкѣ приказчикомъ. Ты вотъ мнѣ никогда орѣховъ не купишь.

Иванъ Савичъ закурилъ сигару.

— Что ты заплатилъ за цыгарки?—спросила Маша.

— Это барскія,—сказалъ Иванъ Савичъ.

— Ну какъ онъ узнаетъ?

— Нѣтъ, у него много.

— И то сказать, правда: что̀ жалѣть господскаго. Я вотъ, какъ живу на свѣтѣ, не знаю, что̀ такое покупать помаду, духи, булавки, мыло: все у барыни беру. Разъ она и узнала по запаху: ты, говоритъ, никакъ моей помадой изволишь мазаться? Вотъ я ей говорю... такъ и говорю, право, я вѣдь ей не уступлю... она слово, а я два... кромѣ вашей помады нешто и на свѣтѣ нѣтъ! — А гдѣ жъ ты взяла?—говоритъ она.—Гдѣ? подарили; а сама пячусь, чтобъ она не разнюхала. — А кто, говоритъ, подарилъ?—А вамъ, молъ, зачѣмъ?—Дружокъ, вѣрно!—говоритъ. Что̀ жъ! вѣдь я соврала—сказала: дружокъ. А какой къ чорту дружокъ! У меня послѣ Алексѣя Захарыча до тебя никого и не было. Она и пошла допытываться, кто, да тутъ пріѣхали гости, я и ушла.

Оба замолчали.

— Ахъ, Иванъ! — начала опять Маша: — какое платье купила себѣ Лизавета, наша бывшая дѣвушка! *крепъ-паше*... чудо! Когда я соберусь сдѣлать себѣ этакое?

Она вздохнула.

— А тебѣ хочется?—спросилъ Иванъ Савичъ.

— Еще бы не хотѣлось! ужъ я давно думала, да куда! оно 28 рублей стоитъ.

Иванъ Савичъ вынулъ изъ бумажника пятидесятирублевую ассигнацію и далъ ей.

— Ахъ! неужели?—сказала она съ радостнымъ изумленіемъ.—Это мнѣ? Сколько же у тебя денегъ-то? вѣдь у меня сдачи нѣтъ.

— Ты все себѣ возьми.

— Какъ все?

Она повертывала въ рукахъ ассигнацію и смотрѣла то на нее, то на Ивана Савича и почти одурѣла совсѣмъ.

— Послушай, гдѣ ты берешь деньги? — спросила она вдругъ боязливо.

— Въ барскомъ бумажникѣ.

— Нѣтъ, неправда! ты бы такъ не говорилъ, — сказала она, бережно завязывая деньги въ узелокъ:—какъ же я за это крѣпко поцѣлую тебя... у!... въ знакъ памяти сошью тебѣ манишку.

Отъ радости она сдѣлалась еще болтливѣе.

— Что̀, бишь, я хотѣла сказать такое? а?

— Не знаю,—сказалъ Иванъ Савичъ.

— Эхъ, досадно! что-то хотѣла сказать тебѣ... ахъ, да! какъ давеча графскій кучеръ билъ какого-то мужика: тотъ въ гости къ нему пришелъ, а онъ и давай его бить; инда страсть, такъ прибилъ, что тотъ даже не знаетъ, что̀ и сказать ему. Да что̀ жъ ты все молчишь? — сказала она послѣ множества вопросовъ, на которые не получила отвѣта.

— Ужъ все переговорили,—отвѣчалъ Иванъ Савичъ.

— Все? какъ не все! Нѣтъ, ужъ нынче ты не такой. Бывало все говоришь, что любишь меня, да спрашиваешь, люблю ли я тебя, а нынче вотъ пятый день не спрашиваешь: видно, ужъ не любишь. А я тебя все такъ же люблю, еще больше, ей-Богу! вотъ побожиться не грѣхъ!—промолвила она простодушно.

Опять молчаніе.

— Сколько у васъ книгъ-то! все толстыя: чай, во всю

жизнь не прочитаешь? — сказала она опять: — какія это книжки, Иванъ?

— Философическія!—сказалъ Иванъ Савичъ.

— Какія же это? смѣшныя или страшныя? почитай мнѣ когда-нибудь въ книжкѣ: я люблю смѣшныя книжки. И у васъ хорошо,—продолжала Маша, оглядываясь кругомъ:— а у насъ еще лучше. Какіе занавѣсы, какіе ковры! рѣшётки съ плющами; какія корзинки для цвѣтовъ! даже уму непостижимо! Вчера принесли маленькій диванчикъ въ спальню: какая матерія! такъ глаза и разбѣгаются: четыреста рублей стоитъ. Какъ подумаешь, сколько эти господа денегъ сорятъ, такъ страшно станетъ. Хоть бы половину мнѣ дали того, что иной разъ въ недѣлю истратятъ, такъ мнѣ было бы на всю жизнь.

— Такъ очень хороша твоя барыня? — спросилъ Иванъ Савичъ.

— Ахъ! прехорошенькая! особенно утромъ, какъ съ постели встаетъ.

— Какъ же бы съ ней познакомиться?

— Кому?

— Разумѣется, моему барину. Ужъ онъ говорилъ: похлопочи-ка, говоритъ, Иванъ!

— Нѣтъ ли у него пріятеля, знакомаго съ нашей барыней? — сказала Маша: — пусть тотъ и приведетъ его: а нето пусть онъ выдумаетъ, будто нужно спросить что-нибудь, да и придетъ: можетъ, и познакомится. Славно бы! тогда бы я чаще къ тебѣ бѣгала, будто къ барину отъ барыни, или попросить чего-нибудь. Ужъ когда господа знакомы, такъ и люди знакомы. Это такъ водится. Что бы выдумать? а! да вотъ что: барыня продаетъ одну лошадь: не надо ли вамъ? пусть бы баринъ и пришелъ, будто поторговаться.

— И прекрасно! — сказалъ Иванъ Савичъ, вскочивъ съ кушетки: — я и пойду.

— Ты?—спросила Маша.

— И познакомлюсь, — продолжалъ Иванъ Савичъ, не замѣчая ошибки.

— Что̀ ты, что̀ ты, опомнись, мой батюшка, заврался!

— Ахъ, да! Что̀ я вру: баринъ, баринъ.

— То-то же.

— Ну, ты теперь поди домой,—сказалъ Иванъ Савичъ.

— Вотъ ужъ и гонишь, экой какой! Ну, прощай. Спасибо за подарецьице,—сказала Маша, неохотно вставая съ креселъ.

На другой день Иванъ Савичъ, идучи въ должность, встрѣтилъ на лѣстницѣ знатную барыню и остановился, пораженный ея красотою. Она привѣтливо взглянула на него, какъ будто въ благодарность за это удивленіе. Послѣ того онъ старался ежедневно сойтись съ ней на лѣстницѣ. Это было легко, потому что изъ его оконъ видно было, какъ ей подавали карету. Наконецъ, онъ осмѣлился сдѣлать ей робкій и почтительный поклонъ. Ему ласково кивнули головой, и Иванъ Савичъ былъ внѣ себя отъ радости.

— Авдѣй!—сказалъ онъ:—знаешь что̀? знатная барыня поклонилась мнѣ сегодня. Она всякій разъ ласково смотритъ на меня. Значитъ, я ей нравлюсь. Какъ ты думаешь?

— Не могу знать.

И Маша подтвердила ему, что у ея барыни только и разговора, что о его баринѣ.

— Все меня разспрашиваетъ о немъ, — сказала она:— богатъ ли онъ, есть ли у него экипажъ, сколько людей? а я почемъ знаю... знаю, молъ, только, что у него двое людей—Авдѣй да Иванъ—вотъ и все. Какая, право, чудная! Я вѣдь по парадной лѣстницѣ не хожу: гдѣ жъ мнѣ его видѣть? Да что̀ жъ, въ самомъ дѣлѣ, твой баринъ нейдетъ покупать лошадь? коли хочетъ, вотъ бы и познакомился.

Иванъ Савичъ, пока Маша говорила это, гладилъ бакенбарды.

Утромъ онъ посмотрѣлъ лошадь. Она была стара и разбита ногами. Онъ поторговался съ кучеромъ, но не согласился въ цѣнѣ и вечеромъ послалъ Авдѣя просить у знатной барыни позволенія видѣться съ ней, въ твердомъ намѣреніи не покупать лошади, а только завязать знакомство.

Сильно билось его сердце, когда онъ подошелъ къ ея двери. «Страшно какъ-то съ знатными!—думалъ онъ, осматриваясь и поправляясь: — что-нибудь не такъ сдѣлаешь, бѣда, засмѣютъ!..» Онъ позвонилъ чуть-чуть слышно. Человѣкъ доложилъ и потомъ, откинувъ занавѣсъ у дверей, впустилъ его въ залу. Зала была обита бѣлыми обоями, съ свѣтло-дикими арабесками. Ничего лишняго. По стѣнамъ дюжины двѣ легкихъ, граціозной формы стульевъ бѣлаго дерева. Два огромныя зеркала, у оконъ — тѣ прекрасныя корзины на тумбахъ, о которыхъ говорила Маша, да великолѣпныя драпри, которыя онъ самъ видѣлъ съ улицы. Въ гостиной было все богаче, роскошнѣе. Темная рѣзная мебель. На столѣ бронза, часы на мраморномъ пьедесталѣ,— нѣсколько картинъ, два или три бюста, вазы.

Иванъ Савичъ прошелъ гостиную и остановился въ нерѣшимости, идти или нѣтъ далѣе. Все было тихо. Въ слѣдующей комнатѣ чуть-чуть виденъ былъ свѣтъ отъ лампы.

«Какъ я войду? — думалъ онъ: — ну, какъ она тамъ... того... что-нибудь такое... почиваетъ?»

Вдругъ послышался шорохъ будто шелковаго платья. Кто-то пошевелился, и опять все замолкло. Иванъ Савичъ сдѣлалъ два раза хм! хм! и кашлянулъ. Вдругъ тамъ позвонили... Онъ обрадовался и вошелъ. Долго онъ искалъ глазами обитательницы этого будуара и не находилъ, пока, наконецъ, явившійся по звонку человѣкъ не навелъ его на путь.

— Не надо. Поди!—послышалось изъ-за зелени.

Человѣкъ ушелъ.

Иванъ Савичъ прошелъ до камина и тамъ, на полу-

кругломъ диванѣ, обставленномъ трельяжемъ, отыскалъ невидимку. Она была, повидимому, лѣтъ двадцати. Густые, темно-каштановые волосы спускались по вискамъ до половины щеки и прикрывали уши. Голубые глаза, маленькій носъ и еще меньше ротъ, свѣжесть лица, — все это ослѣпило Ивана Савича. Онъ ужъ не могъ разобрать, въ чемъ она была и какъ она сидѣла,—ничего.

Онъ почтительно поклонился.

— Наконецъ, я васъ... — началъ онъ робко: — неужели это правда? я какъ будто во снѣ.

Ему молча показали другой конецъ дивана.

«Вотъ какъ обрѣзала! — подумалъ Иванъ Савичъ: — ни слова! Не то, что Анна Павловна: та сейчасъ стала кокетничать и заговорила. А эта... о, да тутъ надо осторожно».

Она продолжала молчать. Иванъ Савичъ долженъ былъ опять заговорить. Онъ потерялся.

— Я насчетъ лошадки... — началъ онъ чуть слышно:— пришелъ справиться, извините, что я... безпокою...

Больше у него не шло съ языка, какъ онъ ни старался, точно какъ будто ему зашили ротъ.

— Да, мнѣ человѣкъ сказывалъ, — отвѣчала она небрежно:—что вы хотите купить лошадь. Она не подходитъ подъ масть прочимъ моимъ лошадямъ, оттого я и велѣла ее продать.

— Кучеръ вашъ говоритъ, что вы просите 700 рублей... Это очень...

— Дешево, хотите вы сказать? — перебила она еще небрежнѣе: — что жъ дѣлать! лошадь не стоитъ больше. Можетъ-быть, вамъ надо дороже и лучше... вы не церемоньтесь. Мнѣ стоитъ сказать одно слово своимъ знакомымъ: графу Пѣтушевскому, князю Поскокину, они бы сейчасъ избавили меня отъ этой лошади, лишь бы сдѣлать мнѣ удовольствіе.

Иванъ Савичъ струсилъ.

— Точно-съ, — началъ онъ: — вы изволите правду говорить... Я не имѣю чести быть вашимъ знакомымъ; но, чтобы сдѣлать вамъ удовольствіе...

У него занялся духъ; онъ на минуту остановился собраться съ силами. Она выразительно посмотрѣла на него.

— Но, чтобъ сдѣлать вамъ удовольствіе, — повторилъ онъ:—я... я... готовъ...

Она кивнула слегка головой и улыбнулась.

— Вы очень любезны!—сказала она.

Иванъ Савичъ ободрился.

«Каково же, — подумалъ онъ: — ай да Ваничка! ловко, братъ! Что скажетъ Вася? Какъ же ей деньги отдать? вѣдь, чай, самой не хорошо. О! выдумалъ, выдумалъ еще ловчѣе!»

— Кому прикажете деньги отдать? — спросилъ онъ уже довольно твердымъ голосомъ.

— Если онѣ съ вами, то потрудитесь бросить ихъ вонъ въ ту рабочую корзинку; а если нѣтъ, то пришлите.

Иванъ Савичъ положилъ деньги въ корзинку и сталъ раскланиваться.

— Куда же вы? — спросила она: — вы были такъ любезны. Я еще не успѣла поблагодарить васъ. Останьтесь пить чай со мной. Я васъ не пущу.

Она взяла у него шляпу изъ рукъ и поставила съ другой стороны подлѣ себя. Она сдѣлалась разговорчива и оставила небрежный тонъ.

— Садитесь поближе. Разскажите мнѣ, давно ли вы здѣсь живете, чѣмъ вы занимаетесь?

— Я живу здѣсь четыре мѣсяца, бываю въ театрѣ-съ, читаю-съ.

— Что вы читаете?

— Все философическія книги.

— А!

«Говорить ли ей, что мы купимъ? — подумалъ Иванъ

Савичъ: — нѣтъ, что̀ я, Боже сохрани! Вѣдь это не Анна Павловна.»

— Вы изволите тоже читать книги?—спросилъ онъ, глядя на этажерку, уставленную книгами.

— Да, какъ же.

— Какія-съ, позвольте спросить?

— Больше французскія: теперь читаю «la Duchesse de Chateauroux». Вчера мнѣ подарили прекрасный кипсекъ. Достаньте вонъ ту книгу.

Онъ проворно вскочилъ, взялъ книгу и подалъ ей. Она подвинулась къ столику и открыла книгу.

— Посмотрите, какія гравюры. Да сядьте со мной рядомъ, поближе... еще...

Иванъ Савичъ сѣлъ, какъ она желала, и смутился.

«Вотъ какъ вольно знатные обходятся! — думалъ онъ:— какъ принято у нихъ! а мы чинимся между собой. Прямые мѣщане! Завтра за обѣдомъ разскажу нашимъ. Что̀ скажетъ Вася? Чай, удивится, не повѣритъ! «Экъ куда, скажетъ, залѣзъ!» Надо осмотрѣть хорошенько, какъ убрано, чтобы пересказать нашимъ».

— Гдѣ же еще другая книга?—сказала знатная дама и позвонила.

— Вели Машѣ,—сказала она вошедшему лакею:—принести изъ спальни книгу: она тамъ лежитъ.

При словѣ Маша у Ивана Савича забилось сердце. Вскорѣ послышались ея шаги. Она вошла, взглянула—и поблѣднѣла. Книга выпала у нея изъ рукъ.

— Что̀ ты валяешь книгу? — сказала барыня. — Испортишь переплетъ. Да что̀ жъ ты стала? Подойди сюда! развѣ ты не видала у меня людей?

Маша тихо подошла и, склонивъ голову, еще тише пошла назадъ.

А Иванъ Савичъ забылъ и Анну Павловну, и Машу, и всѣхъ на свѣтѣ. Знатная дама съ минуты на минуту дѣла-

лась все любезнѣе. Время незамѣтно прошло до одиннадцати часовъ. Онъ сталъ прощаться.

— Приходите ко мнѣ, какъ только будетъ у васъ свободное время, — сказала она, — я всегда дома. Когда мы покороче познакомимся, то придумаемъ, какъ проводить вечера.

Тутъ человѣкъ пришелъ съ докладомъ, что графъ Лужинъ пріѣхалъ.

— Просите. Прощайте, до свиданія, — сказала она съ дружеской улыбкой, пожавъ Ивану Савичу руку.

Въ залѣ онъ столкнулся съ запыхавшимъ, потрясшимъ обрюзгшимъ бѣгомъ. Иванъ Савичъ услышалъ звонкій поцѣлуй.

— Вотъ какъ знатные мужчины! — сказалъ онъ самъ себѣ. — А какъ подумаю, у насъ прижимаютъ гости, у насъ такъ спать ложатся. Мальчики!

У своихъ дверей Иванъ Савичъ услышалъ, что кто-то будто плачетъ. Онъ посмотрѣлъ — и что же? въ темномъ углу, опершись на перила горестно рыдала Маша.

— Что съ тобой? что съ тобой? — спросилъ онъ.

— Что съ тобой? — воскликнула, повернула она — какъ прикидываетъ, что съ тобой! Не нужно ли тебѣ такъ обижать бѣдную дѣвушку?

— Какъ обижать?

— Обманывать! Сказали, что вы замерзнете, что любите меня, а сами бѣгаете!

— Такъ что же?

— Какъ что? Сами къ бѣдной пришли. Извольте, можно не ставить любить простую дѣвушку...

— Развѣ это мѣшаетъ тебѣ бывать у меня?

— Не мѣшаетъ! Выдумываетъ! Я знала, какъ вы [illegible] съ ней рассѣ[illegible] на постоянно...

Она зарыдала. Иванъ Савичъ [illegible] [illegible] ручь.

— Постойте, — сказала она: — возьмите ваши деньги: я отъ барина не хочу! Вотъ 45 рублей. 5 рублей я истратила...

Она вынула изъ кармана ассигнаціи, бросила ихъ на лѣстницу и исчезла.

Иванъ Савичъ такъ былъ поглощенъ впечатлѣніемъ отъ свиданія съ знатною барыней, что тотчасъ же забылъ о Машѣ. Онъ машинально поднялъ ассигнаціи и пошелъ.

— Ну, братъ, Авдѣй, вотъ прелесть, вотъ дама, такъ могу сказать!

— Неужли-то, сударь, у васъ и съ ней ужъ дошло до чего-нибудь этакаго?

— Тс! тише, тише! — съ испугомъ сказалъ Иванъ Савичъ.—Ты съ ума сошелъ! вѣдь это не Анна Павловна. Ты этакихъ и не видывалъ. Ахъ, если бы... да нѣтъ!

— Что жъ лошадь-то, сударь?

— Купилъ!

— Неужли?—сказалъ Авдѣй:—такого одра! Да что вамъ въ немъ? Вотъ деньги-то сорите! А что дали?

— 700 рублей.

— Господи воля Твоя! да за нее 200 рублей нельзя дать; а за 700 рублей вы бы пару знатныхъ лошадей купили.

— Зато не познакомился бы съ знатной барыней,—сказалъ Иванъ Савичъ.—Звала къ себѣ какъ можно чаще.

— Экая лихая болѣсть, прости Господи, знатная барыня! Знатно же она васъ поддѣла! 700 рублей... шутка!

— Оно обошлось дешевле, — сказалъ Иванъ Савичъ:— вотъ Маша отдала назадъ 45 рублей — стало-быть, въ 655 рублей. Ну, не хочетъ, такъ какъ хочетъ!

Иванъ Савичъ явился въ собраніе своихъ друзей съ торжественнымъ лицомъ. Его походка, всѣ движенія были величавы. Онъ тихо вошелъ, молча отвѣчалъ на ихъ привѣтствія и молча сѣлъ за свой приборъ, ожидая вопросовъ.

— Что это у тебя такая фиолетовая [illegible]?—спросил офицеръ.

— Да въ самомъ дѣлѣ ты какъ будто выпрыгу получилъ,—замѣтилъ [illegible].—И въ бѣлыхъ перчаткахъ!

— Нѣтъ тамъ ничего!—небрежно отвѣчалъ Ивинъ [illegible].—Сейчасъ было съ [illegible].

— У кого это [illegible]?

— Пожалуйста я вамъ [illegible].—началъ Ивинъ [illegible] смѣшливо [illegible]. [illegible] живетъ у [illegible] въ второмъ этажѣ.

— Нарядна у [illegible]?—спросилъ [illegible].

Иванъ [illegible] [illegible] [illegible].

— Какъ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Онъ [illegible].

— Въ самомъ дѣлѣ [illegible]?—спросилъ офицеръ.

— Послушай!—сказалъ [illegible] [illegible] [illegible] — [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

— [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

— [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Надо, господа, знать тонъ, приличія, какъ съ кѣмъ обращаться!

Всѣ струсили и начали говорить шопотомъ.

— Ну, а Маша что̀? Измѣнилъ, злодѣй!—сказалъ Вася.

— Фи! Неужели ты думаешь, что я къ Машѣ питалъ что-нибудь такое?.. Да и что̀ вы рано принялись поздравлять: ничего нѣтъ, а можетъ-быть, и не будетъ. Мнѣ и подумать-то страшно объ этомъ. Это такъ, лестное знакомство: я тамъ, можетъ-быть, сойдусь съ хорошими людьми: выиграю по службѣ, а не то, чтобы... А вы ужъ сейчасъ и на̀ поди!..

— Да, да, толкуй! знаемъ мы тебя!—сказалъ офицеръ.— Нѣтъ ужъ, братъ, если ты куда забрался, такъ будетъ твое. Ловокъ, злодѣй. Да какъ это ты?..

— Какъ же... ловокъ... — говорилъ Иванъ Савичъ съ улыбкой.—Куда мнѣ!.. Эй! человѣкъ! четыре бутылки клико сюда!

Иванъ Савичъ продолжалъ являться къ баронессѣ церемонно, во фракѣ, отодвигался почтительно, когда она слишкомъ близко садилась или подходила къ нему, вскакивалъ съ мѣста, когда она вставала, и едва осмѣливался дотронуться до ея руки, когда она ему ее подавала.

Онъ кое-какъ успокоилъ и Машу, сказавъ ей, что она въ этомъ знакомствѣ не должна опасаться ничего, что онъ ходитъ къ баронессѣ за тѣмъ, чтобъ только посидѣть, поговорить, провести вечеръ. Маша покачала головой и не сказала ни слова, только вздохнула. Онъ отдалъ ей назадъ 50 рублей и прибавилъ еще столько же.

— Вотъ лошадь-то опять обошлась не въ 700, а въ 800 рублей!—замѣтилъ Авдѣй.

Лошадь кое-какъ сбыли за 200 рублей извозчику.

Ужъ съ мѣсяцъ посѣщалъ Иванъ Савичъ баронессу, но не позволялъ себѣ ни малѣйшаго намека на любовь, или, какъ Авдѣй говорилъ, на «что-нибудь такое». А между тѣмъ,

она ему очень нравилась. Онъ у ней иногда сиживалъ по цѣлому дню, обѣдалъ, даже ужиналъ. Сервировали прекрасно, столъ былъ отличный, вино чудесное. Иногда тамъ бывали сестра баронессы, такая же хорошенькая, какъ она сама, и двѣ-три пріятельницы, еще лучше ея... По вечерамъ бывали мужчины, принадлежащіе къ порядочному кругу. Пріѣзжали они очень поздно, сидѣли долго. Иванъ Савичъ рѣдко видѣлъ ихъ, потому что онъ въ это время уходилъ, когда они являлись.

Однажды онъ сидѣлъ у баронессы одинъ.

— Послушайте, — сказала она тѣмъ же небрежнымъ тономъ, какимъ говорила въ первомъ свиданіи: — дайте мнѣ двѣ тысячи рублей. Я вамъ возвращу дня черезъ три.

Иванъ Савичъ смутился. Ему совѣстно было признаться, что у него нѣтъ дома такой суммы.

— Я получу пять тысячъ не прежде, какъ недѣли черезъ три,—сказалъ онъ:—а теперь... у меня... нѣтъ... дома.

— Вѣрно, вы можете у кого-нибудь занять,—продолжала баронесса: — мнѣ надо завтра утромъ эту сумму. Если бы можно было ждать до вечера, я взяла бы у графа Судкова. Но, зная вашу любезность, я обращаюсь къ вамъ.

— Конечно-съ,—сказалъ Иванъ Савичъ: — я постараюсь завтра утромъ... даже теперь... но оставить васъ...

— Подите... подите... я васъ не держу. Если [illegible] сегодня, будемъ вмѣстѣ ужинать.

Иванъ Савичъ занялъ у пріятеля на [illegible] привезъ. Его поблагодарили продолжительным[illegible] пожатіемъ руки и влажнымъ взглядомъ... [illegible] срокъ платежа пришелъ и прошелъ, но [illegible] вали. Иванъ Савичъ сталъ безпокоиться: [illegible] не смѣлъ. Ему прислали деньги отъ [illegible] тилъ долгъ.

Одинъ разъ онъ хотѣлъ-было на[illegible]

нулся, ему зажали ротъ хорошенькой ручкой. Онъ нѣжно поцѣловалъ ее и затрепеталъ отъ радости.

Разъ вечеромъ онъ былъ въ театрѣ. По возвращеніи домой, Авдѣй сказалъ ему, что Маша два раза приходила съ запиской отъ баронессы. Явилась сама Маша. Она подала маленькую записочку и стала у дверей. Баронесса звала его ужинать, говоря, что у нея собрались графъ Лужинъ, князь Поскокинъ, еще секретарь иностраннаго посольства, ея сестра и двѣ пріятельницы.

— Авдѣй! бриться! мыться! одѣваться! скорѣй приготовь фракъ, да синій бархатный жилетъ съ золотыми узорами!— закричалъ Иванъ Савичъ.

— Вы пойдете?—робко спросила Маша.

— Разумѣется, а что?

— Не ходите,—сказала она печально.

— Это что за новости? Отчего такъ?

— Мнѣ что-то сердце недоброе вѣщаетъ. Вы тамъ что-нибудь... вы оставите меня.

— Какіе пустяки! Авдѣй! одѣваться!

— Я безъ васъ жить не могу, — сказала встревоженная Маша, взявъ его за руку:—не ходите!

— А я безъ тебя могу! — сердито закричалъ Иванъ Савичъ, отдернувъ свою руку:—Вотъ еще!

— Я васъ такъ люблю, — сказала она робко, почти шопотомъ.

— Это очень глупо—любить! — говорилъ Иванъ Савичъ, намазывая голову помадой.

— Что жъ мнѣ дѣлать! я не виновата.

— И я не виноватъ, что не люблю тебя.

— Что вы обижаете дѣвчонку-то?—сказалъ Авдѣй:—вѣдь и она человѣкъ: любитъ тоже.

— Любитъ!—сказалъ еще сердитѣе Иванъ Савичъ, завязывая платкомъ бакенбарды.—Всякая тварь туда же лѣзетъ

любить! Какъ она смѣетъ любить? Вотъ я барынѣ скажу. Зачѣмъ она любитъ?

— Не могу знать!—отвѣчалъ Авдѣй.

Иванъ Савичъ одѣлся и ушелъ. Маша сѣла на кресла и долго смотрѣла кругомъ, потомъ горько заплакала.

Авдѣй вынулъ зелененькую, четырехугольную бутылочку въ плетенкѣ, подошелъ къ свѣчкѣ, налилъ рюмку и поглядѣлъ на свѣтъ.

— Эти господа думаютъ, что у нихъ у однихъ только есть сердце, — сказалъ онъ, отпивая изъ рюмки: — по той причинѣ, что они пьютъ ликеру! А что въ ней? дрянь, ей Богу дрянь! и горько и сладко; тѣмъ только и хорошо, что скоро разбираетъ! Не хочешь ли маленько испить? авось пройдетъ.

Маша потрясла головой.

— Напрасно!—сказалъ Авдѣй, выпивъ всю рюмку и подойдя къ ней. — Полно тебѣ, глупенькая: есть о чемъ плакать! развѣ не видишь, какой онъ пустоголовый? Вишь вѣдь какъ разбросалъ все тутъ! Плюнула бы на него, право! Эй! перестань, говорю.

Онъ жесткой рукой отеръ ей слезы и погладилъ по [illegible]ловѣ.

— Ну, Богъ съ нимъ! — сказала уныло Маша и [illegible]ливо побрела домой.

Маленькая столовая баронессы была ярко освѣщена [illegible] нымъ канделябромъ. Тамъ были буфетъ красн[illegible] горка съ фарфоромъ и хрусталемъ, раздвижн[illegible] больше ничего. Когда Иванъ Савичъ подх[illegible] рямъ, изъ столовой слышались пѣніе, [illegible] рыю нѣсколько голосовъ. Вдругъ человѣкъ [illegible] мимо его бутылки. «Эте! да здѣсь нижъ [illegible] малъ Иванъ Савичъ: — а говорятъ, [illegible] Онъ отворилъ двери и остановился. [illegible] ливъ дверей, сидѣла сама барон[illegible]

хороша. Глаза блистали огнемъ, какого онъ не замѣчалъ прежде, румянецъ пылалъ ярче, на губахъ блуждала улыбка и, казалось, обѣщала долго блуждать. Шея и плечи были обнажены, грудь сильно поднималась и опускалась. Лицо, костюмъ, движеніе, громкій, одушевленный разговоръ,—все показывало, что она была достойною предсѣдательницею пира. Подлѣ баронессы былъ пустой стулъ. Далѣе сидѣла ея сестра. Подлѣ нея, облокотясь рукой на спинку ея стула, почти лежалъ графъ Лужинъ, съ бокаломъ въ рукѣ. Онъ ей говорилъ что-то тихонько. Она хохотала... Напротивъ ихъ, отворотясь къ столу бокомъ, сидѣлъ князь Поскокинъ, высокій мужчина, съ черными бакенбардами. По лѣвую ея сторону секретарь посольства что-то живо бормоталъ другой пріятельницѣ баронессы, интересно блѣдной и задумчивой женщинѣ.

— А!—сказала баронесса, увидѣвъ Ивана Савича.—Гдѣ вы пропадаете? мы не хотѣли садиться безъ васъ за столъ; да вотъ князь увѣрилъ, что вы ужъ не будете...

— Виноватъ!—примолвилъ князь.—Я зналъ, что мы просидимъ долго и что вы, во всякомъ случаѣ, подоспѣете.

— Помилуйте, ваше сіятельство, ничего!—отвѣчалъ Иванъ Савичъ, раскланиваясь почтительно на всѣ стороны.

— Садитесь скорѣе, полноте раскланиваться! — нетерпѣливо закричала баронесса. — Я вамъ берегла мѣсто подлѣ себя. Цѣлуйте же ручку! да будьте живѣе. Ахъ, Боже мой! вы ни на что не похожи. Будьте какъ дома, безъ церемоніи.

— Я и такъ... — сказалъ Иванъ Савичъ и, не кончивъ фразы, сѣлъ на стулъ.

— Messieurs!—сказала баронесса гостямъ: — рекомендую вамъ m-r Поджабрина, отличнаго молодого человѣка.

— Очень радъ!—сказалъ князь, не поворачивая головы.

Графъ молча кивнулъ ему и шепнулъ что-то на ухо своей сосѣдкѣ. Та захохотала, а Иванъ Савичъ покрас-

нѣлъ. Дипломатъ, открывъ немного ротъ, смотрѣлъ съ любопытствомъ, какъ Иванъ Савичъ кланялся, говорилъ и какъ сѣлъ.

— Гдѣ же ваше вино? M-r... m-r...—сказалъ графъ...

— Меня зовутъ Иванъ Савичъ. Про какое вино, ваше сіятельство, изволите спрашивать?

— Нѣтъ, не нужно!—перебила баронесса.—Эти господа, сказала она Ивану Савичу:—сдѣлали мнѣ своимъ посѣщеніемъ пріятный сюрпризъ, и всякій привезъ свое вино. Они думали, что и вы знаете...

— Позвольте-съ... я сейчасъ... —сказалъ Иванъ Савичъ и съ салфеткой побѣжалъ въ переднюю, чтобы послать за виномъ.

— Ваше здоровье, милая Амалія! закричалъ черезъ столъ князь и выпилъ бокалъ.

— Merci,—отвѣчала сосѣдка графа.—И я пью.

И выпила свой бокалъ однимъ духомъ.

— Ради Бога, не пейте за мое: я и такъ не знаю, что со своимъ здоровьемъ дѣлать!—сказалъ князь. [illegible] и помогаетъ убавить этой массы.—Онъ указалъ на [illegible] ное тѣло.—Да, я предвижу, — продолжалъ князь. [illegible] здоровье убьетъ меня.

— Побольше вотъ этихъ подвиговъ, [illegible] зывая на бутылку:—и ты убьешь его.

— Le comte vient de dire quelque chose [illegible] se pas?—сказалъ дипломатъ своей соседкѣ

— И! для меня это ни больше, ни [illegible] стическое упражненіе, какъ [illegible] я знаю, что нынѣшній вечеръ [illegible] жизни.

— Счастливецъ! а я какъ вы[illegible] гой день голова трещитъ. — [illegible] могу пить.

И выпилъ. И всѣ выпили

— Еще вина! — сказалъ князь человѣку, отдавая бутылку.

— А вы что̀ жъ не пьете? M-r... m-r...—говорилъ князь, обращаясь къ Ивану Савичу.

— M-r Поджабринъ,—подсказала баронесса.

— Какъ?—спросилъ князь.

— Поджабринъ.

Князь взглянулъ на графа, тотъ въ отвѣтъ чуть-чуть пожалъ плечами.

— Меня зовутъ Иванъ Савичъ, — отвѣчалъ Поджабринъ.

— Да! Иванъ Савичъ, въ самомъ дѣлѣ, что̀ жъ вы не пьете? у васъ все тотъ же бокалъ!—замѣтилъ рѣзко графъ:— если это такъ продолжится, вы—mille pardons—будете здѣсь лишній.

Иванъ Савичъ смутился, не успѣлъ проглотить куска дичи, залпомъ выпилъ бокалъ и закашлялся.

— Я, ваше сіятельство, не прочь!—сказалъ онъ:—я буду пить-съ, я тоже люблю жуировать. Жизнь коротка, сказалъ одинъ философъ.

— Qu'est-ce qu'il dit?—спросилъ дипломатъ у сосѣдки.

— Стыдитесь, m-r... m-r...—началъ князь.

— Иванъ Савичъ,—подсказалъ Поджабринъ.

— Стыдитесь, Иванъ Савичъ! дамы выпили по пяти бокаловъ, а вы еще одинъ.

— Онъ догонитъ!—закричала баронесса.—Извольте, милый сосѣдъ, пить сряду пять бокаловъ. Я буду вашей Гебой.

Она схватила бутылку и стала лить...

. . . . . .

— M-r Шене! — сказала баронесса черезъ минуту: — вы обѣщали намъ спѣть куплеты Беранже. Прошу не забывать.

— Mais il n'y a pas de piano ici!—отвѣчалъ дипломатъ.

— Оно въ сосѣдней комнатѣ: мы велимъ отворить двери и придвинуть его поближе сюда.

Отворили двери и придвинули фортепьяно. Французъ запѣлъ.

Князь повторилъ refrain.

— Браво, браво, Шене!—закричалъ онъ. — Что̀ за дьяволъ этотъ Беранже! пожилъ и другихъ учитъ жить... Да! чего больше? пить, любить, обманывать другъ друга: тутъ вся исторія и философія рода человѣческаго.

— Какъ ты глупъ сегодня, князь, съ своимъ Беранже!—замѣтилъ адъютантъ. — Посмотри, сосѣдка твоя дремлетъ...

— Если она заснетъ,—замѣтилъ графъ:—ты, князь, отвѣчаешь за нее: откуда хочешь возьми женщину, а то кадриль не полна—хоть самъ надѣвай юбку.

— *C'est joli*,—сказалъ дипломатъ:—*ah! ce comte!*

— Славная идея! нарядить князя дамой!—рѣшила баронесса.

— Право, такъ!—закричалъ графъ.

— Весело! ей-Богу, весело!—громко сказалъ опьянѣвшій Иванъ Савичъ.—Вотъ кутятъ, такъ кутятъ!

— *Que veut dire кутятъ?*—спросилъ дипломатъ.

— Что̀?—спросилъ графъ.

Иванъ Савичъ струсилъ.

— Весело, ваше сіятельство, говорю я,—отвѣчалъ онъ.

— Его бы тоже не мѣшало нарядить дамой, — сказалъ князь, указывая на пустой стулъ, но желая указать на Ивана Савича. — Онъ будетъ похожъ на твою тетушку, графъ, на Настасью Ѳедоровну. Согласны, m-r... m-r... m..

— Иванъ Савичъ! — подсказалъ онъ. — Очень хорошо, ваше сіятельство; почему не согласиться. Кутить, такъ кутить!

Принесли ночные чепцы, кофты, скинули фраки, жилеты и нарядились.

— Браво, браво!—кричали всѣ, хлопая въ ладоши.

— Если бы бакенбарды долой, — сказалъ графъ: — ты, князь, былъ бы совершенной женщиной, только не княгиней, а пуассардкой. А вы, Иванъ... Иванъ...

— Иванъ Савичъ,—договорилъ Поджабринъ.

— Иванъ Савичъ, вы... ахъ, знаешь, князь, онъ точно очень похожъ на мою тетушку! ха-ха-ха! право, она!

И оба съ княземъ, указывая на Ивана Савича, хохотали и кричали: «она! она!»

— Да, въ самомъ дѣлѣ!—сказалъ князь:—ну, ты, графъ, не будешь теперь такъ повѣсничать передъ ея подобіемъ.

— Жизнь коротка! надо жуировать!—неистово закричалъ Иванъ Савичъ, въ кофтѣ и въ юбкѣ.

Никто ничего не понималъ, и постороннему нельзя бы было разобрать ничего. Всѣ хохотали, глядя другъ на друга.

. . . . . .

. . . . . .

На другой день было прекрасное осеннее утро. Иванъ Савичъ проснулся, хотѣлъ открыть глаза, и не могъ. Голова была налита какъ будто свинцомъ. Наконецъ, мало-по-малу онъ поднялъ вѣки... Пробило двѣнадцать часовъ. Иванъ Савичъ тихонько всталъ, подошелъ къ зеркалу — и отскочилъ: на немъ кофта, ночной чепецъ...

— Ого! какъ кутнули!—сказалъ онъ. — Съ нашими такъ никогда не удавалось: этакой рожи у меня не бывало!..

Онъ покачалъ головой.

— Что̀ скажутъ наши? Лучше не говорить имъ...

Онъ провелъ рукой по волосамъ, надѣлъ свой фракъ и пошелъ...

Идучи по лѣстницѣ, онъ встрѣтилъ какую-то женщину подъ вуалью. Она съ дѣвкой шла вверхъ. Дѣвка сказала барынѣ какое-то замѣчаніе на его счетъ...

— Кто это?—спросила барыня.

— А жилецъ, что̀ подъ нами живетъ,—отвѣчала дѣвка.— На нихъ и праздника нѣтъ. У баронессы, слышь, цѣлую ночь такой пиръ былъ...

— Подъ праздникъ-то!

Въ это время дверь захлопнулась.

— Авдѣй!—сказалъ Иванъ Савичъ:—дай мнѣ рюмку ликера да разбуди меня къ обѣду.

— Ликеры нѣтъ: вся вышла,—отвѣчалъ Авдѣй.

— Какъ вышелъ! еще третьяго-дня тамъ оставалось.

— Вы выкушали послѣднюю рюмку.

— Когда?

— Въ послѣдній разъ.

— Смотри: ужъ не ты ли, другъ?

— Стану я этакую дрянь пить!—сказалъ Авдѣй и плюнулъ.—Я еще отъ-роду никакого вина не пивалъ.

— Кто это надъ нами живетъ?—спросилъ Иванъ Савичъ.

— Не могу знать!

— Узнай!

Иванъ Савичъ долго не являлся къ баронессѣ. Наконецъ черезъ недѣлю онъ отправился къ ней. Тамъ онъ засталъ ея сестру и Жозефину.

— А! сосѣдъ! — сказала баронесса: — что̀ это васъ такъ давно не видать? Я хотѣла посылать за вами...

— Я, баронесса, теперь въ нуждѣ,—перебилъ ее Иванъ Савичъ: — и пришелъ просить васъ: не возвратите ли вы мнѣ моихъ денегъ?..

— Денегъ?..

Она съ изумленіемъ посмотрѣла на него.

— Да, двѣ тысячи рублей, что̀ вы у меня заняли.

— Я заняла! Опомнитесь! неужели вы еще не протрезвились? Напротивъ, я хотѣла спросить васъ, скоро ли вы мнѣ отдадите семьсотъ рублей за лошадь?

Иванъ Савичъ остолбенѣлъ.

— Да, за лошадь.

— Я не шучу, баронесса!—сказалъ онъ.

— И я нѣтъ,—отвѣчала она.

Онъ посмотрѣлъ на нее серьезно, она на него тоже. Онъ пошелъ вонъ. Сзади его раздался дружный, предательскій хохотъ трехъ красавицъ.

— Неблагодарный! каковъ!—послышалось вслѣдъ затѣмъ.

Иванъ Савичъ хлопнулъ дверью и пошелъ къ себѣ.

— Не поискать ли намъ другой квартиры, Авдѣй?—спросилъ онъ.

Авдѣй перепугался.

— Помилуйте, сударь!—воскликнулъ онъ:—еще полугода нѣтъ, какъ здѣсь живемъ. Гдѣ сыщешь такую квартиру? Удобство всякое: и сарай особый, и ледничекъ отъ хозяина даютъ, и сосѣди хорошіе, а ужъ сосѣдки—и говорить нечего...

— Да... нечего и говорить!—повторилъ, пожимаясь, Иванъ Савичъ.

Черезъ нѣсколько дней онъ опять на лѣстницѣ встрѣтилъ ту же женщину подъ вуалью.

— Кто это тамъ вверху живетъ? Узналъ ли ты?—спросилъ онъ Авдѣя.

— Барышня живетъ какая-то. Такая смирная, словно никого нѣтъ: ни стукнетъ, ни брякнетъ.

— Такъ она барышня? Узнай хорошенько, кто она.

Авдѣй узналъ и сказалъ, что барышня живетъ съ дѣвушкой и съ кухаркой, тихо, скромно, что ея не слыхать, что въ гостяхъ у нея бываютъ все женщины, и т. п.

— Какъ бы побывать у нея?

— Не могу знать.

— Не могу знать! Это не мудрено. А ты могъ... Послушайка! не пахнетъ ли здѣсь, какъ будто, дымомъ?

— Нѣтъ-съ! — сказалъ Авдѣй, поворачивая носъ во всѣ стороны — не пахнетъ.

— Ну, какъ не пахнетъ! слышишь?

— Нѣтъ-съ, не слышу—не пахнетъ.

— Налалилъ одно: не пахнетъ! Если я говорю пахнетъ, такъ, стало-быть, пахнетъ.

— Не пахнетъ,—сказалъ Авдѣй, нюхнувъ еще.

— Да, именно пахнетъ: это, должно-быть, сверху прошло! Узнай-ка, поди. Долго ли до пожара! Да нѣтъ, постой! я самъ узнаю.

Онъ отправился вверхъ.

— Ну, пошелъ!—ворчалъ Авдѣй,—уродится же этакой!..

И махнулъ рукой.

Иванъ Савичъ вошелъ въ переднюю верхней жилицы. Тамъ никого не было. Налѣво былъ маленькій коридоръ, который велъ, повидимому, въ кухню. Иванъ Савичъ остановился. Оттуда раздавался довольно пріятный голосокъ.

— Не надо мнѣ пѣтуха!—говорилъ голосокъ.—Зачѣмъ ты пѣтуха купила? Я тебѣ велѣла курицу купить: а это, видишь,—пѣтухъ! все по-своему дѣлаешь!

— Да мужикъ-то знакомый, матушка,—отвѣчалъ другой голосъ:—нашъ ярославскій. Присталъ: купи да купи: пѣтушокъ, говоритъ, славный.

— Не хочу я пѣтуха: пѣтухи жестки!

— И, нѣтъ, матушка, этотъ еще молоденькій, словно цыпленочекъ.

Иванъ Савичъ рѣшился проникнуть дальше. Появленіе его произвело значительный эффектъ.

— Ахъ!—закричала барышня, закутываясь одной рукой въ большой желтый платокъ, а другой держа пѣтуха.

— Я-съ... мое почтеніе... я живу здѣсь, подъ вами...

— Что жъ вы, милостивый государь, ходите въ чужимъ квартирамъ, начала она прямо подъ платокъ, крепко держа пѣтуха.—Вы думаете, что я беззащитная дѣвушка, безъ покровителя, что меня можно всякому обидѣть? Извините, вы ошибаетесь! Позвольте вамъ сказать: у меня есть кому за-

питься, и я не позволю... За кого вы меня принимаете, съ какими намѣреніями?

Иванъ Савичъ перепугался. Онъ забылъ, зачѣмъ пришелъ.

— Извините-съ...—началъ онъ:—я... только пришелъ спросить... вотъ извольте видѣть... мнѣ... того-съ...

— Что̀ того-съ? На, Устинья, курицу... Что̀ жъ ты не возьмешь?

— Вѣдь это пѣтушокъ-съ?—робко спросилъ Иванъ Савичъ.

— А вамъ что̀ за дѣло? вы почему знаете?

— Я слышалъ отъ человѣка, что ваша кухарка ошибкой купила пѣтуха... не угодно ли помѣняться на курочку?...

— Какая дерзость!—воскликнула барышня, пожимая плечами:—Боже мой! до чего я дожила за мои грѣхи! За что̀ Ты меня такъ караешь? Какъ вы осмѣливаетесь говорить мнѣ такія рѣчи? Вы пришли обижать меня? Что̀ жъ это такое...

Она начала плакать.

— Позвольте, сударыня,—сказала кухарка:—они за дѣломъ пришли: можетъ, у нихъ, въ самомъ дѣлѣ, куплена курица, — вотъ бы и помѣнялись. А почемъ изволили платить?

— Нѣтъ-съ... позвольте... я объясню вамъ настоящую причину, — сказалъ Иванъ Савичъ. — Я пришелъ спросить.... У меня, извольте видѣть, вдругъ запахло дымомъ... Такъ столбомъ и ходитъ по комнатамъ. Я думалъ, не отъ васъ ли...

Барышня и кухарка подняли носы кверху и стали нюхать во всѣ стороны. Съ ними для компаніи нюхалъ и Иванъ Савичъ.

— Въ самомъ дѣлѣ, пахнетъ! — сказала встревоженная барышня: — ужъ не пожаръ ли? поди-ка, сбѣгай къ верхнимъ жильцамъ.

— Ахъ, вы матушки! тыкъ-такъ и [illegible] долго ли до грѣха—сказала [illegible]

— Постой, постой! [illegible] закричала барышня въ [illegible] мой! [illegible]

— И матушка [illegible] и ушла.

— [illegible]—[illegible]

Отъ не знать [illegible] а онъ перебѣжалъ [illegible]

— [illegible]

— [illegible] Бегу! [illegible]

— [illegible] [illegible]

— [illegible]

— [illegible] Но [illegible]

— [illegible]

— [illegible]

— [illegible]

обидѣвшись:—что̀ вы? Помните, съ кѣмъ говорите! За кого вы меня принимаете? Я васъ не понимаю...

Иванъ Савичъ замолчалъ.

— Такъ двѣ тысячи рублей и пропали? — спросила она потомъ, съ любопытствомъ.

— Пропали-съ.

— И еще семьсотъ рублей?

— Да-съ... нѣтъ-съ, пятьсотъ рублей только: вѣдь я лошадь продалъ за двѣсти рублей.

— Какая жалость! Какая мерзавка!—сказала она:—какъ терпятъ такихъ тварей? И вотъ необходимость принуждаетъ и честную дѣвушку жить подъ одной кровлей съ такой безстыдницей!

Она концомъ платка отерла глаза.

— Такъ вы больше съ ней не знакомы?

— Нѣтъ-съ. Да если бъ и былъ еще знакомъ, то довольно услышать отъ васъ одно слово, чтобъ прекратить...

— Благодарю васъ за комплименты,—перебила барышня сухо: — только я ихъ никогда не слушаю. Стало-быть, у васъ большое жалованье, — спросила она, помолчавъ: — что вы можете по двѣ тысячи рублей бросать?

— Жалованье? У меня нѣтъ жалованья-съ.

— Какъ нѣтъ?

— Такъ-съ. Мнѣ не даютъ.

— Не даютъ! Какъ же смѣютъ не давать?

— Такъ-съ. Я не получаю.

— Стало-быть, сами не хотите?

— Нѣтъ-съ, я бы пожалуй... да не положено...

— Для чего же вы служите?

— Изъ чести-съ.

— Чѣмъ же вы живете?

— Своимъ доходомъ,—сказалъ онъ.

— А! у васъ есть свои доходы,—примолвила она.—Какъ это пріятно!

Тут Устинья пришла сверху и сказала, что [illegible] не [illegible].

Иван Савич стал расспрашивать.

— Извини, что [illegible] — сказал он. Если бы я знал [illegible] [illegible] я бы [illegible] счастливым...

— [illegible] — [illegible] — [illegible] [illegible] [illegible]

— Кто тамъ?—раздалось громче.

— Это я-съ,—сказалъ онъ тихо.

— Да кто я-съ? разносчикъ, что̀ ли? Ахъ! не нищій ли ужъ?

Въ залѣ послышалось движеніе, и барышня выбѣжала въ переднюю.

— Ахъ, это опять вы?—сказала она.

— Я самый-съ.

Она была уже не въ утреннемъ капотѣ и не въ папильоткахъ, какъ въ первый разъ, а въ черномъ шелковомъ платьѣ, со взбитыми локонами. Въ одной рукѣ держала она не пѣтуха, а маленькую собачку, въ другой — книжку. Собачонка такъ и заливалась-лаяла на Ивана Савича.

— Что̀ вамъ угодно?—сказала она.—Помилуйте! Молчи, Жужу! Какъ вы со мной поступаете? За кого вы принимаете меня? Молчи же: ты выговорить слова не дашь! Этого еще не бывало, чтобы чужой мужчина осмѣлился... въ другой разъ... а? На что это похоже? Съ этой собачонкой изъ терпѣнья выйдешь. Средства нѣтъ никакого!

Она пустила ее въ комнату.

— Я только пришелъ спросить...—началъ Иванъ Савичъ.

— Что̀ спросить? Помилуйте! со мной никто такъ не поступалъ...

— Я только хотѣлъ узнать, не колете ли вы здѣсь дровъ...

— Я колю дрова! а! каково это? Вы хотите обижать меня, бѣдную дѣвушку: думаете, что меня некому защитить. Я крестному папенькѣ скажу. Онъ коллежскій совѣтникъ: онъ защититъ меня! Я колю дрова!..

— То-есть не колютъ ли у васъ?—прибавилъ Иванъ Савичъ:—у меня раздается такъ, что стѣны трясутся; того и гляди, штукатурка отвалится... задавитъ...

— Мнѣ дрова рубитъ дворникъ въ сараѣ, — отвѣчала

она.—Я плачу ему два рубля въ мѣсяцъ—вотъ что̀. А это, вѣрно, у сосѣдей...

— Ахъ, такъ виноватъ! — сказалъ Иванъ Савичъ, раскланиваясь, и остановился. — Позвольте спросить, что̀ это за книжечка?—спросилъ онъ нѣжно.

— Это «Поучительныя Размышленія»... Мнѣ папенька крестный на прошлой недѣлѣ въ именины подарилъ.

— А какой святой праздновали на прошедшей недѣлѣ, позвольте спросить?

— Прасковьи, 28 октября. Меня вѣдь зовутъ Прасковьей Михайловной.

— Вотъ вы нравоучительныя книги изволите читать, Прасковья Михайловна, а я такъ все философическія...

— Ужъ хороши эти философическія книги! я знаю! Мнѣ крестный сказывалъ, что философы въ Бога не вѣруютъ. Вотъ пусти васъ къ себѣ: вонъ вы что̀ читаете!

И она отступила.

Иванъ Савичъ сдѣлалъ шагъ впередъ. Она отступила еще. Онъ за нею—и очутился въ комнатѣ.

— Наконецъ я у васъ... — сказалъ онъ торжественно:— ужели это правда?.. я какъ будто во снѣ...

— Ахъ!—сказала она:—вы ужъ и вошли! Каковы мужчины! Вы, вѣроятно, думаете, что я рада, что хотѣла этого? Не воображайте!

— Помилуйте... осмѣлюсь ли я? Я только умоляю: не лишите меня счастья...

— Какъ это можно! Ахъ, Господи,— начала она, садясь на диванъ.—Что̀ скажутъ? про меня никто никогда не слыхалъ дурного слова, а тутъ этакой срамъ: чужой мужчина въ другой разъ...

— Скажутъ-съ... что я приходилъ узнать насчетъ дровъ: вѣдь всякій дорожитъ своимъ спокойствіемъ... согласитесь сами, Прасковья Михайловна! — убѣдительно прибавилъ Иванъ Савичъ и сѣлъ.

— Оно, конечно...—начала она:—позвольте узнать, какъ васъ по имени и отчеству? Ахъ! да вы ужъ и сѣли?

— Меня зовутъ Иванъ Савичъ,—сказалъ онъ.

— Оно, конечно... Иванъ Савичъ! Но посудите сами: вѣдь я дѣвушка, мнѣ 22 годъ, я дочь честныхъ родителей, живу одна, и обо мнѣ никто дурного слова не слыхалъ. Что̀ могутъ подумать?..

— Такъ-съ, такъ-съ! Боже меня сохрани спорить... но я человѣкъ смирный, живу тоже одинъ... Почему жъ мнѣ, какъ сосѣду, не позволить иногда придти время раздѣлить. Особенно же теперь наступаетъ зима... вечера длинные...

— Неужели вы думаете,—сказала она: — что я позволю вамъ сидѣть у себя по вечерамъ однимъ? Вы ошибаетесь!.. За кого вы меня принимаете? Другое дѣло по четвергамъ, если крестный позволитъ.

— Что̀ же вамъ по вечерамъ дѣлать однѣмъ? Все читать да читать—надоѣстъ. Развѣ вы бываете въ театрѣ?

— Очень рѣдко: на Масленицѣ крестный беретъ ложу, если пьеса, знаете, такая, гдѣ нѣтъ ничего... Вѣдь нынче женщинѣ и въ театръ, не *знамши*, нельзя пойти... Богъ знаетъ что̀ представляютъ!..

— Да-съ,—перебилъ Иванъ Савичъ: — это правда: вотъ я былъ въ тотъ вечеръ, какъ мы кутили у баронессы...

— Ахъ! вы мнѣ опять про этотъ гадкій вечеръ, опять про баронессу: я и знать, и слышать не хочу... увольте...

— Виноватъ-съ: я хотѣлъ сказать, какую ужасную пьесу давали: повѣрите ли? я едва высидѣлъ.

— Вы не высидѣли!—сказала Прасковья Михайловна:— можно вамъ повѣрить!

— Увѣряю васъ! Вы не знаете меня. Я краснѣю отъ всякаго нескромнаго слова... Такъ въ этой пьесѣ, говорю, одинъ объясняется въ любви...

— Ахъ, Боже мой! — закричала Прасковья Михайловна,

вскочивъ съ дивана: — что̀ вы, что̀ вы? Опомнитесь! кому вы говорите?.. Что̀ это за ужасть такая! Вотъ пусти васъ... всѣ мужчины одинаковы. Вы думаете, что я живу одна, такъ меня можно обижать...

— Помилуйте!—сказалъ онъ: — я? обижать? О, вы меня не знаете: обидѣть женщину не только дѣломъ, даже нескромнымъ словомъ такъ низко, такъ гнусно... что я слова не найду: вотъ мои правила! Повѣрьте, мнѣ всегда возмущаетъ душу, когда я слышу, что какой-нибудь развратный человѣкъ...

— Ахъ, Боже мой, что̀ вы? опять!—закричала Прасковья Михайловна, зажимая уши, такъ, однако, что оставила маленькую лазейку.

— Я хочу сказать, — торопливо прибавилъ Иванъ Савичъ:—когда развратный человѣкъ воспользуется слабостію неопытной дѣвушки! Вотъ мои правила!

— Замолчите! замолчите! о чемъ вы мнѣ говорите? я и слышать не хочу о вашихъ правилахъ. Вспомните, что я дѣвушка: я не должна понимать, и не понимаю вашихъ словъ.

— Но согласитесь, Прасковья Михайловна, — началъ Иванъ Савичъ тономъ убѣжденія: — что если дѣвушка не хочетъ слышать, какого рода опасность угрожаетъ ея добродѣтели, то вѣдь она легко можетъ...

— Ахъ, какой ужасъ вы говорите! Дѣвушка не можетъ подвергнуться опасности, когда не хочетъ даже слышать о ней... а не то, чтобы...

— Что-съ: не то, чтобы?..

— Ну, то-есть... ахъ, да вотъ и крестный! Здравствуйте, крестный!

Въ комнату вошелъ дородный человѣкъ лѣтъ пятидесяти, сѣдой, съ аннинскимъ крестомъ на шеѣ.

— А, да у тебя гости? — сказалъ онъ и бокомъ поклонился Ивану Савичу, поглядывая на него исподлобья.

— Это сосѣдъ, что̀ подо мной живетъ, — отвѣчала Прасковья Михайловна.

— Ась?

— Сосѣдъ, Иванъ Савичъ, пришелъ узнать, не колютъ ли здѣсь дровъ: онъ желаетъ познакомиться со мной. Я безъ васъ не смѣла, крестный! Кажется, хорошій человѣкъ,— шепнула она.

— Гдѣ изволите служить?—спросилъ крестный.

Иванъ Савичъ сначала замялся, наконецъ, пробормоталъ названіе своего департамента.

— А!—сказалъ чиновникъ: — у васъ начальникъ отличный человѣкъ! умная голова! и баринъ, настоящій баринъ! Вотъ бы послужить при этакомъ! Да позвольте-ка: никакъ вчера... нѣтъ, третьяго-дня... или вчера? что̀ это я забылъ! Да, точно вчера: отъ васъ получено къ намъ отношеніе. Кто это писалъ его у васъ? Ну, пройдоха, нечего сказать: этакой крючокъ загнулъ! Вотъ, изволите видѣть: по нашему вѣдомству одинъ чиновникъ попалъ подъ судъ. Онъ прежде служилъ у васъ и тамъ былъ подъ слѣдствіемъ. Въ аттестатѣ-то глухо насчетъ этого сказано. Вотъ, мы и обратились къ вамъ съ просьбою о доставленіи ближайшихъ свѣдѣній по сему дѣлу. Ну, и получили же отъ васъ бумагу! Ахъ, Ты, Господи! есть же вѣдь люди—какъ пишутъ! Написанъ листъ кругомъ, а точнѣйшихъ свѣдѣній нѣтъ никакихъ. Я нарочно списалъ себѣ эту бумагу... фу-ты, какъ славно написана! Дай-ка, Параша, водочки. Не прикажете ли?

— Нѣтъ-съ, покорно благодарю.

— Ась?

— Покорно благодарю. Я не пью, — сказалъ Иванъ Савичъ.

— А кто у васъ начальникъ отдѣленія? — спросилъ чиновникъ.

— Стуколкинъ,—отвѣчалъ Иванъ Савичъ.

— Матвѣй Лукичъ! — съ удивленіемъ подхватилъ крестный: — ба-ба-ба! Да неужели ужъ онъ начальникъ отдѣленія? Давно ли? Скажите, ради Бога! какъ судьба-то иной разъ... Ну, что̀ это такое! Вообрази, Параша: Матвѣй Лукичъ, два года тому назадъ, былъ у насъ столоначальникомъ, и еще не изъ самыхъ бойкихъ, а такъ себѣ! а теперь, а? Да, душенька, я забылъ сказать... Петръ Прокофьичъ звалъ насъ съ тобой на вечеринку. Тамъ потанцуютъ; а у насъ добрый вистикъ составленъ: три начальника отдѣленій; только я одинъ чиновникъ особыхъ порученій попа́лся! А въ четвергъ они у насъ.

— Ахъ, крестный, какъ это весело, какъ весело! — заговорила, припрыгивая, съ дѣтскою радостью, Прасковья Михайловна, что̀ было ей немного не подъ лѣта.

Но ей хотѣлось пококетничать передъ Иваномъ Савичемъ.

— Вотъ и вы, милостивый государь, пожаловали бы къ намъ въ четвергъ, — сказалъ онъ, обращаясь къ Ивану Савичу:—если вамъ не скучно будетъ.

— Помилуйте! скучно! можно ли?.. за счастье почту...

— Ась?

— Непремѣнно, молъ, воспользуюсь, — сказалъ Иванъ Савичъ, раскланиваясь и уходя.

— Авдѣй! кажется, я пожуирую,—говорилъ онъ, возвратясь домой.

— Не могу знать!—отвѣчалъ Авдѣй.

— Только это, братъ, совсѣмъ не то: тутъ будетъ что-то чистое, возвышенное, такъ сказать, любовь *лаконическая*...

— Э! ну, васъ тутъ, раздуло бы горой! — ворчалъ про себя Авдѣй.

— Какъ же ты съ знатной барыней кончилъ? — спросилъ Вася, когда Иванъ Савичъ разсказалъ ему о новой сосѣдкѣ.

— Что̀, братецъ, знатныя барыни! Это утомило меня:

вѣчно приличія, этикетъ, знаешь, всегда на вытяжку... Графы да князья... большой свѣтъ... не хочу! Богъ съ ними! я люблю свободу... такъ и отсталъ.

— Напрасно!—сказалъ Вася: — ты бы могъ познакомить меня; тамъ бы ты много выигралъ... Эхъ, не умѣлъ: какъ же и выходятъ въ люди?.. Э-э!

— Конечно! — сказалъ Иванъ Савичъ: — оно бы можно было: у ней иногда бываютъ изъ дипломатическаго корпуса. Вотъ въ послѣдній разъ я ужиналъ вмѣстѣ съ секретаремъ посольства... что̀ за здоровякъ такой! вотъ жуиръ-то! звалъ въ Парижъ.

Въ четвергъ, въ восемь часовъ вечера, Иванъ Савичъ явился къ сосѣдкѣ. Тамъ все имѣло видъ торжественнаго собранія. Стеариновыя свѣчи, не зажигаемыя по другимъ днямъ и скромно стоящія на столикѣ у зеркала, разливали яркій свѣтъ по комнатѣ. Чехлы съ дивана и четырехъ креселъ были сняты. Въ гостиной, на столикѣ, горѣла крашеная жестяная лампа и стояли двѣ тарелки съ вареньемъ. Тамъ былъ диванъ, обитый зеленымъ полумериносомъ, и двое такихъ же креселъ. Наружный видъ ихъ манилъ къ спокойствію и нѣгѣ. Казалось, какъ опустишься, такъ утонешь тамъ и не встанешь. Кто быстро опускался на диванъ съ этою мыслію, тотъ вскакивалъ еще быстрѣе, думая, что онъ сѣлъ на камень: такъ хорошо сдѣланы были пружины, которыя торговцы Апраксина двора величаютъ *англицкими*. Въ гостиной могло помѣститься счетомъ пять человѣкъ, ни больше, ни меньше. Далѣе была еще комната... Потомъ ширмы, а изъ-за нихъ выглядывалъ уголокъ бѣлой какъ снѣгъ подушки: то было дѣвственное ложе Прасковьи Михайловны. Она смѣло могла бы написать девизомъ:

Къ моей постели одинокой
Не крался въ темнотѣ ночной...

Въ залѣ крестный папенька Прасковьи Михайловны

игралъ въ одномъ углу въ вистъ съ мужемъ сестры хозяйки и еще двумя чиновниками, которые были съ нимъ очень почтительны. Въ другомъ углу дѣвушка разливала чай. Дамское общество было въ гостиной. На диванѣ сидѣла старшая сестра Прасковьи Михайловны, женщина высокаго роста, прямая, какъ вѣха, потомъ хозяйка и еще двѣ какія-то дѣвицы. Около нихъ любезничали два племянника крестнаго папеньки—одинъ студентъ, другой юнкеръ. Дамы сидѣли, мужчины стояли, потому что негдѣ было сѣсть. Играли въ фанты.

— Вы, конечно, съ нами останетесь, съ молодыми людьми? — сказала Прасковья Михайловна Ивану Савичу съ дѣтскою рѣзвостію: — что̀ вамъ тамъ дѣлать со стариками? Не прикажете ли варенья? Молчи, Жужу! ахъ, скверная собачонка! Вы погладьте ее только одинъ разъ, а тамъ ужъ она привыкнетъ къ вамъ. Вотъ такъ.

— Ахъ! да она кусается!—сказалъ Иванъ Савичъ, отдернувъ руку.

— Нѣтъ-съ, никогда.

— Помилуйте! вотъ, посмотрите, до крови.

— Ахъ, ты, дрянь! вотъ я тебѣ ужо розгу дамъ! — сказала Прасковья Михайловна. — Не угодно ли съ нами въ фанты? Вы будете, хоть... что̀ бы?... мы играемъ въ *туалетъ*... всѣ вещи разобраны... ну, будьте гребень.

— Да это я взяла!—пропищала одна маленькая дѣвочка.

— Ты, *ma chère,* гребеночка, а они будутъ частый гребень. Такъ вы частый гребень.

— Очень хорошо-съ,—сказалъ Иванъ Савичъ.

Принесли еще два стула, поставили у дверей и стали играть. При словахъ: *барыня спрашиваетъ весь туалетъ*, всѣ бросились мѣнять мѣста. Ивану Савичу не разъ доставалось бросаться со всего размаху на диванъ съ камнемъ внутри. Онъ быстро вскакивалъ, а другой или другая,

зная хорошо это сѣдалище, проворно, но осторожно садились на его мѣсто, а онъ оставался.

Иванъ Савичъ познакомился со всѣми. Чиновникамъ онъ разсказалъ про свой образъ жизни, и тѣ не мало завидовали ему.

— Утромъ я встаю въ десятомъ часу, — говорилъ онъ хвастливо: — иногда хожу въ должность, иногда нѣтъ, какъ случится... потомъ-съ часа въ три иду гулять на Невскій проспектъ. Тамъ, знаете, весь *beau monde* гуляетъ тогда, встрѣчаешь множество знакомыхъ, съ тѣмъ слово, съ другимъ два. Зайдешь къ Беранже иностранныя газеты прочитать, объ испанскихъ дѣлахъ, о французскомъ министерствѣ... Такъ время непримѣтно и пройдетъ до обѣда.

— А позвольте спросить, кто теперь министромъ у французовъ?—спросилъ крестный.

«Министромъ? А чортъ его знаетъ!» подумалъ Иванъ Савичъ.

— Теперь-съ...—началъ онъ и остановился.

— Ась?—спросилъ крестный.

— Теперь... министерство распущено, — вдругъ сказалъ Иванъ Савичъ, какъ будто по вдохновенію: — никого нѣтъ.

— Стало-быть, товарищи управляютъ,—примолвилъ тотъ.

— Тамъ вѣдь одно министерство, — сказалъ Иванъ Савичъ.

— Какъ, неужели? И одинъ министръ?

— Нѣтъ-съ, много.

— Много! какая диковинка...

И пошли толки о томъ, какъ это должно быть неудобно.

— Потомъ, — продолжалъ Иванъ Савичъ: — иду обѣдать къ Леграну или къ Дюме. Тутъ соберутся пріятели, покутимъ, вечеръ въ театрѣ: такъ и жируемъ жизнію...

— Вотъ живутъ-то! э! — сказалъ съ завистью одинъ чиновникъ:—пожилъ бы такъ! а то въ восемь часовъ иди въ должность да и корпи до пяти! Заживо умрешь.

— Что̀ должность: сухая матерія! — примолвилъ Иванъ Савичъ. — Жизнь коротка, сказалъ одинъ философъ: надо жуировать ею.

Иванъ Савичъ признанъ былъ всѣмъ обществомъ за любезнаго, фешенебельнаго и вообще достойнаго молодого человѣка. Крестный особенно былъ ласковъ съ нимъ.

Иванъ Савичъ благодарилъ его за дозволеніе бывать у его крестницы по четвергамъ.

— Самъ я не надѣялся получить это позволеніе, — началъ Иванъ Савичъ: — Прасковья Михайловна такъ боязливы...

— Ась?

— Прасковья Михайловна такъ боязливы...

— Оно не то, что боязлива, извольте видѣть... — отвѣчалъ крестный: — а того... получила отъ отца фундаментальное воспитаніе. Мать была, правда, баловница — не тѣмъ будь помянута — да умерла рано; а покойный-то отецъ, мой сослуживецъ, ужъ коллежскій совѣтникъ, — вотъ онъ былъ строгъ, не любилъ баловать. Онъ ее и пріучилъ къ аккуратности и воздержанію. Не будь его, смоталась бы, чисто смоталась бы дѣвка. Да онъ, — царство ему небесное—былъ съ правилами человѣкъ и ей внушилъ. А то она...

— Что̀ такое?—спросилъ Иванъ Савичъ.

. . . . . .

. . . . . .

Послѣ этого вечера Иванъ Савичъ рѣшился придти и не въ четвергъ. Его встрѣтили градомъ упрековъ и въ то же время сняли со стула шаль и ридикюль, чтобы очистить ему мѣсто. Онъ повторялъ эти визиты въ недѣлю разъ, потомъ чаще и чаще. Пріемъ всегда былъ одинаковый. Наконецъ однажды онъ рѣшился приступить къ объясненію. Былъ зимній вечеръ. Все было тихо кругомъ. Кухарка спала у себя въ кухнѣ. Горничная ушла къ сосѣдямъ въ

гости. Сама Прасковья Михайловна сидѣла на диванѣ и шила въ пяльцахъ. Иванъ Савичъ сначала сидѣлъ напротивъ ея, потомъ у него въ головѣ мелькнули какія-то соображенія, и онъ сѣлъ рядомъ съ ней на диванѣ, такъ, что ему былъ виденъ затылокъ и вся спина сосѣдки. Онъ открылъ, что косыночка не доходила вплоть до платья и часть плеча оставалась обнаженною. Онъ ужъ былъ откровененъ съ Прасковьей Михайловной, говорилъ ей о дружбѣ, о любви, — не къ ней, а вообще. Она сначала зажимала уши, кричала, потомъ не зажимала ушей и не кричала, но зато ничего не отвѣчала, такъ что Ивана Савича брало зло. Онъ рѣшился заговорить о любви къ ней. Для этого-то онъ и пересѣлъ рядомъ, чтобы, въ случаѣ неблагосклоннаго пріема своихъ объясненій, избѣгнуть грозныхъ взоровъ оскорбленной добродѣтели.

— Прасковья Михайловна!—сказалъ онъ.

— Чего изволите?

— Вы бывали влюблены?

— Что̀ вы это? опомнитесь: вѣдь я дѣвушка.

— Такъ что̀ же? развѣ дѣвушки не влюбляются?

— Не должны! — сказала она строго: — пока ни за кого не помолвлены.

А сама такъ и сновала иглой, то вверхъ, то внизъ.

— Да вѣдь любовь иногда не ждетъ помолвки.

— Объ этомъ и думать не должно!—сказала она.

— Ну, да неужели вамъ никто не нравился?

Молчаніе.

— Прасковья Михайловна!

— Чего изволите?

— Неужели вы не любили никогда?

Молчаніе.

«Экая дубина!» подумалъ Иванъ Савичъ: «хоть бы что-нибудь... хотя бы плюнула. Подожду еще, что̀ будетъ?»

— А я думалъ...—началъ онъ:—я надѣялся, что̀, можетъ-

быть... я удостоюсь... что постоянная моя внимательность будетъ награждена...

— Что это сегодня какъ будто на васъ нашло?—сказала она.—Богъ знаетъ, что вы говорите! Не пора ли вамъ домой? десятый часъ.

— Зачѣмъ мнѣ домой, что я тамъ стану дѣлать?

— Заниматься науками.

— Нѣтъ-съ, я не уйду, пока не выскажу... всего... я... вы... мы... знаете, Прасковья Михайловна, любовь двухъ душъ есть такая симпатія... это, такъ-сказать, жизненный бальзамъ. Почему бы! скажите, — о, скажите хоть одно слово!

Она молчала.

«Ну, видано ли этакое дерево?» думалъ онъ.

— Вы камень, вы ледъ... почему бы вамъ не раздѣлить съ человѣкомъ счастія? почему не пожуировать? Жизнь коротка, сказалъ одинъ философъ.

— Ахъ! что вы?—вскричала она, закрывъ лицо руками.— Боже мой! если бъ увидали...

— О, раздѣлите это чувство, несравненная Прасковья Михайловна!—кричалъ Иванъ Савичъ: — которое бушуетъ въ моей груди... вы не знаете, какъ я страдаю... одна мысль быть подлѣ васъ, жить вѣчно съ вами приводитъ меня... О! вы не понимаете...

— Не говорите, не говорите! — кричала она, зажимая уши. — Боже мой! что вы? Вечеромъ, я одна... Что подумаютъ?..

— Но скажите одно слово, одно, дайте отвѣтъ!—говорилъ Иванъ Савичъ: — и я готовъ ждать хоть до утра...

— Я! отвѣтъ! чтобъ я теперь дала отвѣтъ! Вы не щадите моей скромности! Боже мой! Теперь вечеромъ, съ такими объясненіями... Отвѣтъ!.. Нѣтъ, нѣтъ! лучше подождите хоть до завтра... или нѣтъ! въ среду утромъ, въ 12 часовъ, вы получите отвѣтъ...

Иванъ Савичъ пришелъ въ восторгъ.

— Несравненная Прасковья Михайловна!—сказалъ онъ:— какъ благодарить васъ?.. о! счастье! Вотъ что̀ значитъ жуировать жизнію! Это истинное, высокое, такъ-сказать, сладостное...

Онъ не вытерпѣлъ и поцѣловалъ ея руку.

— Ахъ!—воскликнула Прасковья Михайловна, и иголка выпала изъ ея рукъ.—Что̀ вы сдѣлали? Вы, вы опозорили меня... Какъ! такъ рано, прежде моего отвѣта! Это ужасно! Приходите въ среду, я васъ жду, а теперь уйдите, уйдите!

Она убѣжала въ спальню и заперлась.

«Въ среду, такъ въ среду», подумалъ Иванъ Савичъ. «Да что̀ жъ она испугалась такъ? не все ли равно, что сегодня, что черезъ три дня...»

На третій день послѣ того Авдѣй доложилъ Ивану Савичу, когда этотъ воротился изъ должности, что дворникъ зачѣмъ-то пришелъ.

— Что̀ ты, любезный? — спросилъ Иванъ Савичъ, выйдя въ переднюю.

Дворникъ глупо улыбался, кланялся, держа обѣими руками шапку, но ничего не говорилъ.

— Что̀ тебѣ надо?

— Поздравить вашу милость пришелъ.

— Съ чѣмъ? — спросилъ съ удивленіемъ Иванъ Савичъ.

Дворникъ опять началъ кланяться, улыбаться.

— Авдѣй! съ чѣмъ это онъ меня поздравляетъ?

— Не могу знать!—отвѣчалъ Авдѣй.

— Съ добрымъ дѣломъ: съ скорымъ вступленіемъ въ законный бракъ, батюшка!

— Что̀-о?

— Въ законный бракъ...

— Какъ? съ кѣмъ? что̀ ты, съ ума, что̀ ли, сошелъ?

— Никакъ нѣтъ, батюшка! слышь, съ верхней нашей жиличкой, Прасковьей Михайловной...

— Какъ!

Иванъ Савичъ остолбенѣлъ.

— Кто жъ тебѣ сказывалъ?—спросилъ онъ.

— Сосѣдка Прасковьи Михайловны давеча встрѣтила меня. «Что̀, говоритъ, у васъ скоро свадьба?» да и разсказала... слышь, завтра помолвка будетъ... Еще приказчикъ отъ мѣховщика, что̀ напротивъ насъ, сказывалъ: вишь, сегодня сама Прасковья Михайловна была тамъ. Онѣ давно торговали у нихъ мѣхъ, да все не рѣшались, а тутъ, слышь, сама сказала, что не завтра, такъ послѣзавтра возьметъ: къ свадьбѣ, говоритъ, надо, чтобъ поспѣло, мясоѣду немного остается. А давеча и сама кухарка говорила, что къ завтрему кулебяку пекутъ: слышь, утромъ помолвка... Да что̀ грѣха таить! приходилъ какой-то баринъ съ крестомъ, спрашивалъ: и какъ вы живете, и все этакое...

Дворникъ поклонился и опять сталъ улыбаться.

— Чай, квартирку-то другую возьмете? — примолвилъ онъ. — У насъ скоро очистится вонъ тамъ... выгоняемъ жильца: въ срокъ не платитъ; славно̄ бы...

— Стой! стой!—закричалъ Иванъ Савичъ и, взявъ дворника за плечи, оборотилъ спиной и вытолкнулъ вонъ.

Потомъ обратился онъ къ Авдѣю.

— А! что̀ ты скажешь, Авдѣй?

— Не могу знать!

— Только и слышишь отъ тебя: не могу знать! Сдѣлай милость, моги хоть разъ: ну?

— Не могу... —началъ Авдѣй.

Иванъ Савичъ и его, точно такъ же, какъ дворника, вытолкалъ вонъ. Онъ долго ходилъ по комнатамъ взадъ и впередъ и повременамъ къ чему-то прислушивался.

— Да, да, точно,—ворчалъ онъ:—наверху скребутъ полъ, чистятъ: такъ! дворникъ не совралъ! Да и вонъ кухарка пронесла огромную чашку муки, множество яицъ: куле-

бяка будетъ! Вонъ и сама Прасковья Михайловна... о, коварная змѣя! съ дѣвкой идетъ. Дѣвка несетъ кулекъ: оттуда торчатъ телячья нога, зелень. Сама несетъ узелъ съ чѣмъ-то... провизіи множество... Кому это все съѣсть? Ясно, что пиръ будетъ. А! такъ вотъ она что̀ затѣваетъ! Она ошиблась... она думала, что я сдѣлалъ ей предложеніе... жениться! То-то она и отложила до послѣ-завтра. Какова! о. змѣя, змѣя! на-ка поди, что̀ выдумала!

Иванъ Савичъ терялся въ этихъ мысляхъ и часъ отъ часу все болѣе тревожился.

— Что̀ дѣлать? какъ быть? какъ же объяснить ей? Охъ, неловко... Господи помоги!

Онъ билъ себя кулакомъ по лбу, метался во всѣ углы, какъ бы отвратить бурю. Онъ уже принялъ два содовыхъ порошка — не помогло; выпилъ двѣ рюмки мараскину — легче стало; выпилъ еще рюмку — и вдругъ лицо его прояснѣло.

— Авдѣй! Авдѣй! — закричалъ онъ: — поди, поди сюда... Знаешь, что̀?

— Не могу знать!

— Фу ты, Боже мой! да какъ ты не догадался, что̀ надо дѣлать? неужели не догадываешься?

— Не могу... началъ Авдѣй.

Иванъ Савичъ махнулъ рукой.

— Слушай!—сказалъ онъ.—Такъ отказываться неловко. Понимаешь? Пойти да объясниться, что я, дескать, не о женитьбѣ говорилъ, а такъ только, не годится. Выйдетъ исторія... И тутъ она захныкала, что я опозорилъ ее: поцѣловалъ руку. Великая важность! Такъ мы, знаешь что̀? неужели не догадался?

— Не могу знать!

— Мы съѣдемъ на другую квартиру.

Авдѣй встрепенулся.

— Помилуйте,—началъ онъ:—Господи, Создатель! этакую

квартиру оставлять! удобство всякое: и сарай особый, и ледничекъ отъ хозяина даютъ. Воля ваша, пожалуйте мнѣ расчетъ...

— А! тебѣ хочется, чтобъ я въ исторію попалъ! лѣнь постараться вывесть изъ бѣды!

— Помилуйте...

— Нѣтъ тебѣ денегъ, пока не отыщешь квартиры.

— Да гдѣ ее найдешь?

— Гдѣ хочешь. Видишь, житья нѣтъ: притѣсняютъ. Ищи! завтра же утромъ, чтобъ насъ не было здѣсь. И подальше, въ другой конецъ, въ Коломну.

— Да хоть денька три подождите.

— Денька три! чтобъ насъ насильно женили! Слышишь, мѣхъ покупаютъ, кулебяку пекутъ, долбня ты этакая! Съѣдемъ, пока не купленъ мѣхъ, а купятъ, тогда не отвяжемся... Да постой: мнѣ Бурминъ говорилъ, что у нихъ въ домѣ есть квартира. Сходи сейчасъ же и, если не занята, завтра же утромъ и переѣзжать.

— Знаю, сударь, я эту квартиру: ледника-то нѣтъ...

Иванъ Савичъ махнулъ рукой и пошелъ прочь.

Утромъ Авдѣй доложилъ, что та квартира не занята. Иванъ Савичъ опять велѣлъ ему переѣзжать, а самъ уѣхалъ, сказавъ, что онъ будетъ къ вечеру прямо на новую квартиру. На крыльцѣ онъ столкнулся съ крестнымъ папенькой. Крестный былъ въ бѣломъ галстукѣ, въ бѣломъ жилетѣ... Онъ остановилъ Ивана Савича.

— Крестница сообщила мнѣ радостное извѣстіе о вашемъ предложеніи и просила моего посредства, — сказалъ онъ. — Сегодня она повѣстила родныхъ: васъ ожидаютъ. Священникъ благословитъ. Я искренно радъ: по собраніи ближайшихъ свѣдѣній о васъ, они оказываются удовлетворительными, и я, не находя никакого съ своей стороны препятствія, честь имѣю... поздравить... а она... будетъ послушной женой. Отецъ ей не оставилъ богатства, но далъ.

что̀ называется, фундаментальное воспитаніе и внушилъ правила...

— Извините... —сказалъ Иванъ Савичъ.

— Ась?

— Извините... я спѣшу...

— Извѣстное дѣло: случай такой. Много хлопотъ... Мое почтеніе.

Иванъ Савичъ бѣжалъ безъ оглядки.

Опять Авдѣй нагрузилъ три воза и нагрузился самъ вещами своего барина и побрелъ съ лѣстницы. Вверху думали, что Иванъ Савичъ затѣваетъ перемѣну мебели въ своей квартирѣ, по случаю предстоящей свадьбы, и были покойны. Но когда Авдѣй понесъ съ лѣстницы часы, подсвѣчники и прочее, тамъ стали подозрѣвать что-то недоброе.

Крестный папенька Прасковьи Михайловны, сестра ея и всѣ остальные гурьбой вышли на лѣстницу и окружили Авдѣя.

— Гдѣ же баринъ?—спрашивали они.

— Не могу знать!—отвѣчалъ Авдѣй.

— Скоро ли онъ воротится?

— Не могу знать!

— Будетъ ли къ намъ?

— Не могу знать!

— Будетъ ли на помолвку?

— Не могу знать!

— Женится ли онъ? слышно ли? говорилъ ли кому-нибудь?

— Не могу знать!

— Не для свадьбы ли онъ нанялъ новую квартиру?

— Не могу знать! не могу знать! не могу знать!—закричалъ Авдѣй, вырвался изъ круга вопрошателей и опрометью бросился со двора, отдавъ дворнику ключъ.

Всѣ остались на лѣстницѣ съ разинутыми ртами, глядя ему вслѣдъ.

— Что̀ же это такое?—сказала Прасковья Михайловна.

Когда дворникъ разсказалъ, какъ Иванъ Савичъ принялъ его поздравленіе, Прасковья Михайловна упала въ обморокъ.

— Что̀ теперь скажутъ про меня?—промолвила она, очнувшись.—Крестный! заступитесь за меня: я умру.

— А вотъ мы отношеніемъ обратимся къ его начальству,—сказалъ негодующій крестный.— Да нѣтъ,—прибавилъ онъ потомъ горестно:—вывернутся, ей-Богу, вывернутся: опять такую же бумагу напишутъ съ крючкомъ. Есть же тамъ этакой! Онъ докажетъ про Ивана Савича, что такого лица и на свѣтѣ нѣтъ. Это ему плевое дѣло. Ахъ, какъ пишетъ!.. Что̀ же, милости просимъ: не пропадать же кулебякѣ!

И сѣли за столъ.

ОГЛАВЛЕНІЕ

ОДИННАДЦАТАГО ТОМА:

стр.

Литературный вечеръ 3

Мильонъ терзаній 117

Замѣтки о личности Бѣлинскаго 159

Иванъ Савичъ Поджабринъ. Очерки 188

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ
СОЧИНЕНІЙ
И. А. ГОНЧАРОВА

въ 12 томахъ.

ТОМЪ ДВѢНАДЦАТЫЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1899 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1899.

Типографія А. Ф. Маркса, Ср. Подьяч., № 1.

ВОСПОМИНАНІЯ.

I.

ВЪ УНИВЕРСИТЕТѢ.

Какъ насъ учили 50 лѣтъ назадъ *).

Въ настоящее время, на ряду съ важнѣйшими вопросами русской жизни, сталъ на очередь университетскій вопросъ. Это — нашъ всеобщій вопросъ, по тому значенію, какое имѣетъ у насъ университетское образованіе. За исключеніемъ нѣкоторыхъ спеціальныхъ и техническихъ частей знанія—военной, морской, инженерной и другихъ, имѣющихъ свои заведенія, представители высшаго универсальнаго образованія до сихъ поръ почерпаютъ знаніе въ университетахъ. Даже, говорятъ, въ военное время, напримѣръ, въ крымскую кампанію, главнокомандующій войсками, князь Горчаковъ, свидѣтельствовалъ, что прошедшіе курсъ университетскаго образованія были и отличными, изъ-ряда вонъ выходящими офицерами.

Разсадниками высшаго образованія служатъ еще духов-

*) Авторъ не припомнитъ съ точностью года, когда были писаны имъ настоящія замѣтки. Но изъ нѣкоторыхъ подробностей текста можно, почти съ увѣренностью, заключить, что эти замѣтки были набросаны имъ въ самомъ началѣ 70-хъ годовъ.

ныя академіи, лицеи, училище правовѣдѣнія. Были такъ-называемые университетскіе пансіоны; эти заведенія выпускали—и выпускаютъ—людей высшаго образованія, но въ незначительномъ противъ университетовъ количествѣ. Университетъ пока превозмогаетъ все. Не мудрено, что и само правительство, и общество, поглощены разработкою университетскаго вопроса. И въ настоящее время всѣ бывшіе студенты съ участіемъ ждутъ его рѣшенія, молодые современные—и подавно. Печать то-и-дѣло проводитъ разносторонніе взгляды и мнѣнія на занимающую всѣхъ задачу.

Вездѣ идутъ оживленные толки, высказываются надежды, ожиданія. Молодость волнуется, съ свойственнымъ юности нетерпѣніемъ спѣшитъ заявлять свои желанія.

Задача не легкая со стороны тѣхъ, отъ кого зависитъ судьба университетскаго образованія—рѣшить такъ, чтобы удовлетворить стремленіямъ молодыхъ людей въ духѣ времени, не дѣлая малодушныхъ уступокъ въ ущербъ образованію и во вредъ самимъ учащимся.

Не легко и со стороны послѣднихъ, заявляя свои задушевныя желанія, кровныя нужды, воздержать раздражительное юношеское нетерпѣніе и не переступить кое-гдѣ и кое-въ-чемъ за черту своихъ законныхъ желаній.

Бывшіе студенты всѣхъ возрастовъ, разсѣянные по всѣмъ путямъ общественной дѣятельности, не могутъ, конечно, смотрѣть на эту борьбу равнодушно, какъ старые инвалиды не смотрятъ равнодушно на молодыхъ бойцовъ.

Тѣмъ, которые лично не втянуты въ эту борьбу, по своему положенію или занятіямъ, остается вспоминать прошлое—отъ этого даже и воздержаться нельзя (спросите любого военнаго инвалида).

Меня собственно,—глядя на эту современную пчелиную работу въ нашихъ университетскихъ ульяхъ и прислушиваясь къ толкамъ въ обществѣ, — какъ стараго студента московскаго университета тридцатыхъ годовъ, тянетъ къ

воспоминаніямъ совсѣмъ не самолюбивая мысль о пользѣ какой-нибудь, не желаніе поднести публикѣ и студентамъ урокъ—нѣтъ. Я не одаренъ никакими свойствами и способностями учительства, да и самъ не желалъ бы напрашиваться на какой-нибудь раздражительный урокъ отъ молодежи, если что-нибудь въ моихъ воспоминаніяхъ не пришлось бы ей по сердцу.

Меня влекутъ просто воспоминанія о лучшей порѣ жизни—молодости—и объ ея наилучшей части — университетскихъ годахъ. Благороднѣе, чище, выше этихъ воспоминаній у у меня, да, пожалуй, и у всякаго студента, въ молодости не было.

Мы, юноши, полвѣка тому назадъ, смотрѣли на университетъ какъ на святилище, и вступали въ его стѣны со страхомъ и трепетомъ.

Я говорю о московскомъ университетѣ, на которомъ, какъ на всей Москвѣ, по словамъ Грибоѣдова, лежалъ особый отпечатокъ. Впрочемъ, всякій изъ восьми нашихъ университетовъ, если пристально и тонко вглядываться въ ихъ питомцевъ, сообщаетъ послѣднимъ нѣкоторое мѣстное своеобразіе.

Нашъ университетъ въ Москвѣ былъ святилищемъ не для однихъ насъ, учащихся, но и для ихъ семействъ, и для всего общества. Образованіе, вынесенное изъ университета, цѣнилось выше всякаго другого. Москва гордилась своимъ университетомъ, любила студентовъ, какъ будущихъ самыхъ полезныхъ, можетъ-быть, громкихъ, блестящихъ дѣятелей общества. Студенты гордились своимъ званіемъ и дорожили занятіями, видя общую къ себѣ симпатію и уваженіе. Они важно расхаживали по Москвѣ, кокетничая своимъ званіемъ и малиновыми воротниками. Даже простые люди, и тѣ, при встрѣчахъ, ласково провожали глазами юношей въ малиновыхъ воротникахъ. Я не говорю объ исключеніяхъ. Въ разносословной и разнохарактерной толпѣ,

при различіи воспитанія, нравовъ и привычекъ, являлись, конечно, и мало подготовленные къ серьезному ученію, и дурно воспитанные молодые люди, и просто шалуны и повѣсы. Иногда пробѣгали въ городѣ—впрочемъ рѣдкіе слухи—о шумныхъ пирушкахъ въ трактирѣ, о шалостяхъ, въ родѣ, напримѣръ, перемѣны ночью вывѣсокъ у торговцевъ, или задорныхъ пререканій съ полиціею и т. п. Но большинство студентовъ держало себя прилично и дорожило доброй репутаціей и симпатіями общества.

Эти симпатіи вливали много тепла и свѣта въ жизнь университетскаго юношества. Духъ юноши поднимался; онъ расцвѣталъ подъ лучами свободы, падшими на него послѣ школьной или домашней педагогической неволи. Онъ совершалъ первый сознательный актъ своей воли, приходилъ въ университетъ самъ, его не отдаютъ родители, какъ въ школу. Нѣтъ школьной методы преподаванія, не задаютъ уроковъ, никто не контролируетъ употребленія имъ его часовъ, дней, вечеровъ и ночей.

Далѣе слѣдуютъ шаги все свободнѣе и сознательнѣе, достигается «степень зрѣлости» безъ всякаго на нее гимназическаго диплома. Свободный выборъ науки, требующій сознательнаго взгляда на свое влеченіе къ той или другой отрасли знанія, и зарождавшееся изъ того опредѣленіе своего будущаго призванія — все это захватывало не только умъ, но и всю молодую душу. Университетъ отворялъ ему широкія ворота, не въ одну научную сферу, но и въ самую жизнь. Съ учебной почвы онъ ступаетъ на ученую. Умственный горизонтъ его раздвигается, передъ нимъ открываются перспективы и параллели наукъ и вся безконечная даль знанія, а съ нею и настоящая, законная свобода—свобода науки.

Программы, инструкціи безсильны противъ свободы науки. Сжатая въ учебныхъ классахъ, какъ рѣка въ тѣсныхъ берегахъ, она съ университетской каѳедры изливается ши-

рокимъ и вольнымъ потокомъ. Между профессоромъ и слушателями устанавливается живой токъ передачи жадному вниманію ихъ ея откровеній, истинъ, гипотезъ. Этой свободы не даютъ или не давали (такъ какъ я говорю о прошломъ) другія изъ высшихъ гражданскихъ, военныхъ или духовныхъ заведеній.

Я не говорю, чтобы свободѣ этой не полагалось преградъ: страхъ, чтобы она не окрасилась въ другую, т.-е. политическую краску, заставлялъ начальство слѣдить за лекціями профессоровъ, хотя проблески этой, не-научной, свободы проявлялись болѣе внѣ университета; свободомысліе почерпалось изъ другихъ, не-университетскихъ источниковъ. Въ университетахъ молодежь, болѣе чѣмъ въ другихъ заведеніяхъ, ограждена серьезною содержательностію занятій отъ многихъ опасныхъ увлеченій, заносимыхъ туда извнѣ, больше издалека... Но, тѣмъ не менѣе, на лекціи налагалось иногда veto, какъ, напримѣръ, на лекціи Давыдова.

Онъ прочелъ всего двѣ или три лекціи исторіи философіи; на этихъ лекціяхъ, между прочимъ, говорятъ (я еще не былъ тогда въ университетѣ), присутствовалъ пріѣзжій изъ Петербурга флигель-адъютантъ, и вслѣдствіе его донесенія будто бы лекціи были закрыты. Говорили, что въ нихъ проявлялось свободомысліе, противное... не знаю чему. Я не читалъ этихъ лекцій.

Гдѣ же, казалось бы, и проявляться свободомыслію, какъ не въ философіи? Но, какъ бы то ни было, лекціи были закрыты. Это противорѣчитъ, повидимому, сказанному мною выше о свободѣ науки. Напротивъ. Наука можетъ быть вовсе отмѣнена, каѳедра ея закрыта, какъ это и сдѣлано съ лекціями Давыдова, но если бы она не закрывалась, ограниченіе профессорскаго слова, духа и смысла его лекцій едва ли было бы возможно. Профессоръ сумѣлъ бы дать понять себя, а слушатели сумѣли бы угадывать недосказанное, какъ читатели умѣютъ читать между строками.

Гораздо позже, при императорѣ Николаѣ Павловичѣ, преподаваніе философіи поручалось въ университетахъ, какъ извѣстно, духовнымъ лицамъ.

Возвращаюсь къ своимъ воспоминаніямъ.

Я и братъ мой, и еще нѣкоторые прежніе школьные товарищи, вмѣстѣ готовились къ вступительному экзамену и вмѣстѣ подали просьбу ректору университета.

Это было въ августѣ 1831 года: 1830-й—былъ холерный годъ, и лекцій не было. Бывшимъ уже въ университетѣ студентамъ не зачли этого года.

Братъ и я поступали—онъ въ юридическій факультетъ, а я въ филологическій, или, какъ тогда назывались они—первый «этико-политическимъ», а второй—«словеснымъ».

Мы съ братомъ и товарищи наши издалека готовились и были хорошо приготовлены къ экзамену, о требованіяхъ котораго, конечно, заблаговременно справились до мелкихъ подробностей, до методы, до книгъ, и потому вышесказанные страхъ и трепетъ умѣрялись нѣкоторою увѣренностію въ успѣхѣ.

Среди этихъ надеждъ надо мной неожиданно разразилось, какъ громовой ударъ, извѣстіе, что изъ министерства народнаго просвѣщенія получено предписаніе требовать отъ вступающихъ въ словесное отдѣленіе знанія греческаго языка, который—хотя преподавался въ университетѣ для филологовъ, но до тѣхъ поръ не былъ, при вступленіи, обязательнымъ.

Я зналъ порядочно по-французски, по-нѣмецки, отчасти по-англійски и по-латыни. Безъ послѣдняго языка нельзя было поступить ни въ какой факультетъ. Я переводилъ à livre ouvert Корнелія Непота, по которому всѣ учились, какъ по «Телемаку» Фенелона во французскомъ языкѣ. Я былъ совершенно спокоенъ — а тутъ вдругъ понадобился греческій языкъ!

Къ счастью, предписаніе пришло за нѣсколько мѣсяцевъ

до экзаменовъ, такъ что съ юношескою энергіей можно было — если не покорить вполнѣ эллинскую рѣчь, на что надо положить чуть не цѣлую жизнь, — то хоть что-нибудь выучить, и что̀ окажется въ итогѣ четырехъ или пятимѣсячныхъ молодыхъ стараній и силъ, то̀ и принести на экзаменъ.

Я и другіе, кто поступалъ въ словесное отдѣленіе, бросились на пеструю микроскопическую грамоту, наняли учителя и, отложивъ все прочее, напустились на грамматику и синтаксисъ, и съ этимъ скуднымъ, пріобрѣтеннымъ съ грѣхомъ пополамъ запасомъ, явились на экзаменъ.

Много воды подлилъ этотъ греческій языкъ въ мои теплыя надежды. Но все обошлось благополучно.

Въ назначенный день вечеромъ мы явились на экзаменъ, происходившій, помнится, въ залѣ конференціи. Въ смежной, плохо освѣщенной комнатѣ, мы, тѣсной, довольно многочисленной кучкой, жались у стѣнъ, ожидая, какъ осужденные на казнь, своей очереди. Вотъ тутъ, конечно, сердце билось у всѣхъ, у меня—болѣе другихъ, по милости греческаго языка.

Насъ вызывали по нѣскольку человѣкъ вдругъ, потому что экзаменъ кончался за разъ. Въ залѣ засѣдалъ ареопагъ профессоровъ-экзаменаторовъ, подъ предсѣдательствомъ ректора. Ихъ было человѣкъ семь или восемь. Вызываемые по списку подходили къ каждому экзаменатору по очереди.

Профессоръ задавалъ нѣсколько вопросовъ или задачу, напримѣръ, изъ алгебры или геометріи, которую тутъ же, подъ носомъ у него, приходилось рѣшать. Профессоръ латинскаго языка молча развертывалъ книгу, указывая строки, которыя надо было перевести, останавливалъ на какой-нибудь фразѣ, требуя объясненія. Французъ и этого не дѣлалъ: онъ просто поговорилъ по-французски, и кто отвѣчалъ свободно на томъ же языкѣ, онъ ставилъ въ своемъ спискѣ баллъ и любезнымъ поклономъ увольнялъ экзаме-

нующагося. Нѣмецъ давалъ прочитать двѣ-три строки и перевести, и если студентъ не затруднялся, онъ поступалъ какъ французъ.

Я не успѣлъ оглянуться, какъ уже былъ отъэкзаменованъ. Многіе тоже отдѣлались до меня и веселыми ногами уходили вонъ, въ томъ числѣ и мой братъ. И я довольно легко рѣшилъ какую-то задачу изъ алгебры и получилъ одобрительный кивокъ отъ адъюнктъ-профессора Коцаурова. Французъ сдѣлалъ мнѣ два-три вопроса: «Vous avez bien profité de votre temps», похвалилъ онъ меня, отпуская. Профессоръ исторіи задавалъ общеизвѣстные вопросы о крупныхъ событіяхъ. Я отбылъ свой экзаменъ въ какіе-нибудь полчаса.

Тутъ бы и уйти—вонъ и дверь полуотворена, но я сдѣлалъ послѣдній шагъ и очутился — около греческаго профессора.

Это былъ старикъ лѣтъ семидесяти слишкомъ, съ рѣдкими, какъ чахлые кусты полыни, сѣдыми клочками волосъ на головѣ, худощавый, съ изломанными чертами лица, отчасти съ крючковатымъ носомъ, въ очкахъ. Онъ въ своемъ вицъ-мундирѣ сидѣлъ точно въ мѣшкѣ. Физіономіи у него не было никакой, и по лицу его нельзя было догадаться, уменъ онъ, или нѣтъ, добръ, или сердитъ. Это былъ извѣстный эллинистъ — С. М. Ивашковскій, о которомъ придется говорить ниже.

Онъ взглянулъ на меня, спросилъ фамилію, посмотрѣлъ въ списокъ. — «Учились по-гречески?» — спросилъ онъ.— «Да...съ», — отвѣчалъ я, и опустилъ глаза къ полу, самъ чувствуя, что въ моемъ *да* присутствуетъ вмѣстѣ и *нѣтъ*. Тамъ, подъ столомъ, я успѣлъ замѣтить, что профессоръ былъ въ высокихъ сапогахъ, въ которые были запрятаны его панталоны. — «Такъ вотъ, извольте читать», — сказалъ онъ, указывая начало параграфа въ греческой книгѣ, помнится, — «Отступленіе десяти тысячъ грековъ», Ксено-

фонта. Тутъ у насъ съ нимъ началась нѣкоторая борьба: я читалъ, а онъ на каждомъ словѣ поправлялъ: я не тамъ дѣлалъ ударенія, гдѣ слѣдовало. Его ухо не выносило этого: «Не такъ, не такъ»,—останавливалъ онъ меня. А мнѣ было вовсе не до удареній: я въ это время въ прочитанномъ ловилъ глазами знакомыя слова, какъ друзей въ толпѣ.

Черезъ двѣ-три минуты я увидѣлъ, что профессоръ дѣлаетъ замѣтныя уступки: добиваясь значенія слова и встрѣчая остановку съ моей стороны, онъ договаривалъ самъ, а когда получалъ удачный отвѣтъ или только намекъ на него—радовался. Вопросы дѣлалъ легкіе, больше изъ грамматическаго анализа, какъ въ гимназіи. Потомъ отпустилъ съ одобреніемъ. Послѣ уже я услышалъ, что начальство не желало затруднять вступленіе въ университетъ изъ-за греческаго языка, и предоставило экзаменовать изъ послѣдняго снисходительно, такъ какъ его включили въ программу вступительнаго экзамена поздно. И слава Богу: умное было начальство — спасибо ему. Тогда министромъ былъ С. С. Уваровъ.

Не учиться по-латыни считалось еще ересью даже въ обществѣ. Бывало, претенденты на высшее образованіе притворялись знающими по-латыни и щеголяли заученными латинскими цитатами, часто не зная грамматики. О греческомъ же языкѣ въ обществѣ не поминалъ никто: его какъ будто не было на свѣтѣ. Знали, что учатъ по-гречески въ духовныхъ училищахъ, что есть каѳедра этого языка въ университетѣ—и только.

Не пройти, учась въ университетѣ, черезъ эти классическія ворота было нельзя: связь древняго міра съ новымъ поддерживалась этимъ дряхлымъ мостикомъ, но это только относительно лингвистики. Чуткіе умы проникали въ глубину древности—въ ея исторію, духъ и нравы—и помимо профессоровъ, и даже классиковъ въ оригиналахъ. Они читали извѣстные переводы на французскій, нѣмецкій, англій-

скій и отчасти русскій языки, и создавали себѣ болѣе или менѣе опредѣленный образъ отжившаго міра, иногда, можетъ-быть, живѣе, и пожалуй—и ближе къ правдѣ, нежели тѣ, которые корпѣли надъ преодолѣніемъ трудностей умершей грамоты.

«Ахъ, господа, вы не можете себѣ представить, какъ велико наслажденіе читать древнихъ классиковъ въ оригиналѣ!»—сказалъ однажды намъ адъюнктъ греческаго языка на первомъ курсѣ, Оболенскій, не встрѣчая, вѣроятно, въ насъ слишкомъ живого стремленія къ этому «наслажденію».

Но въ чемъ состояло наслажденіе — онъ не объяснилъ. Мнѣ тогда показалось, что онъ преувеличилъ, или хотѣлъ насъ пришпорить. Но рецептъ былъ слабый. Вѣдь главнаго наслажденія чтенія — т. е. образа и подобія живой рѣчи, живыхъ людей — нѣтъ болѣе. Читая французскія, нѣмецкія и англійскія книги, мы какъ будто слушаемъ и видимъ живого француза, нѣмца и англичанина, ловимъ звуки, интонацію, словомъ — намъ говоритъ живой человѣкъ. Мы сличаемъ говоръ съ печатнымъ словомъ, чуемъ живой духъ и всегда въ состояніи сдѣлать надлежащую аналогію. По-латыни и по-гречески этого нѣтъ.

Подозрѣвать неискренность «наслажденія» этого почтеннаго адъюнкта, или кого бы то ни было, я не хочу: я только думаю, что знатоки древнихъ языковъ наслаждаются не тѣмъ, чѣмъ наслаждаются всѣ, читая писателя живыхъ языковъ. Тутъ входитъ, я думаю, больше тщеславія: «это очень трудно, немногіе владѣютъ знаніемъ древнихъ языковъ, а мы, вотъ, одолѣли и владѣемъ ими свободно».

Это своего рода «наслажденіе» и по другимъ предметамъ нерѣдко встрѣчается въ людяхъ, начиная съ Гоголевскаго Петрушки до... многихъ изъ насъ.

Я вовсе не отвергаю относительной полезности изученія древнихъ языковъ—такой ереси я проповѣдывать не хочу. Пусть желающіе учатся имъ до самыхъ корней, пусть

«наслаждаются» преодолѣваніемъ филологическихъ трудностей, и даже пусть тщеславятся этимъ: скорѣе уже этимъ, чѣмъ тѣмъ, напримѣръ, что взлѣзаютъ на Монбланъ. Я только — какъ почти и все общество — противъ принудительнаго изученія этихъ языковъ въ ущербъ другимъ знаніямъ, иногда даже и знанію своего отечественнаго языка.

Но, кажется, этотъ вопросъ, если еще не рѣшился, то рѣшается уже въ желательномъ для большинства смыслѣ— и ломать копья противъ подавляющаго натиска классицизма не приходится. Скорѣе, можетъ-быть, при извѣстной способности, въ борьбѣ за что-нибудь, вдаваться въ крайности, приходится — въ спорѣ съ рѣшительными противниками классицизма—кое-что отстаивать въ пользу послѣдняго.

Крайніе противники хотятъ сжечь мосты и разорвать всякую связь съ минувшимъ. Нерѣдко слышишь какое-то озлобленіе противъ всего древняго и прошлаго. «Разстались съ древностію, и она намъ болѣе не нужна. Новое время принесло новые всходы и плоды. Новое знаніе ушло отъ стараго на неизмѣримое разстояніе и не имѣетъ никакой связи съ минувшимъ! Это значитъ напрасно тратить время и затруднять умы пустяками, пренебрегая новымъ, нужнымъ», и т. д.

Это слышится нерѣдко въ обществѣ и читается въ печати *).

Между тѣмъ минувшее напоминаетъ о себѣ на каждомъ шагу — уже одною терминологіею во всѣхъ отраслях[illegible] знанія, открытіяхъ, а особенно, напримѣръ, романскія [illegible] кромѣ болѣе или менѣе отдаленной связи въ [illegible] кишатъ древними словами.

Странно интеллигентному человѣку, [illegible] высшее и полное образованіе, для котораго [illegible]

*) Не слѣдуетъ забывать, что это писано да[illegible] толки были въ полномъ ходу.

мота новыхъ иностранныхъ литературъ, пользоваться слѣпо этой грамотой, не зная ея происхожденія и корней.

Это не татарскій слѣдъ, который оставили монголы, напримѣръ, въ нашемъ языкѣ: отъ этихъ и подобныхъ имъ вторженій остались одни звуки языка и болѣе ничего. А древніе языки внесли вмѣстѣ и слѣдъ своей цивилизаціи. Поэтому умѣренные борцы по классическому вопросу (въ томъ числѣ и я) никогда не подадутъ голоса за совершенную отмѣну латинскаго и греческаго языковъ въ отношеніи лингвистики.

Продолжаю свои воспоминанія.

Наконецъ, всѣ трудности преодолѣны: мы вступили въ университетъ, облекшись въ форменные сюртуки съ малиновымъ воротникомъ, и стали посѣщать лекціи. Внѣ университета разрѣшалось желающимъ ходить въ партикулярномъ платьѣ *).

Первый курсъ былъ чѣмъ-то въ родѣ повторенія высшаго гимназическаго класса. Молодые профессора, адъюнкты—заставляли насъ упражняться въ древнихъ и новыхъ языкахъ. Это были замѣчательно умные, образованные и прекрасные люди, напримѣръ — французъ Куртенеръ, нѣмецкій лекторъ Герингъ, профессоръ латинскаго языка Кубаревъ, и греческаго—Оболенскій. Они много помогли намъ хорошо приготовиться къ слушанію лекцій высшаго курса, и кромѣ того, своимъ добрымъ и любезнымъ отношеніемъ къ намъ, сдѣлали первые шаги вступленія въ университетъ чрезвычайно пріятными. Между ними, какъ патріархъ, красовался убѣленный сѣдинами почтенный профессоръ русской словесности, человѣкъ стараго вѣка — П. В. Побѣдоносцевъ.

Насъ, первогодичныхъ, было, помнится, человѣкъ сорокъ. Между прочими тутъ былъ и Лермонтовъ, впослѣдствіи зна-

*) Въ слѣдующемъ за окончаніемъ нами курса году студентамъ измѣнена была форма и малиновые воротники замѣнились синими.

менитый поэтъ, тогда смуглый, одутловатый юноша, съ чертами лица какъ будто восточнаго происхожденія, съ черными выразительными глазами. Онъ казался мнѣ апатичнымъ, говорилъ мало и сидѣлъ всегда въ лѣнивой позѣ, полулежа, опершись на локоть. Онъ не долго пробылъ въ университетѣ. Съ перваго курса онъ вышелъ и уѣхалъ въ Петербургъ. Я не успѣлъ познакомиться съ нимъ.

Тутъ была еще замѣчательная личность—Бодянскій, впослѣдствіи извѣстный профессоръ славянскихъ нарѣчій.

Курсъ, или классъ, нашъ былъ какою-то безпечною, веселою толпою юношей, собиравшихся какъ будто только повидаться и изучать не науки, а другъ друга, потому что все, что проходили, мы болѣе или менѣе знали.

Мы легко справились съ переходнымъ экзаменомъ и на второй годъ весело перешли на слѣдующій курсъ, изъ маленькой аудиторіи въ большую, окнами на обширный дворъ и улицу. Тамъ мы застали человѣкъ пятьдесятъ опередившихъ насъ цѣлымъ годомъ товарищей, не переведенныхъ, по случаю холеры, на третій курсъ. Насъ всего было, помнится, человѣкъ восемьдесятъ.

Передъ нами были Герценъ и Бѣлинскій въ университетѣ, но когда мы перешли на второй курсъ — ихъ уже не было. Тамъ были, между прочимъ, Станкевичъ, Константинъ Аксаковъ, Сергѣй Строевъ (впослѣдствіи писавшій статьи подъ псевдонимомъ Скромненко) и перешедшій съ нами изъ перваго курса Бодянскій.

Съ Бѣлинскимъ я познакомился уже въ 1846 году, въ Петербургѣ, а съ Герценомъ видѣлся только одинъ разъ, мелькомъ, когда онъ былъ короткое время въ Петербургѣ, проѣздомъ за границу.

Этотъ годъ (съ авг. 1832 по авг. 1833) былъ лучшимъ и самымъ счастливымъ нашимъ годомъ. Наша юная толпа составляла собою маленькую ученую республику, надъ которой простиралось вѣчно ясное небо, безъ тучъ, безъ грозъ

и безъ внутреннихъ потрясеній, безъ всякихъ исторій, кромѣ всеобщей и россійской, преподаваемыхъ съ каѳедръ. Если же и бывали какія-нибудь исторіи, въ которыхъ замѣшаны бывшіе до насъ студенты, то мы тогда ничего объ этомъ не знали. Мы вступили на серьезный путь науки, и не только серьезно, искренно, но даже съ нѣкоторымъ педантизмомъ относились къ ней. Кромѣ нея, въ стѣнахъ университета для насъ ничего не было. Дома всякій жилъ по-своему, дѣлалъ, что хотѣлъ, развлекался какъ умѣлъ— все вразбродъ, но въ университетъ мы ходили только учиться, не внося съ собою никакихъ другихъ заботъ и дѣлъ.

И точно была республика: надъ нами не было никакого авторитета, кромѣ авторитета науки и ея преподавателей. Начальства какъ будто никакого не было,—но оно, конечно, было, только мы имѣли о немъ какое-то отвлеченное, умозрительное понятіе: знали о немъ, можно сказать, по слухамъ. Былъ ректоръ, былъ попечитель, можетъ-быть, даже и инспекторъ (кажется, былъ), но мы его никогда не видали. Если я не ошибаюсь, онъ завѣдывалъ казенными студентами, имѣвшими квартиры и столъ въ университетѣ. Тогда никакихъ стипендій не было, и многіе бѣдные студенты принимаемы были на казенный счетъ. Прочіе же небогатые, раскиданные по разнымъ угламъ Москвы, содержали себя, какъ знали и какъ могли, никакихъ пособій отъ университета не получали. Казенныхъ студентовъ было, кажется, если не ошибаюсь, около ста человѣкъ.

И ректора, и попечителя, мы видѣли только два раза. Ректоръ былъ профессоръ физики въ математическомъ факультетѣ, Двигубскій. Онъ однажды зашелъ въ нашу аудиторію—во время лекціи, и, кажется, самъ удивился своему приходу. Грузный мужчина, небольшого роста, съ широкими плечами, на которыхъ плотно сидѣла большая, точно медвѣжья голова,—онъ какъ-то бокомъ, точно нехотя, взгля-

нулъ на толпу студентовъ, какъ будто говоря глазами: «ну, чего тутъ смотрѣть? невидаль какая!»—кивнулъ профессору, кивнулъ намъ въ отвѣтъ на общій нашъ поклонъ и скрылся. Онъ, кажется, зашелъ, что называется, для очистки совѣсти: чтобъ нельзя было сказать, что онъ ни разу не былъ въ аудиторіи.

Послѣ него ректоромъ былъ профессоръ восточныхъ языковъ, Болдыревъ. И этотъ поступилъ точно такъ же, т.-е. зашелъ однажды на лекцію поглядѣть на насъ. Его посѣщеніе особенно памятно мнѣ: передо мною однимъ на столѣ лежала книга «Война Югурты», Саллюстія, въ маленькомъ форматѣ. У другихъ ничего не было передъ собою. А лекція была нѣмецкой литературы лектора Кистера. Вдругъ ректоръ подошелъ ко мнѣ, взялъ книгу и посмотрѣлъ. «Отчего у васъ латинская книга на лекціи нѣмецкой литературы?»—спросилъ онъ. — Она лежитъ тутъ отъ предыдущей лекціи изъ римской словесности, — былъ мой отвѣтъ.—«А гдѣ же нѣмецкая книга?» — У меня ея нѣтъ. — И ни у кого не было. Кистеръ издалъ какой-то краткій, очень наивный курсъ нѣмецкой литературы, скомпилированный съ большихъ нѣмецкихъ курсовъ, и, конечно, разсчитывалъ на сбытъ между студентами, но такъ какъ большинство ихъ знало все, что тамъ было, то книгу и не покупали.

Ректоръ не справился, есть ли она у другихъ, а мнѣ посовѣтовалъ пріобрѣсти ее. Я не пріобрѣлъ, потому что у студента денегъ обыкновенно не бываетъ, особенно на книги. Доставать книги—это другое дѣло: мы это и дѣлали, а покупать — нѣтъ. Эту роскошь могли себѣ позволить очень немногіе, которые и снабжали ими своихъ товарищей.

Кромѣ того, я не купилъ книги еще потому, что все въ ней было мнѣ извѣстно, и притомъ я зналъ, что ректоръ больше никогда не придетъ на лекцію.

Попечителемъ былъ тогда извѣстный въ Москвѣ богатый вельможа—князь С. М. Голицынъ. Только это мы и знали

о немъ, да знали еще его большой, барскій домъ на Пречистенкѣ и прекрасную дачу, Кузьминки, въ семи верстахъ отъ Москвы, куда нерѣдко отправлялись гулять пѣшкомъ взадъ и впередъ. Знали также всѣ ходившіе въ обществѣ анекдоты о его широкой благотворительности, о его роскошныхъ праздникахъ, даваемыхъ во время посѣщенія Москвы царскою фамиліею,—и больше ничего.

И вотъ, однажды, кто-то изъ передней просунулъ въ аудиторію голову и сказалъ: «попечитель пріѣхалъ». Вслѣдъ за тѣмъ онъ вошелъ къ намъ, сіяя довольствомъ, добротой на лицѣ и звѣздами на груди мундирнаго фрака. Это былъ невысокій, плотный человѣкъ, съ небольшой головой, съ коротко-остриженными волосами. Сбоку, ближе къ брюшку, у него покачивался большой владимірскій крестъ на скрытой подъ жилетомъ лентѣ черезъ плечо.

Онъ весело поздоровался съ нами, присѣлъ рядомъ къ профессору и поглядывалъ на насъ кротко и ласково, какъ добрые крестные отцы смотрятъ на своихъ крестниковъ или дяди—на любимыхъ племянниковъ. Посидѣвъ съ четверть часа, онъ живо всталъ, съ улыбкой раскланялся съ нами и пошелъ въ другія аудиторіи. Больше мы его не видали.

Посѣтилъ насъ еще назначенный, кажется послѣ него, попечителемъ графъ А. Н. Панинъ. Онъ такъ же, какъ ректоръ Двигубскій, взглянулъ на насъ—не то мрачно, не то сердито, почти про себя замѣтилъ, что у многихъ студентовъ очень длинны волосы, и ушелъ.

Тогда длинные волосы считались у начальства признакомъ вольнодумства, и въ учебныхъ заведеніяхъ, особенно военныхъ, производилась, какъ мы слышали, усиленная стрижка.

Вотъ все, что мы видѣли отъ попечителей. Тогда между нами невольно возникалъ вопросъ о томъ, кто такіе эти

попечители, что они дѣлаютъ, о чемъ пекутся и зачѣмъ они университету?

Намъ, собственно, было за глаза достаточно однихъ профессоровъ, изъ которыхъ старшій (въ нашемъ факультетѣ— М. Т. Каченовскій) назначался деканомъ. И объ обязанностяхъ декана у насъ было тоже неясное понятіе. Только на экзаменахъ онъ былъ нѣчто въ родѣ предсѣдателя.

Личный составъ нашихъ профессоровъ былъ очень удачный, съ малыми, едва замѣтными исключеніями. Первымъ считали мы—и по старшинству лѣтъ, и по достоинствамъ— помянутаго декана, М. Т. Каченовскаго. Это былъ тонкій, аналитическій умъ, скептикъ въ вопросахъ науки и отчасти, кажется, во всемъ. При этомъ — строго справедливый и честный человѣкъ. Онъ читалъ русскую исторію и статистику; но у него была масса познаній по всѣмъ частямъ. Онъ зналъ древніе и новые языки, иностранныя литературы, но особенно обширны были его познанія въ исторіи и во всемъ, что входитъ въ ея сферу — археологія и проч. Любимая его часть въ исторіи была этнографія. Особенную симпатію онъ питалъ къ польскимъ историкамъ (самъ онъ былъ родомъ изъ Малороссіи и выказывалъ явное расположеніе къ своимъ землякамъ) и лѣтописцамъ. И томилъ же онъ насъ подробностями происхожденія однихъ народовъ и племенъ отъ другихъ! До сихъ поръ иногда будто слышишь его разсказы о развѣтвленіяхъ народовъ, болѣе всего—о финскихъ племенахъ, далѣе о печенѣгахъ, о половцахъ, о торкахъ, берендѣяхъ, черныхъ клобукахъ, о томъ, что сѣверные и южные славяне — никакъ не одно, а два различныя племени, сошедшіяся съ противоположныхъ сторонъ, съ сѣвера и съ юга, и т. д.

Когда онъ касался послѣдняго излюбленнаго имъ вопроса о различіи происхожденія сѣверныхъ и южныхъ русиновъ, или вообще какого-нибудь спорнаго въ исторіи вопроса, щеки его, обыкновенно блѣдныя, загорались алымъ

румянцемъ и глаза блистали сквозь очки, а въ голосѣ слышался задоръ прежняго редактора «Вѣстника Европы». Онъ мысленно видѣлъ передъ собою своихъ ученыхъ противниковъ и поражалъ ихъ стрѣлами своего неумолимаго анализа. Онъ терпѣть не могъ никакихъ миѳовъ въ исторіи и начиналъ лекціи русской исторіи съ Владиміра, предупредивъ насъ, что онъ не станетъ повторять басенъ, которыя мы слышали въ школѣ, напримѣръ объ оригинальномъ мщеніи Ольги за смерть Игоря, о змѣѣ, ужалившей Олега, о кожаныхъ деньгахъ, — особенно о кожаныхъ деньгахъ. Какъ теперь помню его подлинныя слова: «Какъ могъ Карамзинъ, человѣкъ съ необыкновеннымъ умомъ, допустить, чтобы могли быть въ обращеніи кожаные клочки, не обезпеченные никакой гарантіей!» О шкуркахъ кожаныхъ, представлявшихъ будто бы свою собственную цѣнность, онъ и слышать не хотѣлъ.

Онъ отвергалъ также подлинность «Слова о Полку Игоревомъ», считая его позднѣйшей поддѣлкой, кажется XIV вѣка, о чемъ однажды вошелъ въ горячій споръ съ Пушкинымъ, котораго привезъ на лекцію министръ Уваровъ.

Здѣсь я сдѣлаю небольшое отступленіе по поводу этого присно-памятнаго мнѣ—конечно, и всѣмъ тогдашнимъ студентамъ—посѣщенія великаго поэта, тогда уже въ апогеѣ его славы.

Когда онъ вошелъ съ Уваровымъ, для меня точно солнце озарило всю аудиторію: я въ то время былъ въ чаду обаянія отъ его поэзіи; я питался ею, какъ молокомъ матери; стихъ его приводилъ меня въ дрожь восторга. На меня, какъ благотворный дождь, падали строфы его созданій («Евгенія Онѣгина», «Полтавы» и др.). Его генію я и всѣ тогдашніе юноши, увлекавшіеся поэзіею, обязаны непосредственнымъ вліяніемъ на наше эстетическое образованіе.

Передъ тѣмъ однажды я видѣлъ его въ церкви, у обѣд-

ни—и не спускалъ съ него глазъ. Черты его лица врѣзались у меня въ памяти. И вдругъ этотъ геній, эта слава и гордость Россіи—передо мной въ пяти шагахъ! Я не вѣрилъ глазамъ. Читалъ лекцію Давыдовъ, профессоръ исторіи русской литературы...

«Вотъ вамъ теорія искусства»,—сказалъ Уваровъ, обращаясь къ намъ, студентамъ, и указывая на Давыдова:—«а вотъ и самое искусство»,—прибавилъ онъ, указывая на Пушкина. Онъ эффектно отчеканилъ эту фразу, очевидно, заранѣе приготовленную. Мы всѣ жадно впились глазами въ Пушкина. Давыдовъ оканчивалъ лекцію. Рѣчь шла о «Словѣ о Полку Игоревомъ». Тутъ же ожидалъ своей очереди читать лекцію, послѣ Давыдова, и Каченовскій. Нечаянно между ними завязался, по поводу «Слова о Полку Игоревомъ», разговоръ, который мало-по-малу перешелъ въ горячій споръ.—«Подойдите ближе, господа,—это для васъ интересно»,—пригласилъ насъ Уваровъ, и мы тѣсной толпой, какъ стѣной, окружили Пушкина, Уварова и обоихъ профессоровъ. Не умѣю выразить, какъ велико было наше наслажденіе—видѣть и слышать нашего кумира.

Я не припомню подробностей ихъ состязанія, — помню только, что Пушкинъ горячо отстаивалъ подлинность древнерусскаго эпоса, а Каченовскій вонзалъ въ него свой безпощадный аналитическій ножъ. Его щеки ярко горѣли алымъ румянцемъ и глаза бросали молніи сквозь очки. Можетъ быть, къ этому раздраженію много огня прибавлялъ и извѣстный литературный антагонизмъ между нимъ и Пушкинымъ. Пушкинъ говорилъ съ увлеченіемъ, но, къ сожалѣнію, тихо, сдержаннымъ тономъ, такъ что за толпой трудно было разслушать. Впрочемъ, меня занималъ не Игорь, а самъ Пушкинъ.

Съ перваго взгляда наружность его казалась невзрачною. Средняго роста, худощавый, съ мелкими чертами смуглаго лица. Только когда вглядишься пристально въ глаза, уви-

дишь задумчивую глубину и какое-то благородство въ этихъ глазахъ, которыхъ потомъ не забудешь. Въ позѣ, въ жестахъ, сопровождавшихъ его рѣчь, была сдержанность свѣтскаго, благовоспитаннаго человѣка. Лучше всего, по-моему, напоминаетъ его гравюра Уткина съ портрета Кипренскаго. Во всѣхъ другихъ копіяхъ у него глаза сдѣланы слишкомъ открытыми, почти выпуклыми, носъ выдающимся—это невѣрно. У него было небольшое лицо и прекрасная, пропорціональная лицу, голова, съ негустыми, кудрявыми волосами.

Обращаюсь къ Каченовскому.

Онъ отвергалъ участіе всякихъ сентиментовъ въ изученіи исторіи, а разнималъ ее холодной критикой, какъ анатомическимъ ножомъ трупъ. Мѣста священнымъ, патріотическимъ чувствамъ — въ наукѣ для него не было. Всѣ подобные спорные вопросы онъ, говорю, разбиралъ съ нѣкоторымъ раздраженіемъ въ лицѣ, въ голосѣ. Обыкновенно же онъ читалъ медленно, вяло—и, пожалуй, если не вслушиваться глубоко въ его рѣчь, то и скучно. Точно какъ старый дядька нехотя мямлитъ въ сотый разъ сказку дѣтямъ, чтобъ усыпить ихъ. Нѣкоторые и засыпали или, по крайней мѣрѣ, дремали подъ его однообразный, монотонный говоръ.

Но всѣ, слѣдившіе за непрерывной нитью его историческихъ разсказовъ, слушали съ глубокимъ интересомъ этотъ тонкій анализъ, въ которомъ самъ профессоръ никогда не приходилъ къ синтезу. Послѣдній возникалъ у слушателя самъ собою, по окончаніи лекціи или лекцій. Онъ принесетъ съ собой нѣсколько какихъ-то листковъ, клочковъ пергамента, книгу, лѣтопись какую-нибудь. Начнетъ съ подробности, мелочи и около нея опытной, твердой рукой начертитъ узоръ событія, подтвердитъ или опровергнетъ принятыя гипотезы и освѣтитъ эпоху со всѣхъ сторонъ. Однажды принесъ, напримѣръ, книгу съ рисунками абраксасовъ, пе-

чатей новгородскихъ посадниковъ, и при этомъ объяснилъ способы управленія ихъ.

И всю исторію такъ читалъ, точно смотрѣлъ въ нее глубоко, какъ въ бездну, сквозь свои критическія очки. Мы слушали, записывали: это и было программою его лекцій, безъ которой мы не знали бы что дѣлать на экзаменѣ, потому что онъ лекцій не давалъ. Да тогда почти и никто не давалъ ихъ, по крайней мѣрѣ въ словесномъ факультетѣ.

О литографированныхъ лекціяхъ и помину не было. Это — новѣйшее баловство, которое, конечно, имѣетъ свою хорошую сторону въ томъ, что сберегаетъ много времени, избавляя слушателей отъ скучнаго труда переписывать, хотя... переписка эта служила въ то же время и повтореніемъ лекцій.

Мы должны были записывать изустную рѣчь профессора, и этотъ трудный процессъ приносилъ намъ массу добра. Стенографіи не было, ловить каждое слово и записывать нельзя, слѣдовательно надо было схватывать общій смыслъ каждаго періода и сжато излагать на бумагѣ. Легко понять, какъ такая умственная гимнастика должна была изощрять соображеніе, развязывать умъ и перо! Нѣтъ, слава Богу, что у насъ не было литографированныхъ лекцій! Съ этой стороны, могу сказать, у насъ было лучше.

Въ юридическомъ факультетѣ, напротивъ, почти всѣ профессора сообщали перечни своихъ лекцій, а иные читали прямо по извѣстнымъ источникамъ. Отъ этого тамъ случались такіе примѣры, что иногда кончавшіе курсъ юристы плохо владѣли перомъ.

Между тѣмъ въ новое время кто-то (едва ли не Писаревъ) горько упрекалъ профессоровъ, что его долго томили надъ упражненіями переводовъ иностранныхъ или древнихъ авторовъ. Полноте! да не этимъ ли упражненіямъ обязаны молодые писатели и, между прочимъ, тотъ же

Писаревъ, бойкостью, живостью, правильностью и свободой рѣчи!

Пусть для опыта нынѣшній студентъ отложитъ хоть на время въ сторону литографированныя лекціи—и самъ приготовитъ для себя ученое блюдо: онъ увидитъ въ непродолжительное время, какъ лекціи незамѣтно врѣжутся въ память, и какую свободу почувствуетъ онъ въ своей письменной рѣчи! Я полагаю, что онъ, послѣ опыта, откинулъ бы совсѣмъ помощь литографіи.

Конечно, для этого надо аккуратно посѣщать лекціи, чего, говорятъ, въ новое время въ точности не соблюдаютъ, и что будто бы къ этому преподаватели относятся снисходительно или равнодушно. Въ мое время этому бы не повѣрили. Конечно, и у насъ бывали отсутствующіе, или случайные, или лѣнивые, но процентъ ихъ такъ былъ незначителенъ, что это отсутствіе было незамѣтно, и аудиторіи были полны. Да и какъ студенту не посѣщать лекцій? Что же онъ дѣлаетъ, спросили бы мы, и почему онъ студентъ? Говорятъ — онъ дома можетъ заниматься, читать книги въ библіотекахъ, составлять по нимъ записки и т. д. Тогда зачѣмъ университетъ, каѳедра и профессоръ?—спросили бы мы. Подъ личнымъ руководствомъ опытнаго представителя знанія, кромѣ догматики науки, фактовъ, событій, почерпается сила убѣжденія; взглядъ, критическая оцѣнка, передаваемая нерѣдко съ жаромъ, съ увлеченіемъ. Любовь профессора къ своему предмету связываетъ слушателя живою связью съ наукой, влагаетъ въ нее «душу живу» живою рѣчью, живымъ человѣкомъ. Никакой книжный курсъ этого не дастъ.

Все это мы понимали и, любя лекціи и профессоровъ, дружно и весело наполняли аудиторіи. Конечно, было не мало исключеній: въ нашемъ ученомъ стадѣ было не безъ козлищъ, не поклонниковъ знанія и науки, а—или домогавшихся диплома, или несшихъ иго университетскаго уче-

нія по волѣ родителей; наконецъ, были просто лѣнивые, безпечные. Они нуждались въ принудительныхъ мѣрахъ—и онѣ были. Напримѣръ, нѣкоторые профессора держались стариннаго обычая дѣлать перекличку, и отсутствующаго отмѣчали сокращеннымъ латинскимъ *abs.*, т.-е. *absens:* у кого въ теченіе года число этихъ *абсовъ* превышало извѣстную цифру, того не переводили на слѣдующій курсъ.

Скажутъ, что это — школьная, ферульная манера, недостойная молодыхъ людей, пришедшихъ съ аттестатами зрѣлости. Да, пожалуй, манера эта, такъ сказать, не республиканская въ нашей ученой «республикѣ», гдѣ не было начальства. Но... она имѣла и нѣкоторую хорошую сторону, вмѣстѣ съ полугодовыми репетиціями, на которыя мы, студенты, бывало, роптали. И какъ не роптать: въ самый разгаръ зимняго сезона, въ веселой и гостепріимной Москвѣ, вдругъ лучшія ея дѣти, студенты, живой пульсъ баловъ, пикниковъ, ходятъ съ хмурыми лицами или прячутся по своимъ угламъ, уткнувъ носы въ книги и записки!

Между тѣмъ эти репетиціи подгоняли лѣнивыхъ, безпечныхъ и облегчали слабыхъ памятью при сдачѣ экзамена. А боязнь *абсовъ,* какъ боязнь долговъ, волей-неволей приводила разсѣянныхъ и нерадивыхъ по утрамъ въ университетскія аудиторіи, гдѣ они, конечно, съ бо́льшей пользой проводили утренніе часы, чѣмъ въ садахъ, въ кондитерскихъ и ресторанахъ. Впрочемъ, *абсы* выходили при насъ изъ употребленія: помнится, лекторъ французской литературы, Декампъ, прибѣгалъ къ нимъ, да еще профессоръ Сандуновъ, въ юридическомъ факультетѣ.

Вмѣстѣ съ Каченовскимъ наше уваженіе и симпатію раздѣлялъ профессоръ *теоріи изящныхъ искусствъ и археологіи*, Н. И. Надеждинъ. Это былъ человѣкъ съ многосторонней, всѣмъ извѣстною ученостью по части философіи, филологіи. Его извѣстная диссертація о классицизмѣ и романтизмѣ имѣла огромный успѣхъ и сразу сдѣлала ему имя

въ ученой литературѣ. Потомъ онъ получилъ каѳедру и основалъ журналы: «Телескопъ» и «Молву».

Это былъ самый симпатичный и любезный человѣкъ въ обращеніи, и какъ профессоръ онъ былъ намъ дорогъ своимъ вдохновеннымъ, горячимъ словомъ, которымъ вводилъ насъ въ таинственную даль древняго міра, передавая духъ, бытъ, исторію и искусство Греціи и Рима. Чего только не касался онъ въ своихъ импровизованныхъ лекціяхъ!

Онъ читалъ на память, не привозя никакихъ записокъ съ собою. Память у него была изумительная. Онъ одинъ замѣнялъ десять профессоровъ. Излагая теорію изящныхъ искусствъ и археологію, онъ излагалъ и общую исторію Египта, Греціи и Рима. Говоря о памятникахъ архитектуры, о живописи, о скульптурѣ, наконецъ, о творческихъ произведеніяхъ слова, онъ касался и исторіи философіи. Изливая горячо, почти страстно, передъ нами сокровища знанія, онъ училъ насъ и мастерскому владѣнью рѣчи. Записывая только однѣ его лекціи, можно было научиться чистому и изящному складу русскаго языка.

А тутъ еще Шевыревъ, тогда молодой, свѣжій человѣкъ, принесъ намъ свой тонкій и умный критическій анализъ чужихъ литературъ, начиная съ древнѣйшихъ — индійской, еврейской, арабской, греческой — до новѣйшихъ западныхъ литературъ.

Онъ тоже блисталъ изяществомъ рѣчи, но это была менѣе искренняя и кипучая рѣчь, чѣмъ у Надеждина, зато болѣе сдержанная, мѣрная, щегольская, заранѣе заготовленная, всегда тщательно обдуманная, обработанная. Онъ и читалъ по рукописи. Какъ благодарны мы были ему за этотъ безконечный рядъ, какъ будто галлерей обширнаго музея — рядъ произведеній старыхъ и новыхъ литературъ, выставляемыхъ имъ передъ нами съ тщательною подготовкою, съ тонкой и глубокой критической оцѣнкой ихъ! И какъ не благодарить за безчисленные ключи, которые оба

эти учителя намъ давали къ уразумѣнію всѣхъ еврейскихъ, греческихъ, римскихъ, и новыхъ западныхъ произведеній ума и фантазіи, по лучшимъ старымъ и современнымъ критическимъ оцѣнкамъ, независимо отъ своей собственной? Долго, безъ такихъ умныхъ истолкователей — пришлось бы намъ потомъ самостоятельнымъ путемъ открывать глаза на библейскихъ пророковъ, на произведенія индійской поэзіи, на эпопеи Гомера, Данта, на Шекспира — до новѣйшихъ, французской, нѣмецкой, англійской литературъ, словомъ — на все, что мы читали по ихъ указанію тогда и что дочитывали послѣ нихъ. Глубокій и благодарный поклонъ ихъ памяти!

Кстати о чтеніи классическихъ и вообще замѣчательныхъ произведеній ума, фантазіи, а также и произведеній научной литературы. Профессорскія лекціи, какъ бы онѣ ни были полны, содержательны, исполнены любви къ знанію самого профессора, все-таки суть не что иное, какъ только программы, систематическіе, постепенные указатели, регулирующіе порядокъ пріобрѣтаемыхъ познаній. Кто прослушаетъ только ихъ и самъ не заразится живой жаждой чтенія, у того, можно сказать, все прослушанное въ университетѣ будетъ—какъ зданіе на пескѣ. А такихъ не мало, глядя на которыхъ и слушая ихъ не замѣтишь и слѣда прочнаго университетскаго образованія и невольно усомнишься, были ли они въ университетѣ. А они были, сдали экзаменъ и получили дипломъ.

Только тому университетъ и сослужитъ свою службу, кто изъ чтенія сдѣлаетъ себѣ вторую жизнь. Мы — въ нашей группѣ товарищей — читали все, что попадалось подъ руку; безъ сомнѣнія, въ другихъ кружкахъ дѣлали то же. Но доставали мы книги, какъ я сказалъ, съ большимъ трудомъ. Тогда не было, какъ теперь, множества библіотекъ на каждомъ шагу, журналовъ; особенно мало было переводовъ замѣчательныхъ сочиненій. Приходилось, что называется, изъ

кожи лѣзть, знакомиться съ тѣми, у кого были запасы книгъ на дому, или сообща, въ складчину, покупать иное изданіе. Въ этомъ отношеніи наши современные товарищи гораздо счастливѣе насъ.

Съ меньшей симпатіей или, говоря правду, вовсе безъ симпатіи, относились мы къ профессору исторіи русской литературы, хотя въ своемъ родѣ знаменитому—И. И. Давыдову.

Эта знаменитость была какая-то дѣланная, съ натяжками. Въ обществѣ его принимали за то, чѣмъ онъ хотѣлъ казаться, но мы, юноши, чутко прозирали въ немъ что-то искусственное, декоративное. Высокаго роста, нѣсколько сутуловатый, съ довольно благообразнымъ лицомъ, умными сѣрыми глазами, съ мѣрными, округленными жестами, онъ держалъ себя съ условнымъ достоинствомъ; рѣчь его была плавная, исполнена приличія. Но отъ него вѣяло холодомъ, напускною величавостью, которая быстро превращалась въ позу покорности и смиренія при появленіи какой-нибудь важной персоны изъ начальства.

Онъ считался универсальнымъ ученымъ: читалъ когда-то лекціи высшей алгебры, занялъ-было каѳедру философіи, но съ первыхъ же лекцій, какъ упомянуто выше, каѳедра была закрыта.

При насъ онъ занималъ, какъ я сказалъ, каѳедру исторіи русской литературы, послѣ профессора Мерзлякова, — человѣка умнаго, даровитаго, старой школы. Я не засталъ его: онъ оставилъ каѳедру за годъ или за два передъ моимъ вступленіемъ. Старые студенты симпатично вспоминали его умные, живые разборы произведеній тогдашней школы нашихъ классиковъ — Державина, Ломоносова, Фонвизина, Княжнина, Озерова и другихъ. Кажется до новыхъ, — Жуковскаго, Батюшкова, Пушкина—онъ не договорился. Онъ, конечно, судя по воспоминаніямъ о немъ слушавшихъ его студентовъ, умѣлъ бы понять и оцѣнить по достоинству и

этихъ — тогда еще новыхъ — писателей. Сошелъ онъ со сцены—не столько по лѣтамъ, сколько по слабости, нерѣдкой у насъ даже и въ его положеніи, чему въ примѣръ можно привести Ломоносова. Онъ пилъ запоемъ и по нѣскольку недѣль не являлся на лекціи. Самъ онъ писалъ не мало стихами, переводилъ изъ древнихъ классиковъ. Между прочимъ, онъ — авторъ общеизвѣстной пѣсни или романса: «Среди долины ровныя», которая пѣлась тогда вездѣ, и теперь еще, можетъ-быть, поется въ скромныхъ провинціальныхъ углахъ.

На лекціи Давыдова собирались иногда и посторонніе слушатели, разные московскіе тузы, въ качествѣ гостей. Но ни эти гости, ни студенты, не выносили съ лекціи ничего особенно вѣскаго, замѣчательнаго, кромѣ болѣе или менѣе красивыхъ фразъ, сквозь которыя видѣлась нагота мысли, содержанія. Сколько помню, одинъ годъ онъ читалъ теорію словесности, а другой — собственно исторію литературы.

Особенно много распространялся онъ объ ораторскомъ искусствѣ: Квинтиліанъ, Блэръ, Баттё не сходили у него съ языка. Но самому ему не далась ars oratoria; искры, feu sacré, у него не было, и мы тихонько позѣвывали отъ скуки.

О художественныхъ произведеніяхъ онъ передавалъ условную, ходячую оцѣнку ихъ, и когда останавливался на признанныхъ всѣми красотахъ—у него никогда не вырывалось горячаго слова его собственнаго сочувствія, даже когда приходилось ему приводить разныя мѣста, напримѣръ изъ Пушкина, тогда въ разгарѣ его дѣятельности и славы. Мы глубоко уважали и горячо цѣнили Каченовскаго, любили Надеждина, Шевырева, а Ивана Ивановича Давыдова почитали за ученаго и... вмѣстѣ ловкаго, практическаго человѣка, но симпатіи, повторяю, у насъ къ нему не было

Ловкимъ и практическимъ человѣкомъ мы считали его потому, что онъ былъ въ большомъ ходу въ московскомъ обществѣ, занималъ, кромѣ профессорской, другія должности (кажется, директора сиротскаго холернаго института) и былъ въ большомъ фаворѣ у министра. Потомъ это подтвердилось: онъ перешелъ на службу въ Петербургъ, на должность директора педагогическаго института, нахваталъ чиновъ, звѣздъ, и достигъ званія сенатора.

Но и Иванъ Ивановичъ принесъ намъ значительную дозу пользы тѣмъ, что знакомилъ насъ также, какъ и Надеждинъ съ Шевыревымъ, съ исторіею философіи и потомъ упражнялъ въ русскомъ словѣ практически. Онъ поручалъ двумъ студентамъ по очереди составлять перечень каждой прочитанной имъ лекціи и потомъ разбиралъ при всѣхъ ихъ трудъ. Эти перечни и служили намъ записками для экзаменовъ. Здѣсь приходилось на нашу долю выслушивать не мало умныхъ и дѣльныхъ критическихъ замѣтокъ и полезныхъ совѣтовъ. Къ сожалѣнію, этотъ смотръ производился только одинъ разъ, а не всѣ три раза въ недѣлю на его лекціяхъ. Такіе практическіе уроки были бы намъ несравненно полезнѣе его разглагольствованій о Ломоносовѣ и Державинѣ, о Квинтиліанѣ и Баттё съ Блэромъ.

М. П. Погодинъ читалъ намъ всеобщую исторію и статистику—и то подъ конецъ, на третьемъ курсѣ. Собственно онъ принадлежалъ къ юридическому факультету, — гдѣ читалъ русскую исторію. Совѣтъ университета вдругъ какъ будто спохватился, что мы, словесники, остаемся безъ каѳедры всеобщей исторіи, и отрядилъ для этого дѣла Погодина. Онъ читалъ по Герену, скучно, безцвѣтно, монотонно и невнятно, но былъ очень щекотливъ, когда замѣчалъ въ комъ-нибудь невниманіе къ себѣ. Чуть кто-нибудь изъ слушателей шепнетъ сосѣду слово, спроситъ, который часъ, онъ—Богъ его знаетъ какъ—непремѣнно поймаетъ и обратится съ вопросомъ: «Г-нъ такой-то! позвольте спросить,

какое я послѣднее слово сейчасъ сказалъ?» — Вы изволили говорить о томъ, — начинаетъ тотъ заискивающимъ голосомъ, — какъ Валленштейнъ двинулся съ войскомъ... — «Нѣтъ, одно послѣднее слово скажите!» Тотъ, конечно, молчалъ, потому что не слыхалъ этого слова, и Погодинъ продолжалъ читать. Этого рода выговоры были среди скучной лекціи маленькимъ развлеченіемъ для всѣхъ — посмотрѣть въ лицо сконфуженнаго товарища.

У Михаила Петровича тоже, какъ и у Давыдова, было кое-что напускное, и въ характерѣ его, и въ его взглядѣ на науку. Мы чуяли, что у него внутри меньше пыла, нежели сколько онъ заявлялъ въ своихъ историческихъ—ученыхъ и патріотическихъ настроеніяхъ, что къ паѳосу онъ прибѣгалъ ради поддержанія тѣхъ или другихъ принциповъ, а не по импульсу искреннихъ увлеченій. Можетъ-быть, казалось мнѣ иногда, онъ про себя и раздѣлялъ какой-нибудь отрицательный взглядъ Каченовскаго и его школы на то или другое историческое событіе, но отстаивалъ послѣднее, если оно льстило патріотическому чувству, національному самолюбію, или касалось какой-нибудь народно-религіозной святыни и т. п. Помнится, онъ даже одну изъ своихъ лекцій въ этомъ смыслѣ назвалъ: «Перчатка Строеву и Каченовскому». Не знаю, подняли ли они эту перчатку? Словомъ, мы чувствовали, что онъ человѣкъ—себѣ на умѣ. Съ нами онъ былъ—и педантически-условно-ласковъ, и педантически-требователенъ.

Всѣ эти пятеро профессоровъ, — одни болѣе, другіе менѣе, — какъ я сказалъ, имѣли вмѣстѣ огромное вліяніе на наше развитіе и образованіе.

За то объ остальныхъ нельзя было сказать и десятой доли того же.

Впрочемъ, эти остальные были профессора: греческой словесности—С. М. Ивашковскій, латинской—И. М. Снегиревъ, оба извѣстные ученые и знатоки чужихъ и своихъ

древностей; потомъ лекторы французской и нѣмецкой литературъ—Декампъ и Кистеръ.

С. М. Ивашковскій, о которомъ я упоминалъ выше, былъ добродушнѣйшій старикъ, страстный любитель греческихъ классиковъ: между нами ходило мнѣніе, что онъ, да какой-то протоіерей Успенскаго собора, были первые эллинисты чуть ли не въ цѣломъ мірѣ. Ивашковскій въ теченіе многихъ десятилѣтій высидѣлъ свой греческій словарь; не знаю, высидѣлъ ли что-нибудь протоіерей.

Ивашковскій, углубившись на лекціи въ книгу, самъ какъ будто упражнялся вмѣсто насъ: онъ читалъ, перебивалъ студентовъ (все больше на удареніяхъ), что не такъ читаютъ, не такъ понимаютъ или переводятъ, какъ онъ, съ сердцемъ спѣшилъ досказывать самъ, и потому никогда не могъ отличить знающихъ по-гречески отъ незнающихъ. Мы замѣтили эту его черту и искусно умѣли ею пользоваться, выжидая, когда онъ самъ доскажетъ «мудреное мѣсто» и повторяли за нимъ. Онъ очень былъ доволенъ и ставилъ хорошіе баллы всѣмъ, т.-е. собственно самому себѣ.

У него была странная привычка — шпиговать свою русскую рѣчь словомъ «будетъ»—некстати, безъ всякой надобности. «Скажите — будетъ — мнѣ, какъ вы понимаете — будетъ — вотъ этотъ стихъ—будетъ—въ третьей пѣснѣ Иліады» и т. д.,—говорилъ онъ. Сначала насъ это забавляло, а потомъ мы привыкли, и для потѣхи приводили товарищей изъ другихъ факультетовъ послушать. Тѣ ушамъ не вѣрили и помирали со смѣху.

Мы лукаво пользовались еще его добродушіемъ, чтобы сокращать лекціи. Онъ любилъ съ кѣмъ-нибудь изъ близко-извѣстныхъ ему студентовъ, ходя взадъ и впередъ по аудиторіи, побесѣдовать. Для этого и командировался чаще всего кто-нибудь изъ вышедшихъ изъ семинаріи и знавшихъ по-гречески студентовъ. И они похаживали вдвоемъ и бесѣдо-

вали, а мы всѣ бесѣдовали тихо про себя—иногда съ полчаса, такъ что на лекцію оставалось тоже полчаса.

Съ древностями греческими мы изъ его лекцій не вынесли никакого знакомства, кромѣ подробнѣйшихъ и скучнѣйшихъ описаній утвари, оружія и т. п., по какой-то, съ нѣмецкаго языка переведенной, прокисшей книгѣ—и заучивали для экзамена, потомъ забывали.

Никакой общей идеи, никакого рисунка древняго быта, никакого взгляда, синтеза, ничего не могъ намъ дать этотъ почтенный греческій книгоѣдъ; онъ давалъ одну букву, а духъ отсутствовалъ. За него сдѣлали это дѣло Надеждинъ и Шевыревъ.

И. М. Снегиревъ, профессоръ латинской словесности и древностей, былъ очень замѣчательною фигурой во многихъ отношеніяхъ. Вкрадчивый, тонкій, но въ то же время циничный, безцеремонный, съ нами добродушный — онъ разбиралъ римскихъ писателей — такъ себѣ, тоже съ одной только чисто-лингвистической стороны, мало знакомя насъ, какъ и Ивашковскій, съ духомъ и исторіею древнихъ. Кажется, ему до нихъ мало было дѣла, а намъ мало было дѣла до него. Онъ, какъ иногда казалось мнѣ, будто притворялся знатокомъ римскихъ древностей. Мы были другъ къ другу равнодушны и уживались съ нимъ очень хорошо. Онъ же иногда умѣлъ сдобривать лекціи остротами и анекдотами: балагурство было, кажется, господствующею чертою его характера. Онъ и въ обществѣ имѣлъ репутацію буфона и наживалъ себѣ однимъ этимъ, кромѣ разныхъ другихъ продѣлокъ, много враговъ. Онъ исподтишка мастеръ былъ посмѣяться надъ всякимъ, кто попадется подъ руку,— и, говорятъ, нерѣдко «лилъ свои пули» передъ митрополитомъ Филаретомъ, у котораго (и вообще у высшаго духовенства) онъ былъ принятъ на короткой ногѣ, благодаря болѣе всего своимъ познаніямъ въ русскихъ, особенно въ церковныхъ древностяхъ, которыя дались ему больше, чѣмъ римскія.

Забавно намъ было видѣть, какъ онъ однажды попался впросакъ, и какъ! на нашихъ глазахъ во время экзамена старался выпутаться изъ петли. Нѣкто студентъ З. написалъ какую-то брошюру о царѣ Горохѣ:— я ее читалъ, но теперь забылъ даже точное заглавіе; помню только, что тамъ изображались въ карикатурѣ нѣкоторые профессора университета, и между прочимъ чопорный и важный И. И. Давыдовъ. Описывалась ихъ наружность, манера читать. Снегиревъ былъ цензоромъ и пропустилъ брошюру, зная, конечно, очень хорошо, въ чемъ дѣло, и заранѣе наслаждаясь про себя эффектомъ брошюры. Брошюра дѣйствительно произвела эффектъ и смѣхъ. Она ходила по рукамъ. Профессоры вознегодовали, больше всѣхъ—онъ, le superbe Иванъ Ивановичъ: какъ могло его коснуться дерзкое перо! Потерпѣлъ не авторъ-шалунъ, а цензоръ. Съ нимъ не говорили, отворачивались отъ него; Иванъ Ивановичъ положительно не глядѣлъ на него; а тотъ залѣзалъ въ глаза, старался замести хвостомъ свою штуку, льстилъ, изгибался — и напрасно! Мы видѣли все это и наслаждались профессорскою комедіею.

Декампа можно было также назвать: le superbe. Это былъ значительно потертый и поношенный французъ стараго пошиба, съ задираніемъ головы и носа, съ напускною важностью во взглядѣ и въ тонѣ, съ округленною, напыщенною фразою, и прямой, какъ палка. Злые языки говорили, что онъ носилъ корсетъ. Онъ какъ рога какіе-нибудь носилъ свое мнимое величіе въ позѣ головы, въ неподвижности корпуса, говорилъ — точно изрекалъ глаголы оракула и смотрѣлъ на все свысока.

Исторіею французской литературы назывался у него перечень писателей съ IX вѣка, съ поименованіемъ ихъ сочиненій и съ краткою, въ нѣсколько строкъ, установившеюся во французскихъ учебникахъ критическою оцѣнкою. Напыщеннымъ, изысканнымъ языкомъ онъ возвѣщалъ намъ

эти заповѣди французскихъ критиковъ, не освѣщая ничего своимъ собственнымъ впечатлѣніемъ и взглядомъ. Да едва ли у него и было и то, и другое. Всякое живое слово или движеніе вывело бы его, пожалуй, изъ позы буддійскаго идола и нарушило статуарное величіе его фигуры.

Говорятъ, онъ имѣлъ большой успѣхъ въ свѣтскихъ салонахъ—развѣ потому только, что онъ французъ, да за эту скульптурную величавость и за декламаціонный тонъ рѣчи.

Конечно, для студентовъ не безполезно было послушать часа три въ недѣлю такого краснобая — собственно для французскаго языка, не безполезно также, въ смыслѣ упражненія, и заучить его тетрадку съ перечнемъ именъ и сочиненій, написанную хорошимъ, правильнымъ языкомъ.

При этомъ не могу не вспомнить одного комическаго эпизода по поводу этихъ заучиваній. Для знавшихъ по-французски ничего не стоило заучить содержаніе тетрадки и пересказать его, не съ буквальною точностью, а своими словами. Другое дѣло для студентовъ изъ семинаристовъ: тѣ должны были выдолбить текстъ слово въ слово, буква въ букву. И вотъ на экзаменѣ, въ полномъ присутствіи факультетскаго начальства, декана и другихъ профессоровъ, одинъ студентъ изъ семинаристовъ вынулъ вопросъ, прочелъ его и отвѣчалъ, перемѣнивъ членъ въ одномъ словѣ la на le... Едва онъ произнесъ слово, какъ раздался гомерическій хохотъ—и профессоровъ, и студентовъ. Наконецъ, осклабился даже и самъ напыщенный Декампъ... И стоило смѣха: къ сожалѣнію, печатно слова, къ которому студентъ приставилъ членъ le, привести нельзя.

Еще полезнѣе было писать сочиненія на задаваемыя Декампомъ темы: онъ по очереди предлагалъ двѣ-три темы нѣсколькимъ студентамъ и потомъ, какъ Давыдовъ, разбиралъ на лекціи написанное.

Задавая, онъ всегда педантически назначалъ,—какъ, бывало, наши старые риторы задавали хріи, — и программу,

какъ писать. Напримѣръ, изъ Иліады задастъ написать о прощаніи Гектора съ Андромахой, или изъ римской исторіи о какихъ-нибудь Гракхахъ: скажетъ тезисъ, потомъ péroraison, потомъ развитіе и заключеніе,—такъ что самое сочиненіе выходило у всѣхъ гораздо короче программы. Ну, Богъ съ нимъ, съ французомъ, и съ нѣмцемъ тоже!—Этотъ все натуживался пересилить своимъ старческимъ, надтреснутымъ голосомъ говоръ студентовъ, которые не стѣснялись при немъ—и все напрасно: въ этихъ усиліяхъ прошли всѣ два года его чтеній.

Вообще надо сказать, что лекторы новѣйшихъ языковъ изъ иностранцевъ почти не нужны въ университетѣ. Туда, особенно въ филологическій факультетъ, надо поступать молодымъ людямъ изъ русскихъ съ значительною подготовкою въ языкахъ, чтобы самимъ справляться, гдѣ нужно, съ иностранной грамотой. Учиться ей тамъ некогда, да и совѣстно: не студенческое дѣло—преодолѣвать синтаксическія трудности, когда надо уже умѣть читать писателей въ оригиналѣ. Это дѣло школы. А толкователями иностранныхъ литературъ для русскихъ юношей могутъ быть только русскіе люди, которые въ то же время сообщаютъ и параллель своей литературы съ иностранными. Такъ это теперь, кажется, и дѣлается вездѣ—и слава Богу!

Съ этой цѣлью и учреждена была у насъ каѳедра иностранныхъ литературъ, которую съ успѣхомъ и блескомъ и занималъ Шевыревъ.

Упомяну еще о профессорѣ богословія, священникѣ Терновскомъ. Это былъ не то что «добрый батюшка», а настоящій строгій профессоръ.

Слушаніе его лекцій, не знаю почему, было обязательно для студентовъ юридическаго факультета во весь трехгодичный курсъ. Для прочихъ факультетовъ положено было слушать его только первый годъ. Одинъ годъ онъ читалъ догматическое, а другой—нравственное богословіе. Мнѣ при-

шлось прослушать послѣднее. Онъ читалъ скоро и много: въ часъ начитаетъ листовъ шесть писанныхъ и, кончая,— дастъ программу прочитаннаго. На слѣдующей лекціи онъ вызоветъ кого-нибудь пересказать прочитанное въ прошлый разъ. Этого боялись и прятались за спины товарищей, чтобъ онъ не вызвалъ. Отмѣткамъ его придавался особый вѣсъ. Получившій у него единицу не переводился на слѣдующій курсъ. Его подробныя, ученыя и сухія лекціи какъ-то мало вязались съ жизнью. Онѣ выучивались къ экзамену и потомъ забывались.

Таковъ былъ персоналъ нашихъ университетскихъ преподавателей.

Съ нимъ мы вступили на послѣдній университетскій 1833—1834 годъ: тогда курсъ для всѣхъ факультетовъ, кромѣ медицинскаго, былъ трехлѣтній. Для медиковъ полагалось четыре года.

Собственно золотымъ вѣкомъ нашей университетской республики можно назвать 1832—1833 годъ. Въ выпускномъ 1833—34 году на университетъ легла какая-то тѣнь. Въ университетѣ, сначала внѣ аудиторій, стала появляться новая личность. Это была статная, прямая фигура довольно большого роста, высоко державшая голову, въ вицмундирѣ, съ крестомъ на шеѣ. Увидя его, такъ и хотѣлось сдѣлать ему Плюшкинскій вопросъ Чичикову: не служилъ ли онъ въ военной службѣ? Такъ онъ держалъ себя осанисто и гордо, точно въ строю. Можетъ-быть, онъ и служилъ тамъ. Мы узнали, что его зовутъ — Д. П. Голохвастовъ, что онъ назначенъ помощникомъ попечителя.

Онъ похаживалъ по обширнымъ дворамъ университета, какъ будто осматривая зданія. За нимъ, точно на пристяжкѣ, нѣсколько поодаль, слѣдовалъ чиновникъ въ мундирномъ сюртукѣ. Его называли смотрителемъ — чего? мы не знали и не любопытствовали знать, полагая, что это

лицо назначено для внѣшней части, можетъ-быть, по хозяйственной, или что-нибудь въ этомъ родѣ.

Но вскорѣ вслѣдъ за этимъ похаживаніемъ вокругъ да около, Голохвастовъ сталъ заглядывать и въ аудиторіи, садился, пока молча, около профессора, слушалъ лекціи и внушительно, начальственно поглядывалъ на насъ. Мы отвѣчали ему взглядами недоумѣнія.

Затѣмъ онъ сталъ вмѣшиваться въ лекціи, спрашивалъ студентовъ, причемъ посматривалъ на насъ нѣсколько надменно, и безъ всякихъ съ нашей стороны поводовъ, строго.

Что означаетъ сей сонъ? — спрашивали мы другъ друга и недоумѣвали. Мы, привыкшіе къ нашей республиканской свободѣ, не вѣдая никого, кромѣ по очереди смѣнявшихся на лекціяхъ профессоровъ, вдругъ почувствовали какое-то стѣсненіе, принужденность, — все остерегались: «вотъ-вотъ, войдетъ посторонній, совсѣмъ чужой университету господинъ, и станетъ приказывать, распоряжаться!»

Словомъ, мы почувствовали, что у насъ, ни съ того, ни съ сего, и безъ всякой, казалось намъ, надобности, явилось начальство, прямое, непосредственное начальство, не похожее на ректора, декана, которые завѣдывали учебною частью, и всего менѣе на ласковаго вельможу, князя С. М. Голицына.

Мы стали нѣсколько унывать, осматриваться и все наблюдали, нѣтъ ли по близости Голохвастова, съ надменнымъ и внушительно-строгимъ, безъ надобности, взглядомъ? Онъ же началъ позволять себѣ дѣлать кое-кому замѣчанія, выговоры, и въ то же время, какъ мы слышали, приглашалъ къ себѣ нѣкоторыхъ студентовъ, знакомыхъ съ иностранными литературами, особенно французской и англійской, которыя самъ будто бы зналъ основательно, бесѣдовалъ съ ними, давалъ книги изъ своей библіотеки. Словомъ, опекалъ насъ очень усердно и все болѣе и болѣе входилъ въ свою роль опекуна.

На выпускныхъ экзаменахъ онъ уже явился полнымъ хозяиномъ и распорядителемъ нашихъ судебъ. Онъ занялъ роль предсѣдателя въ комитетѣ экзаменаторовъ; деканъ при немъ стушевался. Онъ вмѣшивался въ вопросы, задавалъ свои, одобрялъ или порицалъ отвѣты, даже одного студента довольно грубо удалилъ изъ аудиторіи—и вмѣстѣ изъ университета—за какой-то неумѣлый или непочтительный отвѣтъ на его замѣчаніе.

Мы не знали, чѣмъ вызвано было назначеніе его. Можетъ-быть, не произошла ли какая-нибудь исторія между студентами, уже покинувшими университетъ, которая заставила начальство «подтянуть университеты вообще». Не къ тому ли времени относилась исторія съ Герценомъ и высылка его изъ Москвы—или другая—я не зналъ тогда, да и не знаю и теперь, или—если зналъ когда-нибудь, то забылъ совершенно. Объ этомъ могутъ лучше меня засвидѣтельствовать—и, можетъ-быть, уже и засвидѣтельствовали гдѣ-нибудь—мои тогдашніе университетскіе товарищи.

Наконецъ, университетъ пройденъ. Въ іюнѣ 1834 года, послѣ выпускныхъ экзаменовъ, мы всѣ, какъ птицы, разлетѣлись въ разныя стороны. Мы съ братомъ уѣхали домой, на Волгу, гдѣ я, проживъ около года, въ 1835 году переѣхалъ въ Петербургъ и остался тамъ навсегда.

Университетскій офиціальный курсъ кончился, но вліяніе университета продолжалось. Потерявъ изъ вида своихъ товарищей-словесниковъ, я не забывалъ профессоровъ и ихъ указаній.

Въ Петербургѣ, тщательно изучая иностранныя литературы, я уже регулировалъ свои занятія по тому методу и по тѣмъ указаніямъ, которые преподали намъ въ университетѣ наши вышеозначенные любимые профессора.

То же самое, конечно, болѣе и лучше меня, дѣлали современные мнѣ студенты: К. Аксаковъ, Станкевичъ, Бодянскій, Сергѣй Строевъ. Не называю ихъ товарищами,

потому что не былъ съ ними знакомъ. Я слыхалъ только тогда, что они, составляя одну группу и занимая одинъ уголъ въ обширной аудиторіи, собирались другъ у друга, читали, мѣнялись мыслями—и едва ли не являлись въ печати уже тогда.

Это, можетъ-быть, покажется страннымъ нынѣшнимъ студентамъ, что мы, собираясь ежедневно въ одной аудиторіи, могли быть другъ съ другомъ незнакомы. Это объясняется очень просто. Тогда студенты не составляли, какъ теперь *), корпораціи и не были ни въ чемъ солидарны между собой, не имѣли никакихъ обязательныхъ другъ къ другу отношеній. Университетъ былъ просто правительственное учрежденіе, открывавшее свои двери для всѣхъ ищущихъ знанія. Мы собирались тамъ, какъ собираются на публичныя лекціи, въ церкви и т. п.

Не было никакой платы съ студентовъ; правительство помогало только, какъ выше сказано, бѣднымъ студентамъ тѣмъ, что давало имъ квартиру и столъ. Стипендій никакихъ не было. Студенты приходили на лекцію и уходили, какъ постороннія другъ другу лица. Никто не заботился о томъ, что̀ тотъ или другой дѣлаетъ дома, чѣмъ онъ живетъ, чѣмъ особенно занимается.

Поэтому у насъ не было никакихъ сходокъ, никакихъ сборовъ въ пользу неимущихъ слушателей и, слѣдовательно, никакой студенческой кассы. Всѣ студенты дѣлились на группы близкихъ между собою товарищей, иногда прежнихъ соучениковъ въ школѣ или случайныхъ знакомыхъ, иногда просто сосѣдей на университетской скамьѣ.

Я сейчасъ упомянулъ о группѣ Станкевича, Строева и другихъ; потомъ была группа казенныхъ студентовъ, семинаристовъ, и много другихъ, мелкихъ кружковъ. Эти группы не сливались между собою, ничто не связывало ихъ другъ съ другомъ. Каждая группа имѣла свой центръ; члены ея

*) Т. е. въ началѣ 70-хъ годовъ.

собирались между собою, вмѣстѣ вели записки лекцій, вмѣстѣ читали книги, готовились къ экзаменамъ—и, конечно, часто вмѣстѣ проводили время внѣ университета.

Студенты были раскиданы по всей обширной Москвѣ, сходились — кто пѣшкомъ, кто въ экипажѣ — на лекціи. Ничто не отвлекало отъ занятій тѣхъ, кто хотѣлъ заниматься, потому что другихъ обязательныхъ занятій, кромѣ лекцій, не было. Никакихъ баловъ, концертовъ, спектаклей, въ пользу неимущихъ слушателей, не давалось; не было сходокъ, студенты не являлись въ роли устроителей и распорядителей означенныхъ увеселеній, также не несли на себѣ заботъ рѣшать вопросъ о пособіяхъ наиболѣе нуждающимся товарищамъ и завѣдывать кассами.

Все было патріархально и просто: ходили въ университетъ, какъ къ источнику за водой, запасались знаніемъ, кто какъ могъ — и, кончивъ свои годы, расходились. Не берусь рѣшать: было ли это лучше, или хуже нынѣшняго. Полагаю, есть своя хорошая и своя дурная сторона медали. Хорошая—та, что студентъ, какъ сказано, не отвлекался ничѣмъ постороннимъ отъ своихъ прямыхъ занятій, что̀ особенно удобно было въ московскихъ уголкахъ и затишьяхъ, отдаленныхъ отъ всякаго шума и суеты. Дурная сторона медали—это равнодушіе къ товарищамъ, изъ которыхъ многіе очевидно боролись съ нуждой. Теперь, кажется, юношеству облегчены средства, не только къ прохожденію курса, но обезпечена поддержка и послѣ, когда не посчастливится кончившему курсъ вскорѣ пристроиться къ какому-нибудь дѣлу.

II.

НА РОДИНѢ.

Вступленіе. Помѣстивъ въ журналѣ статью *изъ университетскихъ воспоминаній* — я сталъ рыться въ своей памяти и въ домашнихъ бумагахъ съ цѣлію, не найду ли что-нибудь въ нихъ возможное для печати. Я захватилъ бумаги съ собой въ Усть-Нарву, на дачу, чтобъ на досугѣ посмотрѣть, нѣтъ ли въ нихъ еще какихъ-нибудь воспоминаній, замѣтокъ, напримѣръ о томъ, что̀ было дальше, что̀ я видѣлъ, что̀ я наблюдалъ и переживалъ по выходѣ изъ университета.

Разбирая бумаги, съ перомъ въ рукѣ, я кое-что отмѣчаю и заношу на бумагу.—«Для чего?» спрашивалъ я и еще спрашиваю теперь себя. Если бы я захотѣлъ похлестаковствовать, я бы сказалъ: «Допѣваю, молъ, на пустынномъ берегу свои лебединыя пѣсни». Но я ничего никогда не пѣлъ и не допѣваю: насмѣшники, чего добраго, разжаловали бы меня изъ лебедя въ какого-нибудь гуся; или спросили бы меня, можетъ-быть, не хочу ли я пріумножить свое значеніе въ литературѣ, внести что-нибудь новое, вѣское?— Это на старости-то лѣтъ? Куда ужъ мнѣ!

Причина, почему я вожу перомъ по бумагѣ, простая, прозаичная, а именно: отъ прогулокъ, морскихъ ваннъ, отъ обѣдовъ, завтраковъ, отъ бездѣйственнаго сидѣнья въ тѣни, на верандѣ, у меня все-таки остается утромъ часа три, которыхъ некуда дѣвать.

Здѣсь, въ Усть-Нарвѣ, живутъ тихо, уединенно, безмятежно. Дачи окружены гдѣ маленькими, гдѣ большими садами, такъ что дачникамъ неизвѣстно, какъ живутъ сосѣди. Дачники, если хотятъ, могутъ встрѣчаться другъ съ другомъ на музыкѣ, которая собираетъ около себя публику, или на морѣ во время купанья, или же на вечернихъ прогулкахъ на морскомъ берегу.

Я на музыку не хожу, въ открытомъ морѣ не купаюсь и встрѣчаюсь съ немногими знакомыми лишь вечеромъ на берегу, когда буйный вѣтеръ не рветъ шляпы съ головы и не бьетъ пескомъ въ лицо. Такимъ образомъ, дачники другъ съ другомъ не сталкиваются на каждомъ шагу, какъ, напримѣръ, около Риги и на другихъ людныхъ приморьяхъ, и другъ другу не мѣшаютъ.

Вотъ въ эти праздные три часа я завѣшиваюсь отъ солнца, въ защиту больныхъ глазъ, и роюсь въ бумагахъ, съ перомъ въ рукахъ. День за днемъ, мало-по-малу, у меня накопилась порядочная кучка писанныхъ листовъ.

Я задумываюсь, что̀ я стану съ ними дѣлать? Бросить жалко, не показавъ никому. Спрашиваю себя: что̀ это такое? и самъ не знаю. Это не мемуары какіе-нибудь, гдѣ обыкновенно описываются историческія лица, событія, и гдѣ требуется строгая фактическая правда: у меня въ жизни и около меня никакихъ историческихъ событій и лицъ не было. Это и не плодъ только моей фантазіи, потому что тутъ есть и правда, и, пожалуй, если хотите, все правда. Фонъ этихъ замѣтокъ, лица, сцены, большею частью типически вѣрны съ натурой, а иныя взяты прямо съ натуры. Кто-то вѣрно замѣтилъ, что археологъ, по какому-нибудь

уцѣлѣвшимъ отъ зданія воротамъ, обломку колонны, дорисовываетъ и самое зданіе, въ стилѣ этихъ воротъ или колонны. И у меня тоже, по одной какой-нибудь выдающейся чертѣ въ характерѣ той или другой личности, или событія, фантазія старается угадывать и дорисовывать остальное Слѣдовательно, напрасно было бы отыскивать въ моихъ лицахъ и событіяхъ то или другое происшествіе, то или другое лицо, къ чему читатели бываютъ наклонны вообще, и при этомъ рѣдко попадаютъ на правду. Всегда больше ошибаются.

Пробѣгая теперь эти мои мелкіе провинціальные наброски стараго времени, я могу выразиться такъ, что все описываемое въ нихъ не столько *было*, сколько *бывало*. Другими словами, я желалъ бы, чтобы въ нихъ искали не голой правды, а *правдоподія*, и буду доволенъ, если таковое найдется. Меня кто-то уже въ печати укорялъ въ привычкѣ обобщать мои лица: это, помнится, было замѣчено съ нѣкоторой ироніей, а между тѣмъ выходитъ какъ-будто комплиментъ. Вѣдь обобщеніе ведетъ къ типичности, а обобщеніе у меня не привычка—а натура...

При свиданіи я покажу друзьямъ эти листки, а они пусть рѣшатъ, безъ всякихъ натяжекъ и безъ всякаго, конечно, лицепріятія—годятся ли они на что-нибудь.

А теперь пока—«еще одно послѣднее сказанье»... Скоро надо убираться съ здѣшняго берега: по вечерамъ становится темно и свѣжо.

Усть-Нарва.
11-го августа 1887 г.

I.

Итакъ, конченъ учебный курсъ: теперь остается, по пословицѣ, пожинать «сладкіе плоды горькихъ корней ученья». Я—свободный гражданинъ міра, передо мной открыты всѣ пути, и между ними первый путь — на родину, домой, къ своимъ.

Я и началъ съ этого пути, который оказался не совсѣмъ легкимъ и удобнымъ. Отъ Москвы до моей родины считается слишкомъ семьсотъ верстъ. На почтовыхъ перемѣнныхъ лошадяхъ, на перекладной телѣжкѣ, это стоило бы рублей полтораста ассигнаціями (полвѣка назадъ иначе не считали) и потребовало-бы дней пять времени.

Заглянувъ въ свой карманъ, я нашелъ, что этой суммы не хватаетъ. Изъ присланныхъ изъ дома денегъ много ушло на новое платье у «лучшаго портного», бѣлье и прочія вещи. Хотѣлось явиться въ провинцію столичнымъ франтомъ.

Ѣхать «на долгихъ», съ какимъ-нибудь возвращающимся изъ Москвы на Волгу порожнимъ ямщикомъ, значило-бы вытерпѣть одиннадцатидневную пытку. Я и терпѣлъ ее прежде, когда еще мальчикомъ ѣзжалъ съ братомъ на каникулы.

Современный путешественникъ не повѣритъ: одиннадцать дней ухлопать на семьсотъ верстъ! Американская поговорка: «Time is money»—до насъ не доходила.

Желѣзныхъ и другихъ быстрыхъ сообщеній, въ родѣ malleposte, не существовало—и я задумывался, какъ быть.

Мнѣ сказали, что есть какой-то дилижансъ до Казани, а оттуда-де рукой подать до моей родины.

Газетныхъ и никакихъ печатныхъ объявленій не было: я узналъ отъ кого-то случайно объ этомъ сообщеніи, и поспѣшилъ по данному адресу въ контору дилижанса, въ дальнюю отъ меня улицу. Конторы никакой не оказалось. На большомъ пустомъ дворѣ стояло нѣсколько простыхъ, обитыхъ рогожей кибитокъ и одна большая бричка на двухъ длинныхъ дрогахъ вмѣсто рессоръ.

— Гдѣ же дилижансъ? — спросилъ я мужика, подмазывавшаго колеса одной кибитки.

— Какой дилижансъ, куда? — спросилъ онъ въ свою очередь

— Въ Казань.

— А вотъ этотъ самый! — указалъ онъ на большую бричку.

— Какой же это дилижансъ: тутъ едва трое помѣстятся!— возражалъ я.

— Втроемъ и ѣздятъ, а четвертый рядомъ съ кучеромъ... Спросите приказчика: вонъ онъ въ окно глядитъ! — прибавилъ онъ, указывая на маленькій деревянный домикъ, въ родѣ избы.

Я вошелъ въ комнату.

— Я желалъ бы ѣхать въ дилижансѣ въ Казань,—сказалъ я приказчику.

— Можно, — лѣниво отвѣчалъ онъ, доставая съ полки тетрадь.

— А когда ходитъ дилижансъ?

— Неизвѣстно: дня опредѣлить не можемъ.

— Какъ такъ: дилижансы ходятъ вездѣ въ назначенные [illegible]

— Вотъ, у насъ когда наберется четверо проѣзжихъ, [illegible] пущаемъ. Одна барынька уже записалась: вотъ [illegible] запишетесь—какъ только двоихъ еще подождемъ, [illegible] хошь одного.

[illegible] отпустилъ.

[illegible] дожидайтесь: можетъ-быть, и скоро тронемся!— [illegible] — въ эту пору, на лѣто, много народу [illegible]

[illegible] время особенно дорого не было, то я и [illegible] счастье, не прошло и трехъ дней, какъ [illegible] спутчикъ, и мы тронулись, тѣснясь [illegible] четвертаго спутника не было. Багажъ [illegible] на дрогахъ, сзади, частью на верху [illegible]

[illegible] путешествіе было не безъ пытки. [illegible] июльская. Лошади двигались лѣни-

вой рысью, отмахиваясь хвостами отъ оводовъ. Насъ на первыхъ же порахъ покрыла густая пыль, вздымаемая нашимъ «дилижансомъ» и другими встрѣчными и обгонявшими насъ бричками и телѣгами.

Намъ троимъ сидѣть было тѣсно. Я скромно жался въ свой уголъ, опираясь на локоть. Другую руку, и отчасти ногу, я выставлялъ наружу, чтобы дать больше простора пассажиркѣ. Она старалась завоевать себѣ побольше мѣста, безпрестанно просила не упираться сапогами въ стоявшую въ ногахъ картонку со шляпкой. Въ головахъ, за подушками, у ней помѣщался какой-то коробокъ—кажется, съ провизіей.

Третій пассажиръ, купецъ, возвращавшійся изъ Москвы, не сдавался, сидѣлъ не бокомъ, а прямо, и занималъ одинъ почти половину брички.

Отъ этой тѣсноты мы въ первый же день возненавидѣли другъ друга, глядѣли въ разныя стороны и не говорили между собой.

— Подвиньтесь, вы мнѣ на ногу «шѣли» (вмѣсто «сѣли»)!—шепелявила барынька.

— Куда прикажете подвинуться? Радъ бы выкинуть ноги на дорогу, да боюсь, подберетъ кто-нибудь, послѣ не найдешь!—острилъ купецъ.

— Охъ!—стонала она и отъ жара, и отъ тѣсноты.

Я улыбался въ сторону.

Барынька ѣхала на уральскіе заводы какой-то смотрительницей, чего—не знаю,—и все охала о предстоящемъ ей еще впереди длинномъ пути. Она боялась разбойниковъ и грозы, или «грожи», по ея выговору.

На ея бѣду, на третьи сутки, вдругъ по дорогѣ понесся намъ навстрѣчу столпъ пыли, крутя и вертя все по пути; налетѣлъ и на насъ. Сталъ брызгать дождь.

— «Шлава» Богу, что «бежъ грожи»!—сказала барынька, крестясь. Но въ ту же минуту блеснула молнія, и вслѣдъ за нею раздался ужасный громовой ударъ.

— Охъ!—простонала наша спутница, крестясь вторично.

Купецъ посмотрѣлъ на нее, что̀ она, а я отвернулся и засмѣялся въ пространство. Но тѣмъ все и кончилось. Вихрь умчался, и солнце стало опять печь.

По лицамъ у насъ струями лился потъ, пыль липла къ струямъ и изукрасила насъ узорами. Въ первыя же сутки мы превратились въ какихъ-то отаитянъ. На второй день совсѣмъ почернѣли, а на третій и четвертый на щекахъ у насъ пробивался зеленоватый румянецъ.

Подъѣзжая къ Казани, мы говорили ужъ не своими голосами, и не безъ удовольствія разстались, сипло пожелавъ другъ другу всякаго благополучія.

Такъ полвѣка назадъ двигались мы по нашимъ дорогамъ! Только лѣтъ черезъ двѣнадцать послѣ того появились между Петербургомъ и Москвою первые мальпосты, перевозившіе пассажировъ съ неслыханною дотолѣ быстротою: въ двое съ половиною сутокъ. Въ 1849 году я катился изъ Петербурга уже этимъ великолѣпнымъ способомъ. А затѣмъ, возвращаясь въ 1855 году черезъ Сибирь изъ кругосвѣтнаго плаванія, я ѣхалъ изъ Москвы по николаевской желѣзной дорогѣ: каковъ прогрессъ!

Въ Казани я пробылъ день, осмотрѣлъ крѣпостныя стѣны, Сумбекину башню, зашелъ на университетскій дворъ, къ памятнику Державина, потомъ посѣтилъ нѣсколько мечетей, походилъ по горбатымъ улицамъ города, по Арскому полю, и на другой день, на почтовыхъ, на-легкѣ, на перекладной телѣжкѣ, покатилъ на родину. Тутъ всего сутки ѣзды. Но покатилъ съ препятствіями. Дорожныя испытанія еще не кончились. Меня все преслѣдовалъ зной, этотъ бичъ путешественниковъ, не только въ открытой телѣжкѣ, но, какъ я извѣдалъ потомъ, и въ вагонахъ, и на кораблѣ. Сколько разъ онъ, буквально, допекалъ меня въ жизни, но никогда такъ назойливо и злобно, какъ на этомъ 180-ти-верстномъ разстояніи! Солнцу угодно было зажарить меня, и оно жа-

рило; особенно это чувствовалось послѣ ванны, взятой въ Казани.

Въ полдень не стало мочи терпѣть: куда бы нибудь да укрыться! Наконецъ пріѣхали въ какой-то городишко—если не ошибаюсь, въ Буинскъ, гдѣ надо было мѣнять лошадей. Ямщикъ подвезъ меня было къ станціонной избушкѣ, безъ двора, безъ сѣней, которую со всѣхъ сторонъ пожирали солнечные лучи.

— Поставь меня съ телѣгой куда-нибудь въ тѣнь!—просилъ я ямщика:—тутъ сгоришь!

Онъ ввезъ меня подъ навѣсъ постоялаго двора напротивъ станціи. Я чуть не обнялъ благодѣтеля. Такъ отраденъ мнѣ былъ навѣсъ двора, даже съ запахомъ навоза.

Я сидѣлъ еще въ телѣжкѣ, одурѣлый отъ жара, томимый не столько голодомъ, сколько жаждой. Не прошло и десяти минутъ, какъ на дворъ вбѣжалъ впопыхахъ маленькій человѣчекъ, въ военной или полицейской форменной фуражкѣ и сюртукѣ.

— Козловъ! Козловъ! Гдѣ ты, подлецъ?—кричалъ онъ сердито на весь дворъ. Изъ дома, по деревянной, крытой лѣстницѣ, на этотъ голосъ, проворно сбѣжалъ мужикъ въ красной рубашкѣ, съ большимъ ключомъ на поясѣ.

— Здѣсь, ваше высокоблагородіе, здѣсь!—торопливо отозвался онъ.

— Къ тебѣ въѣхалъ пріѣзжій,—съ гнѣвомъ продолжалъ офицеръ:—а ты и ухомъ не ведешь, не даешь знать въ полицію! а? Ты знаешь, какъ строго приказано?

— Да они на почтовыхъ ѣдутъ: ко мнѣ только сейчасъ подъ навѣсъ стали...

— Врешь, врешь, подлецъ! Ямщикъ сказывалъ, что проѣзжій обѣдать здѣсь будетъ! Первымъ твоимъ дѣломъ, подлецъ, потребовать отъ проѣзжаго видъ и представить въ полицію.

Онъ сталъ грозить пальцемъ. Я сошелъ съ телѣги, вы-

нулъ изъ кармана свой университетскій отпускной билетъ и подалъ сердитому господину.

— Вотъ мой билетъ! — сказалъ я ему. — Я только-что въѣхалъ и черезъ часъ ѣду дальше.

Старикъ надѣлъ очки, взглянулъ пристально на меня, потомъ на билетъ.

— А куда изволите ѣхать?

Я сказалъ ему.

— Извольте получить вашъ видъ: онъ въ порядкѣ.

— Не вините его,—заступился я за хозяина:—онъ даже не видалъ меня и моей телѣжки.

— Нѣтъ, нѣтъ, онъ подлецъ! Онъ долженъ смотрѣть въ оба: мало ли кто къ нему заѣдетъ! Полиція обо всѣхъ должна знать!

Тѣмъ бы, кажется, все и должно кончиться. Но городничій — это былъ самъ городничій, какъ я узналъ послѣ отъ хозяина — прибавилъ къ нашему разговору такое необыкновенное заключеніе, что читатель, пожалуй, не повѣритъ, подумаетъ, что я сочинилъ этотъ шаржъ.

— Можетъ-быть, вы зарѣзали вашихъ родителей и бѣжали!—выпалилъ онъ.

Я остолбенѣлъ отъ этой гиперболы и не нашелся, что ему сказать. Ѣдучи дальше, я объяснилъ ее себѣ догадкою, что вѣроятно въ служебной практикѣ городничаго былъ подобный случай, потому что выдумать этого нельзя даже и въ шутку.

Къ вечеру на пути ожидалъ меня другой сюрпризъ. Зной уступилъ мѣсто духотѣ, небо заволокло черными тучами покрывшими тьмою поля, лѣса, дорогу. Въ восемь часовъ началась гроза, или «грожа», по выговору барыньки, но такая жестокая, классическая гроза, какую я послѣ видалъ въ тропическихъ широтахъ.

Тьма уступила мѣсто нестерпимому и непрестанному, безъ промежутковъ, блеску молніи, съ перекатами непрерывнаго

же грома. Мы ѣхали между двухъ стѣнъ сплошного лѣса. Узкая полоса дороги, отъ ливня, часа черезъ два образовала корыто мягкаго тѣста изъ чернозема. Лошади вязли по колѣно и едва вытаскивали ноги. Рысь смѣнилась шагомъ, который становился все медленнѣе. Отъ блеска лошади вздрагивали и останавливались, какъ одурѣлыя.

У ямщика оказались двѣ рогожи: въ одну онъ завернулся, какъ барыня въ шаль, а другую далъ мнѣ. Я прикрылъ ею не себя, а чемоданъ, чтобы дождь не подмочилъ мои московскія обновки. А самъ отдалъ на жертву дождю свою «непромокаемую», но промокавшую камлотовую шинель и университетскій поношенный сюртукъ съ малиновымъ воротникомъ, теперь мнѣ уже не нужный.

Мы еще съ часъ или полтора шлепали по дорогѣ, ожидая, что гроза стихнетъ. Но лошади останавливались все чаще и чаще, а гроза не только не унималась, а еще будто разыгрывалась сильнѣе.

— Баринъ! Надо заѣхать переждать, — предложилъ ямщикъ:—кони, того-гляди, станутъ совсѣмъ, ничего съ ними не подѣлаешь: вò, какъ боятся!

— Куда же заѣхать?

— А вотъ туточка, сичасъ у дороги, татарская деревушка будетъ: туда и заѣдемъ. Переждемъ малость! Который часъ таперича?

— Полночь!—сказалъ я:—ну, заѣзжай! Да какъ ты проѣдешь? тутъ все широкая канава вдоль дороги идетъ.

— Тамъ есть мостикъ, соломенный онъ: кабы въ темень, такъ, пожалуй, провалишься въ канаву — онъ хворостомъ крытъ, да сверху соломки накидано: только слава, что мостъ! А таперича, молонье-то вонъ какое (ухъ! какъ «жгётъ!»): свѣтло, переберемся какъ-нибудь.

Мы такъ и сдѣлали, перебрались. Ямщикъ чуть не въ самыя окна одной избушки всадилъ оглобли. Онъ сталъ стучать кнутомъ въ окна и въ ворота. Долго никто не от-

зывался, хотя при блескѣ молніи мы видѣли въ окнахъ людей. — Отоприте, отворите! — кричали мы, какъ Ваня въ «Жизни за Царя».

Послѣ нѣкоторыхъ переговоровъ о томъ, кто мы и что намъ нужно, насъ впустили въ избу, внесли туда же мой чемоданъ, подушку, саквояжъ, а телѣгу и лошадей укрыли подъ навѣсъ. Въ избѣ оказалось человѣкъ пять рослыхъ татаръ.

— Отчего такъ долго не пускали?—спросилъ я.

— Боялись!—говорятъ.

— Чего?

— А не знаемъ, бачка, какіе люди стучатъ. Вчера ночью воры пришли, стучали, много стучали: мы не пустали и сами спрятались.

— Васъ тутъ пятеро—и боялись! Почемъ вы знали, что вчера воры были?

— Мы знаемъ ихъ, бачка: знакомые!

Когда зажгли огонь, я хотѣлъ лечь на лавку, но сейчасъ же увидѣлъ, что это невозможно. Лавки, столъ и отчасти стѣны, все будто шевелилось отъ сплошной массы тараканов. На лавку даже нельзя было сѣсть — она была точно живая.

Да и напрасна была затѣя уснуть. Вся избушка тряслась отъ раскатовъ грома. Наружи дождь шумѣлъ, какъ водопадъ. Оттого и татары всѣ были на ногахъ, не спали. Увидя у нихъ большой самоваръ, я велѣлъ поставить, досталъ дорожный запасъ и сталъ пить чай. Такъ прошло время до разсвѣта. Около пяти часовъ утра, мы пустились въ путь—гроза еще не кончилась совсѣмъ. Туча удалялась впередъ отъ насъ, а сзади великолѣпно блистало солнце. Впереди видно было, какъ молнія, теперь, при солнцѣ, уже безъ блеска, падала бѣлыми зигзагами на нивы, до насъ доходили слабые удары грома. Другую такую грозу, повторяю, продолжительную и жестокую, я помню, видѣлъ только

въ Японіи, когда мы съ фрегатомъ стояли на Нагасакскомъ рейдѣ.

Не знаю, что̀ стало бы съ моей спутницей-барынькой, въ такую «грозу».

Послѣ грозы, казалось бы, воздухъ долженъ освѣжиться, но, противъ обыкновенія, онъ точно накалился—и остальную сотню верстъ я добирался почти безъ сознанія, точно спалъ, пріѣхалъ домой въ видѣ каленаго орѣха и только дня черезъ два принялъ свой обыкновенный видъ.

II.

Меня охватило, какъ паромъ, домашнее баловство. Многіе изъ читателей, конечно, испытывали сладость возвращенія, послѣ долгой разлуки, къ роднымъ, и поймутъ, что я на первыхъ порахъ весь отдался сладкой нѣгѣ ухода, внимательности. Домашніе не даютъ пожелать чего-нибудь: все давно готово, предусмотрѣно. Кромѣ семьи, старые слуги, съ нянькой во главѣ, смотрятъ въ глаза, припоминаютъ мои вкусы, привычки, гдѣ стоялъ мой письменный столъ, на какомъ креслѣ я всегда сидѣлъ, какъ постлать мнѣ постель. Поваръ припоминаетъ мои любимыя блюда — и всѣ не наглядятся на меня.

Домъ у насъ былъ, что называется, полная чаша, какъ впрочемъ было почти у всѣхъ семейныхъ людей въ провинціи, не имѣвшихъ по близости деревни. Большой дворъ, даже два двора, со многими постройками: людскими, конюшнями, хлѣвами, сараями, амбарами, птичникомъ и баней. Свои лошади, коровы, даже козы и бараны, куры и утки — все это населяло оба двора. Амбары, погреба, ледники переполнены были запасами муки, разнаго пшена и всяческой провизіи для продовольствія нашего и обширной дворни. Словомъ, цѣлое имѣніе, деревня.

Кромѣ нашей семьи, т.-е. моей матери, сестеръ и брата, оставшагося въ Москвѣ въ университетѣ, по болѣзни, еще

на годъ, у насъ въ домѣ проживалъ одинъ отставной морякъ. Назову его Якубовъ. Выйдя въ отставку, онъ пріѣхалъ въ свою деревню, или деревни: у него ихъ было двѣ, съ тремя стами душъ крестьянъ въ обѣихъ, верстахъ въ полутораста отъ города. Но одинокому холостяку вскорѣ наскучило тамъ: сельскаго хозяйства онъ не понималъ и не любилъ, и онъ переселился въ губернскій городъ.

Губернскіе города, подальше отъ столицы, были, до желѣзныхъ дорогъ, оживленными центрами общественной жизни. Помѣщики съ семействами, по дальнему разстоянію отъ Москвы, проводили зиму въ своемъ губернскомъ городѣ. Наша губернія особенно славилась отборнымъ обществомъ родовитыхъ и богатыхъ дворянъ.

Якубовъ случайно замѣтилъ красивый, свѣтлый и уютный деревянный флигель при нашемъ довольно большомъ каменномъ домѣ, выходившемъ на три улицы — и нанялъ его, не предвидя, что проживетъ въ немъ почти полвѣка и тамъ умретъ.

Якубовъ былъ крестнымъ отцомъ насъ четверыхъ дѣтей. По смерти нашего отца, онъ болѣе и болѣе привыкалъ къ нашей семьѣ, потомъ принялъ участіе въ нашемъ воспитаніи. Это занимало его, наполняло его жизнь. Добрый морякъ окружилъ себя нами, принялъ насъ подъ свое крыло, а мы привязались къ нему дѣтскими сердцами, забыли о настоящемъ отцѣ. Онъ былъ лучшимъ совѣтникомъ нашей матери и руководителемъ нашего воспитанія.

Якубовъ былъ вполнѣ просвѣщенный человѣкъ. Образованіе его не ограничивалось техническими познаніями въ морскомъ дѣлѣ, пріобрѣтенными въ морскомъ корпусѣ. Онъ дополнялъ его непрестаннымъ чтеніемъ—по всѣмъ частямъ знанія, не жалѣлъ денегъ на выписку изъ столицъ журналовъ, книгъ, брошюръ. Какъ, бывало, прочитаетъ въ газетѣ объявленіе о книгѣ, которая, по заглавію, покажется ему интересною, сейчасъ посылаетъ требованіе въ столицу. Ро-

мановъ и вообще беллетристики онъ не читалъ и зналъ всѣхъ тогдашнихъ крупныхъ представителей литературы больше по наслышкѣ. Выписывалъ онъ книги историческаго, политическаго содержанія и газеты.

По смерти нашего отца, состарѣвшись, онъ изъ флигеля перешелъ въ большой каменный домъ и занялъ половину его.

Якубовъ сталъ совершеннымъ семьяниномъ у насъ, сдѣлался хотя и faux père de famille, но своею привязанностью къ намъ, умными совѣтами, заботливымъ руководствомъ нашего воспитанія и образованія, превосходилъ и родного отца.

Это не рѣдко бываетъ. Добровольно взятое на себя иго— уже не иго: оно легче и охотнѣе переносится, особенно когда подкладкой ему служитъ симпатія. Мы всегда охотнѣе даемъ то, чего отъ насъ не требуютъ и чего мы не обязаны давать. Въ этомъ и весь секретъ.

Мать наша, благодарная ему за трудную часть взятыхъ на себя заботъ о нашемъ воспитаніи, взяла на себя всѣ заботы о его житьѣ-бытьѣ, о хозяйствѣ. Его дворня, повара, кучера слились съ нашей дворней, подъ ея управленіемъ—и мы жили однимъ общимъ домомъ. Вся матеріальная часть пала на долю матери, отличной, опытной, строгой хозяйки. Интеллектуальныя заботы достались ему

Я останавливаюсь на этомъ старикѣ, потому что онъ заслуживаетъ вниманія, не только какъ представитель своего времени вообще, но и какъ человѣкъ въ особенности.

Мать любила насъ не тою сентиментальною, животною любовью, которая изливается въ горячихъ ласкахъ, въ слабомъ потворствѣ и угодливости дѣтскимъ капризамъ, и которая портитъ дѣтей. Она умно любила, слѣдя неослабно за каждымъ нашимъ шагомъ, и съ строгою справедливостью распредѣляла поровну свою симпатію между всѣми нами четырьмя дѣтьми. Она была взыскательна и не пропускала

безъ наказанія или замѣчанія ни одной шалости, особенно если въ шалости крылось зерно будущаго порока. Она была неумолима.

Зато Петръ Андреевичъ Якубовъ, заступившій намъ мѣсто отца, былъ отецъ-баловникъ. Это имѣло ту хорошую сторону, что смягчало строгую систему материнскаго надъ нами контроля. Баловство — не до глупой слабости, не до излишества — также необходимо въ дѣтскомъ воспитаніи. Оно порождаетъ въ дѣтскихъ сердцахъ благодарность и другія добрыя, нѣжныя чувства. Это своего рода практика въ сферѣ любви, добра. Сердце, какъ и умъ, требуетъ развитія.

Бывало, нашалишь что-нибудь: влѣзешь на крышу, на дерево, увяжешься за уличными мальчишками въ сосѣдній садъ, или съ братомъ заберешься на колокольню — она узнаетъ и пошлетъ человѣка привести шалуна къ себѣ. Вотъ тутъ-то и спасаешься въ благодѣтельный флигель, къ «крестному». Онъ ужъ знаетъ, въ чемъ дѣло. Является человѣкъ или горничная, съ зовомъ: — Пожалуйте къ маменькѣ! — «Пошелъ», или «пошла вонъ!» — лаконически командуетъ морякъ. Гнѣвъ матери между тѣмъ утихаетъ — и дѣло ограничивается выговоромъ, вмѣсто дранья ушей и стоянія на колѣняхъ, что̀ было въ наше время весьма распространеннымъ средствомъ смирять и обращать шалуновъ на путь правый.

У Якубова былъ отличный поваръ и кромѣ того особый кондитеръ. Иногда онъ оставлялъ насъ обѣдать, и тутъ ужъ всякому кормленію и баловству не было конца. Былъ у него, между прочимъ, особый шкапчикъ, полный сластей — собственно для насъ.

Со мной онъ, ежедневно катаясь по городу для воздуха, заѣзжалъ еще въ разныя лавки и накупалъ также сластей, игрушекъ и всякихъ пустяковъ, нужды нѣтъ, что дома всего этого было вдоволь и давалось намъ регулярно. Мать обык-

новенно отбирала всѣ эти гостинцы, если мы не успѣвали потребить ихъ, и воевала съ баловникомъ.

Если онъ самъ не купитъ, то дастъ мелкихъ денегъ, чтобы мы распорядились, какъ хотимъ. И это отбиралось отъ насъ, а если мать не замѣчала, мы накупали всякой дряни: бобовъ, стручковъ, моченой груши и тому подобныхъ, строго запрещенныхъ намъ, уличныхъ лакомствъ, и втихомолку съѣдали. Выдаваемыя ежедневно по порціямъ сласти насъ не удовлетворяли: слаще всякаго варенья казался излишекъ, да еще запретный.

Курьезно, что когда я пріѣхалъ по окончаніи университетскаго курса, онъ не успѣлъ поздороваться, велѣлъ заложить «тарантасъ» (въ родѣ длинной линейки съ подножкой), какъ всегда дѣлалъ, когда я пріѣзжалъ на каникулы мальчикомъ, и повезъ-было, попрежнему, въ кондитерскія и другія лавки со сластями. Я засмѣялся, и онъ тоже, когда я спросилъ, гдѣ продается лучшій табакъ.

Изъ всѣхъ насъ четверыхъ я былъ самымъ близкимъ сопутникомъ и собесѣдникомъ моряка. Братъ, старше меня года на три, былъ бойкимъ, до нельзя шаловливымъ гимназистомъ, и эмансипировался отъ домашняго режима.

III.

Петръ Андреевичъ, или «крестный», какъ мы и всѣ въ домѣ звали Якубова, учился въ Петербургѣ, въ морскомъ кадетскомъ корпусѣ, и въ царствованіе Екатерины выпущенъ во флотъ, въ морскую артиллерію. — Намъ велѣли представиться Потемкину,—разсказывалъ онъ мнѣ:—мы всѣ безусые, безбородые, 18-ти или 19-ти-лѣтніе мальчики, въ новенькихъ офицерскихъ мундирахъ, явились къ нему во дворецъ. Въ залѣ много ждало важныхъ лицъ: ихъ звали по очереди къ нему. Наконецъ дошло до насъ. Насъ ввели въ кабинетъ и вытянули въ шеренгу у дверей. Потемкинъ лежалъ на диванѣ: около него сидѣли на креслахъ и стояли

нѣсколько лицъ. Онъ посмотрѣлъ на насъ пристально и обратился къ присутствующимъ: — «Каковы! — сказалъ онъ гнусливо, кивая на насъ: — вотъ съ какими поросятами я долженъ служить!» — Онъ усмѣхнулся и другіе тоже, потомъ махнулъ намъ рукой, чтобы шли вонъ.

Якубовъ участвовалъ въ кампаніи противъ французовъ. Суворовъ пожиналъ лавры на сушѣ, переходилъ Альпы, а флотъ нашъ блокировалъ Италію съ моря.

Теперь не помню, долго ли служилъ Якубовъ во флотѣ и когда онъ вышелъ въ отставку. Знаю только, что онъ пріѣхалъ на Волгу, въ свое имѣніе, въ чинѣ капитанъ-лейтенанта, съ владимірскимъ крестомъ, и, поселившись въ губернскомъ городѣ, спустя нѣкоторое время, вступилъ въ гражданскую службу совѣтникомъ, кажется, губернскаго правленія. Я сталъ знать, помнить и любить его съ семилѣтняго возраста, а это было въ двадцатыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія. Онъ уже былъ въ чистой отставкѣ.

Когда Якубовъ явился въ провинцію, онъ былъ еще не старымъ человѣкомъ. Онъ сблизился съ тогдашнимъ дворянскимъ кругомъ и рѣшительно завоевалъ себѣ общую симпатію и уваженіе. Это былъ чистый самородокъ честности, чести, благородства и той прямоты души, которою славятся моряки, и притомъ съ добрымъ, теплымъ сердцемъ. Все это хорошо выражается англійскимъ словомъ «джентльменъ», котораго тогда еще не было въ русскомъ словарѣ. Въ обращеніи онъ былъ необыкновенно привѣтливъ, а съ дамами до чопорности вѣжливъ и любезенъ.

Онъ былъ вездѣ принятъ съ распростертыми объятіями, его ласкали, не давали быть одному. И у себя онъ давалъ часто обѣды, ужины, на которыхъ нерѣдко присутствовали и дамы. Я помню, хотя былъ еще маленькій, какъ у него было шумно, весело, какъ изъ флигеля разносились по двору громкіе голоса, какъ прыгали пробки въ потолокъ. Когда забѣжишь во флигель — а забѣжишь всегда, когда

были гости — послѣдніе наперерывъ ласкаютъ, накормятъ пирожнымъ, мороженымъ, дадутъ шампанскаго, словомъ, избалуютъ до-нельзя.

Такъ продолжалось, должно быть, лѣтъ десять, т.-е. такое свѣтское, широкое и гостепріимное житье-бытье. У него даже былъ свой романъ. Онъ влюбился въ одну молодую, красивую собой графиню. Объ этомъ онъ мнѣ разсказалъ уже послѣ, когда я пришелъ въ возрастъ, но не сказалъ: раздѣляла ли она его склонность. Онъ говоритъ только, что у него явился соперникъ, нѣкто богатый, молодой помѣщикъ Ростинъ. Якубовъ стушевался, уступилъ.

— Отчего же вы не искали ея руки? — спросилъ я, недовольный такой прозаической развязкой.

— Оттого, мой другъ, что онъ могъ устроить ея судьбу лучше, нежели я. У меня какихъ-нибудь триста душонокъ, а у него двѣ тысячи. Такъ и вышло. Я самъ желалъ этого. Оба они счастливы, и слава Богу! — Онъ подавлялъ легкій вздохъ.

И дѣйствительно такъ было. Я зналъ эту графиню, бывалъ у Ростина, жившаго гостепріимно и открыто, въ его недалекой отъ города деревнѣ. Въ то время, когда онъ мнѣ это разсказывалъ, графиня была уже пожилая женщина, но все еще со слѣдами красоты, мать взрослыхъ дѣтей. Якубовъ говорилъ съ ней и о ней не иначе, какъ съ нѣжною почтительностью — и былъ искреннимъ другомъ ея мужа и всей семьи.

Потомъ я не знаю, какъ онъ жилъ до своей старости. Съ 1822 года меня отвезли учиться въ Москву. Лѣтомъ на короткое время я пріѣзжалъ, и потомъ изъ университета, на каникулы домой и находилъ все того же ласковаго, безмѣрно добраго отца и друга. Онъ постепенно старѣлъ, а мы съ братомъ являлись домой уже юношами. Ласки, баловство, подарки — такъ и лились на насъ до смѣшного. Живи онъ до сихъ поръ, я думаю онъ и теперь повезъ бы меня въ кондитерскую покупать конфеты.

Но по мѣрѣ того, какъ онъ старѣлъ, а я приходилъ въ возрастъ, между мной и имъ установилась—съ его стороны передача, а съ моей—живая воспріимчивость его серьезныхъ техническихъ познаній въ чистой и прикладной математикѣ. Особенно ясны и неоцѣненны были для меня его бесѣды о математической и физической географіи, астрономіи, вообще космогоніи, потомъ навигаціи. Онъ познакомилъ меня съ картой звѣзднаго неба, наглядно объяснялъ движеніе планетъ, вращеніе земли, все то, чего не умѣли или не хотѣли сдѣлать мои школьные наставники. Я увидѣлъ ясно, что они были дѣти передъ нимъ въ этихъ техническихъ, преподанныхъ мнѣ имъ урокахъ. У него были нѣкоторые морскіе инструменты, телескопъ, секстантъ, хронометръ. Между книгами у него оказались путешествія всѣхъ кругосвѣтныхъ плавателей, съ Кука до послѣднихъ временъ.

Я жадно поглощалъ его разсказы и зачитывался путешествіями. «Ахъ, если бы ты сдѣлалъ хоть четыре морскія кампаніи (морскою кампаніею считается каждые полгода, проведенные въ морѣ), то-то бы порадовалъ меня!» — говаривалъ онъ часто въ заключеніе нашихъ бесѣдъ. Я задумывался въ отвѣтъ на это: меня тогда уже тянуло къ морю, или по крайней мѣрѣ къ водѣ. Если бы онъ предвидѣлъ, что современемъ я сдѣлаю пять кампаній—да еще кругомъ свѣта!

Поддаваясь мистицизму, можно, пожалуй, подумать, что не одинъ случай только далъ мнѣ такого наставника — для будущаго моего дальняго странствія. Впрочемъ, помимо этого, меня нерѣдко манили куда-то вдаль широкіе разливы Волги, со множествомъ плавающихъ, какъ лебеди, бѣлыхъ парусовъ. Я цѣлые часы мечтательно, еще ребенкомъ, вглядывался въ эту широкую пелену водъ.

И по пріѣздѣ въ Петербургъ, во мнѣ уживалась страсть къ водѣ. Разсказы ли «крестнаго», вмѣстѣ съ прочитан-

ными путешествіями, или широкое раздолье волжскихъ водъ, не знаю что̀, но только страстишка къ морю жила у меня въ душѣ. Гуляя по Васильевскому Острову, я съ наслажденіемъ заглядывался на иностранныя суда и нюхалъ запахъ смолы и пеньковыхъ канатовъ. Я прежде всего поспѣшилъ, по пріѣздѣ въ Петербургъ, посѣтить Кронштадтъ и осмотрѣть тамъ море и все морское.

Якубовъ происходилъ отъ старой дворянской фамиліи, но онъ былъ аристократъ, баринъ — больше въ душѣ. Старые дворянскіе роды онъ ставилъ высоко, къ другимъ сословіямъ относился только снисходительно.

— Здравствуй, старина! — говорилъ онъ попросту, въ отвѣтъ на почтительный поклонъ какого-нибудь купца, или:— здравствуйте, отецъ!—привѣтствовалъ онъ священника. Напротивъ, съ людьми своего круга, онъ, при встрѣчѣ на улицѣ, здоровался, съ близко знакомыми фамильярно, дружески, перекидывался нѣсколькими словами, шуткой, передъ менѣе знакомыми вѣжливо приподнималъ фуражку, а передъ дамами обнажалъ всю голову.

Пріѣзжая послѣ, въ мои университетскія каникулы, я сталъ замѣчать, что посѣтители у него становились рѣдки, а самъ онъ не выѣзжалъ никуда, совершая только свои ежедневныя прогулки въ экипажѣ, «для воздуха», непремѣнно со мной.

Я видѣлъ, что онъ и на прогулкахъ сталъ избѣгать встрѣчъ, даже съ близкими его знакомыми. Отъ прочихъ онъ скрывался, сколько могъ. На мой вопросъ:

— Отчего это? — онъ сказалъ просто: — «на старости лѣтъ—отвыкъ отъ людей, да и пострѣловъ тутъ не мало!»— Между тѣмъ, при встрѣчѣ на улицѣ, или если кто успѣетъ проникнуть къ нему въ домъ, онъ обойдется любезно и радушно.

Иногда выходили по этому поводу забавныя сцены. Пріѣдетъ, напримѣръ, гость, спроситъ:—«Дома ли?»—Человѣкъ

побѣжитъ въ обходъ по коридору доложить. — «Владиміръ Васильевичъ»,—скажетъ онъ; или:—«графъ Сергѣй Петровичъ». Якубовъ, вмѣсто отвѣта, энергически молча показываетъ человѣку два кулака. Человѣкъ скроется въ коридоръ и ждетъ въ нерѣшительности, не зная, что дѣлать. Въ передней гость ждетъ отвѣта, а въ кабинетѣ барскіе кулаки, которыхъ, впрочемъ, онъ въ ходъ никогда не пускалъ. Гость, между тѣмъ, наскучивъ ждать, сброситъ съ себя шинель или шубу (пальто тогда не было извѣстно) и идетъ въ залу, потомъ въ гостиную, и, наконецъ, отворяетъ дверь въ кабинетъ.

— А! графъ Сергѣй Петровичъ, милости прошу! — радушно привѣтствуетъ его морякъ: — садитесь, вотъ здѣсь! Эй, малый!—крикнетъ человѣку:—скажи, чтобъ намъ дали закуску сюда, да позавтракать что-нибудь.

Въ провинціи, по крайней мѣрѣ въ то время, посѣтителямъ непремѣнно предлагалось угощеніе: утромъ закуска, вино; послѣ обѣда—сласти.

Слугѣ потомъ не было ни выговора, ни замѣчанія. Гнѣвъ Якубова бывалъ всегда мгновенной, быстро потухавшей вспышкой.

Катаясь тоже со мной по городу, онъ издали иногда завидитъ ѣдущаго въ экипажѣ, или идущаго навстрѣчу знакомаго.

— Не гляди туда, отвернись! — шопотомъ предупредитъ меня, и самъ съ юношескимъ проворствомъ перекинется черезъ сидѣнье на другую сторону линейки.

Между близкими его знакомыми я помню особенно двухъ стариковъ, его сверстниковъ, жившихъ почти безвыѣздно по своимъ деревнямъ. Одинъ былъ Ѳедоръ Петровичъ Козыревъ, а другой — Андрей Герасимовичъ Гастуринъ. Они пріѣзжали въ губернскій городъ въ три года разъ на дворянскіе выборы, но совсѣмъ не затѣмъ, чтобы ихъ выбирали, а, напротивъ, чтобъ не выбирали.

— Когда мы хотимъ повидаться съ ними, — сказывалъ мнѣ предводитель дворянства, Бравинъ:—стóитъ только написать имъ, что ихъ намѣрены баллотировать: сейчасъ же оба бросятъ свои захолустья и пріѣдутъ просить, чтобъ не выбирали.

Я зналъ и любилъ этихъ обоихъ сверстниковъ моего «крестнаго». Это были такіе же добрые, ласковые баловники-старички. Къ первому изъ нихъ я, проѣзжая домой на каникулы, уже студентомъ, сворачивалъ верстъ пятнадцать въ сторону съ большой дороги и проводилъ у него по два и по три дня. У него была прелестная усадьба, т.-е. собственно господскій домъ, окруженный обширнымъ садомъ, во вкусѣ временъ Людовика XIV, съ стриженными аллеями, каскадами, бесѣдками, нимфами и другими затѣями, конечно, въ миніатюрѣ, впрочемъ, значительно запущенный и заброшенный. Болѣе всего занимала меня большая библіотека — все французскихъ книгъ. Козыревъ былъ поклонникъ Вольтера и всей школы энциклопедистовъ, и самъ смотрѣлъ маленькимъ Вольтеромъ, острымъ, саркастическимъ — какъ многіе тогда поклонники Вольтера. Духъ скептицизма, отрицанія свѣтился въ его насмѣшливыхъ взглядахъ, улыбкѣ и сверкалъ въ рѣчахъ. Бесѣдой нашей съ нимъ и братомъ служили французскіе писатели. Но онъ былъ такъ деликатенъ и остороженъ съ нами, юношами, что давалъ намъ читать и самъ читалъ съ нами произведенія французской поэзіи, декламируя Расина, Корнеля и «Генріаду» Вольтера. О смыслѣ и значеніи ученія мыслителей-энциклопедистовъ онъ умалчивалъ. «Баснями соловья не кормятъ!»—заканчивалъ онъ наши бесѣды и велѣлъ подавать всегда тонкій, изящный обѣдъ. У него былъ отличный поваръ, кажется, французъ.

Онъ не выходилъ изъ халата, и очень рѣдко выѣзжалъ изъ предѣловъ своего имѣнія. У него была въ нѣсколькихъ верстахъ другая деревня, но онъ и въ ту не всякій годъ

заглядывалъ. Помню я теперь его слегка рябоватое лицо, темносѣрые умные глаза, насмѣшливо-добродушную улыбку и свѣтлый шелковый съ полосками халатъ. Онъ такъ сидѣлъ въ своемъ изящномъ кабинетѣ, такъ гулялъ и въ укатанныхъ аллеяхъ своего сада, около пруда, гдѣ плавали лебеди, а по цвѣтникамъ, и по его комнатамъ тоже, расхаживали журавли и павлины.

Кромѣ этого сада да своей библіотеки, онъ ничего знать не хотѣлъ, ни полей и лѣсовъ, ни границъ имѣнія, ни доходовъ, ни расходовъ. Когда онъ ѣзжалъ въ другую свою деревню, — разсказывали мнѣ его же люди, — онъ спрашивалъ: «чьи это лошади?» на которыхъ ѣхалъ.

Точно такъ же не зналъ и не хотѣлъ знать ничего этого и «крестный» мой, и третій близкій ихъ другъ и сверстникъ, А. Г. Гастуринъ. Этотъ былъ простой, неученый, но добрый, всѣми любимый, деревенскій житель, не выпускавшій изо рта большой пѣнковой трубки. Онъ весь почернѣлъ и какъ будто прогорѣлъ отъ солнца и отъ табаку. Когда я спрашивалъ Якубова о его хозяйствѣ, о посѣвахъ, умолотѣ, количествѣ хлѣба — даже о количествѣ принадлежащей ему земли и о доходахъ: «А не знаю, другъ мой,—говаривалъ онъ, зѣвая:—что̀ привезетъ денегъ мой кривой староста, то и есть. А сколько онъ высылаетъ куръ, утокъ, индѣекъ, разнаго хлѣба и другихъ продуктовъ съ моихъ полей — спроси у своей маменьки: я велѣлъ ему отдавать ей отчетъ, она знаетъ лучше меня!»

Когда оба старика пріѣзжали въ городъ на выборы, они обыкновенно жили у Якубова, и намъ всѣмъ, дѣтямъ, было отъ нихъ тройное баловство.

Съ утра, бывало, они всѣ трое лежатъ въ постеляхъ, куда имъ подавали чай или кофе. Въ полдень они завтракали. Послѣ завтрака опять забирались въ постели. Такъ ихъ заставали и гости. Рѣдко только, въ дни выборовъ, они натягивали на себя допотопные фраки, или екатери-

нинскихъ временъ мундиры и панталоны, спрятанныя въ высокіе сапоги съ кисточками, надѣвали парики, чтобъ ѣхать въ дворянское собраніе на выборы. Какіе смѣшные были всѣ трое! Они хохотали, оглядывая другъ друга, а мы, дѣти, глядя на нихъ.

Мнѣ кажется, у меня, очень зоркаго и впечатлительнаго мальчика, уже тогда, при видѣ всѣхъ этихъ фигуръ, этого беззаботна о житья-бытья, бездѣлья и лежанья, и зародилось неясное представленіе объ «обломовщинѣ».

IV.

И по пріѣздѣ домой, по окончаніи университетскаго курса, меня обдало той же «обломовщиной», какую я наблюдалъ въ дѣтствѣ. Самая наружность родного города не представляла ничего другого, кромѣ картины сна и застоя. Тѣ же, большею частью деревянные, посѣрѣвшіе отъ времени дома и домишки, съ мезонинами, съ садиками, иногда съ колоннами, окруженные канавками, густо заросшими полынью и крапивой, безконечные заборы: тѣ же деревянные тротуары, съ недостающими досками, та же пустота и безмолвіе на улицахъ, покрытыхъ густыми узорами пыли. Вся улица слышитъ, когда за версту ѣдетъ телѣга или стучитъ сапогами по мосткамъ прохожій.

Такъ и хочется заснуть самому, глядя на это затишье, на сонныя окна съ опущенными шторами и жалюзи, на сонныя физіономіи сидящихъ по домамъ или попадающіяся на улицѣ лица.

«Намъ нечего дѣлать!» зѣвая, думаетъ, кажется, всякое изъ этихъ лицъ, глядя лѣниво на васъ: «мы не торопимся, живемъ—хлѣбъ жуемъ, да небо коптимъ!»

И вправду должно быть такъ. Чиновникъ, совѣтникъ какой нибудь палаты, лѣниво, около двухъ часовъ, ѣдетъ изъ присутствія домой, нужды нѣтъ, что отъ палаты до дома не было и двухъ шаговъ. Пройдетъ писарь, или

ный солдатъ еле-еле бредетъ по мосткамъ. Купцы, забившись въ глубину прохладной лавки, дремлютъ или играютъ въ шашки. Мальчишки среди улицы располагаются играть въ бабки. У забора коза щиплетъ траву.

— Ужели ничего и никого новаго нѣтъ? — спрашиваю «крестнаго», объѣзжая городъ и лѣнивымъ окомъ осматриваясь кругомъ: — я все это знаю, давно видѣлъ: вонъ кажется, и коза знакомая!

— Какъ нѣтъ новаго! Вотъ сейчасъ подъѣдемъ къ новому собору: онъ ужъ освященъ. Каковъ! — хвастался онъ, когда мы сошли съ дрожекъ и обходили соборъ.

Соборъ, въ самомъ дѣлѣ, очень хорошъ: обширенъ, стройныхъ размѣровъ и съ тонкими украшеніями на фронтонѣ и капителяхъ колоннъ.

— Вотъ и это новое: ты еще не видалъ, при тебѣ не было: — говорилъ Якубовъ, указывая на новое зданіе на Большой улицѣ.

Я прочелъ на черной доскѣ надпись: «Питейная контора».

— Это откупщикъ выстроилъ,—прибавилъ онъ.

Встрѣтился намъ очень старый священникъ, посмотрѣлъ на насъ, прикрывъ глаза руками отъ солнца, узналъ Якубова и отвѣсилъ низкій поклонъ.

— Здравствуй, батька, здорово! крестить, что ли, ходилъ, или отпѣвать кого-нибудь?—шутилъ крестный.

— Чего?—отозвался, останавливаясь, тотъ:—не слышу!

Мы проѣхали.

— Когда я пріѣхалъ сюда, этотъ батька былъ уже зрѣлыхъ лѣтъ попикъ: теперь ему подъ восемьдесятъ! — добавилъ мнѣ крестный.

— Это все старое и ветхое, что вы мнѣ показываете, кромѣ собора да питейной конторы, — сказалъ я. — Гдѣ же новое, молодое, свѣжее?

— Свѣжее? есть свѣжія стерляди, икра, осетрина, дичь...

Всего этого здѣсь въ волю; ужо̀ маменька твоя покормитъ тебя,—шутилъ онъ.

— А новые люди, нравы, духъ?—допрашивалъ я.

— Люди?.. Да теперь лѣто: никого въ городѣ нѣтъ, всѣ по деревнямъ. Вотъ, погоди, къ осени съѣдутся, увидишь и людей, познакомишься со всѣми. А теперь тебѣ надо «представиться» губернатору.

Я встрепенулся.

— Зачѣмъ? Если бъ я пріѣхалъ сюда на службу — другое дѣло, а я къ осени думаю ѣхать въ Петербургъ.

— И все-таки надо представиться ему, — настаивалъ Якубовъ:—онъ замѣтитъ тебя гдѣ-нибудь, спроситъ—кто, а ты у него не былъ: это никуда не годится. И къ архіерею тоже, и къ предсѣдателямъ палатъ, да еще къ такому-то и къ такому-то.

Онъ насчиталъ домовъ десять, гдѣ я будто бы долженъ побывать — не знаю самъ, да и онъ не зналъ — для чего. «Для приличія, — говорилъ онъ: — молодой человѣкъ вездѣ долженъ являться». Тоже не объяснилъ—зачѣмъ. Я не раздѣлялъ этого принципа стараго вѣка — соваться вездѣ, гдѣ и не нужно; нравы уже мѣнялись, но спорить съ нимъ не желалъ, рѣшивъ про себя, что у губернатора я запишусь, сказалъ бы: «оставлю карточку», если бъ она у меня была, но ея не было — я только что вступалъ въ свѣтъ, — а къ прочимъ загляну при удобномъ случаѣ.

Такъ и сдѣлалъ. Къ осени, однакоже, надо было подчиниться губернскому режиму и дѣлать визиты нужные и ненужные, т.-е. къ знакомымъ и незнакомымъ. Это соблюдается, какъ я увидѣлъ послѣ, строже въ провинціи, нежели въ столицахъ, и не побывать у иного въ извѣстный день — наживешь себѣ недруга. Вотъ чѣмъ и какимъ дѣломъ разбавлялось, между прочимъ, провинціальное бездѣлье!

Якубовъ объяснилъ, какъ я сказалъ выше, причину сво-

его отчужденія отъ людей, кромѣ старости, между прочимъ. еще тѣмъ, что онъ «отвыкъ» отъ нихъ: это не совсѣмъ удовлетворило меня. Вглядываясь и вдумываясь тогда въ его образъ мыслей и жизнѣ сознательно, я видѣлъ кое-что въ его характерѣ, къ чему прежде у меня не было ключа, что-то постороннее, кромѣ старческой усталости: не то боязнь, не то осторожность. Онъ не скучалъ и не тяготился, когда къ нему заглядывалъ, напримѣръ, вышеупомянутый Ростинъ, потомъ одинъ сосѣдъ по деревнѣ и большой его пріятель, затѣмъ веселый собесѣдникъ и юмористъ Бравинъ, еще Чуринъ, наконецъ братья жены Ростина, бывшаго его «предмета», З—іе, князь П. Онъ благоволилъ также и къ губернатору, и къ женѣ его, «прекрасной дамочкѣ», по его выраженію, хотя эта дамочка была увядшая, худощавая, съ впалыми, потухшими глазами, и вовсе не прекрасная собой женщина.

Но, любя всѣхъ этихъ лицъ, онъ не искалъ встрѣчъ и съ ними, точно остерегался общества, пятился отъ знакомыхъ, а незнакомыхъ вовсе не принималъ.

Главной причиной была, конечно, старческая усталость, «отвычка» отъ людей, какъ онъ говорилъ, но тутъ наполовину было и дѣйствительно боязни. Онъ, какъ и многіе тогда, былъ запуганъ тѣмъ переполохомъ, который произвело четырнадцатое декабря во всемъ русскомъ обществѣ. Хвостъ отъ этого переполоха еще тянулся не только по провинціямъ, но и въ столицахъ. Я помню, что съ насъ, студентовъ, при вступленіи въ университетъ, отбиралась подписка «въ непринадлежности къ тайнымъ обществамъ». Эта мудрая мѣра производила одно дѣйствіе: тѣмъ, кто изъ молодежи и во снѣ не видали никакихъ тайныхъ обществъ, этимъ давалось о нихъ понятіе — и только. Принадлежавшимъ же къ этимъ обществамъ — если были такіе — она, я полагаю, преградою не служила.

Подъ тайными обществами, между прочимъ, разумѣлись

масонскія ложи. Якубовъ, какъ почти всѣ дворяне тогда, или, лучше сказать, вся русская интеллигенція, принадлежалъ тоже къ масонской ложѣ. Въ Петербургѣ всѣ лучшія, извѣстныя, высокопоставленныя лица были членами масонскихъ ложъ: между прочимъ, говорили, что и императоръ Александръ Павловичъ тоже былъ членъ.

Въ нашемъ губернскомъ городѣ была своя отдѣльная масонская ложа, во главѣ которой стоялъ Бравинъ. Члены этой ложи разыгрывали масонскую комедію, собирались въ потаенную, обитую чернымъ сукномъ комнату, одѣвались въ какіе-то особые костюмы, съ эмблемами масонства, длинными бѣлыми перчатками, серебряными лопатками, орудіемъ «каменщиковъ», и прочими атрибутами масонства.

Не всѣ члены, однако, были посвящены въ таинственную суть масонства. Общая, всѣмъ извѣстная цѣль была— защита слабыхъ, бѣдныхъ, угнетенныхъ, покровительство нуждающимся и т. п. дѣла благотворительности. Многіе изъ членовъ занимали низшія должности въ іерархіи ордена, напримѣръ что-то въ родѣ какихъ-то звонарей и т. п., и повышались въ степеняхъ, послѣ разныхъ испытаній, смотря по способностямъ и значенію.

Все это я узналъ послѣ, частію отъ самого Якубова, а болѣе отъ другихъ, менѣе скромныхъ и пугливыхъ бывшихъ членовъ. «Крестный» открылъ мнѣ весьма немногое, случайно. Однажды зимой, часу въ десятомъ вечера, губернаторъ прислалъ за мной просить къ себѣ потанцовать — къ его дочери нечаянно собрались дѣвицы, молодые люди— чтобъ я пріѣхалъ. У меня не оказалось свѣжихъ бѣлыхъ перчатокъ, магазины были уже заперты. Я принялся-было тереть бѣлымъ хлѣбомъ надѣванную пару, какъ явился «крестный». Узнавъ, въ чемъ дѣло, онъ повелъ меня къ себѣ. Изъ задняго секретнаго ящика комода онъ досталъ пару длинныхъ бѣлыхъ перчатокъ и отдалъ мнѣ.

— Да это женскія, длинныя по локоть, — сказалъ я: — онѣ не годятся!

— Годятся, вели только обрѣзать лишнее,—замѣтилъ онъ.

— Да откуда онѣ у васъ?

— Это масонскія, давно у меня лежатъ: молчи, ни слова никому! — шепталъ онъ, хотя около насъ никого не было.

Переполохъ по поводу масонства повелъ послѣ 14-го декабря къ обыскамъ у всѣхъ принадлежавшихъ къ этому братству. Забирали бумаги, отсылали въ Петербургъ, а предсѣдателя ложи, Бравина, самого отвезли туда, забравъ всю его переписку. Но важнѣйшая часть его бумагъ, за нѣсколько часовъ до обыска, говорятъ, была брошена въ прудъ въ его саду. Объ обыскѣ предупредилъ его полиціймейстеръ, его пріятель, и тѣмъ спасъ Бравина, можетъ-быть, отъ тяжелыхъ послѣдствій. Бравинъ былъ въ перепискѣ съ заграничными масонами и, вѣроятно, былъ не чуждъ не однѣхъ только всѣмъ открытыхъ, благотворительныхъ, но и политическихъ цѣлей, какія входили въ секретный кругъ дѣятельности, какъ видно, иностранныхъ и русскихъ масонскихъ ложъ.

14-е декабря открыло правительству глаза на эти послѣднія цѣли и вызвало извѣстное систематическое преслѣдованіе масонства, а съ нимъ — всякихъ «тайныхъ обществъ», которыя подозрѣвались, но которыхъ, кромѣ заговора декабристовъ, кажется, тогда не существовало.

Всѣ, кого призывали и допрашивали, такъ перетрусили, что послѣ долго боялись говорить объ этомъ, даже между собой, шопотомъ.

— Что же вы дѣлали, когда собирались въ своей тайной масонской залѣ: дѣла какія-нибудь?—допрашивалъ я «крестнаго».

— Да, были дѣла, читали письма, протоколы... мало было дѣлъ...—нехотя отвѣчалъ онъ.

— Что же еще?—приставалъ я.

— Какой ты любопытный! Еще... пили шампанское—вотъ что! чуть не ведрами, такъ что многихъ къ утру развозили по домамъ.

Больше я ничего отъ него не узналъ. На вопросъ о Бравинѣ и его пребываніи въ Петербургѣ, онъ лаконически сказалъ, что Бравина продержали тамъ около полугода, потомъ отпустили.

— Воротился весь синій, даже почернѣлъ: его, слышно, подвергли тамъ секретно тѣлесному наказанію...—дошепталъ онъ и положилъ на губы палецъ молчанія.

Всѣ напуганные масоны и не-масоны, тогдашніе либералы, вслѣдствіе крутыхъ мѣръ правительства, приникли, притихли, быстро превратились въ ультра-консерваторовъ, даже шовинистовъ — иные искренно, другіе надѣли маски Но при всякомъ случаѣ, когда и не нужно, заявляли о своей преданности «престолу и отечеству». Напримѣръ, Бравинъ хвастался мнѣ, что брильянты отъ пожалованнаго ему, уже нѣсколько лѣтъ спустя послѣ 14-го декабря, перстня онъ раздѣлилъ между нѣсколькими своими дочерями, чтобъ у каждой осталось воспоминаніе о «милости». Всѣ пошили себѣ мундиры; недавніе атеисты являлись въ торжественные дни на молебствія въ соборъ, а потомъ съ поздравленіемъ къ губернатору. Передъ каждымъ, даже заѣзжимъ лицомъ крупнаго чина, снимали шляпу, дѣлали ему визиты. Только старички, въ родѣ Козырева и еще немногихъ. ухомъ не вели и не выползали изъ своихъ норъ. Козыревъ саркастически посмѣивался и надъ крутыми мѣрами властей, и надъ переполохомъ. Громъ въ деревенскія затишья не доходилъ.

«Крестный» мой, живучи въ городѣ, наружно, подъ ферулой прежняго страха, тоже вторилъ другимъ. Но иногда я подмѣчалъ, что онъ, стоя у окна и глядя въ пространство, что-то горячо бормоталъ про себя, жестикулировалъ,

повидимому, протестуя, послѣ разговоровъ или чтенія въ газетахъ о нѣкоторыхъ крутыхъ мѣрахъ. Однажды до меня долетѣли слова: — «Простого выговора не стòитъ, — сквозь зубы бормоталъ онъ, бросая газету: — а его на поселеніе!» Оборотившись отъ окна, онъ принималъ свой обыкновенный, покойный видъ. Катаясь разъ по городу, мы встрѣтили какого-то незнакомаго господина въ коляскѣ. Якубовъ почтительно съ нимъ раскланялся.

Я спросилъ:

— Кто это такой?

— Тайный совѣтникъ Сидоровъ, или Петровъ (не помню теперь), пріѣзжій.

— Вы не знакомы съ нимъ?

— Нѣтъ.

Спросить, зачѣмъ кланяется, было неловко: мнѣ ужъ было ясно, что прежняго страха ради: чтобъ не сочли за вольнодумца, да не донесли... «жандармы».

Мнѣ, юношѣ, были тогда новы если не всѣ, то многія «впечатлѣнья бытія», между прочимъ, и жандармы, т.-е. ихъ настоящее, новое, съ Николаевскихъ временъ, значеніе. Это значеніе объяснилъ мнѣ, тоже шопотомъ, Якубовъ, а всю глубину жандармской бездны раскрылъ мнѣ потомъ губернаторъ, которому я, по настоянію «крестнаго», все-таки «представился».

До тѣхъ поръ я видалъ жандармовъ въ Москвѣ, у театральныхъ подъѣздовъ, въ крестныхъ ходахъ, на гуляньяхъ, въ ихъ высокихъ каскахъ съ конской гривой, на рослыхъ лошадяхъ. Ни о какихъ штабъ-офицерахъ, назначенныхъ въ каждую губернію, и о роли ихъ я не имѣлъ понятія. Отъ губернатора я въ первый разъ услыхалъ и о важности шефа ихъ, графа Бенкендорфа, и о начальникѣ штаба, тогда еще полковникѣ Дубельтѣ — и обо всемъ, что̀ до нихъ касается, а болѣе о томъ, что они сами до всего касаются. Я тогда сталъ большими глазами смотрѣть на гу-

бернскаго полковника Сигова. Я думалъ, что онъ будетъ во все пристально вглядываться, вслушиваться и даже записывать, что отъ него всѣ должны бѣгать и прятаться. Но, къ удивленію моему, я видалъ его окруженнаго толпой и мечущаго банкъ въ нѣкоторыхъ домахъ, въ пріемные вечера, обыкновенно въ особой задней комнатѣ, въ облакахъ табачнаго дыма.

— Какъ же такъ?—спрашивалъ я, невинный юноша, въ недоумѣніи у губернатора: — вѣдь его обязанность, вы говорите, доносить о безпорядкахъ, обо всемъ вредномъ, запрещенномъ—такъ какъ онъ цензоръ нравовъ—стало-быть, и объ азартныхъ играхъ; а онъ самъ тутъ играетъ и прячется?

— Оттого онъ тутъ и вездѣ въ толпѣ, чтобы все смотрѣть и слушать: иначе, какъ же онъ будетъ знать и о чемъ доноситъ?—былъ отвѣтъ.

V.

Я далъ понять выше, что Якубовъ былъ баринъ въ душѣ, природный аристократъ. Между прочимъ, онъ былъ сынъ своего вѣка, крѣпостникъ. Это, повидимому, противорѣчитъ «джентльменству». Нисколько, если не сходить съ почвы исторической перспективы. А у насъ, въ настоящее время, начавшееся, впрочемъ, уже съ сороковыхъ годовъ, линіи этой перспективы, какъ будто сгившіе, ненужные плетни, повалены, сломаны. Удятъ изъ прошлаго какую-нибудь личность, отдѣляютъ ее отъ его времени, точно отдираютъ старый портретъ отъ холста, отъ освѣщенія, колорита, аксессуаровъ обстановки, и неумолимо судятъ ее современнымъ судомъ и казнятъ, забывая, что она носитъ девизы и цвѣта своего вѣка, его духа, воспитанія, нравовъ и прочихъ условій. Это все равно, что судить, зачѣмъ лицо изъ прошлаго вѣка носило не фракъ, а камзолъ съ кружевными манжетами, и, пожалуй, еще зачѣмъ не ѣздило по желѣзнымъ дорогамъ.

Не подумаютъ эти легкомысленные судьи, что черезъ какія-нибудь полсотни, сотню лѣтъ, если послѣдующія поколѣнія будутъ смотрѣть на нихъ сквозь подобныя очки, они предстанутъ передъ ними куда въ непривлекательномъ видѣ! Вѣдь потомокъ далеко уходитъ отъ предка впередъ, и кажется умнѣе его—благодаря придатку знанія, опытовъ, открытій, нажитыхъ временемъ. Но уменъ ли онъ въ самомъ дѣлѣ—это еще вопросъ. Имѣя это въ виду, предвидя не въ далекомъ будущемъ судъ потомка надъ собою, умный потомокъ воздержится отъ легкомысленнаго смѣха надъ предкомъ, кажущимся простоватымъ, несвѣдущимъ, неумѣлымъ.

Такіе судьи въ свое оправданіе, пожалуй, укажутъ на Бѣлинскаго: онъ-де тоже повиненъ въ этомъ грѣхѣ: впадалъ въ рѣзкость, изрекалъ строгіе, даже желчные приговоры минувшему времени, минувшимъ дѣятелямъ, иногда стяжавшимъ заслугами почетъ и уваженіе своихъ современниковъ.

Да, водилось это и за Бѣлинскимъ, искреннимъ, правдивымъ, но горячимъ въ своихъ увлеченіяхъ. Но, однако, тотъ же Бѣлинскій, гдѣ-то въ одной своей статьѣ, не помню по какому поводу, замѣтилъ, что теперь любой студентъ математическаго факультета знаетъ больше Пиѳагора или Эвклида — и, кажется, если память не обманываетъ меня, приходитъ къ вопросу: а былъ ли бы современный студентъ на высотѣ этихъ ученыхъ мужей въ ихъ время?

Но самъ онъ, Бѣлинскій, иногда дѣйствительно неблагосклонно смотрѣлъ въ прошлое.

Между прочимъ, онъ съ задоромъ нападалъ и на Пушкина за то, что тотъ, — пожалѣвъ, что «нѣтъ князей Пожарскихъ, что Сицкихъ древній родъ угасъ»,— съ укоромъ отозвался о томъ, что оселъ «демократическимъ копытомъ лягаетъ геральдическаго льва», и что теперь «спроста лѣзутъ въ tiers-état».

Здѣсь Бѣлинскій горячо упрекалъ Пушкина, котораго такъ высоко цѣнилъ, конечно, за то, какъ этотъ геній не оцѣнилъ «пружины смѣлыя гражданственности новой», какъ не проникся духомъ времени, не воспринялъ и не пропагандировалъ началъ этой гражданственности. Ему, кажется, было больно за Пушкина.

Но онъ, внѣ минутъ раздражительныхъ увлеченій, умѣлъ быть безпристрастенъ. Напримѣръ, онъ не могъ выносить Кукольника, какъ автора напыщенныхъ и ходульныхъ драматическихъ поэмъ—«Тассъ», «Джуліо Мости», фальшиваго романа «Эвелина де Вальероль» — но какъ ласково, съ какой теплотой отзывался онъ о повѣстяхъ того же Кукольника изъ Петровской эпохи, въ которыхъ авторъ былъ простъ и правдивъ!

И внѣ литературы, въ житейскомъ быту, Бѣлинскій умѣлъ смотрѣть на разныя явленія, которыя должны бы возбуждать въ немъ духъ противорѣчія и раздраженія, совершенно покойно и разумно.

Въ Петербургѣ, будучи уже на службѣ, я однажды въ Новый годъ, между визитами по начальству, заѣхалъ къ нему въ форменномъ фракѣ, въ бѣломъ галстукѣ.

— Что это: подлость?—дразнилъ я его, зная, какъ онъ возставалъ противъ всякихъ поклоненій и поклоновъ.

— Подлость, не нами начатая, — добродушно замѣтилъ онъ:—выдумывать и вводить новую подлость—это подло, а повторять старыя приходится сплошь да рядомъ.

Въ бросаньѣ камней въ прошлое и въ отжившихъ людей у Бѣлинскаго явились подражатели, чуть не цѣлая школа. Ничего не стоитъ выудить кого-нибудь изъ давно-прошедшаго и отдѣлывать на всѣ корки. Мудрая латинская пословица: de mortuis aut bene, aut nihil, давно сдана въ архивъ.

Но Бѣлинскій бывалъ виноватъ въ пристрастныхъ — и, съ исторической точки зрѣнія, невѣрныхъ — порицаніяхъ

прошлымъ людямъ — подъ давленіемъ своего искренняго влеченія къ лучшему, котораго требовалъ даже отъ прошлаго, какъ нѣкоторые ревнивцы скорбятъ, зачѣмъ въ любимой женщинѣ не все чисто и свѣтло въ ея прошломъ. А эти другіе, непризнанные «строгіе цѣнители и судьи» изъ чего бьются, запальчиво замахиваясь своими дѣтскими тросточками на отжившихъ дѣятелей? Считаютъ ли они себя лучше ихъ? Вѣроятно такъ: порицать можно только то, чего за собой не сознаешь—иначе языкъ не повернулся бы говорить, по пословицѣ, «о ворѣ, когда на самомъ шапка горитъ».

Обращаюсь къ Якубову. Онъ непробудно жилъ и умеръ на лонѣ крѣпостного права и пользовался послѣднимъ — не какъ всѣ помѣщики, а никогда не злоупотребляя своими правами. Я уже сказалъ, что дохода и разныхъ продуктовъ съ земли своей онъ получалъ столько, сколько «привезетъ староста». Въ дворнѣ у него, кромѣ своего кучера, повара и двухъ-трехъ лакеевъ съ семействами, были еще столяры, портные, сапожники. Онъ отпускалъ ихъ по городу на оброкъ, не справляясь, гдѣ и какъ они живутъ, что̀ зарабатываютъ. Онъ не получалъ съ нихъ ни гроша, и только когда понадобятся ему сапоги, онъ велитъ своему сапожнику сшить, заплативъ, что̀ стоитъ товаръ. Понадобится починка или заказъ новой мебели—то же самое.

Домашней крѣпостной прислугѣ — а тогда другой, наемной, не было,—жалованья не полагалось, но каждый праздникъ онъ позоветъ, бывало, меня и отдастъ разложенныя у него кучки серебряныхъ рублей.—«Это,—скажетъ,—отдай Васькѣ, это Митькѣ, это Гришкѣ, всѣмъ сестрамъ по серьгамъ»,—прибавитъ въ заключеніе. Самъ никогда лично не давалъ, а черезъ насъ.

— «Митька», «Васька», «Гришка!» — скажутъ на это новые люди: — развѣ это не мерзко?—Теперь мерзко, да и нельзя: крѣпостныхъ людей нѣтъ, и никто не позволитъ

называть себя кличками, какъ собакъ. А тогда не казалось мерзко: всѣ стараго поколѣнія люди привыкли къ этому, и я не слыхивалъ, чтобы тогдашніе пожилые помѣщики, умные, образованные, даже въ столицѣ, иначе звали прислугу, какъ: «малый» или «Петрушка», «Егорка», «Машка», «Дашка» и т. д. Другой манеры звать не было, развѣ кто носилъ такое имя, что никакъ не вопрешь его въ уменьшительное, напримѣръ: Ѳерапонтъ, Сосипатръ, Трефилъ, женщина Макрида.

Мы всѣ, т.-е. тогдашнее новое поколѣніе, конечно, такъ уже не обращались съ прислугой. Кстати припомнить, что и Грибоѣдовъ подтверждаетъ этотъ обычай. У него Фамусовъ не иначе зоветъ прислугу, какъ «Филька», «Петрушка». Слѣдовательно, винить Якубова за повсемѣстный въ его время обычай было бы несправедливо. Пожалуй, иной изъ «молодыхъ» упрекнетъ его и за то, зачѣмъ онъ не говорилъ слугамъ: *вы*. Однако, услыхавъ однажды, что я сказалъ человѣку: «Петръ, пожалуйста, принеси мнѣ...» (не помню что̀), онъ обернулся отъ окна и съ живостью замѣтилъ мнѣ: — «Какъ это твое «пожалуйста» хорошо!» — Скажутъ, что ссылаться на Фамусова нельзя: онъ-де за то и Фамусовъ, что въ немъ воплощается застарѣлая порча его вѣка, какъ и въ Скалозубѣ, и въ Молчалинѣ и въ другихъ. А вотъ былъ же-де Чацкій, который лучомъ свѣта разсѣялъ эту тьму, и т. д.

Да, былъ Чацкій — Грибоѣдовъ: а много ли ихъ было, этихъ вѣстниковъ новаго міросозерцанія, новой жизни? Стало-быть, всякій новый современный судья прошлаго, оглядываясь назадъ, ставитъ себя на мѣсто Чацкаго? Это скромно! Не походитъ ли, однако, такой судья на вышеприведеннаго студента математическаго факультета, который, зная теперь больше, чѣмъ Пиѳагоръ или Птоломей, вздумалъ бы поставить себя на ихъ мѣсто?

Ка́къ правъ былъ Гоголь въ своемъ отвѣтѣ на упрекъ,

зачѣмъ онъ не вывелъ въ «Ревизорѣ» ни одного хорошаго человѣка! Всѣ бы стали ставить себя на мѣсто хорошаго человѣка, и никто не захотѣлъ бы узнавать въ себѣ ни Хлестакова, ни Городничаго и прочихъ. Грибоѣдову нельзя было обойтись въ своей комедіи безъ «хорошаго человѣка», и вотъ всѣ судьи прошедшаго ставятъ себя въ роль Грибоѣдова—Чацкаго.

Но вѣдь Фамусовы, Скалозубы, Молчалины, Хлестаковы есть и теперь, и будутъ, можетъ-быть, всегда не въ одномъ русскомъ, но и во всемъ человѣческомъ обществѣ, только въ новой формѣ: тѣмъ и велики, и безсмертны обѣ комедіи, что онѣ создали формы, въ которыя отливаются типы цѣлыхъ поколѣній.

Поэтому не мѣшало бы поглубже задуматься надъ вопросомъ всякому, куда бы онъ въ прошломъ могъ пристроить себя: къ Фамусову, Хлестакову, Городничему и другимъ, которыхъ была цѣлая рать, большинство, или же къ рѣдкимъ, блестящимъ исключеніямъ, въ родѣ Чацкаго?..

Я брошу на Якубова еще бо́льшую, въ глазахъ «строгихъ судей», тѣнь. Онъ былъ вспыльчивый, какъ порохъ, но не желчный, незлобивый старикъ. Отъ мгновенныхъ вспышекъ его не оставалось никакого дыма, какъ отъ пороха. Провинится человѣкъ, не угодитъ ему, разсердитъ, обыкновенно пустяками какими-нибудь, онъ затопаетъ, подниметъ оба кулака, иногда сложитъ ихъ вмѣстѣ, и, грозя, закричитъ:— «Дьяволъ твою душу побери! Я тебѣ голову проломаю!» Это были его точныя выраженія въ гнѣвѣ. Въ эти минуты тому, кто не знаетъ его коротко, онъ покажется страшенъ. Но въ одну минуту гнѣвъ погасалъ, какъ молнія, и никогда ни одному слугѣ онъ не только «головы не проломалъ», но никто не видалъ, чтобы онъ тронулъ кого-нибудь щелчкомъ, даже чтобы мальчишку взялъ за ухо или за волосы. У него въ рукахъ и пріемовъ для драки не было.

А грозенъ онъ бывалъ до комизма. Сидитъ, бывало, за столомъ: случится иногда, что супъ пересоленъ или жаркое пережарено.

— Малый!—закричитъ онъ грозно:—подай палку!

У него была дубинка съ круглой головкой, сопровождавшая его въ прогулкахъ. «Малый», иногда лѣтъ пятидесяти или шестидесяти, стоявшій, въ числѣ другихъ трехъ или четырехъ такихъ же «малыхъ», съ тарелками за нашими стульями, а лѣтомъ махавшихъ надъ нашими головами вѣтвями отъ мухъ—малый приносилъ дубинку.

— Поди, дай понюхать Акимкѣ (повару)!—приказывалъ Якубовъ:—и скажи, что онъ отвѣдаетъ этого кушанья, если опять пересолитъ супъ.

«Малый» серьезно выслушивалъ приказаніе и шелъ въ кухню, къ Акимкѣ, съ дубинкой. Неизвѣстно, давалъ ли онъ ему понюхать ее.

Вспыльчивость Якубова была, конечно, дѣломъ его личнаго темперамента, а сдержанное, холодное отношеніе къ крѣпостнымъ людямъ исходило изъ условій не одного крѣпостного права. Онъ служилъ въ военной, и притомъ морской, службѣ, гдѣ субординація и дисциплина, особенно въ прежнее время, соблюдались во всей строгости по морскому уставу Петра I, даже до жестокости. Командиру военнаго судна предоставлялись во время похода, въ морѣ, широкія права, между прочимъ, въ крайнемъ случаѣ, право на смертную казнь подчиненныхъ. Эти слѣды субординаціи и почтенія къ властямъ, и вообще къ старшимъ, онъ вынесъ оттуда же и сохранилъ до гроба.

По этой причинѣ онъ настаивалъ, чтобы и я ѣхалъ «представляться» къ губернатору, къ архіерею и всѣмъ губернскимъ властямъ, и вообще людямъ съ чиномъ, съ вѣсомъ въ губерніи.

Нечего дѣлать, надо было исполнить желаніе старика

VI.

На парѣ, въ дрожкахъ, подкатилъ я къ губернаторскому дому, робѣя, самъ не зная чего, вѣроятно подъ вліяніемъ понятій Якубова о приличіяхъ, и вошелъ въ швейцарскую. Швейцаровъ въ провинціи тогда не водилось: не отъ кого было стеречь, оттого и звонковъ не было, двери въ подъѣздахъ никогда не запирались. Лакейскія были биткомъ набиты праздными лакеями. Меня принялъ жандармъ и пошелъ доложить «камердину». Приказано просить.

Черезъ обширную, изящно-убранную длинную залу, всю въ зеркалахъ, съ шелковыми занавѣсами, люстрами, канделябрами, меня ввели въ кабинетъ. Я ожидалъ видѣть какого-нибудь обрюзглаго старика, какъ видалъ прежде губернаторовъ, въ дѣтствѣ, и вдругъ увидѣлъ господина, лѣтъ сорока съ чѣмъ-нибудь, красиваго, стройнаго, въ утреннемъ элегантномъ неглижѐ, съ кокетливо повязаннымъ цвѣтнымъ галстукомъ. Онъ встрѣтилъ меня по-губернаторски, бѣгло взглянулъ на меня, слегка кивнулъ, но не подалъ руки. Тогда высшіе чины не были, какъ теперь, фамильярны съ низшими.

— Сію минуту кончу, а пока присядьте, — сказалъ онъ, указывая стулъ, ласковымъ, пріятнымъ голосомъ.

Я сѣлъ. Худощавый брюнетъ, секретарь, читалъ ему бумаги и подавалъ къ подписи. Я, между тѣмъ, всматривался въ губернатора и въ убранство кабинета.

У губернатора были красивыя, правильныя черты лица, живые каріе глаза съ черными бровями, прекрасно очерченный ротъ съ тонкими губами. Взглядъ бѣглый, зоркій, улыбка веселая, немного насмѣшливая. Стройныя, красивыя руки съ длинными прозрачными ногтями. Дома, въ утреннемъ нарядѣ, съ бѣлыми, какъ снѣгъ, манжетами, онъ смотрѣлъ франтомъ, какихъ я видалъ потомъ въ Петербургѣ, въ первыхъ рядахъ Михайловскаго театра. Въ черныхъ

волосахъ у него пробивалась преждевременная сѣдина, какъ бываетъ у брюнетовъ.

На этажеркахъ, на столѣ, стояли статуэтки, дамскіе портреты, разныя элегантныя бездѣлушки. На стѣнахъ нѣсколько картинъ и у одной—шкапъ съ книгами.

Губернаторъ кончилъ. Секретарь сталъ откланиваться.

— Вы не знакомы?—спросилъ онъ насъ.

— Нѣтъ,—отвѣчали мы оба.

— Иванъ Ивановичъ Добышевъ, правитель канцеляріи.

Мы слегка поклонились другъ другу.

— А... ваше имя и отчество, позвольте...

Я сказалъ; онъ повторилъ секретарю.

— Вы прямо изъ университета?—обратился онъ ко мнѣ.

— Да-съ.

— Что жъ вы намѣрены теперь дѣлать?

— Теперь пока отдыхаю, а зимой собираюсь въ Петербургъ на службу.

— Военную или статскую? и т. д.

Я сталъ раскланиваться.

— Кланяйтесь Петру Андреевичу (Якубову),—прощался онъ, опять не подавая руки: — да скажите ему, что и я, и жена, мы оба пеняемъ, что онъ не заѣдетъ къ намъ. Я его почти всякій день вижу, какъ онъ ѣздитъ кататься мимо.

— Хорошо-съ, скажу. Онъ никуда не заѣзжаетъ, боится!—сказалъ я.

— Чего?

— 14 декабря всѣхъ здѣсь напугало; его, кажется, больше другихъ.

Губернаторъ звонко закатился смѣхомъ, показывая отличные бѣлые зубы.

— Пойдемте къ женѣ, скажите ей, — и повелъ меня черезъ залу въ другую, третью и, наконецъ, въ четвертую комнату.

— Марья Андреевна, гдѣ ты? Послушай, отчего Якубовъ не бываетъ у насъ!..

Онъ ввелъ меня.

Жена его, уже упомянутая выше, худощавая дама, съ поблекшими щеками и синими впалыми глазами, сидѣла въ бѣломъ пеньюарѣ, съ неубранной головой, въ маленькой гостиной.

— Послушай, Левъ Михайлычъ: это ни на что не похоже, ты ведешь прямо ко мнѣ, да еще молодого человѣка, а я не одѣта!..—упрекнула она.

— Представляю тебѣ: такой-то.

— Monsieur est très présentable,—безцеремонно, вслухъ замѣтила она, съ любопытствомъ оглядывая меня съ ногъ до головы.

Я поёжился отъ этого замѣчанія прямо мнѣ въ глаза. «Какъ римская матрона съ рабомъ, не церемонится!» подумалъ я, помня еще римскую исторію вскорѣ послѣ университета.

— Знаешь, отчего Петръ Андреевичъ не ѣздитъ къ намъ? Боится заговора, тайныхъ обществъ: у насъ-то! А впрочемъ, знаете что̀,—прибавилъ онъ, обращаясь ко мнѣ:—у меня между декабристами много пріятелей, есть и родные. Да отъ насъ, кто̀ былъ помоложе, таились тогда, и я попалъ въ противный лагерь и фигурировалъ на площади 14-го декабря: въ меня камнемъ бросили изъ бунтующихъ рядовъ, съ ногъ сшибли... Это было замѣчено...

— И слава Богу!—замѣтила жена:—зато ты теперь губернаторъ, а то Богъ знаетъ, что̀ было бы съ тобой, если бъ связался съ ними!

Якубовъ вѣрить не хотѣлъ, когда я передалъ ему этотъ разговоръ.

— Онъ съ ума сошелъ: въ первый разъ видитъ тебя и разболтался! Услышитъ жандармъ, вѣдь донесетъ!—говорилъ онъ.

— Скажите Петру Андреевичу, что мы его очень любимъ,—прощаясь, говорила губернаторша:—чтобы заѣзжалъ каждый день; обѣдать бы пріѣхалъ! А вы, когда начнутся вечера, будьте нашимъ гостемъ. Вы танцуете, и вѣрно хорошо?

— Большой охотникъ! Въ Москвѣ, на вечерахъ, я всегда начиналъ мазурку,—похвастался я.

— И прекрасно. Соня! гдѣ ты, Соня? Поди сюда,—кликнула она въ открытую дверь боковой комнаты.

Вошла молодая, прелестная дѣвушка, между 15 и 16 годами, съ такимъ же острымъ и живымъ взглядомъ, какъ у отца, съ граціозно сложенными губами, съ красивымъ носикомъ, съ яркимъ, нѣжнымъ румянцемъ.

Она застѣнчиво присѣла въ отвѣтъ на мой поклонъ.

— Вотъ у насъ еще танцоръ: онъ будетъ твоимъ кавалеромъ на нашихъ вечерахъ, вмѣсто этого неуклюжаго Миши Лопарева...

Ея взглядъ мелькомъ скользнулъ въ мою сторону. Она опять присѣла и скрылась. Послѣ этого я уѣхалъ и долго не являлся къ губернатору, пока онъ не прислалъ за мной жандарма, какъ меня ни принуждалъ Якубовъ.

— Вмѣстѣ съ вами, пожалуй, — отговаривался я, зная, что онъ не поѣдетъ.

Еще до наступленія зимы я успѣлъ перезнакомиться со всѣми губернскими властями, предсѣдателями, совѣтниками палатъ, членами разныхъ правленій и многими, пріѣхавшими на житье въ городъ помѣщиками.

Почти всѣхъ этихъ членовъ, отъ большихъ до малыхъ, привязывало къ службѣ не одно жалованье, тогда незначительное. Какой-нибудь предсѣдатель палаты получалъ тысячи три, совѣтники—тысячи по двѣ съ половиной (ассигнаціями), а младшіе, правители дѣлъ, разные секретари и т. п., кто полторы, кто тысячу рублей; ниже спускалось до 700 и 300 рублей, даже менѣе.

Очевидно, жить этимъ было нельзя, иногда съ семействомъ, особенно въ провинціи, гдѣ даже у мѣщанъ водились свои лошади. Обѣдалъ всякій дома, клубовъ не водилось. Обѣдая въ гостяхъ, приходилось принимать и у себя: вездѣ расходъ. Чѣмъ же жили всѣ эти «служилые люди»? А доходами.

Отъ Якубова я узналъ исторію состоянія каждаго изъ губернскихъ тузовъ. Крупныя дворянскія состоянія, источники и количество доходовъ онъ, не знавшій только своихъ собственныхъ, зналъ отлично.

— Вотъ у братьевъ Иглевыхъ,—говорилъ онъ:—до пяти сотъ тысячъ дохода; старшій живетъ роскошно, мотаетъ, а у младшаго, Н. М., никто никогда чашки чая не выпилъ. Сидитъ безвыѣздно въ деревнѣ. Самъ по утрамъ пьетъ молоко, а за обѣдомъ ѣстъ вареную говядину съ кислой капустой. А домъ у него старинный, барскій, однѣ оранжереи чего стоятъ! Персики, ананасы свои...

— Вѣдь онъ ѣстъ же ихъ: не все одну капусту!—возражалъ я.

— Какъ не такъ — ѣстъ! Все посылаетъ въ городъ на базаръ. На однихъ яблокахъ тысячъ пять получитъ въ годъ. А тронетъ въ саду яблоко мальчишка или баба—такъ вздуетъ!

Про другого говорилъ:

— А этотъ сотню тысячъ получитъ въ годъ, а проживетъ двѣ—на псовую охоту.

Про чиновниковъ, дѣльцовъ, катаясь со мной по городу, сообщалъ много подробностей. Укажетъ бывало то на тотъ, то на другой домъ:

— Вотъ это домъ совѣтника или предсѣдателя такого-то, — и разскажетъ при этомъ: — Онъ пріѣхалъ сюда, на мундиръ денегъ занялъ у меня, а теперь у него деревенька съ тремя стами душъ, да домикъ этотъ выстроилъ, женѣ изъ Москвы наряды выписываетъ, ведетъ большую игру.

— Откуда же все это: богатую невѣсту, что ли, взялъ?— спросишь.

— Нѣтъ, бѣдную дворяночку взялъ, сироту. Какъ откуда? Лѣтъ десять секретаремъ въ консисторіи пробылъ, тамъ нажилъ, потомъ губернаторъ Тмакинъ переманилъ его къ себѣ въ секретари, дѣльный былъ, а потомъ съѣздилъ въ Петербургъ, подмазалъ гдѣ слѣдуетъ и воротился предсѣдателемъ. Хапунъ, пострѣлъ!—заключалъ онъ.

Обо всѣхъ отставныхъ и служащихъ онъ развивалъ передо мной такую же хронику. Отзывы эти проникнуты были брезгливостью. Честный морякъ, не знавшій даже доходовъ съ своего имѣнія, очевидно, презиралъ этотъ способъ наживы. Отъ этого онъ бросилъ свою гражданскую губернскую службу.

— Нашему брату, дворянину, грязно съ ними уживаться,—отзывался онъ.

Впрочемъ, весь городъ, т.-е. все губернское общество, не только мирилось съ системой чиновничьихъ доходовъ, но даже покровительствовало ей. Плохенькаго, не умѣвшаго наживать этимъ способомъ или занимавшаго недоходное мѣсто—не носили на рукахъ.

Правительство, конечно, знало, что казеннаго жалованья не хватаетъ на прожитокъ, потому и не совало носа въ омутъ непривилегированныхъ поборовъ—стало-быть, терпѣло ихъ; по-французски есть вѣрное слово: tolérait.

Такіе поборы и не назывались взятками. Этимъ словомъ клеймили обыкновенно вымогательство, прижимательство, голую продажу правосудія въ уѣздномъ судѣ, въ палатѣ, въ процессахъ по имущественнымъ дѣламъ. Такіе судьи-лихоимцы были у всѣхъ на виду и на счету, и уваженіемъ не пользовались. Если въ обществѣ водились съ ними, то это только по личнымъ расчетамъ.

— Хапунъ, пострѣлъ!—говорилъ Якубовъ при встрѣчѣ съ

такимъ судьей и быстро перекидывался на другую сторону линейки, чтобъ не отвѣчать на поклонъ.

Какіе же, спрашивается, доходы затѣмъ могли получать служащіе? Я недоумѣвалъ, но, перезнакомившись съ служебнымъ персоналомъ, я мало-по-малу проникъ взглядомъ въ губернскую бездну. Напримѣръ, я узналъ, что всякій священникъ или благочинный, обязательно представляя въ годъ двѣ книги въ консисторію, одну метрическую, другую не помню какую, прилагалъ, смотря по приходу, извѣстную сумму для секретаря: кто сто, кто двѣсти или и болѣе рублей. Можно сообразить, по числу приходовъ въ епархіи, какая почтенная сумма составлялась изъ такихъ приношеній. А если къ этому прибавить бракоразводныя дѣла — то какъ было не нажить секретарю дома и деревни!

Точно такъ же и въ губернской службѣ: городничіе, исправники представляли свои годичныя вѣдомости, отчеты и прочее, тоже «со вложеніемъ» извѣстной суммы, иногда крупной, если въ этихъ отчетахъ и вѣдомостяхъ, т.-е. въ городахъ и уѣздахъ, не все обстояло благополучно.

Давали не то что случайно, для покрытія какихъ-нибудь темныхъ дѣлъ, а такъ просто, по обычаю. И какъ не дать: пожалуй, иной правитель дѣлъ, или лицо по особымъ порученіямъ, при случаѣ и напакостить, а, получивъ подарочекъ—посовѣстится, и если бы случился грѣшокъ, то замнетъ, промолчитъ.

Прошу замѣтить, что я говорю про давнопрошедшее время: теперь, вѣроятно, священники посылаютъ въ консисторію только однѣ книги, а городничіе и исправники — одни чистые отчеты безъ «вложенія» для секретарей.

Я помню юмористическій разсказъ губернаторскаго чиновника по особымъ порученіямъ, Янова, человѣка образованнаго, собесѣдника веселаго, неистощимаго на анекдоты и разсказы. Предмѣстникъ Углицкаго употреблялъ его по

письменной части, такъ какъ онъ писалъ скоро, живо и хорошо, но долженъ былъ удалить его отъ писанія. Онъ въ дѣловыя бумаги подпускалъ остроты и юморъ. Губернаторъ ему однажды замѣтилъ, что въ дѣловыхъ письмахъ къ важнымъ лицамъ надо писать имена ихъ полностью, напримѣръ: не Егоръ Петровичъ, а Георгій, не Ефимъ, а Евѳимій Ивановичъ, не Сергѣй, а Сергій и т. д., а къ неважнымъ лицамъ можно-де писать просто. Яновъ принялъ это къ свѣдѣнію и пошелъ писать: къ какому-нибудь министру въ Петербургъ — «Ѳедорей Павловичъ», «Михалій Ивановичъ», а къ простымъ, напротивъ, вмѣсто Аѳанасій Степановичъ, писалъ «Аѳанасъ Степановичъ» и т. п. Нѣсколько такихъ бумагъ успѣли проскочить въ Петербургъ и возбудили тамъ вниманіе. Потомъ въ одной дѣловой бумагѣ, говоря о какомъ-то умершемъ чиновникѣ, написалъ, что «покойный былъ безпокойнаго нрава». За эти остроты отъ писанія бумагъ его устранили.

Обращаюсь къ его разсказу. Это говорилось въ губернаторской канцеляріи, при другихъ, между прочимъ при правителѣ канцеляріи. Губернаторъ задумалъ объѣзжать, по положенію, губернію и послалъ Янова впередъ, въ тѣ мѣста, гдѣ онъ хотѣлъ самъ побывать и осмотрѣть. Это дѣлалось съ тѣмъ, чтобы по уѣздамъ привели все въ порядокъ, исправили неисправности, словомъ,—чтобъ проснулись, гдѣ власти спятъ, и принялись за дѣло. Заставать врасплохъ и потомъ карать за неисправности, или ждать исправленія — казалось хуже. По отъѣздѣ губернатора опять спустили бы рукава—и спускали. Губернскія власти знали это очень хорошо по опыту.

— Вотъ я поѣхалъ, — разсказывалъ Яновъ: — пріѣхалъ въ К., остановился у городничаго; квартира уже была готова. Онъ угостилъ отличнымъ завтракомъ, потомъ сталъ показывать толстыя дѣла, какія-то книги и бумаги.—«Потрудитесь провѣрить приходъ и расходъ суммъ», говоритъ.

Я, наморщивъ лобъ, пристально заглянулъ въ нихъ, не прочиталъ ни строчки, притворился, что провѣрилъ итоги. «Вѣрно», говорю: «прощайте». — «Вотъ еще полиція, пожарная команда,—говоритъ: — не угодно ли взглянуть?» — А я ужъ влѣзъ въ тарантасъ. «Ахъ, чортъ бы тебя взялъ, мучитель!» думаю. «Превосходно», говорю: «такъ и блеститъ! А пожарные, какіе молодцы!» — добавилъ я, глядя на мизерныхъ, маленькихъ четырехъ солдатиковъ, въ изношенныхъ мундирахъ. — «Мундиры съ иголочки!» — подсмѣивался я. Я сталъ надѣвать перчатки: только одинъ палецъ не лѣзетъ—что̀ такое? Я опрокинулъ перчатку: изъ пальца ко мнѣ на колѣни посыпались золотые, штукъ двадцать. Я проворно подобралъ, спряталъ ихъ въ карманъ. «Прощайте,—говорю, приподнявъ фуражку: — у васъ все въ отличномъ порядкѣ, вы примѣрный чиновникъ:— такъ и губернатору доложу. Трогай!» Пріѣхалъ въ С. Та же исторія: ночлегъ у городничаго, отличный ужинъ съ шампанскимъ — и гдѣ только они его тамъ берутъ въ захолустьѣ? На другой день такой же смотръ и отъѣздъ. Прощаюсь, надѣваю перчатку; опять палецъ не лѣзетъ и перчатка тяжела. Мнѣ это понравилось. Дальше я ужъ самъ сталъ смотрѣть — тяжела ли перчатка и лѣзутъ ли пальцы?

— Вы, можетъ-быть, думаете, что онъ шутитъ? — сказалъ мнѣ секретарь, смѣясь:—вовсе нѣтъ: это точь-въ-точь было!

— Какія шутки! — почти обидчиво замѣтилъ разсказчикъ.—Воротясь, послѣ ревизіи, я за обѣдомъ у губернатора разсказалъ и распотѣшилъ всѣхъ.

— И губернаторъ слышалъ?

— Какъ же: онъ больше всѣхъ тѣшился! — заключилъ разсказчикъ.

— За что̀ же вамъ давали?

— Какъ же: за то, что не смотрѣлъ и не видалъ ничего.

— И у васъ не было того, что называется...—началъ я и остановился, пріискивая слово.

— Scrupule, вѣрно хотите вы сказать? — договорилъ Яновъ:—было, какъ не быть! Я даже думалъ, не отдать ли назадъ, да... передумалъ! Вѣдь это не взятка — фи, какъ можно! Я не способенъ ни прижать, ни пожаловаться, и если бъ нашелъ неисправность, самъ замѣтилъ бы и посовѣтовалъ исправить. А тутъ просто суютъ въ руки лишнія деньги, да еще нажитыя, очевидно, неправедно. Какъ же ихъ не отобрать и не спрятать въ карманъ, тѣмъ болѣе, что перчатки разорвались, не выдержали бы...

И разсказчикъ, и всѣ слушатели смѣялись.

Зимой, я помню, одна барыня, небогатая помѣщица, сѣтовала, разсказывая своей пріятельницѣ при мнѣ и еще при одномъ родственникѣ, старикѣ, по секрету, о своемъ недоумѣніи, за кого выдать дочь, хорошенькую дѣвушку, съ которой мнѣ приходилось иногда танцовать на вечерахъ.

— Двое приглядываются къ моей Катѣ,—говорила она:— и Ягорскій, и Мальхинъ: того и гляди сдѣлаютъ предложеніе, а я не знаю, какъ быть, за котораго отдать? Ягорскій — женихъ бы хоть куда! И Катѣ нравится, изъ себя видный, славно танцуетъ, по-французски говоритъ, такъ и сыплетъ...

— Такъ, вотъ, за него бы и отдать, если онъ нравится барышнѣ,—вставилъ я.

— Вотъ молодые люди: у нихъ все романы въ головѣ! У меня еще дома двѣ на рукахъ: многаго я дать не могу, чѣмъ же станутъ молодые жить? Вотъ у Мальхина, такъ у того полтораста душъ, доходу отъ должности, говорятъ, тысячъ пять получаетъ...

— Помилуйте, онъ плѣшивый, толстый, да еще взятки беретъ!—брезгливо перебилъ я.

— Ну, нѣтъ: онъ свѣжій, бодрый, что называется—«высоку». Брюшко, точно, есть, но онъ еще танцуетъ на ба-

лахъ,—заступился за него старичокъ.—А какія это взятки! Не взятки, милостивый государь, а доходы получаетъ по мѣсту совѣтника казенной палаты!—строго прибавилъ онъ.

— Ну, это все равно.—сказалъ я.

— Какъ все равно!—горячился старикъ:—не все равно! Вотъ будете служить, тоже сами будете получать доходъ: безъ дохода нельзя...

— Не буду!—сердито отрѣзалъ я.

— Молодо, зелено!—сказала мать Кати.

Такъ казна, пассивно допуская нештатные «сборы», негласно дѣлилась со служащими своими доходами, и тѣмъ дополняла не хватавшее на прожитокъ скудное жалованье.

VII.

Губернаторъ, Левъ Михайловичъ Углицкій, былъ стариннаго дворянскаго рода, учился, кажется, въ пажескомъ корпусѣ, или дома, а вѣрнѣе, должно-быть, нигдѣ не учился. Онъ бѣгло говорилъ по-французски, а русской рѣчью владѣлъ мастерски, безъ книжнаго краснорѣчія. Она свободно лилась у него, умно, блестяще, съ искрами юмора, съ неожиданными ловкими оборотами, остроумными сравненіями, антитезами. Я, да и другіе тоже заслушивались его разсказовъ: онъ былъ виртуозъ-разсказчикъ. Онъ отлично пользовался—не пріобрѣтенными систематическимъ путемъ, а всячески нахватанными знаніями почти во всемъ и обо всемъ. А нахваталъ онъ знанія не изъ книгъ, не въ школѣ, а съ живыхъ людей, на ходу, въ толпѣ безчисленныхъ знакомыхъ во всѣхъ слояхъ общества. У него, въ памяти, какъ у швеи въ рабочемъ ящикѣ, были лоскутки всякихъ знаній, и онъ быстро и искусно выбиралъ оттуда нужный въ данную минуту клочокъ. Что̀ западало ему въ память, то и оставалось тамъ навсегда и служило ему вѣрно. У него развился взглядъ и вкусъ и въ литературѣ, и въ искусствахъ, особенно въ живописи. Онъ былъ не только любитель, но

и знатокъ хорошихъ картинъ. Апломбъ въ разговорѣ, что называется, у него былъ удивительный: онъ отважно врѣзывался въ разговоръ, какъ рубака въ непріятельскій строй, и отлично уклонялся, когда натыкался на неодолимую преграду.

Особенно мастерски владѣлъ онъ софизмомъ, какъ отличный дуэлистъ шпагой, и спорить съ нимъ, поставить его въ границы строгой логики, было мудрено: онъ не давался.

Нѣкоторые изъ его разсказовъ такъ и просились подъ перо. Если бъ я могъ предвидѣть, что когда-нибудь буду писать для печати, я внесъ бы нѣкоторые разсказы въ памятную книжку. Иные еще и теперь сохранились у меня въ памяти. Особенно интересны у него выходили характеристики нѣкоторыхъ извѣстныхъ, громкихъ личностей, съ которыми онъ былъ въ сношеніяхъ личныхъ или служебныхъ. Онъ долго служилъ адъютантомъ у разныхъ начальниковъ и сохранилъ въ памяти живую характеристику о нихъ. У него была масса воспоминаній, скопившихся за тридцать слишкомъ лѣтъ, съ начала нынѣшняго столѣтія. Онъ такъ же, какъ Онѣгинъ, помнилъ и всѣ анекдоты «отъ Ромула до нашихъ дней». У него въ натурѣ была артистическая жилка—и онъ, какъ художникъ, всегда иллюстрировалъ портреты разныхъ героевъ, напримѣръ, выдающихся дѣятелей въ политикѣ, при дворѣ, или героевъ отечественной войны, въ которой, юношей, уже участвовалъ, ходилъ брать Парижъ, или просто извѣстныхъ въ обществѣ людей. Но вотъ бѣда: иллюстраціи эти — какъ лицъ, такъ и событій — отличались иногда такою тонкостью, изяществомъ деталей и такою виртуозностью, что и лица, и событія казались подчасъ цѣликомъ сочиненными. Иногда я замѣчалъ, при повтореніи нѣкоторыхъ разсказовъ, перемѣны, вставки. Оттого полагаться на фактическую вѣрность ихъ надо было съ большой оглядкой. Онъ плелъ ихъ какъ кружево. Всѣ слушали его съ наслажденіемъ, а я, кромѣ того, и съ не-

довѣріемъ. Я проникалъ въ игру его воображенія, чуялъ, гдѣ онъ говоритъ правду, гдѣ украшаетъ, и любовался не содержаніемъ, а художественной формой его разсказовъ. Онъ, кажется, это угадывалъ, и самъ гнался не столько за тѣмъ, чтобы поселить въ слушателѣ довѣріе къ подлинности событія, а чтобъ произвести извѣстный эффектъ — и всегда производилъ.

Между тѣмъ, все-таки онъ былъ безграмотный, или, по меньшей мѣрѣ, полуграмотный. Ни по-русски, ни по-французски онъ не напишетъ двухъ-трехъ строкъ грамматически правильно. Орѳографія и синтаксисъ отсутствовали. Для переписки, даже для писанія простыхъ интимныхъ писемъ, ему нуженъ былъ секретарь или секретари. Какъ это могло случиться — не знаю и до сихъ поръ. Я долго, особенно послѣ въ Петербургѣ, служилъ ему добровольнымъ секретаремъ.

Губернаторскій домъ былъ убранъ со вкусомъ и поставленъ Углицкимъ на широкую, щегольскую ногу. Особенно коллекція картинъ въ его кабинетѣ была замѣчательна. Кромѣ того, вдобавокъ къ казенной мебели, онъ выписалъ еще много ненужныхъ вещей, всегда съ печатью вкуса, изъ Петербурга и Москвы, завелъ щегольской экипажъ, красивыхъ лошадей, выписалъ тонкаго повара. Камердинеръ у него былъ что-то въ родѣ какого-нибудь французскаго Ляфлёра, Пикара или Лебеля, гладкій, красивый, откормленный, одѣтъ щегольски, почти какъ его господинъ, съ напускной важностью, почтительный съ его превосходительствомъ и наглый съ просителями, плутъ и взяточникъ. Словомъ, все — на широкую, барскую ногу, и не по провинціальному, а по петербургскому масштабу.

«Стало-быть, у него много было денегъ?» слѣдуетъ за этимъ вопросъ.— Ничего у него не было, кромѣ жалованья и... долговъ! Жалованья полагалось губернатору шесть тысячъ рублей (ассигнаціями), казенный домъ, отопленіе, освѣ-

щение—и только. Послѣ, кажется, впрочемъ, удвоили окладъ, но не помню, было ли то при Углицкомъ, или послѣ него. Какъ же жить, да еще на такую широкую ногу, щегольски?

Подумаютъ, можетъ-быть, что онъ тоже имѣлъ «доходы» по должности. Нѣтъ, никогда. Онъ былъ очень опрятенъ, держалъ себя безукоризненно, джентльменомъ. Все, что доставлялось на губернаторскій домъ изъ лавокъ, оплачивалось немедленно. Такъ было во все время его губернаторства, и при отъѣздѣ его оттуда, за нимъ, ни у одного купца, ни въ какой лавкѣ, не осталось ни гроша долга.

Онъ щеголялъ этимъ, какъ щеголялъ изящнымъ костюмомъ отъ петербургскаго портного, покроемъ и бѣлизной бѣлья, чистыми, прозрачными ногтями. Ничѣмъ этимъ, какъ и мелкими долгами, онъ не грѣшилъ.—Это «mauvais genre»,—говорилъ онъ.—«Послѣ того, остается мнѣ пойти съ этими торгашами въ харчевню чай пить, или въ Петербургѣ гулять по Невскому проспекту въ фуражкѣ, а въ театрѣ въ первый рядъ залѣзть въ зеленыхъ замшевыхъ перчаткахъ и т. п. Фи! On risque se déclasser!»

Крупныхъ «доходовъ» по службѣ онъ гнушался не менѣе—въ родѣ, напримѣръ, положенныхъ, будто бы, ежегодныхъ субсидій отъ откупщика губернаторамъ и другимъ властямъ покрупнѣе, по нѣскольку тысячъ. Углицкій сказывалъ мнѣ потомъ объ этихъ попыткахъ приношенія со стороны откупщика.

— Какъ же вы это приняли?—спросилъ я.

— Allez vous promener!—сказалъ я ему на его намеки. «Но вѣдь это вездѣ дѣлается: это обычай!» — настаивалъ откупщикъ, и отошелъ съ носомъ.

Это, конечно, была правда. Если бъ Углицкій поползнулся на такой доходъ, онъ мнѣ бы объ этомъ не заикнулся.

Но... но... вотъ онъ что прибавилъ и поставилъ меня втупикъ.

— Кто беретъ эти приношенія, — сказалъ онъ: — —

обязаны потомъ дѣлать по откупамъ разныя потворства. Прошлой весной онъ подъѣхалъ-было ко мнѣ съ просьбой: выпусти, да выпусти я хлѣбъ къ сплыву по Волгѣ...

(Какой это хлѣбъ и почему его нельзя было отпустить, я теперь совершенно забылъ.)

— Что же вы?—спросилъ я:—конечно, не разрѣшили?

— Разумѣется, нѣтъ. Сталъ приставать: мы съ нимъ пріятели—хлѣбъ-соль водимъ: c'est un bon enfant après tout. Мнѣ не хотѣлось отдѣлаться сухимъ отказомъ: «вотъ,—сказалъ я,—я на той недѣлѣ ѣду въ С. уѣздъ—вы вѣдайтесь. какъ хотите, съ вице-губернаторомъ: онъ безъ меня будетъ управлять губерніей».

— Что же онъ?

— Ничего не сказалъ, почесалъ только за ухомъ. Я уѣхалъ. Переправляюсь въ С. уѣздѣ черезъ Волгу, вижу: плывутъ росшивы. Спрашиваю, съ чѣмъ это? отъ кого? «Съ хлѣбомъ,—говорятъ:—откупщикъ внизъ спускаетъ...»

Губернаторъ заключилъ еще свой разсказъ смѣхомъ. Не знаю, замѣтилъ ли онъ, какой крупный и неопрятный софизмъ вставилъ онъ въ свою службу. Мой барометръ его нравственности сталъ колебаться.

Потомъ онъ на вечерахъ игралъ въ карты, если не съ азартомъ, то съ значительнымъ увлеченіемъ, между прочимъ и съ откупщикомъ. Злоязычный Яновъ разсказывалъ, что «откупщику не везетъ въ игрѣ... съ Львомъ Михайловичемъ»,—добавилъ онъ съ комическимъ вздохомъ.

— Зачѣмъ же онъ не броситъ, если проигрываетъ?—спросилъ я.

Яновъ засмѣялся и похлопалъ меня по колѣнкѣ.

VIII.

Но все-таки Углицкій былъ въ долгу, какъ въ шелку. У него были не мелкіе, а довольно крупные и притомъ стереотипные долги. Общую сумму своихъ долговъ онъ опре-

дѣлалъ въ тридцать-семь тысячъ, т.-е. стереотипныхъ долговъ. Сумма же подвижныхъ, мелкихъ долговъ мѣнялась, то повышалась, то понижалась: послѣднее случалось, когда заимодавецъ попадалъ въ «денежную минуту», узнавалъ, что Углицкій получилъ кушъ. Онъ уплачивалъ, если не все, то хоть часть. Если же долгъ затягивался, то, послѣ извѣстнаго срока, причислялся къ стереотипнымъ. Правда, онъ возлагалъ упованіе на наслѣдство послѣ какой-то богатой бездѣтной тетки въ Петербургѣ.—но это наслѣдство было проблематическое, въ родѣ ожиданія пріѣзда богатаго дяди изъ Америки.

Итакъ, онъ жилъ прежде всего долгами, какъ отецъ Онѣгина, по словамъ Пушкина. Тогда, кажется, и все старое поколѣніе пробавлялось этимъ способомъ: только «лѣнивый», по пословицѣ, не дѣлалъ долговъ. Когда, бывало, упрекнутъ кого-нибудь долгами, у виноватаго всегда былъ готовъ стереотипный отвѣтъ: «у кого ихъ нѣтъ?»

У Углицкаго дѣланіе долговъ было приведено въ систему, которую онъ прилагалъ къ дѣлу такъ же виртуозно, какъ юморъ и остроуміе къ разсказамъ. Система, очевидно, принадлежала воспитанію и нравамъ его времени. Долги дѣлались и не платились какъ-то помимо всякихъ вопросовъ о нравственности, какъ хожденіе въ церковь и усердное исполненіе религіозныхъ обрядовъ у многихъ молящихся часто не вяжется съ жизнью. Напримѣръ, украсть у ближняго изъ кармана, изъ стола, тайно присвоить — никто и никогда изъ этихъ «джентльменовъ» не рѣшался, скорѣй застрѣлится: а занять съ обѣщаніемъ отдать «при первой возможности», «при удобномъ случаѣ», и забыть—это ничего, можно!

Какъ могли эти господа жить и спать, что называется, на оба уха, безпечно, не заглядывая изъ сегодня въ завтра — непостижимо для человѣка въ здравомъ умѣ и твердой памяти! А они жили и жили уютно, комфортабельно,

изящно— и считали себя, не шутя, джентльменами. Напримѣръ, Углицкій разсказывалъ мнѣ уже послѣ, когда мы пріѣхали въ Петербургъ (я забѣгаю впередъ), какъ онъ однажды за границей очутился «entre de mauvais draps» и какъ выпутался. Послѣ отставки онъ поселился въ Парижѣ, конечно, съ подругой. Пенелопа его, Марья Андреевна, оставалась въ Петербургѣ, на маленькой квартиркѣ, «на Антоніевой пищѣ»; дочь была помѣщена въ первоклассный пансіонъ оканчивать воспитаніе, конечно, на чужой счетъ— тетки или другой благотворительницы—не помню. Въ Парижѣ онъ взялъ квартиру, завелъ мебель, разумѣется, изящную — все это на счетъ своей побочной, увлеченной имъ супруги. Жила эта чета не стѣсняясь, пользуясь всѣми парижскими благами и, наконецъ, черезъ годъ—прожились. Онъ сбылъ мебель и всѣ вещи за безцѣнокъ и уѣхалъ на Рейнъ, потомъ во Франкфуртъ—и въ одинъ день... «Figurez-vous,—говорилъ онъ:—у меня осталось всего 25 талеровъ». Я вчужѣ ужаснулся, слушая его. «Что же вы сдѣлали?»—спрашиваю я. «Я ходилъ по франкфуртскимъ бульварамъ и все думалъ, какъ извернуться... Тамъ есть павильонъ въ одномъ саду, съ статуей Аріадны «на тигрѣ», открытый для публики. Я отъ нечего-дѣлать зашелъ туда. Смотрю на эту Аріадну и думаю... думаю: «вѣдь этотъ садъ богатаго банкира... Пойду къ нему!» — и пошелъ.—Дома, принимаетъ. Какъ о васъ доложить?—«Gentilhomme russe». Банкиръ принялъ меня съ утонченной вѣжливостью, спросилъ, «чему онъ обязанъ честію», и т. д. Я ему очень слегка, небрежно, шутя, очертилъ свое критическое положеніе. «Figurez-vous, говорю: у меня 25 талеровъ въ карманѣ, а мнѣ до дома больше 300 миль... и мнѣ необходимо»...— «Сколько вамъ нужно?—спросилъ онъ выслушавъ:—чтобъ доѣхать?»—«Тысячи двѣ франковъ, я полагаю, довольно»... Представьте, онъ подошелъ къ столу, отрѣзалъ чекъ на эту сумму и велѣлъ человѣку проводить меня въ кассу... «Но

вѣдь ему надо было скоро заплатить: у васъ было что-нибудь въ виду?»—«Ни гроша въ виду».—«Какъ же вы думали сдѣлать?»—«Никакъ не думалъ». Я смотрѣлъ на него въ страхѣ за него, а онъ отвѣчалъ мнѣ веселымъ взглядомъ. «И у а une providence pour les malheureux...—продолжалъ онъ: — Figurez-vous: по Рейну въ это время ѣхалъ нашъ Дворъ; я бросился въ Эмсъ — нашелъ между придворными друзей, сослуживцевъ, и представилъ имъ свое положеніе живо, въ яркихъ краскахъ, даже прослезился. Обо мнѣ доложили... Тамъ вспомнили, что я когда-то танцовалъ на придворныхъ балахъ... и мнѣ выдали двѣ тысячи пятьсотъ франковъ. Я сейчасъ отвезъ деньги къ банкиру и поспѣшилъ въ Россію».

Здѣсь кстати приведу еще два разсказа самого Углицкаго и его пріятеля, отставного полковника Сланцова, другъ о другѣ. Сланцовъ былъ однополчанинъ Углицкаго, жилъ съ нимъ вмѣстѣ, что называется, душа въ душу. То же воспитаніе, нравы, прекрасный тонъ, манеры, щегольство, та же бойкость французской и русской рѣчи на словахъ и та же малограмотность на письмѣ. Кажется, все ихъ поколѣніе какъ-то свысока смотрѣло на грамотность. Письменныя занятія презрительно назывались нѣкоторыми тогдашними военными: «купаться въ чернилахъ».

У Сланцова было порядочное имѣніе за Волгой, гдѣ онъ проводилъ лѣтніе мѣсяцы, а въ городѣ былъ гостемъ Углицкаго. Когда они были вмѣстѣ, для гостей просто былъ праздникъ слушать ихъ. Однажды, послѣ обѣда, мы сидѣли у камина въ кабинетѣ Углицкаго втроемъ, т.-е. они двое и я.

Они пустились въ откровенныя воспоминанія, удили изъ прошлаго другъ у друга ѣдкіе случаи и перекидывались ими, какъ шалуны, хлѣбными шариками за обѣдомъ между собой.

— Послушайте, что онъ со мной сдѣлалъ однажды!— разсказалъ, между прочимъ, Углицкій про Сланцова:

— Это было въ Германіи; мы (съ войскомъ) подвигались къ французской границѣ. Нашъ полкъ былъ въ... (я забылъ теперь, какое мѣстечко онъ назвалъ). Я былъ полковымъ адъютантомъ. Командиръ послалъ меня верстъ за сорокъ, къ дивизіонному генералу, съ бумагами и порученіями. Я взялъ троихъ людей изъ полка и отправился верхомъ. Денегъ у насъ—ни у него (онъ указалъ на Сланцова), ни у меня не было ни алтына, nous étions à sec, ждали все изъ дома. А изъ дома получали только слезныя письма: «послѣ французовъ все разорено, не поправились, дохода нѣтъ, чтобъ потерпѣли, пробавлялись казеннымъ» и т. п. канитель! Жили мы на одной квартирѣ, у старой нѣмки, обѣдали у командира, да у офицеровъ, у кого были деньги. Между тѣмъ у насъ въ полку велась крупная игра. Былъ одинъ капитанъ Шлепковъ — такъ отшлепывалъ въ банкъ, что иногда всѣ деньги изъ полка соберутся у него,—и потомъ у него же занимаются. Усталый, злой, голодный, я воротился дня черезъ три домой. «Гдѣ Андрей Иванычъ?»— спрашиваю у денщика. «Къ Шлепкову, говоритъ, пошли, и всѣ господа тамъ». Я сталъ раздѣваться, вдругъ вижу письмо за зеркаломъ: отъ матери. Я обрадовался до слезъ, сталъ читать, пропустилъ разныя домашнія подробности, съ поклонами отъ тетокъ, дядей, кузинъ, и добрался до живого мѣста: «посылаю тебѣ, милый Левушка, сто золотыхъ». Я чуть не прыгнулъ до потолка. Дальше мелькомъ пробѣжалъ строки: «разорены отъ французовъ... береги деньги... долго не пришлю... эти заняла»... и т. д. Я спряталъ письмо и сталъ искать денегъ на столѣ, въ столѣ—нѣту. «Кто принесъ письмо?»—спрашиваю денщика. «Андрей Ивановичъ говоритъ, положилъ его за зеркало». «Вѣрно, деньги спряталъ къ себѣ въ ящикъ: умникъ!» — подумалъ я — и, какъ блаженный, поужиналъ и легъ спать. У меня такъ и звенѣли въ ушахъ все золотые. Я мечталъ, какъ я разгуляюсь на завтра и... конечно, поиграю, обыграю Шлепкова. Ут-

ромъ рано кричу съ постели: «Андрей! Андрюша!» Храпитъ. Черезъ полчаса опять зову. «Мм»... мычитъ. Потомъ, слышу, возится, встаетъ. «Гдѣ деньги спряталъ? — спрашиваю:—въ ящикѣ, что ли?» Кряхтитъ. «Говори же!»— «Погоди... сапогъ не лѣзетъ». Опять кряхтитъ. «Давай же деньги?»—говорю. «Какія деньги?» — «Какъ какія деньги? вѣдь ты вѣрно съ письмомъ и деньги изъ канцеляріи принесъ?»—«Ахъ, эти-то! Да, принесъ... Эхъ, другой сапогъ не лѣзетъ!»...—«Гдѣ же деньги? Не томи, говори и давай... въ столѣ, что ли, у тебя?»...—«Нѣтъ, онѣ... у Шлепкова»,— говоритъ. Я ужаснулся. «Какъ такъ?»... «Отшлепалъ, братъ Лёвушка; такъ отшлепалъ... ахъ, проклятые сапоги?»...— «Ужели ты все спустилъ, безсовѣстный?» — спрашиваю. А онъ въ отвѣтъ мнѣ только печально головой кивнулъ...

— Что жъ ты не прибавилъ вздоха моего? — перебилъ Сланцовъ. — Я такъ вздохнулъ, что денщикъ пришелъ:— думалъ—зову его! «Ужели ты мнѣ хоть пяти золотыхъ не оставилъ?» горько упрекнулъ онъ меня, какъ теперь помню...

— И это все правда?—спросилъ я.

— Да, это... правда, — сознался Сланцовъ: — Que voulez-vous! Nous étions en guerre, et à la guerre comme à la guerre?

— Ну, погоди же: ты дискредитировалъ меня передъ молодымъ человѣкомъ—онъ подумаетъ, что я нахалъ, а ты великодушный другъ! Я тоже могу припомнить кое-что: какъ ты мнѣ отплатилъ. Figurez-vous, — обратился онъ ко мнѣ и продолжалъ по-французски, но потомъ перешелъ на русскую рѣчь. — Мы воротились въ Петербургъ, я вышелъ въ отставку, а онъ (указывая на Углицкаго) остался въ полку, жили мы вмѣстѣ. Я нанялъ квартиру, отдѣлалъ ее щегольски, накупилъ мебели, лампъ, вазъ, зеркалъ картинъ, разныхъ дорогихъ bibelots—cela m'a couté les yeux de la tête—словомъ, промотался—конечно, пока въ долгъ.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

того, дулись, не говорили между собой, а потомъ сейчасъ же помирились, какъ только кто-то первый... не помню, ты или я (Сланцовъ обратился къ Углицкому)—денегъ достали, конечно, въ долгъ... и замазали брешь. А съ нимъ мы не считались: *твое* и *мое* у насъ, какъ у допотопныхъ людей, не существовало!—заключилъ Сланцовъ.

Меня, новаго, свѣжаго молодого человѣка, удивляло и занимало все въ этихъ людяхъ. И это систематическое, искусное проживательство на чужой счетъ, и безцѣльная канитель жизни, безъ идей, безъ убѣжденій, безъ опредѣленной формы, безъ серьезныхъ стремленій и увлеченій, безъ справокъ въ прошломъ, безъ заглядыванія въ будущее. Если и было дѣло, оно тянулось вяло, сонно, какъ-нибудь.

Сколько пропадало, уходило ни на что силъ и дарованій въ этомъ, тогда старомъ поколѣніи людей! Вотъ хоть бы эти два представителя своего времени, Углицкій и Сланцовъ, и сколько другихъ, — подобныхъ имъ, — были умные, живые, даровитые. Это видно было изъ каждаго слова, шага. Оба прошли строгую военную школу, сражались, дѣлали, что имъ приказывали, и ни одинъ не вложилъ въ дѣло части самого себя, что-нибудь свое. Изъ войны, походовъ, сраженій, они оба вынесли впечатлѣнія личной отваги, блеска, щегольства, разныхъ веселыхъ авантюръ за границей, изображали все это въ остроумныхъ, пикантныхъ разсказахъ. Серьезная, строгая сторона той великой эпохи отъ нихъ ускользнула. Они ея будто не видали, жили какъ-то внѣ ея. Дома у себя — та же беззаботность и безсодержательность жизни. Сланцовъ не умѣлъ распорядиться своимъ имѣніемъ и сдалъ на руки другому. Углицкій въ дѣлахъ по своей должности былъ очень чутокъ, наблюдателенъ и зорокъ, и былъ бы исполнителенъ, если бъ... Вотъ это «если бъ!» У меня была бабушка, которая говаривала: «если не *бы*, да не *но*, были бы мы богаты давно!» Былъ бы исполнителенъ и Углицкій, если бъ... хотѣлъ.

что съ юношескою болтливостью
стерскомъ разсказѣ, хронику
ждаго въ городѣ, между
ило ѣздили къ нему и
ъ и своего секре-
безъ няньки, не
ночью, секретарь
ли не спалъ въ вицъ-
ходительству», то и дѣло
иковъ особыхъ порученій,
ихъ чиновъ, онъ тоже пере-
стическомъ очеркѣ.
того за дѣло!» думалъ я, слушая.
что онъ говорилъ, да и весь городъ
ько не зажимать ушей. Всѣ находили,
но быть—и не могли понять, отчего губер-
«взбѣленился», откуда это пошло, кто «по-
рь сказали бы: по чьей «иниціативѣ» началось.
иниціативѣ того же самаго секретаря, котораго
живо расписалъ мнѣ губернаторъ, нужды нѣтъ, что
другъ безъ друга, какъ сіамскіе близнецы, жить не
гли.

— Вотъ каковъ персоналъ моихъ помощниковъ! — патетически заключилъ свой разсказъ губернаторъ. — Я молчалъ. — Согласитесь, что знать это и терпѣть долѣе было бы съ моей стороны не честно. Я хочу положить этому конецъ.

— Это, вѣдь, значитъ положить конецъ самой системѣ! — робко замѣтилъ я, а самъ подумалъ, что онъ года четыре уже «терпѣлъ» это.

— C'est juste, vout aves parfaitement, mille fois raison! — подтвердилъ губернаторъ.

— Какъ же это сдѣлать?—продолжалъ я.—Если вы удалите этихъ людей...

себя présentable au plus haut degré.—«Très présentable!» было у него высшей аттестаціей новаго лица.

Я сказалъ, что новаго, живого въ свое дѣло онъ не вносилъ: виноватъ. Онъ задумалъ ввести кое-что новое—именно: прекратить «нештатные» доходы или поборы, о которыхъ не могъ не знать подробно. Excusez du peu! Онъ уже не разъ проговаривался объ этомъ въ обществѣ и наводилъ на коренныхъ губернскихъ служакъ пугливое недоумѣніе. Тѣ стали оглядываться и шептать между собою.

Мало-по-малу замыселъ этотъ сталъ проявляться у него и на дѣлѣ, пока еще тѣмъ, что онъ двухъ-трехъ «оглашенныхъ», и частію уличенныхъ въ мелкихъ поборахъ подчиненныхъ призывалъ къ себѣ и пригрозилъ имъ судомъ. Всѣ встрепенулись.

Къ исполненію этого своего замысла онъ вздумалъ привлечь... меня!! Я у него, въ качествѣ знакомаго, до наступленія осенняго сезона, почти не бывалъ, заѣзжалъ только изрѣдка, по настоянію Якубова, къ губернаторскому подъѣзду въ такіе часы, когда Углицкаго не было дома.

Все, что я говорю о немъ, между прочимъ и вышеприведенный разсказъ о разговорѣ его съ Сланцовымъ, происходило зимой, когда я у него въ домѣ близко ознакомился съ нимъ и со всѣмъ его домашнимъ бытомъ.

IX.

Я собрался совсѣмъ ѣхать въ Петербургъ и запасся рекомендательнымъ письмомъ отъ управляющаго удѣльною конторою—не помню теперь, къ какому вліятельному члену удѣльнаго департамента.

Пока я собирался, дѣлалъ прощальные визиты, губернаторъ вдругъ прислалъ просить меня къ себѣ. Я поѣхалъ. Онъ любезно встрѣтилъ (опять не подавая руки), повелъ меня въ кабинетъ и усадилъ рядомъ съ собой на диванѣ.

Онъ началъ съ того, что съ юношескою болтливостью раскрылъ предо мною, въ мастерскомъ разсказѣ, хронику служебныхъ «доходовъ» всѣхъ и каждаго въ городѣ, между прочимъ и тѣхъ, кто чуть не ежедневно ѣздили къ нему и принимали его у себя. Онъ не пощадилъ и своего секретаря, безъ котораго онъ, какъ ребенокъ безъ няньки, не дѣлалъ ни шагу. Цѣлый день, и часто ночью, секретарь этотъ не отходилъ отъ него, и чуть ли не спалъ въ вицмундирѣ. «Пожалуйте къ его превосходительству», то и дѣло звучало въ его ушахъ. Чиновниковъ особыхъ порученій, даже до мелкихъ канцелярскихъ чиновъ, онъ тоже перебралъ въ яркомъ характеристическомъ очеркѣ.

«Что же мнѣ-то до этого за дѣло!» думалъ я, слушая. Я зналъ почти все, что онъ говорилъ, да и весь городъ зналъ. Стоило только не зажимать ушей. Всѣ находили, что такъ и должно быть—и не могли понять, отчего губернаторъ вдругъ «взбѣленился», откуда это пошло, кто «почалъ»; теперь сказали бы: по чьей «иниціативѣ» началось.

А по иниціативѣ того же самаго секретаря, котораго такъ живо расписалъ мнѣ губернаторъ, нужды нѣтъ, что они другъ безъ друга, какъ сіамскіе близнецы, жить не могли.

— Вотъ каковъ персоналъ моихъ помощниковъ! — патетически заключилъ свой разсказъ губернаторъ. — Я молчалъ. — Согласитесь, что знать это и терпѣть долѣе было бы съ моей стороны не честно. Я хочу положить этому конецъ.

— Это, вѣдь, значитъ положить конецъ самой системѣ! — робко замѣтилъ я, а самъ подумалъ, что онъ года четыре уже «терпѣлъ» это.

— C'est juste, vout aves parfaitement, mille fois raison! — подтвердилъ губернаторъ.

— Какъ же это сдѣлать?—продолжалъ я.—Если вы удалите этихъ людей...

— Vous y êtes! Ихъ всѣхъ прочь! — вставилъ губернаторъ.

— Тогда надо пригласить другихъ: можетъ-быть, тѣ то же станутъ дѣлать?..

— *Вы* развѣ станете это дѣлать? — вдругъ спросилъ губернаторъ, и самъ же отвѣтилъ:—конечно, нѣтъ.

— Я?!—съ удивленіемъ сказалъ я, даже всталъ съ мѣста.

— Именно вы!—перебилъ Углицкій, усаживая меня рукой на диванъ. — Я остановился на васъ. Вы только-что кончили курсъ въ университетѣ, готовитесь вступить въ службу: чего же лучше, какъ начать ее въ нашемъ родномъ городѣ, живя съ своими?.. и т. д.

Онъ очень искусно развивалъ передо мной заманчивую картину службы при немъ.

— Ваше воспитаніе, благородство, тонъ, манеры, знаніе языковъ, даютъ вамъ всѣ права и преимущества... — И пошелъ, и пошелъ; «и свѣжій-то, и новый-то я человѣкъ. и новые взгляды» у меня, и проч.

Почемъ онъ зналъ мое «благородство» и мои «взгляды»— Богъ его вѣдаетъ! Вѣроятно, потому, что я казался ему «présentable». Онъ искусно воспользовался этими мотивами, чтобы склонить меня.

— Если это и такъ, какъ ваше превосходительство говорите, то позвольте напомнить французскую пословицу: «одна ласточка не дѣлаетъ весны»...

— Вы да я — вотъ ужъ двѣ, — живо перебилъ онъ: — найдемъ и еще, и мы перекукуемъ ночныхъ птицъ. Рѣшайтесь! Да?

— Позвольте спросить, на какую должность вамъ угодно пригласить меня?—спросилъ я.

— Ба! развѣ я еще не сказалъ? На мѣсто секретаря. Вы будете управлять канцеляріей...

Я — юноша — едва не пожалъ плечами отъ удивленія передъ легкомысліемъ этого—чуть не старика.

— Позвольте напомнить,—началъ я, помолчавъ:—что я только-что со школьной скамьи и никакими дѣлами не занимался. Я совершенно неопытенъ. Какъ я могу управлять группой чиновниковъ, уже служившихъ, опытныхъ?.. Я могъ бы, пожалуй, принять въ губерніи мѣсто учителя въ гимназіи, какого-нибудь инспектора уѣздныхъ училищъ, что-нибудь въ этомъ родѣ, а дѣла губернской администраціи мнѣ вовсе незнакомы...

Здѣсь полился у него рядъ доводовъ, построенныхъ больше на софизмахъ, шаткихъ предположеніяхъ...

— Подайте прошеніе,—заключилъ онъ.

— У меня и аттестата еще нѣтъ, — отговаривался я. — Изъ Москвы послано въ Петербургъ, и еще не получено утвержденіе министра. Я не могу поступить на службу...

Онъ вскочилъ съ мѣста, и я всталъ.

— Такъ вотъ что̀ мы сдѣлаемъ,—горячо перебилъ Углицкій: — вы вступите въ отправленіе должности съ завтрашняго же дня, а когда получите аттестатъ, мы васъ утвердимъ съ этого числа.

«Экъ загорѣлось! Ужели онъ всѣ дѣла рѣшаетъ такъ проворно?»—думалось мнѣ.

— Позвольте подумать,—защищался я:—посовѣтоваться съ родными... У меня ужъ письма есть въ Петербургъ отъ Андрея Михайловича... Я еще не знаю!..

Мнѣ, во что бы то ни стало, хотѣлось отдѣлаться отъ этого неожиданнаго предложенія. Меня тянуло въ Петербургъ. Родимый городъ не представлялъ никакого простора и пищи уму, никакого живого интереса для свѣжихъ, молодыхъ силъ. Словомъ, я скучалъ, а тутъ вдругъ остаться и служить!

— Faites ça, je vous prie! — нѣжно пѣвучимъ голосомъ упрашивалъ онъ меня, какъ балованный ребенокъ.—Вы до полученія аттестата уже привыкнете и будете въ дѣлахъ

какъ дома. Вѣдь это все пустое!—съ презрѣніемъ заключилъ онъ, указывая на груду бумагъ на столѣ.

Я видѣлъ, что мысль заманить меня на службу гвоздемъ засѣла у него въ головѣ.

«Кто ему вбилъ этотъ гвоздь?»—думалъ я.

— А прежній секретарь, Добышевъ, развѣ покидаетъ службу?—спросилъ я, вспомнивъ про него.

— Какъ можно! Нѣтъ, онъ просится чиновникомъ особыхъ порученій при мнѣ — онъ утомленъ работой и часто болѣетъ... Скажу вамъ откровенно—онъ и указалъ мнѣ на васъ, чтобы замѣнить его...

— Онъ!—сорвалось у меня восклицаніе удивленія.

— Да, онъ! А что?

— Зачѣмъ это нужно ему?

Я задумался.

— C'est un gredin, si vous voulez, mais il est versé dans les affaires. Онъ и будетъ вначалѣ помогать, руководить— и... я тоже! Вы поговорите съ вашими, и завтра—милости просимъ на службу, въ канцелярію! Да? Теперь до свиданія. Кланяйтесь Петру Андреевичу.

Я сталъ уходить. Въ дверяхъ показалась губернаторша. Я поклонился.

— Что же вы у насъ не бываете? — начальственно строго спросила она. — Я пригласила васъ, а вы ни разу не заглянули?

— Я хотѣлъ начать мои посѣщенія вмѣстѣ съ Петромъ Андреевичемъ, — оправдывался я: — звалъ его, просилъ патронировать меня...

— Что̀ же, онъ все еще боится?

Оба, и мужъ, и жена, разсмѣялись.

— Поздравь меня, — сказалъ онъ: — j'ai fait une belle acquisition. И. А. поступаетъ съ завтрашняго дня ко мнѣ на службу и будетъ, bongré-malgré нашимъ ежедневнымъ гостемъ.

— Такъ это состоялось? Вы согласны? — съ живостью спросила она.

— Позвольте... Это еще не рѣшено, надо подумать...— защищался я, пятясь къ дверямъ и раскланиваясь.

Не даромъ я отнѣкивался отъ губернаторскаго предложенія. Потомъ до меня доходили слухи, что секретарь посовѣтовалъ опредѣлить на его мѣсто меня, не какъ «новаго, свѣжаго, безкорыстнаго» и т. д., или если и такъ, то еще болѣе всего какъ неопытнаго молодого человѣка, именемъ котораго онъ могъ бы продолжать вести дѣла по губерніи, по-своему, какъ онъ велъ ихъ прежде, т.-е. плавать подъ чужимъ флагомъ въ тѣхъ же водахъ... «Шипы» (предупреждали меня по секрету) доставались бы мнѣ, а «розы» падали бы на его голову. Я счелъ это за губернскую сплетню и не обратилъ на нее вниманія. Если же въ самомъ дѣлѣ таковы были его сокровенные замыслы на мой счетъ, то они ему не удались. Судьба рѣшила иначе.

X.

Alea jacta est! Я на другой день вступилъ, если не de jure, то de facto, на службу въ губернаторскую канцелярію. Роднымъ моимъ очень улыбалось удержать меня дома: мать мечтала со временемъ женить меня и няньчить внучатъ; сестры пріобрѣтали своего домашняго кавалера для вечеровъ; слуги радовались, сами не знали чему. Особенно няня утѣшалась, что я не пропаду изъ глазъ навсегда, и смотрѣла на меня кротко и любовно.

— Завтра тебѣ надо явиться къ губернатору уже какъ къ начальнику: надѣнь бѣлый галстукъ, — сказалъ мнѣ Якубовъ.

Я бѣлый галстукъ не надѣлъ, зато напустилъ на лицо нѣкоторую важность и явился прямо въ канцелярію. Предмѣстникъ мой, Добышевъ, былъ уже тамъ. Онъ представилъ мнѣ всѣхъ чиновниковъ по очереди.

— Это столоначальникъ Трусецкій, — говорилъ онъ, указывая на господина съ большими черными бакенбардами, въ синемъ поношенномъ сюртукѣ! («Полякъ, присланный сюда изъ западныхъ губерній» *),—шепнулъ при этомъ).— Это Миліановичъ, сынокъ Марѳы Яковлевны, знаете?

— Какъ не знать! Мы знакомы. — Я поклонился, но руки, подражая губернатору, не подалъ: нельзя, подчиненный!

И такъ далѣе. Добышевъ перезнакомилъ меня со всѣми. Чиновники почтительно щелкали нога объ ногу и смотрѣли съ любопытствомъ на меня, и я на нихъ, не зная, что̀ имъ сказать.

— А это сторожъ Чубукъ, — со смѣхомъ заключилъ Добышевъ, указывая на прямого, какъ палка, солдатика у дверей, съ полинявшими галунами.

— Здравія желаю, ваше высокородіе! — провозгласилъ тотъ.

— Вотъ и дѣла у насъ здѣсь! — продолжалъ Добышевъ, отворяя старый шкапъ съ еле державшеюся дверью: — а эти, что̀ на столѣ, теперь разсматриваются. Вотъ бумаги, заготовленныя къ подписанію его превосходительства. А это новыя входящія. Покажите, Иванъ Семеновичъ, входящій реестръ! Вотъ вамъ и ключъ отъ стола!

Добышевъ отдалъ мнѣ ключъ.

---

*) Тогда, послѣ польскаго возстанія 1830 г., множество уроженцевъ польскихъ губерній было разослано, по распоряженію правительства, на службу по городамъ внутри Имперіи. Полагалось, что они обживутся съ русскими и сами обрусѣютъ. Вышло противное. Умные, вкрадчивые, большею частью образованные, во всякомъ случаѣ образованнѣе нашей провинціальной чиновничьей братіи, эти пришельцы занесли съ собой польскій духъ и нравы, и вмѣстѣ съ тѣмъ прививали понятія о политическомъ режимѣ Полѣши, и вообще Запада. Эта тихая, самимъ правительствомъ созданная пропаганда не осталась безъ вліянія на развитіе политическихъ идей, даже въ дальнихъ углахъ Россіи, гдѣ до тѣхъ поръ о нихъ не было и слуху.

— Тутъ, въ столѣ, есть двѣ секретныя бумаги съ губернаторской отмѣткой. Велѣно исполнить ихъ поскорѣе,—прибавилъ онъ.

— То-есть, какъ это исполнить бумаги?—наивно спросилъ я, вдругъ потерявъ всякую важность.

— Написать по губернаторской резолюціи исполненіе.

Тутъ Добышева позвали къ губернатору. Я сѣлъ за столъ.

«Написать исполненіе!» думалъ я, стараясь вникнуть въ смыслъ этой новой для меня фразы.

Вошелъ Чубукъ.

— Солдатъ пришелъ къ вашему высокородію, да еще женщина дожидается давно,—доложилъ онъ мнѣ.

Я вышелъ въ прихожую.

— Что̀ тебѣ надо?—спрашиваю солдатика.

— Егорья потерялъ, ваше высокородіе,—говоритъ.

— Какого Егорья?

— Хрестъ, значитъ, потерялъ.

Я сталъ втупикъ.

— Поищи хорошенько,—сказалъ я.

— Иди въ полицію... а ты!.. Подай прежде объявленіе! Что̀ лѣзешь прямо сюда! — раздался изъ другой комнаты голосъ чиновника.

Солдатикъ посмотрѣлъ на меня, я на него.

— Слышь, въ полицію ступай!—сказалъ Чубукъ.

Онъ помялся-помялся, стукнулъ ногой, сдѣлалъ направо кругомъ и ушелъ. Баба жаловалась, что сыну не выходитъ «ослобожденіе» отъ «некрутчины». «Ослобонить ослобонили, потому — негодный, спина кривая, а бумаги изъ правленія не даютъ и сына не отпущаютъ, а она проѣлась, жимши въ городѣ»... и т. д.

— Пожалуйте къ его превосходительству! — раздалось сзади меня.

Я попросилъ—или, виноватъ, «поручилъ» одному изъ чи-

новниковъ разобрать просителей и пошелъ наверхъ. Тѣмъ и заключился первый мой дебютъ на службѣ.

— C'est charmant! Это любезно, что послушались!—встрѣтилъ меня губернаторъ, не подавая руки.—Присядьте. Не хотите ли позавтракать?

Передъ нимъ стоялъ подносъ съ закусками: икрой, селедкой, дымилась котлетка. Я отговаривался, что завтракалъ, да и предложеніе, казалось мнѣ, сдѣлано было такимъ голосомъ, чтобы его не принять.

Я сталъ каждый день являться въ канцелярію — и сдѣлался однимъ изъ колесъ губернской административной машины, да еще какимъ важнымъ! Недѣли черезъ двѣ мнѣ дома, со смѣхомъ, передали, что нашъ поваръ даже стращалъ моимъ именемъ какого-то несговорчиваго торговца мясомъ и дичью.

Но главнымъ, хотя и не гласнымъ воротилой въ дѣлахъ остался все-таки Добышевъ. А я накупилъ побольше перчатокъ, бѣлыхъ галстуковъ и выписалъ еще пару платья изъ Москвы. Это оказалось самымъ важнымъ дѣломъ въ моей службѣ.

Мои утренніе, надо было бы сказать—дѣловые часы, если бы было дѣло, оказались довольно пріятными. Лѣтнее сонное бездѣлье кончилось: я тогда не зналъ, куда время дѣвать, а теперь не зналъ, куда оно уходило. Лѣтомъ, бывало, я стрѣлялъ на волжскихъ отмеляхъ скворцовъ, трясогузокъ, излазилъ по всѣмъ обрывамъ крутого нагорнаго берега, купался, отправлялся со своими цѣлымъ домомъ на зеленый островъ, пить, между сѣномъ и осокой, чай, иногда обѣдать, удить рыбу.

И за всѣмъ этимъ времени оставалось пропасть. Оно уходило больше на чтеніе. Я перезнакомился со всѣми, у кого были библіотеки, за неимѣніемъ публичной, читалъ все, что выписывалъ Якубовъ, — и все-таки оставался досугъ, тратившійся на затрапезныя и чайныя бесѣды со своими, на

прогулки «для воздуха» съ крестнымъ и на блаженную дремоту, иногда среди бѣлаго дня.

Зимой все это бездѣлье кончилось: у меня просто не хватало времени. Утромъ ѣдешь въ канцелярію, прочитаешь присланную сверху, т.-е. отъ губернатора, почту, потомъ «исполняешь» бумаги «къ подписанію его превосходительства». Съ этими послѣдними, часовъ въ 12, являешься къ нему наверхъ, въ кабинетъ.

Какъ весело бывало тамъ наверху! Идучи по лѣстницѣ, уже слышишь какое-нибудь блестящее рондо Герца или сонату Моцарта, разыгрываемыя хорошенькой, граціозной Софьей Львовной. Она ласково, немного краснѣя, отвѣтитъ на поклонъ веселой улыбкой, съ оттѣнкомъ легкой ироніи, которая, какъ скрытая булавка, нѣтъ-нѣтъ, да и кольнетъ. Дитя и вмѣстѣ не дитя: прелесть дѣвушка! Она мило краснѣла. Румянецъ вспыхнетъ и въ ту же секунду спрячется, и опять покажется, глазки блеснуть и прикроются рѣсницами.

Я бо̀льшею частью угадывалъ, что̀ у нея на умѣ, и скажу ей, а она мило вспыхнетъ и кивнетъ утвердительно, если угадаю. Иногда скажу какое-нибудь свое наблюденіе и разсмѣшу ее. Покажутся два бѣлыхъ чудесныхъ зубка.

На пути къ губернаторскому кабинету, она была для меня какъ сирена для Улисса. Перекинешься съ ней, сначала двумя-тремя словами, и иногда застоишься, заслушаешься сонаты, или просто засмотришься, какъ она застѣнчиво краснѣетъ и сверкаетъ веселыми агатовыми глазками.

А тутъ кругомъ лѣсъ тропическихъ растеній, попугай— то свиститъ, то оретъ, точно его рѣжутъ, двигаясь по мѣдной перекладинѣ изъ стороны въ сторону. Тамъ трещатъ канарейки. Не хочется уйти, а надо. Вонъ губернаторъ звонитъ. Ему поспѣшно пронесли подносъ съ завтракомъ.

Секретарь, т.-е. бывшій мой предмѣстникъ, оканчиваетъ свой докладъ.

У него какія-то особыя бумаги, которыя ко мнѣ не поступали. Случалось мнѣ заставать ихъ на разговорѣ о постройкахъ, заготовкахъ, подрядахъ. Но я въ это не вникалъ вовсе, губернаторъ — очень мало; вникалъ одинъ Добыщевъ.

— Что̀ это у васъ, бумаги? — спроситъ, поздоровавшись, Углицкій.—Есть что-нибудь важное?

И, не дождавшись отвѣта, велитъ обыкновенно положить на бюро.

— Мы ужо̀ съ Егорьевымъ (домашнимъ чиновникомъ) разберемъ: я подпишу и пришлю въ канцелярію. А теперь давайте завтракать. Не хотите ли? — прибавитъ равнодушнымъ, лѣнивымъ голосомъ.

Это повторялось ежедневно. Онъ приглашалъ постоянно и Добышева, и меня, а мы постоянно отказывались. Углицкій садился за завтракъ и съѣдалъ все до-чиста. Ему приносили завтракъ на одного. Съ семьей онъ рѣдко завтракалъ: дѣла, вишь, не позволяли. Но однажды онъ принудилъ-таки меня попробовать, а Добышева никакъ не могъ склонить. Тотъ, застегнутый на всѣ пуговицы вицмундира, такъ и остался на ногахъ.

— Что̀ это ты мнѣ принесъ?—спросилъ онъ камердинера, когда тотъ поставилъ подносъ на столъ.—Я велѣлъ почку, а это ris de veau! Какъ ris de veau по-русски?—спросилъ онъ меня.

Я не зналъ.

— Какъ ris de veau по-русски? — спросилъ онъ Добышева.

— Не знаю, ваше превосходительство: я вѣдь по-французски не говорю,—отвѣчалъ тотъ.

— Поди, спроси повара, какъ это блюдо называется, и отчего онъ мнѣ не приготовилъ почку, sauce madère? Я съ

утра заказалъ. Не угодно ли? — прибавилъ онъ, подвигая подносъ мнѣ и Добышеву.

Этотъ отказался изъ почтенія, а я изъ почтенія же попробовалъ.

— Что, вкусно?

— Очень,—сказалъ я.—У насъ дома часто готовятъ это блюдо, только я не знаю, какъ оно называется.

— И я попробую, — сказалъ Углицкій, а попробовавъ, съ аппетитомъ доѣлъ остальное. — Не дурно, только отчего не почка?

Камердинеръ воротился и сказалъ, что это называется «сладкое мясо» изъ груди теленка.

— Отчего жъ почку не приготовилъ?

— Онъ думалъ, что почку приказывали къ столу.

— А? Какъ вамъ это покажется! — обратился онъ къ намъ: — почка къ обѣду! Кто ѣстъ почку за обѣдомъ? Вы любите почку?—обратился онъ ко мнѣ.

— Да-съ... ничего...

— Такъ пріѣзжайте сегодня обѣдать.

Я поклонился.

— А теперь вы пройдите туда, къ женѣ, или съ Сонечкой поговорите. Выберите ей что-нибудь, пожалуйста, порусски читать: она любитъ. А я еще слова два скажу Ивану Ивановичу и потомъ приду.

Они остались вдвоемъ, какъ это часто случается, совѣщались о чемъ-то другъ съ другомъ, но меня въ эти совѣщанія не посвящали, а я не напрашивался.

XI.

Я шелъ туда, на женскую половину. Тамъ было весело. Въ гостиной сидѣла Марья Андреевна, принимала визиты и важничала среди губернскихъ дамъ. Она жила сознаніемъ, что она—первая дама въ губерніи. Только у нея, кажется, и было утѣшенія. Прочее все, съ лѣтами, измѣняло ей, на-

чиная съ мужа. А если не было визитовъ и она сама не выѣзжала, около нея сидѣла Соня, ласкаясь къ матери, какъ кошечка.

Тутъ же постоянно присутствовали двѣ барышни, сестры, неопредѣленныхъ лѣтъ — не менѣе 25 и не болѣе 30 лѣтъ. Наружности у нихъ не было, т.-е. женской: это были два засохшіе цвѣтка. Одна круглолицая, съ наивными, цвѣта болотной воды, немигающими глазами, съ широкой улыбкой. Другая, бѣлокурая, съ сѣрыми, прятавшимися подъ низенькимъ лбомъ глазами, съ хитренькимъ, высматривающимъ взглядомъ. По фамиліи ихъ никто никогда не называлъ. Губернаторша и дочь ея, и самъ Углицкій, звали ихъ Лина и Чуча, какъ сами сестры звали другъ друга. Онѣ были бѣдныя дворянки-сироты, жили съ нуждой, въ тѣсной квартиркѣ, въ мезонинѣ маленькаго деревяннаго домика, пробавляясь маленькой пенсіей за службу отца, да нѣкоторыми женскими работами: вышиваньемъ подушекъ, вязаньемъ шарфовъ, дѣланіемъ цвѣтовъ изъ воску, и другихъ ненужныхъ вещей, которыя покупались у нихъ знакомыми, ради ихъ положенія, для подарковъ.

Онѣ были стариннаго дворянскаго рода; бабка ихъ была изъ княжеской, впрочемъ, давно угасшей фамиліи. Онѣ любили иногда поминать объ этомъ, кажется, единственномъ ихъ преимуществѣ. Ихъ въ нѣкоторыхъ домахъ принимали, въ другихъ смотрѣли на нихъ небрежно, ради ихъ бѣдности. Такъ было до пріѣзда Углицкихъ. Губернаторша приняла ихъ подъ свое крыло, сначала тоже ради ихъ положенія, ради сиротства и памяти о княжеской породѣ, потомъ онѣ мало-по-малу вошли въ штатъ дома ея превосходительства, и умѣли сдѣлаться необходимыми, собственно Лина, старшая. Онѣ были порядочно воспитаны, т.-е. умѣли въ дурномъ переводѣ съ русскаго говорить французскія фразы, прилично сидѣть въ гостиной и держать себя за столомъ. Прежде онѣ приходили къ обѣду, а вечеромъ уходили

домой. Потомъ, когда губернаторша сдѣлала имъ приличный гардеробъ, онѣ, что называется, живмя жили у нея и постоянно исполняли ея порученія.

Впрочемъ, послѣднія возлагались собственно на одну старшую, Лину. Лина было сокращеніе ея имени Капитолина. Имя младшей сестры «Чуча» передѣлали изъ ихъ фамиліи Чучины, потому что ея настоящее имя, Аполлинарія, сокращенію не поддавалось.

Чуча оказалась неспособною ни къ какимъ порученіямъ, кромѣ одного — сидѣть въ гостиной, съ вѣчнымъ вышиваньемъ въ рукахъ какой-то безконечной тесьмы, не то для звонка, не то для каймы къ портьерѣ, «pour avoir une contenance», говорили Углицкіе. Ея обязанность была принимать и занимать гостя или гостью, пока губернаторша оканчивала свой туалетъ или губернаторъ не выходилъ еще изъ кабинета. Пробовала-было Углицкая поручать ей другія дѣла, но ничего изъ этого не выходило.

Чего, кажется, проще — разлить чай? Когда гостей не было и чай не разносился изъ буфета лакеями, то пили его въ маленькой гостиной у камина, на маленькомъ столѣ— и поручили разливать ей.

Вотъ тутъ точно домовой тѣшился надъ ней. У нея чашки скользили изъ рукъ, ложечки летѣли на полъ, поднимался звонъ, громъ. То она нальетъ чаю въ сахарницу; кому вовсе не положитъ, кому переложитъ сахаръ. Ее удалили отъ этой обязанности.

И другое шло не лучше. Сонечка однажды заболѣла. Ее уложили въ постель и посадили около больной Чучу, когда Углицкой или няни не было въ комнатѣ, чтобы она въ срокъ подавала то или другое лѣкарство, и вообще смотрѣла бы за больной. Тутъ она чуть не надѣлала бѣды. Накапала въ рюмку, вмѣсто миндальныхъ капель, какого-то спирта, которымъ надо было натирать горло. Къ ея счастью, больной показался противенъ запахъ, и она не приняла.

Мать пришла въ ужасъ, и сама Чуча струсила. Она прижала ладони къ вискамъ, какъ всегда дѣлала въ критическія минуты, заохала и заахала.

Ее удалили за это изъ комнаты и изъ дома на двѣ недѣли, къ себѣ, на «Антоніеву пищу», какъ говорилъ Углицкій. Потомъ соскучатся. И гости привыкли видѣть ее въ уголку гостиной, съ вязаньемъ, тоже спрашиваютъ, почему ея нѣтъ? За ней и пошлютъ. Она явится какъ ни въ чемъ не бывало, садится на свое мѣсто въ гостиной и за столомъ, занимаетъ гостей до прихода губернатора или губернаторши. И какъ занимаетъ хорошо, прилично, съ своей неизмѣнной широкой улыбкой, открытыми настежь глазами, съ вѣчно-ласковымъ взглядомъ. У нея установилась одна мина навсегда и для всѣхъ.

— Здравствуйте! — отчеканитъ она каждому входящему гостю, всегда съ сіяющими радостью глазами и съ улыбкой. — Прошу садиться, вотъ здѣсь, подальше отъ окна, тутъ дуетъ. Вчера Иванъ Ивановичъ посидѣлъ тутъ, потомъ цѣлый вечеръ жаловался, что зубъ ноетъ.

Гость или гостья сядетъ. Она не смигнетъ съ него: такъ и смотритъ, не нужно ли ему чего, пуще всего, не ушелъ бы онъ, не соскучился бы.

— Марья Андреевна принимаетъ? Не помѣшалъ ли я?— спросилъ тотъ.

— Нѣтъ, нѣтъ: подождите чуточку — она сейчасъ, сейчасъ будетъ! Она теперь въ буфетѣ, по хозяйству, поваръ пришелъ. Она заказываетъ, что обѣдать сегодня... и бранитъ его...—добавляетъ шопотомъ, все улыбаясь:—сейчасъ кончитъ.

— Бранитъ? За что?

— Вчера столько петрушки въ супъ навалилъ, что ѣсть нельзя...

Гость смѣется.

— Право. Вы не вѣрите? Вотъ спросите Сонечку, когда придетъ: точно мухи въ тарелкѣ плаваютъ!

Гость опять смѣется. И она тоже. Ей весело, что она умѣетъ занимать.

— Это вы на сѣрой лошади пріѣхали? Какая большая!— продолжаетъ она, глядя въ окно.—Ахъ, кажется, Наталья Николаевна подъѣхала: вонъ ея карета, вы видите?

— Да, вижу,—говоритъ гость.

— Надо встрѣтить ее въ залѣ!

И бѣжитъ съ сіяющимъ лицомъ встрѣчать гостью, какъ родную мать. Та, слегка кивнувъ ей, заговариваетъ съ гостемъ, а она удаляется въ свой уголъ и беретъ вышиванье.

— Что Марья Андреевна: занята?—спрашиваетъ гостья.

— Съ поваромъ бранится: сейчасъ придетъ,—говоритъ гость.

— Вы почемъ знаете?

— Да вотъ кто сказывалъ!—Онъ указываетъ на Чучу.

Оба смѣются, и Чуча тоже.

Выходитъ Марья Андреевна.

«Здравствуйте, здравствуйте!» и т. д.

— Мы мѣшаемъ вамъ: вы по хозяйству...—говоритъ гостья.

— Кто вамъ сказывалъ?

— Чуча говоритъ, что вы повара бранили... Ахъ, эти повара!

Марья Андреевна смотритъ на нихъ вопросительно.

— Петрушки много въ супъ наклалъ!—шутитъ гость.

Лицо Углицкой свирѣпѣетъ.

— Подите къ Сонечкѣ въ комнату!—рѣзко командуетъ она Чучѣ.

Та, бросивъ вышиванье, быстро уходитъ, приложивъ дорогой ладони къ вискамъ. «Ахъ, ахъ, что это я надѣлала!»—и разсказываетъ Сонечкѣ. Та вечеромъ разска-

жетъ мнѣ — и мы въ уголку весело хихикаемъ. Бѣдная Чуча!

Еще ее немного вышколили, старались преподать нѣсколько темъ для занятія гостей, а то она прежде доходила до геркулесовыхъ столбовъ въ дѣлѣ нескромности. Однажды какая-то значительная губернская дама застала ее въ сильномъ, непривычномъ для нея волненіи. На вопросъ гостьи, дома ли Марья Андреевна, принимаетъ ли,— Чуча, послѣ обычной, неизмѣнной широкой улыбки и вопросовъ о здоровьѣ, о томъ, прошелъ ли «родимчикъ» у маленькой и т. д., на вопросъ гостьи, что̀ дѣлаютъ ихъ превосходительства, внезапно приложила ладони къ вискамъ и заахала.

— Ахъ, ахъ, не знаю!.. Что̀ у насъ дѣлается—ахъ, что̀ дѣлается....

— Что, что такое? — удерживая дыханье спрашивала любопытная гостья.

— Ахъ, ахъ, не могу... не спрашивайте!

— Да говорите, милая, я никому не скажу, никому... никому...

Чуча, чтобъ занять гостью, боясь, что она, пожалуй, разсердится и уѣдетъ, начала разсказывать жестокую семейную сцену между Углицкимъ и женой.

— Левъ Михайловичъ такъ разсердились, такъ кричали... ужасъ, ужасъ! — шепчетъ она. — У Марьи Андреевны сдѣлалась истерика... Левъ Михайловичъ кричали, что лучше застрѣлиться... Сонечка заперлась у себя въ комнатѣ, плакала... ахъ!..

— Да изъ-за чего, изъ-за чего? Говорите скорѣй! — настаивала гостья.

— Еще вчера...—начала-было Чуча и прикусила языкъ.

Въ дверяхъ явилась сама Марья Андреевна. Она изъ-за портьеры слышала кое-что изъ разговора и поспѣшила помѣшать продолженію.

— Идите домой и глазъ больше сюда не показывайте!— прошипѣла она змѣинымъ шопотомъ.

Чуча отчаянно приложила ладони къ вискамъ и стремглавъ бросилась домой.

— Ахъ, ахъ!—твердила она дорогой:—что̀ я надѣлала!

Ее воротили изъ ссылки не прежде какъ черезъ мѣсяцъ, давъ ей нагоняй и подробную инструкцію, ка̀къ и чѣмъ занимать гостей.

Когда никого не было около Углицкой, Чуча должна была сидѣть въ комнатѣ около нея. Губернаторша зѣвнетъ, и она зѣвнетъ, подставитъ скамеечку.

— Почитайте, Чуча, вонъ изъ той книги, что̀ въ спальнѣ.

Чуча почитаетъ, но и тутъ перепутаетъ слова, не тамъ дѣлаетъ ударенія, гдѣ надо. «Однажды (мнѣ разсказывала Софья Львовна) maman попросила ее почитать путешествіе какого-то іеромонаха по св. мѣстамъ. Архіерей прислалъ. Она и читаетъ въ одной главѣ: «сей ядовитый подлецъ...» Я изъ своей комнаты слышу голосъ maman: «Ахъ, какая гадость! Какія выраженія! Вы, Чуча, должны были пропустить. Сонечка, послушай, какая гадость!» Я посмотрѣла въ книгу, а тамъ сказано: «сей ядовитый ползецъ»: это говорилось про скорпіона.

Чуча исполняла какія-нибудь несложныя порученія: сказать что-нибудь горничной, принести изъ другой комнаты ту или другую вещь, пойти въ кабинетъ къ Углицкому, передать что-нибудь, или просто посмотрѣть, кто тамъ у него. Если же пошлютъ ее, напримѣръ, въ лавку, да дадутъ два-три порученія, купить то, отрѣзать аршинъ такой-то матеріи, заѣхать къ портнихѣ и т. п., она наполовину перепутаетъ, наполовину забудетъ.

Впрочемъ, съ ней, кромѣ этихъ временныхъ ссылокъ домой «на Антоніеву пищу», обходились ласково, гуманно и шутили надъ ней весело, не оскорбляя ея. И прислуга обращалась къ ней, правда, безъ особой услужливости, но

учтиво. Углицкій, если не для чего другого, то ради хорошаго тона, не допустилъ бы дикихъ нравовъ въ домѣ.

Но онъ подшучивалъ надъ ней безпрестанно и смѣшилъ на ея счетъ другихъ, но такъ безобидно, что та первая отвѣчала на его шутки своей широкой улыбкой. Только однажды она какъ будто сконфузилась, когда Углицкій спросилъ меня при ней:

— Вамъ Чуча ничего не разсказывала о просвиркѣ?

— Нѣтъ, о какой просвиркѣ?

— Разскажите ему, Чуча...

— Ахъ, ахъ, Левъ Михайловичъ!..—заахала Чуча, приложивъ ладони къ вискамъ, и поспѣшила спрятаться въ уголъ гостиной, къ камину, за экранъ. Марья Андреевна съ насмѣшливой улыбкой смотрѣла на нее. Софья Львовна тоже покраснѣла отъ удовольствія. Въ это время Углицкаго позвали въ кабинетъ. Пріѣхалъ гость. Губернаторша ушла одѣваться и позвала Чучу съ собой. Мы остались съ Сонечкой.

— Какая это просвирка? — спросилъ я: — разскажите, Софья Львовна.

Дѣло вотъ въ чемъ. Губернаторшѣ за обѣдней въ соборѣ подносилась просвира, которую она передавала въ руки Линѣ или Чучѣ, обыкновенно сопровождавшимъ ее въ церковь. Эти просвирки приносились домой и благоговѣйно употреблялись на другой день, натощакъ. Иногда же отдавались по дорогѣ какой-нибудь бѣдной женщинѣ, или старику, ребенку, на кого укажетъ губернаторша, кто ей казался жалокъ, голоденъ. Однажды, въ дождливую погоду, садясь на паперти съ дочерью въ карету, Углицкая передала просвирку, за отсутствіемъ Лины, Чучѣ, чтобы она, по дорогѣ пѣшкомъ домой, отдала просвирку какому-нибудь нищему или нищей, да спросила бы прежде, не ѣли ли они что-нибудь утромъ, такъ какъ просвирка освященная.

— Отдала самому бѣдному! — хвасталась, съ сіяющими глазами, Чуча, пришедши домой, за завтракомъ.—«Ничего, говоритъ, со вчерашняго дня не ѣлъ: вотъ, говоритъ, только на копеечку луку купилъ, хотѣлъ-было поѣсть»... У него изъ-за пазухи и лукъ торчитъ... Я и отдала... «Смотри же, говорю: прежде вотъ это скушай: это благословенная просвирка!..» Какъ онъ благодарилъ! «Спасибо, говоритъ, спасибо»... кланяется до земли, даже ермолку снялъ...

— Какую ермолку?

— Онъ татаринъ,—вразумила Чуча.

— Татарину освященную просвирку!

Губернаторша всплеснула руками, губернаторъ откатился съ хохотомъ отъ стола; веселѣе всѣхъ было Софьѣ Львовнѣ. И теперь, разсказывая мнѣ, она смѣялась до слезъ.

— Maman зазвонила во всѣ сонетки, позвали людей, разослали искать татарина по окрестнымъ улицамъ...

— А Чуча что? Вотъ такъ—ладони къ вискамъ: ахъ, ахъ! Я представилъ, какъ она дѣлаетъ.

Софья Львовна досказала, что татарина нашли и привели. Онъ успѣлъ съѣсть только верхнюю, т.-е. освященную половину, и закусывалъ лукомъ. Набожная губернаторша ужаснулась, хотѣла ѣхать къ архіерею, спросить, что̀ дѣлать: не надо ли окрестить татарина и прочее. Но губернаторъ отпустилъ его и цѣлую недѣлю тѣшилъ гостей этимъ анекдотомъ. Онъ сталъ еще ласковѣе и шутливѣе съ Чучей. Но Марья Андреевна приняла это серьезно и осудила Чучу на трехдневную ссылку домой.

Чуча была со мной любезна, старалась и меня занимать, когда никого не было въ гостиной, нужды нѣтъ, что я былъ уже свой въ домѣ.

— Вы довольны, что здѣсь остались, а не уѣхали въ Петербургъ: вамъ весело?—сладко спрашивала она меня.

— Да, я доволенъ: мнѣ очень весело.

— Когда же вамъ бываетъ весело у насъ?

— Да вотъ теперь, съ вами.

У нея засіяли глаза.

— Въ самомъ дѣлѣ! Вы это взаправду говорите? Не шутя?

— Нѣтъ.

— А отчего-жъ смѣетесь? О, вы насмѣшникъ, я знаю.

— Отчего же вы знаете?

— Да ужъ знаю: кто изъ столицы заѣдетъ сюда — всѣ такіе насмѣшники! Вотъ и новый прокуроръ — тоже такой насмѣшникъ: все смѣется! Вы и съ Сонечкой все смѣетесь, шутите надо мной: я ужъ знаю, знаю... А мы, вотъ, такъ васъ очень любимъ!—прибавила, помолчавъ.

— Кто это «мы»?

— Да всѣ: Марья Андреевна, Левъ Михайловичъ — и Сонечка тоже... всѣ рады, когда вы придете... Всегда объ васъ говорятъ...

— Что же говорятъ?

— Левъ Михайловичъ вчера еще разсказывалъ Владиміру Петровичу... онъ недавно изъ деревни... вы знаете?..

— Нѣтъ, не знаю... Какой это Владиміръ Петровичъ?

— Онъ дороги да мосты строитъ, инженерный полковникъ. Его фамилія Алтаевъ... Вы видѣли его... Пузанъ такой...

Я засмѣялся.

— Какъ?

Она сконфузилась.

— Толстый такой!—поправилась она.

— Такъ что же Левъ Михайловичъ говорилъ про меня?

— Онъ сказалъ про васъ: «il est présentable, tres présentable», раза три сказалъ. А Марья Андреевна говоритъ: «только дикарь», говоритъ: «когда есть гости, тихонько уйдетъ. Надо, говоритъ, его вышколить: вотъ начнутся собранія — Сонечкѣ выѣзжать еще нельзя, такъ онъ будетъ моимъ кавалеромъ, въ собраніи... когда не будетъ другого...

Я засмѣялся.

— Право! Вы не вѣрите?

— Я спрошу у Марьи Андреевны, правда ли, что она мнѣ назначаетъ роль подставного кавалера?—шутилъ я.

— Что вы, что вы: я не сказала «подставного»! Ахъ, какъ это можно!

— Выходитъ такъ: если недостанетъ кавалера, такъ меня! Марья Андреевна разъяснитъ, какъ она сказала...

Она прижала ладони къ вискамъ.

— Ахъ, ахъ, что это я надѣлала, зачѣмъ сказала вамъ? Ахъ, голубчикъ, не говорите Марьѣ Андреевнѣ... ради Бога! меня отошлютъ домой...

Я успокоилъ ее, но пересказалъ Софьѣ Львовнѣ, и мы посмѣялись.

XII.

Другая сестра, Лина, была совсѣмъ противоположнаго характера. Она была подвижная, живая, какъ ртуть, въ постоянныхъ разъѣздахъ по городу, въ суетѣ, въ хлопотахъ. Въ гостиной у Углицкихъ она появлялась рѣдко, обѣдала у нихъ, когда не было гостей. Зато съ ранняго утра она присутствовала въ спальнѣ и будуарѣ Марьи Андреевны. Когда онѣ были вдвоемъ, къ нимъ не допускались ни Чуча, ни горничная. Даже Соня входила только поздороваться и уходила. Безъ нея губернаторша такъ же не могла обойтись, какъ мужъ ея безъ Добышева.

Уклончивая, ласковая до льстивости, всюду втиравшаяся, у всѣхъ что-нибудь выпрашивавшая, она знала все, что дѣлается въ каждомъ домѣ, начиная отъ крупныхъ помѣщиковъ, предсѣдателей, до купцовъ и мѣщанъ. Свѣдѣнія ея были до крайности разнообразны. Она знала, напримѣръ, кто какой кушъ получилъ и за какое дѣло, и куда этотъ кушъ былъ истраченъ. Знала, за что произошла размолвка между мужемъ и женой и почему гувернантка пе-

решла на другое мѣсто. Первая узнавала о затѣвающемся сватовствѣ. Прежде полиціи узнаетъ о какой-нибудь покражѣ, о томъ, кто собирается у такого-то или у такой-то въ гостяхъ, что̀ говорятъ, у кого что̀ подаютъ за столомъ— словомъ, газета.

Все это съ живыми подробностями передавалось Марьѣ Андреевнѣ по секрету. У губернаторши въ рукахъ такимъ образомъ были нити всей губернской политики, и она иногда сама пользовалась этими свѣдѣніями, даже передавала кое-что мужу для его служебныхъ соображеній, и иногда озадачивала кого-нибудь безцеремоннымъ намекомъ на секретное семейное событіе, никогда не обнаруживая источника.

Лина была въ обхожденіи покорная, умѣвшая принимать какой-то фальшиво-застѣнчивый, даже робкій видъ. А услужлива какъ: до приторности. Марья Андреевна не успѣетъ пожелать, она уже угадаетъ и бѣжитъ исполнить ея желаніе, прежде нежели слуга или горничная пошевелятся. «Позвольте мнѣ, я сейчасъ... Дайте, я сдѣлаю, принесу, достану»... — безпрестанно слышится ея писклывый голосъ. Губернаторъ ищетъ чего-то около себя глазами—а она ужъ несетъ забытый имъ въ кабинетѣ платокъ. Губернаторша намекаетъ, что она видѣла въ окнѣ какого-то магазина вещь, да забыла гдѣ: черезъ полчаса Лина уже говоритъ ей, гдѣ.

Она отлично, до тонкости исполняла порученія Углицкой, какъ бы они сложны ни были, по части женскаго туалета. Марья Андреевна пошлетъ ее по магазинамъ, и та, зная ея вкусъ, прихоти, капризы, превзойдетъ всѣ ея ожиданія. Благодаря ей, никогда ни одной, самой богатой губернской львицѣ не удавалось, прежде губернаторши, выписать изъ Москвы что-нибудь новое. Она подъ рукой умѣла сбывать выгодно надѣванныя губернаторшины, но еще свѣжія и нарядныя для губернскихъ и уѣздныхъ ба-

рынь платья. Она знала, въ какихъ домахъ водились старинныя кружева, до которыхъ охотница была Марья Андреевна, и умѣла сходно выторговать ихъ. Безъ нея Углицкая не примѣритъ не только платья, шляпки, даже ботинокъ. Она рѣшала, какой цвѣтъ идетъ или не идетъ, что̀ лучше къ лицу ей или Сонечкѣ.

И все это дѣлала съ наслажденіемъ, проворно, какъ будто все ея счастье заключалось въ томъ, чтобы угодить. А ея счастье, между прочимъ, заключалось и въ томъ, что когда замѣтили въ городѣ, какимъ фаворомъ она пользовалась у губернаторши, съ ней перестали обращаться небрежно. Кромѣ того, она пополнила свой гардеробъ, запаслась на многіе годы, чуть не до старости, бѣльемъ, даже двумя лисьими мѣхами. На тѣ платья губернаторши, которыя ей нравились, она не находила покупательницъ, и платья дарились ей.

Сестру свою она втайнѣ презирала, но скрывала это, чтобы и другіе въ губернаторскомъ домѣ не заразились тѣмъ же, не охладѣли къ ней и не свалили ее на ея плечи. Презирала она сестру за ея абсолютную ненужность: за то, что изъ нея никакой пользы нельзя извлечь, что она виситъ у нея камнемъ на шеѣ. Она, въ припадкахъ желчи, обзывала ее «немогучкой». «Безъ нея, безъ этой «немогучки», — проговаривалась она по секрету: — она, Лина, давно была бы замужемъ. А какъ посмотрятъ насъ вмѣстѣ, послушаютъ ее, эту Чучу—всѣ прочь идутъ: думаютъ, что и я такая же безпомощная и неумѣлая, и буду въ тягость семьѣ. А у меня золотыя руки!»

Она еще и теперь, когда я видѣлъ ее, сказывали мнѣ, не потеряла надежды на замужество, хотя всѣ другіе давно потеряли ее. Она сама никого не любила: ни губернаторши, ни ея дочери, никого въ городѣ не было у нея ни птички, ни собачки, ни цвѣтка на окнѣ—[illegible] и ничего. Углицкаго она немного боялась: она все подозрѣвала, что, заго-

варивая съ ней и глядя ей зорко въ глаза, онъ будто искалъ въ ней чего-то, къ чему прицѣпиться, что-нибудь замѣтить въ ней, обнаружить, поднять на смѣхъ,—и уклонялась отъ разговора съ нимъ, отдѣлываясь отъ его шутокъ визгливымъ смѣхомъ.

Она была некрасива: глаза, смотрящіе исподлобья, нависшій надъ ними лобъ и немного выдавшійся подбородокъ сообщали ей видъ моложавой старушонки. Увертливая, скользкая, какъ ящерица, она все торопилась, бѣжала, въ рукахъ у нея всегда было какое-нибудь дѣло, ей все было некогда. Когда ее остановятъ на дорогѣ, она торопливо отвѣчаетъ, не глядя никому прямо въ глаза, въ противоположность сестрѣ, глядѣвшей на всѣхъ немигающими глазами. Нельзя понять, на чемъ основывались ея надежды найти мужа. Развѣ на томъ, что у нея были «золотыя руки».

XIII.

Зимній сезонъ былъ въ полномъ разгарѣ. Городъ наполнился пріѣзжими изъ уѣздовъ. Начались балы въ собраніи, у губернатора, у дворянъ, вечеринки почти во всѣхъ семейныхъ домахъ. Я, какъ и всѣ тогдашніе молодые люди, катался какъ сыръ въ маслѣ—съ бала на балъ, съ вечера на вечеръ. Какъ я ни увертывался, но мнѣ не разъ приходилось играть роль, въ которую прочила меня губернаторша. Какъ я былъ подставной секретарь у ея мужа, такъ, если не былъ, то числился подставнымъ ея кавалеромъ. Танцовать съ ней мнѣ случалось очень рѣдко: всѣ наперерывъ старались ангажировать ее до бала. Мнѣ доставалась эта честь иногда на вечерахъ у ней самой, когда, уступая арену гостьямъ, она сама оставалась безъ кавалера.

Я чувствовалъ, что сталъ врастать въ губернскую почву. Меня тянуло самого то въ тотъ, то въ другой домъ, гдѣ

было поживѣе, повеселѣе, гдѣ меня больше ласкали. Но надъ всѣмъ этимъ губернскимъ людомъ царила пустота и праздность. Искры интеллектуальной жизни нигдѣ не горѣло, не было ни одного кружка, который бы интересовался какимъ-нибудь общественнымъ, ученымъ, эстетическимъ вопросомъ.

Мѣстные интересы сосредоточивались на выборахъ, этихъ потѣшныхъ карикатурахъ на выборное начало. Дѣло было вовсе не въ выборахъ, а въ обѣдахъ, танцахъ, въ картахъ.

Оторванный отъ занятій университетской жизни — я читалъ въ-одиночку, сплошь, что попадалось подъ руку, и не съ кѣмъ было даже дѣлиться впечатлѣніями и мнѣніями о прочитанномъ. Въ городѣ ни библіотеки, ни театра. Приходилось плыть по теченію мѣстной жизни. Въ карты я не игралъ и не обнаруживалъ наклонности къ нимъ: за это многіе «солидные» люди почти презирали меня. Но зато я, какъ всѣ молодые, развлекался на балахъ кадрильнымъ ухаживаньемъ, съ робкими комплиментами, за губернскими дѣвицами или «барышнями», какъ ихъ тогда называли. И все это подъ строгимъ контролемъ маменекъ или тетушекъ, которыя, пуще всякой полиціи, съ материнскимъ расчетомъ, слѣдили за каждымъ взглядомъ и движеніемъ танцующихъ паръ. Протанцуешь, бывало, съ какой-нибудь «барышней», которая приглянется, мазурку на двухъ вечерахъ сряду, начнешь заѣзжать въ домъ — губернаторша уже посматриваетъ насмѣшливо.

— Вамъ нравится Лиза Р—вая?—безцеремонно, по-начальнически спроситъ.

— Да, она хорошенькая.

— А еще что?

— Еще?.. умна, любезна, держитъ себя просто...

— Прибавьте еще, не скупитесь...—И смѣется.

Чуча смѣется во всю ширину своихъ большихъ щекъ.

Лина всегда уползетъ изъ комнаты, если разговоръ коснется при ней. Вѣсти шли черезъ нее. И Софья Львовна лукаво посматриваетъ на меня мелькомъ, съ затаенной булавкой ироніи въ улыбкѣ, и очень мило краснѣетъ. Я оглядываюсь во всѣ стороны. Войдетъ губернаторъ.

— Правда ли, что вы влюблены въ Р—ую? — хватитъ вдругъ при всѣхъ.

— Я! помилуйте!

— Ужъ признайтесь лучше!—шутитъ губернаторша.

И три дня городъ говоритъ, что я влюбленъ въ Р—ую. И дома пытаютъ меня, шутятъ надо мной. Мать моя принимаетъ это серьезно, шопотомъ предупреждаетъ, чтобы я остерегался ухаживать за красавицей, что мать у нея— ехидная, «и притомъ гордая, прочитъ дочь за какого-нибудь графа или князя, за богача, и за тебя не отдастъ».

— Вонъ куда пошло! Да развѣ я женихъ кому бы ни было!

Я готовъ былъ, какъ Чуча, приложить ладони къ вискамъ и бѣжалъ къ себѣ вверхъ, на «вышку», прятаться за книгу.

Это повторялось раза три въ зиму, и я не зналъ, какъ бы мнѣ выбраться на свободу. Но вотъ зимній сезонъ кончился, пришелъ и Великій постъ. Изъ города стали разъѣзжаться, и къ празднику оставались почти одни только служащіе, купцы и другіе постоянные городскіе жители. Я съ тоской, чуть не съ ужасомъ, ждалъ наступленія лѣта, и, наконецъ, сталъ намекать губернатору, что мнѣ нужно бы съѣздить въ Москву, за аттестатомъ, и кстати повидаться съ братомъ и воротиться вмѣстѣ съ нимъ. Губернаторъ удерживалъ, говорилъ, что хотѣлъ самъ проситься въ отпускъ, обѣщалъ взять меня съ собой. Добышевъ настаивалъ, чтобы я поскорѣе подалъ прошеніе и выписалъ изъ университета аттестатъ. Я медлилъ, и слава Богу. Ни прошенія, ни аттестата не понадобилось.

Я продолжалъ свою службу, ѣздилъ въ канцелярію, «исполнялъ», уже безъ руководства Добышева, текущія бумаги, носилъ ихъ къ подписанію его превосходительству, а часа въ три возвращался домой, къ обѣду.

Однажды, поднимаясь, по обыкновенію, около 12 часовъ, съ заготовленными бумагами, на лѣстницу, я узналъ, что у губернатора уже съ 11 часовъ сидитъ гость, помѣщикъ Ростинъ, тотъ самый другъ Якубова, о которомъ я говорилъ выше. Онъ мнѣ коротко знакомъ: еще недавно у него, въ близкой къ городу деревнѣ, на масленицѣ, былъ трехдневный праздникъ, на которомъ я отплясалъ себѣ ноги. Я безъ церемоніи вошелъ съ бумагами прямо въ кабинетъ.

Губернаторъ и помѣщикъ сидѣли въ отдаленномъ углу и о чемъ-то съ жаромъ говорили. Увидя меня, Углицкій быстро, скороговоркой сказалъ:

— Послѣ, послѣ! Положите бумаги и пройдите къ Марьѣ Андреевнѣ, или въ канцелярію.

Я успѣлъ замѣтить, что онъ былъ сильно встревоженъ, на немъ лица не было. Ростинъ тоже былъ очень серьезенъ и, повидимому, что-то сообщалъ по секрету. Ростинъ наскоро поздоровался со мной. Углицкій съ нетерпѣніемъ ждалъ, чтобы я ушелъ. «Притворите, пожалуйста, за собой дверь, и скажите, чтобы никого не принимали!» — попросилъ онъ меня. Я передалъ человѣку его приказаніе и пошелъ въ гостиную.

Въ залѣ никого не было. Въ гостиной сидѣла Чуча.

— Здравствуйте! — сказала она, улыбнулась на минуту и, обдернувъ сзади юбку, вильнула таліей и турнюрой, какъ она иногда дѣлала для граціи.

— Вы отъ Льва Михайловича теперь?—вдругъ серьезно, даже съ безпокойствомъ спросила она.

— Да, отъ него: а что?

— Что тамъ дѣлается?

— Тамъ сидитъ Егоръ Степановичъ.

— Да, я знаю: я его видѣла. А еще?

— Еще—никого нѣтъ: а вамъ нужно кого-нибудь?

— Нѣтъ, нѣтъ (она замотала головой). мнѣ не нужно! Марья Андреевна посылала меня къ нему: я отворила дверь, а Левъ Михайловичъ такъ взглянули на меня, такъ взглянули... ахъ! — Она приложила ладони къ вискамъ.— И махнули рукой — вотъ такъ (она махнула), чтобы я ушла...

— Потомъ что̀?

— Ничего. Марья Андреевна думала, что я перепутала что-нибудь и послала Сонечку посмотрѣть: онъ и ей махнулъ рукой. «Поди, — говоритъ,— къ себѣ и скажи, чтобы намъ не мѣшали».

Услышавъ мой голосъ, вошла Софья Львовна, задумчивая, почти печальная.

— Вы были у папа̀?—спросила она меня.

— Да. Тамъ Росѣцнъ сидитъ: они о чемъ-то по секрету разговариваютъ.

— Maman очень безпокоится.

— А гдѣ Марья Андреевна?—спросилъ я.

— Она посылала за Линой и теперь заперлась съ ней и что-то шепчутъ... Я боюсь!—печально прибавила она.

— Ахъ, и я боюсь!—повторила Чуча.

— Да чего? что̀ такое?—приставалъ я.

Отвѣта не было. Мы трое стояли и вопросительно глядѣли другъ на друга.

Скоро мы заслышали, что гость уходитъ изъ кабинета; губернаторъ проводилъ его до пріемной и вошелъ къ намъ.

— Гдѣ Марья Андреевна? — спросилъ онъ торопливо и, не дождавшись отвѣта, пошелъ къ ней, а меня попросилъ идти въ канцелярію и позвать къ нему Добышева.

Я передалъ Добышеву приглашеніе и ожидалъ въ канце-

ляріи его возвращенія. Но въ три часа онъ не сходилъ, и я уѣхалъ домой.

— Ну, что? — съ тревогой спросилъ меня крестный.— Правда это?

— Что правда?

— Губернаторъ уволенъ?

Я остолбенѣлъ.

— Я ничего не знаю, не слыхалъ, но похоже на правду...

Я разсказалъ ему о посѣщеніи Ростина, о смущеніи Углицкаго и всѣхъ въ домѣ.

Якубовъ разсказалъ мнѣ, что Ростинъ заѣзжалъ къ нему и показывалъ письмо изъ Петербурга, съ извѣстіемъ, что губернаторъ причисляется къ министерству, и прибавилъ, что теперь, вѣроятно, весь городъ знаетъ о томъ.

XIV.

Извѣстіе подтвердилось. На другой день я засталъ живые толки въ канцеляріи. Чиновники не сидѣли на своихъ мѣстахъ, а собирались кучками и шептались. Добышевъ хмуро встрѣтилъ меня, подтвердивъ, что, дѣйствительно, извѣстіе объ увольненіи губернатора получено, но указа еще нѣтъ.

— Подите вверхъ,—сказалъ онъ: — его превосходительство ждетъ васъ.

Я не зналъ, какъ показаться, и зашелъ прежде на женскую половину. Чуча, завидя меня, хотѣла улыбнуться, но вмѣсто этого ахнула и приложила ладони, сначала къ вискамъ, потомъ закрыла ими лицо и залилась слезами.

— Что вы? — спросилъ я съ участіемъ: — о чемъ вы плачете?

— Ахъ, какое горе! Развѣ вы не знаете?.. Левъ Михайлычъ... уво... уволенъ... уѣзжаетъ... и Сонечка тоже...

Слезы не дали ей договорить.

Вышла Софья Львовна, тоже со слѣдами слезъ. На мой вопросъ, правда ли это, она грустно шепнула:

— Да... кажется... Мы... мы уѣдемъ... Прощайте!..

И отвернулась.

— Какъ «прощайте»! Я не останусь здѣсь, я поѣду вслѣдъ за вами! — живо перебилъ я. — Я давно рвусь отсюда.

— Да? Merci... Я рада, — тихо сказала она. — Подите теперь къ папа̀, поговорите съ нимъ, успокойте его какъ-нибудь. Онъ ходитъ въ кабинетѣ одинъ, никого не принимаетъ...

Я вошелъ въ кабинетъ. Левъ Михайлычъ ходилъ большими шагами по кабинету. Онъ обрадовался мнѣ, точно другу.

— Слышали?—почти закричалъ онъ: — каковы молодцы! Добились-таки чего хотѣли!

— Кто?—тихо спросилъ я.

— Кому же, какъ не жандарму! Подслужился! въ генералы хочется, да въ столицу. Нѣтъ, этому не бывать, какъ Богъ святъ, не бывать!—Онъ даже перекрестился.—Я еще не выжилъ изъ ума, языкъ у меня есть, за словомъ въ карманъ не полѣзу. Я тамъ открою глаза на его «ревностную и неусыпную службу!»

— Что за причина? За что̀? — рискнулъ я спросить, и раскаялся.

Онъ пролилъ цѣлое море жёлчи на жандармовъ, и на всѣхъ, кого онъ подозрѣвалъ изъ губернскихъ властей въ интригѣ противъ него. И надо отдать ему справедливость, мастерски освѣтилъ фигуры своихъ «враговъ».

— Вотъ вы тянулись все въ Петербургъ, — заключилъ онъ: — я не только не удерживаю васъ, но настоятельно прошу уѣхать изъ этого болота! И чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше! Вы здѣсь даромъ истратите свѣжія, молодыя силы, и ничего не пріобрѣтете, никакого опыта — ни въ службѣ,

ни въ жизни. Васъ подведутъ, насплетничаютъ, очернятъ, испортятъ вамъ репутацію, и карьера ваша пропадетъ! Женятъ васъ на какой-нибудь Голендухѣ Поликакіевнѣ, и вы загубите вѣкъ свой въ глуши, среди чиновной челяди, взяточниковъ, тупоумныхъ помѣщиковъ...

И пошелъ, и пошелъ рисовать мнѣ картину, совсѣмъ противоположную той, какую рисовалъ, когда приглашалъ меня остаться.

— Я зналъ все это,—сказалъ я ему:—и не остался бы долго ни въ какомъ случаѣ, тѣмъ болѣе теперь, когда вы уѣзжаете...

Тутъ онъ, наконецъ, подалъ мнѣ руку и горячо пожалъ мою.

— Что же вы намѣрены дѣлать?—спросилъ онъ.

— Ѣхать вслѣдъ за вами...

— А отчего не съ нами?—почти нѣжно спросилъ онъ.

— Если это не стѣсняетъ васъ, и если я вамъ могу быть чѣмъ-нибудь полезенъ...

Онъ не далъ мнѣ договорить и стремительно обнялъ меня.

— Благодарю. Не только полезны, вы мнѣ будете необходимы: я многаго жду отъ вашей... дружбы,—нерѣшительно прибавилъ онъ. — Но объ этомъ послѣ. Теперь главное — выбраться изъ этой лужи! Поѣдемте. Я вамъ найду мѣсто въ любомъ министерствѣ. Сдайте дѣла Добышеву: пусть онъ управляетъ... губерніей!

Онъ ѣдко засмѣялся и тяжело вздохнулъ.

— Я подозрѣваю, — прибавилъ онъ: — между нами сказать, и самого Добышева въ этой интригѣ... да! И предсѣдателя тоже... Яркина... Архіерей тоже послѣднее время что-то косился на меня... Вы не замѣтили, какъ онъ бывалъ сухъ?..

Я чуть не засмѣялся. Еще немного — и [illegible] въ числѣ враговъ, назвалъ бы, пожалуй, Чучу. И [illegible] врагов, онъ забылъ помянуть главнаго: [illegible] себя.

— Пріѣзжайте ко мнѣ ужо вечеромъ: мы потолкуемъ. А теперь я еще въ ажитаціи...

И онъ опять зашагалъ по кабинету.

Я сталъ раскланиваться. Въ это время распахнулась дверь, и въ кабинетъ стремительно вошелъ Андрей Петровичъ Прохинъ, чиновникъ особыхъ порученій при губернаторѣ. Онъ былъ навеселѣ, въ возбужденномъ состояніи.

— Что я слышалъ, ваше превосходительство! Ужели это правда? — началъ онъ, подбѣгая къ губернатору и съ паѳосомъ складывая руки на груди. — Ужели это правда? — обратился онъ и ко мнѣ. — Какъ: нашъ добрый, благородный начальникъ покидаетъ насъ! Нѣтъ, это невозможно! скажите, что это неправда!

— Вы выздоровѣли?—вдругъ спросилъ его Углицкій вмѣсто отвѣта.

— Да-съ; проходитъ, прошло... Какъ только я услыхалъ убійственную вѣсть, у меня все какъ рукой сняло... Извольте видѣть.

Онъ вытягивался передъ Углицкимъ.

— Да, вижу... — сказалъ губернаторъ, глядя на него съ нѣкоторымъ сомнѣніемъ.

— Побѣгу,—думалъ я,—узнаю: можетъ-быть, неправда!— твердилъ Прохинъ.

— Правда!— заговорилъ губернаторъ. — Вы не ожидали этого? И никто не ожидалъ, и, надѣюсь, никто не желалъ...

— Никто, клянусь честью, никто! — патетически повторилъ Прохинъ.—Вы такъ много сдѣлали для губерніи, для всѣхъ насъ, для купечества, для мѣщанства... для народа!.. И не признать, не оцѣнить этого! Позвольте, ваше превосходительство, написать объяснительную подробную записку... У меня уже планъ въ головѣ готовъ...

— Да, да, пожалуйста,—уцѣпился за предложеніе Углиц-

кій: — я хотѣлъ объ этомъ просить, но вы были... нездоровы. Никто, кромѣ васъ, не напишетъ...

— Правда, ваше превосходительство, правда: никто, никто! И онъ (указывая на меня) ни за что не напишетъ. Онъ пишетъ чувствительно, но не дѣловито. Я сегодня же засяду...

— Мы возьмемъ записку съ собой въ Петербургъ,—перебилъ губернаторъ.—Вѣдь вы поѣдете со мной, не откажетесь?..

— Нѣтъ, ваше превосходительство! Отказаться! На край свѣта за вами...

Онъ поцѣловалъ его въ плечо.

— Вотъ и онъ ѣдетъ!—указалъ губернаторъ на меня.

— Вы благородный, благородный человѣкъ, человѣкъ съ сердцемъ!—съ жаромъ отозвался Прохинъ и бросился цѣловать меня.

Уфъ! меня точно въ винную бочку посадили!

Прохинъ сталъ изливаться передъ губернаторомъ въ чувствахъ, или «чувствованіяхъ» преданности, какъ онъ выражался, а губернаторъ живо ухватился за предложеніе писать записку въ Петербургъ и быстро увѣровалъ въ ея неотразимость и силу. Они горячо заговорили. Углицкій кидалъ мысль за мыслью, оттѣнялъ ихъ живыми деталями.

— Слушаю, слушаю! Вотъ еще надо то включить, другое...—поддакивалъ Прохинъ.

Оба они говорили въ одно время, перебивая другъ друга.

Я ушелъ.

— До вечера!—сказалъ мнѣ вслѣдъ губернаторъ.

Я ничего не говорилъ объ этомъ Прохинѣ. Онъ былъ полненькій, кругленькій сорокалѣтній чел[illegible] среднаго роста, съ сѣро-голубыми на выкатѣ глазами, [illegible] тыми отъ вина [illegible] и руками, такъ что [illegible]

рать руку. Впрочемъ, онъ былъ не непріятной наружности и пріятный въ обращеніи.

Онъ служилъ по особымъ порученіямъ, собственно по письменной части. А писать онъ былъ великій мастеръ. Его докладныя объяснительныя и оправдательныя записки были шедёврами. Онъ былъ извѣстное перо въ губерніи. Онъ воспиталъ свой стиль сначала въ семинаріи, потомъ въ казанскомъ университетѣ, на хріяхъ, періодахъ, тропахъ, фигурахъ, метафорахъ, свидѣтельствахъ отъ противнаго, подобіяхъ и прочихъ тонкостяхъ риторики. Никогда отъ нихъ не отступалъ и признавался мнѣ, что если бъ и захотѣлъ, то не могъ бы отступить. «Ужъ очень втянулся,—говорилъ онъ.—Когда возьму перо въ руку, такъ первое является у меня—не что̀ писать, а ка̀къ писать? Ядро мысли вылупляется на другой страницѣ листа, а на первую просится вступленіе, потомъ занимаетъ меня соображеніе о числѣ посылокъ» и т. д.

Слогъ у него былъ плавный, текучій, пріятный. Бывало, вникая въ дѣла, читаешь и зачитываешься этой его дѣловой литературой. Нигдѣ, что называется, ни сучка, ни задоринки. Такъ и льется рѣчь, какъ тихая рѣка. Ни нечаянныхъ оборотовъ, ни сильныхъ взмаховъ и ударовъ пера, ни поразительныхъ неожиданностей. И какой тонкій, искусный казуистъ онъ былъ! Какъ онъ умѣлъ подсказанный ему Углицкимъ софизмъ развести въ сладкой водѣ фигуръ и троповъ.

Къ сожалѣнію, всѣми качествами его пера и пріятнаго характера не часто приходилось пользоваться. Онъ являлся у губернатора мѣсяца два-три сряду, потомъ мѣсяца на три пропадалъ, запирался дома и... пилъ запоемъ. Когда спросятъ, что̀ его не видать, губернаторъ, пожавъ плечами, скажетъ, что онъ «dans les vignes du Seigneur», а другіе просто выражались: «запилъ». Потомъ отрезвляется, и какъ ни въ чемъ не бывало, является, пишетъ дѣловыя записки, со всѣми любезенъ, ласковъ, пріятенъ.

Но въ пьяномъ образѣ бывалъ свирѣпъ. Изъ оконъ своего невысокаго деревяннаго домика, гдѣ жилъ съ своимъ отцомъ, престарѣлымъ, заштатнымъ священникомъ, показывалъ прохожимъ языкъ, грозилъ кулакомъ или плевался. Иногда выходилъ въ сѣромъ халатѣ на улицу, въ галошахъ на босу-ногу, и шелъ въ кабакъ, если дома не давали пить.

Вотъ и весь Прохинъ, бывшій мой сослуживецъ и будущій спутникъ до Петербурга.

Ко мнѣ онъ очень благоволилъ, но слога въ моихъ бумагахъ не признавалъ, и весьма основательно, потому что его не было. Не любилъ онъ еще одного—зачѣмъ я зналъ иностранные языки, а онъ нѣтъ. Когда мнѣ случилось при немъ отвѣчать губернатору или губернаторшѣ по-французски на ихъ вопросы на этомъ языкѣ, онъ на меня дулся. Вообще въ немъ таилась заноза противъ всѣхъ знавшихъ языки. «Знай я ихъ, эти распрепроклятые языки,—проговаривался онъ за пуншемъ, среди своихъ:—изъ меня бы вышла не та фигура!»

Оставивъ его съ губернаторомъ и сойдя внизъ, я сдалъ всѣ бумаги опять Добышеву и передалъ ему ключъ отъ шкапа съ дѣлами.

— Что̀ такъ торопитесь: успѣли бы!—сухо замѣтилъ онъ.

Съ чиновниками канцеляріи я простился дружелюбно, пожавъ имъ всѣмъ руки въ первый и послѣдній разъ: они были уже не подчиненные мнѣ. Сторожу Чубуку на его «прощенья просимъ»—я далъ рубль и пріѣхалъ домой отставнымъ-неслужившимъ чиновникомъ, и сталъ готовиться къ скорому отъѣзду въ Петербургъ.

Я не касаюсь здѣсь причины увольненія Углицкаго. Въ губерніи его жаловали мужчины, особенно безсемейные, любившіе весело пожить, да и всѣ охотно ѣздили къ нему, принимали у себя, благодаря его живому, веселому, лю-

безному характеру, его свѣтскости, тону, обходительности. Дамы были отъ него безъ ума.

Для дѣлъ онъ не сдѣлалъ ничего, ни дурного, ни хорошаго, какъ и его предмѣстники. Были, правда, у него порывы, въ родѣ вышеописаннаго: разогнать немного тьму, прижать взяточничество, замѣстить казнокрадовъ порядочными людьми, но онъ былъ не геркулесъ, чтобы очистить эти авгіевы конюшни. Гдѣ ему? У него вдругъ загорится порывъ, вспыхнетъ и скоро простынетъ.

Поводовъ къ его удаленію было, вѣроятно, найдено не мало: какихъ-нибудь мелкихъ чиновничьихъ придирокъ по дѣламъ. Но была и одна крупная причина, которая восходила до начальства дѣйствительно, какъ я слышалъ, стороной, черезъ жандармовъ.

Причина эта была посторонняя службѣ: она не подводила губернатора ни подъ какой формальный судъ и въ обществѣ вызывала только снисходительную улыбку и насмѣшливые толки. Она касалась не дѣлъ, а самой личности его, не шла къ его сану и положенію.

Онъ былъ... женолюбивъ. Въ «науки страсти нѣжной» онъ, какъ Онѣгинъ, должно быть, находилъ «и муку, и отраду». Я еще тамъ, на мѣстѣ, слышалъ кое-какія исторіи о его «любвяхъ», но не придавалъ слухамъ тогда значенія. Въ Петербургѣ уже я, частію былъ самъ свидѣтель, частію по его собственнымъ разсказамъ, могъ убѣдиться, что не только все слышанное о немъ на Волгѣ было справедливо, но и въ томъ, какъ безвозвратно и неисцѣлимо онъ былъ преданъ этой «наукѣ», т.-е. страсти нѣжной, и какой былъ великій стратегъ и тактикъ въ ней.

Можно бы было написать нѣсколько томовъ его любовныхъ исторій, въ родѣ мемуаровъ Казановы, если бъ всѣ такія исторіи не были однообразны, до крайности пошлы и не пріѣлись всѣмъ до тошноты. Онѣ могутъ быть зани-

мательны только для самихъ дѣйствующихъ въ нихъ лицъ и больше ни для кого.

Если бъ Углицкій умѣлъ писать, онъ непремѣнно изобразилъ бы себя съ своимъ обширнымъ гаремомъ и обогатилъ бы всеобщую эротическую исторію еще однимъ многотомнымъ увражемъ, въ родѣ сочиненій маркиза де-Сада, Брантома и вышепомянутаго Казанова.

Къ счастію для него и для читателей, онъ былъ слабъ въ грамотѣ. Онъ явился бы въ блескѣ своего фатовства и того «хладнокровнаго разврата», которымъ, по свидѣтельству поэта, «славился» старый вѣкъ. Углицкій, какъ и Казанова, его прототипъ, не годился въ Отелло, Ромео, даже въ Донъ-Жуаны, а прямо въ Фобласы. Онъ не зналъ никакихъ нѣжныхъ чувствъ, страстныхъ изліяній, слезъ и мукъ разлуки, ревности — всего того, чѣмъ красна человѣческая любовь. И если иногда прибѣгалъ къ этому, то единственно какъ къ средству для достиженія желаемой, извѣстой и скорой развязки.

А достигнувъ ея, искалъ новаго—и такъ безъ конца.

Все это стало въ провинціи выходить наружу. Мужья загораживали отъ него женъ, но онъ, своею вкрадчивостью, тонкой лестью, потомъ наружностью и манерами, успѣвалъ ловко вести и маскировать свою ловеласовскую политику, проникалъ въ замкнутые круги и имѣлъ успѣхъ, которымъ самъ же подъ рукой хвастался. Однако, шило стало прокалывать мѣшокъ. Разсказывали, что его домашній чиновникъ тайкомъ провожалъ къ нему по вечерамъ одну «барыню, будто бы изъ порядочнаго семейства». Потомъ говорили, что жена одного изъ его чиновниковъ пользовалась его благосклонностью, и что отъ этого, и ей, и мужу было хорошо. Наконецъ, говорили (это уже сплетня, должно-быть), что женихъ одной красивой дѣвицы... побилъ его по секрету за... черезчуръ явное и усердное поклоненіе своей невѣстѣ.

Вотъ это послѣднее обстоятельство — секретные побои — и послужило будто бы главнымъ мотивомъ доноса на губернатора и его отозванія. «Скандалъ, дескать: дурной примѣръ подаетъ!»

Я этому не вѣрилъ и до сихъ поръ не вѣрю, т.-е. въ причину отозванія. Но вообще въ романахъ Углицкаго теперь уже сомнѣваться не могу: самъ видѣлъ ихъ потомъ въ Петербургѣ и за границею. Перомъ не коснусь ни одного изъ нихъ, по вышесказанной причинѣ. Всѣ они одинаково пошлы, и только въ живыхъ разсказахъ этого Фобласа казались остроумны и веселы. Онъ прикрывалъ свои романы лоскомъ хорошаго тона, наружнаго приличія, даже галантнаго рыцарства.

Тотъ ли или другой мотивъ повелъ къ удаленію Углицкаго, но онъ вскорѣ, въ маѣ мѣсяцѣ, оставилъ губернію, съ семействомъ, еще съ Прохинымъ, и убѣдительно пригласилъ ѣхать вмѣстѣ и меня. «Веселѣе ѣхать вмѣстѣ!» — прибавилъ онъ. Я охотно согласился.

Я простился съ родными надолго, а съ Якубовымъ навсегда. Мы крѣпко обнялись съ нимъ, не предчувствуя оба, что болѣе не увидимся. Я посѣтилъ родину ровно черезъ четырнадцать лѣтъ, но его уже не засталъ въ живыхъ.

XV.

Если бъ въ началѣ тридцатыхъ годовъ отъ С. до Москвы существовала желѣзная дорога, намъ понадобился бы цѣлый отдѣльный поѣздъ: такъ много насъ выѣхало изъ города.

Впереди ѣхалъ дормёзъ съ губернаторомъ и его семействомъ, т.-е. ихъ собственно было трое: мужъ съ женой и дочь. А затѣмъ на полверсты растянулась вереница экипажей съ провожатыми обоего пола. Поѣздъ замыкался коляской-тарантасомъ, гдѣ помѣщались я и Про-

хинъ, съ лакеемъ на козлахъ. А сзади насъ — бричка съ прислугой: горничной, камердинеромъ, еще лакеемъ и мальчикомъ.

Углицкій пересаживался изъ экипажа въ экипажъ, отплачивая любезностями за проводы. Къ Марьѣ Андреевнѣ по очереди садились почетныя губернскія дамы. Въ бывшемъ губернаторскомъ городскомъ экипажѣ ѣхала, шептали тогда злые языки, la favorite en titre Углицкаго, жена его чиновника, да Чуча съ Линой.

Чуча была вся распухшая отъ слезъ, а Лина, сжавъ губы, смотрѣла на все злыми глазами, особенно на Чучу и ехидно молчала. Горничная Марьи Андреевны разсказывала уже въ Москвѣ, что губернаторша не хотѣла разставаться съ Линой, звала ее съ собой, но некуда было дѣть Чучу. Лина злобно жаловалась горничной, что сестра ея заѣдаетъ ей вѣкъ, что, не будь этой «немогучки» она, Лина, была бы въ Петербургѣ, гдѣ, разумѣется, оцѣнили бы ея «золотыя руки», и она вышла бы замужъ.

Кромѣ Лины и Чучи, всѣ въ поѣздѣ были крайне веселы, особенно самъ Углицкій, нужды нѣтъ, что онъ уѣзжалъ въ качествѣ опальнаго. Напротивъ, онъ веселился мыслью, что у него въ хвостѣ поѣзда ѣхалъ Прохинъ, уже съ готовой краснорѣчивой, неотразимой оправдательной запиской, прочтя которую, всѣ начальства примутъ его съ распростертыми объятіями, будутъ гладить по головѣ, жандарма изъ провинціи прогонятъ и прочихъ «враговъ» прихлопнутъ, а ему дадутъ лучшую губернію на выборъ, или сдѣлаютъ его сенаторомъ...

Одѣтый щегольски, въ форменномъ сюртукѣ, со звѣздой, онъ, съ такими мечтами, весело оглядывалъ длинный поѣздъ провожатыхъ, садился то къ тѣмъ, то къ другимъ дамамъ, и даже нашелъ четверть часа посидѣть въ каретѣ наединѣ съ favorite en titre и... нѣжно, à la Казанова, съ нею проститься.

Это была какая-то увеселительная поѣздка, въ родѣ тѣхъ, судя по описаніямъ, какія совершались богатыми вельможами Екатерининскихъ временъ, ѣздившими изъ своихъ имѣній въ столицу. А тутъ ѣхалъ эксъ-губернаторъ, съ единственными шестью или семью тысячами рублей (ассигнаціями), вырученными отъ продажи мебели, экипажей, лошадей и всего движимаго имущества, но съ радужными надеждами на будущее. Онъ шутилъ, острилъ, смѣшилъ дамъ и самъ смѣялся.

Добышева въ числѣ провожатыхъ не было. Онъ терся уже около новаго губернатора. Я забылъ сказать, что послѣдній пріѣхалъ за нѣсколько дней до нашего выѣзда и вступилъ въ управленіе губерніей. Всѣ подчиненные оставались при немъ, и только на данномъ отъѣзжающему дворянствомъ завтракѣ выпили за его здоровье и разошлись.

На одной изъ станцій былъ заготовленъ обѣдъ, послѣ котораго бо́льшая часть провожатыхъ воротилась. Чуча разревѣлась на прощанье такъ, что тронула всѣхъ. Она положила голову на плечо Софьи Львовны и плакала навзрыдъ. Лина сердито оторвала ее, толкнула въ карету и, пошептавъ что-то на прощанье губернаторшѣ, сама юркнула въ экипажъ и сильно захлопнула дверцы.

Еще нѣсколько самыхъ веселыхъ изъ нашихъ провожатыхъ, близкихъ безсемейныхъ пріятелей Углицкаго, поѣхали дальше впередъ, и въ богатомъ барскомъ селѣ приготовили, въ домѣ управляющаго имѣніемъ, обильный ужинъ и ночлегъ. Углицкому съ семействомъ отведены были лучшія комнаты, а намъ, помнится, четверымъ, постлали постели на полу большой залы. Но Углицкій легъ съ нами. Прохина, за недостаткомъ мѣста, помѣстили на ночь въ крестьянской избѣ, до того обильной клопами, что онъ всю ночь, какъ разсказывалъ, только и дѣлалъ, что высовывался до пояса изъ оконъ отъ боли и бранился на все село.

Спать было немыслимо. «А мужики, бестіи, говоритъ, знай-храпятъ себѣ около меня».

Мы же всѣ, т.-е. Углицкій, гости и я, спали въ повалку. Наслушались же мои молодыя уши въ эту ночь разсказовъ и анекдотовъ полупьяной компаніи! Особенно отличались самъ Углицкій и его близкій пріятель, Брашинъ. Одинъ анекдотъ скабрёзнѣе и смѣшнѣе другого, и одинъ особенно былъ такъ нечистъ и вмѣстѣ такъ смѣшонъ, что съ нашимъ хохотомъ вдругъ раздался хохотъ камердинера, которому все было слышно въ передней. Разсказчики не стѣснялись. Анекдоты Углицкаго изобиловали и кощунствомъ. Между тѣмъ, ложась спать, онъ снялъ съ груди тонкую металлическую, вершка въ два величиной, икону и просилъ меня положить на столѣ, рядомъ со мной, предварительно приложившись къ ней.

На другое утро, наконецъ, мы поѣхали уже одни, въ трехъ экипажахъ. Впереди дормёзъ съ Углицкимъ, его женой и дочерью, потомъ мы съ Прохинымъ въ коляскѣ, а сзади бричка съ прислугой. Погода была прекрасная, наше расположеніе духа тоже. Мой спутникъ, Прохинъ, совсѣмъ оправившійся отъ своего періодическаго «недуга», былъ шутливъ, веселъ, пріятенъ. Онъ острилъ надъ вчерашними проводами, и самъ Углицкій тоже. Послѣдній пересаживался изъ дормёза къ намъ въ коляску и почти все время ѣхалъ съ нами. Онъ мастерски изобразилъ въ карикатурѣ прощанье и рѣчи, и, между прочимъ, чего я никакъ не ожидалъ, самъ разболтался о нѣжномъ прощаньѣ въ каретѣ съ «дамой сердца».

— Вамъ жаль ее?—спросилъ я съ участіемъ.

— Мнѣ! — онъ засмѣялся. — Я смотрю теперь на нее — вотъ какъ на этого барана! — сказалъ сѣдой фатъ, указывая на кучку лежавшихъ въ тѣни около дороги барановъ.

Прохинъ зло и остроумно подшучивалъ, когда, при пе-

реѣздѣ вбродъ черезъ рѣчку или черезъ ветхій, сомнительной прочности мостъ, Углицкій пропускалъ впередъ насъ, на случай опасности. Марья Андреевна ѣхала хмурая и кислая, вздыхая по роли первой дамы въ губерніи. Софья Львовна успѣла загорѣть и очень весело улыбалась мнѣ изъ окна, когда карета на поворотахъ оборачивалась къ намъ бокомъ. На станціяхъ мы урывками мѣнялись съ нею нѣсколькими словами, смѣялись, если попадалось что̀ смѣшное. Углицкіе просили меня взять на себя роль казначея, платить прогоны, на водку ямщикамъ и за то̀, что̀ забирали на станціяхъ, такъ что мнѣ немного выпадало на долю поболтать съ этой милой, острой и веселой дѣвушкой.

Весело, покойно, въ трое сутокъ, докатились мы до Москвы. Углицкіе остановились у своей старой тетки, на Арбатѣ, а я отправился къ товарищу, съ которымъ жилъ и мой братъ. Углицкій предупредилъ меня, чтобы я дней черезъ пять-шесть навѣдался о днѣ отъѣзда и былъ готовъ. Долѣе недѣли онъ въ Москвѣ оставаться не хотѣлъ.

Проведя весело, съ друзьями и товарищами, нѣсколько дней, я въ назначенное утро поѣхалъ къ Углицкому навѣдаться, когда мы выѣзжаемъ.

— Мы всѣ готовы,—сказалъ онъ:—все уложено, завтра хотѣли выѣхать, да Андрей Петровичъ...

— А что съ нимъ?—спросилъ я.

— Развѣ вы не знаете? Вотъ пойдемте!

Онъ повелъ меня въ маленькій деревянный флигель съ большимъ окномъ, выходившимъ на улицу. Въ немъ была одна комната, безъ передней, съ печкой, кроватью и тремя соломенными стульями. Мы изъ переулка шагнули прямо въ комнату.

За маленькимъ столомъ, въ сѣромъ халатѣ, сидѣлъ Прохинъ, съ повязанной около шеи салфеткой, и обѣдалъ, т.-е. старался обѣдать, но это ему не удавалось. Мальчикъ-лакей держалъ передъ нимъ тарелку съ супомъ. Прохинъ

черпалъ ложкой изъ тарелки, подносилъ ко рту, но руки дрожали, и супъ проливался на салфетку и халатъ.

— Здравствуйте, Андрей Петровичъ!—сказали мы оба.

Онъ не обернулся, не посмотрѣлъ на насъ, продолжая неудачныя попытки попасть ложкой въ ротъ.

— Каковъ?—отчаянно, вслухъ, сказалъ мнѣ Углицкій.— Что съ нимъ дѣлать? Я не знаю, какъ быть!

И я не зналъ и ничего не сказалъ, разглядывая Прохина. Глаза у него были мутные, съ красноватымъ блескомъ, борода небритая. Лицо влажное, точно вымазано масломъ. Онъ, не мигая, уставилъ глаза въ окно, на заборъ и канаву, заросшую крапивой.

— Когда это онъ успѣлъ?—спросилъ я.—Вѣдь онъ оправился совсѣмъ передъ отъѣздомъ!

— Первые три дня онъ былъ очень хорошъ, а потомъ встрѣтилъ какого-то пріятеля, сталъ пропадать, и третьяго дня вечеромъ его привезли домой безъ чувствъ. Ни везти съ собой нельзя, ни оставить здѣсь!—говорилъ въ печальномъ раздумьѣ Углицкій.—Il m'a joué un tour! А я думалъ, что онъ поможетъ мнѣ въ Петербургѣ перомъ! А онъ—вонъ что! Между тѣмъ, къ оправдательной запискѣ нужно бы сдѣлать нѣкоторыя дополненія... Развѣ вы поможете... вы не откажетесь!

— Конечно, нѣтъ!—успокоилъ я его, видя, что онъ все упованіе оправдаться возлагалъ на эту проблематическую записку.—Теперь пока надо рѣшить, что̀ дѣлать съ Андреемъ Петровичемъ...

— Вотъ что мы сдѣлаемъ!—вдругъ живо отозвался Углицкій, у котораго идеи, намѣренія вспыхивали внезапно, какъ искры.—Я отправляю камердинера съ бричкой назадъ съ ними поѣдетъ назадъ и онъ.

Онъ указалъ на Прохина.—Вотъ и прекрасно: c'est une idée! Итакъ, рѣшено: завтра я отправлю его, а послѣ-завтра выѣдемъ и мы...

При этихъ словахъ, Прохинъ медленно поворотилъ голову къ намъ. Глаза у него блеснули. Онъ сорвалъ съ шеи салфетку и бросилъ на полъ.

— Да, и «прекрасно»!—обратился онъ къ намъ, передразнивая Углицкаго. — Вы хотите отправить меня, какъ куль съ поклажей, съ вашимъ лакеемъ: таковскій-дескать! Бросить его, какъ негодную клячу. «Пусть околѣваетъ!» Что же, бросьте, ваше превосходительство...

Мы съ Углицкимъ переглянулись другъ съ другомъ.

— А знаете ли, что̀ изъ этого выйдетъ? — продолжалъ Прохинъ. — Вы думаете, я приму ваше предложеніе, расшаркаюсь, поблагодарю и поѣду съ вашимъ холопомъ назадъ, домой? Ошибаетесь: я чиновникъ коронный, царскій слуга (онъ ударилъ себя кулакомъ въ грудь); состоялъ при васъ, какъ при губернаторѣ, но лакеемъ вашимъ не былъ. любовныхъ вашихъ записокъ по городу не разносилъ: да! (Углицкій нервно почесалъ затылокъ). Вы могли бы взять съ собой вашего Егорьева, или, пожалуй, Добышева, и потомъ отправить ихъ, какъ негодный хламъ, назадъ. Пусть они и служили бы вамъ перомъ! А я, Прохинъ, не унижусь до этого никогда! нѣтъ, никогда! Что̀ вы оба уставили глаза на меня? — продолжалъ онъ. — Я хотѣлъ быть полезенъ вамъ своимъ перомъ, нужды нѣтъ, что вы не начальникъ мой больше. Но вы всегда были добры, ласковы со мной, снисходили къ моей слабости... А у меня благодарное, незабывчивое сердце—я и поѣхалъ съ вами! А теперь что̀: не нуженъ, такъ вонъ его, какъ негодную тряпку! Оставить!

Мы слушали этотъ, сказанный хорошимъ слогомъ, какъ изъ-подъ его пера вылившійся монологъ, и ушамъ не вѣрили. Прохинъ ли это, который, за минуту передъ тѣмъ, не могъ донести ложку до рта?

— Оставьте меня здѣсь, оставьте! — продолжалъ онъ съ пьянымъ паѳосомъ: — будетъ «прекрасно»! Знаете что̀ бу-

детъ? Вашего лакея, если онъ осмѣлится звать меня съ собой, я вытолкаю въ шею, и не поѣду, нѣтъ, не поѣду! Оставьте меня — «прекрасно будетъ»! Я уйду въ кабакъ, да, уйду: вотъ у меня двѣсти рублей здѣсь, въ ящикѣ... Я всѣ ихъ пропью, до копейки, заложу одежду до послѣднихъ штановъ, рубашку пропью—и лягу вонъ тамъ, въ канавѣ— и околѣю! «Прекрасно» это будетъ, по-божески — какъ вы думаете?

Онъ опять впалъ въ свое забытье. А мы съ Углицкимъ молча, со страхомъ и недоумѣніемъ, глядѣли другъ на друга. Передъ нами разыгрывалась обыкновенная, но трагическая сцена.

— Что дѣлать?—растерянно вполголоса говорилъ Углицкій въ глубокомъ раздумьѣ:—какъ поступить! Ни взять съ собой, ни покинуть нельзя — вотъ положеніе! — Онъ скрестилъ руки на груди.

Вдругъ Прохинъ поднялся съ мѣста, сдѣлалъ два невѣрныхъ шага къ Углицкому и грохнулся передъ нимъ на колѣни.

— Не покидайте меня, не покидайте: я пропаду, какъ собака!—молилъ онъ, съ катящимися по щекамъ слезами.— Я знаю, что погибну; я вѣдь не мужикъ-пьяница, я сознаю свое положеніе и все безобразіе... Вашего лакея я не постыжусь и не послушаюсь... О, не покидайте меня... возьмите меня съ собой!

Мы оба были растроганы. Углицкій закрылъ лицо руками.

— Я не покину васъ, Андрей Петровичъ,—сказалъ онъ въ волненіи. — Будь что будетъ! Я хотѣлъ сдѣлать какъ вамъ удобнѣе...

— Я заслужу, заслужу!—продолжалъ Прохинъ.—Перомъ заслужу. Я дополню оправдательную записку, буду жить съ вами, пока нуженъ. А вы хотите дать пачкать мою записку ему (онъ съ гнѣвомъ указалъ на меня): да развѣ

крича: «Здѣсь письма отца: онъ проситъ помощи, его рѣзать хотятъ!»

Онъ испустилъ вопль и залился горькими слезами. Углицкій, я, оба лакея — насилу сладили съ нимъ и усадили въ коляску.

Дамы, т.-е. собственно Марья Андреевна, была въ ужасѣ, нюхала соли. Софья Львовна обращала любопытный вопросительный взглядъ на меня. Я украдкой прикладывалъ ладони къ вискамъ, какъ Чуча; она спѣшила отвернуться, пряча смѣхъ въ подушку. Углицкій твердилъ, что онъ давно не былъ въ такой «ажитаціи». Онъ гналъ ямщиковъ, торопилъ станціонныхъ смотрителей, требуя лошадей, чтобы добраться скорѣй до Петербурга и сдать Прохина въ больницу.

А этотъ продолжалъ все чудить, терялъ сознаніе. Ѣхали лѣсомъ, попадались навстрѣчу мужики, бабы.

— Невольницы, приближьтесь, пойте!—командовалъ онъ:— невольники, пляшите! Этотъ лѣсъ вырубить,—говорилъ дальше,—и засѣять табакомъ... Дай табаку!

— Кто же вы такой? — рискнулъ я спросить, подавая табакерку.

— Развѣ ты не знаешь, презрѣнный рабъ?—Потомъ задумался и вдругъ спросилъ меня тихо:—А скажи-ка мнѣ... только правду скажи... кто я такой?

— Развѣ вы не знаете?

— Ей-Богу, не знаю! Ты скажи, чьихъ я сынъ родителей? Откуда и куда ѣду? И ты самъ, тоже, кто такой? Лицо твое мнѣ что-то знакомо...

Я на все отвѣчалъ ему обстоятельно.

— А тамъ кто ѣдетъ впереди насъ?

— Левъ Михайлычъ Углицкій,—сказалъ я.

— Слыхалъ; имя знакомое...

На каждой остановкѣ я подбѣгалъ къ экипажу и наскоро сообщалъ Углицкимъ объ этой комедіи. Софья

Львовна опять прятала смѣхъ отъ матери, которая приходила въ ужасъ, и самъ Углицкій, какъ ни былъ озабоченъ, не могъ удержаться отъ смѣха и ходилъ взглянуть на эту трагикомедію.

Мы не останавливались ни завтракать, ни обѣдать, и гнали, что̀ есть мочи. На одной станціи, пока запрягали лошадей, Софья Львовна, шопотомъ, мило краснѣя, сказала мнѣ, что ей «кушать хочется». Я вызвалъ ее на станцію и тамъ опустошилъ скудный буфетъ. Она покушала тайкомъ, и я поѣлъ съ нею, потому что у нихъ въ каретѣ всѣ были поглощены страхомъ и заботами, было не до ѣды. Всѣ молчали.

Наконецъ, вечеромъ мы доѣхали до Новгорода и заняли нѣсколько номеровъ въ большой гостиницѣ. Марья Андреевна съ дочерью и мужемъ помѣстились въ одномъ этажѣ, а мы съ Прохинымъ—въ другомъ, въ большой комнатѣ, раздѣленной перегородкой на двѣ половины, съ двумя постелями.

Сейчасъ же по пріѣздѣ послали за докторомъ. Углицкій сталъ-было придумывать какую-то небывалую причину болѣзни, ссылаясь на нервы и прочее, чтобы не выдавать слабости Прохина. Но докторъ взглянулъ на больного, пощупалъ пульсъ, приподнялъ ему пальцемъ вѣки и сухо, коротко сказалъ:

— Совсѣмъ не то, что̀ вы говорите: это отъ пьянства! У него delirium tremens, и нервы тутъ ни при чемъ.

Углицкій, нечего дѣлать, сознался, что Прохинъ пьетъ запоемъ, запилъ еще въ Москвѣ, а дорогой это разыгралось.

— Вѣрно вдругъ пересталъ пить: вотъ если бъ вы ему постепенно уменьшали порцію водки, этого бы не случилось.

— Что̀ же теперь дѣлать: оставить его здѣсь?—спрашивалъ въ тоскѣ Углицкій.

— Зачѣмъ? Везите дальше; онъ мало-по-малу придетъ въ себя.

Онъ прописалъ успокоительное лѣкарство, которое обманомъ, подъ видомъ водки, заставили выпить Прохина.

Онъ бушевалъ всю ночь. Я легъ на постель, за перегородкой, и отъ усталости заснулъ какъ убитый. Прохина хотѣли уложить тоже въ постель, но не сладили; онъ упорно сидѣлъ на краю кровати, ходилъ по комнатѣ, нюхалъ табакъ. Къ нему приставили одного изъ лакеевъ и всѣ улеглись.

Несмотря на крѣпкій юношескій сонъ, меня на разсвѣтѣ разбудили отчаянные вопли Прохина. Я всталъ и выглянулъ изъ-за перегородки. Приставленный человѣкъ спалъ въ растяжку на полу мертвымъ сномъ, а Прохинъ, въ одной рубашкѣ, стоялъ у открытаго окна на колѣняхъ и раздирающимъ голосомъ кричалъ:

— Рѣжутъ, отца моего рѣжутъ! вонъ, о!.. о!.. о!..—И начиналъ рыдать.

Въ маѣ ночной темноты на сѣверѣ не бываетъ. Это было отчасти ново для меня, не бывшаго къ сѣверу дальше Москвы: такихъ свѣтлыхъ ночей я еще не видалъ. Ночь была совсѣмъ бѣлая; сталъ показываться солнечный лучъ и золотилъ крыши домовъ. Все спало, на улицѣ никакого движенія. Только голуби, воробьи и галки раньше всѣхъ проснулись и перелетали съ крыши на крышу.

— Духи бѣлые! Духи черные!—оралъ во все горло Прохинъ, указывая на перелетавшихъ птицъ: — они терзаютъ грудь моего отца! Вонъ, вонъ, глядите, вонзили ножницы въ него!..

— Андрей Петровичъ!—звалъ я его:—успокойтесь!

— А? Что̀?—обратился онъ ко мнѣ.

— Узнаете ли вы меня?—спросилъ я.

— Какъ не узнать: парлефрансе!—сказалъ онъ и опять принялся орать.

Я растолкалъ лакея и поручилъ ему смотрѣть за Прохинымъ, а самъ ушелъ за перегородку досыпать прерванный сонъ.

Утромъ часовъ въ девять меня разбудилъ Углицкій и сказалъ, что все готово, что послѣ завтрака мы уѣзжаемъ. Прохинъ спалъ. Я одѣлся и пошелъ пить чай къ дамамъ. Я разсказалъ имъ о ночномъ событіи. Марья Андреевна всплеснула руками.

— Что̀ мы будемъ съ нимъ дѣлать! Боже мой, какое горе!

Я только переглянулся съ Софьей Львовной: и намъ было не до смѣху.

Прохина разбудили, напоили чаемъ, и мы поѣхали. Прохинъ хранилъ загадочное молчаніе. Мнѣ показалось, что онъ взглянулъ на меня, какъ на знакомое лицо. Онъ самъ уже доставалъ свою табакерку изъ-подъ подушки. Станціи черезъ двѣ онъ спросилъ, нѣтъ ли чего закусить. И когда я принесъ ему бутербродовъ съ телятиной и языкомъ, онъ поблагодарилъ меня. Послѣ того, часа черезъ два, онъ, не оборачиваясь ко мнѣ, вдругъ стыдливымъ шопотомъ спросилъ:

— Что Левъ Михайлычъ: онъ очень недоволенъ мною? Какъ я безпокоилъ Марью Андреевну и Софью Львовну; мнѣ совѣстно глядѣть имъ въ глаза!

Онъ пряталъ лицо даже отъ меня.

— Ничего! — успокоивалъ я его, обрадованный перемѣною:—они всѣ, дѣйствительно, безпокоились, но не за себя, а за ваше здоровье...

— Какая я скотина! Скажите откровенно—скотина? Вы, я думаю, смѣялись надо мной.

— Нѣтъ, Андрей Петровичъ, — съ участіемъ отозвался я.—Я глубоко жалѣлъ и жалѣю, что такой человѣкъ, какъ вы, съ умомъ, образованіемъ, дарованіями, съ перомъ...— прибавилъ я.

— И такая свинья,—досказалъ онъ.

— Полноте!

— А̀ много я смѣшилъ васъ?

— Одинъ разъ только разсмѣшили.

— Когда, чѣмъ?

— Когда назвали меня пьяницей!

— Ужели? Этого только недоставало: свою шапку на васъ надѣлъ!

Онъ глубоко задумался и загрустилъ. Я на первой же станціи подбѣжалъ къ дормёзу Углицкихъ.

— Что Андрей Петровичъ?—спросили оба.

— Кланяться приказалъ!—обрадовалъ я ихъ.

Они не вѣрили. Левъ Михайлычъ выскочилъ изъ экипажа и побѣжалъ къ Прохину. Тотъ уже вылѣзъ изъ коляски и, завидя Углицкаго, закрылъ лицо руками.

— Скотина, скотина, свинья! — казнилъ онъ себя. — Не могу смотрѣть на васъ...

— Полноте, перестаньте, что вы! — успокаивалъ его Углицкій: — я такъ радъ, такъ радъ, что вы пришли въ себя; я очень боялся за ваше здоровье. Но слава Богу!

Онъ даже перекрестился.

— Какъ вы добры, снисходительны! — говорилъ сконфуженный Прохинъ, съ чувствомъ пожимая протянутыя ему Углицкимъ руки. — Я не буду больше... по крайней мѣрѣ, пока буду вамъ нуженъ... Я заслужу. Сегодня, когда я пришелъ въ себя, я уже обдумалъ, какія дополненія надо сдѣлать въ запискѣ...

— Объ этомъ послѣ, а теперь пойдемте на станцію пить вмѣстѣ чай. Какъ жена и Соня будутъ рады...

— Ахъ, нѣтъ! — отговаривался Прохинъ: — я не смѣю показаться имъ на глаза: ради Бога, позвольте подождать до Петербурга, когда совсѣмъ оправлюсь, обреюсь и умоюсь... тогда...

Онъ грустно и тяжело вздохнулъ.

Такъ мы мирно, покойно и прилично, какъ ни въ чемъ не бывало, въѣхали въ Петербургъ.

Августъ, 1887 г.

СЛУГИ СТАРАГО ВѢКА.

СЛУГИ СТАРАГО ВѢКА.

(Изъ домашняго архива.)

Вмѣсто предисловія. Мнѣ нерѣдко дѣлали и доселѣ дѣлаютъ нѣчто въ родѣ упрека или вопроса, зачѣмъ я, выводя въ своихъ сочиненіяхъ лицъ изъ всѣхъ сословій, никогда не касаюсь крестьянъ, не стараюсь изображать ихъ въ художественныхъ типахъ, или не вникаю въ ихъ бытъ, экономическія условія и т. п. Можно вывести изъ этого заключеніе, можетъ-быть, и выводятъ, что я умышленно устраняюсь отъ «народа», не люблю, т.-е. «не жалѣю» его, не сочувствую его судьбѣ, его трудамъ, нуждамъ, горестямъ, словомъ—не болѣю за него. Это-де брезгливость, барство, эпикуреизмъ, любовь къ комфорту: этимъ нѣкоторые пробовали объяснять мое мнимое равнодушіе къ народу.

На это можно бы многое отвѣчать, но у меня есть одинъ отвѣтъ, который устраняетъ необходимость всѣхъ другихъ, а именно: я не знаю быта, нравовъ крестьянъ, не знаю сельской жизни, сельскаго хозяйства, подробностей и условій крестьянскаго существованія, или если знаю что-ни-

будь, то это изъ художественныхъ и другихъ очерковъ и описаній нашихъ писателей. Я не владѣлъ крестьянами. не было у меня никакой деревни, земли; я не сѣялъ, не собиралъ, даже не жилъ никогда по деревнямъ. Ребенкомъ девяти и десяти лѣтъ я прожилъ въ деревнѣ два года и ни въ какое общеніе съ крестьянами, конечно, входить не могъ.

Откуда же мнѣ было знать, такъ сказать, лично крестьянъ, ихъ жизнь, бытъ, нравы, горести, заботы, и какъ было заразиться живою (а не литературною), личною любовью и печалованіемъ о нихъ? Сознаніе человѣческаго долга къ ближнему, безъ сомнѣнія, живетъ въ сердцѣ каждаго развитого человѣка—и въ моемъ также,—тѣмъ болѣе долга въ отношеніи «меньшой братіи».

Я не только не отрекаюсь отъ этого сознанія, но питаю его въ себѣ и—то съ грустью, то съ радостью, смотря по обстоятельствамъ, наблюдаю благопріятный или неблагопріятный ходъ народной жизни. Но отъ этого сознанія далеко до участія дѣломъ, особенно перомъ, въ народной жизни. Описывать, притомъ еще изображать художественно, типы и нравы крестьянъ, могутъ тѣ, кто жилъ среди нихъ, непосредственно наблюдалъ ихъ вблизи, рисовалъ ихъ съ натуры: тѣмъ и книги въ руки. Я вѣкъ свой провелъ въ городахъ, больше всего въ Москвѣ, гдѣ учился. потомъ въ губернскомъ городѣ, на родинѣ, потомъ болѣе полувѣка живу въ Петербургѣ, откуда отлучался нерѣдко на многіе мѣсяцы, за границу, и года два провелъ въ кругосвѣтномъ плаваніи. Внутрь Россіи я заглядывалъ мало и не надолго.

Простой народъ, т.-е. крестьянъ, земледѣльцевъ, я видалъ за ихъ работами мимоѣздомъ: то изъ вагона желѣзной дороги, то съ палубы корабля. Видѣлъ, какъ идутъ за плугомъ наши мужички, безъ шапокъ, въ рубашкахъ, въ лаптяхъ, обливаясь потомъ; видалъ какъ въ Германіи, съ коро-

тенькой трубкой въ зубахъ, крестьяне пашутъ, крестьянки жнутъ въ соломенныхъ шляпкахъ; во Франціи гомозятся въ поляхъ въ синихъ блузахъ, въ Англіи въ плисовыхъ курткахъ, сѣютъ, косятъ, или везутъ по дорогѣ продукты въ города. Далѣе, видалъ работающихъ на поляхъ негровъ, индѣйцевъ, китайцевъ, на чайныхъ, кофейныхъ и сахарныхъ плантаціяхъ. Проѣздомъ черезъ Сибирь—видалъ нашихъ сибирскихъ инородцевъ, якутовъ, бурятъ и другихъ— и все это издали, со стороны, катясь по рельсамъ, ѣдучи верхомъ, или съ борта корабля, и не вступалъ ни въ какія сношенія: не приходилось, случая не было.

Слѣдовательно, описывать или изображать крестьянъ было бы съ моей стороны претензіей, которая сразу обнаружила бы мою несостоятельность. Зачѣмъ же мнѣ было напрашиваться на явную, ненужную неудачу? «Зачѣмъ не шелъ въ народъ, не искалъ случая сблизиться, узнать, изучить его? Эпикуреизмъ, чопорность, любовь къ комфорту мѣшали», иногда слышались или чудились мнѣ обращенные по моему адресу упреки.

Что на это сказать? Я знавалъ нѣкоторыхъ народниковъ, поэтовъ, повѣствователей. Они тоже любили больше сближаться съ народомъ издали, сидя у себя въ деревенскомъ кабинетѣ, заходили въ крестьянскія избы отдохнуть, спрятаться отъ непогоды, словомъ, барски, привозя съ собой всѣ принадлежности такого утонченнаго комфорта, передъ которымъ блѣднѣлъ мой скромный «эпикуреизмъ».

Въ ходившихъ въ народъ собирателяхъ пѣсенъ я видѣлъ — можетъ-быть, я грѣшу, говоря это — болѣе влеченіе къ самымъ странствіямъ. Они собирали и записывали, что попадалось, иногда дѣйствительно втягивались въ крестьянскую среду. Собираніе пѣсенъ, сказокъ, пословицъ, конечно, полезно. Многіе обогатили послѣдними русскую литературу. И спасибо имъ! Но на это надо имѣть не только охоту и своего рода подготовку, но и

способности. А если послѣднихъ нѣтъ: что же дѣлать? Все-таки идти?

Упрекая меня въ невѣдѣніи народа и мнимомъ къ нему равнодушіи, замѣчаютъ, въ противоположность этому, что я не мало потратилъ красокъ на изображеніе дворовыхъ людей, слугъ.

Это правда. На это бы прежде всего можно было замѣтить, что слуги, дворовые люди, особенно прежніе крѣпостные—тоже «народъ», тоже принадлежатъ къ меньшой братіи. Стало-быть, я повиненъ только въ безучастіи собственно къ сельчанамъ, земледѣльческому и мелкопромышленному деревенскому люду. Это вѣрно: я его вовсе не знаю—какъ сказалъ—и оттого не берусь не за свое дѣло, не описываю и не изображаю, чего не знаю.

Другое дѣло, дворня, дворовые люди—теперь тоже явленіе отходящее мало-по-малу въ прошлое, вмѣстѣ съ помѣщиками и дворами.

Но слуги остаются и, повидимому, останутся навсегда или надолго. Отъ нихъ не отдѣлаться современному обществу. Говорятъ, въ Соединенныхъ Штатахъ уже почти совершилась отмѣна класса слугъ, демократія сама служитъ себѣ — всякій самъ себѣ слуга. Но, вѣроятно, тутъ есть огромныя исключенія. Богачи имѣютъ слугъ, и по многу, какъ видно изъ описаній. Потомъ торговыя и другія заведенія, разныя общества тоже, далѣе — рестораны, отели, кишатъ слугами, иначе вся общественная машина остановится. Слѣдовательно, и тамъ слуги есть; только тамъ вчерашній лакей въ гостиницѣ—завтра, съ поворотомъ колеса фортуны, превращается въ господина и покупаетъ себѣ домъ, экипажи, нанимаетъ слугъ, а разорившійся банкиръ, фабрикантъ, землевладѣлецъ, поступаетъ работникомъ на ферму, или лакеемъ къ состоятельному купцу. Это отчасти проникло и въ Европу.

У насъ слуги пока еще, какъ волны, ходятъ около насъ:

и не только въ большихъ, богатыхъ домахъ, не только въ буржуазіи, въ зажиточныхъ семейныхъ хозяйствахъ, но даже у холостыхъ и небогатыхъ — есть слуга, такъ-называемый лакей, или женщина для прислуги.

Я, родившійся при крѣпостномъ правѣ и воспитанный среди слугъ того времени, жилъ сначала дома въ провинціи среди многочисленной дворни, потомъ въ Петербургѣ, и, какъ всѣ мнѣ подобные, имѣлъ постоянно слугу. Въ пятьдесятъ лѣтъ, что я прожилъ здѣсь, слуги не переводились: смѣняясь одинъ другимъ.

Въ большихъ домахъ слуги, лакеи, la valetaille, составляютъ родъ хора, которымъ управляетъ капельмейстеръ изъ нихъ же, старшій, или наемный дворецкій, иногда ловкій, плутоватый, но расторопный и услужливый передъ господиномъ — и полновластный шефъ лакейской команды. Она безлична и никакіе типы не выдѣляются изъ толпы. Шефъ смѣняетъ ихъ, нанимаетъ новыхъ по своему произволу и отвѣчаетъ за все.

Не такъ въ скромныхъ, небольшихъ хозяйствахъ — и у холостяковъ особенно. Тутъ слуги на виду, каждый формируется въ типъ или характеръ и дѣлается или врагомъ дома, или другомъ, смотря по своимъ качествамъ, но вообще онъ въ своемъ родѣ членъ семейства, близкій къ дѣламъ, заботамъ, горю или радостямъ дома, а у холостяка — невольный его сожитель, ближайшій свидѣтель всего, что у того дѣлается, участникъ въ его секретахъ, если они есть, иногда и кошелька, при беззаботности хозяина.

Я иногда отмѣчалъ на клочкахъ наиболѣе выдающіяся фигуры моихъ слугъ, ихъ характерныя черты, нравы, привычки—и забрасывалъ эти клочки далеко въ столъ, въ свой домашній архивъ, не думая дѣлать изъ нихъ какое-нибудь, всего менѣе литературное употребленіе. Когда клочки попадались подъ руку, я пробѣгалъ глазами портреты, припоминалъ черты лицъ, и смѣялся, хотя нѣкоторые ориги-

налы этихъ копій въ свое время не мало причиняли мнѣ заботъ, ставили меня въ критическое, иногда, какъ увидитъ читатель, беззащитное положеніе.

Клочки эти образовали довольно объемистую пачку. Я, правду сказать, еще не знаю, что̀ буду съ ней дѣлать. Прежде попробую прочитать кое-что пріятелямъ, «свѣдущимъ людямъ»—и если они найдутъ въ нихъ нѣкоторую дозу общаго интереса, я могу иные, наиболѣе характерные наброски отобрать—и, пожалуй, напечатать, остальные бросить въ огонь.

Обработки почти никакой не требуется, такъ какъ я, старый домосѣдъ, сидя въ небольшихъ холостыхъ квартирахъ, съ-глазу-на-глазъ со своими слугами, рисовалъ ихъ, такъ-сказать, съ натуры. Они прямо выходили готовые изъ-подъ пера. Годятся ли на что-нибудь эти эскизы, займутъ ли кого-нибудь—пусть рѣшатъ «свѣдущіе люди».

Впрочемъ, въ наше, не строгое литературное время многое и многимъ сходитъ легко съ рукъ; можетъ-быть, и мнѣ сойдетъ.

I.

Валентинъ.

Ко мнѣ явился, по рекомендаціи одного моего пріятеля, человѣчекъ низенькаго роста, плѣшивый, лѣтъ пятидесяти, съ просѣдью на рѣдкихъ волосахъ, оригинальной, даже смѣшной наружности.

У него былъ маленькій, едва замѣтный, величины и цвѣта вишни носъ, голубые безъ всякаго оттѣнка глаза и яркій старческій румянецъ на щекахъ. Голубые, безъ примѣси глаза, по моему наблюденію, были почти несомнѣнною печатью наивности, граничащей съ глупостью, чаще просто глупости.

Онъ вошелъ, поклонился, кокетливо шаркнувъ ножкой, которую тотчасъ поднялъ немного, прижалъ къ другой ногѣ

и подалъ мнѣ свой паспортъ и рекомендательную записку отъ моего пріятеля. Послѣ обычныхъ объясненій о его обязанности у меня, уговора о жалованьѣ, я показалъ ему свою квартиру, его комнату, шкапы съ платьями, комоды съ бѣльемъ и прочія вещи, и предложилъ ему поскорѣе вступить въ должность.

Къ вечеру онъ водворился у меня, и на другой день все вошло въ обычную колею. Онъ оказался очень учтивымъ, исправнымъ, хорошо выдрессированнымъ слугой. Красный носъ и румяныя щеки приводили меня въ нѣкоторое сомнѣніе насчетъ его воздержанія, но къ счастію — это не подтвердилось.

Проходили недѣли, мѣсяцы, на пьянство не было и намека. Онъ исполнялъ свою должность аккуратно, шмыгалъ мимо меня по комнатамъ, какъ воробей, ступая на одну ногу легче, нежели на другую, едва касаясь ею пола. Я думалъ, что она у него короче другой, но потомъ замѣтилъ, что онъ дѣлалъ это, чтобъ придать своей походкѣ нѣкоторую грацію. Вообще онъ былъ кокетливъ; носилъ розовыя и голубыя шейныя косынки, вышитыя манишки съ розовой подкладкой, цвѣтные воротнички. Въ карманѣ онъ держалъ миніатюрное зеркальце съ гребенкой, и я зачастую заставалъ, что онъ глядится въ него и старается собрать жидкія космы волосъ съ затылка и висковъ воедино. Проходя мимо зеркалъ въ моихъ комнатахъ, онъ непремѣнно поглядится въ нихъ и иногда улыбнется. Я исподтишка забавлялся этимъ невиннымъ кокетствомъ, но не давалъ ему этого замѣтить. Я даже поощрялъ его, отдавалъ ему свои, почти совсѣмъ новые галстуки, перчатки, обѣщая отдавать и всѣ свои отслужившія платья, что, впрочемъ, дѣлалъ всегда и прежде.

Такъ мы привыкали все больше и больше другъ къ другу и наконецъ совсѣмъ привыкли. Онъ очень рѣдко отлучался со двора, у него я почти никого не видалъ въ гостяхъ,

впрочемъ, раза два-три, возвращаясь домой, замѣчалъ мелькомъ какихъ-то невзрачныхъ женщинъ, которыя при мнѣ исчезали. «Землячки», говорилъ онъ, когда мнѣ случалось встрѣчать ихъ.

Словомъ, я былъ очень доволенъ имъ и не разъ благодарилъ своего пріятеля за рекомендацію.

Но вотъ чего я никакъ не подозрѣвалъ: что онъ былъ прикосновенъ къ литературѣ. Проходя черезъ его комнату въ ванну, я видалъ у него не помню какія-то старыя, полуразорванныя книги, съ остатками переплета, или вовсе безъ переплета, иныя въ листкахъ, пожелтѣвшихъ отъ времени и употребленія. Однажды я полюбопытствовалъ и протянулъ-было руку, чтобъ взять и посмотрѣть одну изъ книгъ. Но Валентинъ (такъ звали его) поспѣшилъ стать между ними и мной, повидимому недовольный моимъ любопытствомъ. Я не настаивалъ.

— Какія это у тебя тамъ книги на полкѣ? Вонъ и какія-то тетрадки?—спросилъ я.—Ужъ не сочиняешь ли ты?

— Куда мнѣ!—сказалъ онъ, отвернувшись въ сторону.— А книжки эти у меня отъ одного барина остались: старыя, ненужныя ему, онъ и отдалъ мнѣ.

При этомъ онъ отодвинулъ ихъ отъ меня подальше въ уголъ, чтобъ я не трогалъ ихъ.

Я и забылъ про это. Не бывая дома днемъ, я возвращался вечеромъ, садился работать и часто просиживалъ часовъ до четырехъ и до пяти утра. Онъ уже спалъ, и я не зналъ, какъ онъ проводитъ день, съ кѣмъ видится, какія «землячки» ходятъ къ нему и какія книги онъ читаетъ.

Все мало-по-малу объяснилось случайно.

Бывали дни, когда у меня являлись сильные припадки дѣятельности. Тогда я обѣдалъ дома, или напротивъ моей квартиры въ клубѣ, спалъ послѣ обѣда, чтобъ освѣжиться на ночную работу, и запирался почти на всю ночь. Я—то

садился за письменный столъ, то ходилъ взадъ и впередъ по своей небольшой залѣ, и опять брался за перо.

Въ залѣ было слышно, при ночной тишинѣ, что̀ дѣлалось въ передней и за перегородкою въ ней, рядомъ съ помѣщеніемъ человѣка.

Однажды, прохаживаясь еще не поздно ночью, послѣ вечерняго чаю, я услыхалъ его голосъ. Онъ что-то говорилъ. Сначала я не обратилъ на это вниманія, думалъ, что онъ разсуждаетъ вслухъ, какъ есть у нѣкоторыхъ привычка, или молится. Но ступая по ковру легче, я услышалъ мѣрное, плавное чтеніе, почти пѣніе, какъ будто стиховъ. Я остановился у полуотворенной двери и вслушался.

«И зри-мо ей въ мину-ту ста-ло
Незри-мое съ давнишнихъ поръ»...

читалъ онъ нараспѣвъ, съ амфазомъ, почти всхлипывая.

Я сталъ припоминать, чьи это стихи, и наконецъ припомнилъ, что это романсъ Жуковскаго, только забылъ, какъ онъ начинается.

«Валентинъ читаетъ стихи, знаетъ Жуковскаго! Сталобыть, и Пушкина, и другихъ! Да онъ развитой, образованный человѣкъ! Ужъ не инкогнито ли онъ?» мелькнуло у меня въ головѣ.

И если бъ не эти безтѣнные голубые глаза, не этотъ красненькій носъ, не розовенькіе галстучки и граціозные шажки, съ поджимаемой ножкой, я остановился бы на своемъ предположеніи.

Я осторожно вышелъ въ переднюю, неслышно отворилъ къ нему дверь и остановился. Онъ сидѣлъ задомъ къ двери и за звуками своего голоса не слыхалъ моего прихода.

«Душѣ шепну-у-лъ привѣ-ѣтъ бываа-лый
Душѣ блеснуу-лъ знакомый вз-о-о-ръ»...

заливался онъ все нараспѣвъ.

И опять:

«И зри-и-мо ей въ мину-ту ста-а-ло
Незри-и-мое съ давнишнихъ поръ»...

Онъ растягивалъ слова и ударялъ голосомъ на нѣкоторыхъ. Я сдѣлалъ шагъ къ нему, онъ вскочилъ, сконфузился, проворно снялъ очки и хотѣлъ закинуть книгу на полку. Но я удержалъ его и взялъ книгу. Это былъ небольшой томъ стихотвореній Жуковскаго, съ оторванными листами начала и конца.

— Что̀ ты читалъ сейчасъ?—спросилъ я.

— Да вотъ это самое.—Онъ указалъ на книгу:—сочиненіе господина Жуковскаго.

— Тебѣ нравится?—спросилъ я.

— А какъ же-съ: кому такое не понравится!

— Почитай, пожалуйста, послѣднее, вотъ что ты сейчасъ читалъ,—попросилъ я.

— Зачѣмъ вамъ: чтобъ смѣяться!..

— Нѣтъ, какъ можно! Напротивъ, я очень доволенъ, что ты занимаешься, читаешь, не такъ, какъ другіе...

Онъ замѣтно смягчился: ему понравилось и польстило мое замѣчаніе. Онъ взялъ книгу и надѣлъ очки. Они еле держались на его крошечномъ носу. Онъ былъ невыразимо смѣшонъ — и мнѣ не малаго труда стоило удержаться отъ смѣха.

— Это самое, или сначала прикажете?—спросилъ онъ.

— Пожалуй, сначала.

И онъ началъ:

«Мину-вшихъ дне-й очароваа-нье
Зачѣмъ (тутъ онъ взялъ высокую ноту, почти вскрикнулъ)
опя-ть вос-кре-сло ты?
Кто̀ (опять удареніе голосомъ) пробудилъ воспо-мина-нье
И замолча-вшія мечты!
Душѣ шепнулъ (тоненькимъ нѣжнымъ голоскомъ запѣлъ онъ)
привѣ-тъ быва-лый,
Душѣ блесну-лъ знако-мый взо-ръ
И зри-и-мо ей въ мину-ту стало
Незри-мое съ давни-шнихъ поръ».

Послѣднія слова онъ съ умиленьемъ какъ будто допѣлъ и кончилъ почти плачемъ; голубые глаза увлажились; губы сладко улыбались.

Онъ поглядѣлъ на меня, что̀ я? Я чувствовалъ, что мнѣ лицо прожигалъ смѣхъ, но я старался не улыбнуться.

— Ты все понимаешь?—спросилъ я, любопытствуя узнать, какъ онъ объясняетъ себѣ отвлеченныя выраженія Жуковскаго.

— А вы понимаете?—вдругъ скороговоркой спросилъ онъ.

Онъ живо снялъ очки, положилъ книгу и пристально посмотрѣлъ на меня.

— Какъ же: конечно, понимаю! — отвѣтилъ я, озадаченный его вопросомъ.

Онъ недовѣрчиво усмѣхнулся.

— Вы и это тоже понимаете? — насмѣшливо спросилъ онъ, взялъ книгу, надѣлъ очки и, порывшись въ листахъ, началъ читать:

«Земли жил-е-е-цъ безвы-ы-ходный—страд-анье,
Ему судьбы на ча-сть насъ обрекли;
Здѣсь ра-дости не наше облада-нье...

Я за него продолжалъ наизусть:

«Пролетные плѣнители земли
Лишь по пути заносятъ намъ преданье
О благахъ, намъ обѣщанныхъ вдали».

— Вѣрно! — сказалъ онъ, слѣдя по книгѣ за мной.— Что жъ, вы и это понимаете?—насмѣшливо повторилъ онъ.

— Да, разумѣется. Что жъ тутъ непонятнаго?

— А вотъ извольте-ка сказать, что̀ это за «жилецъ» такой «безвыходный» и что̀ это за «часть» такая тутъ попала, да еще какое слово «обрекли ему»: кому «ему»? А тутъ вдругъ «радости» пошли, да «обладанье» какое-то! Вы такъ все это и понимаете? Полноте, сударь!

— А ты развѣ этого не понимаешь?—спросилъ я, озадаченный.—Зачѣмъ же ты читаешь?

Онъ оторопѣлъ на минуту и замялся.

— Если все понимать — такъ и читать не нужно: что тутъ занятнаго!—отозвался онъ.—Иныя слова понимаешь— и то слава Богу! Вонъ тутъ написано «радости», «страданье» — это понятно. А вотъ какіе-то «пролетные плѣнители», еще «на часть насъ обрекли» — поди-ка, пойми кто!

— Постой, погоди! — сказалъ я и взялъ съ его полки одну книгу, другую—онъ уже не мѣшалъ мнѣ: книги были больше безъ переплета, съ оторванными заглавіями.

Тутъ были и календари, и духовнаго содержанія, и «новѣйшій», но старый-престарый пѣсенникъ: все рухлядь. Наконецъ я увидалъ какую-то хрестоматію безъ заглавія, кажется, Греча, поискалъ что-нибудь понятное и какъ разъ подвернулось стихотвореніе Шишкова, и я сталъ читать:

«Хоть весною и тепленько,
А зимою холодненько,
Но и въ стужѣ
Намъ не хуже.
Въ долгу ночку
Къ огонечку
Всѣ сберутся,
Старый, малый,
Точатъ балы
И смѣются.
А какъ матки
Придутъ Святки,
Тутъ-то грохотъ,
Игры, хохотъ...» и т. д.

Я дочиталъ до конца.

— Вотъ, если ты любишь стихи, это бы и читалъ!

Онъ съ нескрываемымъ презрѣніемъ слушалъ мое чтеніе.

— Это каждый мальчишка пойметъ, или деревенская баба! — сказалъ онъ, глядя въ сторону. — Прочиталъ разъ, понялъ да и бросилъ: что жъ тутъ занятнаго? То ли дѣло это?

Онъ надѣлъ очки, схватилъ свою любимую книгу и началъ опять заливаться нараспѣвъ, съ чувствомъ:

«Земли жиле-е-цъ безвыходный—страд-а-нье,
«Ему судьбы на ча-а-сть насъ обрекли...»

— Вотъ пойми-ка это? Какой такой «жилецъ» — и кому ему «обрекли» какія-то «судьбы»? Не угодно ли растолковать?—вызывающимъ голосомъ добавилъ онъ.

— Изволь!—снисходительно сказалъ я, наслаждаясь про себя его непониманіемъ. — «Жилецъ безвыходный земли»— и есть «страданье»: вотъ ему на «часть», или на долю, что ли, и обрекла насъ «судьба»... Все понятно!

Онъ положилъ книгу и снялъ очки.

— Вы, можетъ-быть, и Покалипсъ понимаете? — ѣдко спросилъ онъ.

— Апокалипсисъ, хочешь ты сказать,—поправилъ я.

— Ну, Покалипсисъ!—съ неудовольствіемъ добавилъ онъ.

— А что же: понимаю, — храбро сказалъ я, чтобъ посмотрѣть, что̀ онъ.

Я еще не успѣлъ кончить своего отвѣта, какъ мой Валентинъ завизжалъ пронзительнымъ смѣхомъ, воротя лицо, изъ почтенія ко мнѣ, въ сторону, къ стѣнѣ. «Хи-хи! хи-хи!» визжалъ онъ. Потомъ оборотился мелькомъ ко мнѣ, взглянулъ на меня и, быстро отвернувшись, опять завизжалъ, напрасно стараясь почтительно сдержаться.

— Что тутъ забавнаго? — сказалъ я, самъ весело глядя на него.

— Какъ же-съ... хи... хи... хи...—заливался онъ.

Наконецъ, мало-по-малу унялся, отдышался, откашлялся.

— Извините меня, сударь, право не могу... хи-хи-хи!

— Это у насъ въ селѣ былъ дьякбнъ Еремѣй...—началъ онъ съ передышкой.—Онъ не Еремѣй, а отецъ Никита, да его прозвали Еремѣемъ. Онъ тоже хвастался, что понимаетъ Покалипсъ...

— Апокалипсисъ!—поправилъ я.

— Ну, Покалипсисъ, — нехотя вставилъ Валентинъ.— Архіерей объѣзжалъ губернію, пріѣхалъ и въ наше село. Нашъ священникъ послѣ обѣдни, за завтракомъ, и указалъ на этого самаго Никиту: «вотъ, — говоритъ, — святой владыка: дьяконъ нашъ Никита похваляется, что понимаетъ Покалипсъ»...

— Апокалипсисъ!—поправилъ я.

Валентинъ только сморщился, но не повторилъ поправки.

— «Дерзновенно!» сказалъ архіерей: такъ и сказалъ «дерзновенно!» Дьяконъ не зналъ куда дѣться изъ-за стола: «провалился бы», разсказывалъ послѣ, «лучше сквозь землю. И кулебяка, говоритъ, такъ и заперла мнѣ горло...» «А ну-ка, дьяконе, скажи...» это архіерей то говоритъ дьякону: «скажи, говоритъ, что значитъ блудница, о которой повѣствуетъ св. Іоаннъ Богословъ въ Покалипсѣ...»

— Въ Апокалипсисѣ,—поправилъ я.

— Вы не извольте сбивать меня съ толку,—съ сердцемъ замѣтилъ Валентинъ:—а то я перепутаю архерейскую рѣчь. Я ее наизусть затвердилъ,—и всѣ тогда затвердили у насъ. Я буфетчикомъ былъ у господъ и меня послали служить за этимъ самымъ завтракомъ: нашъ поваръ и готовилъ. Вотъ дьяконъ — самъ послѣ сказывалъ — не разжевавши хорошенько, почесть цѣликомъ цѣлую корку кулебяки съ семгой проглотилъ. Чуть не подавился, весь покраснѣлъ, какъ ракъ. «Ну, говори, коли понимаешь!»—нудилъ архерей.

— «Блудница... святой владыко... это... это... — мямлилъ дьяконъ: — это св. Іоаннъ Богословъ прорекаетъ о заблудшейся западной римской каѳолической церкви...»

— Мы всѣ слушаемъ, не дохнемъ, я за самымъ стуломъ архерейскимъ стоялъ, все слушалъ и запомнилъ до слова... Такъ дьяконъ и замолчалъ. «А далѣе?»—говоритъ архерей. А у дьякона и дыханіе перехватило, молчитъ. Всѣ молчали, носы уткнули въ тарелки. Архерей посмотрѣлъ на него,

да и проговорилъ, такъ важно проговорилъ, словно въ церкви изъ алтаря голосъ подалъ...

— Что жъ онъ проговорилъ?

— «Всякій, — говоритъ, — Еремѣй про себя разумѣй!» Всѣ и замолчали, такъ и изъ-за стола разошлись. Вотъ съ тѣхъ поръ во всемъ селѣ всѣ, даже мужики, дьякона Никиту и прозвали Еремѣемъ, а подъ сердитую руку и блудницей дразнили. А вы изволите говорить, что и вы тоже понимаете Покалипсъ... Хи-хи-хи!

— Апокалипсисъ!—поправилъ я.—Если дьяконъ не понималъ, это еще не причина, чтобы я не понималъ...

— Полноте, грѣхъ, сударь,—не на шутку сердился Валентинъ.—Дьяконъ или священникъ, всю жизнь церковныя книги читаютъ—кому бы и понимать, какъ не священству? А вотъ никто не понимаетъ. Одинъ только святой схимникъ былъ: онъ въ кіевскихъ пещерахъ спасался, тотъ понималъ. Одинъ! Всѣ допытывались отъ него, и самъ митрополитъ уговаривалъ, да никому не открывалъ. Передъ кончиной его вся братія три дня на колѣняхъ молила открыть, а онъ не открылъ, такъ и скончался. А вы—понимаете!

Онъ опять захихикалъ въ сторону, глядя на меня почтительно и насмѣшливо. Это очень развлекало меня. Я пошелъ къ себѣ, порылся въ шкапу, чтобы подыскать что-нибудь подходящее для его пониманія, нашелъ между книгами «Юрія Милославскаго», «Конька Горбунка» и подарилъ ему.

— Вотъ, читай и скажи мнѣ, какъ тебѣ понравится!

Онъ очень былъ доволенъ моимъ подаркомъ и обѣщалъ читать.

Пока онъ разсматривалъ книги, я взялъ съ полки у него какую-то тетрадку и прочелъ сверху кривую надпись: «Сенонимы». Подъ этой надписью, попарно, иногда по три слова, тѣмъ же кривымъ, вѣроятно его почеркомъ, напи-

саны были однозвучныя слова. Напримѣръ, рядомъ стояли: «эмансипація и констипація», далѣе «конституція и проституція», потомъ «тлетворный и нерукотворный», «нумизматъ и кастратъ», и такъ безъ конца.

— Что̀ это такое?—спросилъ я.

— Тутъ написано что̀: сенонимы!—сказалъ онъ.

— Да что̀ такое «синонимы», ты знаешь?

— Это похожія другъ на друга слова.

— Кто это тебѣ сказалъ?

— Да тотъ же дьяконъ Еремѣй: онъ былъ ученый. Вотъ, когда я завелъ эту самую тетрадку и сталъ записывать туда изъ книгъ непонятныя похожія слова, я и спросилъ его, что̀, молъ, значатъ похожія другъ на друга слова? Онъ и говоритъ «сенонимы, говоритъ, это называется». Я такъ и записалъ и заношу туда такія слова.

— Да это совсѣмъ не то: онъ тебѣ не то сказалъ, или ты не такъ понялъ,—замѣтилъ я.—Синонимы совсѣмъ не то значитъ...

Онъ рѣшительно взялъ у меня изъ рукъ тетрадку и положилъ на полку.

— Пожалуйте, — сказалъ онъ: — вы вѣдь все изволите лучше знать, чѣмъ другіе, даже лучше самого господина Жуковскаго: вонъ и Покалипсъ понимаете...

— Апокалипсисъ!—поправилъ я.

— А намъ гдѣ понимать!

Онъ ѣдко улыбнулся и смотрѣлъ на меня такъ, чтобы я ушелъ. Я разсмѣялся и ушелъ, а онъ съ сердцемъ затворилъ за мной дверь.

Я потомъ не вмѣшивался въ его литературныя занятія, даже радовался, что они не отвлекаютъ его отъ дѣла и не ведутъ къ чему-нибудь дурному. Лишь изрѣдка, среди вечерней тишины, доходило до моихъ ушей:

«И зри-и-и-мо ей въ мину-у-ту стало
Не-зри-и-и-мое съ давнишнихъ поръ».

Не то онъ вдругъ громко заголоситъ:

«Боги гнѣва и Ерева,
Въ страшный часъ,
Ахъ, пошлите солнца лучъ,
Разгоните мраки тучъ».

Въ другой разъ слышу:

«Плещутъ волны Флегетона,
Своды тартара дрожатъ,
Кони блѣднаго Плутона
Быстро къ нимфамъ Пеліона
Изъ ада бога мчатъ...»

— Вотъ поди-ко, пойми это!—однажды насмѣшливо прибавилъ онъ вслухъ, вѣроятно намекая на меня и не подозрѣвая, что я хожу по сосѣдней комнатѣ и что мнѣ слышно.— А еще хочетъ понимать Покалипсъ!

— Апокалипсисъ!—поправилъ я, тихо отворяя дверь.

Онъ сконфузился.

Такъ онъ читалъ все больше изъ той же хрестоматіи Греча, или другое что-нибудь, лишь бы звучное и малопонятное ему.

Я тутъ убѣдился въ томъ, что̀ наблюдалъ и прежде: что простой русскій человѣкъ не всегда любитъ понимать что̀ читаетъ. Я видѣлъ какъ простые люди зачитываются до слезъ священныхъ книгъ на славянскомъ языкѣ, ничего не понимая, или понимая только «иныя слова», какъ мой Валентинъ. Помню, какъ матросы на кораблѣ слушали такую книгу, не шевелясь по цѣлымъ часамъ, глядя въ ротъ чтецу, лишь бы онъ читалъ звонко и съ чувствомъ. Простые люди не любятъ простоты.

Валентинъ прожилъ у меня нѣсколько лѣтъ, и, можетъ-быть, прожилъ бы еще долго, если бъ я не перемѣнилъ родъ службы и отчасти образъ жизни. Я сталъ бо́льшую часть дня, а иногда и вечера, заниматься дома.

Оказалось, что это стѣсняло его. Я никогда не справлялся, какъ онъ проводитъ время безъ меня, а теперь мнѣ

открытъ былъ каждый его шагъ. «Землячки» не могли бывать у него свободно при мнѣ — и онъ оставался больше одинъ и скучалъ. Повидимому, онѣ безъ меня посѣщали его часто. Мало-по-малу открылось, что онъ отчаянный донъ-жуанъ, несмотря на свои пятьдесятъ лѣтъ слишкомъ.

Склонность его къ нѣжному полу проявлялась и прежде, но слегка. Когда у меня бывали въ гостяхъ дамы, особенно молодыя и красивыя, онъ какъ-то суетливо лебезилъ, подавая чай, фрукты, кокетливо поджималъ ножку, шаркалъ, приподнимался на цыпочкахъ, чтобъ придать себѣ росту, взглядывалъ мимоходомъ въ зеркало, украдкой зачесывалъ пальцами волосы съ затылка. Я перемигивался съ гостьями, и мы нерѣдко награждали эти маневры дружнымъ хохотомъ. Тогда онъ злобно краснѣлъ и бросалъ на насъ гнѣвные взгляды.

Однажды, воротясь домой и найдя дверь запертою, я сошелъ внизъ спросить у дворниковъ, гдѣ онъ, и замѣтивъ около каретнаго сарая кучку дворни, особенно женщинъ, пошелъ туда. И что же вижу: Валентинъ стоитъ посреди сарая, закинувъ голову вверхъ, разряженный въ желтые нанковые панталоны, черную плисовую жакетку, въ розовомъ галстукѣ и съ желтымъ цвѣткомъ въ петлицѣ, поетъ:

«Во селѣ-селѣ Покроо-вскомъ,
Среди уу-лицы большой...
Разыграа-лись, раа-сплясались
Дѣвки краа-сны межъ соо-бой...»

разливался онъ сладкимъ теноромъ, закатывая глаза подъ лобъ, разводя далеко въ стороны руками и притопывая.

Всѣ смотрѣли на него съ улыбкой, дѣвушки съ неудержимымъ хохотомъ. А онъ глядѣлъ на нихъ сладостно, какъ сатиръ. Я тоже захохоталъ. Увидавъ меня, онъ сконфузился, застыдился и опрометью бросился впередъ меня домой.

— Что̀ это тебѣ вздумалось пѣть среди дворни? — спросилъ я.

— Барышни просили,—сказалъ онъ:—я хотѣлъ сдѣлать имъ удовольствіе...

— Какія барышни?

— А тѣ самыя, что̀ тамъ стояли.

Это горничныя.

— Да вѣдь онѣ помирали со смѣху надъ тобой: развѣ ты не замѣтилъ?

Глядя на него въ его изысканномъ нарядѣ, я опять невольно засмѣялся.

— Онѣ смѣялись отъ удовольствія, а вотъ вы, сударь, не знаете сами чему смѣетесь! Нельзя повеселиться человѣку: развѣ это грѣхъ?

— Веселись сколько хочешь — это даже иногда нужно, здорово... Я не упрекаю тебя.

Я опять засмѣялся.

— Чему жъ вы смѣетесь? — сказалъ онъ съ сердцемъ и ушелъ къ себѣ.

Случаи донъ-жуанства стали повторяться и наконецъ доходили до меня въ видѣ жалобъ. Однажды вдругъ отворила ко мнѣ дверь въ переднюю молодая дѣвушка съ растрепанной косой, держа шейную косынку въ рукахъ.

— Что̀ это баринъ, отъ вашего лакея прохода нѣтъ! — голосила она сердито, указывая на Валентина.

— Подите! подите! — торопливо говорилъ онъ, стараясь выпроводить ее за дверь.—Не хорошо-съ!

Я остановилъ его.

— Что̀ вамъ угодно?—обратился я къ ней.

— Да вотъ онъ прохода не даетъ. Я живу вверху съ барыней, тихо, скромно, а онъ давно ужъ, какъ выйдетъ на лѣстницѣ, сейчасъ начнетъ глупые [illegible] говорить, зоветъ на чашку шеколаду, [illegible] подн. да [illegible]

нему сюда! Съ ума, что ли, я сошла! За кого онъ меня принимаетъ! Воля ваша: это обидно!

— Я тутъ еще большой вины не вижу,—сказалъ я:—что онъ скажетъ вамъ «канплиментъ». Запретить это ему я не въ правѣ...

— А вы бы, барышня,—заговорилъ Валентинъ:—чѣмъ барина безпокоить, поговорили бы прежде со мной...

— Стану я съ вами разговаривать!—остановила она его, измѣряя его съ ногъ до головы презрительно-насмѣшливымъ взглядомъ.

— За честь должны считать!..—съ азартомъ отгрызался Валентинъ, замѣтивъ этотъ взглядъ.

Я велѣлъ ему замолчать.

— Такъ что же дальше?—обратился я ней.

— Какъ только заслышитъ, что я по лѣстницѣ спускаюсь,—продолжала она:—вынесетъ на подносѣ гостинцы, апельсины, орѣхи, изюмъ, и загородитъ мнѣ дорогу. Я прошу дать пройти, онъ не слушается. Одинъ разъ я толкнула подносъ зонтикомъ, гостинцы его разсыпались по полу, а ему сказала, чтобъ онъ не безпокоилъ меня — скажу, молъ, барину. Такъ онъ не унялся: «баринъ мнѣ, говоритъ, не указъ!» Пойдешь по лѣстницѣ, онъ подкараулитъ, да старается за руку поймать...

— Неправда, неправда!—оспаривалъ горячо Валентинъ:— не вѣрьте ей, сударь, барышня вретъ!

— Сами вы врунъ! Афимья, чай, видала вонъ изъ тѣхъ дверей, какъ вы ловили меня за руку...

— Зачѣмъ же ты безпокоишь ее, если она не хочетъ слушать твои любезности?—сказалъ я ему.

— Я обращаюсь всегда благородно и деликатно... — защищался онъ. — А вамъ, сударь, хорошему господину, надо бы барышень въ шею отсюда, а не слушать, что онѣ врутъ!..

— Вы врете, а не я!—вставила она.

— Это мои дѣла, а не ваши!—обратился Валентинъ опять ко мнѣ.—Я службу мою справляю у васъ какъ слѣдуетъ... Не пью, не шляюсь, господское добро берегу...

— Это такъ: твои амуры — не мое дѣло, да зачѣмъ жалобы доходятъ до меня?

— На что же вы теперь жалуетесь?—спросилъ я ее.

— Да вотъ сейчасъ, когда я мимо вашихъ дверей по лѣстницѣ шла, онъ подкараулилъ — и цапъ меня за шею, хотѣлъ обнять... Да не таковская: я не далась, попятилась. Вонъ извольте посмотрѣть: коса у меня свалилась, и платокъ съ шеи... Не прикажите ему озорничать! Я живу скромно, всѣ знакомые мои, и въ домѣ здѣсь тоже меня знаютъ честной, аккуратной дѣвушкой: могутъ, пожалуй, подумать, что я нарочно слушаю его «канплименты...»

— Слышишь, Валентинъ, это правда, что «барышня» говоритъ! Она скромна... дорожитъ своей репутаціей, не хочетъ чтобъ ее компрометировали...—заговорилъ-было я, но остановился, вспомнивъ о его тетрадкѣ съ «сенонимами»: слова «репутація» и «компрометировали», какъ мудреныя и ему непонятныя, навѣрно попали бы туда.—Она скромна, бережетъ себя, дорожитъ своимъ честнымъ именемъ: не безпокой же ее!—дополнилъ я въ новой редакціи.

Я успокоилъ ее какъ могъ, она поблагодарила меня, извинилась за «безпокойство», прибавивъ, что и барыня ея посовѣтовала ей обратиться ко мнѣ. Она взялась за ручку двери, бросивъ опять на Валентина ядовито-насмѣшливый взглядъ.

— Чему смѣяться-то!—шипѣлъ онъ на нее.—Такія дряни какъ вы, должны за счастье почитать, если съ ними благородно и деликатно обращается этакій кавалеръ! — Она поднялся на цыпочки и началъ руками собирать [illegible] волосы на макушку...

При словѣ «такой кавалеръ», дѣвушка разразилась [illegible]

удержимымъ, визгливымъ хохотомъ и бросилась вонъ. Онъ съ трескомъ заперъ за ней дверь.

Я тоже не утерпѣлъ и покатился со смѣху. Онъ ощетинился, какъ звѣрь, злобно посмотрѣлъ на меня, хотѣлъ что-то сказать, но удержался и ушелъ къ себѣ за перегородку, хлопнувъ дверью.

Все пошло своимъ порядкомъ. Верхнюю дѣвушку онъ, повидимому, не безпокоилъ, жалобъ не было, и я забылъ объ этомъ. Я замѣчалъ только, что когда я сидѣлъ въ теченіе утра дома, мой Валентинъ сталъ отлучаться куда-то: надо было изъ окна покричать дворника, чтобъ отыскалъ его. «Землячки» при мнѣ тоже не являлись больше.

Но вотъ, однажды, недѣль шесть спустя, когда онъ вышелъ куда-то, ко мнѣ явился дворникъ и подалъ записку.

— Отъ кого это?—спросилъ я.

— А вотъ отъ той жилицы, что̀ напротивъ: у ней прачечное заведеніе, она хозяйка.

— Ко мнѣ ли эта записка? Я вовсе не знаю этой жилицы: что̀ ей нужно?

— Не могу знать: велѣла вамъ въ руки самимъ, а лакею, говоритъ, не давай.

Я взялъ записку. Она была не запечатана.

«Милостивый государь», читалъ я: «Вашъ лакей Ва«лентъ самый низкій мужчина: онъ все таскается подъ «окнами у насъ и какетничаетъ съ моими мастерицами. «мѣшаетъ имъ и дѣлаетъ разныя низости: вонъ какую за«писку онъ подалъ Лизѣ — извольте прочитать. Мы про«симъ васъ унять его. Если онъ не перестанетъ какетни«чать, ходить подъ окна и бросать записки—я тогда приду «сама и раздеру ему *всю* лицо.

«Готовая ко услугамъ
«Анна Прохорова
«прачешная хозяйка».

Подъ фразой «раздеру всю лицо» — была другая зачерк-

нутая редакція: «раздеру ему поганую харю». Должно быть эта фраза показалась ей грубою относительно меня и она изъ учтивости смягчила ее. Къ письму приложенъ былъ клочокъ бумаги, на которомъ, должно быть, рукой Валентина написано: «О милое творенье, прости мнѣ восхищенье, Лизокъ, голубочка, ангелъ, чмокъ, чмокъ тебя. Приди, серафима моя, на второй дворъ подъ ворота. Принесу гостинцевъ много, много, и подарочекъ, чмокъ! чмокъ!»

Валентинъ пришелъ.

— А у тебя опять амуры завелись?—сказалъ я ему.

— Какіе, сударь, такіе амуры?

— А вотъ смотри, какія письма пишутъ ко мнѣ.

Я прочиталъ ему прачкино письмо и показалъ его записку. Онъ вспыхнулъ, даже побагровѣлъ отъ смущенія и злости, и хотѣлъ вырвать у меня письмо. Я не далъ.

— Ишь ты, старый селадонъ! — шутилъ я: — не унимаешься! Смотри, дождешься чего-нибудь!..

— Не ваше дѣло! — почти грубо отрѣзалъ онъ: — а эту дрянь—вѣдь она мужичка—плетьми мало сѣчь! Пожалуйте мнѣ мою записку!

Я отдалъ ему.

— Я съ ними раздѣлаюсь,—злобно ворчалъ онъ:—я имъ дамъ «раздеру лицо», я имъ всѣ косы истреплю! Раздавлю! — кричалъ онъ разъяренно. — Онѣ за честь должны считать, что я съ ними обращаюсь!.. — Онъ вытянулся на цыпочкахъ и сердито загребалъ руками волосы съ затылка на темя.

— Послушай, дѣлай, какъ хочешь, — сказалъ я: — я въ твои амуры не вмѣшиваюсь, но повторяю тебѣ: устраивай такъ, чтобъ до меня жалобъ не доходило и чтобъ никакого «трепанья косъ» не было. Если выйдетъ какой-нибудь скандалъ, я держать тебя не стану.

— Хорошо-съ, я сдѣлаю,—ядовито сказалъ онъ:—будутъ

онѣ довольны! Если бы она, эта Прохорова, не безпокоила васъ, а со мной поговорила бы благородно и деликатно—я бы и ничего, отсталъ бы! А если она полѣзла къ вамъ, да еще грозитъ мнѣ, такъ нарочно, на зло ей, буду ходить, буду, буду, буду! Вы, сударь, не извольте безпокоиться: жаловаться не станутъ. Я же ей, дряни этакой: погоди она у меня!—ворчалъ онъ, уходя къ себѣ и потрясая кулаками.

Донъ-жуанство Валентина добромъ не кончилось — ни для него, ни для меня. Онъ потерпѣлъ пораженіе, а я лишился въ немъ честнаго и усерднаго, хотя и смѣшного слуги.

Черезъ мѣсяцъ послѣ этихъ писемъ, когда, возвратясь вечеромъ домой, я позвонилъ у дверей, Валентинъ, противъ обыкновенія, медленно отворилъ мнѣ дверь, не снялъ съ меня пальто и тотчасъ скрылся въ свою комнату. Я заглянулъ къ нему. Онъ лежалъ на постели.

— Что съ тобой: ты нездоровъ? — спросилъ я съ испугомъ.

— Ничего-съ, я полежу немного, отдохну... голова болитъ немножко.

Подлѣ него былъ графинъ съ водой, пахло уксусомъ.

— Ты скажи, что̀ такое?—спрашивалъ я.

— Не безпокойтесь... извольте ложиться, я ушибся, отдохну, пройдетъ...

— Гдѣ ушибся, какъ? доктора надо позвать...

— Ради Бога, не надо ничего-съ: завтра отдохну...

Я однакожъ не удовольствовался этимъ, спустился внизъ и узналъ на дворѣ, что съ Валентиномъ случилась исторія. Дворники разсказали мнѣ, что онъ въ сумерки пошелъ-таки «кокетничать» съ Лизой, здоровой мастерицей-прачкой, вызвалъ ее на второй дворъ. Хозяйка замѣтила это—и исполнила надъ нимъ свою угрозу, съ помощію какого-то, должно быть, соперника Валентина, кажется, жениха Лизы, и если и не «разодрала ему всю лицо», однако значительно испа-

рапала. Соперникъ тоже напалъ на него, ругался, сбилъ съ Валентина фуражку и старался схватить его за воротъ. Валентинъ мужественно отражалъ нападеніе, не давался, кричалъ.

Дворники старались рознять ихъ. Словомъ, вышелъ скандалъ.

Наконецъ ихъ розняли. Валентинъ, измятый, съ разорваннымъ платьемъ, съ расцарапаннымъ лицомъ, удалился, при общемъ хохотѣ дворни, къ себѣ въ комнату.

На утро онъ, по обыкновенію, принесъ мнѣ чай. Щеки и носъ у него побѣлѣли почти совсѣмъ, на одной щекѣ и на лбу была царапина, впалые глаза смотрѣли тускло.

— Что такое было вчера?—спросилъ я.

— Пожалуйте мнѣ расчетъ и паспортъ!—тихо сказалъ онъ въ отвѣтъ на мой вопросъ.

— Вотъ тебѣ на! Да ты разскажи, что̀ такое...

— Позвольте мнѣ паспортъ,—настойчиво повторилъ онъ:—Я сейчасъ извозчика приведу и уѣду...

— Дворники говорили, что у тебя вышла исторія... разскажи!

— Нечего разсказывать-съ: это мое дѣло. Только въ этомъ разбойничьемъ домѣ я и дня не проживу... Еще убьютъ, чего добраго! Позвольте расчетъ и паспортъ...

— Это рѣшительно?

— Да-съ, рѣшительно,—уныло прибавилъ онъ.

— Но вѣдь я имѣю право задержать тебя три дня, пока пріищу кого-нибудь на твое мѣсто: нельзя же мнѣ оставаться одному!

— Я ужъ это сдѣлалъ: когда вы почивали, я сходилъ къ знакомому человѣку: онъ сейчасъ придетъ и побудетъ, пока вы пріищете другого. А меня, сдѣлайте милость, отпустите сейчасъ же.

Онъ почти со слезами кончилъ эту просьбу. Я съ глубокимъ сожалѣніемъ согласился, и когда пришелъ человѣкъ,

я отдалъ Валентину паспортъ и сверхъ жалованья прибавилъ награду. Онъ поцѣловалъ меня въ плечо и прослезился.

— Да ты подумай... можетъ-быть, обойдется, я спрашивать не стану! Ты такой исправный и честный слуга!.. Мнѣ жаль разставаться съ тобой, право!—пробовалъ я уговорить его.—Исторія эта забудется. Ты получилъ жестокій урокъ и конечно больше за женщинами ухаживать не станешь...

— Какъ можно! Стану-съ. Только не съ такимъ необразованнымъ мужичьемъ, какъ здѣсь. Буду выбирать по себѣ, гдѣ благородно и деликатно...

— Подумай,—удерживалъ я:—все перемелется... Мнѣ жаль тебя!

— Покорнѣйше благодарю—нѣтъ, нѣтъ-съ, я уйду!

Онъ былъ такъ разстроенъ, что я больше не настаивалъ. Онъ быстро собралъ свои пожитки и уѣхалъ. Долго еще послѣ него, по привычкѣ, по вечерамъ, у меня иногда звучало въ ушахъ:

«И зри-мо ей въ минуту ста-ло
Незри-мое съ давни-шнихъ поръ»...

II.

Антонъ.

Служившій у меня временно, вмѣсто Валентина, человѣкъ объявилъ дня черезъ три, что онъ долго оставаться не можетъ, что господинъ его вернется съ дачи и онъ вступитъ въ свою должность. Онъ обѣщалъ привести мнѣ другого слугу, недавно пріѣхавшаго изъ деревни, отпущенника изъ крѣпостныхъ.

— Да каковъ онъ? Здѣсь его не знаютъ: какъ же безъ рекомендаціи взять?—сомнѣвался я.

— Онъ на вольной квартирѣ уголъ нанималъ до мѣста:

тамъ одобряютъ, говорятъ деревенскій, смирный, непорченный. Изъ себя видный, Антономъ зовутъ.

— Ну, хорошо!

На другой же день онъ прислалъ мнѣ молодца колоссальнаго роста, брюнета лѣтъ сорока пяти, съ лохматой головой, съ здоровыми, длинными мускулистыми руками, съ такими же здоровыми крѣпкими ногами. Онъ былъ одѣтъ въ длинномъ, широкомъ нескладномъ сюртукѣ, очевидно сшитомъ не по немъ. Онъ сталъ у дверей, какъ вкопанный, смотрѣлъ на меня покорно, почти со страхомъ, тупымъ, апатичнымъ взглядомъ, изъ котораго не только не прорѣзывалось иглы, луча свѣта, но даже искры не было.

— Тебя Антономъ зовутъ? Ты изъ деревни?—спрашивалъ я, разсматривая его билетъ.

— Точно такъ-съ,—тихо, покорнымъ голосомъ отвѣчалъ онъ:—у господъ служилъ, теперь отпущенъ на оброкъ.

— Въ какой ты должности служилъ?

— При столѣ-съ, съ господами тоже выѣзжалъ по гостямъ и по егерской части...

— Ты, значитъ, хорошій стрѣлокъ?

— Никакъ нѣтъ-съ. Дичь стрѣляли другіе у насъ, тѣ и по псовой части служили, а я больше насчетъ волковъ...

— Волковъ! Да развѣ ихъ много у васъ?

— Страсть сколько въ нашемъ уѣздѣ! Все лѣса, вотъ они и разводились: много скота рѣзали! Баринъ насъ троихъ—здоровыхъ, какъ я же...—Онъ мелькомъ взглянулъ на свои руки и шевельнулъ кулаками слегка:—и посылалъ, да человѣкъ пять изъ мужиковъ, тоже которые поздоровѣе—на этихъ самыхъ волковъ...

— Вѣдь съ ружьями же посылали васъ, не съ голыми руками?

— Никакъ нѣтъ-съ: съ дубьемъ.

— Какъ же на волковъ съ дубьемъ?

— Такъ точно-съ. Какъ услышатъ, что волки прибѣжали

въ наши лѣса, насъ и пошлютъ съ тенётами. Мы, человѣкъ пять, кругомъ раскинемъ тенета и ждемъ. А съ другой стороны ихъ начнутъ пужать трещотками, свистками, они и бросаются, словно угорѣлые, да въ тенётахъ и запутаются. Тутъ мы ихъ и примемъ въ дубье... вонъ такъ...

Онъ вытянулъ руку, точно бревно, и махнулъ. Вылитый Илья Муромецъ! Кого ударитъ, у того рука прочь. «Ну,— думалъ я,—если онъ не приметъ меня самого въ дубье, то будетъ надежнымъ моимъ тѣлохранителемъ и стражемъ дома: этакій съ цѣлой шайкой воровъ справится»

— Какъ же съ волками: тутъ же и убивали ихъ?—спрашивалъ я дальше.

— Точно такъ-съ: по головѣ надо норовить его, а то, если по чему другому, такъ не ошалѣетъ сразу и мечется: того и гляди обдеретъ скрозь тенётъ.

И много на твою долю приходилось убивать?

— Много-съ, до полста я считалъ, а послѣ ужъ и счетъ потерялъ!..

— Ну, оставайся у меня, и если волки заведутся, такъ ты ихъ... хорошенько...

— Какіе здѣсь волки!—наивно замѣтилъ онъ и какъ будто хотѣлъ улыбнуться, но улыбки не вышло.

— Другой породы,—сказалъ я:—здѣшніе волки забираются на чердаки, проникаютъ въ комоды, шкапы, въ карманы...

Я оставилъ его у себя, и онъ, какъ по машинѣ, сталъ исправлять немудреную службу.

Ходилъ онъ, несмотря на громоздкость свою и на огромную ступню, тихо, ступалъ мягко, осторожно, какъ котъ, или, пожалуй, какъ волкъ, убиралъ комнаты не слышно, пока я спалъ, и дрова приносилъ, прижимая къ груди какъ родныхъ дѣтей, и складывалъ каждое полѣно у печки, какъ перышко, какъ мать кладетъ дитя въ колыбель: ни одно полѣно у него не стукнетъ. Никогда не заговаривалъ самъ и на вопросы мои всегда отвѣчалъ тихо и робко.

«Есть же за нимъ какія-нибудь художества, но какія?»— спрашивалъ я, боязливо слѣдя, какъ онъ тихо, въ видѣ тѣни, скользилъ по комнатамъ.

— Не пьешь ли ты, Антонъ?—спросилъ я его однажды мягко, ласково.

Онъ помолчалъ немного.

— Нынче курица — и та пьетъ-съ,— уклончиво отвѣтилъ онъ.

— Да, если бы пить только то̀, что пьетъ курица...

Я не кончилъ потому, что онъ, подъ предлогомъ взять щетку, тихо ускользнулъ въ переднюю, къ себѣ.

Проходили недѣли, наконецъ мѣсяцы, я ничего не замѣчалъ, никакихъ «художествъ» — и про себя радовался пріобрѣтенію смирнаго и исправнаго слуги.

Иногда я замѣчалъ неважныя уклоненія отъ исправности, свойственныя особенно крѣпостнымъ людямъ, въ барскихъ дворняхъ. Я не обѣдалъ дома, но иногда завтракалъ, т.-е. пилъ чай съ какой-нибудь холодной закуской, сыромъ, икрой и т. п. Велишь, бывало, на другой день, когда Антонъ подавалъ чай, принести вчерашній сыръ или икру.

— Сейчасъ,—скажетъ онъ и пойдетъ въ буфетъ.

— Сыру тамъ нѣтъ-съ...—скажетъ тихо, воротясь.

— Гдѣ же онъ? Вчера большой кусокъ оставался...

— Я... употребилъ...—стыдливо скажетъ, потупивъ глаза.

Точно такъ же въ другой разъ бывало и съ икрой, съ сардинками, холоднымъ мясомъ. Когда спросишь, сначала всегда пойдетъ какъ будто справиться, а потомъ тихо скажетъ: «Употребилъ!»

Я совѣстился замѣчать что-нибудь о неумѣстности такого «употребленія», думалъ, что ради своего скуднаго питанія гдѣ-нибудь въ лавочкѣ, или сосѣдней харчевнѣ, онъ дополняетъ свой столъ моей закуской—и молчалъ. Я охотно готовъ былъ дѣлиться съ нимъ этими кусочками.

Но однажды остались отъ вечерняго чаю варенье, фрукты, печенье. Я на другой день, вечеромъ, вспомнилъ о нихъ и велѣлъ подать себѣ къ чаю. Онъ, по обыкновенію, пошелъ въ буфетъ, позвенѣлъ тамъ посудой и принесъ двѣ штучки печенья и банку, гдѣ на днѣ едва осталась чайная ложка варенья.

— Вчера я только-что почалъ банку и печенья былъ цѣлый подносъ!—замѣтилъ я.—Гдѣ же это все?

Онъ помялся на мѣстѣ, помолчалъ.

— Употребилъ-съ...—чуть слышно прошепталъ онъ.

Мнѣ все-таки совѣстно было дѣлать ему замѣчаніе, и я придумалъ другую мѣру. Когда мнѣ хотѣлось оставить что-нибудь отъ закуски до другого раза, я ему говорилъ:

— Вотъ это оставь мнѣ, не «употребляй»!

Онъ на это приказаніе не отвѣчалъ мнѣ ни слова и не «употреблялъ» никогда. А что̀ я не считалъ нужнымъ оставлять, я говорилъ ему:

— Вотъ это употреби, если хочешь!

— Слушаю-съ,—говорилъ онъ и «употреблялъ».

Такимъ образомъ установился порядокъ и по закусочной части.

Прошло нѣсколько мѣсяцевъ; все было хорошо. Тишина у насъ въ квартирѣ была невозмутимая. Отлучался Антонъ изъ дома рѣдко, недѣли въ двѣ разъ. Днемъ я его мало видѣлъ, а по вечерамъ онъ раздѣвалъ меня, уходилъ къ себѣ—я до утра его не видалъ и не зналъ, что̀ онъ дѣлалъ. Скучалъ ли онъ, нѣтъ ли, безъ меня—ходилъ ли къ нему кто—я ничего не зналъ и былъ очень доволенъ. Но «на счастье прочно, всякъ надежду кинь!» поетъ намъ неумолимую правду извѣстная пѣсня.

Воротясь какъ-то къ себѣ часовъ въ семь вечера зимой, помнится, въ декабрѣ, я сѣлъ за спѣшную работу и велѣлъ Антону подать мнѣ чай въ десять часовъ.

Долго я сидѣлъ за письмомъ, и до четверти одиннадца-

таго Антонъ не являлся съ чаемъ. Между тѣмъ изъ передней доходилъ до меня какой-то шорохъ, шуршанье, будто тихіе шаги. Очевидно, онъ не спалъ. Я позвонилъ, отвѣта не было. Черезъ пять минутъ я опять позвонилъ, и опять, и опять.

Наконецъ, дверь тихо отворилась, вошелъ или скорѣе протискался въ нее совсѣмъ незнакомый мнѣ человѣкъ—и не весь, а только головой и плечами.

— Что̀ прикажете-съ?—спросилъ онъ почтительно.

— Какъ что̀? Чаю! Гдѣ Антонъ? Что онъ нейдетъ?

— Сейчасъ!—былъ отвѣтъ, и голова съ плечами скрылась.

Я думалъ, что Антонъ отлучился куда-нибудь, въ кухню, на лѣстницу, раздуваетъ тамъ самоваръ, что ли, и что это входилъ какой-нибудь его знакомый, гость. Я опять углубился въ свое писаніе.

Прошло около получаса, никого нѣтъ. Я позвонилъ изо всей мочи. Опять послѣ нѣкоторой паузы полуотворилась дверь и показалась большая голова и плечи другого человѣка, не того, который входилъ прежде, и повторила вопросъ:

— Что вамъ угодно?

— Что же чай? Гдѣ Антонъ? — съ нетерпѣніемъ повторилъ я.

— Сейчасъ!—сказала голова и скрылась.

Когда черезъ десять минутъ ни чаю, ни Антона не показывалось, я скорыми шагами направился въ переднюю посмотрѣть, что̀ тамъ дѣлается, и остолбенѣлъ.

Въ тѣсной комнатѣ Антона биткомъ набито было народу, человѣкъ шесть. Они сидѣли на двухъ стульяхъ, на табуреткѣ, на скамьѣ, одинъ взгромоздился на край стола, двое тѣснились на краю постели Антона, именно тѣ самые, которые входили ко мнѣ. На столѣ стояли штофы, бутылки, тарелки съ пирогомъ, ветчиной, колбасой, огур-

цами и прочей закуской. Тутъ же были яблоки, вишнёвыя ягоды.

Самъ Антонъ лежалъ навзничь во весь свой гигантскій ростъ на постели, безъ чувствъ, со свѣсившимися на полъ ногами, съ открытымъ ртомъ и открытыми глазами. Были видны только два бѣлка, зрачки закатились подъ лобъ.

— Ну! «употребилъ» же ты!—вырвалось у меня невольно. — Ахъ, ты, тихоня - тихоня! Что́ это, кабакъ, что ли, здѣсь?—грозно вопросилъ я всю компанію.—Кто вы такіе? Зачѣмъ сюда пришли толпой?

— Именины сегодня Антона Тихоныча!—сказалъ одинъ пьянымъ, сладенькимъ голоскомъ: — мы и собрались... проздравить...

— Пирожокъ... пирожокъ... принесли! — старался другой выговорить твердо, но ему не удавалось.

Третій указывалъ на сласти, яблоки, изюмъ, и молча тыкалъ себя въ грудь: «это, молъ, я принесъ».

— Ступайте! ступайте!

Я указалъ имъ на дверь.

— Поми...луй...те... мы...—силился говорить одинъ:—мы... не то... чтобы...

Я махнулъ имъ рукой.

Они похватали свои шапки и кучей тискались въ дверь, толкая другъ друга. По лѣстницѣ, какъ каменьями, стучали они сапогами, стараясь уйти въ перегонку.

— Дворника пришлите сюда скорѣе!—крикнулъ я одному отставшему.

Пришелъ дворникъ. Я показалъ ему на Антона, лежавшаго все навзничь, съ бѣлыми, зіяющими глазами, открытымъ ртомъ, безъ чувствъ.

— Пожалуйста, приведи его какъ-нибудь въ себя: посмотри!

— Онъ мянинникъ нонче, — сказалъ дворникъ: — такъ и... подгулялъ. Давеча и намъ съ Акимомъ поднесъ. Утромъ къ ранней обѣднѣ ходилъ.

— Уложи же его какъ слѣдуетъ, — сказалъ я: — я тебѣ завтра на чай дамъ.

— Гдѣ же мнѣ, баринъ! Одному не сладить, вонъ онъ какой: безъ малаго сажень будетъ—я схожу за Акимомъ.

Дворникъ привелъ товарища. Они вдвоемъ принялись оправлять «мянинника», облили ему голову водой, намочили виски и темя уксусомъ, раздѣли и уложили.

«О, ты», вздыхалъ я съ грустью про-себя, ходя взадъ и впередъ по залѣ:—«о ты, зелено вино! ты иго, горшее крѣпостного права: кто и когда изведетъ тебя, матушка Русь, изъ-подъ него? Князь Владиміръ великій сказалъ: «веселіе Руси—есть пити!» и это слово стало тяжкою вѣчною заповѣдью для русскаго народа! Зачѣмъ онъ не прибавилъ: «пити, но не упиватися!»

На другой день Антонъ своимъ волчьимъ шагомъ вошелъ, клоня голову и мутные глаза внизъ. Я пристально поглядѣлъ на него. Онъ пошелъ-было къ себѣ.

— Постой, что̀ это вчера было?—спросилъ я его.

Онъ сталъ мяться на мѣстѣ.

— Именинникъ былъ!—тихо сказалъ онъ.

— Хорошо, но ты мнѣ ничего не сказалъ, не предупредилъ, что назовешь гостей, что у васъ тутъ будетъ попойка! Я ушелъ бы куда-нибудь, не видалъ бы этого безобразія!

— Я не зналъ, что они придутъ. Это они принесли вина, закусокъ, пирога... я и...

— «Употребилъ» это все...—добавилъ я.

— Они почесть все сами употребили...—тихо договорилъ онъ.

— Я не зналъ, что у тебя такое обширное знакомство! Что̀ это за люди?

— Это со мной на квартирѣ жили до мѣста, а теперь они всѣ по мѣстамъ живутъ.

— Ты часто такъ употребляешь?

— Никакъ нѣтъ-съ: въ рѣдкость. Вотъ именины случились, они и пришли. Кабы не пришли, такъ я бы не того-съ...

Я подумалъ, что именины бываютъ однажды въ годъ—и рѣшилъ оставить дѣло безъ послѣдствій, а его опять до именинъ.

— Чтобъ это было въ послѣдній разъ: —сказалъ я:—не то уволю тебя. Ты одинъ здѣсь; пожалуй, бѣда какая-нибудь случится. Ступай!

Все пошло попрежнему, но я уже не довѣрялъ этому тихому омуту—и не даромъ.

Прошла зима, стало таять, въ воздухѣ запахло весной, т.-е. навозомъ съ каналовъ и грязью съ улицъ. Тогда еще не скалывали ледъ заблаговременно и по улицамъ стояли цѣлыя моря грязи, съ горбами, провалами—ни конному, ни пѣшему не было пути. Въ апрѣлѣ наступила жара на улицахъ, а на рѣкѣ и въ каналахъ еще держался ледъ.

Такова была и Святая недѣля. Я въ четвергъ предложилъ Антону воспользоваться цѣлымъ днемъ, предупредивъ, что вернусь поздно вечеромъ. Съ пятницы у меня начинались занятія по службѣ и надо было сидѣть дома, принимать пакеты, письма, газеты, посѣтителей по дѣламъ и прочее. Онъ отнѣкивался, сказалъ, что дойдетъ развѣ до балагановъ, которые тогда были на Адмиралтейской площади, посмотритъ, да и домой.

— Какъ хочешь!—сказалъ я и далъ ему денегъ, чтобъ онъ побывалъ и въ балаганахъ.

Вечеромъ, часу въ двѣнадцатомъ, когда я возвращался, дворникъ, сидѣвшій у воротъ, сказалъ мнѣ, что въ дворнической есть казенный пакетъ на мое имя.

— Вотъ я сейчасъ принесу.

— Отчего въ дворнической, а не у меня?—спросилъ я.

— Должно-быть, вашего человѣка не было, такъ раз- [illegible] и отдалъ намъ.

Я взялъ пакетъ и сталъ подниматься на лѣстницу. Я жилъ тогда въ томъ же домѣ, гдѣ и теперь живу. У меня былъ особый ходъ на улицу, ни швейцаромъ, и никѣмъ не охраняемый и никогда не запираемый. По этой лѣстницѣ, подъ моей квартирой, жила какая-то древняя старушка-фрейлина; должно-быть, «Екатерины первой — и никого больше.

Я безпечно поднимался вверхъ, позвонилъ, но никто не пошевелился, дверь не отпиралась. Я еще позвонилъ и еще. Никого. Я тронулъ за ручку, и дверь отворилась. Я вошелъ, въ передней никого. Рядомъ въ комнатѣ Антона виденъ былъ свѣтъ. Я отворилъ къ нему дверь и ахнулъ.

На столѣ догорала, вся оплывши, свѣча, надъ нею, въ близкомъ разстояніи, висѣли на протянутой веревкѣ, полотенца, платки, какія-то тряпки.

Самъ Антонъ лежалъ въ растяжку на полу, діагонально: навзничь, опять съ открытымъ ртомъ, съ закатившимися подъ лобъ зрачками, безъ чувствъ.

— «Употребилъ»! не выдержалъ!—сказалъ я съ тоской и злостью, потрогивая его за плечи, стараясь поднять его голову. Напрасный трудъ: онъ не шевелился, не подавалъ голоса, не открывалъ глазъ.

«Это называется праздникъ, Святая недѣля! Святая! Вотъ ужъ, что̀ называется, «святыхъ вонъ выноси!» думалъ я злобно, даже, кажется, зубы сами невольно скрежетали у меня.

Но сюрпризъ этимъ не кончился. Я взялъ со стола свѣчку, вышелъ въ переднюю и вто̀рой разъ ахнулъ, вошелъ въ залу, въ кабинетъ, въ спальню—и все ахалъ и ахалъ.

«Что это, погромъ!» Всѣ мои чемоданы, картонки, корзинки, узлы, были вытащены въ залу и переднюю, всѣ набиты моими платьями, бѣльемъ, разными вещами. Изъ корзинъ съ бѣльемъ торчали подсвѣчники, лампы, посуда, на полу валялись зеркала, мелкія вещи. Въ кабинетѣ мой пись-

менный столъ былъ взломанъ, также книжный шкапъ и шкапчикъ съ папками. Все это было сдвинуто съ мѣста и стояло посреди комнаты.

По полу разсѣяны были письма, пакеты, бумаги, и между послѣдними до тридцати большихъ тетрадей «Обломова», приготовленнаго совсѣмъ для печати.

Полное разрушеніе! Волки были, какъ я предсказывалъ Антону. А онъ лежитъ, какъ мертвый: и дубье не помогло! У меня сердце сжалось тоской. Я чувствовалъ, что не живу подъ знаменемъ охраны, благоустроенности, порядка. Я предоставленъ самому себѣ, я беззащитенъ. Будь я помоложе, я, можетъ-быть, заплакалъ бы. Никого около меня— нѣтъ опоры, нѣтъ защиты!

— Вотъ не женились—и наказаны! Вотъ вамъ прелести холостой жизни! «Свобода, независимость!» — говорила мнѣ потомъ одна пріятельница, Анна Петровна, страстная охотница устраивать свадьбы. — Была бы жена, волки-то и не забрались бы... Женитесь-ка — еще время не ушло! я бы вамъ славную невѣсту сосватала!

— Если бъ женился, можетъ-быть, забрались бы другіе волки, злѣе этихъ!—меланхолически отвѣтилъ я.

— Ну-у! — протяжно и нерѣшительно протестовала она загадочнымъ тономъ, глядя не на меня, а куда-то въ пространство, съ загадочной улыбкой и съ загадочнымъ же взглядомъ.

Я замѣчалъ, что такой взглядъ бываетъ у всѣхъ женщинъ, умныхъ и неумныхъ, потертыхъ жизнью и непорочныхъ, начиная отъ многоопытныхъ матронъ, до «пола нѣжнаго стыдливыхъ херувимовъ» включительно. Онъ является въ разные моменты ихъ жизни: когда, напримѣръ, онѣ хотятъ замаскировать мысль, чувство, секретное желаніе или намѣреніе, или когда имъ говорятъ о какомъ-нибудь чужомъ грѣшкѣ, который и за ними водится, или когда надо выразить кому-нибудь участіе, а участія нѣтъ и т. д.

Тогда взглядъ становится стекловиднымъ, точно прозрачнымъ; глазная влага, выразительница психическихъ процессовъ, куда-то исчезаетъ—и взглядъ ничего не говоритъ,—становится, какъ я выше назвалъ, загадочнымъ, или, если угодно, дипломатическимъ. Назвать его фальшивымъ не хочу: это грубо противъ милыхъ дамъ.

Такимъ взглядомъ и сопровождалось восклицаніе Анны Петровны—«ну!» Я позволилъ себѣ угадывать въ этомъ ея дипломатическомъ взглядѣ затаенный отвѣтъ: «да, конечно, это бываетъ (т.-е. «волки», нарушители супружескаго спокойствія), можетъ случиться и съ вами—да что же мнѣ до этого за дѣло, когда вы ужъ женитесь!..»

Прошу извинить меня за это отступленіе—и обращаюсь къ своему «инциденту».

Я ничего не тронулъ изъ моего разбросаннаго добра, только собралъ тетради «Обломова», повѣрилъ, что онѣ всѣ цѣлы, и успокоился. Воры шарили вездѣ, очевидно искали денегъ, и не нашли. А деньги были: нѣсколько крупныхъ ассигнацій были разложены между листами разныхъ старыхъ рукописей, плотно уложенныхъ въ небольшой шкапикъ съ папками. Ворамъ долго бы пришлось добираться до нихъ.

Они, очевидно, были застигнуты врасплохъ и разбѣжались. Ихъ засталъ, какъ я послѣ узналъ, тотъ самый разсыльный, который принесъ мнѣ пакетъ. Онъ не дозвонился у дверей и, полагая, что Антона нѣтъ, отдалъ пакетъ дворникамъ, а воры, услыхавъ неоднократный звонокъ, подумали, что воротился хозяинъ квартиры, т.-е. я, бросили все собранное въ чемоданы и узлы, и скрылись заднимъ ходомъ, черезъ дворъ.

Мнѣ худо спалось. Я проснулся раньше Антона и, услыхавъ, что онъ тоже всталъ, я вышелъ въ переднюю. Онъ пришелъ въ себя, намочилъ голову, одѣлся—и ждалъ, когда

войти ко мнѣ. Увидя меня, онъ привсталъ съ постели, стараясь не смотрѣть на меня.

— Гдѣ ты былъ вчера, Антонъ?—спросилъ я.

— Въ балаганѣ-съ, какъ вы приказали,—невнятно шепталъ онъ.

— А еще гдѣ?

Онъ молчалъ.

— Кто у тебя былъ въ гостяхъ?

— У меня никого-съ,—довольно живо отвѣчалъ онъ.

— Не та ли твоя зимняя компанія, что на именины къ тебѣ приходила?..

— Никакъ нѣтъ-съ: я ее съ тѣхъ поръ и не вижу-съ!—твердо говорилъ онъ.

— Такъ волки, что ли, приходили?

— Какіе волки-съ? Никого не было.

Онъ съ недоумѣніемъ поглядывалъ на меня. Видно было, что онъ дѣйствительно не понимаетъ моего вопроса.

— Поди сюда, полюбуйся: это что̀?

Я вывелъ его въ переднюю и въ залу, указывая на узлы, чемоданы съ моимъ добромъ, разбросаннымъ по полу, на мебель...

— Господи, Боже Ты мой—Господи! Господи Владыко!—говорилъ онъ, оборачиваясь около себя, таращa глаза и разводя руками, потомъ вдругъ заплакалъ и сталъ на колѣни. — Самъ Христосъ видитъ: вѣдать не вѣдаю, сударь! Виноватъ тѣмъ, что захмелѣлъ...

— Встань и разскажи, что̀ было вчера, а я запишу и дамъ знать полиціи.

Онъ разсказалъ, что ходилъ въ балаганъ, тамъ, рядомъ съ нимъ, сидѣли какія-то три личности, не то торговцы, не то служащіе у господъ. Сначала читали вмѣстѣ афишку, потомъ разговорились, потомъ гуляли около качелей, и наконецъ пошли въ трактиръ и его позвали, пили чай и прочее... Они разспрашивали его, кто онъ, гдѣ живетъ, у кого

служитъ, каково ему на мѣстѣ, бываетъ ли баринъ дома, богатъ ли онъ?—и все вывѣдали. А сами все угощали его и сами пили. Одинъ простился и ушелъ, а вмѣсто его пришли еще двое — и опять стали пить и пить, и его угощали—пока...

— Я къ вечеру очень охмелѣлъ,—заключилъ Антонъ:— и... и... не помню, что̀ было... какъ попалъ домой...

Онъ опять съ ужасомъ сталъ осматриваться кругомъ и опять хотѣлъ стать на колѣни. Я удержалъ его и велѣлъ разобрать и уложить платье, бѣлье и всѣ вещи по мѣстамъ.

Пропавшими оказались дюжины двѣ столовыхъ ложекъ, дешевые деревянные столовые часы и отличный тулупъ на бѣличьемъ мѣху, привезенный мною изъ Сибири, крытый китайскимъ атласомъ.

Все украденное оказалось мнѣ ненужнымъ. Я дома не обѣдалъ, и ложки, стариннаго фасона, семейныя, взятыя мною изъ дома такъ, на всякій случай, лежали у меня безъ употребленія въ письменномъ столѣ. Столовые часы ходили невѣрно и мало служили мнѣ. Тулупъ изъ отборныхъ бѣлокъ, сдѣланный въ Якутскѣ, я тоже никогда не надѣвалъ, чтобъ не пріучать тѣло къ излишнему теплу. Но мнѣ все-таки было жаль его: такъ онъ былъ хорошъ.

Такимъ образомъ пропажа была нечувствительная, но я все-таки объявилъ о ней полиціи, больше для острастки, чтобы знали хоть на дворѣ, что есть живые люди въ квартирѣ.

Ничего изъ этого, какъ водится, не вышло. Пришелъ квартальный надзиратель, снялъ показаніе, Антона вызывали къ допросу. Потомъ вызвали въ часть и меня, показали какіе-то окрашенные въ черную краску столовые часы, спросили не мои ли? Я отозвался, что мои были пальмовые, желтаго цвѣта. Предъявили тоже столовую ложку, съ вопросомъ, не моя ли? А я своихъ ложекъ лѣтъ десять не

вынималъ изъ стола и забылъ, какія онѣ — и потому и ложку не призналъ своею.

Тѣмъ все и кончилось. Съ Антономъ я простился, убѣдившись окончательно, что онъ не воръ, что его напоили мошенники, привезли замертво домой и хотѣли обокрасть квартиру.

Я перекрестился, что дешево отдѣлался.

III.

Степанъ съ семьей.

Гдѣ вы, мои слуги, мои тѣлохранители, «и денегъ, и бѣлья моихъ рачители»? «Иныхъ ужъ нѣтъ, а тѣ далече». Но какъ только остановлюсь памятью на которомъ-нибудь изъ нихъ, предо мною изъ тьмы предстанутъ, какъ живыя, лица Михеевъ, Егоровъ, Максимовъ, Павловъ и т. д.

Вотъ я ихъ вижу передъ собой, съ подносомъ или чашками, щетками въ рукахъ, слышу будто ихъ говоръ.

Пропускаю мимо нѣсколько человѣкъ, служившихъ у меня неподолгу: они слишкомъ однообразны.

Ихъ можно свести въ одну группу — пьющихъ. Много портили они у меня крови и отравляли мою холостую жизнь. Подъ пару Антону возьму для образчика два-три силуэта.

Былъ Петръ, который, отслуживъ свой день, запиралъ меня на ночь на ключъ и уходилъ куда-то — пить водку и играть въ карты. Я узналъ объ этомъ случайно отъ старухи, которой давался у меня въ кухнѣ уголъ, чтобы квартира не оставалась совсѣмъ пустою, когда не было меня и слуги дома.

Я вызывалъ его на откровенность, чтобы дознаться, правда ли это. Онъ упорно отрекался, особенно отрицалъ водку.

— Ни-ни!—твердилъ онъ:—я уходилъ раза два, только не водку пить, нѣтъ!

— Зачѣмъ же? Что̀ ты дѣлалъ?

— Не водку пить ходилъ, — утверждалъ онъ упорно:—я за другимъ, за дѣломъ уходилъ.

— Зачѣмъ?

— За другимъ, только не водку пить!

Однажды я хотѣлъ повѣрить, правду ли говоритъ старуха, и заработавшись долго ночью, вышелъ въ переднюю, хотѣлъ пройти чрезъ его комнату въ кухню. Его не было и дверь оказалась запертой.

Я еще не успѣлъ лечь, какъ услышалъ, что онъ пришелъ и возился у себя въ темнотѣ. Я вышелъ къ нему со свѣчкой. Онъ раздѣвался, готовясь лечь.

— Гдѣ ты былъ?—спросилъ я.—Скоро три часа.

— А вамъ что за дѣло!—дерзко отвѣчалъ онъ.

Онъ былъ очень въ возбужденномъ состояніи.

— Какъ что за дѣло: у меня живешь и бродяжничаешь по ночамъ.

— Какъ вы смѣете называть меня бродягой!—вскинулся онъ на меня съ крикомъ, съ азартомъ, такъ что изъ кухни, услышавъ крикъ, пришла старуха.

Онъ продолжалъ кричать и грубить.

— Ну, ложись спать!—покойно сказалъ я, уходя.

— Лягу и безъ васъ, не дамъ куражиться надъ собой! Я не бродяга, я хожу въ хорошіе люди, не водку пить: нѣтъ, нѣтъ!—кричалъ онъ мнѣ вслѣдъ.

Утромъ я позвонилъ. Онъ какъ ни въ чемъ не бывало принесъ мнѣ чай, газеты. Я отдалъ ему паспортъ, зажитое жалованье и сказалъ, чтобы онъ немедленно уходилъ. Онъ оторопѣлъ немного, переступилъ съ ноги на ногу.

— Помилуйте, за что же?..—тихо сказалъ онъ.

Я ничего не отвѣчалъ. Онъ взялъ паспортъ, деньги и ушелъ.

— Позвольте только оставить пожитки мои здѣсь на

день или на два, пока пріищу мѣсто,—сказалъ онъ, оборотясь при выходѣ.

— Хорошо, скажи старухѣ, чтобы она поберегла ихъ. Ты понимаешь, что ты не можешь больше оставаться у меня?

— Это точно-съ... — тихо сказалъ онъ и ушелъ, понуря голову. — Простите за вчерашнее! — еще тише прибавилъ онъ, отворяя дверь.

Я махнулъ рукой, и онъ вышелъ.

Старуха сказывала мнѣ, что, когда онъ узналъ, что и какъ онъ говорилъ со мною ночью, то онъ схватилъ себя руками за голову.

«Неужели это правда? И я это все сказалъ!»

Онъ былъ очень тихій, приличный и расторопный слуга, представительной наружности, блондинъ лѣтъ тридцати, съ грубоватыми, но правильными чертами лица.

Когда онъ дня черезъ два явился за пожитками, я спросилъ, зачѣмъ онъ уходилъ по ночамъ.

— За какимъ-такимъ дѣломъ, котораго упорно назвать ты не хотѣлъ?

— Водку пить-съ! — откровенно, со вздохомъ сознался онъ, потупляя глаза.

Послѣ него черезъ день явился другой слуга, Максимъ, рябоватый, здоровый, крѣпко сложенный, мускулистый человѣкъ невысокаго роста.

Этотъ отличился черезъ три мѣсяца. Воротясь однажды поздно домой, я засталъ дверь незапертою. Максимъ не спалъ, но былъ тоже въ возбужденномъ состояніи. Такъ какъ онъ былъ на ногахъ, помогъ мнѣ раздѣться, взялъ платье, сапоги, я не обратилъ на это вниманія. На другое утро онъ заявилъ мнѣ, что мое пальто съ бобровымъ воротникомъ пропало.

— Какъ, куда пропало? Ты дома былъ, или уходилъ со двора? Приходилъ къ тебѣ кто-нибудь?

— Нѣтъ-съ... должно-быть я не уходилъ... Кажется, что дома былъ... И у меня никого не было... что-то не помню... Кому быть у меня!—лепеталъ онъ какъ ребенокъ.

— Отчего же дверь вчера была не заперта, когда я пришелъ?

— Не помню-съ... была ли она заперта, или нѣтъ... — оттоваривался онъ, глядя въ сторону..

— Поиши, спроси: если у тебя кто-нибудь былъ—сходи узнай... Я въ полицію дамъ знать,—погрозилъ я.—До завтра даю тебѣ сроку...

Онъ ничего не сказалъ. Утромъ первый мой вопросъ былъ о пальто.

— Никакъ нѣтъ-съ: нигдѣ не могъ отыскать. Спрашивалъ у дворниковъ, не входилъ ли кто, не выносили ли пальто?.. Они никого не видали...

— Ну, надо въ полицію объявить: тамъ, можетъ-быть, ты вспомнишь, отчего дверь не была заперта... — сказалъ я.

— Ваша воля, какъ вамъ угодно!—отвѣчалъ онъ равнодушно.

Но полиціи я не объявилъ, зная, по множеству примѣровъ, какъ это бываетъ безполезно, а Максима немедленно уволилъ.

Я рѣшилъ, что одному человѣку «не добро быти» даже и у одинокаго холостяка. Онъ будетъ скучать и уходить со двора, какъ Петръ, или къ нему заберутся, пожалуй, непрошенные посѣтители, какъ уже и случалось съ моими слугами.

Мнѣ посовѣтовали взять женатаго, такъ какъ въ кухнѣ у меня мѣста было довольно хоть на цѣлую семью.

Мнѣ рекомендовали старика, лѣтъ 65, но еще бодраго, хотя съ нѣсколько помятымъ лицомъ и мелкими морщинами. Онъ былъ отпущенный на волю, жилъ по мѣстамъ поваромъ, но состарѣлся, по словамъ его, для этой службы

всегда у огня, въ жару, и предпочелъ другую должность, попрохладнѣе.

Онъ стоялъ передо мною, смотрѣлъ на меня добродушно и зорко своими карими глазами, не сгигнувъ, какъ собака, ожидающая приказанія своего хозяина.

«Все сдѣлаю, что̀ прикажете», читалъ я въ этихъ глазахъ, и его позѣ: «а чего не прикажете — ни за что̀ не стану дѣлать!» дополнилъ я про себя сокровенный смыслъ его взгляда.

Онъ на другой же день переѣхалъ съ женой Матреной, женщиной за пятьдесятъ лѣтъ, съ крѣпкими, точно изъ гуттаперчи щеками, носомъ и подбородкомъ. Глаза у ней глядѣли не прямо, а стороной; губы она поджимала. Она поклонилась мнѣ въ поясъ и подала хранившійся у нея паспортъ мужа.

Дня черезъ два, заглянувъ въ ихъ помѣщеніе, я изумился множеству навезенной всякой всячины. Постель съ перинами и подушками горой, почти до потолка, множество разной посуды, кастрюль, печныхъ горшковъ и т. п. утвари. Но всего болѣе было иконъ, лампадъ, пасхальныхъ яицъ, сухихъ просфоръ и вѣтокъ вербы въ кіотѣ и около.

Матрена была русская, набожная женщина — и заняла кіотомъ со священными предметами не только весь передній уголъ своей комнаты, но отчасти даже мою гардеробную и комнату съ ванной. Долго я слышалъ стукотню прибиваемыхъ иконъ и картинъ религіознаго содержанія. Это меня нѣсколько успокоивало насчетъ добропорядочности этой четы. У нихъ былъ сынъ, Петруша, лѣтъ 17, обучавшійся слесарному ремеслу и ходившій къ отцу и матери только по большимъ праздникамъ.

Водворились они, и все пошло обычнымъ порядкомъ. Но прежняго безмолвія не было. Когда я проходилъ въ свою гардеробную, я постоянно слышалъ молвь: это и натурально, когда живутъ двое вмѣстѣ. Но молвь эта была задорная,

съ крикомъ, возгласами — иногда бранью — все со стороны Матрены.

Степанъ — такъ звали новаго слугу, — можетъ-быть Михайловъ, можетъ-быть Петровъ — теперь забылъ: у нашихъ крѣпостныхъ и дворовыхъ — такъ-называемыхъ «фамилій» не бывало; ихъ звали по отцу, или давали «прозванія», т.-е. прозвища.—Степанъ, говорю я, все отмалчивался, или отрывисто огрызался на задираньи жены.

— Да ну тебя, замолчишь ли ты, о, чертовка!

— Нечего молчать-то! Еще лаяться чертовкой! — ѣдко пилила она его:—а ты что сидишь, протянулъ ноги-то, ходить негдѣ!

Онъ убиралъ ноги, вставалъ и направлялся въ мои комнаты.

— Куда, куда?—ядовито останавливала она:—что дровъ не несешь: мнѣ, что ли, идти за дровами? Я стряпай, ты будешь жрать, а самъ ни съ мѣста! Погоди, не такую дуру нашелъ: я не раба тебѣ досталась!

— Господи Боже мой! Что это за дьяволъ баба! — охая говорилъ Степанъ и шелъ за дровами.

— Я тебѣ дамъ «дьяволомъ» звать! — шипѣла она, крестясь:—Господи, спаси меня! навязалъ Ты мнѣ этакій кладъ на шею!

А когда онъ, исполненный усердія, пробовалъ помочь ей:

— Дай-ко сковороду, я картофель поджарю.

Она на него обрушивалась:

— Не суйся, не спрашиваютъ!—кричала она.

— Я бы тертымъ сухаремъ посыпалъ, да сметанки подлилъ, да лучку тебѣ поджарю — вотъ какъ вкусно будетъ, пальцы оближешь!—договаривалъ онъ.

— Слышишь, я тебя кочергой огрѣю, если будешь соваться—вотъ Пресвятая Матерь, огрѣю!—грозила она.

— Ну, чортъ съ тобой, лѣшій тебя дери!

Сидя въ ваннѣ, почти рядомъ съ кухней, одѣваясь и

раздѣваясь, я постоянно слыхалъ эти перебранки и другого не слыхалъ. Она, что называется, «поѣдомъ ѣла его», а онъ принималъ все это равнодушно, отгрызаясь, или встряхнетъ головой, усмѣхнется и идетъ ко мнѣ въ переднюю, если ему становилось уже не въ мочь. Видно было по его равнодушію, что онъ привыкъ.

Между прочимъ она просила меня отдавать жалованье не Степану на руки, а ей.

— Отчего?—спросилъ я:—развѣ онъ...

— Мотаетъ, — замѣтила она, поджимая губы и косясь на мужа.

Онъ небрежно тряхнулъ головой и усмѣхнулся.

— На пустяки тратитъ,—прибавила она.

— Я не имѣю права давать никому, кромѣ его: если онъ согласится...

— Пожалуй, извольте ей отдавать: она у меня казначей!—охотно согласился онъ, и опять усмѣхнулся.

— У меня цѣлѣе будетъ! — вполголоса прибавила она, глядя въ сторону.

Я тогда не зналъ, что̀ это значитъ.

Такъ шло дѣло до зимы, до Рождественскихъ праздниковъ, безъ всякихъ особыхъ событій. Были кое-какія неудобства. Напримѣръ, черезъ мѣсяцъ по водвореніи у меня этой четы, появились тараканы. Они наполняли не только кухню, но и мою гардеробную, и ведущій въ нее коридоръ, и переднюю. Наконецъ стали появляться у меня въ комнатахъ. Я указалъ имъ на это.

— Что̀ это такое за гадость?—говорю.

— Это... тараканы-съ! — почти въ одинъ голосъ, съ невозмутимымъ спокойствіемъ, отвѣчали они оба.

Степанъ при этомъ сгребалъ ползавшихъ на виду насѣкомыхъ горстью и бросалъ, или въ форточку, или куда-нибудь въ лохань.

— Чтобъ ихъ не было!—сказалъ я:—надо вывести. До васъ я никогда ни одного не видалъ!

— Какъ это можно!—сказала Матрена, косясь на меня:—мы не съ собой ихъ привезли. Гдѣ ихъ нѣтъ! Гдѣ мы ни жили, вездѣ были—что клопы, что тараканы!

— Не было до васъ,—строго подтвердилъ я:—надо вывести: я порошку куплю.

Но порошокъ не помогалъ, и тараканы оставались все время, пока они у меня жили. А они жили около двухъ лѣтъ.

Иногда я пробовалъ искусство Степана готовить столъ, такъ какъ онъ хвастался, что былъ хорошимъ поваромъ.

Онъ не даромъ хвастался: въ самомъ дѣлѣ онъ хорошо готовилъ. Я иногда приглашалъ пріятелей отвѣдать его стряпни—и всѣ не могли нахвалиться вкусными русскими блюдами.

Я сталъ-было привыкать къ домашнему столу и подумывалъ обратить Степана къ его прежнему ремеслу, сдѣлать своимъ поваромъ, прибавить жалованья и обѣдать у себя, словомъ жить домомъ. Онъ, казалось, и самъ не прочь былъ отъ этого.

— Что же-съ — могу! — съ самоувѣренностью говорилъ онъ.—Я все умѣю: и супы—пюрэ, и какіе угодно, и соусъ къ рыбѣ и спаржѣ, пирожное тоже всякое: вафли, кремъ шоколадный или съ ванилью...

Онъ перебралъ цѣлую поваренную книгу.

— Только надо кастрюль, сковородъ и другой посуды купить,—прибавилъ онъ.

— Все купимъ.

— Погреба нѣтъ,—вдругъ спохватился онъ:—желе, заливное, тоже что останется отъ стола, въ холодъ некуда поставить...

— И погребъ найму,—говорилъ я.

— Что же-съ; я готовъ! Хозяйство у васъ не Богъ

знаетъ какое большое, семейства нѣтъ, гости рѣдко: управлюсь...

И жена его поддакивала, но нерѣшительно, и ядовито косилась на него при этихъ переговорахъ. Я не зналъ, отчего это, но потомъ узналъ.

Подходилъ праздникъ Рождества. Я изрѣдка, все еще въ видѣ опыта, обѣдалъ дома — и всегда хорошо, вкусно. Я успѣлъ прикупить столоваго бѣлья, посуды, вилокъ, ножей. Однажды я позвалъ двухъ пріятелей попробовать моего хозяйства, далъ Степану денегъ, заказалъ, что̀ купить и приготовить, и ушелъ со двора до обѣда.

Воротясь домой часовъ въ пять, я узналъ, къ ужасу моему, что печь не топилась, стола не готовили и что Степана—съ утра нѣтъ.

— Какъ ушелъ за провизіей, съ тѣхъ поръ и не бывалъ!—прибавила Матрена, не то съ тоской, не то злобно.

— Какъ же быть: сейчасъ гости придутъ!—говорилъ я.— Обѣдъ не поспѣетъ, если онъ и придетъ сейчасъ: когда готовить!

— Онъ не придетъ сегодня: развѣ къ ночи! — сказала она въ сторону.

— Что же это значитъ?—спросилъ я.—Куда онъ ушелъ?

— А вы зачѣмъ ему деньги на руки дали?—вдругъ ѣдко упрекнула она:—я просила мнѣ отдавать. Я бы сходила съ нимъ на рынокъ и провизіи бы купила: теперь кушали бы, и деньги были бы цѣли...

— Развѣ онъ всегда такъ дѣлалъ?

— Всегда-съ. Онъ, бывало, когда служилъ поваромъ, получитъ рублей двадцать жалованья, зайдетъ въ трактиръ.. и ни копейки домой не принесетъ...

— Ужели же всѣ двадцать рублей промотаетъ? Что жъ онъ, шампанское, что ли, пьетъ...

— Какое, сударь: онъ съ двухъ рюмокъ ужъ пьянъ! А

начнетъ угощать всякаго, а что останется — у него вытащатъ...

— Гдѣ же онъ? Отыскать бы его да привести! — говорилъ я растерянно.

— Гдѣ ему быть: въ кабакѣ, или харчевнѣ! Можно отыскать — да зачѣмъ? Пусть тамъ и остается! Боже оборони, лишь бы не пришелъ! Я его не пущу! Онъ пьяный, злущій, преалущій! Пусть ночуетъ хоть на улицѣ, или въ части...

— Такъ онъ пьетъ: вотъ вашъ секретъ!

Она молча косилась въ уголъ.

— Кабы не пилъ запоемъ, развѣ его отпустили бы отъ мѣстовъ! Да его бы обѣими руками держали! У какихъ генераловъ живалъ онъ; въ княжескомъ домѣ жилъ! Поживетъ-поживетъ мѣсяцъ-другой—и откажутъ. Тогда ко мнѣ опять на шею, сокровище этакое, явится! Я на старости, горемычная, мыкаюсь-мыкаюсь съ нимъ...

Она пробовала заплакать, но слезъ не было, и она утирала сухіе глаза.

— Хоть бы сгинулъ, окаянный!— заключила нѣжная супруга.

Такъ кончилась моя иллюзія насчетъ домашняго стола.

Степанъ до ночи не приходилъ, а ночью силою стучался въ дверь кухни, но впущенъ не былъ и провелъ ночь въ дворнической, слѣдующую ночь въ холодномъ сараѣ. И какъ оставался живъ этотъ тщедушный старикъ послѣ такихъ ночей, зимой, въ сараѣ, или на сѣновалѣ — понять нельзя!

Онъ не являлся ко мнѣ на глаза пока длились праздники. Прислуживала мнѣ Матрена и пришедшій на праздники сынъ ея, Петруша. Этотъ мнѣ подтвердилъ, что «тятенька его запиваетъ, какъ только получитъ деньги. И тогда озорничаетъ, дерется съ мамкой, таскаетъ и его за вихры, бьетъ и ломаетъ что попадетъ подъ руку». Словомъ, изъ кроткаго, смирнаго старика обращается въ звѣря.

— Мы съ мамкой запираемся отъ него на ночь, не пущаемъ!—добавилъ онъ.

Потомъ онъ, когда пропьетъ деньги, или у него утащатъ ихъ изъ кармана товарищи попойки, мало-по-малу перестаетъ пить, ходитъ дня три какъ шальной, мелетъ про себя несвязный вздоръ и постепенно приходитъ въ себя, принимаетъ свой кроткій образъ, съ добродушнымъ взглядомъ и улыбкой.

Такимъ онъ и появился ко мнѣ послѣ праздниковъ и принялся за свое дѣло, какъ ни въ чемъ не бывало.

На масленицѣ произошло то же самое. Между прочимъ онъ особенно разбушевался въ послѣдній день, ломился въ дверь кухни, и когда его не пустили, онъ ходилъ по двору, кричалъ, ругался, такъ что дворники кое-какъ увели его силою. Я слышалъ этотъ шумъ.

Когда онъ послѣ того явился ко мнѣ, уже отрезвившійся, я замѣтилъ ему, что я буду искать себѣ другого слугу, и пригрозилъ, что если онъ будетъ такъ кричать по двору, дѣлать скандалъ — я пошлю за городовымъ и препровожу его въ полицію. Онъ сталъ передо мной на колѣни, скрестилъ руки на груди и голосомъ глубокаго убѣжденія и съ чувствомъ произнесъ:

— Нѣтъ, вы этой низости со мной не сдѣлаете!

Я дѣйствительно не сдѣлалъ этой «низости», ради его добродушія,—и продолжалъ иногда пользоваться его поварскимъ искусствомъ, обѣдая изрѣдка дома. Денегъ на провизію я, конечно, уже ему на руки не давалъ—и все шло хорошо.

Были мнѣ иногда досады другого рода. Когда случалось два-три дня праздника, Степанъ обыкновенно исчезалъ изъ дома, покидая всѣ заботы на жену и сына Петрушу. Иногда мнѣ случалось не заставать никого дома, кромѣ Петруши, который или игралъ въ бабки въ углу двора съ мальчишками, или спалъ дома такъ, что его не добудиться и

не дозвониться. А однажды онъ сидѣлъ на крыльцѣ и плакалъ.

— Что ты плачешь?—спросилъ я.

— Да всѣ ушли, я одинъ... боюсь!

— Гдѣ же отецъ и мать?

— Тятенька въ кабакѣ, а мамка ушла къ обѣднѣ, да вотъ нейдетъ...

Къ вечеру она явилась и, какъ показалось мнѣ, тоже на-веселѣ. Я уже о мужѣ не спрашивалъ, гдѣ онъ.

— Гдѣ ты была, Матрена? Всѣ разошлись: домъ пустой! Какъ же это можно!

— Нынче Ильинская Пятница: я на Пороховыхъ заводахъ была! — обидчиво отозвалась она. — Нельзя же: всѣ люди, какъ люди — я точно не человѣкъ! На мнѣ, чай, крестъ есть!

Это случалось очень часто. То Родительская суббота придетъ, то Троицынъ, Духовъ, или Успеньевъ день, то она на Смоленское кладбище пропадетъ на цѣлый день. Великимъ постомъ особенно отсутствія эти были часты.

— Гдѣ была?—спросишь, бывало.

— На стояніи Маріи Египетской, или ко Кресту ходила: нонче середокрестная недѣля!

Отлучалась тоже и въ Лазареву субботу, за вербами, и въ Лазарево воскресенье, и ко всенощной съ двѣнадцатью Евангеліями и т. д.

Всѣ эти праздники служили ей болѣе предлогами къ угожденію «мамонѣ», какъ я замѣчалъ, а не проявленіемъ благочестія. Когда она приходила домой, отъ нея не святостью пахло. Мужъ и сынъ сидѣли, во время этихъ отлучекъ, не ѣвши — и первый тоже уходилъ въ свою очередь, и я оставался сиротой, безъ прислуги, и квартира пустая.

Послѣдніе три дня передъ большими праздниками меня почти выгоняли вонъ. Начиналась возня, чистка, уборка,

печенье куличей, крашенье яицъ—и особенно чистка иконъ. Когда, бывало, зимой или осенью, замѣтишь паутину по угламъ, или соръ какой-нибудь и пыль на шкапахъ, вообще запущенность и неопрятность, и предложишь поубраться, всегда получишь въ отвѣтъ:

— Вотъ ужо, къ празднику (иногда мѣсяца за три) станемъ образа чистить, уберемъ все, и паутину снимемъ, и пыль сотремъ.

Я замѣтилъ, что никто изъ моихъ слугъ, ни одинъ, никогда, по своему почину, безъ положительнаго и настойчиваго моего приказанія, не оботретъ пыли, напримѣръ, съ мебели, съ разныхъ вещей. Полъ еще выметутъ, а затѣмъ уже надо, что называется, носомъ ткнуть, чтобъ русскій слуга увидѣлъ безпорядокъ, пыль, и убралъ.

Наконецъ, я сталъ замѣчать, что у Степана съ Матреной начались, вмѣсто перебранокъ, лады. Я заставалъ ихъ всѣхъ троихъ за чаемъ—и тутъ же видѣлъ иногда стаканы и штофъ. Они всѣ трое бывали въ веселомъ настроеніи. Я сталъ чуять что-то недоброе въ этомъ семейномъ согласіи и побаивался. Боязнь моя оправдалась.

Однажды, въ глубокій зимній вечеръ, заглянувъ къ нимъ, я засталъ веселую семейную сцену, какъ будто съ картины Теньера. Степанъ сидѣлъ совсѣмъ пьяный, жестикулировалъ и командовалъ Петрушѣ.

— Пляши, Петька, пляши, собачій сынъ!

— Развѣ мать-то у него собака! Вотъ ты—такъ старый песъ! — говорила Матрена. — Постой, я тебя! Не пляши, Петя... не слушай!

— Пляши, подлецъ! — командовалъ Степанъ: — я приказываю!

— Не пляши!—запрещала она:—на, вотъ, лучше выпей!..

Она дрожащею рукой наливала ему стаканъ.

— И я выпью, и мнѣ дай!—говорилъ совсѣмъ осовѣвшій Степанъ.

Она проворно отставила вино въ сторону.

— Будетъ съ тебя, не дамъ: смотри, какъ нагрузился, на недѣлю!..

— Наливай, раба! Ты раба моя! Что сказано въ Писаніи: «прилѣпись къ мужу, повинуйся». Наливай же, а то я вотъ тебя...

Онъ всталъ и съ поднятой табуреткой, шатаясь, двигался къ ней, мимоходомъ сшибъ свѣчку со стола на полъ. Мальчишка заревѣлъ:—«Ай, тятька, не трогай мамку!»

Я все это видѣлъ, стоя въ дверяхъ, и поспѣшилъ прекратить безобразную сцену.

Я увидалъ, что всѣ трое были пьяны.

Я скоро послѣ того уволилъ ихъ — и потомъ уже, года черезъ два, слышалъ отъ своихъ пріятелей, знавшихъ Степана въ лицо, что они видали его въ Казанскомъ соборѣ, просящимъ милостыню. Еще черезъ годъ или два зашла ко мнѣ однажды Матрена попросить «на бѣдность», а затѣмъ вскорѣ и на похороны старика. Она разсказала, что онъ все пилъ, пилъ, наконецъ, «ослабъ», не могъ выходить, руки и ноги стали трястись, потомъ окоченѣли, и онъ умеръ тихо, мирно, принявъ Св. Таинъ, и передъ самой смертью произнесъ: «Проклятъ тотъ, кто выдумалъ водку пить!»

IV.

Матвѣй.

Я всегда смотрѣлъ косо на пьяницъ — во всякомъ быту. А мнѣ, какъ нарочно, выпало терпѣть ихъ около себя. Я никогда не былъ покоенъ: пьянство — вѣдь это перемежающееся умопомѣшательство, иногда опасное, разрѣшающееся какой-нибудь неожиданной катастрофой, какъ уже отчасти и было съ Антономъ, а нерѣдко и большой бѣдой.

Мои безпокойства длились слишкомъ два года: мнѣ во что бы то ни стало хотѣлось сбыть это домашнее иго. Для

этого прежде всего нужно было рѣшить вопросъ—гдѣ искать трезваго слугу?

Задумчивый, печальный, направился я къ Аннѣ Петровнѣ, своей пріятельницѣ, охотницѣ устраивать свадьбы.

— Что это васъ давно не видать?—встрѣтила она меня.—Да что вы такой невеселый?

Я молча опустился на диванъ, подлѣ нея, около ея рабочаго столика.

— Отчего быть веселымъ? — вяло замѣтилъ я, въ раздумьѣ о томъ, какъ мнѣ устроить свой уголъ такъ, чтобъ не мучиться—въ ожиданіи то воровъ, то пожара отъ пьяной прислуги.

Меня занималъ одинъ вопросъ: есть ли непьющіе слуги на свѣтѣ?

— Вы чѣмъ-то поглощены, — сказала она, пристально глядя мнѣ въ глаза:—у васъ есть какая-то забота...

— Это правда: я ищу феномена...

— Ахъ, какъ вы хорошо сдѣлали, что зашли! — вдругъ встрепенулась она, отложила свое вязанье въ сторону и подвинулась поближе ко мнѣ.—Представьте, у меня именно есть настоящій феноменъ! Красота, грація, воспитаніе, и какая душа, какое сердце!..

— И не пьетъ?—разсѣянно спросилъ я, и самъ разсмѣялся.—Не можетъ быть!

— Да вы о комъ? Какой вамъ нуженъ феноменъ? — спросила она, равнодушно отодвигаясь отъ меня на свое мѣсто.

— Мнѣ нуженъ... трезвый, совсѣмъ не пьющій слуга. Я сомнѣваюсь, чтобы нашелся такой—и въ этомъ моя забота и печаль.

— Женитесь,—помолчавъ, запѣла она свое:—и тогда..

— Прислуга не будетъ пить, вы думаете?

— Вы не будете замѣчать этого: напьется лакей и уйдетъ,

тамъ будетъ поваръ и кухарка, не то такъ горничная: домъ никогда не останется пустымъ.

— Значитъ мнѣ надо жениться, кромѣ жены еще на горничной, на кухаркѣ, на лакеѣ... «Отрочья опека»... Не шутя, Анна Петровна, не знаете ли вы такого человѣка? Домъ у васъ большой, семейный, людей много у васъ между прислугой есть знакомства. И если найдутъ такой феноменъ, я назначилъ бы премію.

— Хорошо, я скажу, и если что найдется, дамъ вамъ знать, а вы мнѣ черезъ три зайдите. Да вотъ въ среду пріѣдете обѣдать. У меня будутъ Катринъ, Иванъ Кузьмичъ— мы составимъ листъ, а я между тѣмъ разстрошу.

Я ушелъ.

Не успѣлъ я сѣсть въ свой какъ-то утромъ пришелъ отъ меня буфетчикъ степенный, сановитый, почтенной наружности слуга.

— Отъ Анны Петровны—сказалъ онъ—кланяться приказали. Вы изволили спрашивать насчетъ слуги, чтобъ не пить?

— Да, а развѣ есть такой?—спросилъ я.

— Есть-съ... только...

— Мало пьетъ?

— Вовсе-съ не пьетъ, въ ротъ не беретъ только...

— Только что? Сплетничаетъ, грубитъ или лѣнится... не воруетъ ли?

— Нѣтъ-съ, нѣтъ!—съ улыбкой говорилъ буфетчикъ.— Только вежливый, посмотрите въ вотъ и не возьмете... Слишкомъ уже очень!

Я задумался.

— Слишкомъ!... Что же это такое?

— Такъ уже очень вѣжливъ...

— Въ чемъ, собственно, это?—допытывался я.

— И собой... не плохъ... лицомъ... и вотъ на колѣняхъ стоитъ.

— Да умѣетъ ли онъ служить, быть въ комнатахъ, убирать, подавать чай, чистить платье, сапоги... словомъ, знаетъ ли должность слуги?

— Умѣетъ-съ: какъ не умѣть. Онъ у господина своего долго служилъ. Онъ крѣпостной; кажется, и до сихъ поръ еще не освободился. А только смѣшной! И жаденъ тоже.

— До пищи, что ли?

Буфетчикъ засмѣялся.

— Никакъ нѣтъ-съ, онъ не ѣстъ совсѣмъ.

— Какъ не ѣстъ? подлинно феноменъ!

— На деньгу жаденъ: копитъ!

— Это не бѣда: «скупость, говорятъ, не глупость». Если онъ свои деньги бережетъ и не беретъ чужихъ...

Буфетчикъ опять засмѣялся.

— Никакъ нѣтъ-съ: свои скорѣй отдастъ, чѣмъ чужія возьметъ. Онъ честный-пречестный, — серьезно прибавилъ онъ:—только смѣшной. Выходили ему мѣста — посмотрятъ-посмотрятъ господа на него и не берутъ. Мы послали за нимъ; если угодно, пришлемъ, только врядъ ли и вы возьмете, сударь. Смѣшной ужъ очень!

— Пожалуйста, пришлите! Я возьму, какой бы ни былъ, лишь бы трезвый: я безъ слуги въ настоящую минуту. Мнѣ пока прислуживаетъ женщина отъ сосѣдей.

Буфетчикъ пошелъ-было.

— Да-съ, вотъ забылъ сказать,—прибавилъ онъ:—Матвѣй... этотъ самый человѣкъ—не русскій, а изъ поляковъ, и господинъ его въ Польшѣ живетъ. Только Матвѣй по-польски не разговариваетъ, молиться ходитъ въ свою церковь, на Невскомъ...

— Ну, это все равно. Пришлите, пожалуйста, поскорѣе. Благодарите Анну Петровну, и я васъ благодарю. Не пьетъ, не воруетъ—это кладъ!

На другой день утромъ явился и Матвѣй. Я готовился

засмѣяться, судя по описанію буфетчика, но когда посмотрѣлъ на него, смѣхъ замеръ у меня на губахъ.

Это былъ довольно длинный, лѣтъ сорока пяти человѣкъ, худощавый, даже чахлый, будто только-что вставшій со смертнаго одра: кости да кожа. Небольшая голова, глаза впалые, бѣлесоватые, какъ у чухонца, безъ выраженія; большія, настежь отворенныя губы, которыхъ онъ, кажется, отъ слабости не могъ сжать, лицо съ повисшими складками — точно пожелтѣвшей отъ ветхости лайки; волосы жиденькіе, подъ цвѣтъ старой рогожи. Одѣтъ въ сѣрый, длинный, поношенный сюртукъ съ полинялымъ бархатнымъ воротникомъ. На шеѣ былъ старый вязаный шарфъ.

У меня сердце сжалось, глядя на него. Онъ, казалось, едва держался на ногахъ. Онъ прямо смотрѣлъ на меня — и будто съ трудомъ мигалъ и тяжело дышалъ. Ноги у него, начиная съ колѣнъ, были какъ будто не свои, не натуральныя, а деревянныя, приставленныя вмѣсто оторванныхъ. Руки длинныя не по корпусу, какъ у орангъ-утанга.

«Смѣшной! Онъ не смѣшной, онъ жалкій!» думалъ я, осматривая его.

— Ты боленъ?—спросилъ я.

Онъ точно проснулся.

— Никакъ нѣтъ-съ!—торопливо сказалъ онъ.—Я, слава Богу, здоровъ.

— Отчего же ты такой худой и блѣдный? Развѣ ты всегда былъ такой?

Онъ широко улыбнулся, губы распахнулись и обнаружили блѣдныя десны. Въ нижней челюсти недоставало зуба.

— Сызмалу, можетъ-быть, былъ другой, — говорилъ онъ тихо, съ передышкой, пещернымъ голосомъ, какъ умирающій.—А съ тѣхъ поръ, какъ сталъ помнить себя — я все такой, какъ теперь...

— Ты не пьешь, сказываютъ?—продолжалъ я.

— Нѣтъ-съ, не пивалъ и не пью ничего, кромѣ чаю да воды!

— Это хорошо, а вотъ, говорятъ, что ты и не ѣшь: это ужъ не хорошо. Оттого ты и такой худой...

— Нѣтъ-съ, это не отъ того,—съ жалкой усмѣшкой замѣтилъ онъ:—это отъ другого...

— Отчего же?

— Битъ больно бывалъ.

Онъ какъ-то жалко, болѣзненно взглянулъ на меня.

— Кѣмъ битъ?

— Извѣстно, бариномъ.

— А кто твой баринъ?

Онъ назвалъ польскую фамилію, которую я теперь забылъ.

— Онъ служилъ въ военной службѣ, въ гусарахъ,—продолжалъ Матвѣй:—денщиковъ не бралъ, получалъ за нихъ деньгами, а я былъ у него вмѣсто денщика. Вотъ онъ и бивалъ меня, крѣпко бивалъ!

Онъ съ трудомъ, всей грудью, дохнулъ, точно въ изнеможеніи.

— За что же?

— Такъ: вздумается и побьетъ. Извѣстно, баринъ за все можетъ бить, отвѣта нѣтъ ему. Чуть что не потрафишь, и начнетъ: и кулаками, по головѣ, и колѣнками тоже, а иной разъ саблей ударитъ, или сапогомъ...

Я съ ужасомъ слушалъ этотъ разсказъ и повѣрялъ, глядя на него, жестокую правду этихъ истязаній.

— Иной разъ не въ мочь было ѣздить съ нимъ на перекладной телѣгѣ по тряской дорогѣ, онъ спихнетъ съ телѣги и велитъ придти до мѣста пѣшкомъ... Я съ годами и ослабъ. Вотъ онъ и взялъ казеннаго денщика, а меня отпустилъ на оброкъ. Пятьдесятъ рублей оброку положилъ...

Все это онъ разсказывалъ съ передышкой, умирающимъ голосомъ, медленно открывая и закрывая глаза.

«Боже мой, какой жалкій! А тѣ находятъ его смѣшнымъ!» думалъ я, съ глубокимъ состраданіемъ слушая его.

— Все хочу откупиться на волю, да дорого проситъ,— продолжалъ онъ:—семьсотъ рублей! Я давалъ четыреста— не беретъ.

— А у тебя есть столько денегъ?—спросилъ я.

— Теперь ужъ нѣтъ: осталось меньше трехсотъ,—почти шопотомъ прибавилъ онъ. — Безъ мѣста долго былъ, платилъ за уголъ, и въ долгахъ тоже рублей шестьдесятъ пропадаетъ: не отдаютъ.

Онъ вздохнулъ.

— Да я прикоплю и выкуплюсь!—довольно живо заключилъ онъ. У него даже глаза засвѣтились. Видно было, что выкупиться на волю было его завѣтной мечтой.

«Такъ вотъ отчего онъ жаденъ на деньги!—думалъ я:— свободу хочетъ купить! Бѣдный, жалкій, жалкій!»

— Ты не торопись: можетъ-быть и даромъ отпустятъ. Теперь идутъ толки объ этомъ...—сказалъ я.

Тогда дѣйствительно въ высшихъ сферахъ былъ затронутъ этотъ вопросъ. Но наступившія политическія событія въ Европѣ отодвинули его на второй планъ. Но онъ не заглохъ — и толки принимали уже довольно опредѣленный характеръ. Пока тихо, подъ-спудомъ, но что-то готовилось...

— Богъ съ нимъ, съ бариномъ: я внесу, вотъ только понакоплю денегъ! — заключилъ Матвѣй. — Можетъ-быть, баринъ и правовъ-то не имѣетъ: никакихъ, говорятъ, бумагъ у него на насъ нѣтъ, а держитъ!

Онъ тяжело вздохнулъ.

Жалкій! Жалкій!

— Гдѣ же накопить такую большую сумму? — спросилъ я.—Изъ жалованья трудно, не ѣсть совсѣмъ—нельзя...

— Я наживу, баринъ, наживу: годокъ, другой—третій, семьсотъ рублей, и больше наживу...

— Чѣмъ же?—спросилъ я въ недоумѣніи.—У тебя ремесла никакого нѣтъ...

— Процентами, — тихо, почти съ лукавой улыбкой, сказалъ онъ.—Въ долгъ деньги берутъ, подъ залогъ—и хорошіе проценты платятъ. Кому 50, кому 70 рублей нужно: даютъ по два, иногда по три процента въ мѣсяцъ.

«Ты... мелкій ростовщикъ!..» хотѣлъ я сказать, но удержался. Онъ былъ такъ жалокъ. Я даже мысленно оправдывалъ его: онъ искалъ свободы!

— Какъ же ты можешь служить!—сомнѣвался я.—Хоть у меня и не Богъ знаетъ какая служба, однако, все же надо и дровъ въ печку положить, и затопить, и убрать комнаты, чистить платье. Случается иногда послать куда-нибудь... А ты такой слабый, тщедушный... гдѣ же тебѣ?..

Къ удивленію моему, Матвѣй вдругъ ожилъ, точно я его своими словами вспрыснулъ, какъ живой водой. Глаза и лицо просіяли, губы раздвинулись въ широкую улыбку, обнаруживъ десны. Онъ зорко осмотрѣлъ всю комнату, мебель, шкапы съ книгами, зашевелилъ руками, ногами.

— Все это могу-съ, все сдѣлаю: и печки буду топить, комнаты убирать, платье чистить, самоваръ ставить и чай готовить, и въ лавочку ходить, за булками, и куда еще пошлете—и все прочее... все исправлю...

Онъ говорилъ не прежнимъ потухшимъ голосомъ, а твердо, скороговоркой. При этомъ губы и носъ его, съ каждымъ словомъ, описывали круги. Онъ даже молодцовато тряхнулъ головой.

— Ну, я очень радъ. Вотъ тебѣ денегъ, ступай, вези свои вещи,—сказалъ я.

Онъ отступилъ.

— Нѣтъ-съ, баринъ, покорнѣйше благодарю... у меня есть... Какъ можно спервоначалу, еще не заслужилъ, а вамъ убытокъ! Нѣтъ-съ, нѣтъ!—сказалъ онъ и, къ удивленію моему, денегъ не взялъ.

Это какъ-то противорѣчило съ его жадностью къ наживѣ.

— Я часа черезъ два на извозчикѣ все привезу...—заключилъ онъ.

Я ему показалъ его помѣщеніе и всѣ мои комнаты.

— Вотъ твои, а это мои владѣнія. Держи въ порядкѣ, чистотѣ. Ты часто ходишь со двора?

— Только въ церковь, въ воскресенье, не каждое, а то никуда-съ.

— А знакомые есть?

— Есть кумъ у меня женатый: онъ рѣдко, въ мѣсяцъ разъ зайдетъ, больше никогда, никого-съ...

— Вотъ и бѣлье мое, и шкапъ съ платьемъ. Тамъ, въ той комнатѣ, посуда, серебро...

— Пожалуйте «ерестрикъ»: я все повѣрю и приму,—сказалъ онъ.

— У меня никакого реестра нѣтъ: я тебѣ вѣрю.

— Такъ я самъ все запишу; безъ ерестра нельзя: Боже оборони—пропадетъ что-нибудь!—сказалъ онъ и ушелъ, двигая ногами въ стороны, какъ деревянными.

Устроившись самъ, онъ дня два-три все разбиралъ мое добро. Записалъ платье, бѣлье, серебро, каждую чашку, ни одной тарелки не забылъ, и скрѣпилъ своей подписью: «такого-то числа принялъ Матвѣй».

Онъ принесъ мнѣ этотъ «ерестръ». Я хотѣлъ-было бросить его въ корзинку, подъ столъ. Но онъ сдѣлалъ такую умоляющую мину и такъ жалостно просилъ меня провѣрить, такъ ли и все ли онъ записалъ, и спрятать въ столъ, что я на послѣднее согласился, а провѣрять отказался наотрѣзъ.

— Если что износится, или разобьется, вы извольте отмѣтить на «ерестрикѣ»,—приставалъ онъ ко мнѣ:—а если я что разобью или потеряю, такъ изъ жалованья у меня вычтите...

— Если ты меня будешь безпокоить этими пустяками,

такъ я твой «ерестрикъ» въ клочки разорву—слышишь?—внушительно сказалъ я ему. — Я даю тебѣ полную свободу бить посуду, ломать или терять вещи — и никогда съ тебя за то ни гроша не взыщу. Прошу только объ одномъ: не пей!

— На этотъ счетъ будьте покойны, баринъ! — сказалъ онъ, показавъ улыбкой обѣ десны.

«На этотъ счетъ; а на какой счетъ мнѣ не слѣдуетъ быть покойнымъ?» подумалъ я.

Наблюдая за нимъ еще нѣсколько дней, я видѣлъ, что онъ все какъ-то двоился: когда молчалъ, не двигался, слушалъ что̀ ему говоришь — онъ сохранялъ свой видъ изнеможеннаго, забитаго человѣка. Не сжималъ губъ, отвѣчалъ будто съ трудомъ и еле дышалъ. То вдругъ просыпался точно отъ сна и обнаруживалъ признаки жизни. Каждый вечеръ я, однако, ложился съ нѣкоторымъ сомнѣніемъ: доживетъ ли онъ до утра?

Я сказалъ ему, между прочимъ, чтобы онъ убиралъ мои комнаты по утрамъ, когда все тихо кругомъ, пока я еще въ спальнѣ.

Утромъ слѣдующаго же за тѣмъ дня, вставши, я только хотѣлъ позвонить, какъ услыхалъ ужасную суматоху, возню, стукотню въ комнатахъ. Падали вещи, что-то звенѣло, валилось.

Я заглянулъ туда. Вижу, мой Матвѣй, безъ сюртука, въ одномъ жилетѣ, раскидывая нескладныя ноги врозь и простирая длинныя руки въ стороны, бѣгаетъ, скачетъ по моему кабинету, точно ловитъ курицу по двору. Въ комнатѣ все было не на своемъ мѣстѣ: мебель сдвинута, все раскидано, книги въ кучѣ на полу, мелкія вещи на окнахъ и т. д.

— Что ты дѣлаешь?—спросилъ я.

— Убираю-съ! — сказалъ онъ, оборачиваясь ко мнѣ и обнаруживая десны.—Вотъ лѣстницу у дворниковъ досталъ.

печку вымылъ, со шкаповъ соръ смелъ, теперь лампы перетру, остались только книги!..—хвастался онъ.

Я отвернулся, чтобъ не захохотать: такъ онъ былъ смѣшонъ! Ни изнеможенія, ни вялости, ни мертваго вида,—просто смѣшонъ, невыразимо смѣшонъ!..

— Что же тутъ стукнуло, зазвенѣло?—спросилъ я.

— А вотъ, какъ я шкапы обтиралъ, такъ книжки свалились сверху, да вотъ еще стекло отъ лампы упало, разбилось... Я, баринъ, другое куплю, на свой счетъ...

Онъ схватилъ одной рукой щетку, другой тряпку и началъ опять бѣгать, скакать, ловить курицу, сшибъ со стола пепельницу, щеткой стукнулъ по зеркалу.

— Оставь! Довольно убирать!—сказалъ я, опять отворачиваясь, чтобъ не захохотать. Но онъ какъ будто не слыхалъ и долго еще возился, ставилъ все на свое, или лучше сказать, не на свое мѣсто. Тяжелые фоліанты грудой навалилъ на хрупкую этажерку, назначенную для фарфора и разныхъ легкихъ вещей: она гнулась подъ тяжестью книгъ. А легкія вещи, между прочимъ, статуэтки, прессъ-папье, занесъ на шкапъ.

— Такъ лучше, баринъ: тамъ цѣлѣе будутъ!—хвастливо прибавилъ онъ и очень удивился, когда я велѣлъ сію же минуту сдѣлать все наоборотъ: снять книги съ легкой этажерки и поставить опять на шкапы, а легкія вещи разложить на столѣ.

— Видишь, что̀ ты надѣлалъ: почти совсѣмъ раздавилъ этажерку,—вонъ она шатается!

Онъ посмотрѣлъ на погнувшуюся этажерку, въ недоумѣніи, разиня ротъ, вздохнулъ и поставилъ нехотя все, какъ я велѣлъ.

Въ воскресенье, часа въ четыре дня, онъ попросился у меня въ свою церковь.

— Какая же у васъ служба теперь, въ эти часы?—спросилъ я.

— Сегодня у насъ «супликація» будетъ.

— А кромѣ супликаціи, еще что̀ бываетъ?

— А въ слѣдующее воскресенье будетъ «наука», потомъ, черезъ недѣлю, еще «проповѣдь».

Кромѣ этихъ выходовъ въ церковь, онъ не отлучался ни шагу. О винѣ и помину не было. Къ сожалѣнію, онъ воздерживался, повидимому, и отъ пищи: по крайней мѣрѣ я не замѣчалъ у него ничего съѣстного, кромѣ остатка селедки, огурца, рѣдьки, такъ что я почти принуждалъ его «употреблять» остатки моего завтрака, совѣтовалъ протапливать печь, варить себѣ какой-нибудь супъ, предлагалъ ему денегъ купить мяса. Мнѣ хотѣлось, чтобъ онъ вошелъ, что называется, въ тѣло.

— Нѣтъ-съ, баринъ, нѣтъ, зачѣмъ стану я вамъ убытокъ дѣлать! Богъ дастъ проживу!—говорилъ онъ медленно, съ передышкой, и денегъ на провизію не бралъ.

— Вотъ дождемся праздника, тогда запеку окорочекъ,— весело прибавлялъ онъ:—сдѣлаю пасху на сметанѣ, накрашу яицъ: придетъ кумъ и разговѣемся!

У него даже глаза блестѣли и явилась смачная улыбка. Онъ почти облизывался. Чуть румянецъ не заигралъ на щекахъ. Потомъ онъ внезапно опять принялъ свой мертвый видъ.

Жалкое и смѣшное мѣшалось въ немъ такъ слитно, что и мнѣ приходилось поминутно двоиться въ моемъ взглядѣ на него. Только-что расхохочешься невольно, глядя на его ужимки, прыжки, на эту наивную улыбку съ обнаженными деснами, какъ вдругъ сердце сожмется отъ боли, когда онъ прерветъ свою рѣчь тяжелымъ вздохомъ и закроетъ потухшіе глаза. На этомъ, обвисшемъ въ складкахъ, блѣдно-желтомъ лицѣ, опять прочтешь неизгладимую исторію перенесенныхъ имъ истязаній.

— Ты много страдалъ, Матвѣй?—сказалъ я ему однажды, когда онъ принесъ мнѣ подносъ съ чаемъ, и съ участіемъ

глядя на него. — Какія жестокія боли ты вынесъ, ты просто мученикъ! Тебя надо въ календарь, въ святые включить: вонъ какъ худъ! Преждевременно сколько морщинъ!

— Нѣтъ-съ, баринъ, это что̀ за боли: это ничего!—молодцовато отговаривался онъ.—Такія ли бываютъ! Это легко... а тѣ вотъ страшныя!

— Какія же еще есть такія страшныя боли? — спросилъ я.

— Ихъ три, три мученическія муки,—сказалъ онъ съ убѣжденіемъ.—Нашъ ксёндзъ, отецъ Іеронимъ, сказывалъ: «Нѣтъ, говоритъ, тяжелѣ этихъ самыхъ мукъ: когда, говоритъ, зубы болятъ, когда женщина родитъ и когда человѣкъ помираетъ».

— А онъ почему же знаетъ, твой ксёндзъ? Про зубную боль, пожалуй, еще такъ, если у него болѣли зубы. А про ро̀ды, или про смерть, какъ онъ можетъ знать: вѣдь онъ не родилъ самъ и не умиралъ тоже?

— Ксёндзы все знаютъ!—съ благоговѣніемъ произнесъ Матвѣй, закрывая глаза:—Все-съ. Знаютъ, зачѣмъ каждый человѣкъ родится на свѣтъ, а когда помираетъ, знаютъ что̀ съ его душой въ шестой и девятый день послѣ смерти дѣлается и по какимъ «мутарствамъ» ходитъ она. Да-съ!—со вздохомъ заключилъ онъ.

Кто-то въ эту минуту позвонилъ. Матвѣй мой вдругъ вспрянулъ,—куда дѣвалось изнеможеніе!—почти бросилъ подносъ съ чаемъ, однимъ прыжкомъ очутился въ передней и отперъ дверь.

— Дома-съ, пожалуйте!—бодро и живо говорилъ онъ и такъ усердно стаскивалъ съ гостя пальто, точно грабилъ его. Тотъ, входя, покосился на него съ улыбкой.

— У васъ новый слуга?—спросилъ онъ.

— Да. И не пьющій, подивитесь!

— Въ самомъ дѣлѣ? Поздравляю: это рѣдкость. Только, какой онъ... смѣшной! — заключилъ онъ, глядя, какъ Мат-

вѣй ухватилъ съ обезьяньимъ проворствомъ подносъ со стола и, раскидывая ноги врозь, понесъ въ буфетъ, задѣвъ плечами за дверь.

Я вскорѣ къ свойствамъ «жалкій», найденнымъ въ Матвѣѣ мною, и «смѣшной», какимъ находили его другіе, долженъ былъ прибавлять новые эпитеты, по мѣрѣ того какъ наблюдалъ его. Онъ становился для меня весьма сложнымъ и любопытнымъ этюдомъ характера. Я затруднялся найти въ немъ преобладающую черту, чтобы подвести его подъ какую-нибудь категорію общечеловѣческихъ видовъ. Пока я замѣтилъ выдающимся — страхъ передъ «убытками». Это слово являлось чаще всего у него въ рѣчи.

Между прочимъ онъ былъ неумолимо аккуратенъ и безпощадно честенъ. Первымъ онъ причинялъ мнѣ не мало досадъ. Потомъ былъ еще упрямъ, какъ волъ, и этимъ иногда выводилъ изъ себя. Я понималъ, какъ это должно было бѣсить его барина, молодого, горячаго гусара.

— Поди, отнеси эту книгу и отдай швейцару,—скажешь ему:—тутъ недалеко, въ такомъ-то домѣ.

— Я, баринъ, лучше ужо снесу, вотъ когда посуду перемою и когда вы уйдете...

— Теперь, сейчасъ снеси!—надо приказать строго. Иначе не пойдетъ.

— Отнеси эти письма и посылку на почту,—приказалъ я ему разъ:—сдай, потомъ зайди къ портному и заплати ему по этому счету: вотъ деньги, да не забудь взять расписку.

Воротясь вечеромъ, я нашелъ посылку и письма въ передней на столѣ. Я удивился.

— Что же ты не отдалъ?—строго спросилъ я.

— Опоздалъ, баринъ,—жалкимъ голосомъ оправдывался онъ:—портной какимъ-то господамъ примѣривалъ платья: и, почесть, часъ ждалъ. На почтѣ пріема ужъ не было...

— Вѣдь я тебя прежде на почту послалъ!

— Я думалъ—по дорогѣ зайду прежде лучше къ портному...

И такъ на каждомъ шагу: какая-то страсть къ противорѣчіямъ!

Однажды, имѣя спѣшную работу — это было уже мѣсяца четыре спустя, какъ онъ поступилъ ко мнѣ,—я нàстрого велѣлъ ему никого не принимать въ теченіе нѣсколькихъ дней. Я слышалъ не разъ звонокъ: приходили, онъ отказывалъ, подавалъ потомъ мнѣ карточки—всé какъ слѣдуетъ.

Но вдругъ слышу однажды онъ кого-то усердно проситъ. «Пожалуйте, дома-съ!»—говоритъ.

Я съ изумленіемъ жду. Входитъ одинъ скучный, болтливый господинъ, котораго я и въ свободное время избѣгалъ. Когда онъ ушелъ, я спросилъ Матвѣя, почему онъ, несмотря на мое приказаніе, принялъ гостя?

— У него двѣ звѣзды на обѣихъ грудяхъ: какъ же этакаго барина не принять: онъ «винералъ!»—оправдывался Матвѣй. Генераловъ онъ называлъ «винералами» и питалъ къ нимъ какое-то суевѣрное почтеніе, или боялся, какъ большихъ собакъ, Богъ его знаетъ!

Послѣ того пропустилъ нѣсколько человѣкъ въ теченіе двухъ-трехъ дней. Я работалъ въ тишинѣ неутомимо, никто не мѣшалъ. Вдругъ опять слышу однажды громкій звонокъ, въ самый разгаръ моей работы, и опять приглашеніе Матвѣя: «Дома-съ, пожалуйте!»

Раздался шумный шелестъ женскаго платья, точно вѣтеръ пробѣжалъ по лѣсу, влетѣла барыня, frou—frou, и разсѣлась, закрывъ юбками весь диванъ.

— Что̀ вы тутъ дѣлаете,—такая погода, а вы сидите за работой! Бросьте, бросьте!—зачастила она.—Я пріѣхала похитить васъ; дачу ѣду смотрѣть: поѣдемте, поѣдемте безъ отговорокъ!

У меня утро пропало. Я, какъ только воротился, сейчасъ обратился съ вопросомъ къ Матвѣю, зачѣмъ онъ принялъ гостью?

— Барыня! — говорилъ онъ въ свое оправданіе:—я думалъ, какъ бы вы не разгнѣвались, если не приму...

— Наканунѣ, однако, ты не принялъ одной барыни: зачѣмъ же эту пустилъ? Кто тебѣ позволилъ?—строго приставалъ я.

— Та, баринъ, пѣшкомъ приходила, одѣта не важно: я думалъ, на бѣдность просить пришла... боялся, вамъ убытокъ будетъ—и не принялъ...

— Вѣдь тебя твой баринъ, пожалуй, побилъ-бы за это непослушаніе, какъ ты думаешь?—спросилъ я.

Онъ горестно вздохнулъ.

— Голову бы проломилъ,—съ жалкой улыбкой отозвался онъ.

— Зачѣмъ же не слушаешься: принялъ барыню!

— Да у ней, баринъ, на козлахъ кучеръ въ ливреѣ сидитъ и по-русски не говоритъ: англичанинъ, что-ли, какой... Я и подумалъ, какъ не принять!

Я сталъ привыкать и къ этой новой чертѣ. Но вотъ къ чему нельзя было привыкнуть — это къ его аккуратности. Дашь ему рублей десять, двадцать, на расходы: чай, сахаръ, булки, сливки и прочее. Когда деньги израсходуются, онъ является ко мнѣ съ запачканнымъ листкомъ на сѣрой бумагѣ, гдѣ все записано до послѣдней мелочи, и требуетъ, чтобъ я повѣрилъ. Тутъ же принесетъ и остатокъ, какой-нибудь двугривенный, или мѣдныя. При этомъ никогда не преминетъ помянуть, что стало дороже, что дешевле.

— Сахаръ двумя копейками на фунтъ дешевле, баринъ!— съ сіяющими глазами скажетъ, или, наоборотъ, съ уныніемъ объявитъ, какъ о сердечной утратѣ:—на черный хлѣбъ, баринъ, копейку набавили!

Онъ переносилъ все: и побои своего барина, терпѣлъ постоянную голодуху, падалъ силами отъ работы, но не

падалъ духомъ. Только страхъ «убытковъ» превозмогалъ въ немъ все.

Я дѣлалъ видъ, будто просматриваю счетъ, потомъ дамъ опять денегъ, а счетъ брошу тихонько подъ столъ. Но онъ замѣтитъ, достанетъ его и тихонько же подложитъ ко мнѣ въ бумаги, пока я не разорву.

Иногда вдругъ онъ суетъ мнѣ подъ носъ 10 или 20 копеекъ. «Это лишекъ—скажетъ:—въ прошломъ счетѣ ошибкой два раза записано у меня за однѣ булки, такъ вотъ извольте...»

Взглядывая иногда мелькомъ въ эти счеты—я не могъ воздержаться отъ улыбки отъ его орѳографіи, а онъ принималъ эту улыбку за одобреніе и тоже улыбался отъ удовольствія. Орѳографія эта была своеобразная. Онъ признавалъ буквы *ѣ* и *ы*, но никогда не употреблялъ ихъ гдѣ надо: напримѣръ, писалъ «свѣкла», «смѣтана», «свечы», а слова «хлѣбъ», «хрѣнъ» писалъ «хлеб», «хрен» и т. п. Букву *ъ* онъ считалъ, кажется, совершенно лишнею, или «игнорировалъ», какъ говорятъ у насъ печатно нѣкоторые... знатоки французскаго языка.

Иногда Матвѣй лѣзъ ко мнѣ съ этими счетами среди занятій. Я молча смахивалъ со стола и счетъ, и мелочь, и взглядывалъ на него, должно быть, звѣроподобно, потому что онъ тотчасъ со вздохомъ удалялся къ себѣ.

Онъ жилъ у меня уже года два—и я все болѣе и болѣе успокоивался. Онъ былъ вѣрнымъ моимъ, хотя и смѣшнымъ хранителемъ и опорою моего холостого гнѣзда. Мои гости тоже привыкли къ нему и только улыбались, глядя на него, и особенно на его длинный, сѣрый сюртукъ. Я ему отдавалъ всѣ свои платья, но никогда не видалъ, чтобъ онъ носилъ какое-нибудь изъ нихъ. Куда онъ ихъ дѣвалъ, я не зналъ и теперь не знаю. Я настоялъ, послѣ упорной борьбы, на одномъ, чтобъ онъ при гостяхъ иначе не входилъ въ комнаты, какъ въ черномъ, почти новомъ

сюртукѣ, который я подарилъ ему, вмѣстѣ съ панталонами, галстуками—и даже далъ перчатки, чтобъ подавать чай. Насилу я добился этого. Но когда онъ одѣлся во все это, я долженъ былъ сознаться, что онъ сталъ еще смѣшнѣе.

Были въ немъ еще нѣкоторыя, несвойственныя ему, такъ сказать, эпизодическія черты, какъ-то мало идущія къ его измученному, больному организму. Это были какія-то шаловливыя, почти ребяческія выходки, но онѣ мгновенно, гальванически, пробуждали тлѣвшую въ больномъ тѣлѣ искру жизни и тоже превращали этотъ ходячій трупъ—въ живое, прыгающее, скачущее, какъ обезьяна, существо.

Бывало онъ, когда я одѣваюсь, держитъ передо мной сапоги, или полотенце, или готовится подать сюртукъ, или несетъ подносъ съ завтракомъ—словомъ въ полномъ отправленіи своей обязанности, и вдругъ услышитъ ударъ барабана съ улицы, проходящую мимо музыку,—онъ мгновенно бросаетъ все, что у него въ рукахъ, и исчезаетъ. Я только слышу стукъ будто катящихся съ лѣстницы каменьевъ—это его убѣгающихъ ногъ. Я остаюсь съ однимъ сапогомъ въ рукѣ, или съ намыленной щекой и жду.

Окликнуть его, воротить — былъ бы напрасный трудъ: онъ, какъ испуганная, закусившая удила лошадь, ничего не видитъ и не слышитъ. Минутъ черезъ десять онъ возвращается, почти всегда сіяющій, удовлетворенный. — «Винерала» (т.-е. генерала) или князя такого-то везутъ хоронить, донесетъ онъ и разскажетъ, какой полкъ шелъ провожать, или «антирерія», кто ѣхалъ верхомъ, кто шелъ пѣшкомъ, сколько каретъ было и т. д.

Я пробовалъ сердиться, увѣщавать—ничего не помогало. Заиграетъ завтра музыка, онъ опять исчезаетъ. Однажды онъ такъ же исчезъ, хотя и музыки не было. Но у него былъ такой чуткій слухъ, что онъ мигомъ схватывалъ ухомъ всякое необычное движеніе или звукъ, шумъ на

[illegible] или на [illegible]. Это [illegible] [illegible] потому что [illegible] [illegible] [illegible] на лицо.

— Что тамъ [illegible] [illegible] — [illegible] — [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

— Арестантъ бѣжитъ! — [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

— Какъ бѣжитъ? Какъ арестантъ? Что [illegible] [illegible]?

— Пришли [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

воркой, добавлялъ онъ, показывая десны. — Какъ только дворники схватили, я, почесть, первый прибѣжалъ и помогалъ держать. Славно «наклали» ему: въ кровь все лицо!

— И ты билъ?—спросилъ я, самъ боясь отвѣта.

— Самую малость, баринъ: я больше за шею его держалъ, за галстукъ, вотъ такъ, чтобъ не убѣгъ!

— И тебѣ не стыдно, не грѣхъ?—наступалъ я на него.

— А онъ зачѣмъ чужое беретъ, баринъ? Какой «убытокъ» тому, кого обокралъ! Такъ ему и надо!—энергически подтверждалъ онъ.

Случилась такая ловля однажды на дачѣ, на Выборгской сторонѣ. Я занималъ съ однимъ пріятелемъ верхъ на дачѣ протоіерея, а хозяинъ съ семействомъ жилъ внизу. Домъ стоялъ среди густого сада. У насъ вверху было четыре комнаты и въ сторонѣ особое помѣщеніе для Матвѣя.

Мы съ пріятелемъ сидѣли однажды у длиннаго стола, передъ открытымъ окномъ, въ темную ночь, въ концѣ августа. Въ домѣ и въ саду была безмятежная тишина. Хозяинъ отбывалъ въ городѣ свою очередную недѣлю. Семейство было съ нимъ, и домъ былъ пустъ.

Я читалъ, сожитель мой сидѣлъ за казенными бумагами. Ночь тихая, ни зги не видать. Только я вижу, пріятель мой пристально всматривается во что-то изъ окна въ темноту. Наконецъ спрашиваетъ кого-то:

— Что ты тутъ дѣлаешь? Что тебѣ нужно? Зачѣмъ ты влѣзъ на дерево?

— Съ кѣмъ вы разговариваете?—спросилъ я.

— Да вотъ кто-то на деревѣ сидитъ.

Я выглянулъ въ окно и ничего не могъ разглядѣть.

Но этотъ разговоръ моего пріятеля съ кѣмъ-то въ темнотѣ и мои вопросы уже разбудили вниманіе Матвѣя. Онъ почуялъ что-то необычное.

— Воръ, воръ! — проговорилъ онъ, вихремъ мчась мимо насъ, почти неодѣтый, въ рубашкѣ, съ накинутымъ сверху

своимъ сѣрымъ сюртукомъ, затопалъ по лѣстницѣ и скрылся въ саду.

Я шутилъ надъ моимъ сожителемъ, обратившимся къ вору съ вопросомъ: «зачѣмъ онъ влѣзъ ночью на дерево и что тамъ дѣлаетъ?»

Черезъ добрые полчаса вернулся Матвѣй, радостный, торжествующій, и донесъ, что вправду воры были. Онъ разбудилъ сторожа, двухъ садовниковъ—и всѣ погнались за ворами, но двое убѣжали, а третій зацѣпился полой за плетень и былъ ими захваченъ.

— Что же вы?—спросилъ я.

— «Наклали» порядкомъ! — хвастался онъ: — будетъ помнить! Какъ выпустили, такъ и бѣжать не могъ... Идетъ по переулку, да проситъ: «отпустите, Христа ради!» А мы идемъ, да кто его въ шею, кто по скулѣ...

Онъ показывалъ какъ били.

— И ты тоже?—спросилъ я съ омерзѣніемъ.

— Нѣтъ, баринъ, я только за шиворотъ его крѣпко держалъ и велъ, а вотъ сторожъ, тотъ больно билъ...

— И тебѣ не грѣхъ это?

— Они, баринъ, собирались у насъ внизу всю дачу обокрасть: тутъ и тачка у нихъ была припасена... изъ сосѣдняго сада взяли, и мѣшки принесли... Если бъ обокрали дачу, на сторожа подумали бы... Ему досталось бы. Попъ-то строгій, скупой... Какой ему убытокъ!

Пріятель мой засмѣялся.

— Какой смѣшной этотъ Матвѣй!—сказалъ онъ.

А мнѣ онъ казался нераздѣльно — и смѣшной, и жалкій, а въ этой ловлѣ воровъ отчасти и гадкій.

Шли годы. Я жилъ точно семейный: безопасно, уютно, не заботясь о цѣлости своего гнѣзда и добра, и благословлялъ случай, пославшій мнѣ такого друга — слугу. Да, друга, потому что въ немъ обнаруживались признаки, хотя рабской, т.-е. лакейской, оставшейся отъ крѣпостного

права, по живой преданности ко мнѣ и къ моимъ интересамъ, матеріальнымъ разумѣется. Другіе интересы были не по его разумѣнію, и онъ въ нихъ не могъ входить. Ему, напримѣръ, непонятно было, какъ это я, сидя за «книжкой», или за какой-нибудь «бумагой», могу пренебрегать его «ерестромъ», или счетомъ изъ лавокъ, гдѣ забрано разнаго товара рублей на двадцать, и не отрывая глазъ отъ книги, рву счетъ и бросаю подъ столъ, а сдачу, иногда 20—30 копеекъ, смахиваю ладонью со стола, какъ соръ! Убытокъ!

Еще онъ частенько надоѣдалъ мнѣ, кромѣ своего упрямства и подачи счетовъ, тѣмъ, что старался втягивать меня въ интересы своей наживы или копленья денегъ. Нѣтъ, нѣтъ, да вдругъ явится съ золотыми часами и цѣпочкой спрашивать, можно ли дать «подъ нихъ» 25 или 30 рублей. Стоятъ ли они того? Не то принесетъ брошку съ каменьями.

— Баринъ, стоитъ ли брошка 75 рублей? Клара проситъ подъ нее 30 рублей на три мѣсяца?

Клара — это какая-то жилица того же дома, гдѣ жилъ и я — жившая, по словамъ Матвѣя, богато. Я ее никогда не видалъ.

Я забылъ сказать, что у него была цѣлая кладовая разнообразныхъ предметовъ, напримѣръ, шубъ, женскихъ платьевъ, офицерскихъ пальто, лисьихъ салоповъ, бархатныхъ мантилій, развѣшанныхъ по стѣнамъ его комнаты и по коридору, тщательно прикрытыхъ простынями, частью лежащихъ на полкахъ, иногда на полу. То англійское сѣдло высовывается изъ-подъ кровати, то пара пистолетъ виситъ на гвоздяхъ. Золотыя и серебряныя вещи онъ хранилъ — кажется — въ моихъ шкапахъ съ платьемъ и посудой.

Онъ принялъ за какое-то роковое правило тащить ко мнѣ и показывать всякую закладываемую ему вещь.

— Можно ли, баринъ, дать за эту шаль 25 р.: говорятъ, она стòитъ 100 рублей?—спрашивалъ онъ.

Или: «Вотъ просятъ 70 рублей подъ эту шубу: соболья ли она, не крашеная ли? Можно ли дать до зимы? Зимой хотѣли выкупить!» и т. д. Такъ, что я приблизительно зналъ, чтò у него хранится подъ залогомъ.

На его стереотипные вопросы о стоимости вещей, получался мой стереотипный отвѣтъ: «Пошелъ вонъ, не мѣшай!» Или: «Я твои вещи въ форточку выкину, если станешь приставать!»

Но, несмотря на мой, въ нѣкоторомъ родѣ, собачій отвѣтъ, черезъ день, черезъ два, его вопросы повторялись, и мои отвѣты тоже.

— Ты, вѣдь, незаконное дѣло дѣлаешь,—говорилъ я ему не разъ: — на право давать въ ссуду деньги подъ закладъ надо имѣть особое свидѣтельство! Кромѣ того, тѣ, которые берутъ у тебя деньги, могутъ подумать, что и я съ тобой участвую въ этомъ дѣлѣ, или покрываю тебя. Вѣдь это гадость!

Онъ какъ будто немного терялся.

— Этого никто не знаетъ: я по знакомству даю, жаловаться никто не пойдетъ, — торопливо, шопотомъ оправдывался онъ. — И господа это дѣлаютъ, тихонько, черезъ человѣка. Въ Гороховой одинъ баронъ этимъ занимается: онъ «винералъ», а потихоньку, черезъ своего камердинера, даетъ взаймы подъ залогъ. Говорятъ, въ годъ тысячъ шесть наживаетъ! — съ восторженнымъ ужасомъ добавилъ онъ. — У него страсть сколько денегъ!

— Вотъ видишь, про него уже говорятъ, а я не хочу, чтобъ, по твоей милости, даже подумали на меня! Ты, Матвѣй, лучше прекрати эту наживу, а то я, пожалуй, побоюсь держать тебя: это гадость!

— Это не грѣхъ, баринъ: и нашъ ксёндзъ — я исповѣдался ему — сказалъ: «ничего, говоритъ, если не жмешь

очень! Только на церковь не жалѣй!» Я, что же, самую малость беру: 2% въ мѣсяцъ и впередъ вычитаю только половину.

— Вотъ ты какой!

— Да-съ, это немного: другіе сто на сто берутъ. Одинъ купецъ—онъ торгуетъ въ лавкѣ, и деньги тоже даетъ...

Я махнулъ ему рукой, чтобъ шелъ вонъ.

— У меня ужъ опять четыреста накопилось! — торжествующимъ шопотомъ прибавилъ онъ, уходя.

Вниманіе его ко мнѣ, заботливость о моемъ спокойствіи и добрѣ, его неподкупная честность—онъ, несмотря на жадность, не продалъ бы меня ни за какіе милліоны — потомъ его трезвость и аккуратность—все это, если не привязывало, то располагало меня къ нему и заставляло дорожить имъ. Потеряй я его, онъ былъ бы незамѣнимъ.

Однако, я чуть-было не лишился этого примѣрнаго слуги. И это по милости праздниковъ. Праздники, конечно, святое дѣло, но вмѣстѣ съ тѣмъ и великое зло для Руси. Святые дни омрачаются такою тѣнью, позорятся такою грязью, какой не смоютъ никакія молитвы и посты. Это всѣ знаютъ— и всѣ покорно несутъ добровольное иго.

Однажды наступала Пасха. Я замѣтилъ еще на Страстной недѣлѣ какую-то особую суетливость и оживленіе у Матвѣя. Онъ куда-то уходилъ, что-то приносилъ, опять уходилъ: я постоянно слышалъ его скаканье по лѣстницѣ. Постъ онъ держалъ, не только католическій, но строже православнаго: буквально ничего не ѣлъ. Пилъ только послѣ меня чай съ булкой.

— Что ты суетишься?—спросилъ я его.

— Окорочекъ купилъ, далъ запечь, и пасху тоже заказалъ на томъ дворѣ повару «винерала» такого-то. Можетъ, баринъ, откушаете моей пасхи и окорочка!

Я далъ ему денегъ, чтобъ онъ купилъ и мнѣ яицъ, за-

казалъ куличей, пожалуй, пасху, чтобъ избавить его отъ «убытка».

— Куличъ, если приказываете, закажу, а пасхи моей покушайте!—почти умолялъ онъ. — Ветчина, колбаса и пирожокъ будетъ: и кумъ обѣщалъ придти. Вамъ не нужно заказывать: вы дома не кушаете!

— Да ты теперь, до Пасхи-то ѣшь: постъ для католиковъ не обязателенъ. Ты можешь ѣсть яйца, молоко... Смотри, на что ты похожъ!

— Не долго, два дня всего осталось!—отвѣчалъ онъ, обнажая десны.

Дѣйствительно, пасха его была хорошая, т.-е. менѣе запирающая горло, чѣмъ другія, и ветчина не совсѣмъ жесткая. Онъ былъ внѣ себя отъ радости, что я попробовалъ того и другого.

Въ праздники меня съ утра до вечера не бывало дома, и я не зналъ, что̀ онъ дѣлалъ. На четвертый день вотъ что̀ случилось.

Я, проснувшись, позвонилъ. Шнурокъ отъ звонка висѣлъ подлѣ моей постели. Матвѣй не являлся, по обыкновенію, на мой зовъ. Я думалъ, что онъ вышелъ куда-нибудь, и подождалъ немного, потомъ опять позвонилъ сильнѣе. Никого. Только до меня донесся какой-то стонъ, издали, казалось, со двора. Я не обратилъ на это вниманія и позвонилъ еще сильнѣе. Стонъ послышался явственнѣе, какъ будто у меня въ квартирѣ. Въ то же время что-то шелестило въ коридорѣ, кто-то будто медленно двигался. Я быстро вскочилъ съ постели, накинулъ шлафрокъ и ждалъ. Шелестъ приближался. Дверь медленно отворилась, и на фонѣ темноты явилась фигура...

Кто это: ужели Матвѣй?.. Нѣтъ, это... Лазарь, грядущій изъ гроба въ пеленахъ...

— Что̀ ты, что̀ съ тобой? — едва я могъ проговорить, охваченный ужасомъ.

— У...и...а...ю!..—стоналъ онъ, шатаясь, трясясь и держась за обѣ стѣны руками.

Губы у него не сжимались, отъ слабости онъ не могъ выговорить согласныхъ буквъ.

«Умираю» хотѣлъ онъ сказать и не могъ, и съ этимъ словомъ пошелъ-было къ себѣ, и тоже дойти не могъ. Я его довелъ, и онъ безъ чувствъ рухнулъ на постель. Я наскоро одѣлся и побѣжалъ вверхъ, къ доктору, который жилъ этажомъ выше, и иногда пользовалъ меня. Мы съ нимъ сбѣжали внизъ, подняли шторы, занавѣсы. Онъ осмотрѣлъ больного и нашелъ, что у него начало горячки, только не могъ еще рѣшить, какой горячки и отъ чего: простудился ли онъ, или отъ невоздержанія.

Обличители, то-есть «окорочекъ», пасха, колбасы, были отчасти тутъ, налицо. Я вкратцѣ объяснилъ доктору объ аскетическомъ воздержаніи Матвѣя и потомъ о розговѣньѣ.

— Я зайду ужо, послѣ обѣда, — сказалъ докторъ: — я нынче дежурный въ больницѣ. Если онъ разнеможется— ему здѣсь неудобно, тѣсно и воздуху мало, надо его къ намъ, въ палату...

— Ради Бога!—сказалъ я:—сдѣлайте все, докторъ, какъ для меня самого—ничего не жалѣйте!

— Будьте покойны, а покуда вотъ дайте ему принять это питье.—Онъ наскоро начертилъ рецептъ.—Въ пять часовъ я зайду, а теперь велю въ больницѣ оставить свободную кровать.

Между тѣмъ мы кое-какъ привели Матвѣя въ чувство. Увидя меня, онъ заплакалъ.

— Какое вамъ безпокойство, баринъ, я надѣлалъ! Господи!—стоналъ онъ, хватаясь за голову, за животъ.—Умираю, умру! Дворника бы ко мнѣ, Егора!—молилъ онъ.

Я сошелъ внизъ, отыскалъ Егора и привелъ, а самъ по-

шелъ въ аптеку, за лѣкарствомъ, купилъ мяты, гофманскихъ капель и того, что̀ велѣлъ докторъ.

Дворникъ поставилъ самоваръ и по просьбѣ Матвѣя куда-то ушелъ. Оказалось, что Матвѣй, среди своей агоніи, позаботился опять-таки обо мнѣ.

Дворникъ привелъ какого-то, очень приличнаго молодого лакея, пріятеля Матвѣя, который соглашался на время заступить его мѣсто.

Послѣ обѣда докторъ осмотрѣлъ больного и рѣшилъ, что его надо перенести въ больницу. Боли въ животѣ не унимались, такъ же какъ и рвота и поносъ.

— Умру, умру!—стоналъ Матвѣй.

И когда заступившій его мѣсто человѣкъ пошелъ за извозчикомъ: перевезти его въ больницу, онъ подозвалъ меня къ себѣ, вытащилъ изъ-подъ тюфяка у себя пакетъ и, едва шевеля губами, говорилъ мнѣ чуть слышно:

— Здѣсь, баринъ, 413 р. — пересчитайте, спрячьте эти деньги, и когда я умру...

Онъ залился слезами.

— Перестань!—почти строго сказалъ я:—отъ чего умирать? Вздоръ какой! Объѣлся и умирать!

— Нѣтъ, баринъ, умру, охъ, охъ—у меня всѣ жилы тянетъ!..—Онъ хватался за животъ, за грудь.

— Что же съ деньгами дѣлать?—спросилъ я, пересчитавъ наскоро.

— Какъ умру... половину ксёндзамъ, баринъ, отдайте, на поминовеніе души... а другую... куму: онъ знаетъ...

Онъ схватилъ меня за руку, старался цѣловать, плакалъ, какъ ребенокъ. Къ вечеру его увезли и положили въ Маріинскую больницу, на Литейной. Я жилъ тогда рядомъ.

На другой день я пошелъ навѣстить его. Онъ плохо провелъ ночь, метался, бредилъ. Докторъ еще не могъ опредѣлить, какой оборотъ приметъ болѣзнь, выдержитъ ли го-

рячку его истощенный организмъ? Надъ кроватью его на дощечкѣ написано было: dyssenteria.

Я старался ободрить его, но онъ плакалъ, твердилъ, что умираетъ, просилъ прислать новаго человѣка, чтобъ разсказать ему, гдѣ что̀ лежитъ, ка̀къ надо мнѣ служить, что̀ и когда подавать.

Я чуть самъ не заплакалъ отъ этой заботливости обо мнѣ въ его положеніи.

«Нѣтъ, онъ не смѣшной!» думалъ я, удерживая слезы.

Черезъ три недѣли онъ, блѣдный, шатающійся, пришелъ домой и, несмотря на мои увѣщанія, вступилъ въ должность, чтобъ избавить меня отъ «убытка» платить лишнее его замѣстителю. За эту «жадность» онъ поплатился вторичною болѣзнью: опять припадки, больница, лѣкарства. Онъ оправился совсѣмъ, когда уже наступило лѣто, съ ясной и теплой погодой.

Онъ жилъ у меня долго послѣ того, лѣтъ шесть, если не больше. Онъ снарядилъ меня и въ дальнее кругосвѣтное плаваніе.

Тонкость его вниманія ко мнѣ простиралась до мелочей. Корабль нашъ не сразу вышелъ въ море. Насъ, собиравшихся въ путь, созывали въ Кронштадтъ, и потомъ откладывали выходъ въ море на два, на три дня — и мы уѣзжали въ Петербургъ. Мой небольшой багажъ былъ уже на кораблѣ, и я поручилъ Матвѣю сдать мою городскую квартиру. Мебель моя и разныя вещи были отданы— теперь не помню кому. Оставался въ пустой квартирѣ одинъ Матвѣй.

Какую суету и усердіе выказывалъ онъ, когда я внезапно являлся, за отсрочкой отплытія, въ мои опустѣвшія комнаты! Онъ не допустилъ никоимъ образомъ, чтобъ я ночевалъ въ гостиницѣ. Онъ, Богъ его знаетъ, гдѣ и какъ, досталъ мнѣ постель, тюфякъ, подушки, одѣяло, даже принесъ откуда-то, какъ теперь помню, какую-то женскую гор-

ностаевую кацавейку, вмѣсто шлафрока, устраивалъ мнѣ ложе, поилъ утромъ и на ночь чаемъ, и съ тоскливой, жалкой миной, опять прощался со мною, такъ что я готовъ былъ заплакать. Но тутъ же онъ прибавилъ сквозь слезы:

— Я помолюсь за васъ, баринъ, и отца Іеронима попрошу помолиться, чтобъ воротились... здорово, благополучно... «винераломъ!»

Я проплавалъ два года, да возвращаясь Сибирью, ѣхалъ около полугода, и рѣками, и сухимъ путемъ, съ августа до февраля. Съ дороги, помнится изъ Казани, я писалъ друзьямъ въ Петербургъ, чтобы отыскали мнѣ квартиру, нашли какого-нибудь слугу и дали бы мнѣ знать въ Москву.

Это было въ 1855 году. Тогда уже открыта была николаевская желѣзная дорога. Я получилъ извѣстіе, что подходящая мнѣ квартира найдена на Невскомъ проспектѣ, съ обозначеніемъ № дома.

Не безъ волненія подъѣзжалъ я съ багажомъ, въ наемномъ экипажѣ, къ означенному дому, думая о томъ, сколько мнѣ предстоитъ хлопотъ устраиваться на новой квартирѣ, заводиться тѣмъ, другимъ — вмѣсто отдыха послѣ такого длиннаго пути!

Робко я позвонилъ у двери новой своей квартиры, сопровождаемый дворникомъ. Дверь отворилась и на порогѣ явился—Матвѣй!!

Я ахнулъ отъ изумленія, отъ радости.

— Баринъ! Баринъ!—оралъ во все горло, обнажая десны, Матвѣй, какъ будто кричалъ: «пожаръ! караулъ!» и бросился цѣловать мнѣ руки, плечи, смѣялся, скакалъ, рвалъ у дворника и у меня мѣшки, пледъ, вещи изъ рукъ.

— Все готово-съ, пожалуйте, баринъ! Богъ услышалъ мои молитвы—отецъ Іеронимъ... обѣдню ему закажу... И постель уже пятый день готова... дровъ купилъ... уголь, свѣчи... все есть... чай, сахаръ два фунта...

Проговоривъ все это скороговоркой, разинувъ ротъ, задыхаясь, онъ опять скакалъ около меня, буквально рвалъ съ меня платье.

— Успокойся, другъ мой!—просилъ я, но напрасно.

— Вещи гдѣ, чемоданъ, платье, бѣлье?..

— Тамъ, въ каретѣ все... дворники принесутъ, погоди!—унималъ я.

— Пойдемъ, пойдемъ, Василій!—тащилъ онъ дворника.

Насилу я могъ сунуть ему деньги заплатить за карету.

Все принесли. Черезъ часъ я уже сидѣлъ за чаемъ, въ своемъ креслѣ, съ сигарой — какъ будто никуда не выѣзжалъ.

А Матвѣй разбиралъ мое платье, бѣлье, разложилъ груды по стульямъ, столамъ, диванамъ.

Просто умилительно!

«Добрый, славный, честный, но и какой смѣшной Матвѣй!» думалъ я, глядя, какъ онъ суетится.

Не даромъ лакеи смѣялись надъ нимъ! Какъ же не смѣшной: не лжетъ, бережетъ и свои, и чужія деньги и все, что̀ ему довѣряютъ, мало ѣстъ, не пьетъ вина, не обманываетъ, преслѣдуетъ воровъ, и не съ злобой, а съ сожалѣніемъ вспоминаетъ о побояхъ барина, да еще ищетъ свободы! Какъ же не смѣшной! Такимъ, глядя на него, и считаютъ его всѣ: но не замѣчаютъ въ немъ эти всѣ то̀ несмѣшное, чего у нихъ самихъ нѣтъ, что̀ свѣтится въ этомъ чахломъ, измученномъ тѣлѣ и неожиданными искрами прорывается наружу. Донъ-Кихотъ тоже былъ смѣшной!

Матвѣй разложилъ платье, бѣлье, вещи, конечно не на свои мѣста, руководствуясь не моими, а своими соображеніями. Но я просилъ его отложить все до утра. Утромъ, лишь только я всталъ, онъ явился... съ «ерестромъ» привезеннаго мною платья, бѣлья и вещей и со счетомъ купленнаго имъ къ моему пріѣзду сахару, чаю, дровъ и про-

[illegible]

— [illegible]

[illegible]

— [illegible]

[illegible]

— [illegible]

Онъ помолчалъ минуту.

— Кумъ пропилъ! — съ глубокимъ вздохомъ, зажмуривъ глаза, прошепталъ онъ.

— Пропилъ! Зачѣмъ же ты давалъ? Ты бы въ банкъ положилъ...

— Въ банкѣ нельзя держать: деньги часто нужно давать взаймы—куда въ банкъ бѣгать! Я и отдалъ куму на сбереженіе: они съ женой живутъ одни на квартирѣ, комната у нихъ не бываетъ пустая: то онъ, то жена всегда дома. У нихъ я и мои закладныя вещи держалъ. Только я да они двое и знали объ деньгахъ... Самъ я уголъ нанималъ; въ углу, извѣстно, баринъ, всякій народъ толчется... утащатъ. Я и отдалъ куму спрятать!..—прибавилъ онъ шопотомъ, съ тяжкимъ вздохомъ.—Онъ держалъ ихъ въ трубѣ въ горшечкѣ, чтобъ не замѣтили, да не украли—и все таскалъ, сначала понемногу, а потомъ взялъ все и мѣсяца три пропадалъ... все пилъ!

Опять глубокій вздохъ и изнеможенный видъ.

«Жалкій, жалкій!»—ворочалось у меня въ душѣ...

— Такъ и не отдалъ?—спросилъ я.

— Гдѣ отдать! Обнищалъ весь: я ему, какъ пришелъ, свои старые сапоги далъ, да отъ васъ панталоны оставались, нечего надѣть ему, отдалъ, деньгами тоже рубль далъ...—добавилъ онъ, закрывъ глаза.

— Какіе же это теперь у тебя четыреста рублей—гдѣ ты взялъ?

Онъ вдругъ ожилъ, глаза засвѣтились...

— Опять накопилъ, баринъ! — торжествуя, скороговоркою, обнажая десны, сказалъ онъ. — Дѣла шибко, хорошо пошли. Въ домѣ, гдѣ я жилъ, молодые господа были: вотъ они часто бирали, проценты, какіе хочешь, давали. Иногда брали безъ залога и все отдавали аккуратно! Года въ полтора я все, почесть, воротилъ. Теперь опять много заложенныхъ вещей здѣсь у меня лежатъ...

Прошелъ съ годъ, Матвѣй мой сталъ поговаривать, что онъ хочетъ снять квартиру, пускать жильцовъ... Я съ болѣзненнымъ изумленіемъ взглянулъ на него.

— Ты хочешь покинуть меня!—почти горестно воскликнулъ я.

— Теперь нѣтъ-съ, нѣтъ!—заторопился онъ говорить: — а вотъ къ осени, баринъ, отпустите меня (это было въ апрѣлѣ)!..—Онъ такъ жалостно просилъ.—Къ осени приказчикъ мнѣ вышлетъ отпускную, когда я деньги пришлю въ контору, не всѣ, половину, а другую послѣ... У меня еще пятьсотъ останется,—таинственно прибавилъ онъ.

Я вздохнулъ.

— Что жъ дѣлать—простимся!—сказалъ я.

— Я вамъ другого поставлю, баринъ, такого же...

— Нѣтъ, Матвѣй, такого мнѣ не найти!

Тутъ онъ повѣдалъ мнѣ неожиданную вѣсть, что у него есть женщина на примѣтѣ и что она не прочь за него замужъ...

Я не дослушалъ и всталъ въ изумленіи съ креселъ.

— Ты... жениться хочешь?.. Неправда!..

Я не договорилъ и закатился хохотомъ.

И онъ показалъ десны.

— Правда, баринъ, правда... — заторопился онъ и будто застыдился.

— Ты—семейный человѣкъ, съ женой, съ дѣтьми...

Я опять захохоталъ.

— Богъ съ ними, съ дѣтьми! Какія, баринъ, дѣти: стану ли я такимъ пустымъ дѣломъ заниматься! Это баловство, тьфу!

Онъ пошелъ, плюнулъ въ уголъ и воротился.

— Она почти старушонка!—прибавилъ онъ.

— Тебѣ-то что за охота связать себя!

— У ней деньги есть,—шопотомъ говорилъ онъ: — говорятъ, за тысячу будетъ и больше, двѣ, можетъ-быть. Она знаетъ, что и у меня тоже есть... Мы будемъ вмѣстѣ дѣла дѣлать: снимемъ большую квартиру, кухмистерскую откроемъ,

жильцовъ пустимъ. Залу станемъ отдавать подъ свадьбы. подъ балы... Какъ наживемся—страсть! Вотъ, баринъ, безъ хозяйки этихъ дѣловъ нельзя дѣлать.

Осенью мы съ нимъ простились — оба съ сожалѣніемъ. Онъ дѣйствительно женился, открылъ заведеніе, столовую, приходилъ звать меня «откушать» его стряпни. Но я не былъ, а слышалъ отъ знакомыхъ, что кухня у него недурная и дѣла идутъ, хотя онъ еще не выкупился у барина. Залу снимали дѣйствительно подъ свадебные балы и ужины.

Въ Новый Годъ и Пасху онъ года три сряду являлся ко мнѣ, во фракѣ, въ бѣломъ галстукѣ, съ часами. Боже мой, какъ онъ былъ смѣшонъ! Когда я, по старой памяти, вынималъ изъ бумажника ассигнацію и хотѣлъ подарить «на красное яичко»—онъ, какъ раненый волкъ, отскочилъ и съ упрекомъ обращается ко мнѣ.

— Я не затѣмъ, баринъ, не затѣмъ. Боже оборони! Я молюсь за васъ... и никогда васъ не забуду!

«За что!» думалъ я, глядя на него, и со смѣхомъ, и со слезами.

Въ послѣдній разъ онъ пришелъ ко мнѣ, услыхавъ, что меня произвели въ чинъ. Какъ онъ вскочилъ ко мнѣ, какъ прыгалъ, какими сіяющими глазами смотрѣлъ на меня!

— Я вамъ говорилъ, баринъ, говорилъ: я зналъ, что будете «винераломъ»—я молился!—торопливо и радостно поздравлялъ онъ меня, цѣлуя въ плечо.

— Графомъ дай Богъ вамъ быть! — почти съ визгомъ произнесъ онъ, уходя.—Я помолюсь!

Очень сожалѣю, что я не дослужился до этого титула, хотя бы затѣмъ, чтобъ опять увидать Матвѣя (онъ бы прибѣжалъ, если живъ еще) и посмотрѣть, что̀ онъ сдѣлаетъ, какъ будетъ прыгать и что̀ скажетъ.

P. S. Я послѣ слышалъ, что Матвѣй откупился, внесъ деньги и получилъ отпускную, незадолго до Манифеста 19 февраля.

ПРЕВРАТНОСТЬ СУДЬБЫ.

Очеркъ.

(Посмертное произведеніе.)

I.

Въ двадцатыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія, по Варшавской дорогѣ, на перекладной телѣгѣ, подъѣхали къ заставѣ въ Петербургъ два путешественника. У шлагбаума, гдѣ была застава, одинъ объявилъ себя польскимъ помѣщикомъ Загруско, а другой отставнымъ штабсъ-ротмистромъ Леонтьемъ Хабаровымъ. Такъ писарь и записалъ ихъ фамиліи. Затѣмъ подняли шлагбаумъ и пропустили обоихъ.

Они остановились вмѣстѣ въ двухъ чистыхъ комнатахъ, гдѣ-то близъ Невскаго проспекта, и на другой день оба разошлись по своимъ дѣламъ.

Этотъ Хабаровъ служилъ въ военной службѣ въ Царствѣ Польскомъ, которымъ управлялъ тогда великій князь Константинъ Павловичъ. Отецъ привезъ Хабарова почти прямо изъ корпуса въ полкъ въ одну изъ мѣстностей царства, уже офицеромъ, отдалъ его на руки начальству полка, а самъ уѣхалъ, оставивъ сыну пятьсотъ рублей деньгами. Молодой Хабаровъ скоро свыкся въ полку со своими товарищами, другими офицерами, и производилъ также на начальство выгодное впечатлѣніе. Онъ былъ очень исправенъ

по службѣ: не гулялъ, не пилъ, словомъ былъ трезвымъ и исправнымъ офицеромъ. Годы между тѣмъ проходили, онъ привыкалъ все болѣе и болѣе къ дѣлу, въ очередь получилъ слѣдующій чинъ. Только денегъ у него было немного, вся бѣда заключалась въ томъ, какъ ни старался онъ сберегать данные ему отцомъ пятьсотъ рублей, жить этими деньгами и офицерскимъ жалованьемъ ему трудно было и въ деревнѣ даже, гдѣ стоялъ ихъ полкъ. Онъ сталъ ухитряться, какъ бы вести свои дѣла такъ, чтобы не затянуться въ долги и поддержать свое достоинство офицера. Для этого онъ купилъ за сто пятьдесятъ рублей, разумѣется, ассигнаціями, молодую лошадь, выѣздилъ ее отлично и сбылъ въ другой полкъ уже за тысячу рублей. Когда это удалось ему, черезъ нѣсколько времени онъ повторилъ опытъ, купилъ другую лошадь, выѣздилъ ее, какъ первую, и опять сбылъ. Такимъ образомъ дѣла его были въ хорошемъ положеніи. Онъ всегда былъ при деньгахъ, притомъ любимъ товарищами и уважаемъ начальствомъ.

Отецъ, кажется, забылъ о немъ. Онъ писалъ къ нему раза два, но отвѣта не получилъ никакого, и стороной узналъ, что старый Хабаровъ продалъ деревеньку и уѣхалъ въ Москву, гдѣ и умеръ, не оставивъ сыну ничего. Матери своей онъ лишился давно.

Молодой человѣкъ вздохнулъ раза три, утеръ украдкой слезу, навернувшуюся на глаза при печальномъ извѣстіи, махнулъ рукой и продолжалъ свое дѣло въ полку. Онъ служилъ усердно, узналъ толкъ въ лошадяхъ, выѣзжалъ ихъ, сбывалъ въ другіе полки и жилъ почти припѣваючи.

Такъ прошло года четыре. Онъ былъ уже поручикомъ и продолжалъ служить попрежнему.

Вдругъ великій князь потребовалъ ихъ полкъ, какъ и прочіе полки изъ провинцій въ Варшаву, на какой-то смотръ. Хабаровъ, какъ и другіе офицеры, старались не ударить себя лицомъ въ грязь: они усердно занимались выправкой

людей и лошадей, и готовились сами, чтобы достойно предстать предъ великаго князя.

Проведя нѣсколько дней въ Варшавѣ, они успѣли приглядѣться къ тамошнимъ порядкамъ и могли явиться на смотръ, совсѣмъ подготовленные. Великій князь остался очень доволенъ смотромъ. Когда Хабаровъ подъѣхалъ къ нему ординарцемъ, на прекрасно выѣзженной имъ самимъ лошади, молодецки отсалютовалъ саблей, великій князь, обращаясь къ его полковому командиру, бывшему въ свитѣ, сказалъ:

— Этого перевести въ Варшаву, въ мою гвардію.

Когда полковой командиръ объявилъ ему объ этой милости, надѣясь его обрадовать, онъ встрѣтилъ, къ удивленію своему, одно гробовое молчаніе офицера.

— Вы, кажется, Хабаровъ, не рады этому случаю?— спросилъ онъ.

— Какъ не радоваться: только жить мнѣ нечѣмъ будетъ здѣсь! Я бы попросилъ избавить меня отъ этой чести.

Полковой командиръ доложилъ объ этомъ великому князю. Послѣдовалъ приказъ выдавать Хабарову вдобавокъ къ жалованью по двѣсти рублей въ годъ. Это была бездѣлица при томъ образѣ жизни, какой нужно было вести въ Варшавѣ, въ столицѣ царства, гдѣ служба, обычай—было все другое, не такъ, какъ въ деревнѣ, гдѣ стоялъ ихъ полкъ.

Но надо было исполнить волю великаго князя, и Хабаровъ остался. Онъ промаячилъ еще кое-какъ года два, потомъ донесъ своему начальству, что онъ не можетъ существовать въ столицѣ, и просилъ уволить его отъ военной службы, для опредѣленія къ другимъ дѣламъ.

Великій князь, наконецъ, согласился. Кромѣ обыкновеннаго указа объ отставкѣ, онъ далъ ему свидѣтельство за собственноручной подписью въ томъ, что онъ своею службою и поведеніемъ заслуживаетъ полное одобреніе и можетъ исполнять всѣ возлагаемыя на него дѣла и порученія.

Снабженный этими документами, сколотивъ кое-какъ около тысячи руслей ассигнаціями, продажей между прочимъ своей лошади, взявъ свой мундиръ и вицмундиръ, данный ему при отставкѣ, вмѣстѣ съ чиномъ штабсъ-ротмистра, Хабаровъ изъ экономіи подыскалъ себѣ попутчика, и вмѣстѣ съ нимъ на почтовыхъ, въ перекладной телѣгѣ, пріѣхалъ, какъ сказано выше, въ Петербургъ.

II.

На другой день по пріѣздѣ, утромъ, Хабаровъ надѣлъ мундиръ и отправился къ одному изъ министровъ просить мѣсто городничаго, гдѣ-нибудь въ уѣздномъ городѣ. Онъ надѣялся, что его документы откроютъ ему двери повсюду. Онъ не ошибся. Министръ принялъ его очень любезно и адресовалъ его къ директору департамента, а директоръ позвалъ секретаря, велѣлъ ему разсмотрѣть документы Хабарова, и если тамъ не было дурной отмѣтки, записать его въ кандидаты на просимую должность. Оказалось, что онъ былъ четырнадцатымъ, чающимъ движенія воды. Его имя и адресъ записали и велѣли время отъ времени навѣдываться. Но и только.

Онъ пошелъ домой въ сильномъ раздумьи отъ этого перваго своего дебюта. Однакоже онъ не упалъ отъ этого духомъ и успѣлъ съ помѣщикомъ, съ которымъ пріѣхалъ и поселился вмѣстѣ, пообѣдать и даже въ театръ сходить, также посмотрѣть городъ, который онъ давно не видалъ.

Прошло дня два-три. Кто-то надоумилъ его просить или искать мѣста смотрителя какого-нибудь казеннаго заведенія. Онъ явился со своими аттестатами къ новому начальству, которое завѣдывало этими мѣстами. Но тамъ оказалась такая масса лицъ, желающихъ такихъ мѣстъ, что онъ не счелъ нужнымъ даже записаться въ кандидаты.

Наконецъ, по чьему-то совѣту, онъ обратился къ почтовому вѣдомству, выразивъ желаніе опредѣлиться почтмей-

стеромъ въ какой-нибудь уѣздный городъ. Но и тамъ не оказалось для него мѣста.

Недѣли черезъ двѣ онъ пришелъ освѣдомиться о мѣстѣ городничаго, но секретарь сказалъ ему, что съ тѣхъ поръ, какъ онъ записанъ, только двое поѣхали на открывшіяся вакансіи, и что число записанныхъ почти не уменьшилось, такъ что ему, Хабарову, мѣсяца три или четыре придется подождать.

Хабаровъ сильно затосковалъ. Онъ наконецъ понялъ, что и съ отличными документами можно просидѣть безъ дѣла и безъ куска хлѣба. Тогда ему предложили поискать частныхъ занятій и указали мѣста два или три.

III.

Онъ явился къ одному богатому человѣку, который только-что купилъ домъ и искалъ управляющаго. Онъ показалъ ему книги, росписаніе квартиръ и цѣны этимъ квартирамъ, какія изъ нихъ въ настоящее время заняты, какія пустыя, сколько казеннаго долга числится на домѣ и прочее.

— Разберите все это,—сказалъ онъ:—и приведите въ порядокъ! Я купилъ домъ и не могу одинъ сообразить ни доходу, ни того, кто мнѣ долженъ, кто заплатилъ за квартиру, кто нѣтъ, ничего! Все это есть въ этихъ бумагахъ. Потомъ надо осмотрѣть квартиры отъ чердаковъ до подваловъ. Завтра мы объ этомъ поговоримъ.

Хабаровъ взялъ всѣ бумаги къ себѣ и разобралъ ихъ на досугѣ и по возможности привелъ въ порядокъ. На другой день онъ пошелъ осматривать квартиры, потомъ чердаки и подвалы и нашелъ въ этихъ послѣднихъ помѣщеніяхъ много хламу, ненужныхъ вещей и вообще большой безпорядокъ. При осмотрѣ пострадалъ его вицмундиръ. Когда онъ лазилъ, то вынесъ на себѣ пыль, соръ и всякую дрянь.

Онъ принялся прежде всего за дворниковъ и велѣлъ

одному изъ нихъ стоять у воротъ по-очереди, а другихъ заставилъ сносить съ чердаковъ ненужныя вещи въ пустую кладовую. Онъ занималъ этихъ людей дня три-четыре. Двоихъ, которые изъ-за пьянства не явились къ дѣлу, онъ прогналъ и вмѣсто нихъ взялъ новыхъ. Потомъ обошелъ всѣхъ жильцовъ, которые не внесли за квартиру, потребовалъ съ нихъ денегъ, чѣмъ вдругъ нажилъ себѣ много враговъ.

Въ домѣ про него говорили, что новая метла всегда хорошо мететъ, оттого-де управляющій такъ и старается. Но прошло пять, шесть недѣль, Хабаровъ не только не унимался, но усердствовалъ все болѣе и болѣе, за всѣмъ смотрѣлъ зорко и постоянно занималъ работой дворниковъ, такъ что они плевали на все и уходили въ кабакъ, лишь только управляющій куда-нибудь отлучался. Онъ добывалъ ихъ и тамъ, и такъ надоѣлъ всѣмъ въ домѣ, что его возненавидѣли и стали жаловаться на него хозяину дома.

Сначала хозяинъ не слушалъ и только смѣялся надъ жаловавшимися и одобрялъ распоряженія управляющаго. Но наконецъ все это до того надоѣло ему, что онъ рѣшился, или какъ-нибудь помирить этого черезчуръ усерднаго управляющаго съ врагами его, или пожертвовать управляющимъ:

«Не гнать же изъ-за него всѣхъ жильцовъ!» думалъ онъ.

— Вы отлично распоряжаетесь! — сказалъ онъ, пригласивъ Хабарова къ себѣ.—Но войдите и въ мое положеніе: не проходитъ дня, чтобы кто-нибудь на васъ не пожаловался!

Онъ засмѣялся.

Хабарову было не до смѣха, онъ принужденно улыбнулся и сказалъ:

— Ну, тогда увольте лучше меня.

— Нѣтъ, зачѣмъ же? Посмотримъ, что̀ будетъ дальше!— улыбаясь сказалъ хозяинъ.

И оставилъ пока его.

Прошло еще недѣли двѣ. Вдругъ въ домѣ сдѣлался от-

чего-то пожаръ, такъ что Хабаровъ успѣлъ только спасти вицмундиръ, бѣлье, немного денегъ и документы по дому. Все же остальное, въ томъ числѣ мундиръ его тоже, сгорѣло.

Когда прискакала пожарная команда, флигель, гдѣ онъ жилъ, былъ уже объятъ пламенемъ. Огонь скоро успѣли потушить, но дворниковъ не оказалось налицо: всѣ они разбѣжались еще до пожара, и въ домѣ были смутные слухи о поджогѣ...

На другой день хозяинъ его пригласилъ къ себѣ.

— Я знаю, что вы не виноваты, — сказалъ онъ: — всѣ думали, что вы новая метла, а вы исправный и честный человѣкъ, оттого всѣ и напали на васъ и чуть-было не сожгли, какъ не даромъ говорятъ въ домѣ. Тутъ надо не такого человѣка, какъ вы, а собаку! Такого я и сыщу! А пока прощайте и извините меня! Вотъ вамъ заработанные вами сто рублей.

Хабаровъ съ тѣмъ, что у него осталось, печально вернулся домой. Онъ прежде жилъ, гдѣ-то на хлѣбахъ у хозяйки, и занималъ небольшой уголокъ. Теперь, послѣ пожара, вернулся къ ней же. Взятыя имъ изъ Варшавы деньги были израсходованы и жить приходилось трудомъ. На квартирѣ теперь стояла его кровать и единственный столъ и стулъ, на которомъ онъ помѣстилъ другую пару бѣлья, а на стѣнѣ рядомъ повѣсилъ, снявъ съ себя, свой вицмундиръ и фуражку съ своими документами.

— За что же уволилъ васъ отъ должности этотъ баринъ?—спросила его хозяйка.

— За что? За исправность! — со вздохомъ сказалъ онъ, и погрузился въ уныніе.

Однажды, когда онъ особенно былъ задумчивъ и не въ духѣ, хозяйка его сказала ему, что одинъ купецъ ищетъ себѣ на пристань у Смольнаго приказчика за 25 рублевъ въ мѣсяцъ, такъ не пойдетъ ли онъ къ нему? «Ему, дескать, нуженъ честный человѣкъ!»

На другой день онъ пошелъ къ этому купцу, по прозванью Сивкову, которому показалъ свои документы. Тотъ принялъ его и сказалъ, что онъ радъ имѣть дѣло съ «благороднымъ» человѣкомъ, ему-де такой нуженъ, а то все «плуты да мошенники!» Онъ поставилъ его въ амбарѣ у Смольнаго, куда съ барокъ складывали кули муки, а оттуда, подъ присмотромъ приказчика, развозили ихъ купцамъ, забиравшимъ хлѣбъ у Сивкова.

Сначала все шло какъ по маслу. Возы брали изъ амбара кули и отвозили купцамъ, а Хабаровъ отмѣчалъ число кулей, записывалъ въ тетрадь и отдавалъ ее каждый день хозяину. Такъ прошло недѣли три-четыре, пріѣхали отъ какого-то купца нѣсколько возовъ, взяли около сотни кулей и уѣхали. Хабаровъ отмѣтилъ число кулей въ своей тетрадкѣ и, по обыкновенію, отдалъ ее хозяину. Но купецъ, на котораго показали подводы, забравшія кули, отозвался, что онъ никакихъ кулей не требовалъ и за ними подводъ не посылалъ. Оказалось, что мужики съ подводами были сами по себѣ и замѣтивъ, что разсылкой кулей распоряжался не ихъ братъ-мужикъ, а «благородный», рѣшили понадуть его и показали на купца облыжно, а мукой воспользовались въ свою пользу. Хабаровъ ихъ въ лицо не зналъ и отпустилъ довѣрчиво кули. Удивленные хозяинъ и купецъ, на котораго показали мужики, приступили къ нему съ вопросами. Онъ не могъ указать подводы, потому что не зналъ въ лицо ни купца, ни мужиковъ.

— Вотъ что, ваше благородіе, нашъ-то простой человѣкъ, приказчикъ, запримѣтилъ бы этихъ самыхъ мужиковъ въ лицо и что они не тово... не отъ хозяина пріѣхали, а сами по себѣ. При этомъ купецъ не то крякнулъ, не то вздохнулъ.— Я сыщу этихъ самыхъ возчиковъ, а вы намъ не рука! — прибавилъ онъ. — Вотъ вамъ пятьдесятъ рублевъ, что вы зажили у насъ! Богъ съ вами, намъ такихъ не надо!

Купецъ выдалъ ему рублей пятьдесятъ ассигнаціями и разстался съ нимъ.

Хабаровъ пришелъ домой совсѣмъ разстроенный своею неудачей.

— Что жъ стало съ вами?—спросила его хозяйка, когда онъ не пошелъ къ своему дѣлу, ни завтра, ни послѣзавтра.— За что жъ этотъ купецъ отказалъ вамъ?

— За неисправность! — съ горькой усмѣшкой отвѣчалъ Хабаровъ.

— Охъ, вы, сердешный!—сказала добрая женщина.

Дня черезъ три онъ пошелъ навѣдаться о мѣстѣ городничаго или исправника, потомъ почтмейстера, потомъ смотрителя казеннаго дома. Но вездѣ былъ принятъ сухо, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ швейцары не допустили его даже до пріемной, видя его потертый вицмундиръ, и грубо ему отказывали.

— Вамъ сказано, чего жъ вы лѣзете!—сказалъ одинъ.

— Много васъ этакихъ шляется!—отвѣчали въ другомъ мѣстѣ на его смиренный вопросъ.

Онъ вздохнулъ и пошелъ далѣе.

На другой день онъ пробрался въ Казанскій соборъ и помолился тамъ Божіей Матери, потомъ вышелъ и машинально сталъ смотрѣть, какъ на Екатерининскомъ каналѣ воротомъ тащили большой камень на пьедесталъ какого-то монумента. Не извѣстно сколько времени онъ простоялъ въ грустномъ раздумьѣ. Приказчикъ въ синей сибиркѣ вдругъ пригласилъ его занять пустое мѣсто и вмѣстѣ съ другими тянуть канатъ.

— Что такъ-то стоять да зѣвать: принимайся-ка за дѣло!—промолвилъ онъ:—получишь рубль въ сутки, на полу не поднимешь.

«Видно, въ самомъ дѣлѣ я обносился!» подумалъ Хабаровъ: «и мой вицмундиръ не спасаетъ меня отъ обидъ!»

Постоявъ еще немного, онъ молча всталъ у шпиля на

пустое мѣсто и вмѣстѣ съ другими потянулъ лямку... На другой день раннимъ утромъ онъ пришелъ на ту же работу и всталъ къ шпилю вмѣстѣ съ другими. На третій, на четвертый день то же, и такъ онъ проработалъ дней двѣнадцать, доставивъ ту же работу проживавшему вмѣстѣ съ нимъ у той же хозяйки какому-то Штукину. Но этотъ, однакоже, не всякій день аккуратно являлся къ Казанскому мосту, а заработавъ небольшія деньги, предавался любимому занятію—пьянству.

Проработавъ дней двѣнадцать, Хабаровъ захотѣлъ наконецъ отдохнуть, тѣмъ болѣе, что отъ непривычнаго труда на шпилѣ ладони у него покрылись мозолями.

IV.

День былъ солнечный, ясный. Купивъ ситнаго хлѣба и нѣсколько печеныхъ яицъ, Хабаровъ вышелъ за городъ и, пройдя нѣсколько верстъ, сѣлъ на траву на краю канавы и сталъ завтракать, чѣмъ Богъ послалъ. Утоливъ немного голодъ и отдохнувъ, онъ пошелъ дальше, погруженный въ глубокое раздумье о своей горькой участи. Долго ли, коротко ли онъ шелъ, онъ ничего не помнилъ. Очнувшись отъ задумчивости, онъ шелъ дальше, оглядывался кругомъ и опять шелъ. Онъ даже времени не считалъ и не соображалъ — и не по чемъ и не зачѣмъ было — и все шелъ. Вдругъ, нечаянно взглянувъ передъ собою, онъ увидѣлъ какія-то зданія, какъ будто улицы, словомъ городъ. Онъ робко вошелъ въ него, пошелъ по длинной улицѣ, дошелъ до какого-то дворца и сада. У воротъ стоялъ инвалидъ, который на его истертомъ вицмундирѣ увидѣлъ офицерскіе знаки, вытянулся въ струнку.

— Можно туда? — робко спросилъ Хабаровъ, показывая на садъ.

— Можно, ваше благородіе, пожалуйте!

Хабаровъ, нахлобучивъ на себя фуражку, углубился въ

уединенную аллею сада, погруженный въ тяжелыя размышленія. Его грызла неотступная мысль, что ему теперь осталось дѣлать? Умереть, наложить на себя руку... Боже сохрани! Онъ отгонялъ отъ себя эту мысль, онъ былъ христіанинъ, онъ вѣровалъ, молился... Но всѣ средства были имъ истощены... ничего не осталось, ничего... А самъ все шелъ...

Вдругъ въ его грудь уперлась чья-то рука, съ краснымъ обшлагомъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ раздался строгій голосъ:

— Кто ты? Зачѣмъ здѣсь? Какъ сюда зашелъ?

Хабаровъ поднялъ глаза: передъ нимъ самъ императоръ Александръ Павловичъ.

— Кто ты такой?—спросилъ грозно императоръ.

Хабаровъ снялъ съ себя фуражку и тихо отвѣчалъ:

— Отставной штабсъ-ротмистръ Хабаровъ.

— Вѣроятно, выгнанный изъ полка за пьянство и гнусное поведеніе?

Хабаровъ досталъ не разлучавшіеся съ нимъ изъ фуражки свои документы, указъ объ отставкѣ и рекомендательное письмо великаго князя и подалъ ихъ императору.

Государь машинально взглянулъ на указъ объ отставкѣ, но съ особеннымъ вниманіемъ прочиталъ свидѣтельство великаго князя.

— Что жъ довело васъ до этого положенія? — спросилъ, понизивъ тонъ, государь.

Хабаровъ собрался съ силами и разсказалъ государю исторію всего того, что онъ претерпѣлъ въ Петербургѣ съ тѣхъ поръ, какъ оставилъ военную службу. Какъ онъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ былъ записанъ кандидатомъ, гдѣ именно, какъ сначала секретари, потомъ швейцары отгоняли его отъ дверей, потомъ разсказалъ о частныхъ своихъ занятіяхъ, наконецъ перешелъ къ работѣ у шпиля и въ заключеніе показалъ свои дрожащія, покрытыя мозолями руки.

Выслушавъ этотъ простой, но краснорѣчивый разсказъ

ї
і
и
ж
В
ка
ро
до
кол
ске
—
на с
— у
Хабар

мѣя сто рублей въ карманѣ, не сообразилъ,
ъ домой пріѣхать хоть въ коляскѣ, пѣшкомъ
етербурга, добрался до перваго трактира и
себѣ что-нибудь поѣсть. Съ утра онъ ничего
о пересохло горло.

V.

ито успѣлъ отдать хозяйкѣ деньги и легъ на
остель, забывшись сномъ.

ій, какъ умаялся! Гдѣ-то ты побывалъ?—ска-
принимая отъ него деньги.

ли на третій день прискакалъ фельдъегерь
Села и отыскалъ его, но онъ былъ безъ па-
го стоялъ какой-то призванный хозяйкой лѣ-
ерь пріѣхалъ, чтобы пригласить его на дру-
ибичу. Но потрясенный нравственными впе-
трѣчей съ государемъ и словами его и Ди-
віе всего испытаннаго имъ, онъ заболѣлъ
ікой и пролежалъ больной около шести не-
время отъ Двора пріѣзжалъ не разъ докторъ
призваннымъ хозяйкой врачомъ, слѣдили за
и лѣчили его, старались около него, какъ
о знакомаго. Хозяйка его и бывшій у нея
ходили за нимъ какъ родные, такъ что че-
недѣль онъ всталъ съ постели и могъ про-
комнатѣ.

Дворъ не оставлялъ его безъ освѣдомленій:
день курьеръ пріѣзжалъ узнавать о его здо-
ывалъ хозяйкѣ, что какъ только онъ выздо-
тобъ явился къ генералу Дибичу.

Хабаровъ могъ выйти со двора и явился къ
ичу, когда тотъ пріѣхалъ въ Петербургъ. Онъ
ласково.

государь велѣлъ мнѣ вручить вамъ.—Онъ

и взглянувъ на покрытыя мозолями ладони Хабарова, государь вынулъ платокъ и закрылъ имъ глаза.

— Къ Дибичу!—сказалъ онъ, указывая въ сторону дворца:—онъ узнаетъ мои повелѣнія!

Онъ отвернулся и пошелъ отъ него прочь, закрывая глаза платкомъ.

Хабаровъ стоялъ неподвижно минуты двѣ, пораженный тѣмъ, что произошло. Онъ той же аллеей вышелъ вонъ изъ сада и у того же инвалида спросилъ, гдѣ живетъ Дибичъ. Инвалидъ показалъ на дворецъ.

— Тамъ вамъ скажутъ гдѣ!—промолвилъ онъ.

Хабаровъ пришелъ къ дворцу и спросилъ, гдѣ живетъ генералъ Дибичъ. Какой-то придворный лакей мимоходомъ показалъ на дверь и скрылся. Хабаровъ вошелъ.

Въ передней, въ залѣ, никого не было, ни курьера, ни лакея. Въ слѣдующей затѣмъ комнатѣ Дибичъ барабанилъ пальцами по стеклу и что-то насвистывалъ.

Хабаровъ, постоявъ еще нѣсколько минутъ, наконецъ кашлянулъ, чтобъ обратить на себя вниманіе генерала.

— Кто ты такой? Какъ сюда зашелъ? Отчего о тебѣ не доложили?—обернувшись, спросилъ онъ, какъ государь.

— Я отставной штабсъ-ротмистръ Хабаровъ и меня послалъ къ вамъ самъ государь!—отвѣчалъ Хабаровъ и подалъ ему свои документы.

Дибичъ посмотрѣлъ и тотъ и другой документы, потомъ взглянулъ еще разъ на Хабарова и сказалъ ему:

— Я сегодня увижу государя и узнаю его волю на вашъ счетъ, а теперь, видя ваше положеніе, я догадываюсь, что вамъ нужно вотъ это!

Съ этими словами онъ подошелъ къ столу, досталъ сто рублей и подалъ ихъ Хабарову.

— Запишите вашъ адресъ,—сказалъ онъ, и позвонилъ.

Тутъ явились и адъютанты, и курьеры, и лакеи, записали фамилію и адресъ Хабарова.

Хабаровъ, имѣя сто рублей въ карманѣ, не сообразилъ, что онъ можетъ домой пріѣхать хоть въ коляскѣ, пѣшкомъ добрался до Петербурга, добрался до перваго трактира и велѣлъ подать себѣ что-нибудь поѣсть. Съ утра онъ ничего не ѣлъ. У него пересохло горло.

V.

Онъ только-что успѣлъ отдать хозяйкѣ деньги и легъ на свою убогую постель, забывшись сномъ.

— Сердешный, какъ умаялся! Гдѣ-то ты побывалъ?—сказала хозяйка, принимая отъ него деньги.

На другой или на третій день прискакалъ фельдъегерь изъ Царскаго Села и отыскалъ его, но онъ былъ безъ памяти. Около него стоялъ какой-то призванный хозяйкой лѣкарь. Фельдъегерь пріѣхалъ, чтобы пригласить его на другой день къ Дибичу. Но потрясенный нравственными впечатлѣніями, встрѣчей съ государемъ и словами его и Дибича, вслѣдствіе всего испытаннаго имъ, онъ заболѣлъ нервной горячкой и пролежалъ больной около шести недѣль. Въ это время отъ Двора пріѣзжалъ не разъ докторъ и, вмѣстѣ съ призваннымъ хозяйкой врачомъ, слѣдили за его болѣзнью и лѣчили его, старались около него, какъ близкаго своего знакомаго. Хозяйка его и бывшій у нея другой жилецъ ходили за нимъ какъ родные, такъ что черезъ нѣсколько недѣль онъ всталъ съ постели и могъ прохаживаться по комнатѣ.

Между тѣмъ Дворъ не оставлялъ его безъ освѣдомленій: почти каждый день курьеръ пріѣзжалъ узнавать о его здоровьѣ и наказывалъ хозяйкѣ, что какъ только онъ выздоровѣетъ, то, чтобъ явился къ генералу Дибичу.

Наконецъ Хабаровъ могъ выйти со двора и явился къ генералу Дибичу, когда тотъ пріѣхалъ въ Петербургъ. Онъ принялъ его ласково.

— Вотъ что государь велѣлъ мнѣ вручить вамъ.—Онъ

подалъ ему толстый пакетъ.—Мѣсто почтмейстера, которое назначено было для васъ, уже занято,—прибавилъ онъ.— Но вы получите, когда выздоровѣете совсѣмъ, мѣсто смотрителя работъ при строящемся въ Москвѣ храмѣ Спасителя въ память изгнанія французовъ. Объ этомъ уже писано въ Москву.

Хабаровъ, возвратясь домой, нашелъ въ пакетѣ пять тысячъ рублей ассигнаціями, пожалованными ему государемъ. Когда онъ вновь обмундировался и явился къ генералу Дибичу, тотъ сначала не узналъ его, такъ онъ измѣнился къ лучшему, потомъ сказалъ ему, чтобъ онъ немедленно отправился въ Москву, къ мѣсту новаго своего назначенія.

Хабаровъ не долго собирался, онъ распрощался съ хозяйкой, съ товарищами по житью, собралъ свои вещи и бѣлье и отправился въ Москву. Но передъ отъѣздомъ онъ зашелъ въ Казанскій соборъ, долго молился и горячо благодарилъ за Божественную помощь въ претерпѣнныхъ испытаніяхъ и внезапную радость превратности судьбы.

Въ Москвѣ тогда архитекторъ Витбергъ задумалъ смѣлый планъ построить храмъ на Воробьевыхъ горахъ. Планъ этотъ былъ впослѣдствіи оставленъ, но въ то время работы были въ полномъ ходу, и Хабаровъ назначенъ былъ смотрителемъ рабочихъ. Онъ явился къ митрополиту, къ Витбергу, и занялъ свое мѣсто.

Углицкій, отъ котораго я слышалъ этотъ разсказъ, былъ у него въ гостяхъ въ его палаткѣ, видѣлъ кругомъ прекрасную обстановку, чистую постель, мебель, ковры, черешневые чубуки, янтари и прочее, что только могло льстить избалованному вкусу.

Хабаровъ разсказалъ ему эту самую исторію и все то, что здѣсь мною со словъ Углицкаго записано.

20-го августа 1891.

МАЙ МѢСЯЦЪ ВЪ ПЕТЕРБУРГѢ.

Очеркъ.

(Посмертное произведеніе.)

На одномъ изъ проспектовъ въ Петербургѣ былъ, а можетъ-быть и теперь есть, высокій домъ, который одною стороной выходилъ на какой-то каналъ, а другою въ противоположную улицу. Съ боковъ, въ улицѣ и переулкѣ были жилыя помѣщенія.

Посреди двора тянулся также флигель и разныя квартиры.

Словомъ, домъ былъ обширный.

Съ лицевой стороны два главные подъѣзда принадлежали къ большой квартирѣ въ бельэтажѣ, занимаемой генераломъ графомъ и супругою его графиней Рѣшетиловыми.

Графъ былъ человѣкъ военный и возраженій на свои приговоры не допускалъ. Только отъ равныхъ себѣ по чину онъ принималъ противныя его взгляду мнѣнія. На низшихъ же смотрѣлъ свысока.

У графа были дѣти. Одинъ сынъ служилъ въ гвардіи, въ Конномъ полку, другой былъ пажъ.

У графини была дочь, подростокъ. Она еще не выѣзжала. У нея была гувернантка.

Съ другой стороны въ бельэтажѣ жилъ какой-то важный чиновникъ, а вверху надъ ними проживали двѣ дѣвицы-сироты, уже на возрастѣ.

Внизу былъ ренсковый погребъ, хозяинъ котораго, купецъ Гвоздевъ, очень заинтересованъ этими дѣвицами.

Всякій разъ при проходѣ ихъ, стоя на порогѣ своего магазина, онъ низко раскланивался, чѣмъ дѣвицы весьма обижались. Чего-чего онъ ни дѣлалъ, чтобъ привлечь ихъ вниманіе! Напримѣръ, на Святой недѣлѣ, онъ купилъ гдѣ-то на Невскомъ проспектѣ, въ иностранномъ магазинѣ, яйцо такой чудовищной величины, что ахнулъ весь домъ. Онъ доверху набилъ яйцо конфетами и принесъ къ сестрамъ-дѣвицамъ, чтобы похристосоваться съ ними. Сестры тоже ахнули и не могли отказаться отъ христіанскаго обычая.

Когда у него были занятія въ погребѣ, онъ высылалъ вмѣсто себя мальчика, и тотъ давалъ ему знать немедленно, лишь только сестры показывались на тротуарѣ.

На дворѣ помѣщался нѣкто Чихановъ съ женой. Онъ занималъ четыре комнаты: двѣ были отдѣланы особенно чисто, а другія двѣ попроще.

Надъ нимъ жили три чиновника холостыхъ, съ кухаркой.

Надъ ними еще чиновники. Посерединѣ тоже ютились разные жильцы и расположены были торговыя помѣщенія.

Всѣмъ этимъ домомъ завѣдывалъ управляющій, всегда отсутствующаго хозяина, Иванъ Ивановичъ Хохловъ. Это былъ нѣсколько высокій, сутуловатый человѣкъ, съ большой бородавкой на щекѣ, покрытой волосами, и съ вѣчной улыбкой, которою онъ сопровождалъ свои шутки. Онъ всегда шутилъ. Занималъ онъ нѣсколько комнатъ въ среднемъ корпусѣ, изъ которыхъ одна была обращена въ контору. Въ ней онъ принималъ просителей, т.-е. жильцовъ дома. Тѣ, которые были поважнѣе, приглашали его къ себѣ, въ томъ числѣ и графъ генералъ.

Вотъ, кажется, все, что можно сказать объ этомъ домѣ.

Утромъ домъ только-что просыпался. Раньше всѣхъ проснулись, конечно, голуби, воробьи и кошки. Кошки вылѣзали изъ трубъ чердаковъ, гоняясь за голубями. Но, кажется, сами сознавали безполезность своихъ покушеній: онѣ только-что присядутъ, чтобъ броситься на добычу, голубямъ и воробьямъ стоило своротить въ сторону или перелетѣть на другую крышу — и кошки притворялись, что это ихъ будто вовсе не занимаетъ и что онѣ дѣлаютъ такъ только чтобъ не терять своихъ пріемовъ гоняться за пернатыми. Но горе тѣмъ, кто оплошаетъ!

Все прочее еще спало, хотя было давно свѣтло. Въ это время, въ маѣ, на Сѣверѣ всегда свѣтло.

Часовъ въ семь, дворникъ Архипъ вынесъ самоваръ, обхвативъ его какъ друга рукой, и началъ звать товарища своего пить чай. На другомъ дворѣ наблюдалось то же самое. Окончивъ это дѣло, если только тутъ было сколько-нибудь дѣла, они принялись мести, вздымая пыль, навозъ и другое, что валялось на мостовой. Около нихъ образовались цѣлыя облака, до самой крыши. Домъ и улицы — все утонуло какъ въ дыму.

Сверху вдругъ раздался крикливый голосъ кухарки:

— Что вы пылите-то, черти! Я только-что поставила сливки на подоконникъ простудить, а вы намели пыли.— Она поперхнулась и закашлялась.—Право, черти! — прибавила она.

Но самихъ дворниковъ не было видно. Только голосъ изъ облака отвѣчалъ:

— Какъ же намъ быть, когда *самъ* поѣдетъ, дворы и передъ домомъ улицу надо вымести.

И принялись опять мести.

Галлерея, или какъ дворники прозывали «галдарея», просыпалась. Лакеи чистили мундиры графа и сыновей его.

На другой сторонѣ горничныя отряхали пыль съ платьевъ, ботинокъ графини, дочери ея и гувернантки.

Внизу, на обоихъ подъѣздахъ, швейцары ставили самовары. Одинъ пузатый, плѣшивый,—не самоваръ, а швейцаръ,—со стороны графини, а другой, въ военномъ унтеръ-офицерскомъ мундирѣ, со стороны графа. Нельзя было не замѣтить трубы изъ синей бумаги на одномъ изъ самоваровъ.

Былъ еще восьмой часъ утра. Оба швейцара (одинъ пилъ кофе, а другой—чай) напились, одѣлись и ждали девяти часовъ, когда приносятъ письма и газеты.

Съ улицы городовой просунулъ-было на дворъ голову и крикнулъ дворникамъ:

— Что вы, съ ума, что ли, сошли, пыль столбомъ до самой крыши! Экъ напустили!

Онъ закашлялся и плюнулъ.

Тогда дворники очнулись:

— Сами же вы велѣли...—началъ-было одинъ.

— Такъ я велѣлъ поливать, а вы что̀ дѣлаете, только пыль разводите!

Тогда дворники, одинъ взялъ шайку, другой полоскательную чашку, стали поплескивать воду на дворъ и на мостовую передъ домомъ.

Какой-то ранній прохожій, зажимая носъ и жмурясь, спѣшилъ пройти мимо.

— Что̀ это вы за пыль подняли на улицѣ: нельзя дышать!—упрекнулъ онъ.

— Полиція велитъ!—сказалъ первый дворникъ.

Съ противоположной стороны ѣхала на дрожкахъ барыня, и зонтикомъ, сколько могла, защищалась отъ пыли.

— Какая пыль! Что это вы, съ ума сошли?—сказала она.

— Полиція велитъ!—отвѣчалъ второй дворникъ.

Около дома на другой сторонѣ, и около другихъ домовъ, дворники твердили то же самое и неистово мели улицу, не

заботясь о прохожихъ и проѣзжихъ. У нихъ была одна отговорка: «полиція такъ велитъ».

Пыль кое-какъ осѣла.

Наконецъ ударило 9 часовъ, графу и дѣтямъ его понесли чай, а графинѣ, дочери и гувернанткѣ—кофе.

Вотъ проѣхалъ и *самъ*, т.-е. частный приставъ. Онъ зорко осмотрѣлъ домъ, улицу и дворъ, погрозилъ почему-то дворникамъ и вытянувшемуся въ струнку городовому.

Почталіонъ принесъ газету, журналы и письма.

Тогда оба швейцара принялись разбирать, кому какіе журналы, а кому письма.

— Кто его знаетъ, по-французски это или по-другому: кому это письмо, а кому другое?—говорилъ военный швейцаръ.

— Ужъ я вамъ тысячу разъ твердилъ,—замѣтилъ статскій:—это по-французски, а это по-аглицки.

На это замѣчаніе военный только погладилъ свою голову и ничего не сказалъ, а самъ, кажется, думалъ:

«Богъ знаетъ, что ты тамъ скажешь».

Статскій высокомѣрно поглядѣлъ на военнаго, разобралъ все по порядку, но все перепуталъ, такъ что потомъ пришлось все перебирать опять. Въ серединѣ двора сверху раздался голосъ Чиханова:

— Дворникъ, дворникъ! Поди сюда!

Одинъ изъ дворниковъ уткнулъ только вверхъ голову и ничего не сказалъ. А товарищъ ему тихо говорилъ:

— Не ходи, это Чихановъ тебя зоветъ, опять куда-нибудь пошлетъ.

Первый въ нерѣшительности смотрѣлъ вверхъ и ничего не говорилъ. Голосъ сверху опять повторилъ:

— Дворникъ, тебѣ говорятъ, иди сюда!

— Не ходи!—твердилъ товарищъ его. — Онъ опять тебя пошлетъ куда-нибудь, къ итальянцу въ Морскую безъ денегъ, а тамъ тебя въ шею вытолкаютъ.

— Какъ не ходить-то, — отвѣчалъ первый: — иной разъ онъ въ долгъ взять велитъ разнаго товару, а другой разъ дастъ сотенную расплатиться тамъ за все, что забрано въ лавкахъ; а когда станешь отдавать ему сдачи, рублевъ слишкомъ десять, «возьми, скажетъ, себѣ на чай!» Такъ-тось!

Сказавъ это, онъ пошелъ вверхъ къ Чиханову. Тотъ велѣлъ ему зайти къ итальянцу и въ другія лавки, купить масла, сыру, вина и прочихъ закусокъ, а денегъ опять не далъ.

Дворникъ постоялъ-постоялъ, взялъ записку—чего купить, и задумчиво, тихо, точно ногами считалъ ступени лѣстницы, пошелъ внизъ.

— Опять денегъ не далъ! — ворчалъ онъ про себя. — Въ лавкахъ, пожалуй, въ шею прогонятъ!

— Я тебѣ говорилъ, не ходи! — замѣтилъ его товарищъ.

Первый взялъ шапку и со вздохомъ пошелъ со двора.

Между тѣмъ, къ управляющему въ контору приходили и уходили разные жильцы дома. Одинъ просилъ отсрочки уплаты за квартиру. Это былъ Чихановъ. Онъ сладкимъ, пѣвучимъ теноромъ, съ маслянымъ взглядомъ, просилъ отложить плату до слѣдующей трети.

— Тогда получу и непремѣнно, непремѣнно отдамъ...

— Будто!.. — сказалъ на это Иванъ Ивановичъ и улыбнулся по-своему. — Не вѣрится мнѣ!

Другой, напротивъ, принесъ деньги за то же самое. Третій жаловался на течь въ потолкѣ и на сырость.

Иванъ Ивановичъ всѣхъ удовлетворилъ: Чиханову отсрочилъ, какъ онъ просилъ, уплату до такого-то числа, чему тотъ очень обрадовался и проворно убрался къ себѣ: отъ другого Иванъ Ивановичъ принялъ деньги, третьему обѣщалъ прислать мастерового осмотрѣть потолокъ и сдѣлать что нужно.

Чудный человѣкъ былъ этотъ Иванъ Ивановичъ. Онъ

всѣмъ умѣлъ быть полезенъ и всѣмъ угождалъ, и никогда не разставался со своими шутками и со своей улыбкой. Какъ онъ отговаривалъ молодежь обоего пола, стриженыхъ дѣвицъ въ синихъ очкахъ, длинноволосыхъ юношей съ развязными манерами, отъ найма квартиры въ этомъ домѣ! Вообще у него былъ какой-то особый нюхъ на благонадежныхъ и благонамѣренныхъ жильцовъ.

Пришли къ нему какія-то двѣ жилицы и просили взыскать съ нихъ за настоящую треть не всѣ деньги за квартиру, а половину, потому, что онѣ-де переѣзжаютъ на дачу, а вернувшись въ сентябрѣ, заплатятъ остальное. Иванъ Ивановичъ удовлетворилъ ихъ просьбу, зная ихъ аккуратность. Пришелъ въ контору какой-то Зашибаевъ, на котораго онъ смотрѣлъ съ особенной улыбкой.

— Ну, здравствуйте, какъ поживаете?.. Сегодня вы въ новыхъ панталонахъ, вотъ какъ!—сказалъ онъ.

— Это товарищъ мой прислалъ: у него двѣ пары!—безпечно отвѣчалъ Зашибаевъ, небрежно поглядывая на свой костюмъ.

Иванъ Ивановичъ съ улыбкой смотрѣлъ на него.

— Что жъ вы смѣетесь, что панталоны у меня есть!.. И всегда будутъ—безъ панталонъ никто не ходитъ! Нечего и хлопотать, откуда они возьмутся!

Онъ хлопнулъ себя по брюкамъ.

— Что жъ, вы деньги за квартиру принесли за эту треть?—спросилъ Иванъ Ивановичъ.

— Нѣтъ, я зашелъ сказать вамъ, что у меня ихъ нѣтъ.

— Не стоило и заходить!—сказалъ Иванъ Ивановичъ, улыбаясь.—Я зналъ впередъ, что это такъ будетъ.

На другомъ дворѣ важный чиновникъ уѣзжалъ въ свое присутствіе. По фамиліи его звали Вальневъ, а по имени Петръ Егоровичъ, но всего больше величали его «ваше превосходительство», по его чину. Онъ былъ тоже феноменъ въ своемъ родѣ, этотъ важный чиновникъ. Онъ всегда

былъ озабоченъ, говорилъ всѣмъ, что у него пропасть дѣла, и даже увѣрялъ свое начальство, что онъ не спитъ, не ѣстъ, а все дѣлаетъ дѣло. Выпроситъ себѣ какую-нибудь командировку, всегда полегче, а денегъ на нее побольше, сдастъ всѣ дѣла свои другимъ, и возится съ этой командировкой цѣлые мѣсяцы; потомъ увѣряетъ всѣхъ и каждаго, больше всего свое начальство, что безъ него и безъ его трудовъ дѣло бы стояло. Потомъ всѣмъ говорилъ, что былъ тамъ-то вице-директоромъ, тамъ помощникомъ управляющаго, здѣсь состоялъ въ такой-то должности, дѣлалъ то-то... Но никогда не намекалъ, что̀ сдѣлано имъ путнаго на томъ или другомъ мѣстѣ.

Онъ выпросилъ себѣ чиновъ, звѣздъ, денегъ — всего, и начальство было въ недоумѣніи, какую пользу принесъ онъ отечеству, дѣлало, при видѣ его, большіе глаза и отпускало ему все, чего онъ ни попроситъ. За глаза прозвали его «холопомъ», «нахаломъ», но въ глаза ему ничего не говорили, а только спрашивали другъ друга, «въ чемъ состояли его заслуги, и что̀ такое онъ дѣлалъ, чѣмъ взялъ?» На это никто ничего не могъ отвѣтить, многіе пожимали плечами, дѣлали, глядя на него, какъ сказано выше, большіе глаза. Онъ какъ-то проглатывалъ это вольнымъ духомъ и храбро шелъ туда, гдѣ его не знали, увѣрять, что на его плечахъ лежитъ цѣлое вѣдомство.

Онъ былъ небольшого роста, съ маленькимъ лбомъ; съ высшими себя почтителенъ, равныхъ избѣгалъ, а съ низшими наглъ и настойчивъ.

Въ домашнемъ быту своемъ онъ былъ во всемъ приличенъ, но, вглядываясь въ приличіе это, замѣтишь бѣлые швы. У него въ квартирѣ было все сборное, никакого единства, т.-е. вкуса въ обстановкѣ не было. Мебель была изъ Гостинаго двора, картины оттуда же. Тутъ же подъ ногами дорогой персидскій коверъ, о которомъ онъ случайно прочелъ въ газетахъ. Словомъ, когда войдешь въ квартиру, все

на взглядъ было прилично, хотя все смотрѣло врознь. Джентльменомъ онъ не былъ, едва ли даже понимаетъ это слово, или смѣшиваетъ его съ крупнымъ чиномъ. Въ настоящую пору онъ ладилъ, какъ бы ему жениться на богатой, хоть купеческой дочери, и взять приданаго побольше.

Таковъ былъ этотъ важный чиновникъ.

Дѣвицы-сироты пошли пройтись куда-то по набережной.

Хозяинъ ренсковаго погреба, купецъ Гвоздевъ, стоя у себя на порогѣ, съ восторгомъ смотрѣлъ вслѣдъ имъ обѣимъ.

— Эхъ!—кряхтѣлъ онъ, слѣдя за ними влюбленными глазами.

Между тѣмъ насталъ полдень, затѣмъ завтракъ. Къ графу пріѣхалъ завтракать другой генералъ. Дѣти разъѣхались по службѣ. Въ первомъ часу всѣ собрались къ столу, также и графиня съ дочерью и гувернанткой.

Послѣ завтрака графъ и гость его, другой генералъ, уѣхали въ свой Совѣтъ, графиня сѣла въ гостиной принимать посѣтителей, а дочь съ гувернанткой скрылись въ своей комнатѣ.

Къ графинѣ—то пріѣдетъ русскій архіерей, то католическій прелатъ, иногда какая-нибудь великосвѣтская барыня съ визитомъ. Графиня одинаково говорила и съ русскимъ преосвященнымъ, и съ католическимъ прелатомъ, и съ великосвѣтской барыней. Услышитъ, напримѣръ, она, что въ такой-то церкви православный священникъ будетъ говорить краснорѣчивую проповѣдь, она ѣдетъ туда, выслушаетъ и умилится искренно. Узнаетъ, что готовится говорить католическій прелатъ, она ѣдетъ въ инославный храмъ и также умиляется, какъ онъ хорошо говорилъ; точно такъ же съ восторгомъ слушаетъ и какого-нибудь апостола изъ свѣтскихъ проповѣдниковъ, нужды нѣтъ, что онъ проповѣдуетъ явный расколъ. А къ вечеру забудетъ ихъ всѣхъ.

Часа въ три, вдругъ графиня, какъ сидѣла, такъ поднялась со своего мѣста, накинула, не глядя, какую-то —

тилью на плечи, на ходу надѣла шляпку, перчатки. Ей подали экипажъ, она сѣла и поѣхала, куда глаза глядятъ. Ей предшествовалъ лакей. Она не ѣздила, какъ большинство нашихъ барынь, по магазинамъ, а посѣщала музеи, картинныя галлереи, мастерскія художниковъ.

Дочь съ гувернанткой и лакеемъ пошли въ Лѣтній садъ.

Домъ какъ будто заснулъ. Только, то къ тому, то къ другому подъѣзду, подъѣзжали кареты: лакеи соскакивали со своего мѣста, принимали отъ господъ визитныя карточки, подавали швейцарамъ и ѣхали дальше.

Графиня вернулась къ шести часамъ. Послѣднею ея гостьей была княгиня Перская, пріятельница графини. Она пріѣхала къ послѣдней обѣдать и жаловалась ей, что «измучилась совсѣмъ, дѣлая визиты».

— Представь, я нынче сдѣлала двадцать два визита... это ужасъ!—съ неподдѣльнымъ ужасомъ говорила она.

Графиня съ состраданіемъ покачивала головой.

— Осталось еще визитовъ тридцать!—со вздохомъ добавила она.

— Зачѣмъ ты ихъ дѣлаешь, эти визиты?—спросила графиня.—Ты бы, какъ я, вовсе не ѣздила!

— Нельзя, нельзя!—строго замѣтила княгиня.—Если дѣлать по-твоему—не соберешь у себя на балѣ всѣхъ маменекъ и тетушекъ! Вотъ ты узнаешь, когда будешь вывозить свою Nadine! Хорошо еще, что сегодня въ четырнадцати домахъ не было хозяекъ у себя, я оставила карточки, а въ восьми домахъ приняли — надо было тащиться на лѣстницу!—со вздохомъ прибавила она.—Да... я и забыла сказать тебѣ: представь себѣ, я видѣла во снѣ—гробъ! Что̀ бы это значило?—вдругъ спросила она.

На это графиня только улыбнулась и покачала головой.

Вскорѣ пріѣхалъ ея обыкновенный гость,—высокій, лѣтъ шестидесяти, мужчина, въ бѣломъ батистовомъ жабо, въ черномъ фракѣ, съ прозрачными ногтями, накрахмаленный,

державшій себя прямо, какъ палка. Онъ былъ ежедневнымъ посѣтителемъ и являлся неизмѣнно къ обѣду.

Когда-то онъ былъ неравнодушенъ къ графинѣ, въ ея дѣвичествѣ, но какъ у него было какихъ-то триста, а у графа, тогда еще подполковника, тысячи три душъ, то онъ скромно уклонился отъ сватовства, предоставивъ первому искать руки его предмета, а самъ остался вѣчнымъ обожателемъ графини.

Къ обѣду же пріѣхалъ къ генералу еще какой-то статскій, весь въ звѣздахъ, потомъ явились дѣти, и всѣ сѣли за столъ.

Въ то же утро, часа въ два, пріѣхалъ къ Чиханову старинный его пріятель, богатый князь Копылинъ. Мужъ и жена Чихановы встрѣтили его въ комнатахъ получше.

— Eh bien, mes enfants, какъ поживаете?—сказалъ князь, обращаясь къ мужу и женѣ и пожимая имъ руки.

— Нельзя сказать, чтобы хорошо, князь! — сказалъ Чихановъ.—Сидимъ безъ денегъ и на Антоніевой пищѣ.

— Какъ такъ, «безъ денегъ и на Антоніевой пищѣ»? Что это значитъ?

— Такъ, князь: вѣдь я у васъ просилъ денегъ, потому что... мы ѣдимъ печенку съ огурцами, приходится такъ...

— Sauce Madère?—спросилъ съ нѣкоторымъ вниманіемъ князь.

— Вы смѣшиваете печенку съ почкой: это двѣ вещи разныя!—сказала Чиханова.

— Печенка, печенка!—повторялъ князь.—Qu'est ce que c'est que ça?

— Печенка c'est le foie, а почка c'est le rognon.

— А, теперь понимаю!—сказалъ князь.

Въ это время лакей отворилъ дверь въ другую комнату, гдѣ накрытъ былъ столъ на три куверта.

— Это только для васъ, князь, и при васъ мы позво-

ляемъ себѣ такую роскошь!—сказалъ Чихановъ и просилъ князя принять отъ нихъ завтракъ.

Онъ велѣлъ выставить рядъ закусокъ и винъ, за которыми посылалъ въ лавки дворника, уговорилъ чьего-то повара сдѣлать бифштексъ,—словомъ, все устроилъ, какъ принято въ хорошихъ домахъ.

— Неужели вы ѣдите печенку?—прибавилъ князь, почти съ отвращеніемъ.

Чихановъ комически вздохнулъ.

— Что дѣлать! Денегъ нѣтъ, чтобъ ѣсть, какъ порядочные люди ѣдятъ,—сказалъ, опустивъ глаза, Чихановъ.

Жена его въ это время перебирала концы своей шали. Князь посмотрѣлъ на нихъ обоихъ какъ бы съ состраданіемъ, досталъ со вздохомъ изъ кармана своего бумажникъ, отсчиталъ пять сотенныхъ бумажекъ и отдалъ ихъ Чиханову:

— Вотъ вамъ, на первый разъ довольно! — сказалъ онъ.

Потомъ всѣ принялись за завтракъ. Чихановъ говорилъ, разсказывалъ анекдоты, дѣлалъ удачныя карикатуры общихъ знакомыхъ. И всѣ трое смѣялись, завтракали, пили вино, какъ ни въ чемъ не бывало.

Посидѣвъ еще немного, поговоривъ съ Чихановыми, князь пожалъ имъ обоимъ руки и уѣхалъ.

Чихановы точно ожили. Онъ энергически потрясъ сотенными бумажками; одну отдалъ женѣ, а остальныя спряталъ въ карманъ.

— Ну, теперь недѣли на двѣ разжились! Вотъ сто рублей тебѣ, а остальные мнѣ!

Онъ захохоталъ.

И съ этими словами разошлись въ разныя стороны.

Онъ не зашелъ къ Ивану Ивановичу отдать долгъ за квартиру, а тихо проскользнулъ поспѣшно мимо него, выкупилъ у портного свое платье, потомъ досталъ себѣ билетъ въ театръ, въ первыхъ рядахъ, потомъ пообѣдалъ во фран-

цузскомъ ресторанѣ, вовсе не печенкой, а какъ слѣдуетъ: пятью блюдами, съ бутылкой добраго вина. Такъ прошелъ у него второй и слѣдующіе дни.

А она, жена его, заѣхавъ въ Гостиный дворъ и къ портнихѣ-француженкѣ, одѣлась скромно, но прилично, въ черномъ платьѣ, съ подвязанной щекой, будто отъ зубной боли, и поѣхала къ знакомымъ богатымъ барынямъ кляпчить на бѣдность, и добыла въ свою очередь рублей двѣсти.

Когда-то Чихановъ служилъ въ военной и гражданской службѣ, вертѣлся въ большомъ свѣтѣ, жилъ долгами, но былъ всегда франтовски одѣтъ, принятъ въ лучшихъ салонахъ. Его называли «ci-devant jeune homme», «ловкимъ малымъ», а кое-гдѣ и «пустымъ человѣкомъ». Но ему дѣла ни до чего не было, онъ хлопоталъ только о томъ, какъ бы прожить весело день. Жена его была какъ-то въ тѣни и жила своей особенной жизнью.

Къ обѣду сходятся обыкновенно всѣ—всѣ и у графа сошлись. Графъ-генералъ, графиня, дѣти ихъ, тоже и гости сѣли за столъ.

Важный чиновникъ Вальневъ, на другой сторонѣ, пріѣхалъ изъ своего присутствія, пообѣдалъ, легъ спать. Живущія надъ нимъ дѣвицы давно отобѣдали и ушли куда-то въ гости. Опять купецъ Гвоздевъ проводилъ ихъ съ крыльца своего магазина, съ поклономъ и съ улыбкой восторга глядя имъ вслѣдъ.

Генералъ-графъ прислалъ «просить», такъ выразился человѣкъ, а графъ велѣлъ попросту позвать къ себѣ управляющаго домомъ.

— Любезный Иванъ Ивановичъ!—сказалъ онъ по-своему ласково, но выходило это не ласково:—садись, садись здѣсь.

Онъ показалъ ему стулъ. Онъ говорилъ ему то «вы», то «ты» и не зналъ, какъ съ нимъ обращаться. Этотъ Иванъ Ивановичъ былъ только титулярный совѣтникъ и не любилъ соваться впередъ своимъ знаніемъ и образованіемъ.

— Вотъ что,—сказалъ графъ:—у меня на кухнѣ лишній поваръ—мнѣ сегодня только объ этомъ сказали:—нельзя ли его пристроить?

— Отчего же, можно! — подумавъ, съ неизмѣнной улыбкой отозвался Хохловъ:—мѣсто готово, хоть сейчасъ!

— Такъ чего же лучше? Если готово, то и мѣшкать нечего!..—сказалъ графъ.

— Только тамъ денегъ не платятъ, — замѣтилъ Иванъ Ивановичъ, со своей неизмѣнной улыбкой.

И самъ графъ, и гости его залились смѣхомъ. У графа даже эполеты заплясали на плечахъ. Всѣ, выпуча глаза, смотрѣли на Ивана Ивановича.

— Заставятъ поработать вашего повара съ мѣсяцъ или около того, потомъ и откажутъ: «Не хорошо, молъ, не годится», скажутъ ему и дадутъ что-нибудь изъ милости, что̀ вздумаютъ, въ вознагражденіе.

Опять графъ и гости его засмѣялись.

Все это, кажется, Иванъ Ивановичъ выдумалъ, т.-е. «мѣсто для повара, гдѣ денегъ не платятъ», чтобъ графъ не приставалъ къ нему со своимъ предложеніемъ. По крайней мѣрѣ, идучи отъ графа къ себѣ домой, онъ усиленно чему-то улыбался.

Насталъ вечеръ. Чиновники, жившіе надъ Чихановымъ, давно отобѣдавшіе, каждый чѣмъ-нибудь занимался. Одинъ читалъ какую-то книгу, другой разсматривалъ дѣло изъ своей канцеляріи, а третій, постарше, по фамиліи Брагинъ, служившій по особымъ порученіямъ при одномѣ директорѣ департамента, что-то усердно писалъ, бормоча про себя: «И на сію командировку положить ему, Лязгину, прогонныя по чину... всего 200 рублей, да суточныхъ примѣрно по 4 рубля, итого...»

Онъ положилъ перо.

— Маланья!— крикнулъ онъ кухарку.

Минуты черезъ двѣ въ комнату вошла пожилая, бойкая женщина. Брагинъ хлебнулъ изъ стакана пунша.

— Маланья!—повторилъ онъ.

— Чего вамъ: я пришла!—сказала Маланья.

— Если бъ ты теперь словила на дворѣ пѣтуха и передала его сосѣдямъ, а полиція предписала бы, во что бы то ни стало, отыскать этого пѣтуха...

Маланья не вдругъ поняла сказанное, и сначала, разиня ротъ, подумала съ минуту, потомъ, кажется, смекнула.

— А какъ она, ваша полиція, отыщетъ его? Я бы взяла и отдала дворнику черезъ задній ходъ... — проворно сказала она.

— Погоди, погоди!—нетерпѣливо перебилъ ее Брагинъ.— Квартальному начальство выдало бы десять рублей за этого пѣтуха...

— Весь пѣтухъ-то не стоитъ и тридцати копеекъ: за что жъ давать десять-то рублей? Да не отыщетъ она никакъ, ваша-то полиція, когда я отдамъ дворнику черезъ задній ходъ, а десять рублей пропадутъ!..

— А вотъ здѣсь посылаютъ офицера и даютъ ему прогонныя и суточныя по чину, тогда какъ дѣло-то все въ трехстахъ рубляхъ.

Одинъ изъ чиновниковъ, Юхновъ, вскочилъ изъ-за стола.

— Да что вы, Андрей Тихоновичъ, опять за свое: теперь стали начальство бранить!

— А что, не нравится!—сказалъ Брагинъ, смѣясь и прихлебывая пуншъ.

Третій чиновникъ, Понюшкинъ, только усмѣхнулся. Маланья посмотрѣла на нихъ всѣхъ трехъ, утерла фартукомъ носъ и ушла къ себѣ.

— Я думала зовутъ за дѣломъ, а они вонъ что выдумали! У меня еще посула не мыта!—ворчала она.

Въ это время раздался звонокъ. Явился курьеръ отъ экзекутора того департамента, гдѣ служилъ Брагинъ, и

объявилъ послѣднему, что завтра уѣзжаетъ за границу директоръ съ супругой, такъ не угодно ли проводить ихъ превосходительство на станцію. «Такъ, молъ, экзекуторъ велѣлъ сказать».

— Развѣ завтра? Вѣдь директоръ хотѣлъ ѣхать на той недѣлѣ! — возразилъ Брагинъ и въ это время хлебнулъ пунша изъ стакана. Онъ сказалъ курьеру:—Хорошо, скажи, что буду.

Курьеръ ушелъ.

— Тутъ занимаешься дѣломъ, вдругъ изволь провожать директора на станцію!

Онъ вздохнулъ.

— Или въ праздникъ, напримѣръ: чѣмъ бы отдыхать у себя дома, надо поздравлять начальство! И выходитъ — суета суетъ!

Онъ даже плюнулъ.

Юхновъ бросилъ перо и вскричалъ:

— Вы опять, Андрей Тихоновичъ, на начальство роптать!

— Что̀, не понравилось вамъ? — язвительно замѣтилъ Брагинъ:—по-вашему молчи? Ха-ха-ха!

Понюшкинъ опять только усмѣхнулся.

Въ тотъ же вечеръ у графа усѣлись играть въ карты, а къ графинѣ собрались молодые люди и дѣвицы вмѣстѣ съ графскими дѣтьми занялись музыкой.

Швейцары оба все ссорились между собой. Статскій швейцаръ спорилъ съ военнымъ о томъ, чьи гости важнѣе— графа или графини.

— У моего-то графа вонъ какіе, всѣ въ звѣздахъ! А одинъ гость ѣздитъ, махонькій такой: чего-чего на немъ нѣтъ! У васъ такихъ не бываетъ!

— У насъ-то?!—съ презрѣніемъ отозвался статскій:—да у насъ такія бываютъ княгини и графини, что вамъ и во снѣ не видать!

— Легко сказать!—отозвался военный.

Купецъ Гвоздевъ съ порога своего погреба продолжалъ слѣдить восторженнымъ взглядомъ за обѣими дѣвицами. Тѣ торопились пройти мимо или ворочались, замѣтивъ его, домой, перебраниваясь между собой о томъ, къ кому относятся эти комплименты. Ни одна изъ сестеръ не хотѣла брать ихъ на свой счетъ. Дѣло въ томъ, что онѣ были дочери умершаго коллежскаго совѣтника, слѣдовательно въ нѣкоторомъ родѣ дворянки, а онъ только купецъ.

Что касается Брагина, хотя онъ зарычалъ какъ бульдогъ на извѣщеніе экзекутора объ отъѣздѣ за границу директора и его жены, но на другой день явился на станцію съ глубокимъ поклономъ этому самому директору и букетомъ цвѣтовъ его супругѣ. Онъ не только не былъ пьянъ, но былъ прилизанъ, причесанъ и въ свѣжемъ вицмундирѣ. Онъ и экзекуторъ были между собою пріятели и любили вмѣстѣ выпить. Они жили, что называется, душа въ душу, т.-е. рука руку мыли. Оттого Брагинъ и получилъ извѣщеніе отъ экзекутора объ отъѣздѣ директора за границу.

— Сюда, сюда, ваше превосходительство, сюда пожалуйте!—твердили взапуски экзекуторъ и Брагинъ, приглашая директора на назначенныя имъ мѣста въ вагонѣ.

Директора, кромѣ родныхъ и знакомыхъ, еще провожалъ заступившій его мѣсто въ его отсутствіе вице-директоръ, какой-то нѣмецъ Шлеппе, человѣкъ тихій и добрый. Онъ пріѣхалъ сюда, какъ для приличія проводить директора, такъ и для того, что директоръ давалъ ему кое-какія наставленія, что̀ дѣлать въ его отсутствіе.

— Да, да, будетъ исполнено, все будетъ! — говорилъ въ отвѣтъ Шлеппе.

Поговоривъ съ нимъ, директоръ обратился къ Брагину:

— А вы, Брагинъ, не забудьте дѣла̀, которыя я вамъ поручилъ...

— Какъ можно забыть, ваше превосходительство! Сдѣлаю все, все, до дѣла Лязгина включительно...

— Да, дѣло Лязгина... Да, да, — прервалъ директоръ:— вѣдь я вамъ его передалъ?

— Какъ же, ваше превосходительство, оно у меня: Лязгину назначено двѣсти рублей на командировку, да прогонныхъ по чину. Бумага у меня готова...

— Такъ Иванъ Богдановичъ подпишетъ мои распоряженія, офицеръ получитъ деньги и отправится... Да... да... Что̀ еще я хотѣлъ сказать?—торопился директоръ.

— Пойдемъ скорѣе! Мы опоздаемъ! — говорила между тѣмъ директорша, и наскоро отдавала горничной разныя мелкія вещи для размѣщенія ихъ въ вагонѣ и въ то же время прощалась съ родными и знакомыми.

— Adieu, ma chère! —кричали ей разные голоса:—пишите чаще! Прощайте! До свиданья!

— Да, да: я еще что-то хотѣлъ объяснить, да какъ въ этой суматохѣ объяснишь!.. Прощайте, прощайте!..

— А вамъ, Петръ Петровичъ,—обратился директоръ къ экзекутору:—я еще на квартирѣ сказалъ, что̀ безъ меня дѣлать... Еще что-то я хотѣлъ сказать...—говорилъ растерянный директоръ.

— Слушаю, ваше превосходительство, все будетъ сдѣлано,—твердилъ, какъ сорока, экзекуторъ.

Курьеръ между тѣмъ принесъ квитанцію на багажъ, сдачу и подалъ директору.

— Такъ прощайте, до свиданія!—сказалъ директоръ, подавъ руку только вице-директору и своимъ роднымъ.

— Прощайте, ваше превосходительство!—кричали всѣ.

— До свиданія!—повторили директоръ и жена его, высовываясь изъ вагона и кивая головой всѣмъ и каждому.

Больше всѣхъ юлилъ Брагинъ, подавая свой букетъ директоршѣ и цѣлуя ей руку, а директору отвѣшивалъ глубокіе поклоны.

— Прощайте, счастливаго пути вашему превосходительству и скораго возвращенія!

— До свиданія, до свиданія!—раздавалось изъ вагона.

Поѣздъ тронулся и ушелъ.

Родные и знакомые разъѣхались. Вице-директоръ уѣхалъ къ себѣ, Брагинъ и экзекуторъ, рука въ руку, пошли вмѣстѣ.

— Теперь мы покутимъ!—сказалъ Брагинъ.—Директоръ, слава Богу, уѣхалъ, а этотъ вице-директоръ, Иванъ Богдановичъ, мякушка!

— И то мякушка, ты правду сказалъ! И лѣнивый какой — ужасъ! Плохо не клади бумаги, гдѣ стоитъ «вице-директоръ»—сейчасъ подпишетъ.

Брагинъ усмѣхнулся.

— Пойдемъ-ка лучше въ мѣсто злачное и покойное, гдѣ ни печали, ни воздыханій... Туда, знаешь, на уголъ?—сказалъ онъ.

— Хорошо, да только мнѣ надо забѣжать въ департаментъ: тамъ у меня дѣло есть, надо распорядиться.

— И мнѣ нужно на часокъ-другой домой: у меня вѣдь бумаги о Лязгинѣ не готовы, хоть я и сказалъ директору, что написалъ ихъ. Пожалуй, завтра Иванъ Богдановичъ спроситъ.

— Лязгинъ то и дѣло бѣгаетъ къ казначею: ждетъ не дождется, когда получитъ деньги.

Оба засмѣялись.

— Такъ часа черезъ два мы тамъ опять... — сказалъ Брагинъ.—Знаешь?

— Знаю, знаю! — съ усмѣшкой отозвался экзекуторъ, и пріятели разошлись, чтобъ въ скоромъ времени опять сойтись въ трактирѣ.

— Какой же выводъ сдѣлать изъ всего этого? — Ровно никакого.

Кромѣ того, онъ убираетъ свою квартиру, заводитъ мебель, зеркала и ковры, все руководясь газетами. Да еще у своего начальства выпросилъ крупную сумму на свадьбу.

Чихановъ радъ бы переѣхать съ квартиры съ женой на другую, болѣе ему подходящую, но его не пускаетъ неумолимый Иванъ Ивановичъ. Онъ считаетъ за нимъ двѣ трети незаплаченныхъ денегъ. Чихановъ клянется заплатить, лишь только будутъ у него деньги. Но Иванъ Ивановичъ не вѣритъ. Онъ очень искусно переписалъ его вещи на хозяина дома за долгъ и только все улыбается. Чихановъ забѣгалъ къ нему раза три, но, видя его непреклонность, вдругъ бросилъ все — куда-то исчезъ. Іюнь и іюль онъ прожилъ въ одномъ семействѣ, въ августѣ съ кѣмъ-то попалъ за границу, въ сентябрѣ явился оттуда франтомъ и ни о чемъ, попрежнему, не заботился, предоставивъ женѣ своей распоряжаться, какъ она знаетъ. Та уѣхала на лѣто съ одной богатой барыней въ ея имѣніе, оставивъ присматривать за квартирой какую-то старуху изъ богадѣльни.

Дѣвицы-сироты продолжаютъ одна худѣть, другая толстѣть, и все бранятся между собой о томъ, къ кому относятся комплименты купца Гвоздева. Этотъ продолжаетъ восхищаться ими съ порога своего магазина.

Чиновникъ Брагинъ теперь ужъ управляетъ отдѣленіемъ. Съ экзекуторомъ онъ попрежнему закадычный пріятель и получилъ казенную квартиру.

Кончивъ всѣ дѣла въ департаментѣ, они садятся за карты и къ ночи расходятся по своимъ квартирамъ, не совсѣмъ трезвые. Брагинъ, съ вечера, послѣ пунша, либеральничаетъ напропалую и бранитъ, какъ всегда, свое начальство, а утромъ является къ директору почтительнымъ чиновникомъ.

Юхновъ служитъ въ отдѣленіи Брагина и пріютился на маленькой квартирѣ въ казенномъ домѣ подъ крылышкомъ Брагина. Когда этотъ выпьетъ вечеромъ пунша, Юхновъ попрежнему возмущается за либеральныя его выходки про-

тивъ начальства. Утромъ же Брагинъ, отрезвившись, во всемъ соглашается съ нимъ и пользуется его услугами.

Жизнь все жизнь, все понемногу движется, куда-то идетъ все впередъ и впередъ, какъ все на свѣтѣ, и на небѣ, и на землѣ... Только, кажется, одинъ Иванъ Ивановичъ какъ будто не измѣнился. Онъ попрежнему управляетъ домомъ. живетъ и лѣто и зиму постоянно въ городѣ, со всѣми говоритъ шутя и все улыбается. Да, онъ, какъ будто, не измѣнился.

А почему же онъ отговорилъ отъ квартиры, вакантной послѣ Брагина, какихъ-то длинноволосыхъ молодыхъ людей и стриженую барышню, и поспѣшилъ отдать ее какому-то своему, повидимому, пріятелю, прозванному имъ «философомъ», съ которымъ онъ ничего общаго не имѣлъ?

Тотъ лѣтъ десять все составляетъ какой-то лексиконъ восточныхъ языковъ, да кромѣ того занимается астрономіей, перечелъ всѣ авторитеты отъ Ньютона, Гершелей, до какого-нибудь Фламмаріона, и все хочетъ добиться, есть ли жители на Венерѣ, Марсѣ и другихъ планетахъ, какіе они, что дѣлаютъ и прочее?

Онъ тоже охотникъ разсуждать объ отвлеченныхъ предметахъ и говоритъ, все говоритъ, когда къ нему зайдетъ Иванъ Ивановичъ! А этотъ послѣдній заходитъ туда каждый день, слушаетъ философа одного молча и серьезно. улыбаясь только его сестрѣ, молодой вдовѣ, на которой будто бы, какъ разсказываютъ злые языки въ домѣ, онъ не прочь и жениться. Онъ и дачу нанялъ подъ городомъ близко, перевезъ туда брата и сестру, и кончивъ свои занятія въ домѣ, ѣздитъ туда ежедневно, обѣдаетъ съ ними и поздно вечеромъ возвращается въ городъ.

Почему же все это? А будто не измѣнился! Нѣтъ, видно, измѣнился и онъ, и его жизнь идетъ куда-то впередъ, какъ все на бѣломъ свѣтѣ...

ОГЛАВЛЕНІЕ

ДВѢНАДЦАТАГО ТОМА:

стр.

Воспоминанія:

I. Въ университетѣ 5
II. На родинѣ 44

Слуги стараго вѣка:

I. Валентинъ 166
II. Антонъ 186
III. Степанъ съ семьей 200
IV. Матвѣй 213

Превратность судьбы. Очеркъ. (Посмертное произведеніе.) . . . 247

Май мѣсяцъ въ Петербургѣ. Очеркъ. (Посмертное произведеніе.). 261

[illegible] WASHINGTON

[illegible]